Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ II.

КНУТО-ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

С ПРЕДИСЛОВИЕМ Дж. ГИЛЬОМА.

Перевод с французского Вл. Забрежнева.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА".
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1922

Р. В. Ц. № 347 3.000
Тип. „ГОЛОС ТРУДА" Петроград Ярославская 1/9

От переводчика.

В настоящем издании „Кнуто-Германская Империя“ впервые появляется на русском языке в полном об‘еме.

Душеприказчик М. А. Бакунина, Джемс Гильом, в своем предисловии подробно останавливается на обстоятельствах, вызвавших опубликование этого сочинения по частям. По тем же причинам и на русском языке имелись лишь переводы „Бога и Государства“ изданного Неттлау, „Бога и Государства“, изд. Реклю и Кафиеро и „Кнуто-Германской империи“, представляющей собою лишь один из отрывков настоящего труда. Предлагаемый перевод сделан целиком с издания 1907 г. Таким образом вторая часть настоящего издания впервые становится доступным русскому читателю.

Переводчик не гнался за „легкостью и красотою слога“ перевода приводящим часто к искажению мысли и духа оригинала. Ему представлялось предпочтительнее при соблюдении точности, правильности передачи мыслей автора и их оттенков, сохранить несколько тяжеловатый для русского уха и глаза стиль французского оригинала с длинными периодами и многочисленными придаточными предложениями. Читатель не посетует за необходимость употребить порою некоторое напряжение, чтобы проследить до конца мысль автора и будет с избытком вознагражден результатом своих усилий.

Вл. З.

Предисловие.

29 сентября 1870 г. Покидая Лион в сопровождении Валенция Ланкиевича*) и направляясь в Марсель после неудачи только что имевшего место революционного движения, Бакунин написал Паликсу**) письмо. Приводим существенные выдержки из него: ***)

„Мой дорогой друг,

Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего „прости". Осторожность не позволяет мне придти пожать тебе в последний раз руку. Мне больше нечего делать здесь. Я приехал в Лион, чтобы сражаться или умереть с вами. Я приехал потому, что глубоко убежден, что дело Франции в этот торжественный час, когда поставлен вопрос о самом ее существовании, снова сделалось делом человечества...

Я принял участие во вчерашнем движении и подписал свое имя под резолюциями Комитета Спасения Франции****)

---

*) Валенций Ланкиевич—молодой поляк, типограф, убит во время Коммуны в Париже. (*Прим. пер.*).

**) Луи Паликс—портной, квартирохозяин Бакунина, один из благороднейших представителей французских социалистов. (*Прим. пер.*).

***) Это письмо было взято у Паликса при аресте в октябре 1870 г. и Оскар Тестю напечатал его (за исключением конца, имевшего отношение к личным делам) в 1872 г. во II томе своей книге „L'Internationale et le Jacobinisme au ban de l'Europe" стр. 280. Бакунин сохранил черновик, что позволило Неттлау дать конец письма (опущенный Тестю) на стр. 512 своей биографии Бакунина.

****) Комитет Спасения Франции, наиболее смелым и деятельным членом коего был Бакунин, сорганизовался в видах попытки революционного восстания. Программа этого восстания была изложена за подписями делегатов от городов: Лиона, С.-Етьена, Таррара и Марселя, в воззвании, отпечатанном на красной бумаге и расклеенном 26 сентября. Бакунин хотя и иностранец, не задумался присоединить свою подпись к подписям своих друзей, дабы разделить с ними риск и ответственность. Воззвание об'являя, что „административная и правящая государственная машина, пришедшая в негодность, уничтожается" и что „народ Франции вступает в полное распоряжение самим собою", предлагало образовать во всех отдельных общинах комитеты Спасения Франции и немедленно послать в Лион по два делегата от каждого Комитета, „чтобы образовать революционный Конвент Спасения Франции". (*Прим. пер.*).

потому, что для меня очевидно, что после действительного, фактического разрушения всей административной и правящей машины лишь непосредственная и революционная деятельность народа может спасти Францию... Вчерашнее движение, если бы оно победило—а оно было бы победоносным, если бы генерал Клюзере не предал дело народа—это движение, заместив Лионский муниципалитет, наполовину реакционный и наполовину неспособный, революционным Комитетом, выражающим непосредственно волю народа, могло спасти Лион и Францию... Дорогой друг, я покидаю Лион, с сердцем, полным печали и мрачных предчувствий. Я начинаю теперь думать, что с Францией покончено. Она сделается немецким вице-королевством.

Вместо ее живого и реального социализма, у нее будет доктринерский социализм немцев, которые скажут лишь то, что им разрешат сказать немецкие штыки. Бюрократическое и военное разумение Пруссии в союзе с кнутом С.-Петербургского царя*) обеспечат спокойствие и общественный порядок на всем Европейском континенте по меньшей мере в продолжении пятидесяти лет. Прощай свобода, прощай социализм, справедливость для народа и торжество человечности. Все это могло бы явиться результатом современного бедствия Франции. Все это должно было бы вытекать из него, если бы только народ Франции, народ Лиона захотел!

Но не будем больше говорить об этом. Моя совесть подсказывает мне, что я выполнил свой долг до конца. Мои лионские друзья также знают это, а остальным я пренебрегаю. Теперь, дорогой друг, перехожу к чисто личному вопросу...**). Мне остается лишь расцеловать тебя и вместе с тобой пожелать всего наилучшего бедной Франции, покинутой даже ее собственным народом".

В Марселе Бакунин надеялся найти элементы для другой революционной попытки; он думал даже, что новое движение было бы возможно в Лионе. 8 октября он писал одному молодому другу, Эмилю Баллерио: „Дело только отложено. Друзья, сделавшись более осторожными, более практичными, деятельно работают как в Лионе, так и в Марселе и скоро

*) В этой фразе уже выражена идея, которая несколько месяцев позже сделается заголовком: Кнуто-Германская Империя.

**) Здесь, в неопубликованном Тестю отрывке, Бакунин говорит о своем временном аресте накануне и о своем кошельке, украденном у него друзьями порядка.

мы добьемся реванша под носом у пруссаков... Все, что я вижу здесь, лишь подтверждает мое прежнее мнение о буржуазии: степень ее глупости и подлости превосходит всякое воображение. Народ готов умереть в решительной битве с пруссаками. Они же, напротив, они хотят, они призывают пруссаков в тайниках своего сердца, в надежде, что пруссаки освободят их от патриотизма народа... Я заканчиваю очень подробную брошюру обо всех этих событий и скоро пришлю ее вам. Выслали ли вам из Женевы, как я просил, мою брошюру под заглавием: Письма к французу?"

Несколько дней спустя, он отправил в Лион Ланкиевича с письмом к своим лионским друзьям, в котором писал:

„Дорогие друзья, Марсель поднимется лишь когда восстанет Лион или же когда пруссаки будут в двух днях пути до Марселя. Значит, еще раз спасение Франции зависит от Лиона. Вам остается три или четыре дня, чтобы делать революцию, которая может все спасти... Если вы думаете, что мое присутствие может быть полезно, телеграфируйте в Лион Комбу следующие слова: *Nous attendons Etienne* (мы ждем Этьена). Я сейчас же выеду".

Но Ланкиевич был арестован *) и бумаги, взятые у него, повели к аресту многих лионских революционеров. Вследствие этого неприятного обстоятельства и ввиду того, что его марсельские друзья также находились под угрозой ареста, Бакунин написал 16 октября Огареву, прося у него денег, чтобы иметь возможность, в случае надобности, самому ускользнуть от розыска полиции, в Барселоне или Генуе. В ожидании, он использовал вынужденный досуг в своем убежище (маленькая квартирка в квартале Фаро) для составления брошюры, о которой писал Баллерио; она должна была быть продолжением „Писем к французу". Он уничтожил стр. 81 bis—125 первоначальной рукописи, считая их устаревшими. И для начала этой второй брошюры, в 114 стр., он воспользовался самым текстом начала действительного письма, написанного им Паликсу 29 сентября:

„Мой дорогой друг,

„Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего „прости" и т. д.

23 октября, он написал своему другу Сентиньону, пе-

**) Он был освобожден четыре месяца спустя, в феврале 1871 г.

ребравшемуся из Барселоны в Лион, чтобы принять участие в новом революционном движении, которое рассчитывали вызвать там.

В этом письме, извещая о своем от'езде из Марселя, он говорит:

„Я должен покинуть это место потому, что мне тут решительно нечего делать, и я сомневаюсь, чтобы ты нашел какое нибудь дело в Лионе. Мой дорогой, я больше совсем не верю в революцию во Франции. Сам народ сделался там доктринером, резонером и буржуа, не хуже настоящих буржуа... Я покидаю эту страну с глубоким отчаянием в сердце. Напрасно я стараюсь убедить себя в противном,—я действительно думаю, что Франция потеряна, сданная пруссакам вследствие неспособности, подлости и скаредности буржуазии".

На другой день, 24-го, Бакунин переодетый отправился в Геную: „он сбрил бороду и свои длинные волосы, писал один друг, провожавший его до корабля *), и напялил на глаза синие очки. Преображенный таким образом, он взглянул в зеркало и сказал, говоря о своих преследователях: „*Эти иезуиты заставляют меня принять их облик*". Три или четыре дня спустя, он прибыл в Локарно.

В своем убежище Бакунин сейчас же предпринял новый труд, оставив незаконченной рукопись в 114 стр., начатую в Марселе.

Это новое сочинение должно было также быть продолжением „Писем к французу" и тоже начиналось воспроизведением письма Паликсу от 29-го сентября. Он условился со своими женевскими друзьями, чтобы книга, над которой он работал, могла быть напечатана в этом городе в кооперативной типографии. Из одного русского письма, адресованного Огареву 19 ноября, видно, что к этому времени он уже послал ему часть рукописи и что он закончил еще около сорока других листков. Он писал: „Если я не посылаю их тебе сейчас же, так это потому, что мне необходимо иметь их под рукой пока я не закончу изложение одного очень деликатного вопроса **) и я еще далеко не предвижу

*) Шарль Алерини, сперва профессор Барселонского Колледжа, а позже, в 1871 г. политический эмигрант в Испании. Из испанской тюрьмы в сентябре 1876 г. Алерини прислал мне описание от'езда Бакунина из Марселя, в качестве материала для будущей биографии великого революционного агитатора.

**) Речь шла, как сейчас увидим, о метафизическом обсуждении идеи Бога

конца моей работы... Это будет не брошюра, но целый том Знают ли об этом в кооперативной типографии?.. Озеров *) пишет мне, что ты берешь на себя корректуру. Прошу тебя, мой друг, попроси Жуковского помочь тебе... и немедленно передай ему прилагаемое письмо."

Жуковскому **) он писал: „Я пишу и печатаю теперь не брошюру, но целую книгу. Огарев взялся напечатать ее и править корректуру. Но у него одного не хватит сил, помоги ему, прошу тебя, во имя нашей старой дружбы“.

Однако Бакунин, не продумав предварительно план своей книги, пустился в одно из тех отступлений, которые были для него так привычны и порою заставляли его забывать отправную точку: начиная с 105 листка, рукопись получила заглавие (надписанное автором позже, когда он решил дать этим страницам другое назначение): *Приложение, философское рассуждение о божественном призраке, о реальном мире и о человеке*“. (Appendice, considérations philosophiques sur le fantôme divin, sur le monde réel et sur l'homme).

Он довел эту рукопись до 256 листка, затем, заметив, без сомнения, что зашел в тупик, он изменил свой план, отказавшись от продолжения начатой философской диссертации (это было в большой своей части, исследование системы Огюста Конта).

Из написанного он сохранил 80 первых страниц и, отложив в сторону листки 81 — 256, приложил к стр. 80-й новый листок 81-й, сделавшийся отправным пунктом иного развития этих идей ***), после чего продолжал свою работу в этом новом направлении. Это изменение произошло лишь в феврале 1871 г.

Когда, после почти четырехмесячного перерыва наших письменных сношений, я снова вступил в переписку с Бакуниным,—около середины января 1871 г. — я предложил ему свои услуги по части наблюдения за печатанием его труда. Так как книга печаталась в Женеве, он просил меня,

---

*) В. Озеров—русский эмигрант, бывший офицер, принимавший участие в польском восстании 1863 г. Потом он жил несколько лет в Париже, занимаясь сапожным ремеслом, и был известен под именем *Альбера-сапожника*. Во время Нечаевского дела он переехал из Парижа в Женеву и был одним из близких друзей Бакунина.

**) Николай Жуковский, молодой русский дворянин, эмигрировавший и основавшийся в Женеве; в течение многих лет был очень близок с Бакуниным.

***) Листки 82—256 первой редакции (листок 81 не сохранился) до сих пор еще не изданы.

вместо чтения корректуры, просмотреть рукопись до набора. И с 9-го февраля 1871 г. он высылал мне, по мере того, как писал, новые листки, следующие на 80-й стр. Я прочел их и сделал несколько грамматических исправлений. Эти присылки продолжались до 18-го марта, когда я получил листки 273—285. Таким образом были набраны только двести десять первых листков. Сочинение должно было называться: „*La Revolution Sociale ou la dictature militaire*“ (Социальная революция или военная диктатура).

18-го марта Бакунин отправился во Флоренцию, куда его призывали личные дела. Он вернулся в Локарно 3-го апреля. 5-го апреля он писал Огареву (по русски, письмо напечатанное в переписке) по поводу Парижской Коммуны: „Что думаешь ты об этом движении отчаяния Парижан? Каков бы ни был его исход, нужно признать, что они—молодцы. В Париже нашлось то, чего мы тщетно искали в Лионе и в Марселе: организация и люди, решившиеся идти до конца“.

Затем он говорил о своей книге, несколько отпечатанных листов которой он получил через Огарева: „Почему печатают мою книгу на такой серой и грязной бумаге? Я хотел бы дать ей другое название: *Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция*. Если выпуск еще не закончен, перемените.“ 9-го апреля он писал: „Первый выпуск должен состоять из восьми листов... Продолжают ли их печатать и достаточно ли денег, чтобы оплатить эти восемь листов? Если нет, какие шаги предприняты для того, чтобы добыть их? Ты, старый друг, наблюдай за тем, чтобы печатание шло хорошо, без ошибок.“

16-го апреля он снова написал Огареву одно из самых интересных писем. Стоит привести целиком ту часть его, которая относится к печатавшемуся труду. Из нее видно мнение самого автора о сущности и о значении этого труда. Характерно и то, как Бакунин отзывается о себе самом (это письмо—по какой то странной случайности—опущено во французском переводе его Переписки):

„Ты пишешь мне, что решили сделать первый выпуск в пять листов, Но ты написал это до получения моего последнего письма [1], в котором я умолял, советовал, просил,

[1] Речь идет, как видно из последующего, не о письме от 9 апреля а о другом письме, которое потеряно, если только не допустить, что отрывок из письма от 9 апреля, содержавший просьбу Бакунина, был уничтожен издателем Переписки.

требовал, наконец, чтобы первый выпуск заключал в себе также всю историю Германии, до крестьянского бунта включительно и чтобы этот выпуск заканчивался перед главою, которую я окрестил: *Исторические софизмы немецких коммунистов.* Я указывал также, что возможно, что это заглавие было изменено или зачеркнуто Гильомом, но не настолько же, конечно, чтобы вы не могли прочесть его. Одним словом, выпуск должен оканчиваться там, где начинаются или, скорее, раньше, чем начинаются философские рассуждения о свободе, человеческом развитии, идеализме и материализме и т. д. Умоляю тебя, Огарев, и вас всех, принимающих участие в издании тома, сделайте, как я вас прошу: это для меня абсолютно необходимо.

Вмещая таким образом в себе всю историю Германии, с крестьянским бунтом, первый выпуск будет в шесть, семь и, может быть, восемь листов. Я не могу высчитать здесь, но вы легко это сделаете. Если он будет больше, чем вы думали раньше,—неважно, ибо ведь ты сам говоришь, что денег имеется на десять листов. Но что может случиться, так это, что материала, предназначенного мною для первого выпуска, не хватит для совершенного заполнения последнего листа (6-го, 7-го или 8-го). Тогда вот что следует сделать:

1) Вышлите мне обратно весь остаток рукописи, т.-е. все, что не войдет в первый выпуск, до 285 листка включительно.

2) Пришлите мне в то же время *последний листок* той части, которая должна составить первый выпуск (оригинал или копию с указанием нумерации, если кто нибудь будет настолько любезен, что перепишет этот листок). В то же время, попросите в типографии, чтобы сделали подсчет числа моих листков, необходимых для окончания листа. Я тотчас же прибавлю все, что нужно *) и два дня спустя, не позже, я вам вышлю то, что напишу. Но не забудь прислать мне этот последний листок, без которого мне будет невозможно писать продолжение.

Прошу тебя, Огарев, сделай милость, удовлетвори мою

---

*) Это означает, что Бакунин, возвращаясь к теме, трактуемой в последнем листке, прибавит новое развитие ее, чтобы снабдить типографию материалом для окончания и заполнения последнего листа выпуска. Без этого были бы вынуждены для заполнения его, поместить начало главы *Исторические софизмы немецких коммунистов*", припасенной для второго выпуска.

просьбу, мое законное требование и устрой точно и быстро то, о чем я тебя прошу, и так, как прошу.

Еще раз: это мне необходимо, я тебе об'ясню почему— при нашем свидании, которое, надеюсь, произойдет скоро.

Ты все требуешь у меня конец. Дорогой друг, я незамедлительно вышлю тебе материал для второго выпуска в восемь листов *) и все же это еще не будет концом. Пойми же, что я начал, думая написать брошюру, а кончаю книгой. Это чудовищно, да что же делать, раз я сам чудовище? Но книга, хотя и чудовищна, будет жизненной и полезной для чтения. Она почти целиком написана. Остается лишь отделать ее. Это моя первая и последняя книга, мое завещание. Поэтому, мой дорогой друг, не противоречь мне. Ты знаешь, невозможно отказаться от дорогого проекта, от последней идеи, или даже изменить их. Гони природу в дверь, она войдет в окно. Остается лишь вопрос денежный. Набрали всего на десять листов, будет же не менее двадцати четырех. Но не беспокойся: я принял меры для того чтобы собрать необходимую сумму. Существенно, что сейчас есть достаточно денег для напечатания первого выпуска в восемь листов. Итак, печатайте и издавайте смело этот первый выпуск, таким, как я вас прошу (а не таким, как вы проектировали). Бог посылает день, Бог даст и хлеба.

Мне кажется, это ясно. Сделайте же, как я прошу, быстро и точно, и все будет хорошо.

... И если возможно еще изменить, назовите мою книгу так: *Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция*".

Автору не понадобилось писать еще, распространяя содержание последнего листка части рукописи, предназначенной для первого выпуска. Случилось так, что этот листок, помеченный—138, соответствовал 119 странице печатного текста, посередине восьмого листа, так, что можно было разрезать его на указанном месте.

Итак, в последних числах апреля закончили выпуск брошюры в тысяче экземпляров, сделав его в семь с половиной листов.

Увы, когда Бакунин получил этот первый выпуск, он

*) Т.-е., вступив во владение частью своей рукописи, которая не была предназначена для первого выпуска, он пошлет Огареву для второго выпуска достаточное количество листков этой рукописи, уже просмотренных мною и которые он сам хотел пересмотреть перед напечатанием.

отступил в ужасе. Отчаянные опечатки громоздились на каждой странице *).

Бакунин попросил меня немедленно отпечатать список опечаток (Errata), который он, в порыве гнева, не хотел даже заказывать в кооперативной типографии. Я отдал в набор и печать перечень опечаток, который он мне прислал Затем, по получении из Женевы рукописи выпуска, о чем я просил, чтобы иметь возможность сравнить печатное с оригиналом, я сделал еще добавление к Errata, указав лишь наиболее необходимые исправления. Кроме того, я отпечатал по просьбе автора, красную обложку, с заглавием: *„Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция“*, Михаила Бакунина. Первый выпуск. Женева, у всех книготорговцев 1871“. И этой обложкой была заменена прежняя—простая цветная рубашка, подклеенная к брошюре в Женеве.

Бакунин, живший в Швейцарской Юре (в Сонвилье и в Локле) с 23 апреля по 29 мая, вернулся в Локарно 1 июня 1871 г. Он взял у меня листки 139—285 своей рукописи, чтобы обработать их **), и немного дней спустя после своего возвращения он принялся,—как видно из его записной книжки,—за составление *Предисловия* для второго выпуска *Кнуто-Германской Империи.* Он написал всего четырнадцать листков.

Необходимые для издания этого второго выпуска деньги не могли, к сожалению, быть собраны в то время. И скоро, увлеченный другими занятиями, своей полемикой с Мадзини, затем своей борьбой с Карлом Марксом, Бакунин отказался от продолжения издания этого труда, который одно время был так близок его сердцу и о котором он сказал Огареву, что это „его завещание“.

Одиннадцать лет спустя, в 1882 г., шесть лет после смерти Бакунина, листки 149—247 рукописи (за исключением потерянных листков 211—213) были напечатаны в Женеве заботами Карло Кафиеро и Элизе Реклю, под заглавием их собственного изобретения: *„Бог и Государство“*. Два издателя и не подозревали, что листки, озаглавленные

*) Выпускаем ряд примеров чудовищных опечаток. (*Прим. пер.*).

**) Содержание листков 139—210 этой рукописи было набрано в Женеве в кооперативной типографии, но не должно было войти в первый выпуск. Этот набор (оставшийся неиспользованным—корректурные оттиски его сохранились в бумагах Бакунина) содержал главу под названием: *Исторические Софизмы доктринерской школы немецких коммунистов.*

ими так, были отрывком того, что должно было образовать второй выпуск „*Кнуто-Германской Империи*“. Листки 248—285 еще не изданы. Бакунин написал еще, я не знаю когда именно, пятьдесят пять новых листков, помеченных 286—340, которые представляют из себя длинное примечание, относящееся к последней фразе 285 листка. Содержание этих пятидесяти пяти листков было издано в 1895 г. д-ром Максом Неттлау—под тем же заглавием „*Бог и Государство*“, которое выбрали и издатели 149—247 листков на страницах 263—326 тома, озаглавленного *Michel Bakounine: Œuvres* (Paris, Stock).

Что же касается четырнадцати листков, написанных в июне—июле 1871 г. для *Предисловия ко второму выпуску*, начало этого предисловия появилось под заглавием „*Парижская Коммуна и понятие о Государственности*“, благодаря Элизе Реклю, в Женевском „Travailleur“ („Работник“) в 1878 г.

Полное содержание 14 листков было издано затем в Париже в 1892 г., под тем же заглавием, Бернардом Лазар в „*Политических и Литературных Разговорах*“. Другая маленькая незаконченная рукопись (48 рукописных страниц), названная „*Предостережение*“ также была предназначена служить предисловием либо для второго выпуска *Кнуто-Германской Империи*, либо, скорее, ко всему труду на случай полного издания с перепечаткой первого выпуска. Она также была составлена во второй половине 1871 г., после Коммуны: она осталась неизданной.

Дж. Гильом.

1907 г.

Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция *).

29 Сентября 1870 г. Лион.

Мой дорогой друг,

Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего прости. Осторожность не позволяет мне притти еще раз пожать тебе руку. Мне больше нечего делать здесь. Я приехал в Лион, чтобы сражаться или умереть с вами. Я приехал потому, что глубоко убежден, что дело Франции снова сделалось ныне делом Человечества и что ее падение, ее порабощение режимом, который будет навязан ей прусскими штыками, было бы, с точки зрения свободы и человеческого прогресса, величайшим несчастьем, какое только может постигнуть Европу и весь мир.

Я принял участие в минувшем движении и подписал свое имя под резолюциями *Центрального Комитета Спасения Франции*, потому что для меня очевидно, что после действительного и полного разрушения всей административной и правящей машины вашей страны, для Франции не остается больше другого средства спасения, как самопроизвольные, немедленные и революционные восстания, организация и федерация ее коммун вне какой бы то ни было оффициальной опеки и руководства.

Все эти обломки прежней администрации страны, эти муниципалитеты, составленные в большей части из буржуа или обуржуазившихся рабочих; людей практической сноровки если только таковая была у них, лишенных интел-

---

*) Как видно из предисловия, заглавие напечатанное первоначально в брошюре, на этом месте, но затем исправленное в „опечатках“, было: „*Социальная Революция или военная диктатура.* Михаила *БАКУНИНА.* Женева, Кооперативная Типография, route de Carouge, 8. 1871“.

лигентности, энергии и страдающих отсутствием добросовестности: все эти прокуроры Республики, префекты, супрефекты и особенно—эти чрезвычайные комиссары, снабженные военными и гражданскими полномочиями, призрачной и роковой властью этого обломка правительства, заседающего в Туре, в час бессильной диктатуры,—все это годно лишь для того, чтобы парализовать последние усилия Франции и сдать ее Пруссакам.

Вчерашнее движение, если бы оно осталось победоносным,—а оно осталось бы таковым, если бы генерал Клюзере, слишком стремившийся угодить всем партиям, не покинул так скоро дела народа,—это движение, которое, опрокинуло бы бездарный, бессильный и на три четверти реакционный муниципалитет Лиона, заместило бы его революционным комитетом,—всемогущим, ибо он был бы не фиктивным, а непосредственным и истинным выражением народной воли; это движение, говорю я, могло бы спасти Лион, а с Лионом и Францию.

Вот уже двадцать пять дней истекло со времени провозглашения Республики, а что сделано для того, чтобы подготовить и организовать защиту Лиона? Ничего, решительно ничего!

Лион—вторая столица Франции и ключ Юга. Помимо задачи своей собственной обороны, на нем лежит двойной долг: организовать вооруженное восстание Юга и освободить Париж.

Он мог, он может еще сделать и то и другое. Если Лион восстанет, он неизбежно увлечет за собой весь Юг Франции. Лион и Марсель сделаются двумя полюсами чудовищного национального и революционного движения; движения, которое, разом поднимая деревни и города, возбудит сотни тысяч сражающихся и противопоставит по военному—организованным силам нашествия всемогущество революции.

Напротив того, для всех должно быть очевидно, что если Лион попадет в руки пруссакам, Франция безвозвратно потеряна. От Лиона до Марсели они не встретят больше препятствий. А что тогда? Тогда Франция сделается тем же чем так долго—слишком долго была Италия по отношению к вашему бывшему императору: вассалом Его Величества императора Германии. Можно ли пасть ниже?

Только Лион может уберечь Францию от такого падения и такой постыдной смерти. Но для этого нужно было

бы, чтобы Лион пробудился, чтобы он действовал, не теряя ни дня, ни мгновения. Пруссаки к несчастью, не теряют больше времени. Они разучились спать: систематические, как истые немцы, преследуя с безнадежной точностью свои искусно скомбинированные планы и присоединяя к этому классическому качеству своей расы быстроту действий, до сих пор считавшуюся исключительной принадлежностью французских войск, они решительно и более чем когда либо, угрожающе, продвигаются вперед, к самому сердцу Франции. Они идут на Лион. Что же делает Лион для своей защиты? Ничего.

И однако, с тех пор, как Франция существует, никогда еще она не находилась в более безнадежном, более ужасном положении.

Вся армия ее разрушена. Большая часть ее военного материала, благодаря честности императорского правительства и администрации, существовала лишь на бумаге, остальная же часть, благодаря их осторожности, была так хорошо запрятана в крепостях Метца и Страсбурга, что послужит, вероятно, гораздо больше вооружению наступающих пруссаков, нежели национальной обороне. Эта последняя во всех уголках Франции нуждается ныне в пушках, снарядах, ружьях, и—что еще хуже—ей не хватает денег для покупки всего необходимого. Не то чтобы буржуазия Франции испытывала нужду в деньгах. Напротив, благодаря покровительственным законам, которые позволяли ей широко эксплоатировать труд пролетариата, ее карманы хорошо набиты. Но деньги буржуа отнюдь не патриотичны и упорно предпочитают в настоящее время эмиграцию, и даже насильственную реквизицию пруссаками, риску быть призванными содействовать спасению отечества в опасности. Наконец, я должен сказать, что у Франции нет больше админстрации. Та, что существует еще и которую правительство Национальной обороны имело преступную слабость удержать, есть лишь бонапартистская машина, созданная для специального обслуживания разбойников Второго Декабря. Она, как я уже сказал в другом месте, способна не организовать, но лишь до конца предать Францию и выдать ее пруссакам.

Лишенная всего, что составляет могущество Государств, Франция уже больше не государство. Это — огромная страна, богатая, интеллигентная, исполненная возможностей и природных сил, но совершенно дезорганизованная и осуж-

денная, при всей этой ужасной дезорганизации, защищаться против самого убийственного нашествия, какое только когда либо обрушивалось на нацию. Что она может противопоставить Пруссакам? Одну лишь внезапную организацию огромного народного востания, *Революцию*.

Здесь я слышу всех сторонников общественного порядка во что бы то ни стало, доктринеров, адвокатов, всех этих эксплоататоров в желтых перчатках буржуазного республиканства и даже изрядное количество так называемых представителей народа, как например ваш гражданин Бриалу, перебежчиков от народного дела, которых жалкое, вчера рожденное честолюбие, сегодня толкает в стан буржуазии;—я слышу, как они восклицают:

„Революция! Подумайте, ведь это было бы верхом несчастия для Франции! Это было бы междуусобным раздором, гражданской войной в виду давящего, уничтожающего нас врага! Самое абсолютное доверие правительству Национальной обороны; полнейшее послушание военным и гражданским чиновникам, коих оно облекло властью; самый тесный союз между гражданами самых различных политических, религиозных и социальных воззрений, между всеми классами и всеми партиями, — вот единственное средство спасти Францию!“.

Доверие порождает единение, а единение создает силу, вот истины, которых, конечно, никто не будет пытаться отрицать. Но, чтобы это были истины, необходимы две вещи: нужно, чтобы доверие не было глупостью и чтобы единение, одинаково искреннее со стороны всех, не было самообманом, ложью или лицемерной эксплоатацией одной партии другою. Нужно, чтобы все об'единяющиеся партии, совершенно забывая — конечно, не навсегда, но на все время, пока будет длиться их союз — свои частные и необходимо противоположные интересы, — интересы и цели, разделяющие их в обычное время, в равной мере были поглощены преследованием общей цели. Иначе что произойдет? Искренняя партия поневоле сделается жертвой и будет одурачена тою, которая будет менее искренней или совершенно неискренней. Она увидит себя принесенной в жертву не ради торжества общего дела, но в ущерб этому делу и ради исключительной выгоды партии, которая сумеет лицемерно эксплоатировать этот союз.

Разве не необходимо для того, чтобы единение было действительно возможным, чтобы по крайней мере цель, во

имя которой партии должны об'единиться, была одна и та же. А так-ли это ныне? Можно ли сказать, что буржуазия и пролетариат хотят абсолютно одного и того же? Отнюдь нет!

Рабочие Франции хотят спасения Франции любою ценою: даже если бы для спасения ее пришлось бы из Франции сделать пустыню, взорвать все дома, разрушить и сжечь все города, разорить все, что так дорого буржуа: собственность, капиталы, промышленность и торговлю. Одним словом превратить целую страну в одну огромную могилу, чтобы похоронить пруссаков.

Они хотят войны до последней крайности, варварской войны на ножах, если нужно. Не имея никаких материальных благ для принесения в жертву, они отдают свою жизнь. Многие из них и именно — большая часть тех, кто состоит членом Международной Ассоциации Рабочих, вполне сознают высокую миссию, выпавшую ныне на долю пролетариата Франции. Они знают, что если Франция падет, дело человечества в Европе погибнет по крайней мере на полвека. Они знают, что они ответственны за спасение Франции не только перед Францией, но перед целым миром.

Эти идеи распространены, конечно, лишь среди наиболее передовых рабочих, но все рабочие Франции, без всякого различия, инстинктивно понимают, что порабощение их страны под иго пруссаков было было бы смертью их надежд на будущее. И они решились скорее умереть, чем завещать своим детям существование жалких рабов. Они хотят следовательно, спасения Франции любой ценой и во что бы то ни стало.

Буржуазия, или по меньшей мере громадное большинство этого почтенного класса, хочет совершенно противоположного. Что ей важнее всего, так это сохранность, во что бы то ни стало, ее домов, ее собственности и ее капиталов. Не столько целостность национальной территории, сколько целость ее карманов, наполненных благодаря труду пролетариата, эксплоатировавшегося ею под сенью национальных законов. В глубине души своей, не смея публично признаться в этом, она хочет, следовательно мира во что бы то ни стало, хотя бы пришлось купить его ценою уменьшения, упадка и порабощения Франции.

Но если буржуазия и пролетариат Франции преследуют не только различные, но и абсолютно противоположные цели, каким чудом действительный и искренний союз

мог бы установиться между ними? Ясно, что, столь рьяно проповедуемое соглашение всегда останется чистейшей ложью. Ложь убила Францию. Неужели надеются, что ложь же вернет ей жизнь? Сколько бы не осуждали рознь, она не перестанет фактически существовать. А раз она существует, раз самою силою вещей она должна существовать, было бы мальчишеством, скажу даже больше, было бы гибельно с точки зрения спасения Франции игнорировать ее, отрицать ее, совершенно не признавать открыто ее существование. Итак, раз спасение Франции призывает вас к единению, забудьте, принесите в жертву все ваши интересы, все ваши честолюбия и все ваши личные разделения. Забудьте и принесите в жертву, на сколько возможно будет сделать это, все партийные разногласия. Но во имя этого самого спасения, остерегайтесь всяких иллюзий, ибо в нынешнем положении вещей иллюзии смертельны. Ищите союз, лишь с теми, кто так же серьезно, так же страстно, как вы сами, хочет спасти Францию *любою ценою*.

Когда идут навстречу огромной, опасности, не лучше ли идти в малом количестве, с полной уверенностью не быть покинутым в момент борьбы, нежели тащить за собой целую толпу ложных союзников, которые предадут вас при первой же стычке?

—

С дисциплиной и доверием дело обстоит так же, как и с единением.

Все эти прекрасные вещи, когда они направлены надлежащим образом. Но они пагубны, когда ими наделяют незаслуживающих их людей. Страстный поклонник свободы, я признаюсь, что отношусь с большим недоверием к тем, у кого слово дисциплина не сходит с языка. Она в высшей степени опасна, особенно во Франции, где дисциплина чаще всего означает, с одной стороны — деспотизм с другой,—автоматизм. Во Франции мистический культ власти любовь к командованию и привычка подчиняться командованию разрушили в обществе, равно как и в огромном большинстве индивидов всякое чувство свободы, всякую веру в самопроизвольный и живой порядок, который создать может одна лишь Свобода. Скажите им о свободе и они сейчас же завопят об анархии. Ибо им кажется, что едва перестанет действовать дисциплина государства, всегда угнетающая и насильственная, все общество должно задаться междоусобной бранью и рухнуть. В этом то и кроется

секрет поразительного рабства, которое французское общество переносит с того времени, как оно произвело свою Великую Революцию. Робеспьер и Якобинцы завещали ему культ дисциплины Государства. Этот культ, вы его обрящете целиком во всех ваших буржуазных республиканцах —оффициальных и оффициозных,—а он то и губит ныне Францию.

Он ее губит, парализуя единственный источник и единственное средство освобождения, остающиеся для нее; свободное приложение народных сил. Он губит ее также, заставляя ее искать свое спасение во власти и призрачном действии государства, которое ныне представляет собою лишь тщетные деспотические претензии, сопровождаемые абсолютным бессилием.

При всей своей враждебности к тому, что во Франции зовется дисциплиной, я признаю тем не менее, что известная дисциплина, не автоматическая, но добровольная и продуманная, прекрасно согласуемая со свободой индивидов необходима и всегда будет необходима когда многие индивиды, свободно об'единившись, предпримут какую нибудь работу или какие либо коллективные действия. При таких условиях такая дисциплина ни что иное, как добровольное и обдуманное согласование всех индивидуальных условий, направленных к общей цели.

В момент действия, в разгар борьбы, роли, конечно, распределяются, сообразно способностям каждого, оцененным и выясненным целым коллективом: одни управляют и распоряжаются, другие исполняют распоряжения. Но никакая роль не окаменевает, не закрепляется и не остается неотъемлемой принадлежностью кого бы то ни было. Иерархический строй и повышения не существуют, так что вчерашний распорядитель, сегодня может сделаться подчиненным. Никто не возвышается над другими, или, если возвышается, то лишь для того, чтобы немного спустя, снова пасть подобно морской волне, вечно возвращаясь к спасительному уровню равенства.

В этой системе, в сущности, нет больше власти. Власть растворяется в коллективе и делается действительным выражением свободы каждого, верным и серьезным осуществлением воли всех: каждый повинуется лишь потому, что дежурный начальник приказывает ему лишь то, чего он сам хочет.

Вот истинно человеческая дисциплина, дисциплина не-

обходимая для организации свободы. Совсем не такова дисциплина, проповедуемая вашими республиканскими государственными людьми. Они хотят старой французкой дисциплины, автоматической, рутинной, слепой.

Начальник — не выбранный свободно и лишь на один день, но навязанный Государством надолго, если не навсегда, — приказывает и нужно подчиняться. Спасение Франции, говорят вам они, и даже свобода Франции, возможна лишь этой ценою. Пассивное повиновение — основа всех деспотизмов, будет, следовательно, также краеугольным камнем, на коем вы будете основывать вашу республику.

Но если мой начальник приказывает мне обратить оружие против этой самой республики или выдать Францию Пруссакам, должен я повиноваться ему или нет? Если я буду ему повиноваться, я предам Францию; а если ослушаюсь, я нарушу, разобью дисциплину, которую вы хотите мне навязать, как единственное средство спасения для Франции.

И не говорите, что эта дилемма, которую я прошу вас разрешить, праздная дилемма. Нет, она животрепещущей злободневности, ибо как раз над разрешением ее бьются сейчас ваши солдаты. Кто не знает, что их начальники, их генералы и громадное большинство их высших офицеров преданы душой и телом императорскому режиму? Кто не видит, что они открыто и повсюду составляют заговоры против республики? Что должны делать солдаты? Если они будут повиноваться, они предадут Францию. А если ослушаются, они разрушат то, что у вас остается от правильно организованных войск.

Для республиканцев, сторонников Государства, общественного порядка и дисциплины во что бы то ни стало, эта дилемма не разрешима. Для нас, революционеров-социалистов, она не представляет никакой трудности. Да, они должны ослушаться, они должны взбунтоваться, они должны разбить эту дисциплину и разрушить современную организацию регулярных войск, они должны во имя спасения Франции разрушить этот призрак государства, бессильный для добра, могущественный для зла. Потому что спасение Франции может притти теперь лишь от единой действительной силы, остающейся у Франции, — от Революции.

Что же сказать об этом доверии, которое вам рекомендуют ныне, как наивысшую добродетель республиканцев? Некогда, в бытность их подлинными республиканцами, они рекомендовали демократии быть недоверчивой. Впрочем, не было даже нужды советовать это: демократия недоверчива по своему положению, по природе, а также и вследствие исторического опыта: ибо во все времена она была жертвой и бывала обманута всеми честолюбцами, всеми интриганами, как целыми классами так и отдельными индивидами, которые под предлогом направления и ведения ее к надежной пристани, вечно эксплоатировали и обманывали ее. Она до сих пор только и делала, что служила ступенькой для их под'ема.

Теперь господа республиканцы от буржуазного журнализма советуют ей доверять. Но кому и чему? Кто они такие, чтобы сметь рекомендовать доверие и что они сделали, чтобы заслужить его сами? Они писали фразы слабоокрашенные республиканизмом, насквозь пропитанные узкобуржуазным духом по столько то за строчку. И сколько маленьких Оливье в зародыше между ними! Что общего между ними, корыстными и рабскими защитниками интересов имущего, эксплоатирующего класса и—пролетариатом? Разделили ли они когда-нибудь страдания рабочего люда, к которому осмеливаются пренебрежительно обращать свои выговоры и советы? Сочувствовали ли хотя бы они этим страданиям? Защищали ли они когда-нибудь интересы и права работников от буржуазной эксплоатации? Наоборот, всякий раз, как великий вопрос века, экономический вопрос бывал поставлен, они становились апостолами буржуазной доктрины, осуждающей пролетариат на вечную нищету и на вечное рабство, в пользу свободы и материального процветания привиллегированного меньшинства.

Вот каковы люди, считающие себя вправе рекомендовать народу доверие. Посмотрим же, кто заслуживал и кто заслуживает ныне доверия?

Не буржуазия ли?—Но, не говоря даже о реакционном бешенстве, которое этот класс выказал в июне 1848 и об угодливой и раболепной подлости, доказательства коей она давала двадцать пять лет подряд, во время президентства, равно как и царствования Наполеона III: не говоря о безжалостной эксплоатации, при помощи которой они перевели в свои карманы весь продукт народного труда,

оставив едва самое необходимое несчастным наемникам; не говоря о ненасытимой жадности и о той жестокой и подлой скупости, которые, основывая все процветание буржуазного класса на нищете и на экономическом рабстве пролетариата, делают этот класс непримиримым врагом народа,—посмотрим, каковы могут быть *нынешние* права этой буржуазии на доверие народа?

Несчастия Франции не переродили ли ее разом? Не стала ли она снова истинно-патриотической, республиканской, демократической, народной и революционной?

Выказала ли она расположение подняться массами и отдать свою жизнь и свой кошелек для спасения Франции? Раскаялась ли она в своих прежних несправедливостях, в своих бесчестных недавних изменах и бросилась ли она снова откровенно в объятия народа, полная доверия к нему? Не встала ли она в сердечном порыве, во главе народа, чтобы спасти страну?

Мой друг, не правда ли,—достаточно поставить эти вопросы, чтобы при виде того, что происходит ныне, быть вынужденным ответить на них отрицательно.

Увы! буржуазия отнюдь не изменилась, не исправилась, не раскаялась. Ныне, как вчера и даже больше, чем вчера, выведенная на чистую воду обличительным светом, который события бросают как на людей, так и на вещи, она выказала себя черствой, эгоистической, жадной, узкой, глупой, одновременно грубой и раболепной, свирепой, когда она считает возможным быть таковой без большой опасности для себя, как в скверной памяти июньские дни, всегда распростертою ниц перед властью и публичной силой, от которой она ждет своего спасенья, и—врагом народа всегда и во чтобы то ни стало.

Буржуазия ненавидит народ по причине всего того зла, которое она сделала ему; она ненавидит его потому, что видит в нищете, невежестве и рабстве этого народа свое собственное осуждение, ибо она знает, что она слишком заслужила народный гнев и потому что она чувствует себя угрожаемой во всем своем существовании этим гневом, который день ото дня становится более напряженным и более раздраженным. Она ненавидит народ потому, что он страшен ей: она его ненавидит ныне вдвойне, потому что единственный искренний патриот, разбуженный от своего оцепенения несчастьем Франции, которая, впрочем, как и все отечества мира, была лишь мачехой для него,

народ—осмелился подняться. Он сознает себя подсчитывает свои силы, организуется, начинает говорить громко, петь *Марсельезу* на улицах и производимым им шумом, угрозами, которые он уже бросает по адресу изменников Франции, нарушает общественный порядок, смущает нечистую совесть и лишает спокойствия господ буржуа.

Доверие приобретается лишь доверием. Оказала ли буржуазия хоть малейшее доверие к народу? Далеко нет! Все, что она сделала, все, что она делает, доказывает, напротив того, что ее недоверчивость к нему, переходит всякие пределы. До такой степени, что в момент, когда интерес и спасенье Франции с очевидностью требует, чтобы весь народ был вооружен, она не хотела дать ему оружие.

Когда народ пригрозил взять его силою, она должна была уступить. Но выдав ему ружья, она сделала все возможные усилия, чтобы не дать ему патронов. Она должна была еще раз уступить. И вот теперь когда народ вооружен, он сделался от этого лишь более опасным и более ненавистным в глазах буржуазии.

По причине ненависти к народу и страха перед ним буржуазия отнюдь не хотела и не хочет республики. Не забудем никогда, дорогой друг: в Марселе, Лионе, Париже, во всех крупных городах Франции отнюдь не буржуазия, но народ, рабочие провозгласили республику. В Париже это даже были не мало ревностные, неустойчивые республиканцы Законодательного Корпуса, ныне почти все— члены правительства Национальной Обороны; это были рабочие кварталов Виллет и Бельвиль, которые провозгласили ее против желания и ясно выраженного намерения этих своеобразных вчерашних республиканцев. Красный призрак, знамя революционного социализма, преступление, совершенное господами буржуа в июне, заставили их потерять вкус к республике. Не забудем, что 4 сентября, когда рабочие Бельвиля встретили г. Гамбетта и приветствовали его возгласами: „Да здравствует Республика!“, он ответил им такими словами: „Да здравствует Франция, *говорю я вам*“.

Г. Гамбетта, как и все другие, отнюдь не хотел республики. Революции он хотел еще меньше. Мы знаем впрочем это по всем речам, произнесенным им с тех пор, как его имя привлекло к нему внимание публики. Г. Гамбетта очень хочет называться государственным человеком, *умным*, *умеренным*, *консервативным*, *рациональным* и *позити-*

питским республиканцем *), но он в ужасе перед революцией. Он хочет управлять народом, но отнюдь не быть управляемым им. Поэтому не направлялись ли 3 и 4 сентября все усилия г. Гамбетта и его коллег радикальной левой Законодательного Корпуса к одной единственной цели: избежать всеми силами установления правительства, исшедшего из народной революции. В ночь с 3 на 4 сентября, они употребили неслыханные усилия, чтобы заставить бонапартистскую правую и Министерство Паликао принять проект г. Жюля Фавра, представленный накануне и подписанный всей радикальной левой; проект, который требовал ни больше, ни меньше, как установления *Правительственной Комиссии*, легально назначенной Законодательным Корпусом, соглашаясь даже на то, чтобы бонапартисты были в ней в большинстве и не ставя другого условия, кроме вхождения в эту комиссию нескольких членов радикальной левой.

Все эти махинации были разбиты народным движением, которое вспыхнуло вечером 4 сентября. Но даже в разгаре восстания рабочих Парижа, в то время, как народ наводнил трибуны и залу Законодательного Корпуса, г. Гамбетта, верный своей мысли систематически-антиреволюционной, рекомендовал еще народу хранить молчание и уважать *свободу прений* (!), *чтобы не могли сказать, что правительство, которое должно было быть избрано голосованием Законодательного Корпуса, составлено под насильственным давлением народа.*

Как истый адвокат, сторонник легальной фикции во что бы то ни стало, г. Гамбетта думал, без сомнения, что правительство, которое будет назначено этим Законодательным Корпусом, вышедшим из императорского подлога и заключающим в своих недрах самые примечательные бесчестия Франции, было бы в тысячу раз более внушительно и более почтенно, чем правительство, приветствуемое отчаянием и негодованием проданного народа. Эта любовь к конституционной лжи до такой степени ослепила г. Гамбетту, что он, несмотря на весь свой ум, не понял, что никто не смог бы и не захотел бы верить в свободу голоса, имевшего место при подобных обстоятельствах. К счастью, бонапартистское большинство, перепуганное все более и более угрожающими проявлениями народного гнева и пре-

*) См. письмо в *Progrès de Lyon*. (Примеч. Бакунина).

зрения, разбежалось; и г. Гамбетта, оставшись в зале Законодательного Корпуса один со своими коллегами радикальной левой, увидел себя вынужденным, конечно, против своей воли, отказаться от своей мечты о легальной власти и примириться с тем, что народ передал в руки этой левой власть революционную. Я скажу сейчас, какое жалкое употребление сделал он и его коллеги в течение четырех недель, истекших с 4 сентября из этой власти, доверенной им народом Парижа для того, чтобы они вызвали во всей Франции спасительную революцию, но которою до сего времени они пользовались напротив, лишь для того, чтобы повсюду парализовать революцию.

В этом отношении г. Гамбетта и все его коллеги по Правительству Национальной Обороны были лишь слишком верным выражением чувств и преобладающей мысли буржуазии. Соберите всех буржуа Франции и спросите их, что они предпочитают: освобождение их отечества Социальною Революциею—а иной революции, кроме социальной, в настоящее время быть не может,—или же порабощение его под игом пруссаков? Если они осмелятся быть искренними, лишь бы они находились в положении, которое позволило им без риска высказать всю их мысль, девять десятых... что я говорю! девяносто девять сотых или даже девятьсот девяносто девять тысячных, ответят вам, не колеблясь, что революции они предпочитают порабощение. Спросите их еще: в случае, если бы для спасения Франции оказалось необходимым пожертвовать значительной частью их собственности, их благ, их движимого и недвижимого имущества, чувствуют ли они себя расположенными к такой жертве? Или же, употребляя риторическую фигуру г. Жюля Фавра, они действительно готовы скорее быть погребенными под развалинами своих вилл и домов, нежели отдать их пруссакам? Они вам единодушно ответят, что они предпочитают выкупить их у Пруссаков. Думаете ли вы, что если бы парижские буржуа не находились на глазах и под рукой—всегда угрожающей—парижских рабочих, Париж оказал бы Пруссакам столь славное сопротивление?

Не клевещу ли, однако, я на буржуазию?

Дорогой друг, вы хорошо знаете, что нет. И к тому же, теперь существует, очевидное и ясное, неотразимое доказательство истинности, справедливости всех моих обвинений против буржуазии. Недобросовестность и равнодушие

буржуазии слишком ярко проявились в денежном вопросе. Всем известно, что финансы страны раззорены; что нет ни одного су в кассах того самого правительства Национальной Обороны, которое господа буржуа будто бы поддерживают теперь так ревностно и горячо. Все понимают, что это правительство не может наполнить кассы обычными способами займов и налогов. Непризнанное правительство не может найти кредита; что же касается дохода от налогов, доход этот сведен к нулю. Часть Франции, включающая в себя наиболее промышленные, наиболее богатые провинции, занята пруссаками и систематически ими грабится. Повсюду в других местах торговля, промышленность, все деловые сделки остановились. Косвенные налоги не дают больше ничего или почти ничего. Прямые налоги уплачиваются с безграничными трудностями и безнадежной медленностью. И все это в такой момент, когда Франция нуждалась бы во всех своих рессурсах и во всем своем кредите, чтобы оплачивать чрезвычайные, неисчислимые, гигантские расходы национальной обороны. Самые неопытные в делах люди должны понять, что если Франция не найдет немедленно денег, большого количества денег, ей невозможно будет продолжать свою защиту против нашествия Пруссаков.

Лучше, чем кто бы то ни было, должна понять это буржуазия, проводящая всю жизнь в возне с делами и не признающая иного могущества, кроме денежного. Она должна также понять, что, так как Франция не может больше добыть себе всех необходимых для своего спасения денег обычными для государства средствами, она вынуждена,— это ее право и обязанность,—брать их там, где они имеются. А где же они имеются? Конечно, не в карманах несчастного пролетариата, которому буржуазная скупость едва оставляет чем питаться; следовательно —единственно, исключительно в несгораемых шкафах господ буржуа. Они одни обладают деньгами, необходимыми для спасения Франции. Предложили ли они свободно, по собственному почину, хотя бы малую часть своих капиталов?

Я возвращусь еще, дорогой друг, к денежному вопросу, являющемуся главным вопросом, когда нужно оценить искренность чувств, принципов и патриотизма буржуа. Общее правило: хотите вы безошибочно узнать, серьезно ли хочет буржуа того или иного? Спросите, готов ли он для достижения этого на денежную жертву. Ибо будьте

уверены, когда буржуа страстно хочет чего нибудь, он не отступит ни перед какой денежной жертвой. Не затратили ли они безграничные суммы, чтобы убить, задушить республику 1848 г.? И позже не вотировали ли они с увлечением все налоги и займы, предложенные Наполеоном III и не нашли ли они в своих несгораемых ящиках баснословные суммы, чтобы подписаться на все эти займы? Наконец предложите им, укажите им способ восстановить во Франции хорошую монархию—весьма реакционную, весьма сильную, которая вернула бы им, вместе с дорогим общественным порядком и спокойствием улиц, экономическое господство, ценную привиллегию эксплоатировать нищету пролетариата без жалости, без стыда, легально, систематически, и—вы увидите, останутся ли они глухи!

Обещайте им только, что, по изгнании Пруссаков с французской территории, восстановят эту монархию с Генрихом ли V, или с Дюком Орлеанским или даже с одним из отпрысков бесчестного Бонапарта и будьте уверены, их несгораемые ящики сейчас же раскроются, и они найдут там все необходимые для изгнания Пруссаков средства. Но им обещают Республику, царство демократии, власть народа, освобождение народной черни. Они совсем не хотят ни вашей республики, ни подобного освобождения и доказывают это, держа закрытыми свои сундуки и не жертвуя ни одного су.

Вы знаете лучше, чем я, дорогой друг, какова была участь несчастного займа для организации обороны Лиона, выпущенного муниципалитетом этого города. Сколько человек подписалось? Такое ничтожное количество, что сами проповедники буржуазного патриотизма почувствовали унижение, отчаяние, безутешность.

И после этого рекомендуют народу иметь доверие к буржуазии! У нее самой хватает нахальства, цинизма, просить,—что я говорю—требовать доверия! Она имеет претензию одна править и вести дела республики, которую в глубине сердца проклинает. Во имя республики она старается установить и усилить свой авторитет и свое исключительное господство, поколебленное на момент. Она завладела всеми должностями, она заполнила все места, оставив лишь некоторые для рабочих перебежчиков, которые так счастливы восседать среди господ буржуа. Какое же употребление делают они из захваченной таким образом власти? Об этом можно судить, рассматривая деяния вашего муниципалитета.

Но, мне скажут, вы не имеете права нападать на муниципалитет, ибо избранный после революции самим народом путем прямого голосования он есть создание всеобщего избирательного права! В качестве такового он должен быть священным для вас.

Признаюсь вам откровенно, дорогой друг, я не разделяю ни в малейшей мере суеверного преклонения перед всеобщим избирательным правом ваших радикальных буржуа или ваших буржуазных республиканцев. В другом письме я изложу вам причины, не позволяющие мне восторгаться им. Здесь мне достаточно принципиально установить истину, которая мне кажется неоспоримой, и которую мне не трудно будет позже доказать как путем рассуждения, так и большим количеством фактов, почерпнутых в политической жизни всех стран, пользующихся в настоящий момент республиканскими и демократическими учреждениями. А именно: *пока избирательное право будет осуществляться в обществе, где народ, рабочая масса* **экономически** *подчинены меньшинству, владеющему собственностью и капиталом, насколько бы независимым или свободным ни был или скорее ни казался народ в политическом отношении, выборы никогда не могут быть иными, как призрачными, антидемократическими и абсолютно противоположными нуждам, инстинктам и действительной воле населения.*

Не были ли все выборы, непосредственно произведенные народом Франции со времени Декабрьского переворота, диаметрально противоположными интересам этого народа, и последнее голосование императорского плебисцита не дало ли семь миллионов „да“ императору? Скажут, конечно, что при империи всеобщее голосование никогда не было свободно осуществляемо, ибо свобода прессы, союзов и собраний—основные условия политической свободы—были отменены, и беззащитный народ предоставлен развращающему воздействию субсидируемой прессы и бесчестной администрации. Пусть так. Но выборы 1848 г. в Учредительное Собрание и выборы президента, равно как и выборы в мае 1849 г. в Законодательное Собрание, были, я полагаю, абсолютно свободны. Они производились помимо какого бы то ни было давления или даже оффициального вмешательства, при соблюдении всех условий самой абсолютной свободы. И однако что они дали? Ничего кроме реакции.

„Один из первых актов Временного Правительства, говорит Прудон *), акт, за который оно себе больше всего апплодировало, это—применение всеобщего избирательного права. В самый день обнародования декрета мы писали эти самые слова, которые тогда могли сойти на парадокс: *Всеобщее избирательное право это—контр-революция.* Можно судить по событиям, ошибались ли мы. Выборы 1848 г. были произведены в подавляющем большинстве священниками, легитимистами, приверженцами династии, всем, что только имеется во Франции наиболее реакционного, наиболее отсталого. И иначе быть не могло".

Да, это не могло, и ныне в настоящий момент это еще не может быть иначе, пока неравенство экономических и социальных условий жизни будет попрежнему преобладать в общественной организации, пока общество будет попрежнему разделено на два класса, из которых один, эксплоатирующий и привилегированный, будет пользоваться всеми преимуществами состояния, образования и досуга, а другой, включающий в себя всю массу пролетариата, на свою долю будет получать лишь насильственный, убивающий ручной труд, невежество, нищету с их неизбежным спутником—рабством—не по закону, но на деле.

Да, это есть рабство, ибо, как бы широки ни были политические права, которые вы предоставляете этим миллионам наемных пролетариев, подлинных каторжников голода, вы никогда не дойдете до того, чтобы их оградить от порочного влияния, от естественного господства различных представителей привилегированного класса, начиная от священника и до самого якобинского, самого красного буржуазного республиканца: представителей, которые как бы ни казались или как бы на самом деле ни были несогласны между собою в вопросах политических, тем не менее об'единены в общем и высшем интересе: эксплоатации нищеты, невежества, политической неопытности и доверчивости пролетариата на пользу экономического господства владеющего класса.

Как мог бы противостоять интригам клерикальной, дворянской и буржуазной политики пролетариат деревни и города? Для самозащиты у него лишь одно оружие—инстинкт, который почти всегда стремится к истинному и справедливому, потому что он сам есть главная, если не единственная, жертва несправедливости и обмана, царствующих

*) *Революционные идеи.*

в современном обществе, и потому что угнетенный привилегиями он естественно требует равенства для всех.

Но инстинкт — не достаточное оружие для спасения пролетариата от реакционных махинаций привилегированных классов. Инстинкт, предоставленный самому себе, и поскольку он не превратился еще в сознательно обдуманную, ясно определенную мысль, легко дает сбить себя с пути, подменить и обмануть. Подняться же до сознания себя самого для него невозможно без помощи образования, науки; а наука, знание дел и людей, политический опыт совершенно отсутствуют у пролетариата. Последствия этого предвидеть легко: пролетариат хочет одного; а ловкие люди, пользуясь его невежеством, заставляют его делать другое, так что он даже и не подозревает, что делает совсем противоположное тому, что хочет. И когда, наконец, он замечает это, обыкновенно бывает слишком поздно исправить сделанное зло, первой и главной жертвой которого он естественно, необходимо и всегда является.

Таким то путем священники, дворяне, крупные собственники и вся эта бонапартистская администрация, которая, благодаря преступной глупости правительства, именующего себя правительством Национальной Обороны*) может спокойно продолжать ныне свою империалистскую пропаганду в деревнях; таким то путем все это творцы открытой реакции, пользуясь закоренелым невежеством французского крестьянства, стремятся поднять его против республики, в пользу Пруссаков. Увы! Они слишком преуспевают в этом. Ибо разве не видим мы коммуны, не только раскрывающие свои врата пруссакам, но еще и доносящие и изгоняющие партизанские отряды, являющиеся для их освобождения.

Разве крестьяне Франции перестали быть французами? Совсем нет. Я даже думаю, что патриотизм, взятый в наиболее узком и наиболее исключительном смысле слова, только среди них и сохранился таким могущественным и таким искренним. Ибо они больше, чем какая либо другая часть населения, обладают той привязанностью к земле, питают тот культ земли, которые составляют основную предпосылку патриотизма. Как же случилось, что они не хотят или что они колеблются еще подняться для защиты этой земли от пруссаков? О, это потому, что они были обмануты

*) Не справедливее ли было бы называть его правительством разорения Франции?

и, что их продолжают еще обманывать. При помощи Макиавелевской пропаганды, начатой в 1848 г. легитимистами и орлеанистами в согласии с умеренными республиканцами вроде г. Жюля Фавра и К-о, затем продолжаемой с большим успехом бонапартистской прессой и администрацией, их удалось убедить, что социалисты-рабочие, сторонники раздела, мечтают ни больше ни меньше, как о конфискации их земель; что один лишь император хотел защищать их против этого грабежа, и что революционеры-социалисты выдали его и его армию пруссакам из мести, но что прусский король примирился с императором и вновь введет его, победоносного, чтобы восстановить порядок во Франции.

Это очень глупо, но это так. Во многих, — что я говорю?—в большинстве французских провинций крестьянин вполне искренне верит во все это. И это даже единственное основание его инертности и его враждебности к Республике. Это большое несчастье, ибо ясно, что если деревни останутся инертными, если крестьяне Франции, соединившись с рабочими городов, не встанут массами, чтобы выгнать пруссаков, Франция потеряна. Как бы ни был велик героизм, проявляемый городами,—а в нужный момент все города его проявляют в изобилии—города, отделенные от деревень, будут изолированы, как оазисы в пустыне. Они необходимо должны пасть.

Если что доказывает в моих глазах глубокую неспособность этого своеобразного правительства Национальной Обороны, так это то, что с первого же дня, когда оно оказалось у власти, оно отнюдь не приняло немедленно же необходимых мер, чтобы просветить деревни насчет современного порядка вещей, и чтобы вызвать, чтобы возбудить повсюду вооруженное восстание крестьян. Неужели так трудно было понять эту столь простую, столь очевидную для всех истину, что от массового восстания крестьян, об'единенного с восстанием народа в городах, зависело и еще поныне зависит спасение Франции? Но сделало ли до сего дня хоть единственный шаг, предприняло ли какие либо меры правительство Парижа и Тура, чтобы вызвать восстание крестьян? Оно ничего не сделало, чтобы вызвать его, и, напротив, сделало все, чтобы это восстание стало невозможным. Таково его безумие и его преступление,—безумие и преступление, могущие убить Францию.

Оно сделало восстание деревень невозможным, поддерживая во всех коммунах Франции муниципальную администрацию Империи:—тех же самых мэров, мировых судей, полевых стражников, разумеется и попов, которые были профильтрованы, выбраны, поставлены и покровительствуемы г.г. префектами и супрефектами, равно как и императорскими епископами с единственной целью: обслуживать интересы династии, хотя бы и вопреки интересам всех и вся, и даже самой Франции. Эти самые чиновники, которые провели все выборы империи, в том числе и последний плебисцит, и которые в истекшем августе под управлением г. Шевро, министра внутренних дел в правительстве Паликао, подняли против либералов и демократов, всех оттенков в пользу Наполеона III, в тот самый момент, когда этот негодяй предавал Францию пруссакам, кровавый крестовый поход, жестокую пропаганду, распространявшую во всех коммунах клевету, столь же смешную, как и гнусную, якобы республиканцы, толкнувши императора в эту войну, об'единились теперь против него с солдатами Германии.

Таковы люди, которых правительство Национальной Обороны по своему тупоумию или равнодушию—одинаково преступному—оставило до сего дня во главе всех сельских коммун Франции. Могут ли эти люди, до такой степени скомпрометированные, что всякая перемена курса для них уже стала невозможной, могут ли они оправдаться теперь и, разом переменив направление, мнения и речи, действовать как искренние сторонники республики и спасения Франции? Да ведь крестьяне стали бы смеяться им в лицо! Они, следовательно, *вынуждены* говорить и действовать ныне, как вчера; вынуждены отстаивать и защищать интересы императора против республики, интересы династии против Франции и интересы пруссаков,—нынешних союзников императора и династии, против национальной обороны. Вот, чем об'ясняется, что все коммуны, вместо того, чтобы оказывать сопротивление пруссакам, раскрывают им свои об'ятья.

Повторяю еще раз: это великий позор, великое несчастье и огромная опасность для Франции. И вся вина за это падает на правительство Национальной Обороны. Если все пойдет тем же порядком, если в ближайшем будущем не переменят настроения деревень, если не поднимут крестьян против пруссаков,—Франция безвозвратно потеряна.

Но как их поднять? Я подробно разработал этот вопрос в другой брошюре *). Здесь я скажу об этом лишь несколько слов. Первым условием, конечно, является немедленное и массовое отозвание теперешних коммунальных чиновников, ибо пока эти бонапартисты останутся на местах, ничего нельзя будет сделать. Но это отозвание будет лишь отрицательной мерой. Она абсолютно необходима, но не достаточна. На крестьянина по природе реалиста и скептика, можно успешно воздействовать лишь средствами положительными. Достаточно сказать, что декреты и прокламации, хотя бы и подписанные всеми членами правительства Национальной Обороны—совершенно ему незнакомыми—равно как и газетные статьи, на него не производят никакого впечатления. Крестьянин не занимается чтением. Его воображение, его сердце закрыты для идей, пока они появляются в литературной или отвлеченной форме. Чтобы он мог схватить их, идеи должны выявляться ему живым словом живых людей и мощью фактов. Тогда он слушает, понимает и кончает тем, что дает себя убедить.

Следует ли послать в деревни пропагандистов, апостолов республики? Это средство было бы не плохо; только оно представляет некоторую трудность и двойную опасность. Трудность заключается в том, что правительство национальной обороны, тем более хватающееся за свою власть, что власть эта ничтожна, и верное своей несчастной системе политической централизации при таких обстоятельствах, когда эта централизация сделалась абсолютно невозможной, захочет само выбирать и назначать всех этих апостолов или поручить это своим новым префектам и чрезвычайным комиссарам. Все же они, или почти все, принадлежат к тому же политическому лагерю, как и само правительство то есть—все они или почти все—буржуазные республиканцы, адвокаты или редакторы газет, либо платонические (и такие еще лучше из них, хотя и не самые разумные), либо весьма заинтересованные поклонники республики, идею которой они усвоили не из жизни, но почерпнули из книжек, и которая сулит одним славу и мученический венец, а другим—блестящую карьеру и доходное место.

При всем том, это весьма умеренные республиканцы, *консерваторы, рационалисты и позитивисты*, вроде г. Гам-

---

*) Lettres à un Français sur la crise actuelle. Septembre 1870 (Письма к французу о современном кризисе. Сентябрь 1870).

бетты, и как таковые—ожесточенные враги революции и социализма и поклонники государственной власти во что бы то ни стало.

Эти почетные чиновники новой республики захотят разумеется, послать миссионерами в деревни лишь людей собственного закала и абсолютно разделяющих их собственные политические убеждения. Для всей Франции таковых понадобилось бы по меньшей мере несколько тысяч.

Где, чорт побери, возьмут они их? Буржуазные республиканцы ныне редки, даже среди молодежи! Так редки, что в городе, как Лион, например, их не наберется в достаточном количестве для заполнения важнейших должностей, которые должны бы быть доверены лишь искренним республиканцам.

Первая опасность заключается в следующем: если даже префекты и супрефекты нашли бы в своих департаментах, достаточное количество молодых людей, чтобы заполнить пропагандистские должности в деревнях, эти новые миссионеры неизбежно были бы почти всегда и везде ниже—и по своей революционной интеллигентности, и по энергии своего характера,—нежели сами пославшие их префекты и супрефекты, подобно тому, как эти последние ниже выродившихся и более или менее оскопленных детей великой революции, которые, замещая ныне высшие должности членов правительства национальной обороны, осмелились взять в свои слабые руки судьбы Франции.

Так, спускаясь все ниже и ниже, от ничтожеств к еще большим ничтожествам, не нашлось бы для посылки пропагандистами республики в деревни никого лучше республиканцев, вроде г. Андрие, прокурора Республики, или г. Евгения Верон, редактора *Прогресса* в Лионе, людей, которые во имя республики станут пропагандировать реакцию. Думаете ли вы, дорогой друг, что это могло бы привить крестьянам вкус к республике?

Увы, я опасаюсь обратного. Между бледными поклонниками невозможной отныне буржуазной республики и крестьянином Франции—не *позитивистом и рационалистом*, как г. Гамбетта, но человеком весьма положительным и обладающим здравым смыслом нет ничего общего. Даже если бы они были воодушевлены лучшими намерениями в мире, они увидели бы, как рушится перед лукавой замкнутостью этих грубых деревенских работников вся их литературная, доктринерская и крючкотворная реторика. Воодушевить кре-

стьянина не невозможно, но чрезвычайно трудно. Для этого следовало бы прежде всего носить в себе самом ту глубокую и могучую страсть, которая волнует души и вызывает и производит то, что в обыденной жизни, в однообразном повседневном существовании называют чудесами преданности, самопожертвования, энергии и победоносного действия. Люди 1792 и 1793 г.г. особенно Дантон, обладали этой страстью и с нею и благодаря ей обладали силой творить чудеса. Они были бесноватыми и достигли того, что сделали бесноватою всю нацию. Или, скорее, они сами были наиболее энергичным выражением страсти, воодушевлявшей всю нацию.

Среди всех нынешних и вчерашних людей, составляющих буржуазно-радикальную партию Франции, встречали ли вы или слышали ли хотя бы об одном, о ком можно было бы сказать, что он носит в самом сердце нечто, хоть немного приближающееся к той страсти и к той вере, которые воодушевляли людей Великой революции? Ни одного нет, не правда ли?

Позже я изложу вам причины, которым по моему мнению следует приписать этот прискорбный упадок буржуазного республиканизма. Я удовольствуюсь теперь констатированием и общим утверждением, которое докажу позднее, —что буржуазный республиканизм был морально и интеллектуально оскоплен, сделан глупым, бессильным, лживым, подлым, реакционным и в качестве такового окончательно выкинут с исторической арены появлением революционного социализма.

Мы изучали вместе с вами, дорогой друг, представителей этой партии в самом Лионе. Мы видели их за работой. Что они говорили, что они делали, что они делают среди ужасного кризиса, угрожающего поглотить Францию? Всего лишь жалкую, маленькую реакцию! Они не осмеливаются еще делать большую. Две недели достаточны были для них, чтобы показать Лионскому народу, что республиканские и монархические властители различаются лишь по имени. Тоже ревнивое оберегание власти, презирающей и боящейся народного контроля, то же недоверие к народу, таже снисходительность и те же поблажки для привилегированных классов. И однако г. Шальмель-Лакур, префект и ныне, благодаря низкопоклонной подлости Лионского муниципалитета, диктатор этого города, — задушевный друг г-на Гамбетты, его любимый избранник, конфиденциальный

делегат и верный выразитель самых интимных мыслей этого великого республиканца, этого *homme viril* (мужественного человека), от которого Франция наивно ждет ныне своего спасения. И однако, г. Андрие, нынешний прокурор Республики и прокурор действительно достойный этого имени, ибо обещает скоро превзойти своим ультраюридическим рвением и своей неизмеримой любовью к общественному порядку самых ревностных прокуроров империи,—г. Андрие выставлял себя при предыдущем режиме свободомыслящим, фанатическим врагом попов, преданным сторонником социализма и другом Интернационала. Я думаю даже, что незадолго до падения империи ему выпало особое счастье быть заключенным в тюрьму в качестве такового, и он был извлечен оттуда победоносным народом.

Как случилось, что эти люди изменились, и что—вчерашние революционеры—они сделались ныне такими решительными реакционерами? Результат ли это удовлетворенного честолюбия? Не было ли это потому, что получив благодаря народной революции достаточно прибыльные, достаточно высокие теплые местечки, они больше всего стараются сохранить их за собой? Ах, конечно, честолюбие и корысть являются сильными мотивами, и они развратили многих, но я не думаю, чтобы пребывание у власти в течение двух недель было достаточно, чтобы развратить души этих новых чиновников Республики. Обманывали ли они народ, когда представлялись ему при империи как сторонники революции? Откровенно говоря я не могу этому поверить. Они сами обманывались насчет самих себя, воображая себя революционерами. Они приняли свою ненависть очень искреннюю хотя не очень страстную и энергичную к империи за горячую любовь к революции, и построив себе такую иллюзию относительно самих себя, они не догадывались, что они являются партизанами революции и реакционерами в то же самое время.

„Реакционная идея“ сказал Прудон:*) — „пусть народ не забывает этого,—зародилась в недрах республиканской партии“. И далее он прибавляет, что первоисточником этой мысли является „ее (партии) *правительственное рвение*“, крючкотворное, мелочное, фанатическое, полицейское и тем более деспотическое, что оно считает все себе позволенным,

---

*) „Общая идея Революции“

так как ее деспотизм всегда имеет предлогом самое спасение республики и свободы.

Буржуазные республиканцы совершенно ошибочно отожествляют *свою* республику со свободой. В этом главный источник всех их иллюзий, когда они находятся в оппозиции, их разочарований и их непоследовательностей, когда они получают власть в свеи руки. Их республика всецело основана на этой идее власти и сильного правительства, правительства, которое должно выказать себя тем энергичнее и могущественее, что оно поставлено народным избранием. И они не хотят понять такой простой истины, подтвержденной опытом всех времен и всех стран, что всякая власть, организованная, установленная, воздействующая на народ, необходимо исключает свободу народа. Так как политическое государство не имеет иного назначения, кроме как покровительствовать эксплоатации экономически привилегированными классами народного труда, то и государственная власть может быть совместима лишь исключительно с свободой этих классов, интересы которых оно представляет, и по той же самой причине оно должно быть враждебно свободе народа. Кто говорит, государство или власть, тот говорит господство. Но всякое господство предполагает существование масс, над которыми господствуют. Государство, следовательно, не может иметь доверия к самодеятельности и к свободному движению масс, самые заветные интересы коих противны его существованию. Оно их естественный враг, их обязательный угнетатель, и—остерегаясь всеми мерами от признания этого, оно должно всегда действовать, как таковое.

Вот, чего не понимает большая часть молодых сторонников авторитетной или буржуазной республики, поскольку они остаются в опозиции, пока они еще сами не отведали власти. До глубины сердец презирая со всей страстностью своих бледных ублюдочных, изнервничавшихся натур монархический деспотизм, они воображают, что ненавидят деспотизм вообще. Желая иметь силу и храбрость, чтобы низвергнуть трон, они считают себя революционерами. И они не подозревают, что ненавидят вовсе не деспотизм, но лишь его монархическую форму, и что этот самый деспотизм, едва лишь он примет республиканскую форму, найдет в них самых наиболее ревностных приверженцев.

Они не знают, что деспотизм заключается не столько *в форме* государства и власти, сколько в самом *принципе*

государства и политической власти, и что, следовательно республиканское государство должно быть по своей сущности так же деспотично, как и государство, управляемое государем или королем. Между этими двумя государствами имеется лишь одно действительное различие. Оба одинаково имеют своей главной основой и целью экономическое порабощение масс в пользу владеющих классов. Разница же между ними та, что для достижения этой цели монархическая власть, которая в наши дни повсюду стремится превратиться в военную диктатуру, не допускает свободы ни одного класса, ни даже того, которому она покровительствует в ущерб народу. Она очень хочет и вынуждена служить интересам буржуазии, но не позволяет ей сколько нибудь серьезно вмешиваться в управление делами страны.

Когда эта система осуществляется неопытными или слишком нечестными руками, или когда она ставит в слишком наглядную оппозицию интересы династии с интересами эксплоататоров промышленности и торговли страны, как это только что случилось во Франции, она может сильно скомпрометировать интересы буржуазии. Она представляет собою другую невыгоду, очень серьезную с точки зрения буржуа: она задевает их тщеславие и их гордость. Правда, она защищает их и предлагает им, с точки зрения эксплоатирования народного труда, совершенную безопасность, но в то же время она их унижает, ставя слишком узкие границы их мании резонировать, и когда они осмеливаются протестовать, она с ними не церемонится. Естественно, это нервирует наиболее пылкую и, если хотите, наиболее великодушную и наименее рассуждающую партию буржуазного класса. И таким путем в среде его формируется из ненависти к этому угнетению буржуазно-республиканская партия.

Чего хочет эта партия? Уничтожения государства? Прекращения официально покровительствуемого и гарантируемого государством эксплоатирования народных масс? Действительной и полной эмансипации всех посредством экономического освобождения народа? Совсем нет. Буржуазные республиканцы—самые отчаянные и самые страстные враги социальной революции. В моменты политического кризиса, когда они нуждаются в мощных руках народа, чтобы низвергнуть трон, они действительно снисходят до обещания материальных улучшений этому, *столь заслуживающему интереса* классу работников; но так как в то же время они воодушевлены самой твердой решимостью сохранить и под-

держать все принципы, все *священные основы* современного общества. все эти экономические и юридические институты необходимым следствием которых является действительное рабство народа, то их обещания рассеиваются, конечно, всегда, как дым. Народ, разочарованный, ропщет, угрожает, бунтует, и тогда, чтобы сдержать взрыв народного недовольства, они видят себя вынужденными,—они, буржуазные революционеры,—прибегнуть к всемогущей репрессии государства. Отсюда следует, что республиканское государство совершенно также угнетает, как и государство монархическое. Только оно угнетает отнюдь не владеющие классы но лишь народ.

Поэтому, никакая форма правительства не является столь благоприятной интересам буржуазии и столь же любимою этим классом, как республика, если бы только она имела силы удержаться при современном экономическом положении Европы против все более и более угрожающих социалистических вожделений рабочих масс. Следовательно буржуазия опасается совсем не доброты республики, которая целиком ей на пользу, но ее недостаточной мощи, как государства, или ее способности удержаться и защищатся против бунтов пролетариата. Нет буржуа, который не сказал бы вам: „Республика—прекрасная вещь, к несчастью она невозможна; она не может долго существовать, ибо никогда не найдет в себе необходимой силы, чтобы стать серьезным почтенным государством, способным заставить уважать себя и внушить массам почтение к нам". Обожая республику платонически, но сомневаясь в ее возможности или по меньшей мере в ее длительности, буржуа всегда, следовательно, стремится стать под защиту военной диктатуры, которую он презирает, которая его оскорбляет, унижает и которая рано или поздно кончает тем, что разоряет его, но которая все таки доставляет ему все условия силы спокойствия на улицах и общественного порядка.

Это роковое предпочтение огромного большинства буржуазии к режиму штыка приводит в отчаяние буржуазных республиканцев. Поэтому они делали и делают как раз ныне *„сверхчеловеческие“* усилия, чтобы заставить его полюбить республику, чтобы доказать ему, что отнюдь не вредя интересам буржуа, она напротив того, будет вполне благоприятна им, или что то-же—что она всегда будет противна интересам пролетариата, и что она будет обладать необходимой силой для внушения народу уважения к законам,

гарантирующим спокойное экономическое и политическое господство буржуазии.

Такова ныне главная забота всех членов правительства Национальной Обороны, точно также как и всех префектов супрефектов, адвокатов Республики и генеральных комиссаров, делегированных ими в департаменты. Это делается не столько ради защиты Франции от нашествия пруссаков сколько для того, чтобы доказать буржуа, что они, республиканцы и настоящие обладатели государственной власти имеют всю добрую волю и всю желательную власть, чтобы сдержать бунты пролетариата. Встаньте на такую точку зрения, и вы поймете все иначе необ'яснимые поступки этих своеобразных защитников и спасителей Франции.

Воодушевленные таким духом и преследуя такую цель, они поневоле катятся к реакции. Как могли бы они делать и вызывать революцию, даже тогда, когда революция—как это очевидно ныне—единственное средство спасения Франции? Как они, носящие в себе оффициальную смерть и паралич всякого народного действия, разнесли бы движение и жизнь по деревням? Что могли бы они сказать крестьянам чтобы поднять их против вторжения пруссаков, перед лицом всех этих бонапартистских попов, мировых судей, мэров и полевых стражников, уважать которых заставляет их безудержная любовь к общественному порядку, и которые с утра до вечера, вооруженные влиянием и несравненно большею способностью действовать, чем они сами, ведут и будут продолжать вести в деревнях совершенно противоположную пропаганду. Попытаются ли они тронуть крестьян фразами когда все факты будут опровергать эти фразы?

Знайте же, крестьянин ненавидит всякое правительство Он терпит его из осторожности; он регулярно выплачивает налоги и терпит, когда берут его сыновей в солдаты, потому что не видит, как он мог бы сделать иначе. И он не желает содействовать никакой перемене правительства, потому что говорит себе, что все правительства стоят друг друга, и что новое правительство, как бы оно ни называлось, не будет лучше прежнего; а также и потому, что хочет избежать риска и расходов, связанных с бесполезной переменой. Впрочем, из всех режимов республиканское правительство наиболее ненавистно для него, ибо напоминает ему во-первых, добавочные сантимы 1848 г. и затем потому что в течение двадцати лет не переставая республику чернили и ругали в его глазах. Она для него—пугало, потому

что отождествляется с режимом сплошного насилия, и притом она не дает ему никакой выгоды, а наоборот связана с материальным разрушением. Республика для него—это царство того, что он ненавидит больше всего—диктатуры адвокатов и городских буржуа и, выбирая между диктатурами, он имеет „дурной вкус“ предпочитать диктатуру штыка.

Как же надеяться в таком случае, что *официальные* представители республики смогут склонить крестьянина к республике? Когда он почувствует себя сильнее, он посмеется над ними и прогонит их из своей деревни. А когда он окажется слабейшим, он замкнется в самом себе—молча и инертно. Посылать буржуазных республиканцев, адвокатов редакторов газет в деревни, чтобы вести там пропаганду в пользу республики, было бы следовательно смертельным ударом для республики.

Но что же в таком случае делать? Есть только одно средство, это—революционизировать деревни точно так же как и города. А кто может сделать это? Единственный класс который действительно, открыто носит ныне в своих недрах революцию, есть класс городских рабочих.

Но как рабочие возьмутся за революционизирование деревень? Пошлют ли в каждую деревню отдельных рабочих в качестве апостолов республики? Но где они возьмут деньги, необходимые на покрытие расходов этой пропаганды? Правда, г.г. префекты, супрефекты и генеральные комиссары могли бы послать их за счет государства. Но тогда эти посланцы не были бы больше делегатами рабочего мира, но делегатами Государства, что коренным образом изменило бы характер, роль и самое содержание их пропаганды уже не революционной, но поневоле реакционной. Ибо первое, что они вынуждены были бы делать, это—внушить крестьянам доверие ко всем вновь установленным или сохраненным республикой властям; следовательно также доверие к властям бонапартистским, зловредная деятельность коих продолжает еще тяготеть над деревнями. Впрочем очевидно, что г.г. супрефекты, префекты и генеральные комиссары, согласно естественному закону, заставляющему каждого предпочитать то, что соответствует, а не противоположно его природе, выбрали бы для выполнения этой роли пропагандистов республики рабочих наименее революционных, наиболее послушных или наиболее угодливых. Это опять была бы реакция под рабочим флагом. А мы

сказали, что только революция может революционизировать деревни.

Наконец, следует прибавить, что индивидуальная пропаганда, будь она даже производима самыми революционными в мире людьми, не сможет оказать слишком большого влияния на крестьян. Красноречие совсем не очаровывает их, и слова, когда они не являются проявлением силы и не сопровождаются немедленно делами, остаются для них лишь словами. Рабочий, который один выступил бы с речью в деревне, сильно рисковал бы быть поднятым на смех и изгнанным, как буржуа.

Что же надо делать?

Нужно послать в деревни в качестве пропагандистов вольные отряды.

Общее правило: кто хочет пропагандировать революцию, должен сам быть действительно революционным. Чтобы поднять людей, нужно быть одержимым бесом; иначе будут произносится безрезультатные речи, производиться бесплодный шум, но дела не будет. Итак, прежде всего пропагандистские вольные отряды должны быть сами революционно вдохновлены и организованы. Они должны носить революцию в своей груди, чтобы быть в состоянии вызвать и возбудить ее вокруг себя. Затем они должны наметить себе систему, линию поведения, сообразную с поставленной себе целью.

Какова эта цель? Не навязать революцию деревням, но вызвать и возбудить ее там.

Революция, навязанная декретами или вооруженной рукой, уже не есть революция, но противоположность революции, ибо она неизбежно вызывает реакцию. В то же время вольные отряды должны явиться в деревни, как внушительная сила, способная заставить уважать себя, не для того, конечно, чтобы производить насилия над крестьянами, но чтобы отнять у них всякое желание смеяться над ними и дурно обращаться с ними прежде даже, чем выслушают их, что могло бы случиться с индивидуальными пропагандистами, не сопровождаемыми внушительной силой Крестьяне несколько грубы, а грубые натуры легко могут быть увлечены престижем и проявлениями силы, хотя и могут потом взбунтоваться, если эта сила навязывает им условия, слишком противные их инстинктам и их интересам.

Вот, чего должны очень остерегаться вольные отряды Они ничего не должны навязывать но все возбуждать. Что они могут и что должны естественно делать, это—с самого

начала отстранить все, что могло бы препятствовать успеху пропаганды. Так они должны начать с раскассированья без кровопролития всей коммунальной администрации, неизбежно пропитанной бонапартистским, легитимистским или орлеанистским ядом; захватить, выслать или, или в случае необходимости, арестовать г.г. коммунальных чиновников, точно так же, как и всех крупных реакционных собственников—и господ попов вместе с ними,—ни по какой иной причине, *как за их тайное соглашательство с пруссаками*. Легальный муниципалитет должен быть замещен революционным комитетом, образованным из небольшого числа наиболее энергичных и наиболее искренне преданных революции крестьян.

Но прежде, чем создать этот комитет, нужно произвести действительный переворот в настроениях, если не всех крестьян, то по меньшей мере значительного большинства крестьян. Нужно, чтобы это большинство воодушевилось идеей революции. Как произвести это чудо? На основе выгоды. Говорят, что французский крестьянин корыстолюбив. Ну что же. Нужно, чтобы самое его корыстолюбие заинтересовалось в революции. Нужно ему предложить и немедленно дать крупные материальные преимущества.

Пусть не кричат о безнравственности подобной системы. По нынешним временам и при наличии примеров, даваемых нам всеми милостивыми властителями, держащими в руках судьбы Европы,—их правителями, генералами, их министрами, их высшими и низшими чиновниками, и всеми привилегированными классами, духовенством, дворянством, буржуазией—право же было-бы некрасиво возмущаться этой системой. Это было бы напрасным лицемерием. В настояще время выгода управляет всем, об'ясняет все. И так как материальные интересы и корыстолюбие крестьян губят ныне Францию, почему бы не спасти ее выгодами же и корыстолюбием крестьян? Тем более, что они уже спасли ее однажды а именно в 1792 году.

Послушайте, что говорит по этому поводу великий историк Франции Мишлэ, которого никто, конечно, не обвинит в безнравственном материализме *):

„Никогда не было такой октябрьской пахоты, как в

---

*) История французской революции Мишлэ, т. III.

91 году, когда пахарь, серьезно наученный Варенном и Пильнитцем *), впервые обдумал опасности, угрожавшие ему, и все завоевания Революции, которые хотели отнять у него. Его работа, одушевленная воинственным негодованием, была уже сражением в его воображении. Он пахал, как солдат, шел за сохой военным шагом и, стегая свой скот более суровыми ударами хворостины, кричал то: „Ну, Пруссия!", то „Ну, пошла, Австрия!". Бык шагал, словно лошадь, лезвие жадно и быстро врезалось в землю, черная борозда дымилась, наполненная дыханием жизни.

„Дело в том, что этот человек не мог терпеливо перенести, что его *недавним приобретениям* грозит опасность, едва проснулось в нем его человеческое достоинство. *Свободный, попирая свободное поле, он чувствовал, шагая, под собою землю свободную от податей, от десятины, землю, которая уже принадлежит или будет завтра принадлежать ему... Долой господ!* Каждый господин себе. Все короли. Каждый на своей земле. Старая поговорка сбывается: *Бедняк—король в своем доме.*

„В своем доме и вне его. Разве вся Франция теперь не его дом?".

И дальше, говоря о впечатлении, произведенном на крестьян вторжением герцога Брауншвейгского:

„Вступив в Вердэн, герцог Брауншвейгский почувствовал себя там так хорошо, что пробыл целую неделю. Уже там, эмигранты, окружавшие прусского короля, начали напоминать ему о данных им обещаниях. Этот принц сказал при от'езде следующие странные слова (Гарденберг слышал их): „он не будет вмешиваться в управление Францией, он лишь вернет королю абсолютную власть". Вернуть королю королевство, церкви священникам, *имения помещикам*, в этом заключалось все его честолюбие. Чего требовал он от Франции за все эти благодеяния? Никакой территориальной уступки, ничего кроме оплаты издержек, связанных с войной, предпринятой ради ее спасения.

„Эта маленькая фраза: „*возвратить имения*" заключала в себе многое. Крупным помещиком было духовенство. Ему следовало вернуть *имений на четыре миллиарда, признать недействительными запродажные сделки*, уже к январю 1792 г. произведенные *на один миллиард*, а за

---

*) В Варенне был узнан и задержан убегавший Людовик XVI, в Пильнитце он был заключен.

истекшие с тех пор десять месяцев бесконечно возросшие. Что сталось бы с бесчисленным множеством контрактов, прямо или косвенно связанных с этими операциями? Ведь пострадали бы не только интересы приобретателей, но и интересы тех, кто ссужал их деньгами, и тех, кто купил у них земли, целого множества третьих лиц..., целого народа *действительно связанного с Революцией* **почтенными выгодами**. *Революция снова призвала к настоящему назначению—служить для поддержки бедняков,—эти имения*, втечение многих уже веков служившие совсем иным целям, нежели те, ради которых их завещали благочестивые жертвователи. *Они перешли от мертвой руки в живые руки*, **от лентяев к труженикам**, *от развратных аббатов, от пузатых настоятелей, от чванных епископов к честному землепашцу. Новая Франция возникла за этот короткий промежуток времени.* А эти невежды (эмигранты), ведшие иностранца, и не подозревали этого...

„При этих многозначительных словах о восстановлении священников, о возвращении имений и т. д. крестьянин насторожился и понял, что во Францию вступает контр-революция, что должно произойти громадное изменение *порядка вещей* и людей. Не у всех были ружья, но те, у кого они были, взяли их; и у кого были вилы, взял вилы, а у кого коса,—косу. Необычайные вещи стали твориться на французской земле. Она казалось пустыней. Хлеб исчез, словно ураган унес его, и перевезен был на запад. На пути врага остались лишь—зеленый виноград, болезнь и смерть".

Несколько дальше Мишлэ рисует такую картину крестьянского восстания во Франции:

„Население рвалось к бою с таким увлечением, что власти начали пугаться и удерживали его. Беспорядочные массы, почти безоружные, устремлялись к одному и тому же пункту; не знали, как их разместить, чем накормить. На востоке, особенно в Лотарингии, холмы и все господствующие возвышенности, сделались грубо укрепленными при помощи срубленных деревьев лагерями, на подобие наших древних лагерей времен Цезаря. Верцингеторикс подумал бы, видя все это, что он находится в сердце Галлии. Немцам пришлось сильно призадуматься, когда они проходили, оставляя позади себя эти народные лагери. Каково то будет их возвращение? Во что превратилось бы отступление сквозь эти враждебные массы, которые со всех

сторон, словно вешние воды, во время великого таяния снега, низвергнутся на них?.. Они должны были понять:— им приходилось иметь дело не с армией, но с целой Францией".

Увы, не противоположное ли этому мы видим теперь? Почему же та же самая Франция, которая в 1792 г. поднялась целиком, чтобы помешать чужеземному нашествию, почему не встает она теперь, когда ей угрожает гораздо большая опасность, чем в 1792 г.? Ах, это потому, что в 1792 г. она была наэлектризована Революцией, а ныне парализована Реакцией, покровительствуемой и воплощаемой своим правительством так называемой Национальной Обороны.

Почему крестьяне массами поднялись против Пруссаков в 1792 г. и почему ныне они остаются не только инертными, но скорее даже более благожелательными к тем же самым Пруссакам, чем к той же самой Республике? Ах, это потому, что для них Республика уже больше не та, что была раньше. Республика, основанная Национальным Конвентом 22 сентября 1792 г., была Республикой в высшей степени народной и революционной. Она предоставляла народу огромные, или, как говорит Мишлэ, *почтенные* выгоды. Путем сперва массовой конфискации церковных имений, а затем конфискации имений эмигрировавшего, или взбунтовавшегося, или заподозренного и обезглавленного дворянства, она дала ему землю и, чтобы сделать невозможным возвращение этой земли ее прежним владельцам народ поднялся массами.—Между тем, как нынешняя Республика, отнюдь не народная, но напротив того, полная враждебности и недоверия к народу, Республика адвокатов, несносных доктринеров и даже буржуазная не дает ему ничего, кроме фраз, увеличения налогов и риска, без малейшего материального за то вознаграждения.

Крестьянин тоже не верит в эту республику, но по другим соображениям, чем буржуа. Он не верит в нее именно потому, что находит ее слишком буржуазною, слишком благоприятною интересам буржуазии, а в глубине своего сердца он питает тайную ненависть против буржуа. И хотя эта ненависть проявляется в иных формах, нежели ненависть городских рабочих против этого класса, ставшего ныне столь мало почтенным, она от этого не менее сильна.

Никогда не следует забывать, что крестьяне, бесконечное большинство крестьян по меньшей мере, хотя и сделались собственниками во Франции, *тем не менее живут трудом рук своих*. Вот, что существенно отличает их от буржуазного класса, бо́льшая часть коего живет *выгодной эксплоатацией труда народных масс*. И это, с другой стороны, об'единяет крестьян с рабочими городов, несмотря на различие их положений—к невыгоде рабочих,—на различие идей и, к сожалению слишком часто вытекающих отсюда принципиальных недоразумений.

Что особенно отдаляет крестьян от городских рабочих, это некоторый умственный *аристократизм*, очень плохо впрочем, обоснованный, который рабочие часто выставляют на показ перед ними. Конечно, рабочие более начитаны, их ум, их знания, их идеи лучше развиты. Во имя этого то маленького научного превосходства, им случается порою свысока обращаться с крестьянами, выказывать им свое пренебрежение. И, как я уже заметил в другом произведении *) рабочие весьма неправы, ибо по этим же самым соображениям и с гораздо бо́льшим основанием, буржуа, которые гораздо ученее и развитее рабочих, имели бы еще больше права презирать этих последних. И, как известно, они не упускают случая подчеркнуть свое превосходство.

Позвольте мне, дорогой друг, повторить здесь несколько страниц из моей только что упомянутой работы: „Крестьяне, сказал я в этой брошюре, рассматривают городских рабочих, как *дольщиков*, и боятся, как бы социалисты не явились конфисковать их земли, которые они любят больше всего в мире.

— Что же должны сделать рабочие, чтобы победить это недоверие и эту враждебность к ним крестьян? Прежде всего, перестать выражать им свое презрение, перестать их. Это необходимо для спасения революции, ибо ненависть крестьян представляет из себя громадную опасность. Если бы не было этого недоверия и ненависти, революция давно уже была бы совершена, ибо враждебность, которая, к сожалению, существует в деревнях против городов, является не только во Франции, но во всех странах основой и главной силой реакции. И так, в интересах революции, которая

*) Письма к Французу о современном кризисе. Сентябрь.

должна освободить их, рабочие должны перестать возможно скорее выказывать это презрение к крестьянам. Они должны сделать это по справедливости, ибо право же, у них нет никакого основания презирать и ненавидеть крестьян. *Крестьяне не тунеядцы, они суровые труженики, как и сами рабочие*, только они трудятся в различных условиях. Вот и все. *Перед лицом буржуа-эксплоатитора рабочий должен чувствовать себя братом крестьянина.*

„Крестьяне пойдут вместе с городскими рабочими на спасение отечества, как только они убедятся, что *городские рабочие не собираются навязать им свою волю, ни какой бы то ни было политический и социальный порядок, изобретенный городами для вящего благополучия деревень*; *как только они получат уверенность, что рабочие отнюдь не имеют намерения отобрать у них их землю.*

„Ну, так самое необходимое теперь, чтобы рабочие действительно отказались от этой претензии и от этого намерения и отказались так, чтобы крестьяне узнали и действительно убедились в этом. Рабочие должны от этого отказаться, ибо даже, если бы подобные притязания были осуществимы, они были бы в высшей степени *несправедливы и реакционны;* и теперь, когда их осуществление сделалось абсолютно невозможным, они представляют собою лишь преступное безумие.

„По какому праву рабочие навязали бы крестьянам какую бы то ни было форму правительства или организации? По праву революции, говорят. Но революция перестает быть революцией, когда вместо того, чтобы вызывать свободные проявления масс, она возбуждает реакцию в их недрах. Средство и условие, если не главная цель революции, это—уничтожение принципа власти во всех его возможных проявлениях; это полное уничтожение политического и юридического Государства, потому что Государство, младший брат Церкви, как это прекрасно доказал Прудон, есть историческое освящение всех деспотизмов и всех привилегий, политическое основание всех экономических и социальных порабощений, самая сущность и центр всякой реакции. Когда во имя революции хотят создать Государство, будь это даже лишь временное государство, творят реакцию и работают для деспотизма, а не для свободы, для учреждения привилегий и против равенства.

„Это ясно как день. Но социалистические рабочие Франции, воспитанные на политических традициях Яко-

бинцев, никогда не хотели этого понять. Теперь они вынуждены будут понять это к счастью для революции и их собственного. Откуда явилось у них это столь же смешное как и наглое, столь же несправедливое, как пагубное притязание навязать свой политический и социальный идеал десяти миллионам крестьян, не желающим его? Очевидно, это буржуазное наследие, политический завет буржуазного революционаризма. Каково же обоснование, об'яснение, какова теория этого притязания? Мнимое или действительное превосходство интеллигентности, образования, словом цивилизации рабочей над цивилизацией деревенской. Но знаете ли вы, что с таким принципом можно узаконить любое завоевание, освятить любое угнетение? Буржуазия никогда и не пользуется другим принципом для доказательства своей миссии *править*, или, что то же самое, эксплоатировать рабочий мир. Переходя от нации к нации, точно также, как и от одного класса к другому, этот роковой принцип, представляющий собой ничто иное, как принцип власти, об'ясняет и оправдывает все нашествия, все завоевания. Разве не им же пользовались немцы, чтобы оправдать все свои покушения против свободы и против независимости славянских народов, и чтобы узаконить насильственное и жестокое онемечивание.

„Это, говорят они, победа цивилизации над варварством. Берегитесь! Немцы начинают замечать также, что протестантская, германская цивилизация гораздо выше цивилизации католической, представленной, главным образом, народами латинской расы, и в частности—цивилизации французской. Берегитесь, чтобы они не вообразили в скором времени, что их миссия—цивилизовать вас и сделать вас счастливыми,—совершенно так же, как вы воображаете, что ваша миссия цивилизовать и освобождать ваших же земляков, ваших братьев, крестьян Франции. По моему, и то и другое притязание одинаково постыдны, и я об'являю вам, что как в международных отношениях, так и в отношениях одного класса к другому, я всегда буду на стороне тех, кого захотят цивилизовать подобным способом. Я восстану вместе с ними против всех этих наглых цивилизаторов, как бы они ни назывались—рабочими или немцами, и, восстав против них, я послужу революции против реакции.

„Но в таком случае, скажут мне, нужно по вашему предоставить невежественных и суеверных крестьян всяким влияниям и всем интригам реакции? Отнюдь нет. Следует

раздавить реакцию и в деревнях, и в городах; но нужно для этого поразить ее на деле, а не вести с ней войну при помощи декретов. Я уже сказал, что ничего нельзя искоренить декретами. Напротив, декреты и всяческие акты власти укрепляют то, что они хотели бы разрушить.

„Вместо того, чтобы хотеть отобрать у крестьян земли, которыми они сейчас владеют, предоставьте им следовать их естественному инстинкту. Знаете ли, что тогда произойдет? Крестьянин хочет, чтобы *вся земля* принадлежала ему. Он считает чужаками и узурпаторами знатного вельможу и богатого буржуа,—чьи обширные владения, возделанные наемными руками, уменьшают его поля. Революция 1789 г. дала крестьянам церковные земли: *они захотят воспользоваться другой революцией, чтобы овладеть землями дворянства и буржуазии.*

„Но если бы это случилось, если бы крестьяне наложили свою руку на всякую частицу земли, еще не принадлежащей им, не укрепился ли бы от этого досадным образом принцип индивидуальной собственности и не оказались ли бы крестьяне, более, чем когда-либо враждебными социалистическим рабочим городов?

„Совсем нет, ибо *раз государство уничтожено, юридическое и политическое освящение, гарантия собственности Государством будет отсутствовать. Собственность не будет уже правом, она будет низведена до простого факта.*

„Тогда настанет гражданская война, скажете вы. Раз частная собственность не будет более гарантирована никакой высшей политической властью, но лишь защищаема усилиями владельца,—каждый захочет овладеть имуществом другого и более сильные ограбят слабых.

„Конечно, в начале не все пойдет совершенно мирным путем, будет борьба. *Общественный порядок*, эта высшая святыня буржуа, будет нарушен, и первые явления, вытекающие из подобного положения вещей, могут представить из себя то, что принято называть гражданской войной. Но предпочтете ли вы вместо того отдать Францию пруссакам.

„Впрочем, не бойтесь, что крестьяне пожрут друг друга. Если бы они даже и захотели сделать это в начале, они не замедлили бы убедиться в материальной невозможности упорствовать на этом пути, и тогда можно быть уверенным, что они постараются согласиться между собою, договориться и сорганизоваться. Потребность питаться и питать свою

семью и, следовательно, необходимость продолжать полевые работы, необходимость охранять свои дома, свои семьи и самую жизнь их от непредвиденных нападений,—все это несомненно вынудит их скоро вступить на путь взаимных сделок.

И не думайте также, что в этих сделках, *происходящих помимо какой бы то ни было оффициальной опеки* единственно силою вещей, более сильные, более богатые будут оказывать преобладающее влияние. Богатство богатых, не гарантированное более юридическими установлениями, перестанет быть могуществом. Богатые так влиятельны ныне лишь потому, что в силу заигрываний перед ними государственных чиновников они специально покровительствуемы государством. Как только они не смогут больше опираться на государство, их могущество сразу изчезнет. Что же касается более упорных, более сильных, они будут сведены на нет коллективной мощью бедных и беднейших крестьян, равно как и сельских батраков, всей этой массы. ныне обреченной на немые страдания, и которую революционное движение вооружит непреодолимой мощью.

„Заметьте себе хорошенько: я не утверждаю, что деревни, которые переорганизуются таким образом снизу вверх, создадут с первого же раза идеальную организацию, во всех пунктах согласную с нашими мечтами. Но в чем я убежден, так это в том, что это будет организация *жизненная*, и как таковая в тысячу раз высшая сравнительно с ныне существующей. Впрочем, эта новая организация, оставаясь всегда открытой для пропоганды городов, и не могущая более быть закрепленной и, так сказать, окаменелой вследствие юридической санкции государства, будет свободно прогрессировать, развиваясь и совершенствуясь не по намеченному плану, но всегда свободно и жизненно, никогда не декретированная и не легализированная, пока не достигнет такой степени целесообразности, какой можно надеяться в наши дни.

„Так как жизнь и самопроизвольная деятельность, прекращенные на протяжении веков все поглощающей деятельностью государства будут вновь предоставлены коммунам, естественно, что каждая коммуна за отправный пункт своего нового развития возьмет не то умственное и нравственное состояние, какое предполагает за нею оффициальная фикция, но действительный уровень своей цивилизации; и так как степень действительной цивилизации весьма различна у ком-

муи Франции, равно как и у Европы вообще, отсюда неизбежно будет вытекать большое различие в развитии; но взаимное соглашение, гармония, равновесие, установленные с общего согласия, заменят искусственное и насильственное единство Государств. Будет новая жизнь и новый мир.

„Вы скажете мне: „Но эти революционные волнения, эта внутренняя борьба, которая естественно должна родиться из разрушения политических и юридических установлений, — не парализуют ли они национальной обороны и вместо того, чтобы способствовать отражению пруссаков, не облегчат ли, напротив, завоевание Франции?"

„Отнюдь нет. История доказывает нам, что никогда нации не выказывали себя столь могущественными вовне, как когда внутри они чувствовали себя глубоко потрясенными и взволнованными, и что, наоборот, они никогда не были столь слабыми, как когда они казались об'единенными и спокойными под эгидой какой либо власти. По существу нет ничего естественнее: борьба это—деятельная мысль, это жизнь, и эта активная и жизненная мысль — сила. Чтобы убедиться в этом, сравните несколько эпох вашей собственной истории. Взгляните на Францию, какой она была во дни молодости Людовика XIV, пережившую Фронду, развившуюся окрепшую благодаря борьбе, и Францию времен его старости, монархию прочно установленную, об'единенную, умиротворенную *великим королем*: первая—вся блиставшая победами и вторая—идущая от поражения к поражению и к разрушению. Сравните также Францию 1792 г. с современной Францией. Если когда либо Франция была раздираема гражданской войной, так это именно в 1792—1793 г.г.; движение, борьба,—борьба не на жизнь, а на смерть — происходила во всех пунктах Республики, и однако Франция победоносно отразила нашествие Европы, почти целиком об'единившейся против нее. В 1870 г. об'единенная и умиротворенная Франция Империи побита немецкими армиями и выказывает себя до такой степени деморализованной, что приходится дрожать за ее существование". .

Здесь является вопрос: Революция 1792 и 1793 г.г. могла дать крестьянам, правда не даром, но по очень низким ценам национальные имения, т.-е. земли церкви и эмигрировавшего дворянства, конфискованные государством. Теперь же, возразят мне, им больше нечего дать. О, най-

дется! Разве церковь, религиозные ордена обоего пола, благодаря преступному сообщничеству легитимистской монархии и особенно второй империи, не сделались снова очень богатыми?

Правда наибольшая часть их богатств была весьма предусмотрительно мобилизована в предвидении возможных революций. Церковь, которая наряду со своими небесными заботами не пренебрегала никогда своими материальными интересами и всегда отличалась остроумностью своих экономических спекуляций, поместила, конечно, большую часть своих земных благ, которые она непрерывно приумножала изо дня в день для вящего блага бедных и несчастных,— во всякого рода торговые, промышленные и банковские предприятия, как частные, так и общественные, и в ренты всех стран. Так что нужно по меньшей мере всемирное банкротство, которое явится неизбежным следствием всемирной социальной революции, чтобы лишить ее этих богатств, составляющих ныне главное орудие ее могущества, увы! еще слишком чудовищного. Но остается не менее верным и то, что она обладает в настоящее время особенно на юге Франции, огромным имуществом, в земле и постройках, равно как в церковных украшениях и утвари — настоящих сокровищах из золота и серебра, украшенных драгоценными камнями. Ну, так вот, все это может и должно быть конфисковано — не в пользу государства, но коммунами.

Имеются затем имения тысяч собственников-бонапартистов, которые в течении двадцати лет императорского режима отличились своим рвением. и которые были всячески покровительствуемы империей. Конфисковать эти имения было не только правом, но было и остается долгом, ибо бонапартистская партия—совсем не обыкновенная историческая партия, вышедшая органически правильным путем из постепенного, религиозного, политического и экономического развития страны, покоющаяся на каком либо правильном или ложном национальном принципе. Это—просто банда разбойников, убийц, воров, которая, опираясь с одной стороны *на реакционную подлость трепещущей перед красным призраком буржуазии, которая сама еще красна от крови рабочих Парижа, пролитой ее руками*,—с другой стороны на благословения священников и на преступное честолюбие высшего офицерства, ночью овладела Францией: „Дюжина светских

Robert-Macaire,ов из высшего света, об'единенных пороком и общей им чуждой, разворенных, потерявших репутацию и обремененных долгами, в видах восстановления своего положения и состояния, не отступили перед одним из самых отвратительных покушений, известных в истории". Вот, в немногих словах вся правда о декабрьском перевороте. Разбойники восторжествовали. Они безраздельно царствуют втечение восемнадцати лет над прекраснейшей страной Европы, которую Европа считает вполне основательно центром цивилизованного мира. *Они создали оффициальную Францию по своему образу и подобию.* Они сохранили почти нетронутой видимость учреждений и вещей, но перевернули основу их, низведя их до своего собственного умственного и нравственного уровня. Все прежние слова остались. По прежнему говорят о свободе, справедливости, достоинстве, праве, цивилизации и человечности; но смысл этих слов совершенно изменился в их устах, каждое слово означает в действительности совершенно противоположное тому, что оно должно бы выражать: это похоже на разбойничью шайку, которая по какой то кровавой иронии употребляет самые благородные выражения при обсуждении самых отвратительных намерений и поступков. Не таковы ли еще и ныне отличительные черты императорской Франции?

„Есть ли что нибудь более отвратительное, более подлое, чем, например, императорский Сенат, составленный, по выражению Конституции *из всех знаменитостей страны*? Не является ли он, заведомо для всех, богадельней для всех соучастников преступления, для всех гнусных декабристов? Есть ли что либо более бесчестное, чем правосудие империи, чем все эти трибуналы и чиновники, не знающие другого долга, как поддерживать при всякой оказии и во что бы то ни стало бесчестность продажных тварей империи*)".

Вот что в марте месяце, в то время, как империя еще процветала, писал один из моих самых близких друзей**). То, что говорил он о сенаторах и о судьях было одинаково приложимо ко всему оффициальному и оффициозному миру, к военным и статским чиновникам, коммунальным и департаментальным,—ко всем преданным избирателям, равно как

---

*) *Бернский Медведь и Медведь С.-Петербургский*, патриотическая жалоба отчаявшегося и униженного швейцарца. Невшатель 1870.

**) Сам Бакунин.—Дж. Г.

и ко всем бонапартистским депутатам. Банда разбойников, сперва не слишком многочисленная, но все увеличивающаяся год от года, привлекая в свои недра выгодами все извращенные и прогнившие элементы, затем удерживая их у себя солидарностью в бесчестьи и преступлении, кончила тем, что покрыл собою всю Францию, охватив ее своими звеньями, как огромная гадина.

Вот, что называется бонапартистской партией. Если когда либо существовала во Франции преступная и роковая партия,—это была именно она. Она не только насиловала ее свободу, испортила ее характер, развратила ее совесть, оподлила ее ум, обесчестила ее имя; она разрушила безудержным грабежом, длившимся подряд восемнадцать лет, ее состояние, ее силы, и затем выдала ее дезорганизованную на завоевание пруссаков. И даже теперь, когда она должна бы терзаться угрызениями совести, умирать от стыда, чувствовать себя раздавленной грузом своей подлости, униженной всеобщим презрением, она снова, после нескольких дней наружного бездействия и молчания, поднимает голову, она снова осмеливается говорить и открыто устраивать заговор против Франции в пользу бесчестного Бонапарта, отныне союзника пруссаков, покровительствуемого ими.

Это непродолжительное молчание и бездействие было вызвано не раскаянием, но единственно жестоким страхом, который причинил ей первый взрыв народного возмущения. В первые дни сентября бонапартисты поверили в революцию и, зная слишком хорошо, что нет такого нападения, которого они не заслуживали бы, они бежали и попрятались, как трусы, дрожа перед справедливым народным гневом. Они знали, что революция не любит фраз, и что раз она пробудилась и действует, она не остановится на полдороге. Бонапартисты думали следовательно, что они политически уничтожены, и в течение первых дней, последовавших за провозглашением Республики, они только и мечтали о том, чтобы спрятать в надежном месте свои приобретенные кражей богатства и свои драгоценные особы.

Они были приятно поражены, видя, что могли еще сделать и то и другое без малейшего затруднения и без малейшей опасности. Как и в феврале и марте 1848 г., буржуазные доктринеры и адвокаты, находящиеся во главе нового временного правительства Республики, вместо того, чтобы принять меры к спасению, изрекали фразы. Невежественные относительно революционной практики и истинного положе-

ния Франции, как и их предшественники, испытывая, как и они, ужас перед Революцией, г.г. Гамбетта и К-о хотели поразить мир рыцарским великодушием, оказавшимся не только неуместным, но и преступным. Оно было настоящей изменой Франции, ибо вручило доверие и оружие ее наиболее опасному врагу,—шайке бонапартистов.

Воодушевленное этим тщеславным желанием, этой фразой, правительство Национальной Обороны приняло поэтому все необходимые меры, — и на этот раз даже самые энергичные, — чтобы господа бонапартистские разбойники, грабители и воры могли спокойно покинуть Париж и Францию, увозя с собой все свое движимое состояние, и оставляя под совершенно особым покровительством свои дома и свои земли которые они не могли захватить с собой. Оно довело даже свою удивительную заботливость к этой банде убийц Франции до того, что рисковало всей своей популярностью, защищая их от слишком законного народного возмущения и недоверия. А именно, во многих провинциальных городах народ, который ничего не понимает относительно этого смешного столь плохо направленного великодушия, и который, когда поднимается для действия, идет всегда прямо к своей цели, арестовал нескольких высших чиновников империи, особенно отличившихся бесчестностью и жестокостью своих поступков, как официальных, так и частных. Как только правительство Национальной Обороны и особенно г. Гамбетта, министр внутренних дел, узнали об этом, как ссылаясь на диктаторские полномочия, которые по его мнению были вручены ему народом Парижа, но которыми по странному противоречию он счел своим долгом пользоваться лишь против народа, но не в своих дипломатических сношениях с вторгающимся иностранцем, — он поспешил приказать самым высокомерным и самым решительным образом немедленно выпустить на свободу всех этих негодяев.

Вы помните, конечно, дорогой друг, сцены, происходившие в Лионе во второй половине сентября, вследствие освобождения бывшего префекта, генерального прокурора и городовых империи.

Эта мера, предписанная самим г. Гамбеттa, и с рвением и радостью приведенная в исполнение г. Андрие, прокурором Республики, при помощи муниципального Совета тем сильнее возмутила народ Лиона, что в тоже самое время в крепости этого города сидело много заключенных солдат, закованных в кандалы, единственным преступлением коих

было громкое выражение своих симпатий к Республике. И их освобождения народ тщетно добивался в течение многих дней.

Я еще вернусь к этому инциденту, бывшему первым проявлением раскола, который неизбежно должен был произойти между народом Лиона и республиканскими властями, как муниципальными, выборными, так и назначенными правительством Национальной Обороны. Я ограничусь теперь, дорогой друг, указанием на более чем странное противоречие, существующее между чрезвычайной, непомерной,—скажу даже непростительной—терпимостью этого правительства по отношению к людям разорившим, обесчестившим, продавшим и продолжающим еще и ныне продавать страну, и драконовской строгостью, проявляемой им по отношению к республиканцам, которые были гораздо более республиканцами, и революционерами, чем оно само. Можно подумать, что диктаторская власть была дана ему не революцией, но реакцией, чтобы свирепствовать против революции, и что лишь ради продолжения маскарада империи оно называет себя республиканским правительством.

Можно подумать, что оно освободило и выпустило из тюрем самых ревностных и наиболее скомпрометированных слуг Наполеона III лишь для того, чтобы очистить место для республиканцев. Вы были свидетелем, а отчасти также и жертвой той готовности и той грубости, с какими они их преследовали, изгоняли, арестовывали и заключали в тюрьмы. Они не удовольствовались этими *легальными и оффициальными* преследованиями; они прибегли к самой бесчестной клевете. Они осмелились заявить, что эти люди, которые среди оффициальной лжи, уцелевшей от империи и продолжающей разрушать последние надежды Франции, отважились сказать народу правду, всю правду, что эти люди были подкупленные пруссаками агенты.

Они освобождали бонапартистов, этих заведомых, уличенных „французских пруссаков“ — ибо кто может теперь усомниться в явном союзе Бисмарка с сторонниками Наполеона III? Они сами устраивают делишки наступающего врага; во имя, я не знаю какой смешной легальности и правительственного курса, существующего лишь на бумаге да в их фразах, они повсюду парализуют народное движение, самопроизвольное восстание, вооружение и организацию коммун, которые одни только и могут спасти Францию в тех ужасных обстоятельствах, в каких находится страна. И тем

самым они „Национальные Оборонцы“, сами неизбежно выдают Францию пруссакам. И не довольствуясь арестом людей, явных революционеров, коих единственное преступление заключается в том, что они осмеливаются выяснить их неспособность, беспомощность и недобросовестность и указывают единственное средство спасения для Франции, они позволяют еще себе бросать им в лицо это гнусное прозвище пруссаков!

О, как был прав Прудон, говоря: (позвольте мне привести целый отрывок, который слишком прекрасен и слишком справедлив, чтобы можно было выкинуть из него хоть слово) „Увы, именно свои и оказываются всегда предателями! В 1848 г., как в 1793, ограничивали революцию сами представители ее. Наша республика, как и старый якобинизм, все так же ничто иное, как *дурное настроение буржуазии*, без принципа и без плана, *которая хочет и не хочет*; которая вечно ворчит, подозревает и тем не менее остается в дураках; *которая повсюду за пределами своей шайки только и видит, что крамольников и анархистов*; которая, роясь в архивах полиции, только и умеет открыть там действительные или предполагаемые слабости патриотов; которая, запрещает культ Шателя и заставляет парижского архиепископа служить обедни; *которая на все вопросы избегает называть вещи своими именами из страха скомпрометтировать себя, воздерживается во всем, никогда ни на что не решается, подозрительно относится к ясным доводам и определенным позициям*. Не тот же ли это все Робеспьер, *говорун без инициативы*, считающий Дантона слишком деятельным, порицающий великодушное дерзание, на которое чувствует сам себя неспособным; воздерживающийся 10 августа (подобно Гамбетта и К-о до 4 сентября), не одобряющий и не порицающий сентябрьскую резню (как эти самые граждане — об‘явление республики народом Парижа); вотирующий конституцию 1793 г. и отсрочку ее применения до заключения мира; громящий праздник *Разума* и устраивающий праздник *Высшего Существа*; преследующий Каррье и поддерживающий Фукье-Тэнвиля; дающий поцелуй мира Камиллу Дэмулэну утром, а ночью дающий приказ арестовать его; предлагающий отмену смертной казни и редактирующий закон 22 прэриаля; превозносящий по очереди аббата Сийэса, Мирабо, Барнава, Петиона, Дантона Марата, Эбера, и затем посылающий на гильотину и ссылающий одного за другим, Эбера, Дантона, Петиона, Бар-

нава — первого, как анархиста, второго, как снисходительного, третьего, как федералиста, четвертого, как конституционалиста; *неуважающий никого кроме правящей буржуазии* и строптивого духовенства; *дискредитирующий революцию* то, по поводу церковной присяги, то путем ассигнаций; щадящий лишь тех, кто находил прибежище в молчании или самоубийстве, и умирающий, наконец, в тот день, когда, оставшись почти один с людьми золотой середины, он пытается в сообществе с ними опутать в свою пользу Революцию цепями"*).

О, да, что отличает всех этих буржуазных республиканцев, истинных учеников Робеспьера, это их любовь к государственной власти, во что бы то ни стало, и ненависть к Революции.

Эта ненависть и эта любовь у них общая с монархистами всех оттенков, вплоть до бонапартистов, и это торжество чувств, это инстинктивное и тайное сочувствие, оно то их и делает столь терпимыми и столь удивительно великодушными к самым преступным слугам Наполеона III.

Они признают, что среди государственных людей Империи, имеются действительно крупные преступники, и что все они причинили Франции огромное, едва поправимое зло. Но, в конце концов, это были государственные люди; комиссары полиции,—эти патентованные и украшенные орденами шпионы, доносившие постоянно для навлечения императорских преследований на все, что оставалось честного во Франции,—даже городовые, эти привилегированные избиватели публики, разве они не были в конце концов слугами Государства? А государственные люди должны же относиться с почтением друг к другу, ибо оффициальные и буржуазные республиканцы прежде всего — государственные люди и были бы очень сердиты на того, кто позволил бы себе усомниться в этом. Прочтите все их речи, особенно речи г. Гамбетта. Вы найдете в каждом слове эту постоянную заботу о Государстве, эту смешную и наивную претензию выставлять себя государственным человеком.

Никогда не следует упускать это из вида, ибо этим все об'ясняется: и их снисходительность к разбойникам Империи, и их строгости против республиканцев революционеров. Государственный человек, будь он монархист или республиканец, не может не испытывать ужаса перед

---

*) Прудон. Общие идеи Революции. (Прим. Бакунина).

Революцией и революционерами, ибо Революция это—ниспровержение государства; революционеры же—разрушители буржуазного строя, общественного порядка.

Не думаете ли вы, что я преувеличиваю? Я докажу это фактами.

Те буржуазные республиканцы, которые в феврале и в марте 1848 г. аплодировали великодушию временного правительства, которое покровительствовало бегству Луи Филиппа и всех министров, и которое, уничтожив смертную казнь за политические преступления, приняло великодушное решение не преследовать никакого общественного чиновника за проступки, совершенные при предыдущем режиме,—эти самые буржуазные республиканцы, включая сюда, разумеется, г. Жюля Фавра, одного из наиболее фанатических—как известно—представителей буржуазной реакции в 1848 г. в Учредительном Собрании и в 1849 г. в Законодательном Собрании, а ныне члена правительства Национальной Обороны и представителя республиканской Франции для заграницы, эти самые буржуазные республиканцы, что говорили, что декретировали и делали они в июле? Употребляли ли они ту же снисходительность по отношению к рабочим массам, которых голод толкает на восстание?

Г. Луи Блан, тоже государственный человек, но социалистический государственный человек, ответит вам *):

„Пятнадцать тысяч граждан были арестованы после июньских событий, и четыре тысячи триста сорок восемь сосланы без суда *в целях общей безопасности.* Втечение двух лет они требовали суда; к ним послали комиссию *помилования*, и их освобождение было также произвольно, как их аресты. Кто бы поверил, что найдется человек, который в девятнадцатом веке осмелится произнести перед Собранием следующие слова: „Было бы невозможно судить сосланных на Белль-Иль, против многих из них не существует материальных улик“. И так как по утверждению этого человека, который был никто иной, как Барош (Барош Империи и в 1848 г. соучастник Жюля Фавра и многих других республиканцев в преступлении, совершенном в июне против рабочих),—*не существовало материальных улик*, которые заранее дали бы уверенность, что суд закон-

*) История Революции 1848 г., Луи Блан. т. II (Примеч. Бакунина).

чится осуждением, без суда присудили четыреста шестьдесят восемь человек, заключенных на понтонах, к ссылке в Алжир. Среди них фигурировал Лагард, председатель Люксембургских делегатов. Он писал из Бреста рабочим Парижа следующее прекрасное и трогательное письмо:

„Братья, тот, кто вследствие февральских событий 1848 г. был призван к завидной чести идти во главе вас, тот, кто втечение девятнадцати месяцев мог переносить вдали от своей многочисленной семьи муки самого чудовищного пленения, тот, наконец, кто только что *без суда* приговорен к десяти годам каторжных работ в чужой земле—в силу применения *обратной силы закона, придуманного, голосованного и обнародованного под влиянием ненависти и страха* (буржуазными республиканцами), не захотел покинуть почву родины, не узнав мотивов, по которым смелый министр осмелился взгромоздить самое ужасное изгнание.

„Вследствие этого он обратился к коменданту понтона „La Guerrière“, который дал ему следующую справку, *дословно* извлеченную из заметок, приложенных к его делу:

„*Лагард, делегат Люксембурга*, человек *неоспоримой честности*, человек *очень мирный*, образованный, всеми любимый и вследствие этого *очень опасный* для пропаганды“.

„Я представляю оценке моих сограждан только один этот факт, убежденный, что их совесть сумеет прекрасно рассудить, кто больше заслуживает их сочувствия—палачи или жертвы.

„Что же касается вас, братья, позвольте мне сказать вам: Я уезжаю, но я не побежден, знайте это! Я уезжаю, но я не прощаюсь с вами.

„Нет, братья, я не прощаюсь с вами. Я верю в здравый смысл народа; я верю в святость дела, которому я посвятил все мои умственные способности; я верю в Республику, ибо она, как самый мир, не может погибнуть. Вот, почему я говорю вам: до свиданья и особенно: *единение и благоразумение.*

Да здравствует Республика!

На рейде Бреста, понтон „La Guerriére“.

Лагард,
бывший председатель Люксембургских
делегатов“.

Есть ли что красноречивее этих фактов! И не тысячу ли раз были правы, говоря и повторяя, что буржуазная реакция июня — жестокая, кровавая, ужасная, циничная, бесстыдная — была истинной матерью декабрьского переворота! Принцип был один и тот же, императорская жестокость была только подражанием жестокости буржуазной и лишь превосходила ее количеством жертв, сосланных и убитых. Что касается числа убитых, это даже еще и недостоверно, ибо июньская резня, массовые расстрелы безоружных рабочих буржуазными национальными гвардейцами без всякого суда и даже не в самый день победы, а на другой день ее — были ужасны. Что же касается числа сосланных, разница весьма значительна. Буржуазные республиканцы арестовали пятнадцать тысяч и выслали четыре тысячи триста сорок восемь рабочих. Декабрьские разбойники, в свою очередь, арестовали около двадцати шести тысяч граждан и выслали почти половину — около тринадцати тысяч.

Очевидно, с 1848 по 1851 годы прогресс был, но он выразился лишь в количестве, не в качестве. Относительно же качества, т. е. принципа, следует признать, что поведение разбойников Наполеона III было много простительнее, чем буржуазных республиканцев 1848 г. Те были разбойниками, наемниками деспота; следовательно, убивая преданных республиканцев, они практиковали свое ремесло. И можно даже сказать, что, высылая половину своих пленников, а не убивая всех сразу, они в некотором роде проявили великодушие. Между тем, как буржуазные республиканцы, ссылая без всякого суда и *в видах общественной безопасности* четыре тысячи триста сорок восемь граждан, попрали свою совесть, оплевали свои собственные принципы и, подготовляя и *узаконивая* декабрьский государственный переворот, убили Республику.

Да, я говорю это открыто по чистой совести и смотря прямо в глаза: Морни, Барощи, Персиньи, Флери, Пиетри и все их товарищи по участию в кровавой императорской оргии гораздо менее виновны, чем г. Жюль Фавр, ныне член правительства Национальной Обороны; менее виновны, чем все другие буржуазные республиканцы, которые в Учредительном и Законодательном Собраниях с 1848 по 1851 г.г. голосовали вместе с ними. Не это ли чувство виновности и преступной солидарности с бонапартистами делает их ныне столь снисходительными и столь великодушными к этим последним?

Есть еще другое обстоятельство, достойное быть отмеченным: в общем, за исключением Прудона и г. Луи Блан, почти все историки Революции 1848 г. и декабрьского государственного переворота точно так же, как и наиболее крупные писатели буржуазного радикализма — Виктор Гюго, Кинэ и др. много говорили о преступлении и преступниках декабря, но никогда не удостоили остановиться на преступлении и преступниках июня *). И однако очевидно, что декабрь был ничем иным, как роковым следствием июня и его повторением в увеличенном масштабе.

Почему же это молчание относительно июня? Не потому ли, что июньские преступники были буржуазные республиканцы, а вышеупомянутые писатели морально были в большей или меньшей степени их сообщниками? Сообщниками принципиальными и в таком случае неизбежно косвенными сообщниками их деяний? Это весьма правдоподобно. Но есть еще и другая причина, уже достоверная. Преступление июня было совершено лишь над рабочими, социалистами революционерами, следовательно *чуждыми* классу и естественными врагами принципов, представляемых всеми этими почтенными писателями. Между тем, как преступление Декабря задело и изгнало тысячи буржуазных республиканцев, их братьев с социальной и их единомышленников с политической точки зрения. И притом они сами все явились более или менее жертвами его. Отсюда их крайняя чувствительность к Декабрю и равнодушие к июню.

Общее правило: Буржуа, каким бы красным республиканцем он ни был, будет гораздо более живо потрясен, взволнован и поражен неудачей, жертвой которой окажется другой буржуа, будь то отчаянный империалист, — чем несча-

---

*) Они не могли назвать „преступлением" подавление июньского восстания и „преступниками" тех, кто предоставил свои услуги для этого кровавого дела, ибо они сами были в числе палачей. Виктор Гюго был одним из шестидесяти представителей, посланных Учредительным Собранием, чтобы подавить восстание и направить аттакующую колонну", и 24 июня он стоял лицом к лицу с повстанцами на одной из соседних с Королевской площадью улиц. (В. Гюго, *Действия и речи со времени изгнания*. V. Hugo, Actes et paroles depuis l'exil). Что же касается Кинэ, он говорит: „в качестве полковника одиннадцатого легиона, стоявшего на страже Собрания, я охранял его. *Бонапартисты были душой восстания* (sic), я же защищал республику. Может быть Луи Бонапарт вернулся с триумфом, если бы июньское восстание восторжествовало" (*Edgar Quinet, avant l'exil*). — Дж. Г.

ством рабочего человека из народа. В этом различении есть, конечно, великая несправедливость, но эта несправедливость отнюдь не предумышленная, она—инстинктивная. Она происходит от того, что условия и привычки жизни, всегда оказывающие на людей более могущественное влияние, чем их идеи и политические убеждения, эти условия и эти привычки, эта специальная манера существовать, развиваться, думать и действовать, все эти социальные отношения столь многочисленные и в то же время столь правильно сводящиеся к одной и той же цели, составляющей буржуазную жизнь, буржуазный мир,—устанавливают между людьми, принадлежащими к этому миру, каковы бы ни были различия их политических мнений, бесконечно более реальную, более глубокую, более могущественную и, в особенности, более искреннюю солидарность, чем та, какая могла бы установиться между буржуа и рабочими, вследствие более или менее глубокой общности убеждений и идей.

Жизнь господствует над мыслью и определяет волю. Вот истина, которую никогда не следует терять из вида, когда хотят понять что-либо в политических и социальных явлениях. Если хотят установить искреннюю и совершенную общность мыслей и воли между людьми, нужно основывать их на одинаковых жизненных условиях, на общности интересов. А так как самые условия существования мира буржуазного и мира рабочего создают между ними пропасть, ибо один мир—есть мир эксплоатирующий, другой же—эксплоатируемый и жертва, я заключаю, что, если человек, рожденный и воспитанный в буржуазной среде, хочет сделаться искренне и не на словах только другом и братом рабочих, он должен отказаться от всех условий своего прошлого существования, от всех своих буржуазных привычек, порвать все свои отношения с буржуазным миром—в области чувства, тщеславия и ума и, повернувшись спиной к этому миру, ставши его врагом и об'явив ему непримиримую войну, броситься целиком без ограничений и без возврата в рабочий мир.

Если он не испытывает этой страстной жажды справедливости, достаточной для того, чтобы внушить ему такую решимость, влить в него такое мужество,—пусть он не обманывает самого себя и не обманывает рабочих; он никогда не сделается их другом. Его отвлеченные мысли, его мечты о справедливости могут еще увлечь его на сторону

мира эксплоатируемых в моменты спокойного теоретического размышления, когда все тихо кругом. Но пусть наступит великий социальный кризис, когда два эти непримиримо противоположные мира встретятся в решительной битве, и все привязанности его жизни неизбежно отбросят его в мир эксплоататоров Это уже случалось раньше со многими из наших бывших друзей, и это всегда будет происходить со всеми буржуазными республиканцами и социалистами.

Социальная ненависть, как и ненависть религиозная, гораздо напряженнее, гораздо глубже, чем ненависть политическая. Вот об'яснение снисходительности ваших буржуазных демократов к бонапартистам и их чрезмерной строгости к революционерам социалистам. Они ненавидят гораздо меньше первых, чем вторых; и необходимым последствием этого является их об'единение с бонапартистами в общей реакции *).

Бонапартисты, сперва чрезвычайно перепуганные, скоро заметили, что в лице правительства Национальной Обороны и всего этого нового мнимо-республиканского и официального люда, созданного на спех этим правительством, они имеют могущественных союзников. Они должны были весьма удивиться и обрадоваться,—они, которые, за отсутствием других качеств, обладают по меньшей мере качеством действительно практических людей, желающих средств, которые ведут к их цели,—когда они увидели, что это правительство не только пощадило их самих и предоставило им пользоваться на полной свободе плодами их грабежа, но даже сохранило повсюду, в военной, юридической и гражданской администрации новой Республики старых чиновников Империи, довольствуясь лишь замещением префектов и супрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, но оставляя все канцелярии префектур точно так же, как и самые министерства, переполненными бонапартистами и громадное большинство коммун Франции под развращающим игом муниципалитетов, назначенных правительством Наполеона III,—тех самых муниципалитетов, которые произвели последний плебисцит, и которые при ми-

*) До сих пор Бакунин сохранял за своим произведением характер письма, адресованного лично к некоему другу. Начиная с следующего абзаца, он покидает форму послания.—Дж. Г.

министерстве Паликао и при незабвенном управлении Шевро раняли в деревнях такую чудовищную пропаганду в пользу бесчестного.

Они должны были много смеяться над этой глупостью, действительно непостижимой, со стороны умных людей, составляющих теперешнее временное правительство, что они могли надеяться, что, как только они, республиканцы, встанут во главе власти, то вся эта бонапартистская администрация сделается тоже республиканской. Бонапартисты действовали совсем по иному в Декабре. Их первой заботой было сменить и изгнать, до последнего мелкого чиновника, всех, кто не хотел дать себя совратить, выгнать всю республиканскую администрацию и поставить на все должности от самых высоких до самых низших и ничтожных питомцев бонапартистской банды. Что же касается до республиканцев и революционеров, они массами ссылали и заключали в тюрьмы последних и высылали из Франции первых, оставляя внутри страны лишь наиболее безвредных, наименее решительных, наименее убежденных, наиболее глупых или же тех, кто согласились так или иначе продать себя. Вот, так то им удалось добиться власти над страной и надругаться над нею впродолжение больше, чем двадцати лет без всякого сопротивления с ее стороны. Ибо, как я уже заметил, бонапартизм ведет свое начало с июня, а не с декабря, и г. Жюль Фавр и его друзья, буржуазные республиканцы Учредительного Собрания, были его истинными основателями.

Нужно быть справедливым ко всем, даже к бонапартистам. Конечно, это негодяи, но негодяи весьма практичные. Повторяю еще раз, они обладали пониманием и желанием средств, ведущих к их цели, и в этом отношении они выказали себя гораздо выше республиканцев, которые делают вид, будто они правят ныне Францией. Даже в настоящее время, после своего поражения бонапартисты выказывают себя более тонкими и много более могущественными политиками, нежели все эти официальные республиканцы, занявшие их места. Это они, а не республиканцы правят Францией еще и по сию пору. Ободренные великодушием правительства Национальной Обороны, утешившись созерцанием царящей всюду правительственной реакции вместо Революции, которой они опасаются, найдя снова во всех отраслях администрации Республики своих старых друзей, своих сообщников, неразрывно с ними связанных

той *солидарности бесстыдства и преступления*, о которой я уже говорил, и к которой я возвращусь еще позже, сохраняя в своих руках ужасное орудие все эти бесконечные богатства, которые они собрали на протяжении двадцати лет систематического грабежа,— бонапартисты решительно подняли голову.

Их скрытое и могущественное влияние —в тысячу раз более могущественное, чем влияние коллективного короля Ивто, (Yvetot) правящего в Туре, чувствуется повсюду. Их газеты „Отечество“, „Конституционалист“, „Страна“, „Народ“ принадлежащий г. Дювернуа, „Свобода“ г. Эмиля де Жирардена, и еще многие другие, продолжают появляться.

Они предают правительство Республики и говорят открыто, без страха и без стыда, как если бы они не были известные предатели, развратители, продавцы, могильщики Франции. К г. Эмилю де Жирарден, осипшему было в первые дни сентября, снова вернулся его голос, его цинизм, его неподражаемое вероломство. Как в 1848 г., он великодушно предлагает правительству Республики „ежедневно по идее“. Ничто его не смущает, ничто не удивляет; с того момента как он понял, что не тронут ни его особу, ни его карман, он осмелел и чувствует себя снова хозяином положения: „Установите только Республику, пишет он, и вы увидите, какие великолепные политические, экономические и философские реформы я вам предложу“. Газеты империи вновь создают открыто реакцию в пользу империи. Органы иезуитизма вновь начинают говорить о благодеяниях религии.

Бонапартистская интрига не ограничивается этой пропагандой посредством прессы. Она сделалась всемогущей в деревнях, а также и в городах. В деревнях, поддерживаемая целой толпой крупных и средних собственников бонапартистов, господ попов и всех этих бывших имперских муниципалитетов нежно сохраненных и покровительствуемых правительством Республики, она проповедует с большей, чем когда либо страстностью ненависть к Республике и любовь к империи. Она учит крестьян не принимать никакого участия в национальной обороне и советует им, напротив, принять получше пруссаков, этих новых союзников императора. В городах поддерживаемая бюро префектур и супрефектур, если не самими префектами и супрефектами,—судьями империи, если не генеральными адвокатами и прокурорами Республики, генералами и почти всеми высшими офицерами армии, если не солдатами, которые хотя и патриоты, но свя-

заны старой дисциплиной; поддержанные также большей частью муниципалитетов и бесчисленным большинством крупных и мелких коммерсантов, промышленников, собственников и лавочников; поддержанные даже этой толпой буржуазных республиканцев, умеренных, боязливых, все же антиреволюционных, которые, находя в себе энергию лишь против народа, помогают делу бонапартизма, не зная и не желая этого; поддержанные всеми этими элементами бессознательной и сознательной реакции, бонапартисты парализуют всякое движение, самодеятельность и организацию народных сил, и тем самым несомненно выдают как города, так и деревни пруссакам, а через пруссаков—главе своей банды—императору. Наконец,—я могу сказать—они выдают пруссакам крепости и армии Франции, доказательство—бесчестная капитуляция Седана, Страсбурга и Руана *). Они убивают Францию.

Должно ли и могло ли правительство Национальной Обороны сносить это? Мне кажется, что на этот вопрос может быть дан лишь один ответ,—нет, тысячу раз нет! Его первая, его самая главная обязанность, с точки зрения спасения Франции, состояла в том, что оно должно было вырвать с корнем заговор и зловредную деятельность бонапартистов. Но как вырвать ее? Было лишь одно средство: это сначала арестовать и заключить в тюрьму всех, целиком, в Париже и в провинциях, начиная с Императрицы Евгении и ее двора, всех военных чиновников, военных и гражданских сенаторов, государственных советников, бонапартистских депутатов, генералов, полковников, в случае надобности, даже капитанов, архиепископов и епископов, префектов, супрефектов, мэров, мировых судей, весь административный и юридический корпус, не забывая полицию, всех заведомо преданных империи собственников, всех одним словом, кто составляет бонапартистскую банду.

Были ли возможны эти массовые аресты? Ничего не было легче. Достаточно было Правительству Национальной Обороны и его делегатам в провинциях дать знак, рекомендуя при этом населению не обижать никого, и можно было быть уверенным, что в немного дней, без особого насилия и без всякого кровопролития, огромное большинство бона-

---

*) Слова „Руана“ нет в рукописи; оно прибавлено в корректуре. Руан был занят пруссаками 5 декабря 1870 г. — Др. Г.

партистов, особенно все богатые, влиятельные и почетные члены этой партии, на всем пространстве Франции были бы арестованы и посажены в тюрьму. Разве само население департаментов не арестовало многих по своей инициативе в первой половине сентября и — заметьте это хорошенько, — не причинив никому никакого зла, самым вежливым и самым гуманным образом в мире?

Нравы французского народа уже больше не грубы и не жестоки, особенно нравы пролетариата городов Франции. Если еще и остались некоторые пережитки, их надо искать отчасти у крестьян, главным же образом у столь же тупого, как многочисленного класса лавочников. О, эти действительно жестоки! Они доказали это в июне 1848 г. *), и

*) Вот, в каких выражениях г. Луи Блан описывает положение на другой день после победы, одержанной в июне буржуазными национальными гвардейцами над рабочими Парижа.

„Ничто не смогло бы изобразить положение и вид Парижа в течение часов, предшествовавших и немедленно следовавших за окончанием этой неслыханной драмы. Едва осадное положение было об'явлено, как полицейские комиссары отправились по всем направлениям, приказывая прохожим итти по домам. И горе тому, кто вновь появится до нового приказа на пороге дома! Если декрет застиг вас одетыми в буржуазный фрак далеко от вашего жилища, вас препровождали домой от поста до поста и требовали больше не выходить. Так как были арестованы женщины с записками, спрятанными в прическе, и патроны были найдены за обшивкой фиакров, то все давало повод к подозрению. Гроба могли содержать порох: к похоронам относились недоверчиво, и трупы на пути к вечному упокоению были отмечены, как подозрительные. Напитки, доставляемые солдатам (национальной гвардии, разумеется), могли быть отравлены: из предосторожности арестовывали несчастных продавцев лимонада, и пятнадцатилетние маркитанки внушали страх. Гражданам было запрещено показываться у окна и даже оставлять открытыми ставни; ибо шпионство и убийство было там, на страже, разумеется! Лампа, перемещающаяся за стеклом, отблеск луны на черепице крыши, были достаточны, чтобы распространить ужас. Оплакивать ошибки повстанцев; плакать среди стольких побежденных, среди тех, кого любили, никто не смел безнаказанно. *Расстреляли одну молодую девушку за то, что она щипала корпию* в лазарете восставших для своего возлюбленного, может быть, для своего мужа, для отца!

„Париж в течении нескольких дней имел вид города, взятого приступом. Количество разрушенных домов и зданий с брешами, пробитыми пушечным ядром, *свидетельствовали в достаточной мере о могуществе этого великого усилия, сделанного народом, доведенным до крайности.* Улицы были перерезаны шеренгами буржуа в мундирах; перепуганные патрули бродили по мостовой... Говорить ли о репрессиях?

„Рабочие! И все вы, кто держит еще оружие, направленное против Республики! В последний раз, во имя всего, что есть почитаемого, святого и священного для людей, сложите ваше оружие! Национальное Собрание, вся нация целиком просит вас об этом. *Вам говорят, что ва-*

многие факты доказывают, что по природе они не переменились и ныне. Что особенно делает лавочника столь жестоким, это наряду с его обыкновенной трусостью жадность, страх и неподдельная жалость. Он мстит за страх, который ему пришлось испытать, и за риск, которому подвергался его кошелек, который вместе с его [illegible] телом составляет, как известно, самую драгоценную часть его бытия. Он мстит лишь тогда, когда может сделать это без малейшей опасности для самого себя. Да, но уже тогда он жалости не знает.

Кто знает рабочих Франции, тот знает также и то, что если где еще сохранились истинные человеческие качества, столь сильно пониженные, а еще больше извращенные в наши дни официальным лицемерием и буржуазной чувствительностью, так сохранились они среди рабочих. Это ныне единственный класс общества, о котором можно сказать, что он действительно велик; этот класс слишком великодушен порою и слишком забывчив к ужасным преступле-

---

идет кровавая месть: это наши враги, наши враги обирают вас! Придите к нам, придите как братья, раскаявшиеся и подчинившиеся закону, и об'ятья Республики готовы принять вас“.

Такова была прокламация, с которой генерал Кавеньяк обратился к восставшим 26-го июня. Во второй прокламации, обращенной 26-го к национальной гвардии и к армии, он говорил так: „В Париже я вижу победителей и побежденных. Пусть имя мое будет проклято, если я соглашусь видеть в нем жертвы“. Никогда, по истине, более прекрасные слова не были произнесены, особенно в подобный момент! Но как это обещание было выполнено, Боже праведный!. Репрессии во многих местах носили дикий характер: так *пленники, скученные* в саду Тюильри, в глубине подземелья на берегу пруда, *были избиваемы на [illegible]* пулями, ибо в них стреляли через отдушины; *так пленные были на месте расстреляны* на площадке Гренель, на кладбище Монпарнас, в каменоломнях Монмартра, во дворе отеля Клюни, в монастыре Св. Бенуа... так, после окончания борьбы ужасный террор воцарился в растерзанном Париже.

„Один штрих дополнит картину.

3-го июля, довольно большое количество пленных было взято из подвалов Военной Школы, чтобы быть препровожденными в префектуру полиции и оттуда в форты. *Им связали по-двое руки с руками, очень сильно скрутив веревки. Затем, так как они [illegible], мучимые голодом, [illegible] для них [illegible]. Со связанными руками они были вынуждены лечь на землю и ползти [illegible] как животные, при громком взрыве смеха [illegible] офицеров, которые называли это социализмом на практике!* Этот факт слышан мною от одного из подвергнувшихся этой пытке“. (История Революции 1848 г. Луи Блана, т. II).

„Вот какова буржуазная гуманность и мы видели, как позже правосудие буржуазных республиканцев приговорило к ссылке *без суда, в силу так наз. меры общественной безопасности*, четыре тысячи трехсот сорока восьми из пятнадцати тысяч арестованных. (Примеч. Бакунина)

ниям и гнусным изменам, жертвою коих он был слишком часто. Он неспособен к жестокости. Но в то же время в нем есть верный инстинкт, направляющий его прямо к цели; здравый смысл, который говорит ему, что когда хотят положить конец злодеяниям, нужно прежде парализовать злодеев. Франция, отечество, было в опасности; необходимо помешать предателям предавать ее еще больше. Вот почему почти во всех городах Франции первым движением рабочих было арестовать и заключить в тюрьмы бонапартистов.

Правительство Национальной Обороны заставило повсюду выпустить их. Кто был неправ: рабочие или правительство? Конечно, это последнее. Оно не только было неправо, оно совершило преступление, выпуская их. Почему же кстати оно не выпустило в то же время всех убийц, воров и преступников всякого рода, содержащихся в тюрьмах Франции? Какая разница между ними и бонапартистами? Я не вижу никакой, а если она и существует, то она целиком говорит в пользу уголовных преступников и против бонапартистов. Первые воровали, нападали, обижали, убивали отдельных людей. Часть последних совершила буквально те же самые преступления, и все вместе они ограбили, изнасиловали, обесчестили, убили, предали и продали Францию, целый народ. Какое преступление больше? Без сомнения — преступление бонапартистов.

Могло ли бы Правительство Национальной Обороны причинить больше зла Франции, если бы оно освободило всех преступников и каторжников, заключенных в тюрьмах и работающих на каторге, — чем оно причинило ей тем, что уважало и заставляло других уважать свободу и собственность бонапартистов и оставляло их свободно довершать разрушение Франции? Нет, тысячу раз нет! Освобожденные каторжники убили бы несколько десятков, скажем, несколько сотен или даже несколько тысяч человек (пруссаки ежедневно убивают гораздо больше),—затем они были бы быстро снова захвачены и заключены в тюрьму самим народом. Бонапартисты убивают народ, и стоит им дать делать это еще некоторое время, они посадят в тюрьму весь народ — всю Францию.

Но как арестовать и удержать в тюрьме столько людей без всякого суда? О, за этим дело не станет! Лишь бы нашлось во Франции достаточное количество добросовестных судей, и лишь бы они дали себе труд порыться в старых законах прислужников Наполеона III, они без сомне-

ния легко найдут за что присудить три четверти их к каторге и многих даже к смерти, просто применяя к ним без всякой чрезвычайной строгости уголовный кодекс, как он есть.

Впрочем разве сами бонапартисты не дали примера? Разве они не арестовали и не заключили в тюрьмы во время и после декабрьского переворота более двадцати шести тысяч и не сослали в Алжир и в Кайенну более тринадцати тысяч граждан—патриотов? Скажут, что им было позволительно действовать так, потому что они были бонапартисты, т. е. люди без убеждений, без принципов, разбойники; но что республиканцы, борящиеся во имя права, и желающие торжества принципа справедливости, не должны, не могут попирать их элементарные и основные условия. Тогда я приведу другой пример:

В 1848 г. после вашей июньской победы, господа буржуазные республиканцы, выказывающие себя ныне столь щепетильными в этом вопросе о правосудии, ибо теперь речь идет о применении его к бонапартистам, — т. е. к людям, которые по своему рождению, воспитанию, привычкам, общественному положению и манере рассматривать социальный вопрос, вопрос освобождения пролетариата, принадлежат к вашему классу, являются вашими братьями: — так вот, после победы, одержанной вами в июне над рабочими Парижа, разве Национальное Собрание, — в котором заседали вы, господин Жюль Фавр, и вы, господин Кремье, и в рядах которого, по меньшей мере, вы, г. Жюль Фавр, вместе с г. Паскалем Дюпра, вашим земляком, были одним из самых красноречивых ораторов бешеной реакции, — разве это Собрание буржуазных республиканцев не позволяло в течение трех дней взбесившейся буржуазии расстреливать без всякого суда сотни, если не тысячи безоружных рабочих? И сейчас же вслед за тем, не благодаря ли ему было отправлено на каторгу пятнадцать тысяч рабочих *без всякого суда, лишь в видах общественной безопасности*? И после того, как они оставались долгие месяцы, тщетно прося того самого правосудия, во имя которого вы произносите теперь столько красивых фраз в надежде, что эти фразы могут маскировать вашу связь с реакцией, — не тоже ли самое Собрание буржуазных республиканцев, с вами, г. Жюль Фавр, во главе способствовало осуждению к ссылке четырех тысяч трехсот сорока восьми человек *снова без суда* и снова *в качестве меры общественной безопасности*! Чего там, все вы — лишь гнусные лицемеры!

Как это случилось, что г. Жюль Фавр не нашел в себе и не счел полезным употребить против бонапартистов немножко той *гордой энергии*, немножко той безжалостной жестокости, которые он так широко проявлял в июне 1848 г. когда дело шло об усмирении рабочих социалистов? Или может быть он думает, что рабочие, которые требуют своего права на жизнь, на человеческие условия существования, которые с оружием в руках требуют равной для всех справедливости, более виновны, чем бонапартисты, которые убивают Францию?

Именно так! Такова неоспоримо--не выражаемая мысль, конечно, — в такой мысли не решаются признаться самому себе, — но глубоко буржуазный и — по этой самой причине единодушный инстинкт, вдохновляющий все декреты правительства Национальной Обороны, точно так же как и действия большей части его провинциальных делегатов: генеральных комиссаров, префектов, супрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, которые, принадлежа либо к сословию адвокатов, либо к республиканской прессе, представляют, так сказать, цвет молодого буржуазного радикализма. В глазах всех этих пламенных патриотов, точно так же, как *в исторически закрепленном* мнении г. Жюль Фавра, *Социальная Революция составляет для Франции еще большую опасность, чем самое иностранное нашествие.* Я очень хотел бы верить, что если не все, то по крайней мере наибольшая часть этих достойных граждан охотно пожертвовали бы своей жизнью, чтобы спасти славу, величие и независимость Франции; но я равным образом и даже еще больше уверен, что еще более крупное большинство из них предпочло бы скорее видеть эту благородную Францию подпавшею под временное иго пруссаков, чем быть обязанною своим спасением настоящей- народной революции, которая неизбежно одним ударом уничтожила бы и экономическое и политическое господство их класса. Отсюда их возмутительная, но вынужденная снисходительность к столь многочисленным и к сожалению еще слишком могущественным сторонникам бонапартистской измены и их страстная строгость, их неумолимые преследования социалистов революционеров, представителей тех рабочих классов, которые одни ныне принимают в серьез освобождение страны.

Очевидно, что это вовсе не напрасная щепетильность в вопросах правосудия, но просто страх вызвать и ободрить социальную революцию мешает правительству принять меры

строгости против открытого заговора бонапартистской партии. Чем иначе об'яснить, что оно не приняло их еще 4-го Сентября? Могло ли оно, осмелившееся принять на себя ужасную ответственность спасения Франции, хоть на мгновение усомниться в своем праве и в своем долге прибегнуть к самым энергичным мерам против бесчестных сторонников режима, который, не довольствуясь тем, что свергнул Францию в бездну, до сих пор старается парализовать все ее средства защиты, в надежде быть в состоянии восстановить императорский трон с помощью и покровительством пруссаков?

Члены правительства Национальной Обороны ненавидят Революцию. Пусть так. Но, если доказано и день ото дня становится все очевиднее, что в бедственном положении, в котором находится Франция, ей не остается другого выбора, как: *либо Революция, либо иго Пруссаков,* то рассматривая вопрос лишь с точки зрения патриотизма, разве не ясно, что эти люди, принявшие на себя диктаторскую власть во имя спасения Франции, станут преступниками и сделаются сами предателями своего отечества, когда из ненависти к Революции, они выдадут или хотя бы лишь допустят выдачу ее пруссакам?

Вот уже скоро месяц, как императорский режим, опрокинутый прусскими штыками, низвергнут в прах. Временное правительство, составленное из более или менее радикальных буржуа, заняло его место. Что же сделало оно для спасения Франции?

Таков должен быть главный и единственный вопрос. Что же касается до законности правительства Национальной Обороны и до его права,—я скажу более, — до его обязанности принять власть из рук народа, после того, как он смел, наконец, бонапартистских паразитов, то этот вопрос может быть поставлен на завтра, после постыдной Седанской катастрофы, лишь соучастниками Наполеона III или, что то же самое, врагами Франции. Г-н Эмиль де Жирарден, конечно, принадлежит к их числу*).

*) Никто лучше не олицетворяет собою политическую и социальную безнравственность буржуазии нашего времени, чем г. Эмиль де Жирарден. Умственный шарлатан, под маской серьезного мыслителя обманувший многих, даже самого Прудона, который имел наивность думать, будто г. де Жирарден мог искренне и серьезно отстаивать какой нибудь принцип,—этот бывший редактор газет „*Пресса*" и „*Свобода*" („La Presse" и „La Liberté") хуже, чем софист, это— размягчивающий из себя софиста

Если бы момент не был так ужасен, можно было бы посмеяться над несравненной наглостью этих людей. Они превосходят пере Робер Макор'а, духовного главу их церкви, и самого Наполеона III-го, их главу во плоти.

Как! Они убили Республику и возвели на трон достойного императора при помощи известных всем средств. В течение двадцати лет подряд они были весьма корыстным и добровольным орудием самых цинических насилий над

фальсификатор всех принципов. Достаточно, чтобы он прикоснулся к самой простой, самой правильной, самой полезной идее чтобы она немедленно стала извращенной и отравленной. Впрочем, он никогда ничего не изобрел, его роль всегда заключается в фальсификации чужих изобретений. В известной среде на него смотрят, как на самого ловкого основателя и редактора газет Конечно, его природная натура эксплоататора и фальсификатора чужих идей и его бесстыдный шарлатанизм должны были сделать его очень пригодным для этого ремесла. Вся натура его, все его существо резюмируются двумя словами: *реклама и шантаж* Журнализму он обязан всем своим состоянием; а журналистикой не обогащаются, если честно придерживаются одних и тех же убеждений, одного и того же знамени. И в самом деле никто не подвинул так далеко искусство ловко и во время менять свои убеждения и свое знамя. Он был, поочередно, орлеанистом, республиканцем и бонапартистом и он стал бы, в случае надобности, легитимистом или коммунистом. Можно подумать, что он одарен инстинктом крысы, ибо он всегда умел покинуть государственный корабль накануне крушения. Так он повернулся спиной к правительству Луи-Филиппа за несколько месяцев до Февральской революции, но не по тем причинам, которые толкнули Францию на низвержение Июльского трона, а по своим личным мотивам, из коих главными были, конечно, неудовлетворенное мелочное честолюбие и обманутая любовь к наживе. На другой день после Февральской революции он заявляет себя пламенным республиканцем,—более республиканцем, чем республиканцы не со вчерашнего дня; он предлагает свои идеи и свою особу: каждый день по идее, разумеется украденной у кого нибудь, но приготовленной, видоизмененной самим г. Эмилем де Жирарден так, чтобы отравить того, кто примет ее из его рук,—под внешним видом правды идеи эти прикрывают целое море лжи. Предлагает он и свою особу — естественного носителя этой лжи и—вместе с собой несет провал и несчастье для всякого дела, которому он отдается. И идеи и его особа были отвергнуты народным презрением. Тогда г. Жирарден становится непримиримым врагом Республики Никто так зло не устраивал заговоров против нее, никто не способствовал в такой мере,—по крайней мере в своих намерениях,—ее падению. Он не замедлил стать одним из самых деятельных и самых интригующих агентов Бонапарта. Этот журналист и этот „государственный человек" были созданы для того, чтобы столковаться друг с другом. В самом деле, Наполеон III олицетворял собою мечты г. Эмиля де Жирарден. Это был сильный человек, как и он играющий всеми принципами и одаренный достаточно обширным сердцем, чтобы возвыситься над излишней щепетильностью совести, над всеми узкими и смешными предрассудками честности, деликатности, чести, личной и общественной морали, над всеми чувствами гуманности, правилами, предрассудками и взглядами, ко-

всеми возможными правами и законностями, они систематически развращали отравляли и дезорганизовали Францию, они отупляли ее. Наконец, они навлекли на эту несчастную жертву их алчности и постыдного честолюбия такие несчастия, глубина коих превосходит все, что могло бы представить себе самое пессимистическое воображение. Перед лицом столь ужасной катастрофы, главными творцами которой

терые могут лишь помешать политической деятельности. Это был, одним словом, человек своей эпохи, очевидно призванный править миром. В первые дни после государственного переворота было нечто вроде легкого облачка между *торжествующим* государем и *сугубым* журналистом. Но это были лишь размолвка любовников, а не принципиальные разногласия. Г. Эмиль де Жирарден отнюдь не чувствовал себя достаточно вознагражденным. Он, конечно, весьма любит деньги, но ему нужны также и почести, участие во власти. Вот, чего Наполеон III при всем своем желании никогда не мог ему доставить. Всегда около него был какой нибудь Морни, какой нибудь Фери, какой нибудь Бийо, какой нибудь Руэ, которые мешали ему в этом. Так что лишь к концу своего царствования он пожаловал Эмилю де Жирарден звание сенатора империи. Если бы г. Эмиль Оливье, ближайший друг, приемный сын и в некотором роде креатура г. Эмиля де Жирардена, не пал так рано, мы видели бы, конечно, великого журналиста министром. Г. Эмиль де Жирарден был одним из главных основателей министерства Оливье. С того момента его политическое влияние все возрастало. Он был вдохновителем и усердным советником двух последних политических актов императора, которые и погубили Францию: плебисцита и войны. Обожатель—отныне признанный—Наполеона III, друг генерала Прима в Испании, духовный отец Эмиля Оливье и сенатор империи, г. Эмиль де Жирарден почувствовал себя в конце концов слишком великим человеком, чтобы продолжать заниматься журнализмом. Он передал редакцию „Свободы" своему племяннику и ученику, верному пропагандисту его идей г. Детруайя. И подобно молодой девушке, готовящейся к первому причащению, он замкнулся в сосредоточенном размышлении, дабы принять со всем приличествующим случаю достоинством столь долго вожделенную власть, которая должна была, наконец, попасть в его руки. Какое горькое разочарование! Покинутый на этот раз своим обычным инстинктом, г. Эмиль де Жирарден совсем не почувствовал, что империя уже рушилась, и что как раз его-то внушения и советы и толкали ее в бездну. Уже поздно было вывернуться. Увлеченный ее падением, г. Жирарден упал с самой вершины своих честолюбивых мечтаний в тот самый момент, когда казалось уже, что они должны исполниться, упал грозно и на этот раз окончательно сошел на нет. После 4-го сентября он прилагает всевозможные старания, пуская в ход все свои старые уловки, чтобы привлечь к себе внимание публики. Не проходит недели, чтобы его племянник, новый редактор „Свободы", не объявлял его первым государственным человеком Франции и Европы. Все напрасно. Никто не читает „Свободы", и у Франции есть слишком много других дел, чтобы заниматься величием г. Эмиля де Жирарден. На этот раз он действительно умер, и дай Бог, чтобы современное шарлатанство прессы, созданию которой он не мало способствовал, также умерло вместе с ним. **(Примечание Бакунина).**

они были, подавленные угрызениями совести, стыдом, ужасом и страхом тысячу раз заслуженного народного возмездия, они должны бы провалиться сквозь землю, не правда ли? Или же, по крайней мере, скрыться по следам своего господина под прусское знамя, единственно способное ныне прикрыть их низость. Так нет-же!—Ободренные преступной снисходительностью правительства Национальной Обороны, они остались в Париже и распространились по всей Франции, громогласно восставая против этого правительства, которое они об'являют во имя прав народа, во имя всеобщего избирательного права незаконным и незакономерным.

Их рассчет справедлив. Раз уже падение Наполеона III сделалось бесповоротно совершившимся фактом, нет другого средства вернуть его во Францию, как окончательное торжество пруссаков. Но, чтобы обеспечить и ускорить это торжество, нужно парализовать все патриотические и неизбежно революционные усилия Франции, разрушить в корне все средства защиты и, чтобы достигнуть этой цели, самый кратчайший, самый верный путь к этому есть немедленный созыв Учредительного Собрания. Я докажу это. Но прежде всего я считаю полезным показать, что пруссаки могут и должны хотеть восстановления Наполеона III на троне Франции.

Союз с Россией и руссофобия Немцев *).

Как ни блестяще положение графа Бисмарка и его господина короля Вильгельма I-го, оно далеко не из легких Их цель очевидна: это—об'единение, наполовину насильственное, наполовину добровольное, всех немецких государств под королевским скипетром Пруссии, который скоро превратят, без сомнения, в императорский скипетр; это—создание самой могущественной империи в сердце Европы. Всего каких нибудь пять лет назад Пруссия рассматривалась, как последняя из пяти великих держав Европы. Ныне она хочет сделаться—и без сомнения сделается—первою. И берегись тогда независимость и свобода Европы! Берегитесь тогда в особенности маленькие государства, имеющие несчастье обладать на своей территории немецким или бывшим не-

*) Это заглавие, существующее в рукописи, где я вписал его своею, собственной рукой, опущено в брошюре.—Дж. Г.

[illegible] веселием, как напр. французы. Аппетит немецкой буржуазии столь же жесток, как огромно ее раболепство; и опираясь на весь патриотический аппарат и на это чисто немецкое раболепство, граф фон Бисмарк, который отнюдь не щепетилен и является слишком государственным человеком, чтобы беречь кровь народов и щадить их кошельки, их свободу и их права, был бы весьма способен предпринять в пользу своего господина осуществление мечты Карла Пятого.

Часть огромной задачи, которую он себе поставил, закончена. Благодаря сообщничеству Наполеона III, которого он одурачил, благодаря союзу с императором Александром II, которого он также надует, ему удалось уже разгранить Австрию. Теперь он держит ее в повиновении благодаря угрожающей позиции своей верной союзницы—России.

Что же касается царской империи, то со времени раздела Польши и именно вследствие этого раздела она попала в зависимость от Прусского королевства, как это последнее попало в зависимость от Всероссийской Империи. Они не могут вступить в войну друг с другом без того, чтобы не освободить польских провинций, доставшихся на их долю, что одинаково невозможно как для одной, так и для другой, потому что обладание этими провинциями для каждой из них составляет существенное условие их могущества, как государства. Не имея, таким образом, возможности воевать друг с другом, они волей неволей должны быть тесными союзниками. Стоит Польше всколыхнуться, и Русская империя и Прусское королевство вынуждены воспылать друг к другу избытком любви. Эта вынужденная солидарность есть роковой, часто невыгодный и всегда тягостный результат разбоя, совершенного ими обоими над этой благородной и несчастной Польшей. Ибо не следует воображать, чтобы русские, даже люди оффициальные, любили пруссаков, ни чтобы эти последние обожали русских. Напротив того, они до глубины сердца ненавидят друг друга. Но как два разбойника, скованные друг с другом солидарностью своего преступления, они вынуждены вместе идти и взаимно помогать друг другу. Отсюда та невыразимая нежность, объединяющая дворы Ст.-Петербурга и Берлина, которую граф фон Бисмарк никогда не забывает поддерживать каким нибудь подарком, ввиде, напр., нескольких несчастных польских патриотов, выданных время от времени палачам Варшавы или Вильно.

Однако, на безоблачном горизонте этой дружбы уже показывается черная точка. Это вопрос о балтийских провинциях. Провинции эти, как известно, ни русские, ни немецкие. Они латышские или финские, ибо немецкое население, состоящее из дворян и из буржуа, составляет в них весьма ничтожное меньшинство. Эти провинции принадлежали сперва Польше, потом—Швеции, еще позже они были завоеваны Россией. Самое благоприятное с точки зрения народа,—а я не признаю никакой другой—решение было бы по моему возвращение их вместе с Финляндией не под владычество Швеции, но к очень тесному федеративному союзу с нею, в качестве членов скандинавской федерации, обнимающей Швецию, Норвегию, Данию и всю датскую часть Шлезвига, —пусть уже г.г. немцы этим не огорчаются.

Это было бы справедливо и естественно, и как раз эти два обстоятельства достаточны, чтобы немцам это не понравилось, Наконец, это положило бы спасительную границу их морскому честолюбию. Русские хотят руссифицировать эти провинции, немцы хотят их германизировать. Как одни так и другие неправы. Громадное большинство населения, равно ненавидящее как немцев, так и русских, хочет остаться тем, что оно из себя представляет, т. е. финнами и латышами, и лишь в Скандинавской Федерации они найдут утверждение своей автономии и своего права быть самими собою.

Но, как я уже говорил, с этим отнюдь не мирятся патриотические вожделения немцев. С некоторых пор этим вопросом занимаются в Германии. Он возбужден в связи с преследованием русским правительством протестантского духовенства, которое в этих провинциях представлено немцами. Эти преследования гнусны, как гнусны все акты какого бы то ни было деспотизма, русского или прусского, но не превосходят того, что прусское правительство совершает ежедневно в своих прусско-польских провинциях, и однако эта же самая немецкая публика весьма остерегается протестовать против прусского деспотизма. Изо всего этого следует, что для немцев дело вовсе не в справедливости, а в приобретении, в завоевании. Они весьма вожделеют эти провинции, которые, действительно, были бы им очень полезны с точки зрения их морского могущества в Балтийском море, и я не сомневаюсь, что в каком нибудь затаенном уголке своего мозга Бисмарк лелеет мысль рано или поздно завладеть ими тем или иным способом. Такова черная тень, возникшая между Россией и Пруссией.

Как ни черна она, она все же еще неспособна разделить их. Они слишком нуждаются одна в другой. Пруссия которая отныне не может больше иметь иных союзников кроме России, ибо все другие государства, не исключая даже Англию, чувствуя себя ныне угрожаемыми ее честолюбием, которое скоро не будет знать пределов, восстают или восстанут рано или поздно против нее,—Пруссия весьма поостережется поставить теперь вопрос, который необходимо должен поссорить ее с ее единственным другом—Россией. Она будет нуждаться в ее помощи, по меньшей мере в ее нейтралитете до тех пор, пока не уничтожит совершенно, по крайней мере, на двадцать лет могущество Франции, пока не разрушит Австрийскую Империю и не присоединит к себе немецкую Швейцарию, часть Бельгии, Голландии и всю Данию. Обладание этими двумя государствами ей необходимо для создания и для упрочения ее морского могущества. Все это будет необходимым следствием ее торжества над Францией, если только это торжество полно и окончательно. Но все это, предполагая даже самые счастливые обстоятельства для Пруссии, не сможет осуществиться сразу. Исполнение этих грандиозных проектов возьмет несколько лет, и за все это время—Пруссия больше, чем когда либо будет нуждаться в помощи России; ибо необходимо предположить, что остаток Европы, каким бы подлым и глупым он себя сейчас ни выказывал, кончит однако тем, что пробудится, когда почувствует нож у горла и не даст скушать себя под прусско-германским соусом без сопротивления и борьбы. Пруссия, даже торжествующая, даже раздавившая Францию, была бы слишком слабою, чтобы бороться против всех об'единенных европейских государств. Если бы Россия тоже обернулась против нее, она бы погибла. Она пала бы даже при нейтралитете России. Ей абсолютно необходима деятельная поддержка России,—та сáмая поддержка, которая ныне оказывает ей неизмеримую услугу, держит в узде Австрию; ибо очевидно, что если бы Австрия не была бы угрожаема Россией, то на другой же день после вступления немецких армий на территорию Франции, она бросила бы свои войска на Пруссию, на Германию, обедневшую солдатами, чтобы возвратить свое утерянное господство и извлечь блестящий реванш за Садову.

Г. фон-Бисмарк слишком осторожный человек, чтобы поссориться с Россией при подобных обстоятельствах. Конечно, этот союз должен быть ему неприятен во многих

отношениях Он роняет его популярность в Германии. Конечно г. фон-Бисмарк слишком государственный человек, чтобы предавать сентиментальную ценность любви и доверию народов. Но он знает что эта любовь и это доверие представляют из себя порою большую силу, единственную вещь которая в глазах глубокого политика, как он, действительно почтенна. Итак, эта непопулярность союза с Россией его стесняет. Он должен без сомнения сожалеть, что единственный остающийся ныне союз для Германии является как раз таким союзом, который единодушно отвергается Германией.

Когда я говорю о чувствах Германии, я разумеется, имею в виду чувства ее буржуазии и ее пролетариата. Немецкое дворянство отнюдь не ненавидит Россию, ибо оно знает Россию лишь, как державу, варварская политика и произвол которой ему нравится, льстит его инстинктам, соответствует его собственной природе. Оно относилось с энтузиазмом и восхищением, питая настоящий культ к покойному императору Николаю. Этот германизированный Чингиз-хан или, скорее, этот монголизированный немецкий принц воплощал в ее глазах высший идеал абсолютного государя. Ныне оно вновь находит верный образ его в своем короле-пугале, будущем императоре Германии. Отсюда следует, что немецкое дворянство никогда не будет противиться русскому союзу. Напротив, оно горячо поддерживает его по двум причинам: во первых, по глубокой симпатии к деспотическим стремлениям русской политики; затем потому, что его король хочет этого союза, и до тех пор, пока королевская политика будет стремиться к порабощению народов, его воля будет священна для него. Но так не было бы, конечно, если бы король, вдруг изменив всем традициям своей династии, декретировал бы освобождение народов. Тогда, но лишь тогда оно было бы способно взбунтоваться против него, что, впрочем, не было бы очень опасным, ибо немецкое дворянство, как не многочисленно оно, совершенно бессильно. У него нет корней в стране и оно держится как бюрократическая и особенно военная каста, лишь милостью государства. Впрочем, так как совершенно не вероятно, чтбы будущий император Германии когда бы то не было *добровольно и свободно* подписал указ об освобождении, можно надеяться, что трогательная гармония, существующая между ним и его верным дворянством, сохранится навсегда. Лишь

бы он продолжал быть настоящим деспотом, оно останется его преданным рабом, который счастлив пресмыкаться перед ним и выполнять все его приказы, как бы тираничны, как бы жестоки они ни были.

Но не так обстоит дело с пролетариатом Германии. Я особенно имею в виду городской пролетариат. Деревенский пролетариат слишком придавлен, слишком принижен и вследствие своего бедственного положения и вследствие своих обычных подчиненных отношений к помещикам и благодаря систематически отравленному политической и религиозной ложью образованию, которое он получает в начальных школах, чтобы он сам мог бы отдать себе отчет в своих чувствах и желаниях. Его мысли редко выходят за пределы слишком ограниченного горизонта его несчастного существования. Он неизбежно социалист по своему положению и по природе, сам того не подозревая. Одна лишь социальная революция, действительно мировая и радикальная, более всемирная и глубокая, нежели об этом мечтают немецкие социал-демократы, могла бы разбудить спящего в нем черта. Этот черт—инстинкт свободы, страсть к равенству святое чувство бунта,—раз проснувшись в его груди, уже больше не уснет. Но до того решительного момента деревенский пролетариат останется в согласии с проповедями господина пастора покорным подданным своего короля и механическим орудием в руках всех возможных общественных властей.

Что же касается до крестьян-собственников, они в большинстве своем склонны скорее поддерживать королевскую политику, нежели бороться с нею. И есть много причин к тому: прежде всего, антагонизм между деревнями и городами, который в Германии существует точно так же, как и в других странах, солидно укрепившись в ней с 1525 г., когда буржуазия Германии, с Лютером и Меланхтоном во главе, предала столь постыдно и губительно для себя самой единственную крестьянскую революцию, имевшую место в Германии; затем—в высшей степени отсталая система образования, о которой я уже говорил, господствующая во всех школах Германии и особенно Пруссии;—эгоизм, консервативные инстинкты и предрассудки, присущие всем собственникам—мелким и крупным; наконец, относительная оторванность деревенских рабочих, чрезвычайно замедляющая распространение идей и развитие политических страстей. Из всего этого следует, что крестьяне-собственники Герма-

нии гораздо больше интересуются своими деревенскими делами, близко касающимися их, нежели общей политикой А так как природа немцев, говоря вообще, гораздо более склонна к послушанию, нежели к сопротивлению, к набожному доверию, нежели к бунту, отсюда следует, что немецкий крестьянин охотно подчиняется во всех главных делах страны мудрости высоких авторитетов, установленных Богом. Настанет, разумеется, момент, когда и крестьянин Германии проснется. Это произойдет тогда, когда величие и слава новой прусско-германской империи, создающейся ныне не без некоторой мистической и исторической симпатии с его стороны, предстанет ему в виде тяжких налогов и экономических бедствий. Это произойдет, когда он увидит, что его маленькая собственность, отягощенная долгами, ипотеками, налогами и обложениями всякого рода, тает и ускользает из его рук, чтобы округлить все увеличивающиеся владения крупных собственников; это произойдет, когда он поймет, что роковой экономический закон толкает и его в свою очередь в ряды пролетариата. Тогда он проснется и наверно восстанет. Но этот момент еще далек, и если пришлось бы ждать его, Германия, которая не грешит отсутствием терпеливости, могла бы потерять терпение.

Городской и фабричный пролетариат находится в совершенно противоположном положении.

Рабочие хотя и привязанные, подобно рабам, нищетою к местностям, в которых они работают, совершенно не имеют местных интересов. Все их интересы—общего характера, и даже не национального, а интернационального. Ибо вопрос работы и заработной платы, единственный вопрос, действительно, живо, непосредственно и ежедневно интересующий их, стал центром и основанием всех других вопросов, как социальных, так и политических и религиозных, и стремится ныне, благодаря естественному развитию всемогущества капитала в промышленности и торговле, принять совершенно международный характер. Это то и об'ясняет чудесный рост. *Международной Ассоциации Рабочих*, ассоциации, которая будучи основана всего шесть лет назад, насчитывает в одной Европе более миллиона членов.

Немецкие рабочие не остались позади других. Особенно за эти последние годы они оказали значительный пропрогресс и, быть может не далек тот момент, когда они смогут составить настоящую силу. Правда они стремятся к этому

способом, который мне не кажется наилучшим. Вместо того, чтобы стараться образовать силу явно революционную, отрицательную, разрушающую государство, единственную, которая, по моему глубокому убеждению, могла бы привести к полному и всеобщему освобождению рабочих и труда, они хотят, или скорее они дают увлечь себя своим вожакам мечтами о создании положительной силы, об учреждении нового рабочего, народного государства, по необходимости национального, патриотического и всегерманского, что ставит их в вопиющее противоречие с основными принципами *Международной Ассоциации* и в весьма двусмысленное положение по отношению к Прусско-Германской дворянской и буржуазной империи, которую стряпает господин фон Бисмарк. Они надеются, конечно, что сперва путем легальной агитации, за которою последует более определенное и более решительное революционное движение, им удастся овладеть этой империей и превратить ее в чисто народное Государство. Эта политика, которую я считаю иллюзорной и губительной, прежде всего придаст их движению реформаторский, а не революционный характер, что, впрочем отчасти зависит и от особенностей природы немецкого народа, более расположенного к последовательным и медленным реформам, нежели к революции. Эта политика представляет собою еще другую крупную невыгоду, которая, впрочем, есть лишь следствие первой: социалистическое движение рабочих Германии идет на буксире демократически-буржуазной партии. Позже хотели отрицать самое существование этого соглашения, но оно было слишком отчетливо констатировано частичным принятием буржуазно-социалистической программы д-ра Якоби за основу возможного соглашения между буржуазными демократами и пролетариатом Германии точно так же, как различными попытками сделок, которые пытались провести на Нюренбергском и Штутгардском конгрессах. Это во всех отношениях порочное соглашение. Оно не может принести рабочим никакой пользы, даже частичной, ибо демократическая и буржуазно-социалистическая партия Германии поистине слишком ничтожна, слишком до смешного беспомощна, чтобы придать им силу. Но она много способствовала сужению и искажению социалистической программы рабочих Германии. Программа рабочих Австрии, например, прежде чем они дали зачислить себя в партию социалистической демократии, была гораздо шире, бесконечно шире и практичнее, чем теперь.

Как бы там ни было, это скорее ошибка системы, чем инстинкта. Инстинкт немецких рабочих явно революционен и день ото дня станет еще более революционным; несмотря на усилия интриганов, подкупленных г. фон Бисмарком, им не удастся подчинить рабочие немецкие массы его Прусско-Германской империи. К тому же время правительственных заигрываний с социализмом прошло, Имея отныне за собой рабский и тупой энтузиазм всей буржуазии Германии, безразличие и пассивное послушание, если не симпатии деревни, все немецкое дворянство, ждущее лишь сигнала для истребления с корнем „сволочи", и организованную силу громадных воинских частей, вдохновленных и руководимых этим самым дворянством, г. фон Бисмарк неизбежно пожелает раздавить пролетариат и уничтожить в корне, железом и огнем эту язву, этот проклятый социальный вопрос, сосредоточивший в себе весь сохранившийся в людях и нациях дух бунта. Это будет война не на живот, а на смерть с пролетариатом в Германии, как повсюду в других странах. Но, призывая рабочих всех стран хорошенько приготовиться к ней, я заявляю, что не боюсь этой войны. Напротив, я рассчитываю на нее, чтобы вселить диавола в тело рабочих масс. Она быстро покончит со всеми этими бесконечными и бесцельными рассуждениями, которые усыпляют и истощают, не приводя ни к какому результату и она зажжет в груди пролетариата Европы ту страсть, без которой не бывает победы. Что же касается конечной победы пролетариата, то кто же может в ней сомневаться? За нее справедливость и логика истории.

Немецкий рабочий, становясь изо дня в день все революционнее, колебался однако одно мгновение в начале этой войны. С одной стороны он видел Наполеона III, с другой — Бисмарка со своим пугалом — королем. Первый представлял собою нашествие, два других — национальную оборону. Не было ли естественным с его стороны, что, несмотря на всю его антипатию к этим двум представителям немецкого деспотизма, он поверил на одно мгновение, что долг немца повелевает ему встать под их знамя? Но это колебание было весьма непродолжительно. Едва первые известия о победах, одержанных немецкими войсками, были об'явлены в Германии, сейчас же, как только стало очевидно что французы не могут уже перейти Рейн, особенно после Седанской капитуляции и достопамятного и бесповоротного падения в грязь Наполеона III, когда война Германии с

Францией, теряя свой характер законной самообороны, приняла характер войны завоевательной, войны немецкого деспотизма против свободы Франции, чувства немецкого пролетариата сразу переменились и приняли направление открытой оппозиции этой войне и глубокой симпатии к Французской Республике. И здесь я спешу отдать справедливость вожакам социал-демократической партии, всему его руководящему комитету, Бебелю, Либкнехту и многим другим, которые, среди шума, поднятого оффициальной публикой и всей буржуазией Германии, бешеной от патриотизма, имели мужество открыто провозгласить священные права Франции.

Они благородно, геройски выполняли свой долг, ибо поистине им нужно было иметь геройское мужество, чтобы осмелиться говорить человеческим языком посреди всего этого ревущего буржуазного зверья.

Немецкие рабочие, естественно,—страстные враги союза с Россией и русской политики. Русские революционеры не должны удивляться, ни даже слишком огорчаться, если иногда немецким рабочим случается распространять и на самый русский народ столь глубокую и столь законную ненависть, которую им внушает существование и все политические акты Всероссийской Империи. Немецкие рабочие, в свою очередь, не должны более отныне удивляться и слишком оскорбляться, если пролетариату Франции случается не делать надлежащего различия между оффициальной, бюрократической, военной, дворянской, буржуазной Германией и Германией народной. Чтобы не слишком жаловаться, чтобы быть справедливыми, немецкие рабочие должны судить сами по себе. Не смешивают ли они часто, слишком часто, следуя в этом примеру и советам многих своих вожаков, русскую империю и русский народ в одном и том же чувстве презрения и ненависти, даже не подумав, что этот народ есть первая жертва и непримиримый враг и вечный бунтовщик против этой империи, как я часто имел случай доказывать это в моих речах и в моих брошюрах, и как я снова установлю это на протяжении настоящего сочинения. Но немецкие рабочие могут возразить, что они не считаются со словами, что их осуждение основано на фактах, и что все русские действия, о которых известно заграницей, это—действия анти-гуманные,

жестокие, варварские, деспотические. На это русским революционерам нечего ответить. Они должны будут признать, что до известной степени немецкие рабочие правы. Каждый народ, более или менее солидарен и ответственен за действия, совершенные его государством от его имени и его руками, до тех пор, пока он не перевернет и не разрушит это государство. Но если это верно для России, это должно быть равным образом верно и для Германии.

Конечно, русская империя представляет собою и осуществляет варварскую, анти-гуманную, постыдную, ненавистную, подлую систему. Снабдите ее какими угодно эпитетами,—я не буду в претензии. Я—сторонник русского народа, а не патриот государства или Всероссийской Империи, и не думаю, чтобы нашелся кто нибудь, ненавидящий ее более, чем я. Только, так как прежде всего следует быть справедливым, я прошу немецких патриотов соблаговолить заметить и признать, что, за исключением некоторых формальных лицемерий, их Прусское Королевство и их старая Австрийская империя до 1866 г. не были много либеральнее и гуманнее, чем Всероссийская Империя, и что Прусско-Германская или *Кнуто-Германская империя*, которую немецкий патриотизм воздвигает ныне на развалинах и в крови Франции, обещает даже превзойти Русскую Империю ужасами. В самом деле, разве русская Империя, как она ни отвратительна, причинила когда нибудь Германии, или Европе, хоть сотую часть того зла, которое Германия причиняет ныне Франции, и которым она угрожает всей Европе? Конечно, если кто и имеет право ненавидеть русскую Империю и Россию, так это поляки. Конечно, если русские когда-либо обесчестили себя и совершили ужасы, выполняя кровавые приказы своих царей, так это в Польше. Так вот, я взываю к самим полякам: совершили ли когда-либо русские армии, солдаты и офицеры, взятые в массе, десятую часть тех гнусностей, которые армии, солдаты и офицеры Германии, взятые в массе, совершают ныне во Франции? Поляки, сказал я, имеют право ненавидеть Россию. Но не немцы, если только они в то же время не ненавидят себя самих. В самом деле, какое зло было им когда либо причинено русской Империей? Разве какой либо русский император мечтал когда либо завоевать Германию? Отторг ли он от нее когда либо какую-нибудь провинцию? Вступали ли русские войска в Германию, чтобы уничтожить ее никогда не существовавшую респу-

блику и восстановить на троне ее деспотов,—которые никогда не переставали царствовать?

Два раза только за все время, как существуют международные отношения между Россией и Германией, русские императоры причинили ей положительное зло. Первый раз, Петр III, который, едва взойдя на престол в 1761 г., спас Фридриха Великого и Королевство Прусское вместе с ним от неизбежного уничтожения, приказав русской армии, сражавшейся до тех пор с австрийцами против него, присоединиться к нему против австрийцев. Другой раз, это был Александр I, который в 1807 г. спас Пруссию от полного уничтожения.

Вот, без сомнения, две очень плохие услуги, оказанные Россией Германии, и если немцы жалуются именно на это, я должен признать, что они тысячу раз правы. Ибо, спасая дважды Пруссию, Россия, несомненно, если и не сама сковала, то по меньшей мере помогла сковать цепи Германии. Иначе, я поистине никак не могу понять, на что могут жаловаться эти добрые немецкие патриоты?

В 1813 г. русские пришли в Германию, как освободители, и не мало способствовали, что бы там ни говорили господа немцы, освобождению ее от ига Наполеона. Или, может быть, они в претензии на того самого императора Александра за то, что он помешал в 1814 г. прусскому фельдмаршалу Блюхеру отдать Париж на разграбление, когда тот высказал такое желание? Если так, то это показывает, что пруссаки всегда имели те же инстинкты, и что их природа не изменилась. Или они недовольны Александром за то, что он почти заставил Людовика XVIII дать Франции конституцию, вопреки желаниям, высказанным королем прусским и императором Австрии, и за то, что он изумил Европу и Францию, выказав себя, он, император России, более гуманным и более либеральным, чем два великих властителя Германии?

Может быть, немцы не могут простить России постыдного раздела Польши? Увы! Они не имеют на это права, ибо они сами взяли добрый кусок этого пирога. Конечно, этот раздел был преступлением. Но среди коронованных разбойников, совершивших его, был один русский и два немецких: императрица Австрии Мария Тереза и великий король Пруссии Фридрих II. Я мог бы даже сказать, что все трое были немцы, ибо развратной памяти императрица Екатерина II была никем иным, как чистокровной немецкой

принцессой. Фридрих II, как известно, обладал хорошим аппетитом. Не предложил ли он своей доброй русской кумушке разделить также и Швецию, где царствовал его племянник? Инициатива раздела Польши с полным правом принадлежала ему. Прусское Королевство выиграло от него гораздо больше, чем двое других соучастников в разделе, ибо она сорганизовалась, как настоящая великая держава лишь благодаря завоеванию Силезии и этому разделу Польши.

Наконец, может быть немцы настроены против Русской Империи за свирепое варварское, кровавое подавление двух польских революций в 1830 и в 1863 годах? Но и на это они не имеют никакого права: ибо в 1830, как и в 1863 г. Пруссия была самой интимной сообщницей Санкт-Петербургского Кабинета и верным, услужливым поставщиком его палачей. Разве Граф фон Бисмарк, канцлер и основатель будущей Кнуто-Германской Империи, не считал своим приятным долгом выдавать Муравьёвым и Бергам всех поляков попадавших ему в руки? А эти самые прусские лейтенанты, выставляющие теперь на показ свою гуманность и свой пангерманский либерализм во Франции, разве они не организовали в 1863, 1864 и 1865 годах в польской Пруссии и в великом Герцогстве Познани, как истые жандармы, какими они, впрочем, являются и по природе и по вкусам, правильную охоту на несчастных польских повстанцев, бежавших от казаков, чтобы выдать их закованными в цепях русскому правительству? Когда в 1863 году Франция, Англия и Австрия послали свои протесты князю Горчакову в защиту Польши, одна Пруссия не пожелала протестовать. Ей было невозможно протестовать по той простой причине, что с 1860 года все усилия ее дипломатии стремились к отговариванию императора Александра II от малейшей уступки полякам *).

Очевидно, что во всех этих отношениях немецкие патристы не имеют права посылать упреки русской империи. Если она фальшиво поет—и поистине ее голос отвратите-

*) Когда посланник Великобритании в Берлине, лорд Блумфильд, если не путаю имени, предложил г. фон Бисмарку подписать от имени Пруссии знаменитый протест Западных держав, г. фон Бисмарк отказался, сказав английскому посланнику: „Как хотите Вы, чтобы мы протестовали, когда втечение уже трех лет мы только и делаем, что твердим России одно: не делать никакой уступки Польше“. *(Примечание Бакунина).*

лей,—Пруссия, являющаяся ныне головою, сердцем и рукою великой об'единенной Германии, никогда не отказала ей в добровольном аккомпанементе. Остается, следовательно, одна, последняя обида:

„Россия, говорят немцы, с 1815 года и по сей день оказывала гибельное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Германии. Если Германия так долго оставалась разделенною, если она остается рабой, то этим она обязана роковому влиянию“.

Признаюсь, что этот упрек мне всегда казался чрезвычайно смешным, продиктованным недобросовестностью и недостойным великого народа. Достоинство каждой нации, по моему, должно состоять, главным образом в том, чтобы каждый принимал всю ответственность за свои действия на себя, не стараясь жалким образом перекладывать свои ошибки на других. Не правда ли, это очень глупая штука, все эти причитания взрослого мальчугана, жалующегося со слезами, что кто-то его испортил, увлек на злое дело? Ну, то, что непозволительно мальчугану, еще с большим основанием должно быть запрещено нации, запрещено самым уважением, которое она должна иметь к себе самой *).

---

*) Признаюсь, я был глубоко изумлен, встретив такую же точно жалобу в одном письме, адресованном в прошлом году г. Карлом Марксом, знаменитым главой немецких коммунистов, к редакторам одного маленького русского листка, печатаемого на русском языке в Женеве. Он претендует, что если Германия еще не организовалась демократически, вина в этом лежит исключительно на России. Он выказывает удивительное непонимание истории своей собственной страны, раз выдвигает то, невозможность чего, оставляя даже в стороне исторические факты, легко доказать опытом всех стран и всех времен. Видано ли когда нибудь, чтобы нация, стоящая на более низкой ступени цивилизации, навязывала или прививала свои собственные принципы стране гораздо более цивилизованной, иначе чем путом завоевания? Но Германия, насколько мне известно, никогда не была завоевана Россией. Следовательно совершенно невозможно, чтобы она могла принять какой-либо русский принцип; но более чем вероятно, несомненно, что в виду их непосредственного соседства и по причине неоспоримого превосходства ее политического, административного, юридического, промышленного, торгового, научного и общественного развития, Германия, наоборот, внесла много своих собственных идей в Россию, с чем обыкновенно соглашаются сами немцы, когда они не без гордости заявляют, что Россия обязана Германии той немногой цивилизацией, которою она обладает. К великому счастью для нас, для будущего России, эта цивилизация не проникла за пределы официальной России, в народ. Но действительно нашим политическим, административным, полицейским, военным и бюрократическим воспитанием мы обязаны Германии, равно как и завер-

В конце этого сочинения, бросая взгляд на германо-славянский вопрос, я докажу неоспоримыми историческими фактами, что дипломатическое воздействие России на Германию,—а другого никогда и не было,—как в отношении внутреннего развития, так и в отношении ее внешнего расширения, сводилось к нулю или почти к нулю до 1866 г.,

---

шением нашего императорского здания, вплоть до нашей августейшей династии.

Что соседство с великой монголо-византийско-германской империей было более приятно деспотам Германии, нежели ее народам; более благоприятно для развития ее туземного рабства, часто национального, германского, нежели для развития либеральных и демократических идей, вынесенных из Франции,—кто может сомневаться в этом? Германия развилась бы гораздо быстрее в смысле свободы и равенства, если бы вместо русской Империи она имела бы своими соседями напр. Северо-Американские Соединенные Штаты. Впрочем у нее была соседка, отделявшая ее от московитской империи,—Польша, правда не демократическая, а дворянская, основывавшаяся на рабстве крестьян, как феодальная Германия, но гораздо менее аристократическая, более либеральная, более открытая всяким гуманным влияниям, нежели эта последняя. И что же? Германия, наскучивши этой неспокойной соседкой, столь противной ее привычкам к порядку, к набожному раболепству и лойяльному подчинению, пожрала добрую половину ее, оставив другую половину московитскому царству, этой Всероссийской Империи, непосредственной соседкой которой она тем самым стала. И теперь, она плачется на это соседство! Это смешно!

Россия равным образом много выиграла бы, если бы вместо Германии она имела соседкой на западе Францию, а на востоке вместо Китая Северную Америку. Но социалисты-революционеры, или, как их начинают называть в Германии, русские анархисты, слишком ревнивы к достоинству их народа, чтобы переложить всю вину своего рабства на Германию или на Китай. И однако гораздо с большим основанием они имели бы историческое право отбросить ее как на тех, так а на других. Ибо, в конце концов, несомненно, что монгольские орды, завоевавшие Россию, явились с Китайский границы. Несомненно, что втечение более двух веков они держали ее под своим игом. Два века варварского ига... Какое воспитание! К великому счастью, это совершенно не проникло в русский народ в собственном смысле слова, в массу крестьян, которые продолжали жить по законам своего обычного общинного права, не признавая и ненавидя всякую другую политику и юриспруденцию, как они это делают и посейчас. Но оно совершенно испортило дворянство, а также в значительной мере русское духовенство, и эти два привилегированные класса, одинаково грубые, одинаково рабские, могут быть рассматриваемы, как истинные основатели московитской империи. Несомненно, что эта империя была основана главным образом на порабощении народа, и что русский народ, совершенно не обладающий добродетелью покорности, которою, повидимому, в такой большой мере одарен немецкий народ, никогда не переставал ненавидеть эту империю и бунтовать против нее. Он был и остается еще и поныне единственным истинным революционером в России. Его бунты, или, скорее, революции (в 1612, в 1667, в 1771) часто угрожали самому существованию московит-

и было ничтожно во всех случаях, когда эти добрые немецкие патриоты и сама русская дипломатия не создавали его в своем воображении. И я докажу, что с 1866 г. С.-Петербургский кабинет, признательный за моральное содействие, если не за материальную поддержку, которую кабинет Берлина оказывал ему, во время крымской войны, и более чем когда либо подчиненный прусской политике,

---

ской империи и, по моему глубокому убеждению, в близком будущем новая социалистическая народная революция, на этот раз победоносная, совершенно ее опрокинет. Несомненно, что, если Московские цари, ставшие впоследствии императорами С.-Петербурга, побеждали до сих пор это упорное и неистовое народное сопротивление, так это лишь благодаря политической, административной, бюрократической и военной науке, принесенной нам немцами, которые, наградив нас столь великолепными вещами, не забыли снабдить нас, не могли не принести с собою свой культ—государя, уже не восточный, но протестантско-германский, культ личного представителя государственного разума, философию дворянского, буржуазного, военного и бюрократического раболепства, возведенного в систему. И это, по моему, было большим несчастьем. Ибо восточное, варварское, хищное, грабительское рабство нашего дворянства и нашего духовенства было весьма грубым, но вполне естественным результатом несчастных исторических обстоятельств, глубокого невежества и еще более несчастного экономического и политического положения. Это рабство было естественным фактом, а не системой и, как таковое, оно могло и должно было измениться под благодатным влиянием либеральных, демократических, социалистических и гуманитарных идей Запада. Оно и в самом деле подверглось изменениям таким образом, что, упоминая лишь о наиболее характерных фактах, с 1818 по 1825 г. цвет дворянства, многие сотни дворян, принадлежащих к самому высокому и самому богатому классу России организовали очень серьезный заговор, весьма угрожавший императорскому деспотизму, с целью основать на его развалинах либеральную конституционную монархию, или согласно желаниям наибольшего числа участников заговора, федеративную демократическую республику. В основании и той и другой формы правления должно было лежать полное освобождение крестьян с наделением их землей. С тех пор не было ни одного заговора в Росси, к которому не принадлежали бы молодые дворяне, часто очень богатые. С другой стороны все знают, что как раз дети наших священников, студенты наших академий и семинарий, составляли священную фалангу социально-революционной партии в России. Пусть господа немецкие патриоты перед лицом этих неопровержимых фактов, уничтожить которые они не в состоянии при всей своей недобросовестности, соблаговолят сказать мне, много ли было в Германии дворян и студентов теологии, конспирировавших против государства во имя освобождения народа?

И однако в Германии нет недостатка ни в дворянах, ни в теологах. Отчего же происходит эта бедность, чтобы не сказать отсутствие, либеральных и демократических чувств у дворянства, у духовенства и — я скажу уж, чтобы быть искренним до конца,—у буржуазии Германии? Оттого, что у этих почтенных классов, представителей немецкой цивилизации, раболепство—не только естественное явление, происходящее от естественных причин, но оно стало системой, наукой, своего рода рели-

сильно содействовал своим угрожающим настроением против Австрии и Франции полному успеху гигантских проектов графа фон Бисмарка и, следовательно, также окончательному созданию великой прусско-германской империи, установление которой увенчает, наконец, все пожелания немецких патриотов.

гиозным культом и по причине этого самого, составляет неизлечимую болезнь. Можете ли вы представить себе немецкого бюрократа или офицера немецкой армии, устраивающим заговор и бунтующим во имя свободы, ради освобождения народов? Нет, конечно. Мы, правда, видели за последнее время в Гановере крупных чиновников и офицеров, устраивавших заговор против господина фон Бисмарка. Но с какой целью? В целях восстановления на троне короля деспота, законного короля Между тем русская бюрократия и корпус русских офицеров насчитывают в своих рядах много заговорщиков для блага народа. Вот в чем разница. И она целиком в пользу России.—Естественно, следовательно, что если даже порабощающему действию немецкой цивилизации не удалось совершенно испортить слой привилегированных и оффициальных лиц России, она должна была постоянно оказывать на эти классы зловредное влияние. И я повторяю, большое счастье для русского народа, что он уберегся от этой цивилизации, как уберегся и от цивилизации Монголов.

Могут ли буржуазные патриоты Германии в противовес всем этим фактам указать хоть один единственный, свидетельствующий о пагубном влиянии на Германию монголо-византийской цивилизации оффициальной России? Им было бы совершенно невозможно сделать это, ибо никогда русские не проникали в Германию ни в качестве завоевателей, ни в качестве профессоров, ни в качестве администраторов. Из этого следует, что, если бы Германия и заимствовала действительно что-либо от оффициальной России, что я совершенно отрицаю, так это могло бы быть лишь по собственной ее склонности и вкусу.

По истине, было бы гораздо более достойным прекрасного немецкого патриота, каков несомненно господин Карл Маркс, и к тому же гораздо полезнее для народной Германии, если бы вместо того, чтобы стараться утешить национальное тщеславие, ложно приписывая ошибки, преступления и позор Германии иностранному влиянию, он пожелал бы употребить свою громадную историческую эрудицию на то, чтобы доказать сообразно со справедливостью и с исторической истиной, что Германия породила, выносила и исторически развила в себе самой все элементы своего нынешнего рабства. Я охотно предоставил бы ему выполнение этой столь полезной, необходимой—особенно с точки зрения освобождения немецкого народа—работы, которая, выйдя из его мозга и из под его пера, подкрепленная той удивительной эрудицией, перед которой я уже преклонился, была бы, разумеется, безконечно более полною. Но, так как я не надеюсь, чтобы он когда нибудь счел приличным и необходимым сказать всю правду по этому вопросу, то я беру это на себя и постараюсь доказать на протяжении настоящего сочинения, что рабство, преступления и позор современной Германии порождены ею самой и являются результатом четырех великих исторических причин: дворянского феодализма, дух которого вместо того, чтобы быть побежденным, как во Франции, в'елся в современное устройство Германии; абсолютизма

Как доктор Фауст, эти великолепные патриоты преследовали две цели, две противоположных тенденции: стремление—к могущественной национальной единице, и стремление—к свободе. Желая примирить две непримиримые вещи, они долго парализовали одна другую, пока, наконец, наученные опытом, они решились пожертвовать одной, чтобы завоевать другую. И так теперь на развалинах—не свободы,—они никогда не были свободны,—но их либеральных мечтаний, они строят свою великую прусско-германскую империю. Отныне они, по их собственному признанию, *свободно* составят могущественную нацию, чудовищное Государство и рабский народ.

Втечение пятидесяти лет подряд, с 1815 по 1866 г.г., немецкая буржуазия переживала своеобразную иллюзию относительно себя самой: она считала себя либеральной, совершенно не будучи таковой. С того времени, как она получила крещение Меланхтона и Лютера, которые *религиозно* подчинили ее абсолютной власти ее принцев, она окончательно потеряла все свои последние инстинкты свободы. Покорность и послушание во что бы то ни стало сделались более, чем когда-либо, ее привычкой и обдуманным выражением ее самых интимных убеждений, результатом ее суеверного культа всемогущего государства. Бунтовское чувство, эта сатаническая гордость, отвергающая подчинение какому бы то ни было господину, божеского или человеческого происхождения, которое лишь одно создает в человеке любовь к независимости и к свободе, не только неизвестно ему, оно отталкивает, скандализует и пугает его. Немецкая буржуазия не могла бы жить без господина. Она испытывает слишком большую потребность уважать, обожать и подчиняться кому бы то ни было. Если не королю, императору,—ну, что-же! так коллективному монарху, Государству и всем чиновникам Государства, как это было до сих пор во Франкфурте, в Гамбурге, в Бремене и в Любеке, называемых республиканскими и свободными, которые перейдут под господство нового императора

государя, санкционированного протестантизмом и превращенного им в предмет культа; упорного и хронического раболепства немецкой буржуазии и ничем не победимого терпения ее народа. Наконец, пятая причина, впрочем очень тесно связанная с четырьмя первыми, это—рождение и быстрое образование совершенно механического и совершенно антинационального могущества государства Пруссии. *(Примеч. Бакунина).*

Германии, не заметив даже, что они потеряли свою свободу.

Следовательно, не необходимость повиноваться господину вызывает неудовольствие немецкого буржуа; ибо это в его привычках, это его вторая натура, его религия, его страсть; но незначительность, слабость, относительное бессилие того, кому он должен и хочет повиноваться. Немецкий буржуа обладает в высшей степени этой гордостью всех лакеев, которые отражают на самих себе важность, богатство, величие, могущество своего господина. Так об'ясняется культ задним числом исторической и почти мифической фигуры императора Германии, культ, рожденный в 1815 г. одновременно с немецким мнимым либерализмом; с тех пор он всегда обязательно ему сопутствовал и необходимо должен был рано или поздно задушить и разрушить его, как он сделал это в наши дни. Возьмите все патриотические песни немцев, сложенные с 1815 г. Я не говорю о песнях рабочих-социалистов, открывающих новую эру, пророчащих новый мир, мир всеобщего освобождения. Нет, возьмите песни буржуазных патриотов, начиная с пангерманского гимна Арндта. Какое чувство преобладает в нем? Любовь к свободе? Нет, чувство национального величия и могущества: „Где немецкое отечество?“ спрашивает он. И отвечает: „Всюду, где звучит немецкий язык“. Свобода лишь весьма слабо вдохновляет певцов немецкого патриотизма. Можно бы было сказать, что они упоминают о ней лишь из приличия. Их серьезный и искренний энтузиазм принадлежит лишь одному национальному Единению. И даже сегодня какими аргументами пользуются они, чтобы доказать обитателям Эльзаса и Лотарингии, которые были крещены во французы Революцией, и которые в настоящий момент столь ужасного для них кризиса чувствуют себя французами более страстно, чем когда бы то ни было,—чтобы доказать этим обитателям Эльзаса и Лотарингии, что они немцы и должны снова стать немцами? Обещают ли они им свободу, освобождение труда, большое материальное благосостояние, благородное и широкое человеческое развитие? Нет, ничего подобного. Эти аргументы так мало трогают их самих, что они не понимают даже, что они могут трогать других. Впрочем, они не осмелились бы доводить так далеко ложь во времена гласности, когда ложь делается столь трудною, если не невозможною. Они знают, и все знают, что эти прекрасные вещи не существуют в Герма-

ний, и что Германия может стать великой кнуто-германской империей, лишь отказавшись от них надолго, даже в мечтах своих, ибо действительность стала ныне слишком захватывающей, слишком грубой, чтобы в ней было место и досуг для мечтаний.

За отсутствием всех этих великих вещей, одновременно реальных и человеческих, о чем говорят им публицисты, ученые, патриоты и поэты немецкой буржуазии? О былом величии Германской Империи, о Гогенштауфенах и об императоре Барбароссе. Не сошли ли они с ума? Не идиоты ли они? Нет, они — немецкие буржуа, немецкие патриоты. Но какого же дьявола эти добрые буржуа, эти великолепные патриоты обожают это великое католическое, императорское и феодальное прошлое Германии? Находят ли они в нем, как итальянские города в двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом веках, воспоминания о могуществе, свободе, умственной жизни и славе буржуазии? Разве буржуазия или, если мы хотим расширить это слово, сообразуясь с духом этих отдаленных времен, нация, немецкий народ, был тогда менее грубо придавлен, менее угнетен своими принципами деспотами и своим надменным дворянством? Нет, конечно, это было хуже, чем теперь. Но тогда чего хотят они искать в прошлых веках, эти буржуазные ученые в Германии? — Могущество господина. Таково честолюбие лакеев.

В присутствии того, что происходит сегодня, сомнения более невозможны. Немецкая буржуазия никогда не любила, не понимала и не хотела свободы. Она живет в своем рабстве, спокойная и счастливая, как мышь в сыре, и хочет только, чтобы сыр был большим. С 1815 года до наших дней она хотела лишь одного. Но этого одного она хотела с настойчивой, *энергичной* и достойной более благородного объекта страстью. Она хотела чувствовать себя под рукой могущественного господина, будь он жестокий и грубый деспот, лишь бы он мог дать, в награду за ее необходимое рабство, то, что она называет своим национальным величием; лишь бы он заставлял дрожать все народы, включая сюда и немецкий народ во имя германской цивилизации.

Мне возразят, что буржуазия всех стран выказывает ныне те-же стремления, что повсюду она испуганно старается укрыться под покровительство военной диктатуры, ее последнее убежище против все более и более угрожающих нашествий пролетариата. Всюду она отказывается от своей

свободы, во имя спасения своего кошелька и, чтобы сохранить свои привилегии, она отказывается от своего права. Буржуазный либерализм во всех странах сделался ложью, и едва существует лишь по имени.

Да, это правда. Но, по меньшей мере в прошлом, либерализм итальянских, швейцарских, голландских, бельгийских, английских и французских буржуа действительно существовал, тогда как либерализм буржуазии немецкой никогда не существовал. Вы не найдете никаких следов его ни до, ни после Реформации.

История немецкого либерализма.

Гражданская война, столь пагубная для могущества государств, напротив того и как раз по этой самой причине, всегда благоприятна пробуждению народной инициативы и интеллектуальному, моральному и даже материальному развитию народов. Причина этого очень проста: гражданская война нарушает, колеблет в массах баранье состояние, столь дорогое правительствам и превращающее народ в стада, которые пасут и стригут по желанию. Она порывает оскотинивающее однообразие их ежедневного существования, машинального, лишенного мысли и, заставляя думать над претензиями различных принцев или партий, оспаривающих друг у друга право угнетать и эксплоатировать их, приводит их чаще всего к сознанию, если не продуманному, то по меньшей мере инстинктивному той глубокой истины, что как один, так и другие не имеют права на них, и что намерения их всех одинаково дурны. Кроме того с момента, как обычно усыпленная мысль масс просыпается в одном направлении, она неизбежно начинает работать и в других направлениях. Ум народа возбуждается, порывает со своей вековой неподвижностью и, выходя за пределы машинальной веры, разбивая иго традиционных и окаменелых представлений или понятий, которые заменяли ему всякие мысли, он подвергает все вчерашние кумиры страстной суровой критике, направляемой его здравым смыслом и его честной совестью, часто более стоющею, нежели наука. Так пробуж-

дается ум народа. С умом родится в нем священный инстинкт, чисто человеческий инстинкт бунта, источник всякого освобождения, и одновременно развиваются его мораль и его материальное благосостояние, дети-близнецы свободы. Эта свобода, столь благодательная для народа, находит поддержку, гарантию и поощрение в самой гражданской войне, которая, разделяя его угнетателей, эксплоатрторов, опекунов или господ, необходимо уменьшает зловредное могущество тех и других. Когда господа дерутся между собою, бедный народ, освобожденный по меньшей мере отчасти от однообразия общественного порядка или, скорее, от анархии и окаменелой несправедливости, которые ему навязаны под именем общественного порядка их ненавистной властью,— может вздохнуть несколько свободнее. Впрочем, противные стороны, ослабленные разделением и борьбой, нуждаются в симпатии масс, чтобы победить в борьбе друг с другом. Народ становится любовницей, перед которой заискивают, за которой ухаживают, которую задабривают. Ему дают всевозможные обещания, ему делают различные действительные политические и материальные уступки. Если он не освобождает себя в такой момент,—он сам целиком виноват в этом.

Как раз при таких обстоятельствах более или менее освободились в средние века коммуны всех стран Западной Европы. По способу, каким они освободились и, особенно, по политическим, интеллектуальным и социальным результатам, которые они сумели извлечь из своего освобождения, можно судить об уме, естественных стремлениях и темпераментах различных национальностей.

Так уже к концу одиннадцатого века мы видим Италию обладающею полным развитием ее муниципальных свобод, торговли и рождающихся искусств. Города Италии сумели использовать начинавшуюся памятную борьбу императоров и пап, чтобы завоевать свою независимость. В том же веке Франция и Англия переживают уже полный расцвет схоластической философии и, как следствие этого первого пробуждения мысли в области веры, и этого первого смутного бунта разума против веры, мы видим на юге Франции зарождение ереси, занесенной из романской Швейцарии. В Германии же ничего. Она работает, молится, поет, строит свои храмы—великолепное выражение ее крепкой и наивной веры, и повинуется безропотно своим священникам, дворянам, принцам и императорам, которые грубо обращаются с ней и грабят ее без жалости и стыда.

В двенадцатом веке образуется великая Лига независимых и свободных городов Италии против императора и против папы. С политической свободой естественно начинается бунт ума. Великий Арно де Брешиа сожжен в Риме в 1155 году за ересь. Во Франции сжигают Пьера де Брюи и преследуют Абеляра. И что еще существеннее,—поистине народная и революционная ересь Альбигойцев восстает против господства папы, священников и феодальных сеньеров. Преследуемые, они распространяются во Фландрии, в Богемии, до Болгарии, но не в Германии. В Англии, король Генрих I Боклерк вынужден подписать хартию, основу всех последующих свобод. Среди всего этого движения одна верная Германия остается неподвижной и незатронутой. Ни одной мысли, ни одного акта, который отметил бы пробуждение независимой воли или какого-либо стремления в народе. Только два важных факта можно отметить за это время. Во первых—создание двух новых рыцарских орденов: тевтонских крестоносцев и ливонских оруженосцев. Задачей обоих была подготовка величия и мощи будущей кнуто-германской империи путем пропаганды оружием католицизма и германизма на севере и на северо-востоке Европы. Известен единообразный и постоянный метод, который употребляли эти любезные пропагандисты Евангелия Христа, чтобы обратить в христианство и германизировать славянские варварские и языческие населения. Впрочем, это тот-же самый метод, который употребляется теперь их достойными приемниками для *морализации*, для *цивилизации*, для *германизации* Франции; эти три различных глагола в мыслях и на языке немецких патриотов равнозначущи. Это массовые и единичные избиения, пожары, грабежи, насилия, уничтожение одной части населения и порабощение другой. В завоеванных странах, вокруг лагерей вооруженных цивилизаторов, образовывались затем немецкие города. В них поселялся святой епископ, благословляющий, не смотря ни на что, все преступления, совершенные или затеянные этими благородными разбойниками. С ним являлась стая попов, и они насильно крестили уцелевших от погромов, а затем заставляли этих рабов строить церкви. Привлеченные таким обилием святости и славы, прибывали затем эти добрые немецкие буржуа, смиренные, раболепные, подло-почтительные перед дворянской наглостью, ползающие на коленях перед установленными политическими и религиозными властями, одним словом низкопоклонничающие перед всем, что представляет

какую-либо власть, но в высшей степени жестокие и полные презрения и ненависти к туземному побежденному населению. Впрочем, к этим, если не очень блестящим, то во всяком случае полезным качеством они присоединяли силу, ум и упорство в труде, и удивительную способность рости и распространяться, что делало этих трудолюбивых паразитов весьма опасными для независимости и цельности национального характера, даже в стране, где они поселились не по праву завоевания, но из милости, как например в Польше. Таким образом восточная и западная Пруссия и часть великого герцогства Познанского в один прекрасный день оказались германизированными. — Второй германский акт, совершившийся в этом веке, это — возрождение римского права, вызванное, конечно, не национальной инициативой, но специальным повелением императоров, которые, поддерживая и распространяя изучение вновь обретенных Пандектов Юстиниана, подготовляли основы для современного абсолютизма.

В тринадцатом веке, немецкая буржуазия кажется наконец пробудившейся. Войне Гвельфов и Гиббелинов, продолжавшейся около столетия, удалось прервать ее песни и мечты и вызвать ее из ее набожной летаргии. Она начала поистине умелой хозяйской рукой. Следуя несомненно примеру, который им дали города Италии, торговые сношения которой распространились по всей Германии, более шестидесяти немецких городов образовали чудовищную торговую и неизбежно политическую лигу, знаменитую Ганзу.

Если бы немецкая буржуазия имела инстинкт свободы, хотя бы даже частичный и ограниченный, какой только и был доступен в эти отдаленные времена, она могла бы завоевать свою независимость и установить свое политическое могущество уже в тринадцатом веке, как это сделала гораздо раньше итальянская буржуазия. Политическое положение немецких городов в эту эпоху впрочем вполне было сходно с положением итальянских городов, с которыми они были связаны вдвойне — и претензиями Священной Империи и более реальными торговыми отношениями.

Как республиканские города Италии, немецкие города могли рассчитывать лишь на себя самих. Они не могли, как коммуны Франции, опереться на возрастающее могущество монархической централизации, так как власть императоров, которая гораздо более основывалась на их способностях и на их личном влиянии, нежели на политических

институтах и вследствие этого изменялась с переменой лиц, никогда не могла укрепиться и пустить корни в Германии. Впрочем, вечно занятые делами Италии и их бесконечной борьбой с папами, они проводили три четверти своего времени вне Германии. По этим двум причинам, власть императоров, вечно непрочная и вечно оспариваемая, не могла представить собою, как и власть королей Франции, достаточную и серьезную поддержку освобождению коммун.

Города Германии не могли так же, как и английские коммуны, об'единиться с земельной аристократией против власти императора, чтобы потребовать свою долю политической свободы: царский дом и вся феодальная знать Германии, в противоположность английской аристократии, всегда отличались совершенным отсутствием политического смысла. Это было просто сборище грубых разбойников, свирепых, глупых, невежественных, склонных лишь к жестокой и грабительской войне, разврату и сладострастию. Они были годны лишь для нападений на городских торговцев на большой дороге или для разграбления самих городов, когда чувствовали себя в силах, но не для понимания пользы союза с ними.

Немецкие города, чтобы защищаться против грубого притеснения, против придирок и регулярного или нерегулярного грабежа императоров, властительных принцев и дворян, могли, следовательно, в действительности рассчитывать лишь на свои собственные силы и на союз между собой. Но, чтобы этот союз, эта самая Ганза, которая всегда была лишь почти исключительно торговым союзом, могла доставить им достаточное покровительство, следовало бы, чтобы она приняла определенно-политический характер и значение: чтобы она вмешалась, как признанная и уважаемая сторона, в самую конституцию и во все как внутренние, так и внешние дела Империи.

Впрочем обстоятельства были в высшей степени благоприятны. Могущество всех властей Империи было значительно ослаблено борьбой Гибелинов и Гвельфов; и раз немецкие города почувствовали себя достаточно сильными для образования взаимной защиты против всех угрожавших им грабителей, коронованных или некоронованных, ничто не мешало им придать этой лиге гораздо более положительный политический характер, характер могучей коллективной силы, требующей уважения и заставляющей уважать себя. Они могли сделать больше; пользуясь более или менее фи-

ктивным союзом, который мистическая святая Империя установила между Италией и Германией, немецкие города могли бы об'единиться или сфедерироваться с итальянскими городами, подобно тому, как они об'единились с фламандскими городами и позже даже с некоторыми польскими городами. Они, конечно, должны были бы сделать это не на узко-немецкой, а на широкой международной базе. И кто знает, не придал ли бы такой союз, в котором к природной, несколько грубой и тяжеловатой силе немцев, присоединился ум, политический талант и любовь к свободе итальянцев, политическому и социальному развитию Запада совсем иное и гораздо более благоприятное направление для цивилизации всего мира. Единственная крупная невыгода, которая вероятно произошла бы от такого союза, было бы образование нового политического слоя, могущественного и свободного, вне рядов земледельческих масс и, следовательно, враждебного им; крестьяне Италии и Германии тогда находились бы еще в большой зависимости от феодальных сен'еров, чего, впрочем, и так не удалось избежать, ибо муниципальная организация городов имела своим последствием глубокое разделение крестьян от буржуа и их рабочих, как в Италии, так и в Германии.

Но не будем мечтать за этих добрых немецких буржуа! Они достаточно мечтают сами. Только к несчастью предметом их мечтаний никогда не была свобода. Они никогда, ни в те времена, ни позже не обладали интеллектуальными и моральными предрасположениями, необходимыми для понимания, для любви, для желания и создания свободы. Дух независимости был им всегда чужд. Бунт для них так же отвратителен, как и ужасен. Он несовместим с их покорным и подчиненным характером, с их терпеливо и мирно трудолюбивыми привычками, с их одновременно рассудочным и мистическим культом власти. Можно сказать, что все немецкие буржуа родятся с шишкой набожности, общественного порядка и послушания во чтобы то ни стало. Люди с такими предрасположениями никогда не становятся свободными и даже посреди самых благоприятных условий остаются рабами.

Это и случилось с Лигой ганзейских городов. Она никогда не преступала границ умеренности и благоразумия стремясь лишь к трем вещам: чтобы ей предоставили мирно обогащаться от ее промышленности и торговли; чтобы уважали ее организацию и внутреннее законоуправление,

и чтобы от нее не требовали слишком больших денежных жертв в обмен на покровительство или терпимость, которые ей оказывали. Что же касается общих дел империи, как внутренних, так и внешних, немецкая буржуазия охотно предоставляла заботы о них „большим господам“, будучи слишком скромна сама, чтобы вмешиваться в них.

Такая большая политическая умеренность необходимо должна была сопровождаться, или скорее даже являться верным симптомом большой медленности в интеллектуальном и социальном развитии нации. И в самом деле мы видим, что за весь тринадцатый век немецкий ум, несмотря на большое торговое и промышленное движение, несмотря на все материальное процветание немецких городов, не произвел решительно ничего. В тот самый век в школах Парижского Университета, не взирая на короля и папу, проповедывали уже доктрину, смелость которой привела бы в ужас наших метафизиков и наших теологов. Эта доктрина утверждала, например, что мир, будучи вечным, не мог быть сотворенным, и отрицала нематериальность душ и свободную волю. В Англии мы видим великого монаха Рожера Бекона, предшественника современной науки и действительного изобретателя компаса и пороха, хотя немцы и хотели бы приписать себе это полезное изобретение для того без сомнения, чтобы опровергнуть известную пословицу В Италии родился Данте. В Германии—полнейшая интеллектуальная ночь.

В шестнадцатом веке Италия обладала уже великолепной национальной литературой: Данте, Петрарка, Боккачио; и в области политической Риенции и Мишель Ландо рабочий чесальщик, хоругвеносец во Флоренции. Во Франции коммуны, представленные в Генеральных Штатах, окончательно определяют свой политический характер, поддерживая королевство против аристократии и папы. Это также—век жаккерии первого деревенского восстания Франции—восстания к которому искренние социалисты не будут испытывать, конечно, ни презрения, ни тем более ненависти буржуа.

В Англии Джон Виклеф, истинный инициатор религиозной реформации, начинает свои проповеди. В Богемии, славянской стране, составляющей, к сожалению, часть германской империи, мы сталкиваемся в народных массах, среди крестьян с интереснейшей и симпатичнейшей сектой Братцев, осмелившейся выступить на борьбу с небесным

деспотом, встав на сторону Сатаны, этого духовного главы всех прошлых настоящих и будущих революционеров, истинного виновника—по свидетельству Библии—человеческого освобождения, отрицателя небесной империи, как мы являемся отрицателями всех земных империй, творца свободы,—того, кого Прудон в своей книге о Справедливости приветствовал с красноречием, исполненным любви, „Братцы“ подготовили почву для революции Гуса и Жижки. Наконец швейцарская свобода родилась в том же веке.

Бунт немецких кантонов Швейцарии против деспотизма Габсбургского дома—явление столь противное национальному духу Германии, что необходимым, непосредственным, последствием его было образование новой Швейцарской нации, крещенной во имя бунта и свободы и как таковой, отделенной отныне непреодолимым барьером от германской Империи.

Немецкие патриоты любят повторять словами знаменитой пангерманской песни Арндта, что „их отечество распространяется повсюду, где звучит немецкая речь, воспевающая хвалу Господу Богу“.

„So weit die deutsche Zunge klingt,
Und Gott im Himmel Lieder singt“.

Если бы они хотели скорее считаться с истинным смыслом их истории нежели с вдохновениями их всепожирающей фантазии, они должны были бы сказать, что их отечество распространяется повсюду, где существует рабство народов, и перестает быть там, где начинается свобода.

Не только Швейцария, но и города Фландрии, хотя и связанные с немецкими городами материальными интересами, интересами возрастающей и процветающей торговли, и не смотря на то, что они принимали участие в Ганзейской Лиге, стремились, начиная с того века, все больше отделиться от Германии под влиянием этой самой свободы.

В Германии на протяжении всего этого века среди возрастающего материального процветания,—никакого ни интеллектуального, ни социального движения. В политике только два события: первое—декларация принцев Империи, которые, увлеченные примером королей Франции, об'явили, что Империя должна быть независимой от папы, и что императорское достоинство исходит от одного Бога; второе—учреждение знаменитой Золотой Буллы, которая окончательно организует Империю и решает, что отныне будет

существовать семь принцев—избирателей, в честь семи золотых светильников апокалипсиса.

Вот, наконец, мы подошли к пятнадцатому веку, это — век Возрождения. Италия в полном расцвете. Вооруженная философией, обретенной в древней Греции, она разбивает тягостную тюрьму, в которой католицизм на протяжении десяти веков держал заключенным человеческий ум. Вера падает, возрождается свободная мысль. Это сверкающая и радостная заря человеческого освобождения. Свободная почва Италии покрывается свободными и смелыми мыслителями. Сама Церковь становится языческой. Папы и Кардиналы, пренебрегая святым Павлом ради Аристотеля и Платона, проникаются материалистической философией Эпикура и, забыв христианского Юпитера, служат лишь Вакху и Венере. Впрочем это не мешает им время от времени преследовать свободных мыслителей, увлекательная пропаганда которых грозит уничтожить в народных массах веру в этот источник папского могущества и доходов. Пламенный знаменитый пропагандист новой веры, веры человеческой, Пик де Мирандоль, умерший таким молодым, особенно навлекает на себя громы Ватикана.

Во Франции и в Англии—затишье. В первой половине этого века—постыдная, глупая война, раздутая лестолюбием королей и глупо поддержанная английской нацией,—война, которая откинула насад на целый век и Англию и Францию. Как ныне пруссаки, англичане пятнадцатого века хотели разрушить, подчинить Францию. Они даже овладели Парижем, что не удалось еще до сих пор немцам, несмотря на все их желание *), и сожгли Жанну д'Арк в Руане, как немцы вешают ныне вольных стрелков. Они были наконец изгнаны из Парижа и из Франции, что случится, будем надеяться, и с немцами.

Во второй половине пятнадцатого века, во Франции мы видим зарождение истинного королевского деспотизма, укрепленного этой войной. Это—эпоха Людовика XI, грубого бурбона, который стоит один Вильгельма I с его Бисмарком и Мольтке, это—основатель бюрократической и военной централизации Франции, создатель государства. Он еще снисходит иногда до того, чтобы опереться на корыстные симпатии своей верной буржуазии, которая с удовольствием любуется, как ее добрый король сносит столь надменные и

*) Эти страницы были написаны между 11 и 16 февраля 1871 г. Дж. Г.

гордые головы ее феодальных сеньеров. Но чувствуется уже по манере его обращения с нею, что, если она не хотела бы его поддерживать, он сумел бы заставить ее. Всякая независимость—дворянская или буржуазная, духовная или телесная—ему одинаково противна. Он уничтожает рыцарство и учреждает военные ордена,—в этом выражается его попечение о дворянстве. Он облагает свои любезные города сообразно своему капризу и диктует свою волю Генеральным Штатам,—такова при нем свобода буржуазии Наконец, он запрещает чтение сочинений авторов-материалистов, не допускающих реальности отвлеченных идей, и приказывает чтение ортодоксальных мыслителей, защищающих *реальное* существование этих идей—такова свобода мысли. И что же! Несмотря на столь тяжкое давление, во Франции в конце пятнадцатого века появляется Раблэ, глубоко народный гальский гений, преисполненный духа человеческого бунта, характеризующего век Возрождения.

В Англии, несмотря на ослабление народного духа—естественное последствие постыдной войны, которую она вела с Францией в течение всего пятнадцатого века,—ученики Виклефа пропагандируют доктрину своего учителя, не смотря на жестокия преследования, жертвами коих они становятся, и подготавляют таким образом почву для религиозной революции, которая вспыхнула сто лет спустя. В то же время, путем индивидуальной, неслышной невидимой и не уловимой, но тем не менее очень живучей пропаганды в Англии как и во Франции, свободный дух Возрождения стремится создать новую философию. Фламандские города, ревнивые к своей свободе и сильные своим материальным процветанием, входят целиком в современное аристократическое и индивидуальное развитие, еще больше отделяясь благодаря этому от Германии.

Что касается Германии, мы видим ее спящею самым глубоком сном втечении всей первой половины этого века. И однако в недрах Империи и в самом непосредственном соседстве с Германией произошло громадного значения событие, которое было достаточным, чтобы встряхнуть оцепенение любой другой нации. Я имею в виду религиозный бунт Иоанна Гусса, великого славянского реформатора.

С чувством глубокой симпатии и братской гордости думаю я об этом великом национальном движении славянского народа. Это было больше, чем религиозное движение,—это

был победоносный протест против немецкого деспотизма, против аристократическо-буржуазной цивилизации немцев, это был бунт классической славянской общины против немецкого Государства. Два великих славянских бунта имели уже место в одинадцатом веке. Первый был направлен против благочестивого угнетения храбрых тевтонских рыцарей, предков нынешних дворянчиков-лейтинантов Пруссии, Славянские инсургенты сожгли все церкви и истребили всех священников. Они ненавидили христианство означало германизм в его наименее привлекательной форме. Это были любезный рыцарь, добродетельный священник и честный буржуа, все трое чистокровные немцы, представляющие, как таковые, идею власти, во что бы то ни стало, и реальность грубого, наглого и жестокого угнетения. Второе восстание произошло тридцатью годами позже в Польше. Это было первое и единственное восстание чисто польских крестьян. Оно было подавлено королем Казимиром. Вот, какое суждение об этом событии дал великий польский историк Лелевель, патриотизм и даже известное предпочтение которого к классу, который он называл *благородной демократией*, не тогут быть никем подвергнуты сомнению: „Партия Маслова" (глава восставших крестьян Мазовии) „была народной и в союзе с язычеством; партия Казимира была аристократической и сторонницей христианства" (то есть германизма). И дальше он прибавляет: „Безусловно нужно рассматривать это гибельное событие, как победу, одержанную над низшими классами, участь которых могла лишь ухудшиться впоследствии. *Порядок был восстановлен*, но ход социольного состояния повернулся с тех пор сильно к невыгоде низших классов. (*История Польши*. Иоакима Лелевеля. Т. II, стр. 19).

Богемия позволяла себя германизировать еще больше чем Польша. Как и Польша она никогда не была завоевана немцами, но дала им глубоко испортить себя. Будучи членом Священной Империи с момента ее образования, как Государства, она никогда к своему несчастью не могла отделиться от нее и восприняла все ее клерикальные, феодальные и буржуазные учреждения. Города и дворянство Богемии частью германизировались; дворянство буржуазия и духовенство были немецкими не по рождению, но по крещению, точно так же, по своему воспитанию и политическому и социальному положению, ибо первобытная организация славянских общин не признавала ни священников ни

классов. Одни лишь крестьяне Богемии не были поражены этою немецкою чумою и разумеется являлись ее жертвами. Этим об'ясняется их инстинктивные симпатии ко всем крупным народным ересям. Так, ересь, де-Во распространилась в Богемии уже в двенадцатом веке и секта Братцев в четырнадцатом, к концу этого века настала очередь для ереси Виклефа, сочинения которого были переведены на богемский язык. Все эти ереси стучали также и в двери Германии: они даже должны были пересечь ее, чтобы достигнуть Богемии. Но в недрах немецкого народа они не встретили ни малейшего отзвука. Нося в себе семена бунта, они должны были скользить по его непоколебимой верности, не затронув, ее, не будучи даже в силах нарушить его глубокий сон. Напротив того, они нашли благодатную почву в Богемии, народ который порабощенный, но не германизированный, проклинал от всего сердца и это рабство и всю аристократически-буржуазную цивилизацию немцев. Этим об'ясняется, почему на пути религиозного протеста чешский народ должен был на целый век опередить немецкий народ.

Одним из первых появлений этого религиозного движения в Богемии было массовое изгнание всех немецких профессоров Пражского Университета, —ужасное преступление которого немцы никогда не могли простить чешскому народу. И однако, если взглянуть на дело поближе, придется согласиться, что этот народ был тысячу раз прав, изгоняя этих патентованных и угодливых развратителей славянской молодежи. Стоит вспомнить, чем были немецкие профессора —за исключением очень короткого периода около тридцати пяти лет, между 1813 и 1848 годами, когда *тлетворный дух* либерализма и даже французского демократизма проскользнул контрабандой и удержался в немецких университетах, представленный там двадцатью-тридцатью славными учеными, воодушевленными искренним либерализмом; до этого времени они были, а после под влиянием реакции 1849 г. снова стали льстецами всех властвующих, учителями раболепства. Происшедшие из немецкой буржуазии, они добросовестно отражают ее стремление и дух. Их наука есть верное проявление рабского сознания. Это идейное освящение исторического рабства.

Немецкие профессора пятнадцатого века в Праге были по крайней мере столь же низкопоклонны, такие же лакеи, как и профессора нынешней Германии, которые телом и

душою преданы Вильгельму I, свирепому, будущему господину Кнуто-Германской империи. Они были рабски преданы заранее всем императорам, каких благоугодно будет семи апокалиптическим принцам — избирателям Германии дать Священной Германской империи. Им было безразлично, кто бы ни был господином, лишь господин был бы, так как общество без господина — чудовищность, которая необходимо должна возмущать их немецко-буржуазное воображение. Общество без господина было бы ниспровержением германской цивилизации.

Какие же науки преподавали эти немецкие профессора пятнадцатого века? Римско-католическую теологию и кодекс Юстиниана,—два орудия деспотизма. Прибавьте сюда схоластическую философию и при том в такую эпоху, когда она, оказавшая несомнанно в прошлых веках большие услуги освобождению духа, остановилась и как бы застыла в своей чудовищной и педантичной неповоротливости, в которой современная мысль, одушевленная предчувствием, если еще не обладанием живой науки, пробила не одну брешь. Прибавьте сюда еще немножко варварской медицины преподаваемой как и все остальное, на самой варварской латыни, и перед вами весь научный багаж этих профессоров. Стоило ли все это того, чтобы удерживать их? Напротив, было крайне важно, как можно скорее удалить их, ибо помимо того, что они развращали молодежь своим обучением и своим раболепным примером, они были весьма ревносными агентами этого рокового дома Габсбургов, который уже вожделял Богемию в качестве своей добычи.

Ян Гус и Иероним Парижский, его друг и ученик, много содействовали их изгнанию. Поэтому, когда император Сигизмунд, нарушая право неприкосновенности, которое он им обещал, предал их сперва суду Констанского Собора, а затем велел сжечь их обоих, одного в 1415 г., а другого в 1416 г., там, в сердце Германии в присутствии громадного стечения немцев, прибывших издалека, чтобы насладиться зрелищем, не раздался ни один голос, протестующий против этой вероломной и бесчестной жестокости. Нужно было, чтобы прошло еще сто лет для того, чтобы Лютер реабилитировал в Германии память этих двух великих славянских реформаторов и мучеников.

Но, если немецкий народ, вероятно еще спящий и грезящий, оставил без протеста это постыдное преступление, чешский народ протестовал чудовищной революцией. Вели-

кий, грозный Жижка, этот народный герой-мститель, память о ком живет еще, как залог будущего, в недрах богемских деревень, восстал и, во главе своих таборитов, исколесив всю Богемию, сжигал церкви, истреблял священников и сметал всех паразитов, императорских или немецких, что тогда было равнозначуще, ибо все немцы в Богемии были сторонниками императора. После Жижки, явился великий Прокоп, вселявший ужас в сердца немцев. Даже сами буржуа Праги, впрочем бесконечно более умеренные, чем Гуситы деревень, в 1419 году выбрасывали, по старинному обычаю страны, в окна сторонников императора Сигизмунда, когда этот бесчестный клятвопреступник имел наглую циническую смелость заявить себя претендентом на вакантную корону Богемии. Хороший пример, достойный подражания! Так следовало бы поступать, в видах всемирного освобождения, со всеми, кто захотел бы навязать себя народным массам в качестве *оффициальной власти*, под какой бы маской, под каким бы предлогом и под каким бы наименованием это ни было.

В течение семнадцати лет подряд, эти ужасные Табориты, живя друг с другом в братских общинах, побивали все Саксонские, Франконские, Баварские, Рейнские и Австрийские войска, которые император и папа посылали в крестовые походы против них. Они очищали Моравию и Силезию и несли ужас своего оружия в самое сердце Австрии. Они были, наконец, побиты императором Сигизмундом. Почему? Потому что они были ослаблены интрегами и изменой тоже чешской партии, но образованной коалицией туземного дворянства и буржуазии Праги, немцев по воспитанию, положению, идеям и нравам, если не по сердцу, и называвшейся из оппозиции к Таборитам, коммунистам и революционерам,—партией *калистенов*, требующей *мудрых и возможных* реформ, представлявшей одним словом в эту эпоху в Богемии ту самую политику лицемерной умеренности и умелого бессилия, которую так хорошо представляют теперь г.г. Палацкий, Ригер, Браунер и К-о.

Начиная с этой эпохи, народная революция быстро пошла на убыль, уступая место сперва дипломатическому влиянию, а век спустя господству австрийской династии. Политики, умеренные, ловкие, пользуясь победой гнусного Сигизмунда, овладели правительством, как они сделают, вероятно, с Францией, после окончания этой войны и для вящщего несчастья Франции. Они послужат — одни созна-

тельно, и с большой пользой для своих карманов, другие глупо сами, не подозревая того, орудием австрийской политики, как Тьеры, Жюли Фавры, Жюли Симоны, Пикары и много других послужат орудиями в руках Бисмарка. Австрия магнетизировала их и вдохновляла их. Двадцать пять лет спустя после поражения Гусситов Сигизмундом, эти ловкие и осторожные патриоты нанесли последний удар независимости Богемии, разрушив руками своего короля Подебрада город Табор, или скорее военный лагерь Таборитов. Так буржуазные республиканцы Франции восстановляют и еще больше будут восстановлять своего президента или короля против социалистического пролетариата, этого последнего военного лагеря будущего и национального достоинства Франции.

В 1526 году корона Богемии досталась, наконец, австрийской династии, которая уже больше не выпустила ее из своих рук. В 1620 г. после агонии, длившейся немного меньше ста лет, Богемия, преданная мечу и огню, опустошенная, разграбленная, разгромленная и на половину обезлюдевшая, разом потерявшая все, что оставалось у нее от былой самостоятельности, национального существования и политических прав, оказалась закованной под тройным игом императорской администрации, немецкой цивилизации и австрийских Иезуитов. Будем надеяться, для чести и спасения человечества, что с Францией не случится того-же.

В начале второй половины пятнадцатого века немецкая нация представила, наконец, доказательство ума и жизни, и это доказательство, нужно признаться, было блестящим. Она изобрела книгопечатание, и этим путем, созданным ею самою, она вошла в сношения с интеллектуальным движением всей Европы. Ветер Италии, сирокко свободной мысли пахнул на нее, и под этим горячим дыханием растаяло ее варварское безразличие, ее ледяная неподвижность. Германия делается гуманистской и гуманной.

Кроме прессы был еще и другой менее общий и более живой способ сношений. Немецкие путешественники, возвращаясь из Италии к концу этого века, приносили из нее новые идеи, Евангелие человеческого освобождения и пропагандировали его с религиозной страстью. И на этот раз, драгоценное семя не было утеряно. Оно нашло в Германии почву, совсем подготовленную для его восприятия. Эта великая нация, пробужденная к мысли, к жизни, к действию, в свою очередь должна была взять в свои руки управление

умственным движением. Но увы! она оказалась неспособной сохранить его за собой больше двадцати пяти лет.

Следует хорошо различать между движением Возрождения и движением религиозной Реформы. В Германии, первое очень немного предварило лишь второе. Был короткий период между 1517 и 1525 годами, когда эти два движения казались слившимися, хотя они были воодушевлены совершенно противоположным духом. Одно было представлено такими людьми, как Эразм, Рейхлин, благородный героический Ульрих фон-Гуттен, поэт и гениальный мыслитель, ученик Пик-де-Мирандоля и друг Франца фон-Сиккингена. Эколампада и Цвингли, который образовал в некотором роде связь между чисто философским движением Возрождения, чисто религиозным превращением веры благодаря протестантской Реформе и революционным восстанием масс, вызванным первыми проявлениями этой реформы. Другое движение, представленное главным образом Лютером и Меланхтоном, двумя отцами нового религиозного и теологического развития Германии. Первое из этих движений—глубоко гуманитарное стремилось под влиянием философских и литературных работ Эразма, Рейхлина и других к полному освобождению ума и к разрушению грубых верований христианства и, в то же время, благодаря более практической и более героической деятельности Ульриха фон Гуттена, Эколампада и Цвингли оно стремилось к освобождению народных масс от дворянского и княжеского гнета. Между тем, как движение Реформы, фанатически религиозное, теологическое и, как таковое, полное почтения к божественному и презрения к человеческому, суеверное до такой степени, что способно видеть диавола и бросать ему чернильницу в голову,—как это, говорят, случилось с Лютером в Вартбургском Замке, где еще показывают чернильное пятно на стене,—должно было необходимо сделатся непримиримым врагом и свободы ума и свободы народов.

Во всяком случае, как я сказал уже, был момент, когда эти два движения, столь противоположные, должны были в действительности слиться, первое будучи революционным по принципу, второе вынужденное быть таковым по положению вещей. Впрочем в самом Лютере было очевидное противоречие. Как теолог, он был и должен был быть реакционером, но по натуре, по темпераменту, по инстинкту, он был страстным революционером. Он имел натуру человека из народа, и эта могучая натура отнюдь не была соз-

дана, чтобы терпеливо переносить чье бы то ни было иго. Он не хотел склоняться перед Богом, в которого слепо верил, и присутствие и милость которого он, по его мнению, чувствовал в своем сердце. И во имя этого-то Бога *мягкий* Меланхтон ученый теолог и только теолог, его друг, ученик, а в действительности его учитель и укротитель его львиной натуры, сумел окончательно приковать его к реакции.

Первые рыканья этого сурового и великого немца были совершенно революционными. Нельзя в самом деле придумать ничего более революционного, чем его манифесты против Рима; чем ругательства и угрозы, которые он бросал в лицо принцев Германии; чем страстная его полемика против лицемерного и развратного деспота и реформатора Англии, Генриха VIII. С 1517 до 1525 года в Германии только и слышно было, что громовые раскаты этого голоса, который, казалось, призывал немецкий народ к общему обновлению, к революции.

Его призыв был услышан. Крестьяне Германии поднялись с грозным кличем, с кличем социалистов: *Война дворцам, мир хижинам!* который переводится ныне еще более грозным криком: „Долой всех эксплоататоров и всех опекунов человечества; свобода и процветание труду, равенство всех и братство человеческого мира, свободно образованного на развалинах всех государств!“

Это был критический момент для религиозной Реформы и для всей политической судьбы Германии. Если бы Лютер захател встать во главе этого великого народного социалистического движения сельских населений, восставших против их феодальных сеньеров, если бы буржуазия городов поддержала его, все было бы покончено с Империей, деспотизмом принцев и наглостью дворян в Германии. Но для того, чтобы поддержать его, нужно было бы, чтобы Лютер не был теологом, который более озабочен божественной славой, чем человеческим достоинством, и возмущен, что угнетенные люди, рабы, которые должны бы думать лишь о вечном спасении их душ, осмеливаются требовать свою долю человеческого счастья *на этой земле*; нужно было бы также, чтобы буржуа городов Германии не были немецким буржуа.

Раздавленный равнодушием и в весьма значительной части также явной враждебностью городов и теологическими проклятиями Меланхтона и Лютера гораздо более, нежели вооруженной силой сеньеров и принцев, этот грозный бунт крестьян Германии был побежден. Десять лет спустя было

также подавлено другое восстание, последнее, которое было вызвано в Германии религиозной Реформой. Я говорю о попытке мистико-коммунистической организации анабаптистов Мюнстера, столицы Вестфалии. Мюнстер был взят, и Иван Лейденский, анабаптистский пророк, при рукоплесканиях Меланхтона и Лютера был казнен.

Впрочем, уже пять лет перед тем, в 1530 году два теолога Германии наложили печать на все последующее движение их страны, даже религиозное, представив императору и принцам Германии свою Аугсбургскую Исповедь. Эта Исповедь, разом подрезая крылья свободному полету души, отрицая даже ту самую свободу индивидуальной совести, во имя которой возникла Реформация, навязывая им, как абсолютный божественный закон, особый догматизм под охраной протестантских принцев, признанных естественными покровителями и главами религиозного культа, установила новую оффициальную церковь, которая, будучи более абсолютна, чем даже Римско-католическаб церковь, и столь же раболепна перед земной властью, как Византийская церковь, стала отныне в руках этих протестантских принцев орудием ужасного деспотизма и осудила всю Германию — как протестантскую, так рикошетом и католическую — по меньшей мере на три века самого оскотинивающего рабства,—рабства, которое, увы, даже ныне, как мне кажется, не расположено уступить место свободе*).

Было большим счастьем для Швейцарии, что Страсбургский Собор, управлявшийся в том же году Цвингли и Бюсером, отверг эту конституцию рабства, — конституцию

*) Чтобы убедиться в раболепном духе, характеризующим лютеранскую церковь в Германии даже еще в наши дни, достаточно прочесть формулу декларации или письменной присяги, которую всякий лютеранский священник королевства Пруссии должен подписать и поклясться выполнять прежде, чем вступить в отправление своих обязанностей. Она не превосходит, но, конечно, равняется по раболепству обязательствам, которые налагаются на русское духовенство. Каждый евангелический священник Пруссии приносит присягу быть на всю свою жизнь преданным и покорным слугою своего государя и господина—не Господа Бога, но короля Прусского; всегда тщательно соблюдать его святые приказания и никогда не терять из вида священные интересы Его Величества; насаждать такое же уважение и такое же абсолютное повиновение среди своей паствы и *доносить правительству обо всех стремлениях, обо всех предприятиях, обо всех актах, какие могут быть противны желаниям или интересам правительства*. И подобным рабам доверяют исключительное руководство народными школами Пруссии. Это столь хваленое образование есть следовательно ничто иное, как отравление масс, систематическая пропаганда доктрины рабства (Прим. Бакунина).

якобы религиозную, — и таковою она была на самом деле, ибо во имя Бога она освящала абсолютную власть принцев. Вышедшая почти исключительно из теологической и ученой головы профессора Меланхтона, под очевидным давлением глубокого, безграничного, непоколебимого раболепного уважения, которое всякий немецкий добропорядочный буржуа и профессор испытывает к личности своих учителей, она была слепо принята немецким народом, *потому что его принцы приняли ее*, — новый симптом не только внешнего, но и внутреннего, исторического рабства, тяготеющего на этом народе.

Эту, впрочем, столь естественную тенденцию протестантских принцев Германии разделить между собою обломки духовной власти папы или сделаться главами Церкви в пределах своих государств, мы находим также и в других протестантских монархических странах, напр. в Англии и в Швеции. Но ни в той, ни в другой ей не удалось восторжествовать над гордым чувством независимости, которое проснулось в народах. В Швеции, Дании и Норвегии народ и особенно крестьянский класс сумел удержать свою свободу и свои права, как против вторжений дворянства, так и против вторжения монархии. В Англии борьба англиканской оффициальной Церкви с свободными церквами пресвитерианцев Шотландии и независимых Англии привела к великой и памятной революции, от которой ведет свое счисление национальное величие Великобритании. Но в Германии столь естественный деспотизм принцев не встретил тех же препятствий. Все прошлое немецкого народа, столь преисполненного мечтами, но столь бедное свободными мыслями и действиями или народной инициативой, было отлито, если можно так выразиться, в форму набожного подчинения и почтительного послушания, покорного и пассивного; он не нашел в себе самом в этот критический момент своей истории ни достаточной энергии и независимости, ни необходимой страсти, чтобы поддержать свою свободу против традиционной и грубой власти своих бесчисленных государей, дворян и принцев. В первый момент энтузиазма он, правда, обнаружил великолепный порыв. Одно время Германия казалась слишком узкой для того, чтобы сдержать ее клокочущую революционную страсть. Но это был лишь один момент, один порыв и как бы временное и искусственное проявление воспаления мозга. Скоро ему нехватило дыхания; и отяжелев, без дыхания и без сил,

он рухнул. Тогда, снова обузданный Меланхтоном и Лютером, он спокойно позволил вернуть себя в стойло, под историческое и спасительное иго принцев.

Он видел во сне свободу и пробудился рабом больше, чем когда либо. С тех пор Германия сделалась истинным центром реакции в Европе. Не довольствуясь проповедыванием рабства на собственном примере и посылкой своих принцев, принцесс и дипломатов для введения и пропаганды его во всех странах Европы, она сделала его предметом своих глубоких научных спекуляций. Во всех других странах администрация в самом широком смысле этого слова, как организация бюрократической и фискальной эксплоатации государством народных масс, рассматривается, как искусство, - искусство обуздывать народы, удерживать их в строгой дисциплине и стричь их, не заставляя кричать слишком громко. В Германии это искусство преподается, как наука, во всех университетах. Эта наука могла бы быть названа современной теологией, теологией культа Государства. В этой религии земного абсолютизма государь занимает место Господа Бога, бюрократы занимают место священников, и народ, разумеется, всегда—жертва, приносимая на алтарь государства.

Если правда,—как я в этом глубоко убежден,—что только инстинктом свободы, ненавистью к угнетателям и способностью взбунтоваться против всего, что носит характер эксплоатации и господства в мире, против всякого рода эксплоатации и деспотизма,—проявляется человеческое достоинство германских наций и народов, нужно согласиться что с тех пор, как существует германская нация до 1848 года, одни крестьяне Германии доказали своим бунтом в шестнадцатом веке, что эта нация не абсолютно чужда этому достоинству.

Напротив того, если бы захотели судить о германском народе по делам и проявлением его буржуазии, то пришлось бы сделать заключение, что он предназначен осуществить собой идеал добровольного рабства.

КНУТО-ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

И

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

ВТОРОЙ ВЫПУСК.

Предисловие.

Под заглавием *„Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция, выпуск второй“*, я помещаю, согласно намерениям автора, содержание последних листов (начиная 27-й строчкой 138-го листа) большой рукописи Бакунина (не включая сюда вставки, написанной на листах 286—340, вставки, напечатанной Максом Нетлау в 1-м томе Собрания Сочинений). Это продолжение рукописи должно было быть напечатано благодаря моим стараниям летом 1871 г. и было бы напечатано, если бы имелись материальные средства. Наконец, оно появляется целиком в первоначальной форме теперь на тридцать шесть лет позже, чем надеялся автор.

В заголовке этой части рукописи Бакунин написал: „Исторические софизмы доктринерской школы немецких коммунистов“. Но это заглавие не соответствует содержанию этого второго выпуска.

Автор начинает (листы 139—142) провозглашением принципа, „составляющего существенное основание позитивного социализма“, а именно, что „факты рождают идеи“, и что „из всех фактов экономические явления составляют существенную основу, главное основание, из которого неизбежно вытекают все остальные явления, интеллектуальные и моральные, политические и социальные“. Он напоминает что этот принцип „впервые был научно формулирован и развит Карлом Марксом“. Бакунин естественно сам подписывается под экономическим материализмом, однако с оговоркой: „Этот принцип, говорит он, глубоко справедлив, когда его рассматривают в правильном освещении, т.-е.— с точки зрения относительной. Но, когда его утверждают абсолютным образом, как единственное основание всех других принципов, как это делает школа немецких коммунистов, он становится совершенно ложным“.

Здесь, вместо того, чтобы немедленно приступить к затронутому вопросу, к изложению и опровержению „исто-

рических софизмов“ школы Маркса,—автор прежде всего констатирует, что в прямом противоречии к провозглашенному материалистами принципу находится принцип идеалистов всех школ: идеалисты „протендуют, что идеи господствуют над фактами и производят их“. И во имя материализма, Бакунин нападает на идеалистическую доктрину: „Вне всякого сомнения, идеалисты ошибаются, и одни лишь материалисты правы. Да, факты определяют идеи; да, идеал как выразился Прудон, есть лишь цветок, корнями которому служат материальные условия существования“. Он посвящает листы 149—286 и длинное незаконченное примечание к 286—340 л. предварительному опровержению идеализма в его различных формах: сперва—в форме религиозной, затем в форме, какую ему придал в девятнадцатом веке Виктор Кузен,—эклектизма.

Иногда втечение этой работы Бакунин вспоминает, что вся эта длинная полемика против идеализма есть лишь введение, и что ему придется затем излагать настоящий предмет его работы. Два раза—на листах 213 и 229—он снова упоминает о школе немецких коммунистов, школе „материалистов-доктринеров, которые не сумели отделаться от религии Государства“, как бы для того, чтобы показать что он не потерял из вида своего обещания, данного в начале, опровергнуть „исторические софизмы“. Но рукопись осталась незаконченной и прерывается раньше, чем Бакунин мог закончить свое опровержение идеализма.

Дж. Гильом.

Исторические Софизмы Доктринерской школы немецких коммунистов *).

Не таково мнение доктринерской школы социалистов или скорее государственных коммунистов Германии,—школы, основанной несколько раньше 1848 г. и оказавшей—надо признать это—крупные услуги делу пролетариату не только в Германии, но и в Европе. Это ей главным образом принадлежит великая идея *„Международной Ассоциации работников“*, а также и инициатива ее первого осуществления. Ныне она находится во главе *Социал-Демократической Рабочей Партии* в Германии, имеющей своим органом „Фолькштат“ („Народное Государство“).

Это, следовательно весьма почтенная школа, что не мешает ей по временам **) глубоко заблуждаться; одно из

---

*) Это заглавие следует в рукописи Бакунина непосредственно за фразой (в конце 138 листа) относительно „немецкой нации“, которой заканчивается первый выпуск: „Если бы наоборот ее хотели судить по фактам и поступкам ее буржуазии, то пришлось бы придти к заключению, что немецкая нация как бы предназначена судьбой к тому, чтобы осуществить идеал добровольного рабства“. Дж. Г.

**) Я знаю кое-что об этом. Вот, уже скоро четыре года, как я подвергаюсь самым постыдным нападкам, самым грязным обвинениям и *) самым бесчестным клеветам со стороны наиболее влиятельных членов из этой научно-революционной клики. Я знаю некоторых из них и имею полное право назвать их этим несколько сильным эпитетом, ибо они позволили себе обвинять меня в различных подлостях,—прекрасно при этом зная, что они лгут.

Не осмелились ли они сказать и напечатать в „Фолькштат“ и даже один раз в парижском „Reveil“, редактируемом г. Делеклюзом, что я—русский шпион, или шпион Наполеона III или даже шпион графа фон-Бисмарка, по соглашению с г. фон-Швейцером, признанным вождем другой социалистической партии Германии, с которым я никогда не имел сношений ни лично, ни письменно] самым подлым клеветам со стороны

---

*) Строки, находящиеся между прямыми скобками, представляют из себя первоначальный незаконченный проект, зачеркнутый самим Бакуниным. Дж. Г.

главных ее ошибок было, то что она приняла за основание своих теорий принцип, глубоко верный, когда его рассматривают в верном освещении, то есть с точки зрения относительной, но который, рассматриваемый и выставленный вне связи с условиями, как единственное основание и пер-

---

наиболее влиятельных членов этой научно-революционной клики, управляемой из Лондона. Я давно знаком с ее вождями и всегда испытывал большое уважение к их выдающемуся уму, к их реальной, живой, столь же глубокой, как и обширной учености и к их непоколебимой преданности великому делу освобождения пролетариата, которому втечение по меньшей мере двадцати пяти лет подряд,—мне приятно еще раз повторить это,—они не переставали оказывать самые большие услуги. Я следовательно, признаю их во всех отношеньях за людей бесконечно почтенных, и никакая несправедливость с их стороны, как бы вопиюща и постыдна она ни была, не заставит меня сделать такую глупость чтобы я стал отрицать полезность и историческую важность как их теоретических трудов, так и их практических работ. К несчастью, как говорится в одной старой пословице, каждая медаль имеет свою оборотную сторону. Эти господа слишком неуживчивы,—они раздражительны, тщеславны, сварливы, как немцы, и, что еще хуже, как немецкие литераторы, которые отличаются, как известно, полным отсутствием вкуса, уважения к человеку и даже уважения к самим себе; у них всегда полон рот оскорблений, гнусных и вероломных инсинуаций, злобствований исподтишка и самой грязной клеветы против всех, кто имеет несчастие не разделять вполне их мнений, не желать обязательно соглашаться с ними и не быть в состоянии преклоняться перед ними. Я понимаю и нахожу совершенно законным, полезным, необходимым, чтобы люди нападали с большой энергией и страстью не только на противоположные теории, но и на людей, которые их представляют, во всех их публичных и даже частных актах, когда постыдность этих последних должным образом установлена и доказана. Ибо я больше, чем кто либо, враг того чисто буржуазного лицемерия, которое претендует воздвигнуть непреодолимую стену между общественной и личной жизнью человека. Это разделение—пустая фикция, ложь и ложь весьма опасная. Человек есть существо неделимое, цельное и, если в своей частной жизни он негодяй, если в своей семье он тиран, если в социальном отношении он лжец, обманщик, угнетатель и эксплоататор, он должен быть таким же и в своей общественной деятельности; если же он представляется иным, если он старается придать себе видимость либерального демократа или социалиста, влюбленного в справедливость, свободу и равенство, он опять лжет и очевидно должен иметь намерение эксплоатировать массы, как эксплоатирует отдельных личностей. Следовательно, это не только право, но и обязанность сорвать с него маску, обнаружить гнусные факты его частной жизни, *когда относительно их располагают неопровержимыми доказательствами*. Единственное соображение, которое могло бы остановить в этом случае добросовестного и честного человека, это—трудность установить их, трудность, которая бесконечно больше для фактов частной жизни, чем для актов жизни публичной. Но это дело совести, чутья и справедливости того, кто считает долгом предать кого-либо общественному порицанию. Если он делает это не побуждаемый чувством справедливости, но по злобе, из ревности или ненависти, тем хуже для него. Но не должно быть

воисточник всех других принципов (как это делает эта школа), становится совершенно ложным.

Этот принцип, составляющий, впрочем, существенное основание позитивного социализма, был впервые научно формулирован и развит г. Карлом Марксом, главным во-

---

никому позволено обвинять без доказательств. И чем обвинение серьезнее, тем больше доказательств в подтверждение его должно быть представлено. Следовательно, тот, кто обвиняет другого человека в бесчестности, должен быть рассматриваем сам, как бесчестный, и он действительно таков,—если не подтверждает свой ужасный донос неопровержимыми доказательствами.

После этого необходимого об'яснения, возвращаюсь к моим дорогим и почтеннейшим врагам из Лондона и Лейпцига. Я знаю давно их главных вождей и должен сказать, что мы не всегда были врагами. Далеко нет. Мы находились в довольно близких отношениях до 1848 г. Эти отношения могли бы быть гораздо ближе с моей стороны, если бы меня не оттолкнула отрицательная сторона их характера, которая всегда мне мешала отнестись к ним с полным и безграничным доверием. Во всяком случае мы оставались друзьями до 1848 года. В 1848 году я совершил большую ошибку в их глазах, тем, что стал против них на сторону одного знаменитого поэта—почему бы ни назвать его?—г. Георга Гервега, к которому я испытывал глубокую дружбу, и который разошелся с ними в одном политическом деле, в котором, как я думаю ныне и скажу это откровенно,—справедливость, правильная оценка общего положения, была на их стороне. Они напали на него с беззастенчивостью, характеризующею их нападки. Я с жаром защищал его, в его отсутствии лично против них в Кельне. Inde irae (отсюда гнев). Я скоро ощутил это. В Кельнской газете (Die Rheinische Zeitung), которую они издавали в эту пору, появилась корреспонденция из Парижа, написанная с теми подлыми намеками и с тем искусством в ядовитом инсинуировании, секретом которого обладают одни лишь корреспонденты немецких газет.

Корреспондент вложил в уста госпожи Жорж Занд весьма странные и совершенно позорящие слова на мой счет: она будто бы сказала—(я не знаю, и сам корреспондент, конечно, не знал, ни где, ни кому, ни как, ибо он все изобрел, и по всей вероятности—корреспонденция была сфабрикована в Кельне),—что я русский шпион. Мадам Занд благородно, энергично протестовала. Я послал к ним одного друга. Мне хочется думать, что их собственное чувство справедливости и уважение к себе самим больше, чем мое требование об'яснений, и формальный протест г-жи Занд, заставили их напечатать тогда в их газете вполне удовлетворительное опровержение.

Когда в 1861 г. мне удалось благополучно бежать из Сибири и я прибыл в Лондон, первое, что я услышал из уст Герцена, было то, что они воспользовались моим вынужденным отсутствием втечение двенадцати лет (с 1849 по 1861 г.), из которых восемь я провел в различных крепостях—саксонских, австрийских и русских—и четыре в Сибири, для того, чтобы оклеветать меня самым гнусным образом, рассказывая всем и каждому, что я вовсе не был заключен, но, пользуясь полной свободой, и осыпанный всевозможными земными благами, был, напротив того, фаворитом Императора Николая. Мой старый друг, знаменитый польский демократ Ворцель, умерший в Лондоне около 1860 г., и он сам, Герцен,

ждем школы, немецких коммунистов. Он проходит красной нитью через знаменитый „*Коммунистический Манифест*“, выпущенный в 1848 г. международным комитетом французских, английских, бельгийских и немецких коммунистов, собравшихся в Лондоне: „Пролетарии всех стран, соединяй-

---

прилагали все усилия, чтобы защитить меня от этой грязной и клеветнической лжи. Я не искал ссоры с этими господами за все их немецкие любезности, но воздержался от их посещения, вот, и все.

Едва я прибыл в Лондон, как я был приветствуем целой серией статей в маленькой английской газете, написанных или инспирированных очевидно моими дорогими и благородными друзьями, вождями немецких коммунистов, но эти статьи не были никем подписаны. В этих статьях неизвестные авторы осмелились писать, что я мог бежать лишь с помощью русского правительства, которое, создав мне положение эмигранта и мученика за свободу—титул, который я всегда ненавидел, ибо мне претят громкие фразы,—сделало меня более способным оказывать ему услуги, то есть заниматься ремеслом шпиона ему на пользу.

Когда я заявил в другой английской газете автору этих статей, что на подобные низости отвечают не с пером в руках, но рукой без пера, он извинился, уверяя, что никогда не хотел сказать, чтобы я был шпионом на жалованьи, но что я был настолько преданным патриотом всероссийской империи, что „добровольно подвергся всем пыткам тюрьмы и Сибири, чтобы быть в состоянии лучше служить в последствии политике этой империи“. На подобные нелепости очевидно нечего было отвечать. Таково было мнение и великого итальянского патриота Джузеппе Мадзини и моих соотечественников Огарева и Герцена. Чтобы утешить меня, Мадзини и Герцен сказали мне, что и они подвергались подобным же нападкам, вероятно со стороны тех же людей, и что на все такие выпады они всегда отвечали лишь презрительным молчанием.

В декабре 1863 г., когда я пересекал Францию и Швейцарию, чтобы проехать в Италию, одна маленькая Базельская газета, не помню уже какая, напечатала статью, в которой предостерегала против меня всех польских эмигрантов, уверяя, будто я увлек в пропасть многих их соотечественников, всегда однако спасая от гибели мою собственную особу. С 1863 по 1867 г. за все время моего пребывания в Италии немецкие газеты меня постоянно оскорбляли и клеветали на меня. Очень немногие из этих статей достигали до моего сведения,—в Италии мало читают немецкие газеты. Я узнал лишь, что меня продолжают осыпать клеветами и оскорблениями и кончил тем, что стал так же мало обращать внимание на них, как—сказать в скобках—мало обращал внимания на ругань русской прессы по моему адресу.

Многие мои друзья утверждали и утверждают, что клеветники состояли на жаловании у русской дипломатии. В этом нет ничего невозможного, и я тем более должен бы был верить этому, что знаю положительно, что в 1847 году, после произнесенной мною в Париже на одном польском собрании речи против императора Николая, за которую г. Гизо тогдашний министр иностранных дел, выслал меня из Франции по просьбе русского посла Киселева, этот последний, при посредстве самого Гизо, которого он ввел в заблуждение, пытался распространить в польской эмиграции слух о том, что я никто иной, как русский агент, Русское правительство, равно как и его чиновники, не отступают разумеется, ни

тесь!". Этот манифест, составленный, как известно, г.г. Марксом и Энгельсом, сделался основой всех дальнейших научных работ школы и агитационной деятельности, которая велась позднее Фердинандом Лассалем в Германии.

Этот принцип абсолютно противоположен принципу,

перед каким средством, чтобы уничтожить своих, противников. Ложь клевета, всякие бесчестные поступки свойственны их природе, и когда они употребляют эти средства, они лишь пользуются своим неопровержимым правом оффициальных представителей всего, что только есть гнусного на свете, не хуже впрочим патриотической, буржуазной, дворянской оффициозной, оффициальной Германии, которая ныне,—должен смиренно признать это—поднялась до политического, морального и гуманного уровня императора всея России.

Однако, говоря откровенно, я не думаю, чтобы кто-либо из моих клеветников — хотя и столь мало почтенных, ибо клевета гнусное ремесло,—чтобы кто-либо из них, или по меньшей мере, главные из них когда-либо, по крайней мере сознательно, находились в сношениях с русской дипломатией. Они вдохновлялись главным образом своею глупостью и злобностью, вот и все. И если и было постороннее внушение, так оно исходило не из С.-Петербурга, но из Лондона. Это—все они, мои добрые друзья, вожди немецких коммунистов, законодатели будущего общества, которые оставаясь сами среди Лондонских туманов, на подобие Моисея в облаках Синая, наслали на меня, словно стаю шавок, целую толпу русских и немецких еврейчиков, из коя одни глупее и грязнее других.

Теперь оставляя в стороне шавок, еврейчиков и всех этих жалких людей я перехожу к пунктам обвинения, которые они выставили против меня:

1. Они осмеливались напечатать в одной газете, впрочем весьма честной, весьма серьезной, но которая в этом случае не оправдала своей честности и серьезности, сделавшись органом подлой и глупой диффамации, в „Фолькштат", что Герцен и я, будто бы мы оба — панславистские агенты и получаем крупные суммы денег от панславистского комитета в Москве, учрежденого русским правительством. Герцен был миллионер. Что же касается меня, все мои друзья, все мои добрые знакомые, а их число довольно велико, знают очень хорошо, что я живу в тяжелой бедности. Эта клевета слишком низка, слишком глупа, я оставляю ее без внимания.

2. Они обвинили меня в панславизме и, чтобы доказать мое преступление, цитировали одну брошюру, изданную мною в Лейпциге, в конце 1848 года, брошюру, в которой я старался доказать славянам, что вместо того, чтобы ожидать своего освобождения от Всероссийской Империи, они могли ожидать его лишь от ее совершенного разрушения, ибо эта империя есть ничто иное, как отделение немецкой империи, как гнусное господство немцев над славянами. „Горе вам, говорил я им, если вы расчитываете на эту императорскую Россию, на эту татарскую и немецкую империю, которая никогда не имела ничего славянского. Она поглотит вас и будет мучить вас, как она делает это с Польшей, как она делает это со всеми русскими народами, заключенными в ее недрах Правда, что в этой брошюре я осмелился сказать, что разрушение Австрийской империи и Ирусской монархии было так же необходимо для

признаваемому идеалистами всех школ. В то время, как идеалисты выводят всю историю,—включая сюда и развитие материальных интересов и различные ступени экономической организации общества из развития идей, немецкие коммунисты, напротив того, во всей человеческой исто-

торжества демократии, как и разрушение империи царя, и вот чего немцы даже демократы-социалисты Германии, никогда не могли мне простить.

Я прибавил еще в той же самой брошюре: „Остерегайтесь национальных страстей, которые стараются оживить в ваших сердцах. Во имя этой Австрийской Монархии, которая никогда не делала ничего иного, кроме угнетения наций подверженных ее игу, вам говорят теперь о ваших национальных правах. С какой целью? Да для того, чтобы раздавить свободу народов, разжигая братоубийственную войну между ними. Хотят порвать революционную солидарность, которая должна об'единить их, которая составляет их силу, самое условие их одновременного освобождения, поднимая их одних против других во имя узкого патриотизма. Дайте же руку демократам, социалистам-революционерам Германии, Венгрии, Италии, Франции:—ненавидьте лишь ваших вечных угнетателей, привилегированные классы всех наций, но об'единитесь сердцем и действием с их жертвами, с народами".

Таков был дух и содержание этой брошюры, в которой эти господа вздумали искать доказательств моего панславизма. Это не только низко, это глупо. Но более низко, чем глупо, то, что имея эту брошюру перед глазами, они цитировали из нее отрывки, разумеется искаженные и переделанные, но ни одного из тех слов, коими я клеймил и проклинал русскую Империю, заклиная славянские народы остерегаться ее. А между тем брошюра переполнена темими фразами. Это может служить мерилом честности этих господ.

Признаюсь, что сначала, когда я читал статьи, говорившие о моем столь хорошо как видите, доказанном этой брошюрой панславизме, я был поражен. Я не понимал, как можно было так далеко зайти в бесчестности. Теперь я начинаю понимать. Эти статьи продиктованы не только очевидной недобросовестностью автора, это было еще родом национальной и патриотической наивности, очень глупой, но весьма заурядной в Германии. Немцы так много и так хорошо мечтали посреди своего исторического рабства, что кончили очень наивным отождествлением своей национальности с человечеством, так что в их мнении ненавидеть немецкое господство, презирать их цивилизацию добровольных рабов, значит быть врагом человеческого прогресса. Панслависты в их глазах все славяне, которые с отвращением и гневом отвергают эту цивилизацию, которую им хотят навязать.

Если таков смысл, который они приписывают слову панславизм,—о! тогда я панславист и от всего сердца! Ибо поистине, мало есть на свете вещей, которые я ненавидел бы так глубоко, как это бесчестное господство и как эту буржуазию, дворянскую, бюрократическую, военную и политическую цивилизацию немцев. Я всегда буду продолжать проповедывать славянам во имя мирового освобождения народных масс мир, братство, действие и организацию, солидарную с пролетариатом Германии, но не иначе, как на развалинах этого господства и этой цивилизации и с единственною целью разрушения всех империй, славянских и немецких (Примечание Бакунина).

рии, в самых идеальных проявлениях как коллективной, так и индивидуальной жизни человечества, во всяком интеллектуальном, моральном, религиозном, метафизическом, научном, художественном, политическом, юридическом и социальном развитии, имевших место в прошлом и происходящих в настоящем, видели лишь отражение или неизбежное последствие развития экономических явлений. Между тем как идеалисты утверждают, что идеи господствуют над явлениями и производят их, коммунисты наоборот в полном согласии с научным материализмом утверждают, что явления порождают идеи, и что идеи всегда суть лишь идеальное отражение совершившихся явлений; что из общей суммы всех явлений явления экономические, материальные, явления в точном смысле слова представляют собою настоящую базу, главное основание; всякие же другие явления—интеллектуальные и моральные, политические и социальные, лишь необходимо вытекают из них *).

Кто прав, идеалисты или материалисты? Раз вопрос ставится таким образом, колебание становится невозможным. Вне всякого сомнения, идеалисты заблуждаются, а материалисты правы. Да, факты господствуют над идеями; да, идеал, как выразился Прудон, есть лишь цветок, материальные условия существования которого представляют его корень. Да вся интеллектуальная и моральная, политическая и социальная история человечества есть лишь отражение его экономической истории.

Все отрасли современной сознательной и серьезной науки приходят к провозглашению этой великой основной и решительной истины: да, общественный мир, мир чисто-человеческий, одним словом человечество есть ничто иное, как последнее совершеннейшее—для нас, по крайней мере и применительно к нашей планете,—развитие, наивысшее проявление животного начала. Но, как всякое развитие неизбежно влечет за собой отрицание своей основы или исходной точки, человечество есть в то же время все возрастающее отрицание животного начала в людях. И именно это отрицание, столь же разумное, как естественное, и разумное, именно потому лишь, что естественное,—в одно и то же время и историческое и логическое, роковым образом неизбежное, как и всякое развитие и осуществление

---

*) Здесь начинается отрывок рукописи, изданной Элизэ Реклю и Кафиэро в виде брошюры под заглавием: „Бог и Государство".

всех естественных законов мира,—оно то и составляет и создает идеал, мир интеллектуальных и моральных условностей, идей.

Да, наши первые предки, наши Адамы и Евы, были если не гориллы, то по меньшей мере очень близкие родичи гориллы, всеядные, умные и жестокие животные, одаренные в неизмеримо большей степени, чем животные всех других видов, двумя ценными способностями: *способностью мыслить* и *способностью, потребностью бунта.*

Эти две способности, все возрастая на протяжении истории, представляют собственно „момент“ *), сторону, отрицательную силу в позитивном развитии животного начала в человеке и создают следовательно все то, что является человеческим в человеке.

Библия очень интересная и порою очень глубокая книга, когда ее рассматривают, как одно из древнейших дошедших до нас проявлений человеческой мудрости и фантазии, весьма наивно выражает эту истину в мифе о первородном грехе. Иегова, несомненно самый ревнивый, самый тщеславный, самый жестокий, самый несправедливый, кровожадный, самый большой деспот и самый сильный враг человеческого достоинства и свободы из всех богов, какому когда либо поклонялись люди, создав неизвестно по какому капризу,—вероятно, чтобы было чем развлечься от скуки, которая должна быть ужасна в его вечном эгоистическом одиночестве, или для того, чтобы обзавестись новыми рабами —Адама и Еву, великодушно предоставил в их распоряжение всю землю со всеми ее плодами и животными, и поставил лишь одно ограничение полному пользованию этими благами.

Он строго запретил им касаться плодов древа познания. Он хотел следовательно, чтобы человек, лишенный самосознания, оставался вечно животным, ползающим на четверинках перед вечным Богом, его Создателем и Господином. Но, вот, появляется Сатана, вечный бунтовщик, первый свободный мыслитель и эмансипатор миров. Он пристыдил человека за его невежество и скотскую покорность: он эмансипировал его и наложил на его лоб печать свободы и человечности, толкая его к непослушанию и вкушению плода науки.

---

*) „Момент“ здесь является синонимом „фактора“, как в выражении „психологический момент“. Дж. Г.

Остальное всем известно. Господь Бог, предвидение которого, составляющее одну из божественных способностей, должно бы было однако уведомить его о том, что должно произойти, предался ужасному и смешному бешенству, он проклял Сатану, человека и весь мир, созданные им самим, поражая, так сказать, себя самого в своем собственном творении, как это делают дети, когда приходят в гнев. И не довольствуясь наказанием наших предков в настоящем, он проклял их во всех их грядущих поколениях, неповинных в преступлении, совершенном их предками. Наши католические и протестанские теологи находят это очень глубоким и очень справедливым именно потому, что это чудовищно несправедливо и нелепо! Затем вспомнив, что он не только Бог мести и гнева, но еще и Бог любви, после того как он исковеркал существование нескольких миллиардов несчастных человеческих существ и осудил их на вечный ад, он проникся жалостью к остальным и, чтобы спасти их, чтобы примирить свою вечную божественную любовь со своим вечным и божественным гневом, всегда падким до жертв и крови, он послал в мир в виде искупительной жертвы своего единственного сына, чтобы он был убит людьми. Это называется тайной искупления лежащей в основе всех христианских религий. И еще если бы божественный Спаситель спас человечество! Нет! В раю обещанном Христом,—это известно, ибо об'явлено формально,—будет лишь очень немного избранных. Остальные безконечное большинство поколений нынешних и грядущих, будут вечно жариться в аду. В ожидании, чтобы утешить нас, Бог, всегда справедливый, всегда добрый, отдал землю правительствам Наполеонов III, Вильгельмов I, Фердинандов Австрийских и Александров Всероссийских.

Таковы нелепые сказки, преподносимые нам, и таковы чудовищные доктрины, которым обучают в самый расцвет девятнадцатого века во всех народных школах Европы, по специальному приказу правительств. Это называют—цивилизовать народы! Не очевидно ли, что все эти правительства суть систематические отравители, заинтересованные отупители народных масс?

Меня охватывает гнев всякий раз, когда я думаю о тех подлых и преступных средствах, которые употребляют, чтобы удержать нации в вечном рабстве, чтобы быть в состоянии лучше стричь их, и это отвлекло меня далеко в сторону. Ибо что в самом деле преступления всех Тропманов мира

в сравнении с теми оскорблениями человечества,* которые ежедневно средь бела дня на всем пространстве цивилизованного мира совершаются теми самыми, кто осмеливается называть себя опекунами и отцами народов?

Возвращаюсь к мифу о первородном грехе.

Бог подтвердил, что Сатана был прав, и признал, что дьявол не обманул Адама и Еву, обещая им науку и свободу в награду за акт неповиновения, совершить который он соблазнил их. Ибо едва они с'ели запрещенный плод, как Бог сказал сам себе (см. Библию): „Вот человек сделался подобен одному из Нас, он знает добро и зло. Помешаем же ему с'есть плод древа жизни, дабы он не стал бессмертным, как Мы“.

Оставим теперь в стороне сказочную сторону этого мифа и рассмотрим его истинный смысл. Смысл его очень ясен. Человек эмансипировался, он отделался от животности и стал человеком. Он начал историю и свое чисто-человеческое развитие актом непослушания и науки, то-есть *бунтом* и *мыслью*.

---

*) Три элемента, или, если угодно, три основных принципа составляют существенные условия всякого человеческого развития в истории, как индивидуального, так и коллективного: 1) *человеческая животность*, 2) *мысль* и 3) *бунт*. Первому соответствует собственно *социальная и частная экономия*, второму—*наука*; третьему—*свобода* **).

Идеалисты всех школ, аристократы и буржуа, теологи и метафизики, политики и моралисты, духовенство, философы или поэты—не считая либеральных экономистов, как известно ярых поклонников идеала—весьма оскорбляются, когда им говорят, что человек со всем своим великолепным умом своими высокими идеями и своими бесконечными стремлениями есть — как и все, существующее в мире, — ни что иное, как материя, ничто иное, как продукт этой *грубой материи*.

---

*) Этот и два следующих абзаца были извлечены издателями „Бога и Государства“ из того места, которое они занимают в рукописи, и перенесены в начало брошюры.

**) Читатель найдет более полное развитие этих трех принципов в *Приложении* в конце этой книги под заглавием: *Философские соображения относительно божественного призрака, реального мира и человека.* (Примечание Бакунина).

Мы могли бы ответить им, что материя, о которой говорят материалисты, — стремительная, вечно подвижная, деятельная и плодотворная; материя с определенными химическими или органическими качествами и проявляющаяся механическими, физическими животными или интеллектуальными свойствами или силами, которые ей неизбежно присущи, что эта материя не имеет ничего общего *с презренной материей* идеалистов. Эта последняя, продукт их ложного отвлечения, действительно нечто тупое, неодушевленное, неподвижное, неспособное произвести ни малейшей вещи, *caput mortuum, презренный* вымысел, противоположный тому *прекрасному* вымыслу, который они называют *Богом*, высшим существом, в сравнении с которым материя в их понимании лишенная ими самими всего, того, что составляет ее истинную природу, неизбежно представляет собою высшее небытие. Они отняли у материи ум, жизнь, все определяющие качества, действительные отношения или силы, самое движение, без коего материя не была бы даже весомой, оставив ей лишь абсолютную непроницаемость и неподвижность в пространстве. Они приписали все эти силы качества и естественные проявления воображаемому Существу, созданному их отвлеченной фантазией; затем, переменив роли, они назвали этот продукт их воображения, этот призрак, этого Бога, который есть ничто, „Высшим Существом". И в виде неизбежного следствия, они об'явили, что все реальное существующее, материя, мир—ничто. После того они с важностью говорят нам, что эта материя неспособна ничего произвести, ни даже придти сама собою в движение, и что, следовательно, она должна была быть создана их Богом.

*) В приложении, в конце этой книги я вывел на чистую воду поистине возмутительные нелепости, к которым неизбежно приводит представление о Боге, как личном создателе и руководителе мира, или безличном, рассматриваемом как род божественной души, разлитой во всем мире, вечный принцип коего она таким образом составляет; или даже, как бесконечной божественной мысли, вечно присущей и действующей в мире и проявляющейся всегда во всей совокупности материальных и законченных существ.

Здесь я ограничусь указанием лишь на один пункт.

---

*) Этот абзац был исключен издателями „Бога и Государства"
Дж. Г.

*) Совершенно понятно последовательное развитие материального мира, точно также как и органической животной жизни и исторического прогресса человеческого ума, как индивидуального, так и социального в этом мире. Это вполне естественное движение от простого к сложному, снизу вверх или от низшего к высшему; движение согласное со всем нашим ежедневным опытом и, следовательно, согласное также с нашей естественной логикой, с самыми законами нашего ума, который формируется и развивается лишь с помощью этого самого опыта, есть ничто иное, как так сказать, его мысленное, мозговое, воспроизведение или логический вывод из него.

Система идеалистов представляет собою совершенную противоположность этому. Она есть абсолютное извращение всякого человеческого опыта и всемирного и всеобщего здравого смысла, который есть необходимое условие всякого соглашения между людьми, и который, восходя от той столь простой и столь же единодушно признанной истины, что дважды два—четыре, к самым высшим и сложным научным положениям, не допуская притом ничего, что не подтверждается строго опытом или наблюдением предметов или явлений, составляет единственную серьезную основу человеческих знаний.

Вместо того, чтобы следовать естественным путем снизу вверх, от низшего к высшему, и от сравнительно простого к более сложному, вместо того, чтобы умно, рационально проследить прогрессивное и реальное движение мира, называемого неорганическим в мире органическом, растительном —затем животном, и наконец специально человеческом: химической материи или химического существа в живой материи или в живом существе, и живого существа в существе мыслящем, идеалистические мыслители, одержимые, ослепленные и толкаемые божественным призраком, унаследованным ими от теологии, следуют совершенно противоположным путем. Они идут сверху вниз, от высшего к низшему, от сложного к простому. Они начинают Богом, представленным в виде личного существа или в виде божественной субстанции или идеи, и первый же шаг, который они делают, является страшным падением из высших вершин вечного идеала в грязь материального мира; от абсо-

*) Этот абзац издателями „Бога и Государства“ помещен после следующего за ним. [illegible]

лютного совершенства к абсолютному несовершенству; от мысли о бытии, или скорее от высшего бытия к небытию. Когда, как и почему божественное, вечное, бесконечное существо, абсолютное совершенство, вероятно надоевшее самому себе, решилось на это отчаянное Salto mortale (смертельный прыжок), этого ни один идеалист, ни один теолог, метафизик или поэт никогда сами не могли понять, а тем более об'яснить профанам. Все религии прошлого и настоящего и все трансцендентные философские системы вертятся вокруг этой единственной и безнравственной тайны *).

Святые люди, боговдохновенные законодатели, пророки Мессии искали в ней жизнь и нашли лишь пытки и смерть. Подобно древнему сфинксу она пожрала их, ибо они не сумели об'яснить ее. Великие философы от Гераклита и Платона до Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, не говоря уже об индийских философах, написали горы томов и создали столь же остроумные, как и возвышенные системы, в которых они мимоходом высказали много прекрасных и великих вещей и открыли бессмертные истины, но оставили эту тайну, главный предмет их трансцендентных изысканий, столь же непроницаемой, какою она была и до них. Но раз гигантские усилия самых удивительных гениев, которых знает мир, и которые в течение по меньшей мере тридцати веков всякий раз заново предпринимали этот Сизифов труд, привели лишь к тому, чтобы сделать эту тайну еще более непонятной, можем ли мы надеяться, что она будет нам раскрыта теперь глупой диалектикой какого-нибудь узколобого ученика искусственно подогретой метафизики, и это в эпоху, когда живые и серьезные умы отвернулись от этой двусмысленной науки, вытекшей из сделки, исторически, разумеется, вполне об'яснимой, между неразумием веры и здравым научным разумом.

Очевидно, что эта ужасная тайна необ'яснима, то есть, что она нелепа, ибо одну только нелепость нельзя об'яснить. Очевидно, что, если кто-либо ради своего счастья или жи-

*) Я называю ее „безнравственной", ибо, как мне думается, я доказал в упомянутом уже приложении, что эта тайна была и продолжает еще быть освящением всех ужасов, совершенных и совершаемых в человеческом мире. И я называю ее единственной (игра слов: unique inique), ибо все другие богословские и метафизические нелепости, отделяющие человеческий ум, суть лишь ее неизбежные последствия (Примечание Бакунина).

зни стремится к ней, тот должен отказаться от своего разума, и обратившись, если может, к наивной, слепой грубой вере, повторять с Тертуллианом и всеми искренно верующими слова, которые резюмируют самую сущность теологии *credo quia absurdum* *).

Тогда всякие споры прекращаются, и остается лишь торжествующая глупость веры. Но тогда сейчас же рождается другой вопрос: *Как может в интеллигентном и образованном человеке родиться потребность верить в эту тайну?*

Нет ничего более естественного, как то, что вера в Бога, Творца, руководителя, судьи, учителя, проклинателя, спасителя и благодетеля мира, сохранилась в народе и особенно среди сельского населения гораздо больше, чем среди городского пролетариата. Народ к несчастью еще слишком невежествен. И он удерживается в своем невежестве систематическими усилиями всех правительств, считающих не без основания невежество одним из самых существенных условий своего собственного могущества.

Подавленный своим ежедневным трудом, лишенный досугов, умственных занятий, чтения, словом почти всех средств и влияний, развивающих мысль человека, народ чаще всего принимает без критики и гуртом религиозные традиции, которые с детства окружают его во всех обстоятельствах жизни, искусственно поддерживаются в его среде толпой оффициальных отравителей всякого рода, духовных и светских, и превращаются у него в род умственной и нравственной привычки, слишком часто более могущественной, чем его естественно-здравый смысл.

Есть и другая причина, об‘ясняющая и в некотором роде узаконивающая нелепые верования народа. Эта причина—жалкое положение, на которое народ фатально обречен экономической организацией общества в наиболее цивилизованных странах Европы.

Сведенный в интеллектуальном и моральном, равно как и в материальном отношении, к минимуму человеческого существования, заключенный в условиях своей жизни как узник в тюрьму без горизонта, без исхода, даже без будущего, если верить экономистам, народ должен был бы иметь чрезвычайно узкую душу и плоский инстинкт буржуа

*) „Верю, потому, что это нелепо“ то есть так как это нелепо и не может мне быть *доказано* разумом, я вынужден, чтобы быть христианином, *верить* в силу добродетеля веры“. Дж. Г.

чтобы не испытывать потребности выйти из этого положения Но для этого у него есть лишь три средства, из коих два мнимых и одно действительное. Два первых это—кабак и церковь, разврат тела и разврат души. Третье—социальная революция.

Отсюда я заключаю, что только эта последняя—по крайней мере в гораздо большей степени, чем всякая теоретическая пропаганда свободных мыслителей,—будет способна вытравить последние следы религиозных верований и развратные привычки народа,—верования и привычки, гораздо более тесно связанные между собою, чем это обыкновенно думают. И заменяя эти призрачные и в то же время грубые радости этого телесного и духовного разврата тонкими, но реальными радостями осуществленной полностью в каждом и во всех человечности, одна лишь социальная революция будет обладать силой закрыть в одно и то же время и все кабаки и все церкви.

До тех пор народ, взятый в массе, будет верить, и если у него и нет разумного основания, он имеет по крайней мере право на это.

Есть разряд людей, которые, если и не верят, должны по крайней мере, казаться верующими. Все мучители, все угнетатели и все эксплоататоры человечества, священники монархи, государственные люди, военные, общественные и частные финансисты, чиновники всех сортов, жандармы, тюремщики и палачи, монополисты, капиталисты, ростовщики, предприниматели и собственники, адвокаты, экономисты, политиканы всех цветов, до последнего бакалейщика,—все в один голос повторят слова Вольтера:

„Если бы Бог не существовал, его надо было бы изобрести“.

Ибо вы понимаете, для народа необходима религия. Это—предохранительный клапан.

Существует, наконец, довольно многочисленная категория честных, но слабых душ, которые, будучи слишком интеллигентными, чтобы принимать в серьез христианские догмы, отбрасывают их по частям, но ни имеют ни мужества, ни силы, ни необходимой решимости, чтобы отвергнуть их полностью. Они предоставляют вашей критике все особенные нелепости религии, они отворачиваются от чудес, но с отчаянием цепляются за главную нелепость, источник всех других, за чудо, которое об'ясняет и узаконивает все другие чудеса,—за существование Бога. Их Бог—отнюдь не силь-

ное и мощное существо, не грубо позитивный Бог теологии Это—существо туманное, прозрачное, призрачное, до такой степени призрачное, что, когда его готовы схватить, оно превращается в ничто. Это мираж, блуждающий огонек, не светящий и не греющий. И однако они держатся за него и верят, что, если он исчезнет, все исчезнет с ним. Это души недвижимые, болезненные, выбитые из колеи современной цивилизации, не принадлежащие ни к настоящему, ни к будущему, бледные призраки, вечно висящие между небом и землей и занимающие совершенно такую же позицию между буржуазной политикой и социализмом пролетариата. Они не чувствуют в себе силы ни мыслить до конца ни хотеть, ни решиться и теряют свое время, вечно пытаясь примирить непримиримое. В общественной жизни они называются буржуазными социалистами.

Ни с ними, ни против них невозможен никакой спор. Они слишком слабы.

Но есть небольшое количество знаменитых людей, о которых никто не осмелится говорить без уважения, и в чьих полном здоровьи, силе ума и искренности никто не вздумает усомниться. Достаточно назвать имена Мадзини, Мишлэ, Кинэ, Джона Стюарта Милля *). Благородные и сильные души, великие сердца, великие умы, великие писатели, а Мадзини еще и героический и революционный возродитель великой нации, они все—апостолы идеализма и страстные противники, презирающие материализм, а следовательно и социализм, как в философии, так и в политике.

Следовательно, нужно обсуждать этот вопрос против них.

Отметим прежде всего, что ни один из поименованных мною великих людей, и вообще ни один другой сколько-нибудь выдающийся идеалистический мыслитель наших дней не заботится о собственно логической стороне этого вопроса. Ни один не попытался философски разрешить возможность божественного *сальто мортале* из вечных и чистых областей духа в грязь материального мира. Побоя-

---

*) Стюарт Милль, быть может, единственный из их числа, в серьезности идеализма которого можно усомниться по двум причинам: во-первых, он страстный поклонник, приверженец позитивной философии Огюста Конта, философии, которая, несмотря на многочисленные умышленные недоговоренности, действительно атеистична, во-вторых Стюарт Милль—англичанин, а в Англии заявить себя атеистом значило бы еще и поныне поставить себя вне общества.

лись ли они затронуть это неразрешимое противоречие и отчаялись разрешить его после того, как величайшие гении истории не успели в этом, или же они считают его уже в достаточной мере решенным? Это их тайна. Факт тот, что они оставили в стороне теоретическое доказательство существования Бога и развили лишь практические причины и следствие его. Они все говорили о нем, как о факте всемирно признанном и, как таковом, не могущем более быть предметом какого-либо сомнения, ограничиваясь вместо всяких доказательств, констатированием древности и этой самой всеобщности веры в Бога.

Это внушительное единодушие по мнению многих знаменитых людей и писателей (назовем лишь наиболее известных), по красноречивому мнению Жозефа де Мэстра и великого итальянского патриота Джузеппе Мадзини, стоит больше, чем все научные доказательства; а если логика небольшого числа последовательных, весьма серьезных, но не популярных мыслителей противна этой общепризнанной истине, тем хуже, говорят они, для этих мыслителей и для их логики, ибо всеобщее согласие, всемирное и древнее принятие какой-либо идеи во все времена признавалось наиболее неоспоримым доказательством ее истинности. Чувство всех, убеждение, которое находится и держится всегда и повсюду, не может обманывать. Оно должно иметь свои корни в абсолютно присущей необходимости самой природы человека. А так как было констатировано, что все народы прошлого и настоящего верили и верят в существование Бога, очевидно, что те, кто имеет несчастие сомневаться в нем, какова бы ни была логика, вовлекшая их в это сомнение, суть существа ненормальные, чудовища.

Итак—*древность* и *всемирность* верования является, вопреки всякой науки и всякой логики, достаточным и непререкаемым доказательством его истинности. Почему же?

До века Коперника и Галилея все верили, что солнце вертится вокруг земли. Разве они не ошибались?

Есть ли что древнее и распространеннее рабства? Может быть, людоедство. С образования исторического общества и до наших дней всегда и везде была эксплоатация вынужденного труда масс, рабов, крепостных или наемников каким-либо господствующим меньшинством, угнетение народов Церковью и Государством. Нужно ли заключать из этого, что эксплоатация и угнетение есть необходимость, абсолютно присущая самому существованию общества? Вот

примеры, доказывающие, что аргументация адвокатов Господа Бога ничего не доказывает.

В самом деле, нет ничего столь всеобщего и столь древнего, как несправедливость и нелепость; напротив, истина и справедливость в развитии человеческих обществ наименее распространены, наиболее молоды. Это об'ясняет также и постоянное историческое явление неслыханных преследований, которым первые провозгласившие истину и справедливость подвергались и подвергаются со стороны оффициальных, дипломированных представителей, заинтересованных во „всеобщих“ и „древних“ верованиях, и часто со стороны тех самых народных масс, которые, замучив проповедников истины, всегда кончали тем, что потом принимали и приводили к торжеству их идеи.

В этом историческом явлении нет ничего, чтобы удивляло и устрашало нас, материалистов и социалистов-революционеров.

Сильные нашим сознанием, нашей любовью к истине, во что бы то ни стало, этой логической страстью, которая сама по себе является великой силой, и вне которой нет мысли; сильные нашей страстью к справедливости и нашей непоколебимой верой в торжество человечности над всем зверским в теории и практике; сильные, наконец, доверием и взаимной поддержкой, которую оказывают друг другу небольшое число разделяющих наши убеждения, мы миримся с этим историческим явлением, в котором мы видим проявление социального закона, столь же естественного, столь же необходимого и столь же неизменного, как и все другие законы, правящие миром.

Этот закон есть логическое, неизбежное следствие *животного происхождения* человеческого общества. А перед лицом всех, научных, физиологических, психологических, исторических доказательств, накопленных в наши дни, точно также, как и перед лицом подвигов немцев, завоевателей Франции‘ дающих ныне такое блестящее доказательство этого, положительно нельзя более сомневаться в действительности такого происхождения. Но с того момента, как мы примем животное происхождение человека, все об'ясняется. История предстает тогда перед нами, как революционное отрицание прошлого,—то медленное, апатическое, сонное, то страстное и мощное. Именно в прогрессивном отрицании первобытной животности человека, в развитии его человечности она и состоит. Человек, хищное животное

двоюродный брат гориллы, вышел из глубокой ночи животного инстинкта, чтобы придти к свету ума, что и об'ясняет совершенно естественно все былые заблуждения и утешает нас отчасти в нынешних ошибках.

Он вышел из животного рабства, и пройдя через божественное рабство, переходный этап между его животностью и человечностью, идет ныне к завоеванию и осуществлению своей человеческой свободы. Отсюда следует, что древность верования, какой нибудь идеи, далеко не является доказательством в их пользу и, напротив, должна сделать нас подозрительными. Ибо позади нас наша животность, а перед нами наша человечность, а свет человечности только один может нас согреть и осветить, только он может освободить нас, сделать достойными, свободными, счастливыми и осуществить братство среди нас,—он никогда не находится в начале, но по отношению к эпохе, в которой живут всегда в конце истории. Не будем же смотреть назад, будем всегда смотреть вперед, ибо впереди наше солнце и наше спасение. И если позволительно, если даже полезно и необходимо оглянуться ради изучения нашего прошлого, так это нужно лишь для того, чтобы констатировать, чем мы были, и чем мы не должны более быть; во что мы верили, и что думали, и во что мы не должны больше верить, чего не должны больше думать; что мы делали и чего не должны больше никогда делать.

Это относительно *древности.* Что же касается *всемирности* какого-нибудь заблуждения, то это доказывает лишь одно: сходство,если не совершенное тождество человеческой природы во все времена и во всех странах. И раз установлено, что все народы во все эпохи их жизни верили и верят еще в Бога, мы должны лишь заключить, что божественная идея, исходящая из нас самих, есть заблуждение, историческая необходимость в развитии человечества, и спросить себя, почему и как она произошла в истории, почему громадное большинство человеческого рода принимает ее еще и ныне за истину?

Пока мы не будем в состоянии отдать себе отчет, каким путем идея сверхестественного или божественного мира возникла и должна была фатально возникнуть в историческом развитии человеческого сознания, мы никогда не сможем разрушить ее во мнении большинства, как бы мы ни были научно убеждены в нелепости этой идеи. Ибо мы никогда не сможем поразить ее в самых глубинах человеческого

существа, где она родилась, и осужденные на бесплодную борьбу без исхода и без конца, мы будем всегда вынуждены поражать ее лишь на поверхности в ее безчисленных проявлениях, в которых нелепость, едва пораженная ударами здравого смысла, сейчас же возродится в новой и не менее бессмысленной форме. Пока корень всех нелепостей, терзающих мир, вера в Бога остается нетронутой, она никогда не перестанет давать новые ростки. Так в наши дни в некоторых кругах высшего общества спиритизм стремится утвердится на развалинах христианства.

Не только в интересах масс, но и в интересах нашего собственного здравого смысла, мы должны постараться понять историческое происхождение идеи Бога, преемственность причин, развивших и породивших эту идею в сознании людей. Сколько бы мы не говорили и ни думали, что мы атеисты, пока мы не поймем этих причин, мы дадим господствовать над нами в большей или в меньшей степени голосу этого всеобщего сознания, тайну которого мы не познали, и в виду естественной слабости даже самого сильного индивида перед всемогущим влиянием окружающей его социальной среды мы всегда будем рисковать рано или поздно вновь впасть тем или иным способом в бездну религиозной нелепости, Примеры этих последних обращений часты в современном обществе.

Я указал на главную практическую причину могущества, которое имеют еще и ныне религиозные верования над массами. Не столько мистические склонности, сколько глубокое недовольство сердца вызывает у них это заблуждение ума,—это инстинктивный и страстный протест человеческого существа против узости, плоскости, страданий и стыда жалкого существования. Против этой болезни, сказал я, есть лишь одно средство: социальная революция.

В приложении я постарался изложить причины, которые обусловливали рождение и историческое развитие религиозных галлюцинаций в сознании человека. Здесь я хочу обсуждать вопрос о существовании Бога или Божественного происхождения мира и человека лишь с точки зрения его моральной и социальной полезности, и о теоретической причине этого верования я скажу лишь несколько слов, чтобы лучше пояснить мою мысль.

Все религии с их богами, полубогами, пророками, мессиями и святыми были созданы доверчивой фантазией лю-

дей, еще не достигших полного развития и полного обладания своими умственными способностями. Вследствие этого религиозное небо есть ничто иное, как мираж, в котором экзальтированный невежеством и верой человек находит свое собственное изображение, но увеличенное и опрокинутое, то-есть *обожествленное.*

История религий, история происхождений величия и упадка богов, преемственно следовавших в человеческом верований, есть, следовательно, ничто иное, как развитие коллективного ума и сознания людей.

По мере того, как в своем прогрессивном историческом ходе они открывали в самих в себе или во внешней природе какую-либо силу, положительное качество или даже крупный недостаток, они приписывали их своим богам, преувеличив, расширив их сверх меры, как это обыкновенно делают дети, игрой своей религиозной фантазии. Благодаря этой скромности и набожной щедрости верующих легковерных людей, небо обогатилось отбросами земли и, как неизбежное следствие, чем небо делалось богаче, тем беднее становились человечество и земля. Раз божество было установлено, оно естественно было провозглашено первопричиной, первоисточником, судьей и неограниченным властителем: мир стал ничем, бог — всем. И человек его истинный создатель, извлекши, сам того не зная, его из небытия, преклонил колена перед ним, поклонился ему и провозгласил себя его созданием и рабом.

Христианство является самой настоящей типичной религией, ибо оно представляет собою и проявляет во всей ее полноте природу, истинную сущность всякой религиозной системы, представляющей собою *принижение, порабощение и уничтожение человечества в пользу божественности.*

Раз Бог — все, реальный мир и человек — ничто. Раз Бог есть истина, справедливость, могущество и жизнь, человек есть ложь, несправедливость, зло, уродство, бессилие и смерть. Раз Бог—господин, человек—раб. Неспособный сам по себе найти справедливость, истину и вечную жизнь, он может достигнуть их лишь при помощи божественного откровения. Но кто говорит об откровении, тот говорит о проповедниках откровения, о мессиях, пророках, священниках и законодателях, вдохновленных самим Богом. А все они, раз признанные представителями божества на земле в качестве святых учителей человечества, избранных самим Богом, чтобы направлять человечество на путь спасения, они должны

неизбежно пользоваться абсолютной властью. Все люди обязаны им неограниченным и пассивным повиновением. Ибо перед божественным разумом разум человеческий и перед Справедливостью Бога земная справедливость—ничто. Рабы Бога, люди должны быть рабами и Церкви и Государства, *поскольку оно освящено церковью.* Вот, что христианство поняло лучше всех существовавших и существующих религий, не исключая и древние восточные религии, которые впрочем охватывали лишь народы благородные и привилегированные, между тем как христианство имеет претензию охватить все человечество. И из всех христианских сект римский католицизм один провозгласил это положение и осуществил его со строгой последовательностью. Вот, почему христианство есть абсолютная религия, и почему апостольская римская церковь единственно последовательная, законная и божественная.

Пусть же не обижаются метафизики и религиозные идеалисты, философы, политики или поэты. *Идея Бога влечет за собою отречение от человеческого разума и справедливости, она есть самое решительное отрицание человеческой свободы и приводит неизбежно к рабству людей в теории и на практике.*

Следовательно, если только не хотеть рабства и оскотинивания людей, как этого хотят иезуиты, как хотят этого ханжи, пиэтисты или протестанские методисты, мы не можем, мы не должны делать ни малейшей уступки ни Богу теологии, ни Богу метафизики. Ибо в мистическом алфавите, кто сказал А, должен сказать Z. И кто хочет поклоняться Богу, тот должен, не создавая себе ребяческих иллюзий, храбро отказаться от своей свободы и своей человечности.

Если Бог есть, человек—раб. А человек может и должен быть свободным. Следовательно Бог не существует.

Пусть кто-либо попытается выйти из этого заколдованного круга! Делайте же выбор!

Нужно ли напоминать, насколько и как религии отупляют и развращают народы? Они убивают у них разум, это главное орудие человеческого освобождения, и приводят их к идиотству, главному условию их рабства. Они обесчещивают человеческий труд и делают его признаком и источником подчинения. Они убивают понимание и чувство человеческой справедливости, всегда склоняя весы на сторону торжествующих негодяев, привилегированных об'ектов боже-

ственной милости. Они убивают гордость и достоинство человека, покровительствуя лишь ползучим и смиренным. Они душат в сердцах народов всякое чувство человеческого братства, наполняя его божественной жестокостью.

Все религии жестоки, все основаны на крови; ибо все покоятся главным образом на идее жертвы, то-есть на вечном обречении человечества ненасытимой мстительности Божества. В этой кровавой тайне человек всегда жертва, а священник—также человек, но человек привилегированный милостью Божией—божественный палач. Это об'ясняет нам, почему священники всех религий самых лучших, самых гуманных, самых мягких имеют почти всегда в глубине своего сердца—а если не сердца, то воображения, ума (а громадное влияние того и другого на сердце людей известно),— почему? говорю я,—что то жестокое и кровожадное.

Все это наши современные знаменитые идеалисты знают лучше, чем кто-либо. Это люди ученые, знающие историю на зубок. А так как они в то же время живые люди, великие души, проникнутые искреннею и глубокою любовью к благу человечества, то они с несравненным красноречием прокляли и заклеймили все это зло, все преступления религии. Они с негодованием отвергают всякую солидарность с Богом позитивных религий и с ее былыми и нынешними представителями на земле,

Бог, которому они поклоняются или которого они представляют себе, поклоняясь, именно тем и отличается от реальных богов истории, что он вовсе не позитивный Бог, и не Бог, каким бы то ни было образом определенный теологически или хотя бы даже метафизически. Это—не Высшее существо Робеспьера и Жан-Жака Руссо, — не пантеистический Бог Спинозы и даже не имманентный, трансцендентальный и весьма двумысленный Бог Гегеля. Они весьма остерегаются давать ему какое либо позитивное определение, прекрасно чувствуя, что всякое определение отдаст их в жертву разрушительной критики. Они не скажут о нем, личный это Бог или безличный, создал ли он или не создал мира. Они даже не станут говорить об его божественном провидении. Все это могло бы их скомпрометировать. Они удовлетворяются названием „Бог", и это все. Но что такое их Бог? Это даже не идея, а лишь—стремление души.

Их Бог — общее название для всего, что им кажется великим, добрым, прекрасным, благородным, человечным.

Но почему же тогда не говорят они „Человек“? А! дело в том, что и король Вильгельм Прусский, и Наполеон III — тоже люди, и это ставит их в весьма затруднительное положение. Существующее человечество представляет из себя смесь всего, что есть самого возвышенного, самого прекрасного в мире с самым низменным и чудовищным. Как же они справляются с этим? Одно они называют *божественным*, а другое *животным*, представляя себе божественность и животность, как два полюса, между которыми они помещают человечество. Они не хотят или не могут понять, что эти три выражения в сущности представляют собою одно, и что разделением они разрушают их.

Идеалисты не сильны в логике, и можно думать, что они презирают ее. Вот, это то и отличает их от пантеистических и деистических метафизиков и сообщает их идеям характер практического идеализма, черпающего свои вдохновения гораздо в меньшей степени из строгого развития мысли, нежели из опыта, я сказал бы пожалуй даже, — из эмоций, как исторических и коллективных, так и индивидуальных,—из жизни. Это дает их пропаганде видимость богатства и жизненной силы, но это лишь видимость, ибо самая жизнь делается бесплодной, когда она парализована логическим противоречием.

Это противоречие заключается в следующем: они хотят Бога и в то же время они хотят человечества. Они упорствуют в об‘единении этих двух понятий, которые, раз будучи разделены, не могут более быть сопоставлены без того, чтобы взаимно не разрушить друг друга. Они говорят, не переводя дыхания: „Бог и свобода и человек“, „Бог и достоинство, и справедливость и равенство, и братство и благополучие людей“, не заботясь о фатальной логике, согласно с которой, если существует Бог, все это осуждено на небытие. Ибо, если Бог есть, он является неизменно вечным, высшим, абсолютным господином, а раз существует этот господин, человек — раб. Если же человек — раб, для него невозможны ни справедливость ни равенство, ни братство, ни благополучие. Они могут, сколько хотят, в противность здравому смыслу и всему историческому опыту представлять себе своего Бога воодушевленным самой нежной любовью к человеческой свободе, но господин, чтобы он ни делал, и каким бы либералом он ни хотел высказать себя, остается тем не менее всегда господином, и его существование неизбежно влечет за собою рабство всех, кто ниже

его. Следовательно, если бы Бог существовал, для него было бы лишь одно средство послужить человеческой свободе: это—прекратить свое существование.

Ревниво-влюбленный в человеческую свободу, и рассматривая ее, как необходимое условие всего, чему я поклоняюсь и что уважаю в человечестве, я перевертываю афоризм Вольтера и говорю: *если бы Бог действительно существовал, следовало бы уничтожить его.*

Строгая логика, диктующая мне эти слова, слишком очевидно, чтобы была нужда развивать больше эту аргументацию. И мне кажется немыслимым, чтобы знаменитые люди, названные мною, столь известные и столь справедливо уважаемые, не были бы сами поражены и не заметили противоречий, в которые они впадают, говоря одновременно о Боге и о человеческой свободе. Чтобы не считаться с этим, они должны полагать, что эта непоследовательность или эта логическая несообразность была *практически* необходима для блага человечества.

Возможно также, что говоря о *свободе*, как о чем-то весьма почтенном и дорогом для них, они понимают ее совершенно иначе, чем мы, материалисты и социалисты революционеры. В самом деле, они никогда не говорят о ней без того, чтобы не прибавить сейчас же другое слово: *власть*, — слово и понятие, которое мы ненавидим всем сердцем.

Что такое власть? Есть ли это неизбежная сила естественных законов, проявляющаяся в сцеплении и в роковой последовательности явлений, как физического, так и социального мира? В самом деле, возмущение против этих законов не только непозволительно, но и невозможно. Мы можем не считаться с ними или не вполне еще знать их, но не можем не повиноваться им, ибо они составляют основу и самые условия нашего существования; они нас окружают, проникают нас, управляют всеми нашими движениями, нашими мыслями, нашими действиями, таким образом, что даже, когда мы думаем, что не повинуемся им, в действительности мы лишь проявляем их всемогущество.

Да, мы безусловно рабы этих законов. Но в этом рабстве нет ничего унизительного, или скорее это даже не рабство. Ибо рабство предполагает наличность некоторого господина над нами, законодателя, стоящего вне того, кем

он управляет, между тем как эти законы не вне нас,—они нам присущи, они составляют наше естество, все наше естество, как телесное, так и умственное и нравственное. Лишь в силу этих законов мы живем, дышим, действуем, мыслим, хотим. Вне их мы ничто, *мы не существуем*. Откуда же взялись бы у нас возможность и желание возмутиться против них?

Перед лицом естественных законов для человека есть лишь одна возможная свобода: это—признавать их и все в большей мере применять их сообразно с преследуемой им целью освобождения или развития, как коллективного, так и индивидуального. Эти законы, раз признанные, проявляют власть, никогда не оспариваемую большинством людей. Нужно, например, быть, сумасшедшим или теологом или, по крайней мере, метафизиком, юристом или буржуазным экономистом, чтобы возмущаться против закона, по которому дважды два—четыре. Нужно обладать верой, чтобы воображать, что не сгоришь в огне или что не потонешь в воде, если только не прибегать к какому нибудь фокусу, который, в свою очередь основан на каких нибудь других естественных законах. Но это возмущение или скорее эти попытки больного воображения к бесмысленному возмущению представляют из себя лишь довольно редкие исключения. Ибо вообще можно сказать, что большинство людей в своей повседневной жизни повинуется почти безпрекословно здравому смыслу, т. е. всей совокупности общепризнанных естественных законов.

Великое несчастие в том, что большое количество естественных законов, уже установленных, как таковые, наукой, остается неизвестным народным массам, благодаря заботам этих попечительных правительств, которые существуют, как известно, для блага народов. Есть еще другое неудобство,—это то, что большая часть естественных законов, присущих развитию человеческого общества, и столь же необходимых, неизменных, фатальных, как законы, управляющие физическим миром, самою наукою не установлены и не признаны должным образом.

Раз они будут признаны—сперва наукой и при посредстве целесообразной системы народного воспитания и образования войдут в сознание всех, вопрос о свободе будет совершенно разрешен. Самые упорные государственники должны будут признать, что тогда не будет нужды ни в организации, ни в управлении, ни в политическом законо-

дательстве,—в этих трех институтах, всегда одинаково пагубных и противных свободе народа, ибо они навязывают ему систему внешних и, следовательно, деспотических законов, хотя бы эти три института исходили от воли государя, или из голосования парламента, избранного на основе всеобщего избирательного права, или даже если они согласуются с естественными законами, чего, впрочем, никогда не было и быть не может.

Свобода человека состоит единственно в том, что он повинуется естественным законам, потому что *он сам* признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой либо посторонней волей—божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной.

Представьте себе ученую академию, составленную из самых знаменитых представителей науки; представьте себе, что на эту академию было бы возложено законодательство и организация общества, и что, вдохновляясь лишь самой чистой любовью к истине, она диктовала бы обществу лишь законы, абсолютно согласные с новейшими открытиями науки. Я утверждаю, что это законодательство и эта организация были бы чудовищны. И это по двум причинам. Во-первых, потому, что человеческая наука по необходимости всегда несовершенна и, сравнивая уже открытое ею с тем, что ей остается открыть, можно сказать, что она все еще находится в колыбели. До такой степени, что если бы захотели заставить практическую жизнь людей, как коллективную, так и индивидуальную, строго сообразоваться исключительно с последними данными науки, то как общество так и индивиды были бы осуждены на муки Прокрустова ложа, которые их убили бы, ибо жизнь всегда безконечно шире, чем наука.

Вторая причина такова: общество, которое стало бы повиноваться законодательству, исходящему из научной академии, не потому, что оно само поняло разумные основания их—а в таком случае существование академии стало бы бесполезным — но потому, что это законодательство, исходя из академии, навязывалось бы во имя науки, которую чтят, не понимая ее, — такое общество было бы обществом не людей, но скотов. Это было бы вторым изданием несчастной Парагвайской Республики, которая долгое время позволяла управлять собою Ордену Иезуитов. Такое общество не преминуло бы вскоре опуститься на самую низкую ступень идиотизма.

Но есть еще третья причина, делающая такое правительство невозможным. А именно—научная академия, облеченная, так сказать, абсолютною верховною властью, хотя бы она состояла даже из самых знаменитых людей, неизбежно и скоро кончила бы тем, что сама развратилась бы и морально, и интеллектуально. Такова уже ныне история всех академий при небольшом количестве предоставленных им привилегий. Самый крупный научный гений с того момента, как он становится академиком, оффициальным патентованным ученым, неизбежно регрессирует и засыпает. Он теряет свою самобытность, свою революционную смелость, и эту не укладывающуюся в общие рамки дикую энергию, характеризующую самых великих гениев, призванных всегда к разрушению отживших миров и к закладке основ новых миров. Он, несомненно, выигрывает в хороших манерах, в полезной и практической мудрости, теряя в мощности мысли. Одним словом, он вырождается.

Таково уж свойство привилегии и всякого привилегированного положения, убивать ум и сердце людей. Человек, политически или экономически привилегированный, есть человек развращенный интеллектуально и морально. Вот, социальный закон, не признающий никакого исключения, приложимый одинаково к целым нациям, классам, сообществам и индивидам. Это закон равенства, высшее условие свободы и человечности. Главнейшая цель этой книги в том и заключается, чтобы развить этот закон и доказать истинность его во всех проявлениях человеческой жизни.

Научное учреждение, которому доверили бы управление обществом, кончило бы скоро тем, что стало бы заниматься не наукой, но совсем другим делом. И это дело,— дело всякой установившейся власти, состояло бы в стремлении прочно укрепиться, и сделать вверенное ее заботам общество более тупым и, следовательно, все более нуждающимся в ее управлении и руководстве.

Но что справедливо относительно научной академии, справедливо и относительно всех учредительных и законодательных собраний, даже вышедших из всеобщего избирательного права. Это последнее может, правда, обновить его состав, что не препятствует образованию в течении нескольких годов собрания политиканов привилегированных не по праву, но фактически, которые, посвящая себя исключительно управлению общественными делами страны, кончают тем, что образуют род политической аристократии или оли-

гархии. Пример—Соединенные Штаты Америки и Швейцария.

Таким образом—не надо никакого внешнего законодательства и никакой власти; одно, впрочем, неотделимо от другого, и оба они стремятся к порабощению общества и к отупению самих законодателей.

Вытекает ли из этого, что я отвергаю всякий авторитет? Такая мысль далека от меня. Когда дело идет о сапогах, я полагаюсь на авторитет сапожника; если дело идет о доме, о канале или о железной дороге, я советуюсь с архитектором или инженером. За тем или иным специальным знанием я обращаюсь к тому или иному ученому. Но я не позволю ни сапожнику, ни архитектору, ни ученому навязать мне их авторитет. Я свободно выслушиваю их со всем уважением, которого заслуживает их ум, характер, знания, сохраняя за собою во всяком случае мое неоспоримое право критики и контроля. Я не удовольствуюсь тем, что посоветуюсь с одним авторитетным специалистом, я посоветуюсь со многими. Я сравню их мнения и выберу то, которое мне кажется наиболее справедливым. Но я не признаю отнюдь непогрешимого авторитета даже в узко специальных вопросах. Следовательно, какое бы уважение я не питал к честности и искренности того или иного индивида, у меня нет абсолютной веры ни к кому. Такая вера была бы роковою для моего разума, моей свободы и для успеха моего предприятия. Она меня немедленно превратила бы в тупого раба, в орудие воли и интересов другого.

Если я преклонюсь перед авторитетом специалистов, и если я об'являю себя готовым следовать в известной мере и так долго, как мне это кажется необходимым, их указаниям и даже руководству, то это лишь потому, что их авторитет никем не навязан мне,—ни людьми, ни богом. В противном случае, я отверг бы с ужасом и послал бы к чорту их советы, их руководство и их знания, уверенный, что они заставят меня заплатить потерей моей свободы и моего достоинства за те окутанные массой лжи крупицы человеческой истины, какие они могут мне дать.

Я преклоняюсь перед авторитетом специалистов потому, что он мне внушен моим собственным разумом. Я сознаю, что могу охватить во всех деталях и в позитивном развитии лишь малую долю человеческой науки. Величайший ум недостаточен для того, чтобы охватить все. Отсюда сле-

дует для науки, как и для промышленности, необходимость разделения и ассоциации труда. Я получаю и даю,—такова человеческая жизнь. Всякий является авторитетным руководителем, и всякий управляем в свою очередь. Следовательно, отнюдь не существует закрепленного и постоянного авторитета, но постоянный взаимный обмен власти и подчинения, временный и — что особенно важно,—добровольный.

Это самое соображение не позволяет мне, следовательно, признать закрепленный, постоянный и универсальный авторитет, ибо не существует универсального человека, способного охватить все науки, все ветви социальной жизни со всеми богатыми подробностями, без которых приложение науки к жизни совершенно невозможно. И если такая универсальность могла когда-либо быть осуществлена одним человеком, и если бы он захотел этим возвеличить себя, чтобы навязать нам свой авторитет, нужно было бы изгнать этого человека из общества, потому что его авторитет неизбежно свел бы всех других к рабству и тупости. Я не думаю, чтобы общество должно было дурно обращаться с гениальными людьми, как оно делало это до сих пор. Но я не думаю также, чтобы оно должно было слишком ублажать их и—особенно—наделять их привилегиями или какими-нибудь исключительными правами. И это по трем причинам. Прежде всего потому, что обществу не раз случилось бы принять шарлатана за гениального человека; затем потому, что этой системой привилегий оно могло бы превратить в шарлатана даже действительно гениального человека, деморализовать его и сделать глупцом; и, наконец, потому, что оно создало бы себе этим деспота.

Я резюмирую. Итак, мы признаем абсолютный авторитет науки, ибо наука имеет своим предметом лишь умственное, отраженное и, насколько лишь возможно, систематическое воспроизведение естественных законов, присущих как материальной, так и интеллектуальной и моральной жизни физического и социального мира, этих двух миров, составляющих в действительности лишь единый естественный мир. Помимо этой, единственной законной власти, ибо она разумна и соответствует человеческой свободе, мы об'являем всякую другую власть лживой, произвольной, деспотической и гибельной.

Мы признаем абсолютный авторитет науки, но отвергаем непогрешимость и универсальность представителей

науки. В нашей церкви—да будет мне позволено на минуту употребить это выражение, которое, впрочем, я ненавижу—Церковь и Государство для меня два заклятых врага—в нашей Церкви, как и в Церкви протестантской, имеется глава, невидимый Христос,—наука. И подобно протестантам, будучи более последовательными, чем протестанты, мы не хотим терпеть ни папы, ни собора, ни конклава непогрешимых кардиналов, ни епископов, ни даже священников. Наш Христос отличается от протестантского и христианского Христа тем, что этот последний—существо личное, наш же—безличен. Христианский Христос, предвечно законченный, представляется как существо совершенное, между тем как законченность и совершенство нашего Христа, науки, всегда в будущем; другими словами, они не осуществятся никогда. Признавая же абсолютную власть лишь за *абсолютной наукой*, мы следовательно никоим образом не связываем свою свободу.

Под этими словами „абсолютная наука", я понимаю науку действительно универсальную, которая идеально воспроизводила бы во всей ее полноте и со всеми ее бесконечными деталями вселенную, систему или согласование всех естественных законов, проявляющихся в непрерывном развитии миров. Очевидно, что такая наука, верховный предмет всех усилий человеческаго ума, никогда не осуществится в своей абсолютной полноте. Наш Христос останется, следовательно, вечно незаконченным, что значительно должно посбить спесь его пантентованных представителей среди нас. Против этого бога-сына, во имя которого они хотели бы навязать нам свой наглый и педантичный авторитет, мы будем аппелировать к богу-отцу, который есть реальный мир, реальная жизнь, коей он есть лишь слишком нереальное выражение, а мы—реальные существа, живущие, работающие, борящиеся, любящие, надеющиеся, наслаждающиеся и страдающие—непосредственные представители.

Но, отвергая абсолютный, универсальный и непогрешимый авторитет людей науки, мы охотно преклоняемся перед почтенным, но относительным и очень преходящим, очень ограниченным авторитетом представителей специальных наук: готовы советоваться с ними поочередно с каждым и весьма признательны за все ценные указания, которые они пожелают нам преподать при условии, что они соблаговолят принять наши советы относительно того, в чем

мы более сведующи, чем они. И вообще мы очень хотели бы, чтобы люди, одаренные большими знаниями, большим опытом, большим умом, а главное—большим сердцем, оказывали на нас естественное и законное влияние, добровольно принимаемое, но никогда не навязываемое во имя какого бы то ни было оффициального авторитета—небесного или земного. Мы признаем всякий естественный авторитет и всякое воздействие на нас факта, но не права; потому что всякий авторитет и всякое влияние права, оффициально навязываемое нам, сейчас же превращается в угнетение и ложь, и в силу этого неизбежно—как это уже достаточно, я полагаю, доказано мною—приводит нас к рабству и нелепостям.

Одним словом, мы отвергаем всякое привилегированное, патентованное, оффициальное и легальное, хотя бы даже и вытекающее из всеобщего избирательного права, законодательство, власть и воздействие, так как мы убеждены, что они всегда неизбежно обращаются лишь к выгоде господствующего и эксплоатирующего меньшинства, в ущерб интересам огромного порабощенного большинства.

Вот, в каком смысле мы действительно анархисты [1].

Современные идеалисты понимают власть, авторитет совершенно своеобразно.

Хотя и свободные от традиционных предрассудков всех существующих позитивных религий, они тем не менее придают идее власти божественный, абсолютный смысл. Эта их власть отнюдь не есть авторитет чудесно раскрытой откровением истины, и не авторитет строго и научно доказанной истины. Они основывают ее на небольшом количестве псевдо-философской аргументации и на громадной дозе смутно-религиозной веры идеально абстрактно-поэтического чувства. Их религия есть как бы последняя попытка обоготворения всего, что является человеческим в человеке.

---

[1] По французски слово „autorité" означает одновременно и „власть" и „авторитет", что позволяет Бакунину, возражая против власти, говорить и о власти в собственном смысле слова, в смысле господства непосредственного, и в смысле духовного преимущества, пользуясь в своей аргументации примерами то власти, то авторитета. По русски неизбежно приходится в некоторых случаях употреблять одно, в некоторых же—другое слово. То же самое и со словом „influence", кот. в одних случаях переводится словом „влияние", в других—словом „воздействие".

(Примеч. переводчика.)

Это совершенная противоположность предпринятой нами задаче. Мы считаем своим долгом, в виду человеческой свободы, человеческого достоинства и человеческого благополучия, отобрать у неба блага, похищенные им у земли, чтобы возвратить их земле. Между тем, как пытаясь совершить последнюю героическую религиозную кражу, они, напротив того, хотели бы снова возвратить небу, этому ныне разоблаченному божественному вору, в свою очередь обворованному смелым безбожием и научным анализом свободных мыслителей, все самое великое, самое прекрасное и самое благородное, чем лишь обладает человечество.

Им кажется, без сомнения, что человеческие идеи и дела, чтобы пользоваться большим авторитетом среди людей должны быть облечены божественной санкцией. Как эта санкция выявляется? Не чудом, как в позитивных религиях, но самым величием или святостью идей и дел: то, что велико, что прекрасно, что благородно, что справедливо, об'является божественным. В этом новом религиозном культе всякий человек, вдохновленный этими идеями и совершающий великие дела, становится жрецом, непосредственно посвященным самим богом. Доказательства? Нет надобности ни в каких других доказательствах, кроме самого величия идей, которые он выражает, и дел, которые он совершает: они столь святы, что могли быть внушены лишь Богом.

Вот, в немногих словах вся их философия: философия чувства, а не реальной мысли, своего рода метафизический пиэтизм. На первый взгляд это кажется невинным, но в действительности совсем не таково, и вполне определенная, весьма узкая и сухая доктрина, скрывающаяся под неуловимой расплывчатостью этой поэтической формы, приводит к тем же бедственным результатам, как и все позитивные религии, то есть к самому полному отрицанию человеческой свободы и человеческого достоинства.

Провозгласить божественным все, что есть великого, справедливого, благородного, прекрасного в человечестве, это значит молчаливо признать, что человечество само по себе было бы неспособно произвести его, а это сводится к признанию, что предоставленная самой себе человеческая собственная природа жалка, несправедлива, низка и безобразна. Таким образом мы возвращаемся назад к сущности всякой религии, то-есть к унижению человечества к вящшей славе божества. И с того момента, как признается, что человек естественно—существо низшего порядка, что он по

самой своей природе неспособен возвыситься самостоятельно, без помощи божественного вдохновения, до верных и справедливых идей, становится необходимым признать также и все теологические, политические и социальные последствия позитивных религий. С того момента, как Бог, высшее и совершеннейшее существо, противополагается человечеству, божественные посредники, избранные, боговдохновленные, появляются, словно из под земли, чтобы освещать, направлять и руководить во имя его человеческим родом.

Нельзя ли предположить, что все люди равным образом вдохновлены Богом? Тогда, конечно, не было бы больше надобности в посредниках. Но это предположение невозможно, ибо факты слишком противоречат ему. Нужно было бы тогда приписать божественному вдохновению все нелепости и все ошибки, которые проявляются, и все ужасы, мучения, подлости и глупости, которые совершаются в человеческом мире. Следовательно, в этом мире имеется лишь немного божественно-вдохновленных людей. Это — великие люди истории, *добродетельные гении*, как говорит знаменитый итальянский гражданин и пророк Джузеппе Мадзини. Непосредственно вдохновленные самим Богом и опираясь на всеобщее сочувствие, выраженное всенародным голосованием — Dio e Popolo (Бог и Народ) — они призваны *управлять* человеческими обществами*).

Таким образом мы снова возвращаемся к Церкви и Государству. Правда, в этой новой организации, установленной, как и все старинные политические организации *милостью Божией*, но на этот раз подкрепляемой, по крайней мере, ради формы, ввиде необходимой уступки современному духу, как в заголовках императорских декретов Наполеон III, *волею* (фиктивною) *народа*, Церковь не будет больше называться Церковью. Она назовется Школой. Но на скамьях этой школы усядутся не только дети: там будет вечный несовершеннолетний ученик, навсегда признанный неспособным выдержать экзамены, возвыситься до науки своих учителей и обойтись без их указки, — народ**). Государство

---

*) Шесть или семь лет назад в Лондоне я слышал, как Г. Луи Блан высказывал приблизительно такую же мысль: „Лучшая форма правления, сказал он мне, „была бы такая, которая всегда вручала бы дело „*добродетельным гениям*“ (примеч. Бакунина).

**) Я спросил однажды Мадзини, какие меры примут для освобождения народа, когда его победоносная объединенная республика будет окончательно установлена? — „Первою мерою, ответил он мне, будет учреждение школ для народа“. — „А чему будут обучать народ в этих школах?“ — „Обя-

не будет больше называться Монархией; оно будет называться Республикой, но от этого оно не станет меньше государством, иначе говоря оффициальной и планомерно установленной опекой меньшинства компетентных людей, *добродетельных гениев или талантов,* чтобы надзирать и упра-

---

занностям человека, самопожертвованию и преданности".—Но где возьмете вы достаточное количество преподавателей, чтобы обучать этим вещам, которым никто не имеет ни права, ни возможности обучать иначе как своим собственным примером? Не чрезвычайно ли ограниченно число людей, находящих высшее наслаждение в самопожертвовании и в преданности? Те, кто жертвует собою во имя великой идеи, повинуясь возвышенному влечению и *удовлетворяя этому личному влечению,* без которого самая жизнь теряет в их глазах всякую ценность, эти люди обыкновенно думают совсем о другом, нежели возведение своих действий в доктрину. Между тем как те, кто делают из них доктрину, забывают чаще всего превращать эту доктрину в действие по той простой причине, что доктрина убивает жизнь, убивает живую самопроизвольность действия. Люди, подобные Мадзини, у которых доктрина и действия находятся в удивительном единстве,—очень редкое исключение. В христианстве также были великие люди, святые люди, которые действительно делали или по меньшей мере страстно стремились делать все то, что проповедывали, и сердца которых, переполненные любовью, были полны презрения к наслаждениям и благам сего мира. Но громадное большинство католических и протестанских священников, которые сделали своим ремеслом проповедь доктрины целомудрия, воздержания и отречения, своим примером, обыкновенно, опровергают свою доктрину. И не без основания, но вследствие опыта многих веков, у народов всех стран сложились такие поговорки: *„Развратен как поп"*; *„лакомка как поп"*, *„честолюбив как поп"*, *„жаден, корыстен, скуп как поп"*. Установлено, таким образом что учителя христианских добродетелей, поставленные церковью, — священники, *в своем громадном большинстве,* поступают совершенно обратно тому, что проповедуют. Самая общераспространенность и преобладание подобных фактов доказывают, что вину следует приписывать не отдельным лицам, но невозможному социальному положению, в какое эти люди поставлены. В положении христианского священника заключается двойное противоречие. Во первых, противоречие доктрины воздержания и отречения с положительными стремлениями и потребностями человеческой природы, с стремлениями и потребностями, которые в некоторых индивидуальных, всегда очень редких случаях, могут еще быть постоянно попираемы, сдерживаемы и даже совершенно уничтожены постоянным влиянием какой нибудь могущественной интеллектуальной или моральной страсти, и которые в известные моменты коллективной экзальтации могут быть забыты и пренебрегаемы в течение некоторого времени большим количеством людей сразу. Но они настолько существенным образом присущи человеческой природе, что всегда в конце концов берут свое, так что, когда мешают их удовлетворению правильным и нормальным образом, они всегда заставляют изыскивать для своего удовлетворения вредные и уродливые способы. Таков естественный и следовательно роковой непреодолимый закон, под гибельное действие которого неизбежно, подпадают все христианские священники и особенно священники римско-католической церкви. Он не распространяется на профессоров школы, другими слова-

влять поведением этого большого неисправимого и ужасного ребенка—народа.

Профессора школы и чиновники Государства будут называть себя республиканцами. Но они от этого не станут меньше опекунами, пасторами, и народ останется тем, чем

ми, на священников новейшей Церкви, если только и их не обяжут проповедовать христианское воздержание и отречение.

Но есть и другое противоречие, общее, как тем, так и другим. Это противоречие связано с самым званием и положением учителя. Учитель приказывающий, угнетающий и эксплоатирующий—логическая и вполне естественная фигура. Но учитель, относящийся с самопожертвованием к своим подчиненным в силу его божеской и человеческой привилегии—это нечто противоречивое и совершенное невозможное. Это—само лицемерие, так хорошо олицетворенное папою, который, называя себя последним *слугою служителей Бога*,—в знак чего, следуя примеру Христа, он даже моет раз в год ноги двенадцати нищим Рима, — провозглашает в тоже время себя наместником Бога, абсолютным и непогрешимым господином мира. Нужно ли напоминать, что священники всех Церквей, далеки от того, чтобы с самопожертвованием относиться к вверенной их попечению пастве, всегда приносили ее в жертву, эксплоатировали и удерживали на положении стада, отчасти, чтобы удовлетворять своим собственным личным страстям, отчасти, чтобы служить всемогуществу Церкви? Одинаковые условия, одинаковые причины всегда приводят к одинаковым результатам. Тоже самое будет, следовательно, с профессорами новейшей Школы, божественно вдохновленной и патентованной Государством. Они необходимо делаются—одни бессознательно, другие, вполне отдавая себе в этом отчет,—преподавателями доктрины принесения народа в жертву могуществу Государства и в пользу привилегированных классов.

Следует ли из этого, что нужно изъять всякое образование и уничтожить все школы? Отнюдь нет. Нужно полными пригоршнями распространять образование в массах и превратить все церкви, все храмы, посвященные славе Бога и порабощению людей, в школы человеческой эмансипации.

Но прежде всего, согласимся на том, что школы, в собственном смысле этого слова в нормальном обществе, основанном на равенстве и уважении человеческой свободы, должны существовать лишь для детей, а не для взрослых. И чтобы они сделались школами эмансипации, а не порабощения, нужно из них прежде всего изъять эту фикцию Бога, вечного и абсолютного поработителя. И нужно построить все воспитание детей и их образование на научном развитии разума, а не веры; на развитии личного достоинства и независимости, а не на набожности и послушании; на культе истины и справедливости во что бы то ни стало и прежде всего на уважении человека, которое должно во всем и везде заместить культ божества. Принцип авторитета в воспитании детей представляет собою естественную отправную точку. Он наконец, необходим, когда прилагается к детям младшего возраста, пока их ум еще совершенно не развит. Но как постоянное развитие всего вообще, а следовательно и дальнейший ход воспитания влечет за собою последовательное отрицание отправной точки, этот принцип должен постепенно уменьшаться по мере того, как воспитание и образование ребенка подвигается вперед, чтобы уступить место его возрастающей свободе. Всякое рациональное

был вечно до сих пор—стадом. Пусть же тогда бережется он стригущих, ибо, где есть стадо, непременно будут и те, кто стригут и пожирают стадо.

Народ по этой системе будет вечным школьником и воспитанником. Несмотря на свою совершенно призрачную,

---

воспитание по существу есть ни что иное, как прогрессивное уменьшение авторитета в пользу свободы, так как конечной целью воспитания должно быть создание людей свободных и полных уважения и любви к свободе других. Таким образом, первый день школьной жизни ребенка, если школа принимает детей раннего возраста, едва начинающих лепетать, должен быть днем самого большого авторитета и почти полного отсутствия свободы. Но его последний день должен быть днем самой большой свободы и абсолютного исчезновения всякого следа животного или божественного принципа власти над ним.

Принцип власти, прилагаемый к людям, переступившим или достигшим совершеннолетия, становится чудовищностью, вопиющим отрицанием человечности, источником рабства и интеллектуального и морального развращения. К несчастью, отеческие заботы правительства оставили народные массы коснеть в таком глубоком невежестве, что необходимо будет основать школы не только для детей народа, но и для самого народа. Но из этих школ должны будут абсолютно изъяты малейшие приложения или проявления принципа власти. Это не будут уже школы, но народные академии, где не будет ни школьников, ни учителей, куда народ будет свободно приходить, чтобы получать, если сочтет нужным, свободное образование, и где в свою очередь богатый опытом он сможет обучить многим вещам учителей, которые принесут ему отсутствующие у него знания. Это будет, следовательно, взаимное обучение, акт интеллектуального братства между образованной молодежью и народом.

Истинная школа для народа и для всех сложившихся людей — это жизнь. Единственный великий и всемогущий, естественный и одновременно рациональный авторитет, единственный, который мы можем уважать, это авторитет коллективного и общественного духа общества, основанного на равенстве и на солидарности, точно так же, как и на свободе и взаимном человеческом уважении всех его членов.

Да, вот, это власть, отнюдь не божеская, а вполне человеческая, но перед ней мы ото всего сердца преклоняемся, вполне уверенные, что она отнюдь не поработит, но освободит людей. Она будет в тысячу раз могущественнее,—будьте в этом уверены, — чем все ваши божеские, теологические, метафизические, политические и юридические власти, установленные Церковью и Государством, могущественнее, чем ваши уголовные кодексы, ваши тюремщики, и ваши палачи.

Сила коллективного чувства или общественного духа уже весьма значительна и ныне. Люди, наиболее способные совершить преступление, редко осмеливаются бросать ему вызов, открыто выступить против него. Они стараются обмануть его, но весьма остерегаются резко задевать его, если только не чувствуют за собою поддержки по крайней мере какого нибудь меньшинства. Ни один человек, каким бы могущественным он не мнил себя, никогда не в силах будет перенести единодушное презрение общества, ни один не сможет жить, не чувствуя поддержки в виде одобрения и уважения по меньшей мере некоторой части этого общества. Человек должен быть побуждаем каким-нибудь глубоким и очень

верховную власть, он будет продолжать служить орудием чужой воли и мысли, а следовательно и чужих интересов. Между этим положением и тем, что мы называем свободой, единственно-истинной свободой, — целая пропасть. Это будет под новыми формами старинное угнетение и старинное рабство. А там, где есть рабство, есть и нищета и скотское огрубление, настоящее *материалистическое* состояние общества, как привилегированных классов, так и масс.

Обожествляя человеческие вещи, идеалисты всегда приходят к торжеству грубого материализма. И по очень простой причине: божественное испаряется и возносится на свою родину, на небо, и одно только животно-грубое остается действительно на земле.

искренним убеждением, чтобы найти в себе мужество думать и идти против всех, и никогда человек эгоистичный, развращенный и низкий не найдет в себе такого мужества.

Ничто не доказывает лучше естественную и фатальную солидарность, — этот закон общественности, связующий всех людей, — чем этот факт, который каждым из нас может быть ежедневно проверен на себе самом и на всех своих знакомых. Но если это социальное могущество существует, почему это не достаточно было до сих пор, чтобы смягчить, очеловечить людей? На этот вопрос ответить очень просто: потому, что до сих пор эта сила сама не была очеловечена; а не была она очеловечена потому, что общественная жизнь, верным выражением которой она является, основана, как известно, на поклонении божеству, а не на уважении человека; на власти, а не на свободе; на привилегиях, а не на равенстве; на эксплоатации, а не на братстве людей; на несправедливости и лжи, а не на справедливости и истине. Следовательно, реальное действие общественности всегда в противоречии с гуманитарными теориями, которые она исповедует, производило всегда пагубное и развращающее влияние, а не моральное. Она не подавляла пороки и преступления, а создавала их. Следовательно, власть ее — власть божественная, анти-гуманная: ее влияние зловредное и гибельное. Хотите вы сделать ее благотворной и гуманной? Совершите Социальную Революцию. Сделайте так, чтобы все потребности стали действительно солидарными, чтобы все материальные и общественные интересы каждого стали согласованы с человеческими обязанностями каждого. А для этого есть только одно средство: разрушьте все учреждения неравенства; установите экономическое и социальное равенство всех и на этой основе возникнет свобода, нравственность, солидарная человечность всех.

Я вернусь еще к этому самому главному вопросу социализма (примеч. Бакунина).

(Приведенное здесь примечание издателем „Бога и Государства" было помещено в самом тексте вслед за абзацем, кончающимся словами: „и одно только животное грубое остается в действительности на земле". Дж. Г.).

Да, теоретический идеализм неизбежно приводит на практике к самому грубому материализму,—не для тех, конечно, которые искренне проповедуют идеализм, им приходится обыкновенно видеть в конце концов бесплодность своих усилий,—но для тех, кто старается воплотить их учение в жизнь и для целого общества, поскольку оно дает себя подчинить идеалистическим доктринам.

Нет недостатка в исторических доказательствах этого общего факта, который на первый взгляд может показаться странным, но вполне естественно об'ясняется, если больше подумать над ним.

Сравните две последние цивилизации античного мира—греческую и римскую. Которая из этих цивилизаций была более материалистична, более натуралистична в своей исходной точке и более гуманно-идеалистична по своим результатам? Конечно, греческая. Которая, напротив, была более абстрактно-идеалистична в исходной точке, приносила материальную свободу человека в жертву идеальной свободе гражданина, представленной абстракцией юридического права, и естественное развитие человеческого общества абстракции государства, и которая по своим последствиям явилась более грубой? Конечно—римская цивилизация. Правда, греческая цивилизация, как и все античные цивилизации, в том числе и римская, была исключительно национальная и основана была на рабстве. Но, несмотря на эти два громадные исторические недостатка, она тем не менее первая поняла и осуществила идею человечности. Она облагородила и действительно идеализировала жизнь людей. Она превратила человеческие стада в свободные ассоциации свободных людей, она создала бессмертные науки, искусства, поэзию и философию и первые понятия уважения человека на основе свободы. При помощи политической и социальной свободы, она создала свободную мысль. И в конце средних веков, в эпоху Возрождения достаточно было, чтобы несколько греческих эмигрантов принесли в Италию некоторые из своих бессмертных книг, чтобы жизнь, свобода, мысль, гуманность, погребенные в мрачной темнице католицизма, воскресли. Эмансипация человека—вот имя греческой цивилизации. А имя цивилизации римской? Завоевание со всеми его грубыми последствиями. А ее последнее слово?—Всемогущество Цезарей. Это—обесценивание и порабощение наций и людей.

И даже еще ныне,—что убивает, что грубо, мате-

риально давит свободу и человечность во всех странах Европы?—Торжество принципа цезаризма или римского принципа.

Сравните теперь две современные цивилизации: цивилизацию итальянскую и германскую. Первая представляет, без сомнения, по своему общему характеру материализм. Вторая, напротив того, является представительницей всего, что только есть наиболее абстрактного, наиболее чистого и наиболее трансцендентного в смысле идеализма. Посмотрим, каковы практические результаты той и другой.

Италия уже оказала громадные услуги делу человеческой эманспиации. Она первая воскресила и широко ввела в Европе принцип свободы и возвратила человечеству лучшие его достояния: промышленность, торговлю, поэзию, искусства, позитивные науки и свободную мысль. Задавленная затем на протяжении трех веков императорским и папским деспотизмом, втоптанная в грязь своей правящей буржуазией, она, правда, представляется теперь сильно потускневшей, в сравнении с тем, что была раньше. И однако—какая разница, если сравнить ее с Германией! В Италии, несмотря на этот упадок,—будем надеяться, преходящий—можно жить и дышать по человечески, свободно, среди народа, который кажется рожденным для свободы. Италия, даже буржуазная может с гордостью указать вам на людей, как Мадзини и Гарибальди. В Германии дышешь *) в атмосфере политического и социального рабства, философски об‘ясняемого и принимаемого великим народом с сознательной покорностью и добровольно. Ее герои —я говорю о Германии настоящего, а не будущего, о Германии аристократической, бюрократической, политической и буржуазной, а не о Германии пролетарской,—ее герои—полная противоположность Мадзини и Гарибальди. Это ныне Вильгельм I-й, жестокий и наивный представитель протестантского Бога, это господа фон Бисмарк и фон Мольтке, генералы Мантейфель и Верден. Во всех своих международных сношениях, Германия со времени своего существования медленно, систематически стремилась к нашествиям, завоеваниям, всегда готовая распространить на соседние народы свое собственное добровольное рабство. И с тех пор, как

---

*) Бакунин не поместил совсем текста на листах 194 и 195, которые целиком заняты продолжением примечания, начатого на листке 186 Дж. Г.

она стала объединенной державой, она стала угрозой, опасностью для свободы всей Европы. Имя Германии в настоящее время, это—грубое и торжествующее холопство.

Чтобы показать, как теоретический идеализм непрерывно и фатально превращается в практический материализм, достаточно привести пример всех христианских церквей и, разумеется, в первую голову римской апостольской церкви. Есть ли что возвышеннее, в смысле идеала, бескорыстнее, отрешеннее от всех земных интересов, чем доктрина Христа, проповедуемая церковью? И что может быть более грубо-материалистично, чем постоянная практика этой самой церкви с восьмого века, когда она начала складываться, как держава? Каков был и каков еще в настоящее время главный предмет всех ее тяжб с государями Европы? Тленные блага, доходы церкви прежде всего и затем светская власть, политические привилегии церкви. Надо впрочем отдать церкви справедливость;—она первая в новейшей истории открыла ту неоспоримую, но очень мало христианскую истину, что богатство и власть, экономическая эксплоатация и политическое угнетение масс суть две неотделимых стороны царства божественной идеи на земле: богатство укрепляет и увеличивает власть, власть открывает и создает постоянно новые источники богатства, а вместе они лучше, чем мученичество и вера апостолов, и лучше, чем божественная благодать, обеспечивают успех христианской пропаганды. Это—историческая истина, с которой считаются и протестантские церкви. Я говорю, конечно, о независимых церквах Англии, Америки и Швейцарии, а не о подчиненных церквах Германии. Эти последние не обладают никакой собственной инициативой; они делают то, что их господа, их светские государи, которые в то же время являются и их духовными вождями, приказывают им делать. Известно, что протестантская пропаганда, особенно Англии и Америки, очень тесно связана с пропагандой материальных коммерческих интересов этих двух великих наций. И известно, что эта последняя пропаганда отнюдь не имеет своим предметом обогащение и материальное процветание стран, в которые она проникает в союзе со словом Божиим, но именно эксплоатацию этих стран для обогащения и все возрастающего материального благосостояния некоторых классов своей собственной страны, которые являются одновременно и чрезвычайно эксплоататорскими и чрезвычайно набожными.

Одним словом, совсем не трудно доказать с историческими данными в руках, что церковь, что все церкви, христианские и нехристианские, на ряду со своей духовной пропагандой и вероятно, чтобы ускорить и укрепить ее успех, никогда не пренебрегали тем, чтобы сорганизоваться в крупные компании для экономической эксплоатации масс и их труда под покровительством и с прямого и специального благословения какого-нибудь божества; что все государства, которые при своем происхождении, как известно, были со всеми своими политическими и юридическими учреждениями и своими господствующими и привилегированными классами ничем иным, как светскими отделениями этих различных церквей, имели также своим главным предметом лишь ту же самую эксплоатацию на пользу светского меньшинства, косвенно узаконенного церковью, и что вообще деятельность Господа Бога и всех божественных идей на земле в конце концов приводила всегда и везде к созданию материального процветания немногих на почве фанатического идеализма постоянно голодающих масс.

То, что мы видим сейчас, служит лишь новым доказательством этого. За исключением заблуждающихся великих сердец и великих умов, названных мною выше, кто ныне является самыми ожесточенными защитниками идеализма? Во-первых, все царствующие дома и их придворные. Во Франции—Наполеон III со своей супругой, госпожей Евгенией; все их бывшие министры, царедворцы и маршалы от Руэ и Базэна до Флери и Пиетри; мужи и жены императорского мира, которые так хорошо идеализировали и спасли Францию; журналисты и ученые: Кассаньяки, Жирардены, Дювернуа, Вельо, Леверрье, Дюма; наконец, черная фаланга иезуитов и иезуиток во всевозможных рясах и одеждах; все дворянство и вся высшая и средняя буржуазия Франции; либеральные доктринеры и либералы без доктрин: Гизо, Тьерье, Жюли Фавры, Пельтаны и Жюли Симоны; все ожесточенные защитники буржуазной эксплоатации. В Пруссии, в Германии,—Вильгельм I, истинный современный представитель Господа Бога на земле; все его генералы, все его померанские и другие офицеры, вся его армия, которая, сильная своей религиозной верой, завоевала Францию всем известным „идеальным“ способом. В России,—царь и весь его двор; Муравьевы и Берги, все убийцы и набожные усмирители Польши. Повсюду, одним словом, религиозный или философский идеализм (причем

один есть лишь более или менее свободное толкование второго) служит ныне знаменем материальной эксплоатации. Напротив того, знамя теоретического материализма, красное знамя экономического равенства и социальной справедливости, поднято практическим идеализмом угнетенных и изголодавшихся масс, стремящихся осуществить наибольшую свободу и человеческие права каждого в братстве всех людей на земле.

Кто же истинные идеалисты, идеалисты не отвлеченности, но жизни, не неба, но земли, и кто—материалисты?

Очевидно, что основное условие теоретического или божественного идеализма—пожертвование логикой, человеческим разумом, отказ от науки. С другой стороны мы видим, что, защищая идеалистические доктрины, невольно оказываешься увлеченным в стан угнетателей и эксплоататоров народных масс. Вот, два важных основания, которые должны были казаться достаточными, чтобы отдалить от идеализма всякий великий ум, всякое великое сердце. Как же случилось, что наши знаменитые современные идеалисты, у которых, конечно, нет недостатка ни в уме, ни в сердце, ни в доброй воле, и которые посвятили все свое существование целиком служению Человечеству,—как же случилось, что они упорно остаются в рядах представителей доктрины, отныне осужденной и обесчещенной?

Нужно, чтобы они были побуждаемы к этому очень сильными мотивами. Это не может быть ни логика, ни наука, ибо и логика, и наука против идеалистической доктрины. Это не могут быть, разумеется, и личные интересы, ибо такие люди бесконечно выше всего, что может быть названо личным интересом. Нужно, следовательно, чтобы это был сильный мотив морального порядка. Какой же? Он может быть только один: эти знаменитые люди думают, конечно, что идеалистические теории или верования существенно необходимы для достоинства и морального величия человека, и что материалистические теории, напротив того, понижают его до уровня животного.

А если верно обратное?

Всякое развитие, как я уже сказал, влечет за собою отрицание исходной точки. Так как исходная точка, по учению материалистической школы, материальна, то отрицание ее необходимо должно быть идеально. Исходя от совокупности реального мира или от того, что отвлеченно назы-

вают материей, материализм логически приходит к действительной идеализации, то есть к гуманизации, к полной и совершенной эмансипации общества. Напротив того, так как по той же самой причине исходная точка идеалистической школы идеальна, то эта школа неизбежно приходит к материализации общества, к организации грубого деспотизма и к подлой, несправедливой эксплоатации в форме Церкви и Государства. Историческое развитие человека по учению материалистической школы есть прогрессивное восхождение, а по идеалистической системе оно может быть лишь непрерывным падением.

Какой бы вопрос, касающийся человека, мы ни затронули, мы всегда натолкнемся на то же основное противоречие между двумя школами. Таким образом, как уже я отметил, материализм исходит от животности, чтобы установить человечность; идеализм исходит от божественности, чтобы установить рабство и осудить массы на без‘исходную животность. Материализм отрицает свободную волю и приходит к установлению свободы; идеализм во имя человеческого достоинства провозглашает свободную волю и на развалинах всякой свободы основывает власть. Материализм отвергает принцип власти, ибо рассматривает ее с полным основанием, как порождение животности, и потому что, напротив того, торжество человечества, которое, по его мнению есть главная цель и смысл истории, осуществимо лишь при свободе. Одним словом, в любом вопросе вы всегда уличите идеалистов в практическом осуществлении материализма. Между тем как материалистов вы, напротив того, увидите всегда преследующими и осуществляющими самые глубоко-идеальные стремления и мысли.

По системе идеалистов история, как я уже сказал, не может быть ничем иным, как непрерывным падением. Они начинают с ужасного падения, после которого никогда уже не поднимаются, с божественного *сальто-мортале* из возвышенных сфер чистой абсолютной идеи—в область материи. И заметьте еще—какой материи! Не той вечно деятельной и подвижной материи, полной свойств и сил, жизни и ума, какою она нам представляется в реальном мире, но материи отвлеченной, обедненной, и сведенной к абсолютной нищете путем форменного грабежа этими „пруссаками мысли“, то есть теологами и метафизиками, которые из нее все украли, чтобы отдать своему Императору, своему Богу,—

той материи, которая, лишенная всех присущих ей свойств, всякой деятельности и всякого движения, представляет лишь в противоположность божественной идее абсолютную глупость, непроницаемость, инертность и неподвижность.

Это падение столь ужасно, что Божество, божественная личность или идея, сплющивается, теряет сознание самой себя и уже никогда не находит себя. И в этом отчаянном положении она еще вынуждена творить чудеса! Ибо раз материя инертна, всякое движение, которое происходит в мире, даже самое материальное, есть чудо и может быть лишь продуктом божественного вмешательства, действий Бога на материю. И вот это бедное Божество, разжалованное и почти уничтоженное своим падением, остается несколько тысяч веков в этом обморочном состоянии, затем медленно пробуждается, стремясь всегда безуспешно схватить какое-нибудь смутное воспоминание о себе самом; и всякое движение, которое оно производит с этой целью в материи, становится творением, новой формацией, новым чудом. Таким путем оно проходит через все ступени материальности и животности: сперва газ, простое или, скорее, химическое тело, минерал, оно затем распространяется по земле в виде растительной и животной организации, потом сосредоточивается в человеке. Здесь оно как будто должно бы найти себя, ибо в каждом человеческом существе оно возжигает ангельскую искру, частицу своего собственного божественного существа, бессмертную душу.

Как удалось ему вложить абсолютно-нематериальное вещество в вещество абсолютно-материальное? Как тело может содержать, заключать в себе, ограничивать, парализовать чистый дух? Вот, еще один из вопросов, который только вера, это страстное и глупое утверждение нелепости может разрешить. Это—самое великое чудо. Здесь мы можем лишь установить результаты, практические следствия этого чуда.

После тысяч веков бесполезных усилий, чтобы притти в себя, Божество, потерянное и распространенное в материи, которую оно одушевляет, и которую приводит в движение, находит точку опоры, своего рода фокус своего собственного сосредоточения. Это—человек, это—его бессмертная душа, странным образом заключенная в смертном теле. Но каждый отдельный человек, рассматриваемый индивидуально бесконечно ограничен, слишком мал, чтобы заключать божественную безграничность; он может содержать в себе

лишь чрезвычайно малую частицу ее, бессмертную как Целое, но бесконечно меньшую, нежели Целое. Отсюда следует, что божественное Существо, Существо абсолютно нематериальное, Дух, делим как и материя. Вот, еще другая тайна, решение которой нужно предоставить вере.

Если бы Бог весь целиком мог поместиться в каждом человеке, тогда каждый человек был бы Богом. Мы бы имели бесконечное количество Богов, причем каждый оказывался-бы ограничен всеми другими, и в то же время каждый был бы бесконечен—противоречие, которое непременно повлекло бы взаимное уничтожение людей в виду невозможности существования более, чем одного. Что же касается частиц, то это другое дело. В самом деле нет ничего более рационального, чем то, чтобы одна частица была ограничена другою и была меньше своего целого. Только здесь представляется другое противоречие. Существо ограниченное, существо большее и существо меньшее, это— свойство материи, но не духа. У такого духа, каким его представляют себе материалисты, это конечно, может быть, ибо по учению материалистов действительный дух, душа есть ни что иное, как функционирование материального организма человека. И тогда большая или меньшая величина души абсолютно зависит от большего или меньшего совершенства человеческого организма. Но эти самые свойства ограничения и относительной величины не могут быть приписаны духу, каким его понимают идеалисты, душе абсолютно не материальной, духу существующему вне всякой материи. Там не может быть ни большего, ни меньшего никакой границы между духами, ибо есть лишь один Дух и Бог. Если прибавить, что бесконечно малые и ограниченные частицы, составляющие человеческие души, в то же время бессмертны, мы дойдем до верха противоречий. Но это вопрос веры. Не будем останавливаться на нем.

Итак, следовательно, Божество разорвано и вмещено бесконечно малыми дозами в бесконечное количество существ обоего пола, всех возрастов, всех рас и всех цветов.

Это для него, в высшей степени неудобное и несчастное положение, ибо божественные частицы столь мало узнают друг друга в начале своего человеческого существования, что начинают с пожирания друг друга. Однако, среди этого состояния варварства и чисто животной грубости нравов, божественные частицы, человеческие души сохраняют смутное воспоминание своей первобытной божественности и

непобедимо влекутся к Целому. Они ищут друг друга, они ищут его. Это—само Божество, распространенное и затерянное в материальном мире, ищет себя в людях, и оно столь разрушено множественностью человеческих тюрем, в которых рассеяно, что ища себя, совершает кучу глупостей.

Начиная с фетишизма, оно ищет себя и поклоняется самому себе то в камне, то в кусочке дерева, то в тряпке. Даже весьма вероятно, что оно никогда не вышло бы из тряпки, если бы *другое* божество, которое воздержалось от падения в материю, и которое сохранилось в состоянии чистого духа на возвышенных высотах абсолютного идеала или в небесных сферах, не сжалилось бы над ним.

И вот опять новая тайна,—тайна Божества, раскалывающегося на две половины, из которых каждая является целой и бесконечной, и из коих одна—Бог Отец—скрывается в чистых нематериальных областях, а другая, Бог Сын,—снизошла в материю. Мы увидим сейчас установившиеся непрерывные сношения сверху вниз и снизу вверх между этими двумя Божествами, отделенными одно от другого. И эти сношения, рассматриваемые, как единый, вечный и постоянный акт, составляют Святой Дух. Такова в своем истинном теологическом и метафизическом смысле великая страшная тайна христианской Троицы.

Но покинем скорее эти высоты и посмотрим, что происходит на земле.

Бог Отец, видя с высоты своего вечного великолепия, что бедняга Бог Сын, сплющенный и ошеломленный падением, до такой степени погрузился и потерялся в материи что, придя даже в человеческое состояние, не может найти себя, решается, наконец, помочь ему.

Из огромного количества этих частиц, одновременно бессмертных, божественных и бесконечно малых, в которых Бог Сын рассыпан до такой степени, что не может больше узнать Самого Себя, Бог Отец выбирает наиболее ему понравившиеся и делает их своими вдохновенными, своими пророками, своими „добродетельными гениями“, великими благодетелями и законодателями человечества: Зороастр, Будда, Моисей, Конфуций, Ликург, Солон, Сократ, божественный Платон и особенно Іисус Христос, совершенная реализация Бога Сына, наконец, собранного и сконцентрированного в единую человеческую личность; все апостолы, Святой Петр, Святой Павел и особенно Святой Іоанн; Константин Великий, Магомет, затем Карл Великий, Григорий VII,

Данте, по мнению некоторых также и Лютер, Вольтер и Руссо, Робеспьер и Дантон, и много других великих и святых исторических персонажей, всех имен которых невозможно припомнить, но среди которых, я, в качестве русского, прошу не забыть Святого Николая.

Итак, мы дошли до проявления Бога на земле. Но сейчас же, как только Бог появляется, человек сводится на ничто. Скажут, что он нисколько не сводится на ничто, ибо он сам частица Бога. Виноват! Я допускаю, что частица, кусочек определенного ограниченного целого, как бы мала ни была эта частица, является некоторым количеством, относительной величиной. Но часть, частица бесконечно великого, по сравнению с ним необходимо бесконечно мала. Умножьте миллиарды миллиардов на миллиарды миллиардов их произведение по сравнению с бесконечно великим будет бесконечно мало, а бесконечно малое равно нулю. Бог—все, следовательно человек и весь реальный мир с ним вместе, вселенная,—ничто. Вы не выйдете из этого.

Бог появляется, человек сводится на ничто. И чем больше Божество делается великим, тем человечество делается более несчастным. Такова история всех религий. Таков результат всех божественных вдохновений и законодательств. В истории имя Бога есть страшная историческая палица, которою все божественно вдохновленные, великие „добродетельные гении“, сокрушили свободу, достоинство, разум и благосостояние людей.

Мы имели вначале падение Бога. Мы имеем теперь падение, более интересующее нас,—падение человека, причиненное одним лишь появлением или проявлением Бога на земле.

Поглядите же, в каком глубоком заблуждении находятся наши дорогие знаменитые идеалисты. Говоря нам о Боге, они думают, они хотят возвысить нас, эмансипировать облагородить и, напротив того, они нас давят и обесценивают. Они воображают, что с помощью имени Бога они сами смогут установить братство среди людей, и напротив того, они создают гордость, презрение, они сеют раздоры ненависть, войну, они основывают рабство. Ибо с Богом непременно приходят различные степени божественного вдохновения: человечество делится на весьма вдохновленных на менее вдохновленных и на совсем не вдохновленных.

Правда, все они равно ничтожны перед Богом; но по сравнению друг с другом одни более велики, нежели другие и не только фактически, что было бы не существенно, ибо фактическое неравенство теряется само собою в коллективности, раз оно не находит в ней ничего, никакой фикции или законного установления, за которое могло бы уцепиться: нет, одни более велики, чем другие по божественному праву вдохновения, что тотчас же создает неравенство закрепленное, постоянное, окаменелое. Более вдохновленным *должны* внимать и повиноваться менее вдохновленные; и менее вдохновленным—совсем не вдохновленные. Вот, хорошо установленный принцип власти и с ним два основных учреждения рабства: Церковь и Государство.

Из всех деспотизмов, деспотизм доктринеров или религиозных вдохновленных есть наихудший. Они так ревностно относятся к славе своего Бога и к торжеству своей идеи, что в их сердце не остается больше места ни для свободы, ни для достоинства, ни даже для страданий живых людей, реальных людей. Божественная ревность, заботы об идее иссушают в конце концов в самых нежных душах, в самых сострадательных сердцах источник любви к человеку. Рассматривая все, что существует, все, что делается в мире с точки зрения вечности или отвлеченной идеи, они с пренебрежением относятся к вещам преходящим; но ведь вся жизнь реальных людей из плоти и костей составлена лишь из преходящих вещей. Они сами существа преходящие, которые, уходя, правда, замещаются другими точно также преходящими, но никогда не возвращаются в своей индивидуальности. Что есть постоянного или относительно вечного в реальных людях, так это факт существования человечества, которое, развиваясь непрерывно, переходит все более богатое от одного поколения к другому. Я говорю *относительно* вечного, ибо когда наша планета будет разрушена—а она не преминет погибнуть рано или поздно, ибо все, что имеет начало, должно непременно иметь конец, — когда наша планета разложится, чтобы послужить, без сомнения, какому-нибудь новому образованию в системе вселенной, единственно реально вечной, кто знает, что сделается со всем человеческим развитием? Однако, так как момент этого разрушения бесконечно удален от нас, мы вполне можем рассматривать человечество, как вечное, относительно столь короткой человеческой жизни. Но самый этот факт прогрессивного человечества реален и жизненен,

лишь поскольку он проявляется и осуществляется в определенное время, в определенном месте, в людях действительно живых, а не в его общей идее.

Общая идея всегда есть отвлечение и, по этому самому, в некотором роде—отрицание реальной жизни. Я устанавливаю в Приложении то свойство человеческой мысли, а следовательно также и науки, что она в состоянии схватить и назвать в реальных фактах лишь их общий смысл, их общие отношения, их общие законы: одним словом, мысль и наука могут схватить то, что постоянно в их непрерывных превращениях вещей, но никогда не их материальную, индивидуальную сторону, трепещущую, так сказать, жизнью и реальностью, но именно в силу этого быстротечную и неуловимую. Наука понимает мысль о действительности, но не самую действительность, мысль о жизни, но не самую жизнь. Вот, граница, единственная граница, действительно непереходимая для нее, ибо она обусловлена самой природой человеческой мысли, которая есть единственный орган науки.

На этой природе мысли основываются неоспоримые права и великая миссия науки, но также и ее жизненное бессилие и даже ее зловредное действие всякий раз, как в лице своих оффициальных дипломированных представителей она присваивает себе право управлять жизнью. Миссия науки такова: устанавливая общие отношения преходящих и реальных вещей, распознавая общие законы, которые присущи развитию явлений, как физического, так и социального мира, она ставит так сказать, незыблемые вехи прогрессивного движения человечества, указывая людям общие условия, строгое соблюдение коих необходимо, и незнание или забвение коих всегда приводит к роковым последствиям. Одним словом, наука это—компас жизни, но это не есть жизнь. Наука незыблема, безлична, обща, отвлеченна, нечувствительна, подобно законам, коих она есть лишь идеальное, отраженное или умственное, то есть *мозговое* отражение (подчеркиваю это слово, чтобы напомнить, что сама наука есть лишь материальный продукт материального органа материального организма человека, *мозга*). Жизнь вся быстротечна и преходяща, но также и вся трепещет реальностью и индивидуальностью, чувствительностью, страданиями, радостями, стремлениями, потребностями и страстями. Она одна самопроизвольно творит вещи и все реаль-

ные существа. Наука ничего не создает, она лишь констатирует и признает творения жизни. И всякий раз, как люди науки, выходя из своего отвлеченного мира, вмешиваются в дело живых творений в реальном мире, все, что они предлагают, или все, что они создают,—бедно, до смешного отвлеченно, лишено крови и жизни, мертворожденно на подобие *Гомункула*, созданного Вагнером, педантичным учеником бессмертного доктора Фауста. Из этого следует, что наука имеет своей единственной миссией освещать жизнь, но не управлять ею.

Правительство науки и людей науки, хотя бы они и назывались позитивистами, учениками Огюста Конта или даже учениками доктринерской школы немецких коммунистов, может быть лишь бессильным, смешным, бесчеловечным, жестоким, угнетающим, эксплоатирующим, зловредным. Можно сказать о людях науки, *как о таковых*, то же, что я сказал уже о теологах и метафизиках: у них нет ни чувства, ни сердца, для того, чтобы быть индивидуальными и живыми. И в этом их даже нельзя упрекнуть, ибо это естественное следствие их ремесла. Будучи людьми науки, они только и могут интересоваться, что обобщениями, законами *)...

(Не хватает трех страничек рукописи).

...Они не исключительно люди науки, они также более или менее люди жизни.

---

*) Кооперативная типография в Женеве получила в несколько приемов 210 первых листов рукописи Бакунина. Эти листы были целиком набраны. Существуют корректурные оттиски с 44 колонн набора той части рукописи, которая не вошла в первый выпуск *Кнуто-Германской Империи*. Эти оттиски сохранились в бумагах Бакунина и прерываются на слове „законами", слове, которое стоит последним на листке 210, но не приходится последним в строчке оттиска, оставляя, наоборот, ее неоконченной,—верное доказательство, что типография не имела листка 211-го и не могла продолжать набор дальше листка 210.

Когда неизданные еще рукописи Бакунина упаковывались в ящик, чтобы быть пересланными мне (в 1877 г.), три листка 211—213 не могли быть розысканы. Ящик заключал в себе листки с 138 (конец) по 210, затем листки 214—340. Листков же 211, 212 и 213 не хватало. Какова причина их утраты? Я никак не могу догадаться.

Издатели брошюры „Бог и Государство" попытались заполнить этот пробел. Они соединили последнюю строчку листка 210 с первого листка 214 при помощи 23-х строчек текста, не принадлежащего Бакунину, и который должен был быть составлен Элизе Реклю. Я не воспроизвожу этот выдуманный текст, предпочитая предоставить самому читателю труд заполнить его собственным размышлением то, чего не хватает здесь в рукописи. Дж. Г.

Во всяком случае не следует на это слишком полагаться. И если можно быть почти уверенным, что никакой ученый не посмеет теперь обращаться с человеком, как он обращается с кроликом *), тем не менее всегда следует опасаться, как бы коллегия ученых, если только это ей позволить, не подвергла живых людей научным опытам, без сомнения менее жестоким, но которые были бы не менее от этого гибельны для человеческих жертв. Если ученые не могут производить опытов над телом отдельных людей, они только и жаждут произвести их над телом социальным, и вот в этом то им следует непременно помешать.

В своей нынешней организации, монополисты науки ученые, оставаясь в качестве таковых вне общественной жизни, образуют несомненно особую касту, имеющую много сходного с кастой священников. Научная отвлеченность есть их Бог, живые и реальные индивидуальности—жертвы, а сами они—патентованные и посвященные жрецы.

Наука не может выйти из области отвлеченностей. В этом отношении она бесконечно ниже искусства, которое также, собственно говоря, имеет дело лишь с общими типами и с общими положениями. Но благодаря свойственным ему приемам, оно умеет воплотить их формы, хотя и не живые в смысле реальной жизни, но тем не менее вызывающие в нашем воображении чувство или воспоминание о жизни. Оно в некотором роде индивидуализирует типы и положения, которые восприняло, и этими индивидуальностями без плоти и костей, которые являются в силу того постоянными или бессмертными, и которые оно имеет силу творить, оно напоминает нам живые, реальные индивидуальности, появляющиеся и исчезающие у нас на глазах. Искусство есть, следовательно, в некотором роде возвращение абстракции к жизни.

Наука же, напротив того, есть вечное приношение в жертву быстротечной, преходящей, но реальной жизни на алтарь вечных абстракций.

Наука так же мало способна схватить индивидуальность человека, как и индивидуальность кролика. Другими словами она одинаково равнодушна как к тому, так и другому,—не потому, чтобы ей был неизвестен принцип инди-

*) Кажется, что в недостающих листках Бакунин говорил о вивисекции и об опытах, произведенных учеными с кроликами. Дж. Г.

видуальности. Она его прекрасно сознает, как принцип, но не как факт. Она прекрасно знает, что все животные виды, включая сюда вид человека, имеют реальное существование лишь в неопределенном числе индивидов, рождающихся и умирающих, уступающих место новым индивидам, равным образом преходящим. Наука знает, что, по мере того, как поднимаешься от животных видов к видам высшим, принцип индивидуальности становится все больше определенным, индивиды становятся более совершенными и более свободными. Она знает, наконец, что человек, последнее и самое совершенное животное на этой земле, представляет собою самую полную и самую достойную рассмотрения индивидуальность по причине его способности понимать и конкретизировать, олицетворять, в некотором роде, в себе самом и в своем существовании, как общественном, так и частном, универсальный закон. Она знает, когда она не заражена доктринерством, — теологическим, метафизическим, политическим или юридическим, или даже узко научной гордостью, и когда она не остается глухою к инстинктам и самопроизвольным стремлениям жизни,—она знает—и это ее последнее слово,—что уважение человеческой личности есть высший закон человечества, и что великая, настоящая цель истории, единственная, законная,—это гуманизация и эмансипация—очеловечение и освобождение, реальная свобода, реальное благосостояние, счастье каждого живущего в обществе индивида. Ибо в конечном счете, если только не вернуться к свободе убийственной фикции общественного блага под сенью Государства, фикции всегда основанной на систематическом принесении народных масс в жертву,—нужно признать, что коллективная свобода и благосостояние реальны лишь тогда, когда они представляют собою сумму индивидуальных свобод и процветаний.

Наука знает все это, но она не считается, не может считаться с этим. Так как абстракция составляет истинную природу науки, она может понять принцип живой и реальной индивидуальности, но ей нечего делать с реальными и живыми индивидами. Она занимается индивидами вообще, но не Петром и Яковом, не тем или другим индивидом, не существующим, не могущим существовать для нее. Повторяю,—индивиды, с которыми она может иметь дело, суть лишь абстракции.

Однако, историю делают не абстрактные, но реальные, живые, преходящие индивиды. У абстракций нет своих спо-

собов передвижения, они двигаются лишь, когда их носят реальные люди. Для этих же существ, состоящих не только в идее, но реально из плоти и крови, наука—нечто бессердечное. Она рассматривает их самое большее, как *мясо (материал) для интеллектуального и социального развития*. Что ей до частных условий и до мимолетной судьбы Петра или Якова? Она поставила бы себя в смешное положение, она отреклась бы от своей роли, уничтожила бы себя, если бы захотела принять их за что нибудь иное, чем за простые примеры в подтверждение своих вечных теорий. И смешно было бы претендовать на нее за это, ибо не в том ее миссия. Она не может схватить конкретное. Она может двигаться лишь в абстракциях. Ее миссия—заниматься *общими* положениями и условиями существования и развития либо вообще человеческого рода, либо определенной расы, породы, класса или категории индивидов, *общими* причинами их процветания или их упадка и *общими* средствами для их усовершенствования во всех отношениях. Лишь бы она выполнила этот труд широко и рационально—тем самым она выполнила бы весь свой долг, и было бы поистине смешно и несправедливо требовать от нее большего.

Но равным образом было бы смешно и даже опасно доверять ей миссию, выполнить которую она неспособна. Так как ей свойственно игнорировать существование и участь Петра и Якова, то никогда не следует позволять ни ей, ни кому бы то ни было во имя ее управлять Петром и Яковом. Ибо она была бы вполне способна обращаться с ними почти так же, как она обращается с кроликами. Или скорее она продолжала бы игнорировать их; но ее патентованные представители, люди далеко не абстрактные, напротив того, весьма живые, имеющие очень реальные интересы, идущие на уступки под вредным влиянием, которое привилегии роковым образом оказывают на людей,—они кончили бы тем, что стали бы сдирать с этого Петра и Якова шкуру во имя науки, как до тех пор сдирали с них шкуру попы, политики всех мастей и адвокаты, во имя Бога, Государства и юридического права.

То, что я проповедую, есть, следовательно, до известной степени *бунт жизни против науки* или скорее *против правления науки*, не разрушение науки,—это было бы преступлением против человечества,—но водворение науки на ее настоящее место, чтобы она уже никогда не могла покинуть его. До настоящего времени, вся история человече-

ства была лишь вечным и кровавым приношением миллионов бедных человеческих существ в жертву какой-либо безжалостной абстракции: бога, отечества, могущества государств, национальной чести, прав исторических, прав юридических, политической свободы, общественного блага. Таково было до сих пор естественное, самопроизвольное и роковое движение человеческих обществ. Что касается прошлого, то мы ничего не можем с ним поделать и должны принять его, как принимаем естественную необходимость. Нужно думать, что это был единственный возможный путь воспитания человеческого рода. Ибо не следует обманывать себя: даже признавая самую обширную роль за макиавелистическими ухищрениями правящих классов, мы должны признать, что никакое меньшинство не было достаточно могущественно, чтобы навязать массам все эти ужасные самопожертвования, если бы в самих массах не имелось безумного самопроизвольного движения, толкающего их все к новым самопожертвованиям во имя одной из этих прожорливых абстракций, которые, подобно историческим вампирам, всегда питались человеческой кровью.

Что теологи, политики и юристы находят это прекрасным, это само собой понятно. Жрецы этих абстракций, они только этими постоянными жертвоприношениями народных масс и живут. Что метафизика соглашается с этим, это также не должно удивлять нас. Ее миссия в том и заключается, что она узаконивает и оправдывает, насколько возможно, все, что само по себе вопиюще несправедливо и нелепо. Но мы должны с прискорбием констатировать, что сама положительная наука выказывала до сих пор те же тенденции. Она могла делать это лишь по двум причинам: во-первых, потому, что, развившись вне жизни народных масс, она представлена привилегированной группой, и затем потому, что до сих пор она ставила себя самое абсолютной и последней целью всякого человеческого развития. Между тем путем справедливой критики, на какую она способна, и какую в конце-концов она увидит себя вынужденной направить против себя самой, она должна бы понять, что она есть лишь необходимое средство для осуществления более высокой цели,—полной гуманизации *реального* положения всех *реальных* индивидов, которые рождаются, живут и умирают на земле.

Громадное преимущество позитивной науки над теологией, метафизикой, политикой и юридическим правом за-

ключается в том, что на место лживых и гибельных абстракций, проповедуемых этими доктринами она ставит истинные абстракции, выражающие общую природу или самую логику вещей, их общих отношений и общих законов их развития. Вот, что резко отделяет ее от всех предыдущих доктрин, и что всегда обеспечит ей важное значение в человеческом обществе. Она явится в некотором роде его коллективным сознанием. Но есть одна сторона, которою она соприкасается абсолютно со всеми этими доктринами: именно, что ее предметом являются и не могут не являться лишь абстракции, и что она вынуждена самою своей природою игнорировать реальных индивидов, вне которых даже самые верные абстракции отнюдь не имеют реального воплощения. Чтобы исправить этот коренной недостаток, нужно установить следующее различие между практической деятельностью вышеупомянутых доктрин и позитивной науки. Первые пользовались невежеством масс, чтобы со сладострастием приносить их в жертву своим абстракциям. Вторая же, признавая свою абсолютную неспособность сознать реальных индивидов и интересоваться их судьбой, должна окончательно и абсолютно отказаться от управления обществом; ибо, если бы она вмешалась, то не могла бы делать это иначе, чем принося всегда в жертву живых людей, которых она не знает, своим абстракциям, составляющим единственный законный предмет ее изучения.

Истории, как действительной науки, например, еще не существует, и в настоящее время едва начинают намечаться бесконечно сложные задачи этой науки. Но предположим, что история, наконец, сложилась в окончательную форму,— что она могла бы дать нам? Она воспроизведет верную и продуманную картину естественного развития как материальных, так и духовных, как экономических, так и политических, социальных, религиозных, философских, эстетических и научных общих условий обществ, имеющих свою историю. Но эта универсальная картина человеческой цивилизации, как бы она ни была детализирована, никогда не сможет представлять из себя что-либо иное, чем общую и следовательно *абстрактную* оценку,—абстрактную в том смысле, что миллиарды человеческих индивидов, составлявших *живой и страдающий материал* этой истории, одновременно торжествующей и мрачной,—торжествующей с точки зрения ее общих результатов и мрачной с точки зрения бесчисленных искателей, человеческих жертв, „разда-

вленных колесами ее колесницы",—эти миллиарды безвестных индивидов, без которых однако не был бы достигнут ни один из великих абстрактных результатов истории, и на долю которых—заметьте это хорошенько—никогда не выпала возможность воспользоваться ни одним из достигнутых результатов,—эти индивиды не найдут себе ни малейшего местечка в истории. Они жили и они были принесены в жертву, раздавлены для блага абстрактного человечества, вот и все.

Следует ли упрекать за это историческую науку? Это было бы смешно и несправедливо. Индивиды неуловимы для мысли, для размышления и даже для слова человеческого, которое способно выражать лишь абстракции,—неуловимы в настоящем точно так же, как и в прошлом. Следовательно сама социальная наука, наука будущего будет по прежнему неизбежно игнорировать их. Все, что мы имели право требовать от нее, это то, чтобы она указала нам верно и определенно *общие причины индивидуальных страданий*,—и среди этих причин она не забудет, разумеется, принесение в жертву и подчинение,—увы! слишком еще обычные и в наше время—живых индивидов отвлеченным обобщениям; в то же время она должна показать нам *общие условия, необходимые для действительного освобождения индивидов, живущих в обществе.* Такова ее миссия, и таковы ее пределы, за которыми деятельность социальной науки может быть лишь бессильной и пагубной. Ибо за этими пределами начинаются доктринерские и правительственные претензии ее патентованных представителей, ее жрецов. Пора уже покончить со всеми папами и жрецами: мы не хотим их даже, если бы они назывались социал-демократами.

Повторяю еще раз,—единственная миссия науки это—освещать путь. Но только сама жизнь, которая освобождена от всех правительственных и доктринерских преград, и которой предоставлена полнота ее самопроизвольности, может творить.

Как разрешить такое противоречие?

С одной стороны наука необходима для рациональной организации общества; с другой стороны неспособная интересоваться реальным и живым она не должна вмешиваться в реальную и практическую организацию общества.

Это противоречие может быть разрешено лишь одним способом: наука, как моральное начало, существующее вне

всеобщей общественной жизни, и представленное корпорацией патентованных ученых, должна быть ликвидирована и распространена в широких народных массах. Призванная отныне представлять коллективное сознание общества, она должна действительно стать всеобщим достоянием. Ничего не теряя от этого в своем универсальном характере, от которого она никогда не сможет отделаться, не перестав быть наукой, и продолжая заниматься исключительно общими причинами, общими условиями и общими отношениями индивидов и вещей, она в действительности сольется с непосредственной и реальной жизнью всех человеческих индивидов. Это будет движение, аналогичное тому, которое заставило протестантов в начале реформации говорить, что нет нужды в священниках, ибо отныне всякий человек делается своим собственным священником благодаря невидимому непосредственному вмешательству нашего Господа Иисуса Христа, так как ему удалось наконец, проглотить своего Господа Бога. Но здесь речь не идет ни о Господе нашем Иисусе Христе, ни о Господе Боге, ни о политической свободе, ни о юридическом праве,—все эти вещи, как известно, суть метафизические откровения и все одинаково неудобоваримы.

Мир научных абстракций—вовсе не есть откровение: он присущ реальному миру, коего он есть лишь общее или абстрактное выражение и представление. Покуда он образует отдельную область, представленную специально корпорацией ученых, этот идеальный мир угрожает нам занять место Господа Бога по отношению к реальному миру и предоставить своим патентованным представителям обязанности священников. Вот, почему нужно растворить отдельную социальную организацию, ученых во всеобщем и равном для всех образовании, чтобы массы, перестав быть стадом, ведомым и стригомым привилегированными пастырями могли отныне взять в свои руки свои собственные исторические судьбы *).

*) Наука, становясь всеобщим достоянием, сольется в некотором роде с непосредственной и реальной жизнью каждого. Она выиграет в пользе и приятности то, что потеряет в гордости, в честолюбии и педантическом доктринерстве Это конечно, не помешает тому, чтобы гениальные люди, более способные к научным изысканиям, нежели большинство их современников, отдались более исключительно, чем другие, культивированию наук и оказали великие услуги человечеству, не претендуя тем не менее на иное социальное влияние, чем естественное влияние, кото-

Но пока массы не достигнут известного уровня образования, не следует ли предоставить людям науки управлять ими? Избави Бог,—лучше им вовсе обойтись без науки, нежели быть *управляемыми* учеными. Первым следствием существования правительства ученых было бы установление недопустимости науки для народа. Это было бы неизбежно правительство аристократическое, ибо современные научные учреждения аристократичны. Умственная аристократия! С точки зрения практической она наиболее неумолимая и с точки зрения социальной наиболее надменная и оскорбительная,—такова была бы власть, установленная во имя науки. Подобный режим был бы способен парализовать жизнь и движение в обществе. Ученые всегда самодовольные, самовлюбленные и бессильные, захотели бы вмешиваться во все, и все источники жизни иссякли бы под их абстрактным и ученым дыханием.

Еще раз повторяю,—жизнь, а не наука творит жизнь; самопроизвольная деятельность самого народа одна может создать народную свободу, Без сомнения, было бы большим счастьем, если бы наука могла уже теперь освещать самопроизвольное шествие народа к его освобождению. Но лучше отсутствие света, чем ложный свет, скудно зажженный извне с очевидной целью сбить народ с правильного пути. Впрочем, совершенного отсутствия света народ не испытает.

Не напрасно он прошел длинный исторический путь и оплатил свои ошибки веками страшных страданий. Практический опыт этих болезненных испытаний представляет собою своего рода традиционную науку, которая в известных отношениях стоит теоретической науки. Наконец, часть учащейся молодежи, те из буржуазных учащихся, которые чувствуют достаточно ненависти ко лжи, к лицемерию, к несправедливости и к подлости буржуазии, чтобы найти в себе самих мужество повернуться к ней спиной, и достаточно энтузиазма, чтобы беззаветно отдаться справедливому и гуманному делу пролетариата, эта молодеж будет, как я уже сказал, братским руководителем народа; неся народу знания, которых ему еще не достает, она сделает, совершенно бесполезным правительство ученых.

рое более высокая интеллектуальность никогда не перестанет оказывать в своей среде: ни на иную награду кроме той, какую каждый избранный ум находит в удовлетворении своей благородной страсти (примеч. Бакунина).

Если народ должен остерегаться правительства ученых, он еще с большим основанием должен остерегаться правительства вдохновленных идеалистов. Чем более искренни эти верующие и поэты небес, тем более становятся они опасными. Научная абстракция, как я уже сказал, есть рациональная абстракция, верная в своей сущности, необходимая в жизни, теоретическим представлением, сознанием которой она является. Она может, она должна быть поглощена и переварена жизнью. Идеалистическая абстракция Бог есть раз'едающий яд, разрушающий и разлагающий жизнь, искажающий и убивающий ее. Гордость идеалиста, будучи отнюдь не личной, но божественной,—непобедима и неумолима. Он может, он должен умереть, но он никогда не уступит и до последнего издыхания он будет пытаться поработить мир под каблук своего Бога, как прусские лейтенанты, эти практические идеалисты Германии, хотели бы видеть мир раздавленным сапогом со шпорой своего короля. Это та же вера—ее об'екты даже не слишком различны—и тот же результат веры,—рабство.

В то же время это—победа самого грязного и самого грубого материализма: нет нужды доказывать это относительно Германии, ибо нужно бы поистине быть слепым, чтобы не видеть этого в настоящее время. Но я считаю еще необходимым доказать это относительно божественного идеализма.

Человек, как и все остальное в мире,—существо вполне материальное. Ум, способность мыслить, способность получать и отражать различные ощущения как внешние, так и внутрение, вспоминать о них, когда они миновали и воспроизводить их воображением, сравнивать и отличать их друг от друга, делать отвлечения общих определений и создавать тем самым общие или абстрактные понятия, наконец образовывать идеи, группируя и комбинируя понятия сообразно различным методам,—одним словом разум, единственный создатель всего нашего идеального мира, есть свойство животного мира и главным образом абсолютно материального мозгового механизма.

Мы знаем это вполне достоверно, благодаря индивидуальному опыту, который никогда не был опровергнут ни одним фактом, и который может быть проверен каждым человеком в любой момент его жизни. Все животные, не исключая самых низших видов, обладают в той или иной

мере интеллектом, и мы видим, что в ряду видов интеллект животных тем больше развивается, чем ближе организация данного вида приближается к человеческой. Но у одного лишь человека интеллект достигнет той силы абстракции, которая собственно и составляет мысль.

Универсальный опыт *), который в конечном счете есть единственное начало, источник всех наших знаний, доказывает нам, следовательно, *во первых*, что всякий интеллект всегда связан с каким нибудь животным телом, и *во вторых*, что интенсивность, сила этой животной функции зависит от относительного совершенства животного организма Этот второй результат универсального опыта приложим не только к различным видам животных; мы обнаруживаем его также у людей, интеллектуальная и моральная сила которых зависит слишком очевидно от большого или меньшего совершенства их организма, как расы, как нации, как класса и как индивида, чтобы была надобность долго останавливаться на этом **).

*) Следует различать универсальный *опыт*, на котором основывается всякая наука от универсальной *веры*, на которую идеалисты хотят опереть свои верования. Опыт есть реальное констатирование реальных фактов; вера есть лишь предположение фактов, которых никто не видел, и которые, следовательно, находятся в противоречии со всеобщим опытом всех (примеч. Бакунина).

**) Идеалисты, все те, кто верит в нематериальность и в бессмертие человеческой души, должны быть чрезвычайно смущены фактом интеллектуального различия, существующего между расами, народами и индивидами. Как об'яснить эту разницу? если только не допустить, что божественные частицы были распределены неравномерно? К несчастью, существует слишком значительное количество людей совершенно тупых, глупых до идиотизма. Не получили ли они при распределении частицу, одновременно и божественную, и тупую? Чтобы выйти из этого затруднения, идеалисты необходимо должны предположить, что все человеческие души одинаковы, но что тюрьмы, в которых они заключены, — человеческие тела не одинаковы и одни более способны, чем другие, служить органом для чистой интеллектуальности души. Одна душа таким образом имела бы в своем распоряжении органы весьма тонкие, другия органы слишком грубые. Но такими тонкостями идеализм не вправе пользоваться и не может пользоваться без того, чтобы не впасть в непоследовательность и самый грубый материализм. Ибо перед абсолютной нематериальностью души, все телесные различия исчезают, все телесное, материальное должно явиться безразлично, равно и абсолютно грубым. Пропасть, разделяющая душу от тела, абсолютно нематериальное от абсолютно материального, бесконечна; следовательно, все различия, не об'яснимые, и кроме того логически невозможные, которые могли бы существовать по другую сторону пропасти в материи, должны быть ничтожными и не существующими для души и не могут, не должны оказывать на нее никакого влияния. Одним словом, абсолютно нематериальное не может со-

С другой стороны, достоверно, что ни один человек никогда не видел, не мог видеть чистого духа, освобожденного от всякой материальной формы, существующего отдельно от какого бы то ни было животного тела. Но если никто не видел его, как люди могли дойти до того, чтобы поверить в его существование? Ибо факт этого верования несомненен и если и не универсален, как это утверждают идеалисты, то по меньшей мере весьма распространен. И как таковой, он вполне заслуживает нашего почтительного внимания, ибо всеобщее верование, каким бы глупым оно ни было, всегда оказывает слишком сильное влияние на человеческие судьбы, чтобы было позволительно игнорировать его или отвлекаться от него.

Факт этого исторического верования об'ясняется впрочем естественным и рациональным образом. На примере детей и подростков и даже многих людей, давно уже достигших совершеннолетия, видно, что человек может пользоваться своими умственными способностями раньше, чем он отдает себе отчет в том, каким образом он ими пользуется, и раньше, чем он отчетливо и ясно сознает, что он пользуется ими. В этот период бессознательной работы наивного или верующего ума, человек, преследуемый внешним миром и толкаемый внутренним возбудителем, именуемым жизнью с ее многочисленными потребностями, творит множество вымыслов, понятий и идей, по необходимости весьма несовершенных вначале и очень мало соответствующих действительности вещей и фактов, которую они стремятся выразить. И так как он не сознает еще работу своего собственного интеллекта, не знает еще, что это он сам создал и продолжает создавать эти вымыслы, понятия и идеи, и так как он не сознает сам, что они чисто *суб'ективного*, т. е. человеческого происхождения, он естественно

держаться быть заключено и еще меньше может быть выражено, в какой бы то ни было степени, абсолютно материальном. Из всех и грубых материалистических,—в том смысле, который присвоен этому слову идеалистами.—т. е. животных измышлений, которые были порождены невежеством и первобытной глупостью людей, мысль о нематериальной душе, заключенной в материальном теле, представляет собой разумеется самое грубое, самое нелепое измышление. и ничто лучше не доказывает все могущества древних предрассудков, оказывающих влияние даже на лучшие умы, как этот поистине плачевный факт, что люди, даже одаренные высоким интеллектом, могут еще говорить об этом в настоящее время. (Прим. Бакунина).

и необходимо расматривает их как существа *об'ективные*, реальные, совершенно независимые от него, существующие сами по себе и сами в себе.

Таким-то образом примитивные народы, медленно выходя из своей животной невинности, создали своих богов. Создав их, и не подозревая, что они сами были их единственными творцами, они стали поклоняться им. Рассматривая их, как реальные существа, бесконечно высшие, чем они сами, они их наделили всемогуществом, а себя признали их созданием, их рабами. По мере того, как человеческие идеи развивались дальше, боги, которые, как я это уже отметил, всегда были лишь фактическим идеальным поэтическим отражением или перевернутым изображением, также идеализировались. Сперва грубые фетиши, они мало по малу становились чистыми духами, существующими вне видимого мира и, наконец,—в результате долгого исторического развития, они слились во единое божественное существо, в чистый, вечный, абсолютный дух, творца и владыку миров.

В каждом развитии, истинном или ложном, реальном или воображаемом, как коллективном, так и индивидуальном, труден лишь первый шаг, первый акт. Раз этот шаг сделан, и первый акт совершен, дальнейшее развертывается естественно, как необходимое последствие. Что было трудно в историческом развитии этого ужасного религиозного безумия, продолжающего преследовать и давить нас, так это установить божественный мир, каким он представляется вне реального мира. Этот первый акт безумия, столь естественный с точки зрения физиологической и, следовательно необходимый в истории человечества, не совершился внезапно. Нужно было, я не знаю, сколько веков для развития и для проникновения этого верования в умственные привычки людей. Но раз установившись, оно делается всемогущим, как необходимо делается всемогущим всякое безумие, овладевающее человеческим мозгом. Возьмите сумасшедшего,—каков бы ни был пункт его помешательства, вы найдете, что смутная и навязчивая идея кажется ему самой естественной вещью в мире, и что напротив того, естественные и реальные вещи, находящиеся в противодействии с этой идеей, кажутся ему смешным и возмутительным безумием. А религия есть коллективное безумие, тем более могущественное, что оно—безумие традиционное, и что ее происхождение теряется в чрезвычайно отдаленной древности. В каче-

стве коллективного безумия она проникла во все детали как общественной, так и частной социальной жизни народов, она воплотилась в обществе, она сделалась, так сказать, коллективной душой и мыслью. Всякий человек окружен ею с рождения, он всасывает ее с молоком матери, поглощает со всем, что слышит и видит. Он так напичкан, отравлен, проникнут ею во всем своем существе, что позже, как бы могуч ни был его природный ум, он вынужден делать невероятные усилия, чтобы освободиться от нее, и все же никогда не достигает этого вполне. Наши современные идеалисты представляют собою одно доказательство этого, наши материалисты-доктринеры, немецкие коммунисты — другое. Они не сумели отделаться от религии государства.

Раз сверхестественный мир, мир божественный, прочно установился в традиционном воображении народов, развитие различных религиозных систем следовало своим естественным и логическим путем, всегда впрочем сообразно с современным и реальным развитием экономических и политических отношений, верным воспроизведением и божественной санкцией коих в мире религиозной фантазии оно являлось во все времена. Таким образом коллективное историческое безумие, называющееся религией, развилось от фетишизма, пройдя через все ступени политеизма до христианского монотеизма.

Второй и, разумеется, наиболее трудный после установления отдельного божественного мира шаг в развитии религиозных верований был как раз переход от политеизма к монотеизму, от религиозного материализма язычников к спиритуалистической вере христиан. Языческие боги были — и в этом заключается их основной характер — прежде всего боги исключительно национальные. Затем, так как они были многочисленны, они необходимо сохраняли более или менее материальный характер или скорее они были потому многочисленны, что были материальны, так как множественность есть одна из главных принадлежностей реального мира. Языческие боги не были еще собственно отрицанием реальных вещей: они были лишь их фантастическим преувеличением *).

*) Здесь в брошюре „Бог и Государство" вставлено содержание шести листков, не принадлежащих рукописи „*Кнуто-Германской Империи*", которые составляют часть другой рукописи, из которой они вырваны. Бакунин сделал на обороте одного из них следующую пометку: „*Религия*. 2. Самое недавнее". Я воспроизвожу здесь эти шесть листков, не относящиеся к данной рукописи. Дж. Г.

Чтобы установить на развалинах их столь многочисленных алтарей, алтарь единого и высшего Бога, Владыки Мира, нужно было следовательно сперва разрушить автономное существование различных наций, составлявших языческий или античный мир. Это и сделали в очень грубой форме Римляне, которые, завоевав наибольшую часть мира, известного древним, создали в некотором роде первый набросок, конечно, совершенно отрицательный и грубый,— человечества.

Бог, возвысившийся таким образом над всеми национальными различиями всех стран, как материальными, так и социальными, и бывший в некотором роде прямым отрицанием, необходимо должен был быть не материальным и отвлеченным. Но столь трудная вера в существование подобного существа не могла родиться сразу. Поэтому, как я указываю в приложении, эта вера была задолго подготовлена и развита греческой метафизикой, впервые установившей философским способом понятие о *божественной идее*, вечно творящей и вечно воспроизводимой видимым миром. Но Божество, познанное и сотворенное греческой философией было божеством безличным, ибо никакая метафизика, будучи последовательной и серьезной, не может возвыситься или скорее опуститься до идеи личного Бога. Нужно было, следовательно, найти Бога, который был бы одновременно единым и весьма лютым. Такой Бог нашелся в лице весьма грубого, весьма эгоистического, весьма жестокого Иеговы, национального бога Евреев. Но евреи, несмотря на этот исключительный национальный дух, который отличает их еще и теперь, стали фактически задолго до рождения Христа самым интернациональным народом в мире. Увлеченные частью в качестве пленников, но еще больше толкаемые той меркантильной страстью, которая составляет одну из главных черт их национального характера, они распространились по всем странам, неся повсюду культ своего Иеговы, которому они становились тем более верными, чем больше он покидал их.

В Александрии этот ужасный Бог евреев сделал личное знакомство с метафизическим Божеством Платона, уже сильно извращенным соприкосновением с Востоком и еще больше извратившимся впоследствии от знакомства с ним самим. Несмотря на свою национальную исключительность ревнивый и жестокий, он не мог бесконечно противиться прелестям этого идеального и безличного Божества греков.

Он соединился с ним, и от этого брака родился Бог спиритуалистический, но не остроумный.—Бог христиан. Известно что неоплатоники Александрии были главными творцами христианской теологии.

Но теология не составляет еще религию, как и исторические элементы не достаточны для создания истории. Я называю историческими элементами общую обстановку и условия какого-либо реального развития: например, здесь завоевание Римлян и встреча Бога Евреев с идеальным Божеством Греков. Для того, чтобы оплодотворить исторические элементы, чтобы заставить их произвести целую серию новых исторических превращений, нужен живой, самопроизвольный факт, без которого они смогли бы остаться еще много веков в первобытном состоянии, ничего не творя. В таком факте не было недостатка у христианства,—это была пропаганда, мученичество и смерть Иисуса Христа.

Мы почти ничего не знаем об этой великой и святой личности, ибо все, что сообщают о нем Евангелия, до такой степени противоречиво и носит такой сказочный характер, что мы едва можем уловить несколько жизненных и реальных черт. Достоверно лишь, что это был проповедник среди бедняков, друг и утешитель несчастных, невежественных, рабов и женщин, и что он был весьма любим этими последними. Он обещал вечную жизнь всем угнетенным и страдающим на земле, число коих неизмеримо. И, как и надо было ожидать, он был распят представителями оффициальной морали и общественного порядка того времени. Его ученики и ученики его учеников, благодаря завоеваниям римлян, уничтожившим национальные границы, могли разнести пропаганду Евангелия по всем странам, известным в те времена. Повсюду они были приняты с распростертыми об'ятиями рабами и женщинами, двумя общественными слоями древнего мира, наиболее угнетенными наиболее страждущими и, разумеется, наиболее невежественными. Если им и удалось создать нескольких последователей в среде привилегированных и образованных, то в значительной мере благодаря влиянию женщин. Самая усиленная пропаганда велась ими почти исключительно в народе, столь же несчастном, как и отупевшем вследствие рабства Это было первое пробуждение, первый осмысленный бунт пролетариата.

Великая честь христианства, его неоспоримая заслуга и весь секрет его беспримерного торжества, впрочем совер-

шенно законного, заключалась в том, что оно обратилось к страждущим массам, за которыми древний мир, образовавший интеллектуальную и политическую, узкую и жестокую аристократию, отрицал самые элементарные человеческие права. Иначе оно никогда не смогло бы распространиться. Учение, преподававшееся апостолами Христа при всей своей утешительности для несчастных на первый взгляд, было слишком возмутительно, слишком нелепо с точки зрения человеческого разума, чтобы просвещенные люди могли принять его. Понятен поэтому восторг апостола Павла, когда он говорит о *необ'яснимости веры* и о победе божественного безумия, отвергнутых могущественными и мудрыми века, но с тем большей страстностью принятых простецами, невеждами и нищими духом!

В самом деле, нужно было весьма глубокое недовольство жизнью, великая жажда сердца и почти абсолютная нищета ума, чтобы принять христианскую нелепость, самую отважную и самую чудовищную из всех религиозных нелепостей.

Христианство было не только отрицанием всех политических, социальных и религиозных институтов древности оно было абсолютным извращением здравого смысла, всего человеческого разума. Все, действительно существующее, реальный мир, рассматривались, как несуществующие. Продукт отвлеченной мысли человека, последняя наивысшая абстракция, до которой достиг человеческий ум за пределами всего существующего и вне идей времени и пространства, и которая, не имея уже больше ничего для преодоления, успокаивается на созерцании своей пустоты и своей абсолютной неподвижности (см. приложение),—эта абстракция, это ничто, (caput motuum) абсолютно лишенное всякого содержания, в полном смысле слова ничто, Бог провозглашается единственным реальным существом, вечным, всемогущим. Все реальное об'явлено ничем, и абсолютное ничто—всем. Тень стала телом и тело исчезает, как тень *).

*) Я прекрасно знаю, что в теологических и метафизических системах востока, и особенно в Индийских, включая сюда буддизм, уже встречается принцип уничтожения реального мира во имя идеала или абсолютной абстракции. Но он не носит еще этого характера добровольного и обдуманного отрицания, которым отличается христианство. Ибо когда эти системы были созданы, собственно человеческий мир, мир человеческого разума, человеческой науки, человеческой воли и человеческой свободы, не был еще развит в той степени, в какой он проявился впоследствии в греко-римской цивилизации (примеч. Бакунина).

Это было неслыханной дерзостью и нелепостью, настоящей необъяснимостью веры, торжество верящей глупости над умом—для масс. Для некоторых же это было торжествующей иронией усталого, развращенного и разочарованного в честных и серьезных поисках истины ума: потребностью одурманится и опроститься, потребностью, которая часто встречается у пресыщенных умов:

„Credo quia absurdum",

—т. е. „я не только верю нелепости, но именно и главным образом потому и верю, что это есть нелепость". Точно так же, как в наше время многие выдающиеся и просвещенные умы верят в животный магнетизм, в спиритизм, в вертящиеся столы и—зачем ходить так далеко?—верят еще в христианство, в идеализм и в Бога.

Вера античного пролетариата точно так же, как и современных масс, была более прочной, более простой, не столь „хорошего тона". Христианская пропаганда обращалась к его сердцу а не к уму; к его вечным стремлениям, к его потребностям, к его страданиям, к его рабству, а не к разуму, который еще дремал, и для которого следовательно логические противоречия, очевидность нелепости не могли существовать. Единственный вопрос, интересовавший его; был вопрос,—когда пробьет час обещенного освобождения? когда наступит царство Божие? Что же касается до теологических догм, он не заботился о них, ибо ничего в них не понимал. Пролетариат, обращенный в христианство, составлял его материальную силу, а не силу теоретической мысли.

Что же касается христианских догматов, они, как известно, были выработаны в целом роде теологических и литературных работ и на церковных соборах, главным образом, обращенными новоплатониками Востока. Греческий ум так низко пал, что уже в четвертом веке христианской эры—в эпоху первого собора мы встречаем идею личного Бога, чистого, вечного, абсолютного духа, творца и верховного владыки мира, существующего вне мира, единогласно принятою всеми отцами церкви. И как логическое последствие этой абсолютной нелепости, явилась естественно вера в нематериальность и в бессмертность человеческой души, помещенной и заключенной в смертном теле, но смертном лишь отчасти. Ибо в этом самом теле есть одна частица, которая будучи телесной бессмертна, как душа, и должна воскреснуть, как душа. Настолько было трудно даже отцам церкви представить себе дух вне всякой телесной формы!

Следует заметить, что вообще характер всякого теологического равно как и метафизического рассуждения требует, чтобы одну нелепость об'яснили другою.

Христианству посчастливилось встретить мир рабов. Другим счастьем для него было вторжение варваров. Варвары были прекрасные люди, исполненные естественной силы, и особенно вдохновленные и толкаемые громадной потребностью и громадной способностью к жизни; первостепенные разбойники, способные все разрушить и все поглотить, равно как и их преемники—современные немцы; менее систематичные и педантичные в своем разбое, чем эти последние, гораздо менее моральные, менее ученые, но за то более независимые и более гордые, способные к науке и неспособные к свободе, как современные немецкие буржуа. Но при всех этих крупных достоинствах, они были все же лишь варвары, то есть столь же равнодушны как и античные рабы, из коих многие впрочем принадлежали к их расе, ко всем вопросам теории и метафизики,—до такой степени, что раз их практическое отвращение к идеям было преодолено, то уже не трудно было обратить их теоретически в христианство.

В течение десяти веков подряд христианство, вооруженное всемогуществом Церкви и Государства, и без всякой конкуренции с чьей бы то ни было стороны, могло способствовать вырождению, порче и извращению умов Европы. У него не было конкурентов, ибо вне церкви не было никаких мыслителей, ни даже грамотных людей. Она одна мыслила, она одна говорила, писала, она одна обучала. Если в недрах ее возникали ереси, они всегда нападали лишь на практическое или теологические развития основных догматов, но не на самые догматы. Вера в Бога, чистого духа и творца мира, и вера в материальность души оставались неприкосновенными. Это двойное верование сделалось идейной основой всей восточной и западной цивилизации Европы, и оно проникло, оно воплотилось во все учреждения, во все детали жизни, как общественной, так и частной всех классов точно так же, как и масс.

Удивительно ли после этого, что это верование удержалось до нашего времени, и что оно продолжает оказывать свое разрушительное влияние даже на такие избранные умы, как Мадзини, Кине, Мишле и многие другие? Мы видели, что первое нападение на него было произведено возрождением свободного ума в пятнадцатом веке, возрождением,

породившим героев и мучеников, как Ванини, Джордано Бруно и Галилей. Хотя и заглушенная скоро гамом, шумом, и страстями религиозной Реформации, свободная мысль продолжала втихомолку свою невидимую работу, завещая наиболее благородным умам каждого нового поколения дело человеческого освобождения путем подтачивания и разрушения нелепостей, пока наконец во второй половине восемнадцатого века она не появилась вновь на белый свет, смело подняв знамя атеизма и материализма.

Можно было думать тогда, что человеческий ум освободится, наконец, от всех божественных наваждений. Ничуть не бывало. Божественная ложь, которой питалось человечество,—говоря лишь о христианском мире—в течение восемнадцати веков, еще раз показала себя более могущественной, чем человеческая истина. Не будучи более в состоянии пользоваться услугами черного племени, освященным Церковью вороньем — католическими или протестантскими священниками, потерявшими всякое доверие, она стала пользоваться светскими священниками, короткополыми лжецами и софистами, среди которых главная роль выпала на долю двух роковых людей: один был самый лживый ум, другой—самая доктринерская деспотическая воля прошлого (восемнадцатого) века: Жан-Жак Руссо и Робеспьер.

Первый очень типичен по своей узости и мрачной мелочности, по экзальтации, не имеющей другого предмета кроме его собственной личности, по холодному энтузиазму и по лицемерию, одновременно сентиментальному и непримиримому, по вынужденной лжи современного идеализма. Его можно рассматривать, как истинного творца современной реакции. На первый взгляд самый демократический писатель восемнадцатого века, он взращивал в себе беспощадный деспотизм государственного человека. Он был пророком доктринерского государства, первосвященником которого пытался сделать его верный ученик, Робеспьер. Услышав изречение Вольтера о том, что, если бы Бога не было, его следовало бы выдумать, Жан Жак Руссо изобрел Высшее Существо, абстрактного и бесплодного Бога деистов. И во имя этого Высшего Существа и лицемерной добродетели, требуемой этим Высшим Существом, Робеспьер гильотинировал сперва эбертистов, затем самого гения Революции — Дантона, в лице которого он убил Республику, подготовляя таким образом неизбежное с того момента торжество и дик-

татуру Наполеона I-го. После этой великой победы идеалистическая реакция стала искать и нашла менее фанатических, менее грозных слуг, приспособленных к сильно измельчавшему уровню буржуазии нашего века. Во Франции это были Шатобриан, Ламартин и... — нужно ли говорить? Почему нет? Нужно все говорить, раз это верно, — это был сам Виктор Гюго, демократ, республиканец, ныне почти социалист, и следом за ними целая меланхолическая и сантиментальная когорта тощих и бледных умов, которые образовали под управлением этих учителей школу современного романтизма. В Германии это были Шлегели, Тикки, Новалисы, Вернеры, Шеллинги и многие другие, имена которых не заслуживают быть упомянутыми.

Созданная этой школой литература была истинным царством привидений и призраков. Она не выносила дневного света и могла существовать лишь в сумерках. Она не выносила и грубого прикосновения масс: это была литература нежных, деликатных, избранных душ, стремящихся к своему небесному отечеству, и живущих на земле против воли. Политика, вопросы дня внушали ей ужас и презрение; но когда ей случалось говорить о них, она выказывала себя откровенно реакционной, держа руку церкви против дерзости свободомыслящих, стоя за королей против народов и за всех аристократов против грубой уличной черни. В общем, как я уже сказал, в этой школе преобладало почти полное равнодушие к политическим вопросам. В облаках, среди которых она витала, можно было различить лишь два реальных явления: быстрое развитие буржуазного материализма и безудержное разнуздание индивидуального тщеславия.

Чтобы понять эту литературу, нужно искать причины ее существования в том превращении, которому подвергся буржуазный класс после революции 1793 г.

Со времени Возрождения и Реформации до Великой Революции, буржуазия если не в Германии, то по крайней мере во Франции, в Швейцарии, в Англии, в Голландии была героична и представляла собою революционный гений Истории. Из недр ее вышло большинство свободных мыслителей пятнадцатого века, великие религиозные реформаторы двух последующих веков и апостолы освобождения человечества, — включая на этот раз и Германию, — минувшего, восемнадцатого века. Она одна, разумеется, опираясь на симпатии и на мощные руки народа, верившего ей, сделала

революцию 89 и 93 г. Она провозгласила низвержение королевской власти и Церкви, братство народов, права человека и гражданина. Таковы ее права на славу, — они бессмертны.

С тех пор в ней произошел раскол. Одна значительная часть ее, те, кто приобрели национальные имения, став богатыми, и опираясь на этот раз не на городской пролетариат, но на большинство крестьян Франции, которые равным образом сделались земельными собственниками, стремились к миру, к восстановлению общественного порядка, к созданию регулярного и сильного правительства. Она поэтому радостно приветствовала диктатуру первого Бонапарта и, хотя по прежнему вольтерьянская, ничего не имела против конкордата с папой и восстановления официальной церкви во Франции: *„Религия так необходима народу!“* Другими словами, эта часть буржуазии, насытившись сама, начала понимать, что для сохранения ее положения и приобретенных имений, необходимо обмануть неутоленный голод народа обещаниями манны небесной. Тогда то и начал свою проповедь Шатобриан *).

Наполеон пал. Реставрация вместе с законной монархией принесла назад во Францию могущество Церкви и родовой аристократии, которые вновь захватили если не всю, то по крайней мере значительную часть своей былой власти. Эта реакция снова толкнула буржуазию к революции. И вместе с революционным духом в ней проснулся свободный ум. Она отложила в сторону Шатобриана и снова начала читать Вольтера. Она не дошла до Дидро, — ее ослабевшие нервы не переносили столь крепкой духовной пищи. Вольтер, одновременно свободомыслящий и деист, напротив того, был ей по вкусу. Беранже и Поль-Луи Курье прекрасно выражали это новое направление. „Бог добрых людей“ и идеал буржуазного короля, одновременно и либерального и демократического, вырисовывающегося на фоне величественных и отныне безобидных гигантских побед Империи. —

*) Я считаю полезным напомнить здесь очень известный и вполне достоверный анекдот, бросающий очень ценный свет как на личный характер этого подогревателя католических верований, так и на религиозную искренность этой эпохи.

Шатобриан принес издателю произведение, направленное против веры. Издатель заметил ему, что атеизм вышел из моды, что читающая публика больше не интересуется им, и что напротив того есть спрос на сочинения религиозные. Шатобриан удалился, но через несколько месяцев принес ему свой: *„Гений Христианства“*. (Прим. Бакунина).

такова была в эту эпоху насущная духовная пища французской буржуазии.

Ламартин, побуждаемый тщеславно смешным желанием подняться на поэтические высоты великого английского поэта Байрона, начал было свои слабоумные гимны в честь Бога дворян и законной монархии. Но его песни раздавались лишь в аристократических салонах. Буржуазия не слушала их. Беранже был ее поэт, и Поль-Луи Курье—ее политический писатель.

Июльская Революция имела своим последствием облагорожение буржуазных вкусов. Известно, что всякий буржуа во Франции носит в себе неумирающий тип „мещанина в дворянстве“, который всегда проявляется, как только буржуазия приобретает немного богатства и власти. В 1830 г. богатая буржуазия окончательно вытеснила у власти родовое дворянство. Она естественно стремилась создать новую аристократию: аристократию капитала, конечно, прежде всего, но также и аристократию ума, аристократию хороших манер и тонких чувств. Буржуазия начала чувствовать себя религиозной.

Это не было с ее стороны простым обез'янничаньем аристократических нравов, это необходимо вытекало в то время из ее положения. Пролетариат оказал ей последнюю услугу, помогая ей еще раз свергнуть дворянство. Теперь буржуазия не имела больше нужды в его помощи, ибо она чувствовала себя прочно засевшей в тени июльского трона, и союз с народом, отныне бесполезный, начал тяготить ее. Нужно было поставить его на надлежащее место, что разумеется не могло не вызвать большого негодования в массах. Становилось необходимым сдержать их. Но во имя чего? Во имя открыто признанного интереса буржуазии? Это было бы слишком цинично. Чем более какой-либо интерес не справедлив, не гуманен, тем больше он нуждается в прикрытии какой-либо санкцией. А где взять ее, если не в религии, этой доброй покровительницы всех сытых и столь полезной утешительнице всех голодных? И больше, чем когда-либо, торжествующая буржуазия почувствовала, что религия абсолютно необходима для народа.

Получив все свои нетленные права на славу в оппозиции, как в религиозной и философской, так и в политической, в протестах и в революции, она сделалась, наконец, господствующим классом и благодаря этому защитницей и охранительницей государства, которое в свою очередь сде-

лалось правильным институтом для установления исключительной власти этого класса. Государство есть сила и прежде всего оно имеет за собой право силы, победоносную аргументацию ружья с наведенным курком. Но человек так странно устроен, что эта аргументация, как она ни кажется убедительной, не надолго убеждает его. Чтобы внушить ему почтение, ему абсолютно необходима какая-нибудь моральная санкция. Более того нужно, чтобы эта санкция была столь очевидна и проста, чтобы она могла убедить массы, которые будучи укрощены силой государства, должны быть приведены затем к моральному признанию его права.

Есть лишь два способа убедить массы в годности какого-либо общественного учреждения. Первый—единственно реальный, но в то же время и более трудный, ибо влечет за собою уничтожение государства, т.-е. уничтожение политически организованной эксплоатации большинства каким-либо меньшинством,—это было бы непосредственное и полное удовлетворение всех потребностей, всех человеческих стремлений народных масс. Это было бы равносильно полной ликвидации как политического, так и экономического существования класса буржуазии и, как я уже говорил, уничтожению государства. Это средство было бы без сомнения спасительно для масс, но гибельно для буржуазных интересов. Следовательно о нем говорить не приходится.

Поговорим же о другом средстве, которое, будучи гибельно лишь для народа, выгодно напротив для спасения буржуазных привилегий. Это другое средство может быть лишь религией. Это вечный мираж, увлекающий массы к изысканию божественных сокровищ, между тем как гораздо более скромный в своих желаниях господствующий класс довольствуется разделом между членами своего класса—впрочем весьма неравным и всегда давая больше тем, кто больше имеет, — разделом тленных благ земли и человеческого достояния народа, понимая под этим его политическую и социальную свободу.

Нет и не может существовать государства без религии. Возьмите самые свободные государства в мире, например Соединенные Штаты Америки или Швейцарскую конфедерацию, и посмотрите, какую важную роль Божественное Провидение, эта высшая санкция всех государств, играет во всех официальных речах.

Но всякий раз, как глава государства, будь то Вильгельм I, император кнуто-германский, или Грант, президент Великой Республики, говорят о Боге, будьте уверены, что он снова готовится стричь свое стадо—народ.

Французская буржуазия, либеральная, вольтерьянская и своим темпераментом толкаемая к позитивизму, чтобы не сказать к материализму,—исключительно узкому и грубому,—сделавшись в 1830 г. государственным классом, должна была неизбежно создать себе оффициальную религию. Это было не легко. Она не могла, не щадя себя, подставить свою шею под иго римского католицизма. Между нею и римскою Церковью лежала целая пропасть заполненная кровью и гневом, и как бы люди ни сделались практичны и умны, им никогда не удастся подавить в своей груди пыл исторически развившегося чувства. К тому же французская буржуазия поставила бы себя в смешное положение, если бы она вернулась к церкви, чтобы принять участие в набожных церемониях божественного культа,—основное условие почтенного и искреннего обращения. Многие пробовали это, но их героизм не имел иных результатов кроме бесплодного скандала. Наконец, возвращение к католицизму было невозможно по причине неразрешимого противоречия, существующего между неизменной политикой Рима и развитием экономических и политических интересов среднего класса.

В этом отношении, протестантство гораздо более удобно. Это по преимуществу религия буржуазии. Оно предоставляет как раз столько свободы, сколько ее необходимо для буржуазии, и оно нашло способ примирить небесные стремления с почтением, которого требуют себе земные интересы. Поэтому мы видим, что торговля и промышленность развились особенно в протестантских странах. Но для буржуазии Франции было невозможно стать протестантской. Чтобы перейти из одной религии в другую, — если только не делать этого из расчета, как иногда поступают евреи в России и Польше, которые крестятся по три, четыре раза, чтобы каждый раз получить новую плату, — чтобы переменить религию, нужно иметь крупицу религиозной веры. А в исключительно позитивном сердце французского буржуа совершенно нет места этой крупице. Он исповедует самое глубокое равнодушие ко всем вопросам, исключая прежде всего вопрос о своем кошельке и затем вопрос о своем социальном тщеславии. Он одинаково равнодушен как к про-

тестантству, так и к католицизму. С другой стороны французская буржуазия не могла бы принять протестантство без того, чтобы не встать в противоречие с обычной приверженностью к католичеству большинства французского народа, что явилось бы большой неосторожностью со стороны класса, который хотел править во Франции.

Оставалось, правда, одно средство,—это вернуться к гуманитарной и революционной религии восемнадцатого века. Но эта религия ведет слишком далеко. Буржуазия вынуждена была следовательно создать для санкционирования нового буржуазного государства, которое она только что основала, новую религию, которая могла бы без слишком большого скандала и без комизма быть открыто исповедуема всем буржуазным классом.

Так родился деизм доктринерской школы.

Другие лучше, чем смог бы я, изложили историю возникновения и развития этой школы, имевшей столь решительное—и я вполне могу сказать—гибельное влияние на политическое, интеллектуальное и моральное воспитание буржуазной молодежи во Франции. Основателями этой школы считают Бэнжамена Констана и Мадам де-Сталь, но истинным основателем ее был Ройе-Коллар; ее апостолами были г.г. Гизо, Кузен, Вильмен и многие другие; ее громогласно признанная цель—примирение Революции с Реакцией или, говоря языком школы,—принципа свободы с принципом власти, разумеется в пользу последней.

Это примирение означало в политике—обман народной свободы в пользу буржуазного господства, представленного монархическим и конституционным государством; в философии—сознательное подчинение свободного разума вечным принципам веры. Мы займемся здесь лишь этой последней частью.

Известно, что эта философия была главным образом выработана г. Кузэном, отцом французского эклектизма. Поверхностный говорун и педант; неповинный в какой бы то ни было оригинальной концепции, какой бы то ни было собственной мысли, но очень сильный в общих местах, которые он по ошибке считал здравым смыслом, этот знаменитый философ искусно приготовил для употребления учащейся молодежи Франции метафизическое блюдо на свой образец, потребление которого сделалось обязательным во всех школах Государства, подведомственных Университету, и обрекло много последующих поколений на несварение

мозгов *) Представьте себе философский винегрет, составленный из самых противоположных систем, смесь из творений отцов церкви, схоластов, Декарта и Паскаля, Канта, и шотландских психологов, все это нагромождено на божественные и глубокие идеи Платона и прикрыто покровом гегельянской имманентности, все это, конечно, сопровождается полным и высокомерным невежеством в естественных науках доказывающим, как „дважды два=*пять*“ **):

1. Существует личный Бог, душа бессмертна, она имеет произвольное решение, свободную волю. Из этого тройного положения естественно вытекает,—

2. *Индивидуальная мораль, абсолютная ответственность* каждого перед моральным законом, написанным Богом в совести каждого; *индивидуальная свобода*, предшествующая всякому обществу, но достигающая своего развития лишь в обществе.

3. Свобода индивида осуществляется прежде всего присвоением или взятием во владение земли. Право собственности есть необходимое последствие этой свободы.

4. Семья, основанная на наследственности этого права с одной стороны и с другой стороны на авторитете супруга и отца, есть учреждение в одно и тоже время и естественное и божественное, божественное в том смысле, что с начала истории оно санкционировалось религией и совестью полученной людьми от Бога, как ни несовершенна была эта совесть вначале.

5. Семья есть исторический зародыш Государства.

6. Историческое развитие этих вечных принципов, основы всякой человеческой цивилизации, осуществляется тройным прогрессивным движением:

а) Человеческого ума, который, будучи выделением и, так сказать, непрерывным откровением Бога в человеке, проявил себя сначала в целом ряде религий, основанных якобы на откровении, и затем после тщетных поисков себя

---

*) Здесь заканчивается брошюра „Бог и Государство“. Издатели после последней фразы говорят: „здесь рукопись прерывается“. Между тем, рукопись, которую они произвольно оборвали посредине страницы, совсем не прерывается и продолжается еще на 62 листках. Дж. Гил.

**) Начиная отсюда, до конца весь текст, состоящий из тринадцати нумерованных параграфов, излагает не мнение Бакунина, но доктрину Виктора Кузена и эклектической школы. Бакунин вставляет в это изложение несколько примечаний и несколько критических заметок, помещенных в скобках и напечатанных курсивом. Д. Г.

во множестве философских систем, наконец, нашел себя, признал и совершенно реализовал в эклектической системе г. Виктора Кузена.

б) человеческого труда, единственного производителя социальных богатств, без которых невозможна никакая цивилизация,

с) человеческой борьбы, как коллективной, так и индивидуальной, приводящей всегда к новым историческим, политическим и социальным перегруппировкам.

Все управляется Божественным Провидением.

7. История, рассматриваемая в своем целом, есть длительное проявление божественной мысли и воли. Бог, чистый дух, абсолютное существо и совершенное само в себе, пребывающее в своей вечности и в своей безграничной бесконечности, вне истории мира *), следит с отеческим любопытством и направляет невидимой рукой человеческое развитие. Желая абсолютно по своей божественной щедрости, чтобы люди, его создания, и, следовательно, фактически его рабы, были свободны, и понимая, что они совсем не будут таковыми, если он будет слишком часто и слишком настойчиво вмешиваться в их дела, что его всемогущество не только будет стеснять их, но даже уничтожило бы их **), он выявляет себя им возможно реже и лишь, когда это делается абсолютно необходимо для их спасения. Чаще всего он предоставляет их собственным усилиям и развитию того двойного света, одновременно божественного и человеческого который он зажег в их бессмертных душах: *совести* источнику всякой морали, и *уму*, источнику всякой истины. Но

*) Я извиняюсь перед читателем за нагромождение в таком небольшом количестве слов стольких грандиозных и чудовищных нелепостей. Это—логика доктринеров-идеалистов, а не моя. (Прим. Бакунина).

**) Неправда ли, замечательно, что во всех религиях встречается один и тот же вымысел, что ни один смертный не вынес бы вида Бога в его бессмертной славе, но пал бы уничтоженный, пораженный молнией испепеленный на месте: таким образом все Боги, снисходя к этой слабости человеческой, показываются людям всегда в какой-нибудь заимствованной форме, часто даже в форме какого-либо животного, но никогда не в своем истинном великолепии. Иегова показал лишь один раз, я не помню уж какому пророку, свою собственную задницу и произвел этим у него такое мозговое расстройство (здесь есть непереводимая игра слов) что бедный пророк весь остаток своей жизни блуждал по деревням. Очевидно, что во всех религиях есть как-бы смутный инстинкт той истины, что существование Бога несовместимо не только со свободой, достоинством и разумом человеческим, но и с самым существованием человека в мире (примеч. Бакунина)

когда он видит, что этот свет начинает угасать, когда люди заблудившиеся и слишком несовершенные, чтобы быть в состоянии итти всегда одни, попадают в безвыходный тупик, тогда он вмешивается. Но как? Не внешним и материальным чудом, которым переполнены суеверные предания народов, и которые невозможны, ибо они нарушили бы порядок и законы природы, установленные самим богом, (*Да смелость идеалистов простирается до отрицания чудес!*) но чудом исключительно духовным, внутренним (*которое с точки зрения разума, логики, здравого смысла не менее нелепо и невозможно, чем грубые чудеса, придуманные народными верованиями; эти последние по меньшей мере имеют достоинство поэтической наивности, между тем как так называемые внутренние чудеса, со всеми своими претензиями на рационализм, ни что иное, как глупости, искусно, хладнокровно, обдуманно притянутые за волосы*). чудом, не доступным чувствам.

Бог вмешивается тогда, вдохновляя своей божественной мыслью какую-нибудь избранную душу наименее развращенную, наименее заблуждающуюся и наиболее интеллигентную, чем другие. Он делает из нее своего пророка, своего Мессию. Тогда, вооруженный мыслью, что он непосредственно вдохновлен самим Богом (это вдохновление составляет впрочем одно из тех психологических чудес, которые нам преподносятся, и которые мы должны принять, как *исторически установленные*, но которые мы никогда не будем в состоянии понять; божественная мысль всегда соразмерна со степенью развития, характером и духом эпохи, и следовательно не проявляется никогда в своей полноте и в своем абсолютном совершенстве; Бог слишком умен и слишком близко к сердцу принимает свободу людей, чтобы предложить им пищу, которую они не в состоянии были бы переварить) сильный невидимой помощью Бога, и привлекая к себе все добромыслящие души с неотразимой силой, этот пророк, этот Мессия провозглашает божественную волю и основывает новую религию и новое законодательство.

Таким образом были установлены все религиозные культы и все государства. Отсюда следует, что как одни, так и другие, рассматриваемые в своей непременной сущности, за отделением всех деталей, внесенных как умственным, так и моральным несовершенством людей, в различные эпохи своего исторического развития, суть *установления божественные* и, как таковые, должны пользоваться абсо-

лютной властью. Таковы *Церковь* и *Государство* с их божественным, давящим, чудовищным, освящающим все авторитетом.

8. Церковь и Государство имеют, следовательно, двойной характер: божественный и человеческий одновременно. В качестве установлений божественных они неподвижны, и все их историческое развитие состоит лишь в более полном проявлении их собственной божественной природы или мысли Бога, которая оказывается осуществленной в их недрах, причем никогда новые откровения или вдохновения не вступают в противоречие с прежними откровениями и вдохновениями, ибо это явилось бы опровержением со стороны Бога самого себя. Но в качестве человеческих учреждений и Церковь и Государство, представленные людьми, и как таковые становящиеся солидарными со всеми страстями, со всеми пороками и со всеми глупостями человеческими, неизбежно обладают множеством недостатков и способны к крупным и спасительным последовательным изменениям, которые вызываются прогрессивным, моральным, интеллектуальным и материальным развитием наций, и это является серьезной основой истории.

9. В интеллектуальном и моральном развитии человечества, хотя и направляемом непрестанно вечным Провидением, форма религиозного откровения отнюдь не всегда необходима. Она была неизбежна в наиболее отдаленные времена истории, когда сознание, этот свет, одновременно человеческий и божественный, это постоянное откровение Бога в людях, не было еще достаточно развито. Но по мере того, как оно приходит в свой надлежащий вид, эта чрезвычайная необычная форма откровений стремится все больше и больше к исчезновению, уступая место более рациональным вдохновениям знаменитых философов, великих мыслителей, которые, будучи лучше, чем другие, вооружены этим божественным инструментом, пользуясь притом постоянно помощью Бога—хотя чаще всего невидимым даже для них самих образом, но иногда также ощущая в себе эту помощь (например, демон Сократа),—стремятся постигнуть усилиями своей собственной мысли тайны Бога,—тайны, которые уже были им отчасти раскрыты,—им, как и всем другим, всеми предыдущими откровениями. Таким образом на их долю остается лишь труд: развить и об'яснить их, давая им отныне, как санкцию и, как основание, уже не какое-либо чудесное предание, но самое логическое развитие человеческой мысли.

В этом лишь метафизики и отделяются от теологов. Вся разница между ними в форме, но не по существу. Предмет их тот же самый: это Бог, это вечные истины, божественные начала, религиозный политический и гражданский порядок, божественно установленный и навязанный людям абсолютной властью. Но теологи (*многие, по моему, более последовательные, чем метафизики*) претендуют, что люди могут возвыситься до сознания Бога лишь путем сверх'естественного откровения; между тем, как метафизики уверяют, что могут познать Бога и все вечные истины единственной силой мысли, которая есть—утверждают они постоянно,—откровение в одно и то же время и естественное (!) и постоянное—Бога в человеке.

(Для нас, разумеется, одни так же нелепы, как и другие, и мы предпочитаем даже в смысле нелепостей тех, которые откровенно нелепы, нежели тех, которые делают вид, будто относятся с почтением к человеческому разуму).

10. Из этой формальной разницы вышла великая историческая борьба метафизики с теологией. Эта борьба, бывшая с одной стороны законной и благодетельной, не преминула с другой стороны иметь отвратительные последствия. Она бесконечно содействовала развитию человеческого ума, освобождая его от ига слепой веры, под коим его хотели держать теологи, и давая ему признать свою собственную силу и свою способность возвыситься до божественных вещей,—условие человеческого достоинства и человеческой свободы. Но в то же время она ослабила в человеке одно ценное качество: богопочитание, чувство набожности. Человеческий ум слишком часто давал увлечь себя страстью борьбы и легкими победами, которые ему удавалось одержать над всегда более или менее глупыми защитниками слепой веры и устаревших форм религиозных учреждений, и это приводило его к отрицанию самых основ веры. И особенно в минувшем (восемнадцатом) веке он довел свое заблуждение вплоть до провозглашения себя материалистическим и атеистическим и до желания низвергнуть Церковь, забывая в своем горделивом безумии, что, осмеливаясь отрицать Церковь, он провозглашал свое собственное падение, свою полную материализацию, и что все его величие, его свобода, его сила заключаются именно в способности, свойственной ему, возвышаться до Бога, великого, единственного об'екта всех бессмертных мыслей; забывая, что эта Церковь, которую он безумно претендует низвергнуть, и

которая, конечно, в отношении ее нравов, обычаев и форм не стоящих на высоте века, оставляет многого желать, есть тем не менее божественное установление, основанное, как и государство, людьми боговдохновенными, и что еще и теперь она есть единственное возможное проявление божества для *невежественных масс*, неспособных возвыситься до Бога самопроизвольным развитием их спящего еще интеллекта.

Это заблуждение философского ума, как ни плачевны его результаты, было вероятно необходимо для пополнения его исторического воспитания. Вот, почему несомненно Бог потерпел его. Предупрежденный трагическим опытом минувшего века, философский ум знает теперь, что, разнуздывая свыше меры принцип критики и отрицания, он шествует к пропасти и придет к уничтожению; что этот принцип, совершенно законный и даже спасительный, когда он прилагается с умеренностью к преходящим и человеческим формам божественных вещей, делается мертвенным, ничтожным, бессильным, смешным, когда он нападает на Бога. Он знает, что есть вечные истины, которые выше всякого доверия и всякого доказательства, и которые не могут даже быть предметом сомнения, ибо с одной стороны они нам раскрыты мировым сознанием, единодушным верованием веков, и что с другой стороны они находятся в качестве *врожденных идей* в уме всякого человека и настолько свойственны нашему сознанию, что достаточно нам углубиться в самих себя, в наше интимное существо, чтобы они появились перед нами во всей своей простоте и во всей своей красоте. Эти основные истины, эти философские аксиомы суть: *существование Бога*, *бессмертие души*, *свободная воля*. Не может, не должно быть вопроса о том, чтобы оспаривать их реальность, ибо, как это столь прекрасно доказал Декарт, эта реальность нам дана, нам навязана тем самым фактом, что мы находим все эти идеи в сознании, которое наша мысль имеет о себе самой. Все, что нам остается сделать, это—понять их, развить их, согласовать в стройную систему. Таково единственное назначение философии.

И это назначение, наконец, совершенно осуществляется системой г. Виктора Кузена. Отныне мыслитель будет поклоняться Богу в духе и сможет даже освободить себя от всякого другого культа. Он имеет полное право совсем не посещать церковь, если только он не считает полезным итти туда ради своей жены, ради дочерей или *ради людей*. Но будет ли он посещать ее или нет, он всегда будет отно-

ситься с почтением к учреждению и даже к культу церкви какими бы отжившими ни казались ему ее формы: во-первых потому, что даже эти формы и ложные идеи, которые они отчасти вызывают в массах, вероятно еще необходимы для того состояния невежества, в каком находится сейчас народ; во-вторых потому, что, резко нападая на эти формы можно пошатнуть те верования, которые при довольно несчастном положении, в каком находится народ, составляют для него его единственное утешение и единственную моральную узду. Он должен, наконец, уважать их потому, что Бог, которого церковь и народ обожают под этими нелепыми формами, есть тот самый Бог, перед которым почтительно склоняется величавая глава доктринера-философа.

Эта утешительная и успокоительная мысль была прекрасно выражена одним из наиболее знаменитых представителей доктринерской церкви, самим господином Гизо, который в одной брошюре, опубликованной в 1845 или 1846 г., весьма радуется тому, что божественная истина так хорошо представлена во Франции в ее самых разнообразных формах: католическая церьков, говорит он в этой брошюре которой у меня нет под руками,—дает нам ее в форме авторитета, протестанская церковь—в форме свободного исследования и свободы совести, и университет — в форме чистой мысли. Нужно быть очень религиозным человеком, неправда ли?—чтобы осмелиться говорить и печатать подобные глупости, будучи в тоже время человеком умным и ученым.

11. Борьба, поставившая в опозицию метафизиков и теологов, возобновилась в мире интересов материальных и политики. Это—памятная борьба народной свободы против власти Государства. Эта власть, как и власт церкви в начале истории, была разумеется, деспотический. И этот деспотизм был спасителен, ибо народы вначале были слишком дики, слишком грубы, слишком мало зрелы для свободы— они еще так мало зрелы в настоящее время! — слишком мало еще способны склонить свою шею под иго божественного закона, как это делают теперь немцы, и добровольно подчиниться вечным условиям общественного порядка. Так как по природе человек ленив, необходимо было, чтобы внешняя сила толкала его на труд. Этим об'ясняется и узаконивается институт рабства в истории, — не в качестве вечного института, но как временная мера, продиктованная самим Богом, и ставшая необходимой по причине варвар-

ства и извращенности природы людей, как средство исторического воспитания.

Устанавливая семью, основанную на собственности *), и подчиненную высшему авторитету супруга и отца, Бог создал первый зародыш государства. Первое правительство необходимо было деспотическим и патриархальным. Но по мере того, как увеличивалось число свободных семей в нации, естественные связи, об‘единившие их сперва в единую семью под патриархальным управлением единого главы, ослабели, и эта примитивная организация должна была быть заменена более ученой и более сложной организацией —государством, В начале истории это было повсюду делом теократии. По мере того, как люди, выходя из дикого состояния, приходили к первым и разумеется весьма грубым понятиям Божества, стала образовываться каста более или менее вдохновенных посредников между небом и землей. Во имя Божества священники первых религиозных культов установили первые государства, первые политические и юридические организации общества. Отбросив второстепенные различия, во всех древних государствах можно найти четыре касты: касту священников, касту благородных воинов, составленную из всех членов мужского пола и главным образом из глав свободных семей; эти две первые касты составляют собственно религиозный, политический и юридический класс, аристократию государства; затем следует почти неорганизованная масса пришельцев, беженцев, клиентов и освобожденных рабов, лично свободных, но лишенных юридических прав, участвующих в национальном культе лишь косвенным образом и образующих все вместе собственно демократический элемент, народ, и наконец масса рабов, на которых даже смотрели не как на людей, а как на вещи, которые остались в таком же жалком положении до появления христианства.

Вся история древности, которая развертывалась по мере того, как все больше и больше развивался и распространялся интеллектуальный и моральный прогресс человечества, направлялась всегда невидимой рукой Бога, —

---

*) Философы-доктринеры, равно как и юристы и экономисты, предполагают всегда, что собственность создалась раньше государства, между тем как очевидно, что юридическая идея собственности, точно также как и право семейное, юридическая семья, исторически не могли родиться иначе, как в государстве, первым актом коего было неизбежно их установление (примеч. Бакунина).

который вмешивался не лично, разумеется, но посредством своих избранников и вдохновенных пророков, священников великих завоевателей, политических людей, философов и поэтов. Вся история представляется непрерывной и роковой борьбой между различными кастами и серией целого ряда побед, одержанных сперва аристократией над теократией, и позже—демократией над аристократией. Когда демократия была окончательно побеждена, так как была неспособна организовать государство, эту высшую цель всякого человеческого общества на земле—особенно организовать неизмеримое государство, которое победы Римлян основали на развалинах всех отдельных национальностей, и которое охватывало почти весь мир, известный древним,—она должна была уступить место военной императорской диктатуре Цезарей. Но так как мощь Цезарей была основана на разрушении всех национальных и частных организаций древнего общества и представляла следовательно разложение социального организма и сведение государства к чисто фактическому существованию, опирающемуся единственно на механическую концентрацию материальных сил, то цезаризм оказался фатально осужденным в силу своего принципа на собственное саморазрушение до такой степени, что когда варвары, бич Божий, посланный небом для обновления земли, пришли, им уже почти нечего было разрушать.

Древность завещала нам в области духовной: первые понятия Божества и метафизическую выработку божественной идеи, весьма серьезное начало позитивных наук, свое чудное искусство и свою бессмертную поэзию; в области земного: высшее установление государства с патриотизмом, этой страстью и добродетелью государства, юридическое право, рабство и бесконечные материальные богатства, созданные накоплением труда рабов и расточенные немного плохой экономией варваров, хотя тем не менее эти богатства подправленные, пополненные и возросшие с тех пор благодаря подчиненному и регламентированному труду средних веков, послужили первой основой к созданию современных капиталов.

Великая идея человечества осталась совершенно неведомой древнему миру. Смутно проводимая его философами, она была слишком противна цивилизации, основанной на рабстве, и на исключительно национальной организации государств, чтобы она могла быть принята им. Христос воз-

вестил ее миру, став таким образом освободителем рабов и теоретическим разрушителем древнего общества *).

Если был когда либо человек, непосредственно вдохновленный Богом, так это был он. Если есть абсолютная религия, так это его. Если удалить из Евангелий некоторые чудовищные несообразности, попавшие туда либо по глупости переписчиков, либо по невежеству учеников, мы находим в нем в популярном изложении всю божественную истину: Бог, чистый Дух, вечный отец, Создатель, верховный господин, провидение и справедливость мира; его единственный Сын, избранный человек, который по вдохновению Своего Святого Духа спасает мир; и этот божественный Дух, наконец, открытый, проявленный и указующий всем людям путь вечного спасения. Такова божественная Троица. Рядом с ней человек, одаренный бессмертной душой, свободный и, следовательно, ответственный, призванный к бесконечному совершенствованию. Наконец, братство всех людей *на небе* и их равенство (*т. е. их равное ничтожество*) перед Богом провозглашены громогласно перед всеми. Нужно быть слишком требовательным, чтобы желать большего

Позже эти истины были без сомнения неудачно приукрашены и извращены как по невежеству и по глупости, так и по усердию не по разуму, а то так и по своекорыстным побуждениям теологов до такой степени, что когда читаешь некоторые теологические трактаты, едва-едва узнаешь эти истины. Но специальная миссия истинной философии как раз и заключается в том, чтобы выделить их из этой человеческой нечистой амальгамы и восстановить их во всей их примитивной простоте, одновременно рациональной и божественной **).

---

*) Не следует забывать, что это говорит не Бакунин, а Виктор Кузен.—Дж. Г.

**) Вопиющая возмутительная нелепость всех метафизиков в том именно и заключается, что они всегда употребляют вместе эти два слова *рациональный* и *божественный*, словно эти понятия не уничтожают взаимно друг друга. Теологи поистине добросовестнее и гораздо последовательнее и глубже метафизиков. Они знают и осмеливаются громко сказать, что для того, чтобы Бог был реальным и непризрачным существом, необходимо, чтобы он был выше человеческого разума, единственного, который нам известен, и о котором мы имеем право говорить, и выше всего того, что мы называем естественными законами. Ибо если бы он был лишь этим разумом и этими законами, он был бы на самом деле лишь новым наименованием этого разума и этих законов, т. е. пустяком или лицемерием, а скорее всего и тем и другим сразу. Ска-

Христианское откровение служит базой новой цивилизации. Вновь начиная сначала, она взяла за основу и за исходный пункт организацию новой теократии, абсолютное царство Церкви. Это было фатально. Церковь, будучи видимым воплощением божественной истины и божественной воли, необходимо должна была управлять миром. Мы вновь

зать, что разум человека тот же самый, что и разум Бога, не служит ни к чему, кроме разве того, что ограниченный в человеке в Боге он абсолютен. Если божественный разум абсолютен, а наш ограничен, то разум Бога необходимо должен быть выше нашего, что может означать лишь следующее: божественный разум заключает в себе бесконечное количество вещей, которые наш бедный человеческий разум неспособен схватить, обнять и еще меньше понять, *так как эти вещи противоречат человеческой логике*, ибо, если они не противоречат ей, то ничто не может помешать нам понять их. Но тогда уже божественный разум не был бы выше человеческого. Можно было бы возразить, что эта разница и относительное превосходство существуют даже среди людей, ибо одни понимают известные вещи, которые другие не в состоянии схватить, из чего однако не вытекает, что разум, которым одарен один, отличен от того, каким обладают другие. Из этого вытекает лишь то, что он менее развит у одних и гораздо больше развит в силу образования или даже в силу естественного предрасположения у других. Однако никто не скажет, чтобы вещи, понимаемые самыми интеллигентными людьми, противоречили разуму менее интеллигентных. Почему же показалась бы возмутительной идеи существа, разум которого извечно завершил свое абсолютное развитие? Я отвечу: прежде всего потому что эти две идеи извечного завершения и развития взаимно исключают друг друга и особенно потому, что отношение вечно абсолютного разума Бога к вечно ограниченному разуму человека совсем иное, нежели отношение между более развитым человеческим, но все же ограниченным интеллектом, и другим интеллектом, менее развитым и следовательно, еще более ограниченным. Здесь на лицо лишь чисто относительное различие, количественная разница, „больше или меньше", что отнюдь не нарушает однородности. Низший человеческий интеллект, развиваясь дальше, может и должен достичь уровня высшего человеческого интеллекта. Расстояние, разделяющее один и другой, может быть или может казаться нам весьма значительным, но, имея свои пределы, оно может уменьшится и в конце концов уничтожиться. Не так обстоит дело между человеком и богом: они разделены неизмеримой бездной. Перед абсолютным, перед бесконечным величием все различия ограниченных величин исчезают и уничтожаются. То, что относительно самое большое, делается таким же малым, как и бесконечно малое. По сравнению с Богом самый великий человеческий гений так же глуп, как идиот. Следовательно различие существующее между разумом Бога и разумом человека, не является различием количественным, но различием качественным. Божественный разум качественно иной, нежели разум человеческий, и будучи бесконечно выше его, и являясь по отношению к нему законом, этот божественный разум подавляет и уничтожает его. Следовательно теологи в тысячу раз более правы, чем все метафизики, взятые вместе, когда они говорят, что, раз существование Бога допущено, нужно открыто провозгласить низвержение человеческого разума, и что то, что кажется бе-

находим также в этом новом христианском мире четыре класса, соответствующих кастам древности, но являющихся нам во всяком случае измененными благодаря веянью времени: класс священников, на этот раз не наследственных, но рекрутируемых изо всех классов безразлично; наследственный класс феодальных сеньеров, воинов; класс городской буржуазии, соответствующий свободному народу древности, и, наконец, класс рабов, крестьян, облагаемых податями и заваленных работой без пощады, замещающих рабов с тем огромным различием, что их уже не рассматривают, как вещи, но как человеческие существа, одаренные бессмертной душой, что не мешает сеньерам обращаться с ними так, как если бы они совсем не имели души.

Кроме того, мы находим в христианском обществе новый факт: неизбежное отныне отделение церкви от государства. Это отделение было естественным следствием международного всемирно человеческого принципа христианства (*нечеловеческого, но божественного*). Пока культы и Боги были исключительно национальные, они могли, они даже должны были сливаться с национальным государством. Но как только Церковь приняла этот характер всеобщности, то стало необходимым в виду того, что осуществление всемирного государства было материально невозможным, (*и однако ничто не должно бы было быть невозможным для Бога*), чтобы Церковь терпела вне себя существование и организацию национальных государств, подчиненных лишь ее высшему руководству, и не имеющих право существовать иначе как с ее санкцией, не имеющих все же отдельное от нее существование. Отсюда вытекала исторически необходимая

зумием самым великим гениям человечества, является в силу этого величайшей мудростью перед Богом:

Credo quia absurdum. (Верю потому, что это нелепо).

Кто не имеет мужества произнести эти столь умные, столь энергичные, столь логичные слова Тертулиана, тот должен отказаться говорить о Боге.

Бог теологов есть Существо зловредное, враг человечества, по словам нашего покойного друга Прудона. Но это есть Существо серьезное. Между тем, как Бог метафизиков, бесплотный, без естественных свойств, без воли, без действия и особенно без крупицы логики, —есть тень тени, призрак, как бы воскрешенный современными идеалистами специально для того, чтобы прикрыть своей завесой мерзости буржуазного материализма и безнадежную нищету своей собственной мысли

Ничто не показывает в такой степени бессилие, лицемерие и подлость современного интеллекта буржуазии, как принятие с таким трогательным единодушием этого Бога метафизики. (Примеч. Бакунина)

борьба между двумя одинаково божественными учреждениями, Церковью и Государством: Церковь не желала признать никакого права за Государством иначе как при условии, чтобы это последнее преклонилось перед превосходством Церкви, а Государство заявляло напротив того, что раз оно установлено самим Богом точно также как и Церковь, то оно не должно зависеть ни от кого кроме Бога.

В этой борьбе Государств против Церкви концентрация могущества Государства, представленного королевством, опиралось главным образом на народные массы более или менее порабощенные феодальными сеньерами, частью на деревенских рабов, но больше всего на городское население, на нарождающуюся буржуазию и на рабочие корпорации; между тем как Церковь находила себе весьма заинтересованных союзников в лице феодальных сеньеров, естественных врагов централистского могущества королевства и сторонников разложения национального единства и разложения Государства. Из этой тройной борьбы, одновременно религиозной, политической и социальной, родилось протестантство.

Торжество протестантства имело следствием не только отделение от церкви и от государства, но еще во многих странах, даже католических, и действительное поглощение церкви государством, и, следовательно, образование абсолютных монархических государств, зарождение современного деспотизма. Таков был характер, принятый со второй половины семнадцатого века всеми монархиями на Европейском континенте.

По мере того, как отдельная власть церкви и феодальная независимость сеньоров поглотилась высшим правом современного государства, крепостничество, как коллективное так и индивидуальное, народных классов, включая сюда буржуазию, рабочие корпорации и крестьян, необходимо должно было также исчезнуть, уступая постепенно место установлению гражданской свободы всех граждан, или скорее всех подданных государства *(другими словами, более могущественный, но не менее грубый и следовательно более систематически давящий деспотизм государства приходит на смену деспотизму сеньеров и церкви)*.

Церковь и феодальное дворянство, поглощенные государством сделались его двумя привиллегированными сословиями. Церковь все более и более стремилась превратиться в ценное орудие правительства, направленное уже больше

не против государств, но действовавшие внутри и к исключительной выгоде государства. Они получили отныне от государства важную миссию управлять совестью, возвышать умы и быть полицией душ не столько для вящшей славы Божией, сколько для блага государства. Дворянство, после того как оно потеряло свою политическую независимость, сделалось прихлебателем монархии и, покровительствуемое ею, овладело монополией государственной службы, не зная отныне другого закона кроме удовольствия монарха: церковь и аристократия стали отныне угнетать народы не от своего собственного имени, но во имя и благодаря всемогуществу государства *).

---

*) Как раз в таком положении находятся сейчас церковь и дворянство в Германии. Одинаково ошибаются как те, кто говорит о Германии как о феодальной стране, так и те, кто говорит о ней, как о современном государстве: она не феодальна, ни вполне современна. Она больше не феодальная страна, ибо ее дворянство давно потеряло всякую силу, отдельную от государства, и даже самое воспоминание о своей былой политической независимости. Последние остатки феодализма, представляемые многочисленными государями Германии, членами бывшей германской конфедерации, скоро исчезнут.

Пруссия сделалась очень могущественной и имеет хороший аппетит. Бедного Ганноверского короля ей хватило на завтрак, все остальные вместе послужат ей на обед. Что касается немецкого дворянства, оно только и жаждет, чтобы быть порабощенным, и чтобы прислуживать. И видя, как оно справляется с этим делом, можно подумать, что никогда ничем другим оно и не занималось. Лакеи богатого дома, княжеского дома, если угодно,— вот их призвание. Они обладают духом подчиненности, преданности, нахальством, рвением. Благодаря этим прекрасным способностям они правят всей Германией. Возьмите Готский альманах и посмотрите, какой процент буржуа среди всей бесчисленной толпы военных и гражданских чиновников, которые представляют собою силу и честь Германии? Едва один на двадцать или на тридцать.

Значит, если современное государство означает государство, управляемое буржуазией, то Германия совсем не современное государство. В отношении правительства она живет еще в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Она современна лишь с точки зрения экономической. В этом отношении в Германии, как и везде, господствует буржуазный капитал. Немецкое дворянство не представляет больше экономической системы, отличной от экономической системы буржуазии. Его феодальные отношения с землей и с земледельцами, сильно нарушенные памятными реформами барона Штейна в Пруссии, были в громадной доле сметены политической агитацией 1830 г. и особенно революционной бурей 1848 г. Они сохранились, я думаю, лишь в Мекленбурге, если по крайней мере не считать нескольких майоратов, которые еще держались в нескольких крупных дворянских семьях, и которые не замедлят исчезнуть под всемогущим нашествием буржуазного капитала. Против этого всемогущества ни граф Бисмарк со всей своей сатанинской ловкостью, ни генерал Мольтке со всей своей стратегической наукой, ни даже грозный импера-

Наряду с этим политическим угнетением низших классов имелось еще другое иго, тяжело давившее на развитие их материального благополучия. Государство действительно освободило индивидов и коммуны от сеньоральной зависимости, но оно отнюдь не освободило народный труд, дважды порабощенный: в деревнях привиллегиями, все еще связанными с собственностью, а также рабством, навязанным земледельцам; и в городах — корпоративной организацией ремесл; эти привилегии, рабство и организация, вышедшие еще из средних веков, препятствовали окончательному освобождению буржуазного класса.

Буржуазия переносила это двойное — политическое и экономическое—иго с возрастающим нетерпением. Она сделалась богатой и интеллигентной, много богаче и много интеллигентнее, чем дворянство, управлявшее ею и презиравшее ее. Сильная этими двумя преимуществами и поддерживаемая народом, буржуазия чувствовала себя призванной сделаться всем, а она была еще ничем. Отсюда вытекла революция.

Эта революция была подготовлена великой литературой восемнадцатого столетия, посредством которой философский,

---

тов со своей благородной армией не смогут устоять, ни даже бороться. Политика, которую они поведут, будет наверное благоприятна развитию буржуазных интересов и современной экономии. Только эта политика будет проводиться не буржуазией, но почти исключительно дворянством. Перефразируя известное изречение, можно сказать:

Все для буржуа, ничего через них.

Ибо не следует вводить себя в заблуждение всеми этими немецкими парламентами, как отдельных государств, так и федеральных, где буржуазия имеет право голоса. Нужно обладать педантичной наивностью немецких буржуа, чтобы принять в серьез эту детскую игру. Это то же, что их академии, в которых им позволяется болтать, лишь бы они голосовали то, что им прикажут; и они никогда не упускают вотировать желательным образом. Но когда им приходит в голову выказать себя упорствующими, тогда над ними смеются, как это делал граф Бисмарк в продолжении целого ряда годов по отношению к Прусскому Парламенту. Оскорблять буржуазию — это такое удовольствие, в котором прусский юнкер никогда не может отказать себе.

Итак, чтобы резюмировать все сказанное, современное положение Германии сводится к следующему: это—абсолютное деспотическое государство, такое, каким оно сформировалось после тридцатилетней войны; оно пользуется для угнетения масс почти исключительно дворянством и духовенством и продолжает плевать на буржуазию, обращаться с нею пренебрежительно, оскорблять ее, но тем не менее делать ее дело. Вот, почему немецкие буржуа, которые впрочем привыкли к оскорблениям, весьма остерегутся когда либо взбунтоваться против него. (Примечание Бакунина).

политический и экономический протест, об'единившись в одном общем, мощном, властном требовании, смело выставленном во имя человеческого ума, создали революционное общественное мнение, орудие разрушения несравненно более чудовищное, чем все новые патронные ружья и современные усовершенствованные пушки. Этой новой силе ничто не могло противостоять. Революция свершилась, поглотив одновременно дворянские привиллегии, алтари и троны.

12. Это столь тесное соединение практических требований с теоретическим движением умов восемнадцатого века установило громадное различие между революционными стремлениями этой эпохи и стремлениями Англии семнадцатого века. Оно без сомнения много способствовало расширению могущества революции, накладывая на нее международный, всемирный характер. Но в то же время оно вовлекло политическое движение революции в ошибки, которых теория не сумела избежать. Точно также, как философское отрицание вступило на ложный путь, нападая на Бога и об'являя себя материалистическим и атеистическим, точно также политическое и социальное отрицание, введенное в заблуждение той же разрушительной страстью, напало на главные и первичные основы всякого общества, на государство, на семью и на собственность, осмелившись громогласно об'явить себя анархическим и социалистическим; стоит вспомнить эбертистов и Бабефа, и позже Прудона, и все социалистические и революционные партии. Революция убила себя своими собственными руками, и снова разнузданное и беспорядочное торжество демократии неизбежно привело ее к торжеству военной диктатуры.

Эта диктатура не могла быть продолжительной, ибо общество не было ни дезорганизовано, ни мертво, как это было с ним в эпоху установления империи Цезарей. Жестокие переживания 1789 и 1793 г.г. лишь утомили и временно истощили его, но не уничтожили. Лишенная всякой инициативы при уравнительном и полном славы деспотизме Наполеона I-го, буржуазия воспользовалась этим вынужденным досугом, чтобы сосредоточиться и лучше развить в своем уме плодотворные семена свободы, которые оставило в ней движение предыдущего века. Наученная жестоким опытом неудавшейся революции, она отказалась от преувеличенных принципов 1793 г. и, возвратившись к принципам 1789 г., которые были верным и точным выражением народной воли, а не одной какой либо секты или партии, и которые дейст-

вительно заключали в себе все условия умной, рассудительной, практической свободы *(то есть исключительно буржуазной свободы, которая была вся на пользу буржуазии и в ущерб народу, ибо в устах буржуа слово „практичный“ никогда не означает чего либо иного)*,—она сделала их еще более *практичными*, отметая все, слишком расплывчатое, что ввела в них философия восемнадцатого века *(то есть слишком демократическое, слишком народное и слишком гуманно-широкое)*, и изменяя их (*то есть суживая их*) сообразно с нуждами и новыми условиями эпохи. Таким образом она окончательно создала *теорию конституционного права*, первыми апостолами которого были Монтескье, Неккер, Мирабо, Мунье, Дюпор, Барнав и много других, а г-жа де Сталь и Бенжамен Констан сделались его новыми пропагандистами при Империи.

Когда законная монархия, возвращенная во Франции падением Наполеона, хотела реставрировать старый режим, она встретила обдуманную и могущественную оппозицию буржуазного класса, который, зная отныне, чего он хочет, защищал от нее шаг за шагом бессмертные и законные победы революции,—независимость гражданского общества от смешных претензий церкви, подпавшей вновь под власть иезуитов; уничтожение всех дворянских привиллегий; равенство всех перед законом; наконец, право народа не быть облагаемым налогами без его собственного согласия, право участвовать в управлении и законодательстве страны и контролировать действия власти посредством правильного представительства, изходящего из свободного голосования всех активных граждан страны, то есть владеющих собственностью и образованных. Легитимная монархия открыто не желала принять эти основные условия нового права и—пала.

13. Июльская монархия осуществила, наконец, во всей ее полноте истинную систему современной свободы. Без сомнения, в ней есть несовершенства; но это—несовершенства которые естественно связаны со всеми человеческими учреждениями. Те, которые имеются в конституционном июльском законе, должны быть приписаны главным образом недостатку понимания и практического навыка свободы не только в массах, но в самой буржуазии и отчасти, может быть, могут также политическим недостатком людей, которые приняли власть в свои руки.

Эти несовершенства, следовательно, преходящи, они должны исчезнуть под влиянием прогрессивной цивилизации

Но сама по себе система совершенна: она дает практическое разрешение всех вопросов, всех законных стремлений, всех действительных потребностей человеческого общества.

Она преклоняется прежде всего перед Богом, причиной всякого существования, источником всякой истины и невидимого вдохновления добрых мыслей, но, обожая его духом, она не хочет позволить, чтобы неверные и фанатические представители его незыблемой власти угнетали и дурно обращались с людьми во имя его. Она открывает путем официально преподоваемой во всех школах государства философии, всем интеллигентным и благонамеренным гражданам способы возвысить их ум и сердце до понимания вечных истин без того, чтобы отныне была необходимость прибегать к вмешательству священников. Дипломированные государством профессора заняли место священников, и университет сделался в некотором роде церковью интеллигенции. Но эта система проповедует в то же время просвещенное почтение ко всем традиционно установленным церквам, признавая их полезными и необходимыми вследствие невежества народных масс. Уважая свободу совести, эта система покровительствует так же всем старинным культам при условии однако, чтобы их принципы, их мораль и их практика не были в противоречии с принципами, моралью и практикой государства.

Эта система признает, как основу и *абсолютное* условие человеческой свободы, достоинства и нравственности, *доктрину свободной воли*, то есть абсолютную самопроизвольность решений индивидуальной воли и ответственность каждого за его действия, откуда вытекает для общества право и обязанность наказывать.

Эта система признает *частную* и *наследственную собственность* и *семью*, как основы и действительные условия свободы, достоинства и нравственности людей. Она уважает право собственности каждого, не ставя ему иных ограничений кроме равного права других, ни иных ограничений кроме тех, которые продиктованы соображениями общественной пользы, представляемой государством. Собственность по этой системе есть действительно естественное право, предшествовавшее государству; но оно становится юридическим правом лишь постольку, поскольку оно санкционировано и гарантировано, как таковое, государством.

Следовательно справедливо, чтобы государство, гарантируя собственнику помощь со стороны всех, ставило ему

условия, диктуемые интересами всех. Но эти ограничения или эти условия должны быть такого свойства, чтобы, всегда изменяя, поскольку это становится безусловно необходимо, но не больше естественное право собственника в его различных формах и проявлениях, они никогда не могли задеть сущность его. Ибо государство не есть отрицание, но наоборот освящение и юридическая организация всех естественных прав, откуда следует, что если бы оно нападало на них в самой сущности в основе их, то оно разрушало бы само себя. *(Оно всегда гарантирует то, что находит: одним—их богатство,—другим их бедность; одним—свободу, основанную на собственности, другим—рабство неизбежное следствие их нищеты; и оно заставляет нищих вечно работать и в случае надобности умирать для увеличения и сохранения богатства, которое является причиной их нищеты и их рабства. Такова истинная природа и истинная миссия государства).*

Тоже самое и с семьей, которая вообще неразрывно связана как принципиально, так и фактически с частной и наследственной собственностью. Власть супруга и отца составляет естественное право. Общество, представляемое государством, юридически санкционирует эту власть. Но в то же время оно ставит некоторые границы естественной власти того и другого, чтобы спасти другое естественное право—право *) индивидуальной свободы подчиненных членов семьи, то есть матери и детей. И именно ставя ей эти границы, оно освящает ее, превращает ее в юридическое право и дает власти мужа и отца силу закона. Эта система рассматривает юридическую семью, основанную на этом двойном авторитете и на юридически наследственной собственности, как существенную основу всякой нравственности, всякой человеческой цивилизации и государства.

Она рассматривает государство, как божественное учреждение, в том смысле, что оно было основано и последовательно развивалось с начала истории, благодаря божественному об'ективному разуму, который присущ человечеству, рассматриваемому как одно целое, исторические индивиды

*) На обороте листка 273, на котором начинаются дальнейшие строки Бакунин написал (13 марта 1871 г.), посылая мне этот листок и двенадцать следующих листков: „13 страниц, с 273 по 285. Я еду завтра во Флоренцию, вернусь через 10 дней. Адресуй письма по прежнему в Локарно.—Когда ты уезжаешь? Жду известий от тебя. Обнимаю Швица (Швицгебеля) Твой М. Б".

коего, содействовавшие его основанию или его развитию были лишь божественно вдохновенными истолкователями этого божественного разума. Она рассматривает государство как неизбежную, постоянную, единственную, безусловную форму коллективного существования людей, то есть общества; как высшее условие всякой цивилизации, всякого человеческого прогресса, справедливости, свободы, общего благополучия; одним словом, как единственное возможное осуществление человечности. *(И однако очевидно, как я это докажу позже, что государство есть вопиющее отрицание человечности).*

Представляя общественный разум, общественное благо и всеобщее право, высший орган как материального, так и интеллектуального и морального коллективного развития общества, государство должно быть вооружено по отношению ко всем индивидам большим авторитетом и чудовищной силой. Но из самого принципа государства вытекает, что этот авторитет, эта сила не могут стремится к разрушению естественного права людей без того, чтобы не разрушить свой об'ект и свою основу. Если государство видоизменяет и ограничивает отчасти естественную свободу каждого индивида, так это лишь для того, чтобы еще больше ее усилить гарантией того коллективного могущества, единственным законным представителем которого оно является а также лишь для того, чтобы санкционировать ее, цивилизовать, одним словом превратить ее в юридическую свободу. Естественная свобода,—свобода диких; юридическая свобода одна достойна цивилизованных людей. Государство следовательно, есть в некотором роде церковь современной цивилизации, и адвокаты—ее священники. Откуда следует с очевидностью, что лучшее правительство есть правительство адвокатов.

В политической и юридической свободе, организация которой составляет собственно цель государства, об'единяются два основных принципа всякого человеческого общества,—принципы, которые кажутся абсолютно противоположными вплоть до взаимного исключения друг друга, и которые однако настолько неотделимы один от другого, что один не мог бы существовать без другого: принцип *власти* и принцип *свободы*. (*Да, они так хорошо об'единены в государстве, что первый всегда разрушает второй, и что там, где он оставляет его существовать частично в пользу какого либо меньшинства, это уже больше не свобода, а*

привиллегия. Государство, следовательно превращает то, что принято называть естественной свободой людей, в рабство для всех и в привиллегию для некоторых).

С самого начала истории, на протяжении долгих веков принцип власти господствовал почти исключительно так, что принцип свободы в течение очень долгого времени не мог проявиться иначе, чем в виде бунта, а этот бунт в конце восемнадцатого века был доведен до полного отрицания принципа власти, что имело своим последствием, как известно, воскрешение этого последнего, его снова исключительное господство при Империи и более умеренное при реставрированной легитимной монархии, пока он не был снова побежден последним бунтом принципа свободы. Но на этот раз свобода, сделавшись сама более умеренной и более благоразумной, (*то есть буржуазной и только буржуазной*) не пыталась больше произвести невозможного разрушения спасительной и столь необходимой власти Европы. Напротив того, она об'единилась с ней, чтобы основать Июльскую монархию, Хартию—истину *).

Государство' как божественное установление, существует милостью Бога. Но монархия не является таковой же. Это именно и было крупной ошибкой Реставрации—желание безусловно отожествить монархическую форму и личность монарха с государством. Июльская монархия была не божественным установлением, но утилитарным; она была предпочтена Республике, потому что она была найдена более соответствующей нравам Франции, и потому что она стала необходимой главным образом благодаря страшному невежеству французского народа. Поэтому самый прекрасный титул славы, на который мог претендовать выдвинутый революцией 1830 года король Луи-Филипп был: *„Лучшая из Республик“*, титул равноценный почти титулу: *„Король-Джентельмен“* (король—галантный человек) данный позднее королю Виктору Эммануилу в Италии.

Божественное право, коллективное право существует значит в государстве, какова бы ни была его форма, монархическая или республиканская. Его два составных принципа—принцип власти и принцип свободы, каждый имея отдельную организацию и взаимно пополняя друг друга, образуют в государстве одно органическое целое.

*) Намек на слова Луи-Филиппа при его восшествии на престол: „Хартией отныне будет Истина“. Дж. Г.

Власть и сила государства, сила столь необходимая, как для поддержания права и общественного порядка внутри, так и для защиты страны против внешних врагов, представлены „этой великолепной централизацией“ (*подлинные слова г. Тьера, осуществленные ныне г. Гамбеттой; они выражают интимнейшее убеждение, чтобы не сказать — культ—всех доктринерных, авторитарных либералов и громадного большинства республиканцев Франции*), этой прекрасной политической, военной, административной, юридической, финансовой, полицейской, университетской и даже религиозной машиной государства, бюрократически организованной, основанной революцией на развалинах прежнего партикуляризма провинций, и образующей всю силу современной власти.

Политическая свобода представлена в государстве законадательным собранием, избранным свободным голосованием страны и регулярно созываемым. Это собрание имеет своей задачей не только регулировать расходы и участвовать, как единственный законный представитель национального суверенитета, в законодательстве, но оно постоянно контролирует еще во имя этого самого суверенитета все действия правительства и оказывает общее положительное влияние на все дела и решения власти, как во внутренней, так и внешней политике страны. Различные способы организации этого права зависят меньше от принципа, чем от характера местных и преходящих обстоятельств, нравов, степени образования, политических условий и обычаев страны. Логически говоря, в унитарной и централизованной стране, какова, напр. Франция, должна бы существовать лишь одна Палата. Первая Палата, или Верхняя Палата имеет основание существовать лишь в стране, где как в Англии, дворянская аристократия составляет еще юридически и социально отдельный класс, или же в странах, как Соединенные Штаты и Швейцария, где провинции (кантоны, штаты) сохранили в самых недрах политических единиц автономное существование; но не в такой стране, как Франция, где все граждане объявлены равными перед законом, и где все провинциальные автономии растворились в централизации, не допускающей ни малейшей тени независимости и различий, ни коллективных ни индивидуальных. Создание Палаты пэров, назначаемых пожизненно королем, объясняется следовательно в конституции 1830 г. лишь, как мера предосторожности, которую нация сочла нужным принять против себя самое, как бла-

неразумно поставленную ею преграду ее собственному, слишком революционному темпераменту. (*Из этого во всяком случае следует то, что эта Верхняя Палата,— Палата пэров, Сенат—не имея никакого органического основания для своего существования, никаких корней в стране, которую она никаким образом не представляет; не имея, следовательно, никакой силы, ни материальной, ни моральной, которая была бы свойственна ей, существует всегда лишь ради удовольствия исполнительной власти и лишь как отделение ее. Это очень полезное орудие для того, чтобы парализовать, часто чтобы уничтожить силу собственно народной Палаты, уничтожить так называемое представительство национальной свободы; чтобы осуществить деспотизм в конституционных формах, как мы это видели в Пруссии, и как мы еще долго будем видеть в Германии. Но она может оказать правительству эту услугу лишь постольку поскольку это последнее сильно само по себе: она ничего ни прибавляет к его силе будучи сама сильна лишь властью, как бюрократия. Поэтому всякий раз, как вспыхивает революция, она исчезает, как тень*).

Точно так же обстоит дело и с другим, столь важным вопросом об ограниченном или всеобщем избирательном праве. Логически—можно было бы требовать права выборов для всех взрослых граждан, и нет сомнения, что чем больше образование и довольство распространяется в массах (*что к счастью для эксплоататоров никогда не сможет произойти пока будет длиться правление привилегированных классов или вообще, пока будут существовать государства*), тем больше это право должно также распространяться. Но в практических вопросах и особенно в тех, которые имеют целью хорошее правительство и процветание страны, соображения формального права должны уступить место общественному интересу.

Очевидно, что невежественные массы слишком легко подчиняются зловредному влиянию шарлатанов (*как например влиянию священников и крупных собственников в деревнях и адвокатов и государственных чиновников в городах*). Они не имеют никакой материальной возможности распознать характер, истинные мысли и действительные намерения индивидов (*политиканов всех окрасок*), которые предлагают себя для выборов; мысль и воля масс почти всегда суть мысли и воля тех, кто находит какой либо интерес

внушить им то или другое *). С другой стороны пролетариат, составляющий, однако, большую часть населения, не обладает ничем, ему нечего терять, он не имеет никакого интереса для соблюдения общественного порядка и следовательно не может избрать хороших депутатов. Он всегда предпочитает демагогов людям, стоящим за сохранение существующего. Чтобы быть действительным и серьезным, представительство страны должно быть верным выражением ее мысли и ее воли. Но эта мысль и эта воля осознается лишь интеллигентными и владеющими классами страны, которые одни способны обдумать, охватить своей мыслью все интересы государства и одни живо интересуются поддержанием законов и общественного порядка. (*Это совершенно справедливо, и никто не может сомневаться в политической способности буржуазного класса. Несомненно, что буржуазия знает гораздо лучше, чем пролетариат, чего она хочет и чего она должна желать, и это—по двум причинам: во первых по тому, что она гораздо образованнее последнего, потому что она обладает большим досугом и гораздо большими средствами распознавания людей, которых она избирает; и во вторых, это даже главнейшая причина — потому, что ее цели и стремления отнюдь не новы и не так бесконечно обширны, как цели пролетариата; напротив, они совершенно известны и вполне определенны как историей, так и всеми условиями ее настоящего положения; эти*

---

*) Признаюсь, что я разделяю это мнение либеральных доктринеров, которое также является и мнением многих умеренных республиканцев. Я лишь делаю из него выводы, диаметрально противоположные тем, которые делают те и другие. Я заключаю о необходимости уничтожения государства, как учреждения, неизбежно угнетающего народ, даже когда оно основывается на всеобщем избирательном праве. Для меня ясно, что всеобщее избирательное право, столь проповедуемое г. Гамбеттой —и не даром, ибо г. Гамбетта последний вдохновенный и верующий представитель адвокатской и буржуазной политики,—что всеобщее избирательное право, говорю я, есть одновременно самое широкое и самое утонченное проявление политического шарлатанизма государства: опасное орудие, без сомнения требующее большого искусства со стороны тех, кто им пользуется, но которое, если умеют хорошо им пользоваться, есть наивернейшее средство заставить массы принимать участие в созидании их собственной тюрьмы. Наполеон III основал все свое могущество на всеобщем избирательном праве, которое ни на минуту не обмануло его доверия. Бисмарк сделал его основой своей кнуто-германской империи. Я вернусь более основательно к этому вопросу, который составляет, по моему, главный и решительный пункт, отделяющий социалистов-революционеров не только от радикальных республиканцев, но и от всех школ доктринерных и авторитарных социалистов (примеч. Бакунина).

цели сводятся к одному — удержанию ее политического и экономического господства. Это поставлено столь ясно, что очень легко знать и догадаться, который из кандидатов, ищущих избрания буржуазией, будет, и который не будет способен хорошо служить ей. Следовательно — несомненно, или почти несомненно, что буржуазия будет всегда представлена сообразно с самыми интимными желаниями ее сердца. Но что не менее несомненно, так это то, что это представительство, прекрасное с точки зрения буржуазии, будет отвратительно с точки зрения народных интересов. Так как буржуазные интересы абсолютно противоположены интересам рабочих масс, то несомненно, что буржуазный парламент никогда не сможет сделать ничего другого кроме как узаконить рабство народа и вотировать все меры, которые будут иметь целью увековечить его нищету и его невежество. Нужно быть по истине очень наивным, чтобы верить, что буржуазный парламент сможет добровольно проводить какие либо мероприятия для интеллектуального, материального и политического освобождения народа. Видели ли когда либо в истории, чтобы политический орган, привилегированный класс покончил бы с собой самоубийством, пожертвовал бы малейшими своими интересами и своими так называемыми правами из любви к справедливости и человечеству? Я, кажется, уже отметил, что даже знаменитая ночь 4-го августа, когда дворянство Франции великодушно принесло свои привилегии в жертву на алтарь отечества, была ничем иным, как вынужденным и запоздалым следствием стихийного востания крестьян, которые повсюду жгли пергаменты и замки своих сеньоров и господ. Нет, классы никогда не приносили себя в жертву и никогда этого не сделают, ибо это противно их природе, их смыслу существования, а ничто не делается против природы и против смысла.

Следовательно совершенным безумцем был бы тот, кто ждал бы от какого либо привилегированного законодательного собрания мер и законов в пользу народа).

Из всего вышесказанного вытекает, что совершенно законно, разумно, необходимо ограничить на практике право избрания. Но лучшее средство ограничить его—это установить *избирательный ценз*, род политической „подвижной скалы“ *), двойная выгода которой такова: во первых, она

*) „Подвижной скалой“ в Англии называли систему, прилагаемую к таксе на зерно, уровень которой подвимался или опускался сообразно с обилием или недостатком урожая. Дж. Г.

спасает курию избирателей от грубого давления невежественных масс; и в то же время она не позволяет ей превратиться в аристократическое и замкнутое учреждение, держа ее постоянно открытым для всех, кто благодаря своему уму, энергичному труду и способности делать сбережения сумел приобрести движимую или недвижимую собственность, платя определенную цифру прямых налогов. Эта система представляет, правда, собою то неудобство, что исключает из числа избирателей довольно значительное количество способных людей. Чтобы смягчить это неудобство, предложили принять в число избирателей также и способных людей. Но помимо трудности определить действительно способных, если только не признавать способными всех обладающих гимназическими дипломами, есть еще более важное соображение заставляющее противиться этому допущению так называемых „способных". Чтобы быть хорошим избирателем, недостаточно быть интеллигентным, образованным, даже иметь крупный талант, нужно еще быть существом *нравственным*. Но как и чем доказывается нравственность человека? *Его способностью приобретать собственность, когда он рожден бедным, или сохранять ее и увеличивать, когда он имел счастье получить наследство* *).

---

*) Вот интимная сущность совести и всей буржуазной морали. Мне нет нужды отмечать, насколько она противна основным принципам христианства, которое, презирая блага всего мира (это Евангелие избрало себе профессией презирать блага мира, а сами проповедники Евангелия вовсе не презирают их), запрещает собирать сокровища на земле, потому что, говорит оно, „где ваши сокровища, там и ваши сердца", и которое рекомендует подражать птицам небесным, которые не сеют, не жнут, а сыты бывают. Я всегда восхищался чудесной способностью протестантов читать эти евангельские слова на своем собственном языке, прекрасно обделывать свои дела и тем не менее смотреть на себя, как на весьма искренних христиан. Но это в сторону. Исследуйте внимательно, во всех их малейших деталях социальные отношения как общественного характера, так и частные, исследуйте речи и акты буржуазии всех стран, вы найдете там глубоко, наивно включенное это основное убеждение, что *честный человек, нравственный человек это тот, кто умеет приобрести, сохранить и умножить собственность, и что только собственник действительно достоин уважения*. В Англии, чтобы иметь право называться *джентльменом*, нужно два условия: посещать церковь, и главное быть собственником. В Английском языке есть очень энергичное, очень живописное, очень наивное выражение: *этот человек стоит столько-то*, то есть пять, десять, сто тысяч фунтов стерлингов. То, что англичане (и американцы) говорят во своей глупой наивности, все буржуа в мире думают. И бесконечное большинство буржуазного класса, в Европе, в Америке, в Австралии, во всех европейских колониях, рассеянных в мире, настолько считает это справедливым, что даже не догадывается о

Нравственность основывается на семье; но семья своей основой и действительным условием имеет собственность; следовательно, очевидно, что собственность должна быть

глубокой безнравственности и бесчеловечности этой мысли. Эта наивность в испорченности является весьма серьезным извинением, говорящим в пользу буржуазии. Это—коллективная испорченность, навязываемая, как безусловный моральный закон, всем индивидам, принадлежащим к этому классу, а этот класс ныне включает в себя всех: священников, дворян, артистов, литераторов, ученых, чиновников, офицеров, артистическую и литературную богему, промышленников и приказчиков, даже рабочих, стремящихся сделаться буржуа, всех тех, одним словом, кто хочет *индивидуально* составить себе положение, и кто, устав быть, вместе с миллионами эксплоатируемых, наковальней, хочет в свою очередь стать молотом,—словом, весь мир, за исключением пролетариата. Эта мысль, будучи столь универсальною, есть настоящая великая безнравственная сила, которую вы найдете в глубине всех политических и социальных актов буржуазии, и которая действует тем более зловредно, развращающе, что она рассматривается, как мера и основа всякой нравственности. Она извиняет, она об'ясняет и в некотором роде узаконивает бешенство буржуазии и все жестокие преступления, совершенные буржуазией в июне 1848 г. против пролетариата. Если бы, защищая привилегии собственности против рабочих социалистов, они думали, что защищают только свои интересы, они без сомнения выказали бы не меньше бешенства, но не нашли бы в себе той энергии, того мужества, той беспощадной страстности и того единодушия ярости, которые помогли им победить в 1848 г. Они нашли в себе всю эту силу потому, что были серьезно, глубоко убеждены, что, защищая свои интересы, они защищают в то же время священные основы нравственности; потому что очень серьезно, может быть даже более серьезно, чем сами они знают, *собственность есть весь их Бог*, их единственный Бог, уже давно заместивший в их сердцах небесного бога христиан. И как некогда эти последние, они способны перенести из-за него мучения и смерть. Беспощадная и отчаянная война, которую они вели и будут вести для защиты собственности, есть, следовательно, не только война из-за выгоды, из-за интересов, это в полном смысле слова—священная война. А известно, на какую ярость, на какие жестокости способны священные войны *). Собственность есть Бог; этот Бог уже имеет свою теологию (которая называется политикой государств и юридическим правом) и по необходимости также свою мораль; самое же исчерпывающее содержание этой морали точно выражается этими словами: „Этот человек стоит столько-то“.

Собственность-Бог имеет также свою метафизику. Это—наука буржуазных экономистов. Как и всякая метафизика, она является своего рода сумерками, сделкой между ложью и истиной, всегда в пользу первой. Она стремится дать лжи видимость истины и она приводит истину ко лжи. Политическая экономия стремится освятить собственность трудом и представить ее, как реализацию, как плод труда. Если это удастся ей сделать, она спасает собственность и буржуазный мир. Ибо труд священ и все, что основано на труде, хорошо, справедливо, нравственно.

---

*) Это было написано накануне Коммуны. Дж. Г.

рассматриваема, как условие и доказательство моральной ценности человека. Интеллигентный, энергичный, честный человек никогда не преминет приобрести эту собственность, являющуюся необходимым социальным условием *респектабельности* гражданина и человека, проявлением его мужественной силы, видимым признаком его способностей также, как и его честных склонностей и намерений. Исключение способных людей — не собственников есть, следовательно, не только факт, но в принципе даже совершенно законная мера. Это возбудитель для людей, действительно честных и способных, и справедливое наказание для тех, кто, будучи способен приобрести собственность, по небрежности или презрению не делает этого.

гуманно, законно. Только нужно обладать слишком солидной верой, чтобы принять эту доктрину. Ибо мы видим бесконечное большинство работников, лишенных всякой собственности. И — более того, мы знаем, из признания самих экономистов и из их собственных научных доказательств, что в современной экономической организации, страстными защитниками которой они являются, *массы никогда не смогут обладать собственностью*; их труд, следовательно, не освобождает и не облагораживает их, ибо, несмотря на этот труд, они осуждены вечно оставаться вне собственности, то-есть—вне морали и человечества. С другой стороны, мы видим, что самые богатые собственники, следовательно наиболее достойные, наиболее гуманные, наиболее нравственные и наиболее уважаемые граждане, — как раз те, кто меньше всего или совсем не работает. На это ответят, что ныне невозможно остаться богатым, сохранить и еще меньше увеличить свое состояние, не работая. Хорошо, не сговоримся же: есть труд и труд. Есть труд производительный и есть труд эксплоататорский. Первый, это труд пролетариата. Второй—труд собственников, как собственников. Тот, кто хвалится своими землями, обработанными чужими руками, эксплоатирует труд других; тот, кто хвалится своими капиталами—промышленными или торговыми, эксплоатирует труд других. Банки, обогащающиеся тысячами кредитных сделок, биржевики, выигрывающие на Бирже, акционеры, получающие крупные дивиденды, не пошевелив пальцем; Наполеон III, сделавшийся таким богатым собственником, который сделал богатыми своих ставленников; король Вильгельм I, который, гордый своими победами, готовится отобрать миллиарды у несчастной Франции, и который уже обогатился и обогатил своих солдат посредством грабежа; все эти люди — труженики. Но какие труженики, Боже мой! Придорожные эксплоататоры, труженики проезжих дорог. И еще обыкновенных воров и разбойников скорее можно назвать тружениками, ибо, по крайней мере, чтобы обогатиться, они работают своими собственными руками.

Для тех, кто не хочет быть слепым, очевидно что производительная работа создает богатство и дает работнику нищету; и что только непроизводительный эксплоатирующий труд дает собственность. Но, так как собственность есть нравственность, ясно, что *нравственность как ее понимают буржуа, состоит в эксплоатации чужого труда*. (Примеч. Бакунина)

Эта небрежность, это презрение могут иметь источником лишь леность, низость или непоследовательность характера, неустойчивость ума. Такие индивиды весьма опасны. Чем способнее они, тем больше их следует осуждать и строже наказывать. Ибо они вносят дезорганизацию и деморализацию в общество. *(Пилат сделал ошибку, повесив Иисуса Христа за его религиозные и политические мнения. Он должен был бы посадить его в тюрьму, как бездельника, лентяя и бродягу).*

Люди, одаренные способностями, которые не составляют себе состояние*), могут сделаться без сомнения очень опасными демагогами, но никогда не будут полезными гражданами.

Так устроенное Государство есть первое условие или основа и—во все времена—высшая цель всей человеческой цивилизации. Оно есть наивысшее его выражение *на сей земле.* Вне государства невозможна никакая цивилизация или очеловечение людей, рассматриваемых, как с точки зрения индивидуальной, как отдельных свободных людей, так и с точки зрения коллективной, как человеческое общество. Каждый обязан отдать себя Государству, ибо Государство есть высшее условие человечности всех и каждого. Государство навязывает себя, следовательно, каждому, как единственный представитель добра, спасения, справедливости всех. Оно ограничивает свободу каждого во имя свободы всех, индивидуальные интересы каждого во имя коллективного интереса целого общества**) . . . .

. . . .

(Здесь прерывается *текст* рукописи Бакунина).

---

*) Этот листок (285) последний, посланный мне Бакуниным (18 марта 1871 г.). Он сохранил у себя листок 286 и несколько следующих написанных уже до его от'езда во Флоренцию. По своем возвращении он продолжал редактировать примечание, начатое на листке 286, и продолжил его до 340 листка, на котором рукопись обрывается. Дж. Г.

**) Во имя этой фикции, называемой то коллективным интересом, то коллективным правом или коллективной волей и свободой, якобинские абсолютисты, революционеры школы Жан-Жака Руссо и Робеспьера, провозглашают угрожающую и бесчеловечную теорию абсолютного права Государства, между тем как монархические абсолютисты основывают ее с гораздо большей логической последовательностью на милости Божией. Либеральные доктринеры, по крайней мере те из них, которые принимают в серьез либеральные теории, исходя из принципа индивидуальной свободы, выставляют себя сперва, как известно, противниками свободы

Во имя этой фикции, называемой то коллективным интересом, то коллективным правом или коллективной волей и свободой, якобинские абсолютисты, революционеры школы Жан-Жака Руссо и Робеспьера, провозглашают угрожающую и бесчеловечную теорию абсолютного права государства, между тем как монархические абсолютисты основывают ее с гораздо большей логической последовательностью на милости Божией. Либеральные доктринеры, по крайней мере те из них, которые принимают в серьез либеральные теории, исходя из принципа индивидуальной свободы, выставляют себя сперва, как известно, противниками свободы Государства. Они первые сказали, что правительство, то есть чиновный мир, так или иначе организованный и облеченный специальной миссией отправлять деятельность государства, является необходимым *злом*, и что вся цивилизация в том и заключается, чтобы все больше и больше уменьшать его аттрибуты и права. Однако мы видим, что на практике всякий раз, как серьезно заходит речь о государстве, доктринерные либералы выказывают себя не меньшими фанатиками абсолютного права государства, чем монархические абсолютисты и якобинцы.

Их поклонение государству во что бы то ни стало, столь противоречащее, (по крайней мере внешне) их либеральным заявлениям, об'ясняется двояко: во первых *практически*— интересами их класса, ибо громадное большинство доктринерных либералов принадлежит к буржуазии. Этот столь многочисленный класс не желал бы ничего лучшего, как присвоить самому себе право, или точнее, привилегию самого полного безвластия. Вся его социальная экономия, истинная основа его политического существования, не имеет как известно, другого закона, как это безвластие, выраженное ставшими столь знаменитыми словами: „Laissez faire et laissez aller“ (предоставьте всему итти, как оно идет). Но буржуазия любит безвластие лишь в применении к себе самой и лишь при условии, чтобы массы „слишком неве-

---

Государства. Они первые сказали, что правительство, то есть чиновный мир... (Примеч. Бакунина)

Продолжение этого примечания, которое растягивается с 287 до 340 и последнего листка рукописи, было напечано в 1895 году доктором Максом Неттлау в 1-м томе Собрания Сочинений Бакунина, стр. 264, строка 7-ая, до стр. 326, под заглавием, заимствованных у Реклю и Кафиеро: „Бог и Государство“, но его следует переместить сюда. Дж. Гильом.

Дальше это примечание приводится полностью. (Примеч. издателей)

жественные, чтобы пользоваться им без злоупотребления", оставались подчиненными самой строгой дисциплине государства. Ибо, если бы массы, устав работать на других, восстали, все политическое и социальное существование буржуазии рухнуло бы. Поэтому мы видим повсюду и всегда что, когда массы работников начинают волноваться, самые ярые буржуазные либералы немедленно делаются самыми от'явленными сторонниками всемогущества государства. А так как возбуждение народных масс делается ныне все возрастающей и хронической болезнью, мы видим, что буржуазные либералы даже в наиболее свободных странах все больше и больше обращаются в поклонников абсолютной власти.

На ряду с этой практической причиной есть другая, чисто *теоретическая,* которая также заставляет самых искренних либералов постоянно возвращаться к культу государства. Они являются и называют себя либералами потому, что берут индивидуальную свободу за основу и исходную точку своей теории и как раз потому, что их исходная точка или эта основа таковы, они по роковой последовательности должны притти к признанию абсолютного права государства.

Индивидуальная свобода, по их словам, отнюдь не есть создание и исторический продукт общества. Они утверждают что она предшествует всякому обществу, и что человек, рождаясь, приносит ее вместе со своей бессмертной душой как божественный дар. Отсюда вытекает, что человек представляет из себя нечто, вполне самобытное, целостное и в некотором роде абсолютное существо лишь вне общества. Будучи сам свободен до и вне общества, он неизбежно составляет это общество актом своей воли и при помощи своего рода договора—инстинктивного и молчаливого или обдуманного и формального. Словом, по этой теории не индивиды создаются обществом, а напротив,—индивиды создают общество, толкаемые некоторой внешней необходимостью, как труд и война.

Ясно, что по этой теории общество в собственном смысле слова не существует. Естественное человеческое общество, действительная исходная точка всякой человеческой цивилизации, единственная среда, в которой может в действительности родиться и развиться личность и свобода людей, этой теории совершенно чужды. С одной стороны она признает лишь индивидов, существующих сами по себе

и свободных сами по себе, с другой стороны это обусловленное общество, произвольно созданное индивидами и основанное на формальном или молчаливом договоре, есть государство. (Они очень хорошо знают, что никакое историческое государство никогда не имело основой своей договор, и что все они были основаны насилием, завоеванием Но эта фикция свободного договора, основы государства, им необходима, и они ею пользуются без излишних церемоний).

Человеческие индивиды, масса которых условно соединенная образует государство, представляются по этой теории — существами совершенно особенными и преисполненными противоречий. Одаренные бессмертной душой и свободой или свободной волей, присущей им, они суть с одной стороны существа бесконечные, абсолютные и, как таковые вполне законченные, самодовлеющие, довольствующиеся сами собою и не имеющие нужды больше ни в ком, даже в Боге, ибо будучи бессмертны и бесконечны, они сами — боги. С другой стороны, они — существа весьма грубо-материальные, слабые, несовершенные, ограниченные и абсолютно зависящие от внешней природы, которая окружает, поддерживает и, в конце концов, рано или поздно уносит их. Рассматриваемые с первой точки зрения, они столь мало нуждаются в обществе, что это последнее является скорее помехой полноты их естества, их совершенной свободе. Поэтому мы видели с начала христианства святых и стойких людей, которые, глубоко восприняв идею бессмертия и спасения их душ, порвали все социальные связи и, избегая всяких человеческих отношений, искали в уединении совершенства, добродетели, Бога. Они вполне основательно, с логической последовательностью рассматривали общество, как условие всех добродетелей. Если они и покидали иногда свое сединение, то не потому, чтобы чувствовали потребность в этом, но из великодушия, из христианского милосердия к людям, которые, продолжая развращаться в социальной среде, нуждались в их советах, в их молитвах и руководстве. Всегда это было для спасения других, никогда для собственного спасения и самоусовершенствования. Напротив того, они рисковали погубить свои души, вступая в общество, из которого бежали с ужасом, как из основы всяческой испорченности. Окончив свое святое дело, они немедленно возвращались в пустыню, чтобы снова совершенствовать себя там беспрерывным созерцанием своего индивиду-

ального существа, своей одинокой души, пред лицом одного Бога.

Этому примеру должны следовать все, кто верит еще ныне в бессмертие души, во врожденную свободу или в свободную волю, если только они желают спасти свои души и достойно подготовить их к вечной жизни. Повторяю еще раз, что святые отшельники, достигавшие путем уединения совершенного оглупения, были вполне логичны. Раз душа бессмертна, то есть бесконечна по своей сущности, свободна и сама по себе, она должна быть самодовлеющей. Лишь существа преходящие, ограниченные и законченные могут взаимно пополнять друг друга; бесконечное не пополняется. Встречаясь с другим существом, которое не есть оно само, оно чувствует себя, напротив того, ограниченным; поэтому оно должно избегать его, уклоняться ото всего, что не оно само. В крайнем случае, как я уже сказал, бессмертная душа должна быть в состоянии обойтись даже без Бога. Бесконечное в самом себе существо не может признать рядом с собою другое существо, которое было бы равным ему, и еще менее —существо выше его самого. Всякое существо, которое было бы столь же бесконечно, как оно само и которое было бы не им самим, ограничивало бы его и следовательно делало бы его существом предельным и конечным.

Признавая столь же бесконечное существо, как она сама, вне себя самое, бессмертная душа необходимо признавала бы себя, как существо конечное. Ибо бесконечное в действительности является таковым, лишь охватывая все и ничего не оставляя вне себя самого. Понятно, что бесконечное существо не может, не должно признавать бесконечное существо, которое было бы выше его самого. Бесконечность не допускает ничего относительного, ничего сравнимого; эти слова: высшая бесконечность и нисшая бесконечность ведут следовательно к нелепости. Бог именно и есть нелепость. Теология, которая обладает привилегией нелепости, и которая верит в вещи именно потому, что эти вещи нелепы, ставит над бетсмертными и следовательно бесконечными человеческими душами высшую абсолютную бесконечность, Бога. Но, чтобы внести поправку к себе самой, она создала фикцию Сатаны, представляющего собой настоящий бунт бесконечного существа против существования абсолютной бесконечности, против Бога. И подобно тому, как Сатана возмутился против высшей бесконечности

Бога, точно так же святые отшельники христианства слишком смиренные, чтобы бунтовать против Бога, взбунтовались против равной людям бесконечности, против общества.

Они вполне основательно заявили, что в нем не нуждаются для своего спасения; и что, если по странной фатальности они были . . . *) и павшими бесконечностями, то общество Бога, самосозерцание в присутствии этой абсолютной бесконечности для них достаточно.

Повторяю еще раз,—это пример, достойный подражания для всех, кто верит в бессмертие души. С этой точки зрения, общество не может им предложить ничего кроме верной погибели. В самом деле, что дает оно людям? Прежде всего—материальные богатства, которые могут быть произведены в достаточных размерах лишь коллективным трудом. Но разве тот, кто верит в вечное существование, не должен презирать эти богатства? Не говорил ли Иисус Христос своим ученикам: „не собирайте сокровищ на земле, ибо где ваши сокровища, там и ваши сердца" и еще: „легче толстому канату (или „верблюду", по другой версии пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство небесное". (Воображаю, какую физиономию должны корчить набожные и богатые буржуа протестанты Англии, Америки, Германии и Швейцарии, читая эти столь решительные и столь неприятные для них поучения).

Иисус Христос прав,—вожделение материальных богатств и спасение бессмертных душ безусловно непримиримы. А в таком случае, не лучше ли, раз хоть немножко верить на самом деле в бессмертие души, не лучше ли отказаться от удобств и роскоши, которые доставляются обществом, и питаться корнями, как это делают отшельники спасая свою душу ради вечности, нежели погубить ее ценою нескольких десятков лет материальных удовольствий. Этот расчет столь прост, столь очевидно справедлив, что мы вынуждены думать, что набожные и богатые буржуа, банкиры, промышленники, купцы, делающие столь отличные дела, пользуясь всем известными средствами, и тем не менее повторяющие постоянно евангельские слова, отнюдь не рассчитывают на бессмертие души для себя и великодушно уступают это бессмертие пролетариату, скромно довольствуясь для себя жалкими материальными благами, собираемыми на земле.

---

*) В рукописи неразборчивое слово «fe . . . qués».

Что дает еще общество помимо материальных благ? Плотские, человеческие, земные привязанности, цивилизацию и культуру духа, все, что с человеческой преходящей и земной точки зрения громадно, но перед лицом вечности, бессмертия и Бога равны нулю. Величайшая человеческая мудрость не является ли слабоумием перед лицом Бога?

Есть одна легенда восточной церкви, которая гласит, что два святых отшельника, добровольно проведшие несколько десятков лет на одном пустынном острове, уединились даже друг от друга и, проводя ночи и дни в созерцании и молитве, дошли до того, что даже потеряли способность речи. Из всего их былого репертуара слов, у них сохранилось всего три-четыре, которые соединенные вместе, не имели никакого смысла, но тем не менее выражали перед Богом самые высшие устремления их душ. Они питались, разумеется, корнями на подобие травоядных животных. С точки зрения человеческой, эти два человека были слабоумными или безумцами, но с точки зрения божественной, с точки зрения верования в бессмертие души они выказали себя более глубокими математиками, чем Галилей и Ньютон. Ибо они пожертвовали несколькими десятками годов земного благополучия и светского ума ради вечного блаженства и ума божественного.

Итак очевидно, что человек, одаренный бессмертной душой, бесконечностью и свободой, присущими этой душе, есть существо в высшей степени анти-общественное. И если бы он был всегда благоразумен, если бы занятый исключительно своим бессмертием он имел достаточно ума, чтобы презирать все блага, все привязанности и всю суету сего мира, он никогда не вышел бы из этого состояния невинности или божественного слабоумия и никогда не создал бы общества. Одним словом, если бы Адам и Ева никогда не вкусили плода от древа познания, мы все жили бы на подобие животных в земном раю, который Бог назначил им для пребывания. Но как только люди захотели познавать, образовываться, очеловечиваться, думать, говорить и пользоваться материальными благами, они неизбежно должны были выйти из своего одиночества и сорганизоваться в общество. Ибо поскольку *внутренне* они бесконечны, бессмертны, свободны, постольку они *внешне* ограничены, смертны, слабы и зависящи от внешнего мира.

Рассматриваемые с точки зрения их земного, то есть не фиктивного, а реального существования, огромное боль-

шинство людей представляет собой столь унизительное зрелище, столь безнадежное, бедное инициативой, волей и умом, что поистине нужно быть одаренным редкой способностью строить себе иллюзии, чтобы найти в них бессмертную душу и тень какой либо свободной воли. Они представляются нам, как существа абсолютно и фатально ограниченные,— ограниченные прежде всего внешней природой, характером почвы и всеми материальными условиями их существования, ограниченные бесчисленными политическими, религиозными и социальными отношениями, обычаями, привычками, законами, целой массой предрассудков или мыслей, медленно выработанных предыдущими веками; они получают эти мысли, уже при рождении на свет в обществе, которого они являются отнюдь не создателями, но сперва—продуктом, а позднее—орудием. На тысячу людей едва ли найдется один о котором можно сказать, не безусловно, но лишь относительно, что он желает и думает самостоятельно.

Громадное большинство человеческих индивидов не только среди *невежественных масс*, но точно так же в образованных и привиллегированных классах хочет и думает лишь то, что все вокруг них думают, чего все хотят. Они верят, конечно, будто хотят и думают самостоятельно, но на самом деле они лишь рабски, по рутине, с ничтожными, едва заметными изменениями воспроизводят чужие мысли и желания. Это рабство, эта рутина, неиссякаемый источник общих мест, это отсутствие бунта воли, инициативы мысли индивидов,—главные причины безнадежной медлительности исторического развития человечества. Для нас, материалистов или реалистов, неверующих ни в бессмертие души, ни в свободную волю, эта медлительность, как она ни печальна, представляется естественной. Происходя от гориллы, человек лишь с громадными трудностями достигает сознания своей человечности и осуществления своей свободы. В начале он не может обладать ни этим сознанием, ни этой свободой. Он рождается диким животным и рабом и очеловечивается и прогрессивно эмансипируется лишь в недрах общества, которое необходимо предшествует зарождению его мысли, слова и воли. И он может достич этого лишь коллективным усилием всех бывших и настоящих членов этого общества, которое, следовательно, есть основа и естественная исходная точка его человеческого существования. Из этого следует, что человек осуществляет свою индивидуальную свободу или свою лич-

ность, лишь пополняя себя всеми окружающими его индивидами и лишь благодаря труду и коллективному могуществу общества, вне коего он остался бы, без сомнения, самым грубым и самым несчастным из всех жестоких животных, существующих на земле. По системе материалистов, единственной естественной и логичной, общество не только не уменьшает и не ограничивает, но напротив, создает свободу человеческих индивидов. Оно—корень, дерево, свобода же—его плод. Следовательно, в каждую эпоху человек должен искать свою свободу не в начале, но в конце истории, и можно сказать, что действительное и полное освобождение каждого человеческого индивида есть настоящая великая цель, высший результат Истории.

Совсем иная точка зрения идеалистов. По их системе человек проявляет себя сперва бессмертным и свободным существом и кончает тем, что становится рабом. В качестве бессмертного и свободного, бесконечного и самоцельного духа он не нуждается в обществе. Отсюда следует, что если он вступает в общество, то лишь по причине своего грехопадения, или же потому, что он забывает и теряет сознание своего бессмертия и своей свободы.

Существо противоречивое, бесконечное, как дух, но зависящее, несовершенное и материальное во вне, он вынужден об'единяться не вследствие потребности своей души, но ради сохранения своего дела. Общество образуется, следовательно, лишь своего рода принесением в жертву интересов души и независимости души презренным интересам тела. Это настоящее падение и порабощение для индивида, внутренне бессмертного и свободного, отказ, по крайней мере частичный, от своей первоначальной свободы.

Известна сакраментальная фраза, которая на жаргоне всех сторонников государства и юридического права выражает это падение и это самопожертвование, этот первый роковой шаг к человеческому порабощению. „Индивид, пользующийся полной свободой в естественном состоянии, то есть прежде, чем он делается членом какого либо общества, приносит, вступая в него, в жертву часть этой свободы, чтобы общество гарантировало ему все остальное".

На просьбу раз'яснить эту фразу, отвечают обыкновенно другою: *Свобода каждого человеческого индивида не должна иметь других границ, кроме свободы всех других индивидов*".

На первый взгляд нет ничего более справедливого. Неправда ли? И однако, эта теория содержит в зародыше всю теорию деспотизма. Согласно с основной идеей идеалистов всех школ и вопреки всем реальным фактам человеческий индивид представляется абсолютно свободным существом постольку и лишь постольку, поскольку он остается вне общества. Отсюда следует, что общество, рассматриваемое и понимаемое единственно, как юридическое и политическое общество, то есть, как государство, есть отрицание свободы. Вот, к каким результатам приводит идеализм. Он, как видим, совершенно противоположен выводам материализма, которые согласно с тем, что происходит в реальном мире, выставляют индивидуальную свободу людей, как необходимое следствие их коллективного развития человечества.

Материальное, реалистическое и коллективное определение свободы совершенно противоположно определению идеалистов. Оно таково: человек становится человеком и достигает как сознания, так и осуществления своей человечности лишь в обществе и лишь коллективной деятельностью всего общества. Он освобождается от ига внешней природы лишь коллективным и социальным трудом, который один лишь способен превратить поверхность земли в пребывание благоприятное развитию человечества. Без этого же материального освобождения не может быть ни для кого и освобождения интеллектуального и морального.

Человек не может освободиться от ига своей собственной природы, то есть, он может подчинить свои инстинкты и движения своего собственного тела управлению своего все более и более развивающегося ума лишь воспитанием и образованием. Но и то и другое явление по самому существу своему исключительно общественные явления. Ибо вне общества человек вечно остался бы диким животным или святым, что почти одно и то же. Наконец, изолированный человек не может сознавать своей свободы. Быть свободным для человека означает, быть признанным и рассматриваемым свободным и пользующимся соответственным обращением со стороны другого человека, со стороны всех окружающих его людей. Свобода, следовательно, не может быть фактом уединения, но взаимодействия, не исключения, но напротив того—соединения, ибо свобода каждого индивида есть не что иное, как отражение его человечности или

его человеческого права в сознании всех свободных людей, его братьев, его равных.

Я могу назвать себя и чувствовать себя свободным лишь в присутствии и по отношению к другим людям. В присутствии животного нисшего рода я ни свободный и ни человек, ибо это животное неспособно осознать, а следовательно и признать мою человечность. Я человечен и свободен сам лишь постольку, поскольку я признаю свободу и человечность всех людей, окружающих меня. Лишь уважая их человеческое естество, я уважаю свою собственную человечность. Людоед, который с'едает своего пленника, обращаясь с ним, как с диким животным,—не человек, но животное. Господин рабов—не человек, но господин. Не считаясь с человечностью своих рабов, он пренебрегает своей собственной человечностью. Любое античное общество может доставить нам доказательства этого: греки, римляне не чувствовали себя свободными, как люди, они не рассматривали себя с точки зрения общечеловеческого права. Они считали себя привиллегированными в качестве греков, в качестве римлян лишь в своем собственном отечестве, пока оно оставалось независимым, незавоеванным и, напротив того, завоевывающим другие страны вследствие особого покровительства их национальных Богов. И они отнюдь не удивлялись и не считали своим долгом возмущаться, когда побежденные они сами попадали в рабство.

Великой заслугой христианства было провозглашение человечности всех человеческих существ, включая женщин, и равенства всех людей перед Богом. Но как оно провозгласило это? На небесах, в будущей жизни, но не для теперешней, реальной жизни на земле. К тому же это будущее равенство опять-таки ложно, ибо, как известно, число избранных в высшей степени ограничено. Относительно этого пункта все теологи самых различных христианских сект единодушны. Следовательно, пресловутое христианское равенство влечет за собою самую вопиющую привилегию нескольких тысяч избранных божественной милостью на миллионы отверженных. Впрочем это равенство всех перед Богом, если бы даже оно осуществилось для каждого, было бы лишь равным ничтожеством и равным рабством всех перед высшим господином.

Основа христианского культа и первое условие спасения не есть ли таким образом отказ от человеческого достоинства и презрение этого достоинства пред лицом боже-

ственного величия? Христианин, следовательно, не человек в том смысле, что он не обладает сознанием человечности и также потому, что, не уважая человеческое достоинство в самом себе, он не может уважать его в других; а не уважая его в других, он не может уважать его в себе самом. Христианин может быть пророком, святым, священником, королем, генералом, министром, чиновником, представителем какой либо власти, жандармом, палачем, дворянином, эксплоататором — буржуа или порабощенным пролетарием, угнетателем или угнетенным, мучителем или мучимым, хозяином или работником, но он не имеет права называть себя человеком, ибо человек делается в действительности таковым лишь тогда, когда он уважает и любит человечность и свободу всех, и когда его свобода и его человечность уважаемы, любимы, называемы и создаваемы всеми.

В самом деле, я свободен лишь тогда, когда все человеческие существа, окружающие меня, мужчины и женщины равно свободны. Свобода других не только не является ограничением или отрицанием моей свободы, но напротив есть необходимое условие и утверждение ее. Я становлюсь действительно свободным лишь благодаря свободе других, так что, чем больше количество свободных людей, окружающих меня, чем глубже и шире их свобода, тем распространеннее, глубже и шире становится моя свобода. Напротив того, рабство людей ставит препятствие моей свободе, или, что сводится к тому же, именно их животность и является отрицанием моей человечности, ибо повторяю еще раз, — я могу назвать себя действительно свободным лишь тогда, когда моя свобода или, что тоже, мое человеческое достоинство, мое человеческое право, заключающееся в том, чтобы не повиноваться никакому другому человеку и руководствоваться в моих действиях лишь моими собственными убеждениями, лишь когда эта моя свобода, отраженная равно свободным сознанием всех людей, возвращается ко мне, подтвержденная согласием всех. Моя личная свобода, подтвержденная таким образом свободой всех, становится беспредельной.

Мы видим, что свобода, как она понимается материалистами, есть нечто весьма положительное, весьма сложное и в особенности в высшей степени общественное, ибо она может быть осуществлена лишь при помощи общества и лишь при более тесном равенстве и солидарности каждого

со всеми. Можно различать в ней три момента развития, три элемента, из коих первый есть в высшей степени положительный и общественный; это полное развитие и полное пользование каждого всеми человеческими способностями и возможностями путем воспитания, научного образования и материального благополучия,—а все это может быть дано каждому лишь коллективным материальным и интеллектуальным, мускульным и нервным трудом целого общества.

Второй элемент или момент свободы—отрицательный. Это элемент *бунта* человеческого индивида против всякой божеской и человеческой, коллективной и индивидуальной власти.

Это прежде всего бунт против тирании высшего призрака теологии, против Бога. Очевидно, что, пока у нас будет господин на небе, мы будем рабами на земле. Наш разум и наша воля будут одинаково сведены к нулю. Пока мы будем верить, что мы обязаны ему абсолютным повиновением,—а по отношению к Богу не может быть иного, чем абсолютного повиновения,—мы должны будем необходимо пассивно и без малейшей критики подчиняться святой власти его посредников и его избранных: мессий, пророков, божественно вдохновенных законодателей, императоров, королей и всех их чиновников и министров, представителей и священнослужителей двух великих учреждений, которые навязываются нам, как установленные самим Богом для управления людьми: Церкви и Государства. Всякая преходящая или человеческая власть исходит непосредственно от духовной или божественной власти. Но власть есть отрицание свободы. Бог, или скорее фикция Бога, есть, следовательно, освящение и интеллектуальная и моральная причина всякого рабства на земле, и свобода людей будет полной лишь тогда, когда она совершенно уничтожит гибельную фикцию небесного владыки.

Затем, как следствие бунта против Бога, является бунт против тирании людей, против власти, как индивидуальной, так и общественной, представленной и легализированной государством. Относительно этого нужно однако, хорошенько столковаться, а для того надо начать с установления весьма точного различия между оффициальной и следовательно тиранической властью общества, организованного в государство, и влиянием и естественным воздействием неоффициального, естественного общества на каждого из его членов.

Бунт против естественного влияния общества много труднее для индивидов, чем бунт против оффициально организованного общества, против Государства, хотя часто он также совершенно неизбежен, как последний. Общественная тирания, часто давящая и гибельная, не представляет того характера повелительного насилия, узаконенного и формального деспотизма, который отличает власть Государства. Она не навязывается, как закон, которому всякий индивид вынужден повиноваться под страхом подвергнуться юридической каре. Ее воздействие мягче, вкрадчивее, незаметнее, но оно тем более могущественно, чем воздействие власти Государства. Общественная тирания господствует над людьми путем обычаев, путем нравов, совокупностью переживаний, предрассудков и привычек как в области материальной жизни, так и в сфере ума и сердца, и составляет то, что мы называем общественным мнением. Оно окружает человека с рождения, проникает его, пронизывает, и образует самую основу его собственного индивидуального существования. Таким образом каждый является в некотором роде более или менее участником этого насилия против себя самого и очень часто даже не подозревает об этом. Отсюда вытекает, что для того, чтобы восстать против этого влияния, которое общество естественно оказывает на него, человек должен по крайней мере отчасти восстать против себя самого, ибо со всеми своими материальными, интеллектуальными и моральными задатками и стремлениями, он сам есть лишь продукт общества. Отсюда вытекает это безграничное могущественное влияние общества на людей.

С точки зрения абсолютной морали, то есть с точки зрения человеческого уважения,—я сейчас скажу, что понимаю под этими словами,—это могущество общества может быть как благотворно, так и зловредно. Оно благотворно, когда стремится к развитию науки, материального процветания, свободы, равенства и братской солидарности людей; оно зловредно, когда имеет противоположные стремления.

Человек, рожденный в обществе скотов, останется сам за очень редким исключением скотом; рожденный в обществе управляемом священниками, он станет идиотом, ханжей; рожденный в шайке воров, он сделается, вероятно, вором; рожденный в буржуазном классе, он будет эксплоататором чужого труда; и если он имел несчастье родиться

в обществе полубогов, управляющих этой землей, дворян, принцев, королевских детей, он будет сообразно степени своих способностей, своих средств и своего могущества тираном, презирающим, порабощающим человечество... Во всех этих случаях даже просто для очеловечения этого индивида, его бунт против общества, в котором он родился, становится необходимым.

Но, повторяю, бунт индивида против общества по трудности отличается от его бунта против Государства. Государство есть историческое преходящее учреждение, временная форма общества, как сама церковь, младшим братом которой оно является; но оно отнюдь не имеет фатального и неподвижного характера общества, которое предшествует всякому развитию человечества, и которое, обладая всей совокупностью всемогущих естественных законов, действий и проявлений, составляет самую основу всякого человеческого существования. Человек, по меньшей мере с того момента, как он сделал первый шаг к человечности, как он начал становиться человеческим существом, то-есть существом более или менее говорящим и думающим, родился в обществе, как муравей рождается в своем муравейнике или пчела в своем улье. Он не выбирает его, — напротив того, он есть продукт его и также фатально подчинен естественным законам, управляющим его необходимым развитием, как подчиняется и другим естественным законам. Общество одновременно и предшествует и переживает всякого человеческого индивида, как сама природа. Оно вечно, как природа или, скорее, рожденное на земле, оно продлится, пока будет существовать наша земля. Коренной бунт против общества был бы следовательно также невозможен для человека, как и бунт против природы, ибо человеческое общество есть в общем ничто иное, как последнее великое проявление или создание природы на нашей земле. И индивид, который хотел бы восстать против общества, то-есть против природы вообще и в частности против своей собственной природы, поставил бы себя вне всяких условий, реального существования, устремившись в ничто, в абсолютную пустоту, в мертвую отвлеченность, в Бога. Следовательно, так же нельзя задавать вопрос о том, добро или зло общество, как невозможно спрашивать, добро или зло природа, всеобщее материальное, реальное, единственное, высшее, абсолютное бытие. Это — нечто большее: это —бесконечный положительный и первоначальный факт, пред-

шествующий всякому сознанию, всякой идее, всякой интеллектуальной и моральной оценке; это самая основа, это — мир, в котором фатально и значительно позже развивается для нас то, что мы называем добром и злом.

Не так обстоит дело с государством. И я не колеблюсь сказать, что государство есть зло, но зло, исторически необходимое, так же необходимое в прошлом, как будет рано или поздно необходимым его полное исчезновение, столь же необходимое, как необходима была первобытная животность и теологические блуждания людей. Государство вовсе не однозначуще с обществом, оно есть лишь историческая форма, столь же грубая, как и отвлеченная. Оно исторически возникло во всех странах от союза насилия, опустошения и грабежа, — одним словом, от войны и завоевания с богами, последовательно созданными теологической фантазией наций. Оно было с самого своего образования и остается еще и теперь божественной санкцией грубой силы и торжествующей несправедливости. Даже в самых демократических странах как Соединенные Штаты Америки и Швейцария, оно является ничем иным, как освящением привилегий какого либо меньшинства и фактическим порабощением огромного большинства.

Бунт против государства гораздо легче, потому что в самой природе государства есть нечто провоцирующее на бунт. Государство это —власть, это —сила, это—хвастовство и самовлюбленность силы. Оно не старается привлечь на свою сторону, обратить в свою веру; всякий раз, как оно вмешивается, оно делает это весьма недоброжелательно. Ибо по самой природе своей оно таково, что отнюдь не склонно убеждать, но лишь принуждать и заставлять; как оно ни старается замаскировать свою природу, оно остается легальным насильником воли людей, постоянным отрицанием их свободы. И даже, когда оно приказывает что либо хорошее, оно обесценивает и портит это хорошее потому, что приказывает, и потому, что всякое приказание возбуждает и вызывает справедливый бунт свободы, и потому еще, что добро, раз оно делается по приказу, становится злом с точки зрения истинной морали, человеческой, разумеется, а не божественной, с точки зрения человеческого самоуважения и свободы. Свобода, нравственность и человеческое достоинство заключаются именно в том, что человек делает добро не потому, чтобы кто либо приказывал ему, но потому, что он сознает, хочет и любит добро.

Что касается общества, то оно формально, оффициально и властно не принуждает, оно естественно воздействует, и именно потому, его действие на индивида несравненно более могущественно, чем действие государства. Оно создает и формирует всех индивидов, рождающихся и развивающихся в его недрах. Оно вводит в них медленно с первого дня их рождения, до самой смерти всю свою собственную материальную, интеллектуальную и моральную природу. Оно, так сказать, индивидуализируется в каждом.

Реальный человеческий индивид есть существо, столь мало универсальное и абстрактное, что каждый, с момента своей формации во чреве матери, оказывается уже имеющим все свои индивидуальные особенности и заранее определенным благодаря множеству материальных, географических, климатологических, этнографических, гигиенических и — следовательно экономических причин и воздействий, составляющих собственно материальную, исключительно присущую его семье, классу, нации, расе, природу. И поскольку склонности и влечения людей зависят от совокупности всех внешних или физических влияний, каждый родится с индивидуальной материально определенной природой или характером. Более того благодаря относительно высшей организации человеческого мозга, каждый человек, рождаясь, приносит, конечно, в различной степени не врожденные идеи и чувства, как утверждают идеалисты, но способности в одно и то же время материальные и формальные, чувствовать, думать, говорить и хотеть. Он приносит с собою лишь возможность образовывать и развивать идеи, и, как я только что сказал, деятельную чисто формальную силу без всякого содержания. Кто вкладывает в нее первоначальное содержание? Общество.

Здесь не место исследовать, как образовались в первобытных обществах первые представления и первые идеи, из коих большая часть была, разумеется весьма нелепа. Все что мы можем сказать с полной уверенностью, это, что сперва они не создавались изолированно и самопроизвольно чудесно просвещенным умом вдохновленных индивидов, но коллективною, чаще всего едва уловимою умственною работой всех индивидов, принадлежащих к этим обществам. Выдающиеся, гениальные люди были в состоянии дать лишь наиболее верное или наиболее удачное выражение этой коллективной умственной работе, ибо все гениальные люди, подобно Мольеру, *„собирали все хорошее повсюду, где нахо-*

ом.ни его". Следовательно, первоначальные идеи были созданы интеллектуальной коллективной работой первобытных обществ. Эти идеи сперва были всегда лишь простым, конечно, весьма несовершенным констатированием естественных и общественных явлений и еще менее правильными заключениями, сделанными из этих явлений. Таково было начало всех человеческих представлений, воображений и мыслей. Содержание этих мыслей совсем не было самопроизвольным созданием человеческого ума и было дано ему сперва, как внешним, так и внутренним реальным миром. Ум человека, то есть работа или чисто органическое и следовательно материальное функционирование его мозга, возбужденное, как внешними, так и внутренними впечатлениями, переданными ему его нервами, вносит лишь чисто формальное сравнение или комбинирование этих впечатлений от вещей и явлений в системы справедливые или ложные. Так родились первые идеи. При посредстве слова эти идеи или, скорее, эти первые создания воображения получили более точное и постоянное выражение, передаваясь от одного человеческого индивида к другому. Так создания индивидуального воображения каждого сталкивались друг с другом, контролировались, видоизменялись, взаимно пополнялись и, более или менее сливались в единую систему, кончили тем, что сформировали общее сознание, коллективную мысль общества.

Эта мысль, передаваемая традицией от одного поколения к другому и все больше развиваясь вековой интеллектуальной работой, составляет интеллектуальное и моральное достояние общества, класса или нации.

Каждое новое поколение находит в своей колыбели целый мир идей, представлений и чувств, которые оно получает как наследие минувших веков. Этот мир сначала не представляется новорожденному человеку в своей идеальной форме, как система представлений и идей, как религия, как доктрина. Дитя не способно ни воспринять, ни понять его в этой форме. Но он навязывается ему, как мир фактов воплощенных и реализованных, как в людях, так и во всех вещах, окружающих его с первого дня жизни, говоря его чувствам при помощи всего того, что он слышит и видит. Ибо человеческие идеи и представления были вначале ничем иным, как продуктом действительных фактов, как естественных, так и общественных в том смысле, что они были их отражением или отзвуком в человеческом мозгу и, так

сказать, идеальным и более или менее правильным воспроизведением их при посредстве этого безусловно материального органа человеческой мысли. Позже, будучи хорошо установлены указанным мною образом в коллективном сознании какого либо общества, они приобретают силу, достаточную, чтобы в свою очередь стать причинами новых явлений, не чисто естественных, но общественных. Они кончают тем, что изменяют и преобразовывают, правда, очень медленно человеческое существование, обычаи и учреждения,— одним словом, все взаимоотношения людей в обществе, и путем своего воплощения в самых обыденных в жизни каждого вещах они становятся ощутимыми, осязаемыми для всех, даже для детей. Так что каждое новое поколение проникается ими с самого нежного детства, и когда оно достигает зрелого возраста, когда собственно и начинается работа его собственной мысли, необходимо сопутствуемая новой критикой, оно находит в себе самом точно так же, как и в окружающем его обществе, целый мир установленных мыслей или представлений, которые служат ему исходной точкой и дают ему в некотором роде сырье или ткань для его собственной интеллектуальной и моральной работы. Сюда относятся традиционные и обычные представления, созданные воображением, которые метафизики, обманутые тем совершенно нечувствительным и незаметным образом, с каким эти представления, являясь извне, проникают и запечатлеваются в мозгу детей, прежде даже, чем дошли до сознания их самих, ошибочно называют *врожденными идеями*.

Таковы общие или отвлеченные идеи божества и души, идеи совершенно нелепые, но неизбежные, фатальные в историческом развитии человеческого ума, который лишь очень медленно, на протяжении веков, приходя к рациональному и критическому сознанию самого себя и собственных своих проявлений, всегда исходит от нелепости, чтобы придти к истине, и от рабства, чтобы завоевать свободу. Таковы идеи, освященные на протяжении веков, всеобщим невежеством и глупостью а также хорошо понятыми интересами привилегированных классов, освященные до такой степени, что даже ныне трудно высказаться против них открыто общедоступным языком без того, чтобы не возмутить значительную часть народных масс и не рисковать быть побитым камнями и лицемерною буржуазией.

Наряду с этими чисто отвлеченными идеями и всегда в тесной связи с ними подросток находит в обществе и

вследствие всемогущего влияния, оказываемого обществом на него в детстве, он находит также в самом себе много других представлений или идей, гораздо более определенных, ближе относящихся к реальной жизни человека, к его каждодневному существованию. Таковы представления о природе и о человеке, о справедливости и об обязанностях и правах индивидов и классов, об общественных условностях, о семье, о собственности, о государстве и также многие другие представления, регулирующие взаимные отношения людей. Все эти идеи, которые он, рождаясь на свет, находит воплощенными в вещах и в людях, и которые запечатлеваются в его собственном уме благодаря получаемому им воспитанию и образованию, раньше даже, чем он приходит к сознанию самого себя, он потом вновь находит освященными, раз'ясненными и снабженными комментариями в теориях, выражающих всеобщее сознание или коллективный предрассудок и во всех религиозных, политических и экономических установлениях общества, к которому он принадлежит. И он до такой степени сам пропитан ими, что, будь он сам заинтересован или не заинтересован в их защите, он является их невольным сообщником, благодаря всем своим материальным, интеллектуальным и моральным обычаям.

Чему следует удивляться, так это не всемогущему действию оказываемому этими идеями, выражающими коллективное сознание общества, на человеческие массы. Напротив того, удивительно, что встречаются еще в этих массах индивиды, имеющие мысль, волю и мужество бороться с ними. Ибо давление, оказываемое обществом на индивида громадно, и нет настолько сильных характеров и столь мощных умов, которые могли бы считать себя свободными от воздействия этого столь же деспотического, как и непреоборимого влияния.

Ничто лучше не доказывает общественный характер человека, чем это влияние. Можно было бы сказать, что коллективное сознание какого-либо общества, воплощенное как в важнейших общественных учреждениях, так и во всех деталях его частной жизни, и служащее основой всем его теориям, образует род окружающей среды, род интеллектуальной и моральной атмосферы, вредной, но абсолютно необходимой для существования всех членов данного общества. Она господствует над ними, она в то же время и поддерживает их, связывая их между собой привычными и не-

обходимо обусловленными ею самою отношениями; внедряя в каждого сознание безопасности, уверенности и обеспечивая для всех главное условие существования толпы, — банальность, общие места и рутину.

Огромное большинство людей, не только в народных массах, но и в привилегированных и просвещенных классах, а часто даже больше, чем в народных массах, чувствует себя спокойно и благодушно лишь тогда, когда в своих мыслях и во всех своих поступках они строго, слепо следуют традиции и рутине: „Наши отцы думали и делали так, и мы должны думать и делать, как они. Все вокруг нас думают и действуют так. Почему бы мы стали думать и действовать, иначе, чем все“? Эти слова выражают философию, убеждение и практику девяносто девяти сотых человечества, взятых на удачу во всех классах общества. И, как я уже заметил, в этом заключается наибольшая помеха прогресса и более скорого освобождения человеческого рода.

Каковы причины этой приводящей в отчаяние медлительности, столь близкой к застою, которая, по моему, составляет наибольшее несчастье человечества? Причин этих очень много. Одна из самых важных, конечно, среди них это—невежество масс. Лишаемые постоянно и систематически всякого научного воспитания, благодаря отеческим заботам всех правительств и привилегированных классов, находящих полезным поддерживать в них сколь возможно дольше невежество, набожность, веру,—три наименования почти одного и того же явления—массы равным образом не знакомы с существованием и употреблением того орудия интеллектуального освобождения, который называется критикой. Без критики же невозможна полная моральная и социальная революция. Массы заинтересованные в восстании против установленного порядка вещей, еще привязаны к нему более или менее благодаря религии их отцов, этого провидения привилегированных классов.

Привилегированные классы, не имеющие ныне, что бы они ни говорили, ни набожности, ни веры, привязаны к нему в свою очередь в силу своих политических и социальных интересов. Однако, невозможно сказать, чтобы это была единственная причина их страстной привязанности к господствующим идеям. Как ни низко ценю я современный ум и нравственность этих классов, я не могу допустить, чтобы интересы были единственным двигателем их мыслей и их поступков.

Есть, без сомнения, в каждом классе и в каждой партии более или менее многочисленная группа интеллигентных, сильных и сознательно недобросовестных эксплоататоров, называемых *сильными людьми*, свободных от всех интеллектуальных и моральных предрассудков, равно безразличных ко всем убеждениям и пользующихся любым из них в случае надобности, чтобы достичь своей цели. Но эти выдающиеся люди даже в самых испорченных классах всегда составляют лишь ничтожное меньшинство: остальные, как и в самом народе, представляют собою стадо баранов.

Они, естественно, поддаются влиянию своих интересов, которые заставляют их видеть в реакции необходимое условие их существования. Но невозможно допустить, чтобы, творя реакцию, они подчинялись лишь эгоистическому чувству. Громадное большинство людей, даже весьма испорченных, действуя коллективно, не может быть столь извращенным.

Во всяком многочисленном об'единении, и с еще большим основанием, в традиционных, исторических ассоциациях, каковыми являются классы, даже если они дошли до такого момента своего существования, что они становятся абсолютно зловредны или противны интересу и праву всех, есть все же начало нравственности, религии, какие-либо верования, конечно, очень мало рациональные, чаще всего смешные и, следовательно, чрезвычайно узкие, но искренние, и составляющие необходимое моральное условие их существования.

Общая и основная ошибка всех идеалистов, ошибка, которая, впрочем вполне логически вытекает из всей их системы, это—искание основы морали в изолированном индивиде, между тем как она заключается—и не может не заключаться—лишь в об'единенных индивидах. Чтобы доказать это, оценим по достоинству раз на всегда изолированного или абсолютного индивида идеалистов.

Этот человеческий одинокий и отвлеченный индивид есть такая же фикция, как и Бог. Оба они были созданы одновременно верующей фантазией или не размышляющим, экспериментальным и логическим, а лишь полным воображения детским разумом народов в начале, а позже развитыми, раз'ясненными и догматизированными теологическими и метафизическими теориями идеалистических мыслителей. Оба представляя собою абстракции, лишенные всякого со-

держания и несовместимые с какой бы то ни было реальностью, приводят к небытию.

Я, полагаю, доказал уже безнравственность фикции Бога; позже, в Приложении я докажу еще полнее ее нелепость. Теперь я хочу проанализировать столь же безнравственную, как и нелепую фикцию этого абсолютного или отвлеченного человеческого индивида, которого моралисты идеальной школы берут за основу своих политических и социальных теорий.

Мне не трудно будет доказать, что человеческий индивид, которого они выставляют и которого они любят, есть существо глубоко безнравственное. Это олицетворенный эгоизм, существо в высшей степени безнравственное. Раз он одарен бессмертной душой, он бесконечен и самодовлеющ; следовательно, он ни в ком не нуждается даже в Боге, тем более не нуждается он в других людях. Логически, он отнюдь не должен был бы выносить существование равного или высшего индивида, столь же бессмертного и столь же бесконечного, или более бессмертного и более бесконечного, чем он сам рядом с собою или над собою. Он должен быть единственным человеком на земле. Что я говорю! Он должен быть в состоянии назвать себя единственным существом, целым миром. Ибо бесконечный, встречая что бы то ни было вне себя самого, находит себе предел и уже не бесконечен больше, а две бесконечности, встречаясь, взаимно уничтожают друг друга.

Почему теологи и метафизики, выказывающие вообще себя столь тонкими логически рассуждающими мыслителями, совершили и продолжают совершать эту непоследовательность, допуская существование многих одинаково бессмертных, то-есть одинаково бесконечных людей и над ними существование Бога еще более бессмертного и более бесконечного? Они были вынуждены к этому абсолютной невозможностью отрицать реальное существование, смертность точно также, как и взаимную независимость миллионов человеческих существ, которые жили и живут на этой земле. Это факт, от которого они при всем своем желании не могут отвлечься. Логически, они должны бы заключить из него, что души не бессмертны, и что они отнюдь не имеют существования, отдельного от их телесных и смертных оболочек, и что, ограничивая себя и находясь во взаимной зависимости, встречая вне себя самих бесконечность различных объектов, человеческие индивиды, как и все, сущест-

вующее в сем мире, суть преходящие, ограниченные и конечные существа.

Но, признавая это, они должны были бы отказаться от самых основ их идеальных теорий, они должны были бы встать под знамя чистого материализма или экспериментальной и рациональной науки. К этому их приглашает мощный голос века.

Они остаются глухи к этому голосу. Их природа вдохновленных людей, пророков, доктринеров и священников и их ум, толкаемый тонкой ложью метафизики, привычной к сумеркам идеальных фантазий, возмущается против откровенных заключений и против яркого дня простых истин.

Они столь боятся его, что предпочитают переносить противоречие, которое сами себе создают этой нелепой фикцией бессмертной души, или долгом искать решение в новой нелепости, в фикции Бога. С точки зрения теории, Бог в действительности есть ни что иное, как последнее убежище и высшее выражение всех нелепостей и противоречий идеализма. В теологии, представляющей детскую и наивную метафизику, он появляется, как основа и первопричина нелепости, но в метафизике в собственном смысле слова, то есть в утонченной и рационализированной теологии, он, напротив, составляет последнюю инстанцию и высшее прибежище в том смысле, что все противоречия, кажущиеся неразрешимыми в реальном мире об'ясняются в Боге и при посредстве Бога, то есть при посредстве нелепости, облеченной насколько возможно рациональной видимостью.

Существование личного Бога и бессмертие души—суть две нераздельные фикции, суть два полюса той же абсолютной нелепости, из которых одна вызывает другую, и одна тщетно ищет своего об'яснения, основания своего существования в другой. Таким образом, для очевидного противоречия которое имеется между предполагаемой бесконечностью каждого человека и реальным фактом существования многих людей, следовательно многих бесконечных существ, находящихся одно вне другого, неизбежно ограничивая друг друга; между их смертностью и их бессмертием; между их естественной зависимостью и их абсолютной независимостью одного от другого, идеалисты имеют лишь один ответ: Бог. Если этот ответ ничего вам не об'ясняет и не удовлетворяет вас, тем хуже для вас. Они не могут дать вам другого.

Фикция бессмертия души и фикция индивидуальной морали, являющаяся ее необходимым последствием, суть отрицание всякой морали. И в этом отношении нужно отдать справедливость теологам, которые, будучи гораздо более последовательными, более логичными, чем метафизики смело отрицают то, что принято называть ныне *„независимой моралью“*, об‘являя весьма основательно, что раз принимается бессмертие души и существование Бога, то нужно признать также, что может быть лишь одна мораль, а именно божественный закон, откровение, религиозная мораль, то-есть связь бессмертной души с Богом милостью Бога. Помимо этой иррациональной, таинственной, мистичной связи, единственно святой и единственно спасительной, и вне вытекающих из нее последствий для человека, всякие другие связи ничтожны. Божественная мораль есть абсолютное отрицание человеческой морали.

Божественная мораль нашла свое прекрасное выражение в христианском завете: „Возлюби Бога, больше чем самого себя, а ближнего своего, как самого себя“, что обязывает к принесению в жертву Богу самого себя и своего ближнего. Допустим пожертвование самого себя,—оно может быть сочтено за безумие. Но принесение в жертву ближнего с человеческой точки зрения абсолютно безнравственно. И почему я принуждаюсь к сверхчеловеческой жертве? Ради спасения моей души. Таково последнее слово христианства. Итак, чтобы угодить Богу и спасти свою душу, я должен принести в жертву своего ближнего. Это абсолютнейший эгоизм. Этот эгоизм не уменьшенный и не уничтоженный, но лишь замаскированный в католичестве вынужденной коллективностью и авторитарным иерархическим и деспотическим единством Церкви, появляется во всей своей цинической откровенности в Протестанстве, в этом своего рода религиозном: *„спасайся, кто может!“*.

Метафизики в свою очередь стараются прикрыть этот эгоизм, который есть врожденный и основной принцип всех идеальных доктрин, говоря очень мало, насколько возможно мало об отношениях человека к Богу и много о взаимных отношениях людей. Это совсем не красиво, не откровенно и не логично с их стороны. Ибо, раз допускается существование Бога, то является необходимость признать отношения человека с Богом. И должно признать, что перед лицом этих отношений с абсолютным и высшим существом все другие отношения необходимо неискренны. Или Бог не есть

Бог, или же его присутствие все поглощает и уничтожает. Но оставим это...

Итак, метафизики ищут мораль в отношениях людей между собою и в то же время они утверждают, что она есть безусловно индивидуальный факт, божественный закон, вписанный самим Богом в сердце каждого человека, независимо от его отношений с другими человеческими существами. Таково непобедимое противоречие, на котором основана теория нравственности идеалистов. Раз, прежде чем я вступил в какие либо отношения с обществом, и, следовательно, независимо от какого бы то ни было влияния общества на меня, я ношу нравственный закон, вписанный заранее самим Богом в мое сердце, то этот нравственный закон необходимо чужд и безразличен, если не не враждебен, моему существованию в обществе. Он не может касаться моих отношений с людьми и может определять лишь мои отношения с Богом, как это вполне логично утверждает теология. Что же касается людей, они с точки зрения этого закона мне совершенно чужды. Так как нравственный закон создан и вписан в мое сердце помимо всяких моих отношений с ними, то ему нет до них никакого дела.

Но, скажут мне, этот закон как раз повелевает вам любить людей, как самого себя, ибо они суть вам подобные, и ничего не делать им, чего бы вы не хотели, чтобы было сделано вам самим,—соблюдать в отношении их равенство, одинаковую нравственность, справедливость. На это я отвечу, если правда, что нравственный закон содержит в себе такое повеление, я должен заключить из этого, что он не был создан и не был изолированно написан в моем сердце. Он необходимо предполагает существование, предшествующее моим отношениям с другими людьми, подобными мне, и, следовательно, не создает этих отношений но находя их уже естественно установившимися, он лишь регулирует их и является лишь в некотором роде развитием, проявлением, об'яснением и продуктом их. Отсюда явствует, что нравственный закон есть не индивидуальное, но социальное явление, создание общества.

Если бы было иначе, нравственный закон, вписанный в моем сердце, был бы нелепостью. Он регулировал бы мои отношения с существами, с которыми я не имел никаких отношений, и о существовании которых я не подозревал.

На это у метафизиков имеется ответ. Они говорят, что каждый человеческий индивид рождаясь, приносит с собой

закон, вписанный рукой самого Бога в его сердце, но что этот закон находится сперва в скрытом состоянии, лишь в виде возможности, не осуществленной и не проявленной для самого индивида, который не может осуществить его, и которому удается расшифровать его в себе самом, лишь развиваясь в обществе себе подобных,—одним словом, что человек приходил к сознанию этого закона, присущего ему лишь путем отношений с другими людьми.

Это раз‘яснение, хотя и не правдоподобное, но вполне приемлемое, приводит нас к доктрине врожденных идей, чувств и принципов. Доктрина эта известна. Человеческая душа, бессмертная и безграничная по своей сущности, но телесно определенная, ограниченная, отягощенная и, так сказать, ослепленная и уничтоженная в своем реальном существовании, содержит в себе все эти вечные и божественные принципы, но без своего ведома, даже совершенно не подозревая сперва о них. Бессмертная, она необходимо должна быть вечной в прошлом, как и в будущем. Ибо если она имела начало, она неизбежно должна иметь конец и отнюдь не была бы бессмертной. Чем была она, что делала на протяжении всей этой вечности, лежащей позади нее? Одному Богу это известно. Что касается ее самое, она этого не помнит, она забыла. Это великая тайна, полная вопиющих противоречий, и чтобы разрешить их, нужно прибегнуть к высшему противоречию, к Богу. Во всяком случае, она всегда обладает, сама того не подозревая, в какой то неведомой таинственной области своего существа всеми божественными принципами. Но, затерянная в своем земном теле, огрубевшая, вследствие грубо материальных условий своего рождения и своего существования на земле она уже не способна их осознать и даже не в силах вспомнить о них. Это все равно, как если бы она их вовсе не имела. Но вот встречается в обществе множество человеческих душ, которые все одинаково бессмертны по своей сущности и все одинаково огрубелые, приниженные и оматериализовавшиеся в своем реальном существовании. Сначала они до такой степени мало узнают друг друга, что одна материализованная душа пожирает другую. Как известно людоедство было первым обычаем человеческого рода. Затем продолжая ожесточенную войну, каждая стремится поработить все другие,—это долгий период рабства, период который еще далеко не закончился и ныне. Ни в людоедстве, ни в рабстве нельзя найти без сомнения никаких

следов божественных принципов. Но в этой непрестанной борьбе между собой народов и людей заключается история, и именно вследствие бесчисленных страданий, являющихся самым явным результатом ее, души мало по малу пробуждаются, выходя из своего огрубения, приходя в себя, все больше распознавая себя и углубляясь в свое интимное естество; вызываемые к тому же и побуждаемые одна другою, они начинают вспоминать себя, сперва предчувствовать а затем различать и усваивать более отчетливо принципы, которые Бог испокон веков начертал в них собственной рукой.

Это пробуждение и это воспоминание происходит сначала вовсе не в душах, более бесконечных и более бессмертных. Это было бы нелепостью, ибо бесконечность не допускает сравнительных стеснений, так что душа величайшего идиота столь же бесконечна и бессмертна, как и душа величайшего гения.

Оно происходит в душах наименее грубо материализованных и, следовательно, более способных пробудиться и вспомнить себя. Таковы люди гениальные, боговдохновенные получившие откровение, законодатели, пророки. Раз эти великие и святые люди, просвещенные и побуждаемые духом, без помощи которого ни что великое и доброе не делается в этом мире, обрели в себе самих одну из тех божественных истин, которые каждый человек бессознательно носит в своей душе, людям более грубо материализованным делается, конечно, гораздо легче сделать то же самое открытие в себе самих. Таким то образом всякая великая истина все вечные принципы, проявившиеся сперва в истории, как божественные откровения, сводятся позднее к истинам, без сомнения божественным, но которые тем не менее каждый может и должен найти в себе самом и признать их, как основы своей собственной бесконечной сущности или своей бессмертной души. Этим об'ясняется, как истина, первоначально открытая одним единственным человеком, распространяется мало по малу во вне и создает учеников, сперва малочисленных и обычно преследуемых, как и сам учитель массами и оффициальными представителями общества, но распространяясь все больше и больше по причине этих самых преследований, она кончает тем, что рано или поздно овладевает коллективным сознанием, и после того, как она долго была истиной, исключительно индивидуальной, она превращается в конце концов в истину, принятую обще-

ством. Осуществленная плохо-ли, хорошо-ли в общественных и частных учреждениях общества, она становится законом.

Такова общая теория моралистов метафизической школы. На первый взгляд, я сказал уже, она весьма приемлема и кажется примиряющей самые несогласуемые вещи: Божественное откровение и человеческий разум, бессмертие и абсолютную независимость индивидов с их смертностью и абсолютной зависимостью, индивидуализм с социализмом. Но, исследуя пристальнее эту теорию и ее следствия, нам легко будет признать, что она есть ни что иное, как видимое примирение, прикрывающее фальшивой маской рационализма и социализма, старинное торжество божественной нелепости над человеческим разумом и индивидуального эгоизма над социальной солидарностью. В конце концов она приводит к абсолютному изолированию индивидов и, следовательно, к отрицанию всякой морали.

Несмотря на претензии этой теории на чистый рационализм, она начинает с отрицания всякого разума, с нелепости, с фикции безконечного, затерявшегося в конечном, или с допущения души, многих бессмертных душ, заложенных и заключенных в смертных телах. Чтобы исправить и об'яснить эту человечность, эта теория вынуждена прибегать к другой совершеннейшей нелепости, к Богу, к своего рода бессмертной, личной, неизменной душе, заложенной и заключенной в преходящем и смертном мире, и сохраняющей все же свое всеведение и свое всемогущество. Когда этой теории задают нескромные вопросы, которых она не в состоянии разрешить, ибо нелепость не разрешима и не об'яснима, она отвечает страшным словом: „Бог!" — таинственным абсолютом, который не обозначая абсолютно ничего, или обозначая невозможное, по ее мнению, разрешает и об'ясняет все. Это ее дело и ее право, ибо потому то она, наследница и более или менее послушная дочь теологии, и называется метафизикой.

Что подлежит здесь нашему рассмотрению, так это моральные последствия этой теории. Установим прежде всего, что ее мораль, несмотря на свою социалистическую видимость, есть мораль глубоко, исключительно индивидуалистическая. После этого нам будет не трудно уже доказать, что при таком своем преобладающем характере, она на самом деле является отрицанием всякой морали.

Согласно этой теории, бессмертная и индивидуальная

душа каждого человека, бесконечная или абсолютно самодовлеющая по своей сущности, и, как таковая, не имеющая абсолютно никакой потребности в каком либо существе, ни в отношениях с другими существами для самопополнения, оказывается заключенной и как бы уничтоженной в смертном теле. Находясь в этом состоянии падения, причины которого останутся для нас без сомнения навсегда неизвестными, потому что человеческий ум не способен их разрешить, и потому что разрешение их заключается единственно в абсолютной тайне, — в Боге, и будучи низведена до этого состояния материальности и абсолютной зависимости от внешнего мира, человеческая душа нуждается в обществе, чтобы пробудиться, чтобы вспомнить себя самое, чтобы вновь обрести сознание себя самой и божественных принципов, от века заложенных в ее недра самим Богом и составляющих ее истинную сущность.

Таковы социалистический характер и социалистическая сторона этой теории. Отношение людей к людям и каждого человеческого индивида ко всем остальным, одним словом общественная жизнь, появляются в ней лишь, как необходимое средство развития, как мостик, а не как цель. Абсолютная и конечная цель каждого индивида—он сам вне зависимости от всех других человеческих индивидов,—он сам перед лицом абсолютной индивидуальности, перед Богом. Человек нуждается в людях, чтобы выйти из своего земного принижения, чтобы вновь себя обрести, чтобы вновь схватить свою бессмертную сущность но, как только он обрел ее, черпая отныне свою жизнь лишь в ней одной, он поворачивается к людям спиной и погружается в созерцание мистической нелепости, в обожание своего Бога.

Если он сохраняет еще тогда какие либо отношения с людьми, то не из нравственной потребности, и, следовательно, не из любви к ним, ибо любят лишь того, в ком нуждаются, и того, кто нуждается в вас. Человек же, вновь обревший свою бесконечную и бессмертную сущность, самодовлеющий, не нуждается больше ни в ком; он нуждается лишь в Боге, который в силу тайны, понятной одним метафизикам, кажется обладающим бесконечностью, более бесконечной, и бессмертием, более бессмертным, нежели люди. Поддерживаемый отныне божественными всеведением и всемогуществом, индивид, сосредоточенный и свободный в самом себе, не может более испытывать потребности в других людях. Следовательно, если он продолжает еще сохранять некоторые от-

ношения с ними, то это может быть лишь по двум основаниям.

Во первых, потому что пока он остается отягощенным своим смертным телом, он вынужден есть, укрываться, одеваться и защищаться как от внешней природы, так и от нападений людей, а если он человек цивилизованный, то он имеет потребность в некотором количестве материальных вещей, которые доставляют довольство, комфорт, роскошь, из коих многие, неведомые нашим предкам, ныне считаются всеми предметами первой необходимости. Он мог бы, конечно, следуя примеру святых людей минувших веков, уединиться в какую либо пещеру и питаться кореньями. Но, повидимому, это больше не по вкусу современным святым, думающим, без сомнения, что комфорт необходим для спасения души. Итак, человек нуждается во всех этих вещах. Но эти вещи могут быть произведены лишь коллективным трудом людей: изолированный труд одного человека был бы не в состоянии произвести даже миллионную их часть.

Отсюда следует, что индивид, обладающей своей бессмертной душой и своей внутренней, независимой от общества свободой, современный святой имеет *материальную* потребность в этом обществе, с моральной точки зрения не имея в нем не малейшей потребности.

Но как следует назвать отношения, которыя будучи мотивированы исключительно лишь материальными потребностями, не санкционированы в то же время, не подкреплены какой либо моральной потребностью? Очевидно, назвать их можно только одним именем: *эксплоатация*. И в самом деле, в метафизической морали и в буржуазном обществе, как известно опирающемся на эту мораль, каждый индивид неизбежно делается *эксплоататором* общества, то есть всех; и роль государства в его различных формах от теократического государства и самой абсолютной монархии до самой демократической республики, основанной на самом широком всеобщем избирательном праве, заключается ни в чем ином, как в регулировании и гарантировании этой взаимной эксплоатации.

В буржуазном обществе, основанном на метафизической морали, каждый индивид по необходимости или по самой логике своего положения оказывается эксплоататором других, ибо он *материально* чувствует потребность во всех, *морально* же—ни в ком. Следовательно каждый, избегающий общественной солидарности, как помехи для полной сво-

боды его души, но ищущий ее, как необходимого средства для поддержания своего тела, рассматривает общество лишь с точки зрения своей материальной личной пользы и вносит в него, дает ему лишь то, что абсолютно необходимо для того, чтобы иметь не право, но возможность обеспечить для самого себя эту пользу. Каждый рассматривает его, одним словом, как эксплоататор. Но когда все одинаково эксплоататоры, необходимо должны быть счастливые и несчастные, ибо всякая эксплоатация предполагает наличность эксплоатируемых. Есть следовательно, эксплоататоры являющиеся таковыми одновременно как возможности, так и в действительности; и другие, большинство, народ, которые таковы лишь в возможности, лишь по намерениям, но не в действительности. В действительности они—вечно эксплоатируемые. Вот, следовательно, к чему приводит в социальной экономии метафизическая или буржуазная мораль,—к беспощадной и непрерывной войне между всеми индивидами, к ожесточенной войне, в которой большинство погибает, чтобы обеспечить торжество и благополучие малого числа.

Вторая причина, могущая привести индивида, достигшего полного обладания самим собой, к сохранению отношений с другими людьми, это желание угодить Богу и чувство обязанности выполнить его вторую заповедь.

Первая заповедь повелевает любить Бога больше самого себя и вторая—любить людей, своих ближних, как самого себя, и делать им *из любви к Богу* всякое добро, которое он желал бы, чтобы делали ему.

Обратите внимание на эти слова: „*из любви к Богу*“ Они полностью выражают характер единственной возможной любви при метафизической морали, состоящей как раз в том чтобы отнюдь не любить людей ради их самих, по собственной потребности, но лишь, чтобы угодить всевышнему господину. Впрочем, так оно и должно быть. Ибо раз метафизика допускает существование Бога, и отношения между человеком и Богом, она должна, как и теология, подчинить им все человеческие отношения. Идея Бога поглощает, разрушает все, что не Бог, замещая все человеческие и земные реальности божественными фикциями.

По метафизической морали, как я уже сказал, человек, пришедший к сознанию своей бессмертной души и ее индивидуальной свободы перед Богом и в Боге, не может любить людей, ибо морально он не чувствует более к этому

потребности, и потому что можно любить, как я еще добавил, лишь того, кто нуждается в вас.

Если верить теологам и метафизикам, первое условие полностью выполнено в отношениях человека с Богом, ибо они утверждают, что человек не может обойтись без Бога. Человек может, следовательно, и должен любить Бога, ибо он так нуждается в нем. Что же касается второго условия возможности любить лишь того, кто испытывает потребность в этой любви, оно совершенно не выполнено в отношениях человека с Богом. Было бы нечестиво сказать, что Бог может нуждаться в любви людей. Ибо нуждаться в чем нибудь значит испытывать недостаток в чем либо, необходимом для полноты существования. Это, следовательно, — проявление слабости, сознание в собственной бедности. Бог, абсолютно самодовлеющий, не может нуждаться ни в ком и ни в чем Не имея никакой потребности в любви людей, он не может любить их. И то, что называют его любовью к людям, есть ничто иное, как абсолютный гнет, подобный, но, конечно, еще более чудовищный, чем тот, который всемогущий император Германии оказывает ныне на всех своих подданных. Любовь людей к Богу также весьма сходна с той, которую испытывают немцы к этому монарху, ставшему ныне столь могущественным, что после Бога мы не знаем большого могущества, чем его.

Истинная реальная любовь, выражения взаимной и равной любви может существовать лишь между равными. Любовь высшего к нисшему, есть гнет, подавление, презрение, эгоизм, гордость, тщеславие, торжествующее в чувстве величия, основанного на унижении другого. Любовь нисшего к высшему это—унижение, страхи и надежды раба, ждущего от своего господина то счастья, то несчастья.

Таков характер так называемой любви Бога к людям и людей к Богу. Это—деспотизм одного и рабство других.

Что же означают эти слова: любить людей и делать им добро из любви к Богу? Это значит обращаться с ними, как Бог этого хочет. А как хочет он чтобы с ними обращались? Как с рабами.

Бог, по природе своей, вынужден обращаться с ними следующим образом. Будучи сам абсолютным Господином он вынужден рассматривать их как совершенных рабов. Рассматривая их, как таковых, он не может не обращаться с ними как с таковыми. Чтобы освободить их, есть лишь

одно средство: это самоотречение, самоуничтожение, исчезновение. Но это было бы слишком много требовать от его всемогущества. Он еще может, чтобы примирить странную любовь, которую он чувствует к людям, со своей справедливостью, не менее своеобразною, принести в жертву своего единственного сына, как нам рассказывает Евангелие; но отречься и покончить самоубийством из любви к людям, этого он не сделает никогда,—по крайней мере, если не будет вынужден к этому научной критикой. Пока доверчивая фантазия людей позволит ему существовать, он всегда будет абсолютным властителем над рабами. Следовательно, очевидно, что обращаться с людьми по-божески может означать лишь обращение с ними, как с рабами.

Любовь людей „по-божески“ это—любовь их рабства. Я, Божьей милостью бессмертный и целостный индивид, чувствующий себя свободным именно потому, что я раб Бога, я не нуждаюсь ни в каком человеке, чтобы сделать более полными мое счастье и мое материальное и моральное существование. но я сохраняю мои отношения с ними, чтобы повиноваться Богу, и любя из любви к Богу, обращаясь с ними по-божески, я хочу, чтобы они были рабы Бога, как и я сам. Следовательно, если всевышнему Господину угодно избрать меня, чтобы осуществлять на земле его святую волю я сумею заставить их быть рабами. Таков истинный характер того, что искренние и серьезные обожатели Бога называют своей любовью к людям. Это не освобождение их, это—их порабощение для вящшей славы Бога. И таким то образом божественный авторитет превращается в авторитет человеческий, и Церковь создает Государство.

Согласно теории, все люди должны служить Богу именно таким образом, но, как известно, много званных, но мало избранных. И к тому же, если бы все равно были способны выполнить это, то-есть если бы все пришли к той же ступени интеллектуального и морального равенства, святости и свободы в Боге, это самое служение сделалось бы ненужным. Если это необходимо, так лишь потому, что огромное большинство человеческих индивидов не дошло до такой степени; отсюда следует, что эту массу, еще невежественную и грубую, следует любить и обращаться с ней по-божески, то-есть, она должна быть управляема и порабощаема меньшинством святых, которых тем или иным способом Бог никогда не преминет сам выбрать и поставить в привиле-

гированное положение, которое позволит им выполнить этот долг *).

Сакраментальная формула при управлении народных масс для их собственного блага, разумеется, для спасения их душ, если не тел, которою пользуются как святые, так и благородные в теократических и аристократических государствах, а также *интеллигенты* и богачи в государствах

*) В доброе старое время, когда христианская вера, еще не поколебленная и представляемая главным образом римско-католической Церковью, процветала во всем могуществе, Богу совсем не трудно было намечать своих избранников. Считалось общепризнанным, что все государи, великие и малые, царили милостью Бога, если только они не были отлучены. Само дворянство основывало свои привилегии на благословении святой Церкви. Даже протестантизм, могучим образом способствовавший разумеется, против своей воли разрушению веры, оставил по крайней мере в этом отношении, неприкосновенной христианскую доктрину: „Несть власти", вторил он апостолу Павлу, „аще не от Бога". Он даже укрепил власть государя, заявляя, что она исходит непосредственно от Бога, не нуждаясь во вмешательстве Церкви и, напротив, подчиняя Церковь власти государя. Но с тех пор, как философия последнего века в союзе с буржуазной революцией нанесла смертельный удар вере и опрокинула все учреждения, основанные на этой вере, доктрине власти трудно вновь упрочиться в сознании людей. Нынешние государи правда продолжают величать себя царствующими „Божией милостью", но эти слова, некогда имевшие столь полное жизни, столь мощное и реальное значение, ныне рассматриваются *интеллигентными* классами и даже частью самого народа лишь, как устаревшие и банальные фразы, ровно ничего, по существу, не означающие. Наполеон III пытался обновить эту фразу, присоединив к ней другую: „*и волею народа*", которая, прибавленная к первой, либо уничтожает ее и тем самым уничтожается сама, либо обозначает, что все, чего хочет народ, хочет и Бог. Остается узнать, чего хочет народ; и какой орган всего вернее выражает его волю. Радикальные демократы воображают, что этим органам всегда является Собрание, избранное всеобщим голосованием; другие, еще более радикальные, прибавляют к нему *референдум*, непосредственное голосование целым народом каждого нового сколько-нибудь важного закона. Все, консерваторы, либералы, умеренные радикалы и крайние радикалы согласны на том, что народ должен быть управляем либо выбранными им самим, либо навязанными ему правителями и господами, но что во всяком случае он должен иметь правителей и господ. Лишенный разума, он должен предоставить руководство собою тем, кто им обладает.

Между тем как в минувшие века наивно требовали власть во имя Бога, ныне ее доктринеры требуют во имя разума. Власть требуют уже больше не священники павшей религии, но дипломированные священники доктринерского разума и притом в эпоху, когда банкротство этого разума стало очевидным. Ибо никогда еще образованные и ученые люди и вообще так называемые просвещенные классы не выказывали такого нравственного упадка, такой трусости, такого эгоизма и такого полного отсутствия убеждений, как в наши дни. По причине трусости, несмотря на всю свою ученость, они остались глупцами, ничего не понимающими кроме сохранения того, что существует, и безумно надеющимися оста-

доктринерских, либеральных и даже республиканских и основанных на всеобщем избирательном праве, — одна и та же: „*Все для народа, ничего при посредстве народа*". Она означает, что люди святые, благородные или привилегированные, как в отношении научно-развитого интеллекта, так и в смысле богатства, ближе к идеалу или к Богу, как выражаются одни, или к справедливости и истинной свободе, как выражаются другие, гораздо ближе, чем народные массы, и потому имеют священную миссию руководить ими. Жертвуя своими собственными интересами и пренебрегая своими собственными делами, они должны посвятить себя счастью *меньшого брата*, народа.

Принадлежность к правительству не есть удовольствие, но тяжкий долг, — выполняя его, не ищут удовлетворения честолюбия, тщеславия или личной корысти, но лишь возможности посвятить себя общему благу. Поэтому то, без сомнения, так незначительно всегда число соискателей оффициальных должностей, и короли и министры, крупные и мелкие чиновники, принимают власть лишь, скрепя сердце.

новить ход истории грубой силой военной диктатуры, перед которой они ныне позорно распростерлись.

Как некогда представители божественного разума и власти, Церковь и священники, слишком очевидно связали себя с экономической эксплоатацией масс, — что было главной причиной их падения, — так и теперь представители разума человеческого и власти человеческой, Государство, сословие ученых и просвещенные классы слишком очевидно отождествили себя с тем же самым делом жестокой и несправедливой эксплоатации, чтобы они могли сохранить хоть малейшую моральную силу, малейший престиж. Осужденные своей собственной совестью, они чувствуют себя разоблаченными и не имеют другой защиты от презрения, которое, как они сами понимают, они вполне заслужили,—кроме жестоких аргументов организованного и вооруженного насилия. Организация, основанная на трех отвратительных вещах: бюрократии, полиции и постоянной армии,— вот, что представляет собою ныне государство; это видимое тело эксплоатирующего и доктринерского разума привилегированных классов.

На смену этой разлагающейся и умирающей интеллигенции пробуждается и образуется в народных массах новая интеллигенция, молодая, сильная, полная будущности и жизни, еще, конечно, не развитая научно, но жаждущая новой науки, освобожденной от всяких глупостей метафизики и теологии. У этой новой интеллигенции не будет ни дипломированных профессоров, ни пророков, ни священников, но, черпая свою силу в каждом и во всех, она не образует ни новой Церкви, ни нового Государства. Она разрушит всякие следы рокового и проклятого принципа власти, как человеческой, так и божественной, и, возвращая каждому его полную свободу, она осуществит равенство, солидарность и братство человеческого рода. (Примеч. Бакунина).

Таковы, следовательно, в обществе, построенном согласно теории метафизиков, два различных и даже противоположных рода отношений, могущих существовать между индивидами. Во первых—*эксплоатация*, во вторых—*управление*. Если правда, что управлять значит посвящать себя благу тех, кем управляют, то этот второй род отношений находился, действительно, в полном противоречии с первым, с эксплоатацией. Но разберемся в этом хорошенько. Согласно идеалистической—как теологической, так и метафизической теории, эти слова: *благо масс* не могут означать ни их земного благополучия, ни их преходящего счастья. Что значат какие нибудь десятки лет земной жизни в сравнении с вечностью! Следовательно, нужно управлять массами не в виду этого грубого счастья, которое дают нам материальные блага на земле, но в виду их вечного спасения. Материальные лишения и страдания могут быть даже рассматриваемы, как недостаток воспитания, раз доказано, что обилие телесных наслаждений убивает бессмертную душу. Но тогда противоречие исчезает: *эксплоатировать и управлять означает одно и то-же*, одно дополняет другое, служа ему в конце концов и средством и целью.

Эксплоатация и Управление, — два неотделимых друг от друга выражения того, что называется политикой, причем первая дает способы управлять и образует необходимую основу равно как и цель всякого управления, которое в свою очередь гарантирует и легализирует возможность эксплоатировать. С начала истории они составляют, собственно говоря, реальную жизнь Государств: теократических, монархических, аристократических и даже демократических. Раньше, вплоть до великой революции конца XVIII века их тесная связь маскировалась религиозными лойяльными и рыцарскими фикциями; но с тех пор, как грубая рука буржуазии разодрала все довольно, впрочем, прозрачные покровы, с тех пор, как ее революционный вихрь рассеял все ее пустые фантазии, за коими Церковь, Государство, теократия, монархия и аристократия могли так долго и спокойно выполнять все свои исторические бесстыдства; с тех пор, как буржуазия, наскучившая быть наковальней, сделалась в свою очередь молотом, с тех пор, одним словом, как она воздвигла современное Государство, эта роковая связь сделалась для всех раскрытой и даже неопровергаемой истиной.

Эксплоатация это—видимое тело, а правительство это—

душа буржуазного режима. И как мы только что видели, и то и другое в этой столь тесной связи является, как с теоретической, так и с практической точки зрения, необходимым и верным выражением метафизического идеализма, неизбежным следствием той буржуазной доктрины, которая ищет свободу и нравственность индивидов вне общественной солидарности. Эта доктрина приводит к эксплоататорскому управлению небольшого количества счастливцев или избранников и к эксплоатируемому рабству масс и —для всех—к отрицанию всякой нравственности и всякой свободы.

После того, как я показал, как идеализм, исходя из нелепых идей Бога, бессмертия душ, *первоначальной* свободы индивидов и их нравственности, независимых от общества, приводит роковым образом к освящению рабства и безнравственности, я должен показать теперь, как реальная наука, то есть материализм и социализм,—это второе выражение, впрочем, есть лишь правильное и полное развитие первого,—должна точно также необходимо придти к установлению самой широкой свободы индивидов и человеческой нравственности именно потому, что она приняла за исходную точку материальную природу и естественное и первобытное рабство людей и потому, что она тем самым обязывает себя искать освобождения людей не вне, но в самых недрах общества, не вопреки ему, но через него.

(Здесь рукопись обрывается).

СОДЕРЖАНИЕ.

Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ III.

ФЕДЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И АНТИТЕОЛОГИЗМ.

С предисловием Дж. Гильома.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА".
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1920.

Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ III.

Бернские Медведи и Петербургский Медведь.— Речи и Статьи по Славянскому Вопросу.— Народное Дело.—Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы.—Федерализм, Социализм и Антитеологизм.

С предисловием **Дж. Гильома.**



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА".
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1920.

Типография „ГОЛОС ТРУДА“. Петербург.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В начале 1870 г. швейцарская полиция разыскивала молодого революционера Нечаева, русского эмигранта, жившего в Швейцарии: царское правительство обвиняло его в убийстве и мошенничестве и требовало его выдачи. Бакунин прислал мне из Локарно по этому поводу статью, которая появилась в газете Progrés (издававшейся в Локле), 19 февраля 1870 г. и которую я воспроизвожу здесь:

„Повидимому, вся европейская полиция отдала себя теперь в распоряжение русского правительства. Говорят, ведутся очень энергичные розыски в Германии, Швейцарии, Франции и даже в Англии. Кого ищут? Политических заговорщиков? Разумеется, нет, это было бы слишком неблагоразумно, ибо, за исключением германского правительства, которое никогда не переставало открыто оказывать услуги жандармам русского царя, все другие европейские правительства не рискнули бы до такой степени скомпрометировать себя перед своей публикой. Поэтому, русское правительство, уверенное в их добрых намерениях, но понимая трудность их положения, внушило им очень простой способ оказать ему почетным образом требуемую от них услугу.

„Дело идет не о преследовании и выдачи поляков или русских, виновных в политических преступлениях, заявляют нам. О, нет! дело идет о простых убийцах, о мошенниках.—Но кто эти убийцы, эти мошенники? Конечно, все те, кто больше других имел несчастье не понравиться русскому правительству и кто в то же время имел счастье ускользнуть от его отечественных розысков. Они не убийцы и не мошенники, русское правительство это знает лучше, чем кто либо другой, и правительства других стран знают это так же хорошо, как и оно. Но внешность соблюдена и услуга оказана.

„Таким образом, приблизительно шесть или семь месяцев тому назад, вюртембергское правительство выдало русским властям молодого студента,

учившегося в университете в г. Тюбинге, по простому требованию петербургского кабинета. Таким образом, также на днях арестовали в Вене другого русского студента университета этого города, и если он уже не выдан московским властям, то это будет скоро сделано.

„И заметьте, что это либеральное, патриотическое, ультра-германское министерство[1]) оказывает эту услугу русскому правительству. Известно что прусское правительство всегда было поставщиком своего соседа и друга, петербургского медведя. Оно никогда не отказывало ему в жертвах и, еслибы это хищное животное выразило желание поесть мясца свободных немцев, оно с большим удовольствием, без сомнения, доставило бы ему их несколько дюжин.

„Этому не нужно удивляться. Германия во все времена была настоящей родиной культа власти, классической страной бюрократии, полиции и правительственных измен; страной полу-добровольного рабства, скрашенного песнями, речами и мечтами. Идеал всех германских правительств— петербургский трон.

„Больше следует удивляться тому, что сама швейцарская республика нынче исполняет требования русской полиции. Мы видели несколько месяцев тому назад скандальную историю с княгиней Оболенской[2]). Достаточно было петербургскому правительству выразить желание, чтобы федеральные власти поспешили приказать, а кантональные власти привести в исполнение самое возмутительное, самое жестокое нарушение священных прав матери, и это без всякого суда, не потрудившись даже соблюсти ни одной из юридических форм, которые в свободных странах рассматриваются, как необходимая гарантия правосудия и свободы граждан, и при этом проявило такую грубость, какой могла бы позавидовать сама русская полиция.

„В настоящий момент, продолжая оказывать те же любезные услуги петербургскому правительству, либеральные и демократические власти Швейцарии преследуют, говорят, с таким же рвением, какое заставило их так грубо обойтись с княгиней Оболенской и выслать знаменитого Мадзини, польских и русских „разбойников", как их назвал им их всесильный петербургский друг. Недавно женевская полиция пришла с обыском к г. Людовику Бюлевскому, эмигранту, одному из главарей польской демократии, другу Мадзини, и бесспорно одному из наиболее почтенных и уважаемых членов эмиграции, под предлогом посмотреть, не спрятаны-ли у него русские фальшивые кредитки. Но особенно упорно и энергично она ищет и

---

[1]) Министерство г-на де Брест.—Дж. Г.

[2]) История похищения детей княгини Оболенской рассказана в брошюре *Бернские Медведи и Петербургский Медведь*, на страницах 5—8 первого издания (на стр. 10—12 настоящего издания). Подробности об этом деле можно также найти в I-м томе *Интернационала, Документы и Воспоминания*, Джэмс Гильом, стр. 174—175 и стр. 179.

все для того, чтобы угодить петербургскому властелину, некоего Нечаева, повидимому, главу всех этих польских и русских „разбойников“.

„Этот Нечаев—реальное или вымышленное существо—является каким то чудовищным мифом. Приблизительно месяц уже, как все газеты Европы говорят о нем. Если верить петербургским и московским газетам, он был главой ужасного заговора, который только что раскрыли в России и который, повидимому, не перестает интересовать и очень беспокоить царское правительство. Говорили, что он умер. Но вот он теперь воскрес. Должно быть, он воскрес, раз его ищут. Разве только что русское правительство ищет кого нибудь другого под фантастическим именем Нечаева. Но предположим, что Нечаев жив; это—заговорщик, стало быть ни разбойник, ни вор; преступление его,—если он преступник—политическое. Почему же его ищут, как убийцу и вора?—Но, говорят, что он совершил убийство.—Кто это говорит?—Русское правительство.—Но нужно быть действительно очень наивным, чтобы поверить тому, что говорит русское правительство, или очень испорченным человеком, чтобы делать вид, что веришь ему.

„Таким образом, стоит только русскому правительству указать либеральным правительствам Европы на того или другого русского или польского эмигранта, как на убийцу, мошенника или вора, чтобы его ему выдали! Это, слишком удобно, но и слишком опасно, в особенности, потому что это лучший способ применить ко всей либеральной и цивилизованной Европе варварскую систему московского правительства, которое никогда не останавливалось ни перед клеветой, ни перед ложью“.

В марте, Бакунин приехал из Локарно в Женеву, чтобы заняться там, со своим старым другом Огаревым, новой организацией русской революционной пропаганды и начать вновь издавать газету *Колокол* (Александр Герцен только что умер). Во время этого то короткого пребывания в Женеве он и написал, чтобы попытаться поднять общественное мнение Швейцарии против полицейских и правительственных деяний, брошюру, в которой он развил идеи, выраженные в выше приведенной статье. В этой статье он говорит о „петербургском медведе“; брошюру он озаглавил: *Бернские Медведи и Петербургский Медведь* и вложил в уста швейцарского гражданина свои сетования и требования, придумав подзаголовок: *Патриотическая слезница униженного и отчаявшегося швейцарца.*

Когда он возвращался в Локарно, 18 апреля, он остановился у меня в Невшателе и вручил мне свою рукопись, попросив меня, если я не ошибаюсь, напечатать ее в тысяче экземпляров[1]); в то же время он предоставил мне полную свободу исправить ее и сократить.—Не страдая автор-

[1]) Я должен был в августе 1869 г. оставить свои учительские обязанности и в то время заведывал маленькой типографией г. Гильома сына, в Невшателе.

ским самолюбием. Бакунин говорил о себе, что „у него совершенно не было таланта архитектора в литературной области“ и что когда он „построил дом“, нужно чтобы какой нибудь друг оказал ему услугу „разместив в нем окна и двери“ (письмо Герцену, 26 октября 1869 г.)

Брошюра появилась в мае месяце. Письмо Бакунина „к женевским друзьям“, напечатанное в *Письмах*, выпущенным Михаилом Драгомановым и помеченное: „Четверг, 1870 г., Берн“, (как показывает его содержание, оно написано 26 мая 1870 г.), и письмо к Огареву, написанное из Локарно 30 мая, повествуют об усилиях автора оказать давление на швейцарский Федеральный Совет, при посредстве своих друзей Адольфа Рейхеля, Эмиля и Густава Фогт и в особенности Адольфа Фогт, которому он советует послать „двадцать экземпляров своих *Медведей*“ и который „берется распространить их среди влиятельных лиц“. Бакунин указывает в то же время, какие нужно принять меры для быстрого распространения брошюры в Швейцарии[1]) и дает список книжных магазинов в Берне, Цюрихе, Базеле, Аарау, Солере, Люцерне, Фрибурге, Невшателе, Лозанне, Женеве, Лугано и Беллинцоне. Нечаев, который скрывался, ускользнул от полиции. Вместо него арестовали молодого русского эмигранта Семена Серебренникова, которого приняли за него, но которого женевская полиция должна была освободить, когда ошибка была обнаружена.

Известно, каким образом „ультра революционные“ приемы Нечаева заставили Бакунина и Огарева порвать с этим молодым фанатиком (июль 1870 г.), когда они заметили, что Нечаев думал пользоваться ими, как простым орудием. Известно также, что два года спустя, Нечаев, выданный польским шпионом Стемпковским, был арестован в Цюрихе (14 августа 1872 г.) и выдан России (27 октября 1872 г.). Приговоренный к вечной каторге, он умер в 1883 г. в Петропавловской крепости в Петербурге.

Рукопись брошюры *Бернские Медведи и Петербургский Медведь* не сохранилась.

Дж. Г.

---

[1]) „Все наши друзья (в Берне) единодушно требуют, чтобы было об'явлено в газетах о выходе моей брошюры, которую они находят очень удачно составленой, и чтобы она была как можно скорее распространена“

Бернские Медведи и Петербургский Медведь.

Перевод с французского **Л. Гогелия.**

Бернские Медведи и Петербургский Медведь.

Русское правительство правильно судило о нашем Федеральном Совете, осмелившись потребовать у него выдачи русского патриота Нечаева. Все знают, что был дан приказ полиции всех кантонов розыскать и арестовать этого неустрашимого и неутомимого революционера, который, дважды ускользнув от царских когтей, т. е. избежав смерти и предшествующих ей ужасных пыток, вероятно, думал, что, раз он нашел себе убежище в швейцарской республике, он был в безопасности от всяких императорских посягательств.

Он ошибся. Родина Вильгельма Телля, этого героя политического убийства, которого мы и поныне прославляем на наших федеральных празднествах именно за то, что традиция приписывает ему убийство Гесслера, эта республика, не побоявшаяся опасности войны с Францией, чтобы защищать свое „право убежища" против Людовика-Филиппа, требовавшего выдачи принца Людовика-Наполеона, теперешнего императора Франции, и после последнего польского восстания осмелившаяся потребовать от австрийского императора не ареста, а *освобождения* г. Лангиевича, которому она дала право поселиться на ее территории; эта Гельвеция, когда то столь независимая и гордая, теперь управляется Федеральным Советом, который, повидимому, ищет свою честь лишь в жандармских и шпионских услугах, оказываемым им всем деспотам.

Он положил начало своей новой системе политических услуг ярким фактом, который беспощадная история отметит, как образец швейцарского „гостеприимства". Это было изгнание великого итальянского патриота Мадзини, вина которого заключалось в том, что он создал Италию и посвятил всю свою жизнь, сорок лет неутомимой деятельности, служению человечеству. Прогнать Мадзини, значило изгнать из пределов республиканской территории Швейцарии самого гения свободы. Это значило дать пощечину самой чести нашего отечества.

Федеральный Совет не остановился перед этим соображением. Это, правда, *республиканское* правительство, но все таки *правительство*, а всякая политическая власть, как бы она ни называлась и какая бы ни была ее внешняя форма, обладает естественной, инстинктивной ненавистью по отношению к свободе. Ее повседневная практика приводит ее силою вещей к необходимости ограничить, сократить и уничтожить, медленно и постепенно или грубо, с размаху, смотря по обстоятельствам и времени, самостоятельность управляемых ею масс; и это отрицание свободы простирается, везде и всегда, так далеко, как позволяют это политические и социальные условия среды и дух народа.

В этом изгнании Мадзини Федеральным Советом поражает то, что этого даже не требовало итальянское правительство. Это был произвольный акт и как бы букет, преподнесенный итальянскому правительству галантными членами Федерального Совета, которым г. Мелегари, бывший раньше патриотом и итальянским эмигрантом, а теперь являющийся представителем монархии и итальянского *общества* при федеральном правительстве, внушил, что такое доказательство добрых намерений ускорит заключение крупного дела о проведении железной дороги через Сан-Готард.

Если когда нибудь историк вздумает рассказать все общественные и частные дела, которые заключались, велись и решались по поводу проведения железных дорог в Европе, одновременно раззорительных и полезных, перед нами встанет гора мерзостей, выше Мон-Блана.

Федеральный Совет, захотел, без сомнения, способствовать возвышению этой горы, послушав г. Мелегари. Впрочем, изгоняя Мадзини, Федеральный Совет делал, что называется верное дело: он приобретал расположение и заслуживал благородность, всегда столь полезную, крупной соседней монархии, хорошо зная, что общественное мнение и демократическое чувство Швейцарии были так глубоко усыплены или так поглощены обыденными мелкими материальными заботами, что они даже не заметят той пощечины, какую они получают прямо в лицо. Увы! Федеральный Совет показал себя глубоким знатоком состояния наших чувств и нынешних наших нравов. За исключением нескольких редких протестов, республиканцы Швейцарии оставались равнодушными к такому акту, совершенному от их имени.

Это равнодушие общественного мнения придало бодрости Федеральному Совету, который, желая все больше и больше быть приятным деспотическим державам, ничего большего не просит, как продолжать в том же духе. Он это слишком хорошо доказал в деле княгини Оболенской.

Мать семейства, имеющая несчастье быть рожденной в русской аристократической среде и еще большее несчастье быть выданной за русского князя, ханжу, становящегося на колени перед всеми православными попами Москвы и Петербурга и разумеется, падающего ниц перед своим императором, словом, человека с самой что ни на есть рабской душой в этом

оффициальном рабском мире; — эта мать хочет воспитать своих детей в любви к свободе, в уважении к труду и человечеству. С этой целью она поселяется в Швейцарии, в Веве. Конечно, это сильно не нравится петербургскому двору. Говорят с возмущением, с негодованием о демократической простоте, в какой она воспитывает своих детей: их одевают, как буржуазных детей; никакой роскоши ни в квартирной обстановке ни в столе, нет экипажей, нет лакеев, две служанки для всего дома и стол очень простой. Наконец, дети должны учиться с утра до вечера, и учителей просят обращаться с ними, как с простыми смертными. Рассказывают, что великая княгиня Мария Лихтенберг, сестра императора и бывшая приятельница княгини Оболенской, плакала от ярости, когда говорила об этом. Сам император заволновался. Несколько раз он приказывал княгине Оболенской вернуться немедленно в Россию. Она отказывалась. Что же тогда делает. Его Величество? Он приказывает князю Оболенскому, который—все это знали,—давно уже не жил со своей женой, воспользоваться своими правами мужа и отца и силою притащить если не мать, то по крайней мере, детей.

Русский князь охотно повиновался Его Величеству. Все состояние семьи принадлежало княгине, а не ему: если она будет заперта в какой нибудь русский монастырь или об'явлена эмигранткой, не повинующейся воли Его Величества, имущество ее будет конфисковано и, как естественный опекун ее детей, он становился администратором всего ее состояния. Дело было превосходное. Но как совершить этот акт грубого насилия в среде свободного и гордого народа, в одном из кантонов швейцарской Республики? Ему отвечают, что нет ни свободы, ни республики, ни гордости, ни швейцарской независимости, которые устояли бы против воли Его Величества, императора всероссийского

Было это дерзким высокомерием? Увы! нет. Была лишь дана справедливая оценка печальной истине. Император приказывает своему великому канцлеру князю Горчакову, этот приказывает русскому уполномоченному в Берне, этот последний приказывает,—впрочем, нет, надо говорить вежливо—он рекомендует, он просит Федеральный Совет швейцарской республики. Федеральный Совет посылает князя Оболенского с наилучшими рекомендациями к лозанскому кантональному правительству: это правительство отправляет его, снабдив своими приказами, к префекту города Веве: а в Веве все республиканские власти давно уже ждали князя Оболенского, горя нетерпением принять его, как подобает принимать русского князя, когда он является командывать именем своего царя. Действительно, все уже было приготовлено *давно*, благодаря заботам, разумеется бескорыстным, адвоката Серезоль, в настоящий момент члена Федерального Совета.

Будем справедливы, адвокат Серезоль проявил в этом деле большое рвение, громадную энергию и поразительную ловкость. Благодаря ему,

неслыханный акт бюрократического насилия мог совершиться в республиканской Швейцарии тихо и без всяких препятствий. В одно прекрасное утро, извещенные накануне о приезде князя Оболенского префект, мировой судья и жандармы, с г. Серезоль во главе, ждали на вокзале прибытия августейшего поезда. Они простерли так далеко свою любезность, что приготовили даже необходимые экипажи для проектируемого похищения и, как только князь приехал, все отправились в жилище княгини Оболенской, несчастной женщины, совершенно не подозревавшей о грозе, которая собиралась обрушиться на ее голову.

Тут произошла сцена, которую мы отказываемся описывать. Швейцарские жандармы, очевидно, желая отличиться перед русским князем, оттолкнули кулаками княгиню, которая хотела проститься со своими детьми. Князь Оболенский был в восторге, он видел себя в России. Г. Серезоль командовал. Дети, больные, были в отчаянии. Жандармы схватили их и бросили в экипажи, которые увезли их.

Таково было дело княгини Оболенской. За несколько месяцев до этого события, столь печального для чести нашей республики, княгиня советовалась, говорят, с несколькими швейцарскими юристами и все ответили ей, что ей нечего было бояться в этой стране, где свобода каждого гарантирована законом и где никакая власть ничего не может предпринять против кого бы то ни было, швейцарца или иностранца, без суда и без предварительного разрешения швейцарского трибунала. Так и должно бы было быть в стране, которая называется республикой и которая принимает в серьез свободу. Однако, в деле княгини Оболенской произошло нечто совершенно обратное. Рассказывают даже, что когда княгиня, при виде этого совсем казачьего вторжения в свое жилище республиканских жандармов, хотела было потребовать защиты у швейцарского правосудия, адвокат Серезоль ответил ей грубыми шутками, вслед за которыми жандармы сейчас же принялись действовать кулаками... и да здравствует швейцарская свобода!

Дело г-жи Лимузэн служит новым образчиком этой свободы. Известно, что императорское правительство Франции заключило договор с нашим федеративным правительством о выдаче уголовных преступников. Ясно, что со стороны правительства Наполеона III, этот договор есть ничто иное, как возмутительная западня, а со стороны Федеративного Совета, заключившего его, и Федеративного Собрания, утвердившего его, акт непростительной слабости. Ибо под предлогом преследования уголовных преступников, министры Наполеона III могут требовать теперь выдачи всех врагов своего господина.

Революция — не детская игра, не академические дебаты, где наносятся смертельные удары лишь тщеславию, и не литературное состязание, где проливаются лишь чернила. Революция, это — война, а когда идет война, происходит разрушение людей и вещей. Конечно, очень печально для человечества, что оно не изобрело более мирного способа прогресса, но до

сих пор каждый новый шаг в истории рождался лишь в крови. Впрочем, реакция не может упрекать в этом отношении революцию. Она всегда проливала крови больше, чем эта последняя. Доказательством служат парижские избиения в июне 1848 г. и в декабре 1851 г., дикие репрессии деспотических правительств других стран в эту же эпоху и позднее, не говоря уже о десятках, сотнях тысяч жертв, которыми сопровождаются войны, являющиеся неизбежным следствием и как бы периодической лихорадкой политического и социального состояния данных стран, называемого реакцией.

Невозможно, стало быть, быть истинным революционером или реакционером, не совершая актов, которые с точки зрения уголовного или гражданского кодекса законов, являются проступками или даже преступлениями, но которые, с точки зрения реальной и серьезной практики реакции или революции, лишь неизбежное зло.

В таком случае, за исключением безобидных говорунов, произносящих речи, и писателей, лишь пишущих книги, кто из политических борцов не подпадает под этот договор о выдаче, недавно заключенный между Францией и Швейцарией?

Если бы преступный декабрьский переворот не удался и если бы принц Людовик-Наполеон, в сопровождении своих достойных сподвижников, этих Морни, Флери, Сэнт-Арно, Барош, Персиньи, Пьетри и многих других, убежал в Швейцарию, залив кровью Париж и всю Францию, и, если бы победоносная Республика потребовала у своей сестры Швейцарской Республики выдачи всех этих господ, выдала ли бы их Швейцария? Разумеется, нет. Однако, если когда нибудь кто нибудь так нарушил все человеческие и божеские законы, совершил столько преступлений против всевозможных кодексов законов, так это они: банда жуликов и разбойников, дюжина Робертов Макэр из элегантного общества, ставших солидарными, благодаря общим порокам и общему несчастью, раззорившиеся, с погибшей репутацией, запутывшиеся в долгах, люди которые, чтобы вернуть себе прежнее положение и состояние, не отступили перед одним из самых ужасных преступлений, известных в истории. Вот, в нескольких словах, вся истина о декабрьском государственном перевороте.

Разбойники одержали победу. Уже восемнадцать лет они царствуют безраздельно и бесконтрольно над самой прекрасной страной в Европе, и которую Европа с большим основанием считает центром цивилизованного мира. Они создали оффициальную Францию по своему образу и подобию. Они оставили почти нетронутыми с внешней стороны все учреждения, но изменили совершенно их суть, переделав все под стать своим нравам, согласно своему собственному духу. Все старые слова остались. Попрежнему говорят о свободе, справедливости, достоинстве, праве, цивилизации и человечестве; но смысл этих слов совершенно изменился в их устах, каждое слово означает в действительности совершенно обратное тому, что оно должно было бы выражать: совсем как шайка бандитов, употребляю-

щих самые пристойные выражения для обсуждения самых преступных планов и актов. Не правда ли, таков еще и теперь характер Французской империи.

Есть ли, например, что нибудь более мерзкое, более гнусное, чем императорский Совет, состоящий, как сказано в конституции, *из всех знаменитостей страны?* Ведь, все знают, что это дом инвалидов, всех участников преступления, всех усталых и насыщенных декабристов. Есть ли что нибудь позорнее правосудия империи, всех этих трибуналов и этих судей, которые считает своим единственным долгом поддерживать во чтобы то ни стало государственную несправедливость?

Так вот, в интересах одного из этих сенаторов декабрьского преступления, единственно на основании приговора, вынесенного одним из этих трибуналов, правительство Наполеона III, имея в руках надувательский договор, заключенный им с Швейцарией, требует теперь выдачи г-жи Лимузэн. Оффициальный предлог, а всегда нужен предлог, — лицемерие, как говорит пословица, есть дань уважения порока добродетели — оффициальный предлог, выставляемый французским министром, чтобы поддержать свое требование, приговор, произнесенный трибуналом города Бордо против г жи Лимузэн за нарушение тайны корреспонденции.

Восхитительно, не правда ли? Империя, эта наивысшая нарушительница всего, что считается ненарушимым, правительство Наполеона III преследует бедную женщину, которая якобы нарушила тайну корресподенции! Как будто бы оно когда нибудь делало что либо другое!

Но, что позволено государству, запрещено личности. Таков государственный догмат. Это сказал Макиавелли и история и практика всех правительств, доказывают, что он был прав. Преступление есть необходимое условие самого существования государства, оно составляет, стало быть, его исключительную монополию, откуда вытекает, что личность, дерзнувшая совершить преступление, вдвойне виновна: во-первых она виновна против человеческой совести, во-вторых, и в особенности, она виновна против государства, присвоив себе одну из его самых драгоценных привилегий.

Мы не будем спорить здесь о ценности этого прекрасного принципа, основы всей государственной политики. Мы лучше спросим, действительно ли доказано, что г-жа Лимузэн нарушила тайну корреспонденции? Кто это утверждает? Императорский трибунал. И вы действительно думаете, что можно поверить приговору, произнесенному императорским трибуналом? Да, скажут, всякий раз, когда у этого трибунала не будет никакого интереса лгать. Прекрасно, но в данном случае существует этот интерес и *императорское правительство само взялось поведать об этом федеральному правительству.*

Это—интерес г-на Туранжэн, сенатора империи и крупного аристократа, без сомнения, раз он поднимает на ноги все силы неба и земли,

епископов, министра Франции, Федеральный Совет нашей республики, вплоть до жандармов Ваттского кантона, чтобы помешать своему племяннику жениться на г-же Лимузэн.

При старом строе, во Франции, когда нужно было защитить *честь* какой нибудь знатной семьи, министр давал в ее распоряжение бланк с тайным приказом об аресте. Снабженный этим ужасным орудием, судебный пристав хватал виновных, мужчину и женщину, любовника и любовницу, мужа и жену, и запирал их, отдельно друг от друга, в подземелье Бастилии. Ныне у нас строй оффициальной свободы, строй лицемерия, приказ об аресте называется дипломатической нотой и роль судебного пристава выполняется Федеральным Советом швейцарской республики.

Племянник сенатора империи, недостойный член этого могучего и знатного рода Туранжэн, женится на г-же Лимузэн! Какой ужасный скандал! Тут есть чем возмутиться честным сердцам наших честных членов Федерального Совета. Впрочем, разве все сенаторы мира не солидарны между собой? Такую же услугу, какую оказывает теперь Швейцария сенатору империи, Франция может оказать в один прекрасный день члену швейцарского Федерального Совета. Таким образом, честь громких фамилий всех стран будет спасена и неравные браки, эта проказа, которая раз'едает теперь аристократический мир, станут всюду невозможными.

Императорское правительство настолько не сомневалось в добрых чувствах нашего республиканского правительства, что для того, чтобы ускорить его административное вмешательство, оно ему откровенно созналось, *мы это знаем из верного источника*, что в этом деле суть была вовсе не в нарушении тайны корреспонденции, что это было только предлогом, а суть заключалась в нечто гораздо более важном; дело шло о чести семьи императорского сенатора Туранжэн.

Поэтому, мы видели, как охотно Федеральный Совет и те же самые жандармы, которые вызвали восхищение русского князя, отдали себя в распоряжение г-на Туранжэн, чтобы помочь ему удовлетворить свою аристократическую месть. Не вина властей, всегда столь *исполнительных*, Ваттского кантона, если молодая пара, без сомнения уведомленная кем нибудь, сбежала во Фрибургский кантон и не вина федерального Совета, если кантональное правительство Фрибурга, больше дорожа достоинством и независимостью Швейцарии, чем он, еще не выдало виновных императорскому и сенаторскому правосудию.

Особенно нас поражает роль некоторых швейцарских газет в этом постыдном деле. Наши так называемые либеральные газеты, которые взяли на себя миссию защищать свободу против посягательств на нее демократии, не считают себя обязанными защищать ее против грубого нарушения ее деспотизмом. Они боятся силы снизу и проклинают ее, но они благословляют и призывают всей душой силу сверху. Все проявления народной свободы им ненавистны; наоборот, они любят свободное проявление власти,

у них культ власти, потому что, происходя от бога или дьявола, всякая власть, силою присущей ей необходимости, становится естественной покровительницей исключительных свобод привилегированного мира. Толкаемые этим странным либерализмом, во всех возникающих вопросах они всегда принимают сторону угнетателей против угнетенных.

Таким образом, мы видели, что Journal de Genève, этот главный оруженосец либеральной партии у нас, горячо одобрил изгнание Мадзини, похвалил рабскую услужливость Федерального Совета и казацкую грубость властей Ваттского кантона в деле княгини Оболенской. Теперь эта газета готовится доказать, что сенатор Туранжэн и Федеральный Совет правы, первый требовать, а второй приказать выдачу этой бедной г-жи Лимузэн.

Она готовится к этому, как всегда, путем клеветы. Это превосходное оружие, более верное, чем ружье, любимое оружие католических и протестантских иезуитов. Однако, повидимому, г-жа Лимузэн дает мало поводов к клевете, так как эта газета, всегда очень хорошо осведомленная, благодаря своим связям с полицией и правительствами всех стран, сумела найти против нее только одно обвинение: г-жа Лимузэн старше своего мужа, племянника сенатора Туранжэн!

Не правда ли, ясное доказательство большой развращенности? Женщина, выходящая замуж за человека, моложе себя и даже не являясь выгодной партией, не принося ему с собой крупного состояния! Ведь, это почти что развращение несовершеннолетнего! И подумайте при этом, какого несовершеннолетнего! Племянника сенатора Наполеона III. Ясно, что, это очень безнравственная женщина, очень опасная, и Швейцарская Республика не должна терпеть у себя подобного чудовища.

И большинство наших газет повторяет глупо, подло: „Эта женщина не заслуживает симпатии общества!“ А почем вы знаете, милостивые государи? Вы ее знаете, вы часто встречали ее, о редакторы, столь же правдивые, как и добродетельные? Кто ее обвинители? Правительство, дипломатия, один сенатор и трибунал Наполеона III, т. е. квинтэссенция торжествующей и циничной безнравственности. И это основываясь на подобных свидетельских показаниях, вы, республиканцы и представители свободного народа, бросаете грязью в бедную женщину, преследуемую французским деспотизмом и всеми господами Серезоль нашего Федерального Совета! Разве вы не чувствуете, о, безмозгные и бесстыдные сплетники, что эта грязь останется на вас, любезничающих со всеми правительствами, изменниках свободе, жалких могильщиках независимости и достоинства нашего отечества?

Но вернемся к делу русского патриота Нечаева.

По распоряжению федерального правительства, полиция разыскивает его во всех кантонах. Дан приказ арестовать его. Но если его арестуют, что с ним сделают? Неужели правительство в самом деле решится его выдать русскому царю? Мы дадим ему совет: пусть оно лучше бросит его

в медвежью яму в Берне. Это будет откровеннее, честнее, короче и, главное, человечнее.

К тому же, это будет вполне заслуженным наказанием для Нечаева. Он поверил в швейцарское гостеприимство, швейцарские справедливость и свободу. Он думал, что раз Швейцария является республикой, она может испытывать только чувство негодования и отвращения к царской политике. Он принял в серьез басню о Вильгельме Телле. Он был обманут республиканской гордостью наших речей, которые мы произносим на наших федеральных и кантональных празднествах, и он не понял, неосторожный молодой человек, что у нас республика чисто буржуазная и что в натуре современной буржуазии любить прекрасные вещи только в прошлом, а в настоящем преклоняться лишь перед тем, что выгодно и полезно.

Республиканская добродетель обходится очень дорого. Практика независимости и национальной гордости, принятая в серьез, может стать очень опасной. Рабская услужливость по отношению к великим деспотическим державам бесконечно выгоднее. Впрочем, великие державы действуют так, что им невозможно противостоять. Если вы не повинуетесь им, они начинают угрожать вам, и угрозы их серьезны. Чорт возьми! У каждой из них более полу-миллиона солдат, которые могут нас раздавить. Но если только вы уступите им и докажете свое доброе расположение, они расточают перед вами самые нежные комплименты, и больше, чем комплименты: благодаря финансовой системе, разоряющей их народы, великие державы очень богаты. Жандармы Ваттского кантона знают кое что об этом, и кошелек князя Оболенского тоже.

Очутившись перед такой дилеммой, Федеральный Совет не мог колебаться. Его практический и осторожный патриотизм склонил его на сторону услужливой политики. Какое ему дело, впрочем, до этого Нечаева! Станет он рисковать, ради его прекрасных глаз, вызвать царский гнев и подвергнуть бедную крошечную Швейцарию мести императора всей России! Он не может колебаться между этим неизвестным молодым человеком и самым могущественным монархом земли. Он не вмешивается в их дело. Монарх требует его голову, нужно выдать его. Впрочем, ясно, что Нечаев крупный преступник. Разве он не восстал против своего законного императора и не признался в своем письме [1]) что он революционер?

Федеральный Совет является правительством; как таковое, он должен иметь естественные симпатии ко всякому правительству, какова бы ни была его форма, и столь же естественную ненависть к революционерам всех стран. Если бы это зависело только от него, он живо бы очистил швейцарскую территорию от всех этих авантюристов, которые, к сожалению

---

[1]) Это письмо было напечатано в феврале 1870 г. в следующих газетах: Marseillaise, в Париже, Internationale, в Брюсселе, Volksstaat, в Лейпциге и Progrès, в Локле. — Дж. Г.

наполняют ее в настоящий момент. Но тут есть серьезное препятствие: чувство швейцарского достоинства, которое еще живо, великие исторические традиции и естественные и глубокие симпатии нашего республиканского народа к героям и мученикам за свободу. Наконец, швейцарский закон, который гарантирует гостеприимство всем политическим эмигрантам и защищает их против преследований деспотов.

Федеральный Совет еще не чувствует себя достаточно сильным, чтобы сломить это препятствие, но он умеет ловко обойти его. Договор о выдаче за уголовные преступления и проступки, каковой почти все европейские правительства спешат заключить между собою, в виду близкой международной войны, реакции против революции, представляет для него ве... ленное средство в этом отношении. Сначала распускается клевета, а ... том действует карательная сила закона. Власти делают вид, что ве... лживым обвинениям, поднимаемым против какого нибудь политического эмигранта правительством, которое всегда лгало, потом заявляют швейцарском... республиканскому обществу, что они преследуют этого человека не за какое нибудь политическое преступление, а за преступление уголовного характера. Таким способом, Нечаева превратили в убийцу и мошенника.

Кто утверждает, что Нечаев уголовный преступник? Русское правительство. И наш милый честный Федеральный Совет настолько верит всем утверждениям русского правительства, что он не требует от него даже судебных доказательств, одного его слова достаточно. Впрочем, он прекрасно знает, что, в случае, если бы судебные доказательства стали необходимы, достаточно царю сделать знак и русские суды выставят против этого несчастного Нечаева самые фантастичные обвинения и произнесут самые невозможные приговоры. Он, стало быть, хотел избавить царское правительство от этого бесполезного труда и, довольствуясь простым его словом, дал приказ арестовать русского патриота, как убийцу и как мошенника, фабриковавшего фальшивые кредитные билеты.

Эти несчастные русские фальшивые кредитки служили предлогом для производства обысков у некоторых эмигрантов в Женеве. Известно было, что у них не найдут даже и следа хотя бы одной такой кредитки, но без сомнения, таким способом надеялись напасть на какую нибудь переписку политического характера, которая, неизбежно, скомпрометировала бы массу лиц в России и Польше и раскрыли бы революционные планы этого ужасного Нечаева. Не нашли ничего и покрыли себя позором, вот и все. Но нечего было с таким экстра-республиканским рвением искать следов переписки, бумаги и письма, которые никоим образом не могли интересовать швейцарскую республику? Хотели таким образом обогатить библиотеку Федерального Совета? Это мало вероятно. Значит, их искали для того, чтобы передать потом русскому правительству: откуда ясно следует, что женевская кантональная полиция, следуя примеру полиции Ваттского кан-

тона и повинуясь приказу того же Федерального Совета, превратилась в жандармерию всероссийского царя.

Утверждают даже, что г. Камперио, умный государственный деятель женевского кантона, умыл себе руки в этом деле, как Пилат. Он был в отчаянии, что ему пришлось исполнять функции, которые ему были противны, но он должен был подчиниться точным предписаниям Федерального Совета. Я спрашиваю себя, поступил ли бы, мог ли бы поступить иначе на его месте г. Джэмс Фази, также умный человек и к тому же, как известно, крупный революционер? Я убежден, что нет. Бывший одним из главных сторонников системы политической централизации, которая с 1848 г. подчиняет автономную деятельность кантонов центральной власти Федерального Совета, он не мог бы избежать последствий этой системы. Достаточно было бы, чтобы Федеральный Совет приказал, чтобы он, так же, как и г. Камперио, исполнил, nolens volens, роль русского жандарма.

Таков наиболее очевидный результат нашей крупной победы 1848 г. Эта политическая централизация, созданная радикальной партией во имя свободы, убивает свободу. Достаточно, чтобы Федеральный Совет уступил угрозе или поддался подкупу какой нибудь иностранной державы, чтобы все кантоны изменили свободе. Достаточно, чтобы Федеральный Совет приказал, и все кантональные власти превратятся в жандармов деспотов. Отсюда следует, что старый режим независимости кантонов гораздо лучше, гарантировал свободу и национальную независимость Швейцарии, чем современная система централизации.

Если в некоторых прежде очень реакционных кантонах свобода сделала значительный прогресс за последнее время, то это вовсе не благодаря новым полномочиям, какими конституция 1848 г. облекла федеральные власти, а единственно благодаря умственному развитию, благодаря ходу времени. Весь прогресс, совершенный с 1848 г. в федеральной области — прогресс экономического порядка, как напр., введение единой монеты, единого веса и меры, крупные общественные работы, торговые договоры и т. д.

Нам скажут, что экономическая централизация может быть достигнута только путем политической централизации, что одна заключает в себе другую, что обе необходимы и благотворны в одинаковой степени. Нисколько. Экономическая централизация,—существенное условие цивилизации, создает свободу. Политическая же централизация убивает ее, уничтожая, в пользу правительства и правящих классов, собственную жизнь и самодеятельность населения. Концентрация политической власти может дать только рабство, ибо свобода и власть абсолютно исключают друг друга. Всякое правительство, даже самое демократическое — естественный враг свободы и, чем более оно централизовано, чем сильнее, тем оно становится более угнетающим. Впрочем, это истины, столь простые и ясные, что стыдно их повторять.

Если бы швейцарские кантоны были еще автономны, Федеральный Совет ни имел бы ни права ни силы превратить их в жандармов иностранных держав. Разумеется, были бы кантоны очень реакционные. А разве таких не существует теперь? Ест и кантоны, в которых приговаривают к наказанию плетьми людей, дерзающих отрицать божественность Иисуса Христа, и федеральная власть не вмешивается [1]. Но наряду с этими реакционными кантонами были бы другие кантоны, широко проникнутые духом свободы, и Федеральный Совет не в силах был бы остановить их прогресс. Эти кантоны не только не были бы парализованы в своем развитии реакционными кантонами, но, наоборот, увлекли бы и их вслед за собой. Ибо свобода заразительна, и лишь одна свобода, а не правительства — творит свободу.

Современное общество настолько убеждено в той истине, что всякая политическая власть, каковы бы ни были ее происхождение и форма, стремится неизбежно к деспотизму, что во всех странах, где оно немного освободилось, оно поспешило подчинить правительства, даже выдвинутые революцией и выбранные народом, насколько возможно строгому контролю. Все спасение свободы оно поставило в зависимость от реальной и серьезной организации контроля народного мнения и народной воли над всеми людьми, облеченными политической властью. Во всех странах, где существует представительный образ правления, а Швейцария является одной из таких стран, свобода, стало быть, может быть реальной лишь при условии, если этот контроль действительный. Наоборот, если этот контроль только фиктивный, народная свобода становится неизбежно также простой фикцией.

Было бы нетрудно доказать, что нигде в Европе нет действительного народного контроля. На этот раз мы ограничимся Швейцарией и посмотрим, как он применяется в этой стране. Во-первых, потому что Швейцария нам ближе, а во-вторых потому, что, будучи в настоящее время единственной демократической республикой в Европе, она осуществила, в некотором роде, идеал верховной народной власти, так что то, что верно для нее, должно быть с гораздо большим основанием верно для всех других стран.

Наиболее передовые кантоны Швейцарии, в период 1830 г., искали гарантию свободы в введении всеобщего избирательного права. Это было вполне законное домогательство пока наши Законодательные Советы были назначаемы только классом привилегированных граждан, пока существовало различие в отношение избирательного права между городом и деревней, между патрициями и народом, исполнительная власть, выбранная этими

---

[1] Один рабочий, типограф Рииккер, был приговорен в 1865 г. исправительным трибуналом кантона Ури к наказанию плетьми за то, что он написал и выпустил брошюру, в которой он отрицал догмат о божественности Христа. — Дж. Г.

Советами, также как и законы, выработанные в них, не могли иметь иной цели, как обеспечить и регламентировать господство аристократии над страной. Нужно было, следовательно, в интересах народной свободы, свергнуть этот строй и заменить его строем, в котором верховная власть принадлежала бы народу.

Когда было введено всеобщее избирательное право, подумали, что свобода народа теперь обеспечена. Но это была большая иллюзия, и, можно сказать, что сознание этой иллюзии и привело, в некоторых кантонах — к падению и во всех — к деморализации, в настоящий момент столь очевидной, радикальную партию. Радикалы вовсе не хотели обмануть народ, как это утверждает наша так называемая либеральная пресса, но они обманулись сами. Они были действительно убеждены, когда обещали народу свободу путем всеобщего избирательного права, что это будет так и, сильные этим убеждением, они подняли народные массы и свергли аристократические правительства. Теперь, наученные опытом и практикой власти, они потеряли эту веру в самих себя и в свой собственный принцип и поэтому, они побеждены и так низко пали.

И действительно, дело казалось так просто и так естественно: раз законодательная и исполнительная власть будут избираться непосредственно народом, они должны стать выражением народной воли, а что же может дать эта воля, как не свободу и народное благоденствие?

Вся ложь системы представительного правительства покоится на той фикции, что власть и законодательная палата, выбранные народом, непременно должны, или даже только могут, представлять действительную волю народа. Народ, как в Швейцарии, так и везде, хочет инстинктивно, неизбежно две вещи: наивозможно большую сумму материальных благ и наибольшую свободу в своей жизни и деятельности, т. е. наилучшую организацию своих экономических интересов и полное отсутствие всякой власти, всякой политической организации, — т. к. всякая политическая организация приводит фатально к отрицанию его свободы. Такова сущность всех народных инстинктивных стремлений.

Стремления же всех, кто управляет, как тех, кто составляет законы, так и тех, в чьих руках находится исполнительная власть, по самой причине их исключительного положения, диаметрально противоположны. Каковы бы ни были их чувства и демократические намерения, они не могут смотреть на общество с высоты своего положения иначе, чем опекун смотрит на опекаемого. Но между опекуном и опекаемым равенства не может быть. На одной стороне чувство превосходства, необходимо появляющееся, благодаря занимаемому более высокому положению, на другой — сознание своего более низкого положения, вытекающее из превосходства опекуна, обладающего исполнительной или законодательной властью. Когда есть политическая власть, есть господство. А там, где существует господство, более или менее значительная часть общества необходимо находится в подчиненном поло-

жении, те же, кто находится в подчиненном положении, естественно ненавидят тех, кто господствует, тогда как те, кто господствует, должны необходимо подавлять и, следовательно, угнетать тех, над кем они господствуют.

Такова вечная история политической власти с тех пор, как эта власть появилась в мире. Этим и об'ясняется, каким образом люди, которые были самыми красными демократами, самыми ярыми бунтарями, когда они были в массе управляемых, становятся чрезвычайно умеренными консерваторами, как только попадают в ряды правительства. Обыкновенно такую перемену приписывают измене. Это ошибка; главной причиной ее является перемена перспективы и положения. Не будем забывать, что положение и пред'являемые им требования всегда сильнее ненависти или злой воли человека.

Проникнутый этой истиной, я без боязни могу высказать убеждение, что если завтра будут установлены правительство и законодательный совет, парламент, состоящие исключительно из рабочих, эти рабочие, которые в настоящий момент являются такими убежденными социальными демократами, после завтра станут определенными аристократами, поклонниками, смелыми и откровенными или скромными, принципа власти, угнетателями и эксплоататорами. Мой вывод таков: *Нужно совершенно уничтожить, в принципе и фактически, все, что называется политической властью, потому что пока будет существовать политическая власть, будут всегда господствующие и подчиненные, господа и рабы, эксплоататоры и эксплоатируемые. По уничтожении политической власти нужно ее заменить организацией производительных сил и хозяйственной жизни страны.*

Вернемся к Швейцарии. У нас, как и везде, правящий класс совершенно отличный от управляемых масс, стоит в стороне от них. В Швейцарии, как и в других странах, как бы широко не проводился принцип равенства в наших конституциях, правит буржуазия, а рабочий народ, включая сюда крестьян, подчиняется ее законам. У народа нет ни свободного времени ни необходимого образования, чтобы заниматься делами управления. Буржуазия, имея то и другое, обладает, не по праву, а фактически, исключительной привилегией управлять страной. Политическое равенство, стало быть, как в Швейцарии, так и в других странах, лишь наивная фикция, ложь.

Но раз'единенная с народом условиями своей экономической и общественной жизни, каким образом буржуазия может осуществить в управлении и в наших законах чувства, идеи и волю народа? Это невозможно, и повседневный опыт показывает нам, действительно, что как в законодательной деятельности, так и в управлении, буржуазия руководствуется своими собственными интересами и стремлениями, мало заботясь об инте-

ресах и стремлениях народа. Правда, все наши законодатели, также как и все члены наших кантональных правительств, выбраны, прямо или косвенно, народом. Правда, в дни выборов наиболее гордые буржуа, если только они честолюбивы, принуждены ухаживать за Его Величеством верховным народом. Они являются к нему с низким поклоном и как будто не имеют другой воли, кроме воли народа. Но это только кратковременная неприятность. Когда выборы закончены, каждый возвращается к своим обыденным занятиям: народ к своему труду, а буржуазия к своим доходным делам и политическим интригам. Они почти не встречаются больше, не знаются друг с другом. Каким образом народ, обремененный работой и не имея понятия о большей части поднимаемых вокруг него вопросов, будет контролировать политические акты своих выборных? И разве не ясно, что контроль избирателей над своими представителями лишь простая фикция? А так как народный контроль в системе представительного правительства является единственной гарантией народной свободы, то ясно, что эта свобода тоже одна только фикция.

Чтобы устранить это неудобство, радикалы-демократы цюрихского кантона провели новую политическую систему, *референдум*, или прямое народное законодательство. Но и *референдум* только паллиатив, новая иллюзия, ложь. Чтобы вотировать, с полным знанием дела и вполне свободно, законы, которые ему предлагаются или которые его толкают предложить самому, нужно, чтобы народ обладал достаточным количеством времени и необходимым образованием, чтобы изучить их, обдумать обсудить; он должен будет превратиться в громадный парламент в открытом поле. Это редко возможно и только в тех случаях, когда предлагаемый закон вызывает всеобщее внимание, затрагивает интересы всех граждан. Эти случаи чрезвычайно редки. Большею частью предлагаемые законы имеют специальный характер и нужно иметь привычку к политическим и юридическим отвлеченностям, чтобы уловить их настоящий смысл. Они не вызывают внимательного отношения к себе народа, который их не понимает и голосует наобум, доверяя своим любимым ораторам. Взятые каждый в отдельности, эти законы кажутся слишком незначительными, чтобы очень интересовать народ, но все вместе они образуют сеть, которая его опутывает. Таким образом, несмотря на *референдум*, он остается, называясь верховным народом, орудием и скромным служителем буржуазии.

Мы видим, что в системе представительного правительства, даже исправленной *референдумом*, народный контроль не существует; а так как без этого контроля не может быть серьезной свободы для народа, то мы заключаем, что наша политическая свобода, наше народное самоуправление—ложь.

То, что происходит ежедневно во всех швейцарских кантонах, подтверждает эту печальную истину. В каком кантоне народ принимает действительное и прямое участие в составлении законов, которые фабрику-

ются в его Большом Совете и в выработке постановлений его Малого Совета [1]? В каком кантоне этот якобы верховный народ не третируется своими собственными выборными, как вечный несовершеннолетний? Где он не принужден повиноваться приказам исходящим сверху, причины и цели которых он по большей части не знает?

Большая часть дел и законов, и много важных дел и законов, находящихся в прямом отношении к благосостоянию и материальным интересам Коммуны, проходят через голову народа, он не замечает их, не интересуется ими, не вмешивается в них. Его компрометируют, связывают, иногда раззоряют, он не замечает этого. У него нет ни привычки ни необходимого времени, чтобы изучить всю систему, и он дает полную свободу действий своим выборным, которые, разумеется, служат интересам своего класса, своего мира, а не его, и самое большее искусство которых состоит в том, чтобы представить народу свои мероприятия и законы в самом безобидном и наиболее популярном виде. Система демократического представительства—система вечного лицемерия и вечной лжи. Она нуждается в народной тупости и основывает все свои победы на этой тупости.

Но каким бы равнодушным и терпеливым не проявляло себя население наших кантонов, у него есть, однако, некоторые идеи, некоторый инстинкт свободы, независимости и справедливости, которых нельзя касаться и которые ловкое правительство остерегается затрагивать. Когда народное чувство задето в этих пунктах, составляющих так сказать, *святая святых* и все политическое сознание швейцарского народа, он пробуждается от своей обычной спячки и поднимает бунт, а когда он бунтует, он сметает все: конституцию и правительство, Малые и Большие Советы. Все прогрессивное движение Швейцарии, до 1848 г., происходило путем кантональных революций. Революция, всегда существующая возможность этих народных восстаний, спасительный страх, внушаемый ими, такова еще и теперь единственная форма контроля, которая существует действительно в Швейцарии, единственная граница, останавливающая разгул честолюбивых и корыстных чувств наших правителей.

Это было также великим оружием, которым пользовалась радикальная партия для того, чтобы свергнуть наши конституции и наши аристократические правительства. Но после того, как она так счастливо использовала его, она сломала его, чтобы какая нибудь новая партия не могла воспользоваться им, в свою очередь, против нее. Как она его сломала? Уничтожив автономию кантонов, подчинив кантональные правительства федеральной власти. Отныне, кантональные революции—*это единственное средство, каким население кантонов располагало, чтобы производить действительный и серьезный контроль над сво-*

---

[1]) Малый Совет или Государственный Совет—кантональная исполнительная власть, кантональная законодательная власть называется Большим Советом.—Дж. Г.

ими правительствами и чтобы давать отпор деспотическим стремлениям, присущим всякому правительству, этот спасительный бунт народного чувства—стали невозможны. Они бессильны против федерального вмешательства.

Предположим, что население какого нибудь кантона, потерявшее терпение, восстает против своего правительства, что тогда случится? По конституции 1849 г., Федеральный Совет не только имеет право, он обязан послать в этот кантон столько войск, взятых в других кантонах, сколько понадобится, для восстановления общественного порядка и чтобы вернуть силу законам и конституции данного кантона. Войска не выйдут из кантона, пока конституционный и законный порядок не будет вполне восстановлен, т. е., называя откровенно вещи своими именами, пока *режим, идеи и люди, пользующиеся симпатиями Федерального Совета, не восторжествуют окончательно*. Таков был конец последнего восстания Женевского Кантона в 1864 г.

В этот раз радикалы на себе могли оценить последствия системы политической централизации, введенной ими самими в 1848 г. Благодаря этой системе, республиканское население кантонов имеет всесильного верховного властелина: *федеральную власть* и для защиты свободы эту то власть оно и должно контролировать и в случае необходимости свергнуть ее. Мне легко будет доказать, что за исключением совсем необычайных обстоятельств, ни этот контроль ни это свержение никогда не будут возможны, если только весь швейцарский народ, все кантоны не восстанут одновременно, движимые одной общей могучей страстью.

Посмотрим, каким образом составлена федеральная власть? Она состоит из Федерального Собрания—законодательной власти и Федерального Совета—исполнительной власти. Федеральное Собрание состоит из двух палат: Национальная Палата, выбранная населением кантонов, и Государственная Палата, в состав которой входят по два представителя от каждого кантона, выбранные почти везде кантональными Большими Советами [1]). Федеральное Собрание избирает из своей среды семь членов исполнительного федерального Совета. Из всех этих выборных учреждений самым демократическим и наиболее народным является, конечно, национальный Совет, так как он избирается непосредственно народом. Однако, надеюсь, никто не будет оспаривать, что он не является и не должен быть значительно более демократическим, чем кантональные Большие Советы или законодательные палаты кантонов. И это по очень простой причине.

Народ, невежественный и индиферентный, благодаря экономическому положению, в каком он находится еще и теперь, знает хорошо только то, что его очень близко касается. Он хорошо понимает свои повседневные

---

[1]) Точное наименование обеих палат, которые вместе составляют—Швейцарское Федеральное Собрание. *Национальный Совет и Государственный Совет*.—Дж. Г.

интересы, свои обыденные дела. Дальше для него начинается неизвестное, неопределенное и опасность политических мистификаций. Так как он обладает значительной дозой практического инстинкта, он редко ошибается, например, в коммунальных выборах. Он более или менее хорошо знает дела своей коммуны, очень ими интересуется и умеет выбрать из своей среды людей, способных вести их. В этих делах контроль возможен, ибо они происходят на глазах у избирателей и касаются самых близких интересов их повседневного существования. Поэтому, коммунальные выборы всегда и везде самые лучшие, наиболее действительным образом отвечают чувствам, интересам и воли народа.

Выборы в Большие Советы, а также и в Малые Советы, там где они производятся непосредственно самим народом [1]), уже гораздо менее совершенны. Политические, юридические и административные вопросы, разрешение и хорошая постановка которых составляют главную задачу этих Советов, большею частью неизвестны народу, переходят за предел его повседневной практики, почти всегда и везде ускользают от его контроля; и он должен поручать его людям, которые, живя в сфере, почти совершенно отличной от его, ему почти неизвестны. Если он и знает их, то только по речам, которые они произносят,. но не в их личной жизни. Но речи обманчивы, в особенности, когда они имеют целью завербовать народное расположение и когда предметом их являются вопросы, которые народ знает очень плохо и часто совсем их не понимает.

Отсюда следует, что кантональные Большие Советы уже гораздо дальше—и это неизбежно должно быть так,—от народного чувства, чем коммунальные Советы. Однако нельзя, сказать, что они совершенно чужды ему. Благодаря долгой практики свободы и привычке швейцарского народа читать газеты, наше швейцарское население знает, по крайней мере, в общих чертах свои кантональные дела и более или менее интересуется ими.

Наоборот, оно совершенно незнакомо с федеральными делами и не придает им никакого значения, откуда следует, что его совершенно не интересует знать, кто его представляет и что его делегаты [2]) найдут нужным делать в Федеральном Собрании.

---

[1]) В 1870 г. Государственный Совет (кантональная исполнительная власть) был выбран непосредственно народом в Женевском кантоне и в сельских коммунах Базельского кантона; в других кантонах—за исключением нескольких кантонов, в которых существует прямое народное законодательство и в которых народ сам собирается в кантональные собрания или Land-gemeinde—он был выбран Большим Советом. В настоящее время избрание Государственного Совета народом в большинстве кантонов является правилом. И в результате, исполнительная власть приобрела еще большую силу и коммуны и граждане еще больше подвергаются правительственному произволу, чем раньше.—Дж. Г.

[2]) Под словами „его делегаты" Бакунин подразумевает членов Национального Совета, т. е. Палаты, избранной народом, в которой кантоны представлены пропорционально количеству их населения.— Дж. Г.

Государственный Совет, состоящий из членов, избранных советами кантонов [1]), еще дальше от народа, чем эта первая Палата, которая избрана, по крайней мере, непосредственно народом.

Он представляет квинтэссенцию буржуазного парламентаризма. Он весь занят политическими абстракциями и исключительными интересами наших правящих классов.

Избранный Федеральным Собранием, составленным таким образом, Федеральный Совет, в свою очередь, необходимо должен быть не только чуждым, но и враждебным чувству независимости, справедливости и свободы, которое живет в нашем народе. За исключением республиканских форм, которые остаются прежними, но которые только замаскировывают власть, которой он пользуется без всякого другого контроля, кроме контроля Федерального Собрания, в наиболее важных и наиболее деликатных делах Швейцарии, Федеральный Совет мало чем отличается от авторитарных правительств Европы. Он симпатизирует им и разделяет с ними их стремление к притеснению и угнетению.

Если народный контроль в кантональных делах чрезвычайно затруднителен, в федеральных делах он совершенно невозможен. Эти дела, впрочем, совершаются исключительно в высших официальных сферах, через голову нашего народа, так что большею частью этот последний их совершенно не знает.

В деле договора о выдаче, заключенного недавно с императорской Францией, в деле изгнания Мадзини, акта насилия, совершенного над княгиней Оболенской, угрозы выдачи г-жи Лимузэн и преследования Нечаева, за которым полиция всех кантонов гонится по приказу Федерального Совета, во всех этих делах, так близко касающихся нашего национального достоинства, нашего национального права и даже нашей национальной независимости, спрашивали ли мнения швейцарского народа? Если бы его спросили, дал ли бы он свое согласие на такие меры, которые противны всем нашим традициям свободы и гостеприимства и так злополучны для нашей чести? Конечно, нет. Каким же образом в стране которая называется демократической республикой и которой полагается управляться самостоятельно, федеральная власть может давать подобные распоряжения и наша кантональная полиция их исполнять?.

В этом виновата пресса, скажут нам, миссия которой заключается в том, чтобы заинтересовывать швейцарский народ во всех вопросах, могущих касаться его благосостояния, свободы или национальной независимости, и которая во всех этих случаях не исполнила своего долга. Это

[1]) В настоящее время, в некоторых кантонах члены Государственного Совета (их два в каждом кантоне, независимо от количества населения) избираются уже не Большим Советом, а самим народом. Впрочем, дело от этого идет не лучше.—Дж. Г.

верно, поведение прессы было плачевно. Но где причина этого? Причина заключается в том, что вся швейцарская пресса, аристократическая или радикальная,—буржуазная пресса и что за исключением нескольких газет, издаваемых рабочими организациями, у нас еще не существует народной прессы в собственном смысле слова. Было время, когда радикальная пресса гордилась, что она представляла стремления народа. Время это прошло. Радикальная пресса, также как и партия, имя которой она носит, представляет в настоящий момент лишь личное честолюбие своих главарей, которые хотели бы занять уже занятые должности и места по поговорке: „уходи с этого места, чтобы я сел на него". Впрочем, давно уже радикализм отказался от своего революционного сумасбродства, как консервативная или аристократическая партия, с своей стороны, отказалась от всех отживших стремлений. Между двумя партиями собственно нет почти никакого различия и мы скоро увидим, что они сольются в одну партию, консервативную, партию буржуазного господства, оказывающую отчаянное сопротивление революционным и социалистическим стремлениям народа. Нужно ли удивляться после этого, что радикальная пресса не выполнила того, что она не считает больше своим долгом? Будем ей благодарны уже за то, что она открыто не приняла сторону правительства.

Но предположим, что тем или иным способом, путем прессы или каким нибудь другим путем, внимание населения одного или нескольких кантонов обращено на какую нибудь меру, приказанную Федеральным Советом и приведенную в исполнение кантональными правительствами. Что оно может сделать, чтобы остановить приведение в исполнение этой меры? Ничего. Низвергнуть правительство? Вмешательство федеральных войск сумеет помешать ему в этом. Оно будет протестовать на своих народных собраниях? Но Федеральный Совет не имеет никаких дел с народными собраниями, он не признает других границ своей власти, кроме приказов, изданных федеральными Палатами. Но чтобы эти последние приняли сторону возмущенного населения, нужно чтобы такое же возмущение охватило, по крайней мере, половину кантонов Швейцарии. Чтобы свергнуть федеральную власть, Федеральный Совет и в том числе и Законодательные Палаты, нужно больше, чем восстание нескольких кантонов, нужна национальная революция в Швейцарии.

Мы видим, что для федеральной власти народный контроль не существует. Учреждение этой власти увенчало государственное здание республики, было смертью швейцарской свободы. Поэтому, что мы видим? Консервативная или аристократическая партия во всех кантонах, после того, как она вела отчаянную войну против системы политической централизации, созданной в 1848 г. радикальной партией, начинает теперь совсем открыто присоединяться к ней. В настоящий момент, она горячо

отстаивает Федеральный Совет против Фрибургского Государственного Совета в деле г жи Лимузэн. Что это означает?

Это просто доказывает, что аристократическая партия, наученная опытом, поняла, что радикальная партия, гораздо более консервативная и более правительственная, чем она сама, поставив федеральную власть выше автономий кантонов, создала великолепное орудие, не свободы, а правительства, всесильное средство, чтобы укрепить господство богатой буржуазии во всех кантонах и чтобы поставить спасительную преграду против угрожающих стремлений пролетариата.

Но, если система политической централизации, вместо того, чтобы увеличить сумму свободы, которой пользовалась Швейцария, стремится, наоборот, ее совсем уничтожить, то, может быть, она, по крайней мере, укрепила и увеличила независимость швейцарской республики по отношению к иностранным державам?

Нет, она ее значительно уменьшила. Пока кантоны были автономны, федеральная власть, еслибы даже она и захотела каким нибудь недостойным поступком заслужить благосклонное отношение к себе иностранной державы, она не имела никакого права, ни даже возможности это сделать. Она не могла ни заключать договоров о выдаче, ни приказывать кантональной полиции гнаться за политическими эмигрантами, ни заставлять кантоны выдавать их деспотам. Она не посмела бы требовать от Тессинского кантона выслать Мадзини, ни от Фрибургского кантона выдачи г-жи Лимузэн. Имея чрезвычайно ограниченную власть над кантональными правительствами, федеральное правительство, с другой стороны, не должно было отвечать за их поступки перед иностранными державами, и когда эти последние требовали от него чего нибудь, оно обыкновенно ссылалось на конституцию и выставляло свое бессилие. Кантоны были автономны, и оно не имело права им приказывать. Представители держав должны были сноситься непосредственно с кантональными правительствами и, когда дело шло о каком нибудь политическом эмигранте, достаточно было, чтобы он переехал в соседний кантон и иностранный министр должен был начинать сначала свои хлопоты. Дело тянулось без конца: утомившись, дипломатия обыкновенно отказывалась от преследования. Право убежища, традиционное и священное право Швейцарии, оставалось нетронутым и никакое иностранное правительство не имело права быть в претензии за это на федеральное правительство, которое было сильно против всех, именно своим бессилием.

Теперь федеральная власть сильна. У нее есть неоспоримое право приказывать кантонам во всех международных делах; этим самым оно сделалось ответственным перед иностранной дипломатией. Эта последняя не имеет никаких дел с кантональными правительствами, так как она может отныне направлять свои требования федеральному правительству, которое, не имея больше возможности выставлять свое бессилие, которое по консти-

туции не существует больше, должно или пойти навстречу требованию, которое ему предъявляют, или же, отстаивая свое право и чувство национального достоинства, единственным представителем которого оно теперь является перед всеми иностранными державами, дать отказ. Но, если в большинстве случаев оно не может, не совершив низости, согласиться на то, что от него требуют эти державы, нужно признать, с другой стороны, что его отказ спасая наше национальное достоинство, может подвергнуть республику большой опасности.

Таково трудное положение, какое конституция 1848 г. создала Федеральному Совету. Централизуя политическую ответственность нашей маленькой республики по отношению к крупным государствам Европы и этим самым значительно увеличивая ее, она не могла в то же время значительно усилить нашу военную мощь. Однако, это увеличение материальной силы было необходимо для того, чтобы Федеральный Совет мог с достоинством поддерживать новые права, которыми он был облечен. Напротив, хотя количество наших войск значительно увеличилось и, вообще, наша армия гораздо лучше теперь организована и дисциплинирована, чем это было в 1848 г., не подлежит сомнению, что наша сила сопротивления, единственная сила, какую может иметь такая маленькая республика, как наша, уменьшилась, и это по двум причинам: во первых, потому что военная мощь крупных государств увеличилась в гораздо большей пропорции, чем у нас; и во-вторых, и в особенности, потому что сила нашей национальной обороны гораздо более покоится на интенсивности республиканских чувств, которые живут в нашем народе и которые могут при случае поднять весь его, как одного человека, чем на искусственной организации наших регулярных войск; и потому еще, что следствием системы полицейской централизации, которой мы имеем счастье пользоваться уже двадцать два года, является в Швейцарии, как и везде, уменьшение свободы и, стало быть, также медленное, но верное исчезновение той силы народной страсти и энергии, которая составляет истинную основу нашей национальной мощи, единственную гарантию нашей независимости.

Облеченный большой властью во внешней политике, но не обладая значительной организованной силой, на которую он мог бы опереться, и слишком далекий от народа, по самой конституции своей, чтобы черпать в нем естественную силу, Федеральный Совет должен был бы по крайней мере, иметь в своей среде наиболее преданных, наиболее умных и наиболее энергичных патриотов Швейцарии. Тогда была бы еще некоторая вероятность, что он не совсем окажется неспособным справиться с своей трудной миссией. Но так как, в силу той же самой конституции, Федеральный Совет осужден быть ничем иным, как квинтэссенцией и высшей гарантией буржуазного консерватизма Швейцарии, есть причины опасаться, что в среде его всегда будет больше таких людей, как Серезоль

чем таких как Стэмпфли[1]). Мы должны, стало быть, ожидать, что наша свобода, наше республиканское достоинство и наша национальная независимость будут с каждым днем уменьшаться.

Перед Швейцарией теперь стоит дилемма.

Она не может хотеть вернуться к прежнему режиму политической автономии кантонов, когда она была конфедерацией политически отдельных и независимых друг от друга государств. Восстановление подобной конституции имело бы неизбежным следствием обеднение Швейцарии, сразу остановило бы громадный экономический прогресс, который она совершила с тех пор как новая централистическая конституция опрокинула преграды, которые отделяли и изолировали друг от друга кантоны. Экономическая централизация составляет одно из существенных условий развития богатств, а эта централизация была бы невозможна, если бы не была уничтожена политическая автономия кантонов.

С другой стороны, двадцати двух летний опыт показывает нам, что политическая централизация также гибельна для Швейцарии. Она убивает ее свободу, подвергает опасности ее независимость, делает из нее любезного и услужливого жандарма всех могущественных деспотов Европы. Уменьшая свою моральную силу, она подвергает опасности свое материальное существование.

Что же делать тогда? Вернуться к политической автономии кантонов невозможно. Сохранить политическую централизацию нежелательно.

Поставленная таким образом дилемма имеет только одно решение: *уничтожение всякого политического государства, как кантонального так и федерального, превращение политической федерации в экономическую, национальную и между-народную федерацию.*

К этой цели явно идет теперь вся Европа.

А пока Швейцария, благодаря своей новой политической конституции, теряет с каждым днем свою независимость и свободу. 1869 и 1870 годы станут эпохой в истории нашего национального падения. Никогда ни одно швейцарское правительство не выказывало столько презрения к нашим республиканским чувствам и такую рабскую уступчивость нахальным и высокомерным требованиям великих иностранных держав как этот Федеральный Совет, который имеет в своей среде таких людей, как адвокат Серезоль.

Никогда также швейцарский народ не проявлял такого постыдного равнодушия к позорным актам, совершаемым от его имени.

---

[1]) Жак Стэмпфли, бернский радикал, который, ставши членом и председателем Федерального Совета, проявил в 1856 г. большую энергию в конфликте с Пруссией, по поводу независимости Невшателя.—Дж. Г.

Чтобы показать, как народ, уважающий себя и ревниво оберегающий свою национальную независимость и внутреннюю свободу, действует в подобных обстоятельствах, я закончу эту брошюру, цитируя два факта, происшедшие в Англии.

После покушения Орсини на Наполеона III, французское правительство осмелилось потребовать от Англии выдачи Бернара, французского п литического эмигранта, обвиняемого в соучастии в покушении, и изгнав нескольких других французских граждан, между прочим Феликса Пиа, который в брошюре, выпущенной после покушения, преславлял цар убийство. Лорд Пальмерстон, который ухаживал за Наполеоном III, оче хотел удовлетворить его желание. Но он встретил непреодолимое препя ствие со стороны английского закона, который ставит всех иностранц под защиту публичного права и который делает из Англии для всех пр следуемых какой бы то ни было страны и каким бы то ни было прав тельством страну верного убежища. Однако, лорд Пальмерстон был чрезвычай популярным министром. Полагаясь на эту популярность и желая оказа услугу соседа своему другу Наполеону III, он решился предложить парл менту новый закон об иностранцах, который, еслибы он был принят, л шил бы всех политических эмигрантов гарантии публичного права и отд бы их на произвол правительства.

Но едва он успел предложить свой билль, как во всей Англии по нялась буря. Вся страна покрылась громадными митингами. Весь англ ский народ принял сторону иностранцев против своего любимого мин стра. При таком громадном взрыве народного негодования лорд Па мерстон пал. Бернар, Феликс Пиа и многие другие были оправда английским судом присяжных, и лондонские рабочие их приветствовали п единодушном одобрении всей Англии[1]).

Наполеон принужден был проглотить эту пилюлю. А вот друг факт:

В 1863 г. итальянское правительство, сговорившись с французск правительством, затеяло великолепное дело. Нужно было скомпромети вать, погубить великого итальянского патриота Мадзини. Для этого правительство Виктора Эммануэля послало в Лугано, где находился тогда Мадзини, некоего Грэко, итальянского полицейского агента. Грэко попросил свидания у Мадзини, чтобы об'явить ему о своем намерении убить Наполеона III. Уведомленный своими друзьями, Мадзини сделал вид, что ничего не понимает. По приезде в Париж, Грэко был сейчас же арестован французской полицией и над ним был назначен суд. Он заявил, что его послал в Париж Мадзини, чтобы убить Наполеона III. На основании

---

[1] В настоящее время дело изменилось. Англия посылает на каторжные работы итальянских и русских политических эмигрантов, осмелившихся напечатать апологию цареубийства.—Дж. Г.

этого ложного обвинения французское правительство потребовало еще раз от правительства английской королевы выдачи или, по крайней мере, изгнания Мадзини. Но Мадзини уже выпустил брошюру, в которой он утверждал и доказывал, что Грэко был провокатор, которого послали к нему, чтобы завлечь его в гнусную западню. Это дело обсуждалось в парламенте, и вот, что сказал министр королевы, лорд Джон Рессель: „французское правительство утверждает, что Мадзини поручил Грэко убить императора. Но Мадзини утверждает, наоборот, что Грэко был подослан к нему обоими правительствами, чтобы скомпрометировать его. Между этими вумя противоречивыми утверждениями у нас не может быть колебания. азумеется, мы должны верить Мадзини“.

Вот, как охраняют, даже при монархическом строе, свободу, достоинство и независимость своей страны. А Швейцария республиканская рана, выступает жандармом то Италии, то Франции, то Пруссии, то русского царя.

Но, скажут, Англия — сильная страна, тогда как Швейцария, какой бы она ни была республикой, страна сравнительно очень слабая. Ее слабость советует ей уступать, так как, еслибы она вздумала слишком проявиться требованиям, даже несправедливым и даже оскорбительным, великих иностранных держав, она погибла бы.

Этот аргумент кажется весьма веским и, тем не менее, это совершенно неверно, ибо, именно благодаря своим постыдным уступкам и своей низкой услужливости, Швейцария погибнет.

На чем покоится в настоящее время независимость Швейцарии?

Три элемента составляют основу ее независимости. Во-первых, право людей, историческое право и вера в договоры, которые гарантирует нейтралитет Швейцарии.

Во-вторых, взаимная зависть соседних великих держав, Франции, Пруссии и Италии, из которых, правда, каждая хотела бы забрать себе частицу Швейцарии, но ни одна не хотела бы, чтобы две другие поделили ее между собою, если она не получит или не возмет себе, по крайней мере, такую же долю, как они.

Наконец, в третьих, горячий патриотизм и республиканская энергия швейцарского народа.

Нужно ли доказывать, что первый элемент, уважение к договорам и правам, не имеет решительно никакого значения? Мы знаем, что мораль оказывает чрезвычайно слабое влияние на внутреннюю политику государств и никакого на их внешнюю политику. Высший закон государства, это сохранение во что бы то ни стало государства. А так как все государства, с тех пор, как они существуют на земле, осуждены на вечную борьбу: борьбу против собственного народа, который они притесняют и разоряют, борьбу против всех иностранных государств, из которых каждое сильно лишь при условии слабости другого; и так как они могут уцелеть в этой

борьбе, лишь увеличивая каждый день свою силу, как внутри страны, против своих собственных подданных, так и внешнюю—против соседних держав, то отсюда следует, что высший закон государства, это усиление своей мощи в ущерб внутренней свободы и внешней справедливости.

Такова, неприкрашенная, единственная мораль, единственная цель государства. Оно поклоняется самому Богу, лишь постольку, поскольку он является его исключительным Богом, санкцией его могущества и того, что оно называет своим правом, т. е. права существовать во что бы то ни стало и постоянно увеличиваться в ущерб всем другим государствам. Все, что служит этой цели, достойно, законно, добродетельно. Все, что вредит ей—преступно. Государственная мораль, стало быть, есть извращение человеческой справедливости, человеческой морали.

Эта трансцендентная, экстра-человеческая и этим самым противу-человеческая мораль государств не является плодом одной только испорченности людей, исполняющих государственные функции. Можно сказать скорее, что испорченность этих людей есть естественное, необходимое следствие института государств. Эта мораль лишь развитие основного принципа государства, неизбежное выражение сущности государства. Государство есть ничто иное, как отрицание человечества; это -ограниченная совокупность людей, которая хочет занять его место и хочет навязать ему себя, как высшую цель, которой все должно служить, все должно подчиняться.

Это было естественно и понятно во времена древности, когда самая идея человечества была неизвестна, когда каждый народ поклонялся своим исключительно национальным богам, которые ему давали право на жизнь и смерть всех других народов. Человеческое право существовало тогда лишь для граждан государства. Все, что было вне данного государства, было обречено на разграбление, избиение и рабство.

Теперь это уже не так. Идея человечества становится все сильнее и сильнее в цивилизованном мире и даже, благодаря развитию и возростающей легкости сообщения между людьми и благодаря влиянию, еще более материальному, чем моральному, цивилизации на варварские народы, она начинает проникать даже в сознание этих последних. Эта идея—невидимая сила века, с которой, теперешние силы, государства, должны считаться. Они не могут добровольно подчиниться ей, так как это подчинение было бы равносильно с их стороны самоубийству, ибо торжество человечества может осуществиться только путем разрушения государства. Но они не могут также отрицать ее и открыто выступить против нее, так как, сделавшись слишком сильной теперь, она может их убить.

При такой тяжелой альтернативе, у государств остается один выбор: лицемерие. Они делают вид, что уважают идею человечества, говорят и действуют только во имя ее и каждый день ее нарушают. Не нужно им ставить это в вину. Они не могут поступать иначе, так как их поло-

жение стало такое, что они могут уцелеть только в том случае, если будут лгать. У дипломатии нет другой миссии.

Поэтому, что мы видим? Всякий раз, когда какое нибудь государство хочет об‘явить войну другому государству, оно выпускает манифест, обращенный не только к своим собственным подданным, но ко всему миру, в котором оно, выставляя все право на своей стороне, силится доказать, что оно живет только интересами человечества и стремится только к миру и что, проникнутое этими благородными и мирными чувствами, оно долго страдало втихомолку, но что возрастающая вопиющая несправедливость его врага заставляет его, наконец, обнажить меч. Оно клянется в то же время, что не желая никаких материальных приобретений и не стремясь к увеличению своей территории, оно прекратит эту войну тотчас же после того, как будет восстановлена справедливость. Его противник отвечает подобным же манифестом, в котором, конечно, выставляет право, справедливость интересы человечества и все благородные чувства на своей стороне. Оба эти манифеста написаны одинаково красноречиво, оба пылают одинаковым благородным гневом, и как тот, так и другой искренни: т. е. оба бесстыдно лгут, и лишь одни глупцы попадаются на их удочку.

Благоразумные люди, все, у кого есть некоторый политический опыт, не дают даже себе труда читать их. Наоборот, они стараются раскрыть, какие интересы толкают этих двух противников на войну и взвесить силы того и другого, чтобы угадать ее исход. Это доказывает, что моральные соображения не играют здесь никакой роли.

Право людей, договоры, регулирующие отношения между государствами, лишены всякой моральной санкции.

В каждую определенную эпоху истории они являются материальным выражением равновесия, вытекающего из взаимного антагонизма государств. Пока будут существовать государства, не будет мира. Будут только передышки, более или менее длинные, перемирия, заключенные государствами, этими вечными воюющими сторонами. И как только какое нибудь государство почувствует себя достаточно сильным, чтобы нарушить это равновесие в свою пользу, оно не замедлит это сделать. Вся история доказывает нам это.

Было бы, стало быть, большим безумием с нашей стороны основывать нашу безопасность на вере в договоры, которые гарантируют независимость и нейтралитет Швейцарии. Мы должны основать ее на более действительном фундаменте.

Антагонизм интересов и взаимная зависть государств, окружающих Швейцарию, представляют, правда, гораздо более серьезную гарантию, но еще очень недостаточную. Совершенно верно, что ни одно государство не может занести руку на Швейцарию, так чтобы другие государства не вмешались сейчас же, и можно быть уверенным, что раздел Швейцарии не может произойти в начале европейской войны, когда каждое государство,

еще неуверенное в своем успехе, в своих интересах будет скрывать свои честолюбивые виды. Но этот раздел может быть совершен в конце войны в пользу победивших государств, и даже в пользу побежденных, как вознаграждение за другие территории, которые эти последние могут быть принуждены уступить. Такие случаи бывали.

Предположим, что великая война, которую нам предсказывают каждый день, разразится, наконец, между Францией, Италией и Австрией, с одной стороны, и Пруссией и Россией — с другой. Если победит Франция, кто может помешать ей завладеть романской Швейцарией и дать Тессин Италии? Если возьмет верх Пруссия, кто может помешать ей наложить руку на ту часть немецкой Швейцарии, на которую она так давно зарится, сохраняя право, если это ей покажется необходимым, за Францией занять, в вознаграждение, по крайней мере, часть романской Швейцарии и за Италией взять Тессинский кантон?

Конечно, уж эти государства не почувствуют вдруг признательность за жандармские услуги, оказанные им Федеральным Советом до войны. Нужно быть очень наивным, чтобы рассчитывать на признательность государства. Признательность, это чувство, а чувства не имеют ничего общего с политикой, у которой нет других побуждений, кроме собственных интересов. Мы должны хорошо проникнуться той идеей, что симпатии или антипатии, какие мы можем внушить нашим страшным соседям, не могут иметь ни малейшего влияния на нашу национальную безопасность. Будут ли они любить нас и полны признательности к нам, если они найдут, что раздел Швейцарии возможен, они это сделают. Будут ли они нас ненавидеть всеми фибрами своей души, если они убеждены в невозможности раздела Швейцарии между собою, они нас не тронут. Следовательно, нам нужно создать эту невозможность. Но так как эта невозможность не может быть основана на дипломатических расчетах, она может существовать лишь в республиканской энергии швейцарского народа.

Таков единственный действительный и серьезный фундамент нашей безопасности, нашей свободы, нашей национальной независимости. Не тем, что мы будем затуманивать, сглаживать наши республиканские принципы, не тем, что мы будем трусливо просить деспотические державы продолжать позволять нам оставаться среди монархических государств единственной республикой в Европе, не тем, что мы будем стараться заслужить их доброе расположение своей постыдной услужливостью, мы спасем Швейцарию,—нет. Мы спасем ее, подняв высоко наше республиканское знамя, провозгласив наши принципы свободы, равенства и международной справедливости, став открыто центром пропаганды и внимания для народов и предметом уважения и ненависти для всех деспотов.

И во имя нашей национальной безопасности, также как и во имя нашего республиканского достоинства мы должны протестовать против гнусных, беспримерных, пагубных актов нашего Федерального Совета.

Речи и Статьи по Славянскому Вопросу.

Речи и Статьи по Славянскому Вопросу.

I.

Речь, произнесенная 29 Ноября 1847 г. в Париже на банкете в годовщину польского восстания 1830 г.[1]).

Господа,

Настоящая минута для меня очень торжественна. Я русский и прихожу на это многочисленное собрание, которое сошлось, чтоб праздновать годовщину польского восстания, и которого одно присутствие здесь есть уже род вызова, угроза и как бы проклятие, брошенное в лицо всем притеснителям Польши; — я прихожу на него, господа, одушевленный глубокою любовью и непоколебимым уважением к моему отечеству.

Мне не безызвестно, насколько Россия не популярна в Европе. Поляки смотрят на нее, не без основания, быть может, как на одну из главных причин их несчастий. Люди независимые в других странах видят в столь быстром развитии ее могущества опасность, постоянно растущую, для свободы народов. Повсюду имя русского является синонимом грубого угнетения и позорного рабства. Русский, во мнении Европы, есть ни что иное, как гнусное орудие завоевания в руках ненавистнейшего и опаснейшего деспотизма.

Господа, — не для того чтоб оправдывать Россию от преступлений, в которых ее обвиняют, не для того чтоб отрицать истину, взошел я на эту трибуну. Я не хочу пробовать невозможное. Истина становится более, чем когда либо, нужною для моего отечества.

---

[1]) По тексту, напечатанному в газете Флокона и Ледрю-Роллэна La Réforme 1847, 14 Decembre.

И так, да — мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства человеческого. Мы живем под отвратительным деспотизмом, необузданном в его капризах, неограниченном в действии. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость народов. Нельзя вообразить положение более несчастное и более унизительное.

Извне наше положение не менее плачевно. Будучи пассивными исполнителями мысли, которая для нас чужая, воли, которая так же противна нашим интересам, как и нашей чести, мы страшны, ненавидимы, я хотел даже сказать, почти презираемы, потому что на нас повсюду смотрят, как на врагов цивилизации и человечества. Наши повелители пользуются нашими руками, для того чтоб сковать мир, чтоб поработить народы, и всякий успех их есть новый позор, прибавленый к нашей истории.

Не говоря о Польше, где с 1772 и особенно с 1831 г. мы позорим себя каждый день жестокими насилиями, гнусностями, которым нет имени, — какую только несчастную роль не заставляли нас играть в Германии, в Италии, в Испании, даже во Франции, повсюду, куда наше вредоносное влияние могло только проникнуть!

После 1815 г. было ли хоть одно благородное дело, которое бы мы не подавляли, хоть одно дурное дело, которое бы мы не поддерживали, хоть одна великая несправедливасть политическая, в которой мы бы не были подстрекателями или соучастниками? — Вследствие фатальности, поистине плачевной, и гибельной прежде всего для самой России, эта Россия, с самого начала ее поднятия до чина первостепенного государства, стала поощрением к преступлению и угрозою всем святым интересам человечества. Благодаря этой ненавистной политике наших государей, русский, в оффициальном смысле слова, значит раб и палач!

Вы видите, господа, — я вполне сознаю свое положение; и все таки я являюсь здесь, как русский, — не несмотря на то, что я русский, но потому что я — русский. Я прихожу с глубоким чувством ответственности которая тяготеет на мне, равно как и на всех других личностях из моего отечества, так как честь личная нераздельна от чести национальной, без этой ответственности, без этого внутреннего союза между нациями и их правительствами, между личностями и нациями, не было бы ни отечества, ни нации. (Аплодисменты).

Этой ответственности, солидарности в преступлении никогда, господа, я не чувствовал так больно, как в эту минуту; потому, что годовщина, которую вы сегодня празднуете, господа, для вас — великое воспоминание, воспоминание святого восстания и геройской борьбы, воспоминание об одной из прекраснейших эпох вашей национальной жизни. (Продолжительные аплодисменты). Вы все присутствовали при этом великолепном возбуждении народном, вы принимали участие в этой борьбе, вы были в ней деятелями и героями. В этой святой войне, казалось, вы развили, распространили,

истощили весь энтузиазм, какой великая душа польская содержит в себе! Подавленные численною силою вы, наконец, пали. Но воспоминание об этой эпохе, на веки памятной, осталось записанным пламенными буквами в ваших сердцах; вы все вышли возрожденные из этой войны: возрожденные и сильные, закаленные против искушений несчастья, против печалей изгнания, полные гордости за ваше прошлое, полные веры в ваше будущее!

Годовщина 29 ноября, господа, для вас не только великое воспоминание, но еще и залог будущего освобождения, будущего возврата вашего в ваше отечество (Аплод.).

Для меня, как для русского, это годовщина позора; да, — великого позора национального! Я говорю это громко: война 1831 г. была с нашей стороны войной безумной, преступной, братоубийственной. Это было не только несправедливое нападение на соседний народ, это было чудовищное покушение на свободу брата. Это было более, господа: со стороны моего отечества это было политическое самоубийство. (Аплод.). Эта война была предпринята в интересе деспотизма и ни коим образом не в интересе нации русской, — ибо эти два интереса абсолютно противоположны. Освобождение Польши было бы нашим спасением; если бы вы стали свободны, мы бы стали также; вы не могли бы ниспровергнуть пут царя польского, не поколебав трона императора России... (Аплод.). Мы дети одной породы, и наши судьбы нераздельны, наше дело должно быть общим. (Аплод.).

Вы это хорошо поняли, когда вы написали на ваших революционных знаменах эти русские слова: „за нашу и за вашу вольность". Вы это хорошо поняли, когда, в самый критический момент борьбы, вся Варшава собралась в один день, под влиянием великой братской мысли отдать честь публично и торжественно нашим героям, нашим мученикам 1825 г., Пестелю, Рылееву, Муравьеву-Апостолу, Бестужеву-Рюмину и Каховскому (Аплод.), повешенным в Петербурге, за то что они были первые граждане России!

Ах, господа, вы ничем не пренебрегали, чтоб убедить нас в вашем расположении к нам, чтоб тронуть наши сердца, чтоб вытянуть нас из нашего фатального ослепления. Напрасные попытки! Потерянный труд! Солдаты царя, глухие к вашему призыву, не видя, не понимая ничего, мы пошли против вас, — и преступление совершено! Господа, из всех утеснителей, из всех врагов нашей страны, наиболее заслужили ваши проклятия и вашу ненависть — мы.

И однакож я являюсь перед вами не только как русский кающийся. Я осмеливаюсь провозгласить в вашем присутствии мою любовь и мое почтение к моему отечеству. Я осмеливаюсь еще более, господа, осмеливаюсь пригласить вас на союз с Россией.

Я должен об'ясниться.

Около года тому назад,—я думаю, после убийств в Галиции,—польский дворянин, в очень красноречивом и сделавшимся известным письме, адресо-

ванном к князю Меттерниху, делал вам страшное предложение. Увлеченный, без сомнения, ненавистью, впрочем совершенно законною, против австрийцев, он предлагал вам ни более, ни менее, как подчиниться царю, отдаться ему телом и душою, вполне, без условий и оговорок; он вам советовал захотеть добровольно то, чему вы до тех пор подчинялись, и обещал вам в вознаграждение за это, что лишь только вы перестанете позировать как рабы, ваш господин, против своей воли, станет вашим братом. Вашим братом, господа, слышите ли вы?—император Николай вашим братом! (Нет, нет! Живое движение).

Угнетателя, врага самого ожесточенного, врага личного Польши, палача стольких жертв (браво!...) похитителя вашей свободы, того, кто вас преследует с такою адскою настойчивостью, столько же по ненависти и инстинкту, как и из политики, — вы приняли-б за брата? (Нет! нет!).

Всякий из вас предпочел бы погибнуть (Да!...) я это хорошо знал, всякий из вас предпочел бы видеть погибель Польши, чем согласиться на такой чудовищный союз. (Удвоенные браво). Но допустите на мгновение это невозможное предположение. Знаете ли, какое было бы самое верное средство для вас нанести вред России? Это было бы подчиниться царю. Он нашел бы в этом освящение для своей политики и такую силу, которую отныне ничто бы не могло остановить. Горе нам было бы, еслиб эта антинациональная политика воспреобладала над всеми препятствиями, которые еще противятся ее полному осуществлению! И первое, самое большое препятствие, это, бесспорно, Польша, это отчаянное сопротивление этого геройского народа, который спасает вас, борясь с нами. (Шумные аплодисменты).

Да,—потому что вы враги императора Николая, враги России оффициальной, вы натурально, даже того не желая, друзья народа русского (Аплод.).

Я знаю, в Европе вообще думают, что мы с нашим правительством составляем нераздельное целое, что мы чувствуем себя очень счастливыми под управлением Николая, что он и его система, притеснительная внутри, и наступательная вне, прекрасно выражают наш национальный дух.

Все это неправда.

Нет, господа, народ русский не чувствует себя счастливым! Я говорю это с радостью, с гордостью. Потому что, если бы счастие было возможно для него в той мерзости, в которую он погружен, это был бы самый подлый, самый гнусный народ в мире. Нами тоже управляет иностранная рука, монарх немецкого происхождения, который не поймет никогда ни нужд, ни характера русского народа и правление которого, странная смесь монгольской грубости и прусскаго педантизма, совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные политических прав, мы не имеем даже той свободы натуральной,—патриархальной, так сказать,—которою пользуются народы наименее цивилизованные и которая позволяет, по

крайней мере, человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего племени. Мы не имеем ничего этого; никакой жест натуральный, никакое свободное движение нам не дозволено. Нам почти запрещено жить, потому что всякая жизнь предполагает известную независимость, а мы только бездушные колеса в этой чудовищной машине притеснения и завоевания, которую называют русской империей. Но, господа, —предположите, что у машины есть душа и, быть может, вы тогда составите себе понятие об огромности наших страданий. Мы не избавлены ни от какого стыда, ни от какой муки и мы имеем все несчастья Польши без ее чести.

Без ее чести, сказал я, и я настаиваю на этом выражении для всего, что есть правительственного, оффициального, политического в России.

Нация слабая, истощенная, могла бы нуждаться во лжи, для поддержания жалких остатков существования, которое угасает. Но Россия не в таком положении, слава богу! Природа этого народа попорчена только на поверхности: сильная, могучая и молодая, — ей только надо опрокинуть препятствие, которым смеют ее окружать, — чтоб показаться во всей первобытной красоте, чтоб развить все свои неведомые сокровища, чтоб показать наконец всему свету, что русский народ имеет право на существование не во имя грубой силы, как думают обыкновенно, но во имя всего, что есть наиболее благородного, наиболее священного в жизни народов, во имя человечности, во имя свободы.

Господа, Россия не только несчастна, но и недовольна, — терпение ее готово истощиться. Знаете-ли вы, что говорится на ухо даже при дворе в Петербурге? Знаете ли, что думают приближенные, фавориты, даже министры и литераторы? Что царствование Николая похоже на царствование Людовика XV. Все предчувствуют грозу, — грозу близкую, ужасную, которая пугает многих, но которую нация призывает с радостью. (Шумные аплод.).

Внутренние дела страны идут ужасно дурно. Это полная анархия со всеми видимостями порядка. Под внешностью иерархического формализма, крайне строгого, скрываются отвратительные раны; наша администрация, наша юстиция, наши финансы, все это одна ложь: ложь, чтоб обмануть заграничное мнение, ложь чтоб усыпить чувство опасения и сознание императора, который поддается ей тем охотнее, что действительное положение дел его пугает. Это, наконец, организация на большую руку, организация, так сказать, обдуманная и ученая, несправедливости, варварства и грабежа, — потому что все слуги царя, начиная от тех, которые занимают наивысшие должности и оканчивая самыми мелкими уездными чиновниками разоряют, обкрадывают страну, совершают несправедливости, самые вопиющие, самые отвратительные насилия, без малейшего стыда, без малейшего страха, публично, среди белого дня, с нахальством и грубостью беспримерными, не да-

вая себе даже труда скрывать свои преступления перед негодованием публики, — настолько они уверены в своей безнаказанности.

Император Николай принимает иногда вид, будто он хочет остановить рост этой страшной испорченности, но как может он устранить зло, которого главная причина в нем самом, в самой основе его управления, — и вот где тайна его глубокого бессилия к добру. Потому что правительство, которое кажется таким импозантным извне, внутри страны бессильно: ничто ему не удается, все преобразования, которые оно предпринимает, тотчас же обращаются в ничто. Имея опорой своей только две самые гнусные страсти человеческого сердца: продажность и страх, действуя вне всех национальных инстинктов, вне всех интересов, всех полезных сил страны, правительство России ослабляет себя каждый день своим собственным действием и расстраивает себя страшным образом. Оно волнуется, кидается с места на место, переменяет ежеминутно проэкты и идеи, оно предпринимает сразу многое, но не осуществляет ничего. У него есть одна только сила — вредить, и ею оно пользуется широко, как будто оно хочет само ускорить минуту своей гибели. Чуждое и враждебное стране, посреди самой этой страны, оно отмечено для падения.

Враги его повсюду: во первых, эта страшная масса крестьян, которые не ждут более от императора своего освобождения и бунты которых с каждым днем умножаются, показывают, что они устали ждать; далее, класс промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов очень различных, класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое революционное движение.

Наконец и особенно, это бесчисленная армия, которая покрывает все пространство империи. Николай смотрит, правда, на своих солдат, как на своих лучших друзей, как на самую твердую опору трона: но это странная иллюзия, которая не преминет сделаться для него гибельною. Как! Опора трона, эти люди, вышедшие из рядов народа, так глубоко несчастного, люди, которых отрывают грубо от их семейств, которых ловят, как диких зверей, по лесам, где они прячутся, часто изуродовавши сами себя, чтоб избавиться от рекрутства, — которых ведут закованными в полки их, где они приговорены в течении 20 лет, т. е. всю жизнь человека, к одному существованию, где их бьют каждый день, угнетают ежедневно новыми тяжкими работами и где они постоянно умирают с голода! Чем были бы они, великий боже! эти русские солдаты, если бы посреди таких пыток, они могли любить ту руку, которая их мучит! Верьте мне, господа, наши солдаты самые опасные враги теперешнего порядка вещей, — особенно гвардейские, которые, видя зло у источника его, не могут обманываться на счет единственной причины всех их страданий. Наши солдаты — это сам народ, но еще более недовольный, это народ совершенно разочарованный, вооруженный, привыкший к дисциплине и к общему действию. Хотите ли доказательства? Во всех последних бунтах крестьянских отпускные солдаты

играли главную роль. Чтоб окончить этот обзор врагов правительства в России, я должен, наконец, сказать, господа, что в дворянской молодежи есть много людей образованных, великодушных, патриотов, которые краснеют от стыда и ужаса нашего положения, которые оскорбляются чувствовать себя рабами, которые все питают против императора и его правительства неугасимую ненависть. Ах, верьте мне право, элементов революционных достаточно в России! Она оживляется, она волнуется, она считает свои силы, она узнает себя, сосредоточивается, — и минута не далека, когда буря, великая буря, наше общее спасение, поднимется! (Продолжительные аплод.)

Господа, — я вам предлагаю союз от имени этого нового общества, этой настоящей нации русской! (Аплодисменты).

Мысль о революционном союзе между Польшей и Россией не нова. Она уже зародилась, как вы знаете, между заговорщиками обеих стран в 1824 г.

Господа, воспоминания, которые я вызвал сейчас, наполняют мою душу гордостью. Русские заговорщики первые тогда переступили через пропасть, которая, казалось, нас разделяла. Слушаясь только своего патриотизма, не обращая внимания на предубеждения, которые вы естественно чувствовали по отношению ко всему, что носило имя русское, они обратились к вам первые, без недоверия, без задней мысли; они предложили вам общее действие против нашего общего врага, против нашего единственного врага. (Аплод.)

Вы простите мне, господа, эту минуту невольной гордости. Русский который любит свое отечество, не может холодно говорить об этих людях; они наша самая чистая слава — и я счастлив, что могу провозгласить это посреди этого большого и благородного собрания, посреди этого польского собрания. (Аплод.) — Они наши святые, наши герои, мученики нашей свободы, пророки нашего будущего. (Аплод.). С высоты своих виселиц, из глубины Сибири, где они стонут до сих пор, они были нашим спасением, нашим светом, источником всех наших добрых вдохновений, нашею охраною против проклятых влияний деспотизма, нашим доказательством перед вами и перед всем миром, что Россия содержит в себе все элементы свободы и истинного величия! Стыд, стыд тому из нас, кто не признает этого! (Шумные аплод.).

Господа, — призывая их великие имена, опираясь на их могучий авторитет, я являюсь перед вами, как брат, — и вы меня не оттолкнете. (Нет! нет!).

Я не уполномочен формально говорить вам так; но без малейшей суетной претензии я чувствую, что в эту торжественную минуту моими устами говорит вам сама нация. (Аплод.). Я не единственный в России, который любит Польшу и который питает к ней чувство горячего удивления, страстную горячность, глубокое чувство, смешанное с покаянием и надеждой, которое я никогда не смогу вам передать. Друзья, известные и неизвестные,

которые разделяют мои симпатии, мои мнения, многочисленны (аплод.), и мне было бы легко доказать это вам, называя вам факты и имена, если бы я не боялся бесполезно скомпрометировать многие лица. От имени их, господа, от имени всего, что есть живого и благородного в моей стране, протягиваю я вам братскую руку. (Живые аплод.) Прикованные друг к другу судьбою, фатальною, неизбежною, долгою и драматическою историей, печальные последствія которой мы теперь терпим, наши страны долго взаимно ненавидели одна другую. Но час примирения пробил: пора уже нашим разногласиям окончиться. (Аплод.).

Наши преступления перед вами велики! Вам надо много простить нам! Но наше раскаяние не менее велико, и мы чувствуем в себе силу доброй воли, которая сумеет исправить все зло нами нанесенное, и забыть прошлое. Тогда наша вражда заменится любовью, любовью тем более пламенною, чем больше наша вражда была неугасимою (Живое согласие).

Пока мы оставались разделенными, мы взаимно парализовали друг друга. Ничто не сможет противиться нашему общему действию.

Примирение России и Польши — дело огромное и достойное того, чтоб ему отдаться всецело. Это—увольнение 60-ти миллионов душ, это освобождение всех славянских народов, которые стонут под игом иностранным, это, наконец, падение, окончательное падение деспотизма в Европе. (Аплод.).

Да наступит же великий день примирения, — день, когда русские, соединенные с вами одинаковыми чувствами, сражаясь за ту же цель и против общего врага, получат право запеть вместе с вами национальную песню польскую, гимн славянской свободы „Jeszcze Polska nie zginęła!“

II.

ВОЗЗВАНИЕ К СЛАВЯНАМ *).
(1848 г.).

Братья!

Решительный час пробил. Дело идет о том, чтобы открыто и отважно решить, чью сторону взять: сторону ли развалины мира, чтобы поддержать ее еще на короткое мгновеніе, или сторону нового мира, которого заря занимается, который принадлежит будущим поколениям и которому принадлежат будущие поколения. Для вас дело идет о том, ваша ли будет молодая будущность, или вы еще раз хотите впасть на целые века в могилу бессилия, во тьму тщетных надежд, в проклятие рабства. От вашего выбора зависит, удастся ли и остальным народам, стремящимся к освобождению, достичь цели быстрым и безостановочным шагом, или же эта цель, если она и не может никогда исчезнуть, то все же должна опять отодвинуться в необозримую даль. На вас обращены глаза всех, полные ожидания. На том, какой будет ваш выбор, покоится решение ближайшей и дальнейшей судьбы мира. Решайтесь что вам выбрать, — спасение себе или гибель, быть ли вам благословением или проклятием мира. Этот выбор лежит перед вами, — выбирайте!

Мир разделен на два стана. Между ними не проложено никакой средней дороги. И ни одна часть не может безнаказанно отделиться от великого неразрывного союза, в котором стоят все, кто преследует одинаковую цель, и кто все вместе должны победить или покориться.

Мир разделен на два стана. Здесь *революция*, там *контр-революция*, — вот лозунги. На один из них должен решиться каждый, и мы, и вы, братья, должны решиться.

---

*) Aufruf an die Slaven. Von einem russishen Patrioten Michael Bakunin. Mitglied des Slavenkongresses in Prag. Koethen. Selbstverlag des Verfassers. 1848.

Средней дороги нет. Те, которые ее указывают и прославляют, или обманутые, или обманщики.

Обмануты, если верят в ложь, будто можно вернее всего проскользнуть к цели, уступая понемножку обеим борющимся партиям, чтобы успокоить обе и помешать взрыву необходимой открытой битвы между ними.

Обманщики, если хотят уверить вас, будто вы, по примеру хитрых дипломатов, должны стать вне обоих лагерей, чтобы, улучивши время, примкнуть к сильнейшему и при его помощи счастливо обделать ваше собственное дело.

Братья! не доверяйте дипломатическим уловкам. Поляки уже бросились в гибель, они столкнут и вас туда.

Что говорит вам дипломатическая хитрость? Она говорит вам, что стоит только вам воспользоваться ею, как средством, и вы победите врагов. Но не видите ли вы, что пока вы ею воспользуетесь, она, вместо того, употребит вас, чтобы, при вашей помощи, разбить на голову своего теперешнего врага, а потом, справившись с ним, поработит и вас, стоящих одиноко и потому тоже слишком слабых для сопротивления? Разве вы не видите, что постыдная хитрость контр-революции именно в том и заключается, что она старается разрознить передовых бойцов молодого, нового, времени, прилагая старое правило всех угнетателей: „разделяй и господствуй“, чтобы их по одиночке поработить и заковать в оковы?

Чего же иного можете вы от нее надеяться? Разве может дипломатия отречься от своей матери, которая есть ничто иное, как самая старая деспотия? Может ли она стараться помогать победе каких либо интересов, кроме тех, благодаря которым она сама началась? Может ли она работать для рождения того нового быта, который есть ее проклятие и смерть? Может ли она быть союзницей той демонической силы, мир обновляющей, которая *нам* братья, прокладывает дорогу, чтобы мы могуче перелили нашу внутреннюю полноту, как свежие весенние соки в жилы окоченелой европейской народной жизни? Никогда! Взгляните только твердо и проницательно в искаженное злостью лицо вероломной дипломатии и вы проникнетесь страхом и отвращением от ее своднических приманок и с ужасом и омерзением оттолкнете ее прочь от себя. Никогда не выйдет правда из лжи, великое из посредственности, и свобода завоевывается только свободой.

Ваш гнев был справедлив: справедливо дышали вы местью против той достойной проклятия немецкой политики, которая замышляла только вашу гибель, которая веками держала вас в рабстве, которая в Франкфурте говорила с презрением о ваших справедливых надеждах и требованиях, которая в Вене злорадно ликовала над поражением нашего, полного жизни пражского съезда! Но не заблуждайтесь, присмотритесь! Эта политика, которую мы осуждаем, которую мы проклинаем и которой мы страшно отомстим, не есть политика будущего немецкого народа,

не есть политика немецкой революции, немецкой демократии; это политика старой государственности, политика княжеского права, аристократов и привилегированных всякого рода, политика камарилей и генералов, управляемых ими, как машины, Радецких, Виндишгрецев, Врангелей, это политика, для погибели которой мы все, юношески оживленные современным духом, отважно и радостно должны схватить протянутые руки демократов всех стран, и, в тѣсном союзе с ними, должны сражаться за их и наше общее спасение, за их и нашу общую будущность.

То что делают реакционеры для своего неправого дела, неужели мы не сделаем для нашего правого дела?

Если реакция устраивает заговоры во всей Европе, если она при помощи принятой организации действует соединенно и сплоченно, то и революция должна создать себе соответственную силу действия. Священная обязанность нас всех, борцов революции, демократов *всех* стран, соединить наши силы, постараться друг друга понять и сплотиться вместе, для того, чтобы в союзе мы могли отразить и победить врагов нашей общей свободы.

Именно первым признаком жизни революции, — вы это знаете, — был крик ненависти против старой политики угнетения, крик сочувствия и любви ко всем угнетенным национальностям. Народы, которых так долго водила на аркане лицемерная и предательская дипломатия, почувствовали, наконец, позор, каким старая дипломатия покрыла человечество, и признали, что благо наций не обеспеченно, пока хоть один народ в Европе живет под гнетом; что свобода народов, для того, чтобы укорениться где-либо, должна укорениться везде, и в первый раз действительно потребовали они, словно из одних уст, свободы для всех людей, для всех народов, свободу истинную и цельную, свободу без условий, без исключений, без границ. „Прочь угнетателей!“ раздалось словно из одних уст, „да здравствуют угнетенные, поляки, итальянцы и все! Не надо более завоевательных войн, еще только одно последнее сражение революции для окончательного освобождения всех народов! Долой искусственные границы, насильно проведенные конгрессами деспотов, ради так называемых исторических, географических, коммерческих, стратегических необходимостей! Не должно быть никаких других границ разделения между нациями, кроме границ, согласных с природою, проведенных справедливо в духе демократии, которые начертает верховная воля самих народов на основании их национальных особенностей!“ Так пролетел клич по всем народам.

Вы внимаете, братья, кличу величественному, полному предчувствия? Помните, как в Вене вы внимали ему, когда, сражаясь с другими за спасение всех, вы, между немецкими баррикадами, воздвигли большую славянскую баррикаду со знаменем *нашей будущей свободы.*

Велико и прекрасно было это движение, которое прошло всю Европу. Как поднялись, трепеща от радости, тронутые дуновением революции, итальянцы, поляки, славяне, немцы, мадьяры, валахи, те что в Австрии, и те,

что в Турции, словом все, которые до тех пор стонали в домашних цепях или под чужим игом! Самые дерзкие мечты исполнились. Народы видели, как с могилы их независимости свалился, словно сдвинутый, невидимой рукой, тяжелый камень, давящий ее целые столетия, волшебная печать была сломана, и дракон, сторожививший болезненное оцепенение стольких заживо погребенных наций, лежал там убитый и хрипящий. Занялась красная заря весны народов. Старая государственная политика погрузилась в ничто: новая политика вступила в жизнь, политика народов. Революция об'явила разрушенными деспотические государства, — об'явила разрушенною прусскую державу, признавши доставшиеся ей польские части края отделенными, — об'явила разрушенною Австрию, это чудовище, сплетенное хитростью, насилием и преступлением из самых разнородных национальностей, — об'явила разрушенной турецкую державу, в которой едва семьсот тысяч османов попирали ногами двенадцатимиллионное население славян, валахов и греков, — наконец, об'явила разрушенным последнее утешение деспотов, последнее жульническое укрепление разбитой на голову дипломатии, русскую державу, чтобы три порабощенные ею нации, великороссы, малороссы и поляки, предоставленные самим себе, могли подать свободную руку остальным славянским братьям. Так был разрушен, опрокинут и за ново устроен весь север и восток Европы, Италия освобождена, и конечной целью всего поставлена была — всеобщая федерация европейских республик.

Тогда мы вместе, как братья, вступили в Прагу: представители всех славянских народностей встретились, наконец, как братья, после долгой разлуки, и с восторгом говорили друг другу, что отныне наши дороги не должны расходиться. Живо чувствуя общую связь истории и крови, клялись мы не допускать более, чтобы наши судьбы шли розно. Проклиная политику, жертвой которой мы были так долго, мы сами себе создали право, основанное на совершенной независимости, и обещали, что она отныне будет общей всем славянским народам. Мы признали за чехами и хорватами самостоятельность. Мы решительно отразили нахальные притязания франкфуртского парламента, этого сборища, ставшего уже теперь посмешищем всей Европы, которое хотело онемечить нас, и в то же время мы протянули братскую руку немецкому народу демократической Германии. Во имя тех из нас, которые живут в Венгрии, мы предложили братский союз мадьярам, бешеным врагам нашей расы, им, которые, едва насчитывая четыре миллиона, осмеливались стараться наложить свое иго на восемь миллионов славян. И тех наших братьев, которые вздыхали под гнетом турок, не забыли мы в нашем союзе освобождения. Мы торжественно прокляли ту преступную политику, которая трижды разорвала Польшу и еще раз хочет разорвать ее печальные остатки, и выразили живую надежду, что воскресение этого благородного, святого народа-мученика скоро подаст нам знак к освобождению нас всех от старого рабства. Наконец, к великому русскому народу,

тому народу, который один из всех славянских народов с'умел удержать в полной мере свою политически-национальную самостоятельность, мы обратились с воззванием, с убеждением помнить о том, что он сам слишком хорошо знает, что вся это самостоятельность и величие есть ничто, пока народ сам в себе не освободится и пока он терпит, чтобы его сила была чумой для несчастной Польши и вечно угрожающим бичем для всей европейской цивилизации. Все это мы высказали и, вместе со всеми демократами всех народов, потребовали: свободы, равенства и братства всех наций, в среде которых, свободные, как они, и в братских отношениях со всеми, славянские народы должны завязать между собою тесный братский союз для образования одного большого союзного тела.

Мы чувствовали тогда себя уверенными в нашем деле; в его успехе нельзя было сомневаться, если бы только мы стояли при нем до конца; потому что справедливость и человечность были всецело на нашей стороне, на стороне же наших врагов ничего, кроме несправедливости и варварства. Не пустым грезам отдавались мы; нет, это были мысли о единственно верной и необходимой политике, политике самоосвобождения, революции, единодушного действия вместе с народными восстаниями всех стран, в братском единении с демократией всего мира. Мы отбросили противную политику, которая вам предлагалась, политику лицемерия и предательства, политику дипломатов, государственных умников, которые преподавали вам мудрость, будто вы должны искать избавления в восстановлении самодержавной власти и в спасении Австрии, потому будто бы, что если вы опять возвратите силу императору, то вы, австрийские славяне, образуете независимое славянское государство и будете свободны при помощи восстановленной вами императорской власти. Что нас эта политика может совратить, в этом была в Праге единственная опасность, от которой я тогда предостерегал на с'езде. Тогда мы избежали опасности, и партия государственных политиков уступила перед нашим воодушевлением общим делом всех славян и всех свободных наций.

Но что же тогда сделали рабы отвергнутой нами государственной политики? Они были благосклонны к нашему с'езду, пока надеялись воспользоваться им для своих дипломатических целей и для подавления немецкой и мадьярской революции в Австрии, но тотчас начали свирепствовать против него, как только увидали, что он обращается против их планов и хочет служить не интересам государственной политики, а чистым интересам национальной свободы и братства народов. Теперь они достигли того, что разбили наш с'езд и допустили Виндишгреца бомбардировать Прагу. Напрасно было пятидневное геройское сопротивление вдохновенного народа; город принужден был покориться, преданный теми, кто был призван защищать его, и славянский с'езд был распущен. Но мы еще ничего не потеряли. С сердцами, волнуемыми верой в наше святое и правое дело, расстались мы, и рассеялись, чтобы повсеместно работать для него и везде

подготовлять почву для нашего будущего освобождения: мы желали друг другу увидеться снова в великий день нашего общего славянского восстания.

Деспоты дрожали, несмотря на их кажущуюся победу в Праге. Они дрожали от страха, что мы бестрашно исполним те клятвы, которые мы произнесли, пылая местью, перед развалинами и грудами трупов, залитые кровью наших храбрых братьев, под громом бомб, которыми Виндишгрец, палач нашей свободы, осыпал золотую Прагу. Они дрожали перед восстанием славянских народов, которых прежде они мечтали водить на помочах, как послушных детей.

Что сделали тогда деспоты? Они говорили между собою: восстание славян грозит нам гибелью; поищем средств, чтобы превратить славянское восстание в якорь нашего спасения! Какие же средства? Вот они: натравим славян на немцев, а немцев на славян! Собьем с толку этих еще неопытных в политике детей разными кажущимися доводами и обаятельными обманами, пусть они воображают себя мудрецами, ступая по дороге, ведущей к нашей цели. Вызовем для этого опять всю старую закоренелую ненависть, все справедливые и несправедливые предрассудки, все едва поколебленные причины взаимного подозрения и недоверия, шепнем им это на ухо, чтобы отравить сердце, возмутить умы, ослепить души и распалить их друг против друга! Мы раздуем в неугасаемый пожар этот зажженый нами огонь льстивыми обещаниями с нашей стороны, которых мы никогда не исполним.

Так они говорили, так они и сделали. И врагам свободы, врагам справедливости, мастерам предательской государственной политики удалось на одно мгновение заморочить наши головы, братья! Вы допустили опутать себя на одну минуту изобретением этих лукавых политиков, которое состояло в том, будто дело революции все равно, что дело тех немецких пожирателей страны в парламентах, на которых обращен ваш справедливый гнев, все равно, что дело ваших врагов и притеснителей, властолюбивых мадьяр, и вы, сбитые с толку, обратились против основы вашей собственной и нашей общей свободы, *против революции*, и пристали к своему заклятому опаснейшему врагу, к династической политике и деспотизму. Нашего же естественного друга и союзника, демократию, вы оставили в Вене страдать и нести наказание за вас. Славяне! как прежде грешила против вас старая немецкая государственная политика в Вене, так грешит подогретая деспотическая система во Франкфурте. Правда, славяне мстили в Вене за совершенные против них преступления, но они выместили не на преступниках, а именно на прирожденных судьях преступника и естественных союзниках мстителя. И партия государственных политиков, уступившая в венском парламенте в решительный час опасности, когда только одни народные интересы должны были считаться и все должны были соединиться, эта партия старалась потом уверить вас в Праге, что последнее венское

восстание вовсе не было народным движением, а было сделано мадьярскими деньгами. Но, братья, кто из нас был бы так жалок, так глуп, чтобы поверить этим бабьим сказкам, будто революции делаются деньгами? Нет, деньги всего мира не могут подвинуть народ к возмущению, ни один народ не имеет такой скверной молодежи, которая бы дала себя подкупить. Императорская австрийская государственная политика, — говорила вам еще эта партия государственных политиков, — это враг ваших врагов, так как она враг разбойничьей мадьярщины, то она и враг немечины, пожирающей страны! Ложь! Не видите ли вы, что австрийская государственная политика идет рука об руку с политикой центральной власти во Франкфурте, с политикой угнетения во что бы то ни стало и подавления всякой свободы? Правда, во Франкфурте, в этом фальшиво названном народном представительстве большинства, сидят такие жалкие, детски глупые люди, которые против воли действительной немецкой нации, только и мечтают о расширении немецкого владычества и о покорении всех ненемецких народов, живущих на так называемой немецкой земле. Но заблуждением и глупостью этих людей злоупотребляет центральная власть Германии, так же как австрийская государственная политика злоупотребляла доверчивостью одной части славян, чтобы посорить этот чуждый народ с его истинным немецким другом, с друзьями свободы, равенства и братства всех наций, с народом жаждущим свободы, с демократами Германии, со всеми теми, которым вы должны протянуть братскую руку, потому что они не ваши враги, а враги ваших врагов. Вы были бы свободны, так вас морочат эти государственные политики, — вы были бы свободны, если бы помогли австрийской государственной политике победить ее врагов. Но какая ложь! Вена пала, — что же, вы видите какой свободой пользуетесь вы теперь, после этой ужасной катастрофы в Праге, видите, как дипломатия держит свои обещания; вы видите, какие горькие плоды приносит ее союзничество? Где свобода Праги? Ищите ее с фонарем!

Да, обман уже исчезает, вы опять пришли в себя, братья, вы опять прозрели. Что сделал Еллачич, вам это видно, так же как и те цели, которые он преследовал; теперь они уже ни для кого не тайна. Его первоначальная задача была защищать славянскую свободу против угнетательной политики господствующей партии мадьяр и помочь победить враждебную народу государственную политику, на которую работала эта партия при Кошуте. Вместо этого, он пошел в Вену и помог там победить народное восстание, демократию. Он изменил правой и святой цели, хорошему демократическому движению южных славян и продал их именно этой безбожной политике, ради ниспровержения которой возмущенные славянские племена доверили его представительству свою молодую буйную силу. Его призвание было поддерживать наше нуждающееся в помощи братское племя, словаков, силами доставленными ему южно-славянским восстанием. Презрев это святое призвание, он предпочел стать слугой австрийского

государства и повести свои войска против столицы империи, чтобы сделать из нее очаг деспотизма для всей Австрии, для всей Европы. Вместо того, чтобы работать для свободы всех народов, он работал для выкованного в Инсбруке и Вене, радостно принятого и поощренного в Потсдаме и санкционированного франкфуртской центральной властью, как и в Петербурге, заговора притеснителей народных, опустошителей городов, массовых убийц, старых деспотов.

Вы должны быть австрийцами, этого хочет государственная политика, этого хочет предатель Еллачич, который отважился провозгласить открыто и громко эту политику, как спасение славян.

Вы должны быть австрийцами. Что значит быть австрийцами? Это значит: помогать деспотии ослаблять рознью и ненавистью каждую из разнообразных напиханных в Австрию народностей, чтобы, усилившись слабостью и взаимной ненавистью их, она наложила на всех их свое иго. Это значит сделать для деспотий возможной уловку, состоящую в том, чтобы помешать слиться свободно в нации людям, родным между собою по крови, языку и нравам, по великим историческим воспоминаниям и еще большим надеждам в будущем, чтобы оторвать от них куски и из этих оторванных и обессиленных отделением кусков, сковать одно искусственное, всякой природе противное, государственное целое, части которого гнулись бы легко под скипетром деспотии, так как они были бы слишком чужды и враждебны одна другой, чтобы вместе держаться и сопротивляться. Это значит, дать деспотии возможность возобновить старую игру, которая разорвала Польшу на куски, и продала один кусок одному, другой другому государству, и все еще продолжает разрывать тело этого прекрасного народа, чтобы задушить всякую надежду на возрождение Польши, если бы это было возможно. Это значит, оторвать от общего славянского дела, дело чехов, словаков, сербов, кроатов и всех других народов нашего племени, живущих под австрийским владычеством.

Вы должны быть австрийцами. Что же вы выиграете, братья, если станете австрийцами?

Одно из двух: или австрийское государство, останется тем, чем оно есть, смесью народностей, которым будут даны из милости равные права, и вы будете долго посреди этого хаоса тем, чем были, низкими, бессильными, презираемыми рабами произвольного полка; смиренно и послушно покорными предписаниям, посылаемым вам из Вены, без свободы, без собственной силы, без влияния на развитие будущности всех соединенных славян, на общечеловеческую будущность.

Или же австрийскому государству только тем удастся утвердиться прочно как государству, что оно действительно сдержит свое притворное обещание, данное вам, и превратится совершенно в славянское государство. Но что же вам от этого? Будете ли вы велики и свободны в этом последнем, лучшем случае? Нет, вы тогда будете угнетателями наших братьев

братьев чужой национальности, деспотами итальянцев, мадьяр, немцев австрийских. Вы будете делать другим то, чего не хотите, чтобы с вами случилось. И вы сделаетесь опять рабами, рабами своей собственной деспотии; потому что никто не может обращать другого в рабство, не делаясь рабом сам: я, как русский, говорю это вам. Вы навлечете на себя ненависть не только тех, которых вы будете угнетать, но и всего свободолюбивого мира, ненависть, негодование, презрение и проклятие всех народов, и, наконец, погибните сами, как губители.

Скажите, на что вы можете опереться после того, как покроетесь позором тирании, когда придет день суда, когда та самая сила, которая толкает вас теперь на борьбу с вашими притеснителями, революция, встанет против вас и вы тогда, не только, как враги порабощенных вами, во и как враги ваших собственных братьев по племени, от которых вы преступно отделились, для свободы которых вы ничего не сделали, которых бедствие вы помогли продлить,—когда вы, как враги народной свободы, как враги всего человеческого рода, будете стоять отвергнутые всем миром? Скажите, к чему будет ваша сила, если вы ее не там будете искать, где ее только и можно найти, а именно в святом единении, в общности всех славянских братьев на земле? Император ли Фердинанд ваша сила, это несчастное слабоумное создание, которое дает себя гонять с места на место женщинам и придворным и без воли дает себя делать палачем и убийцей тех, добрым отцем которых он себя называет, этот император, в груди которого, если бы даже это была грудь мужчины, не может жить никакое чувство к нашему национальному стремлению, к нашему спасению и будущности, так как что бы ни билось в этой груди, это не будет славянское сердце?—Или ваша сила в этой интригующей крамольной камарилье, которая только живет вашим ослеплением, и существование которой только и поддерживается ценою ненависти, возбужденной ею к вам во всех, кого она гнет вместе с вами в одно ярмо, которая пользуется вами для усмирения их, а их употребляет, чтобы не дать вам возгордиться, последнее утешение которой, если провалятся все ее хитрости, есть армия императора Николая, главы и стража всей народопредательской крамолы в Европе?—Или вы сами себе будете силой, вы, двенадцать миллионов славян, против целого мира противников и врагов, без симпатии и помощи отвергнутых и оставленных вами ваших братьев по племени в России и Польше, этих ваших естественных союзников из шестидесяти миллионов,—вы, которые уже теперь думаете, что не можете устоять сами, не опираясь на черножелтую камарилью и на ее государственные уловки?

Что выйдет из вас при такой обособленности и заброшенности? Ничего! Чем бы вы могли стать в союзе с вашими братьями? Громадной силой из восьмидесяти миллионов, сильным знаменем свободы, радостью и гордостью всего соединенного юношески пробужденного человечества.

Братья! я русский, я говорю вам как славянин. Я вам изложил

откровенно на съезде в Праге мои намерения, чувства и мысли. Вы знаете, что я, как русский, вижу спасение моих земляков только в общности со всеми остальными братьями, в федерации свободных племенных союзов. Вы знаете, что я поставил задачей своей жизни стремление к этой великой и святой цели. Это дает мне право говорить с вами так, как я говорю теперь, потому что ваши обстоятельства вместе с тем и мои собственные, ваше дело есть наше, ваше спасение—наше спасение, ваш позор—наш позор, ваша гибель—наша гибель. От племени шестидесяти миллионов славян я обращаюсь к вам с речью, от имени шестидесяти миллионов ваших братьев, которые устали от долгого тяжелого рабства и которые, как только узнали о собрании Славянского съезда, стали смотреть на него, как на избавителя и спасителя. Быть членом этого съезда и принимать участие во всех советах и решениях, предпринятых для нашего общего спасения, я с своей стороны считаю за величайшую честь в своей жизни. Вы тоже признаете величие и силу того могучего племени, представителем которого я был на нашем общем совете и от имени которого взываю к вам теперь, я это знаю; я знаю, что вы с гордостью смотрите на народ, которому одному из всех славян удалось сохранить в целости свою национальную независимость, что вы верите в его будущность, которая, наверное, будет опорой и силой славянства.

Но различайте хорошо, братья славяне! Если вы ждете спасения от России, то предметом вашего упования должна быть не порабощенная холопская Россия со своим притеснителем и тираном, а возмущенная и восставшая для свободы России, сильный русский народ.

От имени этого народа говорю я вам, я, русский, *все наше спасение в революции и нигде более.*

Не в императоре Николае, не в его войсках, не в его могуществе и политике искать вам избавления и спасения, а в той России, которая свергнет эту императорскую Россию и сотрет ее с лица земли.

Верьте мне, указы царя, деспота России, не выражают наших чувств, наших желаний, нашей воли. Нет, и еще раз нет! Это искажение того, что живет в глубине нашего русского сердца. Наше племя глубоко чувствует срам и позор рабства, в котором держит его деспот: оно наибольший враг того, кого еще многие из вас считают истинным представителем русской народности, наибольший враг этого палача, этого мучителя и посрамителя его чести, Николая.

Ведь, кто же этот Николай? Славянин? Нет, голштинско-готторпский господин на славянском троне, тиран чужеземного происхождения! — Друг своего народа? Нет, рассчетливый деспот, без сердца, без всякого чувства ко всему русскому, ко всему славянскому, без малейшего понятия о том, что тихо и скрыто кипит и клокочет в его народе. Защитник общеславянских интересов? Нет, настолько нет, что он ежедневно изменяет им и, страшное слово, „панславизм“ употребляет только, как угрожающее сред-

ство, чтобы при помощи его обеспечить свое влияние в Германии, которое немцы проклинают, и свое господство над немецкой политикой, которое гибель для немцев. Иметь силу в Германии, которой отдельные деспоты, его ученики и вместе почитатели, ползающие перед ним в пыли поклонники и обожатели его мудрости и силы, вот чего он ищет и добивается: Россия, славянство нужны ему только, как орудия для проведения его старой, насквозь немецкой и на Германию метящей, политики разделения и господства, которая состоит в том, что он предает славян при помощи неметчины для того, чтобы потом предать немцев при помощи преданного славянства Как мало для него значит славянство, это вы видите из того, что он посылал свой высочайший похвальный лист Виндишгрецу, убийце славянски мыслящих славян в Праге, в знак благодарности ему за резню, произведенную над защитниками славянского дела! Вы видите это из того, как он давал поддержку южным славянам деньгами, оружьем и войском, но не как славянам, восставшим для спасения всех нас, а только потому, что их восстание, по его рассчету, должно было послужить на пользу его любимому детищу, австрийской деспотии, и только под условием, чтобы отделить их дело от польского дела! Вы видите это из того, что он держал на готове своих солдат, чтобы по первому знаку австрийской камарильи ворваться в Галицию! Вы видите это по тому, как он делает все, что только в его силах, чтобы помешать возрождению Польши, так как возрождение Польши было бы концом его силы.

Но его час пробил.

Я говорю вам еще раз: русский народ пресыщен и утомлен порабощением и позором, он устал служить жалким орудием достойной проклятия политики.

Братья, не обманывайтесь внешним видом, будто этот народ-великан до сих пор еще лежит скованный по всем членам железным волшебным сном! Я вам говорю: он спит уж не глубоко, он только тихо дремлет, он уже начал пробуждаться. Не обманывайтесь упованием Николая, его уверенностью в своих деспотических кознях, в верности его войска, в подчиненности масс, в ее вере в его силу.

Я вам говорю: эта вера везде пошатнулась, а удары кнута, лишения прав и имущества, ссылки в Сибирь и на Кавказ, все это плохие средства, чтобы оживить ее.

Я вам говорю: деспотические козни разбиваются все более и более о каменную грудь революционного духа, для отражения которого от русской земли, тиран, внутренно уже дрожащий, хотя наружно сохраняющий притворное спокойствие и твердость, напрасно выставляет на своих границах страшные пограничные войска и готовится даже выступить против него, духа революции, на прусской и австрийской земле; напрасно, говорю

я, потому что дух невидимо ступает вперед, и, словно азиатская холера, смеется над всякими пограничными стражами и заставами.

Я вам говорю: верность русского войска надломлена сочувствием славян к славянам, влечением русского сердца к братскому польскому сердцу. Да русское сердце обливается кровью от стыда и боли, что немецкие обладатели русского скипетра так жестоко предали братский славянский народ германским тиранам и так бесчестно разделили славянскую страну с германскими тиранами; оно обливается кровью, это русское сердце и возмущается ужасной судьбой этого геройского славянского племени, которое опередило нас всех по дороге свободы и пролило по капле свою драгоценную кровь в долгом мученичестве за нашу общую свободу, которое, однако, среди всяких унижений и терзаний не отступает и не устает, и окончательное восстановление которого в ряду народов подаст вам огненный сигнал, который, прорезывая тьму нашего рабства, поведет всех славян по пути к освобождению и спасению. Да, Польша, это стрела в русском теле; через униженную Польшу истекает кровью русская деспотия; крест, на котором она распинала мученика, будет ее собственным позорным столбом, у которого она кончит свою мерзкую жизнь. Николай это предчувствует, он знает это и потому все глубже и глубже запускает свои ястребиные когти в судорожные члены несчастного растерзанного польского тела, мучимый страхом и дрожащий перед возможностью, что эти бессмертные члены все же, наконец, соберутся и вновь соединятся в одно одушевленное тело, чтобы воздать давно уготованную, но не выполненную, ужасную месть своему и всеславянскому палачу. Его смертельно мучит проглоченный кусок этого величия, которого деспотизм никогда не переварит во внутренностях своей власти и великолепия. Он это чувствует и знает, но он только одному не хочет верить, что яд уже свирепствует по всем жилам и сосудам тела его власти, что его войско, солдаты и начальники, как только приходят в соприкосновение с польской народностью, тотчас чувствуют магическую силу этой святыни нашей национальности, освященной безмерными страданиями, этой скинии и завета нашего освобождения, этого огненного и дымового столба, который день и ночь указывает нам дорогу через пустыню нашего рабства в обетованную землю свободы всех славян. Да, они чувствуют вместе с Польшей, они вдохновлены для Польши, они видят в спасении Польши свое собственное спасение, они уже не против Польши, а только за ее дело могут сражаться.

А подчиненность масс, — если ты и рассчитываешь на нее, ослепленный царь, ты который так умен и хитер в мелочах, да на запутанных дорожках твоих низких хитростей, действующих чудесно только на старчески слабую Европу, ослепленный царь, ты строишь на песке! Правда, крестьянский бунт в Галиции плох, потому что он обращается, питаемый и покровительствуемый тобою, против демократически настроенных, духом свободы проникнутых дворян; но он скрывает в своих недрах зародыш

новой, неожиданной силы, вулканический огонь, взрыв которого похоронит под громадами лавы благоустроенные искусственные сады твоей дипломатии и господства, потрясет и истребит без следа в один миг твою власть, ослепленный царь. Крестьянский бунт в Галиции это ничто, но его огонь разгорается все больше на подземном огне и уже выростает огромный кратер между крестьянскими массами чудовищной русской державы. Это демократия России, пламя которой пожрет державу и осветит всю Европу своим кровавым заревом. Чудеса революции встанут из глубины этого пламенного океана, Россия есть цель революции; ее наибольшая сила, — там развернется и там достигнет своего совершенства. Этой первобытной твердостью в железной настойчивости, с которой русский народ охранял свою внешнюю независимость при всех бурях, потрясавших славянский мир, он укрепится теперь для революции, чтобы добыть и удержать свою внутреннюю свободу. В Москве будет разбито рабство всех соединенных под русским скипетром славянских народов, а с ним вместе и все европейское рабство, и навеки будет схоронено в своем падении под своими собственными развалинами; высоко и прекрасно взойдет в Москве созвездие революции из моря крови и огня, и станет путеводной звездой для блага всего освобожденного человечества.

Встаньте же славянские братья! Вы, призвание которых в том, чтобы сражаться в передовых рядах, встаньте! Во имя миллионов, которые должны скоро дать главное сражение, во имя северных славян, которые когда-нибудь потребуют от вас строгого отчета, что вы сделали для нашего дела, во имя этого народа еще и еще раз взываю я к вам: *порвите с реакцией раз навсегда, порвите с дипломатией, порвите со всякой половинчатой и недостойной вас политикой и бросьтесь отважно и всецело в об'ятия революции!*

В ней все, — ваше пробуждение, ваше воскресение, ваша надежда, ваше спасение, ваша будущность! В ней и только в ней! Доверьтесь ей! Вы должны довериться, потому что, наверное, она не плохой союзник. Вам говорят: она уже пала под ударами контр-революции. Это неправда. Оглянитесь, посмотрите на ее дело! Не изменилось ли все в европейском мире? Разве он не сделался вдруг хаосом, в котором те именно, которые стараются восстановить порядок старого мира, вносят только еще больше внутреннее замешательство своими созывами войск, своими бомбардировками и осадами, своими вопиющими о мести насилиями, своими бойнями и опустошениями? Разве не стала анархия постоянной и всякая попытка обуздать ее не бывает ли еще более анархической, чем первоначальная анархия? Оглянитесь вокруг:—революция везде. Она одна царит, она одна сильна. Новый дух со своей разрушающей, разлагающей силой вторгнулся бесповоротно в человечество и проникает общество до самых глубоких и темных слоев. И революция не успокоится, пока не разрушит окончательно одряхлевшего мира и не создаст нового, прекрасного. Поэтому

в ней и только в ней вся наша сила, мощь и верность победы. Только с ней жизнь, вне ее — смерть. Только тот, кто идет за ней и ведет ее дело, увидит свое дело победившим, потому что одна она раздает все прекрасные военные награды: кто против нее, тот должен рано или поздно погибнуть и не увидит дня спасения. Она не терпит никакой середины, двойственности, заигрывания, немножко с ней, немножко с ее врагом, никакой колеблющейся, недоверчивой, лицемерной предупредительности: она требует, чтобы ей отдавались безусловно, откровенно, доверялись и принадлежали ей вполне. Она сила, она правда, она спасение нашего времени, она единственная практика, ведущая к добру и удаче: вне ее нет ума, мудрости, политики: она одна ум, мудрость, политика и все, что ведет к цели. Она одна может создать полноту жизни, даровать непоколебимую уверенность, придать силы, творить чудеса, превращать в одну живую и жизнь производящую массу мир из восьмидесяти миллионов людей, которых деспотизм держит в тысячелетнем сне. Верьте революции. Отдайтесь ей вполне и всецело! Без нее нет славянства!

Вы должны отдаться революции всецело и безусловно.

Революционною должна быть ваша политика внутри и вне родины.

Вы должны быть друзьями и союзниками всех народов и партий, сражающихся за революцию.

Какие народы и партии сражаются за революцию?

Все, которые сражаются за свою собственную независимость и вместе с тем за свободу всех, а потому в союзе против одного общего врага, против заговора деспотов.

Что поставил себе ближайшей задачей заговор деспотов?

Сохранение Австрии. Австрия есть центральный пункт сражения.

Чего должны мы, вследствие этого, желать?

Противуположного тому, чего они желают: *совершенного разрушения Австрийской империи.* Деспоты совершенно правы, в *своем* интересе делая Австрию главным пунктом сражения; потому что как русская империя служит внешней опорой деспотизма, так Австрия служит систематическим проведением его в сердце Европы: Австрия это окаменелое бесправие, плотина, о которую так долго разбивались в бессилии волны стремления к свободе в Европе. Поэтому и мы вправе желать распадения и уничтожения Австрийской империи в интересах свободы; потому что распадение этой Австрии будет освобождением и поднятием многих порабощенных австрийскому единству народов и освобождением сердца Европы. Кто за Австрию, тот против свободы. Поэтому мы, стоящие за свободу, должны быть против Австрии. Мы должны разрушить эту империю.

Как это случится?

Так, что мы посрамим все доселешние широко-задуманные планы австрийского императорского двора.

Как мы узнаем эти планы?

Мы видим, что делают слуги Австрии.

Кто главный слуга?

Виндишгрец.

Куда идет теперь Виндишгрец?

В Венгрию. После того как он бомбардировал Прагу и убил в ней свободу, после того, как он бомбардировал Вену и в ней убил свободу, он идет в Венгрию, чтобы и там убить свободу.

Что же мы должны вследствие этого делать?

Это ясно: *мы должны теперь заявить себя и в Венгрии за мадьяр и против Виндишгреца.*

Братья! Я знаю, какое я тяжелое слово произнес при этом. Что сделали мадьяры нашим славянским братьям, какие преступления совершили они против нашей национальности, как они попирали ногами наш язык и независимость,—все это я знаю; я знаю, что они даже теперь, хотя научены опытом, который побудил их бежать на помощь венцам, все-таки не уважают и не признают свободы славян. Несмотря на все это, братья, та политика, которую мы установили еще на с'езде в Праге, а именно предложить мадьярам федерацию обеих народностей, под условием взаимного уважения прав и обоюдной совершенной независимости, на эту политику мы и теперь должны решиться. Это политика возвышенная, великодушная; предложение союза народу, который теперь находится в такой опасности, как народ мадьярский, не может унизить ваше достоинство, напротив, вы этим возвысите вашу честь. Эта политика не может остаться без успеха. Наверное есть между мадьярами люди, которые поймут все достоинство подобного предложения и не отвергнут условий, связанных с ним, ради блага Венгрии: дух, предписывающий эти условия, всегда, ведь, будет увеличивать свою власть над мадьярами, ведь, найдется и между ними теперь демократическая партия, которая только в свободе *всех* народов увидит обеспечение свободы отдельного народа, и которая в это время повсеместной нужды несомненно легче, чем когда-либо, приобретет себе всеобщий голос; но если бы было и не так, если бы даже ваша протянутая рука была отвергнута, то вы были бы свободны от всякой ответственности и только на голову тех, которые дерзко и с презрением оттолкнули благороднейшее предложение общего спасения, пал бы неизгладимый позор и упрек. Потому что политика, которую я здесь советую, это политика не только великодушия и благоразумия, но и мудрости, заботящейся о будущем. Потому что этим актом вашего великодушия вы сделаете сильнейшую пропаганду принципов свободы всех народов: это акт, который даст решительный поворот не только борьбе в Венгрии, но и общей борьбе революции против деспотов, который поставит вас во главе революционного движения и вы будете, как и прилично вам,

гордо и отважно освещать факелом путь освобождению европейских народов.

Не нанесет ли славянин сам себе вреда, если протянет руку своему естественному врагу?

Конечно, нет! Мы так сильны, что можем быть благородны, О, конечно, славянин не пострадает, а выиграет. Конечно, он будет жить! И мы будем жить. Пока у нас будут оспаривать малейшую частицу наших прав, пока будет отделен или оторван хоть один из членов нашего общего тела, мы будем бороться не на жизнь, а на смерть, до последней капли крови, пока, наконец, Славянство станет посреди мира великим и совершенно свободным и независимым. Но именно потому мы должны смотреть выше малого на большее, выше отдельного на целое и направлять полную силу нашего сопротивления на упрямого врага союза, и если какой либо народ, хотя бы одна часть его и была некогда частью нашего врага, признает, наконец, наше право и пожелает сражаться за одно с нами против большого общего врага, то мы должны охотно протянуть ему руку.

Вы должны подать руку немецкому народу. Не деспотам Германии, с которыми вы теперь в союзе, нет, этого именно вы не должны делать. Не тем немецким педантам и профессорам в Франкфурте, не тем плохим, узким литераторам, которые, по ограниченности или ради денег, наполнили большую часть немецких газет ругательствами против вас и ваших прав, против поляков и чехов, не тем немецким мещанам, которые радуются всякому несчастью славян. А тому немецкому народу, который происходит от революции, который станет свободной немецкой нацией, той Германии, которая еще не существует и которая поэтому, еще ни в чем не провинилась против вас, отдельные и по всей Германии разбросанные члены которой, разбитые так же, как и наши славянские народности, так же преследуемые и угнетаемые, как и мы, достойны нашей дружбы и готовы с распростертыми обьятиями быть нашими друзьями.

Прежде всего вы должны сломить военную силу Австрии; силу, благодаря которой Австрия является австрийским государством; силу, которая задерживает и тормозит всякое свободное народное восстание и противится победе всеобщей свободы, равенства и братства всех народов. Вы видели в Праге, что такое эта военная сила, как она отвратительна. Что за люди бомбардировали под начальством Виндишгреца славянскую Прагу? Были ли это мадьяры? Были ли это немцы? Был ли это итальянцы? Нет, это были славяне и только славяне: чехи, поляки, словаки. И что такое австрийский генерал, это вы видели недавно на Еллачиче. Это иезуит во главе дисциплинированных банд, которые без своей воли, без своих целей, слепо повинуются его приказаниям; это человек, у которого нет ничего святого, которого не воодушевляют ни любовь к отечеству, ни чувство к своей нации, а только ревность к службе для пагубной ав-

стрийской камарильи и, чтобы угодить этой камарилье, он готов совершить какое угодно преступление. И вот это чудовище, которое натравливает братьев на братьев, которое душит и убивает в человеческой груди всякое человеческое движение, эту военную организацию, которая превращает людей в машины деспотии, вы и должны разрушить, если вы хотите сделать свободным славянство.

Вы должны отозвать ваших солдат из Италии, этой прекрасной, загубленной австрийским рабством Италии, потому что не позор ли то, что славяне, которые сами борются за свою независимость, прилагают свои руки, чтобы поработить благородный народ, который не нанес им ни малейшего оскорбления, не сделал им ни одной несправедливости? Вы должны повсюду отозвать славянских солдат из австрийской службы, которая их позорит, чтобы ими не пользовались более, как палачами, потому что это дает право и другим быть палачами по отношению к вам; вы должны с'уметь создать из них чистые славянские сердца, войско для служения революции, войско, которое бы сражалось за свободу всех славянских народов и Европы.

Вы не можете изменить своей внешней политики, пока не измените внутренней.

Не надо более этой администрации австрийскими чиновниками!

Не надо этих вождей, которые наполовину возбуждают, наполовину успокаивают народ. Пусть погибнут эти злые люди, которые вечно говорят вам: агитируйте, но не слишком, потому что опасно возбуждать народ: можно достигнуть цели более кроткими, парламентарными, дипломатическими средствами. Не верьте этим людям. Освобождение наших народов может выйти только из одного бурного движения их. Дух нового времени говорит и действует только среди бури. Наша славянская натура не такова, как у отжившего старика, которому подходит только расслабленное и разжиженное; она не погибла и не испортилась, она проста и велика, и только прямота и цельность действует на нее. Славяне должны быть огнем, чтобы творить чудеса. Агитируйте среди славянских масс без оглядки, без удержу! Зажигайте в них святой огонь. Идите апостолами пробуждающегося славянства! Соединяйтесь, славянские народы Австрии! Соединяйтесь все вместе и заключите между собою священный оборонительный и наступательный союз! Союз не под прикрытием австрийской династии, а союз против нее, союз для освобождения от Австрии! Союз для основания федерации, которая скоро должна соединить между собою все славянские народы. Будьте опять, как уже были однажды в золотой Праге, для нас, для всех славян севера и Турции, предвестниками, сверкающей грозовой тучей всех нас освобождающей революции.

Тогда воскреснет славянство!

III.

ОСНОВЫ НОВОЙ СЛАВЯНСКОЙ ПОЛИТИКИ[1].

После того как славяне пережили времена рабства, тяжелой борьбы и жалоб, которые были последствием их разделения, соединяются они теперь в первый раз на общем с'езде и подают друг другу руку в знак единения, заявляют перед богом и народами, что следующие основные положения составляют основы их новой политической жизни:

1) Хотя последние пришельцы в развитии европейского образования, славяне, чувствуют себя призванными к осуществлению того, что другие народы Европы приготовили через свое развитие, то-есть, к осуществлению того, что теперь считается за конечную цель гуманности, свободы и счастия всех, принимающих участие в святом и братском единении, как отдельных личностей, так и народов.

2) Очень долгое время они сами были жертвою чужого притеснения, видели очень хорошо печальные последствия этого: упадок родных (национальных) нравов и дисгармонию в обществе, которая вытекает из притеснения не только для притесненных, но также и, особенно, для притеснителей; кроме того, они слишком возненавидели чужое иго, чтобы когда нибудь пожелать наложить свое иго на чужие народы. Уважение и любовь к свободе других есть в их глазах первое условие собственной свободы.

3) Кроме того, они слишком долго были жертвою хитрости и насилия, чтобы начать черпать новую жизнь и новую силу в чем либо другом, кроме, как в чистой и святой истине, в чистой свободе, в чистой справедливости без всякого ограничения, без всякой задней коварной мысли; поэтому они устраняют столько же во внутренней, сколько и во внешней политике дипломатию и ее соображения, все, что искусственно и что могло бы иметь целью какую бы то ни было центральную власть на счет свободы, будь то индивидуума, или народов. Новая политика славянских народов будет не государственная политика, а политика народов, политика независимых свободных людей.

---

[1]) Эта статья появилась в журнале Иордана Slavische Jahrbücher, 1848, № 49, стр. 257—260, под заглавием „Statuten der neuen slavischen Politik“

4) Они основывают свое новое могущество на неразрывном и братском союзе всех народов, составляющих славянское племя, и не будут искать никакой другой централизации, кроме той, какая вытекает из соединения всех славян. Все их несчастие было в разделении; соединенные они были бы непобедимы, и, однако, они были разделены и так страстно держались того, что они забывали святую связь рода и крови, которая бы непременно их соединила для исполнения общего призвания. Одни из них дали себя соблазнить для братоубийственной войны. Другие, наконец, забывались до того, что пользовались чужими племенами и анти-славянской политикой для уничтожения своих братьев. Но, в наказание за то, бог попустил, чтобы одно славянское племя за другим подпало под иго немцев, не исключая и тех, которые сохранили призрак национальной и независимой жизни, или стали мучителями своих братьев столько же, сколько и несчастными исполнителями немецких замыслов.

Но минуло время страданиям,—час освобождения пробил для славян. По прибытии в Прагу от противоположных границ, они нашли себя братьями,—признали себя и почувствовали братьями один другому не только в сердце, но поняли также язык друг друга, который — лишь разные диалекты, оттенки одного прекрасного и благозвучного языка, который распространился от берегов Адриатических до границ Белого моря и Сибири. Они увидели себя соединенными общностью своего дела и еще сильнее они увидели себя соединенными великим призванием, которое им приготовляет будущее. Они поблагодарили Бога за то, что он положил конец их долгим страданиям, что он их сохранил в полной чистоте братского чувства; они простили себе взаимно прошедшее и видят перед собою только настоящее и будущее, в сознании долга более не нарушать своих судеб.

IV.

ОСНОВЫ СЛАВЯНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

1) Признается независимость всех народов, составляющих славянское племя.

2) Все эти народы, впрочем, состоят между собою в союзном единении. Это единение должно быть настолько тесно, что счастие или несчастие одного должно быть в то же время счастием или несчастием другого, и никто не может чувствовать себя свободным и считать себя таковым, если другие не свободны и, наоборот: притеснение одного есть притеснение другого.

3) Общий союз всех славянских народов есть выражение и осуществление этого соединения. Он представляет все славянство и называется славянский совет (Rada Slowenskà).

4) Славянский совет руководит всем славянством, как первая власть и высший суд: все обязаны подчиняться его приказаниям и исполнять его решения.

5) Всякое несправедливое действие какого-либо славянского народа, которое бы стремилось учредить особый союз в среде соединенного всеславянства, или подчинить себе другое славянское племя, посредством дипломатии или насилия, в намерении основать сильную центральную власть всего соединенного славянства,—всякое стремление к какой бы то ни было гегемонии над соединенными народами, в пользу ли одного народа, или некоторых соединенных, но к невыгоде других, будет считаться за преступление или за измену всему славянству. Славянские народы, которые хотят составить часть федерации, должны отказаться вполне от своих государственных функций и передать их непосредственно в руки совета и не должны искать себе величия иначе, как в развитии своего счастья и свободы.

6) Только Совет имеет право об'являть войну иностранным державам. Никакой отдельный народ не может об'являть войну без согласия всех, так как вследствие соединения, все должны участвовать в войне каждого и ни один не может оставить братское племя в минуту несчастья.

7) Внутренняя война между славянскими племенами должна быть запрещена как позор, как братоубийство. Если бы возникли несогласия

между двумя славянскими народами, то они должны быть устранены Советом и его решение должно быть приведено в исполнение, как священное.

8) Из последних трех пунктов ясно вытекает, что, если какой нибудь славянский народ подвергнется нападению другого славянского народа, раньше, чем Совет имел бы время постановить что нибудь, или приложить разные посреднические меры, все соседние племена обязаны помочь его освобождению. Поэтому будет считаться изменником всякий славянский народ, который нападет на другой с оружием, или который при нападении чужого, не поспешит на помощь подвергшемуся нападению брату. Защищать брата есть первая обязанность.

9) Никакое славянское племя не может заключать союза с чужими народами; это право исключительно предоставлено Совету; никто не может отдать в распоряжение чужому народу или чужой политике славянское ополчение.

V.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ[1].

Славянские народы независимы, поэтому каждый народ может себе по своей воле, дать такое правление, какое соответствует его обычаям, потребностям и его условиям. Но первые основания его, должны лежать в славянском характере, который должен образовать основу новой жизни соединенных славянских народов, и без святого сохранения тех основ никакой народ не может приступить к общему союзу.

1. Принципы, которые составляют эти основы суть: равенство всех, свобода всех и братская любовь. Под небом свободного славянства нет никого не свободного ни по праву, ни на деле. Подданство (крепостная зависимость) под каким бы видом она не показывалась, навсегда отменяется. Все славяне одинаково свободны, одинаково братья. Между ними нет никакого неравенства, кроме того, какое создала природа. Сословий (каст) нет никаких. Где еще господствует аристократия, привилегированное дворянство, оно должно, если хочет быть славянским, на будущее время искать себе преимуществ и привилегий в богатстве своей любви и величии своей жертвы. Аристократия ученых и художников, старшая сестра в народе, должна раствориться в народной массе, чтобы черпать из нее новую жизнь и чтобы идти вместе к просвещению, накопленному в течение времен.

2. На великом и благословенном пространстве, которое заняли славянские племена, есть довольно места для всех, поэтому каждый должен иметь свою часть во народном владении и быть полезным всем.

3. Каждое лицо, которое принадлежит к какому либо славянскому народу, имеет право поселиться в любой славянской стране, и единение, которое связывает славянские народы, должно считаться за братское и должно господствовать также и в отношениях между отдельными славянскими лицами.

---

[1] Перевод с немецкого текста у Иордана. Эта статья была еще напечатана по чешски в журнале „Čech“, выходившем в Женеве в 1861 г., и в отдельном оттиске под заглавием „Zakladni pravidla politiky a federace slovanske“.

4. Совет имеет право и обязанность смотреть за тем, чтобы эти принципы свято соблюдались и [illegible] [illegible]нялись во внутренних учреждениях всех народов, которы[illegible] союз. Он имеет право и обязанность вмешательства, [illegible] будут уничтожены каким либо постановлением, и всякий [illegible] имеет право обращаться к Совету против несправедливого дейст[illegible] своего отдельного правительства.

VI.

ПРОГРАММА СЛАВЯНСКОЙ СЕКЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В ЦЮРИХЕ [1872][1]).

1. Славянская секция, вполне признавая основные статуты Международного Общества Рабочих, принятые на первом Конгрессе (Сентябрь 1866, Женева), задается специальной целью пропаганды принципов революционного социализма и организации народных сил в славянских землях.

2. Она будет бороться с одинаковой энергией против стремлений и проявлений, как панславизма, т. е. освобождение славянских народов при помощи русской империи, так и пангерманизма, т. е. при помощи буржуазной цивилизации немцев, стремящихся теперь организоваться в огромное мнимо-народное государство.

3. Принимая анархическую революционную программу, которая одна, по нашему мнению, представляет все условия действительного и полного освобождения народных масс, и убежденные, что существование государства, в какой бы то ни было форме, несовместимо с свободой пролетариата, что оно не допускает братского международного союза народов, мы хотим уничтожения всех государств. Для славянских народов в особенности, это уничтожение есть вопрос жизни или смерти, и в то же время единственный способ примирения с народами чуждых рас, например, турецкой, мадьярской или немецкой.

4. С государством должно неминуемо погибнуть все, что называется юридическим правом, всякое устройство сверху вниз путем законодательства и правительства, устройства, никогда не имевшего другой цели, кроме установления и систематизирования эксплуатации народного труда в пользу управляющих классов.

5. Уничтожение государства и юридического права необходимо будет иметь следствием уничтожение личной наследственной собственности и юридической семьи, основанной на этой собственности, так как та и другая совершенно не допускают человеческой справедливости.

---

[1]) Напечатана в приложении В. в книге „Государственность и анархия". Французский подлинник этой программы писан рукою Бакунина.

6. Уничтожение государства, права собственности и юридической семьи, одно сделает возможным организацию народной жизни снизу вверх, на основании коллективного труда и собственности, сделавшихся в силу самих вещей возможными и обязательными для всех путем совершенной, свободной федерации отдельных лиц в ассоциации или в независимые общины, или помимо общин и всяких областных и национальных разграничений, в мелкие однородные ассоциации, связанные с тождественностью их интересов и социальных стремлений, и общин в нации, наций в человечество.

7. Славянская секция, исповедуя материализм и атеизм, будет бороться против всех родов богослужения, против всех оффициальных вероисповеданий и, оказывая, как на словах так и на деле, самое полное уважение к свободе совести всех и к священному праву каждого проповедывать свои идеи, она будет стараться уничтожить идею божества, во всех ее проявлениях, религиозных, метафизических, доктринерно-политических и юридических, убежденная, что эта вредная идея была и есть еще освящением всякого рода рабства.

8. Она имеет полнейшее уважение к положительным наукам; она требует для пролетариата научного образования равного для всех без различия полов, но, враг всякого правительства, она с негодованием отвергает правительство учёных, как самое надменное и вредное.

9. Славянская секция требует вместе с свободой, равенства прав и обязанностей для мужчин и женщин.

10. Славянская секция, стремясь к освобождению славянских народов, вовсе не предполагает организовывать особый славянский мир, враждебный, из чувства национального, народам других рас. Напротив, она будет стремиться, чтобы славянские народы также вошли в общую семью человечества, которую Международное Общество Рабочих призвано осуществить на началах свободы, равенства и всеобщего братства.

11. В виду великой задачи—освобождение народных масс от всякой опеки и всякого правительства—которую приняло на себя Международное Общество, славянская секция не допускает возможности существования среди него какой-либо верховной власти или правительства, следовательно не допускает иной организации, кроме свободной федерации самостоятельных секций.

12. Славянская секция не признает ни оффициальной истины, ни однообразной политической программы, предписанной главным советом или общим Конгрессом. Она признает только полную солидарность личностей, секций и федераций в экономической борьбе рабочих всех стран против эксплуататоров. Она в особенности будет стремиться привлечь славянских работников ко всем практическим последствиям этой борьбы.

13. Славянская секция за секциями всех стран признает: а) свободу философской и социальной пропаганды; б) свободу политики, лишь

бы она не нарушала свободы и права других секций и федераций; свободу организации для народной революции; свободу связи с секциями и федерациями других стран.

14. Так как Юрская Федерация громко провозгласила эти принципы и так как она искренно проводит их на практике, то славянская секция вступила в ее среду.

Народное Дело.

Народное Дело

РОМАНОВ, ПУГАЧЕВ ИЛИ ПЕСТЕЛЬ.

Времена — что ни день — становятся серьезнее. Наступила и для русских пора дела. Замолк праздный шум упоенной собою литературы. Под гнетом современных и еще более грозных будущих обстоятельств, ожидаемых и предвидимых всеми, люди наименее серьезные, наиболее развращенные болтовнею литературною, призадумались. — Полно болтать, опасно болтать, преступно болтать. Ведь дело идет о спасении себя, семьи, имущества, о спасении России от кровавых несчастий, от конечного разорения. Всякий должен теперь размыслить серьезно и свои политические верования и свое положение, а размыслив, решить: *куда, к чему, с кем и за кем идти?*

Теперь только наступает в России время действительного образования и развития партий. Несколько месяцев тому назад очень много людей не знали еще сами, к какому они принадлежат лагерю. Было, правда, много ученых разделений и подразделений в теории, но на практике они не раз'единяли людей, потому что не было ясно определенной практической цели. Болтливо-шумною толпою стремились все вперед, на свободу, иные по убеждению, другие по инстинкту, третьи по моде, и, наконец, остальные из страха и, казалось, что в этой толпе все единомышленники и братья. Но вот засветилось первое, слабое зарево тех пожаров, которыми грозит, может быть, кровавая *русская* революция, и замолк гул праздной толпы. Она притихла. — Пожары были совершенно случайны; такие пожары — обыкновенное, почти периодическое явление в России. Но возбужденные политические власти, а главное подлый страх, скрывающийся нередко за нашим шумливым геройством, придали ныне петроградским пожарам другое значение. Правительство первое дало пример. Оно нашло полезным обвинить в поджоге передовую молодежь и распространить эту клевету между народом, дабы возбудить его против студентов. В прежнее время никто из литераторствующей, порядочной публики не смел бы присоединить своего голоса к клеветливому воплю из-ума-вон испуганной власти. Того бы не-

потерпело общественное мнение, которое даже при самом Николае умело клеймить продажную литературу и литераторов третьего отделения. Теперь им лафа. Пользуясь общим испугом публики, непривыкшей еще к общественным потрясениям, знакомой только с болтовней, а не с делом, они смело подняли свое знамя. А для того, чтоб не испугать слабых людей излишнею откровенностью, они написали на нем слово „*Прогресс*", искусно прикрывая клевету и донос недорогими либеральными фразами. И, нет сомнения, что они приобретут на первое время, но только на короткое время, значительную популярность. Николаевский период развил в России очень много дряблых душ, без страсти в сердце, без живой мысли в голове, но с великолепными фразами на языке. Этим людям в последнее время становилось между нами неловко. Они чувствовали, что дело доходит до дел, до жертвы... Их много и они все пойдут под доктринерское знамя, под сень благодушащего правительства. Благо, отступление открыто и для измены есть благовидный предлог, а для прикрытия ее великодушная фраза: „мы стоим за цивилизацию против варварства", то есть за немцев против русского народа... Что ж, с Богом, идите! Нам остается пожелать вам доброго пути, да успех на новом поприще. Только смотрите, не ошибитесь в расчете: случалось не редко, что те здания, под которыми люди скрывались от бури, бывали первые поражены громом.

Очистившись от старых друзей, сомнительных и слабонервных, мы стали сильнее. Нам нужны теперь люди, которые до конца были бы преданы *народному делу*, и на которых потому можно было бы расчитывать, ибо теперь наша партия окончательно стала партиею дела. А наше дело — служить революции.

Многие еще рассуждают о том, будет ли в России революция или не будет? не замечая того, что в России уже *теперь* революция. Она началась последовательно, широко проникла во все составы умирающего от дряхлости государства и возобновляющейся общественной жизни; она парит во всех, везде и во всем, действует руками правительства еще успешнее даже, чем усилиями своих приверженцев, и не успокоится, не остановится до тех пор, пока не переродит русского мира, пока не воздвигнет и не создаст нового славянского мира.

Династия явно губит себя. Она ищет спасения в прекращении, а не в поощрении проснувшейся народной жизни, которая, еслиб была понята, могла бы поднять царский дом на неведомую доселе высоту могущества и славы. Но где высота, там и бездна, и непонятая, оскорбленная, раз'яренная смешными попытками пигмеев удержать ее непреклонно логическое течение, та же народная жизнь может сбросить его, со всеми его немецкими советниками и доморощенными доктринерами, со всею бюрократическою и полицейскою сволочью, в бездонную пропасть... А жаль!

Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль. Александр II мог бы так легко сделаться народным ку-

миром, первым русским земским царем, могучим не страхом и не гнусным насилием, но любовью, свободою, благоденствием своего народа. Опираясь на этот народ, он мог бы стать спасителем и главою всего славянского мира. Для этого не нужно было ни гения, ни даже той макиавелистической науки, которою так искусно и так усиленно держатся другие. Нужно было только широкое, в благодушии и в правде крепкое русское сердце. Вся русская, да и вся славянская живая деятельность просилась ему в руки, готовая служить пьедесталом для его исторического величия. Самое царствование отца, гибельное для России и для славян во всех отношениях, должно было служить ему наукою и вместе отрицательною рекомендациею в глазах народов. Николай душил Польшу; Александр должен был освободить Польшу со всем, что хочет быть Польшей. Он должен был сделать это и по справедливости, и для освобождения России от ненужной тяготы и от еще менее нужного бесчестия, и для того, чтоб, освободившись раз на всегда от немцев, открыть себе широкие ворота в славянский мир. Николай довел до крайнего безумия систему петровскую, систему отрицания и придушения народа во имя немецкого государства; он до того напряг искусственные силы этого государства, что оно надломилось и треснуло, убив его самого. Александр должен бы был почувствовать, что безобразное здание, стоившее миллионов человеческих жертв, потоков и своей и чужой крови, держаться далее не может, и что никаких сил не достанет удержать его от конечного падения. На развалинах петровского государства может существовать только Россия *Земская*, живой народ. Для народа нужно было расчистить место.

Казалось сначала, что Александр II понимал свое значение, по крайней мере в отношении к России, потому что в Польше он с первого раза тремя словами испортил все свое положение. И сколько преступлений, сколько несчастий, сколько бесчестия для нас и кровавых жертв для поляков вытекало из этих трех слов: „Point de rêveries!“ Теперь всякий может решить, кто безумно, преступно мечтал: поляки или Александр Николаевич?

Его начало в России было великолепно. Он об'явил свободу народу, свободу и новую жизнь после тысячелетнего рабства. Казалось, он хотел *земской России*, потому что в государстве петровском свободный народ немыслим. 19 февраля 1861 года, несмотря на все промахи, недостатки, уродливые противоречия и не менее безобразные тесноты указа об освобождении крестьян, Александр II был самым великим, самым любимым, самым могучим царем, который когда-либо царствовал в России. Но он так мало понимал это, так мало знал, чувствовал душу народную, он до такой степени немец, что в этот самый день, торжественнейший из торжественных дней в русской истории, он прятался в своем дворце и окружал себя караулами, боясь народного бунта. Видно — совесть была не чиста, видно — он замышлял не доброе, видно — он не хотел настоя-

щей свободы народу, который верил, да и все еще верит в него до безумия.

И в самом деле не была чиста совесть. Александр II и не мыслил о свободе народа. Она была бы противна всем инстинктам его. Немец никогда не поймет и не полюбит земской России; и в то самое время, как русский народ ждал от него новой жизни, он вместе с советниками своими думал только о том, как бы укрепить, восстановить и если можно расширить двухвековую причину русской безжизненности, народоненавистное тюремное здание петровского государства. Задумав гибельное, невозможное, он губит себя и свой дом, и готов ввергнуть Россию в кровавую революцию. Гения Петра Великого не достало бы теперь на такое дело, а он предпринял его.

Отсутствием русского смысла и народолюбивого сердца в царе, безумным стремлением удержать во что бы ни стало петровское государство, об'ясняется вполне и все противоречия указа об освобождении и столь же раззорительная, сколь и опасная нелепость переходного состояния, и бесчеловечно глупое стреляние по невинным крестьянам в разных губерниях, и об'явление царя народу, что не будет ему другой воли, и студенческие истории, и заключение в крепость тверских дворян, и упорное желание правительства сохранить сословие дворянское наперекор воле самого дворянства, и теперешний терроризм, и, наконец, последнее слово: Липранди! Липранди, убитый общим презрением, воскрес. Он зовется на помощь — он будет спасать Россию!.. Жребий брошен. Для Александра II, кажется, нет более возврата на другую дорогу. Не мы, он главный революционер в России, и да падает на его голову кровь, которая прольется!

А он, и только он один, мог совершить в России величайшую и благодетельнейшую революцию, *не пролив капли крови*. Он может еще и теперь: если мы отчаиваемся в мирном исходе, так это не потому, чтоб было поздно, а потому, что мы отчаялись, наконец, в способности Александра Николаевича понять единственный путь, на котором он может спасти себя и Россию. Остановить движение народа, пробудившагося после тысячелетнего сна, невозможно. Но еслиб царь встал твердо и смело во главе самого движения, тогда бы его могуществу на добро и на славу России не было бы меры. На этом пути опасности нет никакой, успех верный.

Народу нужна земля—отдайте ему всю землю. А чтоб не раззорить собственников *мнимым* выкупом, пусть выкупается она не крестьянами, а целым государством. Народу нужна воля, полная воля движения, занятий... Так дайте ему эту волю, избавьте его из под опеки правительственной, которая его всегда угнетала да раззоряла, избавьте его от чиновников, которых он ненавидит, наравне с дворянами. Дайте ему полное самоуправление общинное, волостное, областное и государственное. Народу ненавистны сословия, созданные вашими прадедами для притесне-

ния народа; так уничтожьте эти сословия, которые сами теперь готовы отказаться от всех своих преимуществ, отчасти потому, что преимущества эти стали ничтожны, отчасти по благородному побуждению, отчасти же от страха. Пусть будет в России один нераздельный народ. И не бойтесь, он будет в состоянии сам собою управляться. Народ знает своих людей, и в этих людях, поверьте, более дельного смысла, чем во взросшем в блудном безделии дворянстве. Не бойтесь также что через областное самоуправление разорвется связь провинций между собою, рушится единство русской земли. Ведь автономия провинций будет только административная, внутренно-законодательная, юридическая, а не политическая. И ни в одной стране, исключая может быть Франции, нет в народе такого смысла единства строя, государственной целости и величия народного, как в России. Только во Франции присоединяется к этому страсть бюрократическая; в России ее нет. Чиновник противен народу, а бюрократическая централизация необходимым насилием своим только отталкивает его от единства: и только тогда воцарится действительная, вольная целость в русской земле, когда чиновническое управление заменится в ней самоуправлением народным. Единство земли русской, находившее доселе свое выражение только в царе, требует теперь еще другого представительства: *Всенародного Земского Собора.*

Говорят, что в Петербурге боятся пуще всего земской Думы; опасаются, что с нею начнется революция в России. Да неужели же там в самом деле не понимают, что революция давно началась? Пусть посмотрят вокруг себя, в самих себя, пусть сравнят свое настроение духа с тем, что чувствовалось правительством при императоре Николае,—и пусть скажут: разве это не коренная и не полная революция? Вы слепы, это правда. Но неужели слепость ваша дошла до той степени, что вы думаете—можно воротиться назад или отделаться шутками? Итак, не в том вопрос, будет ли или не будет революция, а в том: *будет ли исход ее мирный или кровавый*? Он будет мирный и благодатный, если царь, встав во главе движения народного, вместе с земским сбором, приступит широко и решительно к коренному преобразованию России в духе свободы и земства. Ну, а если ослепленный царь задумает идти вспять, или остановится на полумерах, или станет искать спасения в Липранди,—исход будет ужасный. Тогда революция примет характер беспощадной резни, не вследствие прокламаций и заговоров восторженной молодежи, а вследствие восстания всенародного. На Александре Николаевиче лежит теперь ответственность страшная. Он может еще спасти Россию от конечного раззорения, от крови. Сделает ли он? Захочет ли он?

Без Собора Земского он не сделает ничего. Только Земский Собор способен умиротворить Россию, восстановить кредит публичный и частный, устроить и обеспечить выкуп земли и возвратить потрясенному обществу спокойствие и веру. А самодержавие?! скажете вы.—Да разве оно дей-

ствительно существует? Это каприз, вчера Панина, сегодня Головнина, завтра Липранди. Это бесконтрольное право на зло, немощь на добро,— право быть пассивным и далеко не почтенным орудием в руках лакеев придворных, министерских и канцелярских,—право чуждаться России, не знать ее, мутить ее,—право ввергнуть ее в кровавую революцию.

Ну, а если Земский Собор будет враждебен царю?—Да, возможно ли это! Ведь посылать на него своих выборных будет народ, до сих пор еще безгранично в царя верующий, всего от него ожидающий. Откуда же взяться вражде? Нет сомнения в том, что еслиб царь созвал *теперь* Земский Собор, он *впервые* увидел бы себя окруженным людьми, действительно ему преданными. Продолжись безурядица еще несколько лет, расположение народа может перемениться. В наше время быстро живется. Но теперь народ за царя и против дворянства, и против чиновничества, и против всего, что носит немецкое платье. Для него все враги в этом лагере официальной России, все — кроме царя. Кто-ж станет говорить ему против царя? А еслиб кто и стал говорить, разве народ ему поверит? Не царь ли освободил крестьян против воли дворян, против совокупного желания чиновничества?

Разочаровать народ, потрясти его веру в царя может только сам царь. Вот где опасность и, может быть, главная причина того панического страха, который ощущают в Петербурге при одном слове: „Земский Собор". И в самом деле, после двухсотлетнего отчуждения, русский народ, через своих представителей, в первый раз встретится лицем к лицу с своим царем. Минута решительная, минута в высшей степени критическая! Как понравятся они друг другу? От этой встречи будет зависеть вся будущность и царей и России.

Двести лет стонал русский народ под гнетом Московско-Петербургского государства и переносил такие тягости, такие терзания, такие мытарства, каких иноземец себе представить не может. Прямою причиною всех бедствий его были цари. Они, позабыв клятву своего родоначальника, народного избранника Михаила Романова, создали эту чудовищную самодержавную централизацию и окрестили ее в народной крови. Они образовали народу противные касты, и духовную и чиновно-дворянскую, как орудия для губительного самовластия, и отдали им народ, одним в духовное, другим в телесное рабство. Их силою, волею, их прямым покровительством держались единственно и буйный произвол полудикого дворянина и притеснительное варварство чиновников. Цари, до самой последней минуты, смотрели на русский народ с презрением горшечника к глине, как на бездушный матерьял, обязанный принять по их произволу любую форму. В конце царствования Николая, один генерал из немцев говорил полковнику, командиру образцового полка, принявшему партию несчастных мужиков-рекрут: „Вы мне хоть половину из них убейте, но чтоб другая за то была вымуштрована на славу". И что немец осмелится высказать

громко, другие делали втихомолку. Жизнь простого человека, крестьянина, мещанина, была нипочем. Система царская истребила таким образом, в продолжении каких нибудь двухсот лет, далеко более миллиона человеческих жертв,—так, без всякой нужды, просто вследствие какого то скотского пренебрежения к человеческому праву и к человеческой жизни. И в то время, когда дикое, разоренное в пух дворянство сорило народными деньгами, не менее блудные, не менее дикие и без сомнения более виновные цари наши сорили людьми.

Но факт замечательный! Русский народ, хотя и главная жертва царизма, не потерял веры в царя. Беды свои он приписывает кому и чему вам угодно и помещикам, и чиновникам, и попам, только отнюдь не царю. Есть правда, секты в расколе, переставшие за него молиться; есть другие, тайно ненавидящие царскую власть. Но это отрицание, хоть выработавшееся в среде народа, далеко не выражает народное большинство, которое еще крепко держится своей веры в царя. Здесь не место углубляться в причине этого *факта* многозначительного, несомненного, а для нас особенно важного, потому что, рады ли мы ему или нет, он обусловливает непременно и наше положение и нашу деятельность. В другом месте я старался об'яснить его тем, что народ почитает в царе *символическое представление единства, величия и славы русской земли*. И думаю, что я не ошибся. Но этого мало: другие, более христианские народы, когда им приходится жутко, а восстание по каким бы то ни было причинам кажется невозможно, ищут своего утешения в вознаграждении загробном, в небесном царе, на том свете. Русский народ, по преимуществу, реальный народ. Ему и утешение то надо земное; земной бог — царь, лицо впрочем довольно идеальное, хоть и облеченное в плоть и в человеческий образ и заключающее в себе самую злую иронию против царей действительных. Царь — идеал русского народа, это род русского Христа, отец и кормилец русского народа, весь проникнутый любовью к нему и мыслью о его благе. Он давно дал бы народу все что нужно ему — и волю и землю. Да он сам, бедный — в неволе: лиходеи бояре, да злое чиновничество вяжут его. Но вот наступит время, когда он восспрянет и позвав народ свой на помощь, истребит дворян и попов, и начальство, и тогда наступит в России пора *золотой воли*! Вот кажется, смысл народной веры в царя. Вот чего он ждет от него в феврале или в марте 1863 г. Ведь он, более двухсот лет, проведенных в невыяснимых муках, ждет слова царского и воскресения; и теперь, когда все надежды, все ожидания его оживились предварительным обещанием царя, согласится ли он ожидать еще долее? — Не думаю.

В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать всенародную Земскую Думу... И вот народ пошлет своих выборных к царю избавителю. Доверию и преданности посланцев народных к царю не будет предела, — и, опираясь на них, встретив их с равною верою

и любовью, и решившись дать добровольно народу то, чего ныне нельзя уже более удержать от него, царь мог бы поставить свой трон так высоко и так крепко, как он еще никогда не стоял. Но что, если вместо царя избавителя, царя земского, народные посланцы встретят в нем петербургского императора в прусском мундире, тесносердечного немца, окруженного синклитом таких же немцев? Что, если вместо ожидаемой свободы, царь не дасть ему ничего, или почти ничего и захочет отделаться от народа словами да полумерами? Ну, тогда не сдобровать и царизму, по крайней мере императорскому, петербургскому, немецкому, гольштейн-готорпскому! Ведь привязанность народа к царю не придворная, не холопская, а религиозная. И религия народа не небесная, а земная, жаждущая, требующая удовлетворения себе на земле. В общем чувстве народном обетованный час исполнения, кажется, настал, и народ не даст ему пройти даром. Тогда опять кровавая революция.

Но если бы в этот роковой момент, когда для целой России будет решаться вопрос о жизни и смерти, о мире и крови, царь земский предстал перед всенародный собор, царь добрый, царь правдивый, любящий Россию более себя и доверяющий широко любви народной, готовый устроить народ по воле его, чего бы не мог он сделать с таким народом! Кто смел бы восстать против него? И мир, и вера восстановились бы, как чудом, и деньги нашлись бы, и все бы устроилось просто, естественно, для всех безобидно, для всех привольно... Руководимый таким царем, Земский Собор создал бы новую Россию на основаниях вольных, широких, без потрясений, без жертв, даже без усиленной борьбы и без шума: потому что воля и нужды народа — ясны, потому что в нем выработался ум крепкий и здоровый, зародыш будущей организации, — и потому что злой умысел и никакая враждебная сила не были бы в состоянии бороться против соединенного могущества царя и народа.

Есть-ли надежда, что такой союз состоится? Мы скажем прямо, что нет. Несмотря на несомненную преданность народа к царю, царь видимым образом боится его. Боится потому, что не любит его, потому что не хочет поступиться перед ним своею немецкою важностью, своим мелким императорским произволом, и потому что чувствует, вероятно, что с этим народом шутить нельзя. Но, может быть, он решился бы еще довериться народу в надежде на его слепую привязанность, еслиб он не боялся пуще всего влияния передовой революционной молодежи. Страх в настоящее время еще совершенно напрасный! Как ни горько сознаться в этом, но я думаю, что для будущего успеха самого революционного дела, мы должны громко высказать то убеждение, что до сих пор влияние нашей партии на народ было близко к нулю. Революционная пропаганда еще не нашла к нему доступа и не умела еще потрясти его безумной, его несчастной веры в царя. Никогда еще не чувствовался так сильно разрыв, существующий между народом и нами, и никто из нас не перешел еще через пропасть,

отделяющую нас от него. Мы готовы жить его жизнью, его мыслью, но он нас не знает, и пошел бы без сомнения против нас за царя, потому что и его он также не знает... Итак, если вы хотите встретиться с народом, свободным от наших влияний, сзывайте его теперь. Ну, а если пропустите время, то, пожалуй, наша передовая молодежь, наша надежда и наша сила, пробьет себе, наконец, дорогу к народу и чрез роковую пропасть подаст ему руку. Вина будет ваша.

И почему молодежь не за вас, а вся молодежь против вас? Ведь это для вас большое несчастье; — несчастие потому, что молодежь уже сама по себе составляет и право и силу, особенно когда, не заключаясь в себе, собой суетно не довольствуясь, она стремительно, страстно рвется в народ, к службе народной. Для такой молодежи нет непреоборимых препятствий. Народ, сам молодой и сам страстный, рано или поздно призовет ее. Почему-ж она против вас? Недавно умерший предводитель демократической партии в Соединенных Штатах, полковник Дуглас, во время последних президентских выборов, сказал одному из своих друзей; „наше дело потеряно, молодежь против нас!“—Глубокое слово! Молодежь, как народ, живет более инстинктом, а инстинкт всегда тянет ее на сторону жизни, на сторону правды... С нею беда. Она может ошибаться в мыслях, или вернее, в выражении мыслей своих,—в чувстве она ошибается редко. А чувство нашей молодежи, всею энергиею своею, отталкивает ее от вас. Вы, господа доктринеры всякого рода, ее ненавидите, как вообще не любят ее школьные учителя, которые чувствуют, что она вправе над ними смеяться. Она бежит от вас, потому что пахнет от вас фарисейским педантством, ложью и смертью: а ей прежде всего надо жизни воли да правды. Но почему отстала она от царя, почему об‘явила себя против того, кто первый об‘явил свободу народу?

Никто не посмеет упрекать ее в эгоизме. Она рукоплескала освобождению крестьян и готова теперь отдать все, начиная с себя, для того только чтоб русский народ был свободен. Не увлекалась ли она отвлеченными революционными идеалами и громким словом „республика“? Отчасти, пожалуй, и так. Но это только весьма поверхностная и второстепенная причина. Большинство нашей передовой молодежи, кажется, хорошо понимает что западные абстракции, консервативные ли, либерально-буржуазные, или даже демократические, к нашему русскому движению не применимы:—что оно—без сомнения—и демократическое и в высшей степени социальное, но что оно развивается вместе с тем при условиях, совершенно различных от тех, при которых совершались подобные же движения на Западе. И первое из условий—то, что оно не есть главным образом движение образованной и привиллегированной части России. Таковым было оно во времена Декабристов. Теперь главную роль в нем будет играть народ. Он есть главная цель и единая, настоящая сила всего движения. Молодежь понимает, что жить вне народа становится делом невозможным, и что кто

хочет жить, должен жить для него. В нем одном жизнь и будущность, вне его мертвый мир. Но этот народ выступает на сцену не как лист белой бумаги, на котором всякий по произволу может написать свои любимые мысли. Нет, лист этот уж частью исписан и хоть осталось на нем еще много белого места, дописывает его сам народ. Никому он не может поручить этого дела, потому что никто в образованном русском мире не жил еще его жизнью. Русский народ движется не по отвлеченным принципам; он не читает ни иностранных, ни русских книг, он чужд западным идеалам, и все попытки доктринаризма, консервативного, либерального, даже революционного, подчинить его своему направлению будут напрасны. Да, ни для чего и ни для кого не отступится он от *своей* жизни. А жил он много, потому что страдал много. Несмотря на страшное давление императорской системы, даже в продолжение этого двухвекового немецкого отрицания, он имел свою внутреннюю живую историю. У него выработались свои идеалы, и составляет он в настоящее время могучий, своеобразный, крепко в себе заключенный и сплоченный мир, дышащий весеннею свежестью и чувствуется в нем стремительное движение вперед. Наступило, кажется, его время; он просится наружу, на свет, хочет сказать свое слово и начать свое живое дело. Мы верим в его будущность, надеясь, что, свободный от закоренелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков религиозных, политических, юридических и социальных, он в историю внесет новые начала и создаст цивилизацию иную: и новую веру, и новое право, и новую жизнь.

Перед этим великим, серьезным и даже грозным лицом народа нельзя дурачиться. Молодежь оставит смешную и противную роль непрошенных школьных учителей мертвецам молодой в с.-петербургской привилегированной журналистике. Ей самой предстоит подвиг другой, не учительский, а очистительный, *подвиг сближения и примирения с народом*. Ведь она почти вся, по своему происхождению, образованию, по привычкам жизни и мысли, наконец по всем общественным отношениям своим, стоит [illegible], принадлежит к тому привилегированному официальному миру, который народ не без причины ненавидит, видя в нем главный источник всех своих бедствий. Стремления ее чисты и благородны, она сама ненавидит невыносимость своего положения и готова жертвовать всем народу, если бы только он принял ее в свое общение. Но народ не знает ее, и чуждая ему по платью, по языку, а главное по жизни, столь различной от его жизни, принимает ее за врага. Где же тут учительствовать? [illegible] без веры и доброй воли [illegible] Да, наконец, чему мы станем учить? Ведь если оставим естественные и математические науки [illegible] последним словом этой самой премудрости будет отрицание [illegible], полное отрицание Запада. Но народ наш Западом никогда не увлекался: [illegible] А главное, то, что

со всею своею наукою, мы бесконечно беднее народа. Народ наш, пожалуй, груб, безграмотен, я не говорю — неразвит, потому что у него было свое историческое развитие, покрепче и посущественнее нашего; он никаких книг, кроме немногих своих, еще не читает. Но зато в нем есть жизнь, есть сила, есть будущность; — он есть... А нас собственно нет; наша жизнь пуста и бесцельна. У нас нет ни дела, ни поля для дела. И если будущность для нас существует, так только в народе. Итак, народ может и без нас обойтись, мы без него не можем.

Без сомнения, слившись с народом, принятые народом, мы можем принести ему много пользы, Да, мы принесем ему громадный опыт неудавшейся западной жизни, которую мы вместе с Западом пережили, способность обобщения и точного определения фактов, ясность сознания. Знакомые с историею и наученные чужим опытом, мы можем предохранить его от обмана и помочь ему высказать его волю. — Вот и все. Мы принесем ему формы для жизни, он даст нам жизнь, кто дает больше? Разумеется народ, а не мы.

Вопрос о нашем сближении с народом, не для народа, а для нас, для всей нашей деятельности, есть вопрос о жизни и смерти. Сближение это необходимо, но оно трудно, потому что требует с нашей стороны совершенного перерождения, не только внешнего, но и внутреннего. Борода, русское платье, жесткие руки, грубая речь не составляют еще русского человека. Нужно, чтоб ум наш выучился понимать ум народа, и чтоб наши сердца приучились бить в один такт с его великим, но для нас еще темным сердцам. Мы должны видеть в нем не средство, а цель; не смотреть на него как на материал революции по нашим идеям, как на „мясо освобождения“, напротив смотреть на себя, *если он на то согласится*, как на слуг своего дела Одним словом, мы должны полюбить его пуще себя, дабы он нас полюбил, дабы он нам свое дело поверил.

Любить страстно, отдаваться всею душою, побеждать громадные трудности и препятствия, силою любви и жертвы победить ожесточенное сердце народное, дело молодости. Вот, где ее назначение! Учиться она должна у народа, а не учить. Не себя, а его возвышать и вся отдаться его делу. Ну, тогда народ признает ее.

Прокламация „Молодая Россия“ доказывает, что в некоторых молодых людях существует еще страшное самообольщение и совершенное непонимание нашего критического положения. Они кричат и решают, как будто бы за ними стоял целый народ. А народ то еще по ту сторону пропасти, и не только вас слушать не хочет, но даже готов избить вас по первому мановению царя. Что же, — мученичество? Да ведь мученичество хорошо, когда мученики делают дело. Редакторов „Молодой России“ я упрекаю в двух серьезных преступлениях. Во первых, в безумном и в истинно доктринерском пренебрежении к народу; а во вторых в нецеремонном, бестактном и легкомысленном обращении с великим делом освобождения, для успеха

которого они между тем готовы жертвовать своею жизнью. Они видно, так мало привыкли еще к настоящему действию, что им все кажется, будто они вращаются в мире абстракций. В теории все сходит с рук. На практике, особливо в такое время, как наше, что не полезно, то вредно. Появление „Молодой России“ причинило положительный вред общему делу и виновниками вреда были люди, желавшие служить ему, Без *дисциплины*, без строя, без скромности перед величием цели, мы будем только тешить врагов наших и никогда не одержим победы.

Но прокламация редакторов „Молодой России“ не может быть принята за серьезное выражение идей передовой молодежи. Несколько смелых юношей собрались и издали свою прокламацию... Довольно было, чтоб перепугать до смерти наших бедных правителей. Правда, что юноши говорят и об „общем собрании“ и о „комитетах провинциальных тайного революционного общества“. Но ведь это было сказано зря, для пущей важности, и для того, чтоб доставить лишнее впечатление черезчур впечатлительному правительству. Огромное большинство нашей молодежи принадлежит к партии народной, к той партии, которая поставила себе единою целью *торжество народного дела*. Эта партия не имеет предрассудков ни за царя, ни против царя, и еслиб сам царь, начавши великое дело, не изменил впоследствии народу, она бы никогда от царя не отстала.

И теперь было бы еще не поздно. И теперь та же самая молодежь радостно пошла бы за ним, лишь бы только он сам шел во главе народа: не остановили бы ее никакие западнореволюционные предрассудки, ибо где жизнь, где правда, где разрешение судеб народа, там и она. И сколько молодой и благородной энергии, сколько живых сил и сколько ума было бы тогда к его услугам для совершения великого дела — умиротворения и воссоздания России.

Россия спокойно и твердо пошла бы широким путем свободного развития и, укрепившись внутри, восстановила бы скоро свое утраченное внешнее обаяние. Величие России русскому народу так дорого, что он никогда от него не откажется. Он принес ему столько жертв!.. Но понятно, что оно должно быть ныне воздвигнуто на иных основаниях. Бог с ним с величьем петровским, екатерининским, николаевским, обрекшим русский народ на постыдную роль палача и вместе раба мученика! Мы искали силы и славы, а нашли лишь бесславие, заслужили ненависть и проклятия истерзанных нами народов, и кончили поражением и постыдным бессильем. Слава богу! наша двухвековая тюрьма, петровское государство, наконец рушится. Никакая сила не восстановит его. Мы же сами подтолкнем его в пропасть, и воля нам! воля героической Польше! воля Белоруссии, Литве, Украйне! Пусть будет Польшею все, что хочет быть Польшею. Воля Финляндии! воля Чухонцам и Латышам в Остзейских провинциях! А немцам пора в Германию!

Еслиб царь понял, что он отныне должен быть не главою насиль-

ственной централизации, а главою свободной федерации вольных народов, то опираясь на плотную возрожденную силу, в союзе с Польшею и Украйною, разорвав все ненавистные союзы немецкие, подняв смело всеславянское знамя, он стал бы избавителем Славянского мира!

Мечта! скажут мне; да, разумеется, мечта. Но мечта только потому, что в Петербурге нет ни мысли, ни сердца, ни воли, и что царь наш, в противность царю Давиду, ищет всегда короны, а находит корову. И еще повторим; ни одному царю не было дано так много, и ни с одного так много не спросится.

На Петербург надежды нет. Царь избрал себе путь, гибельный для России. Как безнадежный больной, он окружил себя шарлатанами, — настало время для наших Некеров и Колоннов. Настоящее министерство — jeune, intelligent et fort, и подражая дружественному ныне правительству, хочет надуть Россию формами без содержания; с свободою на языке оно намерено продолжать дело блудного произвола. Но забывают они только одно, что обман, возможный в стране, истощенной политическими борьбами, невозможен у нас, потому что у нас жизнь только вчера началась, страсти в приливе, а не в отливе, и наша трагедия еще впереди... Как ни умны министры, но Александр Николаевич не доверяется им вполне, на помощь им он позвал знаменитого доктора Липранди, который лечит средствами героическими и без сомнения скорее доведет до трагедии. Большое утешение правительственного Петербурга теперь — это народ и привязанность народа к царю, Народом грозят они революционной молодежи. „Стоит только царю махнуть рукою, и студентов не будет“. Да без сомнения не будет; да на другой день и дворянства в целой России не будет, а с дворянством ляжет под топором все чиновничество; вы сами голубчики пропадете. Ну-ка попробуйте махнуть то рукой! И останутся народ да царь. Да что станет этот царь с этим народом делать? Ведь царь то наш бюрократический дворянский, а не земский. Он сам утонет в дворянской крови, чтоб уступить место какому нибудь Пугачеву! Не попробовать ли лучше николаевских средств: кнута, виселицы, да Сибири? Средства хорошие. Но вряд ли они вам ныне помогут. *Ведь страх убит в России.* Ныне пойдут на лобное место, смеясь над вами. Да и самым трусом нет никакого рассчета пятиться перед *вашим* страхом. В России есть теперь страх, пострашнее, — страх *народного восстания.* А если придется выбирать между топором или виселицею, так разумеется, лучше пасть с сознанием высокого подвига, чем жертвою рокового недоразумения народного.

У вас есть еще одно средство — война. Война национальная против немцев, в союзе с Италией и с Францией, пожалуй хоть за свободу славян, лишь бы только русскому народу не дать свободы. Да, в самом деле, идти войною на немцев хорошее, а главное, необходимое славянское дело, во всяком случае лучшее, чем поляков душить немцам в угоду. Подняться на освобождение славян из под ига турецкого и немецкого будет

потребностью, необходимостью и святою обязанностью освобожденного русского народа. Но вы, враги русской и польской свободы, какую дадите вы свободу славянам? Или вы хотите повторить в сотый раз старый, постыдный обман? Не удовлетворив никого и не разрешив ничего у себя дома, на что вы будете опираться? Даже войско придется вам содержать на медок чужими субсидиями. И будете вы только служить средством для целей чужих, сами ничего не приобретете. Россию же в конец разорите. Да, может быть, вы и расчитываете на ее истощение? Может, думаете усмирить ее голодом? Смотрите, не ошибитесь в расчете: война не помешала у нас ни пугачевщине, ни новгородскому бунту.

Но напрасны все ваши старания. Ни война, ни уловки мнимо либерального (?!) министерства, ни явная реакция вам не помогут. Народ проснулся и ждет своего часа, вы сами способствовали его пробуждению. Кокетничая перед ним и возбуждая его против молодого образованного поколения, вы сами будите в нем сознание силы и он сам возьмет силою то, чего вы ему добровольно дать не хотите.

Для мирного исхода настоящего неотвратимого кризиса, средство только одно: *Земский всенародный собор и на нем разрешение земского народного дела*. Это средство единоспасительное в руках царя. Но он его употребить не хочет. Значит, он хочет крови.

Когда правители губят страну, частные люди должны приняться за дело спасения. Всем истинным консерваторам, имеющим ум, чтоб понимать и предугадывать необходимые происшествия, всем купцам, попам и дворянам, чиновникам военным и гражданским, любящим спокойствие и мир и желающим сохранить жизнь, имущество, жен, сестер и детей, всем, кому дороги благоденствие и слава России, я советовал бы об этом крепко подумать. Ведь времени на свободное размышление осталось немного. И не худо было бы, если бы они, сговорившись, составили между собою громадное консервативное общество, которое я им предложил бы назвать: „*общество для* спасения России от близорукости царской и от преступного министерского шарлатанства“, и пусть хором подымут они голос в пользу *Земского Собора*, как единого средства для предотвращения кровавой разрушительной катастрофы.

А нам, революционной партии, что делать? Мы также сплотимся и станем под знамя „*Народного дела*“. Мы хотим достигнуть его *народным путем* и не остановимся до тех пор, пока оно не исполнится совершенно.

Мы хотим и желаем:

1. Чтобы вся земля русская была об'явлена собственностью целого народа, так чтоб не было ни одного русского, который бы не имел части в русской земле.

2 Хотим самоуправления народного — общинного, волостного, уездного, областного и наконец государственного, с царем или без царя,

все равно и как захочет народ. Но чтоб не было в России чиновничества и чтоб централизация бюрократическая заменилась вольною областною федерацией.

3. Хотим, чтоб Польше, Литве, Украйне, Финнам и Латышам прибалтийским, а также и Кавказскому краю была возвращена полная свобода и право распорядиться собою и устроиться по своему произволу, без всякого с нашей стороны вмешательства, прямого или косвенного.

4. Хотим братского и, если будет возможно, федерального союза с Польшею, Литвою, Украйною, прибалтийскими жителями и с народами Закавказского края. Готовы и обязаны помогать им против всякого насилия и против всех внешних врагов, особливо же против немцев, когда они сами позовут нас на помощь.

5. Вместе с Польшей, с Литвой, с Украйной, мы хотим подать руку помощи нашим братьям Славянам, томящимся ныне под гнетом Прусского королевства, Австрийской и Турецкой империи, обязываясь не вложить меча в ножны, пока хоть один Славянин останется в немецком, в турецком, или другом каком рабстве.

6. Мы будем искать тесного союза с *Италией*, с которою у нас чувства, интересы и враги общие, — с *Мадьярами*, ненавидящими как и мы, австрийскую монархию, если только они совершенно откажутся от притеснения Славян, — с *Румынами* и даже с *Греками*, когда последние оставят в покое Болгар, и довольствуясь быть собою, забудут свои честолюбивые и свободопротивные, а главное, суетные византийские мечты.

7. Мы будем стремиться, вместе со всеми племенами Славянскими, к осуществлению заветной Славянской мечты: к созданию *Великой и вольной федерации Всеславянской*, где каждый народ, велик или мал, будет вместе вольным и братски с другими народами связанным членом; чтоб каждый стоял за всех, и все за каждого, и чтоб не было в братском союзе особенных государственных сил, чтоб не было ничьей гегемонии, но чтоб существовала единая и нераздельная общеславянская сила.

Вот широкая программа дела Славянского, вот необходимое последнее слово народнорусского дела. Этому то делу мы посвятили всю жизнь свою.

Теперь с кем, куда и за кем мы пойдем? Куда? мы сказали. С кем? мы также сказали: разумеется ни с кем, другим, как с народом. Но за кем? За Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним?

Скажем правду: мы охотнее всего пошли бы за Романовым, еслиб Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского. Мы потому охотно стали бы под его знаменем, что сам народ русский еще его признает, и что сила его создана, готова на дело, и могла бы сделаться непобедимою силою, еслиб он дал ей только крещение народное. Мы еще потому пошли бы за ним, что он *один* мог бы

совершить и окончить великую мирную революцию, не пролив ни одной капли русской или славянской крови. Кровавые революции, благодаря людской глупости, становятся иногда необходимыми, но все-таки они зло, великое зло и большое несчастье, не только в отношении к жертвам своим, но и в отношении к чистоте и к полноте достижения той цели, для которой они совершаются. Мы видели это на революции французской.

Итак, отношение наше к Романову ясно. Мы не враги и не друзья его, мы друзья народно-русского, славянского дела. Если царь во главе его, мы за ним. Но когда он пойдет против него, мы будем его врагами. Поэтому весь вопрос состоит в том: хочет-ли он быть русским земским царем Романовым, или Голштейн-Готорпским императором Петербургским? хочет он служить России, славянам или немцам? Вопрос этот скоро решится, и тогда мы будем знать, что нам делать. Ни для него и ни для кого в мире мы не отступимся ни от одного пункта своей программы. И если для осуществления ее будет необходима кровь, да будет кровь.

Мы без содрагания не можем подумать о тысячах жертв, которые падут, вероятно. Но вся тяжесть кровавой вины пусть ляжет тогда на единственного виновника, на царя, который всех может спасти и, кажется, всех погубит. А средство спасения и для него и для нас только одно: идти до конца во главе революции и не останавливаться на полдороге. Еслиб мы хотели остановить настоящую революцию, то не могли бы; никто в мире не может. А если бы могли, то не хотели бы, потому что она необходима для освобождения нашего народа, для совершения русских и славянских судеб.

Если царь изменит России, Россия будет повергнута в кровавые бедствия. Что будет, какую форму примет движение, кто станет во главе его? Самозванец-царь, Пугачев, или новый Пестель-диктатор? Предугадать теперь невозможно. Если Пугачев, то дай бог, чтоб в нем нашелся политический гений Пестеля, потому что без него он утопит Россию и, пожалуй, всю будущность России в крови. Если Пестель, то пусть будет он человеком народным, как Пугачев, ибо иначе его не потерпит народ. А может быть ни Пестель, ни Пугачев, ни Романов, а Земский Собор спасет Россию.

Предугадать нельзя ничего. Наш долг теперь крепко сомкнуться и единодушно готовиться к делу. Поклясться друг другу не отставать от народа, идти с ним, покуда сил станет. Времени может быть осталось немного,—*употребим его на сближение с народом во чтобы то ни стало, дабы он признал нас своими* и позволил бы нам спасти хоть несколько жертв. Сойтись с народом, слиться с ним во единую душу и во единое тело—задача трудная, но для нас неизбежная и неотвратимая. Иначе мы будем представителями не народного дела, а только своих тесных кружковых интересов и своих личных страстей, чуждых и противных народу, а потому и преступных, ибо ныне что не служит

исключительно делу народному, то преступно. Он один призван к жизни в России, и только что с ним и что за него, то лишь одно имеет право на жизнь, то будет иметь силу на жизнь. Вне его нет русской силы и, лишь только соединившись с ним, мы можем вырваться из бессилия. Вот почему мы должны сойтись с народом во что бы ни стало. Важнее этого, для нас нет теперь другого вопроса.

Как с ним сойтись? Путь к достижению цели один: *искренность, правда.* Если вы не обманываете ни его, ни себя, когда говорите о своих стремлениях к народу, то вы найдете дорогу в душу и в веру его. Любите народ, он вас полюбит, живите с ним, и он пойдет за вами, и вы будете сильны его силою. Народ наш умен, он скоро узнает своих друзей, когда у него будут друзья *действительные.* Формулировать общее правило, известный прием для сближения с народом нет возможности: все это было бы мертво и сухо, потому что было бы ложно. Живое дело должно вытекать из живого ума и из живого сердца.

Вас много и вы рассеяны по всей русской земле. Пусть каждый из вас, служа общему делу, идет к народу по своему, но пусть каждый идет прямо и искренно, без хитрости, без обмана, пусть каждый несет в дар ему и весь ум и все сердце, и чистую, крепкую волю служить ему. Пусть каждый свяжет судьбу свою с его судьбою. Пусть каждый молодой человек перевоспитает себя в среде народной... И вы сделаетесь тогда, без сомнения, людьми народными.

Подвиг не легкий, но за то высокий и стоющий жертв: подвиг повивания новорождающегося русского мира! Кому он кажется противен, тот лучше не берись за русское дело. Для того есть приют под знаменем доктринеров. Путь наш труден. Отсталых, испуганных и усталых будет еще много... Но мы, друзья, выдержим до конца и безбоязненно, твердым шагом пойдем к народу, а там, когда с ним сойдемся, помчимся вместе с ним, куда вынесет буря.

В РОССИИ[1]).

То, что происходит сейчас в России, достойно внимания всех социальных демократов Европы.

Нужно сознаться, что до сих пор имели совершенно ошибочное представление о характере и стремлениях, а также об экономическом положении народа, населяющего эту обширную страну. Так, до сих пор было еще довольно распространенным мнением в Европе, что теперешний царь[2]),— благодетель и освободитель народа, является предметом народного поклонения; что он, действительно, освободил русских крестьян и устроил на солидном фундаменте благосостояние сельских общин, которые составляют всю силу и все богатство Всероссийской Империи. Разве не думали и не говорили что, осчастливив народ и заслужив его признательность, он стал настолько силен, что стоит ему сделать знак, чтобы эти миллионы фанатических варваров двинулись против Европы?

Говорили это и повторяли на тысячу различных ладов, одни не подозревая, другие прекрасно зная, что они этим оказывают огромную услугу столь ненавистному царскому владычеству, основанному гораздо более на воображении, на паническом страхе, ловко распространяемом им вокруг себя, и на умелом пользовании этим обстоятельством его дипломатами, чем на реальных фактах.

Так, разве не думали, в 1861 г., доверяя телеграммам князя Горчакова и русской и заграничной прессе, субсидированной петербургским пра-

---

[1]) Молодой революционер Ч—ев, прибывший из России, приехал в Бельгию в марте 1869 г. К концу марта он был в Женеве, где сейчас же вступил в сношения с Бакуниным. Последний писал мне (письмо от 13 апреля): „В настоящий момент я чрезвычайно занят тем, что происходит сейчас в России. Наша молодежь, быть может, самая революционная, как в теоретическом отношении, так и практически, в мире, волнуется так сильно, что правительство принуждено было закрыть университеты, академии и несколько школ в Петербурге, Москве и Казани. У меня сейчас здесь один из таких молодых фанатиков, которые ни в чем не сомневаются, ничего не боятся и которые поставили себе принципом, что многие, очень многие должны погибнуть от руки правительства, но, что они не успокоятся до тех пор, пока народ не восстанет. Они восхитительны, эти молодые фанатики, верующие без Бога и герои без фраз! Папе Мерон доставило бы удовольствие видеть моего гостя, тебе тоже“.

[2]) Александр II.

вительством, что весь русский народ, все классы: дворянство, духовенство, купечество, учащаяся молодежь и в особенности крестьяне единодушно желали раздавить, уничтожить Польшу: что правительство, которое хотело бы, может быть, действовать мягче, было принуждено стать палачем этого несчастного народа и что оно затопило его в крови, лишь повинуясь этой единодушной воле, этой безмерной народной страсти?

За очень немногими исключениями, все в Европе верили этому и эта всеобщая вера в значительной мере способствовала тому, что если негодование европейского общества не совсем затихло, то во всяком случае, действие его было парализовано.

Трусость и несогласия европейской дипломатии помогли, и Европа остановилась перед этим величественным проявлением, якобы, могущественного народа. Не посмели выступить против него и дали спокойно совершиться новому великому преступлению в Польше, не пойдя дальше смешных протестов.

Потом явились софисты, русские и не русские, одни платные, другие глупо ослепленные,—Прудон, великий Прудон, попал к сожалению в их ряды; они явились нам разъяснить, что будто бы польские революционеры—католики и аристократы, представители мира, осужденного погибнуть; тогда как русское правительство, со всеми своими палачами, представляет, против них, интересы демократии, интересы угнетенных крестьян и нового принципа экономической справедливости.

Вот ложь, которую осмелились распространять и которая нашла доверие в Европе, и все это способствовало значительному увеличению престижа и воображаемого могущества—могущества, которым никогда не следует пренебрегать—Всероссийской Империи в Европе.

Нужно, чтобы европейское общество ничего не знало из всего того, что существует и что происходит в этой огромной стране, чтобы поверить всем этим выдумкам, распростраяемым, прямо или косвенно, русской дипломатией. И особенно странно то, что та часть печати во всех странах, которая принадлежит польской эмиграции или находится под ее влиянием, помогла московской дипломатии, отождествляя везде и всегда русский народ с петербургским правительством. Неужели столь законная ненависть поляков к своим угнетателям настолько ослепила их, что они не понимают, что таким способом они оказывают услугу именно тем, кого они ненавидят? Или они, действительно, являются до такой степени сторонниками существующих экономических порядков, что предпочитают даже свирепый царский режим социальной революции русских крестьян?

Как бы то ни было, пора покончить с этим нестыдным и опасным [illegible]. Являясь представителями международного освобождения труда в рабочих всех стран, мы не можем и не должны иметь никаких национальных предпочтений. Угнетенные рабочие всех стран—наши братья и, равнодушно относясь к интересам, честолюбивым помыслам и тщеславию

политического отечества, мы не признаем других врагов, кроме эксплуататоров народного труда.

Как представителям великой международной борьбы труда против эксплуатации дворянства или буржуазии, для нас очень важно знать, будут ли, в великий день борьбы, за нас или против нас те семьдесят миллионов, которые порабощены в настоящий момент в Великороссийской Империи, находящейся в столь близком соседстве с нами[1]), и сто миллионов славян, живущих в Европе.

Игнорировать их, не стараться узнать их характер, нравы, их современное положение и нынешние стремления было бы больше, чем ошибкой с нашей стороны, это было бы преступным безумием.

Благодаря некоторым друзьям, которые хорошо знают эти страны, мы можем заняться их изучением, что очень важно во всех отношениях, и мы это сделаем в серии статей[2]).

Наиболее выдающееся событие, которое наполняет в настоящий момент столбцы всех оффициальных и оффициозных петербургских и московских газет, это внезапное закрытие университетов, академий и других государственных учебных заведений и многочисленные аресты студентов в Петербурге, Москве, Казани и других провинциальных городах. Потом распоряжения полиции, предписывающей трактирщикам и содержателям ресторанов не давать обеда зараз двум студентам, и хозяевам домов не допускать, чтобы какой нибудь студент провел ночь у другого ни даже, чтобы днем у него собиралось больше двух студентов. Тюрьмы, участки, карцеры третьего отделения (Chancellerie secrète), крепости полны молодыми людьми, которых хватают в обеих столицах или привозят из глубины России.

Что же происходит? Значит, не все обстоит благополучно, не все довольны в России? И что хотят эти молодые люди? Требуют они конституцию, такую же как в Бельгии или Италии или какую хочет у себя ввести, например, благодатная Испания? Ничуть ни бывало. Вы читали программу русской социальной демократии, которая, переведенная на французский язык, произвела такой скандал среди буржуа-социалистов Бернского Конгресса[3])? Ну, так это их программа, это то, что они хотят. Они хотят ни больше ни меньше, как разрушения этой чудовищной Великороссийской Империи, которая в продолжение целых веков давила своей

---

[1]) В этой статье, написанной от имени редакции l'Egalité, Бакунин должен был говорить и говорит о России, как если бы автор был не русским, а западным человеком.

[2]) Эта серия статей не была написана.

[3]) Эта программа, написанная Бакуниным, появилась в первом номере (1-го сентября 1868 г.) русской газеты *Народное Дело*, основанной Бакуниным и Жуковским, но которая со второго номера перешла к Утину.

тяжестью народную жизнь, но которая, повидимому, не совсем ее убила. Они хотят социальную революцию, какую воображение Запада, смягченное цивилизацией, едва осмеливается себе представить.

И эти безумцы в небольшом числе? Нет, их легион; они образуют фалангу в несколько десятков тысяч: деклассированная молодежь, немного дворян, масса сыновей мелких служащих и сыновей священников и юноши, вышедшие из народа, как деревенские, так и городские. Но они обособлены от народа? Нисколько. Наоборот, это движение молодежи, которая, вышедши из самых низов русского общества, ищет света со всей энергией и страстью, каких не знают больше у нас, это движение растет и распространяется, несмотря на все репрессивные меры, свойственные русскому правительству, стремится слиться с каждым днем все больше и больше с народным движением, с движением народа, доведенного до отчаяния и невообразимой бедности знаменитым освобождением и другими реформами царя освободителя.

Еще немного времени, два года, год, быть может, несколько месяцев, и оба эти движения сольются в одно, и тогда,—тогда мы увидим революцию, которая, без сомнения, превзойдет все революции, какие мы знали до сих пор.

(Egalité, 17 апреля 1869 г.)

НАША ПРОГРАММА [1]).

Мы хотим полного умственного, социально-экономического и политического освобождения народа.

I. *Умственного освобождения*, потому, что без него политическая и социальная свобода не могут быть ни полными, ни твердыми. Вера в бога, вера в бессмертие души и всякого рода идеализм вообще, как мы это докажем впоследствии, служа с одной стороны непременной опорой и оправданием для деспотизма, для всякого рода привилегий и для эксплоатирования народа, с другой стороны деморализует самый народ, разбивая его существо как бы на два друг другу противоречащие стремления и лишая его, таким образом, энергии, необходимой для завоевания его естественных прав и для полного устройства свободной и счастливой жизни.

II. *Социально-экономического освобождения* народа, без которого всякая свобода была бы отвратительною и пустословною ложью. Экономический быт народов был всегда краеугольным камнем и заключал в себе настоящее объяснение их политического существования. Все доселе существовавшие и существующие политические и гражданские организации в мире держатся на следующих главных основаниях: на факте завоевания, на праве наследственной собственности, на семейном праве отца и мужа и на освящении всех этих основ религиею; а все это вместе и составляет существо государства. Необходимым результатом всего государственного устройства было и должно было быть рабское подчинение чернорабочего и неимущественного большинства так называемому образованному эксплуатирующему меньшинству. Государство без привилегий, политических и юридических, основанных на привилегиях экономических, немыслимо.

Желая действительного и окончательного освобождения народа, мы хотим:

1) *Упразднения права наследственной собственности.*

---

[1]) *Народное Дело* № 1, стр. 6—7. 1868.

2) Уравнения прав женщины, как политических, так и социально-экономических, с правами мужчины; следовательно, хотим уничтожения семейного права и брака, как церковного так и гражданского, неразрывно связанного с правом наследства.

3) С уничтожением брака рождается вопрос о воспитании детей. Их содержание со времени определившейся беременности матери до самого их совершеннолетия; их воспитание и образование, равное для всех — от низшей ступени до специального высшего научного развития — в одно и то же время индустриальное и умственное, соединяющее в себе подготовление человека и к мускульному, и к нервному труду, должно лежать главным образом на попечении свободного общества.

Основой экономической правды мы ставим два коренные положения:

Земля принадлежит только тем, кто ее обрабатывает своими руками — земледельческим общинам. Капиталы и все орудия труда работникам — рабочим ассоциациям.

III. Вся будущая политическая организация должна быть ничем другим, как свободною федерациею вольных рабочих, как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей (ассоциаций).

И потому, во имя освобождения политического, мы хотим прежде всего окончательного уничтожения государства, хотим искоренения всякой государственности со всеми ее церковными, политическими, военно и гражданско-бюрократическими, юридическими, учеными и финансово-экономическими учреждениями.

Мы хотим полной воли для всех народов, ныне угнетенных империею, с правом полнейшего самораспоряжения, на основании их собственных инстинктов, нужд и воли; дабы, федерируясь снизу вверх, те из них, которые *захотят* быть членами русского народа, могли бы создать сообща действительно вольное и счастливое общество в дружеской и федеративной связи с *такими же* обществами в Европе и в целом мире.

Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы.

Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы.

I.

Речь на Конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1867 г. [1]).

Вступая на эту трибуну, я спрашиваю себя, граждане, каким образом я, русский, являюсь среди этого международного собрания, имеющего задачей заключить союз между народами? Едва четыре года прошло с тех пор, как русская империя, которой я, правда, всенепокорнейший подданный, возобновила свои преступления и убийства над геройскою Польшею, которую она продолжает давить и терзать, но которую, к счастью для всего человечества, для Европы, для всего славянского племени и для самих народов русских, ей не удается убить.

Вот почему, не заботясь о том, что подумают и скажут люди, судящие с точки зрения узкого и тщеславного патриотизма, я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений всех поражений, в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и не русских ее нынешних жертв и рабов. Муравьев, вешатель и пытатель не только польских, но и демократов русских, был извергом человечества, но вместе с тем самым верным, самым цельным представителем морали, целей, интересов, векового принципа русской империи, самым истинным патриотом, Сен-Жюстом, Робеспьером императорского государства, основанного на систематическом отрицании всякого человеческого права и всякой свободы.

В положении, созданном для империи последним польским восстанием ей остаются только два выхода: или пойти по кровавому следу Муравьева, или распасться. Середины нет, а желать цели и не желать средств, значит только обнаружить умственную и душевную трусость. Поэтому мои соотечественники должны выбирать одно из двух: или идти путем и средствами Муравьева, к усилению могущества империи, или заодно с нами откровенно желать ее разрушения. Кто желает ее величия, должен поклоняться, подражать Муравьеву и подобно ему, отвергать, давить всякую свободу. Кто, напротив, любит свободу и желает ее, должен понять, что осуществить ее может только свободная федерация провинций и народов,

---

1) Напечатана в книге „Историческое Развитие Интернационала“, стр. 302—307.

т. е. уничтожение империи. Иначе свобода народов, провинций и общин — пустыя слова. Право федерации и отделения, т. е. отступления от союза, есть абсолютное отрицание исторического права, которое мы должны отвергать, если в самом деле желаем освобождения народов.

Я довожу до конца логику постановленных мною принципов. Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желание, чтобы она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения. Это требует интерес самой России, и наше желание совершенно патриотично в истинном смысле слова, потому что всегда только неудачи царя несколько облегчали бремя императорского самовластья. Между империей и нами, патриотами, революционерами, людьми свободомыслящими и жаждущими справедливости, нет никакой солидарности.

Но довольно о наших частных делах. Займемся общими принципами, служащими предметом настоящих прений и долженствующими привести к соглашению два великие интереса: интерес отечества и интерес свободы.

То, что по моему мнению, справедливо относительно России, должно быть также справедливо относительно Европы. Сущность религиозной, бюрократической и военной централизации везде одинакова. Она цинично груба в России, прикрыта конституционной, более или менее лживой личиной в цивилизованных странах запада, но принцип ее все один и тот-же — насилие. Насилие внутри, под предлогом общественного порядка; насилие внешнее под предлогом равновесия или даже, за неимением лучшего повода, — под предлогом Иерусалимских ключей. В нынешней Европе реакция почти всюду торжествует: всюду она грозит последним остаткам несчастной свободы, которая, повидимому, разучилась защищаться. Чем теперь заняты правительства? Они вооружаются друг против друга. Всюду затеваются чудовищные вооружения. Неужели мы идем к ужасным временам Валленштейна и Тилли? Горе, горе нациям, вожди которых вернутся победоносными с полей битв! Лавры и ореолы превратятся в цепи и оковы для народов, которые вообразят себя победителями.

Мы все здесь друзья мира, и конгресс наш собрался для рассуждения о нем. Но много-ли найдется между вами до того наивных, чтобы считать себя в силах не допустить человечество до готовящейся страшной всемирной войны? Нет, никто из нас не повинен в таком самообольщении. Мы собрались не для того, чтобы браться за дело, очевидно непосильное, а для того, чтобы изыскивать сообща условия, при которых международный мир возможен. Какие же принципы должны лечь в основу нашего дела?

Эти принципы, истинные начала справедливости и свободы, должны быть непременно провозглашены именно теперь, когда недостаток принципов деморализует умы, расслабляет характеры и служит опорой всем реакциям и всем деспотизмам. Если мы в самом деле желаем мира между нациями, мы должны желать международной справедливости. Стало быть,

каждый из нас должен возвыситься над узким, мелким патриотизмом, для которого своя страна — центр мира, который свое величие полагает в том, чтобы быть страшным соседям. Мы должны поставить человеческую, всемирную справедливость выше всех национальных интересов. Мы должны раз навсегда покинуть ложный принцип национальности, изобретенный в последнее время деспотами Франции, России и Пруссии для вернейшего подавления верховного принципа свободы. Национальность не принцип; это законный факт, как индивидуальность. Всякая национальность, большая или малая, имеет несомненное право быть сама собою, жить по своей собственной натуре. Это право есть лишь вывод из общего принципа свободы.

Всякий, искренно желающий мира и международной справедливости, должен раз навсегда отказаться от всего, что называется славой, могуществом, величием отечества; от всех эгоистических и тщеславных интересов патриотизма. Пора желать абсолютного царства свободы внутренней и внешней. Программа наших комитетов приглашает нас обсудить основания организации Соединенных Штатов Европы. Но возможна ли эта организация с ныне существующими государствами? Вообразите себе федерацию, где Франция стоит на ряду с великим герцогством Баденским, Россия на ряду с Молдо-Валахией. Вообще, вообразима ли федерация централизованных бюрократических и военных государств, какие покрывают всю Европу, кроме Швейцарии?

Всякое централизованное государство, каким бы либеральным оно не заявлялось, хотя бы даже носило республиканскую форму, по необходимости угнетатель, эксплуататор народных и рабочих масс в пользу привилегированного класса. Ему необходима армия, чтобы сдерживать эти массы, а существование этой вооруженной силы подталкивает его к войне. Отсюда я вывожу, что международный мир невозможен, пока не будет принят со всеми своими последствиями следующий принцип: всякая нация, слабая или сильная, малочисленная или многочисленная, всякая провинция, всякая община имеет абсолютное право быть свободной, автономной, жить и управляться, согласно своим интересам, своим частным потребностям, и в этом праве все общины, все нации до того солидарны, что нельзя нарушить его относительно одной, не подвергая его этим самым опасности во всех остальных.

Всеобщий мир будет невозможен, пока существуют нынешние централизованные государства. Мы должны, стало быть, желать их разложения, чтобы на развалинах этих единств, организованных сверху вниз деспотизмом и завоеванием, могли развиться единства свободные, организованные снизу вверх, свободной федерацией общин в провинцию, провинции в нацию, наций в Соединенные Штаты Европы.

II.

Речь на Конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 г. [1])

Граждане!

Я счастлив, что могу в вашем присутствии принять руку, так откровенно протянутую нам одним из представителей польской социальной демократии. Я принимаю ее от имени русской социальной демократии; и мы имеем право ее принять, потому что и мы, со страстью не уступающей по силе страсти польской демократии, желаем полного разрушения, совершенного уничтожения русской империи, империи, которая служит вечной угрозой для свободы мира, постыдной тюрьмой для всех народов, ею покоренных, систематическим и насильственным отрицанием всего, что называется правом, справедливостью, человечностью.

Год тому назад, на Женевском Конгрессе, я имел уже случай громко заявить, что между нами — партией народного освобождения — и между приверженцами этой чудовищной империи невозможно никакое соглашение. Наши цели диаметрально противоположны, они взаимно исключают друг друга. Кто желает сохранения империи, увеличения и развития ее могущества, как внешнего, так и внутреннего, тот должен с царем и с Муравьевыми идти против нас. Кто, напротив, желает свободы, благосостояния, умственного освобождения и нравственного достоинства народа, тот должен вместе с нами содействовать разрушению империи.

В Европе, обыкновенно, смешивают империю, состоящую из великой и малой России и всех покоренных земель, с самим народом, ошибочно воображая, что она есть верное выраженіе инстинктов, стремлений и воли народа, между тем как она, напротив, всегда играла роль эксплуататора, мучителя и векового палача народов.

Надо заметить, что совершенно неверно говорится о русском народе, как об едином целом, потому что русский народ не составляет однородной массы, а состоит из нескольких родственных, но все же различных племен.

---

[1]) Напечатана в книге „Историческое Развитие Интернационала“, стр. 339—365.

Племена эти следующие: во первых, народ великорусский, славянский по происхождению, с примесью финского элемента, составляющий однородную массу 35-ти миллионного населения; это главная часть империи. На ней главным образом основалось могущество московских царей

Но очень ошибется тот, кто предполагает, что этот народ добровольно и свободно сделался рабским орудием царского деспотизма. Вначале, до вторжения татар, и даже после, до начала XVII столетия, это был, конечно, тоже очень несчастный народ, мучимый своими правителями и привилегированными эксплуататорами земли, но пользовавшийся однакож естественной свободой и полным общинным и даже часто областным самоуправлением.

Вся северо-восточная часть империи, населенная преимущественно этим великорусским народом, разделялась, как известно, даже во время татарского ига, на несколько удельных княжеств, более или менее независимых друг от друга: и это разделение, эта взаимная независимость ограждали, до известной степени, свободу всех, — свободу, конечно, дикую, но действительную. Основанія первобытной и не вполне сложившейся организации были чисто демократические. Князья, часто прогоняемые и почти всегда странствующие из одного княжества в другое, пользовались только ограниченной властью. Дворянство, составлявшее княжеский двор, кочевало вместе с князьями; следовательно, оседлых собственников было очень мало. Народ тоже кочевал и потому земля в действительности не принадлежала никому, т. е. она принадлежала всем — народу. Вот где кроется начало идеи, вкоренившейся в умах всех русских племен империи — идеи, пережившей все политические революции и оставшейся более могущественной, чем когда-либо, в народном сознании — идеи, носящей в себе все социальные революции, прошедшие и будущие, и состоящей в убеждении, *что земля, вся земля принадлежит только одному народу*, т. е. всей действительно трудящейся массе, обработывающей ее своими руками.

Цари, вначале великие князья московские, были долгое время только управляющими татар в России, управляющими униженно рабскими, страшно корыстными и неутомимо жестокими; и как подобает управляющим, они обделывали свои собственные дела гораздо больше, чем дело своих господ; благодаря покровительству татар, они постепенно увеличивали свои владения, в ущерб соседним княжествам. Таково было начало московского могущества. Целые два столетия великие князья московские, московские бояре и московская церковь образовывались в политической школе, принципы которой выражаются словами — рабство, низкое подобострастие, гнусная измена, жестокое насилие, отрицание всякого права и всякой справедливости и полное презрение к человечеству. Когда, благодаря этой политике, благодаря особенно несогласию татар между собою, эти управляющие, до

сих пор рабски покорные, почувствовали себя достаточно сильными, чтобы избавиться от своих господ, они их прогнали.

Но татарщина, вместе со своими скверными качествами рабства, успела глубоко вкорениться в оффициальном и оффициозном мире Москвы.

Подобное политическое начало достаточно об'ясняет дальнейшее развитие Российской империи. Но судьба готовила нам еще другой великий источник развращения.

В конце XV века Константинополь пал и наследие умирающей византийской империи разделилось на две части. На запад бежавшие греки принесли с собою бессмертные традиции древней Греции, которые дали толчок живому движению Возрождения. А нам она завещала, вместе со своей княжной, своими патриархами и чиновниками, всю испорченность византийской церкви и ужасный азиатский деспотизм в политической, социальной и религиозной жизни.

Вообразите себе дикого князя, татарина с головы до ног, грубого, жестокого, трусливого в случае нужды, лишенного всякого образования, не только презирающего всякое право, но совершенно не имеющего понятия о праве и человеколюбии; из первоначального рабского положения он вдруг возносится в своем воображении, по меньшей мере на высоту византийского императора и воображает себя призванным быть богом на земле, владыкой всего мира. А возле него церковь, не менее грубая, не менее невежественная, но властолюбивая и развращенная из своего рабского положения в Византии, она переносится в несравненно более рабское положение, в Москве, честолюбивая и в тоже время алчная и раболепная, является всегда послушным орудием всякого деспотизма; вечно пресмыкаясь перед царем, она наконец, так тесно смешала в своих молитвах его имя с именем бога, что удивленные верующие, в конце концов, не знают, кто бог и кто царь. Рядом с этой церковью и этим царем вообразите себе дворянство, не менее жестокое и варварское, составленное из самых разнородных элементов: из потомков русских князей, лишенных своих уделов, из татарских князей, из литовских дворян, укрывшихся в Москве, из новых и старых бояр, титулованных дворцовых лакеев, чиновников и сыщиков дикой московской администрации; и все они образуют вокруг трона что-то вроде наследственной бюрократии, оффициальную касту, совершенно отделенную от народа; эта каста сама до бесконечности дробится по родам и чинам, раз'единяется честолюбием, жадностью, соревнованием лакейства, но составляет единодушное целое в одном общем рабстве, в невероятном самоуничтожении перед истинным богом империи — царем. Одинаково безличные, одинаково уничтоженные перед ним, все они, с каким-то рабским сладострастием называют сами себя его рабами, холопами, людишками, Мишками, Петьками, безропотно сносят от него всякое унижение, позволяют себя оскорблять, бить, истязать, убивать; признают царя безу-

словным господином своего имущества, своей жизни, детей и жен своих, и взамен такого полного самоуничижения, они просят только одного — земли, как можно больше земли для эксплуатации, права грабить казну без стыда и немилосердно мучить народ.

Итак, народ, вот истинная вековая жертва московской истории.

Наша история представляет противоположность истории запада. Там короли соединялись в начале с народом, чтобы подавить аристократию, а у нас рабство народа было результатом корыстного союза царя, дворянства и высшего духовенства. Следствием всего этого было то, что народ великорусский, свободный до конца XVI века, вдруг оказался прикрепленным к земле, и сначала фактически, а потом и юридически сделался рабом господина — собственника земли, дарованной ему государством.

Терпеливо ли он выносил это рабство? Нет. Он протестовал время страшными восстаниями. Первое восстание произошло в самом начале XVII века, в эпоху Лжедимитрия. Совершенно неверно объяснять это восстание династическими вопросами или интригами Польши. Имя Димитрия было только предлогом, а польские войска, приведенные польским магнатом, были так малочисленны, что не стоит говорить об них. Это было истинное восстание народных масс против тирании московского государства, бояр и церкви. Могущество Москвы было разбито и освобожденные русские провинции послали туда своих депутатов, которые хотя и выбрали нового царя, но принудили его принять известные условия, ограничивавшие его власть: он поклялся сохранять эти условия, но впоследствии, конечно, нарушил эту клятву. Главными основаниями этой хартии были — уничтожение московской бюрократии и автономия общин и областей, следовательно совершенное уничтожение гегемонии и всемогущества Москвы.

Но хартия была нарушена Царь Алексей, наследник народного избранника, с помощью дворянства и церкви восстановил деспотическую власть и рабство народа. Тогда-то поднялось народное восстание, носившее на себе тройной характер: религиозный, политический и социальный — восстание Стеньки Разина, первого и самого страшного революционера в России. Он поколебал могущество Москвы в самом ее основании. Но он был побежден. Недисциплинированные народные массы не могли вынести напора военной силы, уже организованной офицерами, вызванными из Европы, особенно из Германии. И эта новая победа государства над народом послужила основанием новой империи Петра Великого. Петр понял, что для основания могущественной империи, способной бороться против рождавшейся централизации западной Европы, уже недостаточно татарского кнута и византийского богословия. К ним нужно было прибавить еще то, что называлось в его время цивилизацией запада — т. е. бюрократическую науку. И вот из татарских элементов, полученных в наследие от отцов и с помощью этой немецкой науки, он основал ту чудовищную бюрократию, которая и до сих пор давит и угнетает нас. На вершине этой

пирамиды стоят царь, самый бесполезный и самый вредный из всех чиновников; под ним дворянство, попы, и привилегированные мещане, все имеющие значение только по стольку, по скольку они служат и грабят государство; а внизу, как пьедестал пирамиды, — народ, податями задавленный и мучимый немилосердно.

Покорился ли народ своему рабству? Примирился ли он с империей? Нисколько. В 1771 году, среди торжества Екатерины II над турками и над несчастной и благородной Польшей, которую она задушила и разорвала на части, не одна впрочем, так как ей помогали в этом два знаменитых представителя западной цивилизации: Фридрих Великий, король прусский, друг философов и сам философ, и набожная Мария Терезия, императрица австрийская; итак, среди торжества Екатерины II, в то время, как весь мир удивлялся возроставшему могуществу и удивительному счастью императрицы всероссийской, Пугачев, простой, донской казак, поднял всю восточную Россию. Действительно, вся страна между Волгой и Уралом восстала; миллионы крестьян, вооруженных топорами, пиками, ружьями и всяким оружием, подняли ь; и для чего? чтобы избить повсюду дворян и чиновников, чтобы захватить всю землю в свои руки и образовать на ней свободные сельские общины, основанные на коллективной собственности. Екатерина сначала отнеслась с презрением к этому восстанию, но затем испугалась не на шутку.

Многочисленные полки, посланные против бунтовщиков, под предводительством старых генералов, были разбиты. Вся народная Россия, Россия крестьянская, пробужденная, воспламененная доброй вестью, взволновалась. Народ ждал Пугачева в Москве. Если бы он пришел, русская империя погибла бы безвозвратно. Императрица послала против Пугачева огромную армию и народ еще раз был побежден.

Что же, покорился ли он после этого? Нет. Со времени казни Пугачева и до наших дней, внутренняя, более или менее секретная история империи состоит из последовательного и непрерывного ряда частных и местных восстаний крестьян — восстаний, вызываемых глубокой и непримиримой ненавистью их к помещикам, ко всем чиновникам и к государственной церкви.

Вы видите, господа, я был прав, говоря, что между великорусским народом и империей, его давящей, нет ничего общего. Первый есть отрицание последней; примирение между ними невозможно, потому что интересы их несовместимы: интересы народа заключаются в свободном пользовании землей, в самостоятельности сельских общин, в благосостоянии, вытекающем из свободного труда и исключающем, следовательно, помещичью собственность, опеку, т. е. бюрократический грабеж, набор, налоги — все, что составляет самую суть государства. Как же может народ любить государство и желать сохранения его могущества?

Но, возразят, разве народ не обожает царя? На это я скажу, что обожание царя есть только результат громадного недоразумения. За несколько лет до великой французской революции, английский путешественник, Артур Юнг, видя восторг, с которым встречало Людовика XVI сельское и городское население Франции, сказал, что „народ, который так обожает своего короля, никогда не может быть свободен". Через несколько лет совершилась революция и никто не помешал столичным революционерам возвратить бежавшую царскую фамилию под стражей из Варенн в Париж. Знаете ли, что означает это воображаемое обожание русского царя народом? Это — проявление ненависти к дворянству, к оффициальной церкви, ко всем государственным чиновникам, т. е. ко всему, что составляет самую суть императорского могущества, самую существенную сторону империи. Царь для народа, подобно богу, только отвлеченность, во имя которой он протестует против жестокой и подлой действительности.

Таково положение великорусского народа. Теперь судите сами, справедливо ли, приписывать ему преступления и завоевания, совершаемые империей? Но, скажут, разве он не снабжал солдатами? Да, конечно, как французский народ снабжал армии Наполеона I для завоевания мира, как он снабжал ими Наполеона III для покорения Мексики и Рима, как в настоящее время еще большая часть Германии приготовляет своих солдат, чтобы сделать из них пассивное орудие в руках графа Бисмарка. Есть ли в самом деле, в характере великорусского народа эти воинственные, завоевательные элементы. Вот в чем вопрос. На это я могу смело ответить, что славянские народы вообще, великорусский в особенности, наименее завоевательный народ в мире. Единственная вещь, которую он страстно желает — это свободное и коллективное пользование землей, которую он обрабатывает; все остальное ему чуждо и вызывает в нем страх.

Впрочем, посмотрите всю историю этого народа и скажите, шел ли он когда нибудь по доброй воле на запад? Туда ходили русские армии, собранные и дисциплинированные кнутом, для удовлетворения честолюбия царей, — русский же народ никогда. Причина этого весьма проста. Народ этот по преимуществу замледельческий и требует земли, свободной земли. А на западе земля не свободна, напротив черезчур густо заселена, на востоке же она беспредельна, необработана и плодородна,—вот почему пока русский народ был свободен в своих движениях, пока Петр Великий не прикрепил его окончательно к земле, он всегда направлял свой путь на восток, поворачивая спину западу до тех пор, пока это движение не прекратилось насильственно империей.

Вот, господа, сущность истории великорусского народа. Но кроме него, есть еще малороссы, более чистые славяне с меньшей примесью финского элемента: они образуют в империи 12 миллионов населения, а если прибавить к ним галицийских русинов, то — целые 15 миллионов племени, говорящего одним языком, имеющего одинаковые нравы и вели-

кие исторические воспоминания. После вторжения татар народ этот, к несчастью, был поставлен между московским деспотизмом, с одной стороны, и жестоким притеснением иезуитствующей и аристократической польской шляхтой с другой.

Восставши против этой последней, в половине XVII века, часть Украйны из ненависти к Польше совершила великую ошибку: она приняла покровительство русского царя. Цари обещали ей все: и сохранение ее вольностей и национальную автономию. Но так как обещание всех государей, будут ли они цари, простые герцоги, короли или императоры, походят друг на друга всегда и везде, то русские цари наградили, конечно, Малороссию самым грубым деспотизмом, таким-же, какой существовал в великой России с жестокой помещичьей эксплуатацией и не менее жестоким притеснением бюрократии. В XVIII веке, когда Франция готовилась к революции, Екатерина II, филантропствовавшая императрица, восхваляемая философами, ввела крепостное право, до того времени не существовавшее в Польше. А в настоящее время это панславистское национальное правительство систематически и жестоко преследует малороссийский язык в Малороссии, как польский в Польше. Пусть будет это предостережением австрийским и турецким славянам, которые ищут свое спасение в Москве.

Этот народ, вместе с 4 миллионами белоруссов, по всей вероятности, составит отдельную, независимую нацию миллионов в 20 жителей, которая может, конечно, вступить в союз с Польшей или Великоруссией, но должна остаться совершенно независимой от гегемонии той и другой. Но, скажут, разве положение этих народов не улучшилось значительно со времени пресловутого освобождения крестьян, которым так гордится царствующий ныне император? Не верьте этому освобождению, оно только на словах; народ перестал ему верить окончательно. Я считаю необходимым сказать о нем несколько слов, чтобы рассеять заблуждения запада на этот счет. Я начну с замечания, что напрасно приписывают честь этой попытки или этого ложного освобождения великодушию императора Александра II. Ее единственной причиной была крымская катастрофа. Эта война, к счастью столь несчастная для нас, нанесла тяжелый удар самому существованию империи. Здание, воздвигнутое Петром Великим, Екатериною II и Николаем I, вдруг пошатнулось, внезапно открыло всю свою преждевременную гнилость и действительную негодность. После крымской войны для всех стало очевидно, что старый порядок вещей не может более продолжаться и что если государство не будет преобразовано, то народная революция вспыхнет неминуемо. Старый порядок основан был на крепостном праве — следовательно, надо освободить народ. Таково было в то время единодушное убеждение всей России; такова была страстная надежда, великое ожидание народных масс. Чтобы доказать вам справедливость моих слов я приведу свидетельство одной важной особы, авторитет которой в этом случае не может быть подвергнут сомнению. Эта особа сам император Александр II.

Не помню, было ли это в 1859 или 1860 г., он произнес публично в полном собрании московских дворян следующие замечательные слова: „Господа, мы должны поторопиться освободить крестьян, ибо лучше для всех нас, чтобы эта революция произошла сверху, а не снизу“. Смысл этих слов чересчур прост, и ясен; неправда ли? Если бы народу не дали подобия свободы, он сам бы ее взял; но взял бы уже свободу полную, действительную, безусловную, взял бы ее посредством революции, т. е. уничтожения дворянства и империи.

Государство находилось тогда в крайне трудном и щекотливом положении, с одной стороны, оно должно было освободить народ, с другой — очень хорошо понимало, что не может этого сделать действительно, потому что все его существование, все условия его бытия враждебны действительному освобождению народа. Следовательно, надо было обмануть его, кажущимся освобождением, дать им, в интересах сохранения государства такую свободу, которая в сущности не была бы свободой, и не разорила бы помещиков, заставив крестьян заплатить вдвое, втрое дороже за землю, которая и без того принадлежала ему по праву их собственного тяжелого труда и труда всех предков их. Это и было сделано. Несмотря на эту свободу, о которой так много кричали в Европе, русский народ до сих пор прикреплен к земле, и русский крестьянин, сделавшийся собственником своей земли, вместе с тем окончательно раззорен и почти умирает с голоду.

Чтобы собрать оброки и покрыть недоимки, которые он не в состоянии платить, продают орудия его труда и даже его скот; у него нет более семян для посева, нет возможности обрабатывать землю. Вот то счастье, которым наградил его великодушный Александр II.

Не понимая подобной свободы, он восставал. Его били, расстреливали и ссылали. Во многих губерниях он и теперь еще нередко просит правительство взять землю назад, которая при настоящих условиях, его разоряет, — его же бьют палками, сажают в тюрьмы, расстреливают. Таково настоящее положение народа, и теперь он начинает понимать, что царь — божественная отвлеченность и есть действительная и главнейшая причина всех его бедствий. От этого сознания до кровавой революции очень недалеко.

Но кто сумеет организовать и направить эту революцию? Молодежь. Говоря вам о революционной русской молодежи, я не могу не упомянуть о случае, бывшем между нами и которым хотели воспользоваться против меня. Я говорю о новом манифесте русской социальной демократии, который многие из вас читали. Им воспользовались третьего дня, как неоспоримым аргументом, чтобы склонить вас отвергнуть принцип экономического и социального уравнения классов и лиц, который мною и моими друзьями был вам предложен в надежде, что вы захотите дать рабочим массам серьезное и действительное доказательство искренности ваших демократических и народных чувств. Вам сказали: „видите, чего хотят эти нарушители обще-

ственнаго порядка. Они хотят уничтожения религии, собственности, семейства и государства — этих вечных основ цивилизации"; эти гг. должны бы были прибавить „и вечной несправедливости". Эти основы и эти причины существующего порядка вещей так прекрасны и так справедливы, что вы сами в своей программе заявляете о необходимости „радикального" их преобразования. Я не имею намерения входить в подробности этого спора. Я хочу только отклонить от себя честь издания этого манифеста, причем громко заявляю, что я от всего сердца признаю все изложенные в нем принципы. В доказательство, что я действительно не участвовал в составлении этого документа я приведу только один факт. В 1862 г. та же самая программа с небольшими изменениями и, конечно, иначе изложенная, была напечана тайно в России под названием „Манифеста Молодой России".

Скажут, как говорили и тогда, что „этот манифест есть только необдуманное и преувеличенное выражение чувств очень небольшого числа молодых ветренников". Это, господа, глубокая ошибка. Хотите вы знать число молодых и пожилых людей, разбросанных по России и сочувствующих этим принципам, людей которых чувства, стремления, инстинкты или, если так можно выразиться, симпатии вполне выражаются изложенными в манифесте принципами? Я думаю, что я скорее уменьшу, чем преувеличу, если скажу, что число таких людей простирается до 40, даже до 50 тысяч человек. Ведь это целая армия! И армия осмысленная и энергичная. Кто составляет ее? Молодые люди, вышедшие из корпусов, гимназий и университетов, дети мещан или раззорившегося мелкого дворянства. Юноши, почти лишенные средств существования, но тратящие последний свой грош на приобретение книг и образование; в особенности дети сельского духовенства, большинство которых погибает в адских трущобах наших семинарий, но из числа которых очень многие, притом самые умные и сильные, вырываются оттуда, полные энергии и ненависти ко всему существующему строю. Наконец, много крестьянских и мещанских детей—юношей полных жизни, из которых многие делаются замечательными людьми, если счастливый случай даст им возможность образоваться. Вот, господа, наша революционная фаланга, которую государство преследует немилосердно, сотнями ссылает в Сибирь, садит в тюрьмы, умышленно убивает и истязает всеми способами, и, не смотря ни на что, оказывается бессильным против них, так как они черезчур многочисленны, разбросаны по всему пространству империи, а главное черезчур незаметны и потому легко избегают надзора.

Но что могут сделать разбросанные 40 или 50 тысяч человек против организованной силы государства? Они могут тоже организоваться; они уже организовываются, а посредством организации сделаются в свою очередь силою, и силою тем более грозною, что она будет почерпать свою силу не в себе самой, а в народе. Они сделаются безустанными и деятельными посредниками между нуждами, инстинктами, неодолимой, но еще неосознанной силой народа и революционной идеей.

С таким народом, социалистом по инстинкту и революционером по природе, и с такой молодежью, стремящейся по принципам и, что еще важнее, по самому своему положению, к уничтожению существующего порядка вещей,—революция в России несомненна. Что-же будет ее первым, ее необходимым делом? Разрушение империи, потому что пока существует империя ничего хорошего и живого не может осуществиться в России. Это, господа, убеждение русской революционной молодежи и мое также. Мы патриоты народа, а не государства. Мы хотим счастья, достоинства, свободы нашего народа, всех народов русских, и не русских заключенных ныне в империи. Поэтому то мы и желаем разрушения империи. Ясно это?

Позвольте мне, господа, прибавить к этой длинной речи, еще одно замечание. Год тому назад, один демократический журнал, издаваемый в Лейпциге, обращаясь ко всей демократической русской эмиграции и называя между прочим и мое имя, задал нам вопрос: вы называете себя демократами, социалистами, заклятыми врагами вашего правительства, скажите же нам, каковы ваши чувства и мысли относительно честолюбивых стремлений вашей империи? Ненавидите ли вы, подобно нам, порабощение Польши, Кавказа, Финляндии, Балтийских провинций, ваши недавние завоевания в Бухаре и воинственные планы против Турции?

На этот вопрос, впрочем совершенный естественно, я не счел нужным отвечать тогда: теперь я отвечу на него. После всего сказанного ответ будет легок. Впрочем, для всех добросовестных людей он вытекает сам собой из моей прошлогодней речи, сказанной на Женевском Конгрессе. Если мы желаем полного и совершенного уничтожения империи, мы можем только ненавидеть ее властолюбие, а следовательно и все ее победы на севере, как и на юге, на востоке, как и на западе, и я думаю, что самым большим счастьем для русского народа было бы поражение императорских войск, каким нибудь внутренним или внешним образом. Вот мое мнение относительно общего принципа.

Теперь, вдаваясь в подробности и начиная с севера, я скажу: Я желаю, чтобы Финляндия была свободна и имела полную возможность организоваться, как желает и соединиться, с кем хочет. Я говорю тоже самое, совершенно искренно и относительно Балтийских провинций. Я прибавлю только маленькое замечание, которое мне кажется необходимым, потому что многие из немецких патриотов, республиканцев и социалистов, имеют, повидимому, две мерки, когда дело доходит до международной справедливости—одну для них самих, а другую для всех остальных наций, так что нередко то, что им кажется справедливым и законным, когда оно касается германской империи, принимает, в их же глазах, вид отвратительного насилия, если совершаются другой какой нибудь державой.

Предположим, например, что Германия будет завоевана иностранным государством, например, Франциею; тринадцать четырнадцатых населения этой страны, следовательно, большинство обитателей, считаются чистыми

немцами и только одна четырнадцатая, горсть завоевателей и властителей — класс привилегированного дворянства и буржуазии — оказывается состоящей из французов. Я прошу немцев, задававших нам вопрос, ответить в свою очередь, откровенно, положа руку на сердце: будет ли эта страна по их мнению, французская или немецкая? Я отвечу за них,— конечно она считается немецкой в их глазах. Во первых, потому что огромное большинство состоит из массы подавленной, эксплоатируемой, производительной — словом, из рабочего народа, а будущность также как и симпатия их — я не сомневаюсь в этом ни минуты, — на стороне рабочего люда. Таково положение Балтийских провинций. Откройте Кольба, великого статистика, которым так гордится Германия, и вы увидите, что во всех прибалтийских провинциях, включая туда даже петербургскую губернию, всего только двести тысяч немцев, на население в два миллиона восемьсот тысяч человек [1]) как раз одна четырнадцатая часть.

Посмотрим теперь, из каких элементов состоит это незначительное немецкое большинство. Его составляют, во первых, благородные потомки ливонских рыцарей, которые с папским благословением и под предлогом религии, а в особенности, чтобы присвоить чужое достояние, крестили огнем и мечем эту несчастную страну. Чем стали они теперь? Высокомерными владыками народа, которого они продолжают эксплоатировать, и рабски преданными слугами петербургского императора. Если наши немецкие друзья хотят взять их, если они думают, что королевские дворцы в Берлине недостаточно наполнены юнкерами Померании, пусть они берут их. Затем их управляющие протестантского исповедания — самые закоснелые, непреклонные и правоверные из всех протестантов; они покорные слуги помещиков, для пользы которых всеми силами стараются задушить умственные способности несчастных латышских и финских крестьян. Желают ли наши друзья, принимая их в виде подарка, увеличить число своих собственных, эксплуататоров народного невежества? — Наконец, остается буржуазия, которая нисколько не лучше и не хуже мелкой, средней и крупной буржуазии немецких городов, зарабатывающей своим трудом средства к жизни, или эксплуатирующей, когда можно, чужой труд; она верный слуга российского императора, но будет тем же самым и для всякого другого господина, который захотел бы подчинить ее своей власти. Она иногда может резонерствовать, но никогда не возмутится против своих господ, ибо ее призвание — резонерствовать и всегда повиноваться. Все остальное население — два миллиона шестьсот тысяч — состоит из латышей и финнов, т. е. из элементов совершенно чуждых немецкой народности, даже более чем чуждых, враждебных — ибо нет имени более ненавистного для этого народа, чем имя немцев. Это весьма естественно: разве раб может любить своего

---

[1]) Кольб насчитывает во всей империи 60.000 немцев.

господина и мучителя? Я слышал однажды сам, как латышский крестьянин говорил: „Мы ждем минуты, когда можно будет вымостить черепами немцев большую дорогу, ведущую в Ригу“. Вот, господа, страна, которую германские газеты представляют нам немецкой. Русская ли она поэтому? Нет, нисколько. Сделанная сначала немецкой, а потом русской, по праву завоевания, т. е. в силу жестокой несправедливости и нарушения всех прав естественных и человеческих, она по природе своей, по инстинктам и желаниям своих обитателей, ни русская, ни немецкая; она финская и латышская страна. Что произойдет с ней в будущем, с какой национальной группой захочет она соединиться — трудно предвидеть. Верно одно, и это не осмелится отрицать ни один искренний и серьезный демократ, будет ли он руский или немец все равно, верно неоспоримое право этого народа распологать своей судьбою, независимо от 200.000 немцев, которые притесняли его и теперь притесняют, и которых он ненавидит, независимо от всякаго германского союза и от российской империи.

Теперь перейдем к Польше. Вопрос, мне кажется, одинаково прост, если хотят разрешить его только с точки зрения справедливости и свободы: все народности, все страны, которые захотят принадлежать к новой польской федерации, будут польские, все которые не захотят этого, не будут польскими. Русское население Белоруссии, Литвы и Галиции соединится с кем захочет и никто не в состоянии теперь определить его будущую судьбу. Мне кажется, всего вероятнее и желательнее, чтобы они образовали с Малороссией отдельную национальную федерацию, независимую от Великороссии и Польши.

Наконец, останется ли сама Великороссия со своим 35 миллионным населением тоже политически централизованной, как и теперь? Это нежелательно и невероятно. Централизованное 35 миллионное население никогда не может быть свободным внутри и мирным и справедливым вне своих пределов. Великороссия, как все другие славянские земли, следуя великому стремлению века, который требует непременного разрушения всех великих или малых политических централизаций, всех учреждений, организаций, чисто политических, и образования новых социальных групп, основанных на коллективном труде, и стремящихся к всемирной ассоциации,—Великороссия, которая, как все другие страны, которых коснулась демократическая и социальная революция, разрушится сначала, как политическое государство и свободно реорганизуется вновь снизу вверх, от периферии к центру, смотря по своим потребностям, инстинктам, стремлениям и интересам, как личным, так коллективным и местным, на единственном основании, следовательно, на котором возможно утвердиться, истинной справедливости и действительной свободе.

Наконец, чтобы резюмировать все сказанное, я еще раз повторю: да, мы хотим совершенного разрушения российской империи, полного уничто-

жения ее могущества и ее существования. Мы хотим этого столько же во имя человеческой справедливости, как и во имя патриотизма.

Теперь, когда я достаточно ясно высказался, настолько ясно, что никакая двусмысленность или сомнение более не возможны, я позволю задать один вопрос нашим немецким друзьям, предложившим нам вышеприведенные вопросы. Согласны ли они, во имя любви к справедливости и свободе, отказаться от польских провинций, каково бы ни было их географическое положение, их стратегическая и торговая польза для Германии—желают ли они отказаться от всех польских стран, население которых не хочет быть немецким? Согласны ли они отказаться от своего, так называемого, исторического права на часть Богемии, которую до сих пор не удалось германизировать, не смотря на прекрасные, всем известные, исторические, иезуитские и жестоко деспотические средства, — на Моравию, Силезию и Чехию где ненависть, населения увы, совершенно справедливая, к немецкому владычеству, не может подлежать сомнению? Согласны ли они отречься во имя справедливости и свободы, от честолюбивой политики Пруссии, которая, во имя коммерческих и морских интересов Германии, хочет силою присоединить датское население Шлезвига к Северному Германскому Союзу? Согласны ли они отказаться от своих притязаний, во имя тех же коммерческих и морских интересов, на город Триест, гораздо более итальянский, нежели немецкий? Одним словом, согласны ли они отречься от своей страны, как они этого требуют от других, от всякой политики и признать для себя, как для других, все условия и все обязанности налагаемые свободой и справедливостью? Согласны ли они принять во всей широте и во всех применениях следующие принципы — единственные, на которых может создаться международный мир и справедливость.

1) Уничтожение того, что называется историческим правом и политическою необходимостью государства, во имя каждого населения большого или малого, слабого или сильного, также как каждой отдельной личности, располагать собою с полной свободой, независимо от потребности и притязаний государства, и ограничивая эту свободу только **равным** правом других.

2) Уничтожение всяких постоянных договоров между личностями и коллективными единицами—ассоциациями, областями, нациями,—иными словами, признание за каждым права, если он также свободно связал себя с другим лицом, уничтожить договор, исполнив все временные и ограниченные условия, которые он содержит. Право это основывается на принципе, составляющем необходимое условие действительной свободы—что прошедшее не должно связывать настоящего, а настоящее не должно связывать будущего, и что неограниченное право принадлежит живущим поколениям.

3) Признание для личностей, также как и для ассоциаций, общин, провинций и наций, права свободного удаления из союзов, с единственным непременным условием, чтобы выходящая часть не поставила в опасность

свободу и независимость целого, от которого отходит, своим союзом с иностранной и враждебной державой. Вот истинные, единственные условия свободы и справедливости. Согласны ли они, наши немецкие друзья, признать их так же искренно, как признаем их мы? Одним словом, хотят ли они вместе с нами уничтожения государства—всех государств?

Господа, в этом заключается весь вопрос. Государство -это насилие, притеснение, эксплуатация, несправедливость, возведенные в систему и сделавшиеся краеугольным камнем существования всякого общества. Государство никогда не имело и не может иметь нравственности. Его нравственность и его единственная справедливость есть высший интерес его самосохранения и всемогущества—интерес, перед которым должно преклоняться все человечество. Государство есть полное отрицание человечества, отрицание двойное—и как противоположность человеческой свободе и справедливости, и как насильственное нарушение всеобщей солидарности человеческого рода. Мировое государство, которое столько раз пробовали создать, всегда оказывалось невозможным: следовательно, пока государство будет существовать, их будет несколько; а так как каждое из них ставит себе единственной целью, высшим законом, поддержать свое существование в ущерб всем другим, то понятно, что самое существование государства подразумевает уже вечную войну—насильственное отрицание человечества. Всякое государство должно завоевывать или быть завоеванным. Всякое государство основывает свое могущество на слабости, а если может без вреда для себя, и на уничтожении других держав.

С нашей стороны, господа, было бы странным противоречием и смешной наивностью заявлять желание, как это было сделано на теперешнем конгрессе, учредить международную справедливость. свободу и вечный мир, а вместе с тем хотеть сохранить государство. Невозможно заставить государства изменить свою природу, ибо в силу именно этой природы они государства, и, отказываясь от нее, они перестают существоват. Следовательно, нет и не может быть хорошего, справедливого и нравственного государства. Все государства дурны в том смысле, что они по природе своей т. е. по условиям цели своего существования составляют диаметральную противоположность человеческой справедливости, свободы и нравственности. И в этом отношении, что бы ни говорили, нет большой разницы между дикой всероссийской империей и самым цивилизованным государством Европы. И знаете ли вы, в чем заключается это различие? Царская империя делает цинически то, что другие совершают под покровом лицемерия, и она составляет по своему открытому, деспотическому и презрительному отношению к человечеству, тайный идеал, к которому стремятся и которым восторгаются все государственные люди Европы. Все государства Европы делают то, что делает она, на сколько позволяет им это общественное мнение и, главное, новая, но уже могущественная солидарность рабочих масс, носящая в себе семя разрушения государств. До-

благодетельным государством может быть только государство бессильное, да и оно преступно в своих мыслях и желаниях.

Итак я прихожу к заключению: Тот кто желает вместе с нами учреждения свободы, справедливости и мира, хочет торжества человечества, кто хочет полного и совершенного освобождения народных масс, должен желать вместе с нами разрушения всех государств и основания на их развалинах всемирной федерации производительных свободных ассоциаций всех стран.

Федерализм, Социализм и Антитеологизм.

Федерализм, Социализм и Антитеологизм.

Мотивированное предложение центральному комитету „Лиги Мира и Свободы“ [1]).

Господа!

Дело, занимающее нас сегодня, это организовать и окончательно упрочить Лигу Мира и Свободы, взяв за основание принципы, формулированные предшествующим распорядительным комитетом и принятые на первом с'езде. Эти принципы составляют с этих пор нашу хартию, обязательное основание всех наших последующих работ. Мы не имеем более права отнять от них хотя бы малейшую часть; но мы можем и даже обязаны их развивать.

Выполнение этой обязанности нам представляется в настоящее время тем более настоятельным, что, как всем известно, вышеупомянутые принципы были формулированы наскоро, под давлением тяжелого женевского гостеприимства... Мы набросали их, так сказать, между двумя грозами, принужденные ослаблять выражения, чтобы избежать большого скандала, который бы мог привести к полнейшему уничтожению нашего дела.

Ныне, когда благодаря более искреннему и широкому гостеприимству города Берна, мы свободны от всякого местного, внешнего давления, мы должны восстановить эти принципы во всей их полноте, отбросив всякую двусмысленность, как недостойную нас, недостойную великого дела, которое мы призваны основать.

Умалчивание, полуправда, урезанные мысли, любезные смягчения и уступки трусливой дипломатии, все это непригодно для совершения великих дел: последние совершаются лишь при помощи возвышенного сердца,

---

[1]) Таково было окончательно принятое заглавие настоящего доклада. Первоначально в корректуре имелся подзаголовок: *Предложение Русских членов центрального Комитета Лиги Мира и Свободы*, а в рукописи Бакунин дал ему следующее заглаве: *Мотивированное предложение русских членов постоянного Комитета Лиги Мира и Свободы (поддержанное французским делегатом г. Александром Накэ и польскими делегатами Валерианом Мрошковским и Иваном Загорским]*.

прямого и твердого ума, ясно определенной цели и великой смелости. Господа, мы предприняли великое дело, возвысимся до уровня нашего предприятия. Оно будет великим или смешным, средины не может быть, и чтобы оно было великим, необходимо, по меньшей мере, чтобы мы по своей смелости и искренности стояли на должной высоте.

Не академическое обсуждение принципов предлагаем мы теперь вашему вниманию. Мы не упускаем из виду, что мы собрались здесь, главным образом, чтобы выработать необходимые средства и политические меры к осуществлению нашего дела. Но мы знаем также, что в политике не может быть честной и полезной практической деятельности без ясно определенных теории и цели. В противном случае, как мы ни воодушевлены самыми широкими и свободолюбивыми чувствами, мы можем прийти к практике, совершенно противуположной этим чувствам; мы можем начать с республиканскими, демократическими и социалистическими убеждениями, — а кончить как бисмаркианцы или как бонапартисты.

Сегодня мы должны сделать три вещи:

1) Установить условия и подготовить почву для нового с'езда.

2) Организовать нашу Лигу, насколько это будет возможно, во всех странах Европы; распростанить ее даже, и это нам кажется существенным, на Америку и учредить в каждой стране национальные комитеты и провинциальные подкомитеты, предоставив каждому из них всю законную, необходимую автономию, и подчинив их все иерархически центральному комитету в Берне. Дать этим комитетам полномочия и необходимые инструкции для пропаганды и принятия новых членов.

3) В виду этой пропаганды, основать газету.

Не очевидно ли, что для того чтобы хорошо выполнить эти три вещи, мы должны предварительно установить принципы, которые определили бы без всякой двусмысленности, природу и цель Лиги. Эти принципы с одной стороны, вдохновят и направят нашу, как письменную, так и словесную пропаганду, а с другой стороны, послужат условиями и основой для принятия новых членов. Последний пункт, господа, кажется нам чрезвычайно важным. Ибо вся будущность нашей Лиги будет зависеть от идей, склонностей и тенденций, как политических и социальных, так и экономических и моральных этой массы вновь прибывающих членов, которых мы примем в наши ряды. Являясь учреждением в высшей мере демократическим, мы не претендуем управлять сверху нашим народом, т. е. массой наших сторонников; и раз наше общество будет правильно устроено, мы никогда не позволим себе властно навязывать ему наши идеи. Напротив мы хотим, чтобы все наши провинциальные подкомитеты и национальные комитеты, вплоть до центрального или самого международного комитета, избираемые голосами членов во всех странах, снизу вверх, сделались верным и послушным выражением их чувств, их идей и их воли. Но ныне, именно потому что мы решились подчиняться во всем, что будет касаться общей

деятельности Лиги, желаниям большинства, потому что мы находимся еще в малом числе, если мы не хотим, чтобы наша Лига когда либо уклонилась от своей первоначальной идеи и от направления, приданного ей ее инициаторами, не должны ли мы принять меры, чтобы никто с тенденциями, противуположными этой идее и этому направлению, не мог сделаться ее членом?

Не должны ли мы организоваться таким образом, чтобы огромное большинство наших приверженцев оставалось всегда верно воодушевляющим нас сегодня чувствам, и установить такие правила принятия членов, чтобы даже, если личный состав наших комитетов переменится, дух Лиги оставался неизменным?

Мы можем достигнуть этого не иначе, как установив и определив наши принципы настолько ясно, чтобы никто, будучи в том или ином отношении против них, не мог занять место в наших рядах.

Нет никакого сомнения, что если мы не будем ясно формулировать действительный характер своих принципов, число наших сторонников может впоследствии стать очень большим. Мы могли бы даже в таком случае, как нам предлагал делегат Базеля, г. Шмидлин, принять в наши ряды много военных и священников, — почему бы уже и не полицейских? — или по примеру Лиги Мира, основанной в Париже под высочайшим императорским покровительством гг. Мишеля Шевалье и Фредерика Пасси, умолять знаменитых прусских, русских или австрийских принцесс соблаговолить принять звание почетных членов нашей ассоциации. Но, как говорит пословица, кто много захватывает, плохо удерживает, мы купили бы эти драгоценные присоединения лишь ценой полного самоуничтожения, и среди массы двусмысленностей и фраз, отравляющих в настоящее время общественное мнение Европы, стали бы лишней плохой шуткой.

С другой стороны, очевидно, что если мы громко провозгласим свои принципы, число наших членов будет более ограничено; но, по крайней мере, это будут серьезные приверженцы, на которых можно будет рассчитывать, — и наша искренняя, просвещенная, серьезная пропаганда будет не отравлять, а нравственно оздоровлять публику.

Рассмотрим же, каковы принципы нашей новой ассоциации? Она называется *Лигой Мира и Свободы*. Это уже много; этим мы отделаемся от всех тех, кто ищет мира какой угодно ценой, даже ценой свободы и человеческого достоинства. Мы отделяемся также и от английского общества мира, отвлекающегося от всякой политики и воображающего, что при современном устройстве государств в Европе возможен мир. В противуположность этим ультра-пацифистским тенденциям парижского и английского обществ, наша Лига об'являет, что она не верит в мир, и не желает мира, иначе как под непременным условием свободы.

Свобода, это величайшее слово, означающее великую вещь, которое никогда не перестанет воспламенять сердце всех живых людей. Но оно

требует тем не менее точного определения, иначе мы не сможем избежать двусмысленности. Бюрократы-сторонники гражданской свободы, монархисты-конституционалисты, аристократы, буржуа — либералы, которые все более или менее сторонники привилегий и естественные враги демократии, могут вступить в наши ряды и составить у нас большинство под предлогом, что они тоже любят свободу.

Чтобы избежать последствий такого столь печального недоразумения, Женевский с‘езд об‘явил, что он желает „основать мир *на демократии* и на свободе“, откуда вытекает, что для того, чтобы стать членом нашей Лиги, надо быть демократом. Значит, исключаются все аристократы, все сторонники какой бы то ни было привилегии, монополии или политической исключительности, ибо слово демократия означает ничто иное, как управление народом, посредством народа и для народа, понимая под этим последним наименованием всю массу граждан — а в настоящее время надо прибавить и гражданок, — составляющих нацию.

В этом смысле мы все конечно демократы.

Но мы должны в то же время признать, что этот термин демократия недостаточен для точного определения характера нашей Лиги, и что, рассматриваемый в отдельности, он может, так же как термин свобода, подать повод к двусмысленности. Не видели ли мы в Америке с начала этого столетия, что плантаторы, рабовладельцы Юга и все их приверженцы в Северных Штатах, назывались демократами? А современный цезаризм со своими отвратительными последствиями, нависший, как ужасная угроза над всем, что называется в Европе человеческим, не именует ли он себя тоже демократичным? И даже московский и петербургский империализм, это „Государство без фраз“, этот идеал всех централизованных, военных и бюрократических держав, не во имя ли демократии раздавил он недавно Польшу?

Очевидно, демократия без свободы не может служить нам знаменем. Но что такое демократия, основанная на свободе, если не Республика? Союз свободы с привилегиями создает монархический конституционный режим, но его союз с демократией может осуществиться лишь, *в Республике*. В видах предосторожности, которых мы не одобряем, Женевский с‘езд нашел нужным воздержаться в своих резолюциях от произнесения слова „республика“. Но, об‘являя свое желание „основать мир на демократии и свободе“, он невольно выставил себя сторонником республики. *Итак наша Лига должна быть в одно и то же время демократической и республиканской.*

И мы думаем, господа, что все мы здесь республиканцы в том смысле, что толкаемые беспощадной, неотразимой логикой вещей, предостерегаемые столь же спасительными, как и жестокими уроками истории, всеми опытами прошлого и в особенности событиями, которые омрачили Европу с 1848 года, и теми опасностями, которые и теперь ей еще угрожают, мы

все ровно пришли к одному убеждению: *монархические учреждения несовместимы с царством мира, справедливости и свободы.*

Что касается нас, господа, то мы, как русские социалисты и как славяне, считаем своей обязанностью открыто заявить, что для нас слово республика не имеет другой цены, кроме цены *чисто отрицательной*: оно означает разрушение, уничтожение монархии. Слово это не только неспособно нас воодушевить но, напротив того, всякий раз, когда нам выставляют республику, как положительное, серьезное разрешение всех злободневных вопросов, как высшую цель, к достижению которой должны направляться наши усилия, мы испытываем потребность протестовать.

Мы ненавидим монархию от всей души; мы ничего так не желаем, как видеть ее падение во всей Европе и во всем мире, и мы убеждены, как и вы, что ее уничтожение есть необходимое условие освобождения человечества. С этой точки зрения мы искренние республиканцы. Но мы не думаем, что достаточно разрушить монархию, чтобы освободить народы и дать им мир и справедливость. Напротив того, мы твердо убеждены, что крупная, военная, бюрократическая, политически централизованная республика может и необходимо должна стать завоевательной державой во внешних делах и притеснительницей во внутренних и что она будет неспособна обеспечить своим подданным, — даже если они и будут называться гражданами, — благоденствие и свободу. Разве мы не видели великую французскую нацию, два раза об'являющей себя демократической республикой, и оба раза теряющей свою свободу и дающей себя увлечь к завоевательным войнам?

Припишем ли мы, подобно многим другим, эти плачевные падения легкомысленному темпераменту и историческому привычному отношению к дисциплине французского народа, который, как утверждают его клеветники, способен завоевать свободу внезапным бурным порывом, но не умеет пользоваться ею и проводить ее на практике?

Нам невозможно, господа, присоединиться к этому осуждению целого народа, одного из самых просвещенных народов Европы. Мы убеждены, что если два раза подряд, Франция потеряла свободу и видела превращение своей демократической республики в военную диктатуру и демократию, то вина в этом падает не на характер ее народа а на ее *политическую централизацию.* Централизация эта, издавна подготовленная французскими королями и государственными людьми, воплощенная позже в человеке, названном угодливой придворной риторикой Великим Королем, потом ввергнутая в бездну позорными деяниями одряхлевшей монархии, конечно погибла бы в грязи, если бы Революция не подняла ее своей могучей рукой. Да, странная вещь: эта великая революция, провозгласившая в первый раз в истории свободу не только гражданина, но человека, — сделав себя наследницей монархии, которую она убивала, воскре-

сила это отрицание всей свободы: *централизацию и всемогущество Государства.*

Воссозданная Учредительным Собранием, эта централизация, против которой правда, боролись но с малым успехом Жирондисты, была довершена Конвентом. Робеспьер и Сен-Жюст были ее истинными восстановителями: ничто не было забыто в новой правительственной машине, ни даже Верховное Существо вместе с религией Государства. Она ожидала лишь ловкого механика, чтобы явить удивленному миру все могущество притеснения, которым ее одарили неосторожно устроители... и явился Наполеон I. Итак, эта революция, которая вначале была воодушевлена лишь любовью к свободе и человечности, одним тем, что поверила в возможность примирения их с централизацией государства, убила себя, убила их и не породила ничего, кроме военной диктатуры цезаризма.

Не очевидно ли, господа, что для того, чтобы спасти в Европе свободу и мир, мы должны противупоставить этой чудовищной и гнетущей централизации военных, бюрократических, деспотических, монархически-конституционных или даже республиканских государств, великий спасительный *принцип Федерализма*,—принцип, блистательное проявление которого явили нам между прочим последние события в Соединенных Штатах Северной Америки. Отныне для всех, истинно желающих освобождения Европы, должно быть ясно, что, сохраняя все свои симпатии к великим социалистическим и гуманитарным идеям, провозглашенным Французской Революцией, мы должны отбросить ее политику Государства и решительным образом восполнять политику свободы северо-американцев.

I.

ФЕДЕРАЛИЗМ.

Мы счастливы возможностью об'явить, что Женевский с'езд единогласно приветствовал этот принцип. Сама Швейцария, которая, к слову сказать, применяет так удачно этот принцип на практике, присоединилась к нему без всякого ограничения и приняла его во всей широте и со всеми вытекающими из него последствиями. К сожалению, в резолюциях с'езда этот принцип очень плохо формулирован и даже упомянут лишь косвенным образом, в одном месте, по поводу Лиги, которую мы должны основать, и затем ниже по поводу журнала, который мы должны издавать под заглавием „Соединенные Штаты Европы". Между тем, по нашему мнению, он должен бы был занимать первое место в нашей декларации принципов.

Это очень печальный пробел, который мы должны поспешить заполнить. Сообразуясь с единогласным решением Женевского с'езда, мы должны провозгласить:

1) Что для того, чтобы восторжествовали свобода, справедливость и мир в международных отношениях Европы, для того, чтобы гражданская война между различными народами, составляющими европейскую семью, стала невозможною, есть только одно средство: образование *Соединенных Штатов Европы.*

2) Что Штаты Европы никогда не будут в состоянии образоваться из Государств в их нынешнем виде, по причине чудовищного неравенства между взаимотношениями их сил.

3) Что пример покойной Германской Конфедерации доказал неоспоримым образом, что конфедерация монархий является насмешкой: что она бессильна гарантировать населению, как мир, так и свободу.

4) Что ни одно централизованное, бюрократическое и тем самым военное, государство, даже если бы оно называло себя республиканским, не сможет серьезным и искренним образом войти в международную конфедерацию. По своей конституции, которая всегда будет открытым или замаскированным отрицанием свободы внутри, оно необходимо будет постоянным вызовом к войне, постоянной угрозой существованию соседних

стран. Основанное существенным образом на предшествующем акте насилия, завоевания или того, что называется в частной жизни, воровством со взломом,— акте, благословенном церковью, какой бы то ни было религии, освященном временем и в силу этого обратившемся в историческое право, — и опираясь на это божеское освящение торжествующего насилия, как на исключительное и высшее право, всякое централизованное государство тем самым, полагает себя, как абсолютное отрицание прав всех других государств, не признавая их в заключенных с ними договорах, иначе, как в видах политического интереса, или по бессилию.

5) Что все приверженцы Лиги должны будут, следовательно, направить все свои усилия к переустройству своих отечеств, дабы заменить в них старую организацию, основанную, сверху, на насилии и принципе власти, новой организацией, не имеющей другого основания, кроме интересов потребностей и естественных влечений населения, ни другого принципа, кроме свободной федерации индивидуумов в коммуны, коммун в провинции *), провинций в нации, наконец этих последних в Соединенные Штаты сперва Европы, а затем всего мира.

6) Следовательно, полнейшее уничтожение всего, что называется историческим правом государств; вопросы о естественных, политических, стратегических и торговых границах должны считаться отныне принадлежащими к древней истории и энергично отбрасываться всеми приверженцами Лиги.

7) Признание абсолютного права на полную автономию за всякой

*) Знаменитый итальянский патриот Иосиф Мадзини, республиканский идеал которого есть ничто иное, как французская республика 1793 года, переплавленная в горниле поэтических традиций Данте и властолюбивых воспоминаний властелина земли Рима затем пересмотренная и исправленная с точки зрения новой теологии, наполовину рациональной, наполовину мистической, — этот знаменитый патриот, честолюбивый, страстный и всегда односторонний, несмотря на все сделанные им усилия, чтобы подняться до уровня международной справедливости, который всегда предпочитал величие и могущество своего отечества, его благоденствию и свободе, — был всегда ожесточенным противником автономии провинции, которая естественно мешала бы строгому единообразию его великого итальянского Государства. Он утверждает, что для противовеса всемогуществу прочно установленной республики достаточно автономии коммун. Он ошибается: ни одна обособленная коммуна не будет в состоянии противустоять могуществу громадной централизации: она будет раздавлена ею. Для того, чтобы выдержать эту борьбу, она должна федерироваться в виду общей самозащиты, с соседними коммунами, т. е. она должна образовать вместе с ними автономную провинцию. Кроме того, раз провинции не будут автономны, управление ими надо будет поручать ставленникам государства. Нет средины между строго последовательным федерализмом и бюрократическим режимом. Отсюда вытекает, что республика, к которой стремится Мадзини, была бы государством бюрократическим и, следовательно, военным, основанным в интересах внешнего могущества, а не международной справедливости и внутренней свободы. В 1873 году, при Терроре, коммуны Франции были признаны автономными, что не помешало им быть раздавленными революционным деспотизмом Конвента, или, лучше сказать, Парижской Коммуны, естественным наследником которой явился Наполеон.

націей, большой или малой, за всяким народом, слабым или сильным, за всякой провинціей, за всякой коммуной, при условіи, чтобы внутреннее устройство одной из перечисленных единиц не являлось угрозой и опасностью для автономіи и свободы соседних земель.

8) Из того обстоятельства, что какая-либо страна составляет часть какого-нибудь государства, для нее не вытекает никакого обязательства, даже если она присоединилась добровольно, оставаться всегда неразрывной с ним. Никакое вечное обязательство не может быть допущено человеческой справедливостью, единственной, с которой мы можем считаться, и мы никогда не признаем других прав, или других обязанностей, кроме тех, которые основаны на свободе. Право свободного соединенія, равно как и свободного разрыва, есть первое и самое важное из всех политических прав; это право, без которого конфедерація всегда будет лишь замаскированной централизаціей.

9) Из предшествующего вытекает, что Лига должна открыто воспретить всякій союз той или иной національной фракціи европейской демократіи с монархическими государствами, даже если бы этот союз имел целью возвратить независимость или свободу угнетенной стране; — ибо такой союз, могущій привести лишь к разочарованіям, был бы в то же время изменой делу революціи.

10) Наоборот, Лига, именно потому, что она Лига мира, потому что она убеждена, что мир не может быть завоеван и основан иначе, как на самой тесной и полной солидарности народов, на началах справедливости и свободы, должна громогласно провозгласить свое сочувствіе каждому народному возстанію против всякого, как иностранного, так и внутренняго притесненія, лишь бы это возстаніе было сделано во имя наших принципов и в политических и экономических интересах народных масс, а не с властолюбивым намереніем основать могущественное государство.

11) Лига будет вести ожесточенную войну со всем, что называется славой, величіем и могуществом государств. Всем этим ложным и вредоносным идолам, которым были принесены в жертву милліоны людей, мы противупоставим славу человеческого разума, проявляющегося в науке, и идеал всемірного благоденствія, основанного на труде, справедливости и свободе.

12) Лига признает *національности*, как естественный факт, имеющій безспорное право на существованіе и свободное развитіе, но не как принцип,—ибо всякій принцип должен обладать характером универсальности, а національность, напротив того, является лишь отдельным, исключительным фактом. Так называемый *принцип національности*, в том виде, как он был поставлен в наши дни правительствами Франціи, Россіи и Пруссіи, и даже многими немецкими, польскими, итальянскими и венгерскими патріотами, является лишь детищем реакціи, противуположным духу революціи: принцип в сущности в высшей степени аристо-

кратический, доходящий до презрения к народному говору неграмотного населения, отрицающий по своему существу свободу провинций и реальную автономию коммун, и поддерживаемый во всех странах не народными массами, чьими реальными интересами он систематически жертвует ради так называемого общего блага, всегда на деле являющегося лишь благом привилегированных классов;—этот принцип не выражает ничего другого, кроме пресловутых исторических прав и властолюбия государств. Итак, права национальностей будут всегда рассматриваться Лигой лишь как естественное следствие, вытекающее из высшего принципа свободы, и национальное право перестает считаться таковым, как только оно ставит себя против свободы или даже только вне свободы.

13) Единство есть цель, к которой непреоборимо стремится человечество. Но оно становится роковым, становится разрушителем просвещения, достоинства и процветания личностей и народов, всякий раз, когда стремится образоваться помимо свободы, посредством насилия или посредством авторитета какой-либо теологической, метафизической, политической или даже экономической идеи. Патриотизм, стремящийся к единству, помимо свободы, является дурным патриотизмом. Он всегда зловреден для действительных, народных интересов страны, которую он хочет возвысить и облагодетельствовать, часто, помимо воли, дружествен реакции, враждебен революции, т. е. освобождению народов и людей. Лига может признавать лишь одно единство: то, которое свободно образуется через федерацию автономных частей в одно целое, так что это последнее перестанет быть отрицанием частных прав и интересов, перестанет быть кладбищем, где насильственно погребаются все местные благополучия, а напротив того, станет подтверждением и источником всех этих автономий и благополучий. Лига будет, стало быть, мощно нападать на всякую религиозную, политическую, экономическую и социальную организацию, которая не будет всецело проникнута этим великим принципом свободы: без него нет ни просвещения, ни справедливости, ни благоденствия, ни человечности.

Таковы, господа, по нашему и без сомнения также по вашему мнению, необходимые последствия и развитие великого принципа Федерализма, громогласно провозглашенного Женевским с'ездом. Таковы необходимые условия мира и свободы.

Необходимые, да—но единственные ли?—Мы этого не думаем.

Южные Штаты в великой республиканской конфедерации Северной Америки, были, с провозглашения независимости республиканских Штатов, демократичными по преимуществу*) и проникнутыми федеративным духом до желания идти на разрыв. И все же они в последнее время навлекли

*) Как известно, в Америке только сторонники интересов Юга против Севера, т. е. рабства против освобождения рабов, называют себя демократами.

на себя осуждение всех в мире сторонников свободы и человечности, и своей бесстыдной и святотатственной войной против республиканских Штатов Севера чуть было не разрушили и не уничтожили самую лучшую политическую организацию из всех, когда-либо существовавших в истории. В чем причина такого странного факта? В политическом устройстве? Нет, она всецело в устройстве *социальном*. Внутреннее политическое устройство Южных Штатов являлось даже, во многих отношениях, более совершенным, более свободным, чем устройство Северных Штатов. Только в этом великолепном устройстве было одно пятно, как и в древних республиках; свобода граждан была основана на насильственном труде рабов. Достаточно было этого пятна, чтобы перевернуть все политическое устройство этих государств.

Граждане и рабы—вот антагонизм, существовавший как в древнем мире так и в рабовладельческих государствах нового мира. Граждане и рабы, т. е. принужденные работники, рабы если не по праву, то на деле—вот антагонизм современного мира. И подобно тому как древние государства погибли от рабства, так современные государства погибнут от пролетариата.

Напрасно старались бы утешиться мыслью, что это антагонизм скорее фиктивный, чем действительный, или, что невозможно провести демаркационной линии между имущими и неимущими классами, так как эти классы смешиваются один с другим, посредством множества промежуточных и неуловимых оттенков.

В естественном мире также не существует демаркационных линий; так, например, в восходящей серии существ невозможно указать точку, где кончается растительное и начинается животное царство, где кончается животное и начинается человечность. Тем не менее, существует вполне реальное различие между растением и животным, между животным и человеком. Также точно в человеческом обществе, несмотря на промежуточные звенья, делающие нечувствительным переход от одного политического и социального положения к другому, различие между классами очень определенно, и всякий с'умеет различить родовую аристократию от аристократии денежной, высшую буржуазию от мелкой буржуазии, а эту последнюю от пролетариев фабрик и городов; также точно как крупного землевладельца от крестьянина собственника, собственноручно обрабатывающего землю, наконец фермера от простого деревенского пролетария.

Все эти различные политические и социальные положения сводятся в настоящее время к двум главным категориям, диаметрально противоположным, естественно враждебным друг другу: *политические* [1]) классы,

---

[1]) Во французском издании сочинений Бакунина редактор первого тома (Д-р Неттлау) задается вопросом: не следует ли читать здесь вместо „politiques“ (политические“) „privilegiées“ (привилегированные).

составленные из всех привилегированных в отношении земледелия, капитала или даже лишь буржуазного образования [1]) — и *рабочие* классы, обделенные как капиталом, так и землей, и лишенные всякого образования и обучения.

Надо быть софистом или слепым, чтобы отрицать, бездну, разделяющую эти два класса. Подобно тому, как было в древнем мире, наша современная цивилизация, обнимая лишь очень ограниченное число привилегированных граждан, имеет в основе вынужденный (голодом) труд громадного большинства населения, фатально обреченного на невежество и грубость.

Напрасно также старались бы себя уверить, что эта бездна может быть заполнена простым распространением просвещения в народных массах. Прекрасное дело основывать народные школы; и, однако, надо еще спросить себя, может ли человек из народа, живущий изо-дня в день и кормящий свою семью работой своих рук, лишенный сам образования и досуга, и принужденный убивать и отуплять себя работой, чтобы обеспечить своей семье хлеб завтрашнего дня, — надо еще спросить себя, может ли такой человек иметь мысль, желание или даже возможность посылать своих детей в школу и содержать их во время их обучения? Не будет ли он нуждаться в помощи их слабых рук, их детского труда, чтобы удовлетворить все нужды семьи? Будет уже много, если он сделает жертву, отдав их в школу на год или на два, предоставя им едва необходимое время, чтобы научиться читать, писать, считать и дать отравить свой ум и сердце христианским катехизисом, который так умело и щедро преподносится в оффициальных народных школах всех стран. Будет ли это скудное обучение когда-либо в состоянии поднять рабочие массы до уровня буржуазного образования? Будет ли когда-нибудь заполнена бездна?

Очевидно, что этот, столь важный вопрос народного образования и воспитания, зависит от разрешения другого, гораздо более трудного вопроса о коренном преобразовании нынешних экономических условий рабочих классов.—Возвысьте условия труда, отдайте труду все, что по справедливости принадлежит труду, и тем самым дайте народу обеспечение приобретать знания, благоденствие, досуг, и тогда, поверьте, он создаст цивилизацию, более широкую, здоровую, возвышенную, чем ваша.

Напрасно также повторять за экономистами, что улучшение экономического положения рабочих классов зависит от общего прогресса промышленности и торговли в каждой стране и от их окончательного освобо-

---

[1]) За неимением даже какого-либо другого имущества, это буржуазное воспитание, при помощи солидарности, связывающей всех членов буржуазного мира, обеспечивает получившему его громадную привилегию в вознаграждении за труд, — ибо труд самого посредственного буржуа оплачивается в три, в четыре раза дороже, чем труд самого умного рабочего.

жденія отъ опеки и покровительства государствъ. Свобода промышленности и торговли является, конечно, великой вещью и однимъ изъ существенныхъ оснований международнаго союза всѣхъ народовъ міра. Будучи друзьями свободы во чтобы то ни стало, всякой свободы, мы должны быть равнымъ образомъ друзьями и этихъ свободъ. Но съ другой стороны, мы должны признать, что покуда будутъ существовать современныя государства, покуда трудъ будетъ въ крѣпостной зависимости у собственности и капитала, эта свобода, обогащая ничтожную часть буржуазіи, во вредъ огромному большинству населенія, породитъ лишь одно благо: разслабленность и полную деморализацію небольшого числа привилегированныхъ; увеличеніе нищеты, обидъ и справедливаго негодованія рабочихъ массъ, и тѣмъ самымъ приближеніе часа уничтоженія государствъ.

Англія, Бельгія, Франція и Германія являются несомнѣнно европейскими странами, гдѣ торговля и промышленность пользуются сравнительно наибольшей свободой и достигли наибольшаго развитія. И это именно тѣ самыя страны, гдѣ пауперизмъ (нищета) чувствуется наиболѣе жестокимъ образомъ, гдѣ бездна между собственниками и капиталистами съ одной стороны и рабочими классами съ другой, расширилась до степени, неизвѣстной другимъ странамъ. Въ Россіи, въ скандинавскихъ странахъ, въ Италіи, въ Испаніи, вездѣ, гдѣ торговля и промышленность мало развиты, люди рѣдко умираютъ съ голода, развѣ только въ случаѣ какой-либо необычайной катастрофы. Въ Англіи голодная смерть ежедневный фактъ. И не только отдѣльныя единицы, тысячи, десятки, сотни тысячъ умираютъ такимъ образомъ. Не очевидно ли, что при томъ экономическомъ положеніи, которое царитъ въ настоящее время во всемъ цивилизованномъ мірѣ, — свобода и развитіе торговли и промышленности, удивительныя приложенія науки къ производству и даже самыя машины, имѣющія цѣлью освободить работника, облегчая человѣческій трудъ, — что всѣ эти изобрѣтенія, весь этотъ прогрессъ, которымъ справедливо гордится цивилизованный человѣкъ, далеки отъ того, чтобы улучшать положеніе рабочихъ классовъ, и лишь ухудшаютъ его и дѣлаютъ еще болѣе невыносимымъ.

Только Сѣверная Америка является въ значительной степени исключеніемъ изъ этого правила. Но отнюдь не нарушая правила, это исключеніе лишь подтверждаетъ его. Если рабочіе тамъ лучше оплачиваются, чѣмъ въ Европѣ, если никто тамъ не умираетъ съ голоду, если въ то же время, классовый антагонизмъ тамъ еще почти не существуетъ, если всѣ рабочіе тамъ граждане и вся масса гражданъ составляетъ какъ бы одно тѣло, наконецъ, если хорошее начальное и даже среднее образованіе широко распространено тамъ въ массахъ, то все это слѣдуетъ въ значительной мѣрѣ приписать, конечно, тому традиціонному духу свободы, который первые колонисты привезли изъ Англіи: рожденному, испытанному, укрѣпленному въ великой религіозной борьбѣ. этому принципу индивидуальной независимости и коммунальнаго и провинціальнаго self government (самоуправленія) благопріятствовало

еще то редкое обстоятельство, что перенесенный в пустыню, он был освобожден так сказать от духовного гнета прошлого, и мог таким образом создать новый мир,—мир свободы. А свобода это такая чародейка, она одарена такой удивительной творческой силой, что вдохновляемая ею одной, Северная Америка, менее чем в столетие, смогла достичь цивилизации Европы, можно теперь сказать, даже превзошла ее. Но не надо вдаваться в обман. Этот удивительный прогресс и столь завидное благоденствие обязаны своим существованием в громадной мере и главным образом важному преимуществу Америки, общему ей с Россией: мы говорим об огромном количестве плодородной земли, которая остается и поныне необработанной за недостатком рабочих рук. По крайней мере, до сих пор, это огромное территориальное богатство было почти бесполезно для России, ибо мы никогда не обладали свободой. Иначе обстояло дело в Северной Америке, которая, благодаря свободе, подобной которой не существует нигде в мире, привлекает каждый год сотни тысяч энергичных, трудолюбивых и умных колонистов и может их принимать у себя благодаря этому богатству. Последнее не дает развиться пауперизму и отдаляет в то же время момент возникновения социального вопроса: рабочий, не находящий работы или недовольный заработной платой, которую он получает в столице, всегда может в крайнем случае эмигрировать *на дальний запад*, чтобы распахать там какую-нибудь невозделанную, незанятую землю.

Эта возможность, всегда открытая для всех американских рабочих, за неимением лучшего, естественно поддерживает там заработную плату на достаточной высоте и предоставляет каждому независимость, неизвестную в Европе. Такова выгода. Но вот и невыгода: дешевизна промышленных продуктов зависит главным образом от дешевизны работы и, поэтому американские фабриканты в большинстве случаев не в состоянии конкурировать с европейскими фабрикантами, откуда вытекает необходимость протекционного тарифа для промышленности Северных Штатов. Результатами этого тарифа было во первых, искусственное создание массы промышленностей и в особенности утеснение и разорение немануфактурных Южных Штатов, что заставило последних желать отделения; а во вторых, скопление в центрах, как Нью-Иорк, Филадельфия, Бостон и другие, рабочих пролетарских масс, которые мало-по-малу приходят в положение, аналогичное, положению рабочих в больших промышленных государствах Европы. И мы видим, в самом деле, что социальный вопрос уже выдвигается в Северных Штатах, подобно тому, как он выдвинулся много раньше у нас.

Итак, мы принуждены признать за всеобщее правило, что в нашем современном мире, если и не так всецело как в античном, все-же цивилизация основана на принудительном труде меньшинства и относительном варварстве громадного большинства. Было бы несправедливо утверждать, что этот привилегированный класс чужд труда; напротив, в наши дни члены его много работают, число совершенно бездеятельных уменьшается

чувствительным образом, труд начинают уважать в этой среде; ибо наиболее счастливые понимают уже теперь, что для того, чтобы остаться на уровне современной цивилизации, для того, хотя бы, чтобы быть в состоянии пользоваться ея привилегиями и сохранить их, надо много трудиться. Но между трудом достаточных классов и рабочих та разница, что труд первых оплачивается бесконечно лучше труда вторых, и потому оставляет привилегированным *досуг*, это необходимое условие человеческого, как умственного так и морального развития — условие, никогда не существовавшее для рабочих классов. Кроме того, труд производимый привилегированным миром, — почти исключительно *нервный труд*, — работа воображения, памяти и мысли; — между тем, как труд миллионов пролетариев, это *труд мускульный* и часто, как например, на фабриках, этот труд упражняет не всю мускульную систему человека, а развивает лишь какую-нибудь часть ее во вред другим, и совершается обыкновенно в условиях вредных для здоровья тела и противных его гармоническому развитию. В этом отношении, земледелец гораздо более счастлив: его природа, не испорченная душной и часто отравленной атмосферой фабрик и заводов, не извращенная ненормальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более полной, — но зато его ум является всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем ум фабричных и городских рабочих.

В конце концов ремесленные и фабричные рабочие и земледельцы образуют вместе одну и ту же категорию, категорию *мускульного труда*, противоположную привилегированным представителям *нервного труда*. Каковы последствия этого разделения, не только не фиктивного, но вполне наглядного и составляющего самое основание современного, как политического, так и социального положения?

Для привилегированных представителей *нервного труда*, которые, кстати сказать, призваны быть его представителями не в качестве самых умных, но единственно потому, что родились в привилегированном классе— для них все благодеяния, но также и все гибельные соблазны современной цивилизации: богатство, роскошь, комфорт, благоустройство, семейные радости, исключительная политическая свобода вместе с возможностью эксплуатировать труд миллионов рабочих и управлять ими по своей воле и в своих интересах, — все творения, все изощрения, воображения и мысли... и, вместе с возможностью стать цельными людьми, все отравы человечества, испорченного привилегиями.

Что же остается для представителей *мускульного труда*, для этих бесчисленных миллионов пролетариев или даже мелких земельных собственников? Без‘исходная нужда, отсутствие даже семейных радостей, ибо семья для бедного скоро становится бременем, невежество, дикость и, мы бы сказали даже, вынужденное звериное состояние с утешением, что они служат пьедесталом для цивилизации, свободы и испорченности меньшин-

ства. — Но зато они сохранили свежесть ума и сердца. Нравственно оздоровленные трудом, хотя бы и вынужденным, они сохранили чувство справедливости, куда выше справедливости юрисконсультов и кодексов; сами несчастные, они сочувствуют всякому несчастью, они сохранили здравый смысл, не испорченный софизмами доктринерской науки и обманами политики, — и, так как они еще не злоупотребили жизнью и даже не использовали ее, они верят в жизнь.

Но, возразят, этот контраст, эта бездна между меньшинством привилегированных и огромным количеством обездоленных всегда существовала и теперь существует: что же изменилось? Изменилось то, что прежде эта бездна была заполнена религиозным туманом, так что народные массы ее не видели, а теперь, после того как Великая Революция отчасти разогнала этот туман, они также начинают видеть бездну и спрашивать о причине ее. Значение этого безмерно.

С тех пор, как Революция ниспослала в массы свое евангелие, не мистическое а рациональное, не небесное а земное, не божественное а человеческое — свое евангелие прав человека; с тех пор, как она провозгласила, что все люди равны, что все одинаково призваны к свободе и человечности, — народные массы в Европе, во всем цивилизованном мире, мало по малу просыпаясь от сна, который их сковывал, с тех пор, как Христианство усыпило их своими маковыми цветами, начинают спрашивать себя, не имеют ли и они также права на равенство, свободу и человечность.

Как только этот вопрос был поставлен, народ, направляемый своим удивительным здравым смыслом, также как и своим инстинктом, всюду понял, что первым условием его действительного освобождения, или, если вы мне позволите это слово, его *очеловечения*, является коренное преобразование его экономических условий. Вопрос о хлебе является для него, по справедливости, первым вопросом, ибо еще Аристотель заметил: человек, чтобы мыслить, чтобы свободно чувствовать, чтобы сделаться человеком, должен быть свободен от забот материальной жизни. — Впрочем, буржуа, кричащие против материализма народа и проповедующие ему идеалистическое воздержание, знают это очень хорошо, ибо они проповедуют словами, а не примером. — Второй вопрос для народа, это досуг после работы, это необходимое условие человечности. Но хлеб и досуг не могут быть им получены иначе, как чрез коренное преобразование современного устройства общества, и этим об'ясняется, почему Революция, являясь логическим следствием своего собственного принципа, породила *социализм*.

II.

СОЦИАЛИЗМ.

Французская Революция, провозгласив право и обязанность каждой человеческой личности стать *человеком*, пришла в своих последних выводах к Бабувизму. Бабеф, один из последних энергичных и чистых граждан, каких Революция создавала и убивала затем в таком количестве, и имевший счастье насчитывать в числе своих друзей таких людей, как Буонаротти, соединил в своем своеобразном мировоззрении политические традиции античного мира с совершенно современными идеями социальной революции. Видя, что Революция чахнет, за недостатком коренного преобразования, тогда впрочем, по всей вероятности, и невозможного по экономической структуре общества; верный, с другой стороны, духу этой Революции, которая кончила тем, что на место всякой личной инициативы поставила всемогущее действие государства, он измыслил политическую и социальную систему, согласно которой республика, выражающая собой коллективную волю граждан, должна была конфисковать всякую личную собственность и управлять ею в интересах всех, наделяя каждого в равной мере: воспитанием, обучением, средствами к существованию, удовольствиями, и принуждая всех без исключения, по мере сил и способностей каждого' к мускульному и нервному труду. Заговор Бабефа не удался, он был гильотинирован вместе с несколькими друзьями. Но его идеал социалистической республики с ним не умер. Воспринятая его другом Буонаротти, величайшим заговорщиком нашего столетия, идея была передана последним, как священный залог, новым поколениям, и благодаря тайным обществам, основанным Буонаротти в Бельгии и Франции, коммунистические идеи дали ростки в народном воображении. — Они нашли с 1830 до 1848 года талантливых выразителей в Кабе и Луи Блане, которые окончательно основали *революционный социализм*.

Другое социалистическое течение, вытекшее из того же революционного источника, направляющееся к той же цели, но совершенно иным путем, течение, которое мы бы охотно назвали *доктринерским социализмом*, было основано двумя замечательными людьми: Сен-Симоном и Фурье. Сен-Симонизм был комментирован, развит, переработан и основан в виде

почти практической системы, в виде церкви, „отцом“ Анфантеном, вместе со многими друзьями, большая часть которых сделалась ныне финансистами и государственными людьми, особенным образом преданными Империи. — Фурьеризм нашел своего истолкователя в „*Мирной демократии*“, издававшейся до 2 декабря 1852 г. Виктором Консидераном.

Заслуга этих двух социалистических систем, впрочем, во многих отношениях различных, заключается главным образом в глубокой, научной, строгой критике современного общественного строя, чудовищные противоречия которого они смело раскрыли; — затем в том важном факте, что они с силой боролись и в значительной мере потрясли Христианство, во имя восстановления и оправдания материи и человеческих страстей, оклеветанных и в то же время так хорошо практикуемых христианскими священниками. Сен-Симонисты хотели поставить на место Христианства новую религию, основанную на мистическом культе плоти, с новой иерархией священников, новых эксплуататоров толпы, привилегиями гения, способностей и таланта. Фурьеристы, гораздо более, и можно даже сказать, искренние демократы, придумали фаланстеры, управляемые избранными всеобщим голосованием вождями; фаланстеры, где каждый, по мысли фурьеристов, должен был найти себе работу и место в соответствии с личными вкусами. — Ошибки Сен-Симонистов слишком очевидны, чтобы стоило о них говорить. Двойная ошибка Фурьеристов заключалась, во первых, в том, что они искренно верили, что единственно силой убеждения и мирной пропаганды они с‘умеют до такой степени тронуть сердца богатых, что те, в конце концов, сами прийдут сложить у порога фаланстера излишек своих богатств; во вторых, в том, что они вообразили, что можно теоретически, a priori, построить социальный рай, в котором на веки успокоилось бы человечество. Они не поняли, что, хотя для нас и возможно предвозвестить великие принципы будущего развития человечества, тем не менее практическое осуществление этих принципов должно быть предоставлено опытам будущего.

Вообще регламентация была общей страстью всех социалистов до 1848 года, за исключением одного. Кабе, Луи Блан, Фурьеристы, Сен-Симонисты, все были одержимы страстью выдумывать и устраивать будущее, все были, более или менее, *государственники*.

Но вот явился Прудон, сын крестьянина, во сто раз больший революционер и в делах и по инстинкту, чем все эти доктринеры, буржуазные социалисты. Он вооружился критикой, столь же глубокой и проницательной, сколь неумолимой, чтобы уничтожить все их системы. Противупоставив свободу власти, он в противуположность этим государственным социалистам, смело провозгласил себя анархистом и имел мужество бросить в лицо их деизму или пантеизму заявление, что он просто атеист, или, точнее, *позитивист*, подобно Огюсту Конту.

Социализм Прудона, основанный, как на индивидуальной, так и кол-

лективной свободе и на деятельности свободных ассоциаций, не подчиненный другим законам, кроме общих законов социальной экономии, как открытых уже наукой так и предстоящих еще открытию; стоящий вне всякой правительственной регламентации и всякого покровительсгва со стороны государства и подчиняющий политику экономическим, интеллектуальным и моральным интересам общества, должен был с течением времени прийти в силу необходимой последовательности, к федерализму.

Таково было положение социальной науки до 1848 г. Полемика газет, летучих листков и социалистических брошюр внедрила в сознание рабочих классов массу новых идей; умы были ими насыщены, и когда разразилась революция 1848 года, социализм проявился как мощная сила.

Как мы сказали, социализм был последним детищем великой революции; но до рождения этого последнего, она произвела на свет своего более прямого наследника, своего старшего сына, любимца Робеспьеров и Сен-Жюстов: *чистый республиканизм*, без примеси социалистических идей, перенесенный из античного мира и вдохновляемый героическими традициями великих граждан Греции и Рима. Гораздо менее человечный, чем социализм, этот республиканизм почти не принимает в рассчет человека, а признает лишь гражданина; и между тем как социализм стремится основать *республику людей*, республиканизм желает лишь *республику граждан*, еслибы даже они, как это было при конституциях, явившихся естественным и необходимым следствием конституции 1793 года (так как эта последняя, после минутного колебания, сознательно умолчала о социальном вопросе) — еслибы даже они, в качестве *активных граждан* (мы пользуемся выражением Учредительного Собрания), должны были основать свое благополучие на эксплуатации труда *пассивных граждан*. Впрочем, политический республиканец не является, по крайней мере в идее, эгоистом лично для себя, но он должен им быть для отечества, которое он должен ставить в своем свободном сердце выше себя самого, выше всех индивидумов, всех наций в мире, выше самого человечества. Следовательно, он никогда не будет знать международной справедливости; во всех спорах, будет ли его отечество право или нет, он будет становиться на его сторону, он будет желать, чтобы оно всегда имело верх и давило другие народы своим могуществом и славой. Он сделается, катясь по наклонной плоскости, завоевателем, — несмотря на то, что опыт веков показывает ему, что военные триумфы фатально приводят к цезаризму. Республиканец-социалист ненавидит государственное величие, могущество и военную славу, — он предпочитает им свободу и благоденствие. Федералист во внутренней политике, он стремится и к международной конфедерации, во первых, ради торжества справедливости, во вторых, потому, что экономическая и социальная революция может осуществиться, лишь переступив через искуственные и зловредные границы государств, путем соли-

дарной деятельности всех, или по крайней мере, большей части наций, составляющих цивилизованный мир, и что все, рано или поздно, должны будут соединиться под ее знаменем. Исключительно политический республиканец это — стоик; он не признает прав, а лишь обязанности, или подобно тому, как в республике Мадзини, он признает лишь одно право: право быть самоотверженным и жертвовать собой для отечества, жить лишь для служения ему и с радостью умирать за него, как говорится об этом в песне, которою Александр Дюма произвольно наделил Жирондистов: „*Умереть за отечество это самый прекрасный, самый завидный жребий*". Напротив того, социалист опирается на свое положительное право на жизнь и на все, как интеллектуальные и моральные, так и физические жизненные наслаждения. Он любит жизнь, он хочет полностью ее использовать. Так как его убеждения составляют часть его самого и его обязанности по отношению к обществу неразрывно связаны с его правами, то, чтобы сохранить верность и тем и другим, он с‘умеет жить по справедливости, как Прудон, и в случае нужды умереть, как Бабеф; но он никогда не скажет, что жизнь человечества должна быть жертвой и что смерть является самым сладким жребием. Для политического республиканца свобода лишь пустой звук; это свобода быть добровольным рабом, преданной жертвой государства; готовый всегда пожертвовать ради последнего собственной свободой, политический республиканец легко пожертвует и свободой других. Итак, политический республиканизм необходимо приводит к деспотизму. Для республиканца же социалиста свобода, соединенная с благоденствием и создающая всеобщую человечность посредством человечности каждого, это все, между тем как государство является в его глазах лишь орудием, служителем благоденствия и свободы всех и каждого. Социалист отличается от буржуа *справедливостью*, ибо он требует для себя лишь действительный плод своей работы; а от политического республиканца он отличается своим *открытым человеческим эгоизмом*: он живет откровенно и без фраз для самого себя, и знает что, делая это *согласно со справедливостью*, он служит всему обществу, а служа всему обществу, служит самому себе. Республиканец суров и часто из за патриотизма—как священник из за религии—жесток. Социалист естествен, умеренно патриотичен, но зато всегда очень человечен. — Одним словом, между республиканцем-социалистом и политическим республиканцем целая бездна: один, как *существо полу-религиозное*, принадлежит прошлому; другому, *позитивисту* или *атеисту*, принадлежит будущее.

Этот антагонизм проявился в полной мере в 1848 году. С самого начала революции, республиканцы и социалисты не смогли прийти ни к какому соглашению: их идеалы, все их инстинкты влекли их в диаметрально противуположные стороны. Все время от февраля до июня прошло в распрях и спорах, которые, внося междоусобную войну в лагерь революционеров и парализуя их силы, естественно должны были склонить весы на

сторону выросшей до громадных размеров коалиции реакционеров всех оттенков, сплотившихся и смешавшихся с тех пор в одну общую партию под знаменем страха. В июне республиканцы, в свою очередь, соединились с реакцией, чтобы раздавить социалистов. Они полагали, что одержали победу, а на самом деле столкнули в бездну свою любимую республику. Генерал Кавеньяк, представитель чести знамени против революции, был предшественником Наполеона III. И это все тогда поняли, если не во Франции, то, по крайней мере, во всем остальном мире, ибо эта злополучная победа республиканцев над парижскими рабочими, была отпразднована, как великое торжество, всеми дворами Европы, и офицеры прусской службы, с генералами во главе, поспешили отправить адрес с братскими поздравлениями генералу Кавеньяку.

Напуганная красным призраком, европейская буржуазия впала в полное раболепство. По природе либеральная и задорная, она не обожает военного режима, но она высказалась за него в виду угрожающей опасности народного освобождения. Пожертвовав своим достоинством и своими славными завоеваниями XVIII-го и начала этого века, она полагала, что покупает мир и спокойствие, необходимые для успеха ее торговых и промышленных предприятий: „Мы вам жертвуем своей свободой“, как бы говорила она военным властям, вновь водворявшимся на развалинах третьей революции, — „а взамен предоставьте нам возможность спокойно эксплуатировать народные массы и защитите нас от их претензий, которые могут казаться справедливыми в теории, но которые отвратительны с точки зрения наших интерессов“. Буржуазии все обещали и даже сдержали слово. Почему же буржуазия, вся европейская буржуазия, в настоящее время недовольна?

Она не рассчитала, что военный режим дорого стоит, что уже в силу своего внутреннего строения, он парализует, беспокоит, разоряет народ, и что, более того, верный логике, свойственной ему и которой он никогда не изменял, он имеет неизбежным последствием *войну*: войны династические, войны честолюбия, войны завоевательные или территориальные, войны равновесия — постоянное уничтожение и поглощение одних государств другими, реки человеческой крови, сожжение деревень, разорение городов, опустошение целых провинций, — и все это, чтобы удовлетворить честолюбие царствующих лиц и их фаворитов, чтобы их обогащать, чтобы занять, дисциплинировать народы и заполнить историю.

Теперь буржуазия понимает это, и вот она недовольна режимом, установлению которого она так сильно способствовала. Она устала от него; но чем она его заменит?

Конституционная монархия отжила свое время, да она никогда и не пользовалась особым успехом на континенте Европы; даже в Англии, этой исторической колыбели современного конституционализма, побежденная под-

нимающейся демократией, она поколеблена, качается и не будет уже скоро в состоянии противустоять натиску народных страстей и требований.

Республика? Но какая республика? Политическая ли только, или демократическая и социальная? Социалистично ли настроены народы? Да, более чем когда либо.

В 1848 году, погиб не социализм, вообще, а только *государственный социализм*, тот регламентарский, деспотический социализм, который верил и надеялся, что государство сможет удовлетворить потребности и законные стремления рабочих классов, что, вооруженное своим могуществом, оно захочет и будет в состоянии установить новый социальный строй. Итак, не социализм умер в июне, напротив того, государство об'явило себя банкротом перед социализмом и, признав себя неспособным заплатить ему долг, в уплате которого обязалось, попробовало его убить, чтобы наиболее легким образом освободиться от этого долга. Оно не могло его убить, но оно убило веру, которую социализм в него имел, и тем самым уничтожило все теории государственного или доктринерского социализма, из которых одни, как „Икария“ Кабе, или „Организация труда“ Луи Блана, советовали народу положиться во всем на государство, — а другие доказали свою нелепость в ряде смехотворных опытов. Даже банк Прудона, который мог бы процветать при более счастливых условиях, погиб под давлением всеобщей враждебности буржуазии.

Социализм проиграл это первое сражение по очень простой причине: он был богат инстинктивными стремлениями к лучшему и отрицательными теоретическими идеями, он был тысячу раз прав, споря против привилегий; но ему совершенно недоставало положительных, практических идей, которые необходимы, чтобы можно было построить на развалинах буржуазной системы новую систему, систему народной справедливости. Рабочие, сражавшиеся в июне за народное освобождение, выступали, об'единенные инстинктом, а не идеей, — их смутные идеи составляли столпотворение Вавилонское, хаос, из которого ничего не могло выйти. Такова была главная причина их поражения. Следует ли из за этого сомневаться в будущности и во внешней мощи социализма? Христианству, поставившему своей целью основание царства справедливости на небе, нужно было несколько столетий, чтобы завоевать Европу. Нужно ли удивляться, что социализм, поставивший себе гораздо более трудную задачу — основание царства справедливости на земле, не одержал победу в несколько лет?

Господа, нужно ли доказывать, что социализм не умер? Чтобы в этом убедиться надо лишь бросить взгляд на то, что происходит в настоящее время во всей Европе. Позади всех дипломатических шашней и слухов о войне, наполняющих Европу с 1852 года, какой серьезный вопрос занимает все страны, если не вопрос социальный? Это великий незнакомец, чье приближение каждый чувствует, который всех заставляет

трепетать и о котором никто не смеет говорить... Но он сам за себя говорит и, чем дальше, тем громче. Не доказывают ли рабочие кооперативные ассоциации, банки взаимопомощи и кредита труду, трэд-унионы, международная лига рабочих всех стран, одним словом, все непрестанно усиливающееся рабочее движение в Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии и Швейцарии, не доказывает ли все это, что рабочие не отказались от своей цели, не потеряли веру в свое близкое освобождение? и что в то же время они поняли, что в деле приближения часа своего освобождения они не должны более рассчитывать ни на государства, ни на более или менее лицемерное содействие привилегированных классов, но на самих себя и на свои собственные, независимые, совершенно свободно возникающие ассоциации?

В большинстве европейских стран, движение это, на вид, по крайней мере, чуждо политике, сохраняет исключительно экономический, и так сказать, частный характер. Но в Англии оно отчетливо стало на жгучую почву политики и, организовавшись в огромную лигу: „Лигу Реформы“, уже одержало большую победу против политически организованных привилегий аристократии и высшей буржуазии. С чисто английским терпением и практической последовательностью, „Лига Реформы“ (Reform League) начертала перед собой план действий: она ничего не страшится, ни перед чем не пасует, и не останавливается ни перед каким препятствием. „Не далее, как через десять лет“, говорит она, беря в рассчет самые большие препятствия, „мы будем иметь всеобщее избирательное право, и тогда“... тогда они сделают социальную революцию!

Как во Франции, так и в Германии, социализм, молчаливо подвигаясь вперед путем частных экономических ассоциаций, уже достиг такого могущества в среде рабочих классов, что Наполеон III с одной стороны, а с другой — граф Бисмарк, начинают искать союза с ним... В скором времени в Италии и в Испании, после плачевного фиаско всех других политических партий и в виду ужасного экономического положения обеих стран, всякий другой вопрос исчезнет перед вопросом экономическим и социальным. — А в России и в Польше есть ли в сущности другой вопрос? Это он разрушил последние надежды старой, исторической, дворянской Польши; — это он угрожает и вскоре уничтожит уже столь сильно поколебленное существование этой ужасной Всероссийской Империи. Даже в Америке, не проявился ли в полной мере социализм в предложении замечательного человека, бостонского сенатора г. Чарльса Сёмнера наделить землей освобожденных негров Южных Штатов?

Как вы видите, господа, везде проявляется социализм, несмотря на июньское поражение. Он, путем подпольной работы, постепенно проник в самые недра политической жизни всех стран, и везде дает о себе знать, как скрытая сила века. Еще несколько лет, и он выступит, как сила открытая и всемогущая.

За малым числом исключений, все народы Европы, многие даже не зная слова социализм, проникнуты в настоящее время социализмом, не знают другого знамени, кроме того, которое им возвещает, прежде всего их экономическое освобождение, и в тысячу раз охотнее отступятся от всякого другого вопроса, но не от этого. Итак, только социализмом можно увлечь их к политической деятельности, к хорошей политике.

Не достаточно ли сказанного, господа, чтобы убедиться, что нам непозволительно умолчать в своей программе о социализме, и что такое умалчивание наложило бы на все наше дело печать бессилия? Провозгласив себя в своей программе республиканцами-федералистами, мы достаточно выказали себя революционерами, чтобы отстранить от себя добрую часть буржуазии: всех, кто спекулирует на нищете и несчастьях народов, кто ухитряется извлекать выгоду даже из великих катастроф, которые ныне, более чем когда-либо, обрушиваются на народы. Если мы оставим в стороне эту деятельную, подвижную, интригантскую, спекулянтскую часть буржуазии, то у нас еще останется большинство буржуа спокойных, трудолюбивых, делающих иногда зло, но скорей по необходимости, чем по доброй воле и склонности, и которые ничего бы так не желали, как быть освобожденными от этой фатальной необходимости, ставящей их в постоянное враждебное отношение с рабочим народом и в то же время разоряющей их самих. Нельзя не отметить, что в настоящее время мелкая буржуазия, мелкая промышленность и мелкая торговля начинают бедствовать почти так же, как и рабочие массы, и если дело будет идти в том же направлении, то это почтенное буржуазное большинство, по всей вероятности, сольется в экономическом отношении с пролетариатом. Крупная торговля, крупная промышленность и в особенности крупная и бесчестная спекуляция давят его, пожирают, толкают в бездну. Итак, положение мелкой буржуазии делается все более революционным и ее идеи, бывшие слишком долго реакционными, ныне, вследствие ужасных уроков, начинают проясняться и необходимо должны будут принять противоположное направление. Самые умные начинают понимать, что для сохранившей честность буржуазии нет более другого спасения, кроме союза с народом — и что она заинтересована в социальном вопросе не менее и *с той же стороны*, что и народ.

Это постепенное изменение в воззрениях мелкой буржуазии Европы является фактом, столь же утешительным, как и неоспоримым. Но не надо обманываться: инициатива нового движения будет принадлежать народу, а не ей; на западе — фабричным и городским рабочим; у нас, в России, в Польше и в большинстве славянских земель — крестьянам. Мелкая буржуазия сделалась слишком трусливой, нерешительной, скептической, чтобы взять на себя инициативу чего-либо; она дает себя увлечь, но сама никого не увлечет; ибо она столь же бедна верой и страстью, как и мыслями. Та страсть, которая разбивает препятствия и творит новое

миры, находится исключительно у народа. Итак, неоспоримо, народу будет принадлежать инициатива нового движения. И мы бы умолчали о народе? И мы бы ничего не сказали о социализме, являющемся новой религией народа?

Но, скажут нам, социализм выказывает склонность заключить союз с цезаризмом. Во-первых, это клевета; напротив того, именно, цезаризм, видя на горизонте появление грозной силы социализма, стремится завладеть его симпатиями, чтобы эксплуатировать его в свою пользу. Но не является ли это для вас лишней причиной устремить сюда свою энергию, чтобы помешать этому чудовищному союзу, плодом которого явилось бы, конечно, самое большое несчастье, какое только может грозить свободе мира?

Мы должны высказаться в пользу социализма, даже и не принимая в расчет всех этих практических мотивов, ибо социализм это *справедливость*. Когда мы говорим о справедливости, мы подразумеваем не ту, которая заключена в кодексах и в римском праве, основанном в громадной степени на насильственных фактах, совершенных силой, освященных временем и благословениями какой-либо, христианской или языческой церкви, и, в качестве таковых, признанных за абсолютные принципы, из которых дедуктивно выведено все право[1]), — мы говорим о справедливости, основывающейся единственно на совести людей, о справедливости, которую вы найдете в сознании каждого человека и даже в сознании детей, и суть которой передается одним словом: *уравнение*.

Эта всемирная справедливость, которая, однако, благодаря насильственным захватам и религиозным влияниям, никогда еще не имела перевеса ни в политическом, ни в юридическом, ни в экономическом мире, должна послужить основанием нового мира. Без нее не может быть ни свободы, ни республики, ни благоденствия, ни мира. Она должна первенствовать во всех наших решениях, дабы мы могли деятельно способствовать установлению мира.

Эта справедливость повелевает нам взять на себя защиту интересов народа, до сих пор столь жестоко попираемых, и потребовать для него не только политической свободы, но и экономическое и социальное освобождение.

Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы лишь просим вас снова провозгласить этот великий принцип Французской Революции: каждый человек должен иметь материальные и духовные средства для развития всей своей человечности. Принцип этот, по нашему мнению, порождает следующую задачу:

---

[1]) В этом отношении юридическая наука совершенно сходна с теологией; обе эти науки равным образом исходят, одна из реального, но несогласного со справедливостью факта,—присвоения силой, завоевания; другая из факта фиктивного и нелепого,—божеского откровения, как верховного принципа. Основываясь на этой нелепости или этой несправедливости, обе науки прибегают к самой строгой логике, чтобы построить с одной стороны, юридическую, с другой, теологическую систему.

Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивид, мужчина или женщина, находил, появляясь на свет, почти равные средства для развития своих различных способностей и для их использования своей работой; создать такое общество, которое бы поставило всякого индивида, кто бы он ни был, в невозможность эксплуатировать чужую работу, и позволило бы ему участвовать в пользовании социальными богатствами, являющимися в сущности ничем иным, как произведением человеческой работы, лишь постольку, поскольку он непосредственно способствовал их производству.

Полное осуществление этой проблемы будет, конечно, делом столетия. Но история выдвинула ее, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на полное бессилие.

Мы спешим прибавить что энергично отклоняем всякую попытку организации, которая была бы чужда самой полной свободы, как индивидов, так и ассоциаций, и требовала бы установления регламентирующей власти, какого бы то ни было характера. Во имя свободы, которую мы признаем за единственную основу, единственный законный творческий принцип всякой организации, как экономической, так и политической, мы всегда будем протестовать против всего, что хоть сколько-нибудь будет похоже на государственный социализм и коммунизм.

Единственная вещь, которую, по нашему мнению, может и должно сделать государство, это видоизменить мало-по-малу наследственное право, с целью как можно скорее достичь его полного уничтожения. В виду того, что наследственное право является всецело созданием государства, является одним из существенных условий самого существования принудительного и божественно установленного государства, оно может и должно быть уничтожено свободой в государстве; другими словами, государство должно раствориться в обществе, организованном на началах справедливости. Наследственное право, по нашему мнению, необходимо должно быть уничтожено, ибо пока наследство будет существовать, будет существовать *наследственное* экономическое неравенство, не естественное неравенство индивидов, а искусственное неравенство классов, — а последнее необходимо будет всегда порождать наследственное неравенство в развитии и образовании умов и будет продолжать быть источником и освящением всех политических и социальных неравенств. Задачей справедливости является установить равенство для каждого, поскольку такое равенство будет зависеть от экономического и политического устройства общества, — равенство для каждого в исходной точке жизненного существования, так, чтобы каждый, руководимый собственной природой, был сыном своих собственных дел. По нашему мнению, единственным наследником умирающих должен быть общественный фонд для образования и обучения детей обоих полов, включая сюда и содержание их от рождения до совершеннолетия. В качестве славян и русских, мы можем прибавить, что у нас основной социальной

идеей, основанной на всеобщем и традиционном инстинкте населения, является идея, что земля, собственность всего народа, может быть во владении лишь тех, кто обрабатывает ее собственными руками.

Мы убеждены, господа, что этот принцип справедлив, что он является существенным и неизбежным условием всякой серьезной социальной реформы и что поэтому западная Европа непременно должна будет в свою очередь, его признать и воспринять, несмотря на трудности его реализации в некоторых странах. Так, например, во Франции большинство крестьян уже пользуется земельной собственностью, но вскоре большая часть этих самых крестьян не будет пользоваться почти ничем, вследствие того раздробление земли, которое является неизбежным последствием преобладающей в настоящее время во Франции политико-экономической системы. Впрочем, мы воздерживаемся от всякого предложения по земельному вопросу, как и вообще мы воздерживаемся от всяких предложений, затрагивающих, тот или иной научный, или политико-социальный вопрос, убежденные, что все эти вопросы должны стать в нашей газете предметом серьезного и глубокого обсуждения. — Мы ограничимся сегодня тем, что предложим вам сделать следующую декларацию:

„*Убежденная, что серьезное осуществление в мире свободы, справедливости и мира невозможно до тех пор, покуда огромное большинство людей остается обездоленным в отношении всех благ, лишенным образования и приговоренным к политическому и социальному ничтожеству и к фактическому, если не юридическому рабству, вследствие нищеты и необходимости работать без отдыха и передышки, производя все богатства, составляющие ныне гордость мира, и получая столь малую часть их, что ее едва достает для обеспечения хлеба на завтрашний день;*

„*Убежденная, что для всей массы населения, столь ужасно эксплуатируемой в продолжении столетий, вопрос хлеба является вопросом умственного освобождения, свободы и человечности;*

„*Убежденная, что свобода без социализма, это привилегия, несправедливость, и что социализм без свободы станет рабством;*

„*Лига громко провозглашает необходимость коренного социального и экономического переустройства общества, которое бы вело к освобождению народного труда из под ига капитала и собственников, и было бы основано на самой строгой справедливости, но не юридической, теологической или метафизической, а просто человеческой, на позитивной науке и самой полной свободе.*

„*Она об'являет в то же время, что ее газета широко*

откроют свои столбцы для всех серьезных статей по экономическим и социальным вопросам, если только эти статьи будут искренно воодушевлены желанием самого широкого народного освобождения, как в материальном отношении, так и с точки зрения политической и интеллектуальной".

Изложив свои взгляды на *федерализм* и *социализм*, мы считаем, господа, своей обязанностью рассмотреть вместе с вами, еще третий вопрос, который мы считаем неразрывно связанным с двумя первыми вопросами, — т. е. *религиозный вопрос*, и мы просим у вас позволения резюмировать все наши взгляды по этому вопросу в одном слове, которое покажется вам, может быть, варварским:

III.

АНТИТЕОЛОГИЗМ.

Господа, мы убеждены, что в мире не произошло ни одного крупного политического и социального изменения, которое бы не было сопровождаемо и часто предупреждаемо аналогичным движением в философских и религиозных идеях, управляющих сознанием индивидов и общества.

Все религии со своими богами были всегда ничем иным, как созданием верующей и легковерной фантазии человека, еще не достигшего уровня чистого рассуждения и свободной, опирающейся на науку мысли. Религиозное небо было лишь миражем, в котором воспламененный верой человек, находил так долго свое собственное изображение, но увеличенное и отраженное, — т. е. *обожествленное*.

История религий, история величия и упадка следовавших друг за другом богов, является ничем иным, как историей развития ума и коллективного сознания людей. По мере того, как люди открывали в себе-ли, или вне себя, какую-нибудь силу, способность или качество, они приписывали их своим богам, чрезмерно увеличив их, расширив своей религиозной фантазией подобно тому, как это делают дети. Таким образом, благодаря великодушию и скромности людей, небо обогатилось добычей, отнятой у земли, и как естественное следствие, чем небо становилось богаче, тем беднее становилось человечество. Как только божество было признано, оно, естественно, было провозглашено господином, источником, вершителем всего: реальный мир стал существовать, как его отблеск, и человек, его бессознательный творец, пал на колени перед своим творением и об'явил себя рабом, созданием божества.

Христианство является религией по преимуществу, именно потому, что оно представляет природу и сущность всякой религии, каковы: систематическое, абсолютное умаление, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества, — высший принцип не только всякой религии, но и всякой метафизики, как деистической, так и пантеистической. Так как Бог — все, то реальный мир и человек — ничто. Так как Бог — истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек — ложь, неправедность и смерть. Так как Бог господин, то человек — раб. Неспособный

сам отыскать путь к справедливости и истине, он должен получить их, как откровение свыше, посредством посланников и избранников божьей милости. Если же существует откровение, должны существовать свыше вдохновленные пророки, должны существовать священники, а раз эти последние признаны за представителей божества на земле, за учителей и вождей человечества на пути к вечной жизни, то они тем самым получают миссию руководить, повелевать и управлять человечеством в его земном существовании. Все люди обязаны слепо верить им и беспрекословно им повиноваться; будучи рабами Бога, люди должны быть также рабами церкви и государства, поскольку это последнее благословлено церковью. Из всех существующих или существовавших религий, одно христианство в совершенстве это поняло, а из всех христианских сект, только римский католицизм провозгласил и осуществил этот принцип с полной последовательностью. Вот почему христианство является религией абсолютной, последней религией; вот почему апостольская римская церковь является единой последовательной, законной и божественной.

Поэтому, не во гнев будь сказано всем полу-философам, всем так называемым, религиозным мыслителям — *существование Бога логически связано с самоотречением человеческого разума и человеческой справедливости; оно является отрицанием человеческой свободы и необходимо приводит не только к теоретическому, но и к практическому рабству.*

И, если только мы не хотим рабства, мы не можем и не должны делать никаких уступок теологии, ибо, имея дело с этим мистическим и строго последовательным алфавитом, всякий, начав с А, фатально дойдет до Z; всякий, желающий обожать Бога, должен будет отказаться от свободы и достоинства человека.

Бог существует, значит человек — раб.

Человек разумен, справедлив, свободен, — значит Бога нет.

Мы смело утверждаем, что никто не сможет выйти из этого круга; и в таком случае пусть выбирают.

Да и история нам показывает, что священники всех религий, за исключением лишь религий преследуемых, всегда были в союзе с тиранией. И даже преследуемые священники, хотя и они боролись против притесняющих их властей, проклинали их, тем не менее подчиняли своих верующих принудительной дисциплине, и тем самым готовили элементы новой тирании. Духовное рабство какого угодно характера, будет всегда иметь своим естественным последствием рабство политическое и социальное. — В настоящее время, христианство во всех его различных видах, а также вышедшая из него доктринерская и деистическая метафизика, которая в сущности не что иное, как замаскированная теология, является без всякого сомнения самым громадным препятствием для освобождения общества. Поэтому то все правительства, все государственные люди Европы, кото-

рые сами не являются ни теологами ни деистами, которые в глубине души не верят ни в Бога, ни в Дьавола, со страстью, с остервенением покровительствуют метафизике и религии, какой бы то ни было религии, лишь бы она, как это, впрочем делают все религии, проповедывала смирение, подчинение и терпение.

Остервенение, с каким правительства защищают религию, показывает, насколько для нас необходимо бороться с нею и уничтожить ее.

Нужно ли вам, господа, напоминать, какое деморализующее и погубное влияние оказывает на народ религия? Она убивает в нем разум, это главное орудие человеческого освобождения, и, наполняя умы божественными нелепостями, доводит народ до отупения, главного источника всякого рабства. Она убивает в людях энергию к труду, который является для человека спасением и величайшей славой: в труде человек становится творцом, создает свой мир, создает основания и условия своего человеческого существования и завоевывает, как свободу, так и человечность. Религия убивает в людях производительную мощь, внедряя в них презрение к земной жизни в виду небесного блаженства, и уча их, что труд — это последствие проклятия или заслуженное наказание, а бездействие — божественная привилегия. — Религия убивает в людях справедливость, эту строгую хранительницу братства и необходимое условие мира, наклоняя всегда весы в сторону более сильных, на которых по преимуществу изливается божественная благодать, заботливость и благословение. Наконец, она убивает в них человечность, заменяя ее в их сердцах божественною жестокостью.

Все религии основаны на крови, ибо все, как известно, существенно опираются на идею жертвоприношения, т. е. постоянного заклания человечества ради ненасытной мстительности божества. В этом кровавом таинстве, человек всегда является жертвой, а священник, тоже человек, но человек возвышенный благодатью, — божественным палачом. Это об‘ясняет нам, почему священники всех религий, и даже самые лучшие, самые человечные, самые кроткие из них имеют почти всегда в глубине сердца, и если не в сердце, то по крайней мере, в уме и в воображении — а известно какое влияние имеют эти последние на сердце, — нечто жестокое и кровожадное; и вот, когда повсюду возбуждался вопрос об уничтожении смертной казни, то все священники, римско-католические, московско-православные и греческие, протестантские — все единогласно высказались за ее сохранение.

Христианская религия, более чем всякая другая, была основана на крови и исторически окрещена в крови. Посчитайте миллионы жертв, которых эта религия любви и прощения заклала ради удовлетворения жестокой мести своего Бога. Вспомните пытки, которые она выдумала и применяла. И разве ныне она сделалась более кроткой? Нет, поколебленная равнодушием, она лишь сделалась бессильной, или лучше сказать, гораздо менее сильной, ибо к несчастью, она не лишена еще, даже в настоящее время,

способности вредить. И посмотрите на страны, в которых, гальванизированная реакционными страстями, она с виду воскресает; не является ли ее первым словом — мщение и кровь, ее вторым словом отречение от человеческого разума, а заключением — рабство? Покуда христианство и христианские священники, покуда какая бы то ни было божеская религия будет продолжать иметь хотя бы малейшее влияние на народные массы, до тех пор не восторжествуют на земле разум, свобода, человечность и справедливость. Ибо, покуда народные массы останутся погруженными в религиозные суеверия, до тех пор они будут послушным орудием в руках всех земных деспотизмов, соединившихся против освобождения человечества.

Вот почему нам чрезвычайно важно освободить массы от религиозных суеверий, и не только из за любви к ним, но также и из за любви к самим себе, ради спасения нашей свободы и безопасности. Но эта цель может быть достигнута лишь двумя путями: *распространением рациональной науки* и *пропагандой социализма*.

Мы подразумеваем под *рациональной наукой* ту, которая освободилась от всех призраков метафизики и религии, и в то же время отличается от чисто экспериментальных и критических наук. Она отличается от них, во первых тем, что не ограничивает свои изыскания тем или другим определенным предметом, но старается охватить весь доступный познанию мир, до того же, что лежит за границами познания, ей нет никакого дела. Во вторых, она отличается от экспериментальных наук тем, что не пользуется, как эти последние, исключительно аналитическим методом, но позволяет себе прибегать и к синтезу, пользуясь довольно часто аналогией и дедукцией, хотя она придает своим синтетическим выводам чисто гипотетическое значение, до тех пор, пока они не подтверждены самым строгим экспериментальным или критическим анализом.

Гипотезы рациональной науки отличаются от гипотез метафизики тем, что эта последняя, выводя свои гипотезы, как логические следствия из абсолютной системы, претендует заставить природу им подчиняться. Напротив того, гипотезы рациональной науки вытекают не из трансцендентной системы, а из синтеза, являющегося ничем иным, как резюме или общим выводом из множества доказанных на опыте фактов, Поэтому эти гипотезы никогда не могут иметь всенепременного, обязательного характера; они предлагаются в таком виде, чтобы их можно было отбросить сейчас же, как только они будут опровергнуты новыми опытами.

Рациональная философия или всемирная наука не действует аристократически, ни авторитарно, как это делала покойница метафизика. Эта последняя, организуясь сверху вниз, путем дедукции и синтеза, на словах признавала, правда, автономию и свободу отдельных наук, но на деле страшно их стесняла, до такой степени, что заставляла их признавать законы и даже факты, которых часто нельзя быть найти в природе, и препятствовала им заниматься опытными исследованиями, результаты которых

могли бы свести к небытию все ее спекуляции. — Как видите, метафизика действовала по методу централизованных государств.

Напротив того, рациональная философия является чисто демократической наукой. Она организуется свободно снизу вверх, и опыт признает своим единственным основанием. Ничто, не анализированное и не подтвержденное опытом или самой строгой критикой, не может быть ею воспринято *она не может принять ничего, что не было бы действительно анализировано и подтверждено опытом или самой строгой критикой.* Поэтому, Бог, Бесконечное, Абсолют, — все эти столь любимые об'екты метафизики, совершенно устраняются из рациональной науки. Она с равнодушием отворачивается от них, она смотрит на них, как на призраки или миражи. Но так как и призраки и миражи играют существенную роль в развитии человеческого ума, ибо человек обыкновенно достигает познания простой истины лишь после того, как он создал и пересоздал всевозможные иллюзии, и так как развитие человеческого ума является реальным предметом науки, — то естественная философия уделяет место и рассмотрению заблуждений. Она занимается ими лишь с точки зрения истории и старается в то же время показать нам как физиологические, так и исторические причины зарождения, развития и упадка религиозных и метафизических идей, а также их временную и относительную необходимость для развития человеческого духа. Таким образом, она отдает им всю справедливость, на которую они имеют право, потом отворачивается от них навсегда.

Ее прдмет это реальный, доступный познанию мир. В глазах рационального философа, в мире существует лишь одно существо и одна наука. Поэтому он стремится соединить и координировать все отдельные науки в единую. Эта координация всех позитивных наук в единую систему человеческого знания образует *Позитивную философию* или всемирную науку. Наследница и в то же время полнейшее отрицание религии и метафизики, эта философия, уже издавна предчувствуемая и подготовляемая лучшими умами, была в первый раз создана в виде цельной системы, великим французским мыслителем *Огюстом Контом,* который умелой и смелой рукой начертал ее первый план.

Координация наук, устанавливаемая позитивной философией, не является простым соединением их, это своего рода органическое сцепление, начинающееся с самой абстрактной науки, с той, которая занимается фактами самого простою порядка а именно: с математики, и постепенно восходящее к наукам сравнительно более конкретным, занимающимся более сложными фактами. Таким образом, от чистой математики переходят к механике, к астрономии, потом к физике, химии, геологии и биологии, включая сюда классификацию, сравнительную анатомию и физиологию растений и затем животных и доходят до социологии, которая обнимает собой всю человеческую историю, как развитие человеческого Существа, кол-

лектива и индивида, в политической, экономической, социальной, религиозной, артистической и научной жизни. Все эти науки, начиная с математики и кончая социологией, следуют непрерывно одна за другой. Единое Существо, единая наука и в сущности единый метод, который необходимо усложняется по мере того, как факты с которыми она имеет дело, становятся более сложными. Каждая последующая наука широко и всецело опирается на предыдущую и является, насколько позволяет это усмотреть современное состояние наших реальных познаний, ее необходимым развитием.

Любопытно отметить, что порядок наук, установленный Огюстом Контом, почти такой же, как в Энциклопедии Гегеля, величайшего метафизика настоящих и прошлых времен, который довел развитие спекулятивной философии до ее кульминационного пункта, так что движимая своей собственной диалектикой, она необходимо должна была прийти к самоуничтожению. Но между Огюстом Контом и Гегелем есть громадная разница. Этот последний в качестве истинного матафизика, спиритуализировал материю и природу, выводя их из логики т. е. из духа. Напротив того, Огюст Конт материализировал дух, основывая его единственно на материи. — В этом его безмерная заслуга и слава.

Так, психология, эта столь важная наука, служившая базой для метафизики, и рассматриваемая спекулятивной философией, как мир почти абсолютный, свободный и независимый от всякого материального влияния, в системе Огюста Конта, основывается единственно на физиологии и является ничем иным, как дальнейшим развитием этой последней. Так что, то, что мы называем умом, воображением, памятью, чувством, ощущением и волей, является в наших глазах лишь различными свойствами, функциями или проявлениями человеческого тела.

Рассматриваемые с этой точки зрения человечество, его развитие и история представляются нам в совершенно новом свете, более естественном более широком, более человечном, более плодотворном в поучениях для будущего. А раньше мы рассматривали человеческий мир как проявление теологической, метафизической и юридическо-политической идеи, — и в настоящее время должны возобновить его изучение, взяв за исходную точку природу, а за путеводную нить собственную физиологию человека.

На этом пути уже предчувствуется появление новой науки: *социологии* — т. е. науки о законах, управляющих развитием человеческого общества. Социология будет последней ступенью и увенчанием позитивной философии. История и статистика доказывают нам, что социальное тело, подобно всякому другому естественному телу, повинуется в своих эволюциях и видоизменениях общим законам, которые, повидимому, столь же неизбежны, как и законы физического мира. Выяснение этих законов из массы прошедших и настоящих исторических фактов, вот задача социологии. Помимо громадного интереса, представляемого ею для ума, она обещает в будущем большую практическую пользу; ибо подобно тому, как мы

не можем властвовать над природой и видоизменять ее, согласно нашим прогрессивным нуждам, иначе, как лишь благодаря приобретенному нами знанию ее законов, так же точно мы будем в состоянии осуществить в социальной среде свободу и благоденствие, лишь опираясь на постоянные законы, управляющие этой средой. Раз мы признали что бездна, которая в воображении теологов и метафизиков разделяет дух и природу, не существует, мы должны рассматривать человеческое общество, как тело, разумеется, гораздо более сложное, чем другие, но столь же естественное и повинующееся тем же законам, с прибавлением законов, исключительно ему свойственных. Раз это признано, становится ясным, что знание и строгое исследование этих законов необходимы, дабы предпринимаемые нами социальные переустройства были живучи.

Но с другой стороны мы знаем, что *социология* наука едва лишь появившаяся на свет, что принципы ее еще не установлены. Если мы будем судить об этой науке, самой трудной из всех, по примеру других, то мы должны будем признать, что потребуются века, по крайней мере, одно столетие, чтобы она могла окончательно утвердиться и сделаться наукой серьезной и более или менее полной и самодовлеющей. Итак, как же поступать? Надо ли чтобы страдающее человечество ожидало избавления от давящих его несчастий столетие и более, до тех пор, пока окончательно установившаяся позитивная социология не об'явит ему, что она, наконец, может дать указания и инструкции для рационального переустройства социальной жизни?

Нет, тысячу раз нет! Во-первых, чтобы ждать еще несколько столетий, нужно иметь терпение... по старой привычке, мы чуть было не сказали: терпение немцев, но вспомнили, что в настоящее время другие народы превзошли немцев в этой добродетели. Во вторых, если мы даже предположим, что у нас будет возможность и терпение ожидать, то чем бы явилось общество, представляющее собой лишь применение на практике науки, хотя бы самой полной и совершенной в мире? — Ничтожеством. Представьте себе мир, не заключающий в себе ничего, кроме того, что человеческий ум до сих пор заметил, узнал и понял, — не являлся ли бы этот мир дрянным домишкой, по сравнению с тем, который существует?

Мы полны уважения к науке; мы смотрим на нее, как на одно из самых драгоценных сокровищ, как на одну из лучших слав человечества. Наукой человек отличается от животного, своего меньшего брата в настоящем, своего предка в прошедшем, и становится способным быть свободным. Тем не менее, необходимо также признать, что у науки есть границы, и напомнить ей, что она не все, что она только часть всего и что все — это жизнь, бесконечная жизнь миров или, чтобы не потеряться в бесконечном и неведомом, жизнь нашей солнечной системы, или хотя бы нашего земного шара; наконец, еще более ограничивая себя: человеческий мир, — движение, развитие, жизнь человеческого общества на земле. Все

это несравненно шире, глубже и богаче науки и никогда не будет ею исчерпано.

Жизнь, взятая в этом всеобъемлющем смысле, не является применением той или другой человеческой или божеской теории: жизнь, это—творение сказали бы, мы охотно, если бы не боялись быть неправильно понятыми. Сравнивая народы, творящие свою собственную историю, с художниками, мы спросили бы: разве ждали великие поэты для создания своих великих произведений, чтобы наука раскрыла законы поэтического творчества? Не создали ли Эсхил и Софокл свои великолепные трагедии много раньше, чем Аристотель построил на основании их творений свою первую эстетику? Теориями ли вдохновлялся Шекспир? А Бетховен? Не расширил ли он созданием своих симфоний самые основания контрапункта? И чем бы было произведение искусства, созданное по правилам самой лучшей эстетики в мире? Повторяем еще раз, — ничтожеством. Но народы, творящие свою историю, по всей вероятности не беднее инстинктом, не слабее творческой мощью, не зависимее от гг.. ученых чем художники!

Если мы колеблемся употребить слово творение, то только потому, что ему припишут смысл, который мы никак не можем допустить. Кто говорит о творении, говорит, как будто, и о творце, а мы отвергаем существование единого творца по отношению к человеческому миру так же точно, как и по отношению к физическому, которые оба составляют на наш взгляд, один нераздельный мир. Даже говоря о народах, творящих свою собственную историю, мы сознаем, что употребляем метафорическое выражение, неподходящее сравнение. Каждый народ является коллективным существом, обладающим, как психо-физиологическими, так и политико-социальными особенностями, которые индивидуализируют его в некотором роде, отличая от всех других народов. Но это не индивид, не единое и нераздельное существо, в реальном смысле слова. Как ни развито его коллективное сознание, как ни концентрирована бывает в минуту великого национального кризиса народная страсть или воля, как говорят, направленная к одной цели, никогда эта концентрация не сравняется с концентрацией сил реального индивида. Одним словом, ни один народ, как бы он ни чувствовал себя единым, не может сказать: я хочу! но должен сказать: мы хотим! Только индивид имеет обыкновение говорить: я хочу! И если вы услышите, что говорят от имени всего народа: он хочет! будьте уверены, что за этим словом скрывается какой-нибудь узурпатор: человек или партия.

Итак, мы не подразумеваем здесь под словом творение, ни теологическое или метафизическое творение, ни художественное, научное, промышленное или какое-либо другое творение, за которым скрывается творящий индивид. Мы подразумеваем под этим словом просто продукт безконечно-сложного комплекса бесчисленного множества очень различных причин, больших или малых, из которых часть известна, но громадное большинство остается еще неизвестным, и которые, в определенный момент, скомбини-

ровавшись между собой, понятно, не без причины, но без преднамерения, без предначертанного плана, создали данный факт.

Но, скажут, в таком случае, история и судьбы человеческого общества должны представлять хаос и быть игрушкой случая? Напротив, лишь когда история свободна от всякого божеского и человеческого произвола, она являет нашим глазам все подавляющее и в то-же время рациональное величие своего необходимого развития, подобно органической и физической природе, чьим непосредственным продолжением она является. Природа, несмотря на неисчерпаемое богатство и разнообразие составляющих ее существ, нисколько не представляет собой хаоса, а напротив великолепно организованный мир, где каждая часть сохраняет, так сказать, необходимое логическое соотношение со всеми остальными. Но, скажут, значит был устроитель? Нисколько; устроитель, хотя бы и Бог, мог бы лишь испортить своим личным произволом естественное устройство и логическое развитие вещей. И мы видим, что во всех религиях главное свойство божества это быть превыше, то-есть против всякой логики и всегда иметь свою собственную, особенную логику: а именно, логику естественной невозможности или нелепости [1]). Ибо, что такое логика, если не естественный ход и развитие вещей, или естественный путь, посредством которого множество определяющих причин производят факт? Итак, мы можем высказать следующую простую и в то же время решительную аксиому: *Все, что естественно — логично, и все что логично — существует и должно осуществиться в реальном мире: в природе, в собственном смысле слова и в ее дальнейшем развитии — в естественной истории человеческого общества.*

Итак, вопрос в том, что логично в природе и в истории? Это не так легко определить, как можно думать при первом взгляде. Ибо, чтобы знать это в совершенстве так, чтобы никогда не ошибаться, надо обладать познанием всех причин, влияний, действий и противодействий, определяющих природу какой-либо вещи или факта, не исключая ни одной причины, хотя бы самой отдаленной или слабой. А какая философия или наука может похвалиться, что она в состоянии обнять и исчерпать все это своим анализом? Чтобы претендовать на это, надо быть очень бедным умом или очень мало сознавать бесконечное богатство действительного мира.

Надо ли из-за этого сомневаться в науке? Надо ли отбрасывать ее потому что она дает нам лишь то, что может дать? Это было бы новым

---

[1]) Сказать, что Бог не противоречит логике, это значит утверждать, что он совершенно тождествен с логикой, что он сам ничто иное, как логика, т. е. естественный ход, развитие реальных вещей. Другими словами, это значит сказать, что Бога нет. Существование Бога может иметь значение, лишь как отрицание естественных законов. Отсюда вытекает следующая неоспоримая дилемма: Бог существует, значит нет естественных законов и мир представляет собой хаос; мир не есть хаос, он обладает внутренним устройством, — значит Бога нет.

безумием и много более зловредным, чем первое. Если вы потеряете науку, то за отсутствием света, вы возвратитесь к состоянию наших предков, горилл, и вам придется положить несколько тысяч лет на повторение всего пути, которым должно было пройти человечество, при фантасмагорическом блеске религии и метафизики, чтобы снова добраться, правда, до не совершенного, но, по крайней мере, реального света, которым мы в настоящее время обладаем.

Самым большим и решительным триумфом, достигнутым наукой в наши дни, является, как мы уже сказали, подведение психологии под биологию. Наука установила, что все интеллектуальные и моральные акты, отличающие человека от всех других пород животных, каковы мысль, проявление человеческого понимания и сознательной воли, имеют своим единственным источником чисто материальную, хотя, конечно, более совершенную организацию человека, без всякого спиритуального или внематериального воздействия. Одним словом, они являются ничем иным, как продуктами различных комбинаций чисто физиологических функций мозга.

Значение этого открытия безмерно, как для науки, так и для жизни. Благодаря ему, становится, наконец, возможной вся наука о человеческом мире, включая сюда антропологию, психологию, логику, мораль, социальную экономию, политику, эстетику, теологию с метафизикой, становится возможной история одним словом, вся социология. Между человеческим и естественным миром нет больше разрыва непрерывности. Но подобно тому, как мир органический, являющийся непрерывным и прямым развитием неорганического мира, однако, существенно отличается от него введением нового активного элемента: *органической материи*, происшедшей, не благодаря вмешательству какой-нибудь внематериальной причины, а от неизвестных нам доныне комбинации той же самой неорганической материи, и производящей в свою очередь на основе и в условиях этого неорганического мира, высшим результатом которого она сама является, все богатство растительной и животной жизни; — также точно человеческий мир, являясь ничем иным, как непосредственным продолжением органического мира, существенно отличается от него новым элементом: *мыслью*, рожденной чисто физиологической деятельностью мозга и производящей в то же время среди этого материального мира и в органических и неорганических условиях, последним резюме, которых так сказать она является, все то, что мы называем интеллектуальным и моральным, политическим и социальным развитием человека— историю человечества.

Для людей, мыслящих действительно логично и чей ум достиг уровня современной науки, это единство Мира или Сущего является отныне установленным фактом. Но нельзя не признать, что этот простой и до такой степени очевидный факт, что все противоречащее ему представляется нам теперь уже нелепым, что этот факт находится в самом кричащем противоречии с мировым сознанием человечества. Последнее, проявляясь в истории

в самых различных формах, всегда, однако, единогласно высказывалось за существование двух различных миров: мира божеского и мира реального. Начиная с грубых фетишистов, обожавших в окружавшем их мире проявление сверх‘естественной силы, воплощенной в каком-нибудь материальном об‘екте, все народы верили, все народы верят до сего дня в существование какого то божества.

Это подавляющее единодушие имеет, по мнению многих людей, более веса, чем какие бы то ни было научные доказательства. И если логика небольшого числа последовательных, но одиноких мыслителей противоречит всеобщему мнению, — тем хуже, говорят они, для этой логики. Ибо единодушное всемирное принятие какой-нибудь идеи всегда считалось самым победоносным доказательством ее истинности, и это на том основании, что чувство, общее всем людям и всех временам, не может быть ошибочным. Оно должно иметь корень в потребности, существенно присущей природе человечества. А если правда, что, повинуясь этой потребности, человек необходимо должен верить в существование Бога, то в таком случае тот, кто не верит в Бога, является ненормальным исключением, чудовищем, хотя бы его неверие основывалось на логике.

Вот излюбленная аргументация теологов и метафизиков наших дней, и даже знаменитого Мадзини, который не может обойтись без Бога. Он нуждается в Боге, чтобы основать свою аскестическую республику и убедить народные массы согласиться на нее, народные массы, чьей свободой и благоденствием он систематически жертвует, ради величия идеального Государства.

Таким образом, древность и общераспространенность верования в Бога являются, в противность всякой науке и всякой логике, неоспоримыми доказательствами существования Бога. Но почему же? До появления Коперника и Галилея весь мир, за исключением, может быть, Пиеагорийцев, верил, что солнце обращается вокруг земли. Разве всеобщее верование доказывало истинность этого предположения? С начала появления общества в истории до наших дней, всегда и везде незначительное господствующее меньшинство эксплуатировало вынужденный труд рабочих масс, рабов или наемников. Следует ли из этого, что эксплуатация паразитами чужого труда не есть несправедливость, грабеж, воровство? Вот два примера, доказывающие, что аргументация наших современных деистов ничего не стоит.

И в самом деле, нет ничего более универсального более древнего, как нелепости; напротив того, истина, относительно гораздо моложе, являясь всегда результатом, продуктом исторического развития, а не его исходной точкой. Ибо человек, по своему происхождению, если не прямой потомок гориллы, то двоюродный брат, его начал с глубокой ночи животного инстинкта, чтобы постепенно достичь света разума. Это нам вполне об‘ясняет все его прошедшие нелепости и утешает нас отчасти в его настоящих заблуждениях. Все историческое развитие человека ни что иное, как

прогрессивное удаление от чистой животности посредством создания своей человечности. Отсюда следует, что древность какой-нибудь идеи, не только не может говорить в пользу этой идеи, но, напротив, должна нам сделать ее подозрительной. Что касается общераспространенности заблуждения, то она доказывает лишь одно: тождественность человеческой природы во все времена и во всех климатах. И так как все народы во все эпохи верили и верят в Бога, не поддаваясь этому факту, конечно бесспорному, но который не может перевесить в наших глазах ни логику, ни науку, мы должны просто отсюда заключить, что идея божества, порожденная, без сомнения, нами самими, является необходимым заблуждением в развитии человечества. Мы должны спросить себя, каким образом, почему она родилась и почему она остается необходимой для громадного большинства человеческого рода и до сих пор?

Покуда мы не будем в состоянии дать себе отчет, каким образом родилась идея сверх‘естественного или божественного мира, и должна была необходимо родиться в естественном развитии человеческого ума и человеческого общества, до тех пор, как бы мы ни были научно убеждены в нелепости этой идеи, мы никогда не сможем уничтожить ее в мнении толпы, так как, не зная источника ее происхождения, мы никогда не будем в состоянии атаковать ее в самых глубинах человеческого существа. Приговоренные к бесплодной, бесконечной борьбе, мы должны будем довольствоваться тем, что будем сражаться с ней на поверхности, в ее тысячных проявлениях, нелепость которых, едва пораженная ударами здравого смысла, будет сейчас же возрождаться в новой и не менее бессмысленной форме, ибо покуда корень верования в Бога остается невредимым, до тех пор он всегда будет давать новые отпрыски. Так, например, в некоторых кругах современного цивилизованного общества, спиритизм стремится в настоящее время занять место развалившегося христианства.

Более того, ради нас самих, нам необходимо отдать себе отчет в происхождении веры в Бога. Ибо, покуда мы не узнали причины исторического, естественного зарождения этой идеи в человеческом обществе, то, сколь бы мы не называли себя атеистами, мы всегда можем подпасть влиянию голоса этого всеобщего сознания, секрет, т. е. естественная причина которого нам неизвестна. И в виду естественной слабости индивида против окружающей его социальной среды, мы рискуем рано или поздно сделаться рабом религиозной нелепости. Примеры этих плачевных обращений не редки в современном обществе.

Господа, мы более, чем когда-либо убеждены в нетерпящей отлагательства необходимости вполне разрешить следующий вопрос:

Так как человек составляет одно целое со всей природой и является лишь продуктом бесконечного множества исключительно материальных причин, то каким образом могла родиться, установиться и глубоко укорениться в чело-

веческом сознании идея дуализма: предположение существования двух противоположных миров, одного духовного, другого материального, одного божественного, другого естественного?

Мы настолько убеждены, что от разрешения этого важного вопроса зависит наше окончательное и полное освобождение от цепей всякой религии, что просим у вас позволения изложить свои мысли по этому вопросу.

Многим покажется, пожалуй, странным, что в политическом сочинении, обсуждаются вопросы метафизики и теологии. Но по нашему глубочайшему убеждению эти вопросы не могут быть отделены от вопросов социальных и политических. Реакционный мир, толкаемый непобедимой логикой, становится все более религиозным. Он поддерживает в Риме папу, он преследует в России естественные науки, он ставит во всех странах свои военные, гражданские, политические и социальные несправедливости под защиту Бога, которого он защищает в свою очередь в церквах и в школах, с помощью лицемерно религиозной, раболепной, низко-поклонной, тяжеловесно-педантичной науки и всеми другими средствами, находящимися в распоряжении Государства. Царство Бога на небе, выражающееся в явном или тайном царстве кнута и узаконенной эксплуатации рабочих масс на земле — таков религиозный, социальный, политический и совершенно логичный идеал реакционных партий в Европе. Впротивность этому, революция должна быть атеистична. Ибо исторический опыт и логика доказали, что достаточно одного господина на небе, чтобы тысячи господ расплодились на земле.

Наконец, не является ли социализм по самой цели своей, которая заключается в осуществлении на земле, а не на небе, человеческого благоденствия и всех человеческих стремлений, завершением и, следовательно, отрицанием всякой религии, которая не будет более иметь никакого основания к существованию, раз ее стремления будут осуществлены?

Излагая свои мысли насчет происхождения религии, мы постараемся быть как можно более краткими и умеренно-отвлеченными.

Не углубляясь в философские размышления о природе Сущего, мы считаем возможным признать за аксиому следующее положение: *Все, что существует, все Существа, составляющие бесконечный мир Вселенной все существовавшие в мире предметы, какова бы ни была их природа в отношении качества или количества, большие, средние или бесконечно малые, близкие или бесконечно далекие — взаимно оказывают друг на друга, помимо желания и даже сознания, непосредственным или косвеным путем, действие и противодействие. Эти то непрестанныя действия и противодействия, комбинируясь в единое движение, составляют то, что мы называем всеобщей солидар-*

ностью, жизнью и причинностью. Называйте, если это вам нравится, эту солидарность Богом или Абсолютом; нам все равно, лишь бы вы не придавали этому Богу другого значения, кроме того, которое мы только что установили: значение всемирной, естественной, необходимой, но отнюдь не предопределенной, не предвиденной комбинации бесконечного множества частных действий и противодействий. Эту всегда движущуюся и действенную солидарность, эту всемирную жизнь мы можем разумно — предполагать, но никогда не можем охватить даже нашим воображением, и еще менее познать. Ибо мы можем познавать лишь то, что доступно нашим чувствам, а эти последние охватывают лишь бесконечно малую часть Вселенной. Само собой разумеется, мы понимаем эту солидарность, не как нечто абсолютное, как первопричину, но, наоборот, как *производное,* [1]) вытекающее из одновременного действия всех частных причин, которое и составляет именно всемирную причинность. Определив ее таким образом, мы можем теперь сказать, не боясь какой бы то ни было двусмысленности, что всемирная жизнь творит миры. Это она определила геологическое, климатологическое и географическое строение нашей земли, и покрыв ее поверхность всеми великолепиями органической жизни, продолжает *творить* еще человеческий мир: общество со всеми формами его прошедшего, настоящего и будущего развития.

Теперь ясно, что в творении, понятом в этом смысле, нет места ни предвзятым планам, ни предустановленным, предусмотренным законам. В действительном мире все факты, произведенные стечением бесчисленных влияний и условий, появляются прежде,—потом уже является вместе с мыслящим человеком сознание этих фактов и более или менее подробное и совершенное знание, *каким образом* они произошли. Когда мы замечаем, что в каком-нибудь ряде фактов часто или почти всегда повторяется один и тот же ход процесса, то мы называем это *законом* природы.

Под словом *природа* мы подразумеваем не какую-либо мистическую и пантеистическую идею, а просто сумму всего существующего, всех явлений жизни и процессов, их творящих. Очевидно, что в природе, определенной таким образом, одни и те же законы всегда воспроизводятся в известных родах фактов. Это происходит без сомнения, благодаря стечению тех же условий и влияний, и, может быть, также, благодаря раз на всегда установившимся тенденциям непрестанно текучего творения,—тенденциям, которые в силу частого повторения, сделались постоянными. Только благодаря этому постоянству в ходе естественных процессов, человеческий ум мог констатировать и познать то, что мы называем механическими, физическими, химическими и физиологическими законами; только благодаря ему

[1]) Как и всякий человеческий индивид есть ничто иное, как производное, результат всех причин, вызвавших его появление на свет, комбинированных со всеми условиями его дальнейшего развития.

об'яснимо почти постоянное повторение животных и растительных родов, пород и разновидностей, производимых до сих пор органической жизнью на земле. Это постоянство и эта повторяемость выдерживаются, однако, не вполне. Они всегда оставляют широкое место для так называемых—и не вполне точно называемых—аномалий и исключений. Название это очень неправильно, ибо факты, к которым оно относится, показывают лишь, что эти общие правила, принятые нами за естественные законы, являются не более, как абстракциями, извлеченными нашим умом из действительного развития вещей, и не в состоянии охватить, исчерпать, об'яснить все беспредельное богатство этого развития. Кроме того, как это превосходно доказал Дарвин, эти, так называемые аномалии, посредством частого сочетания между собой и тем самым дальнейшего укрепления своего типа, создают, так сказать, новые пути творения, новые образы воспроизведения и существования, и являются именно путем, посредством которого органическая жизнь рождает новые разновидности и породы. Таким образом, органическая жизнь, начав с едва организованной клеточки и проведя ее через все видоизменения, вначале растительной, а потом животной организации, сделала из нее человека.

Остается ли человек последним и самым совершенным органическим созданием на земле? Кто может поклясться, что через несколько десятков или сотен веков от самой высшей разновидности человеческой породы не произойдет порода существ, высших чем человек, которые будут относиться к человеку, как он относится к горилле? Во всяком случае пусть наше тщеславие успокоится. Природа действует очень медленно, а в настоящем состоянии человечества ничто не указывает, что бы оно могло породить из себя высшую породу существ. Впрочем разве природа не продолжает свой непрерывный труд непрестанного творения в историческом развитии человеческого рода? Не ее вина, если мы в нашем уме отделили мир человеческого общества от того, что мы исключительно называем естественным миром.

Причина этого разделения лежит в самой природе нашего разума, который существенным образом отличает человека от животных всех других пород. Мы должны, однако, признать, что человек не единственное земное животное, одаренное умом. Напротив того, сравнительная психология доказывает, что не существует животного, которое было бы совершенно лишено ума и что чем ближе какая-либо порода по своей организации и в особенности по строению своего мозга к человеку, тем более развит и значителен ее ум. Но только в человеке ум достигает такой степени развития, при которой его можно назвать мыслительной способностью, при которой он может комбинировать представления как внешних, так и внутренних об'ектов, данных нам чувствами, создавать из них группы, затем сравнивать и заново комбинировать эти различные группы, которые уже не являются реальными существами, об'ектами нашим чувств, но лишь поня-

тиями, созданными первым действием способности, называемой рассудком, сохраненными нашей памятью, и последующее комбинирование при помощи этой самой способности образует то, что мы называем идеями. Затем, из всего этого человеческий ум выводит следствия или логически необходимые применения. Увы, мы часто встречаем людей, не достигших еще всецелого обладания этой способностью, но мы никогда не видели и даже не слышали, чтобы какое-нибудь животное низшей породы обладало этой способностью, разве что нам приведут в пример Валаамову ослицу или некоторых других животных, в которые верить и уважать которых убеждает нас религия. Итак, мы можем сказать, не боясь быть опровергнутыми, что из всех животных, существующих на земле, один человек мыслит.

Он один одарен способностью абстракции, укрепленной и развитой в человеческой породе, конечно, вековым упражнением. Способность эта, постепенно внутренно возвышая человека над всеми окружающими предметами, над всем, так называемым, внешним миром, и даже над ним самим, как индивидом, позволяет ему понять, создать идею всеобщности Существ, идею Вселенной, Бесконечного, или Абсолюта,—идею вполне абстрактную и, если хотите, лишенную всякого содержания, и тем не менее, являющуюся всесильной и служащей причиной всех дальнейших завоеваний человека, ибо она одна отрывает человека от пресловутого блаженства и тупоумной невинности животного рая, и ведет его к триумфам и бесконечным волнениям беспредельного развития.

Благодаря этой способности абстракции, человек возвышается над непосредственным давлением, производимым всеми внешними предметами на каждого индивида, и таким образом может сравнивать одни предметы с другими и исследовать их взаимоотношения. Вот начало *анализа* и *экспериментальной науки*. Благодаря этой способности, человек раздвояется в самом себе, возвышается над своими собственными побуждениями, инстинктами и различными аппетитами, поскольку они преходящи и частны, и это дает ему возможность сравнивать их между собою, подобно тому, как он сравнивает внешние предметы и движения, и становится на сторону одних против других, сообразуясь с создававшимся в нем (социальным) идеалом. Вот уже пробуждение *сознания* и того, что мы называем *волей*.

Обладает ли человек, в самом деле, свободной волей? Да и нет, в зависимости от того как понимать это выражение. Если под свободной волей подразумевается liberum arbitrium, т. е. предполагаемая способность человеческого индивида свободно самоопределяться, независимо от всякого внешнего влияния; если, подобно тому, как это делали все религии и все метафизики, претендуют через эту свободу воли поставить человека вне всемирной причинности, определяющей существование всех вещей и делающей их зависимыми друг от друга, то мы отбрасываем эту свободу как нелепость, ибо ничто не может существовать вне всемирной причинности.

Непрестанное действие и противодействие всего на всякую отдельную точку и всякой отдельной точки на все составляют, как мы сказали, жизнь, высший, творческий закон и всеединство миров, которое всегда в одно и то же время и производит и само является продуктом. Вечно деятельная, вечно всемогущая эта всемирная солидарность, эта взаимная причинность, которую мы будем называть, с этих пор, просто *природой*, создала, как мы сказали, среди бесчисленного множества других миров, нашу землю, со всей лестницей существ от минерала до человека. Она постоянно воспроизводит их, развивает, кормит, сохраняет; потом, когда наступает их срок, и часто даже раньше, чем он наступил, она их уничтожает или, лучше сказать, преобразует в новые существа. Итак, она, это всемогущество, по отношению к которому не может быть никакой независимости или автономии. Она, это высшее существо, обнимающее и проникающее своим непреоборимым действием все бытие существ, и между живыми существами нет ни одного, который бы не носил в себе, понятно в более или менее развитом состоянии, чувство или ощущение этого всевышнего влияния и абсолютной зависимости. — Вот это ощущение, это чувство и составляют основание всякой религии.

Религия, как видите, подобно всему человеческому, имеет свой первый источник в животной жизни. Невозможно сказать про какое бы то ни было животное, кроме человека, что оно имеет религию; ибо самая грубая религие предполагает всетаки известную степень мыслительной способности, до какой не возвышается ни одно животное, кроме человека. Но невозможно также отрицать, что в существовании всех без исключения животных заключаются все, так сказать, материальные, составные элементы религии, за исключением, конечно, ее идеальной стороны, той именно, которая рано или поздно ее уничтожит, — мысли. В самом деле, какова действительная сущность всякой. религии? Это именно чувство абсолютной зависимости преходящего индивида от вечной и всемогущей природы.

Нам трудно наблюсти это чувство и анализировать все его проявления в животных низших пород. Однако, мы можем сказать, что инстинкт самосохранения, наблюдаемый в сравнительно самых простых организмах, конечно в меньшей степени, чем в высших организмах, является ничем иным, как своего рода обычной мудростью образующейся в каждом индивиде под влиянием того чувства, которое, как мы сказали, является ничем иным, как религиозным чувством. В животных, одаренных более полной организацией и более близких к человеку, это чувство проявляется более чувствительным образом, например, в инстинктивном и паническом страхе охватывающем их иногда при приближении какой нибудь великой, естественной катастрофы, каковы землетрясение, лесной пожар, сильная буря. Вообще, можно сказать, что страх является одним из преобладающих чувств в животной жизни. Все животные, живущие на свободе, дики, и это доказывает, что они живут в непрестанном, инстинктивном страхе, что они

всегда чувствуют опасность, т. е. всемогущее влияние, которое их преследует, проникает и охватывает всегда и всюду. Этот страх, страх Бога, как сказали бы теологи, есть начало мудрости, т. е. религии. Но у животных он не становится религией, ибо им недостает той мощи мышления, которая удерживает чувство, определяет его об'ект и перерабатывает его в сознание, в мысль. — Итак, совершенно справедливо утверждают, что человек по природе религиозен; он религиозен подобно всем другим животным, — но он один на этой земле имеет сознание своей религиозности.

Говорят, что религия, это первое пробуждение разума; справедливо, но в форме неразумия. Религия, как мы только что видели, начинается со страха. И в самом деле, человек, пробуждаясь с первыми лучами того внутреннего солнца, которое мы называем самосознанием, и медленно, шаг за шагом, выходя из магнетического полусна, в котором находился, ведя свое чисто инстинктивное существование, когда он находился в состоянии полнейшей невинности, т. е. в животном состоянии, — будучи к тому же рожденным, подобно всякому животному, в страхе перед внешним миром, который, правда, его производит и кормит, но который в то же время его утесняет, давит и грозит каждую минуту поглотить, — человек необходимо должен был иметь первым об'ектом своего зарождающегося мышления именно этот страх.

Можно предполагать, что у первобытного человека, при первом пробуждении его разума этот инстинктивный страх должен был быть сильнее, чем у животных других пород. Во первых, потому, что он рождается гораздо менее вооруженным, чем другие животныя, и что его детство продолжается гораздо дольше. И затем потому, что эта самая мыслительная способность, едва расцветшая и еще не достигшая достаточной степени зрелости и силы, чтобы познавать и утилизировать внешние предметы, должна была тем не менее нарушить полное единение человека с природой, инстинктивную гармонию, в какой он находился с ней, как двоюродный брат гориллы, покуда не проснулась в нем мысль.

Итак, способность мыслить изолировала его от остальной природы, которая, становясь для него таким образом чуждой, должна была ему казаться сквозь призму его воображения, ставшего менее узким и более живым, благодаря этой самой начинающейся мысли, в виде темной, таинственной силы бесконечно более враждебной и угрожающей, чем она есть в действительности.

Для нас чрезвычайно трудно, если не невозможно, отдать себе точный отчет в первых религиозных чувствах и воображениях дикого человека. Они, без сомнения, должны были быть столь же разнообразны, сколь разнообразны были характеры первобытных народностей, а также сколь разнообразны были климаты, природа местностей и все другие внешние обстоятельства, в среде которых эти чувства развивались. Но так как при всем этом, это все же были человеческие чувства и воображения, то они несмотря

на это великое разнообразие в подробностях, должны были обладать известным числом тождественных, общих для всех их черт, которые мы и постараемся определить. Каково бы ни было происхождение различных человеческих групп и их деление на расы на земном шаре, имели ли все люди родоначальником одного Адама — гориллу, или двоюродного брата гориллы, или же они произошли от нескольких, созданных природой в различных местах и в различные времена, независимо друг от друга,—это не меняет дела. Свойства которые собственно создают и составляют человечность в людях, а именно мышление, способность к абстракции, разум, мысль, одним словом, способность создавать идеи остаются, также точно, как и законы, определяющие проявление этих свойств, во все времена и во всех тождественных местностях, всегда и везде те же самые,—так что никакое человеческое развитие не может противоречить этим законам. Это дает нам право предположить, что важнейшие фазисы, наблюдаемые в первобытном развитии религиозного чувства одного какого нибудь народа, должны были повториться в развитии этого чувства у всех других народов земли.

Судя по единогласным отзывам путешественников, как тех, которые, начиная с прошлого столетия посетили острова Океании, так и тех, которые в наши дни проникли во внутрь Африки, — *Фетишизм* должен быть самой первой религией, религией всех диких племен, которые всего менее удалились от естественного состояния. Но Фетишизм является ничем иным, как *религией страха.* Он является первым человеческим выражением того ощущения абсолютной зависимости, смешанной с инстинктивным ужасом, которое мы находим в всяком животном и которое, как мы уже сказали, заключается в религиозном отношении индивидов даже самых низших пород к всемогуществу природы. Кто не знает, какое влияние и впечатление производят на всех живых существ, не исключая даже растений, великие регулярные явления природы, каковы восход и заход солнца, лунный свет, повторение времен года, чередование холода и тепла,особенные проявления жизни океана, гор, пустынь, или же естественные катастрофы, каковы бури, затмения, землетрясения, а также столь разнообразные отношения различных животных пород между собой и к растениям и их взаимное истребление. Все это составляет для каждого животного совокупность условий существования, характер, природу и, у нас почти является желание сказать, особенный культ, ибо у всех животных, у всех живых существ, вы найдете своего рода обожание природы, смешанное со страхом и радостью, надеждами и беспокойством, и которое, как чувство, очень похоже на человеческую религию. Здесь нет недостатка даже в молитвах. Посмотрите на прирученную собаку, умоляющую своего господина о ласке или взгляде: разве это не образ человека, стоящего на коленях перед своим Богом? Не переносит ли эта собака при помощи своего воображения и даже начатков мыслительной способности, которую опыт развил в ней, не переносит ли она давящее ее всемогущество природы на своего

хозяина, подобно тому, как верующий человек переносит его на Бога? В чем же различие между религиозным чувством человека и собаки? Даже не в размышлении, а лишь в степени размышления, или даже в способности фиксировать это размышление, понять его как абстрактную мысль и обобщить, назвав ее — ибо человеческая речь имеет ту особенность, что она не способна обозначить действительные предметы, непосредственно действующие на наши чувства, а может лишь выражать понятия абстрактные или обобщения. А так как речь и мысль являются двумя различными, но нераздельными формами одного и того же акта человеческого мышления, то это последнее, фиксируя предмет животного страха и обожания или первого естественного человеческого культа, его обобщает, перерабатывает его в нечто абстрактное и стремится обозначить каким нибудь именем. Предметом действительного обожания того или другого индивида всегда остается *этот* камень, *этот*, а не другой кусок дерева; но с мгновения, как он был назван словом, он становится предметом абстрактным или понятием: *камнем*, вообще, *куском дерева*, — Таким образом, с первым пробуждением мысли, проявляемой в речи, начинается собственно человеческий мир, мир отвлечений.

Благодаря этой способности к отвлечению, сказали мы, человек рожденный, созданный природой, творит для себя, среди этой самой природы и даже в ее условиях, второе существование, согласное с его идеалом и совершенствующееся вместе с ним.

Все живущее, прибавим мы для лучшего пояснения нашей мысли, стремится к самому полному развитию. Человек, существо живое и вместе мыслящее, должен для своего полного осуществления вначале познать самого себя. Вот причина громадного опоздания, наблюдаемого нами в его развитии и благодаря которой, чтобы достигнуть современного состояния общества в самых цивилизованных странах, — состояния столь мало еще приближающегося к идеалу, к которому мы ныне стремимся, — человеку потребовалось употребить несколько сотень веков... Хочется сказать, что человек в поисках самого себя, во всех своих физиологических и исторических блужданиях должен был исчерпать всевозможные глупости, всевозможные несчастья, прежде чем он был в состоянии осуществить то малое количество разума и справедливости, что царят ныне в мире.

Последним пределом, высшей целью всего человеческого развития, является *свобода*. Ж. Ж. Руссо и его ученики ошибались, ища ее в начале истории, когда человек, еще совершенно лишенный самосознания и, следовательно, неспособный заключать какой бы то ни было договор, подчинялся той фатальности естественной жизни, которой подчиняются все животные, и от которой человек мог, в известном смысле освободиться лишь благодаря последовательному пользованию разумом. Человеческий разум, развиваясь, правда, с большой медлительностью, впродолжении истории, мало по малу познавал законы, управляющие внешним,

миром, а также законы, присущие нашей собственной природе, так сказать, присвоивал их себе, перерабатывая их в идеи — почти произвольное создание нашего собственного мозга — и делал то, что, *не переставая подчиняться этим законам, человек подчинялся теперь лишь собственным мыслям.* По отношению природы, это является для человека единственным достоинством и единственно возможной свободой. Никогда не будет другой свободы, ибо естественные законы неизменны, фатальны; они составляет саму основу всякого существования и нашего собственного бытия, так что никто не может возмутиться против них, не впадая в нелепость, не убивая наверняка самого себя. Но познавая их и присвояя их умом, человек возвышается над непосредственным давлением внешнего мира, и становясь в свою очередь творцом, повинуясь с этих пор лишь собственным идеям, он более или менее перерабатывает этот мир сообразно своим возрастающим потребностям, и налагает на него как бы отражение своей человечности.

Таким образом, то, что мы называем *человеческим* миром, не имеет другого непосредственного творца кроме человека, который создает его, отвоевывая шаг за шагом от внешнего мира и от своей собственной животности свою свободу и человеческое достоинство. Он завоевывает их, движимый силой, независимой от него, непреоборимой и равно присущей всем живым существам. Эта сила — это всемирный поток жизни, тот самый, который мы называем всемирной причинностью, природой, и который проявляется во всех живых существах, растениях или животных, стремлением каждого индивида осуществить для себя условия, необходимые для жизни своей породы, т. е. удовлетворить своим потребностям. Это стремление, существенное и главное проявление жизни, составляет основу того, что мы называем *волей.* Фатальная и непреоборимая во всех животных, не исключая самого цивилизованного человека, инстинктивная, можно почти сказать, механическая в низших организмах, более сознательная в высших породах, она достигает полного самосознания лишь в человеке, который, благодаря своему разуму — возвышающему его над всеми его инстинктивными побуждениями и позволяющему ему сравнивать, критиковать и упорядочивать свои собственные побуждения — один среди всех животных земного шара обладает сознательным самоопределением, *свободной волей.*

Само собой разумеется, эта свобода человеческой воли не имеет по отношению ко всемирному потоку жизни, по отношению к этой абсолютной причинности, в которой каждая отдельная воля является как бы ручьем, другого значения, кроме того, которое ей дает ее сознательность, противупоставляя ее механическому действию или даже инстинкту. Человек понимает и сознает естественные потребности, которые, отражаясь в его мозгу, вновь возникают в нем посредством физиологического процесса, еще мало известного, как логическое следствие его собственных мыслей. Это понимание дает ему, среди его абсолютной и непрестанной зависимости, ощущение

самоопределения, сознательной, произвольной воли и свободы. — Не прибегая к полному или частичному самоубийству, ни один человек не сможет освободиться от своих естественных влечений, но он может их регулировать и видоизменять, стараясь все более согласовать их с тем, что он называет в различные эпохи своего интеллектуального и морального развития, справедливым и прекрасным.

В сущности, главные черты самого утонченного человеческого существования и самого непробудного животного существования суть и всегда останутся те же самые: рождаться, развиваться и расти, работать, чтобы есть и пить, чтобы иметь кров, и защищаться, поддерживать свое индивидуальное существование в равновесии с социальной жизнью своей породы, любить, воспроизводиться, затем умирать... К этим элементам для человека только присоединяется еще новый: мышление, познание, — способность и потребность, встречающиеся, правда в меньшей, но уже очень чувствительной степени, в породах животных, наиболее близких по организации к человеку, ибо, как кажется, в природе не существует абсолютных качественных различий, и все различия сводятся в последнем анализе к различию в количестве, — но которые только в человеке достигают такой повелительной и преобладающей силы, что мало по малу переделывают всю жизнь. Как прекрасно заметил один из величайших мыслителей наших дней, Людвиг Фейербах: человек делает все, что делают животные, но только он делает это, все более и более *человечно*. В этом все различие, но оно громадно [1]). Оно заключает в себе всю цивилизацию, со всеми чудесами промышленности, науки и искусств; со всеми развитиями человечества: религиозным, эстетическим, философским, политическим, экономическим и социальным — одним словом, всю всемирную историю. Человек создает этот исторический мир посредством действенной силы, которую вы найдете во всех живых существах и которая составляет самую сущность всей органической жизни, и стремится ассимилировать себе и переработать, согласно потребностям каждого, внешний мир. Сила эта, конечно, инстинктивна и фатальна, ибо она предшествует всякой

[1]) Никогда не будет лишним повторять это многим приверженцам современного натурализма или материализма, которые — в виду того, что человек в наши дни открыл свою полную и всецелую родственную связь со всеми другими породами животных и свое непосредственное и прямое происхождение из земли и в виду того, что он отказался от нелепых и пустых претензий спиритуализма, который, под предлогом дарования ему абсолютной свободы, приговаривал его к вечному рабству, – воображают, что это дает им право отбросить всякое уважение к человеку. Этих людей можно сравнить с лакеями, которые, открыв плебейское происхождение человека, заставившего себя уважать своими личными достоинствами, считают себя вправе относиться к нему как к равному, по той простой причине, что они не понимают другого благородства, кроме того, которое производит в их глазах аристократическое происхождение. Другие столь счастливы, открыв родственную связь человека с гориллой, что хотели бы всегда сохранить его в животном состоянии и отказываются понять, что все историческое назначение, все достоинство и свобода человека заключаются в том, чтобы удаляться от этого состояния.

мысли, но, при свете человеческого разума и определенная сознательной волей, она перерабатывается в человеке и для человека в *сознательный свободный труд.*

Единственно благодаря мысли, человек достигает сознания своей свободы в породившей его естественной среде; но только посредством *труда* он эту свободу осуществляет. Мы сказали, что деятельность, составляющая труд, т. е. *медленная работа трансформирования поверхности нашей планеты физической силой каждаго живого существа, сообразно с потребностями каждого,* встречается, более или менее развитой, на всех ступенях органической жизни. Но она начинает быть *собственно человеческим трудом* только тогда, когда, направленная человеческим разумом и сознательной волей, она перестает служить одним лишь недвижимым и фатально ограниченным потребностям исключительно животной жизни, но начинает еще служить потребностям *мыслящего существа, которое завоевывает свою человечность, утверждая и осуществляя в мире свою свободу.*

Осуществление этой безмерной, бесконечной задачи не является только делом интелектуального и морального развития, но также делом материального освобождения. Человек становится, в самом деле, человеком, он завоевывает возможность своего развития и внутреннего совершенствования лишь при условии, что он до некоторой степени, по крайней мере, разорвал рабские цепи, налагаемые природой на своих детей. Цепи эти — голод, всякого рода лишения, физическая боль, влияние климатов, времен года и вообще тысячи условий животной жизни, удерживающих человеческое существо в почти абсолютной зависимости от окружающей его среды. Эти цепи — это постоянные опасности, которые, в виде естественных явлений, со всех сторон угрожают и давят человека, это непрестанный страх, который лежит в глубине всякого животного существования, и который до того подавляет человека в естественном состоянии дикаря, что он ничего в себе не находит, что могло бы противустоять этому страху, чем бы можно было бороться с ним... одним словом, не отсутствует ни один элемент самого полного рабства. Первый шаг человека по пути к освобождению от этого рабства состоит, как мы уже сказали, в акте абстрактного мышления, которое, внутренно возвышая человека над окружающими предметами, позволяет ему исследовать их взаимоотношения и законы. Но вторым шагом является непременно материальный акт, определенный волей и направленный более или менее глубоким знанием внешнего мира: это применение мускульной силы человека к пересозданию этого мира, сообразно своим прогрессирующим потребностям. Эта борьба человека, сознательного труженника, против матери—природы, не является бунтом против нее или ее законов. Человек пользуется приобретенными им познаниями этих законов лишь с целью укрепить себя и обезопасить от грубых нападений и случайных катастроф, а также от периодических,

правильных явлений физического мира. Только самое внимательное исследование и изучение законов природы делает его способным покорить ее в свою очередь, заставить ее служить своим целям и иметь возможность видоизменять поверхность земного шара, во все более и более благоприятную среду для развития человечества.

Как видите, способность к отвлечению, источник всех наших знаний и идей, является также единственной причиной всякого человеческого освобождения. Но первое пробуждение этой способности, являющейся ничем иным, как разумом, не производит немедленно свободу. Когда она начинает действовать в человеке, медленно освобождаясь от пелены животных инстинктов, она вначале проявляется не в виде логического мышления, имеющего сознание и познание о своей собственной деятельности, но в виде *мышления вообразительного*, или неразумного рассуждения. Как таковая, она освобождает человека от естественного рабства, тяготеющего над ним с колыбели, лишь ценой немедленного подчинения его новому рабству — рабству религии.

Именно вообразительное мышление человека перерабатывает естественный культ, элементы и следы которого мы нашли у всех животных, в культ человеческий, в его элементарной форме — в форме фетишизма. Мы указали на животных, инстинктивно обожающих великие явления природы, действительно оказывающие непосредственное и могущественное влияние на их существование, но мы никогда не слыхали о животных, обожающих безобидный кусок дерева, клубок тряпки, кость или камень. Между тем, мы находим этот культ в первобытной религии дикарей и даже в католицизме. Как об‘яснить эту, повидимому, столь странную аномалию, представляющую нам, с точки зрения здравого смысла и понимания действительных вещей человека стоящим гораздо ниже, чем самые скромные животные?

Эта нелепость является продуктом вообразительного мышления дикого человека. Он не только чувствует, подобно другим животным, всемогущество природы, он делает его предметом своих непрестанных размышлений, он его закрепляет и обобщает, давая ему какое нибудь наименование, он делает из него центр, вокруг которого группируются все его детские фантазии. Еще неспособный охватить своей бедной мыслью вселенную, и даже земной шар, и даже то весьма ограниченное пространство, в котором он родился и живет, он повсюду ищет, где же именно местопребывание этого всемогущества, ощущение которого, теперь уже основанное и закрепленное, его тяготит. И игрою своей невежественной фантазии, которую нам было бы очень трудно в настоящее время понять, он переносит это всемогущество на этот кусок дерева, этот сверток тряпок, этот камень... это чистый фетишизм, самая религиозная, т. е. самая нелепая из всех религий.

Вслед за фетишизмом и часто в одно время с ним, идет *культ*

колдунов. Это культ, если не более разумный, то во всяком случае более естественный, и который удивляет нас меньше чистого фетишизма, ибо мы к нему привыкли. Мы ведь еще сегодня окружены колдунами, каковы спириты, медиумы, ясновидящие со своими магнетизерами, и даже священники римско-католической, а также восточно-греческой церкви, которые утверждают, что они имеют власть заставить Бога, с помощью каких-то таинственных формул, сойти на воду или же воплотиться в хлеб и вино.

Не являются ли все эти *поработители* божества, покоряющегося их заклинаниям, настоящими колдунами? Правда, их божество, продукт более чем тысячелетнего развития, гораздо более сложно, чем божество первобытного колдовства, единственным предметом которого является уже закрепленное, но еще неопределенное представление всемогущества, без какого-либо другого интеллектуального или морального аттрибута. Различие добра и зла, справедливого и несправедливого, здесь еще неизвестно. Неизвестно, что такое божество любит и что оно ненавидит, что оно хочет и чего не хочет; оно ни добро, ни зло, — оно всемогуще и больше ничего. Однако, характер божества уже начинает обрисовываться; оно эгоистично и тщеславно, оно любит лесть, коленопреклонение, унижение и заклание людей, их обожание и жертвоприношения, — и оно преследует и жестоко наказывает тех, которые не хотят покоряться ему: бунтующих, горделивых, нечестивых. Как известно, это основная черта божественной натуры во всех древних и современных богах, созданных человеческим неразумием. Существовало ли когда-нибудь в мире столь завистливое, тщеславное, эгоистическое, кровавое существо как Егова евреев или Бог-отец христиан?

В культе первобытного колдовства, божество или это неопределимое всемогущество, является вначале нераздельной с личностью колдуна; он сам Бог, подобно Фетишу. Но с течением времени, роль сверхестественного человека, человека-Бога, становится невозможной для реального человека и в особенности для дикаря, который еще не имеет никаких средств укрыться от нескромного любопытства верующих и остается с утра до вечера открытым для наблюдений. Здравый смысл, практический ум, продолжающие развиваться в диком народе наряду с его религиозным воображением, в конце концов показывает ему невозможность, чтобы человек, доступный всем человеческим слабостям и немощам, был Богом. — Колдун остается для народа сверхестественным существом, но только в некоторые минуты, когда он одержим духом. Но каким духом?

Духом всемогущества, Богом... Итак, божество находится в обыкновенное время, вне колдуна. — Где его искать? — Фетиш, Бог-вещь уже не удовлетворяет, колдун, человек-Бог, также. — Все эти видоизменения могли в первобытную эпоху длиться века. — Дикарь, уже сильно подвинувшийся вперед, развившийся, обогатившийся опытом и традициями мно-

гих веков, ищет теперь уже божество вдали от себя, но все еще среди реально существующих предметов: в солнце, в луне, в звездах. — Религиозная мысль начинает уже обнимать вселенную.

Как мы сказали, человек мог достигнуть этого лишь после длинного ряда веков. Его способности к абстракции, его разум, развились, укрепились, изощрились в практическом познании окружающих его предметов и в иследовании их отношений и взаимной причинности. Периодическое возвращение известных явлений природы дало ему первое понятие о некоторых естественных законах. Человек начинает интересоваться совокупностью явлений и их причинами; он ищет их об‘яснения. В то же время он начинает познавать самого себя, и благодаря той же способности к абстракции, которая позволяет ему внутренно подниматься мыслью над самим собой и делать себя об‘ектом размышления, он начинает отделять свое материальное и живое существо от своего мыслящего существа, свою внешность от своего внутреннего существа, свое тело от своей души. — Но раз это различие сделано им и закреплено в его мысли, то он естественно, необходимо переносит его в своего Бога и начинает искать невидимую душу этого видимого мира. — Таким образом, должен был родиться религиозный пантеизм индусов.

Мы должны остановиться на этом пункте, ибо именно здесь начинается собственно религия в полном смысле этого слова, и вместе с ней настоящая теология и метафизика. До сих пор религиозное воображение человека, одержимое непрестанным представлением всемогущества, двигалось естественным путем, ища причину и источник этого всемогущества путем экспериментального исследования, вначале в самых близких предметах, в фетишах, потом в колдунах, еще позже в звездах; но всегда приписывая всемогущество какому-нибудь действительному и видимому, хотя бы и отдаленному предмету. Теперь он предполагает существование духовного внемирного невидимого Бога. С другой стороны, до сих пор его боги были ограниченными, определенными существами, среди множества других небожественных существ, не одаренных всемогуществом, но не менее реально существующих. Тепер он первый раз полагает всемирное божество: Существо Существ, сущность и творец всех ограниченных и обособленных Существ, всемирная душа всей вселенной, Великое Все. Начинается настоящий Бог и вместе с ним настоящая религия.

Мы должны теперь исследовать, каким путем человек достиг этого результата, дабы познать по самому его историческому происхождению истинную природу Божества.

Весь вопрос сводится к следующему: каким образом зарождается в человеке представление о мире и идея его единства? Начнем с констатирования, что представление о вселенной для животного не может существовать, ибо это не есть предмет, непосредственно воспринимаемый

чувствами, подобно всем реальным предметам, большим и малым, далеким или близким, — это понятие абстрактное и которое, следовательно, может существовать лишь для способности отвлекательной, — т. е. для одного лишь человека. Рассмотрим же, каким образом это представление образуется в человеке. Человек видит себя окруженным внешними предметами; он сам, поскольку он живое тело, является таким предметом для своей собственной мысли. Все эти предметы, которые он постепенно и медленно начинается распознавать, находятся между собой в правильных взаимоотношениях, которые он также более или менее уясняет себе; и тем не менее, несмотря на эти взаимные отношения, сближающие их, но не соединяющие, не сливающие их в одно целое, предметы эти остаются вне друг друга.

Итак, внешний мир представляется человеку лишь бесконечным разнообразием предметов, действий и раздельных отношений без малейшей видимости единства, — это бесконечные нагромождения, но не единое целое. Откуда является единство? Оно заложено в уме человека. Человеческий ум одарен способностью к абстракции, которая позволяет ему, после того, как он медленно и по отдельности исследовал, один за другим, множество предметов, охватить их в мгновение ока в едином представлении, соединить их в одной и той же мысли. — Таким образом, именно мысль человека создает единство и переносит его в многообразие внешнего мира.

Отсюда вытекает, что это единство является вещью не конкретной и реальной, но абстрактной, созданной единственно способностью человека абстрактно мыслить. Мы говорим абстрактно мыслить, ибо для того, чтобы об'единить столько различных предметов в единое представление, наша мысль должна отвлечься от всего, что составляет различие между этими предметами, и удержать лишь то, что они имеют общего; отсюда вытекает, что чем более предметов об'емлет мыслимое нами единство, чем более оно возвышается, чем более разростается то общее, что заключается в нем, что его определяет, составляет его содержание, — тем более абстрактным и лишенным реальности оно становится. Жизнь со всеми своими переходящими избытками и великолепиями находится внизу, в разнообразии, — смерть со своей вечной и несравненной монотонностью находится вверху, в единстве. — Поднимитесь, в силу той же способности к абстракции, выше и выше, уйдите за пределы земного мира, охватите в одной мысли солнечный мир, представьте себе это высшее единство; что же вам останется для его заполнения? — Дикарь был бы очень затруднен в ответе на этот вопрос! Но мы ответим за него: останется материя с тем, что мы называем силой абстракции, движущаяся материя со своими различными проявлениями, каковы свет, теплота, электричество и магнетизм, которые, как это теперь доказано, суть различные проявления одной и той же вещи. — Но если в силу той же способности к отвлечению, не имеющей пре-

делов, вы поднимаетесь выше нашей солнечной системы и об'едините в своей мысли не только эти миллионы солнц, видимые нами на небосклоне в виде светящих точек, но еще бесконечное множество других солнечных систем, которые мы не видим и никогда не увидим, но существование которых мы предполагаем, ибо наша мысль по той самой причине, что она не знает пределов своей способности к абстракции, отказывается верить, чтобы вселенная, т. е. совокупность всех существующих миров могла иметь предел или конец, — потом отвлекшись все тою же мыслью, от отдельных существований каждого из существующих миров, если вы попытаетесь представить себе единство этого бесконечного мира — что вам останется, для его определения и заполнения? Одно слово, одна абстракция: *неопределенное Существо*, т. е. неподвижность, пустота, абсолютное небытие — Бог.

Итак, Бог—это абсолютная абстракция, это собственный продукт человеческой мысли, которая, как сила абстракции, поднялась над всеми известными существами, всеми существующими мирами, и освободившись тем самым от всякого реального содержания, сделавшись уже ничем иным, как абсолютным миром, не узнавая себя в этой величественной обнаженности, становится перед самой собой—как *единственное и высшее Существо.*

Нам могут возразить, что мы сами утверждали, на предыдущих страницах, *реальное единство вселенной* и определили его, как всемирную связность и причинность, как единственное всемогущество, управляющее всеми вещами и ощущаемое более или менее всеми живыми существами, а теперь как будто бы отрицаем его. Но нет, мы его вовсе не отрицаем; мы лишь утверждаем, что между этим реальным всемирным единством и идеальным единством, к которому приходит путем абстракции религиозная и философская метафизика, нет ничего общего. Мы определили первое, как бесконечную сумму предметов или лучше, как сумму непрестанных видоизменений всех реальных существ, также как их постоянных действий и противодействий, которые, комбинируясь в одно движение, образуют, как мы сказали, так называемую всемирную солидарность или причинность. Мы прибавили, что мы понимаем эту солидарность не как первичную и абсолютную причину, но напротив того, как *производную*, как результат, постоянно повторяющийся, единовременного действия всех частных причин — действия, которое и составляет собственно *всемирную причинность*—вечно творящую и творимую. Определив ее таким образом, мы сочли возможным сказать, не боясь более никакого недоразумения, что эта всемирная причинность творит миры. И хотя мы очень настойчиво прибавляли, что она это делает без какой-либо предшествующей мысли или воли, без какого-либо плана, без какой-либо преднамеренности или предопределенности со своей стороны—ибо она сама не имеет никакого отдельного и предшествующего существования вне своей непрестанной

реализации и является ничем иным, как абсолютной производной—тем не менее мы теперь видим, что это выражение—*творит*, не является ни счастливым, ни точным и что, несмотря на все прибавленные об'яснения, оно может еще дать повод к недоразумениям,—до того мы привыкли связывать с этим словом *творение* мысль о сознательном творце, о творце, отдельном от своего произведения.—Мы должны были бы сказать, что каждый мир, каждое существо бессознательно, непроизвольно происходит, рождается, развивается, живет, умирает и переходит в новое существо под влиянием всемогущей, абсолютной всемирной солидарности,—и, чтобы выразить нашу мысль еще более точно, мы прибавим теперь, что *реальное единство вселенной является ничем иным, как абсолютной связностью и бесконечностью ее реальных трансформаций, ибо непрестанная трансформация каждого отдельного существа составляет единственную, подлинную реальность каждого, так как вселенная ничто иное, как история без границ, без начала и без конца.*

Подробности этой истории бесконечны. Человеку всегда придется ограничиваться только познанием ее бесконечно малой части. Наше звездное небо со своим множеством солнц, образует лишь незаметную точку в неизмеримости пространства, и хотя мы обнимаем его взглядом, мы никогда о нем почти ничего не узнаем. Мы принуждены ограничиваться некоторым познанием нашей солнечной системы, относительно которой мы предполагаем, что она в совершенной гармонии с остальными частями вселенной; ибо если бы не было этой гармонии, то или она должна бы была установиться, или же наша солнечная система погибла бы. Эту последнюю мы знаем уже очень недурно, с точки зрения небесной механики, и начинаем знакомиться с ней также с точек зрения физической, химической и даже геологической. Наша наука с трудом перейдет этот предел. Если мы ищем более конкретных познаний, мы должны придерживаться нашего земного шара. Мы знаем, что он создался во времени, и мы предполагаем, что через некоторое, неизвестное нам число веков он должен погибнуть,—как рождается и погибает или лучше трансформируется все, что существует.

Каким образом наш земной шар, бывший вначале раскаленной, газообразной, несравненно более легкой чем воздух, материей,—охладился, образовался, чрез какой нескончаемый ряд геологических переворотов должен он был пройти, прежде, чем был в состоянии произвести на своей поверхности все это бесконечное богатство органической жизни, начиная с первой и самой простой клеточки и кончая человеком? Как он видоизменялся, и продолжает ли он свое развитие в историческом и социальном мире человека? Куда мы направляемся, толкаемые верховным фатальным законом непрестанного видоизменения?

Вот единственно доступные нам вопросы; единственные вопросы, которые могут и должны быть действительно охвачены, детально разработаны

и разрешены человеком. Являясь, как мы уже сказали, лишь незаметной точкой в безграничном и неопределимом вопросе вселенной, эти вопросы являют тем не менее нашему уму истинно бесконечный мир—не в божественном, т. е. абстрактном смысле этого слова, не в смысле верховного существа,—создания религиозной абстракции; напротив того, бесконечный по богатству своих подробностей, которых никогда не будут в состоянии исчерпать никакое наблюдение и никакая наука.

И для того, чтобы познать *этот* мир, *наш* бесконечный мир, недостаточно одной абстракции. Она бы снова привела нас к Богу, к Верховному Существу, к небытию. Необходимо, не переставая применять нашу способность к абстракции, без которой мы бы никогда не смогли возвыситься от более простого рода вещей к более сложному роду и, следовательно, никогда не смогли бы понять естественную иерархию существ,—необходимо, говорим мы, чтобы ум с уважением и любовью занимался тщательным изучением деталей и бесконечно малых подробностей, без которых нам невозможно представить себе живую реальность существ. Итак, только соединяя эти две способности, эти две, на вид столь противоположные тенденции: абстракцию и внимательный, добросовестный, терпеливый анализ, можем мы возвыситься до реального понятия *о нашем не внешне, но по существу бесконечном мире* и составить себе до некоторой степени достаточное представление о *нашей* вселенной—о нашем земном шаре или, если хотите, о нашей солнечной системе. Теперь, очевидно, что если наше чувство и наше воображение и могут дать нам образ, представление по необходимости более или менее ложное об этом мире, если они и могут даже, посредством своего рода интуитивной догадки, дать нам почувствовать тень, отдаленное подобие истины, то чистую и всецелую истину может нам дать только наука.

В чем же причина этой властной любознательности, толкающей человека к познанию окружающего его мира, к преследованию с неутомимой страстью открытия тайн этой природы, последним и самым совершенным созданием которой на нашей земле, он сам является? Является ли эта любознательность простой роскошью, приятным времяпрепровождением или же одной из существенных необходимостей нашей природы? Мы, не колеблясь, утверждаем, что из всех потребностей, присущих природе человека, это наиболее человеческая, и что он действительно становится человеком, что он действительно отличается от животных всех других пород, лишь благодаря этой неутомимой жажде знания. Дабы проявить себя во всей полноте своего существа, человек должен, как мы сказали, себя познать, а он никогда себя действительно не познает, пока он не познает окружающую его природу, продуктом которой он сам является.—Если человек не хочет отказаться от своей человечности, он должен *знать*, он должен проникнуть мыслью в видимый мир, и, не предаваясь надежде постичь когда-нибудь его сущность, углубляться все более и более в изучение его

законов, ибо наша человечность приобретается лишь этой ценой. Человеку нужно познать все низшие, предшествовавшие и современные ему области, все механические, физические, химические, геологические и органические эволюции на всех ступенях развития растительной и животной жизни,— т. е. все причины и условия его собственного рождения и его существования, дабы он мог понять свою собственную природу и свое назначение на земле—его отечестве и единственном местожительстве,—дабы в этом мире слепой фатальности он мог основать царство свободы.

Такова задача человека: она неисчерпаема, она бесконечна и совершенно достаточна для удовлетворения самых честолюбивых умов и сердец. Мимолетное и неприметное существо среди безбрежного океана всемирной видоизменяемости, с неведомой вечностью позади него и такой же неведомой вечностью впереди, человек мыслящий, деятельный, сознающий свое человеческое назначение остается гордым и спокойным в сознании своей свободы, которую он сам завоевывает, просвещая, подкрепляя, освобождая и в случае нужды бунтуя окружающий его мир. Вот его утешение, его награда, его единственный рай. Если вы его спросите после этого, каково его внутреннее убеждение и последнее слово относительно реального единства вселенной, то он вам скажет, что оно заключается в *вечной и всемирной видоизменяемости* в безграничном движении без начала и без конца.—А это абсолютная противуположность всякому учению о Провидении,—отрицание Бога.

Во всех религиях, делящих между собой мир и обладающих, более или менее, развитой теологией—за исключением, впрочем, Буддизма, странная и совершенно непонятая несколькими сотнями миллионов последователей доктрина которого устанавливает религию без Бога, во всех системах метафизики Бог является сам, как верховное существо, предвечно существовавшее и все предопределившее, все в себе содержащее, являющееся самомыслью и действенной волей, началом всего существующего и предшествовавшее всему существующему, являющееся источником и вечной причиной всякого творения и пребывающее неподвижным и вечно равным самому себе во всемирном движении сотворенных миров. Как мы видели, этот Бог не находится в действительном мире, по крайней мере, в той его части, которая доступна человеку. Будучи не в состоянии найти его вне самого себя, человек должен был найти его в себе самом. Каким образом он его искал?—Отвлекаясь от всех живых, реальных вещей, от всех видимых известных миров.—Но мы видели, что в конце этого бесплодного путешествия, абстракция находит единственный предмет,—себя самою но уже без всякого содержания и лишенную всякого движения,—как образ неподвижности и пустоты. Мы бы сказали: полнейшее небытие. Но религиозная фантазия называет это Высшим Существом—Богом.

Впрочем, как мы уже заметили, она наведена на это примером того различия или даже противоположения, которые, уже в значительной мере

развитое мышление начинает делать между внешней оболочкой человека—телом и его внутренним миром, заключающим в себе его мысль и волю—словом, человеческую душу. Не подозревая, что эго последняя является ничем иным, как продуктом и последним, вечно возобновляемым и воспроизводимым выражением человеческого организма; видя, напротив, что в повседневной жизни тело кажется всегда повинующимся внушениям мысли и воли; предполагая, следовательно, что душа есть, если не творец, то, по крайней мере, всегдашний господин тела, для которого не остается, другого назначения, как служить ей и проявлять ее, — религиозный человек,—с момента, как он благодаря своей способности к абстракции дошел описанным нами образом, до идеи всемирного и всевышнего существа, которое, как мы доказали, является ничем иным, как абстракцией,—естественно принимает его за душу всей вселенной—за Бога.

Таким образом, появился первый раз в истории настоящий Бог—всемирное, вечное, неизменное существо, созданное игрою религиозного воображения и абстрактным мышлением человека. Но с того момента, как Бог был таким образом познан и утвержден, человек, забывая или скорее даже не зная об умственной деятельности своего мозга, которая и была единственным творцом Бога, и не узнавая себя более в своем собственном творении: *всемирной абстракции*, начал его обожать. Роли тотчас же переменились: сотворенный стал предполагаемым творцом, а настоящий творец, человек, занял место между множеством других несчастных тварей, в качестве бедной твари, еле-еле привилегированной по сравнению с остальными.

Раз Бог был признан, то дальнейшее прогрессивное развитие различных теологий естественно об'ясняется, как отражение исторического развития человечества. Ибо, раз идея сверх'естественного и всевышнего существа завладела воображением человека и установилась в нем как религиозное убеждение, до того, что реальность этого существа кажется ему более несомненной, чем реальность действительных вещей, которые он видит и осязает руками,—то естественно, эта идея должна сделаться главным основанием всего человеческого существования, что она видоизменяет его, проникает и властвует над ним исключительным и абсолютным образом. Верховное существо тотчас же представляется, как абсолютный господин, как мысль, воля, источник, как творец и управитель всех вещей. Ничто не может более соперничать с ним, и все должно исчезнуть в его присутствии, так как истина лишь в нем одном и каждое отдельное существо, сколь бы ни было оно могущественно, и даже сам человек, могут с этих пор существовать лишь с божьего соизволения. Все это, впрочем, совершенно логично, ибо в противном случае Бог не был бы всевышним, всемогущим, абсолютным существом, т. е. его совсем бы не было.

С этих пор, как естественное следствие, человек приписывает Богу все качества, все силы, все добродетели, которые он постепенно открывает

в себе или в окружающей среде. Мы видели, что Бог, полагаемый, как верховное существо, и являющийся в действительности ничем иным, как лишь абсолютной абстракцией,—совершенно лишен всякого содержания и аттрибутов, гол и пуст, как само небытие. И как таковой, он наполняется и обогащается всеми реальностями существующего мира, и являясь лишь абстракцией его, представляется Господом и Владыкой религиозной фантазии человека. Отсюда вытекает, что Бог это абсолютный грабитель, и что, так как антропоморфизм составляет самую сущность всякой религии, небо, местопребывание бессмертных Богов, является ничем иным, как неверным зеркалом, которое отсылает верующему человеку его собственное изображение в обратном и увеличенном виде.

Ибо действие религии заключается не только в том, что она отнимает у земли естественные богатства и силы, а у человека его способности и добродетели по мере того, как он открывает их в своем историческом развитии, чтобы тотчас же перенести их на небо и превратить в божества или божественные аттрибуты. Сделав это превращение, религия еще коренным образом изменяет характер этих сил и качеств, она их извращает, портит, давая им направление, диаметрально противоположное их первоначальному направлению.

Таким образом, человеческий разум, единственный орган, которым мы обладаем для познания истины, становясь божественным разумом, делается для нас совершенно непонятным и внедряется в сознание верующих, как откровение нелепого. Таким образом, уважение к небу переходит в презрение к земле, а обожание божества в унижение человечества. Человеческая любовь, эта громадная естественная солидарность, которая связывая всех индивидов, все народы, и делая счастье и свободу каждого зависящими от свободы и счастья всех других, несмотря на различия цвета кожи и рас, должна соединить рано или поздно всех людей во всеобщем братстве,—эта любовь, сделавшись божественной любовью и религиозным милосердием, тотчас же становится бичем человечества: вся кровь, пролитая во имя религии, с начала истории, все эти миллионы человеческих жертв, закланные ради большей славы Богов, свидетельствуют об этом... Наконец сама справедливость, эта будущая мать равенства, раз только она перенесена религиозной фантазией в небесные области и переделана в божественную справедливость, тотчас же возвращается на землю уже под теологической формой благодати, и становясь всегда и везде на сторону самых сильных, сеет среди людей лишь насилия, привилегии, монополии и все чудовищные неравенства, освященные историческим правом.

Мы не претендуем отрицать историческую необходимость религии, мы не утверждаем, что она была абсолютным злом в истории. Если она зло, то она была и, к несчастью и поныне, остается для громадного большинства невежественного человечества злом неизбежным, подобно всяким вообще ошибкам и уклонениям в сторону, неизбежным в развитии всякой человe-

ческой способности. Религия, как мы сказали, это первое пробуждение человеческого разума в форме божественной неразумности, это первый проблеск человеческой истины сквозь божественные покровы лжи; это первое проявление человеческой морали, справедливости и права сквозь исторические несправедливости божественной благодати; наконец, это школа свободы под унизительным и тягостным игом божества, игом, которое, в конце концов необходимо надо будет свергнуть, чтобы на самом деле завоевать разумный разум, настоящую истину, полную справедливость и действительную свободу.

В религии, человек животное, выйдя из звериного состояния, делает первый шаг к человечности; но покуда он останется религиозным, он никогда не достигнет своей цели, ибо всякая религия присуждает его к нелепости, и, ведя его по ложному пути, заставляет искать божественное вместо человеческого. В религии народы, едва освободившись от естественного рабства, в котором остаются животные других пород, тотчас же впадают в новое рабство, в рабство к сильным людям и кастам, привилегированным, благодаря божественному избранию.

Один из главных аттрибутов, бессмертных Богов, это, как известно, быть законодателями человеческого общества, основателями Государства. Человек, по уверению почти всех религий, был бы неспособен распознать, что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо, если бы он был предоставленным собственным силам. Итак, необходимо было, чтобы само божество, тем или другим способом, спустилось на землю, чтобы просветить человека и основать в человеческом обществе политический и социальный порядок. Отсюда вытекает следующее торжествующее заключение: все законы и все придержащие власти освящены небом и им должно всегда и во что бы то ни стало оказывать слепое повиновение.

Это очень удобно для правителей и очень неудобно для управляемых. А так как мы принадлежим к последним, то все наши интересы требуют ближайшего рассмотрения основательности этого утверждения, которое всех нас обратило в рабов. Мы должны найти средство освободиться от его ига.

Вопрос теперь для нас чрезвычайно упростился. Бог, не существующий или являющийся ничем иным, как продуктом нашей способности к абстракции, соединенной с религиозным чувством, доставшимся нам по наследству от животных; Бог, являющийся лишь всемирным абстрактумом, лишенным всякого движения и самостоятельного действия,—это абсолютное Небытие, представляемое в виде всевышнего существа и награжденное жизнью одной лишь религиозной фантазией, абсолютно лишенное всякого содержания и обогащающееся всеми реальностями земли; возвращающее

человеку в извращенном, испорченном виде то, что оно раньше у него отняло. Бог не может быть ни добр, ни зол, ни справедлив, ни несправедлив. Он не может ничего желать, ничего устанавливать, ибо, в сущности, он ничто, и становится всем лишь благодаря религиозному легковерию. Поэтому, если это последнее нашло в нем идеи справедливости и добра, то только потому, что раньше само вложило их в него, не подозревая этого; думая, что получает, оно само вкладывало. Но, чтобы вложить эти идеи в Бога, человек должен был их иметь! Где он их нашел? Конечно, в себе самом. Но все, что он имеет, он получил сперва в своем животном состоянии,—ибо его дух ничто иное, как выявление, слово его животной природы. Итак, идеи справедливости и добра должны иметь, подобно всем другим человеческим вещам, корень в самой животности человека.

И в самом деле, элементы того, что мы называем *моралью*, находятся уже в животном мире. Во всех породах животных, без малейшего исключения, и лишь с громадной разницей в отношении развитости, мы встречаем два противоположных инстинкта; инстинкт сохранения индивида и инстинкт сохранения породы, или, говоря человеческим языком, *эгоистический инстинкт и инстинкт социальный.* С точки зрения науки, как и с точки зрения самой природы, эти два инстинкта равно естественны и следовательно законны, и что всего важнее, равно необходимы в естественной экономии существ. Индивидуальный инстинкт является основным условием сохранения породы; ибо если бы индивиды не защищались всеми силами против всех лишений, всех внешних опасностей, непременно угрожающих их существованию, то не могла бы существовать и сама порода, которая живет лишь в индивидах и через индивидов. Но если бы мы захотели судить об этих двух стремлениях, стоя лишь на точки зрения исключительного интереса породы, то мы сказали бы, что социальный инстинкт хорош, а индивидуальный, поскольку он ему противоположен, дурен. У муравьев, у пчел добродетель преобладает над пороком, ибо у них социальный инстинкт, как кажется, совершенно подавляет индивидуальный инстинкт. Совершенно противоположное видим мы у диких зверей, и мы не ошибемся, если скажем, что в животном мире, вообще, преобладает эгоизм. Напротив того, инстинкт породы пробуждается лишь на короткий срок и длится лишь столько времени, сколько необходимо для воспроизведения и воспитания семьи.

Иначе обстоит дело с человеком. Повидимому, и это одно из доказательств великого превосходства человека над всеми другими породами животных,—оба противоположные инстинкта, эгоизм и общественность в человеке и гораздо могущественнее и гораздо нераздельнее друг от друга, чем во всех животных низших пород. Человек в своем эгоизме, свирепее самых кровожадных зверей, и в то же время он более общественен, чем пчелы и муравьи.

Проявление в каком-либо животном большей силы эгоизма, т. е. большей индивидуальности, является несомненным доказательством сравнительно большого совершенства его организма и знаком более развитой сознательности. Каждая порода животных подчинена, как таковая, специальному естественному закону, т. е. развивается и сохраняется особыми, только ей свойственными путями, которые отличают ее от всех прочих животных пород. Закон этот не имеет реального существования, помимо живых индивидов, принадлежащих к управляемой им породе: вся реальность этого закона в этих индивидах, но он абсолютно управляет ими и они являются его рабами. В самых низших породах этот закон проявляется скорей как процесс растительной, чем животной жизни; он почти совершенно чужд им, являясь почти внешним законом, которому индивиды, если только к ним можно применить это название, повинуются, так сказать, механически. Но чем более усложняются породы, приближаясь прогрессивно все более к человеку, тем более индивидуализируется управляющий ими специальный, родовой закон, тем более он осуществляется и проявляется в каждом индивиде, который тем самым приобретает более определенный характер, более обособленную физиономию, так что, продолжая повиноваться этому закону так же фатально, как и другие, индивид раз этот закон проявляется в нем больше под видом его собственного стремления, под видом скорей внутренней, чем внешней необходимости,—несмотря на то, что эта внутренняя необходимость всегда является в нем продуктом множества внешних причин, *о чем он не подозревает*,—чувствует себя более свободным, более автономным, более самостоятельным, чем индивиды низших пород. Он начинает ощущать свою *свободу*.

Мы можем, стало быть, сказать, что сама природа в своих прогрессивных видоизменениях стремится к освобождению, и что уже большая индивидуальная свобода внутри природы является несомненным знаком превосходства. Существом, сравнительно, *самым индивидуальным и самым свободным*, с точки зрения животного царства, является бесспорно человек.

Мы сказали, что человек это самое индивидуальное из земных существ,—но он является и самым *социальным* из всех существ. Большой ошибкой со стороны Ж. Ж. Руссо было предположение, что первобытное общество было основано посредством свободного договора, заключенного дикарями между собой. Но не один Руссо это утверждает. Большинство современных юристов и публицистов, из школы Канта, или из всякой другой индивидуалистической и либеральной школы, не признающие ни общества, основанного на божественном праве теологов, ни общества, определяемого гегелианской школой, как более или менее мистическую реализацию об'ективной морали, ни первобытно-животного общества натуралистов, берут volens nolens и за неимением другого основания,—за свою исходную точку *молчаливый договор*. Молчаливый договор! Т. е. контракт без слов и,

следовательно, без мысли, без воли,—возмутительная нелепость! Бессмысленная фикция и, что хуже, злая фикция. Недостойное надувательство! Ибо оно предполагает, что в то время, когда я еще не был в состоянии ни желать, ни думать, ни говорить только тем, что я давал себя обирать без протеста, я уже дал согласие на вечное рабство как свое, так и всего своего потомства!

Последствия *общественного договора* поистине злополучны, ибо они приводят к абсолютному властвованию Государства. И, однако, взятый за исходную точку, принцип кажется чрезвычайно либеральным. Индивиды, до заключения этого контракта, предполагаются пользующимися всецело свободой, ибо, согласно этой теории, только естественный человек, дикарь, и обладает полной свободой. Мы высказали свое мнение об этой естественной свободе, которая является ничем иным, как абсолютной зависимостью человека—гориллы от постоянного влияния внешнего мира. Но предположим, что человек действительно свободен в исходной точке своей истории: зачем бы тогда, спрашивается, образовываться обществу? Для того, отвечают, чтобы гарантировать индивиду безопасность от возможных вторжений этого самого внешнего мира, включая сюда всех других людей, живущих обществами или нет, но которые не принадлежат к этому новому образовывающемуся обществу.

Итак, вот каковы эти первобытные люди, совершенно свободные, каждый сам по себе и для себя самого, но которые пользуются этой безграничной свободой лишь покуда не встретятся друг с другом, лишь поскольку остаются погруженными в абсолютное индивидуальное одиночество. Свобода одного не нуждается в свободе другого; напротив того, каждая из этих индивидуальных свобод довольствуется сама собой, существует сама по себе, так что свобода каждого необходимо представляется отрицанием свободы всех других, и все свободы, встречаясь одна с другой, должны взаимно ограничивать друг друга и уменьшать, должны противоречить одна другой и взаимно уничтожать друг друга...

Дабы не уничтожить друг друга совершенно, они заключают между собой явный или молчаливый *договор*, посредством которого они отдают часть самих себя, чтобы обеспечить остальное. Этот договор становится основанием общества или лучше сказать Государства; ибо надо заметить, что в этой теории нет места для общества, в ней существует только Государство, или лучше сказать общество в ней совершенно поглощено Государством.

Общество, это естественный образ существования человеческого коллектива, независимо от всякого договора. Оно управляется правами и традиционными обычаями, но не законами. Оно медленно прогрессирует, движимое импульсами индивидуальной инициативы, а не мыслью и волей законодателя. Существует много законов, управляющих обществом без его ведома, но это законы естественные, присущие социальному телу, как физи-

ческие законы присущи материальным телам. Большая часть этих законов до сих пор не открыта, а между тем они управляли человеческим обществом с его рождения, независимо от мысли и воли составлявших его людей. Отсюда вытекает, что их не надо сравнивать с законами политическими и юридическими, которые, провозглашенные какой-нибудь законодательной властью в разбираемой нами теории, признаются логическими выводами первого договора, сознательно заключенного людьми.

Государство не является непосредственным продуктом природы; оно не предшествует, как общество, пробуждению мысли в человеке, и мы попытаемся в дальнейшем показать, каким образом *религиозное сознание создает его в естественном обществе*. По мнению либеральных публицистов, первое Государство было создано свободной и сознательной волей людей; по мнению абсолютистов, оно является созданием божества. В обоих случаях оно главенствует над обществом и стремится его совершенно поглотить.

Во втором случае это поглощение понятно само собой: божественное учреждение необходимо должно пожрать всякую естественную организацию. Любопытнее всего то, что индивидуалистическая школа со своим свободным договором приходит к тому же результату. И в самом деле, эта школа начинает с отрицания самого существования естественного общества, предшествовавшего заключению договора—ибо подобное общество предполагает между индивидами естественные отношения и, следовательно, *взаимное ограничение их свобод*, что противоречило бы абсолютной свободе, которою каждый, согласно этой теории, пользуется до заключения договора, и что было бы ни более ни менее, как этот самый договор, существующий как естественный факт и даже предшествующий свободному договору. Согласно этой теории, стало быть, человеческое общество начинается лишь с заключения договора. Но тогда что такое это общество? Это чистое, логическое осуществление договора со всеми его предначертаниями и законодательными и практическими следствиями,—это Государство.

Рассмотрим его поближе. Что оно из себя представляет? Сумму отрицаний индивидуальных свобод всех его членов; или же сумму жертв, приносимых всеми его членами, отказывающимися от доли своих свобод в пользу общего блага. Мы видели, что согласно индивидуалистической теории, свобода каждого составляет границу или естественное отрицание свободы всех других. Так вот это абсолютное ограничение, это отрицание свободы каждого во имя свободы всех или общего права,—это и есть Государство. Стало быть, там, где начинается Государство, кончается индивидуальная свобода и наоборот.

Мне ответят, что Государство, представитель общественного блага или всеобщего интереса, отнимает у каждого часть его свободы, лишь для того, чтобы обеспечить ему остальное. Но это остальное, это, если хотите, безопасность, но никак не свобода. Свобода неделима: нельзя урезать часть

ее, не убивая целого. Та малая часть, которую вы урезываете, составляет самую сущность моей свободы, она все. В силу естественного, необходимого и непреоборимого влечения, вся моя свобода концентрируется, именно в той части, которую вы урезываете, сколь бы ни была мала эта часть. Это история жены Синей Бороды, которая имела в своем распоряжении целый дворец с полной и всецелой свободой проникать всюду, видеть и трогать все, за исключением маленькой комнатки, которую всевластная воля ее ужасного мужа запретила ей открывать под страхом смерти. И вот, отвернувшись от всех великолепий дворца, все ее внимание сосредоточилось на этой плохой, маленькой комнатке: она открыла ее и была права, открывая ее, ибо это был необходимый акт ее свободы, между тем, как запрещение входить туда было вопиющим нарушением этой самой свободы. Это также история грехопадения Адама и Евы: запрещение вкусить плод от дерева познания добра и зла на том только основании, что такова была воля Господа, являлись со стороны Бога актом ужасного деспотизма, и если бы наши прародители послушались, весь человеческий род оставался бы погруженным в самое унизительное рабство. Напротив, их непослушание нас освободило и спасло. Это было, говоря мифически, первым актом человеческой свободы.

Но, скажут мне, Государство, демократическое Государство, основанное на свободном всеобщем избирательном праве всех граждан, не может быть отрицанием их свободы. А почему же нет? Это будет вполне, зависеть от назначения и власти, какие граждане предоставят Государству. Республиканское Государство, основанное на всеобщем избирательном праве, может быть очень деспотичным, более даже деспотичным, чем монархическое Государство, если под тем предлогом, что оно является представителем всеобщей воли, оно будет давить волю и свободное движение каждого из своих членов всею тяжестью своего коллективного могущества.

Но Государство, скажут еще, ограничивает свободу своих членов лишь постольку, поскольку эта свобода направлена к несправедливости, ко злу. Оно мешает им убивать друг друга, грабить друг друга и оскорблять друг друга и вообще делать зло, но оно, наоборот, предоставляет им полную и всецелую свободу делать добро. Это опять все та же история Синей Бороды или запретного плода: что такое зло, что такое добро?

С точки зрения разбираемой нами системы, до заключения договора не существовало различия между добром и злом, тогда каждый индивид одиноко пользовался своей свободой и своим абсолютным правом и не оказывал никакого внимания к свободе других, за исключением тех случаев, когда этого требовала его слабость или относительная сила,—другими словами, его благоразумие и личный интерес [1]). Тогда, согласно все той же

[1]) Подобные отношения, которые, впрочем, никогда не могли существовать между первобытными людьми, ибо социальная жизнь предшествовала пробуждению индивидуаль-

теории, эгоизм был верховным законом, единственным правом: добро определялось успехом, зло—одной только неудачей, и справедливость была ничем иным, как признанием совершившегося факта, как бы он ни был ужасен, жесток и отвратителен,—совсем, как в политической морали, преобладающей в настоящее время в Европе.

Различие между добром и злом начинается, согласно этой системе, лишь по заключении общественного договора. Тогда все, что было признано составляющим общее благо, было провозглашено добром, а все, что было противно этому благу,—злом. Договаривающиеся члены, сделавшись гражданами, связав себя более или менее торжественным обещанием, тем самым наложили на себя обязанность подчинять свои частные интересы общему благу, неразделенному интересу всех, и свои личные права отделили от общественного права, единственный представитель которого, Государство, было тем самым облечено властью подавлять всякий бунт индивидуального эгоизма, но с обязанностью защищать неприкосновенность прав каждого из своих членов, пока эти права не вступают в противоречие с правом общим.

Теперь мы рассмотрим, что должно из себя представлять таким образом устроенное Государство, как в его отношениях к другим, подобным ему, Государствам, так и в его отношениях к управляемому им населению. Это исследование представляется нам тем более интересным и полезным, что Государство, как оно определяется в этой теории, есть именно современное Государство, поскольку оно отбросило религиозную идею: это *светское или атеистическое Государство*, провозглашенное современными публицистами. Посмотрим же, в чем состоит его мораль? — Это, как мы сказали, современное Государство, освободившееся из под ига церкви, и, следовательно, отбросившее всемирную или космополитическую мораль христианской религии, и, прибавим мы, еще не дошедшее до гуманитарной идеи, не проникшееся гуманитарной моралью, что, впрочем, ему невозможно сделать, не уничтожая себя, ибо в своем обособленном существовании и обособленной концентрации, государство является слишком узким, чтобы быть в состоянии охватить, вместить интересы всего человечества и, следовательно, и всечеловеческую мораль.

Современные Государства достигли именно вышеописанного состояния. Христианство служит им лишь предлогом и фразой, или средством обманы-

---

ного сознания и сознательной воли людей и потому что вне общества ни один человеческий индивид никогда не мог пользоваться ни абсолютной, ни даже относительной свободой,—подобные отношения, совершенно тождественны с теми, которые существуют в настоящее время между современными Государствами, каждое из которых считает себя облеченным абсолютной свободой, властью и правом, исключающими свободу всех других Государств. Поэтому, оно оказывает всем другим Государствам лишь то внимание, которого требует его собственный интерес,—что и производит между всеми государствами постоянную скрытую или открытую войну.

вать простецов, ибо они преследуют цели, не имеющие никакого отношения к религиозным идеям. И великие государственные люди наших дней: Пальмерстоны, Муравьевы, Кавуры, Бисмарки, Наполеоны очень бы посмеялись, если бы кто нибудь принял в серьез их религиозные убеждения. Они бы посмеялись еще более, если бы им приписали гуманитарные чувства, намерения и стремления, которые они не пропускают случая публично обозвать глупостью. Что же им остается для образования морали? Единственно, государственный интерес. С этой точки зрения которая, впрочем, за очень малыми исключениями, была точкой зрения государственных людей, *сильных людей* всех времен и всех стран, все что служит к сохранению, возвеличению и укреплению государства, как бы это ни было святотатственно с религиозной точки зрения, как бы это ни казалось возмутительным с точки зрения человеческой морали, — является *добром*, и, наоборот, все что противоречит государственному интересу, хотя бы в других отношениях это было самой святой и самой человечески справедливой вещью, — является *злом*. Такова в своей неподдельности мораль и вековая практика всех Государств.

Такова же мораль Государства, основанного на теории общественного договора. Согласно этой системе, добро и справедливость начинают существовать лишь с заключения договора и являются ничем иным, как содержанием и целью договора т. е. *общим благом* и *общественным правом* всех заключивших его индивидов, — *исключаются все не принимавшие участия в заключении договора*. Следовательно, под добром в этой системе понимается лишь *наибольшее удовлетворение коллективного эгоизма частной и ограниченной ассоциации*, которая, будучи основана на частичном пожертвовании индивидуальным эгоизмом с стороны каждого из ее членов, выключает из своей среды, как иностранцев и естественных врагов, огромное большинство человеческого рода, входящее или не входящее в подобные же ассоциации.

Существование одного какого нибудь ограниченного Государства предполагает и, в случае нужды, вызывает образование нескольких других Государств, ибо, естественно, индивиды, находящие я вне его и угрожаемые с его стороны в своем существовании и свободе, соединяются, в свою очередь, против него. И вот человечество разбивается на бесконечное число Государств, чуждых, враждебных и угрожающих друг другу. Между ними нет общественного договора, нет общего права, иначе в противном случае они бы перестали быть абсолютно независимыми друг от друга Государствами и сделались бы составными частями одного великого Государства. Но если только это великое Государство не охватит все человечество, оно будет иметь против себя другие великие, внутренно федеративные Государства, которые необходимо будут относиться к нему с тою же враждебностью, и война останется верховным законом и внутренней необходимостью в жизни человечества.

Каждое государство, федеративно или нет его внутреннее устройство, должно стремится, под страхом гибели, сделаться самым могущественным. Оно должно пожирать, дабы не быть пожранным, завоевывать, чтобы не быть завоеванным, порабощать, чтобы не быть порабощенным, ибо две равныя, но в то же время противуположные силы не могут существовать, не уничтожая друг друга.

Государство, — это самое вопиющее, самое циническое и самое полное отрицание человечества. Оно разрывает всемирную солидарность всех людей на земле, и соединяет часть их лишь с целью уничтожения, завоевания и порабощения всех остальных. Оно берет под свое покровительство лишь своих собственных граждан, признает человеческое право, человечность и цивилизацию лишь внутри своих собственных границ; не признавая вне себя самого никакого права, оно логически присвоивает себе право самой свирепой бесчеловечности по отношению ко всем чужим народностям, которых оно может по своему произволу громить, уничтожать или порабощать. Если оно и выказывает по отношению к ним великодушие и человечность, то никак не из чувства долга; ибо оно имеет обязанности, во первых, лишь по отношению к самому себе; и, во вторых, к тем из своих членов, которые его свободно основали, которые продолжают его свободно составлять, или же, как это всегда в конце концов случается, сделались его подданными. Так как международное право не существует, *так как оно никак не может существовать серьезным и действительным образом, не подрывая в самом основании принцип абсолютной верховности Государств*, то Государство не может иметь никаких обязанностей по отношению к чужим народностям. Если оно, стало быть, человечно обращается с покоренным народом, если оно лишь на половину его обирает и уничтожает, если оно не низводит его до последней степени рабства, то оно поступает так из политики, может быть, из осторожности или по чистому великодушию, но никогда не по долгу, — ибо оно имеет абсолютное право располагать покоренными народами по своему произволу.

Это вопиющее отрицание человечности, составляющее сущность Государства, является с точки зрения последнего высшим долгом и самой большой добродетелью: оно называется *патриотизмом* и составляет *наивысшую мораль* Государства. Мы называем ее наивысшею трансцендентной моралью, потому что она обыкновенно превосходит уровень человеческой, частной или общественной морали и справедливости, и тем самым чаще всего становится в противоречие с ними. Так например, оскорблять, убивать, грабить, считается с точки зрения обыкновенной человеческой морали, преступлением. Наоборот, в общественной жизни и с точки зрения патриотизма, когда это делается для большей славы Государства, для сохранения или расширения его могущества, все это становится долгом и добродетелью. И эта добродетель, этот долг обязательны для каждого гражда-

вина-патриота; каждый считается обязанным их исполнять не только против иностранцев, но даже против своих собственных соотечественников, подобных ему членов и подданных Государства, всякий раз, как того требует благо Государства.

Это об'ясняет нам почему с самого начала истории, т. е. с зарождения Государств, политический мир всегда был и продолжает быть ареной высшего мошенничества и несравненного разбоя, — разбоя и мошенничества, впрочем, высоко ценимых, ибо они предписаны патриотизмом, высшею моралью и верховным интересом государства. Это об'ясняет нам, почему вся история древних и современных государств является лишь рядом возмутительных преступлений; почему короли и министры в прошедшем и настоящем, во все времена и во всех странах, государственные люди, дипломаты, бюрократы и военные, являются, если их судить с точки зрения простой морали и человеческой справедливости, достойными сто раз, тысячу раз виселицы или каторги; ибо не существует ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, цинического воровства, бесстыдного грабежа и грязной измены, которые бы не совершались, которые бы не продолжали ежегодно совершиться представителями государств, без всякого другого извинения, кроме эластичного, столь удобного и вместе с тем столь страшного слова: *государственный интерес*.

Истинно ужасное слово! Оно развратило и обесчестило больше людей в оффициальных сферах и правящих классах общества, чем само Христианство. Как только это слово произнесено, все замолкает, все исчезает: добросовестность, честь, справедливость, право, само сострадание и вместе с ними счезает логика и здравый смысл; черное становится белым, а белое черным, отвратительное — человеческим, а самые подлые обманы, самые ужасные преступления становятся достойными поступками.

Великий итальянский философ и политик, Макиавелли, был первым, произнесшим это слово, или, по крайней мере, первым, придавшим ему его настоящее значение и огромную популярность, которою оно еще и доселе пользуется в правящем мире. Мыслитель, реалист и позитивист в высшей степени Макиавелли первый понял, что крупные и могущественные Государства могут быть основаны и поддерживаемы лишь преступлениями, множеством больших преступлений и самым крайним презрением ко всему, называемому честностью. Он это написал, об'яснил и доказал со страшной откровенностью. И так как идея человечества была в то время совершенно неведома; так как идея братства, не человеческого, а религиозного, проповедываемая католической церковью, была в то время, как и всегда, ничем иным, как ужасной иронией, которую Церковь разоблачала каждое мгновение своими же мероприятиями; так как во время Макиавелли никому бы не пришло даже в голову, что существует какое то народное право,— ибо народы всегда рассматривались, как инертная и тупая масса, приговоренная к бесконечному послушанию, как своего рода мясо для государств, как

предмет для стрижки и обирания; так как нигде, ни в Италии, ни вне ее не было решительно ничего, что бы было выше государства, — то Макиавелли заключил с большой логичностью, что Государство есть высшая цель всего человеческого существования, что надо служить ему во что бы то ни стало, и что хороший патриот не должен останавливаться, служа ему, ни перед каким преступлением, ибо интерес Государства перевешивает все остальное. Макиавелли советует преступление, он предписывает его и об'являет, что оно необходимое условие политической мудрости и истинного патриотизма. Называется ли государство монархией или республикой, преступление равно необходимо для его торжества и для его сохранения. Преступление изменит, конечно, свое направление и цель, но характер его останется тот же. Это будет всегда мощное, непрестанное попрание справедливости, сострадания и честности — ради блага Государства.

Да, Макиавелли прав; мы не можем в этом сомневаться после опыта трех с половиной столетий, прибавившегося к его опыту. Да, вся история говорит нам это: тогда как мелкие государства добродетельны лишь благодаря своей слабости, могущественные государства поддерживаются лишь преступлением. Только вывод наш будет совершенно иной, чем вывод Макиавелли и это по очень простой причине: мы дети Революции и мы наследовали от нее Религию человечества, которую мы должны основать на развалинах Религии божества; мы верим в права человека, в достоинство и необходимое освобождение человеческого рода; мы верим в человеческую свободу и в человеческое братство, основанное на человеческой справедливости — Одним словом, мы верим в победу человечества на земле. Но это торжество, которое мы страстно призываем и которое мы хотим приблизить нашими общими усилиями, являющееся по самой природе своей, отрицанием преступления, которое само ничто иное, как отрицание человечества, может осуществиться лишь когда преступление перестанет быть тем, чем оно является более или менее в настоящее время повсюду: *самым основанием политического существования народов, поглощенных, порабощенных государственной идеей.* — И так как теперь уже доказано, что никакое государство не может существовать, не совершая преступлений, или по крайней мере, не мечтая о них, не обдумывая их исполнение, если оно по бессилию и не может выполнять их на деле, — то мы заключаем, *что безусловно необходимо уничтожение Государств* или, если хотите, их полное и коренное переустройство, в том смысле, чтобы они перестали быть централизованными и организованными сверху вниз державами, основанными на насилии или на авторитете какого-нибудь принципа, и реорганизовались бы снизу вверх, с абсолютной свободой для всех частей, входить в союз или нет и с сохранением для каждой части свободы всегда выйти из этого союза, даже если бы она вошла в него по доброй воле; реорганизовались бы согласно действительным интересам и естественным

стремлениям всех частей, через свободную федерацию индивидов и ассоциаций, коммун, областей, провинций и наций в единое человечество.

Таковы выводы, к которым нас необходимо приводит исследование внешних отношений даже так называемого свободного Государства к другим государствам. В дальнейшем мы увидим, что Государство, основывающееся на божественном праве или религиозной санкции, приходит совершенно к тем же результатам. Рассмотрим теперь отношение Государства, основанного на свободном договоре, к своим собственным гражданам или подданным.

Мы видели, что выбрасывая огромное большинство человеческого рода из своей среды, что ставя его вне сферы обязательств и взаимного долга морали, справедливости и права, Государство отрицает человечество и посредством громкого слова: Патриотизм, обязывает своих подданных к несправедливости и жестокости, как к высшему долгу. Оно ограничивает, убивает в них человечность, дабы перестав быть людьми, они сделались только гражданами, или — с точки зрения исторической последовательности фактов справедливей сказать, — чтобы они не поднялись выше гражданина, не достигли до высоты человека. — Мы видели, впрочем, что всякое государство, под страхом гибели и поглощения соседними государствами, должно стремиться к всемогуществу, и, сделавшись могущественным, должно завоевывать другие государства. Кто говорит о завоевании, говорит о завоеванных, угнетенных, обращенных в рабство народах, под какой бы это ни делалась формой или названием. Итак, рабство является необходимым следствием существования Государства.

Рабство может изменить формы и название, но суть его остается неизменной. Эта суть выражается в следующих словах: *быть рабом, значит быть принужденным работать для другого, — также как быть господином, это значит пользоваться работой другого.* В древнем мире, подобно тому, как теперь в Азии, в Африке и даже еще в части Америки, рабы назывались прямо рабами. В средних веках они получили имя крепостных, в настоящее время их называют *наемниками.* Положение этих последних гораздо более достойно и менее тяжело, чем положение рабов, но тем не менее голод, а также политические и социальные учреждения принуждают их выполнять очень тяжелую работу, для того, чтобы дать возможность другим проводить жизнь в полном или относительном бездействии. Следовательно, они рабы. И вообще, ни одно древнее или современное государство никогда не могло обойтись без принудительного труда наемных и порабощенных масс, как главного и абсолютно необходимого условия досуга, свободы и культурного развития политического класса — *граждан.* — В этом отношении, даже Соединенные Штаты Северной Америки не составляют исключения.

Таковы внутренние условия жизни государства, необходимо вытекающие из его внешнего положения, т. е. из его естественной, постоянной

и неизбежной враждебности по отношению ко всем другим государствам. Посмотрим теперь, каковы условия, непосредственно вытекающие для граждан из свободного договора, на котором они строят государство.

Назначение государства не ограничивается обеспечением безопасности своих членов против всех внешних нападений, оно должно еще во внутренней жизни защищать их друг от друга и *каждаго от самого себя*. Ибо государство, — и это его характерная и основная черта, — всякое государство, как и всякая теология, основывается на предположении, что человек существенно зол и дурен. В государстве, нами теперь рассматриваемом, *добро*, как мы видели, начинается лишь с заключения общественного договора и является, следовательно, лишь следствием этого договора и даже его содержанием. Оно не является порождением свободы. Напротив, покуда люди остаются уединенными в своей абсолютной индивидуальности, пользуясь всей своей естественной свободой, не знающей других границ, кроме границ возможности, а не права, до тех пор они следуют лишь одному закону, — своему естественному эгоизму, они оскорбляют друг друга, взаимно друг друга обкрадывают, обирают, убивают и пожирают, каждый соразмерно своему уму, своей хитрости, своим материальным силам, подобно тому как поступают, как мы это уже видели, в настоящее время, государства. — Следовательно, человеческая природа рождает не *добро*, *а зло*; человек по природе дурен Каким образом он таким сделался? Об'яснить это — дело теологии. Факт тот, что государство, при своем возникновении находит человека уже дурным и берется сделать его хорошим, т. е. пересоздать естественного человека в гражданина.

На это можно возразить, что так как государство является продуктом свободно заключенного людьми договора, а добро является продуктом государства, то, следовательно, оно — продукт свободы! Подобный вывод совершенно неверен. Государство даже по этой теории не является продуктом свободы а, наоборот, жертвы и добровольного отречения от свободы. Люди в естественном состоянии совершенно свободны с точки зрения *права*, но *на деле* они подвержены всем опасностям, которые каждую минуту угрожают их жизни и безопасности. И вот, чтобы обеспечить эту последнюю, они отрекаются от большей или меньшей части своей свободы, и поскольку они пожертвовали ею ради своей безопасности, поскольку они стали гражданами, постольку они сделались *рабами Государства*. Поэтому, мы правы, утверждая, что *с точки зрения Государства добро рождается не из свободы, но, наоборот, из отрицания свободы*.

Замечательная вещь это подобие между теологией — наукой Церкви, и политикой — теорией Государства, эта встреча двух столь различных по внешности родов мыслей и фактов в одном и том же убеждении: *убеждении в необходимости заклания человеческой свободы ради*

насаждения в людях нравственности и пересоздания их, согласно Церкви — в святых, согласно Государству — в добродетельных граждан. — Что касается до нас, мы нисколько этому не удивляемся, ибо мы убежденны и постараемся ниже доказать, что политика и теология, родные сестры, имеющие одно происхождение и преследующие одну цель под разными именами: что всякое государство является земной церковью, подобно тому как в свою очередь всякая церковь вместе со своим небом — местопребыванием блаженных и бессмертных Богов, является ничем иным, как небесным Государством.

Государство, стало быть, как и церковь, исходит из того основного предположения, что люди существенно дурны и что предоставленные своей естественной свободе, они бы раздирали друг друга и являли бы зрелище самой ужасной разнузданности, где самые сильные убивали бы или эксплоатировали самых слабых. — Не правда ли, это было бы нечто совершенно противуположное тому, что происходит в настоящее время в наших образцовых государствах? Далее, государство возводит в принцип положение, что для того, чтобы установить общественный порядок, необходима высшая власть; что для того, чтобы руководить людьми и подавлять их дурные страсти, необходим руководитель и узда; но что эта власть должна принадлежать человеку гениальному и добродетельному [1]) законодателю своего народа, как Моисей, Ликург и Солон, — и что тогда этот вождь и эта узда будут воплощать в себе мудрость и карающую мощь государства.

Во имя логики мы бы могли поспорить об уместности законодателя, ибо в рассматриваемой нами теперь системе речь идет не о кодексе законов, налагаемом какой нибудь властью, а о взаимном договоре, свободно заключенном свободными основателями государства. И так как эти основатели, согласно разбираемой системе, были ни более ни менее, как дикарями, которые до тех пор жили в самой полной естественной свободе и, следовательно, должны были не знать различия между добром и злом, то мы могли бы спросить, каким образом они вдруг стали различать их и отделять? Правда, нам могут возразить, что дикари заключили вначале свой взаимный договор с единственной целью обеспечить свою безопасность; поэтому то, что они называли *добром* было ничто иное, как несколько немногочисленных пунктов, внесенных в договор, как например: не убивать друг друга, не грабить имущество друг у друга и взаимно оказывать друг другу помощь при всех нападениях извне. Но впоследствии, законодатель, гениальный и добродетельный человек, родившийся уже в таким образом организованном обществе, и поэтому воспитанный, в некотором роде, в его

---

[1]) Это идеал Мадзини. — См. Doveri dell'uomo (Napoli 1860), стр. 83 и A. Pio IX Papa, стр. 27: „Мы признаем святость Власти, освященной гением и добродетелью, этими единственными священнослужителями будущего, и проявляющей великую способность жертвовать: она проповедует добро и добровольно ведет к нему видимым образом“...

духе, мог расширить и углубить условия общественной жизни и таким образом создать первый кодекс нравственности и законов.

Но сейчас же возникает другой вопрос. Предположим, что человек, одаренный необычайными гениальными способностями и рожденный в среде этого еще весьма первобытного общества, был в состоянии, при помощи очень грубого воспитания, которое он получил в этом обществе, и благодаря своему уму, возвыситься до создания кодекса нравственности. Но каким образом мог он добиться, чтобы этот кодекс был принят его народом? Силою одной логики? — Это невозможно. Логика в конце концов всегда торжествует, даже над самыми затверделыми умами; но для этого надо много больше времени, чем срок, жизни одного человека, а имея дело с мало развитыми умами потребовалось бы, пожалуй, даже несколько столетий. С помощью силы, принуждения? Но тогда это уже будет общество, основанное не на свободном договоре, а на завоевании, на порабощении. Последнее предположение приведет нас прямо к действительным историческим обществам, в которых все вещи об'ясняются, правда, гораздо более естественно, чем в теориях наших либеральных публицистов, но исследование и изучение которых не только не служат к прославлению государства, о котором так заботятся эти господа, но напротив того, заставляют нас, как мы это позже увидим, желать в возможно скором времени, его полного и коренного уничтожения.

Остается третий способ, посредством которого великий законодатель мог бы заставить своих сограждан принять свой кодекс: а именно божественный авторитет. И в самом деле, мы видим, что величайшие из известных законодателей, от Моисея до Магомета включительно, прибегли к этому средству. Оно очень действительно среди народов, в которых верования и религиозное чувство имеют еще большое влияние, и, конечно, очень могущественно среди дикарей. Но общество, основанное таким путем, не является уже обществом, основанным на свободном договоре. Основанное благодаря непосредственному, воздействию божественной воли, оно необходимо будет государством теократическим, монархическим или аристократическим, но ни в коем случае не демократическим. А так как с богами торговаться нельзя, так как они столь же могущественны, как и деспотичны, то приходится слепо принимать все, что они налагают и подчиняться их воле, во чтобы то ни стало. Отсюда вытекает, что в законодательстве, диктуемом богами, нет места для свободы. Оставим пока предположение, впрочем очень верное, об основании государства путем прямого или косвенного воздействия божественного всемогущества и, пообещав себе рассмотреть его впоследствии, возвратимся теперь к исследованию свободного государства, основанного на свободном договоре. Хотя мы и пришли к убеждению в совершенной невозможности об'яснить противоречивый в себе самом факт законодательства, порожденного гением одного человека и единогласно принятого целым народом дикарей доб-

розвольно, так что законодатель не должен был прибегать к грубой силе или к какому нибудь божественному надувательству, но мы соглашаемся допустить это чудо и просим теперь об'яснения другого чуда, не менее трудного для понимания, чем первое: предположим, что новый кодекс нравственности и законов провозглашен и единогласно принят, но каким образом осуществляется он на практике, в жизни? Кто наблюдает за его исполнением?

Можно ли предположить, чтобы после этого единогласного принятия, все или, хотя бы, большинство дикарей, составляющих первобытное общество и которые, до того, как новое законодательство было провозглашено были погружены в самую полную анархию, вдруг все сразу, в силу одного провозглашения его и свободного принятия, до такой степени переменились, что начали по собственому почину и без другой побудительной причины, кроме своих собственных убеждений, добросовестно соблюдать и правильно выполнять все предписания и законы, налагаемые на них неведомой до сих пор для них моралью.

Допущение возможности такого чуда было бы равносильно признанию бесполезности государства, признанию, что естественный человек способен понимать, желать и делать добро, побуждаемый единственно своей собственной свободой; а это было бы столь же противно теории так называемого свободного государства, как и теории государства религиозного или божеского. В основании обеих теорий лежит предположение, что человек неспособен возвыситься до добра и делать его по собственному, естественному побуждению, ибо это побуждение, согласно этим самым теориям, непреоборимо и непрестанно влечет людей ко злу. Итак, обе теории нас учат, что для того, чтобы обеспечить соблюдение принципов и выполнение законов в каком бы то ни было человеческом обществе, необходимо, чтобы во главе государства стояла бдительная, правящая и, в случае нужды, карающая власть.

— Остается узнать, кто должен, и кто может ею обладать?

Относительно государства, основанного на божеском праве и через вмешательство какого нибудь Бога, ответ очень легок: власть должна принадлежать, во первых, священникам, во вторых, светским властям, освященным священниками. Гораздо более затруднителен ответ, при теории государства, основанного на свободном договоре. В самом деле, в чистой демократии, где царит свобода, кто должен быть стражем и исполнителем законов, защитником справедливости и общественного порядка, против злых помыслов каждого? — Ведь, каждый признан неспособным управлять и обуздывать самого себя в той мере, в какой это необходимо для блага государства, ибо свобода каждого имеет естественное влечение ко злу. — Тогда кто же будет выполнять обязанности Государства?

Скажут: самые лучшие из граждан, самые умные и добродетельные, те, которые лучше других поймут общие интересы общества и необходи-

мость для каждого, долг каждого подчинять им свои частные интересы. В самом деле, необходимо, чтобы эти люди были столь же умны, как и добродетельны, ибо если они будут только умны без добродетели, они могут вести общественные дела в своих личных интересах, а если они будут добродетельны, но не умны, они неизбежно провалят общественное дело, несмотря на всю свою добросовестность. Стало быть, чтобы республика не погибла, необходимо, чтобы она обладала во все эпохи известным количеством такого рода людей: надо, чтобы во все продолжение ее существования следовал, так сказать, непрерывный ряд добродетельных и в то же время умных граждан.

А условие это осуществляется не легко и не часто. В истории каждой страны эпохи, дающие значительное число выдающихся людей, отмечаются, как эпохи необыкновенные, блещущие сквозь мглу веков. Обыкновенно в правящих сферах преобладает посредственность, преобладает серый цвет, и часто, как мы это видим из истории, черный и красный цвета, т. е. торжествующие пороки и кровавое насилие. Мы могли бы отсюда заключить, что если бы была правда, как это с очевидностью вытекает из теории так называемого рационального или либерального государства, что сохранение и существование всякого политического общества зависят от непрерывного ряда следующих друг за другом замечательных, как по уму, так и по добродетели людей, — то из всех в настоящее время существующих обществ, нет ни одного, которое не должно бы было уже давно погибнуть. Если мы к этой трудности, чтоб не сказать невозможности, прибавим те, которые возникают из совершенно особого развращающего действия, оказываемого на человека обладанием властью, если мы прибавим чрезвычайные искушения, которым неизбежно подвержены все люди, облеченные властью, прибавим влияние честолюбия, соперничества, зависти и гигантской жадности, которые осаждают так сказать день и ночь именно самых высокопоставленных лиц, и против которых не обеспечивают ни ум, ни даже добродетель, ибо добродетель отдельного человека хрупкая вещь,— то мы думаем, что имеем полное право считать чудом существование стольких обществ. Но оставим это.

Предположим, что в идеальном обществе находится, в каждую эпоху, достаточное число людей равно умных и добродетельных, которые могут достойно выполнять государственные функции. Кто их отыщет, кто их различит, кто вложит в их руки бразды правления? Или они сами их захватят в сознании своего ума и добродетели, подобно тому, как это сделали два греческие мудреца Клеобул и Периандр, которым, несмотря на их великую, предполагаемую мудрость, греки, тем не менее дали имя тиранов? Но каким образом они захватят власть? Посредством убеждения или посредством силы? Если посредством убеждения, то мы заметим что можно хорошо убеждать лишь в том, в чем сам убежден, и что именно лучшие люди бывают всего менее убеждены в своем собственном досто-

инстве; а если даже они и сознают его, то им обыкновенно неприятно говорить об этом другим, между тем, как люди дурные и посредственные вечно собой удовлетворенные, не испытывают никакого стеснения в самохвальстве. Но предположим, что желание служит своему отечеству, заставило замолчать в истинно достойных людях эту чрезмерную скромность они выступают перед избирательным собранием своих сограждан. Будут ли они однако всегда выбраны, всегда предпочтены народом честолюбивым, красноречивым и ловким интриганам? Если же, напротив того, они хотят достичь власти силой, то им необходимо иметь в своем распоряжении достаточно силы чтобы сломить сопротивление целой партии. Они достигнут власти через междоусобную войну, после которой останется непримиримая, а лишь побежденная и враждебная партия. Чтобы сдерживать ее, им будет необходимо продолжать пользоваться силой. Тогда это не будет уже свободное общество, но деспотическое государство, основанное на насилии и в котором вы, может быть, найдете много вещей, которые покажутся вам восхитительными, но никогда не найдете свободы.

Для сохранения функции свободного государства, имеющего в своей исходной точке общественный договор, нам нужно предположить, что большинство граждан обладает всегда необходимым благоразумием, прозорливостью и справедливостью, чтобы во главе правления ставить самых достойных и самых способных людей. Но для того, чтобы народ проявлял, и не раз и не случайно, а всегда, во всех производимых им выборах, впродолжение всего своего существования, эту прозорливость, эту справедливость, это благоразумие, надо чтобы он сам взятый в целом, достиг той степени нравственного развития и культуры, при которой правительство и государство уже совершенно бесполезны. Такой народ должен только жить, предоставляя полную свободу всем своим влечениям. Справедливость и общественный порядок возникнут сами по себе и естественно из его жизни, и Государство, перестав быть провидением, опекуном, воспитателем, управителем общества, отказавшись от всякой карательной власти и ниспав до подчиненной роли, какую ему указывает Прудон, сделается ничем иным, как простым бюро, своего рода центральной конторой, предназначенной для услуг обществу.

Без сомнения, такая политическая организация, или, лучше сказать, такое ослабление политической деятельности в пользу свободы общественной жизни, было бы для общества великим благодеянием, но оно бы нисколько не удовлетворило сторонников необходимости государства. Им непременно нужно Государство-провидение, Государство управитель общественной жизни, Государство, чинящее суд и поддерживающее общественный порядок. Другими словами, сознаются ли они себе в этом или нет, называются-ли они республиканцами, демократами или даже социалистами, — им всегда нужно, чтобы управляемый народ был более или менее невежествен, несовершеннолетен, неспособен, или, называя вещи

их собственными именами, чтобы народ был более или менее — „*чернью*". Это необходимо им, конечно, для того, чтобы поборов в себе бескорыстие и скромность, они могли бы оставаться на первых местах для того, чтобы иметь всегда возможность пожертвовать собой ради общественной пользы и чтобы, сильные добродетельным самоотвержением и своим исключительным умом, будучи привилегированными стражами человеческого стада, толкая его к его благу и ведя его к его спасению, они могли бы также и обирать его немного.

Всякая последовательная и искренняя теория государства существенно основана на принципе *высшей власти*, т. е. на той теологической, метафизической и политической идее, что массы, оставаясь вечно неспособными к самоуправлению, должны всегда пребывать под благодетельным игом мудрости и справедливости, подчиняться которым, тем или иным способом им вменяется сверху. Но во имя чего и кем вменяется им это подчинение? Власть, признаваемая и уважаемая массами, может иметь лишь три источника: силу, религию или превосходство ума. В последствии мы будем говорить о государствах, основанных на двойной власти религии и силы; теперь, рассматривая теорию государства, основанного на свободном договоре, мы должны выключить оба эти фактора. Нам остается, стало быть, в данном случае, власть, основанная на превосходстве ума, которое как известно, всегда составляет удел меньшинства.

И в самом деле, что мы видим во всех прошлых и настоящих государствах, даже если они обладают самыми демократическими учреждениями, как, например Соединенные Штаты Северной Америки и Швейцария? „Народоправство", несмотря на внешний вид народного всемогущества, остается почти всегда фикцией. В действительности меньшинство является правящим классом. В Соединенных Штатах до последней войны за освобождение рабов и отчасти даже до сих пор — например, вся партия нынешнего президента Джонсона — правительственной партией были и остаются, так называемые демократы, крайние сторонники рабства и свирепой олигархии плантаторов, бессовестные, продажные демагоги, готовые все заклась ради своей жадности, своего зловредного честолюбия и которые своей отвратительной деятельностью и влиянием, которым они беспрепятственно пользовались около пятидесяти лет кряду, сильно способствовали извращению политических народов Соединенных Штатов. В настоящее время истинно просвещенное, великодушное меньшинство, но все же и опять-таки *меньшинство*, — партия республиканцев, с успехом борется с зловредной политикой демократов. Будем надеяться, что его торжество будет полным, будем на это надеяться ради блага человечества; но как бы ни была велика искренность этой партии свободы, как бы ни были возвышены и великодушны провозглашаемые ею принципы, не следует надеяться, что достигнув власти, эта партия откажется от исключительного положения правящего меньшинства и что народное самоуправление

сделалось, наконец, действительным фактом. Для этого понадобилась бы революция более глубокая, чем все те, которые до сих пор потрясали старый и новый мир.

В Швейцарии, несмотря на все совершившиеся демократические революции, управляет все еще имущий класс, буржуазия, т. е. меньшинство привилегированное в отношении имущества, досуга и образования. Верховная власть народа, — слово которое нам, впрочем, ненавистно, ибо на наш взгляд всякая верховная власть достойна нанависти, — народное самоуправление в Швейцарии тоже является фикцией. Народ обладает здесь верховной властью по праву, но не на деле, ибо, поглощенный ежедневной работой, не оставляющей ему совсем досуга, и если не совершенно невежественный, то во всяком случае сильно уступающий в образовании буржуазному классу, он принужден отдавать в руки буржуазии свою фиктивную власть. Единственная выгода, которую он из нее извлекает, как в Соединенных Штатах Северной Америки, так и в Швейцарии, это что честолюбивое меньшинство, политические классы не могут добиться власти иначе, как ухаживая за ним, льстя его временным, иногда очень дурным страстям и чаще всего обманывая его.

Да не подумают, что мы хотим указать преимущество монархии перед демократическими учреждениями. Мы твердо убеждены, что самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещенная монархия, ибо в республике есть минуты, когда народ, хотя, и вечно эксплуатируемый, по крайней мере не угнетен, между тем как в монархиях он угнетен постоянно. И кроме того, демократический режим возвышает мало по малу массы до общественной жизни, а монархия никогда этого не делает. Но хотя мы и отдаем предпочтение республике, все же мы принуждены признать и провозгласить, что какова бы ни была форма правления, все же, пока вследствие *наследственного* неравенства занятий, имущественного, образования и прав, человеческое общество останется разделенным на различные классы, до тех пор, будет править исключительно меньшинство и будет неизбежная эксплуатация этим меньшинством большинства.

Государство есть ничто иное, как эти систематизированные главенство и эксплуатация. Мы попробуем это доказать, рассматривая следствия управления народными массами каким нибудь меньшинством, сколь угодно просвещенным и самоотверженным, в идеальном Государстве, основанном на свободном договоре.

Раз условия договора определены, остается лишь провести их на практике. Предположим, что народ, достаточно мудрый, чтобы признать свою собственную неспособность, имеет еще необходимую прозорливость, чтобы вверять управление общественными делами лишь самым лучшим гражданам.

Эти привилегированные индивиды, привилегированы вначале не с точки зрения права, а лишь на деле. Они были выбраны народом потому, что они самые просвещенные, самые искусные, самые мудрые самые мужествен-

ные и самые самоотверженные. Взятые из массы граждан, которые по предположению все между собой равны, они не образуют еще пока собой отдельного класса, но лишь отдельную группу, привилегированную лишь природой, и вследствие этого отличенную народным избранием. Число их необходимо весьма ограничено, ибо во всякой стране и во всякое время число людей, одаренных такими выдающимися качествами, что они словно вынуждают всеобщее уважение народа, бывает, как это показывает нам опыт, весьма незначительным. Итак из боязни плохо выбрать, народ должен будет всегда избирать своих правителей из этого незначительного числа.

И вот общество уже разделяется на две категории, чтобы не сказать еще на два класса, из которых одна, составленная из громадного большинства граждан, добровольно подчиняется правлению своих выборных; другая, состоящая из незначительного числа даровитых натур, признанных и избранных народом в качестве таковых, уполномочена народом управлять им. Завися от народного избрания, эти люди вначале не отличаются от массы граждан ничем иным, кроме как теми самыми качествами, которые снискали им доверие своих соотечественников, и являются среди всей массы граждан естественно, самыми полезными и самоотверженными. Они не присваивают еще себе никакой привилегии, никакого особенного права, за исключением права, выполнять, покуда этого желает народ, специальные обязанности, которые на них возложены. Во всем прочем, в образе жизни, в условиях и средствах своего существования, они нисколько не отличаются от народа, так что между всеми продолжает царить совершенное равенство.

Но может ли это равенство долго продолжаться? Мы утверждаем, что нет, и это очень легко доказать.

Нет ничего более опасного для личной нравственности человека, как привычка повелевать. Самый лучший, самый просвещенный, бескорыстный, великодушный, чистый человек неизбежно испортится при этих условиях. Власти присущи два чувства, которые обязательно производят эту деморализацию: *презрение к народным массам и преувеличение своего собственного достоинства.*

Массы, сознав свою неспособность к самоуправлению, выбрали меня в вожди. Тем самым они открыто признали мое *превосходство* и свое *сравнительное ничтожество.* Из всей этой толпы людей, в которой есть лишь два, три человека, могущих быть признанными мной за равных, я один способен управлять общественными делами. Народ во мне нуждается, он не может обойтись без моих услуг, между тем как я довольствуюсь самим собой. Итак народ должен повиноваться мне для собственного своего блага, и снисходя до управления им, я создаю его счастье.

Неправда ли, этого всего совершенно достаточно, чтобы потерять голову и обезуметь от гордости? — Таким образом, власть и привычка

повелевать становятся даже для самых просвещенных и добродетельных людей источником интеллектуального и морального самообольщения.

Всякая человеческая мораль, — немного ниже мы постараемся доказать абсолютную истину этого принципа, развитие, об'яснение и самое широкое применение которого составляют главную цель этого сочинения,— всякая коллективная и индивидуальная мораль существенно покоится на *человеческом уважении*. Что подразумеваем мы под человеческим уважением? — Признание человечности, человеческого права и человеческого достоинства в каждом человеке, какова бы ни была его раса, цвет его кожи, степень развития его ума и даже нравственности. Но могу ли я уважать человека, если он глуп, зол, презренен? Конечно, если он обладает этими качествами, то мне невозможно уважать в нем его подлость, тупоумие, глупость. Эти качества меня возмущают и вызывают во мне отвращение; я приму против них в случае надобности самые энергичные меры, и даже убью этого человека, если у меня не останется других средств защитить свою жизнь, свое право или то, что мне дорого и мной уважаемо. Но во время самой энергичной, ожесточенной и в случае нужды смертельной борьбы с этим человеком, я должен уважать в нем его человеческую природу. — Только этой ценой я могу сохранить свое собственное человеческое достоинство. Однако, если этот человек не признает ни в ком этого достоинства можно ли признавать его в нем? Если он своего рода дикий зверь, или, как это иногда случается, хуже чем зверь, можно ли признавать в нем человеческую природу, не будет ли это значить вдаваться в фикцию. Нет, ибо каково бы ни было его интеллектуальное и моральное падение, если органически он не является ни идиотом, ни безумным, — в каковых случаях с ним надо было бы обращаться не как с преступником, а как с больным, — если он в полном обладании своими чувствами и данным ему от природы умом, его человеческая природа, среди самых чудовищных уклонений, все же весьма реально существует в нем, *в качестве всегда открытой для него, покуда он жив, возможности возвыситься до сознания своей человечности, — если только произойдет коренная перемена в социальных условиях, делающих его тем, чем он есть.*

Возьмите самую умную, самую способную обезьяну, поставьте ее в самые лучшие человеческие условия, — и все же вы никогда не сделаете из нее человека. Возьмите самого закоренелого преступника и самого бедного умом человека; если только ни в одном из них нет какого нибудь органического дефекта, определяющего его идиотизм или неизлечимую манию, то прежде всего вы должны будете признать, что если один сделался преступником, а другой еще не возвысился до сознания своей человечности и своих человеческих обязанностей, то *виноваты в этом не они сами, а социальная среда, в которой они родились и развились.*

Здесь мы касаемся самого важного вопроса социальной науки о человеке, вообще. Мы уже повторяли неоднократно, что мы *абсолютно отрицаем свободу воли*, в том смысле, какой приписывают этому слову теология, метафизика и наука о праве, т. е. в смысле произвольного самоопределения индивидуальной воли человека, независимо от всяких естественных и социальных влияний.

Мы отрицаем существование души, существование духовной субстанции независимой и отделимой от тела. Напротив того, мы утверждаем, что, *подобно тому как тело индивида, со всеми своими способностями и инстинктивными предрасположениями, является ничем иным, как производной всех общих и частных причин, определивших его индивидуальную организацию, — что неправильно называется душой; интеллектуальные и моральные качества человека являются прямым продуктом или, лучше сказать, естественным, непосредственным выражением этой самой организации, и именно степени органического развития, которой достиг мозг, благодаря стечению независимых от воли причин.*

Всякий даже самый ничтожный индивид, является продуктом веков; история причин, способствовавших его образованию не имеет начала. Если бы мы имели дар, которым никто не обладает и не будет никогда обладать, дар познать и охватить бесконечное многообразие трансформаций материи или Существа, которые фатально происходили от рождения нашего земного шара до его рождения, то мы бы могли, никогда даже не видев, сказать с почти математической точностью, какова, его органическая природа, определить до малейших подробностой степень и характер его интеллектуальных и моральных способностей, — одним словом его *душу*, какова она в минуту его рождения. Но нам невозможно анализировать и охватить все эти последовательные трансформации, хотя мы можем сказать без страха ошибиться, что *всякий человеческий индивид, в момент своего рождения, является всецело продуктом исторического т. е. физиологического и социального развития его расы, народа и касты, — если в его стране существуют касты, — его семьи, его предков и индивидуальной природы его отца и матери, передавших ему непосредственно, путем физиологического наследства, — в качестве исходного пункта для него и определения его индивидуальной природы, — все фатальные последствия, их собственного предыдущего существования, как материального так и нравственного, как индивидуального, так и социального, включая сюда все их мысли, чувства и поступки, включая все разнообразные события их жизни и все крупные или мелкие происшествия, в которых они принимали участие, включая сюда равным образом бесконеч-*

ное многообразие случайностей, которым они могли подвергаться [1]) *и со всем тем, что они наследовали тем же способом от своих собственных родителей.*

Нам нет надобности напоминать, чего никто впрочем не отрицает, что различия рас, народов и даже классов и семей, определяются причинами географическими, этнографическими, физиологическими, экономическими— (включая сюда два крупных пункта: вопрос занятий, т. е. вопрос разделения коллективного труда общества и распределения богатства, и вопрос питания, как в отношении количества, так и в отношении качества) — а также причинами историческими, религиозными, философскими, юридическими и социальными; и что все эти причины, комбинируясь различным образом для каждой расы, каждой нации и чаще всего, для каждой провинции и для каждой коммуны, для каждого класса и для каждой семьи, придают каждой особенную физиономию, т. е. различный физиологический тип, совокупность особенных предрасположений и способностей, — независимо от воли индивидов, входящих в состав групп и являющихся всецело их продуктом.

Таким образом, каждый человеческий индивид, в момент своего рождения, является *материальной, органической производной* всего разнообразия причин, которые, скомбинировавшись, произвели его. Его душа,— т. е. его органическое предрасположение к развитию чувств, идей и воли,— является лишь продуктом. Она вполне определяется физиологическим, индивидуальным качеством его мозговой и нервной системы, которая, как и все его остальное тело, совершенно зависит от более или менее счастливой комбинации этих причин. Она составляет собственно то, что мы называем *отличительной, первоначальной природой индивида.*

Существует столько же различных характеров, сколько и индивидов. Эти индивидуальные различия проявляются тем яснее, чем более они развиваются, или, лучше сказать, они не только проявляются с большей силой, *они действительно увеличиваются, по мере того, как индивиды развиваются, потому что различные вещи, внешние*

---

[1]) Случайности, которым подвержен зародыш во время своего развития в чреве матери, вполне об'ясняют различие, часто существующее между детьми тех же родителей и делают для нас понятным, каким образом у умных родителей может быть дитя-идиот. Но это всегда лишь несчастное исключение, происшедшее вследствие какой-нибудь случайной, минутной причины. Природа, благодаря несуществованию Бога, никогда не бывает капризной, ничего не делает без достаточной причины, и никогда не меняет раз принятого направления и стремления, если только она не принуждена к этому силой обстоятельств, так что закон воспроизведения человеческого рода путем следующих друг за другом брачных пар, составляющих семью, выражается так: *если бы каждая пара прибавляла к физиологическому наследию от своих родителей новое физическое, интеллектуальное и моральное развитие, то—так как каждое духовное усовершенствование является усовершенствованием мозга, — каждое вновь рождающееся существо должно бы быть во всех отношениях выше своих родителей.*

условия, — одним словом, тысячи, по большей части неуловимых причин, воздействующих на развитие индивидов, — сами по себе весьма различны. Это обусловливает то, что чем более подвигается в жизни какой нибудь индивид, тем более обрисовывается его индивидуальная природа, тем более он отличается, как своими достоинствами так и недостатками от всех других индивидов.

До какой степени индивидуальный характер или душа, т. е. индивидуальные особенности мозгового и нервного устройства развиты в новорожденном ребенке? Разрешение этого вопроса является делом физиологов. Мы знаем лишь, что все эти особенности должны быть необходимо наследственными в том смысле, который мы пытались об'яснить, т. е. определенными бесконечностью самых разнообразных причин: материальных и моральных, механических и физических, органических и духовных, исторических, географических, экономических и социальных, больших и малых, постоянных и случайных, непосредственных и очень отдаленных в пространстве и во времени, и *совокупность которых комбинируется в единое живое Существо и индивидуализируется в первый и в последний раз, в ряде всемирных видоизменений, единственно лишь в этом ребенке, который в чисто индивидуальном применении этого слова, никогда не имел и никогда не будет иметь себе подобного*

Остается узнать до какой степени и в каком смысле этот индивидуальный характер является действительно определенным, в тот момент, когда ребенок выходит из чрева матери. Является ли это определение лишь материальным, или же в то же время духовным и моральным, хотя бы в качестве лишь естественной способности и тенденции или инстинктивного предрасположения? Рождается ли ребенок умным или глупым, добрым или злым, одаренным или лишенным воли, предрасположенным к развитию того или другого таланта? Может ли он унаследовать характер, привычки, недостатки или интеллектуальные и моральные качества своих родителей и предков?

Вот вопросы, разрешение коих чрезвычайно трудно, и мы не думаем, чтобы физиология и экспериментальная психология были в настоящее время достаточно зрелыми и развитыми, чтобы быть в состоянии ответить на них с полным знанием дела. Наш известный соотечественник г. Сеченов говорит в своем замечательном труде о деятельности мозга, что в громадном большинстве случаем $\frac{999}{1000}$ частей психического характера индивида [1])...

. . . .

. . . . конечно, более или менее заметные в человеке до его смерти. „Я не утверждаю“, говорит он, чтобы

[1]) Здесь недостает нескольких строчек в оригинале (Прим. изд.)

можно было посредством воспитания переделать дурака в умного человека. Это также невозможно, как дать слух индивиду, рожденному без акустического нерва. Я думаю лишь, что взяв с детского возраста по природе умного негра, японца или самоеда, можно из них сделать при помощи европейского воспитания, в самой среде европейского общества, людей, очень мало отличающихся в психическом отношении от цивилизованного европейца.

Установливая это отношение между $\frac{999}{1000}$ частями психического характера, принадлежащими, согласно ему, воспитанию, и только одной тысячной, оставляемой им на долю наследственности, г. Сеченов не подразумевал, конечно, исключений: гениальных и необыкновенно талантливых людей, или идиотов и дураков. Он говорит лишь о громадном большинстве людей, одаренных обыкновенными или средними способностями. Они являются с точки зрения социальной организации самыми интересными, мы сказали бы даже, единственно интересными, — ибо общество создано ими и для них, а не для исключений и не гениальными людьми, как бы ни казалось безмерным могущество этих последних.

Что нас особенно интересует в этом вопросе, это узнать: могут ли, подобно интеллектуальным способностям, также и *моральные качества* — доброта или злость, храбрость, или трусость, сила или слабость характера, великодушие или жадность, эгоизм или любовь к ближнему и другие положительные или отрицательные качества этого рода, — могут ли они быть физиологически унаследованы от родителей, предков, или независимо от наследства, образоваться в силу какой-либо случайной, известной или неизвестной причины, которой подвергся ребенок во чреве матери?— Одним словом, может ли ребенок принести, рождаясь, какие нибудь *готовые моральные предрасположения*?

Мы этого не думаем. Чтобы лучше поставить вопрос, заметим во первых, что если бы существование *врожденных* моральных качеств было допустимо, то это могло бы быть лишь при условии, что они связаны в новорожденном ребенке с какой нибудь физиологической, чисто материальной особенностью его организма: ребенок выходя из чрева матери, не имеет еще ни души, ни ума, ни даже инстинктов; он рождается для всего этого; он, стало быть, лишь физическое существо, и его способности и качества, если он их имеет, могут быть лишь анатомическими и физиологическими. Поэтому, для того, чтобы ребенок мог родиться добрым, велокодушным, самоотверженным, смелым или злым, скупым, эгоистом и трусом, надо, чтобы каждое из этих достоинств или недостатков соответствовали какой нибудь материальной и, так сказат, местной особенности его организма и именно его мозга, а такое предположение вернуло бы нас к системе Галля который думал, что он нашел для каждого качества и для каждого недостатка соответствующие шишки и впадины на черепе. Система эта, как известно, единогласно отвергнута современными физиологами.

Но если бы она была основательна, что бы отсюда вытекало? Раз недостатки и пороки, также как и хорошие качества врожденны, то остается узнать, могут ли они быть искоренены воспитанием или нет? В первом случае вина во всех преступлениях, сделанных людьми, падала бы на общество, не сумевшее дать им надлежащее воспитание, а не на них, которые могут, напротив, быть рассматриваемыми, как жертвы социальной непредусмотрительности. Во втором случае, раз *врожденные* предрасположения признаны фатальными и непоправимыми, обществу не остается ничего другого, как отделаться от всех индивидов, запечатленных каким нибудь естественным, врожденным пороком. Но, дабы не впасть в отвратительный порок лицемерия, общество должно тогда признать, что оно делает это единственно в интересах своего сохранения, а не справедливости.

Есть еще одно соображение, могущее способствовать уяснению этого вопроса: в мире интеллектуальном и моральном, как и в мире физическом, существует только положительное; отрицательное не существует, оно не есть что-нибудь само по себе, а лишь более или менее значительное уменьшение положительного. Так, например, холод является лишь известным состоянием тепла, это лишь относительное отсутствие, лишь очень значительное уменьшение тепла! Так же обстоит дело с мраком, являющимся лишь светом уменьшенным до-нельзя... Мрак и холод не существуют. В мире интеллектуальном глупость является ничем иным, как слабостью ума, а в нравственности недоброжелательство, жадность, трусость являются лишь доброжелательством, великодушием и храбростью, доведенными не до нуля, а до очень малого количества. Как бы оно мало ни было все же оно положительное количество, которое может быть развито, усилено, и увеличено воспитанием в положительном смысле, — что было бы невозможно, если бы пороки или отрицательные качества являлись отдельными свойствами. Тогда их надо было бы убивать, а не развивать, ибо развитие их могло бы в таком случае произойти лишь в отрицательном смысле.

Наконец, не позволяя себе предрешать эти важные физиологические вопросы, в которых мы не скрываем своего полного невежества, прибавим лишь, опираясь на единогласный авторитет всех современных физиологов, последнее соображение. Констатировано и доказано, что в человеческом организме нет отдельных областей и органов для инстинктивных, аффективных, моральных и интеллектуальных способностей и что все вырабатываются *в одной и той же части мозга* посредством *одного и того же нервного механизма* [1]. Отсюда с очевидностью вытекает, что не может

---

[1] См. замечательную статью Литтре: „О методе в психологии“ в журнале: „Позитивная Философия“. Физиологически установлено, говорит знаменитый позитивист, *что мозг ничего не создает; он лишь воспринимает*. Его функции заключаются в перерабатывании того, что ему передается (чувствами), в желания и идеи; *но сам он не привносит ничего своего в то, что составляет сущность этих идей и этих чувств*. По правде сказать, все дается ему извне, ибо органические состояния, без кото-

быть вопроса о различных нравственных или безнравственных предрасположениях, фатально определяющих в самом организме ребенка наследственные и врожденные достоинства или пороки, и что *моральная врожденность* никоим образом не обособляется от *интеллектуальной врожденности*, ибо и та и другая сводятся к большей или меньшей степени совершенства, достигнутого вообще развитием мозга.

„Раз признаны анатомические и физиологические свойства ума", говорит Литтре (стр. 355), „то можно проникнуть в самую глубь его истории. Покуда ум не был переделан и обогащен цивилизацией, покуда он обладал лишь простыми идеями [1]), производимыми как внутренними, так и внешними впечатлениями [2]), *он находился на самой низшей ступени развития*; для того, чтобы подняться на самую высшую ступень ум обладает лишь способностью задерживать впечатления и способностью ассоциации [3]), но этого достаточно. Мало по малу образуются *сложные*

рых не поддерживается ни индивидуальная, ни коллективная жизнь и без которых не было бы и чувства, *являются внешними* (для человека), и природа осуществляет их независимо от всякого мозга и всякой психики, в растениях и в особенности в низших животных. Отсюда вытекает, что надо отчасти изменить смысл слова: *суб'ективное*. Суб'ективное не может означать нечто, что предшествует развитию человеческого существа, как-то *я*, идея, чувство, идеал. Оно может лишь означать *перерабатывающую способность нервных клеток*: за исключением этого смысла, суб'ективное всегда смешано с об'ективным" (№ 111, стр. 302).—А на стр. 343—344, Литтре говорит еще: „Рассудок не является способностью, витающей над принесенными ему впечатлениями, его единственное дело (чисто физиологическое) состоит в сравнении их между собой, чтобы вывести заключение: но он не имеет над ними никакой высшей власти. *Галлюцинации* доказывают это; галлюцинации это продукт впечатлений, не вызванных ничем об'ективным. В силу болезненной деятельности нервных клеток, приспособленных к передаче впечатлений, призрачные впечатления притекают к интеллектуальному центру („серое вещество оболочки той части мозга, которая занимает всю верхнюю и нижнюю часть черепного углубления или мозга в собственном смысле"), как будто бы они были реальными. Рассудок, воспринимая их, по необходимости работает над фиктивным материалом, и вот являются воображаемые представления. Впрочем, за исключением паталогических явлений, совершенно подобное же доказательство, даст нам развитие человеческих идей в истории. *Вначале наблюдения,— за исключением самых простых,—ошибочны, и суждения тоже ошибочны* Люди видят, что солнце встает на востоке и заходит на западе и, основываясь на этом, рассудок построяет неверное заключение, которое впоследствии исправляется лишь, благодаря другим лучшим наблюдениям. *Если бы рассудок был первичной, а не вторичной способностью, то человеческая история была бы иной* (человечество не имело бы предком двоюродного брата гориллы). *Тогда бы великие истины были познаваемы раньше всего*, и из них бы дедуктивным путем вытекали второстепенные истины; такова и есть геологическая гипотеза..." Г. Литтре мог бы прибавить: а *также* метафизическая и юридическая.

[1]) Мы сказали бы первичными понятиями или *даже* простыми представлениями предметов.

[2]) Чувственные впечатленые, получаемые индивидом посредством нервов от внешних и внутренних предметов.

[3]) Удержание простых идей в памяти и ассоциация их самой деятельностью мозга.

комбинации, увеличивающие силу и поле мозговой деятельности [1]); наконец, подвигаясь все вперед, человеческой мозг начинает совершать более крупную умственную работу. *Умственная машина* увеличивается и совершенствуется, а без машины нельзя сделать ничего значительного ни в интеллектуальной области, ни в области промышленной.

„По мере того, как совершается эта работа мозга, она призывает к себе на помощь важное свойство жизни, а именно *наследственность*, которая способствует закреплению полученного результата в настоящем и облегчению дальнейшего усовершенствования. *Раз приобретены новые умственные способности, они передаются* — это экспериментальный факт — *потомкам под видом врожденностей*; врожденностей вторичных, третичных, которые, в умственной области, создают усовершенствованные человеческие породы и расы. Это заметно, когда сталкиваются друг с другом народности, шедшие по разным путям развития; низшая или исчезает или лишь медленно достигает до уровня высшей“.

Ниже процитировав слова Люиса: „Мозговая сфера, где царят чувственные впечатления и та, где происходят чисто интеллектуальные проявления, тесно соединены между собой“, Литтре прибавляет [2]):

„*Это совершенное подобие между интеллектом и чувством*, а именно источником, где нервы черпают [3]), и центром, где то, что они черпают перерабатывается [4]), вместе с тождественностью обоих центров, это означает, что *физиология чувства не может разниться от физиологии интеллекта*.

„Следовательно, *пришлось отказаться искать в мозгу органы для влечений и страстей и признать, что в нем происходят лишь впечатлительные процессы, которые надлежит определить*.

---

[1]) Посредством ассоциации простых идей.

[2]) Стр. 357.

[3]) Источник, где нервы почерпают как чувственные так и инстинктивные впечатления, или *sensorium communis* это, по мнению Литтре и Люиса, *оптический слой* куда стекаются все, как в нешние, так и внутренние впечатления, — т. е. произведенные внешними предметами, или же явившиеся изнутри организма — и который (оптический слой) „системой волокон и их соединений передает эти впечатления серому веществу оболочки мозга-центра, как аффективных, так и интеллектуальных способностей„ (стр. 340 — 41).

[4]) Серое вещество мозга, состоящее из нервных клеточек: „Установлено, что нервные клеточки, составляющие вещество мозга, являясь, анатомически, окончанием нервов, куда стекаются все внутренние впечатления, служат для переработки этих впечатлений в идеи; затем, по образовании идей, для суждения о сходстве или различии их, для задержания их в памяти, для соединения их путем ассоциации. *Ни более, ни менее*. Все интеллектуальное развитие человека имеет своей исходной точкой эти анатомические и физиологические условия“ (стр. 352).

„Источником идей являются чувственные впечатления, источником чувств — впечатления *инстинктивные*. Дело нервных клеточек, заключается в перерабатывании в чувства инстинктивных впечатлений. Проблема происхождения чувств совершенно паралельна проблеме происхождения идей.

„Этот род деятельности мозга происхотить над двумя сортами инстинктивных впечатлений, над теми, которые приналлежат *инстинктам поддержания индивидуальной жизни* и теми, которые принадлежат к *инстинктам поддержания жизни рода*. Первая категория перерабатывается в мозгу в *себялюбие*, вторая в *любовь к другим*, в первичной форме, половой любви, любви матери к ребенку и ребенка к матери.

„В этом отношении, не лишнее будет бросить беглый взгляд на сравнительную физиологию. У рыб, стоящих в мозговом отношении на самой низшей ступени лестницы позвоночных и не знающих ни семьи, ни детенышей, инстинкт остается чисто половым. Но чувства, порождаемые им, начинают проявляться у некоторых млекопитающих и у птиц; устанавливается настоящее сожительство, но по большей части оно лишь временно. Также точно обстоит дело с зачатками семейных отношений между родителями и детенышами. Наконец, у некоторых животных, и между прочим у человека, между различными семьями образуются такого же рода отношения, как между членами одной и той же семьи; там и сям, среди животных зарождается общественность. Раз фундамент, таким образом, заложен, то нетрудно понять, что *первичные чувства*, по мере осложнения жизни, как для индивида, так и для общества, *переходят во вторичные чувства и в комбинации чувств, которые становятся столь же нераздельными, как нераздельны в интеллекте ассоциированные идеи*" (стр. 357).

Таким образом, повидимому, установлено, что в мозгу не существует *специальных органов*, ни для различных интеллектуальных способностей, ни для различных моральных качеств, аффектов и страстей, добрых или злых. Следовательно, ни достоинства, ни недостатки не могут быть унаследованы, врожденны, ибо, как мы сказали, эта наследственность и врожденность может быть в новорожденном лишь физиологической, материальной. В чем же может заключаться прогрессивное исторически передаваемое совершенствование мозга, как в интеллектуальном, так и в моральном отношении? Единственно в гармоническом развитии всей мозговой и нервной системы, т. е. как в верности, тонкости и живости нервных впечатлений, так и в способности мозга перерабатывать эти впечатления в чувства, в идеи и комбинировать, охватывать и удерживать все более и более широкие ассоциации чувств и идей.

Весьма вероятно, что если у какой нибудь расы, нации, у какого нибудь класса или в какой нибудь семье, вследствие их отличительной

природы, всегда обусловленной их географическим и экономическим положением, характером их занятий, количеством и качеством пищи, также как их политической и социальной организацией, одним словом, всей их жизнью и большей или меньшей степенью интеллектуального и морального развития, — что если, вследствие всех этих условий, одна или несколько систем органических функций, совокупность которых образует жизнь человеческого тела, будут развиты в ущерб всем другим системам, в родителях, — весьма вероятно, почти несомненно, говорим мы, что их ребенок унаследует в той или иной степени ту же плачевную дисгармонию, — с возможностью, только, исправить ее до некоторой степени, благодаря своей собственной будущей работе над самим собой, а иногда, также благодаря социальным революциям, без которых установление более полной гармонии в физиологическом развитии индивидов, взятых в отдельности, может быть часто невозможным.

Во всяком случае, надо сказать, что абсолютная гармония в развитии человеческих мускульных, инстинктивных, интеллектуальных и моральных способностей, является идеалом, который никогда нельзя будет осуществить; во первых, потому, что история физиологически тяготеет более или менее (и да придет время, когда можно будет сказать: все менее и менее) — над всеми народами и над всеми индивидами; и затем потому, что всякая семья и всякий народ всегда поставлены в различные условия между которыми, по крайней мере, некоторые будут всегда противоречить полному и моральному развитию людей.

Итак, то, что передается наследственным путем из поколения в поколение, то, что может быть *физиологически врожденным* в индивидах, рождающихся к жизни, это не достоинства их или недостатки, не идеи или ассоциации чувств и идей, а единственно лишь мускульный и нервный механизм, *более или менее усовершенствованные органы*, посредством которых человек движется, дышет, ощущает себя, получает внешние впечатленья и удерживает их, воображает, судит, комбинирует, ассоциирует и понимает чувства и идеи, являющиеся, ничем иным, как теми же самыми, как внешними, так и внутренними впечатлениями, сгруппированными и переработанными вначале, в конкретные представления, затем в абстрактные понятия, при помощи чисто физиологической и, прибавим еще, совершенно непроизвольной деятельности мозга.

Ассоциации чувств и идей, последовательное развитие и видоизменение которых составляют всю интеллектуальную и моральную часть истории человечества, не обусловливают образование в человеческом мозгу новых органов, соответствующих каждой отдельной ассоциации, и следовательно не могут быть переданы индивидам путей физиологической наследственности. Физиологически наследуется, лишь все более и более усиленная, расширенная и усовершенствованная способность понимать их и создавать новые. Но сами ассоциации и представляющие их сложные идеи, как

например, идея бога, отечества, нравственности и т. д., не могут быть врожденными и передаются индивидам лишь *путем общественной традиции и воспитания.* Они овладевают ребенком с первого дня его рождения, и так как они уже воплотились в окружающей его жизни, во всех, как материальных, так и моральных деталях общественной среды, в которой он родился, то они проникают тысячью различных способов в его, сначала детское, затем отроческое и юношеское сознание, которое рождается, растет и формируется под их всесильным влиянием.

Беря воспитание в самом широком смысле этого слова, понимая под ним не только обучение и уроки нравственности, но и, главным образом, примеры, являемые ребенку всеми окружающими лицами; влияние всего, что он слышит, что он видит; понимая под этим словом, не только умственное образование ребенка, но также развитие его тела посредством питания, гигиены, физических упражнений, — мы скажем с полной уверенностью, что никто нам серьесно не будет противоречить, что всякий ребенок, всякий юноша и, наконец, всякий взрослый человек является всецело продуктом среды, которая вскормила его и воспитала, — продуктом фатальным, непроизвольным и, следовательно, безответственным.

Человек рождается без души, без сознания, без тени какой нибудь идеи или чувства, но с организмом, индивидуальная природа которого определена бесконечным числом обстоятельств и условий, предшествовавших самому появлению воли, и которая, в свою очередь, обусловливает большую или меньшую способность человека к восприятию и присвоению чувств, идей и ассоциаций чувств и идей, выработанных веками и переданных каждому как *общественное наследие,* при помощи полученного каждым воспитания. Плохо это воспитание или хорошо, оно навязано человеку обстоятельствами, он в нем нисколько не ответствен. Оно формирует человека, насколько позволяет более или менее счастливая индивидуальная природа последнего, так сказать, по своему образу, так что человек думает, чувствует и желает то же самое, что думают, чувствуют и хотят все его окружающие.

Но, в таком случае, спросят, может быть, как же об‘яснить, что воспитание, по внешности, по крайней мере, почти тождественное, часто дает самые различные результаты что касается развития характера, ума и сердца? А разве не различны при рождении индивидуальные организмы? Это природное и врожденное различие, сколь бы ни было оно мало, является однако положительным и реальным: различие в темпераменте, в жизненной энергии, в преобладании одного чувства, одной группы органических функций над другой, в природных живости и способности. Мы постарались доказать, что пороки так же, как и моральные качества, — факты индивидуального и общественного сознания, — не могут быть фактически унаследованы и что человек ни может быть предопределен физиологически быть непоправимо злым, неспособным к добру; но мы не думали

отрицать, что есть очень различные индивидуальные организмы, из которых одни, более счастливо одаренные, способны к более широкому гуманному развитию, чем другие. Правда, мы думаем, что в настоящее время слишком преувеличиваются естественные различия между индивидами, и что наибольшую часть ныне существующих различий, надо приписать не столько природе, сколько различному воспитанию, полученному каждым.

Для разрешения этого вопроса надо было бы во всяком случае, чтобы две науки, могущие его разрешить а именно: физиологическая психология, или наука о мозге, и педагогика, или наука о воспитании и общественном развитии мозга, вышли из детского состояния, в котором они обе еще пребывают. Но раз установлено физиологическое различие между индивидами, в какой бы то ни было степени, то с совершенной очевидностью вытекает, что какая-нибудь система воспитания, сама по себе превосходная, как абстрактная система, может быть хороша для одного и дурна для другого.

Для того, чтобы быть совершенным, воспитание должно бы было быть гораздо более индивидуализированным, чем оно является теперь; индивидуализировано в духе свободы и основано на уважении свободы, даже и в детях. Оно должно стремиться не к *дрессировке* характера, ума и сердца, а к их пробуждению к независимой и свободной деятельности. Оно не должно иметь другой цели, как развитие свободы, другого культа, или лучше сказать, другой морали, другого об‘екта уважения, как свободу каждого и всех; как простую справедливость, не юридическую, а человеческую; простой разум, не теологический, не метафизический, а научный; и, труд как мускульный, так и нервный, — как первую и обязательную для всех, основу всякого достоинства, всякой свободы и права. Такое воспитание, широко распространенное на всех, на женщин, как и на мужчин, при экономических и социальных условиях, основанных на справедливости, заставило бы исчезнуть много так называемых естественных различий.

Нам могут возразить: как бы ни было несовершенно воспитание, но во всяком случае им одним нельзя об‘яснить тот неоспоримый факт, что довольно часто в семьях, наиболее лишенных нравственного чувства, можно встретить личностей, поражающих нас благородством своих инстинктов и чувств, и что, напротив того, еще чаще в семьях, самых развитых в нравственном и интеллектуальном отношении, встречаются индивиды, низкие по уму и по сердцу. Но это лишь видимое противоречие. В самом деле, хотя мы и сказали, что в огромном большинстве случаев, человек является всецело продуктом социальных условий, в среде которых он развивается; хотя мы и оставили сравнительно малую долю влиянию физиологического наследства естественных качеств, с которыми человек уже рождается, тем не менее, мы не отрицали этого влияния. Мы признали даже, что в некоторых исключительных случаях, в людях гениальных или очень талантливых,

напр., так же, как в идиотах и в людях нравственно очень испорченных, это влияние естественного определения на развитие индивида — столь же фатального, как и влияние воспитания и общества, — может быть даже очень велико. Последнее слово относительно всех этих вопросов принадлежит физиологии мозга, а эта последняя еще не достигла той степени развития, которая дала бы ей озможность разрешить их даже приблизительно. Единственная вещь, которую мы можем в данный момент с уверенностью утверждать, это то, что все эти вопросы бьются между двумя фатализмами: фатализмом естественным, органическим, физиологически наследственным, и фатализмом наследственности, общественной традиции, воспитания, общественного, экономического и политического устройства каждой страны. В этих двух фатализмах нет места для свободы воли.

Но помимо естественного, положительного или отрицательного, определения индивида, которое может поставить его в большее или меньшее противоречие с духом, царящим в его семье, могут существовать для каждого отдельного случая еще другие скрытые, причины, которые в большинстве случаев всегда остаются неузнанными, но которые должны быть нами приняты, тем не менее, в рассчет. Стечение особых обстоятельств, неожиданное событие, иногда даже очень незначительный сам по себе случай: нечаянная встреча какого нибудь человека, книга, попавшая в руки данному индивиду в надлежащий момент — все это, в ребенке, в подростке или в юноше, когда воображение кипит и еще совершенно открыто для впечатлений жизни, может произвести коренной переворот как к добру, так и ко злу. Прибавьте упругость, свойственную всем молодым характерам, в особенности когда они одарены известной естественной энергией, которая заставляет их реагировать против слишком повелительных и настойчиво деспотичных влияний, и благодаря которой иногда даже избыток зла может породить добро.

Может ли в свою очередь породить зло избыток добра или то, что обыкновенно называется этим именем? Да, когда добро вменяется, как деспотический, абсолютный закон, — религиозный, доктринерно-философский, политический, юридический, социальный или семейно-патриархальный, — одним словом, когда, как бы оно ни казалось добром, или на самом деле было добром, оно налагается на индивида как отрицание свободы, а не является ее продуктом. Но в таком случае, бунт против добра, навязываемого таким способом, является не только естественным, но и законным; восстание это, не только не зло, а, напротив, добро; ибо не существует добра вне свободы, а свобода является источником и абсолютным условием всякого добра, которое истинно достойно этого слова: *ведь добро — это ничто иное как свобода.*

Развить и доказать эту истину, которая нам лично представляется совершенно простой и ясной,—единственная цель этой статьи. Возвратимся теперь к нашему вопросу.

Пример того же самого видимого противоречия или аномалии мы часто имеем в более широком маштабе в истории народов. Например, как об'яснить, что в еврейском народе, бывшем когда-то самым узким и односторонним народом на свете, до того односторонним и узким, что признавая, так сказать, абсолютную привилегированность, божественное избрание, главным основанием своего существования, — этот народ считал, что он один угоден богу, что его бог, Иегова — бог отец христиан — доведя свою заботливость о еврейском народе до самой дикой жестокости ко всем другим народам, приказал ему уничтожить огнем и мечем все племена, занимавшие раньше Обетованную Землю, для того, чтобы очистить место для своего народа-Мессии; — как об'яснить, что в среде этого народа мог родиться Иисус Христос, основатель всечеловеческой мировой религии, и тем самым разрушитель самого существования еврейской нации, как политического и социального тела? Каким образом этот исключительно национальный мир мог породить такого реформатора, религиозного революционера, как апостол[1] . . . .

---

[1] Продолжение этой статьи утеряно, если только оно когда нибудь было написано.

Содержание.

Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ IV

Политика Интернационала, Письма к Французу, Парижская Коммуна.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА".
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1920.

Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ IV.

Политика Интернационала. — Усыпители. — Всестороннее образование.—Организация Интернационала. — Письма о Патриотизме. — Письма к Французу. — Парижская Коммуна и понятие о Государственности.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА".
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1920.

Типография „ГОЛОС ТРУДА“. Петербург.

Политика Интернационала.

Политика Интернационала[1]).

„Мы думали до сих пор“, говорит газета „La Montagne“, „что как политические, так и религиозные убеждения человека находятся в полнейшей независимости от принадлежности его к Интернационалу. Что касается нас, то мы придерживаемся такой точки зрения“.

На первый взгляд может показаться, что г. Куллери [2]) прав. Действительно, Интернационал, принимая нового члена в свою среду, не спрашивает у него религиозен ли он или атеист, принадлежит ли он к той или другой политической партии. Он просто спрашивает у него: рабочий ли ты? И если нет, то хочешь ли, чувствуешь ли потребность и силу искренно и всецело отдаться делу рабочих, посвятить себя ему, оставляя в стороне всякие другие стремления, идущие в разрез с интересами рабочих?

Чувствуешь ли ты, что рабочие, которые производят все богатства мира, которые являются творцами цивилизации, которые завоевали все буржуазные свободы, сами осуждены выносить нищету, невежество и рабство? Понял ли ты, что главной причиной всех несчастий рабочего класса, является нищета? И что эта нищета, составляющая удел рабочих всего мира, является необходимым следствием экономического строя современного общества, а именно, следствием порабощения труда, т. е. пролетариата — капиталом, т. е. буржуазией?

Понял ли ты, что между пролетариатом и буржуазией всегда существует непримиримый антагонизм, так как он является неизбежным следствием их взаимных отношений? Что благоденствие буржуазного класса несовместимо с бла-

---

[1]) Впервые напечатана в газете „Egalité“, в августе 1869 г.

[2]) Куллери — главный редактор цитированной газеты, член Интернационала, хотя в социалистическом отношении очень неопределенная личность (Прим. изд.).

госостоянием и свободой рабочих, ибо оно основано на эксплоатации и рабстве труда и, что по той же причине, процветание и развитие чувства человеческого достоинства в рабочих массах требует уничтожения буржуазии, как отдельного класса? Что, следовательно, борьба между пролетариатом и буржуазией — неизбежна и может окончиться только с уничтожением последней?

Понял ли ты, что ни один рабочий, как бы развит и энергичен он не был, не способен в отдельности бороться против столь хорошо организованного могущества буржуазии, представителем и опорой которой является государство, — всякое государство? Что для того, чтобы стать сильным, ты должен об'единиться не с буржуазией, что было бы с твоей стороны глупостью или преступлением, так как все буржуа, как таковые, наши непримиримые враги; и не с рабочими-изменниками, которые настолько подлы, что готовы выпрашивать благосклонность буржуазии, — но об'единиться с честными энергичными рабочими, искренно стремящимися к тому, чего жаждешь и ты?

Понял ли ты, что, имея перед собою могучую коалицию всех привилегированных классов, всех собственников, капиталистов и всех государств мира, отдельный изолированный союз, местный или национальный, принадлежащий хотя бы к одной из величайших стран Европы, никогда не может победить; и для того, чтобы устоять против этой коалиции и сокрушить ее, необходимо об'единение всех рабочих организаций, местных и национальных, в один всемирный союз, необходим *великий международный союз рабочих всех стран*?

Если ты это чувствуешь, если ты это все хорошо понял и если ты действительно всего этого хочешь — приходи к нам, каковы бы ни были твои политические и религиозные убеждения. Но для того, чтобы мы тебя приняли, ты должен нам обещать: во первых, подчинить отныне твои личные интересы, даже интересы твоей семьи, а также и проявления твоих политических и религиозных убеждений высшим интересам нашего союза: борьбы труда с капиталом, рабочих с буржуазией на экономической почве; во вторых, никогда не вступать в сделки с буржуазией в виду личных выгод; в третьих, никогда не стремиться возвыситься из-за личных выгод над рабочей массой, что сделало бы из тебя буржуа — врага и эксплоататора пролетариата, так как вся разница между буржуа и рабочим та, что первый

ищут своего блага всегда вне коллективности, а вторые ищут и желают добыть его вместе со всеми теми, которые работают и которых эксплоатирует класс буржуазии; в четвертых, быть всегда верным рабочей солидарности, так как на малейшую измену этой солидарности Интернационал смотрит, как на величайшее преступление и как на величайшую гнусность, которую только может совершить рабочий. Одним словом, ты должен сполна и искренно принять наши общие статуты, ты должен дать торжественное обещание сообразовать с нами отныне все твои действия и всю твою жизнь.

Мы думаем, что основатели Интернационала поступили очень умно, не касаясь первоначально в программе Союза политических и религиозных вопросов. У них самих были, несомненно, ясные и определенные политические и антирелигиозные взгляды, но они воздержались от занесения их в программу, так как главной их целью было прежде всего об'единение рабочих масс всего цивилизованного мира, ради общего дела. Они должны были искать общего основания, ряд простых принципов, на которых могли бы сойтись все рабочие, каковы бы ни были их политические и религиозные заблуждения, лишь бы они были действительные рабочие, т. е. тяжело эксплоатируемые и страдающие.

Если бы они подняли знамя какой нибудь политической или антирелигиозной школы, они никогда не об'единили бы рабочих Европы, но еще более раз'единили бы их. Так как благодаря невежеству рабочих, корыстолюбивая и в высшей степени развращающая пропаганда священников, правительств и всех буржуазных политических партий не исключая и наиболее красных, распространила множество ложных взглядов среди рабочих масс, и эти ослепленные массы, к несчастью, еще слишком часто увлекаются всякими измышлениями, имеющими целью заставить их добровольно и глупо, в ущерб своим интересам, служить интересам привилегированных классов.

Впрочем, до сих пор существует слишком большая разница в степени промышленного, политического, умственного и нравственного развития рабочих масс разных стран, чтобы можно было их об'единить в настоящее время одной и той же политической и антирелигиозной программой. Сделать такую программу программой Интернационала, а также и необходимым условием вступления в этот союз значило

бы организовать секту, а не всемирный союз, значило бы погубить Интернационал.

Есть еще другая причина, заставившая удалить вначале из программы Интернационала, по крайней мере кажущимся образом, и только кажущимся образом, всякую политическую тенденцию.

До сих пор, со времени возникновения истории, не было еще политики народа; под словом „народ" мы подразумеваем „рабочую чернь", которая кормит весь мир своим трудом. До сих пор существовала политика только привилегированных классов. Эти классы пользовались мускульной силой народа, чтобы свергать друг друга с трона и занимать место свергнутых. Народ в свою очередь всегда принимал сторону одних против других, только в смутной надежде, что по крайней мере, какая нибудь из этих политических революций, из которых ни одна не могла обойтись без него, но ни одна не была совершена для него, принесет ему некоторое облегчение в его нищете и в его вековом рабстве. И он всегда обманывался. Даже великая французская революция, и та его обманула. Она убила дворянскую аристократию, но посадила на ее место буржуазию; народ не зовется больше ни рабом, ни крепостным, он провозглашен свободным, обладающим всеми правами, но фактически его рабство и нищета остались все теми же.

И они останутся теми же, до тех пор, пока народные массы будут служить орудием буржуазной политики, будет ли эта политика называться консервативной, либеральной, прогрессивной, радикальной и даже если она придаст себе самый революционный вид. Ибо всякая буржуазная политика, каковы бы ни были ее цвет и название, может иметь в сущности только одну цель: *удержание господства буржуазии: господство же буржуазии — есть рабство пролетариата.*

Что же должен был делать Интернационал? Он должен был прежде всего устранить рабочую массу от всякой буржуазной политики, должен был исключить из своей программы все буржуазно—политические программы. Но в момент его возникновения во всем мире не было иной политики, кроме политики церкви, монархии, аристократии или буржуазии. Последняя, в особенности политика радикальной буржуазии, была несомненно более либеральной и гуманной, чем все другие, но все они были одинаково основаны на эксплоатации рабочих масс и не имели в действительности другой цели, как оспаривать друг у друга

монополию этой эксплоатации. Интернационал должен был, стало быть, начать с расчистки почвы, и, так как всякая политика с точки зрения освобождения труда была запятнана реакционными элементами, Интернационал должен был выбросить из своей среды все известные политические системы, чтобы основать на этих развалинах буржуазного мира настоящую политику рабочих, политику Международного Союза.

II.

Основатели Международного Союза Рабочих поступили тем более умно, избегая класть в основу этого союза принципы политические и философские, и придавая ему вначале характер исключительно экономической борьбы труда с капиталом, что они были уверены, что когда рабочий вступит на эту почву, что когда, проникаясь сознанием своего права и своей численной силы, он начнет совместно со своими товарищами борьбу против буржуазной эксплоатации,— он в силу естественного хода вещей и развития борьбы дойдет скоро до признания всех политических, философских и социалистических принципов Интернационала, которые, в сущности, являются только истинным выражением его исходной точки и его цели.

Мы изложили эти принципы в наших последних номерах [1]. С политической и социальной точки зрения они имеют необходимым следствием, уничтожение классов, а следовательно класса буржуазии, являющегося в настоящее время господствующим классом; уничтожение всех территориальных государств, всех политических отечеств и создание на их развалинах великой международной федерации всех производительных групп, национальных и местных. Что же касается философской точки зрения, то, имея в виду осуществление человеческого идеала, человеческого счастья, равенства, справедливости и свободы на земле, они делают тем самым бесполезными всякие упования на небо и надежды на лучшее будущее на том свете, и будут иметь, стало быть, столь же необходимым следствием—уничтожение всех культов и религиозных систем.

Об'явите прежде всего эти обе цели невежественным

---

[1]) В „Egalité", 1869.

рабочим, обремененным ежедневной работой и деморализованным, как бы в тюрьму заключенным, в рамки развратных доктрин, которыми правительство, в союзе со всеми привилегированными кастами — священниками, дворянством, буржуазией — их щедро осыпает, и вы их испугаете. Они, быть может, вас оттолкнут, не подозревая, что все эти идеи суть ничто иное, как самое точное выражение их собственных интересов, что цели эти заключают в себе осуществление наиболее дорогих их желаний, и что напротив, политические и религиозные предрассудки, во имя которых они их отвергнут, быть может, — являются прямой причиной продолжения их рабства и нищеты.

Нужно отличать предрассудки народных масс от предрассудков привилегированного класса. Предрассудки масс, как мы только что это показали, основаны на их невежестве и они совершенно противоположны их интересам, тогда как предрассудки буржуазии основаны именно на интересах этого класса и только благодаря коллективному эгоизму буржуазии могут устоять против разлагающего влияния самой буржуазной науки.

Народ хочет, но не знает; буржуазия знает, но не хочет. Кто из них неизлечим? Несомненно буржуазия.

Общее правило: можно только обратить тех, кто чувствует потребность в этом, только тех, кто уже носит в глубине своих инстинктов, в условиях своего бедственного существования, внешних или внутренних, то, что вы хотите им дать; но не тех, кто не ощущает никакой потребности в перемене, и не тех также, которые, несмотря на то, что желают выйти из положения, коим они недовольны, в силу своих нравственных, умственных и общественных привычек, стремятся искать перемен в такой сфере, которая ничего не имеет общего с миром ваших идей.

Попробуйте обратить в социализм дворянина, стремящегося к богатству, буржуа, желающего стать дворянином или даже рабочего, который всеми силами души своей стремится к тому, чтобы стать буржуа! Обратите настоящего или воображаемого аристократа ума, ученого, полу-ученого, четверть-ученого — десятую, сотую часть ученого, которые все полны ученого чванства и часто, только потому что имели счастье кое-как осилить несколько книг, полны высокомерного презрения к безграмотным массам и воображают, что призваны образовать новую господствующую, т. е. эксплоатирующую касту.

Никакие рассуждения, никакая пропаганда никогда не будет в состоянии обратить этих несчастных. Чтобы убедить их, существует только одно средство: „это — уничтожение самой возможности существования привилегий, всякого господства и всякой эксплоатации; это — социальная революция, которая, сметая все, что составляет неравенство в мире, сделает их нравственными, принудив искать счастья в равенстве и солидарности.

Иначе обстоит дело с действительными рабочими. Под действительными рабочими мы подразумеваем всех тех, которые действительно задавлены бременем труда, всех тех, положение которых настолько непрочно и жалко, что никому из них, исключая разве какие нибудь редкие случаи, не может даже придти в голову мысль добыть для *себя самого*, и только для себя, лучшее положение при существующих экономических условиях и в современной социальной среде стать, например, в свою очередь, хозяином или государственным советником. Мы включаем безусловно в ту же категорию, редких и благородных рабочих, которые, имея возможность возвыситься над рабочим классом, не хотят этим воспользоваться, предпочитая лучше выносить еще некоторое время, вместе со своими товарищами по несчастью, буржуазную эксплоатацию, нежели стать сами эксплоататорами. Этих нет надобности обращать: они чистые социалисты.

Мы говорим об огромной массе рабочих, которые, изнуренные ежедневной работой, невежественны и несчастны. Эта масса, каковы бы ни были ее политические и религиозные предрассудки, сделавшиеся отчасти преобладающим элементом в ее сознании, благодаря стараниям буржуазии, является *бессознательно социалистической*. Она инстинктивно в силу самого своего положения гораздо серьезнее и глубже социалистична, чем все научные и буржуазные социалисты вместе взятые. Она является социалистичной в силу всех условий своего материального существования, в силу всех потребностей своего существа, а не в силу потребности мысли, как это происходит у последних; в действительной жизни, потребности первого рода имеют гораздо большую силу, чем потребности мысли, которая здесь, как и повсюду, всегда является выражением личности, отражением ее последовательного развития, но никогда не может быть ее принципом.

У рабочих нет недостатка ни в реальности, ни в необ-

ходимости социалистических стремлений, им недостает лишь социалистической мысли; то, к чему каждый рабочий стремится всей своей душой, это — вполне человеческое существование, как в смысле материального благосостояния, так и в смысле умственного развития, существование, основанное на справедливости, т. е. на равенстве и свободе каждого и всех в труде; этот идеал, являющийся инстинктивно у того, кто живет своим собственным трудом, не может, конечно, осуществиться при современном политическом и социальном строе, покоящимся на несправедливости и циничной эксплоатации рабочих масс. А потому каждый настоящий рабочий необходимо является революционером и социалистом, ибо его освобождение может осуществиться только посредством ниспровержения всего того, что существует ныне. Или эта организация несправедливости, со всеми выставленными на показ своими криводушными законами, должна погибнуть, или же рабочие массы будут осуждены на вечное рабство.

В этом заключается социалистическая мысль, зародыш которой находится в инстинкте каждого действительного рабочего. Цель, значит, состоит в том, чтобы дать рабочему полное сознание того, что он хочет, пробудить в нем мысль, соответствующую его инстинкту, ибо когда мысль рабочих масс поднимется до уровня их инстинкта, воля их определится и могущество их станет несокрушимо.

Что еще мешает более быстрому развитию этой спасительной мысли в среде рабочих масс? — Без сомнения, их невежество, и в значительной степени, их политические и религиозные предрассудки, при помощи которых заинтересованные в этом классы, стараются затемнять их природное сознание и ум. Каким же образом рассеять их невежество, как разрушить их гибельные предрассудки? Посредством образования и пропаганды.

Это, конечно, прекрасное средство. Но при существующем положении рабочих масс они недостаточны. Рабочий слишком задавлен трудом и ежедневными работами, чтобы уделять достаточное время на образование. Да и кто, впрочем, будет вести эту пропаганду? Те немногие искренние социалисты, вышедшие из буржуазии, которые несомненно полны благородных желании, — с одной стороны, в силу своей немногочисленности, не могут придать пропаганде необходимую широту, а с другой стороны, принадлежа по своему социальному положению к и[н]ому миру, не могут иметь на

рабочую среду должного влияния, возбуждая при этом к себе, ее более или менее справедливое недоверие.

„Освобождение рабочих есть дело самих рабочих" сказано в предисловии к нашим общим статутам. Это тысячу раз правда. Это главная основа нашего Союза. Но рабочие в большинстве случаев невежественны, они еще пока совершенно не владеют теорией. Следовательно им остается только один путь, *путь практического освобождения*. Какова же может и должна быть. эта практика? Существует только одна: это — солидарная борьба рабочих против хозяев. Это — *трэд-юнионы, организация, организации и федерации касс сопротивления.*

III.

Если Интернационал в начале проявляет снисходительность к пагубным и реакционным идеям в области политики и религии, которые могут быть у рабочих, входящих в его среду, то это вовсе не в силу безразличного отношения к этим идеям. Это нельзя назвать равнодушием, так как он ненавидит и отстаивает их всеми силами, так как всякая реакционная идея является разрушением самого принципа Интернационала, как это было доказано в предыдущих статьях.

Подобная снисходительность, повторяем еще раз, внушена ему глубокой мудростью. Зная прекрасно, что всякий действительный рабочий является социалистом, в силу условий, необходимо присущих его бедственному существованию, и, что его реакционные идеи могут быть только следствием его невежества, Интернационал рассчитывает, что рабочий может освободиться от них, при помощи коллективного опыта, который он приобретет в лоне Интернационала, а главное благодаря развитию коллективной борьбы рабочих против хозяев.

Действительно, раз рабочий, начиная верить в возможность радикального переустройства экономического строя, совместно со своими товарищами принимается горячо бороться за уменьшение рабочего времени и увеличение заработной платы, когда он начинает сильно заинтересовываться этой чистой материальной борьбой, можно с уверенностью сказать, что в скором времени этот рабочий покинет все свои небесные мечтания и, что, привыкая все бо-

лее и более рассчитывать на коллективные силы рабочих, он должен будет отказаться от помощи неба. Место религии в его уме займет социализм. Также будет и с его реакционными политическими взглядами. Они утратят свою главную опору, по мере того, как сознание рабочего станет освобождаться от религиозного давления. С другой стороны, экономическая борьба, развиваясь и расширяясь все более и более, заставит его узнать на практике и посредством коллективного опыта, всегда являющегося поучительнее и шире всякого отдельного опыта, своих настоящих врагов— привилегированные классы, включая сюда духовенство, буржуазию, дворянство и государство. Это последнее существует только для того, чтобы блюсти привилегии всех этих классов и всегда неизбежно становится на их сторону против пролетариата.

Рабочий, вступив, таким образом, в борьбу, в конце концов поймет существующий непримиримый антагонизм между этими оплотами реакции и своими самыми дорогими для него человеческими интересами; и, дойдя до этой степени сознания, он ясно и определенно заявит себя социалистом и революционером.

Не так дело обстоит с буржуазией. Все ее интересы противоположны экономическому переустройству общества, и если идеи ее тоже противоречат этому переустройству и если они реакционны, или, как теперь выражаются более вежливо, умеренны; если ум и сердце ее отталкивают тот великий акт справедливости и освобождения, который мы называем социальной революцией; если эти буржуа питают отвращение к истинному социальному равенству, т. е. к равенству политическому, социальному и экономическому одновременно; если в глубине души они хотят сохранить для самих себя, для своего класса или для своих детей, хотя бы одну единственную привилегию, хотя бы только привилегию ума, как мы видим это у буржуазных социалистов; если они не возненавидят не только всей логикой своего ума, но и всей силой своего чувства, существующий порядок вещей, —тогда можно быть уверенным, что они останутся реакционерами, врагами рабочего дела на всю жизнь. И их нужно отстранить от Интернационала.

Их надо держать от Интернационала как можно дальше, так как, проникая туда, они не могут иметь другой цели, как произвести деморализацию в его среде и свести его с истинного пути. Впрочем, есть безошибочный признак, по ко-

торому рабочие могут узнать, приходит ли к ним буржуа желающий быть принятым в их ряды, искренно, без тени фальши, без малейшей задней мысли. Этим признаком служит та связь, которую он сохранил с буржуазным миром.

Антагонизм, существующий между рабочим миром и буржуазией, принимает все более и более резкий характер. Всякий серьезно думающий человек, чувства и представления которого не искажены влиянием, часто бессознательным, пристрастных софистов, должен в настоящее время понимать, что никакое примирение между рабочими и буржуазией немыслимо. Рабочие хотят равенства, буржуазия — неравенства. Ясно, что одно уничтожает другое. Поэтому огромное большинство буржуазии, капиталистов и собственников, имеющих смелость откровенно заявить о своих желаниях, показывают с такой же искренностью и смелостью свою ненависть и к современному движению рабочего класса. Это — враги решительные и искренние; их мы знаем, и это хорошо.

Но есть другая категория буржуа, которые не обладают ни подобной смелостью, ни подобной искренностью. Являясь врагами социальной ломки, к которой мы стремимся всей силой нашей души, как к великому акту справедливости, как к необходимому основанию рациональной и равноправной организации общества, эти буржуа, как и все другие, хотят сохранить экономическое неравенство, этот вечный источник всех прочих неравенств. И в тоже время, они утверждают, что, как и мы, они стремятся к полному освобождению трудящихся и труда. Они отстаивают с увлечением, достойным самых реакционных буржуа, самую причину рабства пролетариата, — отделение труда от недвижимой или капиталистической собственности, представителями которой являются различные классы. И не смотря на это, они выступают апостолами освобождения рабочего класса из под гнета собственности и капитала!

Обманываются ли они сами, или других обманывают? Некоторые искренно ошибаются; многие обманывают других; огромное большинство в одно и то же время и сами обманываются, и других обманывают. Все принадлежат к разряду радикальных буржуа и буржуазных социалистов, которые основали „Лигу Мира и Свободы"!

Социалистическая ли эта Лига? — Вначале и в течении первого года своего существования, она, как мы уже имели случай указать, с ужасом отворачивалась от социализма.

В прошлом году на своем конгрессе в Берне, она торжественно отвергла принцип экономического равенства. Теперь же, чувствуя приближение смерти и желая еще немного продлить свое существование, поняв наконец, что отныне никакая политическая жизнь немыслима без социального вопроса, она называет себя социалистической: она стала буржуазно-социалистической, а это означает, что она хочет на основе *экономического неравенства* разрешить все социальные вопросы. Она хочет, она должна сохранить процент на капитал и земельную ренту, и она думает вместе с этим освободить рабочих. Она хочет воплотить абсурд.

Зачем ей понадобилось это делать? Что заставило ее предпринять столь бессмысленное, столь бесплодное дело? Не трудно это понять.

Значительная часть буржуазии устала от господства цезаризма и милитаризма, вызванного ею же самой в 1848 году из страха перед пролетариатом. Вспомните только июньские дни, предвестники декабрьских; вспомните Национальное Собрание, которое после июньских дней, единогласно, за исключением одного члена, покрыло руганью и проклятиями великого и можно сказать, героического социалиста Прудона, единственного человека, имеющего смелость бросить социалистический вызов этому бешеному стаду буржуев — консерваторов, либералов и радикалов. Не нужно забывать, что среди всех этих ругателей Прудона, есть масса граждан, живых теперь, которые, попавши в огонь декабрьских преследований, с тех пор сделались мучениками свободы.

Без всякого сомнения, буржуазия вся целиком, включая сюда и радикальную буржуазию — не была в собственном смысле слова творцом цезарского деспотизма и милитаризма, результаты которых она в настоящее время оплакивает. Воспользовавшись ими против пролетариата, она хотела бы теперь избавиться от них. Нет ничего естественнее: этот режим ее унижает и разоряет. Но как от них избавиться? Некогда она была смела и решительна, за ней была сила побед; теперь она труслива и слаба: она чувствует, что одна она ничего сделать не в состоянии, что ей нужна помощь. Эту помощь может оказать только пролетариат, — следовательно, его нужно привлечь на свою сторону.

Но как его привлечь? Обещанием свободы и политического равенства? Это — слова, которые не трогают больше рабочих. Они научились дорогой ценой, они поняли тяжким

опытом, что эти слова ничего иного для них не означают, как сохранение рабства экономического, часто даже более тяжелого, чем оно было раньше. Если, стало быть, вы хотите затронуть чувство этих несчастных миллионов рабов труда, то говорите об экономическом освобождении. Нет больше ни одного рабочего, который бы не знал теперь, что это является для него единственным, серьезным и реальным основанием всех других освобождений. Следовательно им нужно говорить об экономических преобразованиях общества.

Ну, что-же, сказали себе члены Лиги Мира и Свободы, будем говорить об этом, назовем себя тоже социалистами. Будем обещать им экономические и социальные реформы, но с условием, чтобы они уважали основы цивилизации и буржуазного всемогущества: частную и наследственную собственность, процент на капитал, земельную ренту. Убедим их, что только при этих условиях, которые, впрочем, обеспечивают нам господство, а рабочим рабство, рабочий может быть освобожден.

Убедим их еще в том, что для осуществления всех социальных реформ, нужно прежде всего совершить хорошую политическую революцию, исключительно политическую, такую красную, какую им только будет угодно, с политической точки зрения, — с массой отрубленных голов, если это будет необходимо, — но с сохранением полнейшего уважения к священной собственности. Одним словом, чисто якобинскую революцию, которая сделает нас господами положения. А раз мы окажемся хозяевами положения, то мы дадим рабочим то... что мы сможем и захотим дать.

Это безошибочный признак, по которому рабочие могут узнать фальшивого социалиста, социалиста буржуазного: если, говоря им о революции или о социальном перевороте, он говорит им, что политический переворот *должен предшествовать* перевороту экономическому; если он отрицает, что обе эти революции должны совершиться одновременно, или, что политическая революция не должна быть ничем иным, как только немедленным и прямым осуществлением полной и всецелой социальной ликвидации, — пусть рабочие повернут ему спину, потому что, или он просто глуп, или лицемерный эксплоататор.

Международный союз рабочих, дабы остаться верным своему принципу и не сойти с единого пути, который может довести его до цели, должен остерегаться, главным

образом, влияния двух родов буржуазных социалистов: сторонников *буржуазной политики, включая сюда и буржуазных революционеров,* и сторонников *буржуазной кооперации,* или так называемых *практических людей.* Рассмотрим сперва первых.

Экономическое освобождение, сказали мы в предыдущем номере, есть основа всякого другого освобождения. Мы резюмировали в этих словах, всю политику Интернационала.

Действительно, в предпосылках к статутам мы читаем следующее заявление:

„*Подчинение труда капиталу есть источник всякого рабства: политического, нравственного и материального,* и по этой причине, экономическое освобождение рабочих есть великая цель, которой должно быть подчинено всякое политическое движение“.

Само собой разумеется, что всякое политическое движение, которое не ставит непосредственной и прямой целью *окончательное и полное* экономическое освобождение рабочих и которое не начертало на своем знамени ясно и определенно принцип *экономического равенства,* означающего *полное возвращение капитала труду* или же *социальную ликвидацию,* что всякое такое политическое движение есть буржуазное и, как таковое, должно быть исключено из Интернационала.

Следовательно, без всякого сожаления должна быть исключена политика буржуазных демократов или буржуазных социалистов, которые, заявляя, что „политическая свобода есть *предварительное* условие экономического освобождения“, могут понимать под этими словами лишь следующее: реформы или революции политические должны предшествовать реформам или революциям экономическим; рабочие должны, следовательно, войти в союз с буржуазией, более или менее радикальной, для совершения вместе с ней сперва первых, чтобы потом произвести против нее последние.

Мы громко протестуем против этой пагубной теории, которая может привести рабочих только к тому, чтобы заставить их лишний раз служить орудием против себя самих и предоставить их снова буржуазной эксплоатации.

Завоевать политическую свободу *сначала* — означает ни что иное, как завоевать сначала ее одну, оставляя, по крайней мере, в первые дни, старые экономические и со-

циальные отношения, т. е. сохраняя собственность и капиталистов, дерзко выставляющих свои богатства, и рабочих с их нищетой.

Но, говорят, раз эта свобода будет завоевана, она послужит рабочим орудием в деле завоевания впоследствии, *равенства* или *экономической справедливости*.

Свобода, действительно, прекрасное и могущественное орудие; но вопрос в том, могут ли рабочие действительно воспользоваться ею, будет ли она действительно в их руках, или же, как это было всегда до сих пор, их *политическая свобода* будет только обманчивой внешностью, фикцией.

Рабочий, которому в его настоящем экономическом положении стали бы говорить о политической свободе, мог бы ответить припевом известной песни:

Не говорите о свободе,
Нищета есть рабство!

И действительно, надо быть влюбленным в иллюзию, чтобы воображать, что рабочий при тех экономических условиях, в которых он теперь находится, сможет полностью и действительным образом воспользоваться своей политической свободой? Ему недостает для этого двух маленьких вещиц: досуга и материальных средств.

Впрочем, не видели ли мы это во Франции на другой день после революции 1848 года, революции, наиболее радикальной, какую только можно пожелать с политической точки зрения.

Французские рабочие, конечно, не были ни равнодушными, ни бестолковыми и, несмотря на самое широкое всеобщее избирательное право, они должны были предоставить буржуазии свободу действий. Почему? Потому что им недоставало материальных средств, необходимых для того, чтобы политическая свобода стала реальностью, потому что они оставались рабами труда под угрозой голода, в то время как буржуа-радикалы, либералы и даже консерваторы, — одни уже республиканцы, другие, ставшие ими потом, раз'езжали, агитировали, говорили, действовали и конспирировали свободно, кто благодаря своим доходам или выгодному буржуазному положению, а кто благодаря государственному бюджету, который, конечно, был сохранен и даже увеличен больше, чем когда либо.

Известно, что вышло отсюда: сначала июньские дни, потом, как необходимое следствие, декабрьские.

Но скажут нам, рабочие, наученные опытом не по-

шлют больше буржуа в учредительные и законодательные собрания, они пошлют туда простых рабочих; как бы они не были бедны, они могут дать необходимое содержание своим депутатам. Знаете ли, что из этого выйдет? То, что рабочие-депутаты, попавшие в условия буржуазного существования и в атмосферу чисто буржуазных политических идей, фактически перестав быть рабочими, становясь людьми государственными, сделаются буржуями и, быть может, станут буржуазнее самих буржуа. Не люди создают положение, а наоборот, положение — людей. А мы знаем по опыту, что *рабочий-буржуа* бывает часто не менее эгоистичен, чем *буржуа-эксплоататор*; не менее вреден для Союза, чем буржуа-социалисты; не менее смешным в своем чванстве, чем облагороженные буржуа.

Что бы ни делали и ни говорили, до тех пор пока рабочий останется при настоящих условиях существования, для него будет немыслима свобода, и те, которые зовут его к завоеванию политической свободы, не касаясь предварительно жгучих вопросов социализма, не произнеся слов „*социальная ликвидация*“, заставляющих бледнеть всех буржуа, те просто говорят рабочему: добудь сначала эту свободу для нас, чтобы мы потом могли воспользоваться ею против тебя.

Но ведь у них добрые и искренние намерения, у этих радикальных буржуа, скажут нам. — Нет таких добрых и искренних намерений, которые могли бы устоять против влияния положения и, так как мы сказали, что даже рабочие, попавшие в буржуазные условия неизбежно становятся буржуями, то тем более буржуа, оставшиеся в этих условиях, останутся буржуями.

Если буржуа, охваченный страстным желанием справедливости, равенства и гуманности, хочет серьезно трудиться над освобождением пролетариата, пусть он начнет с того, что порвет с буржуазией все свои политические и социальные связи, всякие отношения, возникшие на почве материальных или умственных интересов, на почве чувства и тщеславия. Пусть он поймет сначала, что никакое примирение невозможно между пролетариатом и этим классом, который, живя только эксплоатацией других, является естественным врагом пролетариата.

Отойдя окончательно от буржуазного мира, пусть он станет под знамя рабочих, на котором написаны следующие слова: „Справедливость, Равенство и Свобода для всех.

Уничтожение классов посредством экономического уравнения всех. Социальная ликвидация". — Он будет желанным гостем. Что же касается буржуазных социалистов и рабочих-буржуа, которые будут говорить нам о соглашении между буржуазной политикой и социализмом рабочих, мы можем только дать такой совет последним: отойди от них.

Так как буржуазные социалисты стараются в настоящее время организовать, пользуясь *приманкой социализма*, громадную рабочую агитацию, для завоевания политической свободы, которой, как мы только что видели, воспользуется только буржуазия; так как рабочие массы, дошедшие до истинного понимания своего положения, озаренные и движимые принципом Интернационала, уже организуются и начинают представлять действительную силу, не национальную, а международную, и не для того, чтобы делать буржуазное дело, а свое собственное; так как даже для того, чтобы осуществить буржуазный идеал полной политической свободы с республиканскими учреждениями, необходима революция, а никакая революция не может восторжествовать без содействия народной силы, — нужно чтобы эта сила, перестав загребать жар для господ буржуа, стала служить отныне только торжеству народного дела, делу всех тех, кто трудится, против всех тех, кто эксплоатирует чужой труд.

Международное Общество Рабочих, верное своему принципу, никогда не протянет руки политической агитации, не имеющей своей непосредственной и прямой целью — *полное экономическое освобождение рабочих*, т. е. уничтожение буржуазии, как класса экономически обособленного от массы, и не поможет никакой революции, которая с первого же дня, с первого же часа не начертает на своем знамени — *социальная ликвидация*.

Но революции не импровизируются. Они не делаются по воле отдельных личностей, ни даже самых могущественных ассоциаций. Они, независимо от всякой воли и от всякой конспирации, всегда происходят в силу хода самих вещей. Их можно предвидеть, иногда предчувствовать их приближение, но никогда нельзя ускорить их взрыв.

Убежденные в этой истине, мы ставим себе вопрос: какой политике должен следовать Интернационал в течении этого более или менее длинного периода времени, отделяющего нас от той ужасной социальной революции, которую мы все теперь предчувствуем?

Отбрасывая согласно своим статутам всякую национальную и местную политику, Интернационал придает рабочей агитации всех стран характер *исключительно экономический*. Ставя как цель: уменьшение рабочего времени и увеличение заработной платы, как средство: *объединение рабочих масс и организацию касс сопротивления.*

Он будет пропагандировать свои принципы, так как эти принципы, будучи чистейшим выражением коллективных интересов рабочих всего мира, являются его душой и составляют всю жизненную силу Союза. Он поведет широко эту пропаганду, не считаясь с буржуазной щекотливостью, чтобы каждый рабочий, выходя из состояния умственной и нравственной неподвижности, в которой его стараются удержать, понял положение дел и знал, что он должен хотеть и при каких условиях может завоевать себе человеческие права.

Он должен будет вести эту пропаганду тем более искренно, и энергично, что в нем самом мы часто наталкиваемся на такие влияния, которые, показывая свое презрение к этим принципам, хотели бы заставить их сойти за ненужную теорию и стараются вернуть рабочих к политическому, экономическому и религиозному катехизису буржуазии.

Он, наконец, расширится и прочно организуется, переступив границы всех стран, чтобы в момент, когда, наступившая в силу естественного хода вещей, революция вспыхнет, нашлась бы реальная сила, знающая, что она должна делать, и в силу этого, способная взять революцию в свои руки и придать ей направление спасительное для народа: серьезная международная организация рабочих союзов всех стран, способная заменить этот отходящий политический мир государств и буржуазии.

Мы заканчиваем это точное изложение политики Интернационала воспроизведением последнего параграфа предпосылок к нашим общим статутам:

„Движение совершающееся среди рабочих промышленных стран Европы, пробуждая новые надежды, дает торжественное предупреждение не впадать в старые ошибки“.

———

Усыпители.

Усыпители.

I.

Международная ассоциация буржуазных демократов, „Международная Лига Мира и Свободы", издала свою новую программу или, вернее, испустила вопль отчаянья, трогательный призыв ко всем буржуазным демократам Европы, умоляя их не дать ей погибнуть по недостатку средств.

Ей не хватает нескольких тысяч франков, чтобы продолжать свой журнал, окончить бюллетень своего последнего конгресса и сделать возможным собрание нового конгресса, вследствие чего центральный комитет, дойдя до последней крайности, решился открыть подписку и приглашает всех сочувствующих и верующих в эту буржуазную Лигу доказать свою симпатию и веру, прислав ему, в каком бы то ни было виде, как можно более денег.

В этом циркуляре Центрального Комитета Лиги читателю слышится голос умирающих, силящихся разбудить мертвых. В нем нет ни одной живой мысли, все повторение избитых фраз и бессильное выражение желаний, столь же добродетельных, сколько бесплодных, над которыми история давно произнесла смертный приговор, именно за их отчаянное бессилие.

А между тем надо отдать справедливость Лиге Мира и Свободы, она соединяет в себе самых передовых, самых благомыслящих и самых великодушных буржуа Европы, конечно, за исключением маленькой группы людей, которые хотя родились и воспитались в буржуазном классе, но с той самой минуты, как убедились в отсутствии жизненной силы в этом почтенном сословии, как поняли, что оно не имеет никакого права на существование и может продолжать это существование лишь в ущерб справедливости и человечеству, разорвали с ним всякие сношения и, отвернувшись от него, смело отдались великому делу освобожде-

ния рабочих, эксплуатируемых и порабощенных этой буржуазией.

Почему же Лига, заключающая в своей среде столько умных, ученых и искренно либеральных личностей, так скудна мыслью, так очевидно неспособна желать действовать и жить.

Эта неспособность и скудоумие зависят не от личностей, а от целого класса, к которому эти личности имеют несчастье принадлежать. Этот класс, как политический и социальный организм, оказав в свое время цивилизации важные услуги, самой историей обречен на смерть. И это последняя и единственная услуга, которую он еще может оказать человечеству, так долго питавшему его своими лучшими силами. Но умирать она не хочет. Вот в чем единственная причина его настоящей глупости, той постыдной немощности, которая характеризует ныне все его политические предприятия, как национальные, так и интернациональные.

Буржуазная Лига Мира и Свободы желает невозможного, она хочет, чтобы буржуазия существовала и вместе с тем продолжала служить прогрессу. После долгих колебаний, а именно после того, как в среде своего комитета она отрицала в конце 1867 г., в Берне, даже существование социального вопроса; после того, как на своем последнем конгрессе она отвергла огромным большинством экономическое и социальное равенство, она, наконец, поняла, что теперь в истории положительно невозможно ступить шагу вперед, не разрешив социального вопроса и не доставив торжества принципу равенства. Циркуляр Лиги приглашает всех членов деятельно содействовать „всему, что может ускорить наступление царства справедливости и равенства". И в то же время она ставит такой вопрос: „Какую роль должна играть буржуазия в социальном вопросе".

Мы уже ответили ей. Если она действительно желает оказать человечеству еще одну последнюю услугу; если ее любовь к истинной свободе, т. е. к свободе всеобщей, полной и равной для всех, искренняя; если, одним словом, она хочет перестать быть реакцией, ей остается исполнить тол ко одно: умереть добровольно и как можно скорее.

Мы говорим, конечно, не о смерти индивидуумов, составляющих этот класс, но о смерти его, как сословия, как политического и социального организма Истинный, единственный смысл, единственная цель социального вопроса, как признает и сам центральный комитет, состоят в

торжестве и осуществлении равенства. Но не очевидно ли, что в таком случае буржуазия должна погибнуть, так как ее существование, как организма, различного по экономическому положению от рабочей массы, влечет за собою и необходимо производит неравенство.

Сколько бы ни прибегали ко всяким уловкам, сколько бы ни старались запутать вопрос, подделать социальную науку на пользу буржуазной эксплуатации, все рассудительные люди, которым нет выгоды обманывать себя, понимают теперь, что пока для известного количества экономически привилегированных людей будут существовать средства и образ жизни, отличные от рабочего класса; пока, с одной стороны, более или менее значительное количество отдельных лиц будут наследовать в различных пропорциях земли и капиталы, несозданные их собственным трудом, а с другой стороны, громадное большинство трудящихся не наследуют ровно ничего, пока проценты с капитала и рента позволяют этим привилегированным личностям существовать, не работая, до тех пор равенство немыслимо. Если даже предположить, что в обществе все работают по обязанности или по доброй воле, но что один класс общества, благодаря своему экономическому положению и, пользуясь, вследствие этого, особыми политическими и общественными привилегиями, может предаваться исключительно умственной работе, тогда как громадное большинство людей бьется из за насущного хлеба; если допустить, что не все люди находят в обществе одинаковые условия жизни, воспитания, образования, труда и наслаждения, — то этим самым равенство экономическое, политическое и социальное делается положительно невозможным. Во имя равенства буржуазия некогда свергла феодальное право. Во имя равенства и мы требуем ныне смерти или самоубийства буржуазии, с той только разницей, что менее кровожадные, чем буржуазия, мы желаем смерти не людей, а только современного порядка. Покорностью и уступками буржуа могут спасти свои особы. Но горе им, если, в безумном увлечении интересами своего класса, обреченного на смерть, они вздумают противиться народному правосудию, чтобы спасти невозможное положение!

II.

Сторонникам Лиги Мира и Свободы следовало бы по-

задуматься над тем жалким финансовым положением, в котором в настоящее время находится Лига Мира, после почти двухлетнего существования, что союз самых радикальных буржуазных демократов Европы не мог ни создать действительной организации, ни произвести ни одной плодотворной, живой мысли. Но нас это не удивляет, потому, что для нас ясна причина этого бессилия и скудоумия.

Но отчего Лига вполне буржуазная и, как таковая, состоящая, понятно, из членов несравненно более богатых и более свободных в своих действиях и поступках, чем члены Международного Рабочего Общества, отчего погибает она теперь по недостатку материальных средств, между тем как работники Интернационала, бедняки, подавляемые множеством притеснительных, несправедливых законов, неимеющие ни образования, ни досуга, обремененные тяжелым трудом, сумели в короткое время создать сильную международную организацию со множеством журналов, выражающих их потребности, стремления, идеи? Чему приписать это финансовое банкротство, дополняющее уже об'ясненное нами умственное и нравственное банкротство? Как! Все радикалы швейцарские, вся немецкая народная партия, все гарибальдийские демократы Италии, вся радикальная демократия Франции, Испании и Швейцарии, все эти партии, представляемые такими личностями, как сам Эмилио Кастелар, как милый полковник, обезоруживший все умы и покоривший все сердца на последнем Бернском конгрессе; такими практическими деятелями, такими великими политическими дельцами, как г. Гаусман и редакторы „Будущности“; умами, подобными Лемонье, Густаву Фохту и Барни; борцами, как г.г. Гег и Шодэ, — все эти партии и личности, взявшись за создание „Лиги Мира и Свободы“, с благословением Гарибальди, Кинэ и Якоби кенигсбергского, после двухлетнего существования общества, не могли обеспечить его финансовую сторону и Лига Мира и Свободы должна умереть из за отсутствия нескольких тысяч франков! как! даже трогательные, символические об'ятия представителей великого германского отечества и великой нации, г.г. Армана Гега и Шодэ, бросившихся при всем конгрессе друг другу на шею с криками: *Pax! Pax! Pax!* (Мир) так что маленький бернец, Теодор Бэк даже всплакнул от восторга и умиления, все это не дало ни одного су, буржуазные кошельки не раскрылись, сухие сердца европейской буржуазии не смягчились.

Неужели буржуазия уже обанкротилась? Нет еще. Или, может быть, ей перестали нравиться свобода и мир? Ничуть. Свободу она продолжает любить, конечно, с условием, чтобы свобода существовала только для нее, т. е. с условием, чтобы она сохранила свободу эксплуатировать фактическое рабство народных масс, которые при настоящих конституциях, имея только право на свободу, но не средства пользоваться ею, поневоле остаются в ее власти. Что же касается до мира, то никогда буржуазия не чувствовала такой потребности в нем, как ныне. Вооруженный мир, давящий в настоящую минуту Европу, тревожит, парализует, разоряет буржуазию.

Почему же буржуазия, с одной стороны еще не потерпевшая банкротства, а с другой продолжающая питать любовь к миру и свободе, почему не хочет она пожертвовать ни копейки на поддержание Лиги Мира и Свободы?

Дело в том, что она не верит в эту Лигу, потому что не верит в самое себя. Верить — значит страстно хотеть; а она безвозвратно утратила способность хотеть. Действительно, чего еще хотеть ей в настоящее время, как отдельному классу? Ей и без того принадлежит все: богатство, наука исключительное владычество. Ей, конечно, не очень нравится военная диктатура, несколько грубо покровительствующая ей; но она хорошо понимает, насколько она необходима, и благоразумно покоряется ей, отлично зная, что с той минуты, как эта диктатура падет, она лишится всего и перестанет даже существовать. Вы, граждане Лиги, хотите, чтобы эта буржуазия дала вам свои деньги и соединилась с вами для уничтожения стеснительной диктатуры? Как бы не так! Обладая практическим смыслом, она лучше вас понимает свои интересы.

Вы силитесь убедить ее, указывая ей ту бездну, к которой она роковым образом стремится, следуя по пути эгоистического и грубого консерватизма. Вы думаете, она не видит этой бездны? Она не хуже вас чувствует приближение катастрофы, которая должна поглотить ее. „Но, соображает она, если мы поддержим существующий порядок, то можем надеяться продержаться в настоящем положении целые годы, быть может, умереть до наступления катастрофы, а там будь, что будет! Между тем, позволив увлечь себя по пути радикализма и низвергнув существующую власть, мы завтра же погибнем. И так, лучше останемся при существующем“.

Буржуа-консерваторы лучше понимают настоящее положение, чам буржуа радикалы. Не предаваясь иллюзиям, они понимают, что между отживающей буржуазной системой и социализмом, долженствующим заменить ее, не может быть никаких сделок. Вот почему все действительно практические умы и туго набитые кошельки буржуазии обращаются на сторону реакции, предоставляя Лиге Мира и Свободы пустые головы и пустые кошельки. Вот почему эта злосчастная Лига терпит ныне столько банкротств. Ничто не доказывает так убедительно умственную, нравственную и политическую смерть буржуазного радикализма, как его нынешнее бессилие создать хотя бы самую ничтожную вещь, бессилие, вполне доказанное во Франции, Германии и Италии и проявившееся в самом ярком свете в Испании. Вот уже девять месяцев, как в Испании возгорелась, и восторжествала революция. Буржуазия имела, если не власть, то, по крайней мере, все средства захватить власть в свои руки. Что же она создала? Монархию и регентство Серрано!

III.

Как ни глубока наша антипатия, наше недоверие и презрение к нынешней буржуазии, но в этом классе все таки есть две категории, которые мы не отчаиваемся по крайней мере частично убедить социальной пропагандой и сделать полезными народному делу. Одна, силою самих обстоятельств и своего положения, другая, в силу своего темперамента и ума, должны будут принять и, конечно, примут вместе с нами участие в уничтожении нынешней несправедливости и в создании нового порядка вещей.

Мы говорим о самой мелкой буржуазии и о школьной и университетской молодежи. Скажем несколько слов о буржуазной молодежи. Дети буржуазного происхождения, правда, наследуют, по большей части, исключительные привычки, узкие предрассудки и эгоистичные инстинкты своих родителей. Но пока они молоды, в них не следует отчаиваться. Молодость обладает такой энергией, такими широкими стремлениями, таким врожденным инстинктом справедливости, что эти хорошие качества зачастую уравновешивают много вредных влияний. Испорченная примером и уроками своих отцев, буржуазная молодежь не развращена

в конец практикой жизни; ее собственная деятельность еще не вырыла пропасти между ней и справедливостью, а что касается дурных традиций ее отцов, то она до некоторой степени застрахована от них духом противоречия и протеста, присущим всем молодым поколениям по отношению к предшествующим. Молодежь непочтительна, она инстинктивно пренебрегает традицией и принципом авторитета. В этом ее сила и ее спасение.

Затем следует спасительное влияние учения, науки. Да, действительно спасительное, но только под условием, чтобы учение не было ложно направлено и чтобы наука не была пошлым доктринерством в пользу официальной лжи и беззакония.

К несчастию, в настоящее время и учение и наука в огромном большинстве европейских школ и университетов находятся, именно, в этом состоянии систематической и преднамеренной подделки. Можно подумать, что наука нарочно создана, умственно и нравственно отравить буржуазную молодежь. Университет же и школы превратились в привилегированные лавки, где ложь продается оптом и в розницу.

Мы не станем указывать на богословие, науку божественной лжи, на юриспруденцию, науку человеческой лжи, на метафизику и идеальную философию, науки всякой полулжи; мы укажем на такие науки, как история, политическая экономия, философия, опирающиеся не на реальное знание природы, а основывающиеся на тех же началах, на которых построены богословие, юриспруденция и метафизика. Можно без преувеличения сказать, что всякий молодой человек, выходящий из университета и пропитанный этими науками или, лучше сказать, этими различными видами систематической лжи, которые, присвоили себе название науки, совершенно губится умственно, если не представятся какие нибудь исключительные обстоятельства, могущие спасти его. Профессора, эти новейшие жрецы патентованного политического и социального шарлатанства отравили его таким славным ядом, что нужны полные чудеса целебного искусства, чтобы вылечить его. Молодой человек выходит из университета полнейшим доктринером, исполненным уважения к самому себе и презрения к подлой черни, которую он готов притеснять, а главное, эксплуатировать, во имя своего умственного и нравственного превосходства. Чем моложе подобная личность, тем зловреднее и тем гаже она.

Иное дело факультет точных и естественных наук. Это настоящие науки! Чуждые богословия и метафизики, они враждебны всяким фикциям и основываются исключительно на точном знании, на добросовестном анализе фактов, на здравом смысле, присущем каждому. Насколько науки идеальные авторитетны и аристократичны, настолько естественные науки демократичны и широко либеральны. А потому, что же мы видим? Молодые люди, изучавшие идеальные науки, становятся в жизни эксплуататорами и реакционерами-доктринерами; те же, которые изучают естественные науки, становятся революционерами, и многие революционерами-социалистами. На эту часть молодежи мы и надеемся.

Манифестации последнего Люттихского конгресса дают нам надежду, что скоро вся эта развитая и благородная часть университетской молодежи составит в среде Международного Общества Рабочих новые секции. Содействие их будет иметь высокую цену, если только они поймут, что миссия науки состоит теперь не в господстве, а в служении труду, что им гораздо больше приходится учиться у рабочего, чем быть его учителями. Они — представители молодой буржуазии, он — представитель будущего человечества; в нем заключена вся его будущность. Таким образом в будущих исторических событиях первенствующая роль будет за рабочим, а студенты из буржуазии окажутся его учениками.

Но пора вернуться к Лиге Мира и Свободы. Почему на ее конгрессах не присутствует молодая буржуазия? Дело ясно. Доктринеры не пойдут туда, а другая часть этой молодежи в настоящее время представляет нечто, пожалуй, похуже уже сложившейся буржуазии. Масса нынешнего студенческого мира погрязла в филистерстве и в настоящем предана грубым удовольствиям, в будущем она мечтает о блестящих и доходных местах. Эта масса и не знает о существовании Лиги Мира и Свободы.

Когда Линкольн был избран президентом Соединенных Штатов, покойный полковник Дуглас, бывший тогда одним из главных предводителей побежденной партии, воскликнул: „наша партия погибла. Молодежь не с нами“. Так эта бедная Лига никогда не была молода; она родилась старой и умрет, не живши.

Такова участь всей радикальной буржуазной партии

Ервопы. Все ее существование было всегда только прекрасной мечтой. Она мечтала во время Реставрации, мечтала во время Июльской Монархии. В 1848 году, выказав себя неспособной создать что нибудь существенное, она позорно пала, а сознание собственной неспособности и бессилия кинуло ее в реакцию, и после 1848 г. она имела несчастие пережить самое себя. Она и теперь продолжает мечтать. Но это уже не мечта о будущем; это старческая мечта о прошлом человека отжившего, который в сущности не имеет прошлого. Эта часть буржуазного мира все еще упорствует в своей тяжелой мечте, но и она чувствует и понимает, что вокруг нее уже волнуется иной мир, нарождается сила будущего. Это — сила и мир рабочей массы.

Движение рабочего мира наконец разбудило ее. Долго непризнававшая, даже отвергавшая существование этой грозной силы, она, наконец, убедилась в ее действительном существовании: перед нею стоял мир, полный жизни, которой сама она никогда не знала. Желая спасти себя, она попыталась переродиться и слиться с этой живой силой. И теперь она называет себя уже не радикальной демократией, а *буржуазным социализмом.* Под этим новым названием эта часть буржуазии существует еще только год. Посмотрим что удалось ей произвести в продолжение этого года.

IV.

Наши читатели могут, конечно, спросить нас, почему мы занимаемся Лигой Мира и Свободы, если считаем ее умирающей, если знаем, что дни ее сочтены; почему не даем ей покойно и без шуму покончить свое жалкое существование. Действительно, так бы и следовало поступить, если бы Лига Мира и Свободы не угрожала подарить нам на прощание свою память — буржуазный социализм. Мы не стали бы заниматься этим жалким незаконнорожденным детищем буржуазии, если бы он обращался с своей пропагандой только к буржуазному радикальному миру; не веря в успех его усилий, мы только удивлялись бы его благим намерениям; но, к несчастью, он не довольствуется этими бесполезными усилиями и старается проникнуть в рабочую среду, чтобы и ее приобщить буржуазной теории; а это по меньше мере безнравственно и, главное, крайне вредно. Этот выродок, буржуазный социализм, очутился

между двумя непримиримо враждебными мирами: миром буржуазным и миром рабочим. Хотя, с одной стороны, его двусмысленное и вредное действие ускоряет смерть буржуазии, за то, с другой, развращает пролетариат. Он вдвойне развращает его: во первых, извращая программу и умаляя величие ее принципов; во вторых, внушая ему несбыточные надежды и нелепую веру в близкое обращение буржуазии; он привлекает, или по крайней мере, желает привлечь пролетариат к буржуазной политике и таким образом, обратить его опять в орудие буржуазии. Что же касается принципов буржуазного социализма, то он находится в этом отношении в положении столь же затруднительном, сколько смешном; он или слишком широк, или слишком развращен, чтобы держаться одного определенного принципа, он хочет соединить в себе два принципа, взаимно исключающие друг друга, с нелепой претензией примирить их. Например, он хочет сохранить буржуазии индивидуальную собственность капитала и земли и в то же время заявляет великодушную готовность обеспечить благосостояние рабочего. Далее он обещает рабочим полное пользование продуктом их труда — вещь невозможную при существовании процента с капитала и ренты, так как и процент, и рента взимаются с продукта труда.

Буржуазный социализм хочет сохранить за буржуазией ее нынешнюю свободу, которая ничто иное, как возможность эксплутировать силою капитала труд рабочих, и в то же ввемя он обещают рабочим полное экономическое и социальное равенство: равенство эксплуатируемых с эксплуататорами.

Он защищает право наследства, то есть возможность детям богатых рождаться богатыми, а детям бедняков нищими, и вместе с тем обещает всем детям равенство воспитания и образования, как того требует справедливость.

Буржуазный социализм поддерживает, в пользу буржуазии, неравенство положений, естественное последствие наследственного права, и обещает пролетариату, что в его системе все будут равно работать, сообразно способностям и естественным наклоностям каждого. Это было бы возможно только при двух условиях, одинаково нелепых: или, государство, власть которого также ненавистна социальной буржуазии, как и нам, будет принуждать богатых работать наравне с бедными, что приводит нас прямо к государственному коммунизму; или, все богатые, движимые единственно

чудным самоотвержением и великодушной решимостью примутся добровольно работать, непобуждаемые нуждой, работать наравне с теми, кого заставляют трудиться нужда и голод.

Но даже допуская подобное чудо, очевидно, что работающие по необходимости всегда будут в подчинении, зависимости и просто в рабстве у добровольных работников.

Буржуазный социалист легко узнается по следующему признаку: он крайний индивидуалист и не может без внутренней злобы слышать о коллективной собственности. Враждебный ей, он естественным образом враждебен и коллективному труду и, не имея возможности совершенно устранить его из социальной программы, хочет во имя свободы, которую так плохо понимает, открыть самое широкое поприще индивидуальному труду.

А что такое индивидуальный труд? Всюду, где непосредственно участвует физическая сила или ловкость человека, то есть, во всем, что называется материальным производством — индивидуальный труд бессилен; единичная работа одного, как бы он ни был силен и ловок, никогда не может бороться против коллективного труда рабочих организованных в ассоциацию. То, что ныне в промышленном мире называется индивидуальной работой, есть только эксплуатация коллективного труда рабочих отдельными лицами, привилегированными обладателями капитала или знания. Но с прекращением эксплуатации, чего они желают, как уверяют, по крайней мере, сами буржуазные социалисты, в промышленном мире не будет другого труда, кроме труда коллективного и, следовательно другой собственности, кроме коллективной. Таким образом, индивидуальный труд останется возможным только в интеллектуальном производстве, в работе ума, Но и тут нужна оговорка. Ум величайшего гения не есть ли продукт коллективной работы, как умственной, так и промышленной, всех прошедших и настоящих поколений. Чтобы убедиться в этом, достаточно вообразить себе этот самый гений перенесенным, с самого раннего детства, на необитаемый остров, предполагая, что он не погибнет там с голоду; что получится из него? Животное, существо неспособное даже говорить, а тем более мыслить. Перенесите его туда в десятилетнем возрасте; что выйдет из него через несколько лет? Опять таки животное, потерявшее способность говорить и сохранившее от своей человеческой природы лишь смутный инстинкт. Перенесите

его двадцати, тридцати лет—через десять, пятнадцать, двадцать лет он одичает. И самое большее, что может сделать—изобретет какую нибудь новую религию.

Из этого ясно, что человек, даже богато одаренный природою, получает от нее только способности, и что эти способности останутся бесплодными, мертвыми без могучего действия коллективности. Наше мнение, что личность, богато одаренная от природы, уже поэтому самому многим может воспользоваться и пользуется от коллективности, а это обязывает ее много воздать ей; этого требует справедливость.

Тем не менее, мы признаем, что хотя большая часть умственных работ может производиться и лучше, и скорее коллективно, чем индивидуально, но есть такие, которые требуют единичного труда. Что же из этого следует? Уже не то ли, что единичные работы гениальных или талантливых людей, будучи более редки, более ценны и более полезны, чем работы обыкновенных рабочих, должны оплачиваться лучше? На каком основании? Разве эти работы тяжелее ручного труда? Напротив, ручной труд несравненно тяжелее. Умственный труд приятен; он сам в себе носит свою награду и не нуждается в другом вознаграждении. Кроме того, он еще находит вознаграждение в уважении и благодарности современников, в сознании того просвещения и блага, которые он им доставляет. Вы, предающиеся идеальничанью в таких широких размерах, господа буржуа-социалисты, неужели вы не находите, что эта награда стоит всякой другой? Или, может быть, вы предпочли бы более существенное вознаграждение звонкой монетой? Вы сами оказались бы в большом затруднении, если бы вам пришлось устанавлять таксу на продукты интеллектуальной работы гения. Это, по очень верному замечанию Прудона, величины неизмеримые: они или ничего не стоят или стоят миллионы... Но понимаете ли вы, что при этой системе вам придется поторопится уничтожить наследственное право, потому что иначе дети людей гениальных или великих талантов будут наследовать миллионы и сотни тысяч; вспомните притом, что дети гениев большею частью, вследствие ли неизвестного еще закона природы, или того привилегированного положения, которое доставили им труды их отцов, бывают большей частью очень ограничены умственно, а часто просто глупы. Что же станется с тем справедливым распределением, о котором вы так любите толковать и во имя которого ведете борьбу с

нами? Как осуществится та равноправность которую, вы нам сулите?

Из всего этого, кажется, очевидно, что единичный труд индивидуального ума, все умственные работы в смысле изобретения, но не в смысле приложения, должны быть даровыми. Но чем же тогда жить людям таланта, людям гениальным? Разумеется физическим и коллективным трудом как все другие. Как? Вы хотите подчинить великие умы физическому труду наравне с самыми посредственными? Да, хотим, и вот почему: во первых, мы убеждены, что великие умы не только ничего при этом не потеряют, но напротив, много выиграют, укрепятся физически, а еще более духовною солидарностью и справедливостью. Во вторых, это единственный способ возвысить и очеловечить физический труд и этим самым установить настоящее равенство между людьми.

V.

Теперь мы рассмотрим великие меры, предлагаемые буржуазным социализмом для освобождения рабочего класса, и легко докажем, что каждая из этих мер под очень почтенной наружностью скрывает что нибудь невозможное, лицемерное, лживое. Их три: 1) народное образование, 2) кооперация и 3) политическая революция.

Мы спешим заявить, что есть пункт, на котором мы совершенно согласны с ними: образование необходимо народу. Только те могут отвергать это или сомневаться в этом, кто желает увековечить рабство народных масс. Мы так убеждены, что образование есть мерило той степени свободы, благосостояния и человечности, которой может достигнуть как целый класс, так и отдельное лицо, что требуем для пролетариата не только какого нибудь образования, а образования полного, всестороннего, чтобы над ним не мог возвыситься иной класс, покровительствующий и направляющий его в силу своего знания; чтобы не могла создаться новая аристократия — аристократия ума и знания. По нашему мнению, из всех аристократий, которые угнетали человеческое общество поочередно, а иногда все вместе, это так называемая аристократия ума всех гнуснее, презрительнее, надменнее и притеснительнее. Аристократия дворянства говорит вам: „Вы честный человек, но вы не

дворянин". Это оскорбление еще можно перенести. Аристократия капитала признает за вами всевозможные достоинства, „но, прибавляет она, у вас нет ни гроша за душой". Это тоже еше сносно, потому что это лишь констатирует факт, в большинстве случаев скорее лестный для того, к кому обращается этот укор. Но аристократия ума говорит вам: „вы ничего не знаете, ничего не понимаете, вы осел, а я разумный человек, поэтому я должен вас навьючить и вести". Это нестерпимо.

Аристократия ума — возлюбленное детище новейшего доктринерства, последнее прибежище духа властолюбия, которым страдал мир с самого начала исторических времен и который воздвиг и освятил все государства. Это смешное и нелепое поклонение патентованному уму могло родиться только в среде буржуазии. Аристократии дворянства наука была не нужна для доказательства своего права. Она опирала свою власть на двух неопровержимых аргументах, основывая ее на насилии, на грубой физической силе и освящая милостью Божьей. Она совершала насилия, а церковь благословляла их — таково было ее право. Эта тесная связь торжествующего кулака с божественной санкцией придавала ей обаяние и внушала ей ее рыцарскую доблесть, покорявшую ей сердца.

Буржуазия, лишенная всякой доблести и благодати, может основывать свое право только на одном аргументе: очень существенном, но очень прозаическом могуществе денег. Это циническое отрицание всякой добродетели; с деньгами всякий дурак и скот, всякий негодяй имеет всевозможные права; без денег все личные достоинства ничего не значат — вот основной принцип буржуазии в его грубой действительности. Понятно, что такой аргумент, как бы ни был он силен сам по себе, недостаточен, чтобы оправдать и закрепить могущество буржуазии. Такова природа людей, что самые скверные вещи могут упрочиваться в обществе только под благовидной личиной. Отсюда поговорка, что лицемерие есть дань уважения, платимая пороком добродетели. Самое могущественное насилие нуждается в освящении.

Мы видели, что дворянство ограждало все свои насилия милостью Божьей. Буржуазия не могла прибегнуть к такому покровительству, во первых, потому, что Господь Бог и его представительница церковь слишком скомпрометировали себя исключительно покровительствуя целые века мо-

нархии и дворянской аристократии, злейшему врагу буржуазии; и во вторых, потому, что буржуазия, чтобы она ни говорила и ни делала, все таки отрицает Бога. Она толкует о Боге для народа, но сама в нем не нуждается и обделывает все свои дела в храмах, посвященных не Господу, а Мамону, на бирже, в торговых и банкирских конторах, в больших промышленных заведениях. Ей, следовательно, надо было искать санкции помимо церкви и Бога. Она нашла ее в патентованной интелигенции.

Она отлично знает, что ее настоящее политическое могущество основывается главным образом и, можно сказать, единственно, на ее богатстве; но так как она не желает и не может сознаться в этом, то старается об'яснить это могущество своим умственным превосходством не природным, а научным; чтобы управлять людьми утверждает она, нужно много знать; а в настоячее время она одна обладает знанием. Действительно, во всех государствах Европы только буржуазия, включая сюда и дворянство, существующее ныне только по имени, — класс эксплуатирующий и властвующий, получает один сколько нибудь серьезное образование. Кроме того, из среды буржуазии выделяется особое меньшинство, посвящающее себя исключительно изучению великих вопросов философии, социальной науки и политикй и составляющее собственно новейшую аристократию, аристократию патентованной и привиллегированной интеллигенции. Это меньшинство — квинт-эссенция и сильнейшее выражение духа и интересов буржуазии.

Новейшие европейские университеты, образующие род ученой республики, оказывают буржуазии те же услуги, какие некогда католическая церковь оказывала дворянству, и подобно тому, как католицизм санкционировал в свое время все насилия дворянства над народом, университет, храм буржуазной науки, об'ясняет и оправдывает ныне эксплуатацию того же самого народа капиталом буржуазии. Удивительно ли после этого, что в великой борьбе социализма против буржуазной политической экономии, новейшая патентованная наука так решительно приняла и продолжает принимать сторону буржуазии.

Не будем придираться к последствиям, будем всегда обращаться к причинам. Школьная наука — продукт буржуазного духа; представители этой науки родились, выросли и воспитались в буржуазной среде, под влиянием ее духа и исключительных интересов; поэтому естественно,

что и та, и другие враждебны полному и действительному освобождению пролетариата, и что их теории, экономические, философские, политические и социальные последовательно выработанные в этом духе, имеют в сущности целью только доказать неспособность народных масс и, следовательно, призвание буржуазии, управлять ими до конца веков, так как богатство дает ей знание, а знание дает возможность богатеть еще больше. Как же выйти рабочему из этого заколдованного круга? Ему, понятно, необходимо приобрести знание и захватить в свои руки могучее орудие—науку, без которой он может, правда, делать революцию, но никогда не будет в состоянии воздвигнуть на развалинах буржуазных привилегий эту равноправность, справедливость и свободу, которые составляют сущность всех его политических и социальных стремлений. — Вот пункт, на котором мы вполне сходимся с буржуазными социалистами.

Но на следующих пунктах мы положительно расходимся с ними.

1. Буржуазные социалисты требуют для рабочих только немного более того образования, которое они получают в настоящее время, и предоставляют привилегию высшего образования очень незначительному классу счастливцев; говоря проще — людям, вышедшим из класса землевладельцев, буржуа, и тем, которые по счастливой случайности были приняты в среду этого класса, так сказать, усыновлены им. Буржуазные социалисты утверждают, что бесполезно всем получать одинаковую степень образования, потому что, если бы все захотели предаваться науке, то никого не осталось бы для физического труда, без которого даже наука не может существовать.

2. С другой стороны они утверждают, что для освобождения рабочих масс надо начать с воспитания их, и что пока они не будут обладать знанием, им нечего и думать о коренном изменении своего экономического и социального положения.

Всестороннее Образование.

Всестороннее Образование.

I.

Мы рассмотрим сегодня первым следующий вопрос: возможно ли полное освобождение рабочих масс, пока образование их будет ниже образования, получаемого буржуазией, или пока, вообще, будет существовать какой нибудь класс, многочисленный или нет, пользующийся по своему рождению привилегией лучшего воспитания и более полного образования? Поставить этот вопрос, значит решить его.

Очевидно, что из двух лиц, одаренных от природы приблизительно одинаковыми умственными способностями, то, которое больше знает, умственный кругозор которого более расширен, благодаря приобретенным научным знаниям, и которое, лучше поняв взаимную связь естественных и социальных фактов, или то, что называют естественными и социальными законами, легче и шире постигнет характер среды, в которой живет, — это лицо будет чувствовать себя более свободным в этой среде, окажется на практике способнее и сильнее другого. Понятно, что тот, кто больше знает, будет господствовать над тем, кто знает меньше. И если бы существовало только различие в воспитании и образовании между классами, то этого одного различия было бы вполне достаточно, чтобы в сравнительно короткий срок породить все другие, и человечество вернулось бы к современному состоянию, т. е. оно было бы вновь разделено на массу рабов и небольшую кучку господ, при чем первые, как и теперь, работали бы на последних.

Понятно, стало быть, почему социалисты-буржуа требуют для народа только побольше образования, немножко больше того, что народ получает ныне, и почему мы, демократы-социалисты, требуем для него, наоборот, *полного всестороннего образования*, насколько позволяет состояние умственного развития века, чтобы не могло существовать ни-

какого класса, стоящего выше рабочих масс и могущего приобретать большие знания, и который, именно потому, что у него будет больше знаний, сможет господствовать над рабочими и эксплуатировать их.

Буржуазные социалисты желают сохранения классов, так как каждый класс, по их мнению, должен иметь свою особую функцию, один, напр., должен представлять науку, другой — ручной труд; мы же желаем окончательного и полного уничтожения классов, об'единения общества, экономического и социального равенства всех людей на земле. Они желали бы, сохраняя классы, уменьшить, смягчить и сгладить несправедливость и неравенство, — этот исторический фундамент современного общества, — мы же хотим разрушить их. Отсюда ясно, что между буржуазными социалистами и нами немыслимы ни соглашение, ни примирение, ни даже союз.

Но, скажут нам, — и этот аргумент всего чаще выставляют против нас, и господа доктринеры всех цветов считают его неопровержимым, — невозможно, чтобы все человечество отдалось науке: оно умерло бы с голоду. Следовательно, необходимо, чтобы в то время как одни занимаются наукой, другие работали бы и производили продукты, которые необходимы прежде всего им самим, а затем также и людям, посвятившим себя исключительно умственному труду, так как люди эти трудятся ни для себя одних: их научные открытия не только обогащают человеческий ум, но и улучшают быт всего человечества, благодаря применению их к промышленности и земледелию и, вообще, к политической и экономической жизни. Разве их художественные произведения не облагораживают жизнь всех людей?

Нисколько. И мы всего больше упрекаем науку и искуство именно в том, что они распространяют свои благодеяния и оказывают свое благотворное влияние только на очень незначительную часть общества, минуя огромное большинство и, следовательно, в ущерб ему. Относительно прогресса в науке и искуствах можно сказать теперь то же самое, что уже не раз было замечено с большим основанием относительно удивительного развития промышленности, торговли, кредита, одним словом, общественного богатства в наиболее цивилизованных странах современного мира. Это богатство совершенно исключительное и с каждым днем все более и более стремится к исключительно-

сти, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем количестве рук и выбрасывая низшие слои среднего класса, так называемую мелкую буржуазию, в ряды пролетариата, так что развитие этого богатства находится в прямом отношении к возрастающей нищете рабочих масс. Отсюда следует, что пропасть, разделяющая счастливое и привилегированное меньшинство от миллионов работников, которые содержат это меньшинство трудом своих рук, постоянно расширяется, и чем счастливее становятся счастливцы, эксплоататоры народного труда, тем бедственнее делается положение работников. Стоит только сравнить баснословную роскошь крупного аристократического, финансового, торгового и промышленного мира Англии с бедственным положением рабочих той же страны; стоит прочитать недавно обнародованное наивное и вместе с тем ужасающее письмо одного умного и честного лондонского серебряника, Вальтера Дюгана, который *добровольно* отравился вместе с женою и шестью детьми, спасаясь от унижений, нищеты и от мучений голода, — и придется сознаться, что наша пресловутая цивилизация для народа не что иное, как источник рабства и нищеты.

То же можно сказать и о современном прогрессе в области науки и искуств. Прогресс этот огромный — это правда; но чем больше он возрастает, тем больше становится причиною умственного, а, следовательно, и материального рабства, причиною нищеты и умственной отсталости народа, постоянно расширяя пропасть, отделяющую умственный уровень народа от умственного уровня привилегированных классов.

Ум народа, с точки зрения природной способности, конечно, в настоящий момент менее притуплен, менее испорчен, искалечен и извращен необходимостью защищать несправедливые интересы, и, следовательно, он, естественно, обладает большей мощью, чем буржуазный ум; но за то последний вооружен наукою, а это оружие ужасно. Очень часто случается, что очень умный рабочий вынужден замолчать перед глупым ученым, который побивает его не умом, которого у него нет, а образованием, отсутствующим у рабочего. Он мог получить это образование, потому, что в то время как его, глупого, учили и развивали в школе, труд рабочего одевал его, давал ему жилище, кормил его и снабжал всём необходимым для его образования, учителями и книгами.

Мы прекрасно знаем, что и в буржуазном классе не всякий обладает равными знаниями. Тут также своего рода иерархия, зависящая не от способности индивидов, а от большего или меньшего богатства того социального слоя, к которому они принадлежат по рождению: так например, образование, получаемое детьми мелкой буржуазии, немногим превышая образование рабочих, почти ничтожно в сравнении с тем которым, общество щедро наделяет среднюю и высшую буржуазию. И что-же мы видим? Мелкая буржуазия которая, с одной стороны, в данное время причисляется к среднему классу только благодаря смешному тщеславию, а с другой стороны поставлена в зависимость от крупных капиталистов, находится в большинстве случаев, в еще более бедственном и унизительном положении, чем пролетариат. Поэтому, говоря о привилегированных классах, мы никогда не подразумеваем в числе их эту жалкую мелкую буржуазию. Будь у нее больше ума и смелости, она не преминула бы присоединиться к нам, чтобы вместе бороться против крупной и средней буржуазии, которая давит ее теперь не меньше, чем пролетариат. Если экономическое развитие общества будет продолжаться в том же направлении еще лет десять, что нам кажется, впрочем, невозможным, то большая часть средней буржуазии сначала очутится в теперешнем положении мелкой буржуазии, а потом, мало по малу, поглотится пролетариатом, все благодаря той же фатальной концентрации собственности все в меньшем и меньшем количестве рук, и, в конце концов, неизбежным результатом этого будет окончательное разделение социального мира на незначительное но непомерно богатое, ученое и господствующее меньшинство и на огромное большинство несчастных, невежественных и порабощенных пролетариев.

Каждого добросовестного человека, всех кому дороги человеческое достоинство и справедливость, т. е. свобода и равенство поражает тот факт, что все изобретения человеческого разума, все великие приложения науки к промышленности, торговле и вообще к социальной жизни, до сих пор служили только интересам привилегированных классов и могуществу государств, вечных покровителей всякого политического и социального неравенства, и никогда не приносили пользы народным массам. Стоит только указать на машины, чтобы каждый рабочий и искренний сторонник освобождения труда согласился с этим.

Какая сила поддерживает привилегированные классы еще и теперь, со всем их наглым довольством и несправедливыми наслаждениями всеми благами жизни, против столь законного негодования народных масс? Сила, присущая им? Нет, их охраняет только государственная сила. В государстве, впрочем, дети их занимают ныне, как и всегда, высшие должности и даже средние и низшие, они не исполняют только обязанностей рабочих и солдат. А что составляет ныне главную силу государства? Наука.

Да, наука. Наука, правительственная, административная и наука финансовая; наука, учащая стричь народное стадо, не вызывая слишком сильного протеста, и когда оно начинает протестовать, учащая подавлять эти протесты, заставлять терпеть и повиноваться; наука, учащая обманывать и раз'единять народные массы, держать их всегда в спасительном невежестве, чтобы они никогда не могли, соединившись и помогая друг другу, организовать из себя силу, способную свергнуть государство; наука военная прежде всего, с усовершенствованным оружием и всеми ужасными орудиями разрушения, „творящими чудеса“; наконец, наука изобретателей, создавшая пароходы, железные дороги и телеграфы, которые, служа для военных целей, удесетеряют оборонительную и наступательную силу государств; телеграфы, которые, превращая каждое правительство в сторукое или тысячерукое чудовище, дают им возможность быть вездесущими, всезнающими, всемогущими — все это создает самую чудовищную политическую централизацию, какая только существовала в мире.

После этого можно ли отрицать, что до сих пор всякий прогресс, без исключения, в науке служил всегда средством для обогащения привилегированных классов и усиления государств, в ущерб благосостоянию народных масс, пролетариата? Но, возразят нам, разве рабочие не пользуются также благами прогресса? Разве в нашем обществе они не являются гораздо более цивилизованными по сравнению с прошлыми веками?

На это мы ответим словами Лассаля, знаменитого немецкого социалиста. Для того, чтобы судить о прогрессе рабочих масс, с точки зрения их политического и экономисеского освобождения, не нужно сравнивать их умственный уровень в настоящем веке с умственным уровнем их в прошлые века. Надо посмотреть, прогрессировали ли они за данный период времени в такой же степени, как и при-

вилегированные классы. Ибо, если они совершили такой же прогресс, как и эти последние, разница в умственном развитии между ними и привилегированными будет такая же, как и прежде: если пролетариат совершит больший прогресс и быстрее, чем привилегированные, разница эта необходимо уменьшится. Если же, наоборот, прогресс рабочего будет итти медленнее и, следовательно, будет совершен в меньшей степени, чем прогресс господствующих классов, в тот же промежуток времени, разница эта увеличится: пропасть разделявшая их, станет шире, привилегированный станет более могущественным, рабочий сделается более зависимым, более рабом, чем раньше. Если мы выйдем с вами одновременно из двух разных пунктов, и вы будете впереди меня на сто шагов, и если при этом вы будете делать шестьдесят шагов в минуту, в то время как я только тридцать, то через час расстояние, разделявшее нас, будет не сто шагов, а тысяча девятьсот.

Этот пример дает точную идею о взаимном прогрессе, совершаемом буржуазией и пролетариатом. До сих пор буржуазия двигалась быстрее по пути цивилизации, чем пролетарии, но не потому, чтобы ее природные умственные способности были выше умственных способностей последних, — теперь мы с полным правом можем сказать обратное, — а потому что экономическая и политическая организация общества была такова, что одна только буржуазия могла получать образование, что наука существовала только для нее и что пролетариат осужден на вынужденное невежество, так что если он всетаки делает прогресс, — и этот прогресс не подлежит сомнению, — так это не благодаря обществу, а вопреки ему.

Резюмируем все нами сказанное. При современной организации общества прогресс науки был причиной *относительного* невежества пролетариата, подобно тому как прогресс промышленности и торговли был причиной его *относительной* бедности. Умственный и материальный прогресс, следовательно, одинаково способствовали увеличению его рабства. Что отсюда следует? То, что мы должны отвергнуть *эту* буржуазную науку и бороться против нее, так же как мы должны бороться против буржуазного богатства и отвергнуть его. Бороться и отвергнуть их в том смысле, что, разрушая общественный строй, при котором они являются собственностью одного или нескольких классов, мы должны их требовать, как общего достояния для всех.

(Egalité, 31 июля 1869 г.).

II

Мы доказали, что, пока существуют две или несколько степеней образования для различных слоев общества, до тех пор необходимо будут существовать классы, т. е. экономические и политические привилегии для небольшого числа счастливцев, и рабство и нищета для большинства. Как члены Международного Общества Рабочих мы хотим равенства, а потому должны также желать всестороннего и равного образования для всех.

Но, спросят, если все будут образованы, кто же захочет работать? Наш ответ прост: *все должны работать и все должны быть образованы.* На это очень часто возражают, что подобное смешение умственного и механического труда может произойти только в ущерб тому и другому: работники физического труда будут плохими учеными, а ученые всегда останутся очень плохими рабочими. Да, — в современном обществе, где ручной и умственный труд одинаково искажены тем совершенно искуственным разобщением, которому оба подвергнуты. Но мы убеждены, что обе эти силы, мускульная и нервная, должны быть одинаково развиты в каждом живом и цельном человеке и не только не могут вредить друг другу, а напротив, каждая должна поддерживать, расширять и укреплять другую: знание ученого будет плодотворнее, полезнее и шире, если ученый будет знаком и с ручным трудом, труд образованного рабочего будет *осмысленнее*, и следовательно, более производителен, чем труд невежественного рабочего.

Из этого следует, что в интересе как самого труда, так и науки, не должно существовать ни рабочих, ни ученых, а должны быть только люди.

Люди, которые теперь в силу своего умственного превосходства занимаются исключительно наукою, которые однажды попав в эту область, подчиняются влиянию условий своего буржуазного положения и обращают все свои открытия исключительно на пользу своего привилегированного класса, — эти люди, сделавшись действительно солидарными со всеми людьми, солидарными не в воображении только и не на словах, а на деле, через труд, обратят также неизбежно, открытия и приложения науки на пользу всех и прежде всего на облегчение и облагорожение труда,

этой единственно законной и реальной основы человеческого общества. Возможно и даже очень вероятно, что в переходный период, более или менее продолжительный, который наступит естественно, после великого социального кризиса, наиболее высоко стоящие науки упадут значительно ниже их настоящего уровня. Несомненно, также и то, что роскошь и все, составляющее утонченность жизни, должно будет исчезнуть надолго из общества и вернутся, уже не как исключительная привилегия, а как общее достояние, возвышающее жизнь всех людей, только тогда, когда общество доставит все необходимое всем своим членам.

Считать ли, впрочем, несчастием или даже неудобством это временное затмение высшей науки? То, что наука потеряет в движении в высь, она выиграет в широте распространения. Будет, конечно, меньше ученых, но будет меньше и невежд. Взамен нескольких первоклассных умов миллионы людей, теперь униженных и раздавленных, получат возможность жить по человечески. Не будет полубогов, но не будет и рабов. Полу-боги и рабы станут людьми; первые немного спустятся с своей исключительной высоты, вторые значительно поднимутся. Не будет, следовательно, места ни для обоготворения ни для презрения. Все подадут друг другу руки и, соединившись, с новой энергией пойдут к новым завоеваниям как в науке, так и в жизни.

Поэтому, не страшась этого, впрочем совершенно временного, затмения науки, мы призываем его, наоборот, всей душой, ибо следствием его будет очеловечение как ученых, так и работников ручного труда, примирение науки с жизнью. И мы уверены, что как только это осуществится, прогресс человечества как в науке, так и в жизни быстро превзойдет все, что мы до сих пор видели, и все, что мы теперь можем вообразить.

Но здесь является другой вопрос: *способны ли все личности возвыситься до одинаковой степени образования*? Вообразим себе общество, устроенное на началах полного равенства, где дети с самого рождения находятся в одинаковых условиях как политических, так и экономических и социальных, т. е. пользуются совершенно одинаковой обстановкой, воспитанием и образованием. Между миллионами этих маленьких существ будут бесконечные различия в энергии, в естественных склонностях и способностях.

Вот самый сильный аргумент наших противников, чи-

стых буржуа и буржуазных социалистов. Они считают его неопровержимым. Постараемся доказать им противное.

Во-первых, покакому праву они ссылаются на принцип индивидуальных способностей? Возможно ли в современном обществе развитие этих способностей? Возможно ли оно в каком бы то ни было обществе, экономическим основанием которого будет служить наследственное право? Ясно, что нет, ибо раз будет существовать наследственное право, будущая карьера ребенка не может быть результатом его личных способностей и энергии, а прежде всего зависит от степени богатства или нищеты его семьи. Богатый, но глупый наследник получит высшее образование, а самые умные дети рабочего все-же останутся невежественными, как это происходит теперь. Какое, стало быть, лицемерие, какой бесстыдный обман говорить об индивидуальных правах, основанных на индивидуальных способностях, не только в современном обществе, но даже в будущем, реформированном обществе, но основанием которого останутся индивидуальная собственность и наследственное право.

Столько теперь толкуют о личной свободе, а между тем в современной жизни господствует не человеческая личность, не личность сама по себе, а личность привилегированная по своему социальному положению, следовательно, господствует привилегированное положение, класс. Пусть попробует какой нибудь умный человек из рядов буржуазии восстать против экономических привилегий этого почтенного класса, и добрые буржуа, толкующие о личной свободе, покажут, как уважают они свободу личности! Толкуют о личных способностях, как будто мы не видим ежедневно, что самые выдающиеся по своим способностям личности из рабочего и буржуазного мира, вынуждены уступать первенство и даже склонять голову перед тупоумием наследников золотого тельца? Только при совершенно полном равенстве могут *получить* полное развитие действительно индивидуальные способности и индивидуальная, не привилегированная, а человеческая свобода. Когда будет существовать *равенство в точке отправления* для всех людей на земле, тогда только, — сохраняя, однако, высшие права солидарности, которая есть и всегда будет самым великим производителем в социальной жизни: человеческого ума и материальных благ,—тогда только можно будет сказать с большим правом, чем теперь, что всякий человек

есть то, чем он сам себя сделал. Отсюда следует, что для того, чтобы личные способности процветали и могли давать беспрепятственно все свои плоды, нужно прежде всего уничтожить все личные привилегии, как политические, так и экономические, т. е. нужно уничтожение классов. Нужно уничтожение индивидуальной собственности и наследственного права, нужно торжество экономического, политического и социального равенства.

Но когда равенство восторжествует и утвердится, не будет больше никокого различия в способностях и в степени энергии людей? Будет различие, не в такой степени, быть может, как существует теперь, но несомненно будет различие. Истина, перешедшая в пословицу, и которая, вероятно, никогда не перетганет быть истиной, гласит, что нет двух листьев на одном и том же дереве, которые бы совершенно походили один на другой. Тем более это верно по отношению к людям, которые являются гораздо более сложными существами, чем листья. Но это различие не только не составляет зла, а напротив, по верному замечанию Фейербаха, составляет богатство человечества. Благодаря этому различию, человечество есть коллективная единица, в которой каждый член дополняет всех других и сам нуждается во всех; так что это бесконечное различие человеческих личностей является самой причиной, главным основанием их солидарности, составляет сильный аргумент в пользу равенства.

В сущности, даже и в современном обществе, если исключить две категории людей: гениев и идиотов, и если оставить в стороне различия, искуственно созданные под влиянием тысячи социальных причин, как то: воспитание, образование, политическое и экономическое положение, которые все различаются не только в каждом слое общества, но почти в каждом семействе, то и теперь необходимо будет признать, что относительно умственных способностей и нравственной энергии огромное большинство людей очень похоже друг на друга, или по крайней мере стоят друг друга; слабость каждого в одном каком нибудь отношении почти всегда, уравновешивается силой в другом отношении, так что невозможно сказать о человеке, взятом в массе, что он гораздо выше или ниже другого. Огромное большинство людей не одинаковы, но, так сказать, эквивалентны, а следовательно и равны. Аргументация наших

противников, следовательно, может опираться только на гениев и идиотов.

Известно, что идиотизм есть физиологическая и социальная болезнь. Ее нужно, следовательно, лечить не в школах, а в больницах, и должно надеяться, что с введением социальной гигиены, более рациональной, и в особенности более заботящейся о физическом и нравственном здоровье людей, и с устройством нового общества на началах общего равенства, уничтожится совершенно эта болезнь, столь унизительная для человеческого рода. Что же касается до гениев, то нужно заметить прежде всего, что к счастию или к несчастию, они всегда появлялись в истории, только как очень редкие исключения из всех известных правил, а исключения не организовывают. Будем однако надеяться, что будущее общество, найдет в действительно-практической и народной организации своей коллективной силы средство сделать этих великих гениев менее необходимыми, менее подавляющими и более действительно благодетельными для всех. Не следует забывать глубокомысленного изречения Вольтера: „Есть некто, у кого больше ума, чем у самых великих гениев, это — все“. Следовательно, для того чтобы не бояться больше диктаторских вожделений и деспотического честолюбия гениальных людей, надо организовать массу, т. е. *всех*, посредством полной свободы, основанной на полном равенстве, политическом, экономическом и социальном.

О возможности же создавать гениальных людей посредством воспитания нечего и думать. Впрочем, из всех известных гениев ни один или почти ни один не проявил себя таковым ни в детстве, ни в отрочестве, ни даже в первой молодости. Они явились гениями только в зрелом возрасте а многие признаны были только после смерти, между тем как много неудавшихся великих людей, которые в молодости провозглашены были необыкновенными, кончили жизнь полным ничтожеством. Следовательно, ни в детстве, ни даже в отрочестве нельзя определить относительное превосходство или низкое качество людей, степень их способностей и естественные склонности. Все это обнаруживается и определяется только с развитием личности, и так как некоторые натуры развиваются рано, а другие поздно, хотя эти последние нисколько не ниже, а иногда и выше первых, то ни один школьный учитель не будет в состоянии никогда заранее определить поприще и образ

занятий, которые выберут дети, когда достигнут периода самосостоятельности.

Из всего сказанного следует, что общество, не принимая в соображение действительные или кажущиеся различия в наклонностях и способностях и не имея никакой возможности определить и никакого права назначить будущее поприще детей, обязано дать всем без исключения *воспитание и образование совершенно равное*.

(Egalité, 14 августа 1869 г.)

III.

Образование всех степеней для всех должно быть равное и, следовательно, полное; другими словами, оно должно приготовлять каждого ребенка, обоих полов, к умственной жизни и к труду, для того что бы все могли быть одинаково цельными людьми.

Позитивная философия[1], уничтожив обаяние религиозных басен и метафизических бредней, дает нам возможность предвидеть, в чем должно заключаться научное образование в будущем. Основанием его будет изучение природы, а завершением социология. Идеал перестанет быть властителем и исказителем жизни, каким он является во всех религиозных и метафизических системах, и будет лишь последним и наилучшим выражением действительного мира. Перестав быть мечтой, он станет сам действительностью.

Так как никакой ум, как бы он ни был обширен, не в состоянии обнять все науки во всей их полноте, так как, с другой стороны, общее знакомство со всеми науками безусловно необходимо для полного развития ума, преподавание естественно будет делиться на две части: на общую, которая будет знакомить с главными элементами всех наук без исключения и давать, не поверхностное, а действительное понятие о взаимном их отношении; и на специальную часть, разделенную по необходимости на не-

---

[1] Под этим выражением „позитивной философии" Бакунин отнюдь не подразумевает *позитивизм* или *контизм*, недостатки которого он так прекрасно доказал в своем *Приложении (Философские рассуждения о божественном призраке, действительном мире и человеке)*, напечатанном в т. III (франц. издание) его *сочинений*. Он говорит о научной философии вообще, которая опирается на наблюдения и опыт. Прим. Дж. Г.

сколько групп или факультетов, из которых каждый будет обнимать во всей их полноте, известное число предметов, по самой природе своей, дополняющих друг друга.

Первая часть, общая, обязательная для всех детей, будет составлять, если можно так выразиться, человеческое образование их ума, замещая вполне метафизику и теологию и вместе с тем достаточно развивая детей, чтобы они могли, достигнув юношеского возраста, с полным сознанием избрать тот факультет, который наиболее подходит к их личным способностям и вкусам.

Конечно, может случится, что выбирая ученую специальность, юноша, под влиянием второстепенных, внешних или даже внутренних причин, иногда ошибется и изберет науку или поприще, не совсем соответствующее его способностям.

Но так как мы искренние, а не лицемерные поклонники *личной свободы* и во имя этой свободы ненавидим от всего сердца принцип власти и всевозможные проявления этого божественного противочеловеческого принципа; так как мы ненавидим и осуждаем всей силой нашей любви к свободе власть родительскую и учительскую, находя их одинаково безнравственными и пагубными; так как повседневный опыт доказывает нам, что отец семейства и школьный учитель, несмотря на свою обязательную, вошедшую в пословицу мудрость, и даже в силу ее, ошибаются относительно способностей своих детей еще легче, нежели сами дети; и так как в силу общего человеческого закона, закона неопровержимого, рокового, всякий человек, имеющий власть, злоупотребляет ею, школьные учителя и отцы семейств, устраивая произвольно будущность детей, обращают гораздо больше внимания на свои собственные вкусы, чем на естественные склонности детей; и, наконец, так как ошибки, совершенные деспотизмом, гораздо гибельнее и труднее поправимы, чем ошибки, совершенные свободой действия, то мы поддерживаем против всех опекунов мира оффициальных и оффициозных, полную и безусловную свободу для детей самим выбирать и определять свое поприще. Если они ошибутся, сама эта ошибка послужит им действительным уроком для будущего; а общее образование, которое все они будут иметь, поможет им без большого труда вернуться на истинный путь, указанный им их собственной природой.

Дети, как и взрослые люди, становятся умнее только

благодаря своему собственному опыту и иногда благодаря опыту других.

При всестороннем образовании рядом с преподаванием *научным* или *теоретическим* необходимо должно быть образование *прикладное* или *практическое*. Только таким образом образуется цельный человек: работник понимающий и знающий.

Преподавание практическое параллельно с научным образованием, будет делиться, также как и научное, на две части: общую, дающую детям общую идею и первые практические сведения относительно всех индустрий без исключения и идею их совокупности, составляющей материальную сторону цивилизации, общую сумму человеческого труда, и специальную часть, разделенную также на группы индустрий, более тесно сoязанных между собой.

Общее образование должно подготовлять юношей к свободному выбору специальной группы индустрий и среди этих последних той отрасли, к которой они чувствуют себя наиболее склонными. Достигнув этого второго периода индустриального образования, юноши будут, под руководством профессоров, производить первые опыты серьезной работы.

Рядом с научным и прикладным образованием необходимо должно будет также существовать образование практическое или, скорее, ряд последовательных опытов нравственности, не божественной, а человеческой. Божественная нравственность основана на двух безнравственных принципах: на уважении власти и презрении к человечеству. Человеческая же нравственность основана, напротив, на презрении власти и уважении к свободе и человечеству. Божественная нравственность считает работу унижением и наказанием; человеческая же нравственность видит в ней высшее условие счастья и достоинства людей. Божественная нравственность, в силу необходимой последовательности, приводит к политике, которая признает только права людей, могущих, по причине своего привилегированного экономического положения, жить без труда. Человеческая нравственность напротив, признает права только тех, которые работают. Она признает, что только одной работой человек становится человеком.

Воспитание детей, беря за исходную точку власть, должно последовательно дойти до совершенно полной свободы. Мы понимаем под свободой, с положительной точки

зрения, полное развитие всех способностей, которые находятся в человеке, с отрицательной же точки зрения, независимость воли каждого от воли других.

Человек никогда не может быть совершенно свободен по отношению в естественным и социальным законам. Законы, которые делят таким образом на две группы для большего удобства науки, в действительности принадлежат к одной и той же категории, так как они все суть законы естественные, законы неизбежные, составляющие основу и условия всякого существования, так что ни одно живое существо, не может восстать против них, не уничтожив тем самым себя.

Но нужно глубоко различать эти естественные законы от законов авторитарных, произвольных, политических, религиозных, уголовных и гражданских, которые на протяжении истории созданы были привилегированными классами в интересах эксплоатации труда рабочих масс, с единственной целью подавления их свободы, и которые под предлогом мнимой нравственности были всегда источником самой полнейшей безнравственности. Итак, невольное и неизбежное подчинение всем законам, которые, независимо от воли людей, составляют самую жизнь природы и общества; но насколько возможно полная независимость каждого по отношению всех честолюбивых претензий и всякой воли, как индивидуальной, так и коллективной, которая вознамерилась бы не воздействовать своим естественным влиянием, а навязать свой закон, свой деспотизм. Что же касается естественного влияния, которое люди оказывают друг на друга, то оно тоже составляет одно из тех условий социальной жизни, против которых восстание так же бесполезно, как и невозможно. Это влияние есть основа физической, материальной, умственной и нравственной солидарности людей. Человеческая личность, продукт солидарности, т. е. общества, подчиняясь его естественным законам, может, конечно, до некоторой степени противодействовать ему, под влиянием чувств, навеянных извне и особенно посторонним обществом, но она не может выйти из него, не сделавшись немедленно членом другой солидарной среды и не подпав там новым влияниям. Ибо для человека жизнь без всякого общества, вне всякого человеческого влияния, полное отчуждение равняются нравственной и физической смерти. Солидарность есть не продукт, а мать индивидуальности, и человеческая личность может родиться и развиваться только среди человеческого общества.

Сумма преобладающих социальных влияний, выраженная солидарным или общим сознанием более или менее обширной группы людей называется *общественным мнением.* А кто не знает всесильного влияния общественного мнения на всех людей? Действие самых драконовских ограничительных законов ничто в сравнении с ним.

Следовательно, общественное мнение есть самый главный воспитатель человека, а отсюда вытекает, что для нравственного улучшения личности нужно прежде всего улучшить в нравственном отношении самое общество, нужно сделать человечным его мнение или его общественную совесть.

(Egalité, 14 августа, 1869 г.).

IV.

Мы сказали, что для улучшения человеческой нравственности нужно улучшить в нравственном отношении само общество.

Социализм, основанный на точных науках, совершенно отвергает учение „свободной воли“; он признает, что все так называемые пороки и добродетели людей суть лишь продукт комбинированного действия природы и общества. Природа силою этнографических, физиологических и патологических влияний производит способности и склонности, которые называются естественными, а общественная организация развивает их или останавливает, или же искажает их развитие. Все люди, без исключения, в каждый момент своей жизни бывают только тем, чем сделала их природа и общество.

Только эта естественная и социальная *необходимость* делает возможной статистику, как науку, которая не довольствуется занесением фактов в списки и перечнем их, но старается, кроме того, об‘яснить связь и соотношение их с организацией общества. Уголовная статистика, например, констатирует факт, что в одной и той же стране, в одном и том же городе в период 10, 20, 30 и даже иногда больше лет, если в это время не было никаких политических и социальных переворотов, могущих изменять организацию общества, одно и то же преступление или проступок, повторяется ежегодно почти одинаковое число раз; и, что еще более замечательно, даже способы совершения известных

преступлений повторяются из года в год одинаковое число раз; напр., число отравлений, убийств ножем или огнестрельным оружием, так же как и число самоубийств тем или другим способом всегда почти одинаково. Это заставило Кетле произнести следующие достопамятные слова: „Общество подготовляет преступления, а личности только выполняют их“.

Это периодическое повторение одних и тех же социальных фактов было бы невозможно, если бы умственные и нравственные наклонности людей, равно как и поступки их зависели от их свободной воли. Слова „свободная воля“ или не имеют смысла, или же выражают, что личность принимает известное решение совершенно произвольно, помимо всякого внешнего влияния, естественного или социального. Но если бы это было так, если бы люди зависели только от самих себя, в мире господствовала бы самая большая анархия; всякая солидарность между людьми была бы невозможна. Миллионы противоречивых и независимых друг от друга свободных воль необходимо стремились бы уничтожить друг друга и, конечно, достигли бы этого, если бы над ними, выше них, не было деспотической воли небесного провидения, которая „направляет их пока они суетятся“, и, уничтожая их всех одновременно, водворяет среди человеческой неурядицы божественный порядок.

Поэтому мы видим, что все сторонники учения свободной воли принуждены, логикою вещей признать действие божественного Промысла. Это — основание всех богословских и метафизических учений, великолепная система, долгое время тешившая человеческую совесть, и должно сознаться, с точки зрения отвлеченного мышления или религиозно - поэтической фантазии, она должна казаться полной гармонии и величия. Но, к несчастью, историческая действительность, соответствующая этой системе была всегда ужасной и сама система не выдерживает научной критики. Действительно, мы знаем что пока на земле царствовало божественное право, огромное большинство людей подвергалось грубой, немилосердной эксплуатации, тирании, гнету и унижению; мы знаем что и до сих пор именем религиозного или метафизического божества стараются удержать народные массы в рабстве. Да иначе и быть не может, потому что, если божественная воля управляет всем миром, как природой, так и человеческим обществом, то для человеческой свободы нет места. Челове-

ческая воля, неизбежно бессильна перед волей божьей. Таким образом, желание защитить метафизическую, отвлеченную или воображаемую свободу людей, свободную волю, приводит к отрицанию действительной свободы. Перед божеским всемогуществом и вездесущием человек является рабом. Так как свобода человека в общем уничтожается божественным провидением, то остается только привилегия, т. е. особые права, ниспосланные божественной благодатью известным лицам, известной иерархии, династии, классу.

Точно также божественное провидение делает невозможной и всякую науку, что означает, что оно просто отрицает человеческий разум; другими словами, чтобы признать его, должно отказаться от своего здравого смысла. Раз мир управляется божественной волей, нечего уже искать естественной связи между явлениями и остается смотреть на них, как на ряд проявлений высшей воли, предначертания которой, по словам Св. Писания, должны всегда оставаться непроницаемы для людей, чтобы не потерять своего божественного характера. Божественный промысл не только отрицает человеческую логику, но и логику вообще, ибо всякая логика подразумевает естественную необходимость, а такая необходимость была бы противна божественной свободе; с точки зрения человеческой это торжество бессмыслия. Кто хочет верить, должен, следовательно, отказаться и от свободы, и от науки, должен позволить эксплуатировать, тиранить себя любимцам милосердного Бога, повторяя слова св. Тертуллиана: *„верую, потому что это нелепо“* и дополняя их изречением столь же логичным, как и первые *„и хочу беззакония“*. Мы же, добровольно отрекающиеся от блаженства будущего света и желающие только полного торжества человечества на земле, мы смиренно сознаемся, что божественная логика непостижима для нас и что мы довольствуемся логикой человеческой, основанной на опыте и на знании взаимной связи явлений, как естественных, так и социальных. Наука, т. е. сумма опытов, много раз повторенных, приведенных в порядок и обдуманных, доказывает нам, что *„свободная воля“* — невозможная фикция, противная самой природе вещей; что так называемая воля есть лишь проявление известной нервной деятельности, как наша физическая сила есть результат действия наших мышц, что, следовательно, и то и другое одинаково продукты естественной и социальной жизни, т. е. тех физических и

общественных условий, среди которых каждый человек родится и развивается; таким образом, повторяем, каждый человек в каждую минуту своей жизни есть результат комбинированного действия природы и общества; откуда ясно вытекает истина положения, высказанного нами в предыдущей статье: что для улучшения человеческой нравственности нужно улучшить общественную среду. Улучшить эту среду можно только одним способом, — водворяя в ней справедливость, т. е. полную свободу[1]) каждого среди полного равенства всех. Неравенство в социальном положении и правах и неизбежно вытекающее из него отсутствие свободы для всех—вот та великая коллективная несправедливость, от которой происходят все индивидуальные несправедливости. Уничтожьте первую, и все другие исчезнут сами собою. Видя, как мало люди привилегированные стремятся к нравственному улучшению или, что тоже, к уравнению своих прав с прочими, мы боимся, что торжество истины может водвориться только посредством социальной революции.

Чтобы люди были нравственными, т. е. совершенными людьми, людьми в полном смысле слова, необходимы три вещи: рождение в гигиенических условиях, рациональное и всестороннее образование, сопровождаемое воспитанием, основанным на уважении к труду, разуму, равенству и свободе, и общественная среда, в которой каждая человеческая личность, пользуясь полной свободой, была бы, как по праву, так и в действительности, равна всем другим. Существует ли подобная среда? Нет. Следовательно, нужно создать ее. Если бы в существующем обществе и удалось основать школы, которые давали бы своим ученикам образование и воспитание, настолько совершенное, насколько мы только можем себе представить, они всетаки не могли бы создать людей справедливых, свободных и нравственных, ибо по выходе из школы человек попадал бы в общество, управляемое совершенно другими принципами; а так как общество всегда сильнее отдельных личностей, то скоро оно подчинило бы их своему влиянию, другими сло-

---

[1]) Мы уже сказали, что под свободой мы понимаем с одной стороны по возможности полное развитие всех естественных способностей каждого человека, а с другой—его независимость не по отношению законов естественных и социальных, а по отношению всех законов, налагаемых человеческой волей — коллективной или индивидуальной, все равно.

вами, развратило бы их. Впрочем, основание подобных школ совершенно невозможно в современном обществе так как общественная жизнь обнимает все, подчиняет своим условиям и школу, и семейную жизнь, и отдельную личность.

Учителя, профессора, родители—все члены этого общества, все более или менее развращены им. Как же могут они дать ученикам то, чего нет в них самих? Нравственность проповедуется хорошо только примером а так как социалистическая нравственность совершенно противоположна современной морали, то учителя, находясь более или менее под властью этой последней, доказывали бы ученикам своим примером совершенно противное тому, что проповедовали в школах. Следовательно, социалистическое воспитание невозможно в школах, как невозможно и в современной семье.

Но и интегральное, то есть всестороннее образование совершенно невозможно при современном порядке вещей. Буржуа не имеют никакого желания, чтобы дети их делались работниками, а работники лишены всех средств дать своим детям научное образование.

Бесподобна наивность и простота буржуазных социалистов, которые все твердят: „Дадим народу прежде образование, а потом освободим его“. Мы говорим наоборот: „пусть он прежде освободится, а потом он сам начнет учиться“. Кто будет учить народ? Уж не вы ли? Но вы не учите его, вы его отравляете, стараясь внушить ему все религиозные, исторические, политические, юридические и экономические предрассудки, защищающие вас против него, и в то же время мертвящие его ум, расслабляющие его законную злобу и волю. Вы убиваете его ежедневной работой и нищетой и говорите ему: „учись!“ Желали бы мы видеть, как вы с вашими детьми стали бы учиться после 13, 14, 16-и часов оскотинивающего труда, при нищете, при неуверенности в завтрашнем дне.

Нет, господа, несмотря на все наше уважение к великому вопросу всестороннего образования, мы утверждаем, что не в нем теперь главный интерес для народа. Первый вопрос для народа—его экономическое освобождение, которое необходимо и непосредственно влечет за собою его политическое, а вслед затем и умственное и нравственное освобождение.

Поэтому, мы целиком принимаем следующее постановление Брюссельского Конгресса 1887 г.:

„Признавая, что в настоящее время *организация рационального образования невозможна*, конгресс приглашает отдельные секции открыть публичные курсы по программе научного, профессионального, и производственного образования, т. е. всестороннего, чтобы пополнить по возможности недостаточность образования рабочих. *Само собой разумеется, что уменьшение часов работы должно считать предварительным, необходимым условием этого!*"

Да, конечно, рабочие должны сделать все возможное, чтобы получить то образование, какого они могут достигнуть при тех материальных условиях, в которых они находятся. Но не увлекаясь сладкими песенками буржуа и буржуазных социалистов, они должны прежде всего сосредоточить свои силы на великом вопросе своего *экономического освобождения*, которое должно быть источником всякого рода освобождения.

(Egalité, 21 августа 1869 г.).

Организация Интернационала.

Организация Интернационала [1]).

Великая задача, взятая на себя Международным Обществом Рабочих, задача окончательного и полного освобождения рабочих и народного труда из под ига всех его эксплоататоров — хозяев, владельцев сырого материала и орудий производства, словом всех *представителей* капитала — не есть чисто экономическое дело; она в то же время и в такой же степени дело философское, социальное и нравственное; она является также и делом политическим, но только в смысле уничтожения всякой политики, посредством разрушения Государства.

Мы не думаем, чтобы понадобилось доказывать, что при современной политической, юридической, религиозной и социальной организации наиболее цивилизованных стран, экономическое освобождение рабочих невозможно и что, следовательно, для достижения и полного его осуществления, необходимо разрушить все современные учреждения: Государство, Церковь, Юридический Форум, Университет, Армию и Полицию, которые ни что иное, как крепости, воздвигнутые привилегированными против пролетариата. И недостаточно их свергнуть в какой нибудь одной стране; их надо разрушить во всех странах, ибо со времени основания современных государств, в XVII и XVIII веках, между всеми этими учреждениями и всеми странами существует постоянно возрастающая международная солидарность и могучие международные союзы.

Стало быть, задача, взятая на себя Международным Обществом Рабочих, есть полная ликвидация существующего политического, юридического, религиозного и социального мира и замена его новой экономической, философской и социальной формой. Такое гигантское предприятие

---

[1]) Almanach du Peuple. Genève, 1872.

никогда бы не могло осуществиться, если бы в распоряжении Интернационала не было двух одинаково могучих, друг друга пополняющих рычагов: один, это постоянно возрастающая сила потребностей, страданий и экономических требований масс; другой — новая социальная философия, философия реалистическая и народная, теоретически покоющаяся только на действительной науке, т. е. одновременно экспериментальной и рациональной, и не имеющая других основ, кроме человеческих принципов — выражение исконных потребностей масс — принципов равенства, свободы и всемирной солидарности.

Побуждаемый этими потребностями, во имя этих принципов народ должен победить. Ему не чужды эти принципы, они даже не новы для него в том смысле, что, как мы только что сказали, он во все времена инстинктивно носил их в своем сердце. Он всегда желал своего освобождения от всех видов лежащего на нем гнета; и так как он, рабочий, кормилец общества, создатель цивилизации и всех богатств — последний раб, раб из рабов, так как он не может освободиться, не освободив вместе с собой всего мира, он всегда стремился к освобождению всех, т. е. к всемирной свободе. Он всегда страстно мечтал о равенстве, необходимом условии свободы; и, несчастный, вечно побежденный в одиночку, он всегда искал свое спасение в солидарности. Взаимное счастье до сих пор не было известно, или, во всяком случае, мало известно; быть счастливым означает быть эгоистом, жить чужим трудом, эксплоатируя и порабощая другого, а потому — только одни несчастные, стало быть, народные массы, знали и практиковали братство.

Итак, социальная наука, как нравственная доктрина, только развивает и формулирует народные инстинкты. Но между этими инстинктами и этой наукой, однако, существует пропасть, которую надлежит заполнить. Еслибы одних внутренних инстинктов было достаточно для освобождения народа, то он давно бы уж освободился. Эти инстинкты не помешали массам, в течение всей их печальной и трагической истории, быть постоянной жертвой разных религиозных, политических, экономических и социальных абсурдов.

Правда, тяжелые испытания, через которые пришлось пройти массам, не были для них совершенно потерянными. Эти испытания оставили в народе нечто в роде исторического

сознания, создали как бы практическую, основанную на преданиях науку, которая очень часто заменяет ему науку теоретическую. Так, напр., можно быть теперь уверенным, что ни один западно-европейский народ не позволит больше себя увлечь ни какому нибудь религиозному шарлатану, ни новому Мессии, ни какому нибудь политическому пройдохе. Можно также с уверенностью сказать, что потребность экономической и социальной революции сильно чувствуется народными массами Европы; если бы народный инстинкт не проявил себя так ярко, глубоко и решительно в этом направлении, то никакие социалисты в мире, будь то даже величайшие гении, не были бы в состоянии поднять массы.

Народ готов, он слишком много страдает, а, главное, начинает понимать, что он вовсе не обязан страдать; ему надоело вечно обращать свои взоры к небу и он не обнаруживает больше намерения терпеть. Даже помимо всякой пропаганды масса делается социалистичной; глубокое сочувствие, какое встретила Парижская Коммуна со стороны пролетариата всех стран, служит доказательством. Но массы — сила, или по крайней мере, существенный элемент всякой силы. Что же им мешает свергнуть ненавистный им общественный порядок? Им не достает двух вещей: организации и науки, которые обе составляют и всегда составляли силу правительств.

Итак, прежде всего, организация, которая, впрочем, невозможна без помощи науки. Благодаря военной организации, батальон в тысячу вооруженных человек может нагнать страх, и на самом деле нагоняет, на миллионную толпу народа, тоже вооруженного, но дезорганизованного. Благодаря бюрократической организации, государство посредством нескольких сотен тысяч чиновников, держит в подчинении громадные страны. Следовательно, чтобы создать народную силу, способную раздавить военную и гражданскую силу государства, надо организовать пролетариат, что и делает Международное Общество Рабочих. В тот день, когда оно будет обнимать половину, треть, четверть или даже только десятую часть европейского пролетариата, государство, или, вернее, государства перестанут существовать. Организация Интернационала, имеющая целью не создание новых государств, а коренное разрушение всякого господства, должна существенно разниться от государственной организации. Насколько последняя искуственна, насильственна, основана на принципе власти,

чужда и враждебна естественному развитию народных интересов и инстинктов, настолько организация Интернационала должна быть свободной, естественной, соответствовать во всех отношениях этим интересам и этим инстинктам.

Но что это за естественная организация масс?

Организация, вытекающая из их повседневной жизни, основанная на различных видах труда; иными словами — организация по ремеслам. С того момента, когда все виды промышленности будут представлены Интернационалом, включая сюда и разные виды земледельческого труда, организация народных масс будет закончена.

Нам могут возразить, что эта организация влияния Интернационала на народные массы будет иметь своим последствием замену прежнего начальства новым правительством. Но это будет глубоким заблуждением. Организация Интернационала всегда будет отличаться от организации всех правительств и всех государств; его основная черта состоит в том, что он действует на массы только путем убеждения, вне всякого принуждения. Между могуществом государства и Интернационала такая же разница, какая существует между оффициальной государственной деятельностью и простой деятельностью функционированием какого нибудь клуба. Интернационал не имеет и никогда не будет иметь другой силы, кроме великой силы убеждения, и всегда останется организацией естественного воздействия (воздействия путем убеждения) личностей на массы. Государство же и все государственные учреждения: церковь, университет, юридический форум, бюрократия, финансовая система, полиция и армия, не забывая, по возможности, развращать мнения и волю подданных, требует от них пассивного повиновения, совершенно не считаясь, и чаще всего вопреки этим самым мнениям и воле; конечно, все это в мере, всегда очень растяжимой, допущенной и принятой законами.

Государство, ища только подчинения масс — иначе, впрочем, не может и быть — призывает их к повиновению. Интернационал, желая только освобождения масс, призывает их к *возмущению*. Но, чтобы сделать это возмущение могучим и способным свергнуть господство государства и привилегированных классов, представителем которых оно единственно и является, Интернационал должен организоваться. Для этой цели он употребляет только два средства, которые, хотя далеко не всегда легальны — легальность,

во всех странах, чаще всего есть лишь юридическое освящение привиллегии, т. е. несправедливости — с точки зрения человеческого права, оба одинаково законны. Эти два средства, как мы уже сказали – пропаганда идей и организация естественного воздействия членов Интернационала на массы. Тому, кто стал бы утверждать, что и такого рода деятельность Интернационала есть покушение на свободу масс, мы ответим, что он или софист, или глуп. Тем хуже для тех, которые до такой степени не знают естественного и социального закона человеческой солидарности, что считают абсолютную взаимную независимость друг от друга личностей и масс возможной и даже желательной.

Желать ее, значит желать исчезновения общества, ибо вся общественная жизнь есть ни что иное, как непрерывная взаимная зависимость индивидов и масс. Каждый человек, даже самый умный, самый сильный, и в особенности умные и сильные, во всякий момент своей жизни является одновременно производителем и продуктом. Сама свобода каждого человека есть следствие, постоянно возобновляющееся, массы влияний, физических, умственных и нравственных, которым он подвергается со стороны окружающих его лиц и среды, в которой он родится, живет и умирает. Желать избегнуть этого влияния во имя какой то трансцендентальной, божеской свободы, самодавлеющей и абсолютно эгоистичной, значит стремиться к небытию; отказываться от влияния на другого, значит, отказываться от всякого социального акта, даже от выражения своих мыслей и чувств, — т. е. опять таки клониться к небытию. Эта пресловутая независимость, так превозносимая идеалистами и метафизиками, и личная свобода, понимаемая в таком смысле, — просто небытие.

Как природа, так и человеческое общество, которое есть ни что иное, как та же природа, все, что живет — живет только под непременным условием самого решительного вмешательства в жизнь другого. Уничтожение этого взаимного влияния было бы смертью. Требуя свободы масс, мы вовсе не собираемся уничтожать естественные влияния, которым они подвергаются со стороны отдельных лиц и групп. Все, чего мы хотим, это уничтожения искусственных, узаконенных влияний, уничтожения привиллегий влияния.

Еслибы церковь и государство могли быть частными учреждениями, мы бы и тогда, без сомнения, были их противниками: но мы боремся против них, потому что хотя они

и частные учреждения, в том смысле, что они служат только частным интересам привиллегированных классов, они тем не менее пользуются коллективной силой организованных с этой целью масс, чтобы насильственно навязать им свою власть.

Еслибы Интернационал мог сделаться государством, то из теперешних его убежденных и страстных приверженцев мы превратились бы в его отчаянных врагов. Но в том то и дело, что Интернационал не может вылиться в государственную форму; не может уже по одному тому, что, как указывает его название, он уничтожает все границы; государство же без границ немыслимо. Невозможность существования всемирного государства, о котором мечтали воинственные народы и величайшие деспоты мира, доказана исторически. При слове „государство" нужно всегда подразумевать несколько государств, — угнетателей и эксплуататоров внутри своих владений, и более или менее враждующих завоевателей по ту сторону границы. Государство заключает в себе отрицание человечества. Всемирное государство, или народное государство, как говорят немецкие коммунисты, может, следовательно, означать только одно: уничтожение государства. Международное Общество Рабочих не имело бы никакого смысла, еслибы оно не стремилось к уничтожению государства. Оно организует народные массы только в виду этого разрушения.

Но как же оно их организует? Оно организует их не сверху вниз, навязывая общественному разнообразию — продукту разнообразного народного труда, искусственное единство и порядок, как это делает государство; а снизу вверх, беря за исходную точку социальное положение масс и их стремления и побуждая и помогая им группироваться, сообразно этому разнообразию занятий и положения.

* *
*

Но чтобы Интернационал, организованный таким образом снизу вверх, сделался действительной, серьезной силой, необходимо, чтобы каждый член его секций значительно сильнее проникся его принципами, чем это есть теперь. Только при этом условии он действительно сумеет выполнить миссию пропагандиста и апостола во времена затишья и роль истинного революционера во время борьбы.

Говоря о принципах Интернационала, мы имеем в виду принципы, которые содержатся в общей части наших статутов, принятых на Женевском с'езде. Они так немного-

численны, что мы просим позволения читателя привести их здесь:

1. Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих;

2. Старание рабочих завоевать свое освобождение не должно вести к созданию новых привиллегий, а к установлению для всех (людей, живущих на земле) равных прав и обязанностей и к уничтожению всякого классового господства;

3. Экономическое подчинение рабочего владетелю сырого материала и орудий труда есть источник всех видов рабства, нравственного, умственного и политического;

4. Поэтому, экономическое освобождение рабочих — великая цель, которой должно быть подчинено всякое политическое движение, как простое средство;

5. Освобождение рабочих не является чисто местной или национальной задачей; это — задача всех цивилизованных стран, так как ее решение неизбежно зависит от их теоретической и практической помощи;

6. Интернационал и все его члены признают, что истина, справедливость и нравственность должны лежать в основе его отношений ко всем людям без различия цвета кожи, верований и национальности;

7. Наконец, он считает долгом требовать человеческих и гражданских прав не только для члена Интернационала, но и для каждого исполняющего свои обязанности. — Нет обязанностей без прав и нет прав без обязанностей!

* * *

Мы знаем теперь, что содержит в себе эта столь простая и справедливая программа, так скромно выражающая наиболее законные, наиболее человеческие требования пролетариата. В ней заключаются — потому именно, что она есть исключительно программа человеческая — все зародыши великой социальной революции: свержение всего, что есть создание нового мира.

Вот, что должно теперь быть об'ясняемо и стать вполне ясным каждому члену Интернационала.

Эта программа приносит с собой новую науку, новую социальную философию, которая должна заместить собой все прежние религии, и новую политику, политику интернациональную, которая, поспешим заметить, как таковая, должна иметь целью разрушение всех государств. Чтобы

члены интернационала могли добросовестно исполнять двойную обязанность пропагандиста и революционера, нужно, чтобы каждый из них сам, насколько возможно, проникся этой наукой, этой философией, этой политикой. Недостаточно знать и говорить, что они хотят экономического освобождения рабочего, полного пользования для каждого продуктом его труда, уничтожения классов и политического порабощения, осуществления полноты человеческих прав и полного равенства прав и обязанностей, одним словом осуществления братства между людьми. Все это, без сомнения, очень хорошо и вполне справедливо, но если члены Интернационала принимают эти великие истины, не вникая в их суть, не задумываясь над глубиной их значения, и если они будут довольствоваться вечным повторением их в этой общей форме, последние рискуют в непродолжительный промежуток времени превратиться в пустые, бесплодные слова, в общие непонятые места.

Но, говорят нам, все рабочие, даже когда они члены Интернационала, не могут стать учеными. И не достаточно ли иметь внутри Интернационала группу людей, владеющих в совершенстве, насколько это возможно в наши дни, наукой, философией и политикой социализма, чтобы большинство, массы, примыкающие к Интернационалу, доверчиво повинуясь их правлению и „братскому наставлению" (стиль Гамбетты, якобинца-диктатора по превосходству), не могли свергнуть с пути, который должен вести к окончательному освобождению пролетариата?—Вот рассуждение, которое мы довольно часто слышим, развиваемое втихомолку—для высказывания вслух нет ни достаточно искренности, ни смелости. Это мнение, за начальство в Интернационале, сопровождается всевозможными более или менее ловкими подходами и демагогическими комплиментами по адресу великой мудрости и всесилия верховного нарсда. Мы всегда страстно боролись против него, потому что мы убеждены, что если Международное Общество Рабочих будет разделено на две группы: одну, заключающую в себе громадное большинство и состоящую из членов, вся наука которых будет состоять только в слепой вере в теоретическую и практическую мудрость своих вождей; и другую, состоящую только из нескольких десятков правителей, — это учреждение, которое должно освободить человечество, превратится само в некоторого рода олигархическое государство — худшее из всех государств. Это прозорливое, ученое и

искусное меньшинство, которое примет на себя всю ответственность и права правительства, тем более самодержавного, что его деспотизм заботливо прячется под внешней оболочкой учтивого уважения к воле и решениям, всегда им самим продиктованным, этой якобы народной воли; это меньшинство, говорим мы, повинуясь необходимости и условиям своего привиллегированного положения, и подвергаясь общей участи всех правительств, постепенно будет становиться все более и более деспотичным, зловредным и реакционным. Международное Общество Рабочих только тогда может стать орудием освобождения человечества, когда оно прежде само освободится; а освободится оно только переставши делиться на две группы: большинство слепых орудий и меньшинство ученых машинистов, и только, когда каждый его член вполне постигнет науку, философию и политику социализма.

Письма о Патріотизмѣ.

Письма о Патриотизме.

К товарищам Международного Общества Рабочих Локля и Шо-де-Фона.

Письмо Первое. [1])

Друзья и братья,

Прежде чем покинуть ваши горы, я чувствую потребность еще раз выразить вам письменно мою глубокую благодарность за сделанный мне вами братский прием. Разве не удивительно, что какой-то человек, русский, бывший дворянин, которого вы до последнего времени совершенно не знали, и чья нога в первый раз ступила на вашу землю, тотчас же по своем прибытии, был окружен несколькими сотнями братьев! Подобное чудо в настоящее время может быть осуществлено лишь *Международным Обществом Рабочих,* и это по простой причине: оно одно теперь являет собой историческую жизнь и творческую мощь политического и социального будущего. Те, кого об'единяет живая мысль, живая воля и великое общее стремление, являются действительно братьями, даже если они незнакомы друг с другом.

Было время, когда буржуазия, обладая такой же жизненной мощью и являясь единственным историческим классом, представляла подобное зрелище братства и единения, как в действиях, так и в мыслях. Это было лучшее время этого класса, без сомнения всегда почтенного, но отныне бессильного, тупого, и бесплодного, эпоха его самого энер-

---

[1]) Женева, 23 февраля 1869 г. — Le Progrès, № 6 (1 марта, 1869 г.) стр. 2-3,

гичного развития. Такова была буржуазия до великой революции 1793-го года: таковой была она еще, но в меньшей мере, до революции 1830 и 1848 года. Тогда пред буржуазией был целый мир для покорения, она должна была занять место в обществе, и, организованная для борьбы, умная, смелая, чувствуя себя сильной правом всех, она обладала непреоборимым всемогуществом; она одна совершила три революции против соединенных сил монархии, дворянства и духовенства.

В то время буржуазия тоже создала всемирную, могучую международную ассоциацию: *Франк-Масонство.*

Очень ошибся бы тот, кто судил бы о Франк-Масонстве прошлого века, или даже начала этого века, по тому, чем оно является теперь. Учреждение по преимуществу буржуазное, Франк-Масонство, в своем растущем могуществе сначала и потом в своем упадке, было как бы выражением интеллектуального и морального развития, могущества и упадка буржуазии. В настоящее время, спустившись до печальной роли старой интриганки и болтуньи, оно ничтожно, бесполезно, иногда вредно и всегда смешно, между тем как до 1830 и в особенности до 1793 года, оно соединяло в себе, за малым числом исключений, все выдающиеся умы, самые пылкие сердца, самые гордые воли, самые смелые характеры и, представляло собой деятельную, могучую и истинно полезную организацию. Это было мощное воплощение и осуществление на практике гуманитарных идей XVIII века. Все великие принципы свободы, равенства, братства, человеческого разума и справедливости, выработаные теоретически философией этого века, сделались в среде Франк-Масонства практическими догматами и как-бы основами новой морали и новой политики — душой гигантского предприятия разрушения и воссоздания. Франк-Масонство было в то время не более, не менее, как всемирным заговором революционной буржуазии против феодальной, монархической и божеской тирании.

— Это был Интернационал буржуазии.

Известно, что все главные деятели первой революции были Франк-Масонами, и что, когда эта революция разразилась, она встретила, благодаря Франк-Масонству, друзей и преданных, могущественных союзников во всех других странах, что, конечно, сильно помогло ее торжеству. Но так же очевидно, что торжество революции убило Франк-Масонство, ибо после того, как революция в значительной

мере выполнила пожелания буржуазии и поставила ее на место родовой аристократии, буржуазия, бывшая долгое время утесняемым и эксплуатируемым классом, естественно сделалась в свою очередь классом привилегированным, эксплуататорским, притесняющим, консервативным и реакционным, сделалась другом и самой надежной поддержкой государства. После захвата власти первым Наполеоном, Франк-Масонство сделалось, в большинстве стран европейского континента, императорским учреждением.

Реставрация его отчасти воскресила. Буржуазия, видя угрозу возвращения старого режима, вынужденная уступить церкви и дворянству место, завоеванное ею в первую революцию, принуждена была снова сделаться революционной. Но какая разница между этим подогретым революционаризмом и горячим, могучим революционаризмом, вдохновлявшим ее в конце прошлого столетия! Тогда буржуазия была искренна, она серьезно и наивно верила в права человека, ее двигал, вдохновлял гений разрушения и обновления, она была в полной силе ума и в полном развитии сил; она еще не подозревала, что бездна отделяет ее от народа; она себя считала, чувствовала и действительно была представительницей народа. Реакция термидора и заговор Бабефа навсегда лишили ее этой илюзии. — Бездна, разделяющая рабочий народ от эксплуатирующей, властвующей, и благоденствующей буржуазии, открылась, и чтобы заполнить эту бездну понадобится весь класс буржуазии, целиком, все привилегированное существование буржуа.

Поэтому, не вся буржуазия в ее целом, а только часть ее возобновила после реставрации, заговорщицкую деятельность против дворянского, клерикального режима и законных королей.

В следующем письме, я разовью вам, если вы мне позволите, свои мысли, относительно последней фазы конституционного либерализма и буржуазного карбонаризма.

Письмо Второе [1]).

Я сказал в предыдущем письме, что реакционные, легитимистические, феодальные и клерикальные попытки

[1]) Женева, 28 марта 1869 г. — Le Progrès, № 7 (3 апр. 1869 г.), стр. 2-3.

пробудили снова революционный дух буржуазии, но что между этим новым духом и телом, который одушевлял ее до 1793 года, была громадная разница. Буржуа прошлого столетия были гигантами, в сравнении с которыми самые смелые из буржуа этого столетия кажутся лишь пигмеями.

Чтобы в этом убедиться, надо только сравнить их программы. Какова была программа философии и великой революции XVIII столетия? Не более не менее, как полное освобождение всего человечества; осуществление для каждого и всех права и действительной и полной свободы путем всеобщего политического и социального уравнения; торжество человечности на развалинах божеского мира; царство свободы и братства на земле.—Ошибкой этой философии и этой революции было непонимание, что осуществление человеческого братства невозможно пока существуют государства, и что действительное уничтожение классов и политическое и социальное уравнение индивидов, возможны не иначе, как при уравнении для всех и каждого экономических средств, воспитания, образования, труда и жизни. Тем не менее было бы несправедливо упрекать XVIII век за то, что он этого не понял. Общественные науки не создаются, неизучаются с помощью одних книг; они нуждаются в великих уроках истории, и надо было совершить революцию 1789 и 1793 годов, надо было повторить опыт 1830 и 1848 годов, чтобы придти к этому, отныне несокрушимому заключению, что всякая политическая революция, не ставящая себе *немедленной* и *прямой* целью экономическое равенство, является, с точки зрения народных интересов и прав, ничем иным, как лицемерной и замаскированной реакцией.

Эта столь очевидная и простая истина была еще неизвестной в конце XVIII столетия, и когда Бабеф выдвинул экономический и социальный вопрос, сила революции была уже исчерпана. Тем не менее этой последней принадлежит бессмертная честь провозглашения самой великой цели, из всех когда либо поставленных в истории, — освобождение всего человечества в его целом.

Какую же цель, преследует в сравнении с этой громадной программой, программа революционного либерализма в эпоху Реставрации и Июльской монархии? Пресловутую благоразумную свободу, очень скромную, очень упорядоченную, очень ограниченную, принаровленную как раз к ослабевшему темпераменту полунасыщенной буржуазии, которая, уставши от борьбы и ощущая нетерпение начать

благоденствовать, уже чувствовала для себя угрозу не сверху, но снизу, и с беспокойством видела появление на горизонте черной массы бесчисленных миллионов эксплуатируемых пролетариев, уставших терпеть и готовящихся потребовать своих прав.

С начала настоящего столетия этот рождающийся призрак, названный позже красным призраком, этот ужасный призрак права всех, противуположного привилегиям класса счастливцев, эта народная справедливость и народный разум, которые при своем дальнейшем развитии должны обратить в прах софизмы буржуазной экономии, юриспруденции, политики и метафизики, становятся посреди современных триумфов буржуазии, помехою ее счастью, ослабляют ее уверенность, ее ум.

А, ведь, при Реставрации, социальный вопрос был еще почти неведом или, лучше сказать, забыт. Было несколько отдельных великих мечтателей, как Сэн-Симон, Роберт Оуен, Фурье, гениальный ум которых или великие сердца отгадали необходимость радикальной переработки экономической организации общества. Вокруг каждого из них группировалось малое число пылких и преданных учеников, составляя как бы несколько небольших церквей, но они были столь же неизвестны, как их учителя и не имели никакого влияния на окружающий мир. Было еще коммунистическое завещание Бабефа, переданное его знаменитым товарищем и другом, Буонаротти, наиболее энергичным пролетариям, посредством тайной народной организации. Но тогда это было еще подпольной работой, проявление которой дало себя почувствовать только позже, при Июльской монархии; во время Реставрации она совершенно не была замечена буржуазным классом. Народ, рабочие массы, оставались спокойными и ничего еще для себя самих не требовали.

Ясно, что если боязнь народной справедливости имела в эту эпоху какое либо существование, то она могла жить лишь в нечистой совести буржуа. Откуда явилась эта нечистая совесть? Или буржуа, жившие при Реставрации были, как индивиды, более злыми, чем их отцы, сделавшие революции 1789 и 1793 года? Нисколько. Это были почти одинаковые люди, но только поставленные в другую среду, в другие политические условия, обогащенные новой опытностью и, следовательно, имеющие другую совесть.

Буржуа прошлого столетия искренно верили, что, освобождая самих себя от монархического, клерикального и

феодального ига, они освободят вместе с собой весь народ. И это наивное, искренное верование и было источником их геройской смелости и их невероятной мощи. Они чувствовали свое единение со всеми, и шли на приступ, неся в себе силу и право для всех. Благодаря этому праву и этой народной мощи, которая, так сказать, воплотилась тогда в классе буржуазии, буржуа прошлого столетия могли овладеть крепостью политического права, составлявшей предмет вожделения их отцов впродолжении стольких столетий. Но в то мгновение, как они водрузили на ней свое знамя, новый свет озарил их ум. Как только они завоевали власть, они начали понимать, что между их буржуазными интересами и интересами народных масс нет ничего общего, что, напротив, между ними есть радикальное противоречие, и что могущество и исключительное процветание класса собственников могут опираться лишь на нищету и политическую и социальную зависимость пролетариата.

С тех пор отношения между буржуазией и народом коренным образом изменились, и еще раньше чем рабочие поняли, что буржуа, более по необходимости, чем по злой воле, являются их естественными врагами, буржуа уже достигли сознания этого фатального антагонизма. Это то сознание я и называю нечистой совестью буржуа.

Письмо Третье [1].

Нечистая совесть буржуа сказал я, парализовала с начала столетия, все интеллектуальное и моральное движение буржуазии. Я делаю поправку и заменяю слово *парализовала*, словом *извратила*. Ибо было бы неправильно обозвать паралечным тот ум, который, перейдя от теории к приложению позитивных наук, создал все чудеса современной промышленности, пароходы, железные дороги и телеграф; который, с другой стороны, открыл новую науку—статистику, и, доведя политическую экономию и историческую критику развития богатства и цивилизации народов до их последних выводов, положил основание новой философии — социализму, являющемуся с точки зрения интересов буржуазии ничем

[1] Женева, 14 апреля 1869 г.—Le Progrès. № 8 (17 апр. 1869 г стр. 2—3.

ным, как великодушным самоубийством, отрицанием всего буржуазного мира.

Паралич наступил лишь позже, с 1848 года, когда буржуазия, испуганная результатами своих прежних работ, сознательно бросилась назад и, отрекшись, ради сохранения своих богатств, от всякой мысли и всякой воли, подчинилась военным покровителям и отдалась душой и телом самой полной реакции. С этого времени, она более ничего не изобрела, она потеряла вместе со смелостью и творческую мощь. У нее даже нет больше инстинкта самосохранения, ибо все что она делает для своего спасения, фатально толкает ее в бездну.

До 1848 года, она была еще в полной силе духа. Правда, этот дух уже не обладал той жизненной силой, с помощью которой в период от XVI-го до XVIII-го века, он создал целый новый мир. Это уже не был героический дух класса, который обладал всеми дерзновениями, ибо должен был все завоевать: теперь это был благоразумный и рассудочный дух нового собственника, который, приобретя горячо желанное имущество, должен теперь заботиться о его процветании и ценности. Характерной чертой буржуазного духа первой половины этого столетия является почти исключительно утилитарная тенденция.

Буржуазию в этом упрекали, и упреки эти несправедливы. Я, напротив, думаю, что буржуазия оказала человечеству последнюю великую услугу, проповедуя, гораздо больше собственным примером, чем теориями, культ, или лучше сказать, уважение к материальным интересам. В сущности, эти интересы всегда имели в мире преобладающее значение; но раньше они маскировались под видом лицемерного и нездорового идеализма, который именно и делал их зловредными и отталкивающими.

Тот, кто хоть немного занимался историей, не мог не заметить, что в основе самых абстрактных, высоких и идеальных религиозных и теологических распрей всегда был какой нибудь крупный материальный интерес. Все расовые национальные, государственные и классовые войны, никогда не имели другой цели, кроме владычества, являющегося необходимой гарантией и условием обладания богатствами и пользования ими. Человеческая история, рассматриваемая с этой точки зрения, является ничем иным, как продолжением великой борьбы за существование, составляющей, согласно Дарвину, основной закон органической природы.

В животном мире эта борьба происходит без идей и без фраз, и ей нет разрешения; пока земля будет существовать, животные будут пожирать друг друга. Это естественное условие жизни животных. Люди, животные плотоядные по преимуществу, начали свою историю с людоедства. — Теперь они стремятся к всемирной ассоциации, к коллективному производству и потреблению.

Но между этими двумя крайними точками, какая кровавая и ужасная трагедия! И конец этой трагедии еще не настал. После людоедства наступило рабство; после рабства, крепостное право; после крепостного права наемный труд, за которым должны последовать во-первых, страшный день возмездия, а затем позже, много позже, эра братства. Вот фазы, чрез которые проходит животная борьба за жизнь в истории, постепенно преобразуясь в человеческую организацию жизни.

И среди этой братоубийственной борьбы людей против людей, в этом взаимном пожирании друг друга, в этом рабстве и этой эксплуатации одних другими, которые меняя название и формы, тянулись непрерывно из века в век до наших дней, какую роль играла религия? Она всегда освящала насилие и обратила его в право. Она перенесла человечность, справедливость и братство на фиктивное небо, чтобы оставить на земле царство несправедливости и грубой силы. Она благословляла счастливых бандитов, и чтобы сделать их, еще счастливее, она проповедывала их бесчисленным жертвам, народам, покорность и послушание. И чем выше и прекраснее казалася идеал, которому она поклонялась на небе, тем действительность на земле становилась ужаснее. Ибо в природе всякого идеализма, как религиозного, так и метафизического, заложено презрение к реальному миру, и, презирая его, он вместе с тем его эксплуатирует, — откуда вытекает, что всякий идеализм необходимо порождает лицемерие.

Человек — материя, и не может безнаказанно презирать материю. Он—животное, и не может уничтожить свою животность; но он может и должен ее переработать и очеловечить через свободу, т. е. посредством комбинированного действия справедливости и разума, которые в свою очередь могут иметь влияние на нее только потому, что они являются ее продуктом и высшим выражением. Напротив того, всякий раз, когда человек хотел отвлечься от своей животности, он становился ее игрушкой и рабом, а чаще всего

даже лицемерным служителем, свидетельством чему служат священники самой идеальной и самой нелепой из религий — католицизма.

Сравните их хорошо известную безнравственность с их обетом целомудрия; сравните их ненасытную жадность с их учением об отречении от благ сего мира, — и согласитесь, что не существует больших материалистов, чем эти проповедники христианского идеализма. Даже сейчас, какой вопрос волнует всего больше церковь? Вопрос о сохранении своего имущества, угрожаемого повсюду теперь конфискацией со стороны государства, этой новой церкви, являющейся выражением политического идеализма.

Политический идеализм не менее нелеп, не менее вреден, не менее лицемерен, чем идеализм религиозный, коего он является лишь разновидностью, лишь светским и земным выражением или проявлением. Государство, это младший брат церкви; а патриотизм, эта государственная добродетель, этот культ государства, является лишь отражением божественного культа.

Добродетельный человек, согласно предписаниям идеальной, религиозной и политической школы, должен служить Богу и жертвовать собой ради государства. И вот эту-то доктрину буржуазный *утилитаризм* с начала этого столетия и стал оценивать по достоинству.

Письмо Четвертое[1].

Одной из величайших заслуг буржуазного утилитаризма было, как я уже сказал, убийство религии государства, убийство патриотизма.

Патриотизм, как известно, добродетель мира античного, рожденная среди греческих и римских республик, где в действительности никогда не было другой религии, кроме религии государства, другого предмета поклонения кроме государства.

Что такое государство? Метафизики и юристы отвечают нам что, это общественная вещь; интересы, общее благо и право всех в противуположении разлагающему дей-

[1]) Женева, 28 апреля, 1869 г. — Le Progés, № 9 (1 мая 1869 г.) стр, 2-3.

ствию эгоистичных интересов и страстей каждого. Это справедливость, и осуществление морали и добродетели на земле. Следовательно, для индивидов не может быть более высокого подвига и более великой обязанности, как жертвовать собой и, в случае нужды, умереть ради торжества, ради могущества государства.

Вот в немногих словах вся теология государства. Посмотрим теперь, не скрывает ли эта политическая теология, также как и теология религиозная, под очень красивой и поэтической внешностью, очень обыденную и грязную действительность.

Проанализируем сперва самую идею государства, такую, какой нам ее представляют ее восхвалители. Это пожертвование естественной свободой и интересами каждого, как индивида, так и сравнительно мелких коллективных единиц — ассоциаций, коммун и провинций — ради интересов и свободы всех, ради благоденствия великого целого. Но это все, это великое целое, что это такое в действительности? Это совокупность всех индивидов и всех более ограниченных человеческих коллективов, которые его составляют. Но раз для того чтобы его составить, нужно пожертвовать всеми индивидуальными и местными интересами, то чем же является в действительности то целое, которое должно быть их представителем? Это не живое целое, предоставляющее каждому свободно дышать и становящееся тем более богатым, могучим и свободным, чем шире развертываются на его лоне, свобода и благоденствие каждого; это не естественное человеческое общество которое утверждает и увеличивает жизнь каждого посредством жизни всех; — напротив того, это заклание как каждого индивида, так и всех местных ассоциаций, абстракция, убивающая живое общество, ограничение или, лучше сказать, полное отрицание жизни и права всех частей, составляющих общее целое, во имя так называемого всеобщего блага. Это государство, это алтарь политической религии, на котором приносится в жертву естественное общество: это всепожиратель, живущий человеческими жертвами, подобно церкви. государство, повторяю еще раз,—меньший брат церкви.

Чтобы доказать тождество церкви и государства, я прошу читателя констатировать тот факт, что как церковь, так и государство основаны существенным образом на идее пожертвования жизнью и естественным правом, и что они исходят из одного и того же принципа; принципа прирож-

денной порочности людей, которая может быть побеждена лишь божьей благодатью и смертью в Боге естественного человека, согласно церкви, а согласно государству, лишь законом и закланием индивида на алтаре государства. И церковь и государство стремятся пересоздать человека, первая в святого, второе—в гражданина. Но естественный человек должен умереть, ибо он осужден единогласно как религией церкви, так и религией государства.

Таковы в их идеальной чистоте тождественные теории церкви и государства. Это чистые абстракции; но всякая историческая абстракция предполагает исторические факты. Эти факты, как я уже сказал в предыдущем письме, реального, грубого характера: это насилие, грабежь, порабощение, завоевание. Человек так создан, что он не довольствуется тем, что делает то или другое, он чувствует потребность об'яснить и оправдать, перед своей собственной совестью и в глазах всего мира, то, что он делает. Религия явилась, стало быть, как раз кстати, чтобы благословить совершившиеся факты и, благодаря этому благословению, несправедливый и грубый факт превратился в право. Юридическая наука и политическое право, как известно, вначале вытекали из теологии, позже из метафизики, которая является ничем иным, как замаскированной теологией, имеющей смешную претензию не быть нелепой. Метафизика старалась, но тщетно, придать им характер науки.

Рассмотрим теперь, какую роль играла и продолжает играть в реальной жизни, в человеческом обществе, эта абстракция государства, параллельная исторической абстракции, называемой церковью?

Государство, сказал я, по самой сущности своей, есть громадное кладбище, где происходит самопожертвование, смерть и погребение всех проявлений индивидуальной и местной жизни, всех интересов частей, которые и составляют, все вместе, общество. Это алтарь, на котором реальная свобода и благоденствие народов приносятся в жертву политическому величию; и чем это пожертвование более полно, тем государство совершенней. Я отсюда заключаю, и это мое убеждение, что русская империя, это государство по преимуществу, это, без реторики, и без фраз, самое совершенное государство в Европе. Напротив того, все государства, в которых народы могут еще дышать, являются с точки зрения идеала, государствами несовершенными, подобно тому как все другие церкви, по сравнению с рим-

ско-католической церковью, являются неудавшимися церквами.

Государство, сказал я, это абстракция, пожирающая народную жизнь; но для того, чтобы абстракция могла родиться, развиться и продолжать существовать в реальном мире, надо, чтобы существовало реальное коллективное тело, заинтересованное в ее существовании. Таковым не может быть большинство народа, ибо оно именно является жертвой государства: нуждаться в нем может лишь привилегированная группа, жреческое сословие государства, правящий и обладающий собственностью класс, являющийся в государстве тем же, чем в церкви является духовное сословие, священники.

И в самом деле, что видим мы в продолжение всей истории? Государство было всегда принадлежностью какого нибудь привилегированного класса: духовного сословия, дворянства или буржуазии; наконец, когда все другие классы истощаются, выступает на сцену класс бюрократов и тогда государство падает или, если угодно, возвышается до положения машины. Но для существования государства непременно нужно, чтобы какой нибудь привилегированный класс был заинтересован в его существовании. И вот солидарные интересы этого привилегированного класса и есть именно то, что называется *патриотизмом*.

письмо Пятое [1]).

Был ли когда либо патриотизм, в том сложном смысле, который придают этому слову, народной страстью или добродетелью?

Имея в руках историю, я не колеблясь, отвечаю на этот вопрос решительным *нет*, и чтобы доказать читателю, что я не ошибаюсь, отвечая таким образом, я прошу у него позволения проанализировать главнейшие элементы, которые, комбинируясь более или менее различным образом между собою, составляют то, что называется патриотизмом.

Таких элементов четыре: 1) Естественный или физио-

[1]) Женева 25 мая 1869 г.—Le Progrès (29 мая 1899 г.), стр. 2—3.

логический элемент; 2) экономический; 3) политический и 4) религиозный или фанатический.

Физиологический элемент является главным основанием всякого, наивного, инстинктивного и грубого патриотизма. Это естественная страсть, которая, именно потому, что она слишком естественная, т. е. совершенно животная находится в жесточайшем противоречии со всей политикой, и, что много хуже, сильно затрудняет экономическое, научное и гуманное развитие общества.

Естественный патриотизм, явление совершенно звериное, встречающееся на всех ступенях животной жизни и даже, можно отчасти сказать, в растительном царстве. Взятый в этом смысле патриотизм, это губительная война, первое проявление в человечестве той великой и роковой борьбы за существование, которая составляет все развитие, всю жизнь естественного или реального мира,—борьбы непрестанной, всемирного пожирания друг друга, которое питает каждого индивида, каждую породу мясом и кровью индивидов других пород, и которое, фатально возобновляясь с каждым часом, с каждым мгновением, позволяет жить и развиваться самым совершенным, сильным и умным породам насчет других.

Те, кто занимается земледелием или садоводством, знают, как трудно уберечь свои посадки против паразитических видов, которые отнимают у них свет и необходимые для питания химические элементы земли. Наиболее могучее растение, которое лучше других приноровлено к специальным условиям климата и почвы, развивается всегда со сравнительно большей силой и естественно стремится задушить все другие. Это молчаливая, но неустанная борьба, и нужно энергичное вмешательство человека, чтобы защитить предпочитаемые им растения от этого нашествия.

В животном царстве продолжается та же борьба, только она происходит более драматически с большим шумом. Здесь уже не молчаливое, незаметное задушение. Здесь течет кровь, и мучимое, раздираемое, пожираемое животное наполняет воздух криками. Наконец, человек, животное говорящее, вносит в эту борьбу первую фразу, и фраза эта называется патриотизмом.

Борьба за жизнь в растительном и животном царстве, не есть лишь борьба между индивидами: это борьба между породами, группами и семействами. Во всяком живом существе есть два инстинкта, два главных интереса: питание

и воспроизведение. С точки зрения питания, каждый индивид является естественным врагом всех других, не взирая ни на какие связи—семейные, групповые или родовые—его с другими. Поговорка, что волки не едят друг друга, справедлива лишь до тех пор, покуда волки находят для своего питания животных, принадлежащих к другим породам; но мы знаем, что как только в этих последних ощущается недостаток, волки преспокойно пожирают друг друга. Кошки, свиньи и еще многие другие животныя часто с'едают своих собственных детенышей и нет животного, которое бы этого не сделало, вынужденное голодом. А человеческие общества, не начали ли с людоедства? И кто не слыхал печальных историй о потерпевших крушение моряках, которые, блуждали среди океана, носясь на хрупком судне и будучи лишены пищи, бросали жребий, кто из них должен быть пожертвован и с'еден другими. Наконец, разве мы не видели при последнем большом голоде, опустошившем Алжир, матерей которые с'едали собственных детей?

Дело в том, что голод это жестокий и непобедимый деспот, и необходимость питаться, необходимость чисто индивидуальная, является первым законом, главным условием жизни. Это основание всей человеческой и социальной жизни, точно так же, как и жизни растительной и животной. Бунт против необходимости питания равносилен отрицанию всей жизни, самоприговору к небытию.

Но наряду с этим основным законом живой природы, есть и другой столь же существенный.—закон воспроизведения. Первый стремится к сохранению индивидов, второй к созданию семейств, групп и пород. Индивиды, побуждаемые естественной необходимостью, стремятся соединиться, для целей воспроизведения, с индивидами, которые по организму близки к ним, подобны им. Бывают различия в организмах, делающие совокупление бесплодным или даже невозможным. Эта невозможность очевидна между царством растительным и царством животным; но даже и в этом последнем, совокупление четвероногих, например с птицами, рыбами, пресмыкающимися или насекомыми равным образом невозможно.

Ограничившись одними четвероногими, мы найдем ту же невозможность между различными группами, и, таким образом, приходим к заключению, что возможность совокупления и воспроизведения становится реальной для каждого

индивида лишь в очень ограниченном кругу индивидов, которые, будучи одарены организмом тождественным или, близким к его организму, составляют вместе с ним одну и ту же группу или одно и то же семейство.

Так как инстинкт воспроизведения составляет единственную связь солидарности, могущую существовать между индивидами животного мира, то там, где эта способность прекращается, прекращается и всякая животная солидарность. Все, остающееся вне группы, в среде которой возможно для индивида воспроизведение, составляет другую породу, совершено чуждый мир, мир враждебный и осужденный на истребление; все, что находится внутри, составляет обширное отечество породы,—как например, для людей, человечество.

Но это истребление и пожирание одного живого индивида другим происходит не только за пределами того ограниченного мира, который мы назвали обширным отечеством породы. Мы находим их внутри самого этого мира и такими же свирепыми а иногда и более свирепыми вследствие сопротивления и стеснения, которые они здесь встречают потому что к борьбе из за голода присоединяетея столь же ожесточенная борьба из за любви.

Кроме того, каждая порода животных подразделяется на различные группы и семейства, видоизменяясь под влиянием географических и климатологических условий различных стран, в которых она живет. Большее или меньшее различие условий жизни определяет соответственное различие в организме индивидов, принадлежащих к одной и той же породе. К тому же известно, что всякий животный индивид естественно стремится совокупиться с индивидом, наиболее схожим с ним, откуда естественно вытекает развитие большого числа видоизменений в каждой породе. А так как различия, разделяющие все эти новые виды одни от других, основаны главным образом на воспроизведении, а воспроизведение есть единственая основа всей солидарности, то, очевидно, что широкая солидарность породы должна подразделяться на множество более ограниченных солидарностей и широкое отечество породы разбиваться на массу маленьких животных отечеств, враждебных и уничтожающих друг друга.

Физиологический или естественный патриотизм[1]).

I

Я показал в своем предыдущем письме, каким образом патриотизм, как естественная страсть, вытекает из физиологического закона, а именно из закона, определяющего разделение живых существ на породы, семейства и группы.

Страсть патриотическая, очевидно страсть общественная. Чтобы найти ее яснейшее выражение в животном мире, надо обратиться к породам животных, которые подобно человеку, одарены в высшей мере общественной природой, например, к муравьям, к пчелам, к бобрам и ко многим другим животным, обладающим общими, постоянными жилищами, а также к животным, кочующим стадами. Животные, имеющие общее, постоянное жилище, представляют с точки зрения, конечно, естественного патриотизма, патриотизм земледельческих народов, а животные, кочующие стадами, патриотизм кочевых народов.

Очевидно, что патриотизм первых полнее патриотизма последних. Этот последний выражает лишь солидарность индивидов в стаде, между тем, как первый создает еще связь индивидов с почвой и жилищем, в котором они обитают. Привычка—эта вторая натура как людей, так и животных—и образ жизни гораздо определеннее, устойчивее у животных общественных и оседлых, чем среди бродячих стад; а из этих-то особенностей в привычках и в образе жизни и составляется главный элемент патриотизма.

Естественный патриотизм можно определить так: инстинктивная, машинальная и совершенно лишенная критики привязанность к общественно принятому, наслѣдственному, традиционному образу жизни, и столь же инстинктивная, машинальная враждебность ко всякому другому образу жизни. Это любовь к своему и к своим и ненависть ко всему, имеющему чуждый характер. Стало быть, патриотизм, с одной стороны коллективный эгоизм, а с другой стороны—война.

Такая солидарность недостаточно сильна, чтобы индивиды-члены животной общины не пожирали друг друга в случае

---

[1]) *Le Progrès*, № 12, (12 июня 1869 г.) стр. 2—3.

нужды; но она достаточно сильна, чтобы индивиды, забыв междуусобие, соединялись всякий раз, как им грозит вторжение чужой общины.

Посмотрите, например, на собак какой нибудь деревни. Собаки в естественном состоянии не составляют коллективных республик; предоставленные собственным инстинктам, они живут, подобно волкам, в бродячих стаях, и только под влиянием человека обращаются в оседлых животных. Но прикрепленные к месту, они составляют в каждой деревне своего рода республику, основанную не на коммунистическом строе, а на индивидуальной свободе, согласно девизу, столь любимому буржуазными экономистами: каждый за себя и черт побери оплошавшего. У собак безграничная свобода и попустительство, конкуренция, безустанная, безжалостная гражданская война, в которой более сильный всегда кусает более слабого,—совершенно как в буржуазных республиках. Но пусть только собака соседней деревни пробежит по их улице, и вы тотчас увидите, как все эти ссорящиеся сограждане толпой бросаются на несчастного иностранца.

Не есть ли это точная копия или, лучше сказать, оригинал, ежедневно копируемый человеческим обществом? Не есть ли это самое полное проявление того естественного патриотизма, о котором я сказал и осмеливаюсь повторить, что это чисто звериная страсть? Ее звериный характер несомненен, ибо собаки бесспорно звери, а человек, будучи животным подобно собаке и другим земным животным, но только животным, одаренным физиологической способностью думать и говорить, начинает свою историю со звериного состояния и только с течением веков завоевывает и создает свою человечность.

Раз мы знаем происхождение человека, нас не должна удивлять его звериная натура, являющаяся естественным фактом в серии естественных фактов; нас не должна она и возмущать, ибо отсюда нисколько не вытекает, что против нее не надо бороться с самой большой энергией, так как вся человеческая жизнь ничто иное, как непрерывная борьба с естественной животностью человека ради его человечности.

Я хотел лишь констатировать, что патриотизм, восхваляемый нам поэтами, политиками всех школ, правительствами и всеми привилегированными классами, как высшая и идеальная добродетель, имеет корень не в человеческих, но в звериных свойствах человека

И действительно, безраздельное царствование естественного патриотизма мы видим в начале истории, а в настоящее время в наименее цивилизованных частях человеческого общества. Конечно, в человеческих обществах патриотизм является гораздо более сложным чувством, чем в других животных обществах, по той простой причине, что жизнь человека, животного мыслящего и одаренного словом, обнимает несравненно больше предметов, чем жизнь животных других пород. К чисто физическим привычкам и обычаям в нем присоединяются еще традиции, более или менее абстрактные, интеллектуальные и моральные,—целая масса истинных или ложных представлений вместе с различными религиозными,экономическими,политическими и социальными обычаями. Все это составляет элементы естественного патриотизма человека, поскольку все эти вещи, комбинируясь тем или другим образом, создают для данного общества особую форму существования, традиционный образ жить, мыслить и действовать иначе, чем другие.

Но какова бы ни была разница, в отношении количества и даже качества охватываемых ими об‘ектов, между естественным патриотизмом человеческих и звериных обществ, общее между ними то, что и тот и другой являются инстинктивными, традиционными, привычными, общественными страстями, и что интенсивность того и другого нисколько не зависит от характера их содержания. Напротив того, можно сказать, что чем это содержание менее сложно, чем оно проще, тем сильнее и исключительнее патриотическое чувство, которое служит его проявлением и выражением.

Животное, очевидно, гораздо более привязано к наследственным обычаям общества, к которому оно принадлежит, чем человек. У животного эта патриотическая привязанность фатальна; не будучи в состоянии само освободиться от нее, оно избавляется от нее иногда только под влиянием человека. Тоже самое и в человеческих обществах; чем менее развита цивилизация, чем менее сложна сама основа социальной жизни, тем сильнее проявляется естественный патриотизм, т. е. инстинктивная привязанность индивидов ко всем материальным, интеллектуальным и моральным привычкам, составляющим обычную, традиционную жизнь отдельной общины, и ненависть их ко всему чуждому, ко всему отличающемуся. Откуда вытекает, что естественный патриотизм

обратно пропорционален развитию цивилизации, т. е. торжеству человечности в человеческих обществах.

Никто не будет отрицать, что инстинктивный или естественный патриотизм жалких племен ледовитого пояса, едва затронутых человеческой цивилизацией и сама материальная жизнь чья так бедна, бесконечно сильнее или исключительнее, чем патриотизм, например, француза, англичанина или немца. Немец, англичанин, француз везде могут жить и акклиматизироваться, между тем, как уроженец полярных стран умер бы в скором времени от тоски по родине, если бы его удерживали вдали от нее. И, однако, что может быть более ничтожным, менее человечным, чем его существование! Это служит лишним доказательством, что интенсивность естественного патриотизма является показателем не человечности, а звериного состояния.

Наряду с положительным элементом патриотизма, заключающемся в инстинктивной привязанности индивидов к определенному образу существования, свойственному той общине, к которой они принадлежат, существует еще отрицательный элемент, столь же существенный как и первый и неотделимый от него; это равно инстинктивное отвращение ко всему чуждому—отвращение инстинктивное и, следовательно, совершенно звериное; да, действительно, звериное, ибо это отвращение тем энергичнее и непобедимее, чем менее тот, который его испытывает, думал и понимал, чем менее он человек.

В настоящее время это патриотическое отвращение ко всему иностранному встречается только у диких народов; в Европе его можно найти у полудикого населения, которое буржуазная цивилизация не удостоила просветить, хотя она и не забывает его эксплуатировать. В самых больших столичных городах Европы, в самом Париже и особенно в Лондоне есть улицы, предоставленные нищенскому населению, которого никогда не касались лучи просвещения. Достаточно появления на этих улицах иностранца, чтобы толпа несчастных человеческих существ мужчин, женщин и детей, едва одетых и носящих во всей своей внешности следы самой ужасной нищеты и самого глубокого падения, окружила его и осыпала ругательствами, иногда даже побоями, единственно потому, что он иностранец. Разве подобного рода грубый и дикий патриотизм не является самым кричащим отрицанием всего, что называется человечностью?

И, однако есть, весьма просвещенные буржуазные газеты, как например *Journal de Genève*, которые не чувствуют никакого стыда эксплуатировать столь мало человеческий предрассудок и столь всецело звериную страсть. Я, однако, должен отдать им справедливость и охотно сознаюсь, что, эти газеты эксплуатируют патриотизм, нисколько его не разделяя и единственно лишь потому, что им выгодно его эксплуатировать, подобно тому как поступают в настоящее время почти все священники всех религий, проповедующие религиозные нелепости, сами не веря в них и единственно лишь потому, что в интересах привилегированных классов, чтобы народные массы продолжали верить.

Когда газета *Journal de Genève* не находит уже более аргументов и доказательств, она говорит: эта вещь, эта идея, этот человек нам *чужды*, и она имеет столь низкое представление о своих соотечественниках, что надеется, что достаточно будет произнести это страшное слово *чуждый*, чтобы они, позабыв все и здравый смысл, и человечность, и справедливость, стали на ее сторону.

Я сам не женевец, но я слишком уважаю жителей Женевы, чтобы не думать, что *Journal* ошибается на их счет. Они, конечно, не захотят пожертвовать человечностью ради звериного состояния, эксплуатируемого коварством.

ПАТРИОТИЗМ (*продолжение*) [1].

Я сказал, что патриотизм, поскольку он инстинктивен или естествен, имел все свои корни в животной жизни, не представляет ничего другого, кроме особой комбинации коллективных привычек: материальных, интеллектуальных и моральных, экономических, политических и социальных, развитых традицией или историей, в данном обществе. Эти привычки, прибавил я еще, могут быть хороши или плохи так как содержание или об'ект этого инстинктивного чувства—патриотизма, не имеет никакого влияния на степень его интенсивности. Даже если бы пришлось допустить в этом отношении известную разницу, то она скорее склоня

[1]) *Le Progrès* № 14 (10 июня 1869 г.), стр. 2 и 3.

лась бы на сторону худых, чем хороших привычек. Ибо—по причине животного происхождения всякого человеческого общества, и в силу той инертности, которая оказывает столь же могучее действие в интеллектуальном и моральном мире, как и в мире материальном,—во всяком обществе, которое еще не вырождается, а напротив, прогрессирует и идет вперед, плохие привычки, имея за собою первенство по времени, вкоренены более глубоко, чем хорошие. Это нам об'ясняет, почему из общей суммы нынешних общественных привычек, в самых передовых странах цивилизованного мира, по крайней мере девять десятых никуда не годятся.

Пусть не воображают, что я вздумал об'явить войну всеобщему обычаю общества и людей управляться *привычками*. Как и во многих других вещах, люди в этом лишь фатально повинуются естественному закону, а восставать против естественных законов было бы нелепо. Действие привычек в интеллектуальной и моральной жизни индивидов и обществ подобно действию растительных сил в жизни органической. Как то, так и другое являются условиями существования и реальности. Как добро, так и зло должны, чтобы сделаться реальной вещью, перейти в привычку, как в отдельном человеке, так и в обществе. Все упражнения, которым предаются люди, не имеют другой цели, и самые лучшие вещи не могут укорениться в человеке и сделаться его второй природой иначе, как в силу привычки. Легкомысленно восставать против нее, ибо это фатальная сила, которую не смогли бы уничтожить никакой ум и никакая воля. Но, если просвещенные разумом нашего века и нашим представлением об истинной справедливости, мы серьезно пожелаем сделаться людьми, то нам остается только одно: постоянно направлять силу воли, т. е. привычку хотеть, развитую в нас независимыми от нас обстоятельствами, к искоренению плохих привычек и к насаждению на их место хороших. Чтобы очеловечить целое общество, надо беспощадно уничтожать все причины, все политические, экономические и социальные условия, порождающие в индивидах зло, и заместить их такими условиями, которые бы развили в этих самых индивидах привычку и практику добра.

С точки зрения современного сознания человечности и справедливости, какими, благодаря прошедшему развитию истории, мы их теперь наконец понимаем, патриотизм является привычкой дурной, узкой и злополучной, ибо он является отрицанием человеческого равенства и солидарности. Со-

ципальный вопрос, практически выставленный в настоящее время рабочим миром Европы и Америки, и разрешение которого возможно не иначе, как с уничтожением границ Государств, необходимо стремится искоренить эту традиционную привычку из сознания рабочих всех стран. Ниже я покажу, что уже с начала столетия эта привычка была сильно поколеблена в сознании высшей финансовой, торговой и промышленной буржуазии, благодаря удивительному и совершенно международному развитию ее богатств и экономических интересов. Но прежде я должен показать, каким образом, гораздо раньше этой буржуазной революции, инстинктивный, естественный патриотизм, являющийся по самой природе своей очень узким, очень ограниченным чувством и чисто местной общественной привычкой, потерпел в самом начале истории глубокое изменение, извращение и ослабление, благодаря образованию политических Государств.

В самом деле, патриотизм, поскольку это чисто естественное чувство, т. е. продукт реально солидарной жизни общества, еще не ослабленный или мало ослабленный размышлением или действием экономических и политических интересов, а также религиозных абстракций, такой патриотизм, если и не вполне, то в громадной своей части животный, может обнимать лишь очень ограниченный мир: одно племя, одну общину, одну деревню. В начале истории, как и ныне у диких народов, не было ни наций, ни национальных языков, ни национальных религий,—не было, значит, отечеств в политическом смысле этого слова. Каждое местечко, каждая деревня имела свой собственный язык, своего бога, своего священника или колдуна. Это было ничто иное, как размножившаяся, расширившаяся семья, которая, ведя войну со всеми, отрицала своим существованием все остальное человечество. Таков естественный патриотизм в своей энергичной и наивной неподкрашенности.

Мы встречаем еще остатки этого патриотизма даже в некоторых из самых цивилизованных стран Европы, например, в Италии, особенно в южных областях итальянского полуострова, где строение почвы, горы и море создают преграды между долинами, общинами и городами, отделяют их, изолируют и делают почти совершенно чуждыми друг другу. Прудон заметил с большой основательностью в своей брошюре об итальянском единстве, что это единство является покуда еще только идеей и чисто буржуазной, но нисколько не народной страстью; что, по крайней мере, деревенское

население осталось и поныне по отношению к этому единству в большинстве случаев совершенно равнодушно, а я прибавлю, даже враждебно, ибо это единство с одной стороны вступает в противоречие с местными патриотизмами, с другой стороны ничего до сих пор не принесло населению, кроме безжалостной эксплуатации, гнета и разорения.

Не видим ли мы часто даже в Швейцарии, особенно в отсталых кантонах, борьбу местного патриотизма против кантонального, а последнего против национального патриотизма, имеющего своим об'ектом всю республиканскую конфедерацию в ее целом?

В заключение, резюмируя все сказанное, я повторяю, что патриотизм, как естественное чувство, будучи по своей сущности чувством местным, является серьезным препятствием к образованию Государств, и что, следовательно, эти последние, а с ними и цивилизация, не могли основаться иначе как уничтожив, если и не вполне, то в значительной мере, эту животную страсть.

ПАТРИОТИЗМ (Продолжение[1]).

Рассмотрев патриотизм с естественной точки зрения и показав, что *с этой точки зрения*, патриотизм является, с одной стороны, чувством собственно звериным или животным, ибо он свойственен всем животным породам, и что с другой стороны, он — явление существенно местное, ибо он может обнять лишь очень ограниченное пространство мира, где лишенный цивилизации человек проводит свою жизнь,— я перехожу теперь к анализу исключительно человеческого патриотизма, патриотизма *экономического, политического* и *религиозного*.

Это факт, констатированный натуралистами и теперь уже сделавшийся аксиомой, что количество всякого населения всегда соответствует количеству средств к пропитанию, находящихся в обитаемой этим населением стране. Население увеличивается всякий раз, как эти средства

---

[1]) *Le Progrès*, 17 (21 августа, 1869 г.) стр. 2—4.

встречаются в большем количестве; оно уменьшается с уменьшением этого количества. Когда данное население с‘едает все запасы страны, оно переселяется. Но это переселение, разрывая все его старые привычки, все повседневные усвоенные жизненные обычаи, и принуждая искать, без всякого знания, без всякой мысли, инстинктивно и совершенно наудачу, средства пропитания в совершенно незнакомых странах, всегда сопровождается лишениями и страшными мучениями. Большая часть переселяющегося животного населения умирает с голоду, и часто служит пищей остающимся в живых; только меньшей части удается акклиматизироваться и разыскать новые средства к пропитанию в новой стране.

Потом возникает война, война между породами, которые, чтобы питаться, должны пожирать друг друга. Рассматриваемый с этой точки зрения, животный мир является ничем иным, как кровавой гекатомбой, ужасной и плачевной трагедией, написанной голодом.

Те, кто признает существование Богатворца, и не подозревают, какой они делают ему милый комплимент выставляя его творцом *этого мира.* Как? Всемогущий, всемудрый, всеблагой Бог не мог прийти ни к чему другому, как к созданию подобного мира, подобного страшилища?

Правда, теологи имеют превосходный аргумент для об‘яснения этого возмутительного противоречия. Мир был создан совершенным, говорят они; в нем царила вначале абсолютная гармония, до того времени, как человек согрешил, и разгневанный на него Бог проклял человека и мир.

Это об‘яснение тем более поучительно, что оно полно нелепостей, а, как известно, в нелепом то и состоит сила теологов. Для них, чем какая нибудь вещь более нелепа, невозможна, тем она истиннее. Вся религия ничто другое, как обожествление нелепого.

Совершенный Бог сотворил совершенный мир, но вот это совершенство поскальзывается и навлекает на себя проклятие творца; после этого абсолютное совершенство делается абсолютным несовершенством. Каким образом совершенство могло сделаться несовершенством? На это ответят, что так случилось именно потому, что мир, хотя и совершенный при сотворении, тем не менее не был абсолютным совершенством, ибо абсолютен один Бог, Высшее Совершенство. Мир был совершенен лишь относительно и в сравнении с тем, каков он теперь.

Но в таком случае, зачем употреблять слово совершенство, слово, не применимое ни к чему относительному? Разве совершенство может быть не абсолютным? Скажите лучше, что Бог сотворил мир несовершенным, но лучшим, чем он есть в настоящее время. Но если он был лишь относительно лучшим, если он не был совершенным, то он не представлял той гармонии и абсолютного мира, рассказами о которых господа теологи нам протрещали уши. И в таком случае, мы спросим у них: разве не должен творец, по вашим собственным словам, быть оцениваем по своему творению, как работник по совершенной им работе? Творец несовершенной вещи очевидно несовершенен; раз мир был создан несовершенным, то Бог, его творец, очевидно несовершенен. Ибо факт сотворения несовершенного мира может быть об'яснен лишь его немудростью, или немощностью, или же злобой.

Но, возразят мне, мир был совершенен, но только менее совершенен, чем Бог. На это я отвечу, что когда дело идет о совершенстве, то нельзя говорить о большем или меньшем; совершенство полно, всецело, абсолютно, или же оно вовсе не существует. Стало быть, если мир был менее совершенен, чем Бог, мир был несовершенным; откуда вытекает, что Бог, творец несовершенного мира, был сам несовершенен, что он остается несовершенным, что он никогда не был Богом, что Бог не существует.

Чтобы спасти существование Бога, господа теологи будут принуждены согласиться, что созданный им мир был при сотворении совершенным. Но тогда я им поставлю два маленьких вопроса. Во-первых, если мир был совершенным, то каким образом два совершенства могли существовать вне друг друга? Совершенство может быть лишь едино; оно не терпит двойственности, ибо в двойственности одно ограничивается другим и становится таким образом несовершенным. Значит, если мир был совершенен, то не было Бога ни превыше его, ни даже вне его, сам мир был Богом. Второй вопрос: Если мир был совершенен, то каким образом он мог ниспасть? Хорошее совершенство, могущее измениться и исчезнуть! И если признать, что совершенство может ниспасть, то значит и Бог может ниспасть! Другими словами, Бог, конечно, существовал в верующем воображении людей, но человеческий разум, все более и более торжествующий в истории, обрекает его на уничтожение.

Наконец, как он странен, этот Бог христиан! Он сотворил человека таким образом, чтобы тот мог, чтобы тот *должен* был согрешить и ниспасть. Бог, имея между своими бесконечными аттрибутами всеведение, не мог не знать, творя человека, что тот согрешит; а раз Бог это знал, человек должен был пасть: иначе он дерзко уличил бы во лжи божественное всеведение. Тогда, зачем говорят о человеческой свободе? Здесь была фатальность! Повинуясь этому фатальному влечению,—самый простодушный отец семейства и тот на месте Бога мог бы это предвидеть,—человек грешит: и вот Бог—совершенство вдруг впадает в ужасный гнев, столь же смешной, как и отвратительный. Бог проклинает не только тех, кто преступил его закон, но и все их потомство, хотя оно в то время еще не существовало, и следовательно, было совершенно невинно в грехе наших прародителей. Не удовольствовавшись этой возмутительной несправедливостью, он проклинает еще ни в чем неповинный, гармоничный мир и делает его вместилищем всех ужасов и преступлений, местом постоянной бойни. Потом, рабски связанный собственным гневом и проклятием, изреченным им против мира и людей, против своего собственного творения, что делает Бог, вспомнив, наконец, что он Бог любви? Ему недостаточно, что он наполнил ради своего гнева кровью целый мир: этот кровавый Бог проливает еще кровь своего единственного Сына; он жертвует им под предлогом примирения мира с своим божеским Величеством! И если бы еще это удалось! Но нет, природа и человечество остаются столь же раздираемыми и окровавленными, как и до этого чудовищного искупления. Отсюда с очевидностью вытекает, что христианский Бог, подобно всем предшествовавшим ему Богам, является Богом столь же бессильным, как и жестоким, столь же нелепым, как и злым.

И такие то нелепости хотят навязать нашей свободе, нашему разуму! Посредством подобных чудовищностей претендуют воспитать, очеловечить людей! Когда же господа теологи возымеют достаточно смелости, чтобы открыто отказаться не только от разума, но и от человечности? Недостаточно сказать с Тертуллианом: „Credo, quia absurdum“—верю в то, что нелепо; пусть они постараются еще навязать нам, если могут, христианство с помощью кнута, как это делает всероссийский царь, с помощью костров, как Кальвин, с помощью Святой Инквизиции, как добрые католики, посредством насилий, пыток и казней, которые так бы желали еще

применить священники всех религий. Пусть они испробуют все эти прекрасные средства, но пусть не льстят себя надеждой восторжествовать над нами каким-нибудь другим способом.

Что касается до нас, представим раз навсегда все эти божественные нелепости и ужасы тем, кто безумно верит, что еще долго можно будет во имя их эксплуатировать народ и рабочие массы. Возвратимся к нашему чисто человеческому разуму и будем всегда помнить, что человеческое просвещение, единственное могущее нас просветить, освободить, сделать достойными и счастливыми, является не в начале, но по отношению того времени, в котвром мы живем, в конце истории и что человек в своем историческом развитии, изшел из животности, чтобы достичь мало по малу человечности. Не будем же никогда смотреть вспять, но всегда вперед, ибо впереди наше солнце и наше спасение. И если позволительно, если даже полезно иногда оглянуться назад, то только для того, чтобы констатировать, чем мы были и чем не должны уже более быть, что мы делали и чего не должны уже более делать.

Естественный мир является всегдашней ареной не прекращающейся борьбы, борьбы за жизнь. Нам нечего спрашивать себя, почему это так. Не мы это сделали, мы нашли это, рождаясь в жизнь. Это наша естественная исходная точка, и мы в этом нисколько не ответственны. Нам достаточно знать, что так было и, вероятно, всегда будет. Гармония устанавливается в этом мире через борьбу, через торжество одних, через поражение и чаще всего смерть других. Рост и развитие пород ограничены их собственным голодом и аппетитами других пород, т. е. страданием и смертью. Мы не говорим с христианами, что земной шар долина плача, но мы должны согласиться, что земля наша совсем не такая нежная мать, как иные рассказывают, и что живые существа должны иметь не мало энергии, чтобы жить на ней. В естественном мире сильные выживают, а слабые гибнут, и первые выживают только потому, что вторые гибнут.

Возможно ли, чтобы этот фатальный закон естественной жизни, был столь же неизбежен в мире человеческом и социальном?

ПАТРИОТИЗМ (Продолжение) [1].

Присуждены ли люди самой своей природой к пожиранию друг друга, чтобы жить, подобно тому, как это делают животные других пород?

Увы! в колыбели человеческой цивилизации мы находим людоедство; в то же время и впоследствии всеуничтожающие войны, войны рас и народов: войны завоевательные, войны равновесия, войны политические и войны религиозные, войны во имя „великих идей“, подобные той, которую ведет Франция, управляемая своим теперешним императором [2]) и войны патриотические, во имя великого национального единства, подобные тем, которые задумывают ныне, с одной стороны, пангерманский министр в Берлине, и с другой стороны, панславистский царь в Петербурге.

И в основании всего этого, под всеми лицемерными фразами, которыми пользуются, чтобы придать себе внешний вид человечности и правоты, что мы находим? Всегда один и тот же экономический вопрос: *стремление одних жить и благоденствовать на счет других.* Все остальное лишь одна болтовня. Невежды, простецы и глупцы даются на эту удочку, но ловкие люди, управляющие судьбами государств, знают очень хорошо, что в основании всех войн, есть только один повод: грабеж, завоевание чужого богатства и порабощение чужого труда.

Такова жестокая и грубая действительность, которую Боги всех религий, Боги войны всегда благословляли; начиная с Еговы, бога евреев, вечного Отца нашего Господа Иисуса Христа, который приказал своему избранному народу избить всех жителей Обетованной земли—и кончая католическим Богом, представленным папами, которые в вознаграждение за избиение язычников, магометан и еретиков, подарили землю этих несчастных их счастливым убийцам, еще не смывшим с себя их кровь. Для жертв—ад; для палачей—имущество и земли убитых,—такова цель самых священных войн, религиозных войн.

Очевидно, что, по крайней мере, до сего времени, человечество не было исключением из общего закона животного

---

[1]) *Le Progrès* № 16 (18 сентября 1869 г.), стр. 4.

[2]) Наполеон III.

мира, который приговаривает все живые существа пожирать друг друга, чтобы жить. Только социализм, как я постараюсь это показать в следующих статьях, только социализм, ставя на место политической, юридической и божеской справедливости, справедливость человеческую, замещая патриотизм всемирной солидарностью людей, а экономическую конкуренцию международной организацией общества, всецело основанного на труде, может положить конец войне, этому грубому проявлению человеческой животности.

Но до тех пор пока он не восторжествует на земле тщетно будут протестовать все буржуазные конгрессы мира и свободы, тщетно будут председательствовать на них все Викторы Гюго всего света; люди будут продолжать раздирать друг друга, как дикие животные.

Доказано, что человеческая история, подобно истории всех других животных пород, началась с войны. Война эта, не имевшая и не имеющая другой цели, кроме завоевания средств к жизни, имела различные фазы развития, параллельные различным фазам цивилизации, т. е. развития человеческих потребностей и средств к их удовлетворению.

Вначале человек, это всеядное животное, жил подобно другим животным, плодами и овощами, охотой и рыбной ловлей. Впродолжении многих веков, без сомнения, человек охотился и ловил рыбу так, как это делают и ныне животные, т. е. без помощи других орудий, кроме тех, которыми его одарила природа. В первый раз, как он воспользовался самым грубым орудием, простой палкой или камнем, он совершил акт мышления и выказал себя, разумеется, нисколько этого не подозревая, животным мыслящим—человеком. Ибо даже самое простое орудие должно соответствовать намеченной цели и, следовательно, пользование им предполагает известную сообразительность ума, которая существенно отличает человека — животного от всех других земных животных. Благодаря этой способности мыслить, обдумывать, изобретать, человек усовершенствовал, правда очень медленно, впродолжении многих веков, свои орудия, и превратился в охотника или в вооруженного дикого зверя.

Достигши этой первой ступени цивилизации, маленькие группы людей, естественно, могли питаться с большей легкостью, убивая живые существа, не исключая людей, тоже служивших им на пищу, чем животные, лишенные орудий охоты и войны. А так как *размножение животных пород всегда прямо пропорционально количеству средств прож-*

тания, то очевидно, число людей должно было увеличиваться в большей пропорции, чем число животных других пород, и, наконец, должен был наступить момент, когда невозделанная земля не была уже в состоянии прокормить всех людей.

Если бы [1]) человеческий разум не обладал способностью прогресса; если бы он не развивался все больше и больше, с одной стороны, опираясь на традицию, сохраняющую для будущих поколений знания, добытые прошлыми поколениями, а с другой стороны: распространяясь, благодаря дару слова, неотделимого от дара мысли, если бы он не был одарен неограниченной способностью изобретать все новые способы для защиты человеческого существования против всех враждебных ему сил природы,—эта недостаточность природных средств к существованию явилась бы непреодолимой гранью для размножения человеческой породы.

Но благодаря этой драгоценной способности, позволяющей ему познавать, размышлять и понимать, человек может перешагнуть чрез эту естественую грань, останавливающую развитие всех других животных пород. Когда естественные источники истощились, он создал искусственные. Пользуясь не своей физической силой, но превосходством своего ума, он начал не просто убивать животных, чтобы их немедленно пожрать, а подчинять их, приручать, и как бы воспитывать, чтобы сделать пригодными для своих целей. И таким образом, на протяжении веков еще группы охотников превращаются в группы пастухов.

Этот новый источник пропитания, естественно, еще умножил человеческую породу, что привело ее к необходимости создать новые средства к поддержанию жизни. Когда эксплуатация животных стала недостаточной, люди стали эксплуатировать землю. Таким образом, бродячие и кочевые народы обратились на протяжении многих других веков в народы земледельческие.

В этот то период истории и устанавливается, собственно говоря, рабовладельчество. Люди, бывшие самыми что ни на есть дикими зверями, начали с пожирания убитых ими или взятых в плен неприятелей. Но, когда они начали понимать всю выгоду заставлять животных служить себе и эксплуатировать их, а не убивать сейчас же, то они должны

---

[1]) (Продолжение). *Le Progrès*, № 20 (2 октября 1869 г.), стр. 3.

были скоро понять, какую пользу они могли извлечь из услуг человека, самого умного из земных животных. Побежденный враг перестал быть пожираем, но становился рабом, принужденным исполнять работу, необходимую для пропитания своего хозяина.

Труд пастушеских народов столь легок и прост, что для него почти не требуется работы рабов. Поэтому, мы видим, что у кочующих и пастушеских народов, число рабов очень ограничено, чтоб не сказать почти равно нулю. Другое дело у народов оседлых и земледельческих. Земледелие требует настойчивого, ежедневного и тягостного труда. Свободный человек лесов и степей, охотник или скотовод, берется за земледелие с большим отвращением. Поэтому, мы видим и в настоящее время, например, у диких народов Америки, что самые тягостные и отвратительные домашние работы возлагаются на существо сравнительно слабое, на женщину. Мужчины не знают других занятий, кроме охоты и войны, которые даже и в нашей цивилизации считаются самыми благородными занятиями, и, презирая всякий другой труд, лениво лежат, куря свои трубки, между тем как их несчастные жены, эти естественные рабыни грубого человека, изнемогают под тяжестью своего ежедневного труда.

Шаг вперед в цивилизации, и работа жены возлагается на раба. Вьючное животное, одаренное умом, принужденное нести всю тягость физической работы, дает своему господину возможность досуга и интеллектуального и морального развития.

———

Письма к французу.

Письма к французу.

(Точное и полное воспроизведение рукописи Бакунина)[1].

Продолжение.

25 августа, вечер, или, вернее, 26 августа, утро.

Рассмотрим снова общее положение вещей.

Я думаю, что доказал и события докажут лучше, чем мог это сделать я, что:

1[2]). *При тех условиях, при каких Франция находится в настоящий момент она не может больше быть спасена обычными способами, выработанными цивилизацией, установленными государством. Она может избегнуть гибели только путем крайнего напряжения своих сил, если вся страна поднимется, весь французский народ восстанет с оружием в руках.*

а) Пруссаки, весь германский народ, рассматриваемый, как единое государство, как империя,—какой оно является на самом деле,—может искупить понесенные им громадные жертвы, предохранить себя от будущей и даже очень близкой мести униженной, оскорбленной Франции, лишь разда-

---

[1]) За исключением страниц, посланных Озерову, о которых говорится в письме к Озерову от 11 августа 1870 г., и *которые* утеряны.- Дж. Г.

[2]) Написав это „1-е", Бакунин, очевидно имел в виду затем „2-е", но мы напрасно будем искать это „2-е" в дальнейшей части этого письма. Мы увидим в конце этого первого *продолжения*, что, доказав в первой части (утерянной) и во второй части (*продолжение*) своего письма, что „Францию может спасти только общее народное восстание", он заявляет, что в третьей части (которую он называет „третьим письмом") он докажет, что „инициатива и организация народного восстания не может больше принадлежать Парижу, она возможна только в провинции". Стало быть, эта третья часть (*Продолжение III*) и составляет это „2-е", обещанное „1-м", обозначенным на 1-й странице настоящего *продолжения*.—Дж. Г

вив эту последнюю, лишь продиктовав ей условия раззорительного мира в Париже.

б) Никакое французское государство—империя, королевство или республика—не сможет просуществовать даже года, приняв гибельные и позорные условия, какие пруссаки будут вынуждены продиктовать ей в силу необходимости.

в) Стало быть, нынешнее временное правительство—Базэн, Мак-Магон, Паликао, Трошю, со своим приватным Советом—Тьер-Гамбетта—не могут, если бы даже они и хотели, вести переговоры с пруссаками, пока хоть один прусский солдат останется на французской территории. Вследствие этого, между всеми этими людьми, которые представляют четыре различных партии: позорную империю, прямой орлеанизм (Трошю), косвенный орлеанизм или даже буржуазную и, главным образом, военную республику, как переходный период к восстановлению монархии (Тьер и, разумеется, также и Трошю, если прямое восстановление монархии окажется невозможным); и настоящую буржуазную республику (Гамбетта и К°.),—между всеми этими людьми существует молчаливое перемирие.

Они положили свои знамена в карман, отложили борьбу партий на более мирные времена, подав теперь друг другу руку ради спасения чести и целости Франции.

г) Все они *искренние* патриоты государства. Расходясь во многих пунктах, они вполне сходятся в одном: все они *политические деятели, государственные люди.*

Как таковые, они верят только в обычные способы борьбы, признанные государством, в государственные организованные силы, и испытывают одинаковый ужас как перед возможностью банкротства, которое, действительно является гибелью и позором для государства,—но не для страны, не для народа, так и перед восстаниями, перед анархическим движением народных масс—концом буржуазной цивилизации, верным разложением государства.

д) Они хотели бы, стало быть, спасти государство одними только обычными средствами и государственными организованными силами, как можно меньше прибегая к диким инстинктам низкой толпы, которые оскорбляют их утонченные и деликатные чувства, их вкус, и, что еще более серьезно, угрожают их положению и самому существованию состоятельного и привилегированного общества.

е) Однако, они принуждены прибегать к ним, так как положение очень серьезное, и ответственность их громадная.

Против огромной, прекрасно организованной силы они могут выставить только полуразрушенную армию и административную машину, тупую, гнилую, функционирующую только наполовину и неспособную создать в несколько дней силу, какую она не в состоянии была создать в течение двадцати лет. Они не смогут, стало быть, ни предпринять, ни сделать что-нибудь серьезное, если не встретят поддержки в общественном доверии, не найдут помощи в народном самоотвержении.

ж) Они видят, что вынуждены обратиться с призывом к этому народному самоотвержению. Они провозгласили восстановление национальной гвардии во всей стране, включение в армию боевых дружин и вооружение всего народа. Если бы все это было искренно, то было бы сделано распоряжение о немедленной раздаче оружия народу во всей Франции. Но это было бы отречением от государства, социальной революцией фактически, если не по идеи,—а они этого не хотят.

з) Они до такой степени не хотят этого, что, если бы нужно было выбирать между победоносным вступлением пруссаков в Париж и спасением Франции посредством социальной революции, нет никакого сомнения, что все они, не исключая Гамбетты и К°. выбрали бы первое. Для них социальная революция, это гибель всей цивилизации, конец мира и, стало быть, и Франции также. Лучше по их мнению Франция опозоренная, маленькая, подчиненная временно наглой воле пруссаков, но с верной надеждой вновь подняться, чем Франция, навсегда убитая, как государство, социальной революцией.

и) Как политические деятели, они, стало быть, поставили себе следующую задачу: провозгласить народное вооружение, не вооружая народ, но воспользоваться народным энтузиазмом, чтобы привлечь под разными наименованиями большое число добровольцев в ряды регулярной армии; под предлогом восстановления национальной гвардии, вооружить буржуазию, удалив пролетариат, и, в особенности, вооружить старых солдат, чтобы иметь возможность выставить значительную силу против бунтующих рабочих, которым удаление войск придало смелости; включить в армию боевые дружины, достаточно дисциплинированные, и распустить или оставить невооруженными те из них, которые обнаруживают слишком красные чувства; позволять образование партизанских отрядов только при условии, если организа-

торами и руководителями их будут люди, принадлежащие к цивилизованным классам: члены jockey Club, собственники, дворяне или буржуа, словом, люди из приличного общества. За отсутствием принудительной силы, чтобы сдержать население, воспользоваться его патриотическим возбуждением, вызванным, как событиями, так и их собственными признаниями и обязательными постановлениями и направить его в сторону *сохранения общественного порядка*, распространив в народе *ложное и пагубное убеждение*, что для того, чтобы спасти Францию от гибели, уничтожения и рабства, которые ей угрожают со стороны Пруссии, он должен, оставаясь *достаточно экзальтированным*, чтобы чувствовать себя способными на *чрезвычайные жертвы*, какие потребует от него спасение государства, *оставаться спокойным, бездеятельным, пассивно полагаясь на государственное провидение* и на временное правительство, взявшее в настоящий момент управление государством в свои руки. Считать за врагов Франции, за прусских агентов всех, кто попытается нарушить это доверие, это народное спокойствие, всех тех, кто захочет вызвать народ на произвольные акты общественного спасения,—одним словом, всех, кто, справедливо не доверяя способности и добросовестности современных правительств, хочет спасти Францию, путем революции.

к) Следовательно, между всеми партиями, не исключая и самых красных якобинцев и, конечно, также и буржуазных социалистов, тех и других пришибленных и парализованных страхом, внушаемым им революционными, действительно народными социалистами,—анархистами или, так сказать, Гебертистами социализма, которых также глубоко ненавидят коммунисты-государственники, как и якобинцы и буржуазные социалисты, — между всеми этими партиями, не исключая даже коммунистов-государственников, в настоящее время существует *молчаливое соглашение помешать революции, пока враг будет находиться во Франции*, по двум причинам.

Первая причина та, что, все одинаково видя спасение Франции только в действии государства, в чрезмерном преувеличении всех свойств и сил государства, они все *искренно* убеждены, что, если бы теперь разразилась революция, то, так как она имела бы непосредственным, естественным следствием разрушение современного государства и так как у якобинцев и коммунистов-государственников неизбежно не хватило бы ни времени ни всех средств.

необходимых для немедленного построения нового революционного государства, то она, т. е. революция отдала бы Францию пруссакам, *отдав ее сначала в руки революционных социалистов.*

Вторая причина есть лишь раз'яснение и развитие первой. Они одинаково ненавидят и боятся революционных социалистов, работников Интернационала и, чувствуя, что при существующих условиях, революция неизбежно восторжествовала бы, они хотят во что бы то ни стало помешать ей.

л) Это особенное положение между двумя врагами, из которых один—монархисты—осужден на исчезновение и другой—революционные социалисты—угрожает своим появлением, налагает на якобинцев, буржуазных социалистов и коммунистов-государственников тяжелую обязанность, заключить тайный, молчаливый союз с реакцией сверху против революции снизу. Они не столько боятся этой реакции, сколько этой революции. Видя, в самом деле, что первая чрезвычайно ослабела, до такой степени, что может существовать только с их согласия, они заключают с ней временный союз и пользуются ею скрытным образом против второй.

Это об'ясняет ужасную реакцию, которая, *с их согласия,* господствует в настоящий момент в Париже. Это об'ясняет, почему держат, смеют держать *незаконно* Рошфора в тюрьме. Заметили вы молчание всей радикальной оппозиции и в особенности молчание Гамбетты, когда Распайль требовал его освобождения? Один только старик Крэмье произнес жалкую юридическую речь, другие не сказали ни слова. Однако, вопрос очень ясен: дело идет о достоинстве и праве всего законодательного корпуса, о достоинстве и праве национального представительства, цинично нарушенных, в лице депутата Рошфора, исполнительной властью. Не означает ли молчание левых республиканцев: во-первых, что все эти якобинцы ненавидят и боятся Рошфора, как человека, пользующегося, справедливо или нет, симпатиями и доверием толпы, что все они, *как политические деятели,* излюбленное выражение Гамбетты, очень довольны, что Рошфор в тюрьме; во-вторых, что существует как бы предвзятое решение не оказывать оппозиции временному правительству, существующему в настоящий момент в Париже?

Это решение есть также естественное следствие их особого положения: решив, что немедленная революция будет гибельна для Франции и не желая, следовательно, сверг-

нуть существующее правительство (потому что свергнуть его без революции невозможно, так как большинство законодательного корпуса определенно реакционно и чтобы переменить правительство, нужно сначала распустить насильственно законодательный корпус), будучи принуждены терпеть это правительство, которое они ненавидят, радикалы *слишком патриоты*, чтобы желать его ослабления, ибо этому правительству поручена защита Франции, так что ослабить его, значило бы ослабить защиту, шансы на спасение Франции. Отсюда необходимое следствие: *радикалы принуждены терпеть, обходить молчанием все интриги, возмутительно несправедливые акты, даже самые пагубные глупости этого правительства*,—ибо это признанная и тысячу раз отмеченная и подтвержденная опытом всех народов истина, что во время крупных государственных кризисов, когда государству угрожает громадная опасность, лучше иметь сильное правительство, как бы оно плохо ни было, чем анархию, которая явилась бы неизбежным следствием оказываемой ему оппозиции. Не исправив присущих настоящему правительству пороков, оппозиция и анархия, которая за ней последует, значительно ослабят его силу, его деятельность и уменьшат, стало быть, шансы на спасение Франции.

н) Что отсюда следует?—Что радикальная оппозиция, вдвойне скованная, и инстинктивным отвращением, какое ей внушает революционный социализм и своим патриотизмом, *совершенно уничтожена и пассивно тянется на буксире за правительством, которое она усиливает и санкционирует своим присутствием, своим молчанием и иногда также своими комплиментами и лицемерным выражением своей симпатии.*

Этот вынужденный договор между бонапартистами, орлеанистами, буржуазными республиканцами, красными якобинцами и социалистами-государственниками, конечно, выгоден первым двум партиям и в ущерб трем последним. Если когда-нибудь были республиканцы, работающие во славу монархической реакции, так это, конечно, французские якобинцы, руководимые Гамбеттой. Реакционеры, в последней крайности, не чувствуя больше почвы под ногами и видя, что они не могут больше располагать всеми добрыми старыми средствами, всеми необходимыми орудиями государства, стали чрезвычайно вежливыми и гуманными,—Паликао и сам Жером Давид, бывшие прежде столь грубыми и нахальными, стали теперь чрезвычайно любезными. Они

рассыпаются перед радикалами, в особенности перед Гамбеттой, льстят им и всячески свидетельствуют им свое почтение. Но за эту вежливость они имеют *власть.* А левые радикалы совершенно устранены от нее.

о) В сущности, все эти люди, которые составляют в настоящее время власть: Паликао, Шевро и Жером Давид, с одной стороны, Трошю и Тьер—с другой, наконец, Гамбетта, этот полу-оффициальный посредник между правительством и левыми радикалами, в глубине своего сердца ненавидят друг друга и, смотря друг на друга, как на смертельных врагов, относятся с глубоким недоверием друг к другу. Но, интригуя друг против друга, они вынуждены итти вместе, или, скорее, *вынуждены делать вид, что идут вместе. Вся сила настоящего правительства основана исключительно в настоящий момент на вере народных масс в его стройное, полное и прочное единство.*

Так как это правительство может удержаться только при общественном доверии, нужно непременно, чтобы народ имел, так сказать, абсолютную веру в единство действия и идейное согласие всех членов правительства; ибо *как долго* спасение Франции будет зависеть от государства, это единство и это согласие одни только могут спасти ее. Нужно, стало быть, чтобы народ был убежден, что все члены, составляющие настоящее правительство, забыв все свои разногласия и все свое прежнее честолюбие и оставив совершенно в стороне партийные интересы, искренне подали друг другу руку, чтобы работать теперь только для спасения Франции. Народный инстинкт прекрасно понимает, что правительство несогласное, которое тормошат во все стороны, и все члены которого интригуют друг против друга, неспособно на энергичную, серьезную работу, что подобное правительство может погубить, а не спасти страну. И если бы народ знал все, что происходит внутри существующего правительства, он свергнул бы его.

Гамбетта и К° знают все, что происходит в правительстве, они достаточно умны, чтобы понять, что внутри правительства слишком отсутствует единство и что оно слишком реакционно, чтобы развернуть всю энергию, требуемую настоящим положением и чтобы предпринять все необходимые меры для спасения страны, и они молчат,— потому что говорить, значило бы вызвать революцию и потому, что их *патриотизм*, также как и их *буржуазный дух*, отвергают революцию.

Гамбетта и К° знают, что Паликао, Жером Давид и Шевро, пользуясь своим положением, интригуют с Мак-Магоном и Базэном, чтобы спасти империю, если возможно, а в случае невозможности, спасти, по крайней мере, монархию, превратив ее в королевство с династией Бурбонов или герцога Орлеанского; они знают, что слишком красноречивый и парламентарист Трошю интригует с отцом парламентаризма Тьером и с молчаливым Шангарнье, чтобы призвать герцога Орлеанского.

Гамбетта знает все, это видит все, но он оставляет их в покое, будучи сам слишком патриотом, чтобы позволить себе даже интригу в пользу республики. Он доводит это патриотическое отречение так далеко, что позволяет даже своим новым друзьям из бонапартистской реакции, ставшим всесильными с тех пор, как события показали их бессилие управлять Францией, обезглавить республиканскую партию, закрыв два ее главных органа, газеты *Reveil* и *Rappel*, единственные, которые осмелились сказать истину о происходящих событиях Франции и населению Франции.

Оффициальная ложь теперь, больше чем когда-либо, на очереди дня в Париже и во всей Франции. Обманывают цинично, систематически весь народ относительно истинного положения дел. Когда французская армия побита и наполовину уничтожена, когда пруссаки продолжают свое победоносное шествие на Париж, Паликао говорит в парламенте о победах Базэна, и все парижские газеты, зная истину, повторяют эту ложь,—все из того же патриотизма, так как теперь лозунг во всей стране: *спасти Францию посредством лжи*. Гамбетта и К° знают все это и не только молчат, но санкционируют эту оффициальную ложь, лицемерно выказывая доверие и радость, которую они далеко не испытывают. Почему они это делают? Потому, что они убеждены, что если бы Париж и вся Франция знали истину, весь французский народ поднялся бы всей своей массой: была бы революция; а вследствие патриотизма, также как и вследствие своей буржуазности они не хотят революции.

Вооружение народа, постановленное и превращенное в закон Законодательным Корпусом и Сенатом, вооружение национальной гвардии и боевых дружин не приводятся в исполнение. Французский народ остается совершенно безоружным перед вторжением на его территорию врага. Гамбетта и компания не могут не знать этого, так как даже

реакционные парижские газеты это говорят. Вот, что говорит газета *Presse*, от 24 августа:

„Боевые дружины организованы едва в трети департаментов; национальная гвардия, остающаяся неподвижно на одном месте, нигде не вооружена, если не считать Парижа“.

И в другой статье:

„В административных бюро существуют плачевные традиции, устаревшие порядки. Мы видим с одной стороны административную рутину и слишком часто *умственную несостоятельность некоторых служащих, занимающих высшие должности*, а с другой—пылкий и смелый энтузиазм населения. *Заведующие отделами, далеко не отвечающие серьезности момента, как будто увеличивают препятствия и проволочки своими тошными никчемными бумагами и дурным приемом, какой они оказывают населению*“.

Вот, что происходит в провинции. В Париже, которому угрожает ужасная опасность, в Париже, на глазах у этих трусливых республиканцев, происходит то же самое. Вот, что я нашел в *Адресе третьего парижского избирательного округа* генералу Трошю (от 23 августа):

„Вполне законное нетерпение парижского населения наталкивается на непобедимую силу инерции отсталой, завистливой, пропитанной формализмом администрации. Очень много записей в национальную гвардию остались без всякого результата. *Вооружение производится так медленно, что приводит прямо в отчаяние*, и организация кадров подвигается плохо... Мы обращаем ваше внимание, генерал, на это положение вещей, *так мало отвечающее важности момента. Пора использовать все живые силы столицы*. Довольно недоверия, довольно ненависти и боязни!“

Но у генерала Трошю, также как и Паликао и Шевро, министра внутренних дел, иезуита и любимца императрицы, есть задняя мысль, сообразная их положению, их целям и их убеждениям: *убивать систематически стихийный порыв народа*. Особенно это видно на тех мерах, какие они приняли и какие продолжают принимать по отношению к боевым дружинам.

Убедившись, что эти дружины, которые должны были служить полезным посредником между народным вооружением и регулярными войсками, были заражены глубоким анти-бонапартистским чувством и отчасти республиканским, они их как бы приговорили к смерти, не приняв во внимание тех громадных услуг, какие они могли бы оказать в на-

стоящий момент отечественной обороне. Мы видели, что было сделано с боевыми дружинами, собравшимися в Шалоне, а также около Марселя. Теперь, вот, что говорит реакционная газета *Presse*. Сообщив, что в департаментах Ниевры и Шер об'явлено осадное положение, она замечает, что „эти меры учащаются в последние дни, что власть должна ими пользоваться очень осторожно“, и в подтверждение она рассказывает, что произошло в Перпиньяне: „Во Франции происходили муниципальные выборы, как раз в тот день, когда одно за другим получались известия о несчастиях, происшедших в Виссенбурге и Форбахе. Префект Перпиньяна, из предосторожности, чтобы не вызывать слишком сильного возбуждения умов, счел необходимым отложить на сутки обнародование этих известий. Это вызвало сильное раздражение населения, и потом беспорядки, которые привели к роспуску боевых дрржин“.

Ясно, что вооружение народа не производится преднамеренно, потому что вооруженный народ, это—революция, а так как Гамбетта и К° не хотят революции, они дают волю реакционному правительству.

Под давлением, несомненно, наиболее радикальной части парижского населения, которое начинает понимать истину и терять доверие и терпение, Гамбетта и компания, поддерживаемые левой парламентской фракцией и, говорят, левым центром, сделали последнее усилие, требуя от правительства, чтобы оно приняло в *Комитет обороны Парижа, в качестве членов, девять депутатов.* Реакционное правительство, которое сразу заметило ловушку, и которому совсем нежелательно было, чтобы на развалинах его военной Комиссии был учрежден Комитет общественного спасения, решительно отказало. Но, из примирительных побуждений, императрица-регентша подписала в Совете министров, 26 августа, декрет, повелевающий, чтобы депутаты Тьер, маркиз де Талуе, Дюпюи де Лом, и сенаторы: генерал Меллинэ и Беик вошли в Комитет обороны Парижа. Старая лисица Тьер сыграл роль „дурачка“,—и господа Гамбетта и компания будут молчать, страдать, потому что они выдали себя с руками и ногами, скованные своим патриотизмом и буржуазными инстинктами.

Но чего же они ждут, наконец? На что надеятся? На что рассчитывают? Изменники это или глупцы? Они основали все свои надежды на энергии и ловкости, какие развернули,

как видно, Паликао и Шевро в деле организации новой армии, и на военном гении Базэна и Мак-Магона.

А если Базэн и Мак-Магон будут еще раз побиты, что всего вероятнее, что тогда случится?

Паликао и Шевро, не довольствуясь, говорят, тем, что дали новую армию Мак-Магону, занимаются теперь формацией третьей армии. Они послали в департаменты десять комиссаров, чтобы ускорить ход дела. Они представили (24 августа) в законодательный корпус проэкт закона, об'явленный срочным и призывающий на военную службу всех женатых старых солдат от 25 до 35 лет, всех офицеров до пятидесяти лет и всех генералов до семидесяти трех лет. Таким образом, говорит *Liberté*, будет образована новая и превосходная армия, состоящая из двухсот семидесяти пяти тысяч опытных в боевом отношении солдат. Да, на бумаге.

Ибо, не надо забывать, что те, кому поручено ее образовать, не чрезвычайные комиссары 1793 г., которые, увлеченные сами и поддерживаемые огромным революционным движением, охватившим все население, творили чудеса,— это не гиганты национального конвента; образование этой армии поручено префектам, чиновникам и администраторам Наполеона III, ворам и людям неспособным.

Большая глупость, великое преступление и большое малодушие со стороны Гамбетты и К°, что они не свергли императорское правительство и не провозгласили республику больше двух недель тому назад, когда известие о двойном поражении французов, в Фрешвиллере (Верт) и Форбахе, прибыло в Париж. Власть выпала из рук правительства, нужно было только ее поднять. В этот момент они были всесильны, бонапартисты пали духом, были уничтожены. Гамбетта и К°, руководимые своим собственным патриотизмом и патриотизмом Тьера, подняли власть и передали ее Паликао. Эти красивые говоруны, эти фразеры идеальной республики, эти незаконнорожденные сыны Дантона не дерзнули. Они вынесли себе приговор.

С этого момента, столь благоприятного и потерянного навсегда, для якобинцев, а не для социальной революции, все пошло вспять с изумительной, приводящей в отчаяние логикой. Две недели тому назад никто не смел произнести имени Наполеона и, если его самые преданные сторонники говорили о нем, то только, чтобы обругать его. Теперь вот, что я прочел в газете *Presse*, от 24 августа:

„*Император* в Реймсе, вместе *с принцем-наследником, со свитой*, в восхитительной вилле M-me Синар, в четырех километрах от Реймса. В этой вилле *резиденция монарха*. Другие виллы в той же местности заняты Мак-Магоном, *Принцем Мюра* и др.“.

Вот, что об этом говорит *Bund*, полу-оффициальная газета швейцарской Конфедерации:

„Правые (бонапартисты) повидимому хотят обманывать парижан до того момента, когда пруссаки поведут осаду Парижа. Тогда будет слишком поздно начать республиканское движение,—и в случае даже, если императору не удастся сохранить корону, может быть, можно будет надеть ее на голову наследника“.

В то же время, принц-Наполеон—Плон-Плон—приезжает во Флоренцию с чрезвычайной миссией к королю Италии, не от министерства, а непосредственно от императора Наполеона,—как в прошлом. Это ставит в чрезвычайно трудное положение итальянские демократические газеты, которые очень хотели бы принять сторону революционной Франции, осажденной солдатами германского деспотизма, но не могут этого сделать, потому что они не видят еще революционной Франции, они видят только монархическую Францию, во главе которой стоит человек, наиболее ненавистный Италии, Наполеон III. Вот, что говорит по этому поводу *Gazetta di Milano*, от 26 августа:

„Французы продолжают вспоминать славные дни 92-го года. Но до сих пор мы еще ничего не видели во Франции, что показало бы нам, что жив этот великий народ, уничтоживший средневековье, а законодательный корпус еще менее напоминает нам, хотя бы в миниатюре, законодательный корпус, который, среди бурных волнений и в разгар революции сумел творить победы. Как! Две недели, как никто не смеет больше говорить об императоре и, если кто это делает, то встречает всеобщее порицание; две недели, как Европа знает, что империя пала, в чем признались даже члены императорской семьи (Плон-Плон будто бы выразился в этом смысле во Флоренции); и эта благородная страна не сказала еще своего слова, она ничего еще не воздвигла на произведенных развалинах; *она возлагает все свои надежды на то или другое лицо, а не на самою себя*. А пока *она подчиняется правительству, которое управляет ею именем императора, которое обманывает и губит ее во имя импера-*

тора! При всем нашем добром желании, мы не можем выразить никакой симпатии, никакого доверия этой стране!“

Вот, к каким результатам приводят *патриотизм* и *политический ум* Гамбетты и К°. Я обвиняю их в крупной измене Франции, как за пределами страны, так и внутри, и если бонапартисты заслуживают, чтобы их повесили один раз, то все якобинцы должны быть повешены два раза.

Ясно, что они изменяют Франции за границей, потому что своим патриотическим самоотречением они лишили ее громадной моральной поддержки, — моральной вначале, но весьма материальной позднее. Если бы у них хватило смелости об‘явить республику в Париже, они сразу бы расположили все народы: итальянский, испанский, английский и *даже германский*, в пользу Франции. Все, не исключая и немцев, немецкой рабочей массы [1]), приняли бы ее сторону против прусского вторжения. А моральная поддержка других народов имеет большое значение. Якобинцы 1793 г. знали это, они не сомневались, что эта поддержка составляла, по крайней мере, половину их силы. Революция немедленно бы охватила Италию, Испанию, Бельгию, *Германию*; и прусский король, у которого, в тылу, появился бы еще другой враг, более опасный, чем французская армия— германская революция,—очутился бы в жалком положении. Но они не дерзнули, эти незаконнорожденные сыны Дантона, и все народы, в которых столько глупости, трусости и слабости вызывает отвращение, испытывают только презрительную жалость к французскому народу.

Якобинцы изменили Франции внутри страны, потому что, провозгласив республику на развалинах монархического строя, они бы наэлектризировали и воскресили ее. Они не дерзнули, они считали очень патриотичным, очень практичным ничего не дерзать, ничего не хотеть, ничего не делать,—и этим самым, они сделались виновными в ужасном преступлении: они не тронули, они поддержали своими собственными руками монархическое здание, которое падало. Они были сами жертвой иллюзии, что доказывает их глу-

[1]) В начале даже войны, во всех немецких социалистических газетах, на всех митингах, устраиваемых в Германии, единодушно высказывалась и получала общее одобрение мысль,—что „если бы французы свергли Наполеона и на развалинах империи воздвигли *народное государство*, весь германский народ был бы за них“. (Примечание Бакунина).

ность, потому что вокруг них говорили: „империя пала“. Они считали ее действительно павшей и находили, что будет осторожным сохранить еще некоторое время ее видимость, чтобы удержать их страшилище — революционных социалистов. Они сказали себе: „Мы теперь хозяева, будем политичными, практичными и осторожными, чтобы помешать фатальному взрыву страстей черни!“

И в то время как они рассуждали таким образом, реакционеры, бонапартисты, а вместе с ними и орлеанисты, удивленные, что они еще живы, что не украшают своими телами парижских фонарей, вздохнули свободно, потом набрались снова смелости и, всмотревшись хорошенько в своих новых хозяев и заметив, что это были лишь профессора риторики и ослы, перестали считаться с ними.

В их руках вся администрация, старая администрация, все способы действия,—и если верно, что император путешествует, империя, деспотическое и более чем когда-либо централизованное государство, стоит твердо на ногах. И вооруженные этим всемогуществом, усиленным еще под‘емом национального патриотизма, совращенного с пути, они давят теперь и Париж и Францию.

Они осмелились об‘явить на осадном положении...[1]) И тогда как реакционные газеты, как напр., *Presse*, восклицают лицемерно: „Слава Богу, французский народ взял в свои руки заботу о защите родной земли... Граждане сговорились между собою, они обсуждают вместе, организуются... Теперь уже не одно правительство уполномочено пещись о нас, на нас самих лежит эта обязанность“,—Паликао, Шевро и Жером Давид, воплощающие втроем все, что есть самого подлого в режиме Наполеона III, с помощью своих в данном случае верных слуг, всех префектов и помощников префектов Наполеона III, оставшихся на своих постах, заключили в тиски реакции, более свирепой и гнетущей, чем когда-либо, всю страну и привели ее почти в абсолютную неподвижность, в пассивное состояние, немногим отличающееся от смерти.

Вот как патриотизм якобинцев изменил Франции и погубил ее.—Да, погубил, ибо если социальная революция или немедленное анархическое восстание французского народа не спасет ее, она погибла.

---

[1]) Здесь неразборчивое слово в рукописи и, может быть, не достает слово или два.—Дж. Г.

о) Паликао и Шевро, а также и Комитет обороны Парижа, во главе с Трошю, ведут, говорят, энергичную, удивительную, неутомимую деятельность для организации средств обороны. Допустим. Но разве пруссаки, с своей стороны, не организуются также с поразительной энергией?

Ибо для пруссаков, не надо себя обманывать, так же как и для французов, победоносный или гибельный конец войны—вопрос жизни или смерти. Говоря о пруссаках, я подразумеваю, конечно, монархию, короля и Бисмарка, его первого министра, со всей массой генералов, лейтенантов и бедных солдат, которые следуют за ними. Прусская монархия, несомненно. ставит свою последнюю ставку. Она пустила в ход свои последние денежные и человеческие рессурсы, последние рессурсы Германии.

Если германская армия будет побита, не один из сотен тысяч солдат, вступивших на территорию Франции, не вернется живым в Германию. Она должна, стало быть, победить и восторжествовать окончательно, ради своего спасения. Она не может даже ограничиться бесплодными победами, она не может вернуться, не принеся с собой крупных материальных компенсаций, за понесенные ею и причиненные Германии огромные потери. Если прусский король вернется в Германию с пустыми руками, с одной только своей славой, он не процарствует и одного дня, так как Германия потребует от него отчета в тысячах и десятках тысяч своих убитых и искалеченных сынов и в громадных суммах, издержанных на эту раззорительную и бесплодную войну.

Не нужно обманывать себя, национальное чувство немцев возбуждено до крайних пределов, нужно удовлетворить его или пасть. Есть только один способ дать ему другое направление, это социальная революция. Но это способ, который, по всей вероятности, мало желателен прусскому королю, и, так как он не может воспользоваться им, не может дать другого выхода сектантскому и тщеславному патриотическому чувству немцев, он должен его удовлетворить,—а он может его удовлетворить только за счет Франции, вырвав у нее, по крайней мере, миллиард и две провинции: Эльзас и Лотарингию, и навязав ей, чтобы предохранить себя от будущей ее мести, династию, режим и такие условия, которые ослабят ее, скуют ее по рукам и ногам и лишат ее надолго возможности двигаться. Германская пресса единодушно твердит, и она тысячу раз права, что Германия не в состоянии переносить каждые два года

неслыханные жертвы для поддержания своей независимости. Следовательно, для германского народа, претендующего в настоящий момент занять господствующее положение Франции в Европе, абсолютно необходимо поставить Францию точно в такое же положение, в каком эта держава держала до сих пор Италию, превратить ее в вассала, в вице-королевство Германии, великой германской империи.

Таково, стало быть, положение короля Пруссии и Бисмарка. Они не могут вернуться в Германию, не оторвав от Франции двух провинций, не вырвав у нее миллиарда и не обязав ее ввести у себя режим, гарантирующий им ее покорность и подчинение. Но все это можно вырвать у Франции только в Париже. Пруссаки, стало быть, вынуждены взять Париж. Они прекрасно знают, что это очень нелегко. Поэтому, они употребляют неслыханные усилия, чтобы удвоить свою армию, дабы буквально раздавить Париж и Францию. В то время как Франция организуется, Пруссия тоже не спит,—она тоже организуется.

Посмотрим теперь, которая из этих двух организаций обещает лучшие результаты.

Отметим сначала, каковы положение и силы двух враждующих армий.

Базэн, запертый в Меце, что бы там ни говорили имеет—по признанию парижских газет,—не более ста двадцати тысяч солдат. Я думаю, что у него остается едва сто тысяч,—но согласимся, что у него сто двадцать тысяч солдат. В каком положении они находятся? Запертые в Меце, они окружены армией, по крайней мере, в двести пятьдесят тысяч человек, а именно, двумя армиями: армией принца Фредерика-Карла и армией Штейнмеца, которые слились вместе и к которым присоединились резервный корпус Герварта фон Биттефельд (пятьдесят тысяч человек) и северная армия, под командой Фогеля фон Фалькенштейн (по крайней мере сто тысяч человек,—но будем считать пятьдесят тысяч), что составит вместе сто тысяч человек свежего войска; а так как в начале войны принц Фредерик-Карл имел сто восемьдесят тысяч солдат и Штейнмец сто тысяч,—вместе двести восемьдесят тысяч солдат, исчисляя даже потери этих двух армий в восемьдесят тысяч человек,—огромная цифра,—нужно заключить, что немецкая армия, собравшаяся теперь вокруг Меца, насчитывает, по крайней мере, триста тысяч солдат. Но предположим, что в

ней только двести пятьдесят тысяч человек. Это превышает вдвое численностью, больше чем вдвое, армию Базэна.

Базэн не может долго оставаться в Меце,—он умрет с голоду со своей армией, и должен будет сдаться из за недостатка провианта и аммуниции. Он непременно должен прорваться сквозь вражескую армию, вдвое численнее его армии.—Он дважды пытался это сделать и оба раза неудачно.—Теперь ясно, что последняя битва 18 августа, в Гравелотте, была гибельна для французов. Побежденные, упавшие духом, усталые, плохо организованные, с плохой администрацией и плохим командным составом (ибо вся энергия Базэна не могла в несколько дней уничтожить зло, которое правительство Наполеона наделало в продолжение двадцати лет,—администраторы воры и неспособные, офицеры храбрые, но невежественные, полковники куртизаны, не могут вдруг быть заменены другими, тем более, что негде взять этих других), начиная уже испытывать голод, так как нет сомнения, что вся армия, запертая в Меце, получает уже недостаточный паек, сто тысяч солдат Базэна должны сражаться с двухсот пятидесяти тысячной германской армией, все солдаты которой сыты, благодаря грабежам в Лотарингии и Эльзасе и громадным запасам провизии всякого сорта, которые они отняли у трех корпусов Фроссара, Дю Файли и Мак-Магона (у этого последнего они отняли вплоть до его канцелярии, кассу и портфель), а также миллионным контрибуциям деньгами и огромным контрибуциям натурой, налагаемым на жителей отнятых городов;—бодрые, возбужденные, как этими грабежами, так и своими победами, немцы, наоборот, чувствуют себя превосходно. Ими командуют превосходные офицеры, ученые, добросовестные, умные, привыкшие воевать и у которых военное искусство и ум соединены с преданностью и рабской дисциплиной по отношению к их коронованному шефу. Они идут вперед, как экзальтированные рабы, добросовестные и гордящиеся своим рабством, противопоставляя невежественной грубости французских офицеров свою осмысленную и искусную грубость. Генералы их также умные и, в особенности два, генерал Мольтке и принц Фредерик-Карл, повидимому, считаются среди лучших генералов Европы. К тому же они следуют плану, давно обдуманному, комбинированному, который до сих пор им не пришлось изменять;—тогда как французская армия, которую вели сначала без всякого плана, без идеи, уменьшенная до крайних пределов, должна создать себе план,

чтобы выйти из отчаянного положения, что требует, по меньшей мере, гения; а ни Базэн ни Мак-Магон, какими бы они ни были превосходными генералами, не являются гениальными людьми. Я не знаю, гениальный ли человек Мольтке, но ясно, во всяком случае, что если у пруссаков нет гения, то у них за то есть установленный план, хорошо изученный, умно подготовленный и проводимый, которому они систематически следуют с большой смелостью и вместе с тем с большей осторожностью. Все шансы, стало быть, на стороне пруссаков.

Говорят, что преобразованная или вновь составленная армия в Шалоне имеет полтораста тысяч человек. Я не думаю, чтобы она насчитывала больше ста тысяч. Но предположим, что в ней полтораста тысяч человек; армия принца наследника, которая идет на Париж и которая проникла уже в Шалон, численностью в двести тысяч человек. Во всяком случае, она превосходит численно армию Мак-Магона; она превосходит ее также своей организацией, своей дисциплиной и, в особенности, своей администрацией. Армия Мак-Магона должна иметь все неудобства вновь организованной армии. Она только что оставила Шалон, чтобы итти через Реймс, Мезьер и Монмеди, на помощь Базэну,—доказательство, что Базэн находится в весьма критическом положении и что он отныне не в состоянии высвободиться сам.

Этим *стратегическим маневром*, как горделиво говорят парижские газеты, Мак-Магон обнажил Париж. И нет больше сомнения, что принц—наследник идет решительно на Париж, предоставив своему кузену, принцу Фредерику-Карлу, Штейнмецу и Фогелю фон Фалькенштейн расправиться с армиями Базэна и Мак-Магона, что они, без всякого сомнения, выполнят с честью, так как три германские армии, соединившиеся и действующие согласованно и сообща, по количеству солдат превосходят армии Базэна и Мак-Магона, взятые вместе, а они стоят в разных местах и, вероятно, никогда не соединятся между собою.

В то время, как эти три германские армии держат в нерешимости обе французские армии, королевский принц, во главе полутораста тысяч и, вероятно даже, двухсот тысяч солдат, идет на Париж, который может выставить против него только тридцать тысяч солдат регулярного войска, двенадцать тысяч солдат морской дивизии, размещенных по фортам, и восемьдесят тысяч солдат национальной гвардии, едва вооруженных.

Я надеюсь, что Париж окажет ему отчаянное сопротивление и, признаюсь, что единственно на этом сопротивлении я и строю в настоящий момент свои предложения, свои проэкты. Но я знаю также, что пруссаки так же умны и осторожны, как и смелы, что они никогда не идут вперед, не вычислив заранее и не подготовив все элементы успеха. И потом, ведь, Париж находится во власти реакции,—и Бог знает, сколько интриганов и изменников находится в данный момент в Париже, в самом правительстве! Кто знает, не имеют ли пруссаки людей в Париже, с которыми они тайно сносятся?

Во всяком случае, ясно, что с точки зрения стратегии, тактики, словом, с точки зрения военного положения, все выгоды на стороне пруссаков, все шансы в пользу их, так что можно математически доказать, разбирая вопрос все с той же исключительно военной точки зрения, что обе французские армии должны быть разгромлены и что Париж должен попасть в руки пруссаков.

Теперь оставим в стороне военную точку зрения и рассмотрим эту гигантскую борьбу между двумя великими державами, борющимися за гегемонию в Европе, между французской империей и германской империей, с точки зрения экономической, административной и политической. Нет сомнения, что эта война столь же раззорительна для Германии, как и для Франции; но достоверно также, что экономическое положение Германии, *в данный момент*, в тысячу раз лучше экономического положения Франции. Во-первых уже по той простой причине, что война происходит не на германской, а на французской территории. Затем, потому что Германия в сто раз лучше управляется, чем Франция, которую в настоящее время грабят и немцы и свои собственные воры, администрация империи.

Хорошая организация новых сил, которые несомненно эта война вызовет к жизни, как в Германии, так и во Франции, зависит от доброкачественности, относительной честности, ума, энергии, знания дела, опытности и активности администраций. Всем известно, что германская администрация стоит сравнительно очень высоко, французская администрация отвратительная. Эта последняя представляет максимум бесчестности, грабительства, небрежности и инертности. Наоборот, германская администрация представляет максимум добросовестного труда, сравнительной честности, ума и активности. Французская администрация в корне демора-

лизована двадцатилетним монархическим режимом и еще больше бедствиями, только что постигшими Францию, и народными волнениями, которые возникли всюду, как их следствие. Она стала ничем с тех пор, как монархический режим пал фактически, если не юридически. Она не верит больше в свое собственное существование, началось поголовное бегство; и среди этого крайнего замешательства она потеряла тот небольшой запас разума, мужества и энергии, который она имела, и у нее осталась только одна способность: лгать и грабить. Германская администрация, наоборот, вся наэлектризована, она честнее, умнее, энергичнее и активнее, чем когда-либо, и деятельность ее происходит не в стране, занятой врагами, а в стране спокойной, при общей добросовестности и при поддержке народного энтузиазма. Стало быть, в меньший промежуток времени она сделает больше и лучше, чем французская администрация.

В политическом отношении, все выгоды также на стороне немцев. Все старые раздоры страны сгладились, исчезли перед великой победой Германии. Немцы полны энтузиазма, все об'единились в общем чувстве тщеславия и патриотической радости. Эта война стала для них национальной войной. Германская раса, которая столько веков была в загоне, занимает, наконец, свое место в Европе, как господствующая империя, хочет низвергнуть Францию с ее прежней высоты. Будьте уверены, что сами немецкие рабочие, хотя они и заявляют о своих международных чувствах, не могут предохранить себя от этой патриотической заразы, этой национальной язвы. Этот энтузиазм, доходящий до безумия, может стать огромной опасностью для прусского короля, если он вернется побежденным или даже после бесплодных побед, с пустыми руками; если он не отнимет у Франции Эльзаса и Лотарингии, если он не уничтожит ее, не низведет ее на степень данницы Германии. Но в настоящую минуту, бесспорно, это возбужденное состояние умов в Германии приносит ему громадную помощь, позволяя ему забирать у немцев всех солдат и все деньги, которые ему могут понадобиться, чтобы довершить свои победы и завоевания.

Наряду с этой экзальтацией немцев, какое настроение мы находим во Франции? Уныние, подавленное состояние, полнейший упадок сил. Всюду осадное положение, всюду население обмануто, неуверенно, инертно, парализовано, лишено всякой свободы.

В этот крайне тревожный момент, когда Франция мо-

жет быть спасена только чудом народной энергии, Гамбетта и К°, все под влиянием того же патриотизма, неразрывно связанного с их буржуазным духом, позволяют этой шайке бонапартистов, которые забрали власть и всю администрацию в свои руки, убить окончательно общественный дух во Франции.

Гамбетта и компания выдают Францию врагу. Чувствуешь отвращение, прямо тошнит, когда читаешь оффициальную ложь и выражения лицемерного патриотизма французских чиновников. Вот, что я прочел в *Gazetta di Milano*:

„*Париж, 25 августа.*—Префект департамента Марны извещает, что северная часть округа Витри занята прусскими войсками. *Дан приказ, всеми силами помешать дальнейтему продвижению врага.* **Патриотизм населения** *также помогает выполнению предписанных мер*, руководить которыми будут военные инженеры“ и т. д., и т. д.

Так вот до чего дошли: префект одного из департаментов, оставленного армией Мак-Магона и занятого двумя стами тысячами прусских солдат, заявляет, что он принял меры, чтобы остановить эту громадную армию, и что патриотизм *помогает также немного* приведению в исполнение предписанных энергичных мер!

Не правда ли, какая глупость и нахальство, приводящие в отчаяние, вызывающие чувство омерзения?

Несмотря на то, что обе французские армии стоят на явно низком уровне, было верное средство спасти Париж и не дать врагу подойти даже к стенам Парижа. Еслибы сделали то, что говорили парижские газеты в первый момент отчаяния; еслибы тотчас же, как только получилось в Париже известие о французских поражениях, вместо того, чтобы об‘являть осадное положение в Париже и во всех восточных департаментах, мобилизовали все население этих департаментов, еслибы из обеих армий сделали не единственное средство спасения, а два опорных пункта для громадной партизанской войны, войны разбойников и разбойниц, в случае необходимости; еслибы вооружили всех крестьян, всех рабочих, раздав им косы, за неимением ружей; еслибы обе армии, оставив в стороне свою военную гордость, вступили в братские сношения с бесчисленными партизанскими отрядами, которые образовались бы по призыву Парижа, чтобы оказывать друг другу взаимную поддержку, — тогда, даже без помощи остальной Франции,

Париж был бы спасен или, по крайней мере, враг был бы задержан на достаточное количество времени, чтобы дать возможность какому нибудь революционному правительству организовать громадные силы.

Но вместо всего этого, что мы видим еще теперь, перед лицом такой ужасной опасности? Вы знаете, что несколько времени тому назад, реакционные газеты, напр., *Liberté*, громко требовали упразднения закона, запрещающего свободную торговлю военными припасами и оружием, делающего из нее монополию, право на которую правительство уступает только некоторым привилегированным, верным людям. Эти газеты справедливо говорили, что этот закон, продиктованный недоверием, и единственной целью которого было разоружить народ, имел своим следствием: плохое качество оружия, отсутствие оружия и крайнюю непривычку французского народа обращаться с оружием. Когда один левый депутат, Жюль Ферри, предложил проэкт закона об уничтожении этого ограничения, столь гибельного для свободы торговли, комиссия законодательного Корпуса, назначенная, как все комиссии, бонапартистским большинством, высказалась в Палате за то, чтобы отклонить предложение Жюля Ферри. Вот, стало быть, какой дух живет в этих людях еще и теперь. Не ясно ли, что они носят измену в душе?

Резюмирую эту часть моего письма. Из всего, что я сказал и доказал, ясно следует:

1°, что обычные средства, регулярная армия не могут больше спасти Францию;

2°, что она может быть спасена только путем народного восстания.

В третьем письме я докажу, что инициатива и организация, народного восстания не могут больше принадлежать Парижу, что они возможны только в провинции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

III.

27 августа.

Думаю, что я достаточно доказал, что Франция не может быть больше спасена обычными, государственными

средствами. Но кроме искусственной государственной организации, в стране есть только народ; *стало быть, Франция может быть спасена только непосредственным действием, не политическим, народа*, массовым восстанием всего французского народа, организующегося стихийно, снизу вверх, для разрушения, для дикой войны на ножах.

Когда страна в тридцать восемь миллионов человек поднимается для своей защиты, решившая скорее все разрушить и дать себя истребить со всеми своими богатствами, чем впасть в рабство, нет такой армии в мире, как бы она ни была мастерски организована и снабжена необычайным и новым оружием, которая могла бы ее покорить.

Весь вопрос в том, способен ли французский народ на такое восстание. Это вопрос национальной исторической физиологии. Стал ли французский народ, благодаря пережитому им ряду исторических эпох и под влиянием буржуазной цивилизации, буржуазным народом, отныне неспособным на крайние решения, на дикую страсть и предпочитающим мир и покой в рабстве, свободе, которую нужно будет купить ценою огромных жертв, или же он сохранил, под внешней оболочкой этой развращающей цивилизации, всю или, по крайней мере, часть той природной силы, которая сделала из него великую нацию?

Еслибы Франция состояла только из французской буржуазии, я, не колеблясь, дал бы отрицательный ответ. Буржуазия, во Франции, как и почти во всех других странах западной Европы, составляет громадное тело, она гораздо многочисленнее, чем это думают, и пускает свои корни даже в пролетариат, верхние слои которого она в достаточной степени развратила. В Германии, несмотря на все усилия социалистических газет вызвать в пролетариате чувство и сознание неизбежного антагонизма по отношению к буржуазному классу (*Klassenbewusstein*, *Klassenkampf*), рабочие, и отчасти так-же крестьяне, попали в сети буржуазии, которая их опутывает со всех сторон своей цивилизацией, и дух ее проникает в массы. И сами эти писатели социалисты, которые громят буржуазию, буржуи с головы до ног, — пропагандисты, апостолы буржуазной политики и, как неизбежное следствие, чаще всего бессознательно и помимо своей воли, защитники интересов буржуазии против пролетариата.

Во Франции рабочие гораздо резче отделены от буржу-

азного класса, чем в Германии и с каждым днем они стремятся отделиться от него все больше и больше.

Однако, тлетворное влияние буржуазной цивилизации сказалось также и на французском пролетариате. Этим об'ясняется индифферентизм, эгоизм и отсутствие энергии, которые замечаются среди рабочих некоторых ремесл, гораздо лучше других оплачиваемых. Они являются полубуржуа по своим интересам и, из тщесловия, и они также, против революции, потому что социальная революция их раззорит.

Буржуазия составляет, стало быть, очень почтенный, очень значительный и очень многочисленный класс в общественной организации Франции. Но еслибы Франция состояла только из буржуазии, в данный момент при вторжении немцев, которые идут на Париж, *Франция погибла бы.*

Буржуазия пережила свою героическую эпоху, она больше не способна на решительные действия, как в 1793 г., ибо с того времени, насыщенная и удовлетворенная, она катится вниз, она может еще пожертвовать жизнью своих детей для удовлетворения какой нибудь великой страсти, для осуществления какой нибудь идеи, но не своим социальным положением, не своим состоянием. Она скорее согласится принять какое угодно германское и прусское иго, чем отказаться от своих социальных привилегий, чем сравняться экономически с пролетариатом. Я не говорю, что у нее нет патриотизма. Наоборот, патриотизм, в тесном смысле этого слова, является ее исключительным качеством. Никогда не соглашаясь с этим и часто даже не подозревая этого, она обожает отечество, но это потому, что отечество, представляемое государством, все поглощенное государством, гарантирует ей ее политические, экономические и социальные привилегии. Отечество, которое перестанет это делать, престанет быть для нее отечеством. Стало быть, для буржуазии отечество, все отечество,—это государство. Патриот государства, она становится ярым врагом народных масс всякий раз, когда, наскучив служить мясом для правительства и пассивным пьедесталом, вечно приносимым в жертву государству, они восстают против государства; и еслибы буржуазии пришлось выбирать между массами, восставшими против государства, и пруссаками, завладевшими Францией, она, конечно, выбрала бы последних, потому, что, как бы они ни были неприятны, они всетаки защитники цивилизации, представители идеи государства против всей

черни в мире. Не выбрала ли парижская и вся французская буржуазия по этой самой причине в 1848 г. Людовика Бонапарта? Не сохраняет ли она еще режим, правительство, администрацию Наполеона III, после того, как стало ясным для всех, что этот режим, это правительство, эта администрация ввергли Францию в пропасть[1]), — не

---

[1]) Прочтите речь. признание Гамбетты на заседании 23 августа в законодательном Корпусе. Она в высшей степени интересна и подтверждает все, что я сказал:

„*Гамбетта* — Нет никакого сомнения, что когда какая нибудь страна, как Франция, переживает *самый тяжелый момент в своей истории*, бывают моменты, когда нужно молчать“. (Смешное извинение своему непростительному бездействию). „Но ясно, что есть также моменты, когда нужно говорить“. (Это, когда стало ясно, что Паликао, Трошю и Тьер, которых он глупо, изменнически поддерживал до сих пор, не хотят его принять в Комитет обороны. Прежде он находил, что полезно и хорошо обманывать парижский народ во имя патриотизма. Он замешан был в оффициальной лжи, теперь он протестует). „Что же, неужели думают, что прекращение прений, которое потребовал г. министр и *которое мы покорно терпим несколько дней (Шум)*, есть настоящий ответ, достойный народа в *его крайне тяжелом, тревожном, положении? (Сильный шум)*. Если вы не испытываете беспокойства, вы, привлекшие иностранцев на родную землю... *(Одобрительные возгласы слева. Бурные протесты и крики: к порядку! к порядку!)*

„*Председатель*, — Г. Гамбетта слышит протесты, вызванные его словами.

„*Жиро* (крестьянин). — Да, мы хотим протестовать, *наше молчание длилось слишком долго*.

„*Руксэн*. — Это уже не прения, это оскорбление.

„*Вандр*. — И самое серьезное оскорбление какое можно нанести Палате...

„*Чей то голос*. — Это гражданская война!

„*Председатель*. — *Нельзя позволять волновать страну* подобными словами.

„*Гамбетта*. — Гражданская война, говорят. *Я всегда клеймил и осуждал средства, не признанные законом*! “(Вот, он адвокат и в то же время современный буржуа). „*Патриотизм состоит не в том, чтобы усыплять население*“ (и, однако, в продолжении больше двух недель он поддерживал тех, кто его усыплял), „питать его иллюзиями, он состоит в том, чтобы подготовить народ принять врага, отбросить его или похоронить себя под развалинами. Довольно мы делали уступок“ (слишком много!), „довольно долго молчали“ (слишком долго, и теперь время господ Гамбетта прошло безвозвратно), „*молчание набросило покрывало на события, которые стремительно надвигаются*. Я убежден, что страна катится, не замечая этого, в пропасть! *(К порядку! К порядку!)*.

„*Председатель*. — Прошу г. Гамбетта не поднимать бесполезных прений, которые не могут привести ни к какому заключению.

„*Гамбетта*. — Не может быть более полезных прений, чем прения, цель которых дать себе мужественно отчет о положении вещей.

„*Шампиньи*. — И дать знать о нем врагу.

сохраняет ли парижская и вся французская буржуазия их только потому, что она боится, потому, что она знает, что свержение их послужило бы сигналом к народной революции, к социальной революции? И этот страх так силен, что он заставляет ее сознательно изменять отечеству. Она достаточно умна, чтобы понять и достаточно хорошо осведомлена, чтобы знать, что этот режим и эта администрация неспособны спасти Францию, что у них нет на то ни воли, ни ума, ни власти, и, несмотря на это, она их поддерживает, потому что она еще больше боится вторжения дикой народной стихии в буржуазную цивилизацию, чем вторжения пруссаков во Францию.

Тем не менее, буржуазия, вся французская буржуазия, в настоящий момент проявляет искренний патриотизм. Она откровенно ненавидит немцев и, чтобы прогнать с французской территории нахального и угрожающего врага, она согласна принести крупные жертвы солдатами, взятыми в большинстве среди народа, и деньгами, выплачивать которые неизбежно придется, рано или поздно, тоже народу. Только она хочет *непременно*, чтобы все плоды этих жертв народа и буржуазии были сконцентрированы исключительно в руках государства и чтобы все вооруженные добровольцы были по возможности превращены в солдат регулярной армии. Она хочет, чтобы всякая личная инициатива, уклоняющаяся от обычной формы организации—финансовой, административной санитарной или военной, допускалась и разрешалась только при условии, чтобы она подчинялась непосредственному контролю государства и чтобы партизанские отряды, например, могли составляться и вооружаться только при посредстве и под личной ответственностью *вождей, признанных государством, пользующихся его доверием*, землевладельцев или хорошо известных лиц из буржуазии, занимающих видное положение, словом, джентльменов или приличных

„*Гамбетта.* — Наши враги давно знают его. Это мы его не знаем.

„*Араго. — У вас требуют оружия, а вы посылаете в департаменты членов Совета!*

„*Гамбетта. — Что касается меня, господа, то я чувствую свою ответственность. Моя совесть говорит мне, что парижское население нуждается в том, чтобы ему открыли истину, и я хочу открыть ему истину. (Порядок дня! Порядок дня!)*“

Ясно, что Гамбетта принял теперь решение, *но слишком поздно*, вести якобинскую политику. Занятно видеть, какой страх нагнал Гамбетта на все реакционные газеты Франции и также Италии. *(Примечание Бакунина).*

людей. Таким образом, партизаны из простонародья перестанут быть опасными. Больше того, если их вожди джентльмены сумеют хорошо взяться за дело, если они сумеют хорошо организовать их и руководить ими, они могут в случае нужды повернуть их против народного восстания, как это было сделано в июне 1848 г. с парижскими боевыми дружинами [1]).

В этом отношении, буржуа всех цветов, начиная с самых отсталых реакционеров и кончая самыми ярыми якобинцами, обнаруживают полное *единодушие*; *они понимают и хотят спасение Франции только при посредстве государства, легальной государственной организации.*

Между ними разногласие только относительно формы, организации и *наименования* государства и относительно людей, которым должно быть поручено управление государством, — но все они одинаково хотят сохранения государства, и это то и об'единяет их всех в одной общей великой измене Франции, которая может быть спасена только средствами, ведущими к распадению государства.

Империалисты хотят, если это возможно, сохранения монархического государства. Две недели тому назад, они отчаивались в этом. Теперь, благодаря преступной трусости радикальной партии, которая не тронула их, больше того, которая оставила им оффициальную власть, думая, что последняя будет в их руках теперь лишь простой видимостью, полезной для избежания революции, которой она боялась, — теперь империалисты подняли голову. Они не теряли зря время и, в то время как риторы слева, получая комплименты за свое патриотическое самоотречение и умеренность, с самодовольным видом, тщеславно упивались своей мнимой властью и великодушием, Паликао, военный

---

[1]) Как русский, я нахожусь в неприятной необходимости предостеречь моих друзей, французских революционных социалистов, против вождей-*поляков*. Я знаю массу поляков и я встретил среди них лишь двух-трех искренних социалистов. Громадное большинство—отчаянные националисты. Громадное большинство польской эмиграции до последнего времени было предано Наполеонам, потому что оно безумно надеялось что Наполеоны освободят полякам их родину. Поляки—консерваторы по своему положению и по традициям. Самые передовые из них — военные демократы. Самые красные газеты их единодушно отвергают социализм, который почти все поляки ненавидят,—за исключением, разумеется, польского простонародья, которое еще никогда не имело голоса, никогда не было активным, и инстинкты которого—социалистические, как, вообще, инстинкты и интересы всех народных масс. *(Примечание Бакунина).*

министер, Шевро, иезуит и любимец императрицы, министр внутренних дел, Жером Давид, бывший перед этим ад'ютантом Плон-Плона, и Дювернуа, бывший поверенным тайн Наполеона III, пользуясь своим положением и огромной властью которую дала им централизация, протянули новую сеть над всей Францией, не для того чтобы ускорить оборону, вооружения, патриотическое восстание страны, а, наоборот, для того, чтобы задавить его, парализовать в городах, и в то же время пробудить в деревнях наполеоновские дух и симпатии. Они воспользовались своими префектами и помощниками префектов, своими мэрами, жандармами и урядниками, а также весьма заинтересованным усердием господ кюрэ, чтобы повести во всех деревнях огромную пропаганду, выставляя коммунистов, республиканцев и орлеанистов, как изменников, которые отдали пруссакам императора и Францию. И, благодаря грубому невежеству французских крестьян, повидимому, они достигли успеха. Они организавали в деревнях нечто в роде белого террора против всех противников монархического строя. Знаете ли вы о факте, происшедшем на ярмарке в Отфэй [1]) в департаменте Дордон? Г-н де Монэпс—сын сожжен живым крестьянами за то, что он не хотел крикнуть: *да здравствует Император*! Вот, что я прочел сегодня в республиканской газете г. Тулузы *Emancipation*: „Газеты (*Débats и Figaro*) и частные письма дают печальные подробности о каком то *монархическом терроре*, господствующем в деревнях. Всюду, на граждан, известных своими демократическими идеями, смотрят искоса, им угрожают, часто наносят оскорбление действием. Можно подумать, что выброшен определенныйлозунг, ибо везде одно и то же нелепое обвинение *в измене Императору и Франции, отданной Пруссии*. Газета *Débats* приводит письмо одного землевладельца из Бар сюр Об и другого из Пуатье. Газета *Figaro* говорит о жакерии, организованной в Пикардии. Я сам получил письма от некоторых друзей из Нижней Шаранты, Изера и Жиронды. Ужасное Нонтронское преступление лишь эпизод среди многих фактов такого же характера". А вот, что говорит газета *Peuple français*, бывшая прежде органом г. Дювернуа, теперешнего министра:" Вот факт, который *должен заставить задуматься тех, кто гово-*

[1]) Кантон и округ Нонтрон. Отсюда название „Нонтронские преступление", какие дается дальше этому зверскому убийству — Дж. Г.

рит об империи и императоре, как будто они больше не существуют. Граф д'Эстурнель, депутат департамента Соммы, приехав в свой округ, сообщал одной группе сельчан последние вести о войне „А Император?“ поспешно спросили его. — „Император? мы лишим его императорского звания“ Возмущенное население начало бить его и уже надело ему на шею веревку, но благодаря вмешательству... и т. д.. Мы, конечно, далеко не оправдываем такие акты насилия, но...“ и т. д.

Ясно, не так ли? Не прав ли я был, говоря, что министерство не теряет зря времени? Бонапартисты воспряли духом и вновь начинают верить в себя и в монархический строй. Вот, что я прочел еще в газетэ *Liberté*: „Руэр, Шнейдер, Персиньи, Барош и генерал Трошю присутствуют на всех заседаниях Совета министров.“ Наконец, вот еще одно письмо в *Gazette de Turin*: „Повидимому, очень серьезный спор возник в последнее время между генералом Трошю и графом Паликао. Последний хотел непременно удалить из Парижа боевые дружины, тогда как генерал Трошю хочет их оставить. Эту меру с настойчивостью требовала от графа Паликао императрица. Она не может простить боевым дружинам, что те оскорбили Наполеона III в Шалоне, и боится, что при первом удобном случае они выступят против династии. Трошю не хотел уступать, Паликао настаивал; Тьер привел их к соглашению, во имя родины. Не в первый раз генерал Трошю встретил оппозицию со стороны военного министра. Он хотел снять запрещение с четырех радикальных газет и требовал также увольнения префекта полиции; но должен был отказаться от того и другого, в виду энергичной опозиции министров. Императрица оказывает такое же пагубное влияние в Париже, какое Наполеон III в армии. Несомненно, что присутствие императора очень вредит свободной деятельности Мак-Магона, который должен заниматься гораздо больше защитой особы императора, чем борьбой с врагами. Ему предложили удалиться, но он упорно остается, несмотря на то что недовольство солдат по отношению к нему растет с каждым днем... Вы знаете, что Рур, Барош, Персиньи, Гранье де Кассаньяк, Дюгэ де Лафаконнэри посетили его в Реймсе... Очевидно существует личное тайное правительство, и явное правительство, насколько может, является его очень скромным служителем“.

Наконец заседание законодательного Корпуса (23 или

24 числа) доказывает, что министерство считает себя достаточно сильным, чтобы сбросить с себя маску. Паликао сказал, что отвергая предложение Кератри (касающееся приема в Комитет обороны Парижа девяти или трех депутатов, избранных палатой), „министры оставались в пределах законности“. А вот резюме речи Дювернуа;

„Палата, высказывая доверие министерству, дает нам возможность выполнить нашу двойную задачу: защитить Францию от вторжения врага и *строго охранять порядок внутри страны*, так как порядок внутри страны есть условие нашей безопасности от врага. Мы не можем присоединиться к предложению г. де Кератри, *потому что это значило бы присоединиться к предложению о нарушении конституции*, которая *вас* охраняет, которая охраняет общественные свободы, *конституции, которую, знайте это, мы не позволим нарушить* никакой власти. Мы не министерство государственного переворота, ни парламентского ни монархического. *Мы парламентское министерство.* Мы хотим опираться на Палату и *только на Палату*“. (Не на парижский народ, но на эту Палату, *потому что* громадное большинство этой Палаты бонапартисты), и позволите мне вам сказать, что наше уважение к конституции — ваша гарантия....

„*Чей то голос.*—Это угроза.

„*Дювернуа.*—Нет, это не угроза, я хочу только сказать, что *наш долг, долг правительства уважать конституцию, в силу которой мы являемся властью и в силу которой мы будем править...*

„*Паликао.*—С внешними врагами мы будем бороться, пока не освободим нашу родину. *Внутренние враги будут обессилены. В моих руках все источники власти для этого, и я отвечаю за спокойствие Парижа.*

„*Тьер.* — Министр торговли выставил здесь интерес учреждений... Франция борется за свою независимость, *ради своей славы, ради своего величия*, за неприкосновенность своей территории: направо, налево, всюду; вот, за что мы боремся... Но, ради Бога, не вмешивайте тут учреждения, вы вынудите нас напомнить вам, что они, больше чем люди, виновники наших несчастий.“

Вы видите, стало быть, что бонапартисты еще не сдались. В их руках власть, и вся бесчисленная челядь гигантской администрации, которую поддерживают клерикалы,—их люди. Они попытаются возложить венец на го-

лову принца наследника, и, если это не удастся сделать, они воспользуются своей властью, чтобы продать себя за дорогую цену Орлеанской династии.

Буржуазия легитимистская, и в особенности орлеанистская, которая в настоящий момент, гораздо многочисленнее, чем бонапартисты, и радикальная буржуазия, все вместе прикрываются фразами бескорыстного патриотизма, так как их время, время князей Орлеанских еще не пришло, ибо этим последним невозможно вернуться вместе с пруссаками. Впрочем, они нисколько не помышляют принять наследство Наполеона III; они не хотят ни его политического наследства, ни административного, ни финансового, и это по многим причинам. Во-первых, им чрезвычайно неприятно начать свое царствование мерами терроризма и общественного спасения, что было бы неизбежно, для того чтобы очистить Францию от бонапартисткой нечисти. Они не хотели бы также начать свое царствование с банкротства, а банкротство неизбежно постигнет всякое правительство, которое придет после царствования Наполеона III, ибо никакое правительство не сможет укрепиться при том громадном дефиците, какой последний оставляет в наследство своему преемнику. Давно уже, еще с 1863 и 1864 г. г., орлеанисты говорят: „Пусть придут сначала республиканцы, пусть они очистят всю администрацию и, в особенности, пусть они обанкротятся,—а потом придем мы“.

Поэтому меня нисколько не удивило бы, если бы Тьер, Трошю, Дарю и многие другие сначала высказались за республику. Я даже убежден, что они это сделают, если представится случай. Сначала все пойдет хорошо; они будут людьми сносными, полезными при республиканском строе и, прямо или косвенно, они будут иметь большое влияние на правительство. Они не боятся республики, и они правы. Они знают, что республика Гамбетты и компания может быть только политической республикой, исключающей социализм, народные массы и упрачивающей, усиливающей даже, эту *святая святых*, цитадель буржуазии—государство. Они знают, что эта республика именно потому, что она выступит врагом социализма, потерпев поражение в борьбе с последним, скоро принуждена будет отказаться от своего существования в пользу монархии,—и что тогда князья Орлеанские могут вернуться во Францию, приветствуемые французской буржуазией и буржуазией всей Европы, как спасители цивилизации и отечества.

Вот, во всей своей правде и во всей полноте план орлеанистов. Мы можем, стало быть, считать их *теперь*, для данного момента только, искренними республиканцами. Они не заграждают дорогу Гамбетте, наоборот, они будут его толкать к власти. И меня нисколько не удивит, если завтра или после завтра мы узнаем вдруг, что Гамбетта и компания (разные Пикар, Фавр, Жюль Симон, Пеллетан, Грэви, Кератри и многие другие) совершили вместе с Тьером и Трошю республиканский государственный переворот, разве только, что Паликао, Шевро, Дювернуа и Жером Давид уже приняли настолько энергичные и действительные меры, что подобная перемена декорации станет невозможной. Но я сомневаюсь, чтобы они могли помешать этому, если Гамбетта сговорится с Тьером и Трошю.

Итак, мы приходим к республиканской партии радикалов якобинцев, к партии Гамбетты. Предположим, что он овладел властью и диктатурой Парижа. Думаете вы, что он захочет, что он может дать свободу движению в Париже и Франции? Нисколько. Постоянно наталкиваясь в своих планах на революционный социализм, он будет принужден об'явить ему войну на смерть, и он станет, может стать гонителем тем более что меры притеснения, предпринятые им, будут иметь с внешней стороны характер необходимых мер для спасения свободы. Может ли он, по крайней мере, организовать достаточную силу, чтобы отразить пруссаков? Тысячу раз нет! И я докажу вам это, как дважды два четыре.

Как якобинец, он будет неизбежно искать спасение Франции в усилении государственной машины. Если бы даже он был федералистом, жирондистом, — а мы знаем, что он не федералист, не жирондист, как и вся его партия,— он и тогда, в виду вторжения немцев, подошедших к стенам Парижа, принужден был бы прибегнуть к чрезмерной централизации. К тому же, поверьте, что якобинцы не посмеют даже уничтожить нынешнюю администрацию, эту сеть бонапартистской реакции, которая душит Францию, и это по двум причинам: первая, это та, что пропустив 15—20 драгоценных дней, впродолжение которых они могли-бы совершить революцию с гораздо меньшей опасностью для Парижа и для них самих, и с гораздо большими шансами на успех, чем в настоящий момент, парижские республиканцы теперь оказались в таком положении, что они не могут ничего предпринять, ничего сделать, без согласия и

содействия *Тьера* и *Трошю*. Стало быть, Тьер и Трошю войдут в состав нового правительства, правительства Гамбетты, если только, для того чтобы свергнуть их, Гамбетта не сделает второй революции, что для него невозможно, во-первых, уже потому, что он будет иметь своими коллегами таких республиканцев, как Пикар, Жюль Фавр, Жюль Симон, Пеллетан и т. п., которые, будучи такими же реакционерами, как Тьер и Трошю, не обладают их бесспорными талантами, ни их практическими ловкостью и приемами. Для того, чтобы прогнать *Тьера* и *Трошю*, Гамбетта должен будет сначала прогнать из провительства этих умеренных республиканцев. — Для этого нужно будет обратиться к самому парижскому народу, к революционным социалистам, а это было бы смертью для Гамбетты. Он это очень хорошо знает и повторяет себе слова, с которыми к нему обратилась газета *Liberté*, от 26 числа: „Вам не зачем делать революцию, она теперь совершилась во всех умах. Все чувствуют в ней теперь неот'емлемую необходимость. Это только вопрос времени и подходящего момента. К чему же это нетерпение? *Но, неосторожные, разве вы не чувствуете, что, если, вместо того, чтобы ждать разрешения вопроса и разрешить его политическим путем, вы разнуздаете народные страсти, вы первые будете их жертвами?*" — Вот, почему Гамбетта не удалит из правительства ни одного из умеренных республиканцев и почему он не удалит из него ни Тьера ни Трошю. Он не удалит их еще по другой причине. Не будучи революционным социалистом, не имея, следовательно, возможности опереться в своей деятельности открыто на пролетариат, на рабочих, на народ, он принужден будет искать поддержки буржуазии, более или менее радикальной, а также поддержки армии. Ну, так Тьер и Трошю ему обеспечат и ту и другую. Стало быть, они необходимы и их не миновать. Но с Тьером и Трошю радикальные меры, даже с исключительной точки зрения революционного якобинства, будут невозможны — или они будут возможны только против народа, против революционных социалистов, а не против буржуазной реакции. Последний декрет Трошю от 25 августа повелевает выслать из Парижа всех лиц, которые не смогут доказать, что у них есть средства к существованию, не потому, что будет трудно, а не то и невозможно их прокормить во время осады Парижа, что было бы очень веским мотивом, но *„потому, что их присутствие будет составлять опасность для общественного порядка и угрозу для безопасности собственности и людей."* Декрет угрожает

также выслать *всех лиц, которые попытаются парализовать меры обороны и общей безопасности.*" — Первая часть этого декрета, скажут нам, относится только к ворам, хотя она прекрасно может быть применена и к рабочим, которых хозяева выставят из своих мастерских, вынужденные к тому промышленным кризисом или просто находя, что это удобнее. Что же касается второй части, то она относится непосредственно к революционным социалистам. — Это диктаторская мера, мера общественного спасения против революции.

Вот, стало быть, первая причина, почему Гамбетта не предпримет радикальной реформы нынешней администрации. С такими компаньонами, как Тьер, Трошю, Пикар, Пеллетан, Фавр и Жюль Симон, можно творить только реакцию, а не революцию. Но есть еще другая причина, которая помешает ему разом покончить с монархической администрацией. Невозможно сразу уничтожить эту администрацию, потому что невозможно заменить ее *сейчас же* другой. — Стало быть, в самый разгар опасности, будет более или менее длительный момент, во время которого во Франции не будет никакой администрации и, следовательно, никакого следа правительства, — во время которого население Франции, предоставленное совершенно самому себе, будет добычей самой ужасной анархии. — Это хорошо для нас, это на руку нам, революционным социалистам, но это не входит в планы якобинцев, отъявленных государственников. Реформировать администрацию постепенно в момент опасности, когда враг стоит у порога, тоже невозможно; во-первых, потому что эта реформа не может исходить из инициативы какой нибудь личной или коллективной диктатуры; она будет незаконной и не будет иметь никакого значения, если не будет предпринята Учредительным Собранием, изменяющим форму правления и администрацию Франции от имени всего народа. Нужно ли доказывать, что нынешний законодательный корпус неспособен предпринять ни даже хотеть подобной реформы? Впрочем, Гамбетта может получить власть только в том случае, если будет распущен этот бонапартистский парламент, а невозможно будет создать новое учредительное собрание, пока немцы будут находиться у ворот Парижа. Пока немцы не будут прогнаны с французской территории, Гамбетта и компания будут вынуждены править диктаторски, принимать меры

общественного спасения, но они не смогут предпринять никакой конституционной реформы.

Правда, на одном собрании левых, 23 или 24 августа, в котором принимали участие Тьер и некоторые *передовые* члены левого центра, когда левые выразили намерение свергнуть министерство и Тьер, заклиная их не делать этого, наконец, спросил: „Но кем же вы замените его, каких людей назначите в кабинет министров?“ чей то голос, не знаю чей, ответил: „*Не будет больше кабинета, будет управлять весь вооруженный народ, посредством своих делегатов*“, — что, если только в этих словах не отсутствует всякий смысл, может означать только следующее: *Национальный и* ограниченный *революционный конвент*,—не Учредительное Собрание, законным образом и правильно составленное из делегатов всех кантонов Франции,—а *конвент, исключительно составленный из делегатов городов, которые совершат революцию*. Я не знаю, кто высказал эту безумную мысль, кому принадлежал этот голос, который раздался среди этого совета мудрых. Может быть, это был осел Валаама, какое нибудь невинное верховое животное Гамбетты? — Но, несомненно, что осел говорил лучше своего пророка. То, что предлагал этот осел, было ни больше ни меньше, как социальная революция, спасение Франции, посредством социальной революции. Поэтому, его не удостоили даже ответом.

Таким образом, стало быть, правительство Гамбетты, занятое обороной страны, и в особенности Парижа, и лишенное помощи какого нибудь учредительного корпуса, не сможет предпринять в настоящий момент реформы учреждений, характера и самых основ администрации. Предположим даже, что он хотел бы это сделать, предположим также, что у него будет под рукой нечто вроде революционного конвента, составленного из делегатов восставших городов; предположим, наконец, — *что совершенно невозможно*, — что большинство этого Конвента будет состоять из якобинцев, как он, и что революционные социалисты будут там в незначительном меньшинстве. Я скажу, что даже в этом случае, впрочем, совершенно невозможном, правительство Гамбетты не сможет предпринять ни осуществить никакой радикальной и серьезной реформы существующей администрации. Это значило бы хотеть предпринять и выполнить фланговое движение, когда имеешь дело с сильным врагом, вроде движения, предпринятого Базэном перед прусской армией, которое было так неудачно. Разве время, — не

забывайте, что я говорю все время с точки зрения государства,—разве время изменять радикальным образом административную машину, когда каждую минуту необходимы ее услуги, ее самая энергичная деятельность? Чтобы изменить ее, чтобы перестроить ее сколько нибудь основательно и серьезно, необходимо парализовать ее деятельность на две, на три недели, по крайней мере, и все это время нужно будет обходиться без ее услуг, и это в момент ужасной опасности, когда каждая минута драгоценна! но это значило бы отдать Францию пруссакам.

Та же невозможность помешает Гамбетте затронуть сколько нибудь радикальным образом служебный персонал монархической администрации. Он должен будет создать людей для того, чтобы заменить его. А где он найдет сто тысяч новых чиновников? Все, что он может сделать, это заменить префектов и помощников префектов другими, которые не будут многим лучше; ибо среди этих новых чиновников, будьте в этом уверены—такова логика существующего положения вещей,—будет, по крайней мере 7 орлеанистов на 3 республиканца; орлеанисты будут более ловкие, более прохвосты, республиканцы — более добродетельные, более глупые.

Эта необходимая реформа в личном составе еще более деморализует нынешнюю администрацию. Будут бесконечные трения и глухая гражданская война в самой ее среде, что сделает ее еще в сто раз более нетрудоспособной, чем она есть в настоящее время, — так что правительство Гамбетты будет иметь в своем распоряжении административную машину еще хуже той, которая, худо ли хорошо ли, исполняет приказы настоящего бонапартистского министерства.

Для предотвращения этого зла Гамбетта пошлет, без сомнения, во все департаменты проконсулов, чрезвычайных комиссаров, снабженных полномочиями. Это будет верхом дезорганизации. Во-первых потому, что ввиду положения, занимаемого Гамбеттой, и его вынужденного союза с Тьером и Трошю, ввиду патриотизма и патриотического склада ума всех этих Пикаров, Пеллетанов, Жюль Симонов, Фавров и т. п., можно быть уверенным, что на три комиссара из республиканцев будет 7 орлеанистов. Но предположим даже обратную пропорцию, предположим, что на 7 республиканцев будет 3 орлеаниста, дело от этого не будет лучше.

Оно не будет лучше по той причине, что недоста-

точно быть снабженным чрезвычайными полномочиями для принятия чрезвычайных мер общественного спасения, чтобы иметь возможность создать новые силы, чтобы иметь возможность вызвать в развращенной администрации и в населении, систематически отучаемом от всякой инициативы, спасительные энергию и активность. Для этого нужно иметь в себе то, что имела буржуазия 1792—93 г. г. в такой высокой степени, и что решительно отсутствует в современной буржуазии, даже у наших республиканцев, — нужно иметь революционные ум, волю, энергию, нужно иметь „беса в теле". А как представить себе, что люди, которые необходимо будут *мельче* Гамбетты и К⁰, ниже этих корифеев современного республиканизма, так как, еслибы они были их равными, они распоряжались бы, если не на их месте, то по крайней мере вместе с ними и не были бы у них под началом,—как представить себе, что эти комиссары, посланные Гамбеттой и К⁰, найдут в себе эти ум, волю и энергию и этого „беса", раз сам Гамбетта, в самый важный момент своей жизни и наиболее критический для Франции, не нашел их ни в своем сердце ни в своем мозгу?

Помимо этих личных качеств, которые придают поистине характер героев людям 1793 г., у якобинцев Национального Конвента так удачно вышло с чрезвычайными комиссарами еще потому, что этот Конвент был действительно революционным, и потому, что, опираясь сам в Париже на народные массы, на чернь, в стороне от либеральной буржуазии, он дал приказ своим проконсулам, посланным в провинции, опираться также везде и всегда на ту же самую чернь. Чрезвычайные комиссары, посланные Ледрю-Ролленом в 1848 г., и комиссары, которых непременно пошлет Гамбетта, если он достигнет власти, одни должны были потерпеть, другие необходимо потерпят полное фиаско, в силу обратной причины; и вторые потерпят еще более значительное фиаско, чем первые, потому что эта обратная причина будет действовать еще сильнее на них, чем на их предшественников 1848 г. Эта причина та, что одни были, а другие будут еще в более чувствительной, в более определенной степени буржуазными радикалами, делегатами буржуазного республиканизма и, как таковые, врагами революционного социализма, естественными врагами истинно народной революции. Этот антагонизм буржуазной и народной революции не существовал еще в 1793 г. ни в сознании народа ни даже в сознании буржуазии. Еще

не была уяснена из исторического опыта вечная истина, что свобода всякого привилегированного класса и, следовательно также и буржуазии, существенным образом основана на экономическом рабстве пролетариата. Как факт, как реальное следствие, эта истина всегда существовала, но она была так спутана с другими фактами, и замаскирована столькими различными интересами и различными историческими стремлениями, в особенности религиозными, национальными и политическими, что она еще не выявлялась во всей своей простоте и теперешней ясности ни буржуазии, выплачивающей деньги на предприятия, ни пролетариату, который последняя нанимает, т. е. эксплоатирует. Буржуазия и пролетариат были естественными, вечными врагами, но не зная этого, и, вследствие этого незнания, приписывали — буржуазия свои опасения, пролетариат свои бедствия — фиктивным причинам, а не существующему между ними антагонизму; они считали себя друзьями, и считая себя друзьями, они шли вместе и против монархии, и против дворянства, и против духовенства. Вот, что создало великую силу революционной буржуазии 1793 г. Она не только не боялась взрыва народных страстей, она вызывала его всеми способами, как единственное средство спасения родины и ее самой против внутренней и внешней реакции. Когда какой нибудь чрезвычайный комиссар, делегированный Конвентом, приезжал в провинцию, он никогда не обращался к местным властям ни к революционерам из „чистой публики", он обращался прямо к санкюлотам, к народной черни и на нее он исключительно опирался для выполнения против шишек и приличных революционеров революционных декретов Конвента. То, что делали, стало быть, чрезвычайные комиссары, это не было собственно ни централизацией ни администрацией, они вызывали народное движение. Они не являлись в какую нибудь местность для того чтобы диктаторски провести в ней волю национального Конвента. Они делали это лишь в очень редких случаях и когда они являлись в местность вполне и целиком враждебную и реакционную. Тогда они не являлись одни, а в сопровождении войска, которое присоединяло аргумент штыка к их гражданскому красноречию. Но обыкновенно они являлись одни, без единого солдата, чтобы поддержать их, и они искали опору в массах, инстинкты которых всегда отвечали мыслям Конвента, — они далеко не ограничивали свободу народных движений из боязни анар-

хии, они вызывали их всеми способами. Первым делом они обыкновенно организовывали народный клуб, там, где его не было,—сами действительные революционеры, они быстро распознавали в массе настоящих революционеров и соединялись с ними, чтобы раздуть революционное пламя, анархию, чтобы взбунтовать народные массы и *чтобы организовать революционно* эту народную анархию. Эта революционная организация была единственной администрацией и единственной исполнительной силой, которой чрезвычайные комиссары пользовались, чтобы разжигать революционный дух в данной местности, чтобы терроризировать ее.

Таков был истинный секрет силы этих революционных гигантов, которыми восхищаются якобинцы - пигмеи наших дней, но не могут к ним приблизиться.

Комиссары 1848 г. перед июньской монархией были уже буржуа, которые, как Адам и Ева, вкусив запрещенный плод, знали уже, какая разница существует между добром и злом, между буржуазией, эксплоатирующей народный труд, и эксплоатируемым пролетариатом. Большей частью это были, в общем, бедняки, пролетарии худшего качества, богема мелкой литературы и политики, которая ведется в кафе, деклассированные люди, выбившиеся из колеи, без глубоких, страстных убеждений и без темперамента. Это не были люди, живущие своей собственной жизнью, они были бледным подражанием героям 1793 г. Каждый взял себе роль и каждый старался ее кое как выполнить. Те, от кого они имели свой мандат, не были значительно более убежденными, более страстными, более энергичными, более истинно революционными, чем они сами. Это были грубые тени, тогда как они были бледными тенями. Но все они несчастные дети той же буржуазии, отныне фатально разъединенной с народом, все вышли, большими или меньшими доктринерами, из общей университетской кухни. Герои великой революции были для них тем, чем были трагедии Корнеля и Расина для французских литераторов до появления романтической школы — классическими моделями. Они старались им подражать и подражали им очень плохо. Они не обладали ни их характером, ни их умом ни, в особенности, их положением. Дети буржуа, они чувствовали, что их разделяет пропасть от пролетариата, и они не находили в себе ни достаточной революционной страсти, ни решимости, чтобы попытаться сделать опасный скачек через эту пропасть. Они оставались по другую

сторону пропасти и, чтобы соблазнить, чтобы привлечь рабочих, они им лгали, кривлялись, произносили красивые фразы. Когда они находились в рабочей среде, они чувствовали себя неловко, как люди, впрочем честные, но которые находятся в необходимости обманывать. Они старались найти в себе какое нибудь живое слово, благотворную идею, но ничего не находили. — В этой революционной фантасмагории 1848 г. нашлись только два настоящих человека: Прудон и Бланки, впрочем, совершенно непохожие один на другого. Что касается всех остальных, то это были лишь плохие актеры, которые играли революцию, — как актеры средних веков играли страсти, — до тех пор, пока Наполеон III не опустил занавес.

Инструкции, полученные чрезвычайными комиссарами 1848 г. от Ледрю Роллена, были так же бессвязны и туманны, как и революционные идеи этого великого гражданина. Это были все великие слова революции 1793 г. без их великой идеи, без великих целей и, в особенности, без энергичных решений той эпохи. Ледрю Роллен, как богатый буржуа, каковым он является на самом деле, как ритор, как адвокат, всегда был и остается естественным инстинктивным врагом революционного социализма. В настоящий момент, после больших усилий, он, наконец, достиг того, что понял значение кооперативных обществ, но он не чувствует силы итти дальше этого. Луи Блан, этот Робеспьер в миниатюре, этот поклонник умного и добродетельного гражданина — тип государственного коммуниста, авторитарного социалиста и доктринера. Он написал в молодости маленькую брошюру об „организации труда“ и даже теперь, при существовании громадных трудов в этой области и при изумительном развитии Интернационала, он не ушел дальше этой брошюрки. Ни одно его слово, ни одна искра его мозга не дала никому жизни. Ум его бесплоден, как вся его сухая особа. В настоящий момент еще, в своем последнем письме, недавно адресованном в газету *Daily News*, когда происходит ужасная братоубийственная война между двумя наиболее цивилизованными народами в мире, он не нашел ничего другого в своей голове ни в своем сердце, как посоветовать французским республиканцам, „чтобы они предложили немцам, во имя братства народов, одинаково почетный мир для обеих стран“.

Ледрю Роллен и Луи Блан были, как известно, двумя крупными революционерами 1848 г. до июньских дней.

Один буржуа - адвокат, напыщенный ритор, с претензиями походить на Дантона, другой — Робеспьер-Бабеф в крошечном виде. Ни тот ни другой не умели ни думать, ни хотеть, ни, еще меньше, дерзать. — Впрочем, сантиментальный, слащавый Ламартин придал всем актам и всем людям этой эпохи, за исключением Прудона и Бланки, свою фальшивую ноту, свой фальшивый характер примиренчества, что в переводе на серьезный язык означает реакцию, принесение пролетариата в жертву буржуазии — и что привело, как известно, к июньским дням.

Итак, чрезвычайные комиссары отправились, в провинцию, напутствуемые этими великими людьми и везя в кармане их инструкции. Что содержали эти инструкции! Фразы и ничего больше. Но вместе с этими фразами они везли еще с собой инструкции настоящего реакционного характера, данные им *умеренными* республиканцами из газеты *National*: Марра, Гарнье-Пажэ, Араго, Бастид и Жюлем Фавром также, одним из самых ярых среди реакционных республиканцев того времени.

Нужно ли удивляться, что подобные комиссары, посланные такими великими людьми и снабженные такими инструкциями, ничего не сделали в департаментах, а лишь только возбуждали всеобщее недовольство диктаторским тоном и проконсульскими манерами, какие они принимали.. Над ними смеялись, и они не оказывали никакого влияния. Вместо того, чтобы обращаться к народу, и только к народу, как это делали их предшественники 1793 г., которым они старались подражать, они занимались исключительно морализацией людей, принадлежащих к привилегированным классам. Вместо того, чтоб, путем возбуждения революционных страстей, организовать анархию и народную силу, они проповедовали пролетариату, следуя, впрочем, в этом полученным ими инструкциям и посылаемым из Парижа советам, как нужно действовать, умеренность, спокойствие, терпение и слепое доверие к благородным намерениям временного правительства.—Реакционные круги провинции, сильно напуганные сначала и этой революцией, которая так неожиданно свалилась им, как снег на голову, и приездом этих уполномоченных из Парижа, видя что эти господа только произносили фразы и важничали с смешным самодовольным тщеславным видом, видя, с другой стороны, что они совершенно не занимались организацией пролетарской силы против них, не возбуждали против них народный гнев,

который один только способен сдержать их и уничтожить, вновь воспрянули духом и, в довершение, послали реакционное Учредительное Собрание, которое вы знаете. Вам известны печальные последствия этого

После июньских дней было другое: искренние революционные буржуа, те, которые перешли в лагерь революционного социализма, под влиянием великой катастрофы, убившей сразу всех парижских революционных актеров, сделались людьми серьезными и употребили серьезные усилия, чтобы пробудить революционный дух во Франции. Им даже это удалось в значительной степени. Но было слишком поздно. Реакция вновь сплотилась в колоссальную силу и благодаря ужасным средствам, какие дает государственная централизация, она окончательно восторжествовала, больше даже чем она этого хотела, в декабрьские дни

Чрезвычайные комиссары, которых Гамбетта, без сомнения пошлет в департаменты, если ему удается победить, с помощью Трошю и Тьера, бонапартистскую реакцию в Париже, будут еще более жалкими, чем комиссары 1848 г.

Враги рабочих социалистов, также как и бонапартистской организации и крестьян бонапартистов, на кого, чорт возьми, они будут опираться? Им будут даны инструкции обуздать революционное социалистическое движение в городах и реакционное бонапартистское движение в деревнях; с чьей помощью? С помощью дезорганизованной, плохо преобразованной администрации, которая сама осталась наполовину, если не на три четверти, бонапартистской, и нескольких сотен местных бледных республиканцев и орлеанистов? — Республиканцев, таких же бледных, таких же ничтожных, неопределенных и сбитых с пути, как они сами, оставшихся вне народных масс и не оказывающих никакого влияния ни на кого, и орлеанистов, годных как и все богатые и хорошо воспитанные люди, для того чтобы эксплоатировать и повернуть, своими интригами, движение в пользу реакции, но неспособных принять какое нибудь энергичное решение, предпринять какое нибудь энергичное действие. И орлеанисты будут еще наиболее сильными, так как рядом с значительными средствами, имеющимися в их распоряжении, на их стороне еще то преимущество, что они знают, чего хотят, тогда как республиканцы вместе с большой бедностью обладают еще ужасным несчастьем не знать, куда они стремятся, и оставаться чуждыми всем реальным интересам страны, как привилегированных классов, так и общенародным. Они

являются в настоящее время лишь представителями устарелых идеала и партии. А так как, в конечном счете, миром управляют материальные интересы, а идеи имеют силу лишь постольку, поскольку они являются выразителями какого нибудь крупного интереса, — напр., идеи 1793 г., истинной основой которых были восходящие и торжествующие интересы буржуазии, противоположные интересам дворянства, теократии и монархии; так как интересы народных масс нашли свое выражение в практических идеях и тенденциях социализма; и так как республиканцы теперь открыто заявили себя врагами этих идей и этих тенденций и, следовательно, друзьями буржуазных идей и тенденций, и так как орлеанизм есть выражение этих последних — то очевидно, что республиканцы комиссары и местные, а также и парижские республиканцы, находясь под влиянием много выше их стоящих орлеанистов, которые льстят им, руководят ими, толкают их и магнетизируют всевозможными способами, будут работать в действительности для реставрации орлеанской династии, воображая, что они работают для республики.

Теперь, возвращаясь опять к прежнему вопросу, я спрашиваю, будут ли эти республиканцы, об'единившиеся с орлеанистами и поддерживаемые ими, как это, несомненно, будет, если Гамбетте, вместе с Тьером и Трошю, удастся совершить — не революцию, а государственный переворот против бонапартистов в Париже, — будет ли эта коалиция республиканцев и орлеанистов достаточно сильной, чтобы спасти Францию в этот ужасный момент?

Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сейчас же решить его в отрицательном смысле. Имея против себя, с одной стороны, городскую рабочую массу, которую нужно будет сдерживать, а с другой — бонапартистскую крестьянскую массу, которую тоже нужно будет сдерживать, они будут иметь на своей стороне полуразвалившуюся армию, количественно, по крайней мере, вдвое уступающую великолепно управляемой прусской армии. К тому же, они не будут уверены в преданности и повиновении двух вождей этой армии, Базэна и Мак-Магона, оба, создание Наполеона III. У них будет, кроме того, администрация, несостоятельность и недобросовестность которой доказана: администрация, которая даже теперь, под начальством Шевро, Дювернуа и Давида, ведет страстную пропаганду за императора, против них, выставляя их всюду изменниками, продавшими прус-

сакам страну и императора, и поднимая крестьян против городов; администрация, которую, даже в том случае, если будет совершен переворот в Париже и переменится правительсво, нельзя будет преобразовать, ни даже заменить другими громадное большинство ее служащих; она конечно, будет терпеть ненавистных ей победивших радикалов, но в глубине души останется, тем не менее, бонапартистской. Наконец, у них будут симпатии и, при случае, поддержка республиканцев и орлеанистов, рассеянных, то здесь, то там по Франции, но не составляющих компактной организованной силы и совершенно неспособных на энергичное действие.

Я спрашиваю вас, могут ли с подобными средствами даже самые умные, самые энергичные люди спасти Францию от ужасной опасности, которая уже не только угрожает ей, но стала уже в значительной степени действительной катастрофой?

Ясно, что оффициальная Франция, монархическое или даже республиканское государство, ничего не может сделать, так как всякая оффициальная власть стала бессильной. Ясно, что если Франция может быть еще спасена, то только естественной Францией, всем народом, вне всякой оффициальной организации, монархический или республиканской, стихийным восстанием народных масс, рабочих и крестьян вместе, взявших оружие, которое не хотят им давать [1]), и сорганизовавшихся снизу вверх для обороны и ради *своего существования*.

---

[1]) Министерство, наконец, созналось, что оно не хочет давать оружия народу, на достопримечательном заседании 25 августа, по поводу предложения — не упразднить, а только отменить на время законы, запрещающие продажу и фабрикацию оружия и военных припасов и подвергающие штрафу за ношение оружия, без разрешения правительства. После горячих прений, это предложение, отклоненное комиссией, конечно избранной бонапартистским большинством законодательного корпуса, было отвергнуто 184 голосами против 61 голоса. Во время этих прений были произнесены многозначительные слова и сделаны были очень интересные разоблачения.

„*Жюль Ферри (автор предложения)*. — Доклад осуждает законы и в то же время рекомендует сохранить их временно, теперь, когда их отмена именно необходима и ясна для всех. Страна крайне нуждается в оружии для своей обороны. Что нужно сделать? Уничтожить запретительные меры для оружия, как для злаков во время голода... *Не только не вооружают народ, но есть префекты, которые отказываются принять присланное им оружие*. Я знаю одного, которой ответил: „*Не надо ни ружей ни добровольцев. Я выслал всех здоровых мужчин из департамента*“. *Если*

Необходимость народного восстания стала в настоящий момент столь очевидной для всех, что на заседании 25 числа было сделано два предложения в Законодательном Корпусе, который высказался за неотложность второго предложения. Первое предложение — Эскироса: *„пусть Законодательный Корпус обратится ко всем муниципалитетам с призывом образовать из сєоя центры действия и обороны*, **вне всякой административной опеки**, *и принять, во имя Франции, над которой совершено насилие, все меры, какие они сочтут необходимыми*“. Это предложение было бы совершенным, но при условии, чтобы во всех муниципалитетах предварительно совершилась революция, так как нынешняя организация всех муниципалитетов бонапартистская. Но это условие косвенным образом содержится в словах: *вне всякой административной опеки*, что означает уничтожение государства. Это и было, без сомнения, причиной, почему предложение Эскироса не было принято, не было признано неотложным. Вот второе предложение—де Жувансель:

существуют политические причины, по которым не следует вооружать народ, пусть скажут. *Если боятся, как бы оружие не попало в руки врагов правительства*, надо это сказать. Нужно, чтобы знали, *что, если что нибудь парализует национальную оборону, так это династический интерес.*

„*Пикар.* — История не поймет этого спора. Мы требуем, чтобы вы отменили закон, который преследует хранение у себя оружия и военных припасов, и вы нам отказываете в этом в тот момент, когда враг приближается.

„*Министр* (*председатель Государственного Совета*). — Вы, вероятно, хотите организовать силы страны. Мы — тоже. *Но мы хотим дать оружие, которым мы располагаем* — и его очень много — *тем, кто наиболее способен употребить его с пользой. Мы хотим концентрацию, а вы разбросанность сил...*

„*Пикар.* — Вооружайте боевые дружины. Вооружайте национальную гвардию. Пусть. Но видели ли вы какую нибудь страну, страну, в которую вступил враг, где бы говорили гражданам: „Вы не будете иметь права покупать оружие; если оружейник продаст вам его, он этим преступит закон“?

„*Ж. Фавр.* — Вы хотите чтобы можно было произносить против нас приговоры даже и теперь, если мы возьмемся за оружие для своей защиты. Что касается меня, то я заявляю, что, если вы сохраните этот закон, то я его нарушу.

„*Министр.* — Мне кажется, что вопрос не должен был бы вызывать такого возбуждения.

„*Ж. Фавр.* — Вы хотите, чтобы мы оставались хладнокровными до тех пор, пока пруссаки не войдут в Париж?

„Предложение Жюля Ферри отвергнуто большинством 184 голосов против 61 (левые и левый центр)“. (*Примечание Бакунина*)

„*Пункт первый.* В случае, если враг предпримет осаду Парижа, все французские граждане, не входящие в состав армии или в боевые дружины, будут призваны защищать, с оружием в руках, территорию. *Пункт второй.* Муниципалитеты тотчас же сорганизуются, *чтобы употребить все средства борьбы, какими они располагают.* — *Пункт третий.* Употребление охотничьих ружей и всякого сорта оружия будет разрешено, также как и фабрикация военных припасов. — *Пункт четвертый.* Все борцы, которые выступят с оружием в руках, при одном условии ношения национальной кокарды, в силу настоящего закона будут пользоваться военными преимуществами и привилегиями".

Палата высказалась за срочность этого предложения, без сомнения, потому что чувство приличия помешало ей поступить иначе. Но нет никакого сомнения, что она отвергнет его, как она отвергла на том же заседании предложение отменить законы, запрещающие продажу и ношение оружия, если не будет совершен государственный переворот Трошю, Тьером и Гамбеттой и она не будет предварительно распущена и терроризирована.

Вы видите, что все серьезные и искренние умы, которые хотят спасения Франции, пришли к убеждению, что *Франция может быть спасена только стихийным восстанием, вне всякого воздействия и вмешательства администрации, правительства, государства, какова бы ни была форма этого государства и этого правительства.*

И чтобы еще больше доказать вам это, я приведу достопримечательное письмо, недавно адресованное франко-американским генералом Клюзерэ генералу Паликао:

„Брюссель, 20 августа 1870 г.

„Генерал, я не получил ответа на мою телеграмму из Остенде, от 20 августа (телеграмма, в которой Клюзерэ предлагал свои услуги). Меня это больше огорчило, чем удивило. Недоверие и военные предрассудки несвоевременны теперь. Ваша военная система осуществила пункт за пунктом мои печальные предвидения... (критика военной системы во Франции). Вы можете исправить недостатки своей системы и *помочь нашему несчастью, только введя новый элемент в борьбу, ужасный элемент, который нарушит стройность прусской тактики, введя добровольцев.* Я хорошо знаю этот элемент, я пользовался им во Франции

в Италии, в Америке, я знаю, чего можно от него ждать и чего бояться с его стороны. *Ошибка думать, что он не может совершить то, что не по силам так называемым регулярным войскам.* **Настоящие регулярные войска в подобной борьбе, это добровольцы.** *Но под добровольцами не следует подразумевать наемных добровольцев, зачисленных в армию, ибо тогда это будет новобранцы* (т. е. плохие солдаты, вот и все). Зачисленные в прежнюю организацию, они будут ее жертвами, как и их предшественники. *Организуйте* — (я бы сказал: дайте организоваться свободно, стихийно) — *добровольческие элементы в батальоны, как делали наши отцы; предоставьте им самим назначать себе офицеров и, рассыпавшись, вести позиционную войну. Доверьтесь их отваге и предоставьте им инициативу оперировать на путях продвижения врага, уничтожая его продовольствие и* **поднимая восстание в завоеванных провинциях. В этом теперь опасность для врага.** *Что касается ваших генералов, вашей армии, сделайте из них резервную армию*, опорные пункты, *для этих полных энтузиазма* (революционных) отрядов и вы увидите непосредственный результат. *Я видел это в Америке и я был поражен. Инстинкт сделал больше, чем учение и наука*... и т. д. конечно, мне более неприятно предложить вам свои услуги, чем вам принять их. Докажите, что ваш патриотизм равен моему, приняв их.

Генерал Клюзерэ".

Если генерал Клюзерэ действительно, как говорят энергичный человек, революционер, он не предложит больше своих услуг какому бы то ни было правительству Франции, т. к. всякое централизованное правительство, которое будет претендовать само организовать, взять под свою опеку оборону страны, управлять этой обороной, неизбежно должно погубить страну. Он соберет французских добровольцев в Бельгии, — и в них не должно быть недостатка, — как нибудь вооружит их и, став во главе их, перейдет бельгийскую границу, несмотря на таможенную заставу и бельгийские войска, которые охраняют ее в данный момент, и, подавая пример всем, примется проповедывать, не словами только,—время слов прошло,—а действиями. Так как только самостоятельная инициатива смелых революционеров может спасти Францию.

Думаю, что я доказал, быть может, немного слишком длинно, но путем доводов и фактов неоспоримых, что Франция не может больше быть спасена правительственным механизмом, если даже этот механизм перейдет в руки Гамбетты.

Предполагаю лучший случай, что Гамбетта с Тьером и Трошю восторжествуют в Париже. Я желаю теперь этого торжества всей душой, не потому, что я надеюсь, что, овладев государственной властью, *этой действенной силой административного механизма*, которой неисправимый Тьер еще так восхищался на заседании 26 августа, они могли бы сделать что нибудь хорошее для Франции, но именно потому, что я глубоко уверен, что логика вещей и их искреннее желание спасти отечество, докажут им *тотчас же*, что они не могут больше ею пользоваться; так что, разрушив ее в руках бонапартистов, они будут вынуждены, сообразно предложениям Эскироса, Жуванселя и генерала Клюзерэ, *уничтожить ее совершенно, возвратив инициативу действия всем революционным коммунам Франции, освобожденных от опеки всякого правительства, и, следовательно, призванным составить новую организацию, федерируясь между собой для обороны.*

30 августа.

До сих пор я строил свое рассуждение на предположении, наиболее благоприятном, торжества Гамбетты. Но нет никакой уверенности, что оно осуществится, и в настоящий момент меньше, чем когда либо, так как стало ясным, что бонапартисты не только стали вновь надеяться и воспряли духом, но чувствуют уже себя достаточно сильными, чтобы раскрыть свои карты и прибегать к угрозе. Общее мнение в Париже, что они замышляют государственный переворот. Письма из Парижа в газете *Bund* — полуоффициальный орган швейцарской конфедерации — бросают живой и, по моему мнению, верный свет на эти темные проэкты. Приведу вам некоторые выдержки:

„*Париж 25 августа.* — Империалисты рассуждают таким образом: „В наиболее неблагоприятном случае, император может отказаться от престола в пользу своего сына, заплатить несколько миллиардов пруссакам и снести крепости Меца и Страсбурга“.

(Эти уступки, эти условия мира, повидимому серьезно задуманы бонапартистами, так как *Daily Telegraph* в одной из статей, приведенной в газете *Journal de Genève*, очень рекомендует их). Что касается меня, то я не сомневаюсь, что Бисмарк серьезно думает вести переговоры с Наполеоном, ибо один Наполеон способен сделать такие подлые уступки Пруссии. Князья Орлеанские не могут этого сделать, под страхом опозорить себя и сделаться невозможными. Что касается республиканцев, то даже самые умеренные, самые рассудительные никогда не согласятся вступить в переговоры с Бисмарком, пока хоть один прусский солдат останется во Франции. Их положение таково, что они принуждены скорее дать себя похоронить под развалинами Парижа, чем сделать ему малейшую уступку. Ясно, что одно только бонапартистское правительство, Наполеон или его сын, может подписать позорный и пагубный для Франции мирный договор. И мы видим, что бонапартисты до такой степени цепляются в настоящий момент за власть, что не может быть больше сомнения, что они способны,что они готовятся уже это сделать. Кто знает, не начались ли уже тайные переговоры между Наполеоном, Евгенией и Бисмарком? Я считаю их даже способными отдать Париж пруссакам,—до такой степени их положение стало отчаянным, а они достаточно негодяи, достаточно подлы, чтобы спасти себя какой угодно ценой. Положение Бисмарка тоже внушает опасения. Если Париж возьмется серьезно за защиту, если вся Франция встанет впереди и в тылу прусской армии, эта последняя, несмотря на громадную силу, какую она развертывает в настоящий момент, может найти свою могилу во Франции. Бисмарк, король Пруссии и генерал Мольтке прекрасно это знают; это слишком серьезные люди, чтобы не понимать этого. Их чувство мести должно быть вполне удовлетворено, они достаточно унизили французского императора; и ради тщеславного удовольствия окончательно его уничтожить, они не пожертвуют, вместе со всеми полученными ими огромными преимуществами, быть может самим будущим германской империи, вообще, и прусской властью, в частности. С одной стороны, перед ними слава еще весьма недостоверной победы и которая, во всяком случае, им будет стоить громадных жертв деньгами и людьми. С другой стороны мир такой победоносный, о каком они даже не смели мечтать в начале кампании, возмещение всех военных убытков, быть может даже Эльзас и Лотарингия, *ко-*

торые одни только Наполеон III и Мадам Евгения способны будут им уступить, и будут иметь возможность уступить, от имени нынешнего императора или от имени его несовершеннолетнего сына, учреждение германской империи и бесспорная и прочно установленная гегемония Германии; наконец, подчинение Франции, по крайней мере на десяток лет, *ибо никто не может гарантировать им это подчинение лучше и искреннее Наполеона III и его сына.* Конечно, если Наполеон III будет жив и удержит свою власть после этой войны, после губительного и позорного мира, который он подпишет и который низведет Францию на степень второстепенной державы, сначала его, потом его сына будет до такой степени презирать и ненавидеть вся Франция, *что они будут нуждаться в прямом покровительстве Пруссии*, чтобы удержаться на троне, как Виктор-Эммануил до настоящего времени нуждался в специальной поддержке Франции, чтобы сохранить свою корону.

Стало быть, верно и не подлежит спору, что никакой монарх, никакое правительство Франции не может им сделать таких выгодных уступок, предоставить такую безопасность, как династия Бонапартов. Можно ли после этого сомневаться в том, *что Бисмарк уже думает вести переговоры о мире с Наполеоном III, и только с ним, т. е. сохранить его во что бы то ни стало на французском троне?* Остается только узнать, настолько ли подлы Наполеон III и Мадам Евгения, чтобы принять и подписать подобные условия. Кто может в этом сомневаться? Разве есть предел их низости? И надо поистине быть очень наивным, чтобы думать что они остановятся перед изменой или даже десятью изменами Франции, когда эти измены станут им необходимыми для удержания короны. Лучше быть коронованным данником Бисмарка, чем осмеянным, выгнанным и быть может повешенным императором. Будьте уверены дорогие, друзья, *Франция уже продана Бисмарку Наполеоном III, и Бисмарк идет на Париж только для того, чтобы посадить опять на трон Наполеона III, или его сына под материнское крылышко интересной Евгении.*

Что касается меня, то я уверен, я убежден, что этот тайный договор, возможно, уже заключенный или на пути к заключению,—не знаю,—быть может при посредничестве итальянского двора, который непосредственно в нем заинтересован и находится в большой ажитации,—что эта уверенность в протекции и поддержке Бисмарка являются

главной причиной столь неожиданного возрождения уверенности и растущей и все более и более угрожающей наглости бонапартистов.

После этого длинного отступления я снова возвращаюсь к выдержкам из газеты *Bund*:

„Генерал Трошю и Тьер продолжают думать, что лучше всего дать пруссакам подойти к стенам Парижа без боя. Империалисты, наоборот, хотят непременно дать сражение для спасения династии. Трошю в самых худших отношениях с императрицей, но за то в наилучших отношениях с боевой дружиной. Самые пылкие патриоты и республиканцы подписывают адрес Трошю. По примеру принца Наполеона, который, безопасности ради, поселился сам во Флоренции, а семью перевез в Пьемонт, *богатые люди Парижа начинают отправлять свои сокровища в Бельгию или в Англию.* С одной стороны они боятся отчаянного сопротивления со стороны парижского населения, а с другой — решения Трошю, который, для защиты Парижа, повидимому, расположен прибегнуть, если понадобится, к польским баррикадам и взорвать целые кварталы в Париже. *Руэр привез вчера из Реймса, куда он ездил навестить больного императора, отчаянный план обороны и действия против тех, кого они называют внутренними пруссаками (орлеанистов и республиканцев). Паликао принял его.* Фавр, Гамбетта и Тьер горячо нападали на империю в тайном комитете (24 или 25 числа). „Момент теперь такой ужасный“, заявили они, „что страна может быть спасена только соединенной властью Палаты, Паликао и Трошю!“ (Какая восхитительная микстура!) Бонапартисты расположены защищаться до крайних пределов. Левые находят, что им грозит серьезная опасность. В других кругах также ждут государственного переворота, совершенного бонапартистами; говорят, что организуется *оборона страны исключительно декабристская.* Начнут с ареста Трошю и левых депутатов, которых об'явят перед парламентским большинством и перед страной изменниками. У Паликао в руках адреса всех жителей, которые считаются опасными. Арестованы уже сотни республиканцев и социалистов, а также журналисты“.

„*Париж, 26 августа.*—Сам *Journal des Débats* предчувствует бонапартистский заговор и государственный переворот. Он протестует против того, что все ультра-декабристы (Руэр, Шнейдер, Барош, Персиньи) каждый день принимают участие в Советах министров, и заявляет, что этот исклю-

чительно бонапартистский кабинет не внушает никакого доверия стране и парализует все патриотические усилия Палаты. Правые еще вчера отклонили предложение упразднить или отменить временно законы, запрещающие ношение и продажу оружия. Они предпочитают скорее отдать Париж пруссакам, чем вооружить народ. Правые хотели предать суду и потребовать ареста генерала Трошю за то, что он отказал императрице в требовании подать в отставку. Национальная гвардия услыхала о проэкте этой отставки и устроила генералу Трошю бурную, вполне республиканскую манифестацию, выразив ему свою симпатию. Со вчерашнего дня императрица опять ухаживает за Трошю, который принимает эти ухаживания, делая, вероятно, вид, что поддается им. Хотят всеми силами помешать ему сделать смотр восьмидесяти тысячам солдат национальной гвардии, боясь демонстраций с выражением симпатии Трошю, но враждебных Империи. Когда один очень известный государственный деятель посоветовал императору встать во главе кавалерийского полка и броситься на прусские штыки, Наполеон III, ответил, покручивая усы: „Это было бы очень красиво для истории, но я вовсе не настолько умер, как это думают добрые парижане. Я вернусь в Париж , не для того, чтобы дать отчет, а для того, чтобы потребовать отчета у тех, кто погубил Францию: у Оливье, который сделал столько зла своим парламентаризмом, и у левых депутатов, которые, урезывая военный бюджет, отдали нас, страну и меня, Пруссии“.

„Руэр, по возвращении из Реймса, работает теперь в том же направлении, вместе с Паликао и всеми вождями правых. Империалисты полны надежд, они с уверенностью ждут победы, которая будет сигналом к роспуску или, по крайней мере, прекращению работ Палаты, несмотря на то, что сам Шнейдер, говорят, против этого“.

В корреспонденции, помещенной в бельгийской газете *Indépendance belge*, помеченной: Париж, 27 августа, сообщается о намерении императора удалиться за Луару, в Бурж и там сосредоточить правительственные силы. *Liberté* (от 28 августа) также говорит о проэкте перенести правительство, не в Бурж, а в Тур.

Этот проэкт, повидимому, представляет очень серьезную угрозу. Повидимому, он находится в связи с образованием новой армии за Луарой, армией, командование которой будет, разумеется, поручено испытанному бонапартисту.

Он является еще более угрожающим, благодаря бонапартистским волнениям среди крестьян, которые давно и систематически готовили префекты, помощники префектов, генеральные и окружные Советы, мэры, мировые судьи, жандармы и урядники, сельские учителя, попы и их помощники во всех концах Франции.

Для меня ясно, что Наполеон хочет опереться теперь на две силы: на Бисмарка представляющего внешнюю силу, и на восставших в его пользу крестьян, внутри страны. Таким образом, ради спасения своей короны, ввергнув Францию в пропасть, он хочет уничтожить свою последнюю надежду, последнее средство спасения (я говорю здесь с точки зрения государства): массовое вооружение французского народа против вторжения врага. Он хочет заменить его, в этот ужасный момент и перед лицом самого этого вторжения, гражданской войной между деревнями и городами Франции. Меня нисколько не удивило бы, если бы нынешнее министерство, бонапартистское и папистское, каких не было до сих пор, инспирированное Наполеоном, Евгенией и иезуитами, всеми вместе, если бы это министерство, которое, очевидно, хочет довершить крушение Франции, питало замыслы вооружить крестьян против городов, оставив рабочих невооруженными, стесненными осадным положением и отдав их, беззащитными, дикой расправе реакционных крестьян. *Это будет громадной опасностью, и одна только социальная революция, как мы ее понимаем, в состоянии будет отклонить ее и превратить для Франции в средство спасения.* Дальше я вернусь к этому.

Таковы, стало быть, нынешние проэкты императора, императрицы и их партии. Опираясь на эту новую армию, которую организуют за Луарой, и организуют так, чтобы она была предана Империи, опираясь в то же время на искусственно подогретые симпатии крестьян и сговорившись, с другой стороны, тайно с Бисмарком, бонапартисты будут способны отдать этому последнему сам Париж, обвинив в этом потом население этого города и депутатов радикалов, якобы, изменивших отечеству.

Бисмарк не может навязать Наполеона III или IV Франции, Парижу. Но Наполеон III, поддерживаемый этой Луарской армией, которая, вероятно, будет годна только для защиты его против негодования французских городов, и крестьянами, которые взбунтуются против патриотизма го-

родов, сможет договариваться с Бисмарком, после того, как этот последний возьмет и обезоружит Париж. Если только не спасет положение сверхестественная энергия, на которую я не считаю больше способным французский народ, Франция в этом случае погибнет.

Вот почему, я, революционный социалист, желаю теперь, всем сердцем, союза якобинца Гамбетты с орлеанистами Тьером и Трошю, так как один только этот союз может покончить с бонапартистским заговором в Париже. Вот почему, я желаю теперь, чтобы коллективная диктатура Гамбетты, Тьера и Трошю захватила, как можно скорее, власть, — я говорю, как можно скорее, потому, что каждый день драгоценен, и если они потеряют теперь бесполезно один только день, они погибли. Я думаю, что все решится в три-четыре дня. Имея на своей стороне национальную гвардию, боевые дружины и парижское население, они бесспорно могут овладеть властью, если они будут действовать согласно, если у них будет необходимая решимость, если они люди. Меня удивляет, что они не сделали этого до сих пор. У бонапартистов полиция и вся муниципальная гвардия, составляющая, полагаю, довольно почтенную силу. Возможно, что они предпблагают арестовать левых членов и Трошю ночью, как они сделали это в декабре. Во всяком случае, такое положение вещей не может больше длиться, и мы в один из этих дней узнаем либо о бонапартистском перевороте, либо о перевороте более или менее революционном.

Ясно, что в первом случае, спасение может придти только от революции в провинции. Но и во втором случае также, спасти Францию может только революция в провинции.

Я резюмирую в нескольких словах аргументы, которыми я пользовался, чтобы доказать это в этом длинном письме.

Если Гамбетта, которого я беру здесь, как олицетворение якобинской партии, если Гамбетта восторжествует, даже при наиболее благоприятных обстоятельствах, он не сможет ни преобразовать, согласно конституции, систему теперешней администрации, ни изменить совершенно, или даже чувствительным и сколько-нибудь действительным образом, ее персонал, так как конституционная реформа системы может быть произведена только каким-нибудь Учредительным Собранием и не может быть закончена даже в

несколько недель. Нет необходимости доказывать, что созыв Учредительного Собрания невозможен, и что нельзя терять не только ни одной недели, но и ни одного дня. Что касается перемены персонала, то, чтобы сделать это серьезным образом, нужно иметь возможность в несколько дней найти 100.000 новых чиновников, с уверенностью, что эти новые чиновники будут умнее, энергичнее, честнее и более преданными, чем теперешние чиновники. Достаточно указать на это, чтобы убедиться, что осуществить это невозможно.

Стало быть, у Гамбетты остается только два выбора:

Или примириться с существующей, главным образом, бонапартистской администрацией, которая будет в его руках отравленным оружием против него самого и против Франции,—что равносильно при теперешних обстоятельствах полному раззорению, порабощению, уничтожению Франции;

Или же разрушить совершенно эту административную и правительственную машину, не пытаясь даже заменить ее другой, и вернуть тем самым полную свободу инициативы движения и организации всем провинциям, всем коммунам Франции,—что равносильно уничтожению государства, социальной революции.

Разрушая административную машину, Гамбетта лишает себя, свое правительство, лишает Париж единственного средства, какое у него было, управлять Францией. Потеряв оффициальное командование, инициативу действия путем декретов, Париж сохранит только инициативу примера, и он сохранит ее еще только в том случае, если своей моральной силой, энергией своих решений и революционной последовательностью своих актов, он встанет действительно во главе народного движения; что очень мало вероятно. Мне кажется это совершенно невозможным, по следующим причинам:

1) Вынужденный союз Гамбетты с Тьером и Трошю.

2) Его собственное якобинство, его республиканский модерантизм, также как и всех его друзей и всей его партии.

3) Политическая необходимость для Парижа, в интересах его собственной обороны, не слишком задевать, не слишком пугать предрассудки и чувства армии, помощь которой ему абсолютно необходима.

4) Наконец, очевидная невозможность для Парижа заниматься теперь развитием и практическим применением

революционных идей, так как вся энергия и весь ум должны теперь необходимо и исключительно сосредоточиться на вопросе обороны. Осажденный Париж превратится в громадный военный город. Все население будет представлять огромную армию, дисциплинированную сознанием опасности и необходимостью обороны. Армия же не рассуждает—и не делает революции, она дерется.

5) Париж, поглощенный единственным интересом обороны, единственной мыслью о своей защите, будет совершенно неспособен организовать народное движение Франции и управлять им. Если бы он имел эту нелепую, смешную претензию, он убил бы движение, *и было бы, следовательно, долгом Франции, долгом провинций, неповиноваться ему, в высших интересах спасения страны*. Единственно и самое лучшее, что Париж мог бы сделать в интересах своего собственного спасения, это провозгласить и вызвать абсолютную независимость движения в провинции,—и если Париж забудет или не постарается это сделать по каким бы то ни было причинам, патриотизм повелевает провинциям подняться и сорганизоваться, самостоятельно, независимо от Парижа, для спасения Франции и самого Парижа.

Из всего этого ясно следует, что, если Франция еще может быть спасена, то только стихийным восстанием провинций.

Возможно ли еще это восстание? Да, если у рабочих крупных провинциальных городов, как Лион, Марсель, Сэнт-Этьен, Руэн и многие другие, течет кровь в жилах, если у них есть мозг в голове, энергия в сердце и сила в мускулах,—если они живые люди, революционные социалисты, а не социалисты-доктринеры. *Одни только рабочие провинциальных городов могут теперь спасти Францию.*

Не нужно рассчитывать на буржуазию. Я подробно доказал, почему. Буржуа не видят и не понимают ничего, что вне государства, вне обычных государственных способов деятельности. Максимум их идеала, их самоотречения, героизма, максимум того, что они могут представить, *это революционное усиление мощи и деятельности государства*, во имя общественного спасения. Но я достаточно доказал, что государственным путем, в настоящий момент, при теперешних обстоятельствах,—Бисмарковских за пределами Франции и Бонапартистских внутри—нельзя спасти Францию, ее можно только таким путем погубить и убить.

Единственно, что может спасти Францию, среди ужасной, смертельной опасности, внешней и внутренней, которая угрожает ей в настоящий момент, *это стихийное огромное, полное страсти и энергии, анархическое, разрушительное и дикое восстание народных масс на всей территории Франции.* Будьте уверены, что вне этого нет спасения для вашей страны. Если вы неспособны на это, откажитесь от Франции, откажитесь от всякой свободы, опустите головы, склоните колени и станьте рабами,—рабами пруссаков, рабами бонапартистов,—вассалами пруссаков, жертвами крестьян и армии, возмущенных против вас, и приготовьтесь, уже и теперь такие жалкие и несчастные, к будущему, полному страданий и нищеты, каких до сих пор вы не могли даже себе представить.

Разумеется, буржуазия на это неспособна. Для нее это будет конец века, смерть всей цивилизации. *Она скорее устроится с господством пруссаков и бонапартистов, чем потерпит дикое народное восстание*: это насильственное уравнение, это безжалостное и полное уничтожение ее экономических и социальных привилегий. Найдется в буржуазном классе, и именно среди радикалов, довольно значительное число молодых людей, которые, толкаемые отчаянием патриотизма, присоединятся к социалистическому движению рабочих; но они никогда не возьмут и не могут взять на себя инициативу его. Их воспитание, предрассудки, идеи противятся этому. К тому же, они потеряли Дантоновский темперамент—они не смеют больше дерзать. Этот темперамент не существует больше ни в одной категории буржуазного класса. Существует ли он в рабочем мире?—Весь вопрос в этом.

Я думаю, что он в нем существует, вопреки социалистическим *доктринерству* и риторики, которые значительно развивались за эти последние годы в рабочих массах, быть может, не без некоторого влияния самого Интернационала.

Я думаю, что в настоящий момент во Франции и, вероятно также во всех других странах, существуют только два класса, способных на такое движение: *рабочие* и *крестьяне.* Не удивляйтесь, что я говорю о крестьянах. Крестьяне, даже французские грешат только невежеством, но не недостатком темперамента. Не злоупотребляя и даже не пользуясь жизнью не испытав на себе тлетворного действия буржуазной цивилизации, которая лишь слегка и поверхностно коснулась их, они сохранили в себе весь энергич-

ный темперамент, всю натуру народа. Собственность, любовь, не к удовольствиям, а к барышам и пользование ими, сделали их порядочными эгоистами, это правда, но они не уменьшили их инстинктивной ненависти против *нарядных бар*, и в особенности против буржуазных собственников, которые пользуются земными плодами, не производя их трудом своих рук. К тому же крестьянин глубоко патриотичен, националист, потому что у него культ земли, страсть к земле, и я думаю, что нет ничего легче, как поднять его против чужеземцев, которые хотят отнять у Франции две громадных территории.

Ясно, что для того, чтобы поднять и увлечь за собой крестьян, нужна большая осторожность, в том смысле, что нужно остерегаться, говоря с ними, высказывать идеи и употреблять слова, которые оказывают всесильное действие на рабочие массы городов, но которые, раз'ясняемые в продолжении долгого времени крестьянам всевозможными реакционерами, начиная с собственников, дворян или буржуа, и кончая государственными чиновниками и попом, в смысле им ненавистном и раздающемся в их ушах, как угроза, не замедлят произвести на них действие, совершенно обратное желаемому. Нет, надо употреблять с ними, сначала, самый простой язык, язык, какой наилучшим образом соответствует их инстинктам и их пониманию. В тех деревнях, где платоническая любовь к императору существует на самом деле, как предрассудок и как укоренившаяся привычка, не нужно даже говорить против императора. Нужно *разложить в действительности* власть государства, императора, ничего не говоря против него,—подрывая его влияние, разлагая его оффициальную организацию и, насколько это будет возможно, уничтожая самих оффициальных лиц, как мэр, мировой судья, священник, жандарм, урядник,— которых, думаю, не будет невозможно *сентябризировать* [1]), подняв против них самих крестьян. Нужно говорить крестьянам, что необходимо, главным образом, прогнать пруссаков из Франции,—это они прекрасно поймут, потому что, повторяю еще раз, они патриоты,—и что для этого нужно вооружиться, сорганизоваться в добровольческие батальоны и пойти про-

---

[1]) Во время великой французской революции, в сентябре 1792 г. произошло избиение политических заключенных (приверженцев старого режима) в парижских тюрьмах. Отсюда произошло слово septembriser, сентябризировать. *Прим. перев.*

тив них. Но, что прежде, чем пойти, необходимо, чтобы и они тоже следуя примеру городов, которые избавились от всех паразитов эксплуататоров и поручили охрану городов сынам народа, рабочим, избавились от всех своих *нарядных бар*, которые истощают, бесчестят и эксплуатируют землю, не возделывая ее своими руками, а чужим трудом. Затем, нужно вызвать в них недоверие ко всем *шишкам* деревни, ко всем чиновникам и, насколько возможно, к самому попу. Пусть они берут, что им угодно, в церкви и на церковных землях, если есть таковые, пусть заберут все государственные земли, а также земли, принадлежащие богатым собственникам-паразитам, ни на что негодным. Затем, нужно сказать им еще, что, так как всюду, пока что, отменены всякие платежи, они тоже должны прекратить все платежи: частные долги, налоги и ипотеки, до восстановления полного порядка; что в противном случае, все деньги, переходящие в руки чиновников, останутся у последних или перейдут в руки пруссаков. После этого, пусть они идут против пруссаков, но сначала пусть организуются, федерируются, деревня с деревней, а также и с городами для взаимной поддержки и для защиты от пруссаков, как внешних, так и внутренних.

Вот, по моему, единственный действительный способ действовать на крестьян, в смысле защиты страны против прусского вторжения, а также в то же время и в смысле разрушения государства в самих сельских коммунах, где находятся, главным образом, его корни,—и, стало быть, в смысле социальной революции.

Только путем такой пропаганды, только путем социальной революции, понятой таким образом, можно бороться против реакционного духа деревни, победить его и превратить в революционный дух.

Бонапартистские симпатии французских крестьян, о которых говорят, нисколько меня не беспокоят. Это наружный симптом социалистического инстинкта, совращенного с пути невежеством и злонамеренно эксплуатируемого, кожная болезнь, которая должна пройти от применения энергичных средств революционного социализма. Крестьяне не отдадут ни свою землю, ни свои деньги, ни свою жизнь за сохранение власти Наполеона III, но они охотно отдадут ему жизнь и состояние других, потому что они ненавидят этих других. Они питают крайнюю, совсем социалистическую ненависть трудящихся к людям, ничего не делающим, к

народным барам. И заметьте, что в печальном происшествии, имевшем место в коммуне Дордонь, когда крестьяне сожгли молодого помещика, ссора началась словами одного крестьянина: „Ах, вот вы, красивый барин, вы сидите спокойно дома, потому что вы богатый, что у вас есть деньги, и посылаете бедных людей на войну. Так мы идем к себе, пусть приходят за нами“. В этих словах можно видеть живое выражение вековой злобы крестьянина против богатого собственника, но никак не фанатическое желание пожертвовать собой и отдать свою жизнь за императора; наоборот, вполне естественное желание избежать военной службы.

Не в первый раз правительство эксплуатирует естественную ненависть крестьян к богатым собственникам и к богатым буржуа. Таким образом в конце прошлого века печальной памяти кардинал Руффо поднял крестьян Калабрии против либералов неаполитанского королевства, которые установили республику под прикрытием республиканского знамени Франции. В сущности, восстание, руководимое Руффо, было социалистическим движением. Калабрийские крестьяне начали грабить замки и, придя в города, грабили дома буржуазии, но они не трогали народа. В 1846 г. агенты князя Меттерника подняли таким же способом крестьян Галиции против польских дворян и помещиков, которые замышляли патриотическое восстание. До него еще, русская императрица Екатерина II устроила избиение тысяч польских помещиков украинскими крестьянами. Наконец, в 1863 г., русское правительство, следуя этим двум примерам, вызвало жакерию на Украине и в части Литвы против польских патриотов, принадлежавших большей частью к классу дворян. Вы видите, что правительства, эти официальные и патентованные охранители общественного порядка и безопасности собственности и личностей всегда прибегают к подобным мерам, когда эти меры становятся необходимыми для их собственного сохранения. Они становятся революционными в случае нужды и эксплуатируют, направляют в свою пользу бурные инстинкты, социалистические инстинкты. А мы, революционные социалисты, не сумеем овладеть этими инстинктами, чтобы направить их к их истинной цели, к цели, отвечающей глубоким потребностям народа, вызывающим их! Эти инстинкты, повторяю еще раз, глубоко социалистичны, ибо это инстинктивный протест всякого рабочего человека против эксплуататоров труда,—и весь элементарный, естественный и дей-

ствительный социализм в нем. Все остальное, различные системы экономической и социальной организации, все это лишь экспериментальное и более или менее научное развитие и, к сожалению также, слишком часто доктринерское, этого первородного и основного инстинкта народа.

Если мы хотим стать практичными, если, нам надоело мечтать и мы хотим *делать* революцию, мы должны начать с того, чтобы самим освободиться от массы предрассудков, рожденных в буржуазном мире и перешедших, к сожалению, в слишком большой пропорции от буржуазного класса к самому пролетариату городов. Городской рабочий, более развитой, чем крестьянин, слишком часто презирает последнего и говорит о нем с совсем буржуазным пренебрежением. Но ничто так не раздражает, как пренебрежение и презрение, и поэтому, крестьянин отвечает на презрение городского рабочего своей ненавистью. И это большое несчастье, потому что это презрение и эта ненависть делят народ на две части, из которых каждая парализует и уничтожает деятельность другой. Между этими двумя частями в действительности нет различия интересов, есть только громадное и пагубное недоразумение, которое нужно во что бы то ни стало уничтожить.

Более просвещенный, более культурный и тем самым отчасти и в некотором роде более буржуазный социализм городов не признает и презирает первобытный, естественный и гораздо более дикий социализм деревень, и, относясь к нему недоверчиво, старается всегда сдержать его проявления, стеснить его, конечно, во имя равенства и свободы, что способствует глубокому незнанию деревенским социализмом социализма городов, который он смешивает с буржуазными стремлениями, с буржуазным духом городов. Крестьянин смотрит на рабочего, как на лакея, как на солдата буржуазии и он презирает его, ненавидит, как такового. Он ненавидит его до такой степени, что сам становится слугой и слепым солдатом реакции.

Таков фатальный антагонизм, который парализует до сих пор все революционные усилия Франции и Европы. Кто хочет торжества социальной революции, должен прежде всего разрешить этот антагонизм. Так как расхождение между обеими сторонами основано лишь на недоразумении, нужно, чтобы одна из них взяла на себя инициативу об‘ясниться и помириться. Эта инициатива принадлежит по праву более просвещенной стороне, стало быть, она принадлежит

по праву городским рабочим. - Городские рабочие, чтобы вызвать примирение, должны прежде всего дать самим себе отчет в характере обвинений, выставляемых ими против крестьян. В чем они, главным образом, их обвиняют?

Они обвиняют их в трех вещах: *во-первых*, в том, что крестьяне невежественны, суеверны и набожны, и что они поддаются влиянию попов. *Во-вторых*, в том, что они преданы императору. *В третьих*, в том, что они ярые сторонники частной собственности.

Верно, что французские крестьяне очень невежественны. Но разве это их вина? Разве заботились когда-нибудь о том, чтобы дать им школы? Разве это достаточная причина, чтобы презирать их и обижать? Но в таком случае, буржуа, которые бесспорно ученее рабочих, имеют право презирать и обижать этих последних; и мы знаем многих буржуа, которые говорят это и основывают на этом своем большем образовании свое право на господствующее положение, а для рабочих выводят из него долг подчиняться. Рабочих ставит выше буржуа не их образование, которое невелико, а их инстинкт справедливости и верное представление о ней, которые бесспорно велики. Но разве у крестьян отсутствует этот инстинкт справедливости? Посмотрите хорошенько, вы найдете его целиком, разумеется, в иных формах. Вы найдете в них, рядом с невежеством, глубокий здравый смысл, удивительную проницательность и эту энергию к труду, которая составляет честь и спасение пролетариата.

Крестьяне, говорите вы, суеверны и набожны и поддаются влиянию попов. Их суеверие—продукт их невежества, искусственно и систематически поддерживаемого всеми буржуазными правительствами. Впрочем, они вовсе уже не так суеверны и набожны, как вы это говорите, это их жены суеверны и набожны. Но все ли жены рабочих действительно свободны от суеверий и догм римско-католической религии? Что касается влияния попов, то оно только наружное. Крестьяне идут за попами лишь поскольку этого требует их внутренний покой и поскольку это не противоречит их интересам. Это суеверие не помешало им, в 1789 г., купить церковные земли, конфискованные государством, несмотря на проклятие, произнесенное церковью, как против покупавших, так и против продававших. Отсюда следует, что для того, чтобы окончательно убить влияние попов в деревнях, революция должна сделать единственную

вещь: поставить в противоречие интересы крестьян с интересами церкви.

Меня всегда коробило, когда, не только революционные якобинцы, но и социалисты, прошедшие, более или менее, школу Бланки и, к сожалению, даже некоторые из наших близких друзей, подпавших косвенным образом под влияние этой школы, высказывали вполне *анти-революционную* мысль, что будущая республика должна выпустить декрет об упразднении церковного богослужения всех вероисповеданий, а также декрет о насильственном изгнании всех священников. Во-первых, я *решительный враг революции путем декретов*, которая есть следствие и применение идеи *революционного государства*,—т. е. *реакции, скрывающейся за внешним обликом революции*. Системе революционных декретов я *противопоставляю систему революционных дел*, единственно действительную, последовательную и верную. Авторитарная система декретов, желая *навязать* свободу и равенство, разрушает их. *Анархическая система действий вызывает и создает их неминуемо*, вне всякого вмешательства какой-нибудь оффициальной или авторитарной силы. Первая неизбежно приводит к конечному торжеству настоящей реакции. Вторая устанавливает, на естественных и незыблемых основах, революцию.

Таким образом, в данном примере, если будет выпущен декрет об упразднении богослужения и изгнании священников, вы можете быть уверены, что крестьяне, наименее религиозные, выступят за сохранение богослужения и за священников, хотя бы из чувства противоречия, и потому что в каждом человеке возмущается законное, естественное чувство, основа свободы, против всякой навязанной меры, если даже эта мера имеет своей целью свободу. Можно, стало быть, быть уверенным, что если города сделают глупость *декретировать* упразднение богослужения и изгнание священников, крестьяне, приняв сторону последних, восстанут против городов и сделаются страшным орудием в руках реакции. Но следует ли отсюда, что нужно оставить в покое священников и их власть? Нисколько. Нужно действовать против них самым энергичным образом, но не потому, что они священники, министры римско-католической религии, *а потому, что они агенты Пруссии*. Как в деревнях, так и в городах, не какая-нибудь оффициальная власть должна их преследовать, хотя бы этой властью был революционный Комитет общественного спасения,—*нужно*,

чтобы само население, в городах—рабочие, в деревнях—сами крестьяне, *действовало против них,* тогда как революционная власть наружно будет охранять их, во имя уважения свободы совести. Последуем мудрому примеру наших противников. Посмотрите, все правительства говорят о свободе, тогда как их поступки реакционны. Пусть революционные власти не говорят больше фраз, но употребляя насколько возможно умеренный и мирный язык, *творят* революцию.

Революционные же власти, во всех странах, делали совершенно обратное до сих пор: чаще всего они были чрезвычайно энергичны и революционны на словах и слишком умеренны, чтобы не сказать очень реакционны, в своих действиях. Можно даже сказать, что *энергичная речь* большей частью *служила им маской, чтобы обмануть народ, чтобы скрыть от него слабость и непоследовательность своих актов.* Есть лица, много лиц среди так называемой революционной буржуазии, которые, произнося революционные слова, думают, что они этим делают революцию, и которые, после того, как произнесли эти слова, и именно потому, что они их произнесли, считают для себя позволенным совершать несостоятельные действия, роковые непоследовательности, настоящие реакционные акты. Мы, революционеры на самом деле, должны делать совершенно обратное. Будем мало говорить о революции, но будем делать много. Предоставим теперь другим развивать теоретически принципы социальной революции и удовольствуемся тем, что будем широко применять их, *воплощать их в факты.*

Те из наших близких и друзей, которые хорошо меня знают, быть может, будут удивлены, что я так теперь говорю, я, который так много занимался теорией и который всегда проявлял себя ревностным и ярым сторожем принципов. Но, ведь, времена изменились. Тогда, еще год тому назад, мы готовились к революции, которую мы ждали, одни раньше, другие позже,—а теперь, что бы ни говорили слепцы, мы в периоде революции.—Тогда, было абсолютно необходимо держать высоко знамя теоретических принципов, высоко выставлять эти принципы во всей их чистоте, чтобы образовать партию, пусть малочисленную, но состоящую исключительно из лиц, искренно, всецело и страстно преданных этим принципам, так, чтобы каждый, в момент кризиса, мог расчитывать на всех других. Теперь дело уже не в наборе людей. Нам удалось, худо ли, хорошо ли, образовать небольшую партию—небольшую в отношении числа

лиц, примыкающих к ней с полным знанием дела, громадную, что касается ее инстинктивных сторонников, народных масс, нужды которых она представляет лучше, чем всякая другая партия.—Теперь мы должны все вместе пуститься в революционный океан и отныне должны распространять наши принципы уже не словами, а *делом,—ибо это наиболее народная, наиболее могучая и наиболее неотразимая пропаганда.* Будем иногда молчать о наших принципах, когда политика, т. е. наше временное бессилие по отношению к враждебной нам силе этого потребует, *но будем всегда беспощадно последовательны в действиях.* Все спасение революции в этом.

Главная причина, почему все революционные власти мира всегда так мало делали революцию, *в том, что они всегда хотели делать ее сами, своей собственной властью и своей собственной силой,* что всегда приводило к двум результатам: во-первых, это чрезвычайно суживало революционную деятельность, ибо невозможно даже для самой умной, самой энергичной, самой откровенной революционной власти обнять сразу массу вопросов и интересов, так как всякая диктатура, как личная, так и коллективная, поскольку она состоит из нескольких оффициальных лиц, необходимо очень узкая, слепая и неспособна ни проникнуть в глубину народной жизни ни обнять всю ее широту,—также как невозможно для самого большого корабля измерить глубину и широту океана. Во-вторых, потому что всякий акт власти и оффициальной силы, поставленной законом, будит в массах чувство глубокого протеста, реакцию.

Что же должны делать революционные власти,—и постараемся, чтобы их было как можно меньше—что должны они делать, чтобы расширить и организовать революцию? *Они должны не сами делать ее, путем декретов, не навязывать ее массам, а вызвать ее в массах. Они должны не навязывать им какую-нибудь организацию, а, вызвав их автономную организацию снизу вверх,* под сурдинку действовать, *при помощи личного влияния, на наиболее умных и влиятельных лиц каждой местности,* чтобы эта организация насколько возможно отвечала нашим принципам.—Весь секрет нашего торжества в этом.

Что такая работа сопряжена с громадными трудностями, кто в этом сомневается? Но неужели думают, что революция детская игра и что можно делать ее, не победив бесчисленных трудностей? Революционные социалисты наших

дней не должны ни в чем или почти ни в чем подражать в революционных приемах якобинцам 1793 г. Революционная рутина погубит их. Они должны работать в живом теле, они должны все создавать.

Возвращаюсь к крестьянам. Я уже говорил, что их мнимая приверженность к императору меня нисколько не пугает. Она не глубока и не реальна. Это лишь отрицательное выражение их ненависти к барам и к буржуазии городов. Эта приверженность не может, стало быть, устоять против социальной революции.

Последний и главный аргумент городских рабочих против крестьян, это жадность последних, их грубый эгоизм и их приверженность к частной собственности на землю. Рабочие, упрекающие их во всем этом, должны бы были сначала спросить себя: А кто не эгоист? Кто в современном обществе не жаден, в том смысле, что он страстно дорожит тем небольшим состоянием, которое он смог себе скопить и которое гарантирует ему в современном экономическом хаосе и в этом обществе, бесжалостном ко всем, кто умирает с голоду, его существование и существование его близких?—Крестьяне не коммунисты, это правда, они боятся и ненавидят *приверженцев раздела имущества* [1]), потому, что у них есть что сохранить, по крайней мере, в воображении, а воображение великая сила, с которой обыкновенно недостаточно считаются в обществе.—Рабочие, громадное большинство которых ничего не имеет, гораздо более склонны к коммунизму, чем крестьяне. Это вполне естественно; коммунизм одних так же естественен, как индивидуализм других,—тут нет ничего, чем бы можно было хвастаться и за что презирать других,—те и другие, со всеми их идеями, со всеми их страстями—продукт различной среды породившей их. Да и сами рабочие, все ли коммунисты?

Нечего, стало быть, роптать на крестьян и презирать их, *нужно установить революционную линию поведения, обходящую трудность и которая не только помешала бы индивидуализму крестьян толкнуть их в сторону реакции, но, наоборот, воспользовалась бы им для торжества революции.*

---

1) *Partageux*.—так неправильно называли в то время социалистов во Франции, приписывая им стремление разделить поровну между всеми все народное богатство, а не обратить его в общественную собственность.

Прим. Перевод.

Помните, дорогие друзья, и повторяйте себе сотню раз, тысячу раз в день, что **решительно** *от установления этой линии поведения зависит исход: торжество или поражение революции.*

Вы согласитесь со мной, что теперь не время больше вести теоретическую пропаганду среди крестьян. Остается, стало быть, помимо предлагаемого мною средства, одно только средство: *терроризм городов против деревень.* Это превосходное средство, взлелеянное всеми нашими друзьями, рабочими крупных центров Франции, которые не замечают и даже не подозревают, что они заимствовали это орудие революции, я чуть было не сказал реакции, из арсенала революционного якобинства, и что, если они будут иметь несчастье воспользоваться этим орудием, они убьют себя; больше того, они убьют саму революцию. Ибо каково будет неизбежное, фатальное следствие этого? Все деревенское население, 10 миллионов крестьян ринутся в другую сторону и усилят своими огромными и непобедимыми массами реакционный лагерь.

В этом отношении, как и и во многих других отношениях, я считаю настоящим счастьем для Франции и для мировой социальной революции вторжение пруссаков. Если бы не было этого вторжения, и если бы революция во Франции произошла без него, сами французские социалисты попытались бы еще один раз, и на этот раз для себя уже, совершить государственный переворот. Это было бы совершенно нелогично, это было бы роковым шагом для социализма, но они, конечно, попытались бы это сделать,—до такой степени они еще сами проникнуты и пропитаны якобинскими принципами. Следовательно, среди прочих мер общественного спасения, декретированных Конвентом городских делегатов, они попробовали бы *навязать* коммунизм или коллективизм крестьянам. Они подняли бы и вооружили против себя всю крестьянскую массу, и чтобы подавить крестьянский бунт, они принуждены были бы прибегнуть к громадной вооруженной силе, хорошо организованной, хорошо *дисциплинированной.* Они дали бы армию реакции и породили бы, образовали бы военных реакционеров, честолюбивых генералов в своей собственной среде.— С помощью этой прочной государственной машины они добились бы скоро и государственного машиниста,—диктатора, императора.—Все это неизбежно случилось бы с ними, потому что к этому привела бы логика,—не капризное вообра-

жение какой-нибудь личности, а логика вещей, логика же никогда не ошибается.

К счастью, сами события теперь раскроют глаза рабочим и заставят их отказаться от этой роковой системы, заимствованной ими у якобинцев. Нужно быть сумашедшим, чтобы вздумать, при настоящих условиях, прибегать к террору против деревень. Если деревни поднимутся *теперь* против городов, города и вместе с ними Франция погибнут. Рабочие чувствуют это, и этим отчасти я об'ясняю себе *невероятную и постыдную апатию, инертность, бездействие и спокойствие* рабочего населения в Лионе, Марселе и в других крупных городах Франции в такой ужасный момент, когда энергия всего французского народа может одна спасти родину и вместе с родиной французский социализм. Я об'ясняю себе эту странную инертность тем, что французские рабочие совершенно запутались. До сих пор они действительно страдали своими собственными страданиями, но все остальное: их идеал, надежды, идеи, политические и социальные стремления, практические проэкты и планы на ближайшее будущее, которые существовали скорее в мечтах, чем серьезно обдумывались, все это гораздо больше было взято ими из книг и ходячих теорий, постоянно видоизменяющихся и критикуемых, чем являлось плодом собственного размышления, основанного на жизненном опыте. Они никогда не останавливались на своей жизни и на своем повседневном опыте и не привыкли черпать в них свои стремления и мысли. Их мысль питалась определенной теорией, принятой по традиции, без критики, но с полным доверием, и эта теория есть ничто иное, как политическая система якобинцев, более или менее видоизмененная для пользования революционных социалистов. Теперь, эта теория революции обанкротилась, так как главная основа ее, государственное могущество, рухнуло. При теперешних обстоятельствах, применение террористического метода, который так любят якобинцы, стало, очевидно, невозможным. И французские рабочие, не знающие других методов, сбиты с толку. Они вполне основательно говорят себе, что невозможно применять оффициальный, обычный и легальный террор и употреблять принудительные средства против крестьян, что невозможно учредить революционное государство, центральный комитет общественного спасения для всей Франции, когда иностранцы подошли не только к границе, как это было в 1792 г., но двинулись к самому сердцу Франции

и находятся в двух шагах от Парижа. Они видят, что вся оффициальная организация рушится, они отчаиваются, и основательно, создать другую и, не понимая спасения, они—революционеры, вне общественного порядка, не понимая, они—сыны народа, той силы и жизни, какие находятся в том, что оффициальная клика всех цветов, начиная с цвета лилии и кончая темно - красным, называет *анархией*, они скрещивают руки и говорят себе: мы погибли, Франция погибла.

Нет, дорогие друзья, она не погибнет, если вы не хотите погибнуть сами, если вы люди, если вы обладаете темпераментом, если в сердце вашем есть настоящая страсть,—если вы хотите ее спасти. Вы не можете больше спасти ее путем общественного порядка, государственной силой. Все это, благодаря пруссакам,—я говорю это, как истинный социалист,—теперь одни развалины. Вы не можете даже спасти ее путем революционного усиления политической власти, как это сделали якобинцы в 1793 г. Так спасите ее путем *анархии*. Разнуздайте эту народную анархию как в деревнях, так и в городах, разверните ее во всю ширь, так чтобы она катилась, как бешеная лава, снося и разрушая на своем пути все: всех врагов и пруссаков. Это геройский и варварский способ, я знаю. Но это последний и отныне единственно возможный способ. Вне его нет спасения для Франции. Так как все нормальные силы разложились, ей остается только отчаянная и дикая энергия ее детей,—которые должны выбрать или рабство, — путь буржуазной цивилизации, или свобода, — путь свирепой борьбы пролетариата.

Не прàвда ли, превосходное положение для искренних социалистов, и мечтали ли они когда-нибудь о подобной удаче? Ах, друзья мои, постарайтесь только быть на высоте событий, происходящих вокруг вас: государство рушится, буржуазный мир гибнет.—Уцелеете ли вы, останетесь ли энергичными и полными веры творцами нового мира среди этих развалин, или дадите похоронить себя под ними? Сделается Бисмарк вашим господином, станете вы рабами пруссаков, рабами их короля,—или же вы зажжете революционно-социалистический пожар в Германии, в Европе, во всем мире?—Вот, что решается в этот важный момент, вот, что зависит в настоящую минуту исключительно от рабочих Франции.

Возвращаюсь к моим дорогим крестьянам. Я не

думаю, что даже при наиболее благоприятных обстоятельствах рабочие могли бы когда-нибудь иметь достаточную силу, чтобы навязать им коммунизм или коллективизм; и я никогда не желал этого,—потому что я ненавижу всякую насильственную систему, потому что я искренно и страстно люблю свободу. Эта ложная идея и эта надежда, губительная для свободы, составляют основное заблуждение авторитарного коммунизма, который, нуждаясь в правильно организованном насилии, нуждается в государстве и, нуждаясь в государстве, неизбежно приводит к восстановлению принципа власти и привилегированного класса в государстве. Можно навязать коллективизм только рабам. — а тогда коллективизм становится отрицанием человечества. У свободного народа коллективизм может явиться лишь силою вещей, не по приказу свыше, а снизу и необходимо выдвинутый самими массами, когда условия привилегированного индивидуализма: государственная политика, уголовный и гражданский кодекс законов, юридическая семья и наследственное право исчезнут, сметенные революцией.

Нужно быть безумцем, сказал я, чтобы навязать крестьянам что бы то ни было при теперешних условиях; это значило бы сделать из них наверняка врагов революции,— это значило бы погубить революцию. Каковы главные обвинения крестьян, главные причины угрюмой и глубокой ненависти их против городов?

1) Крестьяне чувствуют, что город презирает их, а презрение угадывается быстро, даже детьми, и никогда не прощается.

2) Крестьяне воображают, *не без основания*, хотя и без достаточных исторических доказательств и опыта в подтверждение этого предположения, что города хотят господствовать над ними, управлять ими, часто эксплуатировать их и всегда — навязать им политическое устройство, какое им мало желательно.

3) Крестьяне, кроме того, считают городских рабочих за *сторонников раздела имущества* и боятся, что социалисты конфискуют у них их землю, которую они любят больше всего на свете.

Что же, стало быть, должны делать рабочие, чтобы победить это недоверие и эту враждебность крестьян по отношению к себе? Прежде всего, перестать презирать их. Это необходимо для спасения революции и их самих, ибо

ненависть крестьян составляет громадную опасность. Если бы не было этого недоверия и этой ненависти, революция давно бы уже была совершившимся фактом, ибо враждебность, существующая, к сожалению, в деревнях против городов, составляет во всех странах основу и главную силу реакции. Следовательно, в интересах революции, которая должна освободить их, рабочие должны как можно скорее перестать проявлять это презрение к крестьянам. Они должны это сделать также ради справедливости, ибо, поистине, у них нет никакого основания их презирать ни ненавидеть. Крестьяне не лодари, это большие работники, как они сами. Только они работают в иных условиях. Вот и все. Перед лицом буржуа-эксплуататора, рабочий должен себя чувствовать братом крестьянина.

Леон Гамбетта, в удивительно смешном письме, адресованном им в лионскую газету *Progrès* [1]), утверждает, что

---

[1]) Я не могу удержаться, чтобы не сделать несколько замечаний по поводу этого письма, которое я прочел с тем большим вниманием, что оно исходит от главы, почти всеми признанного теперь, республиканской партии в Париже, от человека, который, вместе с Тьером и Трошю, считается как бы арбитром судеб Франции, занятой пруссаками. Я никогда не придавал большого значения Гамбетте, но, признаюсь, это письмо мне показало его еще более незначительным и более бледным, чем я его себе представлял. Он принял совершенно в серьез свою роль умеренного, разумного и благоразумного республиканца, и в этот ужасный момент, переживаемый нами, в момент, когда Франция рушится и гибнет и когда она может быть спасена лишь в том случае, если все французы поднимутся, Гамбетта находит необходимые время и вдохновение, чтобы написать письмо, которое он начинает с заявления, что он предполагает *„вести достойно роль* правительственной *демократической оппозиции“*. Он говорит о *„программе, в одно и то же время республиканской и консервативной,* которую он наметил себе с 1869 г.“: „проводить главным образом политику, построенную на результатах всеобщего голосования“ (но тогда это политика плебисцита Наполеона III), „доказать, что при настоящих условиях, Республика отныне есть условие спасения Франции и европейского равновесия, что гарантия безопасности, мира и прогресса только в республиканских учреждениях, *благоразумно* практикуемых“ (как в Швейцарии). „Что *нельзя управлять Францией, ведя политику против средних классов, нельзя править ей, не поддерживая* великодушный *союз с пролетариатом*“. (Великодушный с чьей стороны? Без сомнения, со стороны буржуазии). „Только при республиканской форме правления возможно гармоничное примирение между *справедливыми* стремлениями рабочих и *уважением к священным правам собственности.* Святая середина—политика отжившая. Цезаризм—самое вредное, самое гибельное решение. Божественное право окончательно упразднено. *Якобинство* отныне смешное и зловредное слово. Одна только *рациональная,* позитивистская *демократия*“ (слышите вы шарлатана!) „может все примирить, все организовать, все сделать продуктивным“ (Посмотрим как!)

настоящая война может помочь примирению буржуазии с пролетариатом, об'единив эти два класса в общем патриотизме.

Я не думаю этого и совсем не желаю этого. Но чего я хочу, и на что я надеюсь в глубине сердца, это, чтобы настоящая война, эта огромная опасность, грозящая раздавить и поглотить Францию, имела непосредственным следствием действительное слияние города с деревней, рабочих с крестьянами в общей борьбе. В этом будет спасение Франции. И я не сомневаюсь в возможности быстрого осуществления этого слияния, потому что я знаю, что крестьянин глубоко и инстинктивно патриот. Если громко крикнут, громче, чем это делают, чем это могут делать, нынешняя администрация и буржуазные газеты: „Франция в опасности, пруссаки грабят и убивают народ, истребим пруссаков и всех друзей пруссаков“,—французские крестьяне поднимутся и пойдут в братском единении с городскими рабочими Франции.

„1789 г. выставил принципы“ (далеко не все!—Принципы буржуазной свободы, да, но принципы равенства, принципы свободы пролетариата—нет), „1792 г. дал торжество этим принципам“ (и поэтому, вероятно, Франция так свободна!), „1848 г. дал им санкцию всеобщего голосования“ (в июне, разумеется?). „Настоящему поколению надлежит осуществить республиканскую форму правления“ (как в Швейцарии) „и *примирить* на основе справедливости“ (Какой справедливости? юридической, разумеется?) „и избирательного принципа права гражданина и функции государства в прогрессивном и свободном обществе. *Чтобы достигнуть этой цели, нужно сделать две вещи: уничтожить старые [illegible] и успокоить некоторые другие. Внушить буржуазии любовь к демократии и к народу доверие к своим старшим братьям*“. (Почему не доверие к дворянству, которое еще старше буржуазии?)

Когда Гамбетта писал это письмо, он, очевидно, хотел совершить политический акт: приучить буржуазию к слову *республика*. Но не было ли бы еще более политическим действием, вместо того, чтобы писать подобные письма в этот момент крайней опасности, совершить мужественный акт—низложить правительство, которое открыто изменяет Франции и губит ее, так что каждый лишний момент, проведенный им у власти, становится преступлением перед страной со стороны тех, чей долг, и кто имеет возможность, низвергнуть его и кто не делает этого, вероятно потому, что боится потерять свою репутацию мудрости?—Поистине, чем больше я смотрю на этих людей, тем больше я презираю их. Их патриотизм, их гражданственность, их негодование выливаются в словах, и они вкладывают столько энергии в слова, что им не остается больше силы для действия. Момент ужасен. Весьма вероятно, что Мак-Магон потерпел поражение и отступил в Бельгии. Еще несколько дней и Париж будет осажден армией в четыреста тысяч человек. И тогда? Если провинция не поднимется, Франция погибла. (*Примечание Бакунина*).

Они пойдут с ними, как только убедятся, что городские рабочие не претендуют навязать им свою волю, ни какой-нибудь политический и социальный порядок, изобретенный городами для наибольшего блаженства деревень, как только они приобретут уверенность, что рабочие не имеют никакого намерения взять у них землю.

Совершенно необходимо в настоящий момент, чтобы рабочие действительно отказались от этой претензии и от этого намерения и чтобы они отказались так, чтобы крестьяне это знали и убедились в этом. Рабочие должны от этого отказаться, ибо даже когда эта претензия и это намерение казались осуществимыми, они были в высшей степени *несправедливы и реакционны*, а теперь, когда их осуществление стало невозможным, они явились бы, ни больше ни меньше, как преступным безумием.

По какому праву рабочие навяжут крестьянам ту или иную форму правления или экономической организации? По праву революции, говорят нам. Но революция перестает быть революцией, когда она действует деспотически и когда она, вместо того, чтобы вызывать свободу в массах, вызывает в них реакцию. Средство и условие, если не главная цель революции, это—уничтожение принципа власти во всех ее возможных проявлениях, это—полное уничтожение и, если понадобится, насильственное разрушение государства, потому что государство, младший брат церкви, как это превосходно доказал Прудон, есть историческое освящение всех форм деспотизма, всех привилегий, политическая основа для всяких форм экономического и социального порабощения, сама сущность и центр всякой реакции. Когда, стало быть, во имя революции, выводят на сцену государство, хотя бы временное государство, совершают реакцию и трудятся для деспотизма, а не для свободы, для установления привилегии против равенства.

Это ясно, как день. Но рабочие социалисты Франции, воспитанные в духе политических традиций якобинцев, никогда не хотели этого понять. Теперь они будут вынуждены понять это, к счастью, для революции и для них самих. Откуда у них явилась эта претензия, смешная и высокомерная, несправедливая и пагубная, навязать свой политический и общественный идеал десяти миллионам крестьян, которые не хотят его? Это, очевидно, еще одно буржуазное наследство, политический дар, завещанный буржуазным революционеризмом. Каковы основа, об'яснение,

теория этой претензии? Мнимое или действительное превосходство ума и образования, одним словом, рабочей цивилизации над цивилизацией деревень. Но знаете ли вы, что с таким принципом можно считать законным всякий захват, оправдать всякое угнетение? Буржуазия всегда опиралась на этот принцип, чтобы доказать свою миссию, свое право *управлять* или, что то же самое, эксплуатировать рабочий мир. В столкновениях между народами, также как и между классами этот роковой принцип, который есть ничто иное, как принцип власти, об'ясняет и выставляет, как право, всякое вторжение, всякий захват. Разве немцы не выставляли всегда этот принцип, чтобы оправдать свое покушение против свободы и независимости славянских народов и считать законной их насильственную германизацию? Это, говорят они, победа цивилизации над варварством. Берегитесь, немцы уже начинают замечать, что германская протестантская цивилизация значительно выше католической цивилизации народов романской расы, всех вообще, и в частности французской цивилизации. Берегитесь, чтобы они не вообразили скоро, что их миссия цивилизовать вас и сделать вас счастливыми, как воображаете вы, что ваша миссия цивилизовать и освободить насильно ваших соотечественников, ваших братьев, крестьян Франции. Мне, как та, так и другая претензия одинаково ненавистны, и я заявляю вам, что, как в международных отношениях, так и в отношениях между классами, я всегда буду на стороне тех, кого захотят цивилизовать таким способом. Я восстану вместе с ними против всех этих надменных цивилизаторов, называются ли они рабочими или немцами и, восставши против них, я буду служить революции против реакции.

Но если так, скажут мне, так, значит, нужно предоставить невежественных и суеверных крестьян всяким влияниям, всяким интригам со стороны реакции? Совсем нет. Нужно убить реакцию в деревнях, как нужно ее убить в городах. Но, чтобы достигнуть этой цели, недостаточно сказать: мы хотим убить реакцию, нужно ее убить, нужно ее вырвать с корнем, и ее можно вырвать с корнем только декретами.—Наоборот, и я могу это доказать на основании истории: декреты и, вообще, все акты власти ничего не искореняют; они, наоборот, упрачивают то, что хотят убить.

Что отсюда следует? Так как нельзя *навязать* революцию деревням, *нужно произвести ее в деревнях, вызвав революционное движение среди самих крестьян, толкая их*

к разрушению собственными руками существующего общественного порядка, всех политических и гражданских институтов и к созданию, к организации в деревнях анархии.

Для этого существует только одно средство: *говорить с ними и толкать их в направлении их собственных инстинктов.* Они любят землю, пусть они берут всю землю и пусть гонят с земли всех собственников, эксплуатирующих чужой труд. У них нет никакой охоты платить ипотечные долги, налоги. Пусть они не платят их больше. Пусть те из них, кому нежелательно платить своих личных долгов, не будут больше принуждены платить их. Наконец, они ненавидят солдатскую службу, пусть они не будут больше вынуждены давать солдат.

А кто же будет драться с пруссаками? Не бойтесь, когда крестьяне почувствуют, ощутят, так сказать, все выгоды революции, для защиты ее они дадут больше денег и людей, чем можно будет от них получить обычным государственным путем, даже при помощи чрезвычайных мер. Крестьяне сделают против пруссаков то, что они сделали против них в 1792 г. — Нужно только, чтобы ими *овладел Бес*, и лишь одна анархическая революция может вселить в их тело этого Беса.

Но дав им разделить между собою земли, отнятые у буржуазных собственников, не установят ли этим частную собственность на более прочном и новом фундаменте? Нисколько, ибо у нее не будет юридической и политической санкции государства, — государство и весь юридический институт, охрана собственности государством, включая сюда семейное право и наследственное право, должны неизбежно исчезнуть в вихре революционной анархии. Не будет больше ни политических ни юридических прав, — будут только революционные деяния.

Но это будет гражданская война, скажете вы? Так как не будет никакой высшей власти, чтобы охранять частную собственность, и последняя будет защищаться только личной энергией собственника, каждый захочет воспользоваться чужим добром, более сильные будут грабить более слабых. Но что помешает более слабым соединиться между собою, чтобы грабить, в свою очередь, более сильных?

Да, это будет гражданская война. Но почему вы так клеймите гражданскую войну, почему так боитесь ее? Я вас спрашиваю, опираясь на историю, откуда вышли великие идеи, великие натуры, великие народы, из гражданской войны

или же из общественного порядка, навязанного какой нибудь охраняющей властью? Благодаря тому, что вы имели счастье избежать в продолжении двадцати лет гражданской войны, не пали ли вы, великий народ, так низко, что пруссаки могут проглотить вас с одного маху. Возвращаясь к деревне, я спрашиваю вас: что вы предпочитаете, чтобы ваши десять миллионов крестьян объединились против вас в одну дружную, компактную массу, движимые общей ненавистью, вызываемой в них вашими декретами и революционными насилиями, или же, чтобы между ними была рознь, вызванная этой анархической революцией, что позволит вам образовать среди них могучую партию? Но разве вы не видите, что крестьяне так отстали именно потому, что гражданская война не внесла еще розни в деревню? Компактная масса представляет человеческое стадо, мало способное к развитию и мало благоприятное для пропаганды среди него идей. Наоборот, гражданская война, вызывая рознь этой массе, порождает идеи, создавая различные интересы и стремления. Душа, человеческие инстинкты существуют в ваших деревнях, им недостает ума. Гражданская война даст им этот ум.

Гражданская война раскроет широко двери в деревне для вашей социалистической и революционной пропаганды. Вы будете иметь в деревнях, повторяю еще раз, партию, чего у вас нет до сих пор, и вы сможете широко организовать там настоящий социализм, общество, построенное на наиболее полной свободе: вы организуете его снизу вверх, посредством деятельности самих крестьян, деятельности добровольной, *но в то же время вызванной логикой вещей.*

Ваша работа тогда будет настоящей революционно-социалистической работой.

Не бойтесь, что гражданская война, анархия, приведет к разрушению деревни. Во всяком человеческом обществе имеется большой запас инстинкта самосохранения, сила общественной инерции, которая предохраняет его против всякой опасности самоуничтожения, и которая именно и замедляет так и затрудняет революционную деятельность, прогресс. Европейское общество в настоящее время, как в деревнях, так и в городах, но в деревнях еще больше чем в городах, совершенно заснуло, потеряло всякую энергию, всякую силу, всякую самостоятельность мысли и действия, под опекой государства. Еще несколько десятков лет, проведенных в таком состоянии, и этот сон, быть может, пре-

вратился бы в смерть. Но вот благодаря пруссакам, французское государство летит к чорту, рушится. Никакая сила не в состоянии больше спасти его самого, тем менее оно может спасти вас. Если вы не спасете себя сами вашей естественной энергией, вы погибли. Повторяю еще раз, вы находитесь в превосходном положении; но, чтобы воспользоватся им, вы должны иметь силу обнять его все целиком и смелость решиться на все последствия. Главное последствие — вы должны погрузиться в анархию. Так вот вы должны сказать себе, что эту анархию — и вы должны себе сделать из нее свое оружие — вы должны организовать в могучую силу.

Не бойтесь, что крестьяне, раз их перестанут сдерживать общественная власть и уважение к уголовному и гражданскому праву, перегрызут друг другу горло. Быть может, они попробуют это сделать в первое время, но они не замедлят убедиться в материальной невозможности продолжать в том же направлении, и тогда они постараются закончить распри, сговориться и сорганизоваться между собою. Потребность есть и кормить своих детей и, следовательно, необходимость обезопасить свои дома, семьи и свою собственную жизнь от непредвиденных нападений, все это неизбежно и скоро заставит их как нибудь устроиться между собой. И не думайте также, что если они станут устраиваться сами вне всякого вмешательства оффициальной власти, а лишь благодаря силе вещей, наиболее сильные, наиболее богатые возьмут перевес. Богатство богатых не будет больше охраняться законами, оно перестанет, стало быть, быть силой. Богатые крестьяне сильны в настоящий момент только потому, что их особенно охраняют и за ними особенно ухаживают государственные чиновники, и потому, что они опираются на государство. Раз государство, эта опора их, исчезнет, сила их также исчезнет. Что касается наиболее хитрых и наиболее сильных, они принуждены будут отступить перед коллективной силой массы, множества более или менее мелких и совсем мелких крестьян, также как и сельских пролетариев, — массы, в настоящий момент порабощенной, переносящей молчаливо свои страдания, но которую революционная анархия вернет к жизни и вооружит непобедимой силой.

Наконец, я не говорю, что деревни, которые, перестроются таким образом, свободно, снизу вверх, создадут сразу идеальную организацию, отвечающую во всех отношениях

той организации, о какой мы мечтаем. В чем я убежден, так это в том, что это будет живая организация, в тысячу раз лучшая и более справедливая, чем существующая теперь, и которая, к тому же открытая для активной пропаганды городов, с одной стороны, и с другой, не имея возможности зафиксироваться ни, так сказать, окаменеть под охраной государства и закона, — так как не будет ни государства, ни закона, — сможет свободно развиваться и совершенствоваться бесконечно, оставаясь всегда живой и свободной, а не декретированной и установленной законом, и достигнет, наконец, той степени развития, какую мы можем желать и на какую можем надеяться в настоящий момент.

Так как жизнь и самодеятельность, отсутствовавшие в продолжение целых веков, благодаря всепоглощающему действию государства, будут возвращены общинам с уничтожением государства, естественно, что исходной точкой нового развития каждой общины будет не то умственное и нравственное состояние, какое ей приписывает официальная фикция, но действительное состояние цивилизации и, так как степень действительной цивилизации весьма различна между общинами Франции, как и между общинами Европы, отсюда необходимо произойдет большое различие в развитии; это, быть может, будет иметь своим последствием вначале гражданскую войну общин между собой, но потом неизбежно вызовет установление между ними взаимного соглашения, гармонии и равновесия. Будет новая жизнь, создастся новый мир.

Но не парализует ли оборону Франции эта гражданская война, даже если она и выгодна со всевозможных точек зрения, не отдаст ли ее в руки пруссаков эта внутренняя борьба между обитателями каждой общины, к которой прибавится еще борьба общин между собою?

Нисколько. История показывает нам, что никогда народы не чувствовали себя такими сильными во внешних отношениях, как в те моменты когда они внутри представляли из себя взбаломученное море, и, что наоборот, никогда они не были такими слабыми, как тогда, когда они были объединены какой нибудь властью или, вообще, когда среди них господствовал стройный порядок. В сущности, это вполне естественно; борьба, это — жизнь, а жизнь, это — сила. Чтобы убедиться в этом, сравните две эпохи, или даже четыре эпохи своей истории: во-первых, Францию после

Фронды, развившуюся и закаленную в боях, благодаря борьбе Фронды, в молодые годы царствования Людовика XIV, с Францией в его старости, с монархией, твердо установившейся, об'единенной, умиротворенной великим королем,— первая, полная побед, вторая — идущая от поражения к поражению, к крушению. Сравните также Францию 1792 г. с теперешней Францией. В 1792 и 1799 г.г. во Франции шла отчаянная гражданская война; движение захватило всю республику, повсюду велась борьба на жизнь и на смерть. И, однако, Франция победоносно вела войну почти со всеми европейскими державами. В 1870 г. Франция, успокоенная об'единенная в империю, побита германской армией и до такой степени деморализована, что заставляет дрожать за свое существование. В противовес этим двум историческим фактам, вы можете конечно, мне привести пример теперешних Пруссии и Германии, в которых, ни в той ни в другой, не происходит гражданской войны, которые, необорот, особенно покорны и всецело подчиняются деспотизму своего монарха и, тем не менее, проявляют громадную мощь в настоящий момент. Но этот исключительный факт об'ясняется двумя особенными причинами, из которых ни одна не может быть применима к современной Франции: первая — это, страсть к единству, которая продолжает расти в продолжение пятидесяти пяти лет, в ущерб всем другим чувствам и идеям в этом несчастном германском народе. Вторая — это совершенство его административного механизма. Что касается страсти к единству, что касается этого честолюбивого, бесчеловечного, убивающего свободу стремления сделаться великим народом, первым народом в мире, Франция испытала его также в свое время. Эта страсть, подобная тем приступам лихорадки, которые временами придают больному необычайную, сверхчеловеческую силу, но истощают его совершенно и вызывают полнейшее изнеможение, — эта страсть способствовала возвеличению Франции на короткий промежуток времени, но затем привела ее к катастрофе, после которой она не поднялась еще и теперь, 55 лет спустя после битвы при Ватерлоо, так что теперешние ее бедствия, по моему, лишь повторение этой катастрофы, второй апоплектический удар, который, несомненно, убьет политический государственный организм Франции. Так вот, Германией овладела в настоящий момент та же самая лихарадка, та же самая страсть к национальному величию, какую Франция испытала и пережила во всех ее

фазиях в начале нынешнего столетия и которая в данный момент больше не в состоянии возбудить ее и наэлектризовать. Немцы, которые считают себе ныне первым народом в мире, отстали, по крайней мере, на 60 лет, в сравнении с Францией, отстали настолько, что *Staatszeitung*, оффициальная газета Пруссии, позволяет себе обещать им в будущем, как вознаграждение за их геройское самоотвержение, „учреждение великой Германской Империи, основанной на страхе Господнем и истинной морали“. Переведите это на хороший католический язык и вы получите империю, о которой мечтал Людовик XIV. Победы их, которыми они так гордятся теперь, заставляют их отойти на двести лет назад! Поэтому, вся честная и действительно либеральная интеллигенция в Германии — не говоря уже о социалистической демократии — начинает беспокоиться о роковых последствиях их собственных побед. Еще несколько недель таких жертв, какие они должны были принести, наполовину вынужденные, наполовину благодаря экзальтации, и лихорадка, овладевшая ими, начнет уменьшаться, а раз она начнет уменьшаться, она быстро совершенно прекратится. Немцы сочтут свои потери деньгами и людьми, сравнят их с полученными выгодами, и тогда королю Фридриху-Вильгельму и его вдохновителю Бисмарку придется туго. Вот почему для них абсолютно необходимо возвратиться победителями и с полными руками.

Другая причина неслыханной мощи, какую проявляют теперь немцы, это совершенство их административного аппарата. Совершенство не с точки зрения свободы и благоденствия населения, а с точки зрения богатства и силы государства. Административный аппарат, как бы превосходен он ни был, никогда не является жизнью народа: наоборот, он является абсолютным и прямым отрицанием ее. Следовательно, сила его никогда не является естественной, органической, народной силой, — это, наоборот, совершенно механическая и искусственная сила. — Сломанная, она не может возобновиться сама собой, и ее восстановление становится чрезвычайно трудным. Вот почему надо остерегаться через чур напрягать пружины этого механизма так как, если их слишком напречь, машина ломается. А Бисмарк со своим королем слишком уже напрягли пружины административной машины. Германия мобилизовала 1.500.000 солдат и, бог знает, сколько сотен миллионов она издержала. Если Париж

устоит против натиска врага, если вся Франция поднимется вслед за ним, пружины германской империи лопнут.

Франции нечего больше бояться этого несчастья — этого счастья! Благодаря пруссакам, оно совершилось. Машина французского государства сломана, и Гамбетта, Тьер и Трошю, все вместе, даже, еслибы они позвали к себе на помощь бонапартистского людоеда, Паликао, не восстановят ее. Франция не может быть больше наэлектризована идеей национального величия, ни даже идеей национальной чести. Все это осталось позади. Она не может больше защищаться против чужеземного вторжения силою административного аппарата. Правителство Наполеона III исковеркало, расстроило механизм, и пруссаки уничтожили весь аппарат. Что же остается Франции для своего спасения? *Социальная революция*, внутренняя и национальная *анархия* сегодня, завтра — *мировая*.

---

2 сентября.

По мере того, как я пишу, события развертываются и каждое новое, доходящее до меня известие показывает, что я прав. Мак-Магон снова потерпел поражение между Мон-Меди и Седаном, 30 августа. Сейчас, когда я пишу, армия его, вероятно, разбита, и хорошо еще, если он мог отступить, делая громадный обход, к Парижу и не был отброшен в Бельгию. Еще пять — шесть дней и Париж будет осажден огромной армией в триста или четыреста тысяч человек. Надеюсь, будем надеяться все, что Париж будет защищаться до конца и даст время Франции подняться и сорганизоваться всей массой.

Вот, что я прочел сегодня в газете *Бунд*:

„*Корреспонденция из Парижа, 29 августа.* — В Париже царит сегодня сосредоточенное спокойствие, нет ни подавленности, ни замешательства, ни колебаний. Все настроены решительно. *нигде не слышно* политических разговоров, все думают только об обороне. Даже на бирже спокойно. Париж похож теперь на лагерь или на караван-сарай. Женщин и детей отправляют в провинцию. Каждая семья запасается картофелем, мукой, рисом, окороками и мясными экстрактами. Все газеты единодушно утверждают, что война будет продолжаться даже после взятия Парижа и что мир будет заключен только на правом берегу Рейна. То же вы-

сказывается и в частных беседах. Паликао не шутит. Он только что провозгласил декрет, что все здоровые мужчины от двадцати пяти до тридцати пяти лет, которые не явятся на военную службу, будут преданы военному суду. Национальная гвардия тоже будет подчинена военным законам, также как и собственники, которые почувствуют боязнь за свои дома. Рабочие, в случае нужды, расположены возобновить июньские баррикады".

А вот другая корреспонденция из Парижа в *Gazette de Francfort*.

„Начиная от последнего швейцара и до первого биржевого хищника, все согласны, что существование империи отныне стало невозможным, и что спасение только в республике. *Но деспотизм, продолжавшийся двадцать лет, до такой степени уничтожил во французском народе всякую инициативу и всякую привычку к коллективной деятельности, что с тех пор, как правительственная машина перестала функционировать, все смотрят друг на друга растерянно, как дети, потерявшие своих родителей.* Несмотря на единодушное убеждение, что от монархического правительства нечего больше ждать, Париж не мог пойти на решительный шаг. *До сих пор всех парализовал страх, как бы внутренние беспорядки не помешали внешней обороне и не ослабили ее.* Большинство Палаты чувствует, что, оно потеряло всякую моральную власть и что на нем лежит большая часть ошибок, послуживших причиной общественного бедствия. *Меньшинство состоит из адвокатов. Оно превосходно, чтобы составить оппозицию в парламенте, но совершенно неспособно на революционную инициативу.* Что касается рабочей массы, она держится в стороне и будирует. — Недавно приехал в Париж один демократ, происходящий из лучшей семьи одного пограничного города" (должно быть Страсбурга), „с письмом от одного офицера высшего командного состава, умоляющего левую парламентскую фракцию провозгласить как можно скорее республику. „Армия, писал он, совершенно дезорганизована и деморализована, и одна только надежда теперь на немедленное провозглашение республики" Левые ответили посланному этого офицера, что *нужно очень остерегаться, чтобы не совершить какую нибудь неосторожность теперь, когда История работает сама собой*[1]. „Да", ответил послан-

[1] Все это говорит о левых радикалах *Volksstaat*, орган рабочей

ный, „Империя падет всегда достаточно рано, чтобы посадить вас на свое место, *но слишком поздно, чтобы спасти страну*".

Тот же корреспондент прибавляет другой факт, который, я надеюсь, по крайней мере, для чести рабочих, неверен. Он рассказывает, что посланный офицера, получив этот растяжимый ответ левых, „обратился к главарям Интернационала, чтобы уговорить их устроить грандиозную демонстрацию перед законодательным корпусом, которая непременно удалась бы, так как войска заявили, что они не будут стрелять в народ. Но рабочие ответили" (и я хотел бы именно иметь возможность отрицать этот ответ): „Виноваты буржуа. Вы установили и поддерживали Империю. Ешьте теперь суп, который вы сами приготовили, и если пруссаки опрокинут ваши дома на ваши головы, вы получите только то, чего заслужили". Повторяю, я хотел бы не верить, что таков был ответ парижских рабочих, и, однако, настроение рабочих, которое могло бы его продиктовать, подтверждается другой корреспонденцией из Парижа в *Volksstaat* (№ 69), газете, которая не может имет желания оклеветать парижских рабочих, так как она питает самые искренние симпатии к ним. Вот, что говорит корреспондент:

„Для меня всегда представляет большое удовольствие провести несколько часов в воскресенье среди этих *милых* парижских рабочих. Узкая и длинная улица Бельвиль становится вся черная, или скорее, синяя от рабочих блуз, наполняющих ее. Нет шуму, нет пьяных" (виден буржуа и, именно немецкий буржуа, который с высоты своей цивилизации великодушно, снисходительно восхищается рабочим), „нет драки. *Война, повидимому, оставляет довольно равнодушными* избирателей Рошфора. В мэрии предместья только что был вывешен новый бюллетень. В бюллетене говорилось о поражении при Лонжевиле. Блузники прошли мимо, пожимая плечами: „Вы можете, германские солдаты.

социалдемократической партии в Германии (№29, от 27 августа): „Главная причина, мешавшая до сих пор провозглашению республики, это *мелочная добросовестность честных республиканцев, которые движимые ужасной боязнью, внушаемой им демократическим социализмом формально обещали министрам не заниматься переменой формы правления, пока враг будет на французской земле*. Они называют это *патриотизмом*. Но за этим патриотизмом скрывается оставление своих принципов, измена им". *(Примечание Бакунина)*.

говорили они, победить Наполеона и вывесить ваше знамя на Тюилери. Мы оставляем вам собор Парижской Богоматери и Лувр. *Но вам не удастся никогда завоевать эту узкую грязную улицу Бельвиль*".

Все это сначала кажется очень логичным и очень красивым; эти слова, также как и ответ парижских интернационалистов посланному офицера, — если, однако, не доказано, что то и другое неверно, — доказывают, что пролетариат решительно откололся от буржуазии. И, конечно, не я буду на это жаловаться, *лишь бы этот раскол не был пассивным, а активным*. Но что парижские и французские рабочие остаются равнодушными и инертными перед этим ужасным вторжением солдат прусского короля, которое угрожает не только богатству и свободе буржуазии, но и свободе и благоденствию всего французского народа, что из ненависти к буржуазии и, быть может, также вследствие мстительного чувства и презрения и ненависти по отношению к крестьянам рабочие равнодушно относятся к тому, как германские солдаты вторгаются во Францию, грабят, избивают население завоеванных провинций, без различия классов, крестьян и рабочих еще больше, чем буржуа, потому что крестьяне и рабочие оказывают им большее сопротивление, что они равнодушно относятся к тому, что пруссаки собираются завладеть Парижем и, стало быть, стать господами Франции,—вот, чего я никогда не пойму, или, скорее, *вот что я боюсь понять*!

Если бы это было верно,—и я все время надеюсь, что это неверно,—если бы это было верно, вот, что это бы доказывало: во-первых, что рабочие, суживая до крайности экономический и социальный вопрос, свели его к простому вопросу материального благополучия исключительно для самих себя, т. е. к узкой и смешной утопии, без всякой возможности ее осуществить, ибо все связано друг с другом в человеческом мире, и материальное благосостояние может быть только последствием радикальной и полной революции, охватившей, чтобы их разрушить, все нынешние учреждения и организации и свергнувшей прежде всего всякую существующую в настоящее время власть, *военную* и гражданскую, как французскую, так и иностранную. С другой стороны, это доказало бы, что поглощенные этой нездоровой утопией, парижские и французские рабочие потеряли всякое чувство действительности, что они не чувствуют больше и не понимают ничего, что не они сами, и что, следовательно,

они перестали понимать сами условия своего собственного освобождения; что, перестав быть живыми и сильными людьми, с широким сердцем, полными ума, страсти, гнева и любви, они сделались резонерами и догматиками, как христиане Римской Империи. Быть может, мне заметят, что христиане всетаки одержали победу над этой Империей. Не христиане, отвечу я, а варвары, которые, свободные от всякой теологии и всякого догматизма, чуждые всякой утопии, но богатые инстинктами и сильные своей естественной силой, напали на эту ненавистную Империю и разрушили ее. Что касается христиан, то они действительно восторжествовали, но как? Ставши рабами, ибо осуществление их утопии названо Церковью — официальная Церковь, Церковь Византийской Империи, римско-католическая Церковь, источники и главные причины всех глупостей, всех постыдных деяний, всех политических и социальных бедствий до наших дней.

Это доказывало бы, что рабочие, благодаря постоянным теоретическим рассуждениям и догматическим пристрастиям, стали слепыми и глупыми. Как бы они могли иначе вообразить, что пруссаки, ставши хозяевами Парижа, Тюйлери, Собора Парижской Богоматери и Лувра, остановятся перед их сопротивлением в Бельвиль? Рабочие многочисленны, но численность не означает ничего, если силы не организованы. Они были также многочисленны при режиме Наполеона III, однако, он заставили их молчать, жестоко обращался с ними, избивал и расстреливал их; и многие из их друзей, бывшие главари, наполняют еще тюрьмы Парижа и других городов Франции. Почему же такое хвастовство, когда столько трепещущих современных фактов доказывают их бессилие? И к тому же пруссаки тоже многочисленны и, кроме того, они закалены в боях, вооружены, дисциплинированы, организованы. Если их впустят в Париж, что могут сделать против них парижские рабочие? Останется одно, или подчиниться, как рабы, или же дать себя перебить, как давали себя избивать христиане, без сопротивления.

Я понимаю и вполне разделяю ненависть и презрение парижских рабочих к Тюйлери, к Собору Парижской Богоматери и даже к Лувру. Это монументы их рабства. Я понял бы их и приветствовал бы, если бы они взорвали их во время народной борьбы против буржуазии и против государственной власти государства в первые дни социальной революции. Я понял бы также, если бы у них не хва-

тило энергии сделать это самим и они приветствовали бы своих братьев, рабочих Германии, если те, увлеченные и толкаемые революционной бурей в буржуазной Франции, уничтожили бы ее учреждения, монументы, власть и даже некоторых буржуа. Я бы понял все это, горячо сожалея, что рабочие Франции не нашли в себе самих необходимых решимости и энергии, чтобы сделать эту работу своими собственными руками. Ах, еслибы во Францию явилась армия пролетариев, немцев, англичан, бельгийцев, испанцев, итальянцев, высоко несущих знамя революционного социализма и возвещающих миру конечное освобождение труда и пролетариата, я первый бы крикнул французским рабочим: „откройте им свои об'ятия, это ваши братья, и соединитесь с ними, чтобы смести гниющие остатки буржуазного мира!“ Но нашествие, позорящее в настоящий момент Францию, не нашествие демократов и социалистов; это нашествие аристократов, монархистов и военных. Пятьсот или шестьсот тысяч немецких солдат, которые убивают в настоящий момент Францию, это послушные рабы деспота, гордо воображающего о своем божественном праве; ими командуют, их ведут, как автоматов, офицеры и генералы, принадлежащие к самому наглому дворянству в мире. Они злейшие враги пролетариата, — спросите ваших братьев, рабочих Германии. Принимая их мирно, оставаясь равнодушными и пассивными перед этим вторжением деспотизма, аристократизма и германского милитаризма на французскую почву, французские рабочие не только изменили бы своему собственному достоинству, своей собственной свободе и благоденствию, со всеми своими надеждами на лучшее будущее, они изменили бы также и делу пролетариата всего мира, священному делу революционного социализма. Ибо последний повелевает им, в интересах рабочих всех стран, уничтожить эти зверские банды германского деспотизма, как они сами уничтожили вооруженные банды французского деспотизма, истребить до последнего солдата короля Пруссии и Бисмарка, так чтобы ни один не смог оставить живым или вооруженным французскую землю.

Рабочие хотят отомстить буржуазии этим пассивным поведением? Они уже отомстили раз так, в декабре, и они сами заплатили за это мщение двадцатью годами рабства и нищеты. Они наказали гнусное июньское покушение буржуа, сделавшись сами жертвами Наполеона III, который выдал их со связанными руками и ногами эксплуатации

буржуазии. Этот урок показался им недостаточным и они хотят, чтобы еще раз отомстить буржуазии, стать теперь на двадцать лет, а, может быть, и больше, рабами и жертвами прусского деспотизма, который не замедлит выдать их, в свою очередь эксплуатации той же самой буржуазии?

Мстить всегда на своей собственной спине и на пользу тем самым, кому предполагают отомстить, мне не кажется очень остроумным, и поэтому, я не могу верить правильности сообщений немецких корреспондентов. Могут ли столь сознательные парижские рабочие не знать, что окончательная победа пруссаков будет означать гораздо больше еще нищету и рабство французского пролетариата, чем унижение и раззорение французской буржуазии? Только бы было что эксплуатировать, только бы нищета заставляла рабочего продавать свой труд по низкой цене буржуа, буржуазия вновь встанет на ноги, и все ее временные потери падут на пролетариата. Но французский пролетариат, раз он попадет в кабалу к пруссакам, не поднимется долго, если только рабочие какой нибудь соседней страны, более энергичные и более способные, чем он, не возьмут на себя почин социальной революции.

Посмотрим, какие могут быть последствия окончательного торжества пруссаков и мира, продиктованного ими Франции, после взятия Парижа. Франция потеряет Эльзас и Лотарингию и заплатит, по крайней мере, миллиард пруссакам для покрытия их военных издержек. Предположим, что французским рабочим совершенно безразлично, что две французских провинции перейдут во власть Пруссии. Но заплатить миллиард не может быть им безразлично, так как плата такой громадной суммы, как и все налоги, необходимо падет на народ, ибо все, что платит буржуазия, всегда платится народом.

Французские рабочие будут утешать себя надеждою, что раз мир будет заключен, мир неизбежно позорный для Франции, раз Эльзас и Лотарингия отойдут к Германии и миллиард или миллиарды будут заплачены, пруссаки уйдут из Франции и, что тогда они, рабочие, могут совершить социальную революцию? — Напрасная надежда. Неужели они думают, что король Пруссии не боится больше всего на свете социальной революции? и что эта опасность, которая ему угрожает и пугает его, среди его неожиданных успехов больше, чем все армии Франции, вместе или порознь, не является для графа Бисмарка, его вдохновителя

и первого министра, предметом постоянного беспокойства? А если так, могут ли они воображать, что, когда пруссаки, ставши хозяевами Парижа, продиктуют условия мира Франции, они не примут все необходимые меры и гарантии, чтобы обеспечить себе спокойствие и подчинение Франции, по крайней мере, на двадцать лет? Они поставят в Париже правительство, которое будет ненавидеть и презирать вся Франция, за исключением, быть может, крестьян, которых сделают окончательно слепыми, и той бюрократической сволочи, которая, проявляет себя всегда тем более преданной, когда она служит в высшей степени антинародному правительству и которая, не находя никакой опоры во Франции, будет вынуждена основать все свое существование на сильной и заинтересованной поддержке Пруссии. Одним словом, они сделают для Франции то, что Франция Наполеона III сделала сама для Италии. Они учредят прусское вице-королевство в Париже, и при малейшем революционном движении французского народа, в какой бы то ни было части Франции, будут являться немецкие солдаты, как хозяева, чтобы восстановить общественный порядок и повиновение монарху, поставленному силою их оружия.

Я знаю, что эта высказываемая мною мысль и эта справедливое предвидение оскорбят большинство французов, даже в этот ужасный момент, даже среди настоящей катастрофы, которая так неожиданно обнаружила слабость и падение французской нации, как государства: „Как, мы сделаемся вице-королевством пруссаков, мы! Мы подпадем под иго пруссаков! Мы потерпим, чтобы они пришли к нам командовать, как хозяева! Но это смешно! Это невозможно!“ Вот, что мне ответят, за немногими исключениями, все французы. А я им скажу: Нет, это не невозможно; это, наоборот, настолько верно, что, если вы не подниметесь *сегодня же* всей массой, чтобы уничтожить всех до последнего германских солдат, которые вторглись на территорию Франции, *завтра* это будет действительность. Несколько веков национального главенства до того приучили французов считать себя первым, самым сильным народом в мире, что самые умные не видят того, что бросается в глаза всем: *что Франция, как государство, погибла и что она может вновь приобрести свое величие, — не прежнее, национальное, а новое, на этот раз международное — только путем массового восстания французского народа, т. е. путем социальной революции.*

Вы говорите, что это невозможно, а на что же вы рассчитываете, вы, все неудавшиеся государственные люди и несчастные политические деятели Франции, на что рассчитываете вы для защиты против громадного и так хорошо руководимого вторжения германских армий, этих армий с таким большим количеством солдат, соединяющих в себе осторожность, систематическую расчетливость и отвагу, систематически разрушающих одну за другой все дезорганизованные силы, которые Франция, в отчаянии своем, противопоставляет им, идущих мерным, но победоносным шагом на Париж? Сегодня, 2 сентября, какие известия сообщил нам европейский телеграф? Армия Мак-Магона потерпела поражение и теперь в Седане; армия Базэна, после отчаянной битвы, продолжавшейся сутки, разбита и отброшена с громадными потерями за фортификации Меца. Завтра, после завтра, мы узнаем, может быть, что армии Базэна и Мак-Магона, отрезаны и окруженные со всех сторон превосходными силами противника, оставшиеся без провианта и без боевых снарядов, или сдадутся прусакам, или же геройски дадут себя истребить им до последнего солдата. А потом? Потом прусаки будут продолжать свой поход на Париж и окружат его со всех сторон своими армиями, численностью, по меньшей мере, в четыреста тысяч человек.

Но Париж окажет сопротивление. Да, надо надеяться, что парижские рабочие, *стряхнув, наконец, с себя преступную инертность, возьмут* в свои руки оружие, это оружие, которое подлое правительство, терпимое и в некотором роде протежируемое, по трусости и по глупости, республиканцами, заседающими в парламенте, не хотят им давать; нужно надеяться, что парижский народ, выйдя из своего глубокого оцепенения, скорее погибнет вместе с пруссаками под развалинами столицы Франции, чем впустит в нее, как победителя и хозяина, императора Германии. Никто не сомневается, что народ способен и готов это сделать и что он это сделает, если, однако, ему не изменят, с одной стороны, правительство, исключительно бонапартистское и изменническое, а с другой стороны, трусость, неспособность и бессилие, приводящие в отчаяние, республиканских краснобаев.

Но, если даже Париж будет защищаться сверх сил, будет ли спасена Франция? Да, скажут мне, потому что, в это время организуется третья армия, за Луарой, огром-

ная армия. Франция может еще мобилизовать миллион солдат. Парламент уже издал приказ об этой мобилизации. А кто будет организовать эти армии? Паликао? Императрица Евгения, бегущая из Парижа и ищущая себе приют вместе со всем *своим* правительством, то в Туре, то в Бурже, или скорее не в большом каком нибудь городе, а в каком нибудь замке, среди добрых крестьян, столь преданных императору? Императрица Евгения, вызывающая во Франции реакционную гражданскую войну и поднимающая деревни против городов, в тот момент, когда Франция может быть спасена только совместным, единодушным действием деревень и городов? Бонапартистская измена распространяется по всей стране. Это будет смерть Франции.

Но предположим, что республиканцы радикалы — этот *разумный* республиканец, *рационалист* и *позитивист*, называющийся Леоном Гамбетта, со всей своей резонирующей компанией, откроют, наконец, глаза на ужасное положение, в каком очутилась Франция и которому они способствовали своей подлой уступчивостью, предположим, что, устыдившись и полные угрызений совести, они решатся, наконец, на *мужественный акт* (выражение Гамбетты), на революционный акт общественного спасения. Предположим, что они не выпустят из Парижа ни императрицу, ни ее двор, ни ее правительство и ни одного из членов правой парламентской фракции и что для того, чтобы спасти Францию от бонапартистской измены, они их всех повесят на парижских фонарях. Я клянусь, что они этого не сделают, они слишком галантны, слишком джентльмены, слишком буржуа, слишком адвокаты для этого. Но я предполагаю что за неимением достаточной энергии с их стороны, парижский народ, у которого, конечно, нет недостатка в ней, сделает это своими собственными руками. Кто тогда организует восстание во Франции? Республиканское правительство или Комитет общественного спасения, который народ сам образует в Париже. Но из каких людей будут состоять это правительство и этот Комитет? В них войдут, разумеется, Трошю, Тьер, Гамбетта и К°, т. е. те самые люди, которые своими трусливыми колебаниями—колебаниями, вызванными, главным образом, необычайным страхом и отвращением, какие внушает им всем в одинаковой степени революционный социализм, открытое народное восстание,—заставили Францию потерять целый месяц, и это при самых ужасных обстоятельствах, в каких когда либо

находилась Франция. Нужно быть глупцем или слепым, чтобы надеяться на энергичное действие, чтобы ждать чего нибудь хорошего, действительного, реального, со стороны этих людей! Но допустим, наконец, что они будут энергичны или, что, если они не будут таковыми, то парижский народ поставит на их место людей неизвестных и новых, настоящих революционных социалистов. Что сможет сделать это правительство, чтобы организовать оборону Франции?

Первое затруднение состоит в следующем. Эта организация, даже при наиболее благоприятных обстоятельствах и тем более при настоящем кризисе может удастся только при условии, если власть будет находиться в прямых, регулярных, непрерывных сношениях со страной, в которой она предполагает организовать восстание. Но нет никакого сомнения, что через несколько дней после того, как Париж будет окружен иностранной армией, его *регулярные* сношения со страной будут прерваны. При этом условии ничего невозможно организовать. К тому же, правительство, которое будет находиться в Париже, будет до такой степени поглощено обороной Парижа и внутренним управлением этого города, что если бы даже оно было составлено из самых умных и самых энергичных в мире людей, ему будет совершенно невозможно заняться как следует в этот важный момент организацией восстания во Франции.

Правда, революционное правительство, избранное вооруженным населением Парижа, может перенестись из Парижа в какой нибудь крупный провинциальный город, напр., в Лион. Но тогда оно не будет иметь никакого авторитета во Франции, потому что состоящее из людей неизвестных или даже людей, которых деревня ненавидит, избранное не всеобщим голосованием, а только парижским населением, оно, в глазах народа и в особенности крестьян, не будет иметь никакого законного права управлять Францией. Если оно останется в Париже, поддерживаемое парижскими рабочими, оно может еще заставить с собой считаться Францию, по крайней мере, французские города, а, может быть, даже и деревни, несмотря на сильную враждебность крестьян. Ибо, как мне часто повторяли наши французские друзья, Париж обладает историческим престижем во Франции и оказывает такое сильное влияние на воображение французов, что все жители Франции, городов и деревень, в конце кон-

цов, всегда одни более, другие менее охотно, ему повинуются.

Но как скоро революционное правительство покинет Париж, оно потеряет свою силу. Предположим даже, что большой провинциальный город в который оно переедет, напр., Лион, примет его с восторгом и, таким образом, санкционирует власть, избранную парижским населением. Но вся остальная Франция и почти все деревни, не признают его, не будут ему повиноваться.

И какие средства употребит это новое правительство, чтобы заставить себе повиноваться? Нынешнюю административную машину? Но вся администрация бонапартистская: об'единившись с попами, она поднимет бунт в деревнях против него. Оно пошлет для подавления бунта в деревнях регулярные войска, которых, вместо того чтобы послать на фронт сражаться с врагом, употребляют в данную минуту для поддержания осадного положения в наиболее крупных центрах Франции? Но все генералы, все полковники, все офицеры также бонапартисты и ярые бонапартисты, по крайней мере, что касается высшего офицерства. Оно распустит весь командный состав и заставит солдат выбрать самим новых офицеров и новых генералов? Но, предположив даже, что солдаты охотно это сделают, эта реорганизация войск не может совершиться в один день, она возьмет много времени, и в продолжение этого времени пруссаки возьмут Париж и восстание деревень, сначала местное и частичное, поднятое иезуитами и бонапартистами, распространится по всей стране.

Я говорю и повторяю все это, потому что я считаю самым существенным в настоящий момент убедить всех французов, которым действительно дорого спасение Франции, *что они не могут больше спастись правительственными средствами*; что было бы безумием с их стороны надеяться на повторение чудес 1792 и 1793 г. г., которые к тому же были произведены не одним только крайним усилением власти государства, но еще, и в особенности, *революционным* энтузиазмом населения Франции; что государство, созданное людьми 1789 г., еще совсем молодое и, нужно прибавить, полное энтузиазма и само революционное, в 1792 и 1793 г. г. было способно создавать чудеса, но что с того времени оно сильно постарело и очень развратилось. Пересмотренное и исправленное и истрепанное до нельзя Наполеоном I, подновленное и несколько облаго-

роженное реставрацией, обуржуазившееся потом при июльской монархии и, наконец, окончательно превращенное в шайку каналий Наполеоном III, государство сделалось теперь самым большим врагом Франции, самым крупным препятствием к ее воскрешению и ее освобождению. Чтобы спасти Францию, вы должны разрушить его.—Но раз государство, официальное общество, будет разрушено, со всеми своими политическими, полицейскими, административными, юридическими, финансовыми учреждениями, возникнет естественное общество, народ вернет себе свои естественные права.—Это будет спасение Франции и создание новой Франции единением деревень и городов в социальной революции.

Единственно и самое лучшее что правительство, избранное парижским населением, может сделать для спасения Франции, это следующее:

1° Остаться в Париже и заниматься исключительно обороной Парижа;

2° Выпустить воззвание ко всей Франции, об'являя, от имени Парижа, все государственные учреждения и законы уничтоженными и предлагая населению Франции только один закон, закон спасения Франции, спасения каждого и всех, призывая его восстать, вооружиться, отняв оружие у тех, кто его держит, и сорганизоваться, вне всякой опеки и официального руководства, государства, снизу вверх, для своей собственной защиты и для защиты всей страны против вторжения внешних пруссаков и против измены пруссаков внутренних;

3° Об'явить в этом воззвании всем коммунам и провинциям Франции, что Париж, поглощенный заботой о своей собственной обороне, не в состоянии больше управлять Францией. Что, следовательно, отказавшись от своего права и своей исторической роли управлять Францией, он приглашает провинции и коммуны, восставшие во имя спасения Франции, федерироваться между собою, опять таки снизу вверх, и послать своих делегатов в назначенное ими место, куда Париж тоже, конечно, пошлет своих делегатов.— И что собрание этих делегатов составит новое временное и революционное правительство Франции.

Если Париж этого не сделает, если, деморализованный республиканцами, Париж не выполнит этих условий, единственных условий спасения для Франции, *тогда прямой и священный долг* какого нибудь крупного *провинциального*

хорошо взять этот спасительный почин в свои руки, ибо, если никто не возьмет этого почина, Франция погибнет.

Предположим, что ни один из французских городов не возьмет на себя этот почин и что Франция на этот раз погибнет, т. е., что, отдав Париж пруссакам, она примет все условия мира, продиктованные ей Бисмарком. *В каком положении будет тогда социализм во Франции и во всей Европе?*

Посмотрим сначала, в каком положении будет французский народ. Какое правительство может согласиться подписать позорные и гибельные для Франции условия мира, какие прусский король—будущий император Германии, если он вернется победителем и живым из Франции, не преминет, будет вынужден ему навязать? С каким бы презрением я не относился к бессилию, ныне доказанному, радикальной партии, я не думаю, чтобы сами Жюль Симон и Жюль Фавр могли пасть так низко, чтобы подписать эти условия. Республиканцы не подпишут их, и если найдутся среди них некоторые, которые подпишут, то это могут быть только продажные республиканцы, как Эмиль Оливье, покойный министр. Республиканская анти-социалистическая партия, партия, состаревшаяся преждевременно, потому что, она провела всю свою жизнь в платонических стремлениях, вне всякой реальной и положительной деятельности, без сомнения отныне неспособна больше продолжать свое существование и спасти от смерти Францию, но она сумеет, по крайней мере, умереть с честью, не опозорив своих седых волос; и я считаю, что она достаточно горда, чтобы скорее дать себя похоронить под развалинами Парижа, чем подписать мирный договор, который сделает из Франции вице-королевство Пруссии.

Согласятся ли их подписать Тьер и Трошю? Кто знает? Мы мало знаем генерала Трошю. Что касается Тьера, этого истинного представителя буржуазной политики и буржуазного парламентаризма, мы достаточно хорошо знаем его и знаем, что крупные грехи лежат на его совести. Это он, больше чем кто либо другой, был душою реакционного заговора в учредительном Собрании и способствовал избранию принца в президенты в 1848 г. Но в нем есть великий государственный патриотизм, которому он никогда не изменял и который собственно и составляет всю его политическую доблесть. Он искренно, страстно любит величие и славу Франции, и, я думаю, что и он также скорее умрет, чем

подпишет падение Франции. К тому же, Тьер и Трошю оба орлеанисты, а Орлеанские принцы нелегко подпишут условия Бисмарка, так как это было бы с их стороны подлым и в то же время неполитическим актом. Впрочем, *chi lo sa*[1]? Им надоело оставаться так долго без короны, и „Париж стоит обедни", сказал их предок Генрих IV.

Но укажите мне, напр., на Эмиля Жирардэн. Укажите мне на господ сенаторов, государственных советников, дипломатов, членов приватного совета и кабинета императора. О, тогда другое дело. Эти господа изощрились во всяких подлостях, они с удовольствием продадутся; они все продажные, и их можно дешево купить. Что касается императрицы Евгении, она, без сомнения, способна отдаться всей прусской армии, лишь бы эта последняя захотела сохранить опозоренный венец Франции на голове ее сына.

Всего вероятнее, я думаю, что если будет заключен мир, то этот мир будет подписан бонапартистами. Несомненно, что какое бы ни было правительство, которое его подпишет, оно будет неизбежно, в силу вещей, вассалом Пруссии, униженным и преданным слугой графа Бисмарка; очень искренним слугою, так как, презираемое и ненавидимое Францией, оно будет иметь поддержку только со стороны Пруссии, будет существовать только благодаря ей.

Зная, что оно будет тем ненавистнее своей собственной стране, чем более действительной будет поддержка, оказанная ему извне, новое правительство Франции должно будет, столько же в своих собственных интересах, как и обязанное по отношению к своему властелину, организовать Францию и править ей таким образом, чтобы она не могла нарушать ни внутреннего спокойствия ни внешнего мира.

Административный гнет, который тяготит над ней и так глубоко деморализовал ее в продолжение последних двадцати лет, будет неизбежно усилен. Нынешняя административная централизация будет сохранена, с той только разницей, что действительный центр ее будет больше не в Париже, а в Берлине. Сохранен будет также большей частью весь персонал этой администрации, потому что этот персонал слишком большие услуги оказал Пруссии. Разве все эти крупные и мелкие чиновники империи, которые усовершенствовались двадцатилетней практикой в искус-

---

[1]) Кто знает.

стве угнетать, раззорять и развращать население, не оставили без защиты свои префектуры и коммуны и не открыли двери их пруссакам?

Налоги будут значительно увеличены. Бюджет не будет уменьшен, наоборот, будут принуждены его увеличить. Потому что к дефициту, столь близкому к банкротству, который оставит в наследство Наполеон III, нужно будет прибавить проценты по всем военным займам, а также проценты на миллиарды, которые будут уплочены Пруссии. Обязательный курс французских банковых билетов, вотированный Палатой только, как временная мера и только на время войны, останется, и, также как в Италии, золото и серебро уступят место бумажным деньгам, которые никогда не достигнут своей номинальной стоимости.

Налоги должны быть увеличены уже по той простой причине, что увеличению цыфры государственных расходов будет соответствовать не увеличение, а значительное уменьшение цыфры плательщиков налогов, ибо Эльзас и Лотарингия будут отделены от Франции. Прямые налоги возрастут, вследствие уменьшения суммы косвенных налогов, а эта последняя должна необходимо уменьшиться, благодаря торговым договорам, выгодным для Германии, но раззорительным для Франции, которые Пруссия не минует навязать этой последней, как Французская империя в свое время сделала это по отношению к Италии.

Торговля и промышленность Франции, уже и без того раззоренные войной, еще ухудшатся от такого мира. Национальное производство уменьшится и вместе с ним понизится величина заработной платы, тогда как налоги, которые в конечном счете всегда падают на пролетариат, и, следовательно, цены на с'естные припасы возрастут. Французский народ станет беднее, а чем он будет беднее, тем необходимее будет удерживать его от взрыва.

Крестьян будут держать в повиновении, главным образом, при помощи *морального* воздействия иезуитов. Воспитанные в благочестии, вере в догматы римско-католической церкви, они легко поддаются влиянию последних, и их будут продолжать систематически возбуждать против либерализма и республиканизма буржуазии и против социализма городских рабочих. Сильно ошибаются те, кто думает, что Бисмарк и старик Вильгельм, король Пруссии, его ученик и господин, как протестанты, будут врагами иезуитов. В протестанских странах они будут продолжать ока-

зывать поддержку протестанским лицемерам и ханжам, но в католических странах они будут продолжать поддерживать иезуитов; потому что те и другие одинаково ценны для проповеди народам терпения, подчинения и покорности.

Громадное большинство буржуа будут, конечно, недовольны. Оскорбленные в своем чувстве патриотизма и чувстве национального тщеславия, они, кроме того, будут еще раззорены. Многие семьи, принадлежащие к средней буржуазии, попадут в ряды мелкой буржуазии и многие мелкие буржуа очутятся в рядах пролетариата. Напротив, буржуазная олигархия еще больше завладеет всеми делами и всеми доходами торговли и национальной промышленности; и биржевые хищники будут спекулировать на несчастьях Франции.

Буржуазия будет недовольна. Но ее недовольство не будет представлять непосредственной опасности. Оторванная от пролетариата, благодаря своей ненависти, как сознательной, продуманной, так и инстинктивной к социализму, она бессильна, в том смысле, что она потеряла способность творить революцию. У нее остается еще некоторого рода медленно разлагающая деятельность, она может подрывать учреждения и, в конце концов вызвать их крушение, критикуя их и постоянно слегка воюя против них, как это замечается в настоящий момент в Италии, но она больше не способна ни на смелые идеи, ни на энергичные решения, ни на великие акты. Она кастрирована и пришла окончательно в состояние каплуна. Она может, стало быть, причинять беспокойство правительству, но не угрожать ему серьезной опасностью.

Серьезная опасность правительству может притти только со стороны городского пролетариата. Поэтому против него оно и направит, главным образом, все свои средства задушения и репрессии. Его первое средство будет состоять в том, чтобы совершенно изолировать пролетариат, возбуждая сначала против него, как я уже об'яснял, население деревень и затем мешая всеми способами, сильно помогаемое в этом крупной и средней буржуазией, присоединиться к пролетариату мелкая буржуазия на почве социализма. Его вторым средством будет деморализовать пролетариат и помешать ему всевозможными предварительными и принудительными мерами в его умственном, нравственном и общественном развитии: главной мерой будет, разумеется, запрещение и яростное преследование всех ра-

бочих сообществ и, прежде всего, конечно великого, спасительного Международного Товарищества работников всего мира. Третьим и последним средством его будет подавлять всякое рабочее движение вооруженной силой.

Армия этого правительства превратится, наконец, совершенно в корпус жандармов, слишком слабый и слишком плохо организованный для защиты независимости страны, достаточно сильный, чтобы подавлять бунты его недовольного населения. Неизбежное и значительное сокращение французской армии, что Пруссия не минует потребовать от побежденной Франции, будет единственной выгодой, какая последует от этого позорного мира. Если бы Франция вышла из этой войны, по крайней мере, равной Пруссии в независимости, безопасности и силе, это сокращение армии могло бы стать для нее источником большой и полезной экономии. Но при Франции побежденной, ставшей вице-королевством Пруссии, французское население не извлечет из этого решительно никакой выгоды, ибо те деньги, которые будут сбережены на расходах по армии, нужно будет истратить на то, чтобы подкупить, умиротворить, приспособить к новому строю совесть и волю оффициального мира, общественное сознание и ум *интеллигенции* и привилегированных классов. Систематический подкуп этих классов стоит чрезвычайно дорого, и современная Италия, также как и императорская Франция, знает это по опыту.

Армия, стало быть, будет значительно сокращена, но в то же время усовершенствована в смысле жандармской службы, которую одну только она и призвана будет отныне выполнять. Что касается защиты Франции от внешних нападений, со стороны Италии, Англии, России или Испании, или даже Турции, Бисмарк и его великодушный монарх, великодушный император Германии, не позволят, чтобы она занималась этим сама. Это отныне будет их делом. Они гарантируют и будут охранять могучими средствами целостность своего Парижского вице-королевства, как император Наполеон III гарантировал и охранял целостность своего флорентийского вице-королевства.

Таково, конечно, будет положение Франции, когда она примет и подпишет условия Пруссии. Посмотрим теперь, каково будет положение рабочих в этой новой Франции?

В экономическом отношении они будут бесконечно беднее. Это так ясно, что не требуется даже этого доказы-

вать. В политическом отношении положение их также будет гораздо более худшим. Можно быть уверенным, что когда кончится эта война, главной заботой всех правительств Европы будет свирепствовать против рабочих сообществ, подкупать их, распускать, разрушать всеми способами и всеми средствами законными и незаконными. Это будет самым большим делом правительств, ибо, так как все другие классы общества перестанут быть опасными для существования государства, им останется только бороться с рабочим миром.

И, действительно, дворянство, потеряв совершенно всякую независимость своего положения, интересов и духа, давно уже связало себя с государством, даже в Англии. Духовенство и Церковь, несмотря на свои невинные мечты о духовном и даже мирском главенстве и господстве, несмотря на вновь провозглашенную непогрешимость папы, в действительности являются в настоящий момент лишь государственным институтом, нечто вроде черной полиции над душами в пользу государства, потому что вне государства они не могут больше иметь ни доходов ни силы. Наконец, буржуазия, я уже говорил и еще раз повторяю, буржуазия окончательно опустилась до состояния каплуна. Она была мужественной, смелой, геройской, революционной восемьдесят лет тому назад; она еще раз стала такой пятьдесят пять лет тому назад и оставалось такой, хотя уже в гораздо меньшей степени, во время Реставрации, с 1815 до 1830 г. Добившись своего, удовлетворенная июльской революцией, она хранила еще революционные мечты до июня 1848 г. В эту эпоху она стала окончательно реакционной. В настоящий момент государство ей приносит пользу, и, следовательно, она является самой заинтересованной, самой страстной его сторонницей.

Остаются, стало быть, крестьяне и городские рабочие. Но крестьяне почти во всех странах западной Европы,—за исключением Англии и Шотландии, где крестьян в собственном смысле слова не существует, за исключением Ирландии, Италии и Испании, где они находятся в нищенском состоянии и, следовательно, являются революционерами и социалистами, не зная этого сами,—в особенности во Франции и Германии, крестьяне полу-удовлетворены; они пользуются или думают, что пользуются, выгодами, которые, как они воображают, в их интересах сохранить против посягательств социальной революции; у них есть соб-

ственность, тщеславная мечта о собственности, которая, если не приносит им действительной пользы, то, по крайней мере, заманчиво рисуется в их воображении. Кроме того, они систематически поддерживаются правительствами и всеми оффициальными и оффициозными государственными Церквами в грубом невежестве. Крестьяне составляют в настоящий момент главную, почти единственную основу, на которой зиждятся безопасность и сила государств. Они, стало быть, являются предметом особенного внимания со стороны всех правительств. Ум крестьянина систематически обрабатывают, культивируя в нем нежные цветы христианской веры и верности монарху и сея спасительные растения ненависти к городу. Несмотря на все это, крестьян можно поднять, как я уже об'яснял это в другом месте, и их поднимет, рано или поздно, социальная революция; и это по трем простым причинам: 1° Благодаря своей отсталой цивилизации или своему относительному *варварству*, они сохранили во всей неприкосновенности простой, здоровый темперамент и всю энергию, свойственную народной натуре; 2° Они живут трудом своих рук и у них вырабатывается своя мораль под влиянием этого труда, который воспитывает в них инстинктивную ненависть ко всем привилегированным паразитам государства, ко всем эксплоататорам чужого труда; 3° Наконец, так как они сами труженики, то у них с городскими рабочими общие интересы, их разделяют только предрассудки. Сильное действительно социалистическое и революционное движение может сначала поразить их, но их инстинкт и здравый смысл заставят их скоро понять, что социальная революция вовсе не стремится отобрать у них то, что они имеют, она стремится к торжеству и установлению везде и для всех священного права труда на развалинах всех видов привелигированного паразитизма. И когда рабочие, оставив претенциозный и схоластический язык доктринерского социализма, охваченные сами революционной страстью, скажут им просто, без обиняков и без лишних фраз, чего они хотят; когда они придут в деревню, не как учителя, а как братья, как равные, вызывая революцию, но не навязывая ее сельским труженикам; когда они предадут пламени все гербовые бумаги, судебные разбирательства, купчие крепости, государственные бумаги, частные векселя, ипотеки, своды уголовных и гражданских законов; когда они устроят фейерверк из всей этой кучи бумаг, являющихся

показателем и оффициальной санкцией рабства и нищеты пролетариата, — тогда, будьте уверены, крестьянин их поймет и восстанет вместе с ними. Но, чтобы крестьяне поднялись, нужно непременно, чтобы почин революционного движения взяли на себя городские рабочие, потому что только эти последние соединяют в себе в настоящий момент инстинкт, ясное сознание, идею и осознанную волю социальной революции. Следовательно, вся опасность, угрожающая существованию государств сосредоточена в данный момент исключительно в городском пролетариате.

Все правительства Европы хорошо знают это, и поэтому, имея могучую поддержку со стороны богатой буржуазии, об'единенной плутократии всех стран, они употребят все усилия после войны, чтобы убить, извратить, чтобы подавить окончательно этот революционный элемент в городах. *После войны 1815 г. был политический священный Союз всех государств против буржуазного либерализма. После настоящей войны, если она кончится торжеством Пруссии, т. е. торжеством международной реакции, будет Священный Союз, одновременно политический и экономический, тех же государств, ставших еще более сильными, благодаря заинтересованной помощи буржуазии всех стран, против революционного социализма пролетариата.*

Таково, в общем, будет положение социализма во всей Европе. Я к этому вернусь еще. Но прежде я хочу рассмотреть, каково должно быть совершенно специальное, положение французского социализма после этой войны, если она кончится позорным и гибельным для Франции миром. Рабочие будут бесконечно более недовольны и в гораздо худшем экономическом положении, чем они были до сих пор. Это само собою понятно. Но следует-ли отсюда: 1°, что их настроение, их дух, их воля и решения станут более революционными? и 2°, что, если даже их настроение станет более революционным, им будет легче или, что у них будет такая же легкость, как в настоящий момент, совершить социальную революцию?

На каждый из этих вопросов я, не колеблясь, отвечу отрицательно, и вот почему. *Primo*, что касается революционного настроения рабочих масс,—я здесь не говорю, разумеется об отдельных личностях—оно не зависит только от большей или меньшей степени нищеты и недовольства, но еще и от веры рабочих масс в справедливость и необходимость торжества их дела. С тех пор как существуют по-

литические общества, массы всегда были недовольны и всегда были бедны, потому что все политические общества, все государства, как республиканские, так и монархические, с начала истории и до наших дней, всегда и исключительно были основаны, лишь с различной степенью откровенности, на нищете и принудительном труде пролетариата. Стало быть, как материальными благами, так и политическими и общественными правами, всегда пользовались привелигированные классы; на долю же трудящихся масс во всех политически организованных обществах всегда выпадали материальные бедствия, презрение и насилие со стороны господствующих классов. Отсюда их вечное недовольство.

Но это недовольство лишь редко вызывало революции. Мы видим, что есть даже народы, доведенные до степени крайней нищеты, которые однако молчат. Отчего это происходит? Уж не довольны ли они своим положением? Нисколько. Это происходит оттого, что у них нет сознания своего права ни веры в свою собственную силу; и так как у них нет ни этого сознания ни этой веры, они в продолжение целых веков остаются беспомощными рабами. Каким образом то и другое рождается в народных массах? Сознание своего права является в индивиде следствием теоретической науки, но также и следствием его практического жизненного опыта. Первое условие, т. е. теоретическое умственное развитие еще нигде и никогда не осуществлялось для масс. Даже в европейских странах, где народное образование наиболее широко поставлено, как, напр., в Германии, оно до такой степени мизерно и в особенности так искажено, что не стоит почти о нем и говорить. Во Франции оно ничтожно. И, однако, нельзя сказать, чтобы рабочие массы последней не сознавали своих прав. Откуда же у них явилось это сознание? Единственно из их великого исторического опыта, который, развиваясь на протяжении столетий и передаваясь из века в век, постоянно возрастая и постоянно обогащаясь новыми несправедливостями, новыми страданиями и новыми несчастьями, просветила пролетарские массы. Пока народ не пришел в состояние упадка, всегда происходит прогресс в этом спасительном опыте, единственном учителе народных масс. Но нельзя сказать, что во все эпохи истории народа этот прогресс одинаков. Наоборот, он очень неровен. Иногда он идет быстрым темпом, очень чувствительный, размашистый,

иногда замедляется или останавливается; иногда же кажется, что все идет вспять. Отчего так бывает?

Это, очевидно, зависит от характера событий данной исторической эпохи. Есть события, которые электризуют народ и толкают вперед; другие оказывают до такой степени плачевное, отчаянное, угнетающее действие на общее состояние народного сознания, что крайне подавляют его или совращают с пути, иногда совершенно извращают его. Можно, вообще, отличить в историческом развитии народов два противоположных движения, которые я позволю себе сравнить с морским приливом и отливом.

В некоторые эпохи, которые обыкновенно являются предвестниками великих исторических событий, великих побед человечества, кажется, что все идет ускоренным шагом, все дышит силой: умы, сердца, воля, все идет в унисон, все как будто идет к завоеванию новых горизонтов. Тогда появляется во всем обществе как бы электрический ток, который об'единяет наиболее отдаленные друг от друга личности в одном общем чувстве, наиболее разнохарактерные умы в одной общей мысли и который сообщает всем одну и ту же волю. Тогда каждый полон веры, смел и бодр, потому что он чувствует себя движимым общим со всеми чувством. Таков был, чтобы оставаться в пределах современной истории, конец восемнадцатого века, накануне Великой Революции. Таков был, хотя в гораздо меньшей степени, характер эпохи, предшествовавшей революции 1848 г. Таков, наконец, я думаю, характер нашей эпохи, повидимому, возвещающей нам события, которые, может быть, превзойдут по своему величию события 1789 и 1793 г.г.

Разве то, что мы чувствуем, что мы видим в эти грандиозные, могучие эпохи, не может быть сравнено с приливом океана?

Но есть другие эпохи, мрачные, унылые, роковые, в которые все дышет упадком и смертью, и которые представляют настоящее затмение общественного и индивидуального сознания. Это отливы, которые постоянно следуют за великими историческими катастрофами. Такова была эпоха первой Империи и Реставрации. Таковы были девятнадцать или двадцать лет, которые следовали за июньской катастрофой 1848 г. Таковы будут, в еще более ужасной степени, двадцать или тридцать лет, которые последуют за победой над народной Францией армиями прусского дес-

нота, если правда, что рабочие, что французский народ достаточно малодушен, чтобы отдать Францию.

Такая великая историческая подлость была бы доказательством, что господа профессора Германии и полковники короля Пруссии [1] правы, утверждая, что роль Франции в развитии общественных судеб человечества кончена, что яркий французский ум, этот светящий маяк новейших веков, окончательно затмился, что ему больше нечего сказать Европе, что он умер, и что, наконец, этот великий и благородный народный характер, эта энергия, этот героизм, эта французская смелость, которые бессмертной революцией 1793 г. разрушили средневековую гнусную тюрьму и открыли всем народам новый мир свободы, равенства и братства, не существуют больше: что французы до такой степени пали в настоящий момент и сделались такими неспособными хотеть, дерзать, бороться и жить, что им не остается ничего лучшего как лечь, как рабы, на пороге этого мира, у ног прусского министра.

Я вовсе не националист. Я даже ненавижу всей душой так называемый принцип национальностей и рас, который выставили Наполеоны III, Бисмарки и руские Императоры только для того, чтобы уничтожить во имя их свободу всех народов. Буржуазный патриотизм в моих глазах лишь весьма мелочная, весьма узкая, весьма корыстная в особенности и глубоко противочеловеческая страсть, имеющая целью лишь сохранение силы и мощи национального государства, т. е. сохранение всех эксплуататорских привилегий в среде данного народа. Когда народные массы патриотичны, они глупы, какова теперь *часть* народных масс в Германии, которые дают убивать себя десятками тысяч с глупым энтузиазмом, ради создания единства и ради установления германской империи, которая, если она когда нибудь появится на развалинах побежденной Франции, станет могилой всех надежд на будущее. Меня, стало быть, интересует в данный момент не спасение Франции, как великой политической державы, как государства, ни императорской Франции, ни королевской, ни даже французской республики.

Я считал бы громадным несчастьем для всего человечества гибель и смерть Франции, как великого национального характера; смерть этого последнего, этого французского

---

[1]) Прочтите наглое и характерное письмо, адресованное полковником Гольштейном Эмилю Жирардэн (*Примечание Бакунина*).

духа, этих благородных, героических инстинктов и революционной смелости, которые дерзнули взять приступом, чтобы разрушить их, все освященные и упроченные историей авторитеты, все силы неба и земли. Если эта великая историческая натура, называемая Францией, исчезнет в данную минуту, сойдет с мировой сцены, или, что будет еще хуже если эта благородная и умная нация с своей величественной высоты, на какую ее поставили труд и героический гений прошлых поколений, упадет вдруг в грязь, продолжая жить рабом Бисмарка, громадная пустота образуется в мире. Это будет больше чем национальная катастрофа, это будет несчастье, падение всего мира.

Вообразите себе Пруссию, Германию Бисмарка, вместо Франции 1793 г., вместо той Франции, от которой мы все ждали, от которой мы еще ждем теперь почина социальной революции!

Мир до такой степени привык следовать за инициативной Францией, привык видеть ее всегда смело идущей вперед, что и теперь еще, в момент, когда она кажется погибшей, раздавленной бесчисленными армиями и когда ей изменили все официальные власти, также как и бессилие и очевидная глупость всех ее буржуазных республиканцев, мир, все страны Европы, удивленные, обеспокоенные, опечаленные ее видимым падением, ждут от нее еще своего спасения. Они ждут, чтобы она дала им сигнал освобождения, выбросила лозунг, подала пример. Все взоры обращены не на Мак-Магона или Базэна, а на Париж, Лион, Марсель. Революционеры всей Европы двинутся только тогда, когда двинется Франция.

Рабочая социал-демократическая партия этой великой германской нации, которая, повидимому, в настоящий момент послала всех сыновей своего дворянства и буржуазии, чтобы занять народную Францию; эта партия, которая, надо отдать ей вполне заслуженную справедливость, в самом начале войны, среди воинственного энтузиазма всей дворянской или буржуазной Германии, открыто протестовала против вторжения во Францию, ждет с тревогой и страстным нетерпением революционного движения Франции, сигнала к мировой революции. Все социалистические газеты Германии умоляют рабочих Франции провозгласить как можно скорее демократическую и социальную республику,— не ту жалкую *рациональную или позитивистскую благоразумно практикуемую* республику, какую рекомендует бедный

Гамбетта, а великую Республику, мировую Республику пролетариата,—чтобы они могли, наконец, открыто и громко, словами и актами, протестовать вместе с настоящим германским народом против воинственной политики привилегированных классов Германии, не рискуя попасть в лагерь людей, защищающих сторону императорской Франции, Франции Наполеона III.

Таково, стало быть, теперь, и больше чем когда либо, ответственное положение революционной Франции, несмотря на все ее несчастья и, быть может, именно благодаря этим ужасным несчастьям, впрочем, вполне заслуженным. От поднятия, высоко и смело, ее знамени и торжества его, мир ждет своего спасения.

Но кто будет нести это знамя? Буржуазия? Я думаю, что достаточно уже сказал, чтобы доказать неоспоримым образом, что современная буржуазия, даже наиболее республиканская, наиболее красная, стала огныне трусливой, глупой, бессильной. Если ей в руки дадут знамя революционной Франции, она его уронит в грязь. Пролетариат Франции, городские рабочие и крестьяне, соединившись вместе, но в особенности первые, одни только могут держать высоко в своих могучих руках это знамя для спасения мира.

Такова в настоящий момент их великая миссия. Если они ее выполнят, они освободят всю Европу. Если они спасуют, они сами погибнут и осудят европейский пролетариат, по меньшей мере, на пятидесятилетнее рабство.

Они сами погибнут. Ибо не могут же они воображать, что если они согласятся теперь подпасть под иго пруссаков, они найдут в себе необходимые ум, волю и силу, чтобы совершить социальную революцию. Они очутятся, после этой постыдной катастрофы, в тысячу раз худшем положении, чем их предшественники, французские рабочие после июньской и декабрьской катастроф. Некоторые редкие рабочие могут сохранить революционные ум и волю, но у них не будет революционной веры, потому что эта вера возможна лишь, когда чувства индивида находят эхо, поддержку в инстинктах и единодушной воле масс; но они не найдут больше этого эхо и поддержки в массах: массы будут совершенно деморализованы, раздавлены, дезорганизованы и обезглавлены.

Да, дезорганизованы и обезглавлены, потому что новое правительство, это вице-королевство или вице-империя, которая будет установлена, охраняема и управляема из Бер-

лина великим канцлером германской империи, графом Бисмарком, будет употреблять против пролетариата, и в гораздо больших еще размерах, *меры общественного спасения*, которые так удались сначала генералу Кавеньяку, диктатору республики, и потом этому подлому Роберу Макэр, [1]) который в звании принца - президента и потом французского императора спокойно убивал, грабил и позорил Францию в продолжение двадцати двух убийственных лет.

Каковы эти меры? Они очень просты. Прежде всего, чтобы окончательно дезорганизовать рабочие массы, будет совершенно уничтожено право союзов. Не только будет распущено это великое международное сообщество, которого так боятся и которое так ненавидят. Помимо мастерских, в которых французские рабочие будут подвергаться самой строгой дисциплине, им будут запрещены всякого рода союзы с какой бы целью они не создавались. Таким образом, убьют дух рабочих и всякую надежду создать в них, путем собраний и дискуссий, которые одни только могут развить их кругозор теперь, какую нибудь коллективную волю. Рабочие, как это было после декабрьских дней, будут интеллектуально и морально совершенно изолированы друг от друга и, благодаря этому изолированию, будут осуждены на полное бессилие.

В то же время, чтобы обезглавить рабочие массы, арестуют и отправят в Кайенну несколько сот, быть может, несколько тысяч самых энергичных, самых умных, самых убежденных и самых преданных рабочих, как это было сделано в 1848 и 1851 г.г.

Что будут делать тогда дезорганизованные и обезглавленные рабочие массы? Они будут щипать траву и, подгоняемые голодом, будут работать, как каторжные, чтобы обогатить своих хозяев. Ждите революции от народных масс, доведенных до подобного состояния!

Но если, несмотря на такое отчаянное положение, толкаемый этой французской энергией, которая никогда не может легко покориться смерти, толкаемый еще больше своим отчаянием, французский пролетариат восстанет, о! тогда для усмирения его будут пущены в ход старой и новой системы ружья, скорострельные и дальнобойные, и против этого опасного аргумента, против которого он не сможет

---

[1]) Робер Макэр имя французского палача той эпохи. Бакунин здесь называет этим именем Наполеона III. Прим. переводчика.

выставить ни коллективный ум, ни организацию, ни коллективную волю, а лишь одно свое отчаяние, он будет в десять, во сто раз бессильнее, чем когда либо.

И тогда? — Тогда французский пролетариат перестанет считаться среди действенных сил, толкающих вперед развитие и освобождение европейского пролетариата. Могут еще быть писатели социалисты и социалистические газеты во Франции, если, однако, новое правительство и германский канцлер, граф Бисмарк, это позволят. Но ни писатели, ни философы, ни их творения, ни, наконец, социалистические газеты не составят еще живого и могучего социализма. Этот последний находит реальное существование лишь в сознательном революционном инстинкте, в коллективной воле и в собственной организации самих рабочих масс: и когда этот инстинкт, эта воля и эта организация отсутствуют, лучшие книги в мире являются лишь теориями в пустом пространстве, бессильными мечтами.

Ясно, стало быть, что если Франция подчинится Пруссии, если в этот ужасный момент, в которой ставится на карту все ее настоящее и вместе с тем все ее будущее, она не предпочтет смерть всех своих сыновей и уничтожение всех своих богатств, сожжение своих деревень, своих городов и всех своих домов — рабству под игом пруссаков, если она не поборет силою народного и революционного восстания силы бесчисленных германских армий, до сих пор побеждавших во всех пунктах, угрожающих ей в ее достоинстве, в ее свободе и даже в ее существовании, если она не станет могилою для всех этих шести сот тысяч солдат германского деспотизма, если она не противопоставит им единственное средство, способное победить их при существующих обстоятельствах, если она не ответит этому наглому вторжению социальной революцией, не менее беспощадной и в тысячу раз более грозной, — тогда, говорю я, нет сомнения, что Франция погибнет, ее рабочие массы будут рабами, и французский социализм покончит свой век.

Посмотрим, каково будет положение социализма в данном случае, каковы будут шансы рабочего освобождения в остальной Европе?

В каких странах, кроме Франции, социализм сделался действительной силой? В *Германии*, *Бельгии*, *Англии* и *Испании*.

В *Италии* социализм находится еще в детском состо-

янии. Боевая часть рабочих классов, в особенности в северной Италии, недостаточно еще освободилась от исключительных забот политического патриотизма, находясь в данном случае под могучим влиянием великого агитатора и патриота Италии, настоящего создателя итальянского единства, Джюзеппе Мадзини. Итальянские рабочие—социалисты и революционеры инстинктивно и благодаря своему положению, как все без исключения рабочие в мире. Но итальянские рабочие находятся еще в почти абсолютном неведении настоящих причин жалкого положения рабочего и не знают, так сказать, истинного характера своих собственных инстинктов. Они изнемогают под бременем работы, которая едва прокармливает их, жен их и детей, с ними отвратительно обращаются, они умирают с голоду, и, слепо поддаваясь влиянию радикальной и либеральной буржуазии, они говорят о походе на Рим, точно камни Колизея и Ватикана дадут им свободу, отдых и хлеб; и они устраивают теперь по всем городам митинги, чтобы принудить *своего короля* послать *своих солдат* против папы; как будто этот король и солдаты, так же как и эта буржуазия, первые — оффициальные защитники, последняя — привилегированные эксплуататоры права собственности, не являются главными непосредственными причинами их нищеты и рабства!

Эта исключительно политическая и патриотическая забота без сомнения весьма благородна с их стороны, но нужно сознаться в то же время, что она очень глупа.

С известной точки зрения, однако, можно оправдать в некоторой степени это стремление итальянских рабочих устроить поход против Рима, так как „вечный город“ является столицей интеллектуального и морального деспотизма, резиденцией непогрешимого папы. Уже века, как все итальянские города, и с большим основанием, считают власть и деятельность католического папы одной из постоянных и основных причин их несчастий и рабства, и они хотят с ним покончить. Это одно из тех самодовлеющих, исторических стремлений, которых никакие доводы, как бы справедливы они ни были, не могут преодолеть, и, может быть, необходим новый исторический опыт итальянским рабочим, новое горькое резочарование, чтобы они раскрыли, наконец, глаза, чтобы они поняли, что, посылая королевских солдат против папы, они не будут освобождены ни от солдат, ни от короля, ни от папы, и что для того, чтобы разрушить все это одним ударом вместе с дворянской и буржуазной соб-

ственностью и эксплуатацией — солдаты, король и папа лишь необходимое следствие, санкция и гарантия их—есть только одно средство: совершить сначала у себя, каждый в своем городе, но поднимая одновременно восстание во всех городах, настоящую социальную революцию. Ибо против такой революции, разразившейся одновременно во всех городах и во всех деревнях, не устоят ни папа, ни солдаты ни дворянство, ни буржуаздия.

В отношении социальной революции, можно сказать, что итальянские деревни даже идут впереди городов. Все этапы исторического развития, все политические движения прошли мимо итальянских деревень, которые до сих пор только расплачивались за них, и у них нет, поэтому, ни политических стремлений, ни патриотизма. Державшиеся всеми правительствами, сменявшими друг друга в различных частях Италии, в ужасном невежестве и нищете, они никогда не разделяли страстей, волнующих города. Находясь безраздельно под влиянием духовенства, они суеверны и в то же время очень мало религиозны. Сила духовенства в деревнях, стало быть, весьма эфемерная; она действительна только поскольку она совпадает с инстинктивной ненавистью крестьян против богатых собственников, против буржуазии и городов. Но разбудите только глубоко социалистический инстинкт, дремлющий в сердце каждого итальянского крестьянина: возобновите во всей Италии, только с революционной целью, пропаганду, какую кардинал Руффо вел в Калабрии в конце прошлого века; выбросьте только лозунг: *земля принадлежит тем, кто обрабатывает ее своими руками*! и вы увидите, что все итальянские крестьяне поднимутся, чтобы совершить социальную революцию; и если священники вздумают этому противиться, они их убьют.

Совершенно стихийное движение итальянских крестьян, движение, вызванное провозглашением закона о налоге на хлеб, привозимый на мельницы, показал силу природного революционного социализма итальянских крестьян. Они побили отряды регулярных войск и когда они толпою врывались в города, они всегда начинали с того, что сжигали все официальные бумаги, какие попадались им под руку.

Италия бесспорно находится накануне революции. Правительство Виктора Эммануила, все его министерства, сменявшие друг друга, воры, подлецы и мошенники, одни больше других, — так хорошо управляли ей, что ее политическое

и финансовое положение стало теперь совершенно невозможным. Кредит государства, правительства, самого парламента, всего, что составляет оффициальный мир, подорван. Промышленность и торговля разрушены. Постоянно возрастающие налоги тяжелым бременем ложатся на страну и не в состоянии пополнить дефицит, который все увеличивается. Государстве ждет банкротство. Нравственные устои не существуют больше в политическом и гражданском обществе, всякого рода взяточничество стало насущным хлебом. Нет больше ни правдивости ни добросовестности. Виктор Эммануил чувствует, что он катится вместе со своим властелином, Наполеоном III, в пропасть. Ждут только *сигнала революции во Франции, революционного почина Франции*, чтобы начать революцию в Италии.

Безразлично, с чего начнется эта революция. Вероятно, она начнется с этого вечного римского вопроса. Но всякая революция в Италии, каковы бы ни были ее характер и начало, неизбежно и быстро превратится в громадную, социальную революцию, ибо вопиющий, доминирующий, действительный вопрос, который скрывается за всеми другими, это ужасная нищета и рабство итальянского пролетариата. Это знают в Италии все политические деятели и все политические партии, также как и правительство. И по этому самому итальянские либералы и республиканцы колеблются. Они боятся этой социальной революции, которая грозит поглотить их.

И, однако, я не поместил Италию среди стран, в которых сознательный социализм находится в организованном виде. Эта сознательность и еще больше, организованность совершенно отсутствуют у итальянских рабочих и, конечно, еще больше у итальянских крестьян. Они социалисты, как буржуа-дворянин в одной из комедий Мольера писал прозой, не зная этого. Следовательно, почин социалистической революции не может итти от них; он должен притти к ним извне.

Я совершенно не говорю о *Швейцарии*. Если человеческий мир умрет, то не Швейцария его воскресит. Оставим ее.

Социализм начинает уже составлять настоящую силу в *Германии*. Три крупные рабочие организации: Всеобщий Союз немецких рабочих, или прежняя лассальянская организация, *Allgemeiner deutscher Arbeiter Verein*, Рабочая Социалдемократическая Партия (*Sozial-demokratische Arbeiter*

Partei, органом которой является *Volksstaat*, и многочисленные рабочие союзы, организованные в целях саморазвития (Arbeiter-Bildungs-Vereine) обнимают все вместе, по меньшей мере, пятьсот тысяч рабочих. Их раз'единяют гораздо больше интриги и вопросы личного влияния, чем принципиальные вопросы. Первые две организации социалистические и революционные. Третья, которая остается еще наиболее многочисленной, продолжает еще отчасти находиться под влиянием либерализма и буржуазного социализма. Однако, это влияние заметно уменьшается, можно надеяться, что в непродолжительном времени, в особенности под впечатлением современных событий, рабочие этой третьей организации массами станут переходить в рабочую социалдемократическую партию, образовавшуюся всего лишь год тому назад после долгой борьбы между рабочими лассальянцами и рабочими *Arbeiter-Bildungs-Vereine*, посредством слияния части тех и других.

Господствующей организацией в данный момент бесспорно является рабочая социалдемократическая партия. Она находится в непосредственных сношениях с Интернационалом, поскольку позволяют это нынешние законы Германии. Эти законы, конечно, очень ограничительные и строгие, имеющие главной целью помешать всеми способами образованию рабочей силы. Они запрещают и преследуют, как государственную измену, не только всякий организованный союз рабочих обществ Германии с рабочими организациями иностранных государств, но, — несмотря на *великую идею* германского единства, во имя которого прусский король послал соединенные армии Германии против бедной Франции, — они запрещают также рабочим организациям каждого государства, входящего в состав Германии, об'единяться с такими же организациями других государств той же самой единой Германии.

Под'ем немецких рабочих, тем не менее, слишком силен, чтобы его можно было сдерживать этими законами, и можно отметить в данный момент существование действительной, внушительной рабочей организации, об'единяющей все государства Германии и протягивающей братскую руку рабочим организациям всех других стран западной Европы, также как и организациям Соединенных Штатов Америки.

Рабочая социалдемократическая партия и всеобщий Союз немецких рабочих, основанный Лассалем, — социалистические организации, в том смысле, что они добива-

ются социалистической реформы в отношениях между капиталом и трудом; лассальянцы как и партия Эйзенаха, единодушно утверждают, что для достижения этой реформы, нужно *предварительно преобразовать государственный строй*, и если это не удастся сделать мирным способом, путем широкой пропаганды и мирного легального рабочего движения, то надо будет произвести это изменение государственного строя силой, т. е путем политической революции. По мнению, почти единогласному, немецких социалистов, *политическая революция должна предшествовать социальной революции*, — что является, по моему, громадной и роковой ошибкой, потому что всякая политическая революция, которая произойдет *прежде* и, следовательно, без социальной революции, необходимо будет буржуазной революцией, а буржуазная революция может самое большее способствовать проведению в жизнь только буржуазного социализма; т. е. она должна неизбежно привести к новой эксплуатации пролетариата буржуазией, более лицемерной и более искусной, может быть, но не менее давящей и угнетающей.

Эта несчастная идея политической революции, которая должна предшествовать социальной революции, как говорят немецкие социалисты, широко открывает двери рабочей социалдемократической партии всем политическим радикальным демократам Германии, у которых очень мало социализма. Таким образом, несколько раз рабочая социалдемократическая партия, увлекаемая главарями, — не своим собственным инстинктом, гораздо более народно-социалистическим, чем идеи этих главарей,— смешивалась и браталась с буржуазными демократами Народной Партии (*Volkspartei*) партии исключительно политической и не только чуждой но прямо враждебной всякому серьезному социализму. Это впрочем, она доказала ярким образом, как страстными патриотическими и буржуазными речами своих представителей на достопамятном народном собрании, состоявшемся в Вене в июле или августе месяце 1868 г., так и яростными' нападками своих газет против венских рабочих, действительных революционных социалистов, которые во имя человеческой и всемирной демократии нарушили их патриотический и буржуазный мир и гармонию.

Эти страстные речи и нападки против социализма, этой вечной помехи, этого незванного гостя буржуазного радикализма, вызвали, можно сказать, всеобщее неодобре-

ние со стороны рабочих Германии и поставили в крайне щекотливое и весьма затруднительное положение людей, как Либкнехт и другие, которые, желая оставаться во главе рабочих союзов, не хотели в то же время ссориться и порывать политических сношений с своими друзьями из буржуазной народной партии (*Volkspartei*). Главари этой партии вскоре заметили, что они совершили большую ошибку, ибо, несмотря на энергию, активность и революционную смелость, *так хорошо известные и ныне вполне доказанные, буржуазии*, они не могут, однако, надеяться, что, оставшись одни и без помощи пролетариата, они в состоянии совершить революцию или хотя бы составить только тень серьезной силы. Впрочем, самим делать революцию никогда не было системой буржуа. Их изобретательная система состояла в следующем: совершить революцию посредством всесильного народа и воспользоваться ее плодами для себя. Вышло, стало быть, так, что буржуа радикалы из *Volkspartei* должны были об‘ясниться, извиниться в некотором роде и об‘явить себя также социалистами. Их новый социализм, о котором они, впрочем, возвещали с большой помпой и трескучими фразами, не идет, конечно, дальше невинных мечтаний о буржуазной кооперации.

В продолжение целого года, с августа 1868 г. до августа 1869 г., шли дипломатические переговоры между главными представителями обеих партий, рабочей и буржуазной, и эти переговоры привели, наконец, к знаменитой программе, выработанной на конгрессе в Эйзенахе (7, 8 и 9 августа 1869 г.), на котором окончательно составилась рабочая социалдемокатическая партия.

Эта программа—настоящая сделка между социалистической и революционной программой международного общества Рабочих, так ясно изложенной на Брюссельском и и Базельском с‘ездах, и хорошо известной программой буржуазного демократизма.

Вот три главных пункта, в совершенстве рисующих политический характер новой социалдемократической рабочей партии:

Пункт I. — Рабочая социалдемократическая партия в Германии стремится к установлению свободного государства (die Einrichtung eines freien Volksstaats).

Пункт II. — Каждый член рабочей социалдемократи-

ческой партии обязуется служить всеми средствами следующим принципам:

1. Современные политические и социальные условия в высшей степени несправедливы и, следовательно, должны быть самым энергичным образом отвергнуты.

2. Борьба за освобождение рабочих не является борьбой за установление новых классовых привилегий, а борьбой за равенство прав и обязанностей и за уничтожение всякого классового господства.

3. Зависимость, в какой находится рабочий от капиталиста, есть главная основа рабства во всех его формах.

Рабочая социалдемократическая партия стремится, посредством уничтожения системы современного производства, завоевать для рабочего полный продукт его труда.

4. *Политическая свобода* есть *необходимое* **предварительное** условие (*die unentbehrlichste Vorbedingung*) экономической свободы рабочих классов. Следовательно, социальный вопрос тесно связан с политическим вопросом. *Решение его возможно только в демократическом государстве.*

5. Принимая во внимание, что политическое и экономическое освобождение рабочего класса возможно лишь при условии об‘единения всех рабочих для одной общей цели, рабочая социалдемократическая партия в Германии образует единую организацию, которая, однако, позволяет каждому члену употреблять свое личное влияние для общего блага.

6. Принимая во внимание, что освобождение труда не является местным вопросом ни даже национальным вопросом, что это социальный вопрос, обнимающий все страны, в которых осуществлены *условия современного общества*, рабочая социалдемократическая портия, насколько позволяют существующие законы о союзах, считает себя *ветвью Международного Общества Рабочих*, стремления которого она разделяет. Комитет (Vorstand) партии будет, стало быть, оффициально сноситься с Генеральным Советом.

Пункт III. — *Ближайшие требования* (*die nächsten Forderungen*) за осуществление которых должна агитировать рабочая социалдемократическая партия, следующие.

1. Избирательное право, прямое и тайное, для всех мужчин, достигших двадцатилетнего возраста, для производства выборов как в федеральный парламент, так и в парламенты различных государств входящих в состав Германии а также для избрания членов провинциальных и

коммунальных представительств и всех других представительных учреждений.

2. Прямое народное законодательство, с правом предлагать и отвергать законы.

3. Уничтожение всех привилегий, классовых, имущественных, сословных и связанных с принадлежностью к тому или иному вероисповеданию.

4. Введение народного вооружения, заменяющего постоянную армию.

5. Отделение Церкви от государства и отделение школы от Церкви.

6. Обязательное обучение в народных школах. Бесплатное обучение во всех общественных учебных заведениях.

7. Независимость трибуналов, учреждение суда присяжных и общественного разбирательства дела.

8. Упразднение всех законов, касающихся права собраний, товариществ и коалиций; полная свобода прессы. Определение нормального рабочего дня. Запрещение детского труда и ограничение женского труда в промышленных заведениях.

9. Уничтожение всех косвенных налогов, введение прямого подоходного налога.

10. Государственная помощь рабочей кооперации и *государственный кредит* производительным товариществам.

Эти три пункта, в своем развитии, выражают в совершенстве, не полноту социалистических и революционных инстинктов и стремлений рабочих, входящих в состав этой новой социалдемократической организации в Германии, а стремления главарей, которые выработали программу и руководят теперь партией.

Первый пункт нас прежде всего поражает полным разногласием с духом и текстом основной программы Международного Общества. Социалдемократическая партия хочет создания *свободного народного государства.* Два последних слова, *народное* и *свободное*, звучат хорошо, но первое слово, *государство* должно коробить истинного революционного социалиста, решительного и искреннего врага всех буржуазных учреждений без исключения; оно находится в прямом противоречии с самой целью Международного Общества и совершенно уничтожает смысл двух слов, следующих за ним.

Международное Общество Рабочих означает отрицание государства, так как всякое государство должно необхо-

димо быть *национальным* государством. Или, может быть, авторы программы подразумевали *международное государство*, мировое государство или, по крайней мере, в более ограниченном смысле государство, которое обнимало бы все страны западной Европы, где существует, употребляя излюбленное выражение немецких социалистов, „современное общество, или цивилизация“, т. е. общество, в котором капитал, ставший единственным хозяином труда, сконцентрирован в руках привилегированного класса, буржуазии, и, благодаря этой концентрации, довел рабочих до рабского и нищенского состояния? Не стремятся ли вожди социалдемократической партии создать государство, которое обняло бы всю западную Европу, Англию, Францию, Германию, все скандинавские страны, все славянские страны, подчиненные Австрии, Бельгию, Голландию, Швейцарию, Италию, Испанию и Португалию?

Нет, их воображение и политический аппетит не охватывают сразу столько стран. Они страстно хотят, не стараясь даже замаскировать этой силы желания, организации их *германского отечества*, великой германской единицы. Создание *исключительно германского государства* первый пункт их программы ставит главной и высшей целью *рабочей* демократической *социалистической* партии. Они прежде всего *политические патриоты*.

Но что же они тогда оставляют интернационализму? Что дают эти *немецкие патриоты* международному братству рабочих всех стран? Лишь социалистические фразы, без возможности их осуществить, так как главная, первая, исключительно политическая основа их программы, *германское государство*, уничтожает их.

В самом деле, раз немецкие рабочие *должны* прежде всего стремиться к созданию германского государства, солидарность, которая должна об‘единить их и сплотить в одну массу с их братьями, эксплуатируемыми рабочими всего мира, и которая должна быть, по моему, главной и единственной основой рабочих союзов всех стран; эта международная солидарность должна необходимо быть принесена в жертву патриотизму, национальному патриотизму, национальному патриотическому чувству, и может случиться, что рабочие, деля себя между этими двумя отечествами, между двумя противоположными стремлениями, — *социалистическая солидарность труда и политический патриотизм национального государства*, и жертвуя, как они должны,

впрочем, это сделать, если они повинуются 1-му пункту программы немецкой социалдемократической партии, жертвуя, говорю я, межународной солидарностью патриотизму, окажутся в неприятном положении *быть заодно с своими соотечественниками буржуа против рабочих иностранного государства*. Это, именно, и случилось в настоящий момент с немецкими рабочими.

Интересное зрелище представляла из себя борьба, поднявшаяся в начале войны среди рабочих масс Германии, между принципами германского патриотизма, к принятию которых их обязывает их партия, и их собственными глубоко социалистическими инстинктами. Вначале можно было думать, что их патриотизм возьмет верх над социализмом и бояться, что они поддадутся галлофобскому и воинственному энтузиазму громадного большинства германских буржуа [1]). На одном из рабочих собраний социалдемократической партии, состоявшемся в Брунсвике в конце июля месяца, было произнесено много речей, отдававших наичистейшим патриотизмом, но в то же время и по этому самому, совершенно лишенных чувства справедливости и международного братства.

На благородные, вполне социалистические и действительно братские приветственные письма рабочих парижского Интернационала и Интернационала других городов Франции было отвечено бранью против Наполеона III, — точно есть что нибудь общее между этим мерзким и преступным мошенником, который в продолжение двадцати лет носил титул французского императора, и французскими рабочими? — и *ироническим* советом свергнуть как можно скорее своего тирана, *чтобы заслужить симпатии европей-*

---

[1]) Так как прежде всего нужно быть справедливым, то я должен отметить, что некоторые органы буржуазной демократии в Германии, и больше других берлинская газета *Zukunft*, энергично и благородно протестовали против этого бешеного шовинизма, охватившего германскую буржуазию. Они поняли, что вопрос между Бисмарком и Наполеоном III поставлен таким образом, что как поражение, так и победа германских армий могут навлечь на Германию лишь одни ужасные несчастья: в первом случае разграбление германских провинций, расчленение Германии и чужеземное иго; во второй случае не менее огромные потери деньгами и людьми и внутреннее, прусское, бисмарковское рабство, порабощение германского народа военной победоносной монархией „милостью Божией" и наглый произвол всех померанских лейтенантов. Но зачем протестовать, когда пользуешься славой принадлежать к великой торжествующей нации и когда перед тобой стоит дилемма — государство или свобода? (Примечание Бакунина).

ской демократии. Читая эти речи, можно было бы подумать, что перед вами люди свободные и гордые сознанием своей свободы, обращающиеся к рабам. Видя это гордое германское негодование против тирании и бесчестности Наполеона III, можно было бы вообразить, что мечта социалдемократии, *народное и свободное государство*, уже осуществлена в Германии и что немецким рабочим есть основание быть довольными своими правительствами!

Есть ли между политикой Наполеона III и политикой великого германского канцлера, графа Бисмарка, какая нибудь другая разница, кроме той, что первая была неудачная, а вторая счастливая? По существу, обе совершенно одинаково безнравственны, деспотичны, нарушающие все человеческие права. Или, может быть, немецкие рабочие имеют наивность думать, что Бисмарк, *как политический деятель*, нравственнее Наполеона III и что он остановится перед каким бы то ни было безнравственным актом, когда дело будет итти о достижении какой нибудь политической цели?

Если они могут это думать, значит, они не вникали в политику своего великого канцлера, в особенности, за эти последние годы, со времени последнего польского восстания, во время которого он играл роль немого соучастника московских палачей; и, значит, они никогда не думали о самой сущности политики. Если они могут еще верить в политическую нравственность, даже только относительную, графа Бисмарка, значит они мало читали свои собственные газеты и газеты буржуазной политической партии, в которых все преступные измены против свободы народов, вообще, и против *германского отечества* в частности в пользу прусской гегемонии, были вполне разоблачены.

Нет сомнения, что когда Бисмарк предпринял, заодно с бедной Австрией, которую он надул, свою *национальную и политическую* кампанию против маленькой Дании, он был уже в заговоре против Наполеона III. Нет сомнения также что когда он предпринял свою прусскую, анти-германскую кампанию против Австрии и против немецких монархов, союзников Австрии, он был с одной стороны в союзе с русским императором, а с другой—с Наполеоном III. Неожиданные обстоятельства, нежданный и быстрый триумф прусской армии позволили ему обмануть того и другого. Но, тем не менее, достоверно, что Бисмарк дал Наполеону положительные обещания, в ущерб целости германской

территории, также как и бельгийского королевства и что он сдержал бы свои обещания, еслибы Наполеон III проявил себя более энергичным и более ловким. Вся разница между Наполеоном III и графом Бисмарком, как политическими деятелями, состоит, стало быть, в следующем: ловкость, т. е. шельмовство одного превзошло шельмовство другого. Против плута плут с половиной, вот и все. В остальном, все то же презрение к человечеству и ко всему, что называется человеческим правом, к человеческой морали и убеждение, не только теоретическое, но практическое, ежедневно практикуемое и проявляемое, что все средства хороши и все преступления позволены, когда дело идет о достижении высшей цели всякой политики: *сохранение и усиление мощи государства.* Граф Бисмарк, который прежде всего умный человек, должен смеяться, когда он слышит, что говорят о его *нравственности* и его *политической добродетели.* Еслибы он принял в серьез эти похвалы, он мог бы даже обидеться, потому что с точки зрения государства добродетель и нравственность означают не что иное, как *политическую тупость.* Бисмарк—человек положительный и серьезный. Стремясь к цели, он хочет иметь все средства для достижения ее и, так как он в то же время человек энергичный и очень решительный, он не отступит ни перед каким средством, которое может служить величию Пруссии.

Я позволю себе привести здесь по этому поводу несколько слов из речи, которую я произнес ровно два года тому назад на конгрессе Лиги Мира и Свободы, происходившем в Берне в 1868 г. Это была в некотором роде моя прощальная речь, ибо, так как этот конгресс буржуазного радикализма отверг социалистическую программу, которую мы, мои друзья и я, представили ему, я вышел вместе с ними из Лиги. Отвечая на вопросы и скрытые нападки некоторых немецких демократов и даже социалистов, я кончил свою речь следующими словами:

„Наконец, резюмируя все сказанное, я повторяю энергично: *Да, мы хотим радикального разложения Всероссийской Империи, полного уничтожения ее могущества и ее существования.* Мы хотим этого столько же из чувства справедливости, сколько из патриотизма.

„И теперь, когда я достаточно ясно об'яснился, не оставив места, как мне кажется, никаким недоразумени-

ям, я позволю себе в свою очередь обратиться с вопросом к спрашивавшим меня немецким друзьям.

„Хотят ли они, в своей любви к справедливости и свободе, отказаться от всех польских провинций, завоеванных оружием, каковы бы ни были их географическое положение и стратегическое и коммерческое значение для Германии? Хотят ли они отказаться от всех тех польских провинций, *население которых не хочет быть немцами*? Хотят ли они отказаться от своих так называемых исторических прав на всю ту часть Богемии, которую немцам неудалось онемечить знакомыми нам невинными средствами; на всю территорию Силезии, Моравии и Чехии, в которой ненависть, увы! слишком законная, против немецкого господства не может подлежать сомнению? Хотят ли они отвергнуть, во имя справедливости и свободы, *эту честолюбивую политику Пруссии*, которая, во имя торговых и морских интересов Германии, хочет, силою, включить датское население, живущее в Шлезвиге, в состав северной великой германской конфедерации? Хотят ли они перестать требовать себе, во имя тех же торговых и морских интересов, город и территорию Триест, которые гораздо больше славянские, чем итальянские, и гораздо больше итальянские, чем немецкие? Одним словом, *хотят ли они отказаться со своей стороны, как они требуют этого от других, от всякой государственной политики и принять для себя, как для других, все условия, как и все обязанности справедливости и свободы*? Хотят ли они принять во всей их полноте и во всех их применениях следующие принципы, которые одни только могут сделать возможными мир и международную справедливость:

„1°. Уничтожение всего, что называется историческим правом (правом завоевания) и политическими соображениями государства, во имя высшего права всех народностей (Европы и всего мира), малых или больших, слабых или сильных (цивилизованных или нецивилизованных), а также и всех индивидов, вполне свободно располагать собою, *не считаясь с нуждами и претензиями государств* и без других ограничений этой свободы, кроме такого же права другого;

„2° Уничтожение всех постоянных договоров между всеми личностями, также как и между всеми коллективными единицами: местными (коммунальными) сообществами, провинциями и народами; что означает признание за каж-

дым народом, если он даже добровольно присоединился к другому народу, права порвать договор по удовлетворении всех взятых им на себя временных и ограниченных обязательств. Это право основано на том принципе — существенном условии свободы,—что прошлое не должно и не может связывать настоящего, как настояшее никогда не может связывать будущего, и что высшее право всегда пребывает в настоящих поколениях;

„3' Признание *права отделения* за личностью, также как за сообществом, коммунами, провинциями и народами, при одном условии, чтобы выходящая сторона не подвергала опасности остающуюся сторону новым союзом с иностранной враждебной и угрожающей державой?

„Вот настоящие и единственные условия справедливости и свободы. Хотят ли наши немецкие друзья принять их также чистосердечно, как принимаем их мы? Короче говоря, *хотят ли они вместе с нами разрушения государства, всех государств*?

„В этом весь вопрос, господа. *Так как государство, это насилие, угнетение, эксплуатация, несправедливость, возведенные в систему и ставшие основными условиями самого существования общества.* У государства, господа, никогда не может быть морали. Его мораль и его единственная справедливость, *это высший интерес своего собственного сохранения и своего всемогущества*, интерес, перед которым все, что есть человеческого, должно склоняться. *Государство, это само отрицание человечества.* Оно является таковым вдвойне: и как противоположность человеческой свободе и человеческой справедливости (внутри), и как насильственное нарушение всемирной солидарности человеческой расы (за своими пределами). Мировое государство, которое пробовали создать несколько раз, всегда оказывалось невозможным, так как, *пока будет государство, будут государства.* И так как каждое государство является как абсолютная самоцель, ставя культ своего существа, как высший закон, которому должны быть подчинены все другие законы, то отсюда следует, что *пока будут государства, будет постоянно война. Всякое государство должно завоевывать другие или быть завоеванным.* Всякое государство должно основывать свою силу на слабости и, если оно может это сделать без опасности для себя, на уничтожении других государств.

„Хотеть, господа, того, чего хочет конгресс, хотеть

установления международной справедливости,—международной свободы и вечного мира, и в то же время хотеть сохранения государств было бы, стало быть, с нашей стороны смешным противоречием и наивностью. *Заставить государства изменить свою природу невозможно, потому что именно ею они государства,* и они не могут от нее избавиться, не перестав тотчас же существовать. Следовательно, господа, *нет и не может быть хорошего, справедливого, добродетельного государства. Все государства плохи, в том смысле, что по своей природе, по своей сущности, всеми условиями и по высшей цели своего существования они противоположны человеческой свободе, нравственности и справедливости.* И в этом отношении, что бы ни говорили, нет большой разницы между дикой Всероссийской Империей и самым цивилизованным европейским государством. Знаете, в чем заключается эта разница? *Царская империя делает цинично то, что другие делают лицемерно.* Царская империя с своими откровенным деспотическим образом действия и пренебрежительно относящаяся к человечеству, *является единственным идеалом,* к которому стремятся и которым втайне восхищаются все государственные деятели Европы. Все европейские государства делают то, что делает она, поскольку общественное мнение и, в особенности, поскольку новая, но уже могучая солидарность рабочих масс Европы позволяют это,—мнение и солидарность, которые содержат в себе зародыши разрушения государств. *Добродетельные государства, господа, только бессильные государства.* Да и они весьма преступны в своих мечтаниях.

„Я кончаю: Кто хочет вместе с нами установления свободы, справедливости и мира, кто хочет торжества человечества, кто хочет радикального и полного освобождения (экономического и политического) народных масс, должен хотеть, как мы, *растворения всех государств в мировой федерации производительных и свободных товариществ всех стран.*"

Ясно, что пока цель немецких рабочих будет состоять в создании национального государства, каким бы свободным и народным они не *воображали себе* это государство,—а от воображения до осуществления далек в особенности, когда воображение предполагает невозмож примирение двух элементов, двух принципов, государств и народная свобода, которые взаимно уничтожают друг друга,—ясно, что они будут продолжать жертвовать всегда народную

свободу величию государства, социализм политике и справедливость, международное братство, патриотизму. Ясно, что их собственное экономическое освобождение будет лишь прекрасной мечтой, вечно отсылаемой в отдаленное будущее.

Невозможно одновременно достигнуть двух противоположных целей. Так как социализм, социальная революция заключают в себе разрушение государства, то ясно, что тот, кто стремится к государственному устройству, должен отказаться от социализма, должен пожертвовать экономическим освобождением масс политическому могуществу какой нибудь привилегированной партии.

Германская социалдемократическая партия должна пожертвовать экономическим освобождением и, следовательно, также политическим освобождением пролетариата или, скорее, *его освобождением от политики* честолюбию и торжеству буржуазной демократии. Это ясно вытекает из 2-го и 3-го пунктов ее программы.

Первые три параграфа пункта 2 вполне согласны социалистическому принципу Международного Общества Рабочих, программу которого они воспроизводят почти в точности. Но четвертый параграф того же пункта, об'являющий, что политическая свобода есть *предварительное* условие экономического освобождения, совершенно уничтожает практическую цену этого признания принципа. Он может означать лишь следующее:

„Рабочие, вы—рабы, жертвы собственности и капитала. Вы хотите освободиться от этого экономического ига. Прекрасно, и ваши желания вполне законны. Но, чтобы осуществить их, *вы должны нам сначала помочь совершить политическую революцию. Впоследствии мы поможем вам совершить социальную революцию.* Дайте нам сначала создать, вашею силою, демократическое государство, хорошую буржуазную демократию, как в Швейцарии, а потом...—потом мы вам дадим такое же благосостояние, каким пользуются рабочие в Швейцарии. (см. женевскую и базельскую стачки).

Чтобы убедиться, что эта невероятная бессмыслица выражает действительно тенденции и дух немецкой социалдемократической партии,—как программы, а не как естественных стремлений входящих в ее состав немецких рабочих,—стоит только хорошенько прочесть пункт III, в котором перечислены все *непосредственные и ближайшие требования*, какие должна выставить партия, ведя в пользу их

осуществления мирную и легальную агитацию. Все эти требования, за исключением десятого, которое не было даже предложено авторами программы, а было прибавлено позднее во время дискуссий, вызванных одним предложением одного из членов с‘езда в Эйзенахе, — все эти требования имеют исключительно политический характер. Все эти пункты, предложенные, как *главная цель непосредственной политической деятельности партии*, есть ничто иное, как хорошо известная программа буржуазной демократии: всеобщее избирательное право с прямым народным законодательством; уничтожение всех политических привилегий; народное вооружение; отделение церкви от государства и школы от церкви; бесплатное и обязательное обучение; свобода прессы, союзов, собраний и коалиции; превращение всех косвенных налогов в один прямой, прогрессивный подоходный налог.

Вот, стало быть, что составляет в настоящий момент истинную, действительную цель этой партии: *исключительно политические реформы в области государственных учреждений и законов*. Не прав ли я был, говоря, что эта программа социалистическая лишь в мечтаниях, для отдаленного будущего, но что в действительности это чисто политическая и буржуазная программа, настолько буржуазная, что ни один из наших бывших коллег из Лиги Мира и Свободы, не колеблясь, подписал бы ее? Не вправе ли я также сказать, что если о социалдемократической партии немецких рабочих будут судить по ее программе,—чего я никогда не сделаю, так как я знаю, что действительные стремления рабочих идут гораздо дальше этой программы,—то будут иметь право думать, что создание этой партии имело целью лишь использовать рабочие массы, как слепое орудие, для достижения политических целей германской буржуазной демократии?

В этой программе есть только два пункта, которые будут не по вкусу буржуазии. Первый заключается во второй половине восьмого параграфа пункта III, в котором требуется *установление нормального рабочего дня, упразднение детского труда и ограничение женского труда*, вещи, всегда вызывающие гримасу у буржуа потому что, страстные поклонники всех свобод, которые можно обратить в свою пользу, они громко требуют для пролетариата свободы давать себя эксплуатировать, давить, обременять работой, и чтобы государство в это не вмешивалось. Однако, времена

настали такие тяжелые для бедных буржуа, что они согласились на это вмешательство государства, даже в Англии, современная общественная организация которой, насколько я знаю, еще отнюдь не социалистическая.

Другой пункт, гораздо более важный и гораздо более определенного социалистического характера, содержится в десятом параграфе пункта III, параграфе, который, как я уже заметил, не был предложен самими редакторами программы, но был внесен после, по инициативе одного из членов с'езда в Эйзенахе и предложен во время прений по поводу программы. Этот пункт требует *поддержки, помощи и кредита, государства для рабочей кооперации и, в особенности, для производительных товариществ*, со всеми желательными гарантиями свободы.

Это пункт, на который ни один буржуазный демократ не согласится добровольно, потому что он находится в абсолютном противоречии с тем, что буржуазная демократия и буржуазный социализм называют свободой. Действительно, свобода эксплуатации труда пролетариата, *вынужденного* продавать его капиталу по самой низкой цене, вынужденного не каким нибудь политическим или гражданским законом, а экономическим положением, в каком он находится, страхом и опасением голода; эта свобода, говорю я, не боится конкуренции каких бы то ни было рабочих товариществ, потребительных, взаимного кредита или производительных, по той простой причине, что рабочие организации, предоставленные своим собственным средствам, никогда ни будут в состоянии образовать капитал, способный бороться с буржуазным капиталом. Но когда рабочие товарищества будут поддерживаться государственной силой, громадным государственным кредитом, не только они будут в состоянии бороться, они, с течением времени победят буржуазные промышленные и торговые предприятия, основанные исключительно на частном капитале, даже если это будет колективный капитал, представленный акционерным обществом капиталистов, так как государство, конечно, является наиболее сильным из всех акционерных обществ.

Труд, кредитованный государством, таков основной принцип *авторитарного коммунизма, государственного социализма. Государство, ставшее единственным собственником*,— по окончании некоторого периода, необходимого для перехода общества, без слишком больших экономических и политических потрясений, от современной организации

буржуазной привилегии к будущей организации оффициального равенства всех, — государство будет также единственным капиталистом, банкиром, организатором, управляющим всем национальным трудом и распределителем его продуктов. Таков идеал, основной принцип новейшего коммунизма.

Выставленный в первый раз Бабефом к концу великой французской революции, со всем аппаратом античного патриотизма и революционного насилия, составлявших характер той эпохи, он был воспроизведен в миниатюре около тридцати лет тому назад Луи Бланом, в его крошечной брошюрке об *Организации труда*, в которой этот почтенный гражданин, гораздо менее революционный и гораздо более снисходительный к буржуазным слабостям, чем Бабеф, старался позолотить и смягчить пилюлю, чтобы буржуа могли проглотить ее, не подозревая, что они принимают яд, который должен убить их. Буржуа не дали себя обмануть и, платя грубостью за вежливость, они выслали Луи Блана из Франции. Несмотря на это, с постоянством, достойным удивления, Луи Блан остается верным своей экономической системе и продолжает верить, что будущее заключается в его маленькой брошюрке об организации труда.

Коммунистическая идея с тех пор перешла в более серьезные руки. Карл Маркс, бесспорный глава социалистической партии в Германии,—крупный ум, вооруженный глубокими научными познаниями, и вся жизнь которого, можно сказать это без всякой лести, была исключительно посвящена величайшему делу, данной эпохи, делу освобождения труда и рабочих, — Карл Маркс, который бесспорно также, если и не единственный, то, во всяком случае один из главных основателей Международного Товарищества Рабочих, написал серьезный труд о развитии коммунистической идеи. Его крупное произведение, *Капитал*, отнюдь не фантазия, не умозрительная концепция, родившаяся внезапно в мозгу какого нибудь юноши, более или менее невежественного в понимании экономических условий общества и современной системы производства. Он основан на очень широком, очень детальном знании и на глубоком анализе этой системы и ее условий. Карл Маркс — пучина статистических и экономических знаний. Труд его о капитале, хотя, к сожалению, испещренный формулами и метафизическими тонкостями, делающими его

недоступным пониманию масс, в высшей степени позитивистское и реалистическое произведение, в том смысле, что он не допускает другой логики, кроме логики фактов.

Живя около тридцати лет почти исключительно среди немецких рабочих, политических эмигрантов, как и он, окруженный несколькими более или менее умными друзьями и учениками, принадлежащими по своему рождению и связям к буржуазному миру, Карл Маркс естественно пришел к созданию школы, нечто вроде небольшой коммунистической церкви, состоящей из горячих адептов его идеи и распространяющей свою деятельность на всю Германию. Эта церковь, как бы она ни была мала в численном отношении, умело и искусно организована и, благодаря своим многочисленным связям с рабочими организациями всех главных пунктов Германии, она уже составляет силу. Карл Маркс, конечно, пользуется в этой церкви почти верховным авторитетом и, надо ему отдать справедливость, он умеет управлять этой маленькой армией фанатических сторонников таким образом, что престиж и власть его все возрастают среди рабочих Гармании.

Коммунистическая идея Карла Маркса проглядывает всех его писаниях, она также проявилась в предложени внесенных Генеральным Советом Международного Товарии ства Рабочих, пребывающем в Лондоне, на Базельском с'ез также как и в предложениях, которые он предполаг внести на с'езд, назначенный на сентябрь нынешнего го и отмененный, благодаря войне. Карл Маркс, член Лондо ского Генерального Совета и секретарь-корреспондент д Германии, пользуется в Совете, как известно, большим, нужно прибавить, законным влиянием, так что можно быть уверенным, что предложения, внесенные Генеральным Советом на с'езде, составлены, главным образом, Карлом Марксом в духе его системы.

На Базельском с'езде английский гражданин Люкрафт член Генерального Совета, выразил идею, что вся земля страны должна стать *собственностью государства* и что обработка ее должна находиться под управлением и административным надзором государственных чиновников, „что, прибавил он, возможно лишь в социалдемократическом государстве, в котором народ будет следить за хорошим управлением национального земельного хозяйства государством".

На том же с‘езде, когда обсуждалось предложение об упразднении наследственного права, предложение, получившее относительное большинство голосов, все члены Генерального Совета, все английские делегаты и громадное большинство немецких делегатов голосовали против этого предложения, исходя из специальных соображений, развитых гражданином Эккариусом от имени Генерального Совета, „что когда коллективная собственность на землю, капиталы и, вообще, на все средства производства будет признана и установлена в какой нибудь стране, упразднение наследственного права станет лишним, так как оно должно отпасть само собой, когда нечего будет наследовать“. Но по странному противоречию, тот же самый гражданин Эккариус, от имени того же Генерального Совета, внес контр-предложение о временном установлении *налога на наследство* в пользу рабочих масс, что показывает, что Генеральный Совет не надеется, чтобы коллективная собственность могла быть установлена теперь, посредством революции, но он надеется, что она установится постепенно, путем последовательных политических сделок с буржуазной собственностью.

Делегаты немецких рабочих союзов, которые появились в первый раз в большом количестве на с‘езде Интернационала, внесли кроме того — сговорившись с делегатами немецкой Швейцарии — новое предложение, впрочем, совершенно согласное с их Эйзенахской программой, и стремящееся ни больше ни меньше, как ввести *принцип национальной или буржуазной политики* в программу Интернационала. Это предложение — о *прямом народном законодательстве*, как предварительном, абсолютно необходимом средстве для достижения социальных реформ,—было внесено гражданином Бюркли из Цюриха, и горячо поддерживалось гражданами Гег, Риттингаузеном, Бругином и Либкнехтом. Оно вызвало довольно оживленные дебаты, во время которых гражданин Либкнехт, один из главных вождей социалдемократической партии в Германии, заявил, что те, кто не хочет обсуждать этот вопрос, *реакционеры*, что он совершенно законен и не терпит отлагательства, так как само Международное Товарищество Рабочих на своих предыдущих с‘ездах, а именно на с‘езде в Лозанне (в 1867 г.) провозгласило, что политический вопрос неразрывно связан с социальным вопросом; и что, наконец, если это предложение не кажется имеющим большое значение в Париже, Вене, Брюсселе, где

социальный вопрос не может обсуждаться в своей политической форме благодаря существующим политическим условиям, оно имеет большое значение для стран, в которых этой невозможности не существует.

Благодаря упорству французских итальянских, испанских, бельгийских делегатов, и части делегатов романской Швейцарии, это предложение было отклонено. Вопрос этот больше не поднимался на Базельском с'езде *Inde irae*.

. . . .

[Здесь текст прерывается. Дальнейшая часть рукописи представляет длинное неоконченное примечание к словам *Inde Irae*]

Примечание. — Гнев немецкой партии, был, действительно, очень силен. Особенно он был силен против меня, так как они обвиняли меня, не знаю почему, что я был главным зачинщиком, если не главой энергичной оппозиции, какую встречала со всех сторон во время всего Базельского с'езда эта национальная и буржуазная политика, которую они нам предлагали, как политику Интернационала. Правда, я оспаривал ее со всей энергией, на какую только способен, потому что я считаю ее гибельной для Международного Товарищества, потому что она извращает, по моему, самый принцип этого великого Товарищества, потому, наконец, что она совершенно противоположна революционному социализму, этой *международной политике пролетариата*, которая по моему внутреннему убеждению одна может спасти его и дать ему победу.

Я бы решительно ничего не имел против, еслибы мои противники, немецкие социалисты, ограничились нападением на мои принципы, с силою, даже с гневом. Так как эти принципы им кажутся плохими, то, нападая на них, они пользуются своим правом, они выполняют даже свой долг. Но я не понимаю, как люди, уважающие себя и претендующие на уважение к себе других, могут употреблять в борьбе против своего противника *подлые средства, гнусную ложь и клевету*.

Вот уже год, как я подвергаюсь с их стороны самым гнусным *сознательно ложным* и в то же время самым смешным обвинениям. Это вполне организованная и хорошо комбинированная кампания. Главный вдохновитель и главарь этой войны против меня мне известен. Он остается невидимым за лондонскими туманами, как Моисей за облаками горы Синая. Законодатель немецких евреев, социалистов

наших дней, он является вдохновителем слова и действия своих учеников. На нем, стало быть, лежит большая часть ответственности за все, что они говорят и за все, что они делают. Это человек, достойный величайшего уважения во многих отношениях, но который часто заслуживает энергичное порицание. Тщеславный и легко поддающийся гневу, когда его тщеславие задето, он слишком часто отождествляет свою собственную личность, немного избалованную рабским поклонением своих учеников и друзей, с принципами и свою личную злобу против кого нибудь с служением делу, являясь, впрочем, одним из самых блестящих и самых полезных служителей его. Я не хочу еще его называть, но он принужден будет сам назвать себя. И тогда я об'яснюсь с ним прямо и публично.

Я ограничусь в данный момент мелкой рыбешкой, этими мелкими негодяями, которые обыкновенно служат ему авангардом, когда под влиянием какой нибуд дурной мысли он хочет совершить дурной поступок.

Первый открыл против меня поход после Базельского с'езда г-н Мориц Гесс, когда то бывший честолюбивым и ревнивым соперником, а ныне, без сомнения из сознания своего бессилия, ставший рабски почтительным куртизаном современого Моисея. В статье, направленной против меня и помещенной 2 октября 1869 г. в парижской гезете *Réveil*, статье, которую Делеклюз имел несправедливость принять, —несправедливость, впрочем, благородно исправленную им в сделанном им самим лойяльном заявленнии в одном из последующих номеров *Réveil* (22 октября), — Мориц Гесс имел нахальство написать следующие строки, которые я не могу назвать иначе, как гнусными. Я приведу целиком статью Морица Гесс:

„*Отрицательное* голосование [1]) Базельского с'езда (по вопросу об упразднении наследственного права), несмотря на его голосование, благоприятное коллективистическому принципу, остается загадкой для тех, кто не знаком с тайной историей этого с'езда. В Базеле произошло нечто

---

[1]) Первая ложь. Это голосование вовсе не было отрицательным, так как необходимость упразднения наследственного права была признана и провозглашена относительным большинством, включающим в себя пять голосов германских делегатов (32 *да* против 23 *нет* — с 13 воздержавшимися) и так как предложение Генерального Совета имело против себя большинство не относительное, а абсолютное (19 *да* против 37 *нет* с 6 воздержавшимися).

аналогичное тому, что имело место за месяц раньше на с'езде в Эйзенахе[1]).

„Известно, что это была оппозиция против прусского коммунизма г. фон Швейцера, который одержал победу в Эйзенахе. Правда, в Базеле не надо было бороться против прусской партии, которая не была даже там представлена. Но зато *там была русская партия*[2]) **близкая родственница прусской партии**[3]). Нужно ли говорить? Сторонники Бакунина[4]),

[1]) Если бы г. фон Швейцер не мог упрекнуть себя в другом грехе кроме того, что он был энергичным противником буржуазного социализма и буржуазного радикализма, которые к сожалению восторжествовали на с'езде в Эйзенахе, то, что касается меня, я мог бы только похвалить его за это. Но противники г-на фон Швейцера утверждают, не без видимого основания, что г. фон Швейцер—тайный союзник монархической и прусской политики графа Бисмарка. Если это правда, то со стороны г-на фон Швейцера это гнусная измена по отношению к социализму и святому делу рабочих масс, которые доверяют ему. Вожди немецкой социалдемократической партии не совершают такой измены, которая, если она действительно есть, может быть только *выгодной* изменой; но они совершают другую измену самому делу, — не выгодную, разумеется, но не менее гибельную для освобождения рабочих, которые идут за ними, — заключая союз и связывая социалистическое и революционное движение рабочих своей партии с политикой радикальной буржуазии Германии. Это называется из огня до в полымя, это естественное следствие культа государства, который у них общий с г. фон Швейцер. Культ государства является, вообще, главной чертой немецкого социализма. Лассаль, величайший социалистический агитатор и настоящий основатель практического социализма в Германии, был пропитан им. Он видел спасение рабочих только в государственной силе, которой рабочие должны овладеть по его мнению, путем всеобщего избирательного права. Его также обвиняли *те же самые противники*, — не знаю справедливо или нет, — в том, что он поддерживал тайные сношения с Бисмарком. Невозможно доверять словам и писаниям немецких публицистов, ибо первое, что они делают, нападая на какого нибудь своего противника, это обливают его грязью и, повидимому, у них неисчерпаемый запас ее.

[2]) На Базельским с'езде я был единственным русским, и я не был даже там представителем от России, а от Лионской и Неаполитанской секций.

[3]) **Вот начинаются гнусные инсинуации.**

[4]) Вероятно те, с кем вместе я голосовал: большинство французских делегатов, испанские делегаты, итальянский делегат, несколько бельгийских делегатов, все делегаты (кроме двоих) романской Швейцарии и несколько немецких делегатов (пять), среди которых мой бывший друг гражданин Филипп Беккер, и гражданин Лесснер, член Генерального Совета. Гражданин Юнг, другой член Генерального Совета, сказал мне после голосования вопроса об упразднении наследственного права, что он раскаивался, видя как неглубоко обсуждался вопрос о коллективной

главы русского коммунизма [1]), не подозревали о той услуге, какую они оказывали панславистским интересам, как и простачки г. фон Швейцера не подозревали, что играют в руку прусского пангерманизма. Как бы там ни было, те и другие работали для короля Пруссии [2]).

„Русская партия не существовала еще на предыдущих с'ездах Интернационала. Только в прошлом году была сделана попытка изменить организацию и принципы Интернационала, также как перенести резиденцию Генерального Совета из Лондона в Женеву русским патриотом Бакуниным [3]), добросовестность которого мы не подозреваем... [4])

(Рукопись прерывается здесь)

собственности, что не голосовал вместе с нами. Большинство бельгийских делегатов воздержались, не желая, сказали они мне, голосовать против нас. И, вообще, я должен прибавить, что большинство тех, кого г. Гесс называет моими друзьями, я совершенно не знал раньше с'езда.

[1]) Что должен был испытывать, читая эти слова, этот бедный русский еврейчик г. Утин, который интригует теперь в Женеве, стараясь во всю мочь и употребляя невероятные усилия, чтобы его называли главой, хотя бы мнимой русской секции, состоящей из четырех или пяти членов и из которых он был бы один говорящим членом?

[2]) Бедный Филипп Беккер! быть так третированным другом!

[3]) Я принимаю название патриота в том смысле, что я хочу полного разрушения русского государства, всероссийской империи, разрушения, необходимость которого я развивал и доказывал во всех своих речах, во всех своих писаниях, *во всех актах своей жизни*. Что касается *панславизма*, в котором меня обвиняют все эти евреи таким смешным и гнусным образом, то я вернусь к этому позднее.

[4]) Недоконченная фраза Морица Гесса заканчивается так в *Réveil*: „революционную добросовестность которого мы не подозреваем, но который питает фантастические замыслы, достойные такого же порицания, как и способы действия, какие он употребляет для их осуществления!" *Примечание Гильома* к французскому изданию.

Парижская Коммуна и понятие о государственности.

Парижская Коммуна и понятие о государственности.

Этот труд, как и все, до сих пор написаное мною, вызван текущими событиями. Он служит естественным продолжением моих „Писем французу“ (сентябрь 1870 г.), в которых мне на долю выпала не трудная, но скорбная честь предвидеть и предсказать ужасные бедствия, раздирающие ныне Францию, а с нею и весь цивилизованый мир; бедствия, против которых было и есть только одно лекарство: *социальная революция.*

Задача настоящего труда — доказать эту отныне неоспоримую истину, как доводами, почерпнутыми из истории, так и фактами, совершающимися на наших глазах в Европе, и таким образом заставить всех чистосердечных людей, искренно ищущих правды, принять эту истину и открыто без умолчаний и обиняков, признать как философские принципы, так и вытекающие из них практические действия, составляющие, так сказать, деятельную душу, основание и цель того, что мы называем социальной революцией.

Задача, взятая мною на себя, не легка. Я это знаю, и меня можно было бы обвинить в излишней самонадеянности, если бы я внес в этот труд хотя малейшее личное притязание. Но могу уверить читателя, что этого нет. Я не ученый, не философ и не писатель по профессии. В течение моей жизни я очень редко выступал в литературе, и всегда или в защиту себя, или вынужденный страстным убеждением, побеждавшим во мне инстинктивное отвращение ко всякому публичному проявлению моего „я“.

Кто же я, и что побуждает меня выпустить в свет этот труд? Я — страстный искатель истины и не менее ожесточенный враг зловредных вымыслов, которыми и до ныне пользуется партия порядка, этот официальный представитель привилегированного меньшинства, в интересах которого

отстаивать все религиозные, метафизические, политические, юридические, экономические и социальные гнусности, настоящие и прошедшие, имеющие целью держать людей в невежестве и рабстве. Я фанатический приверженец свободы, видящий в ней единственную среду, где может развиться и процвести ум, достоинство и счастье людей; не той формальной свободы, жалованной, размеренной и регламентированной государством, которая есть вечная ложь и которая в действительности представляет не что иное как привилегию избранных, основанную на рабстве всех остальных, не той индивидуалистической, эгоистичной, скудной, и призрачной свободы, которая была провозглашена школой Ж. Ж. Руссо, и всеми другами школами буржуазного либерализма, и которая смотрела на так называемое общее право, выражаемое государством, как на ограничение прав каждого отдельного лица, — что всегда и неизбежно сводит к нулю право каждого отдельного индивида.

Нет я имею в виду одну свободу, достойную этого имени, свободу, предоставляющую полную возможность развить все способности интеллектуальные и моральные, скрытые в каждом человеке, свободу, непризнающую иных ограничений, кроме предписанных законами нашей собственной природы, что равносильно, собственно говоря, совершенному отсутствию ограничений, так как эти законы не изданы каким либо законодателем вне нас, рядом с нами или превыше нас стоящим; они нам присущи, неотделимы от нас, составляют самую основу нашего существа, как материального, так и интеллектуально-морального; вместо того, чтобы извращать их, мы должны их рассматривать, как необходимые условия и настоящую, действительную причину нашего стремления к свободе.

Я имею в виду такую свободу каждого, которая, входя в соприкосновение с свободой других людей, не останавливается перед ней, как перед предельным рубежом, но, напротив, находит в свободе других свое подтверждение и возможность расширяться до бесконечности; я имею в виду свободу каждого отдельного индивида, не ограничиваемую свободой всех, свободу в солидарности, свободу в равенстве; свободу, восторжествовавшую над грубой силой и над самым принципом авторитета—неизменным идеалом этой силы; свободу, которая, ниспровергнув всех небесных и земных идолов, положит основание новому миру, — миру челове-

ческой солидарности на обломках всех церквей и всех государств.

Я убежденный сторонник *экономического социального равенства*, так как я знаю, что вне этого равенства свобода, справедливость, человеческое достоинство, нравственность и благосостояние отдельных лиц так же, как и процветание целых наций,—есть ложь. Притом, будучи приверженцем, свободы, этого первого условия человечности, я думаю, что равенство должно быть установлено в мире путем добровольной организации труда и коллективной собственности, путем промышленных ассоциаций в коммунах и посредством добровольной же федерации коммун, — но отнюдь не через верховную и покровительственную власть государства.

Это тот пункт, в котором принципиально расходятся социалисты-коллективисты, сторонники сильной власти и абсолютной инициативы государства, с федералистами и коммунистами. У них одна цель: и та и другая партия одинаково стремятся к созданию нового социального строя, основанного исключительно на коллективном труде, самою силою вещей равномерно распределенном между всеми без исключения членами общества, при равных для всех экономических условиях, т. е. при условии коллективной собствнности на орудия труда. Только социалисты-коллективисты воображают, что они смогут придти к этому путем развития и организации политического могущества рабочих классов, в особенности городского пролетариата, рука об руку с буржуазным радикализмом, между тем как коммунисты-федералисты, враги всякого смешения и всякого двусмысленного союзничества, думают, наоборот, что они достигнут этой цели путем развития и организации не политического, но социального, следовательно, анти-политического могущества рабочих масс, как городских так и сельских, включая сюда также и людей, хотя и принадлежащих по рождению к высшим классам, но добровольно порвавших со всем своим прошедшим и открыто присоединившихся к пролетариату, приняв его программу.

Отсюда два различных метода. Социалисты-коллективисты думают, что нужно сорганизовать силы рабочих, чтобы овладеть политическим могуществом государств. Социалисты-федералисты организуются, имея целью уничтожение, или, если хотите более мягкое выражение, ликвидацию государств. Коллективисты — стороники принципа и применения авторитета, социалисты-же федералисты верят

только в свободу. Те и другие — равно поклонники науки, долженствующей убить суеверие и заменить собою веру; но при этом первые находят возможным уничтожить предрассудки и насаждать знание посредством декрета, между тем как вторые непосредственно заботятся о распространении наук, из сокровищницы которых каждый черпает то, к чему чувствует склонность, пропагандируют добровольную и свободную организацию в группы и федерации, опять таки в полном согласии с природными склонностями и насущными интересами, но отнюдь не по заранее начертанному плану, предписанному невежественным массам несколькими высшими умами.

Социалисты-федералисты думают, что в инстинктивных стремлениях и в реальных нуждах народных масс гораздо больше осмысленного и практического разума, чем в глубоком уме всех этих благодетелей и учителей человечества, которые, имея перед собой печальный пример стольких неудавшихся попыток — сделать человечество счастливым, мечтают еще о возможности вложить в это дело свои усилия. Социалисты же федералисты думают, наоборот, что человечество достаточно долго, даже слишком долго позволяло управлять собой, и что источник его несчастья заключается не в той или иной форме правления, а в самом принципе и существования правительства, каково бы оно ни было.

Это разногласие, между коллективизмом, научно изложенным немецкой школой и американскими социалистами, с одной стороны, и прудонизмом, широко развитым и доведенным до последних выводов, принятым пролетариатом латинских стран, — с другой, стало под конец историческим [1]). Революционный социализм только что сделал попытку первого блестящего практического выступления в *Парижской Коммуне*.

* *
*

Я — сторонник Парижской Коммуны, которая, будучи подавлена, утоплена в крови палачами монархической и клерикальной реакции, сделалась через это более жизненной, более могучей в воображении и в сердце Европейского пролетариата; я — сторонник Парижской Коммуны в особенности потому, что она была смелым, ясно выраженным, отрицанием Государства.

---

[1]) Он также принят славянскими народами, так как более соответствует их темпераменту и прирожденному отвращению к политике.

Что это практическое отрицание Государства имело место именно во Франции, бывшей доселе по преимуществу страной политической централизации, и именно в Париже, в историческом центре той великой французской цивилизации, которая и положила начало отрицанию государства,—это факт громадной исторической важности. Париж, развенчивающий себя и с энтузиазмом отрекающийся от своей власти во имя свободы и жизни Франции, Европы, целого мира! Париж, снова ставший инициатором и тем снова подтвердивший свое историческое призвание, показав всем рабским народностям (а какие же из современных народов не находятся в рабстве!) единственный путь освобождения и спасения! Париж, нанесший смертельный удар политическим традициям буржуазного радикализма и положивший реальное основание революционному социализму! Париж, вновь заслуживший проклятия всех реакционеров Франции и целого мира! Париж, в смертельной ненависти к ликующей реакции похоронивший самого себя под дымящимися развалинами! Париж, спасший ценою своего разрушения честь и будущность Франции и доказавший человечеству, что если жизнь, ум, нравственная сила и исчезли в высших классах, то зато они, могучие и полные будущности, сконцентрировались в пролетариате! Париж, освятивший новую эру, эру решительного и полного освобождения народных масс, эру их солидарности, ныне вполне осуществленной помимо государств с их искуственными границами! Париж, провозгласивший себя гуманитарным и атеистичным, и заменивший божественные вымыслы великою реальностью социальной жизни и верой в науку, которая заменила ложь и неправду религиозной, политической и юридической морали принципами свободы, справедливости, равенства и братства, этими вечными основами всякой человеческой морали! Геройский, рациональный и верующий Париж, запечатлевший своим великодушным падением, своею смертью могучую веру в судьбы человечества и завещавший эту веру, еще более могучую и живую, грядущим поколениям! Париж, затопленный кровью своих самых благородных сынов,—это человечество, пригвожденное к кресту сплоченной Европейской международной реакцией с благословения всех христианских церквей и великого жреца неправды—папы! Будущая же международная и солидарная революция народов будет воскресением Парижа!

Таков истинный смысл и таковы великие, благо-

дительные последствия двухмесячного существования и навеки незабвенного падения Парижской Коммуны.

Парижская Коммуна существовала слишком недолго и была слишком стеснена в своем внутреннем развитии смертельной борьбою, которую ей приходилось выдерживать против Версальской реакции, чтобы быть в состоянии, я уже не говорю, применить, но хотя бы выработать теоретически свою социалистическую программу. К тому же большинство членов Коммуны не были социалистами по убеждению, а если они считались таковыми, то лишь потому, что они были вовлечены в социализм непреоборимой силою вещей, самою природою среды, в которой они вращались. Социалисты, во главе которых естественно пришлось стать нашему другу Варлену, составляли в Коммуне очень незначительное меньшинство: их было не более четырнадцати или пятнадцати человек. Остальные были по преимуществу якобинцы. Но нужно оговориться, есть якобинцы и якобинцы. Есть якобинцы адвокаты и доктринеры, как Гамбетта, позитивный республиканизм [1]) которого, надменный, деспотический и педантичный, утративший бывшую революционную веру и сохранивший от якобинства только культ централизации и власти, предал народную Францию пруссакам, а позднее местной реакции. И есть якобинцы, непримиримые революционеры, герои, последние могиканы демократической веры 1793 года, готовые скорее пожертвовать единством власти ради нужд революции, чем поступиться своею совестью перед наглостью реакции. Эти великодушные якобинцы, во главе которых стоял Делеклюз, великая душа и сильный характер, хотят прежде всего торжества революции; а так как никакая революция невозможна без участия народных масс и так как эти массы, руководимые бессознательным социалистическим инстинктом, в настоящее время могут произвести только экономическую и социальную революцию, то правоверные якобинцы, постепенно увлекаемые логикой революционного движения, кончают тем, что делаются социалистами, сами, не отдавая себе в том отчета.

Именно таково было положение якобинцев, принявших участие в Парижской Коммуне. Делеклюз и многие другие вместе с ним подписывались под программами и прокламациями, общий смысл и обещания которых были положительно социалистичны. Но так как, несмотря на все свое чистосердечие

[1]) См. его письмо к Литтре в „Le progrès de Lyon".

и самоотверженность, они были социалистами поневоле, а не по убеждениям, и так как у них не было ни времени, ни возможности победить и уничтожить в себе массу буржуазных предрассудков, стоявших в роковом противоречии с их практическим социализмом, то само собой станет понятным, почему утомленные этой внутренней борьбой, они не оказались способными ни возвыситься над большинством, ни принять одну из тех решительных мер, которые порвали бы навсегда их солидарность и все их связи с миром буржуазии.

Это было величайшим несчастьем и для Коммуны и для них самих; они были обессилены этим противоречием и обессилили Коммуну. Но нельзя ставить им в упрек эту ошибку: люди не перерождаются в один день, не изменяют своей натуры и своих привычек по первому желанию. Они доказали свою искренность, отдав за Коммуну свою жизнь. Кто осмелится требовать большого?!

Им это тем более простительно, что сам парижский народ, под давлением которого они мыслили и действовали, был социалистом более по инстинкту, чем по примеру или по строго обдуманному убеждению.

Все его практические тенденции были в высшей степени социалистичны, но его идеи, его традиционные понятия стоят далеко ниже этого уровня. У пролетариата больших городов Франции так же, как и у парижского пролетариата, есть еще много якобинских предрассудков: о спасительности диктатуры и проч. Культ власти, роковой продукт религиозного воспитания, этот первоисточник всех исторических зол, народной испорченности и порабощения, еще не был дискредитирован и искоренен из его сознания. Это до такой степени верно, что даже наиболее интеллигентные сыны народа, самые убежденные социалисты не в состоянии окончательно отрешиться от этого предрассудка. Загляните поглубже в сердце каждого из них, и вы там найдете якобинца, сторонника государства, правда, скромно притаившегося в каком-нибудь темном уголке, но все же не совсем еще умершего. Как следствие этих причин, положение немногочисленных убежденных социалистов, принимавших участие в Коммуне, было чрезвычайно трудно. Не чувствуя под собой почвы в поддержке значительного большинства парижского населения, секция международной ассоциации, плохо с'организованная, едва насчитывавшая в своих рядах

несколько тысяч человек, должна была выдерживать ежедневную борьбу с якобинским большинством. И притом при каких обстоятельствах! Она должна была организовать, вооружать, давать работу и хлеб нескольким сотням тысяч рабочих на пространстве такого огромного города, как Париж, притом осажденного и угрожаемого с одной стороны голодом, а с другой — гнусными происками со стороны реакции, прочно утвердившейся в Версале *с разрешения и по милости Пруссаков.* Правительсву и Версальскому войску они были вынуждены противопоставить революционное правительство и войско, т. е. чтобы одолеть монархическую и клерикальную реакцию, они должны были, забыв и поступившись первыми условиями революционного социализма, прибегнуть к якобинской реакции.

Не естественно ли, что при подобном стечении обстоятельств, якобинцы, составлявшие большинство Коммуны и обладавшие в несравненно большей степени чем социалисты политическим инстинктом, традицией и практикой правительственной организации, имели, по сравнению с социалистами, огромные преимущества? Нужно еще удивлятся тому, что они не воспользовались этими преимуществами в гораздо большей степени и не придали восстанию Парижа исключительно якобинского характера, а были силою вещей вовлечены в социальную революцию.

Я знаю, что многие социалисты, весьма последовательные в своих теориях, упрекают наших парижских друзей в том, что они выказали себя в недостаточной мере социалистами в своих революционых действиях; в то же время все крикуны буржуазной прессы, наоборот, обвиняют их в „преступной последоватеьности“ в деле осуществления социалистической программы. Оставив пока в стороне гнусных доносчиков этой прессы, я должен заметить по адресу строгих теоретиков социализма, что они неправы по отношению к нашим парижским товарищам, потому что теории, даже самые разработанные, отделяются от их практического осуществления бесконечным пространством, которое в несколько дней не перешагнешь.

Если кто имел, например, счастие знать Варлена, в гибели которого теперь уже нельзя, к несчастью, сомневаться, тому достаточно только напомнить его имя, чтоб показать, сколько в нем и в его друзьях было пламенной, глубокой и продуманной социалистической убежденности. Для тех, кто знал их близко, это были люди, энтузиазм, самоотвер-

женность и искренность которых были вне всякого сомнения. Но именно потому, что они были людьми честными, лишенными самомнения и высокомерия, их дееспособность и была парализована сознанием громадного дела, которому они посвятили и душу свою и жизнь! Кроме того, по их глубокому убеждению в деле социальной революции, диаметрально противоположной во всем революции политической, действия отдельных лиц были почти ничем, а самопроизвольная деятельность масс должна была быть всем. Разработать, осветить и распространить идеи, отвечающие народному инстинкту, и своими непрестанными усилиями придать революционной организации стихийную мощь народного движения—вот все, что могут сделать отдельные лица, и ничего более; все остальное должно и может быть сделано только самим народом. Думай они иначе, они неизбежно пришли бы опять к политической диктатуре, т. е. к восстановлению государства, к привилегиям, неравенству, и пришли бы хотя обратным, но логическим путем к восстановлению политического, социального и экономического рабства народных масс.

У Варлена и его друзей, как у всех искренних социалистов и, вообще, у всех тружеников, родившихся и выросших среди народа, было в высшей степени развито это вполне законное предубеждение против инициативы, исходящей от отдельных лиц, предубеждение против властвования высших индивидуальностей, и так как они были последовательны, то и распространяли это предубеждение и это недоверие и на самих себя так же, как и на других людей.

Вопреки убеждению авторитетных коллективистов,—по моему, совершено ошибочному, что социальная революция может быть предписана и организована при посредстве диктатуры или учредительного собрания, как естественное следствие политической революции, наши друзья, парижские социалисты, думали, что социальная революция может быть совершена и руководима самопроизвольным действием, исходящим из народных масс, групп и ассоциаций.

Наши парижские товарищи были тысячу раз правы. Потому что, в самом деле, какой ум настолько гениален, или — если хотят говорить о коллективной диктатуре, хотя бы состоящей из нескольких сотен лиц, одаренных высшими способностями,—какая комбинация интеллектов могла бы быть настолько целесообразной, чтобы обнять бесконечное

множество и разнообразие реальных интересов, убеждений, желаний и потребностей, составляющих в сумме коллективную волю народа, и чтобы изобрести социальную организацию, могущую удовлетворить всех? Эта организация будет всегда Прокрустовым ложем, на котором насилие, более или менее санкционированное государством, заставило бы улечься несчастное общество. Так было до сих пор. И именно этой старой системе организации, основанной на насилии, социальная революция должна положить конец, предоставив полную свободу массам, группам, коммунам, ассоциациям, а также и отдельным индивидам и, уничтожив раз навсегда историческую причину всякого насилия — самое существование государства, падение которого увлечет за собой все несправедливости юридического права и всю ложь различных культов, так как это право и эти культы никогда не были ничем иным, как услужливой санкцией всяких насилий, нравственных и физических, осуществляемых, поддерживаемых и поощряемых государством.

Очевидно, что только тогда человечество получит свободу, и только тогда истинные интересы общества, всех групп, всех местных организаций а также и всех отдельных лиц, его составляющих, получат полное осуществление, когда государство не будет более существовать. Очевидно, что все так называемые общественные функции государства в действительности представляют не что иное, как решительное и беспрерывное отрицание насущнейших интересов отдельных областей, коммун, ассоциаций и огромнейшего числа людей, подчиненных государству. Эти общественные функции представляют нечто отвлеченное, фикцию, ложь, и государство в целом есть подобие обширной бойни или огромного кладбища, где незаметно, в тени, и прикрываясь этим отвлеченным нечто, этой абстракцией, с притворным сокрушением, приносятся в жертву и погребаются все лучшие стремления, все живые силы страны. И так как никакая абстрактность не существует сама по себе и для себя, не имея ни ног, чтобы ходить, ни рук, чтобы творить, ни желудка, чтобы переваривать ту массу жертв, которую ей предоставляется поглотить, то ясно, что, как религиозная или небесная абстрактность, Бог, представляет в действительности весьма положительные, весьма реальные интересы только привилегированной касты, духовенства, так и ее земное дополнение, политическая абстрактность, государство, представляет не менее положительные и реальные

интересы буржуазии, того класса, который включая в себя и другие высшие классы, главным образом, если не исключительно, является эксплуатирующим.

Уничтожение церкви и государства должно быть первым и необходимым условием настоящего раскрепощения общества. Только после этого оно может и должно устроиться по-иному: но только произойти это должно не сверху вниз, и не по воображаемому плану, начертанному несколькими мудрецами и учеными, и не в силу декретов, изданных каким нибудь диктатором или даже национальным собранием, избранным посредством всеобщей подачи голосов. Реформа сверху вниз, как я уже не раз повторял, неизбежно привела бы к созданию нового государства, и, следовательно, к образованию новой правящей аристократии т. е. целого класса людей, не имеющих ничего общего с народной массой; и, конечно, этот класс опять бы начал эксплуатировать и порабощать массы под предлогом общего счастья и спасения государства.

Будущая социальная организация непременно должна быть реализирована по направлению снизу вверх, посредством свободной ассоциации или федерации рабочих, начиная с союзов, коммун, областей, наций и кончая великой международной федерацией. И только тогда осуществится целесообразный, жизнеспособный строй, тот строй, в котором интересы личности, ее свобода и счастье не будут больше противоречить интересам общества. Говорят, что интересы отдельных лиц несовместимы и несогласуемы с интересами общества, что их гармония никогда не будет фактически осуществлена, в силу их органической противоположности. На такое возражение я отвечу, что если до настоящего времени эти интересы никогда и нигде не были во взаимной согласованности, причина этого было государство, жертвовавшее интересами большинства в пользу привилегированного меньшинства. И вся эта пресловутая несовместность и эта мнимая борьба личных интересов с интересами общества есть не что иное, как политическое надувательство и ложь, получившая свое начало в теологической лжи, измыслившей доктрину первородного греха, чтобы обесславить человека и уничтожить в нем сознание своей ценности. Эта ложная идея несовместимости интересов была усвоена и метафизикой, которая, как известно, состоит в близком родстве с теологией. Отрицая общественные инстинкты, прирожденные человеческой природе, метафизика смотрит на общество, как на

механический и искуственно созданный аггрегат индивидов, соединившихся случайно, в силу какого-нибудь формального или безмолвно принятого договора, заключенного или свободно, или же под влиянием высшей силы. Предполагается, что до своего соединения в общество, эти индивиды, одаренные яко-бы бессмертной душой, наслаждались полной свободой.

Но если справедливо утверждение метафизиков, что люди, особенно те из них, которые верят в бессмертие души, вне общества могут быть свободными существами, то отсюда с неизбежностью следует вывод, что люди могут соединяться в общество только при условии отрицания своей свободы, своей прирожденной независимости и предварительно отрекшись от всех своих интересов, как личных так и групповых. В подобном самоотречении и самопожертвовании должно быть тем более величия, чем многочисленнее общество и чем сложнее его организация. И в этом смысле государство есть выражение всех жертв личности. Имея столь отвлеченное и в то же время столь насильственное происхождение, государство продолжает, разумеется, и доныне стеснять все более и более свободу личности во имя той лжи, которая носит название „общего счастья", а в действительности есть не что иное как благоденствие господствующего класса. Таким образом, в результате, государство является систематическим отрицанием и могилой всякой свободы, всех интересов, как индивидуальных так и общественных.

В метафизических и теологических системах все обстоит благополучно. Вот почему творцы и защитники этих систем могут и даже должны со спокойной совестью продолжать эксплоатировать народные массы при посредстве Церкви и Государства. Набивая свои карманы и не ставя никаких преград своим нечистым вожделениям, они могут в то же время утешать себя мыслью, что они трудятся во славу Божию, во имя торжества цивилизации и грядущего благоденствия пролетариата.

Но мы, другие, не верящие ни в Бога, ни в бессмертие души, ни в метафизическую свободу воли, мы утверждаем, что свобода должна быть понимаема в самом, обширном смысле слова, понимаема как цель исторического развития человечества. По странному, хотя логически последовательному контрасту, наши противники, идеалисты теологии и метафизики, принимая принцип свободы за основу и базу их теории, выводят из него заключение о необходимости раб-

ства людей. Мы же другие, материалисты в теории, стремимся на практике осуществить и упрочить разумный и благородный идеализм. Наши враги, божественные и трансцендентальные идеалисты, в силу логического закона, по которому всякое развитие приводит в конце концов к отрицанию своей исходной точки, нисходят до практического материализма, жестокого и подлого. Мы же убеждены, что все богатство умственного, нравственного и материального развития человека точно так же, как и достигнутая им степень независимости, все это — продукт общественой жизни. Вне общества человек не только не сделался бы свободным, но не стал бы человеком в истинном значении этого слова, т. е. единственным сознательным существом, мыслящим и владеющим словом. Только благодаря общению умов и коллективному труду, мог человек выйти из дикого и животного состояния, составляющего его первоначальную природу или же исходный пункт его развития, Мы глубоко убеждены в той истине, что все в жизни людей: интересы, стремления, потребности, иллюзии, самые глупости так же как и насилие, несправедливости и все поступки, кажущиеся произвольными, являются следствием взаимодействия социальных инстинктов, присущих самой природе человека. Отрицание стихийной законосообразности в отношениях людей так же нелепо, как было бы нелепо отрицание этой законосообразности в проявлениях неодушевленной природы.

В природе эта удивительная, считавшаяся теологами предустановленной, гармония достигается непрерывной борьбой за существование и вымиранием неприспособленных; и как в природе, где нет борьбы и движения, нет ни жизни ни красоты, так и в обществе жизнь без борьбы есть смерть.

Если во вселенной царит гармония и закономерность, то это только потому, что вселенная не управляется по какой-либо системе, заранее придуманной и предписанной высшей волей. Теологическая гипотеза божественного законодательства ведет к очевидному абсурду и к отрицанию не только всякого порядка, но и к отрицанию даже самой природы. Законы реальны лишь постольку, поскольку они неотделимы от самих вещей, т. е. не предписаны какой-либо вне их стоящей властью. Эти законы не что иное, как простые проявления или неизменные свойства вещей и результаты их разнообразных комбинаций. В целом же все это составляет то, что мы называем „природа“. Человеческий

ум и созданная им наука исследуют эти свойства и эти комбинации вещей, систематизируют и классифицируют их путем опытов и наблюдений и подобные классификации и систематизация явлений и называют законами природы. Но сама природа не ведает вовсе законов. Она действует бессознательно, представляя собою бесконечную изменчивость явлений, проявляющихся и повторяющихся непред'отвратимым, роковым образом. И только благодаря этой роковой неизбежности, порядок вселенной может существовать и фактически существует.

Та же стихийная зависимость и последовательность явлений проявляется и в человеческом обществе, которое, по теории, эволюционирует так называемым противоестественным образом, в действительности же подчиняется естественному и неизбежному ходу вещей. Только та высшая ступень, на которой стоят люди по сравнению с животными, и их способность мыслить внесли в развитие человека особый элемент, также совершенно естественный и являющийся продуктом материального взаимодействия сил. Этот особый элемент есть разум или, лучше сказать, способность к обобщению и отвлечению, благодаря которой человек может наблюдать и изучать самого себя, наравне с предметами внешнего мира. Поднявшись затем мысленно еще выше над самим собою а также и над окружающим его миром, он приходит к представлению полной абстракции к абсолютному ничто. Это „абсолютное“ есть, в сущности, не что иное, как самоспособность к отвлечению, которая, пренебрегая всем, что существует, и дойдя до полного отрицания бытия, находит в этом свое успокоение. Это та последняя грань наивысшей отвлеченности, это абсолютное Ничто и было названо Богом.

Вот историческое происхождение и логическое основание всякой теологической доктрины. Не понимая природы и материальных причин своих собственных мыслей, не отдавая себе даже отчета в условиях их возникновения и развития, первые люди и общества, конечно, не могли подозревать, что их абсолютные познания абсолютного были не более как бесплодным раздражением способности к творчеству отвлеченных идей. Только в силу этого недоразумения они смотрели на эти идеи, как на высшие реальности, пред которыми сама природа обращалась в ничто. Потом они начинают обожать свои вымыслы, свои представления несуществующего абсолютного, начинают оказывать им всяче-

ские почести. Затем является потребность как-нибудь более конкретно представить абстрактную идею этого Ничто, т. е. Бога, сделать ее более осязательной для чувств: С этою целью они расширяют понятие божества, наделяя его всеми добрыми и злыми свойствами, какие им были известны из наблюдения над природой и человеком.

Таково было происхождение и историческое развитие всех религий, начиная с фетишизма и кончая христианством. Мы вовсе не имеем намерения заниматься историей религиозных, теологических и метафизических абсурдов и еще менее собираемся распространяться о всех последовавших божеских воплощениях и явлениях, созданных веками варварства. Всем известно, что суеверие порождало всегда массу самых ужасных зол и заставляло проливать кровь и слезы целыми потоками. Мы отметим только, что все эти возмутительные заблуждения бедного человечества в процессе эволюции общественных организмов были исторически неизбежными фактами. Эти заблуждения зародили и распространили в обществе роковую идею, овладевшую воображением людей, будто вселенная управляется сверх'естественной силой и волей. Века сменяли века и общество до такой степени свыклось с этой идеей, что, наконец, убило в себе всякое стремление и даже самую способность к прогрессу.

Властолюбие сперва нескольких лиц, а затем целых общественных классов возвело в жизненный принцип рабство и покорность, и вкоренило в сознание порабощенных вреднейшую из всех идей, идею божества. С тех пор никакое общество не стало возможным без этих двух основных учреждений: Церкви и Государства. Эти два бича общества защищаются всеми доктринерами.

Как только появились в мире эти учреждения, сразу организовались две касты: каста духовенства и каста аристократов, которые, не теряя времени, озаботились вбить глубоко в голову порабощенному народу сознание необходимости, полезности и священности Церкви и Государства. Все это имело единственную цель — заменить рабство грубого насилия рабством законным, предусмотренным и освященным волею Высшего Существа.

Но сами аристократы и духовенство, верили-ли они в божественное происхождение институтов, как бы нарочно установленных для их пользы? Или же они были только лицемерами и обманщиками? Нет, я склонен думать, что

они были в одно и то же время и искренно верующими, и лицемерами.

Они верили, потому что они естественно и неизбежно разделяли заблуждения масс, и только позднее, в эпоху упадка древнего мира, сделались скептиками и бесстыдными обманщиками. Кроме того, — есть одно обще-распространенное свойство человеческой психики, которое заставляет думать, что основатели государств были людьми искренними. А именно: человек всегда легко верит в то, чего он желает и что не противоречить его интересам. Независимо от ума и образования, из самолюбия, ради желания пользоваться уважением окружающих, он всегда будет верить в то, что ему полезно и приятно. Я убежден, например, что Тьер и версальское правительству усиленно, всячески старались убедить себя, что, убивая в Париже несколько тысяч человек, женщин и детей, они тем самым спасают Францию.

Но если священники, авгуры, аристократы и буржуа древних и новых времен и верили искренно, то все же они были одновременно и обманщиками. Ведь нельзя допустить, чтобы они верили в те абсурды, из которых состоит религия и политика. Я уже не говорю об эпохе, когда, по словам Цицерона, „два авгура не могли посмотреть друг другу в глаза, чтобы не рассмеяться“. Трудно предположить, что позднее, хотя бы и во времена всеобщего невежества и суеверия, изобретатели средневековых чудес верили в их реальность. Точно также позволительно сомневаться и в искренности правителей позднейших времен, руководившихся в политике правилом: „порабощай и грабь народ так, чтобы он не сетовал слишком громко на свою судьбу, чтобы он не забывал о покорности и не имел времени на размышления, легко приводящие к протесту и возмущению“.

И уж совсем нельзя допустить, чтобы люди, сделавшие из политики ремесло, искусившиеся в несправедливости, в насилии, во лжи и в измене, не останавливающиеся пред массовыми и одиночными убийствами, могли искренно верить в искусство политики и в государственную мудрость и считать государство источником общественного благополучия. Они подлы, но не так глупы. Церковь и государство были во все времена главнейшими рассадниками пороков. История может засвидетельствовать их преступления: повсюду и всегда священник и правитель были сознатель-

ными врагами народов и их систематичными, неумолимыми и кровожадными палачами.

Но как же всетаки согласить две, повидимому совершенно несогласимые вещи: низшие агенты правительства, они же обманщики и обманутые; другие, — всесильные властители земли, и в то же время лицемеры? Логически это кажется несовместимым, но фактически, т. е. в практической жизни, эти качества мирно уживаются одно с другим.

В подавляющем большинстве случаев люди живут в противоречии с самими собою и не замечают этого, пока какое-нибудь исключительное событие не разбудит их совесть от привычной спячки и не заставит оглянуться на себя и окружающее.

В политике как и в религии большинство людей только марионетки в руках привилегированных эксплуататоров. Но грабители и ограбленные, поработители и порабощенные живут бок-о-бок друг с другом, управляемые горсточкой лиц, на которых, собственно, и следует смотреть, как на истинных эксплуататоров. Эти последние, свободные от всех предрассудков, политических и религиозных, сознательно угнетают и держат народ в невежестве. В наше время так же бесконтрольно, как и в XVII и в XVIII веках, до Великой Революции, они бесконтрольно и беспрепятственно владычествуют в Европе, но скоро-скоро их владычеству придет конец.

В то время, как главные вожаки обманывают и сознательно развращают народ, их приспешники, креатуры Церкви и Государства, усердно стараются поддерживать веру в святость и неприкосновенность этих гнусных учреждений. Если Церковь, по заявлению духовенства и большинства государственных людей, необходима для спасения души, то Государство, в свою очередь, так же необходимо для поддержания мира, порядка и справедливости, и потому доктринеры всех школ восклицают: „Без Церкви и Правительства невозможны ни цивилизация ни прогресс“.

Нам нечего заниматься обсуждением проблемы вечного спасения, потому, что мы не верим в бессмертие души. Мы убеждены, что самая вредная вещь для человечества, для истины, прогресса, есть Церковь. И может ли это быть иначе? Разве не на Церковь возложена обязанность развращать подрастающие поколения, и в особенности женщин? Разве не Церковь своими догматами, своею ложью своими

глупостями и своими пошлостями старается убить логику разума и науки? Разве не она посягает на достоинство человека, извращая в нем понятие о праве и справедливости? Разве не она обращает живое в труп? Разве не она искажает свободу, разве не она проповедует вечное рабство масс в угоду тиранов и поработителей? Разве не она, эта неумолимая Церковь, стремится продолжить до бесконечности мрак невежества, нищету и преступления?

И если прогресс нашего века — не сон обманчивый он должен положить конец этому учреждению.



Содержание.

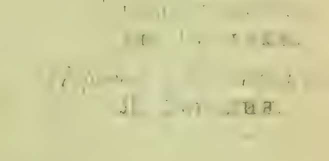
Михаил Бакунин.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Том [illegible]

„Альянс“ и Интернационал.

Интернационал и Мадзини.





Книгоиздательство „Голос Труда“.
Петербург — Москва.
[illegible]

Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ V.

„Альянс“ и Интернационал.

Интернационал и Мадзини.

С примечаниями
Дж. Гильома.

Перевод с французского
Л. Гогелия.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА“.
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1921.

Типография „ГОЛОС ТРУДА“. Петербург.

Протест „Альянса“.

Протест „Альянса.“

. . . .
. . . то, что они [1]) думают и чего хотят, думают и хотят их секции, так что им даже нет нужды спрашивать их, как следует поступить и действовать в том или другом случае от их имени.

Эта иллюзия, эта фикция прискорбна во всех отношениях. Она очень прискорбна, во-первых, в отношении социальной нравственности самих вождей, поскольку она приучает их смотреть на себя, как на неограниченных хозяев над известной группой людей, как на несменяемых, постоянных вождей, власть которых узаконена как теми услугами, которые они оказали, так и самим временем, впродолжение которого длилась эта власть. Лучшие люди легко развращаются, их легко становится подкупить, в особенности, если сама среда способствует этому, благодаря отсутствию серьезного контроля и постоянной оппозиции. В Интернационале не может быть речи о подкупе деньгами, потому что это сообщество еще слишком бедно, чтобы давать доходы или даже справедливое вознаграждение своим вождям. В противоположность тому, что происходит в буржуазном мире, корыстность и лихоимство в нем, стало быть, редки и бывают лишь в исключительных случаях. Но существует другой вид подкупа, которому, к сожалению, не чуждо Международное товарищество рабочих: это подкуп тщеславия и честолюбия.

---

[1]) В этом месте Бакунин, очевидно, говорил о комитетах и их государственнических привычках: он об'яснял, каким образом, совершенно естественно, комитеты стали подменять своею волею и своими мнениями волю и мысли управляемых ими секций. *Дж. Г.*

Все люди обладают природным властническим инстинктом, который берет свое начало в том основном законе жизни, что ни один индивид не может обеспечить себе существование ни заставить уважать свои права иначе. как посредством борьбы. Эта борьба между людьми началась с людоедства; потом, продолжаясь в течение веков под различными религиозными лозунгами, она последовательно прошла, — и иногда даже как бы возвращаясь к своему первоначальному варварству, — через все формы рабства и крепостничества. В настоящее время она происходит двояким образом: в виде эксплоатации наемного труда капиталом и в виде политического, юридического, гражданского, военного, полицейского угнетения государством и государственною официальною церковью, продолжая вызывать всегда во всех личностях, рождающихся в обществе, желание, потребность, иногда необходимость повелевать другими и эксплоатировать их.

Мы видим, что инстинкт повелевать другими, в своей первоначальной сущности, плотоядный инстинкт, животный, инстинкт дикаря. Под влиянием умственного развития людей, он в некотором роде облагораживается, принимает менее грубые формы, являясь орудием разума и преданным слугой той абстракции или той политической фикции, которая называется общественным благом; но по существу он остается таким же зловредным, он даже становится вреднее по мере того как, благодаря применению науки, действие его расширяется и усиливается. Если есть дьявол во всей человеческой истории, так это этот властнический принцип. Он один, вместе с тупостью и невежеством масс, на чем он, впрочем, всегда основывается и без чего не мог бы существовать, он один породил все несчастья, все преступления и все постыдные факты истории.

И этот проклятый принцип неизбежно существует, как естественный инстинкт, в каждом человеке, не исключая самых лучших людей. Каждый носит в себе его зародыш, а известно, что каждый зародыш, в силу основного закона жизни, должен необходимо развиваться и расти, если только он находит в окружающей среде благоприятные условия для своего развития. Эти условия в человеческом обществе—тупость, невежество, безразличное ко всему отношение, апатия и рабские привычки масс; так что можно с полным правом сказать, что сами эти массы рождают этих эксплоататоров, угнетателей, деспотов, палачей чело-

вечества, чьими жертвами они являются. Когда они безмятежно спят и терпеливо переносят свое унижение и рабство, лучшие люди, рождающиеся в их среде, наиболее умные, наиболее энергичные, те, которые в иной среде могли бы оказать огромные услуги человечеству, становятся неизбежно деспотами. Они становятся ими, часто ошибаясь на свой собственный счет и думая, что работают на благо тем, кого они угнетают. Наоборот, в обществе сознательных людей, с живым умом, ревниво оберегающих свою свободу и готовых в каждый момент выступить на защиту своих прав, самые большие эгоисты, самые зложелательные личности, становятся хорошими. Такова власть общества, в тысячу раз более сильная, чем власть самых сильных личностей.

Итак, стало быть, ясно, что отсутствие постоянной оппозиции и контроля становится неизбежным источником нравственной испорченности для всех лиц, облеченных какой-нибудь общественной властью; и что те из них, которым дорого спасти свою личную нравственность, должны во-первых, стараться не оставаться слишком долго у власти, а во-вторых, пока у них находится в руках эта власть, стараться вызвать против себя эту оппозицию, подвергнуть себя этому спасительному контролю.

Этого-то обыкновенно и не делали члены женевских комитетов, без сомнения, благодаря незнанию опасностей, каким они подвергались с точки зрения общественной нравственности. Посвящаю себя всецело деятельности в комитетах, они приобрели приятную привычку командовать, и в силу некоторого рода галлюцинации естественной и почти неизбежной у всех людей, которые слишком долго держат власть в своих руках, они вообразили себя необходимыми людьми. Таким образом, незаметно образовалась в самих секциях строительных рабочих, ярко пропитанных народным духом, нечто вроде правящей аристократии. Мы увидим сейчас, какие гибельные последствия вызвало это для организации Международного Товарищества в Женеве.

Нужно ли говорить, насколько такое положение вещей прискорбно для самих секций? Оно все более и более сводит их к нулю, превращает в состояние чисто фиктивных организаций, которые существуют только на бумаге. С возрастающей властью комитетов естественно развились

индиферентизм и невежество секций во всех вопросах, кроме вопроса стачек и членских взносов, которые к тому же производятся все с большими и большими затруднениями и очень нерегулярно. Это естественный результат умственной и нравственной апатии секций, а эта апатия является, в свою очередь, таким же необходимым следствием автоматического подчинения, до какого довел секции авторитарный дух комитетов.

Во всех других вопросах, за исключением стачек и членских взносов, строительные рабочие отказались от собственного суждения, от всякого участия в обсуждении их от всякого вмешательства; они во всем полагаются на решения своих комитетов. „Мы избрали комитет, он должен решать“. Вот, что строительные рабочие часто отвечают тем, кто старается узнать их мнение по какому нибудь вопросу. Они дошли до того, что не имеют больше никакого мнения, подобные белым листам бумаги, на которых их комитеты могут писать все, что хотят. Лишь бы только их комитеты не требовали у них слишком много денег и не торопили их слишком вносить то, что полагается, они могут не спрашивая их, решать и делать безнаказанно от их имени все, что им кажется нужным.

Это очень удобно для комитетов, но это отнюдь не благоприятствует общественному, умственному и нравственному развитию секций ни действительному развитию коллективного могущества Международного Товарищества. Так как реальными остаются только комитеты, которые, благодаря некоторого рода фикции, свойственной всем правительствам, выдают свою волю и свои мысли за волю и мысли своих секций, тогда как в действительности эти последние в большинстве обсуждаемых вопросов не имеют ни воли ни мыслей. Но комитеты, представляя только самих себя и имея за собой только невежественные и индиферентные массы, способны лишь образовать фиктивную силу, а не настоящую. Эта фиктивная сила, отвратительное и неизбежное последствие авторитарного принципа, проникнув в организацию секций Интернационала, чрезвычайно благоприятна для развития всякого рода интриг, тщеславия, честолюбия и личных интересов; она даже является превосходным средством, чтобы внушить пролетариату чувство детского самодовольства и уверенности, столь же смешной, как и роковой; она превосходна также, чтобы поразить воображение буржуа. Но она не принесет никакой пользы в борьбе на жизнь и

на смерть, какую должен вести теперь пролетариат всех стран против еще слишком реальной силы буржуазного мира.

Эта индиферентность по отношению к общим вопросам, которая все больше и больше проявляется у строительных рабочих; эта умственная лень, заставляющая их полагаться во всех вопросах на решения своих комитетов, и вытекающая отсюда, как естественное следствие, привычка к автоматическому и слепому подчинению, делают то, что в самих комитетах большинство входящих в состав их членов становятся бессознательным орудием мысли и воли трех или двух, иногда даже кого-нибудь одного из своих товарищей, более умного, более энергичного, более настойчивого и более активного, чем другие. Таким образом, большинство секций представляет лишь массы управляемых либо олигархией, либо даже совершенно личной диктатурой, скрывающей свою самодержавную власть под самой демократической формой в мире.

При таком положении дела, чтобы взять в свои руки управление всем Женевским Международным Товариществом, и именно группой строительных рабочих, нужно было сделать только одно: привлечь на свою сторону, всевозможными средствами, нескольких наиболее влиятельных вождей секции,—десятка два или три лиц самое большее. Залучив их и надлежащим образом подчинив их себе, вы имели все секции строительных рабочих в своих руках. Такое именно средство и употребили, с большим успехом, ловкие вожаки Женевской Фабрики [1]).

Кульминационный пункт собственно женевской организации, это Женевский Центральный Комитет [2]) Каждая секция посылает в этот комитет двух делегатов так что он должен собирать на своих заседаниях, теперь когда число секций Женевского Интернационала достигло . [3])

---

[1]) Секции фабричных рабочих.

[2]) Называемый Кантональным Комитетом.

[3]) Бакунин оставил здесь и дальше, перед словом *членов*, пустое место; на полях он сделал следующую заметку, предназначенную для женевских друзей, которые должны были прочесть его рукопись: „Женевские друзья должны вписать настоящие цифры, я их не знаю. Во всяком случае, имеется больше тридцати секций и, следовательно, в центральном комитете больше шестидесяти делегатов“.

Эта цифра, шестьдесят членов, которая соответствовала бы существованию тридцати секций, преувеличена. Во время общего Брюссельского съезда, 5 сентября 1868 г., в Женевском кантоне было двадцать четыре секции (доклад делегата Гральия); во время основания романской федера-

считая по два делегата от каждой, ... членов. Очень редко бывает чтобы число делегатов, действительно собирающихся на регулярных заседаниях центрального комитета, достигало трети общего их числа.

Центральный Комитет является бесспорно высшей властью в Женевском Интернационале. Благодаря тем полномочиям, какими он облечен, и благодаря своим непосредственным сношениям со всеми секциями, чьим он, впрочем, считается прямым выразителем, представителем, и в некотором роде постоянным парламентом, центральный комитет обладает, разумеется, большей властью, чем сам федеральный комитет [1]). Этот последний является исключительным и высшим представителем коллективных интересов, стремлений, мысли и воли всех секций Романской Швейцарии, как по отношению к генеральному Совету Международного Товарищества Рабочих, так и по отношению к национальным организациям этого сообщества во всех других странах. В этом отношении, он находится в зависимости, во-первых от генерального совета,—против решений которого он, впрочем, всегда может аппелировать к общим с'ездам, — и затем, и более непосредственно, еще от федеральных с'ездов секций романской федерации, которые не только имеют право его контролировать и вменять ему в обязанность исполнение своих окончательных постановлений, но и лишить его полномочий и заменить его другим федеральным комитетом.

Федеральный комитет, кроме того, является верховным руководителем газеты федерации. Редакция газеты, правда, назначается романским с'ездом, но газета выходит под наблюдением федерального комитета, который имеет неот'емлемое право придавать ей свой дух. Если только он умеет пользоваться этим оружием, оно обеспечивает ему большую власть, ибо газета, обращаясь непосредственно ко всем членам Интернационала, может сильно способствовать тому, чтобы выработать в них общее направление.

нии, в январе 1869 г., женевских секций было двадцать три (доклад романского федерального комитета на с'езде в Шо-де-Фоне, в апреле 1870 г.); их было двадцать шесть в октябре 1869 г. („Интернационал", т. I). Наконец, на основании газеты „Egalité" от 23 апреля 1870 г. число женевских секций во время с'езда в Шо-де-Фоне было двадцать восемь.

Дж. Г.

[1]) Романский Федеральный Комитет был представителем романской Федерации, а женевская организация составляла лишь часть последней. Этот федеральный комитет, избранный на один год на с'езде романской Федерации, заседал также в 1869 г. *Дж. Г.*

Таковы главные прерогативы федерального комитета. Нужно прибавить к ним еще очень важное право и обязанности брать в свои руки руководство стачками, когда эти последние, переступая за пределы данной местности, нуждаются в активном содействии или даже в материальной и моральной поддержке всех секций романской федерации, также как и секций других стран.

Помимо этих прав, впрочем весьма значительных, у него не остается других прав, кроме права надзора, арбитража и, в случае нужды, призыва к соблюдению основных принципов Международного Общества, каковые были формулированы на общих с'ездах, и других обязанностей, кроме обязанности регулярного посредника между Генеральным Советом и местными организациями. В местностях, где существует центральный комитет[1]), т. е. местный парламент секций, федеральный комитет не имеет права обращаться непосредственно к этим последним; он может это делать только при посредстве центрального комитета, который является естественным оберегателем свободы и местной автономии против притязаний власти. Федеральный комитет не может, следовательно, оказывать непосредственного влияния и непосредственного действия на секции: эта возможность принадлежит исключительно центральному комитету, которому она обеспечивает гораздо большую местную власть, чем власть федерального комитета.

Власть Центрального Комитета, находящегося, конечно, под контролем, скорее формальным, чем действительным, Федерального Комитета и, более серьезно, под контролем федерального органа,—если только Федеральный Комитет захочет в случае нужды воспользоваться против него этим последним,—не имеет других истинных границ в управлении внутренними местными делами, кроме тех, которые она встречает в автономном начале секций и в общих собраниях, являющихся некоторого рода местными с'ездами, не представительными, а настоящими народными с'ездами, в том смысле, что все наличные члены Интернационала принимают в них участие. С'езды эти, согласно статутам, принятым на первом романском с'езде, происходившем в январе 1869 г. в Женеве, имеют право отменить все решения Центрального Комитета и даже предписать ему свою

[1]) Этот „центральный комитет“ правильно было бы называть „местным комитетом“. *Дж. Г.*

волю, сохраняя за Центральным Комитетом право аппеляции к федеральному и романскому с‘ездам, аппеляции, которая, впрочем, может иметь место только в тех случаях, когда решения, принятые общими собраниями, будут противоречить основным принципам Международного Товарищества Рабочих.

Там, где автономия секций действительно существует, она ставит очень серьезные границы произволу Центрального Комитета. Поэтому женевский Центральный Комитет всегда почтительно преклонялся перед правом секций Фабрики, солидная организация которых, как мы уже заметили[1], не только предшествует существованию Международного Товарищества Рабочих, но даже, во многих отношениях чужда, чтобы не сказать совершенно противоречит, духу и самим принципам сообщества.

Совершенно иначе обстоит дело с секциями строительных рабочих, организация которых, слишком несовершенная и часто даже, как мы уже видели, сосредоточивающаяся исключительно в комитетах, не внушает такого же уважения к себе Центральному Комитету. Достаточно было бы этому последнему склонить на свою сторону комитет упорствующей в своем мнении секции, чтобы сломить оппозицию. Впрочем, до сих пор мы почти не имели примера такой оппозиции.

Оставалось, следовательно, только единственное средство для защиты независимости и прав строительных рабочих: это общие собрания. И, нужно сказать, ничто не было так антипатично Центральному Комитету, как эти действительно народные собрания, которые он всегда старался заменить собраниями комитетов всех секций, т. е. собранием правящей аристократии.

Мы вернемся к этому важному пункту. Теперь мы должны выяснить, какой интерес Центральный Комитет, — который внешним образом является представителем не какой-нибудь партии, а всех секций,—мог иметь в том, чтобы заменить народные собрания этими правительственными собраниями. Не является ли сам Центральный Комитет чем то в роле народного парламента, избранного всеобщим голосованием всех секций? Юридически — да, но фактически —

[1] В части рукописи, которая утеряна. *Дж. Г.*

нет. Фиктивно он представляет всех, но в действительности, после нескольких месяцев борьбы, он теперь представляет только женевское владычество.

Итак, мы изложили теперь, насколько возможно короче, главные фазисы этой борьбы, которые покажут нам, каким образом Центральный Комитет, бывший прежде чисто народным и демократическим учреждением, превратился мало по малу в учреждение правительственное, женевское и аристократическое.

Так как в женевском Интернационале число секций строительных рабочих вместе с промежуточными секциями (типографы, портные, сапожники и т. д.) больше числа секций фабричных рабочих и каждая секция, каково бы ни было число ее членов, представлена в Центральном Комитете только двумя делегатами, то члены не женевцы в этом Комитете должны бы были быть в большинстве, а женевцы в меньшинстве. Однако, не всегда было так, по той простой причине, что несколько промежуточных секций и даже некоторые секции строительных рабочих, хотя большей частью состоящие из иностранцев, с самого начала взяли обыкновение посылать в Центральный Комитет делегатов из женевских товарищей, которые, повинуясь своим патриотическим внушениям, голосуют почти всегда вместе с фабрикой.

Но даже когда делегаты женевцы были численно в меньшинстве в Центральном Комитете, они всегда имели преобладающий голос, и это по многим причинам. Во-первых, женевские рабочие, взятые в массе, гораздо более развиты, имеют гораздо больше политического опыта и владеют несравненно лучше словом, чем строительные рабочие. Во-вторых, секции фабричных рабочих всегда имели делегатами в Центральном Комитете своих наиболее умных, наиболее видных членов, часто даже своих главных вождей, которым они вполне доверяли и которые, согласно налогаемой статутами на всех делегатов обязанности по отношению к своим секциям, регулярно отдавали отчет своим доверителям обо всем, что они предлагали и за что голосовали в Центральном Комитете, и требовали у них инструкций для своего дальнейшего поведения; так что секции фабричных рабочих могли и могут сказать, что они действительно представлены в Центральном Комитете, тогда

как большею частью представительство секций строительных рабочих в Центральном Комитете лишь простая фикция.

Сила строительных рабочих, как мы уже сказали, заключается не в научном, политическом и умственном их развитии, а в правильности и глубине их инстинкта, также как в их природном здравом смысле, благодаря которому они почти всегда угадывают правильный путь, когда они не дают увлечь себя софизмами какого нибудь ритора и лживыми речами злостных интриганов, что к сожалению случается слишком часто.

Они насчитывают в своей среде мало образованных вождей, привыкших публично говорить и которые имели бы организационный и административный опыт.

Они приберегают наиболее сметливых товарищей для своих секционных комитетов и отправляют часто делегатами в Центральный Комитет наименее смышленых, наименее рьяных. Эти делегаты, плохо или совсем не понимая важности возложенной на них миссии, часто пропускают заседания Комитета и почти никогда не дают отчета своим секциям о решениях и постановлениях Комитета, в которых, даже когда они присутствуют, они чаще всего принимают лишь пассивное участие, как автоматы.

Понятно, что при таком большинстве, даже когда имеется большинство, собственно женевское меньшинство должно иметь перевес на своей стороне. Этот перевес, который к тому же все возрастает, сдерживал в продолжение некоторого времени один человек, товарищ Броссэ, слесарь.

Нам нет необходимости говорить, что представляет собою Броссэ [1]. Соединяя в себе вместе с действительным добродушием и большой простотой манер энергичный, горячий и гордый темперамент; умный, талантливый и

[1]) Бакунин говорит так, потому что в 1871 г. всякий знал в секциях Интернационала романской Швейцарии этого рабочего слесаря, родом из Савойи, который в продолжении некоторого времени, казалось, воплощал в Женеве стремления и революционный дух строительных рабочих. Во время крупной апрельской стачки 1868 г. Франсуа Броссэ был главным „вожаком". В январе 1869 г., при основании романской федерации, он был избран председателем романского федерального комитета и оставался им в продолжении семи месяцев. Потом ему надоело быть предметом постоянных нападок со стороны вождей Фабрики и, кроме того, он был сильно удручен смертью своей жены и оставил борьбу. — В другом месте читатель найдет другой портрет Броссэ. *Дж. Г.*

угадывающий умом вещи, которых у него не было ни времени ни средств усвоить путем науки; страстно преданный делу пролетариата и до крайности ревниво оберегающий права народа; как таковой, от‘явленный враг всех авторитарных претензий и стремлений, это настоящий народный трибун. Чрезвычайно уважаемый и любимый всеми строительными рабочими, он сделался в некотором роде их естественным вождем и, в качестве такового, он один, или почти один, как в Центральном Комитете и на собраниях правлений комитетов, так и на народных собраниях, выступал против Фабрики.

В продолжении нескольких месяцев, а именно с момента прекращения апрельской стачки 1868 г. до своего избрания председателем Федерального Комитета романской Швейцарии на первом романском с‘езде в январе 1869 г. [1]), он оставался на посту. Это был героический период его деятельности в Интернационале. В Центральном Комитете, также как и на собраниях комитетов, он был действительно единственным человеком оппозиции, и очень часто, несмотря на сильную женевскую коалицию, поддерживаемую всеми реакционными элементами этих комитетов, он одерживал победу. Можно себе представить, как его ненавидели вожаки Фабрики.

Главным вопросом, вокруг которого возникли разногласия, был следующий: будет ли организовано Международное Товарищество в Женеве на истинных и широко международных началах этого сообщества, или же, сохраняя великое имя Интернационала, оно станет исключительно, узко женевским?—цель, к которой естественно всеми силами стремятся рабочие женевцы,—масса, разумеется, не отдавая себе в этом отчета, а вожди вполне сознательно, прекрасно зная, что в этом последнем случае Интернационал не замедлит сделаться в скором времени в их руках могучим средством победоносного вмешательства в местную политику Женевского кантона, в пользу не социализма, а радикальной партии.

Это было началом в женевском Интернационале вечного спора между буржуазным радикализмом и революционным

[1]) Не с‘езд назначил Броссэ председателем, а Федеральный Комитет сам избрал для выполнения обязанностей председателя одного из своих членов. *Дж. Г.*

социализмом пролетариата. Спор этот, тогда только что зарождавшийся и не имевший еще, разумеется, определенной формы, велся между двумя противоположными партиями под влиянием скорее инстинктивных стремлений, чем ввиду ясно осознанных ими целей, и вполне выяснился только позднее, в 1869 г., под влиянием газеты „*Egalité*" и пропаганды секции Альянса.

Нам нет нужды об'яснять вам, товарищи [1], насколько те, которые защищали сторону революционного социализма, были правы, и насколько те, которые хотели сделать Интернационал орудием буржуазного радикализма, ошибались, насколько этим самым последние, разумеется не зная и не желая этого, работали в пользу полного крушения духа, сути и самой будущности Международного Товарищества Рабочих.

Вы хорошо знаете, что этот же самый спор возобновился на последнем общем с'езде Интернационала, имевшем место в Базеле в 1869 г., и что партия буржуазного радикализма, или скорее партия двусмысленного примирения рабочего социализма с политикой буржуазных радикалов, чтобы ни говорили наши политические противники, встретила молчаливое порицание со стороны большинства с'езда.

Напрасно большинство делегатов немецкой Швейцарии и оба делегата фабричных секций Женевы [2], вместе со всеми почти германскими делегатами, старались, чтобы с'езд поставил на обсуждение знаменитый вопрос о р е ф е р е н д у м е или прямом народном законодательстве. Внесенный в порядок дня, как последний вопрос, он не обсуждался за недостатком времени и потому что было очевидно, что большинство с'езда было против.

Для вас, так и для нас ясно, что революционно-социалистическая часть пролетариата не может вступить в союз ни с какой фракцией, даже наиболее передовой, буржуазной политики, не став сейчас же, вопреки своей воле, орудием этой политики; и что программа с о ц и а л д е м о к р а т и ч е с к о й п а р т и и в Германии, принятая с'ездом этой

[1] Как мы увидим дальше, Бакунин обращается здесь к рабочим Юрских гор. *Дж. Г.*

[2] Бакунин имеет в виду здесь Анри Перрэ и Гросселена. В действительности один только Анри Перрэ был делегатом от фабричных секций; Гросселен, также как Бруссе и Гени, был избран всеми секциями Женевы. *Дж. Г.*

партии в августе 1869 г.,—программа, которую она, к счастью, в силу самой логики вещей, принуждена в настоящее время радикально изменить и которая, об'явив, что завоевание политических прав является *предварительным условием* освобождения пролетариата, становилась этим самым в жгучее противоречие с основными принципами Международного Товарищества Рабочих, делая буржуазную политику основой социализма (ибо всякая предварительная политика, т. е. политика, которая предшествует социализму и которая ведется, стало быть, вне его, т. е. против него, может быть исключительно буржуазной),—что эта программа, говорим мы, могла лишь привести к тому, чтобы заставить социалистическое движение пролетариата тащиться в хвосте за буржуазным радикализмом.

Для вас, как и для нас, очевидно, что политический или буржуазный радикализм, каким бы красным, каким бы революционным он ни называл себя, или ни был им на самом деле, не может и никогда не будет в состоянии желать полного экономического освобождения пролетариата, так как противно самой природе вещей, чтобы какое нибудь реальное существо, индивид или коллектив, мог хотеть разрушения самих основ своего существования, что, следовательно, буржуазный радикализм, nolens volens[1]), сознательно или бессознательно, будет всегда обманывать рабочих, которые будут иметь глупость довериться искренности его социалистических стремлений или намерений. Радикалы ничего не будут иметь против, чтобы еще раз воспользоваться физической силой и голосами пролетариата для достижения своих исключительно политических целей, но никогда они не захотят и не смогут служить этому последнему орудием для завоевания им политических и социальных прав.

Мы одинаково убеждены,—не правда ли,—что пролетариат был бы вдвойне обманут, заключив союз с буржуазным радикализмом. Во-первых, потому что этот последний стремится к целям, не имеющим ничего общего с целью пролетариата и даже диаметрально-противоположным ей; а затем, потому что буржуазный радикализм не составляет даже силы. Он истощен, и его полное истощение проявляется слишком ярко во всех странах Европы в настоящее время, чтобы возможно было в этом ошибиться. Он не

---

[1]) Хочет он или нет.

верит больше в свои собственные принципы, он сомневается даже в своем собственном существовании, и он тысячу раз прав в том, что сомневается в этом, потому что, действительно, у него нет больше никакого права на существование. В настоящее время остаются лишь две реальные партии: партия прошлого и реакции, обнимающая все владеющие и привилегированные классы и стоящая ныне, с большей или меньшей откровенностью, под знаменем военной диктатуры и государственной власти; и партия будущего и полного освобождения человечества, партия революционного социализма, партия пролетариата.

Посредине — платонические воздыхатели, бледные призраки либерального и радикального республиканизма. Это жалкие блуждающие тени, которые хотели бы уцепиться за что-нибудь реальное, живое, чтобы найти себе какое-нибудь право на существование. Отброшенные реакцией в партию народа, они хотели бы управлять им, и они парализуют его, сбивают его с истинного пути и препятствуют его развитию, не принося ему взамен ни тени материального могущества ни даже какой-нибудь плодотворной идеи.

Социал-демократы Германии сделали опыт с ними. Чего только они не делали, начиная с 1867 г., чтобы заключить патриотический, пангерманский, оборонительный и наступательный союз с знаменитой демократической, республиканской, радикальной и глубоко буржуазной партией, которая называлась народной партией (Volkspartei), одной из творцов и славных защитников не менее знаменитой Лиги Мира и Свободы, партией, которая, образовавшись на юге Германии в противовес прусско-германской политики Бисмарка, имела свой главный центр в столице этих добрых швабов, в Штутгарте. Не понимая, что эта партия была лишь бессильным призраком, германские социал-демократы сделали ей всевозможные и даже невозможные уступки, они настоящим образом кастрировали себя, чтобы спуститься до ее уровня и чтобы быть в состоянии оставаться в союзе с ней. Мы видим теперь, насколько все эти уступки были бесполезны и вредны: народная партия, рассеянная, как пыль, победами и прусско-германской грубостью императора Вильгельма, не существует больше, и социал-демократическая партия, которая не может быть ни рассеяна, ни уничтожена, потому что это не партия буржуазии, а партия германского пролетариата, должна переделать и расширить

свою программу, чтобы иметь идею, душу или цель, равные силе своего тела.

Оттого что мы энергично отвергли всякое соглашательство и союз с буржуазной политикой, даже наиболее радикальной, про нас глупо или клеветнически говорили, что, считаясь только с экономической или материальной стороной социального вопроса, мы индиферентны к великому вопросу свободы и что тем самым мы вступали в ряды реакции. Один германский делегат на Базельском съезде осмелился даже заявить, что тот, кто не признавал вместе с германской социал-демократией, что „завоевание политических прав есть предварительное условие социального освобождения", или, иначе выражаясь, что для того, чтобы освободить пролетариат от капиталистической или буржуазной тирании, нужно сначала войти в союз с этой тиранией, чтобы либо провести реформу, либо совершить политическую революцию,—сознательно или бессознательно союзник цезарей.

Эти господа сильно ошибаются, — и, „сознательно или бессознательно", стараются обмануть публику, — на наш счет. Мы любим свободу гораздо больше, чем они: мы любим ее настолько сильно, что хотим, чтобы она была полной; мы хотим, чтобы она была действительностью, а не фикцией; и потому-то мы решительно отвергаем всякий союз с буржуазией, убежденные, что всякая свобода, завоеванная при помощи буржуазной политики, буржуазными средствами и оружием, или благодаря союзу обманутых простяков с буржуазией, может быть вполне реальной и очень пользительной для господ буржуа, но для народа будет всегда лишь фикцией.

Господа буржуа всех партий и даже самых передовых, какими бы космополитами они ни были, когда дело идет о том, чтобы заработать деньги все более и более широкой эксплоатацией народного труда, в политике также все горячие и фанатические патриоты своего государства, так как патриотизм в действительности, как прекрасно сказал знаменитый убийца парижского пролетариата и современный спаситель Франции, Тьер, есть не что иное, как культ национального государства. Но государство означает господство, а господство означает эксплоатацию, что показывает, что слово народное государство (Volksstaat), ставши и остающееся еще к сожалению и теперь лозунгом германской социал-демократической партии, есть смешное противоречие, фикция, ложь, без сомнения бессо-

значительная со стороны тех, кто его проповедует, и очень опасная ловушка для пролетариата. Государство, каким бы народным его не делали по форме, всегда останется институтом господства и эксплоатации и, следовательно, для народных масс вечным источником рабства и нищеты. Следовательно, нет другого средства освободить экономически и политически народы, дать им одновременно материальное благосостояние и свободу, как уничтожив государство, все государства, и убив тем самым раз навсегда то, что называли до сих пор политикой; так как политика есть не что иное, как механизм, проявление, внутренее и внешнее, деятельности государства, т. е. практика, искусство и наука господствовать и эксплоатировать массы на пользу привилегированным классам.

Неверно, стало быть, утверждать, что нас не интересует политика. Мы не пренебрегаем политикой, раз мы хотим положительно ее убить. Вот существенный пункт, в котором мы расходимся решительным образом с политическими партиями и буржуазно-радикальными социалистами. Их политика состоит в использовании, в реформе и преобразовании политики и государства; тогда-как наша политика, единственная которую мы признаем, это полное уничтожение государства и политики, являющейся необходимым его проявлением.

И только потому, что мы хотим откровенно этого уничтожения, мы считаем себя в праве называться интернационалистами и революционными социалистами; ибо кто хочет заниматься политикой иначе, чем мы, кто не хочет вместе с нами уничтожения политики, тот должен необходимо творить государственную политику, патриотическую и буржуазную, т. е. отвергать фактически, во имя своего великого или малого национального государства, человеческую солидарность народов, также как и экономическое и социальное освобождение масс внутри страны.

Что касается отрицания человеческой солидарности во имя патриотических эгоизма и тщеславия, или, выражаясь более вежливо, во имя величия и национальной славы, мы видели печальный пример этого как раз в германской социал-демократической партии или, скорее, в программе и политике ее вождей. Перед последней войной эта партия, повидимому, совершенно приняла пангерманскую программу буржуазной радикальной и так называемой народной партии — *Volkspartei*.

Как я вожди этой партии, не китайских, а германских теней, вожди социал-демократической партии тоже отправились в Вену, чтобы развить сильнее националистический и пангерманский дух в пролетариате Австрии, по их мнению слишком космополитичном, слишком широком в своих социалистических стремлениях, и внушить ему идеи и стремления, более узко политические и патриотические, словом, чтобы дисциплинировать его и преобразовать в большую национальную, исключительно немецкую партию. Логика этой ложной позиции и этой очевидно политической и патриотической измены по отношению к принципу международного социализма, толкнула их даже на попытку сближения с партией, называемой в Австрии, немецкой партией, полу-либеральной, полу-радикальной, но в высшей степени буржуазной и оффициальной, с партией, которая хочет именно порабощения всех не немецких народностей Австрии, и в особенности славян, подчинив их исключительному господству немецкого меньшинства, посредством государства. И в то время как они упрекали, как видно с большим основанием, г. де-Швейцера в том, что он непозволительным образом любезничает с кнуто-германским пангерманизмом Бисмарка, сами они косвенным образом любезничали с пангерманизмом либеральных министров Австрии. Поэтому они были сильно удивлены и комично разгневанны, когда увидали, что эти либералы, эти радикалы и оффициальные патриоты Австрии преследовали рабочие ассоциации. Однако, логика была на стороне министров, а не на их стороне. Министры, как умные и верные служители государства, тысячу раз были правы сурово преследовать рабочих социалистов, и если было что нибудь странное во всем этом, так это наивность вождей социал-демократической партии, которые до такой степени не знали условий существования государства, всякого государства, что могли возмущаться против этих неизбежных преследований и удивляться им.

Впрочем, все о чем мы говорим здесь, из области прошлого, это было давно. Огромные и ужасные события, которые развернулись с тех пор, как в Германии, так и за ее пределами, и которые изменили лицо Европы, вылечили, нужно надеяться навсегда, социал-демократов Германии и от традиционной наивности и от их националистических, политических и патриотических вожделений. Их достойное хвалы поведение во время и после войны,

энергичный протест против преступлений оффициальной Германии и против подлости буржуазной Германии, включая сюда и радикалов из **народной партии**, дань уважения, какую они отдали, обнаружив поистине геройскую смелость, революции и величественной смерти Парижской Коммуны, все это доказывает, что социал-демократическая партия, включающая в себя в настоящий момент громадное большинство пролетариата Германии, порвала, наконец, цепи, приковывавшие ее до того времени к буржуазно-патриотической политике государства, чтобы следовать отныне исключительно по великому пути международного освобождения, который один только может привести пролетариат к свободе и благоденствию.

Вот, чего так называемые социалисты из секции фабричных рабочих в Женеве еще не поняли. С самого начала они хотели вести женевскую политику в Интернационале и превратить последний в орудие этой политики. Это имело в женевском Интернационале еще меньше смысла, чем в социал-демократической партии Германии, потому что в Германии, по крайней мере, — мы не говорим об Австрии — все рабочие немцы, тогда как в женевском Интернационале большинство членов в это время были иностранцы, что придавало этой организации вдвойне международный характер, ибо она была не только международной по своим целям и своей программе, но международная также еще и по своему положению и фактически, так как большинство ее членов были вынуждены, благодаря тому, что они были другой национальности, оставаться совершенно в стороне от политики и всех местных интересов Женевы. Сделать из Интернационала орудие женевской политики, значило принудить массу рабочих французов, итальянцев, савояр или даже швейцарцев других кантонов [1]) играть смешную роль солдат, работников в деле, которое им совершенно чуждо, в исключительную пользу и под непосредственным начальством более или менее честолюбивых вождей секций рабочих-граждан Женевы.

Этот решающий аргумент и был выставлен против

---

[1]) Члены Интернационала немцы и немецкие швейцарцы с самого начала составляли совершенно особую организацию и имели администрацию, независимую даже от Центрального Женевского Комитета и Федерального Комитета романской Швейцарии. (**Прим. Бакунина**).

них. Им сказали: „Так как вы женевские граждане, занимайтесь сколько вам угодно женевской политикой вне Интернационала: это ваше право, это, может быть, ваш долг; во всяком случае, это нас не касается. Но мы не признаем за вами права переносить вашу борьбу и местные интриги в наше Международное Товарищество, которое, как одно его название показывает, должно преследовать гораздо более интересные и великие цели, чем вся эта патриотическая выставка личных честолюбий буржуазного радикализма“.

Впрочем, нужно сказать, что в эту эпоху, т. е. во вторую половину 1868 года, после того как крупная стачка строительных рабочих показала женевским буржуа политиканам, что Интернационал мог и должен был стать великой силой, радикальная партия еще не забрала его в свои руки. Наоборот, рабочие—граждане Женевы, ставши членами Интернационала, под влиянием товарищей Ф. Беккера, Серно - Соловьевича, Шарля Перрона, образовали новую социально - демократическую партию под председательством Адольфа Каталана, молодого человека достаточно честолюбивого, чтобы легко переменить в случае надобности программу, и который, отвергнутый радикальной партией, одно время надеялся, что зарождающееся могущество Интернационала, в который он даже не входил и против которого он только что перестал бороться, даст ему возможность составить себе карьеру. В этом случае он обнаружил как свою беспринципность, так и легкомыслие в своих расчетах, которые факты, конечно, разрушили. Молодая женевская социал-демократическая партия, программа которой содержала, впрочем, прекрасные вещи, но которая не осуществима, пока будет существовать господство буржуазии, т. е. пока будут государства, показала свою нежизнеспособность; просуществовав каких нибудь два или три месяца, она умерла, задушенная и погребенная оппозицией или, скорее, почти единодушным равнодушием избирателей женевского кантона. Она оказала, однако, большую услугу умеренной консервативной партии, называемой иначе „независимой“, продолжив ее господство на два года. С этого времени рабочие — граждане женевского Интернационала после колебаний, длившихся несколько месяцев, стали выступать под знаменем радикальной партии. Что касается г-на Каталана, он искал новых путей для своего молодого честолюбия, стараясь создать новую консервативно - социалистиче-

скую партию, в роде той, в какой погряз у вас [1]) знаменитый гражданин Кульери.

Другой пункт разногласия между обеими партиями в женевском Интернационале касался вопроса о кооперативном труде. Вы знаете, что существует два рода кооперации: буржуазная кооперация, которая стремится создать привилегированный класс, нечто в роде новой буржуазии, организованную в акционерное общество; и социалистическая кооперация, кооперация будущего, которая по этой самой причине почти неосуществима в настоящем. Понятно, что главные ораторы собственно женевских секций горячо защищали первую.

Наконец, был еще третий вопрос, очень важный с точки зрения практической организации Интернационала и борьбы пролетариата против произвола хозяев и капиталистов: это кассы сопротивления. Как они должны быть организованы? Каждая секция должна была иметь свою особую кассу и все кассы должны были федерироваться между собою? Или же должна была существовать для всех секций романской Швейцарии „одна общая и неразделимая касса сопротивления", так чтобы „ни один член, ни одна секция, которые захотели бы выйти потом из Интернационала, не могли требовать возвращения своих взносов"?

Мы цитировали собственные выражения „проэкта статутов касс сопротивления, выработанного комиссией, назначенной центральной секцией"; проэкт этот разработан был главным образом, можно даже сказать исключительно, товарищами Серно-Соловьевичем, Броссэ и Перроном [2]), бывшими в то время главными борцами, главными защитниками истинных принципов, истинных интересов Международного Товарищества Рабочих против слишком патриотического партикуляризма и исключительности женевских граждан.

Этот проэкт был очень простой и в то же время очень практичный, очень серьезный. Если бы он был принят в то время, как он предлагался, в несколько месяцев создана бы была очень внушительная и солидная „касса сопротив-

---

[1]) В Невшателе.

[2]) Мне кажется (примечание сделанное Бакуниным на полях)—Перрон умер в 1909 г., и я не мог проверить, был ли он действительно членом этой комиссии. *Дж. Г.*

ления". Каждый член Международного Товарищества в Женеве должен был вносить в эту общую, единую и неразделимую кассу, через посредство комитета своей секции, ежемесячно двадцать пять сантимов, т. е. три франка в год, что, считая число членов Интернационала в женевском кантоне только в четыре тысячи, дало бы в течение года значительную сумму в 12 тысяч франков. Этой кассой должны были заведовать комитет, в который каждая секция должна была делегировать своего представителя, и бюро, избираемое этим комитетом из своей среды. Комитет и бюро должны были меняться и находиться под постоянным контролем специального совета и в особенности под контролем общих собраний; проект главным образом опирался на суверенные права этих последних.

При более близком изучении этого проекта мы видим в нем две цели, впрочем, неразрывно связанные одна с другой. Первая, это избавить женевский Интернационал от двух опасностей, которые наиболее угрожали ему: primo, от сильного и разлагающего яда женевской политики и secundo, от снотворного яда буржуазной кооперации, возвращая Интернационалу его истинную основу: организацию экономической борьбы против эксплоатации хозяев и капиталистов, женевцев или не женевцев. Вторая цель, являвшаяся необходимым следствием первой, это заменить Центральный Комитет, который уже принял авторитарный и скрытый характер олигархического правительства, комитетом кассы сопротивления, вынужденным по своей конструкции быть совершенно прозрачным и вполне подчиненным воле суверенного народа в лице его общего собрания. Это было прямой атакой против женевской олигархии, которая, завладев одним за другим всеми комитетами секций, готовилась основать свое господство в женевском Международном Товариществе. Понятно, почему этому проекту, после того как он был напечатан, не была даже оказана честь серьезного обсуждения его.

В дебатах, вызванных вопросом о кассах сопротивления, было замечательно то, что вначале секции фабричных рабочих стояли за систему обособленных касс, тогда как представители идеи и практической деятельности Интернационала, принятых в серьез, защищали против этих секций систему единой кассы. Но позднее, и именно в июле и августе 1869 г., когда этот вопрос, согласно программе, предложенной лондонским Генеральным Советом для базель-

ского с'езда, снова подвергся изучению, оказалось, что, наоборот, серьезные представители дела международного пролетариата стали сторонниками свободной федерации отдельных касс всех секций, тогда как главные вожаки фабричных рабочих поддерживали против них организацию единой кассы. Что же произошло, что вызвало такую полную перемену во взглядах в каждой из двух сторон? Произошло то, что сторонники автономии и истинного равенства всех секций Интернационала, видя, что женевская клика, несмотря на их усилия, завладела всем правлением Международного Товарищества, поняли, что если будет создана централизованная и единая касса, то высшее заведывание этой кассой, исключительное управление этим боевым орудием, которым об'единенные рабочие могут пользоваться для борьбы со своими хозяевами, и, следовательно, вся сила Интернациоала необходимо перейдет в руки этой клики, этой правящей олигархии, уже и без того слишком торжествующей. По той же самой причине вожди чисто женевских секций естественно желали создания единой кассы.

Спешим прибавить, что в этом желании не было никакой узко-корыстной задней мысли. Наоборот, мы с удовольствием отмечаем, что фабричные рабочие никогда не обнаруживали скупости и всегда охотно и широко поддерживали своим кошельком рабочие ассоциации, как женевские и швейцарские, так и иностранные, которые, вынужденные об'явить стачку, обращались к их моральной и материальной поддержке. Мы их упрекаем, стало быть, не в скупости, а в узости и часто даже грубости их женевского тщеславия, в стремлении к исключительному господству; мы упрекаем их, что они вошли в Интернационал не для того, чтобы потопить там свой патриотический партикуляризм в широкой человеческой солидарности, но чтобы придать ему, напротив, исключительно женевский характер; чтобы подчинить громадную толпу рабочих иностранцев, которые входят в его состав и были даже первыми его основателями в Женеве, самодержавному управлению своих вождей, и через их посредство, управлению своей радикальной буржуазии, для которой они сами более или менее служат лишь слепым орудием.

Все эти вопросы обсуждались в тайне, как полагается правительственным совещаниям, в женевском Центральном Комитете, и чернь, масса, составляющая Интернационал,

была всегда очень неполно информирована о борьбе, которая велась в этой Высшей Палате сенаторов. Однако, борьба эта воспроизводилась, разумеется, далеко не в полном виде, а отдельными эпизодами и в более или менее замаскированном виде, как на общих собраниях, так и на ежемесячных заседаниях центральной секции[1]. Как здесь, так и там горячий защитник истинных принципов Интернационала, независимости и достоинства строительных рабочих и суверенных прав „народной черни", угрожаемых растущим честолюбием и захватническими стремлениями господ сенаторов из комитетов, товарищ Боссэ, нашел могучую поддержку со стороны Серно-Соловьевича, Перрона, Ф. Беккера, Гета, Моншаля, Линдеггера и еще некоторых других, среди которых не надо забывать г-на Анри Перрэ, вечного главного секретаря женевского Интернационала, который с тактом, свойственным государственным мужам, во всех публичных дискуссиях, каковы бы, впрочем, ни были его личные мнения, устраивается всегда таким образом, чтобы казаться разделяющим мнение большинства[2]).

На больших публичных собраниях самые широкие идеи, смелые мысли всегда, конечно, одерживали верх. В большинстве случаев, когда сознание народных масс не извращалось в продолжение долгого времени заинтересован-

[1]) „Кроме профессиональных секций, в Женеве существовала так называемая центральная секция, которая была начальной секцией Интернационала и в которой строительные рабочие были вначале в большинстве. Позднее, когда образовались новые ремесленные секции, строительные рабочие удалились из центральной секции, которая стала тогда маленьким синаклионом, в котором господствовали реакция и интриги Фабрики" („Записки Юрской Федерации").

[2]) „Двусмысленная и неопределенная позиция рабочих фабричной секции, полу-буржуа, взвинченных было борьбой (большая апрельская стачка 1868 г.), но склонившихся в сторону сближения с буржуазией, имела превосходного представителя в лице секретаря женевского центрального комитета (ставшего в 1869 г. секретарем романского федерального комитета), Анри Перрэ, рабочего гравера, который вначале поддался влиянию Броссэ, Перрона и Бакунина и проявлял себя ярым революционером, пока ему казалось, что народная волна шла в этом направлении; и который потом, когда главари Фабрики взяли верх и стали давать тон в Женеве, быстро переменил язык, отрекся от своих прежних друзей и принципов, которые он так открыто аффишировал, и стал послушным орудием реакции и марксистской интриги". („Записки Юрской Федерации"). Позднее Анри Перрэ стал секретарем женевского рабочего политического союза и, наконец, в 1877 г., в вознаграждение за оказанные услуги, он был назначен секретарем полицейского комиссара с жалованием в 2,400 франков.

Дж. Г.

ным и ловким распространением клеветы и лжи, устанавливается на народных собраниях нечто вроде коллективного инстинкта, который непреодолимо толкает их в сторону справедливости и истины и который настолько могуч, что даже наиболее упорные личности поддаются ему. Интриганы, ловкие, всесильные на закрытых, более или менее тайных заседаниях комитетов, теряют обыкновенно большую дозу своей уверенности перед этими большими собраниями, на которых народный здравый смысл, опирающийся на этот инстинкт, расправляется с их софизмами. Истина и справедливость до такой степени заразительны здесь, что случалось очень часто, что на общих собраниях всех секций, даже рабочая масса фабричных секций,—простой народ входящий в женевские секции, — увлеченная общим энтузиазмом, голосовала за резолюции, противные идеям и мероприятиям предлагаемым ее вождями.

Поэтому, как мы, впрочем. уже заметили, эти общие собрания никогда не пользовались сочувствием этих последних, которые всегда предпочитали им собрания комитетов всех секций. Правительственные и тайные собрания, происходившие почти всегда при закрытых дверях, недоступны рабочим массам Интернационала. Только члены, более или менее постоянные и неизменные, комитетов секций имеют право участвовать на них. Сходясь на частном и закрытом собрании, они составляют вместе настоящую правящую аристократию Интернационала. Это истина, много раз отмеченная, что достаточно человеку, даже наиболее либеральному и самому популярному, войти в состав какого-нибудь правительства, чтобы он совершенно изменился качественно; если он не погружается очень часто в народные низы, если он не вынужден действовать постоянно открыто на глазах у всех, если он не подвергается спасительному режиму постоянного контроля и народной критики, которые должны постоянно напоминать ему, что он не хозяин над массами ни даже их опекун, а только их поверенный или избранный и в каждую минуту могущий быть смененным служащий, он подвергается неминуемо риску испортиться, имея дело исключительно с такими же аристократами, как он, и стать претенциозным и тщеславным глупцом, напыщенным сознанием своей важности.

Вот, на какую участь обрекли себя члены комитетов женевского Интернационала, отказав народу в доступе на свои собрания. На этих собраниях необходимо должен был

господствовать совершенно другой дух, противоположный духу, господствовавшему на народных собраниях: насколько на последних проявлялись широта взглядов и великодушие, настолько первые отличались узостью. Здесь не могло быть инстинкта великих идей и великих дел, здесь был инстинкт фальшивой мудрости, жалких расчетов, мелочной ловкости. Одним словом, здесь господствовал авторитарный и правительственный дух: не дух широких масс, примыкающих к Интернационалу, а дух главарей женевской Фабрики.

Понятно, что эти господа очень любят эти собрания комитетов. Это очень благоприятная почва для полного проявления их женевской ловкости; они там хозяева и они широко использовали эти собрания, чтобы настроить и дисциплинировать в желательном для них смысле и, если можно так выразиться, чтобы „оженевить“ всех главных членов комитетов иностранных секций, чтобы мало по малу заставить проникнуть в их ум и сердце правительственные и буржуазные инстинкты, которые всегда воодушевляли их самих. В самом деле, эти собрания комитетов секций имели то преимущество, что давали им возможность лично знать наиболее выдающихся и наиболее влиятельных членов этих секций, и достаточно им было склонить на сторону своей политики этих членов, чтобы стать абсолютными хозяевами всех секций.

Поэтому мы видели, что до января 1869 г., когда новые статуты, принятые первым романским с‘ездом, вошли в силу, не общие собрания, а собрания комитетов считались партией женевской реакции как высшая законная инстанция женевского Интернационала. Общие собрания, впрочем, не были ни регулярными ни частыми. Их созывали только в исключительных случаях, и тогда их порядок дня, установленный заранее, был так переполнен, что оставалось лишь очень мало времени на обсуждение принципальных вопросов.

Но было другое место, где эти вопросы могли обсуждаться с гораздо большей свободой: это ежемесячные и иногда даже экстроординарные собрания Центральной Секции.

Центральная Секция, как мы сказали, была зародышем, первой клеткой, Международного Товарищества в Женеве; она должна бы была оставаться его душой, вдохновительницей и его вечным центром пропаганды. В этом смысле. вероятно, ее часто называли „инициативной Секцией“. Она

создала Интернационал в Женеве, она должна была сохранить и развивать его дух. Все другие секции — корпоративные, и рабочие об'единены и организованы в них не благодаря идейной связи, но благодаря факту и самой необходимости их общей работы. Этот экономический факт, специальная индустрия и особые условия эксплоатации этой индустрии капиталом, внутренняя и совершенно особая солидарность интересов, нужд, страданий, положения и стремлений, которая существует между всеми рабочими, входящими в состав одной и той же корпоративной секции, все это составляет реальную основу их союза. Идея приходит после, как об'яснение или как выражение развития и коллективного сознания этого факта.

Рабочий не нуждается в большой умственной подготовке, чтобы стать членом корпоративной секции, представляющей его ремесло. Он является ее членом совершенно естественно, даже прежде, чем он это знает. Ему нужно знать прежде всего, что он изнемогает от работы и что эта работа, которая убивает его, едва достаточная, чтобы прокормить его семью и скудно возобновить его расходуемые силы, обогощает его хозяина и что, следовательно, этот последний является его безжалостным эксплоататором, его неутомимым угнетателем, его врагом, господином, по отношению к которому он должен питать только ненависть раба и должен восставать против него, с тем чтобы потом, когда он окажется победителем, проявить по отношению к нему чувства справедливости и братства свободного человека.

Он должен также знать, и это нетрудно понять, что один он бессилен против своего хозяина, и чтобы не дать ему раздавить себя, он должен об'единиться сначала со своими товарищами по мастерской, быть им верным, несмотря ни на что, во всякой борьбе, поднимающейся в мастерской против хозяина.

Он должен еще знать, что об'единение рабочих одной и той же мастерской недостаточно, что нужно чтобы все рабочие одного и того же ремесла, работающие в данной местности, об'единились между собою. Когда он это знает, — а, если только он не слишком глуп, повседневный опыт скоро научает его этому, — он сознательно становится преданным членом своей корпоративной секции. Эта последняя уже существует фактически, но она не обладает еще международным сознанием, она является еще только совершенно

местным фактом. Тот же опыт, на этот раз коллективный, в непродолжительном времени преодолевает в сознании даже наименее умственно развитого рабочего узость этой исключительно местной солидарности. Наступает кризис, стачка. Рабочие одной и той же профессии выступают за общее дело, требуют от своих хозяев увеличения заработной платы или уменьшения рабочего дня. Хозяева не хотят удовлетворить их требования, и так как они не могут обойтись без рабочих, они приглашают на место стачечников рабочих из других местностей, провинций или даже других стран. Но в этих странах рабочие работают больше за меньшую плату; хозяева могут, стало быть, продавать свои продукты дешевле и этим самым, составляя конкуренцию продуктам страны, где рабочие зарабатывают больше при меньшем труде, они заставляют хозяев этой страны понижать заработную плату и увеличивать длину рабочего дня для своих рабочих; отсюда вытекает, что в конечном счете сравнительно сносное положение рабочих в одной стране может держаться только при условии, чтобы оно было также сносным во всех других странах. Все эти явления повторяются слишком часто, чтобы они могли остаться незамеченными самими простыми рабочими. Тогда они начинают понимать, что для предохранения себя от постоянно возрастающей эксплоатации хозяев им недостаточно организовать местную солидарность, что нужно, чтобы эта солидарность обняла всех рабочих одного и того же ремесла, работающих не только в одной и той же провинции или в одной и той же стране, но во всех странах и в особенности в тех, которые особенным образом связаны между собою в торговом и промышленном отношении. Тогда образуется организация, не местная, ни даже только национальная, но настоящая международная организация данного ремесленного цеха.

Но это еще не организация рабочих вообще, это еще только международная организация одного только ремесленного цеха. Для того чтобы необразованный рабочий признал действительную солидарность, которая необходимо существует между всеми этими ремесленными цехами во всех странах мира, нужно чтобы другие рабочие умственно более развитые и обладающие некоторыми познаниями в области экономической науки, пришли к нему на помощь. Не то чтобы ему не хватало повседневного опыта в этом отношении, а экономические явления, которыми проявляется

эта несомненная солидарность, бесконечно более сложна, так что их истинный смысл может ускользнуть и действительно ускользает очень часто от менее развитых рабочих.

Если предположить, что международная солидарность вполне установлена в одном каком нибудь ремесленном цехе и отсутствует в других, то необходимо последует, что в этой промышленности заработная плата рабочих будет выше и рабочий день короче, чем во всех других промышленностях. А так как было доказано, что вследствие конкуренции капиталистов и хозяев между собою, источником настоящей прибыли тех и других является лишь сравнительно низкая заработная плата и наивозможно более длинный рабочий день, то ясно, что в промышленности, между рабочими которой существует международная солидарность, капиталисты и хозяева будут заработывать меньше, чем во всех других промышленностях; вследствии чего, мало-по-малу, капиталисты перенесут свои капиталы и хозяева свой кредит и свою эксплоататорскую деятельность в менее или совсем неорганизованные отрасли промышленности. Но неизбежным следствием этого будет уменьшение в промышленности, международно организованной, спроса на рабочие руки и это естественным образом ухудшит положение рабочих данной промышленности, которые будут вынуждены, чтобы не умереть с голоду, работать и довольствоваться меньшей заработной платой. Отсюда следует, что условия труда не могут ни улучшиться ни ухудшиться в какой нибудь отрасли промышленности без того, чтобы это не отразилось в скором времени на рабочих всех других отраслей, и что все ремесленные цехи во всех странах мира действительно и неразрывно солидарны между собой.

Эта солидарность доказывается как наукой, так и опытом, — наука, впрочем, есть не что иное, как универсальный опыт, рельефно выраженный, систематизированный и надлежащим образом раз'ясненный. Но солидарность проявляется в рабочем мире во взаимной, глубокой и горячей симпатии, которая, по мере того как развиваются экономические факторы и их политические и социальные последствия, все тяжелее и тяжелее отражающиеся на рабочих всех ремесл, дают себя больше чувствовать, растет и становится более интенсивной в сердце всего пролетариата. Рабочие каждого ремесла и каждой страны, с одной стороны, благодаря материальной и моральной поддержке, которую они в периоды борьбы находят у рабочих всех

других ремесел и всех других стран и, с другой стороны, благодаря осуждению и систематической и злобной оппозиции, которые они встречают не только со стороны своих собственных хозяев, но также и хозяев наиболее чуждых им отраслей промышленности, со стороны всей буржуазии, приходят к полному сознанию своего положения и главных условий своего освобождения. Они видят, что социальный мир в действительности разделен на три главные категории: 1. бесчисленные миллионы эксплуатируемых рабочих; 2. несколько сот тысяч эксплуататоров второго и даже третьего разряда; и 3. несколько тысяч или самое большее несколько десятков тысяч крупных хищников, разжиревших капиталистов, которые, эксплуатируя непосредственно вторую категорию и косвенным образом, посредством последней, первую категорию, загребают в свои огромные карманы, по крайней мере, половину прибыли, получаемой от коллективного труда всего человечества.

Как только рабочий заметил этот специальный и постоянный факт, как бы мало он ни был развит умственно, он не может не понять вскоре, что, если существует для него какое нибудь средство спасения, то этим средством может быть только установление и организация самой тесной практической солидарности между пролетариями всего мира, без различия ремесл и стран, в борьбе против эксплуатирующей буржуазии.

Вот, стало быть, вполне готовая основа Международного Товарищества Рабочих. Она была нам дана не теорией, родившейся в голове одного или нескольких глубоких мыслителей, но действительным развитием экономических фактов, тяжелыми испытаниями, каким эти факты подвергают рабочие массы, и размышлением, мыслями, какие они совершенно естественно вызывают в последних.

Для основания этого сообщества необходимо было, чтобы все необходимые элементы, составляющие его: экономический фактор, опыт, стремления и мысли пролетариата были уже развиты в достаточно сильной степени, чтобы положить ему прочную основу. Необходимо было, чтобы в самых недрах пролетариата находились уже, рассеянные во всех странах, группы или союзы достаточно передовых рабочих, которые могли бы взять на себя инициативу великого движения освобождения пролетариата. Затем понадобилась, разумеется, личная инициатива нескольких умных и преданных народному делу личностей.

Мы пользуемся случаем, чтобы отдать дань уважения знаменитым вождям германской коммунистической партии, в особенности гражданам Марксу и Энгельсу, а также гражданину Ф. Беккеру,—нашему бывшему другу, теперь ставшему нашим беспощадным противником, — которые были, поскольку отдельным личностям дано создавать что-либо, настоящими творцами Интернационала. Мы это делаем с тем большим удовольствием, что скоро мы вынуждены будем бороться против них. Наше уважение к ним искреннее и глубокое, но оно не идет до боготворения, и мы никогда не будем играть по отношению к ним роль рабов. И продолжая отдавать полную справедливость огромным заслугам, какие они оказали, и даже теперь еще оказывают Международному Товариществу Рабочих, мы всеми силами будем бороться против их ложных авторитарных теорий, их диктаторских вожделений и мании тайных интриг, тщеславной злобы, жалкой личной вражды, низких оскорблений и гнусной клеветы, которые характеризуют, впрочем, политическую борьбу почти всех немцев, и которые они, к сожалению, внесли с собой в Интернационал [1].

Недостаточно, чтобы рабочие массы поняли, что если существует какое-нибудь средство для их освобождения, то этим средством может быть только международная солидарность пролетариата: нужно еще, чтобы они верили в реальную, безусловную действительность этого средства спасения, чтобы они верили в возможность своего близкого освобождения. Эта вера—дело темперамента и коллективного душевного и умственного состояния. Темперамент дан различным народам от природы, но он исторически развивается. Коллективное духовное состояние пролетариата всегда является двояким продуктом во-первых, всех предшествовавших событий, а затем, и в особенности, его настоящего экономического и социального положения.

В 1863 и 1864 гг., эпоху основания Интернационала, во всех почти странах Европы и в особенности в тех, где современная промышленность наиболее развита, в Англии, Франции, Бельгии, Германии и Швейцарии, произошли два факта, которые облегчили и почти сделали необходимым его создание. Первый, это одновременное пробуждение рабочего сознания, смелости, темперамента, после двенадцати или

[1]) Переписка Маркса, Энгельса и Беккера с Зорге, изданная в 1906 г., вполне подтверждает данное суждение Бакунина. Дж. Г.

даже пятнадцатилетнего упадочного состояния, которое было результатом ужасного разгрома 1851 и 1848 гг. Второй факт, это поразительное развитие богатства буржуазии и, как необходимого его спутника, нищеты рабочих во всех этих странах. Это было двигателем, а пробуждение сознания и темперамента дало веру.

Но, как это часто бывает, это возрождение веры не проявилось сразу во всей массе пролетариата. Среди всех европейских стран, оно появилось сначала только в двух, затем, в трех и четырех, затем в пяти; даже в этих привилегированных странах, разумеется, не вся рабочая масса, но лишь небольшое число рабочих союзов, чрезвычайно разбросанных, почувствовали пробуждение достаточной веры, чтобы снова начать борьбу; и даже в этих союзах сначала некоторые редкие личности, наиболее умные, наиболее энергичные, наиболее преданные, и в большинстве случаев уже испытанные в предыдущей борьбе, полные надежды и веры, отдаваясь вновь общему делу, решились взять на себя инициативу нового движения.

Эти личности, случайно собравшиеся в Лондоне в 1864 г., по польскому вопросу, политическому вопросу высочайшей важности, но совершенно постороннему вопросу международной солидарности труда и трудящихся, образовали, под непосредственным влиянием первых основателей Интернационала, первое ядро этого великого сообщества. Потом, вернувшись к себе, во Францию, Бельгию, Германию и Швейцарию, они образовали, каждый в своей стране, соответствующие ячейки [1]. Таким образом были созданы во всех странах первые Центральные Секции.

Центральные Секции не представляют специально никакой индустрии, так как в них входят наиболее передовые рабочие всевозможных индустрий. Что же они представляют? Они представляют самую идею Интернационала. Какова их миссия? Развитие и пропаганда этой идеи. А какая это идея? Освобождение не только рабочих такой-то промышленности или такой-то страны, но всех рабочих всевозмож-

---

[1] Бакунин здесь ошибается. На митинге в Лондоне, в зале Сэн-Мартэн, 28 сентября 1864 г. не было представителей Бельгии, Германии и Швейцарии, которые бы „вернулись потом к себе", чтобы основать секции. Немцы и швейцарцы, присутствовавшие на митинге, Эккариус, Лесснер, Юнг (бельгийцев, как нам кажется, не было), жили в Лондоне. Только парижские рабочие послали на этот митинг делегатов, гравера Толэна, Перрашона, басонщика А. Лимузена. *Дж. Г.*

ных отраслей промышленности и всех стран мира: это всеобщее освобождение всех тех, кто, тяжело зарабатывая себе мизерное дневное пропитание каким-нибудь производительным трудом, эксплоатируется экономически и порабощается политически капиталом или, скорее, собственниками и привелигированными посредниками капитала. Такова отрицательная, боевая или революционная сила этой идеи. А положительная сила? Основание нового социального мира, покоющегося исключительно на освобожденном труде, и который создастся на развалинах старого мира, путем организации и свободной федерации рабочих союзов, освобожденных от ига, как экономического, так и политического, привелигированных классов.

Эти две стороны одного и того же вопроса, одна отрицательная, другая положительная, нераздельно связаны друг с другом. Никто не может стремиться к разрушению, не имея, по крайней мере, отдаленного представления, правильного или ложного, о новом строе, который должен будет по его мнению последовать за тем, который существует в настоящее время; и чем живее представляет себе человек картину будущего, тем могучее становится его разрушительная сила; и чем больше это представление о будущем приближается к истине, т. е. чем больше оно соответствует необходимому развитию современного социального мира, тем спасительнее и полезнее становится результат его разрушительного действия. Ибо разрушительное действие всегда обусловлено, не только в своей сущности и в степени своей интенсивности, но и в своих способах, путях и средствах, положительным идеалом, который составляет его душу, дало ему первый толчек.

Замечателен тот факт, который, впрочем, много раз наблюдался и отмечался многими писателями различных направлений, что в данный момент один только пролетариат обладает положительным идеалом, к которому он стремится со всей своей почти еще девственной страстью, всем своим существом: он видит перед собой звезду, светило, которое светит ему, уже согревает его, по крайней мере в его воображении, в его вере, и которое показывает ему с определенной ясностью путь, по которому он должен следовать, тогда как все привилегированные и так называемые просвещенные классы окружает ужасная беспросветная тьма. Они ничего больше не видят перед собой, ни во что не верят, ни к чему больше не стремятся и хотят только, чтобы

вечно сохраняло status quo, признавая в то же время, что statu quo, никуда не годится. Нет другого лучшего доказательства тому, что эти классы осуждены на смерть и что будущее принадлежит пролетариату. В настоящее время „варвары“ (пролетарии) являются носителями веры в судьбы человечества и представляют будущее цивилизации, тогда как „цивилизованные“ видят свое спасение лишь в варварстве: в избиении коммунаров и возвращении к папе. Таковы два последние слова привилегированной цивилизации.

Центральные секции являются активными и живыми центрами, в которых сохраняется, развивается и раз'ясняется новая вера. Никто не входит туда, как специальный рабочий того или иного ремесла, ввиду частной организации этого ремесла; все входят туда, лишь как работники вообще, с целью освобождения и общей организации труда и нового социального мира, основанного на труде, во всех странах. Рабочие, которые входят в состав этих секций, оставляя за порогом свои качества специальных или „действительных“ рабочих, в смысле свой специальности, являются туда, как работники „вообще“. Работники чего? Работники идеи, пропаганды и организации как экономической, так и боевой мощи Интернационала; работники социальной Революции.

Мы видим, что центральные секции представляют совершенно иной характер, чем характер профессиональных секций, и даже диаметрально ему противоположный. Тогда как эти последние, следуя по пути естественного развития, начинают с факта, чтобы придти к идее, центральные секции, следуя, наоборот, по пути развития идеи или абстрактного развития, начинают с идеи, чтобы придти к факту. Ясно, что в противоположность вполне реалистическому или позитивному методу профессиональных секций, метод центральных секций является искусственным или абстрактным методом. Этот способ следовать от идеи к факту является именно тем способом, которым пользовались идеалисты всех школ, теологи и метафизики, и конечное бессилие которых отмечено историей. Тайна этого бессилия заключается в абсолютной невозможности, исходя из абстрактной идеи, придти к реальному и конкретному факту.

Если бы в Международном Товариществе Рабочих были только центральные секции, нет никакого сомнения, что оно не достигло бы и сотой доли той внушительной силы, какой оно гордится теперь. Центральные секции

были бы рабочими академиями, в которых бы вечно обсуждались все социальные вопросы, включая сюда, конечно, и вопрос об организации труда, но без малейшей серьезной попытки и даже без всякой возможности осуществления их; и это по той очень простой причине, что труд „вообще“ — лишь отвлеченная идея, получающая свою „реальность“ только в огромном разнообразии специальных производств, из которых каждое имеет свой собственный характер, свои собственные условия, которые не могут быть угаданы и тем более определены отвлеченной мыслью, но которые, проявляясь лишь благодаря своему реальному развитию, могут одни только определить свое равновесие, свои отношения и свое место в общей огранизации труда,—организации, которая, как все имеющее общий характер, должна быть равнодействующей, постоянно воспроизводимой живым и реальным сочетанием всех отдельных производств, а не отвлеченным принципом их, насильственно и доктринерски навязанным, как хотели бы этого немецкие коммунисты, сторонники **народного государства.**

Если бы в Интернационале были только центральные секции, им, вероятно, удавалось бы еще устраивать народные заговоры для ниспровержения существующего порядка вещей, заговоры слишком бессильные, чтобы достигнуть цели, потому что они могли бы привлечь лишь очень небольшое число наиболее сознательных, наиболее энергичных, убежденных и преданных рабочих. Громадное большинство, миллионы пролетариев оставались бы в стороне, а чтобы ниспровергнуть и разрушить политический и социальный строй, который давит нас, нужно участие этих миллионов.

Только отдельные личности, и только очень небольшое число могут действовать под влиянием чистой, отвлеченной „идеи“. Миллионы, массы, не только в среде пролетариата, но и в просвещенных и привилегированных классах, поддаются только силе и логике „фактов“, понимая и имея в виду в большинстве случаев только свои непосредственные интересы, или движимые страстью, всегда более или менее слепой. Чтобы вовлечь, стало быть, весь пролетариат в дело Интернационала, нужно подойти к нему не с общими и отвлеченными идеями, а с действительным и живым пониманием его действительных зол; его повседневные бедствия, хотя имеющие для мыслителя общий характер и хотя в действительности являющиеся частными следствиями общих

и постоянных причин, бесконечно разнообразны, принимают массу различных видов, производимые массой преходящих и частных причин. Такова повседневная действительность этих бедствий. Но пролетарская масса, вынужденная жить изо дня в день и едва находящая свободную минуту, чтобы подумать о завтрашнем дне, воспринимает бедствия, от которых она страдает и вечной жертвой которых она является, именно в этой действительности их, и никогда, или почти никогда, в их общей причинности.

Стало быть, для того чтобы затронуть душу безграмотного пролетария,— а к сожалению громадное большинство пролетариата еще таково,— чтобы завоевать его доверие, согласие, содействие, привлечь его к общему делу, нужно говорить с ним не об общих страданиях всего международного пролетариата, не об общих причинах, которые порождают их, а о его частных повседневных, совершенно личных невзгодах. Нужно ему говорить о его собственном ремесле и об условиях его труда в той именно местности, где он живет; о тяжести его повседневной работы и слишком длинном рабочем дне, о его низкой заработной плате, о недоброте его хозяина, о дороговизне съестных припасов и невозможности для него как следует кормить и воспитывать своих детей. И, предлагая ему средства борьбы против его бедствий и за улучшение его положения, не нужно ему вначале говорить об общих, революционных средствах, которые составляют теперь программу деятельности Международного Товарищества Рабочих, каковы уничтожение личной наследственной собственности и обобществление собственности; уничтожение юридического права и государства и замена их организацией и вольной федерацией производительных товариществ. По всей вероятности, он ничего не поймет во всех этих средствах, и, возможно даже, что, находясь под влиянием религиозных, социальных и политических идей, какие правительство и духовенство старались внушать ему, он с недоверием и гневом оттолкнет неосторожного пропагандиста, который захотел бы обратить его своими аргументами. Нет, сначала нужно предлагать ему только такие средства, которые его естественный здравый смысл и повседневный опыт не могут отвергнуть, пользу которых он не может не признать. Эти первые средства, мы уже говорили, установление полной солидарности со всеми товарищами по мастерской в борьбе против общего хозяина или начальства; и затем рас-

пространение этой солидарности на всех рабочих против всех хозяев одной и той же профессии в данной местности, т. е. формальное вхождение, в качестве солидарного и активного члена, в секцию своего цеха, секцию, входящую в состав Международного Товарищества Рабочих.

Войдя в секцию, новообращенный рабочий узнает в ней многое. Ему об'ясняют, что такая же солидарность, какая существует между всеми членами секции, установлена также между всеми различными секциями или всеми цехами одной и той же местности; что более широкая организация этой солидарности, обнимающая безразлично рабочих всех ремесл, стала необходимой, потому что хозяева всех отраслей производства об'единяются между собою, чтобы все более и более ухудшать условия людей, вынужденных зарабатывать себе средства к жизни своим трудом. Ему об'ясняют, наконец, что эта двойная солидарность сначала рабочих одного и того же ремесла, потом рабочих всех ремесл или всех цехов, организованных в различные секции, не ограничивается одной только данной местностью, но, распространяясь дальше за пределы страны, обнимает весь рабочий мир, пролетариат всех стран, могущественно организованный для своей защиты, для войны против эксплоатации буржуазии.

Ставши членом секции Интернационала, он лучше чем из словесных об'яснений своих товарищей, узнает скоро все это по своему личному опыту, отныне ставшему нераздельным и солидарным с опытом всех других членов секции. Его цех, выведенный из терпения алчностью и жестокостью хозяев, об'являет стачку. Но каждая стачка для рабочих, которые живут только на свою заработанную плату, является чрезвычайно тяжелым испытанием. Они ничего не зарабатывают, но их семьи, дети, собственные желудки продолжают требовать свой хлеб насущный, а запасов у них никаких нет. Касса сопротивления, которую им с большим трудом удалось образовать, недостаточна, чтобы содержать всех их в продолжение целого ряда дней, а иногда даже недель. Они умрут с голоду или вынуждены будут подчиниться самым тяжелым условиям, какие вздумают навязать им алчность и нахальство их хозяев, если они они не получат помощи извне. Но кто им предложит эту помощь? Разумеется, не буржуа, об'единившиеся все против рабочих; помощь может притти только от рабочих других ремесл и других стран. И, действительно, эта по-

мощь приходит, приносимая или присылаемая другими секциями Интернационала, как местными, так и заграничными. Такой опыт, повторяющийся много раз, показывает лучше, чем все слова, благотворную силу международной солидарности рабочего мира.

У рабочего, который входит в секцию, чтобы воспользоваться выгодами этой солидарности, не спрашивают, какие его политические или религиозные принципы. У него спрашивают только одно: Хочет ли он вместе с благодеяниями об'единения принять свою долю всех его последствий, иногда тяжелых, и все обязанности? Хочет ли он, несмотря ни на что, остаться верным секции во всех перипетиях борьбы, сначала исключительно экономической, и сообразовать отныне все свои поступки с решениями большинства, поскольку эти решения будут иметь прямое или косвенное отношение к этой самой борьбе против хозяев? Одним словом, единственная солидарность, какую ему предлагают, как преимущество, и какую ему вменяют в то же время в обязанность, как долг, это э к о н о м и ч е с к а я с о л и д а р н о с т ь в самом широком смысле этого слова. Но раз эта солидарность серьезно принята и установлена, она производит все остальное, — так как все самые высокие и самые разрушительные принципы Интернационала, наиболее подрывающие основы религии, юридического права и государства, власти, как божеской так и человеческой, наиболее революционные одним словом с социалистической точки зрения, являются лишь естественным, необходимым развитием этой экономической солидарности. И огромное практическое преимущество профессиональных секций перед центральными секциями состоит именно в том, что это развитие, эти принципы доказываются рабочим не теоретическими рассуждениями, а живым и трагическим опытом борьбы, которая становится с каждым днем все шире, глубже и ужаснее: так что наименее развитой рабочий, наименее подготовленный, наиболее мягкий, толкаемый постоянно вперед самими последствиями этой борьбы, начинает признавать себя революционером, анархистом и атеистом, часто не зная сам, как он им сделался.

Ясно, что только одни профессиональные секции могут дать это практическое воспитание своим членам и что, следовательно, одни они только могут привлечь в Интернационал пролетарскую массу, эту массу, без могучего содей-

ствия которой, как мы сказали, торжество социальной революции никогда не будет возможно.

Если бы в Интернационале были одни только центральные секции, это были бы, стало быть, души без тела, чудные мечты, но без возможности осуществления их.

К счастью, центральные секции, отделения главного центра, который образовался в Лондоне, были основаны не буржуа, не профессиональными учеными, не политическими деятелями, а рабочими социалистами. Рабочие, и в этом их огромное преимущество перед буржуазией, благодаря своему экономическому положению, благодаря тому, что их миновало до настоящего времени доктринерское, классическое, идеалистическое и метафизическое образование, которое отравляет буржуазную молодежь, одарены в высшей степени практическим и положительным умом. Они не довольствуются идеями, им нужны факты, и они верят идеям лишь поскольку эти последние опираются на факты. Это счастливое обстоятельство позволило им избегнуть двух подводных камней, на которые наталкиваются все революционные попытки буржуа: академических споров и политического заговора. Впрочем, программа Международного Товарищества Рабочих, выработанная в Лондоне и окончательно принятая на Женевском Съезде (1866 г.), провозгласив, что э к о н о м и ч е с к о е о с в о б о ж д е н и е р а б о ч е г о к л а с с а е с т ь в е л и к а я ц е л ь, к о т о р о й д о л ж н о б ы т ь п о д ч и н е н о, к а к п р о с т о е с р е д с т в о, в с я к о е п о л и т и ч е с к о е д в и ж е н и е[1]), и что в с е у с и л и я, с д е л а н н ы е д о с и х п о р, о к о н ч и л и с ь н е у д а ч е й, б л а г о д а р я о т с у т с т в и ю с о л и д а р н о с т и м е ж д у р а б о ч и м и р а з л и ч н ы х п р о ф е с с и й в к а ж д о й с т р а н е и б р а т с к о г о с о ю з а м е ж д у р а б о ч и м и р а з л и ч н ы х с т р а н,

[1]) Бакунин цитирует эту предпосылку к главным статутам не по тексту французского перевода, опубликованному в 1865 г. и принятому затем на Женевском съезде в 1866 г., но по и с п р а в л е н н о м у тексту, напечатанному в Париже в марте 1870 г. стараниями Поля Робена и Поля Лафарга. Когда Робен просматривал корректуру этого нового французского издания, Лафарг обратил его внимание на разницу между французским текстом 1865—1866 гг. и английским текстом, и после замечания Лафарга и были вставлены в этой предпосылке три слова, к а к п р о с т о е с р е д с т в о, перевод английских слов a s a m e a n s. Во французском тексте 1865—1866 гг. этот пункт был редактирован: „Экономическое освобождение рабочих есть великая цель, которой должно быть подчинено всякое политическое движение“. Как видно отсюда, Бакунин не придавал тогда никакого значения этой разнице между двумя текстами и, вероятно, не заметил даже ее.
Дж. Г.

указывали им ясно единственный путь, по которому они могли и должны были следовать.

Прежде всего они должны были обращаться к массам во имя экономического освобождения, а не во имя политической революции; во имя их материальных интересов сначала, чтобы потом притти к их моральным интересам, так как вторые, как интересы коллективные, являются всегда лишь выражением и логическим следствием первых. Они не могли ждать, чтобы массы пришли к ним, они должны были, стало быть, итти к ним туда, где они находятся в их повседневной действительности, а эта действительность — повседневный труд, специализированный и разделенный по цехам. Они должны были, стало быть, обращаться к различным цехам, уже более или менее организованным, благодаря необходимостям коллективного труда, в каждой отдельной отрасли производства, чтобы привлечь их к общей деятельности великого Товарищества Рабочих всех стран, его экономической цели; чтобы присоединить их, одним словом, к общей организации Интернационала, оставив неприкосновенными их частные организации, не посягая на автономию их. Это значит, что первое, что они должны были сделать, и что они действительно сделали, это организовать вокруг каждой центральной секции столько профессиональных секций, сколько было различных отраслей производства.

Таким образом, центральные секции, которые в каждой стране представляют душу Интернационала, облеклись в телесную оболочку, стали действительными и могучими организациями. Многие придерживаются того мнения, что, выполнив эту миссию, центральные секции должны были распасться, оставив существовать одни только профессиональные секции. По нашему это большая ошибка. Ибо, если бы центральные секции одни, не окруженные [1]...

Великая задача, взятая на себя Международным Товариществом Рабочих, задача окончательного и полного освобождения рабочих и народного труда от ига всех эксплоа-

---

[1]) Следующая страница рукописи (123-я) утеряна в типографии в конце 1871 г., после того как страницы 123—129 были набраны для Almanach du Peuple за 1872 г., где они были потом напечатаны под заглавием „Организация Интернационала“. Первые двадцать пять строк „Организации Интернационала“ находились как раз на 123-й странице, и мы их воспроизводим здесь по „Альманаху“. Таким образом, почти весь текст этой страницы сохранился, недостает только трех-четырех строк, конца начатой в конце 122-й страницы фразы. *Дж. Г.*

таторов этого труда, — хозяев, владельцев сырья и орудий производства, словом, всех представителей капитала, — не только экономическая или чисто материальная, она является в то же время и в такой же степени задачей социальной, философской и моральной; она также, если хотите, в высшей степени политическая задача но только в смысле уничтожения всякой политики посредством разрушения государств.

Мы не думаем, чтобы понадобилось доказывать, что при современной политической, юридической, религиозной и социальной организации наиболее цивилизованных стран экономическое освобождение рабочих невозможно и что, следовательно, для достижения и полного осуществления его необходимо разрушить все современные институты: Государство, Церковь, Юридический Форум, Банк, Университет, Администрацию, Армию и Полицию, которые на самом деле не что иное как крепости, воздвигнутые привилегированными против пролетариата. И недостаточно разрушить их в одной стране, их надо разрушить во всех странах, потому что со времени образования современных государств в семнадцатом и восемнадцатом веке между всеми этими учреждениями существует постоянно возрастающая международная солидарность и очень сильный международный союз.

Стало быть, задача, взятая на себя Международным Товариществом Рабочих, есть полная ликвидация ныне существующего политического, религиозного, юридического и социального мира и замена его новым экономическим, философским и социальным миром. Но такое гигантское предприятие не могло бы никогда осуществиться, если бы в распоряжении Интернационала не было двух одинаково могучих, одинаково гигантских, друг друга дополняющих рычагов; один, это постоянно возрастающая сила потребностей, страданий и экономических требований масс; другой — новая социальная философия, философия в высшей степени реалистическая и народная, покоющаяся теоретически только на действительной науке, т. е. в одно и то же время экспериментальной и рациональной, и не признающей других основ, кроме принципов человеческих — выражение вечных, неизменных инстинктов масс, — принципов равенства, свободы и всемирной солидарности.

Побуждаемый своими потребностями, во имя этих принципов народ должен победить. Ему не чужды эти прин-

цины, они даже не новы для него, в том смысле, что он, как мы только что сказали, во все времена носил их инстинктивно в своей груди. Он всегда стремился к освобождению от всех видов гнета, лежащего на нем; и так как он, работник, кормилец общества, творец цивилизации и всех богатств—последний раб, раб из рабов; так как он не может освободиться, не освободив вместе с собой весь мир, он всегда стремился к освобождению всего мира, т. е. к всемирной свободе. Он всегда страстно любил равенство, которое является высшим условием его свободы; и, несчастный, вечно побеждаемый в личном существовании каждого из своих детей, он всегда искал свое спасение в солидарности. Так как до сих пор взаимное счастье было неизвестно, или, во всяком случае мало известно, и жить счастливо означало быть эгоистом, жить чужим трудом, эксплоатируя и порабощая других, то только несчастные и, следовательно, больше, чем кто либо другой, народные массы знали и практиковали братство.

Социальная наука, стало быть, как нравственная доктрина, только развивает и формулирует народные инстинкты. Но между этими инстинктами и этой наукой существует, однако, пропасть, которую надлежит заполнить. Ибо, если бы достаточно было одних верных инстинктов для освобождения народов, они давно бы уже были освобождены. Эти инстинкты не помешали массам признавать, в течение всей их столь печальной и трагической истории, все религиозные, политические, экономические и социальные нелепости и быть их вечными жертвами.

Правда, тяжелые испытания, через которые должны были пройти массы, не были для них совершенно потерянными. Эти испытания создали в их недрах нечто в роде исторического сознания и как бы практическую, основанную на традициях науку, которая очень часто заменяет им теоретическую науку. Так, например, можно быть теперь уверенным, что ни один западно-европейский народ не даст больше себя увлечь ни какому-нибудь религиозному шарлатану, ни новому Мессии, ни какому-нибудь политическому пройдохе. Можно также с уверенностью сказать, что потребность экономической и социальной революции сильно чувствуется в настоящий момент народными массами Европы, даже наименее цивилизованными, и это именно и дает нам веру в близкое торжество социальной революции; ибо, если бы народный инстинкт не проявил себя так ярко, глубоко и

решительно в этом смысле, то никакие социалисты в мире, будь то даже величайшие гении, не были бы в состоянии поднять массы.

Народ готов, он сильно страдает и, что важнее, он начинает понимать, что он вовсе не обязан страдать: ему надоело вечно обращать взоры к небу и он не расположен больше проявлять долготерпение на земле. Одним словом, массы, даже независимо от всякой пропаганды, стали сознательно социалистичными. Всеобщее и глубокое сочувствие, какое встретила Парижская Коммуна со стороны пролетариата всех стран, служит тому доказательством.

Но массы, это сила или, по крайней мере, существенный элемент всякой силы. Чего же недостает им, чтобы свергнуть ненавистный им общественный строй? Им недостает двух вещей: организации и науки, которые как раз обе составляют в данный момент, и всегда составляли, силу всех правительств.

Итак, прежде всего организация, которая, впрочем, невозможна без помощи науки. Благодаря военной организации, один батальон, тысяча вооруженных человек могут нагнать страх, и на самом деле нагоняют, на миллионную толпу народа, тоже вооруженного, но дезорганизованного. Благодаря бюрократической организации, государство, при помощи нескольких сотен тысяч чиновников, держит в подчинении огромные страны. Следовательно, чтобы создать народную силу, способную раздавить военную и гражданскую силу государства, надо организовать пролетариат.

Это именно и делает Международное Товарищество Рабочих, и когда оно будет обнимать половину, треть, четверть или только десятую часть европейского пролетариата, государства перестанут существовать. Организация Интернационала, имеющая целью не создание новых государств или новых форм деспотизма, а коренное разрушение всякого господства, должна существенно разниться от государственной организации. Насколько последняя искусственна, насильственна, основана на принципах власти, чуждая и враждебная естественному развитию народных интересов и инстинктов, настолько организация Интернационала должна быть свободной, естественной и отвечать во всех отношениях этим интересам и этим инстинктам. Но что представляет эта естественная организация масс? Это организация, основанная на различных проявлениях их действительной повседневной жизни, на различных видах труда, организация по

ремеслам или профессиям. С того момента, когда все виды промышленности будут представлены в Интернационале, включая сюда и различные виды земледельческого труда, его организация, организация народных масс будет закончена.

Ибо достаточно, в самом деле, чтобы один рабочий на десять серьезно и с полным знанием дела входил в Интернационал, чтобы девять десятых, остающихся вне его организации, подверглись его невидимому влиянию и в критические моменты, сами того не подозревая, подчинялись его руководству, поскольку это необходимо для спасения пролетариата.

Нам могут возразить, что этот способ организовать влияние Интернационала на народные массы как бы хочет установить на развалинах прежней власти и существующих правительств новую систему власти и новое правительство. Но это было бы глубоким заблуждением.

Правительство Интернационала, если тут есть правительство, или, скорее, его организованное действие на массы всегда будет отличаться от всех государств тем существенным свойством, что оно всегда будет только организацией воздействия—не официального и не облеченного властью или какой-нибудь политической силой, но совершенно естественного — более или менее многочисленной группы лиц, вдохновленных общей идеей и стремящихся к общей цели, сначала на мнение масс и только потом, посредством этого мнения, более или менее измененного под влиянием пропаганды Интернационала, на их волю, на их акты. Тогда как правительства, вооруженные властью и материальной силой, которые одни, по их утверждению, имеют от бога, другие, благодаря их умственному превосходству, третьи, наконец—самою волею народной, выраженной и выявленной путем ловкого фокуса, который называют всеобщим голосованием, насильственно навязывают себя массам, принуждают их повиноваться им, исполнять их декреты, в большинстве случаев не стараясь даже хотя бы внешним образом осведомиться о их чувствах, потребностях и воле. Между государственной силой и силой Интернационала такая же разница, какая существует между официальной деятельностью государства и естественной деятельностью какого-нибудь клуба. Интернационал не имеет и никогда не будет иметь другой силы, кроме великой силы убеждения и останется всегда лишь организацией естественного воздействия личностей на массы. Государство же и все государ-

ственные учреждения: церковь, университет, юридический форум, бюрократия, финансовая наука, полиция и армия, развращая, разумеется, по возможности мнения и волю подданных государства, требуют от них пассивного повиновения, не сообразуясь с этими мнениями и волей и чаще всего вопреки им, конечно, все это в мере, всегда очень растяжимой, признанной и определенной законами.

Государство, это власть, господство и организованная сила владеющих и так называемых просвещенных классов над массами: Интернационал, это—освобождение масс. Государство никогда не ищет и не может искать ничего другого, кроме порабощения масс, и потому оно призывает их к повиновению. Интернационал, желая только их полного освобождения, призывает их к бунту. Но чтобы сделать этот бунт могучим в свою очередь и способным свергнуть господство государства и привилегированных классов, которых исключительно и представляет государство, Интернационал должен был организоваться. Для достижения этой цели он употребляет только два средства, которые хотя далеко не всегда легальны, — так как легальность, во всех странах, большей частью есть лишь юридическое освящение привилегии, т. е. несправедливости, — с точки зрения человеческого права оба одинаково законны. Эти два средства, как мы уже сказали, во-первых пропаганда идей Интернационала, организация естественного воздействия его членов на массы.

Тому, кто стал бы утверждать, что деятельность, организованная таким образом, является всетаки покушением на свободу масс, попыткой создать новую власть, мы ответим, что он или софист, или глупец. Тем хуже для тех, кто до такой степени не знаком с естественным и социальным законом человеческой солидарности, что воображает, что абсолютная взаимная независимость личностей и масс возможная или даже желательная вещь. Желать ее, это значит хотеть уничтожения общества, так как вся общественная жизнь есть не что иное, как эта постоянная взаимная зависимость друг от друга личностей и масс. Все индивиды, даже наиболее умные, наиболее сильные, и в особенности умные и сильные, в каждую минуту своей жизни являются производителями и продуктами воли и деятельности масс. Сама свобода каждой личности есть постоянно меняющаяся результирующая этих масс физических, умственных и нравственных влияний, которые окружающие ее другие личности

общество, в котором она рождается, живет и умирает, оказывают на нее. Хотеть избегнуть этого влияния, во имя какой то трансцедентальной, божественной, абсолютно эгоистической и самодовлеющей свободы, это осудить себя на не-бытие; хотеть отказаться от этого влияния на другого, это отказаться от всякого социального действия, от выражения даже своей мысли и чувств, т. е. тоже придти к не-бытию. Следовательно, эта независимость, столь восхваляемая идеалистами и метафизиками, и личная свобода, понятая в таком смысле, это не-бытие.

В природе, как и в человеческом обществе, которое не что иное, как сама эта природа, все живущее живет только при этом высшем условии самого положительного вмешательства и настолько энергичного, насколько это позволяет натура индивида, в жизнь другого. Уничтожение этого взаимного влияния было бы, стало быть, смертью. И когда мы требуем свободы масс, мы не претендуем уничтожать ни одного из этих естественных влияний на них ни одной личности, ни одной группы лиц. Мы хотим уничтожения искусственных, привилигированных, законных, оффициальных влияний. Если бы церковь и государство могли быть учреждениями, мы бы, конечно, были их противниками, но мы бы не протестовали против их права на существование. Но мы протестуем против них, потому, что, будучи, разумеется, частными учреждениями, в том смысле, что они на самом деле существуют только для частных интересов привилегированных классов, они тем не менее пользуются организованной с этой целью коллективной силой масс, для того чтобы насильственно, оффициально, властнически навязать себя массам. Если бы Интернационал мог организоваться в государство, мы, его убежденные и страстные сторонники, превратились бы в его от‘явленных врагов.

Но в том то и дело, что Интернационал не может организоваться в государство; он не может этого сделать уже по тому одному, что, как само имя это указывает, он уничтожает все границы; а нет государства без границ, так как исторически доказано, что осуществление всемирного государства, о котором мечтали народы-завоеватели и самые великие деспоты мира, невозможно. Государство, необходимо означает несколько государств,— угнетающих и эксплоатирующих внутри, завоевывающих или по крайней мере, взаимно враждующих друг с другом за своими пределами,— означает отрицание человечества. Всемирное государство,

или народное государство, о каком говорят немецкие коммунисты, может, стало быть, означать лишь одно: уничтожение государства.

Международное Товарищество Рабочих не имело бы никакого смысла, если бы оно не стремилось к уничтожению государства. Оно организует народные массы только в виду этого уничтожения. Как же оно организует их? Не сверху вниз, навязывая общественному разнообразию, продукту разнообразия труда в массах, или естественной жизни масс, искусственные единство и порядок, как это делают государства; а наоборот, снизу вверх, беря за отправную точку общественное существование масс, их действительные стремления, и призывая их группироваться, гармонически согласовать свои силы, сообразно этому естественному разнообразию занятий и положений, и помогая им в этом. Такова собственная цель организации цеховых секций.

Мы говорили, что, для того чтобы организовать массы, чтобы установить прочным образом благотворное действие на них Международного Товарищества Рабочих в сущности, достаточно было бы, чтобы один рабочий на десять из каждого цеха входил в соответствующую Секцию. Это понятно. В моменты великих политических и экономических кризисов, когда возбужденные до крайности массы инстинктивно понимают все счастливые начинания, когда эти человеческие стада рабов, задавленных, порабощенных, но непокорившихся, поднимаются, наконец, чтобы сбросить с себя свое ярмо, но чувствуют себя растерянными и бессильными, потому что они совершенно дезорганизованы, десять, двадцать или тридцать человек, хорошо сговорившихся между собою и хорошо организованных, и знающих куда они идут и чего хотят, легко увлекут за собою сто, двести, триста человек или даже больше. Мы это видели недавно на примере Парижской Коммуны. Серьезная организация, едва начавшая свою жизнь во время осады., не была ни совершенной ни очень сильной; и, однако, она была достаточна, чтобы создать колоссальную силу сопротивления.

Что же будет, когда Международное Товарищество Рабочих будет лучше организовано, когда оно будет насчитывать в своей среде гораздо большее число секций, в особенности большое число земледельческих секций, и в каждой секции вдвое или втрое больше членов, чем теперь? Что будет в особенности, когда каждый из его членов будет лучше знать, чем теперь, конечную цель и истинные

принципы Интернационала, также как и способ их осуществления? Интернационал станет непреодолимой силой.

Но для того, чтобы Интернационал действительно мог приобрести эту силу, для того чтобы десятая часть пролетариата, организованная этим Товариществом, могла увлечь за собою остальные девять десятых, необходимо чтобы каждый член в каждой секции, гораздо глубже был проникнут принципами Интернационала, чем теперь. Только при этом условии, во времена мира и затишья он может действительным образом выполнять миссию пропагандиста и проповедника, и во времена борьбы миссию революционного вождя.

Говоря о принципах Интернационала, мы подразумеваем только те, которые содержатся в наших общих статутах, принятых Женевским С'ездом (1866 г.) Они так немногочисленны, что мы просим позволения привести их здесь:

1) Освобождение труда должно быть делом самих рбочих;

2. Усилия рабочих завоевать свое освобождение не должны стремиться к установлению новых привилегий, но к установлению для всех (людей живущих на земле) равных прав и обязанностей и к уничтожению классового господства;

3. Экономическое порабощение рабочего владельцем сырья и орудий производства есть источник рабства во всех его видах: социального, умственного и политического;

4. Поэтому экономическое освобождение рабочих классов есть великая цель, которой должно быть подчинено, как простое средство, всякое политическое движение;

5. Освобождение рабочих не является проблемой чисто местной или национальной; напротив, проблема эта касается всех цивилизованных наций, так как решение ее необходимо зависит от их теоретического и практического содействия;

6. Международное Товарищество Рабочих, так же как и все его члены, признают, что Истина, Справедливость, Нравственность должны лежать в основе их поведения по отношению ко всем людям, без различия цвета кожи, верований или национальности;

7. Наконец, оно считает своим долгом требовать прав человека и гражданина не только для своих членов, но и для каждого, кто исполняет свои обязанности: „Нет обязанностей без прав, нет прав без обязанностей“.[1])

Мы знаем теперь, что эта программа, столь простая, столь справедливая и выражающая простым языком самые законные и самые человеческие требования пролетариата, именно потому, что эта программа исключительно человеческая, содержит в себе все зачатки огромной социальной революции: свержение всего существующего и создание нового мира.

Вот, что должно теперь раз'яснять всем членам Интернационала и стать для них совершенно ясным. Эта программа несет с собой новое общество, новую социальную философию, которая должна заменить все прежние религии, и совершенно новую политику, политику международную, которая, спешим заявить это, как таковая, не может иметь иной цели, кроме разрушения всех государств. Для того, чтобы все члены Интернационала могли сознательно выполнить свою двойную обязанность пропагандистов и естественных вождей масс в Революции, необходимо, чтобы каждый из них был сам проникнут, насколько возможно глубже, этой наукой, этой философией и этой политикой. Недостаточно, чтобы они знали и говорили, что они хотят экономического освобождения рабочих, полного пользования продуктом своего труда для каждого, уничтожения классов и политического порабощения, осуществления полноты человеческих прав и полного равенства прав и обязанностей для каждого,—одним словом, осуществления братства людей. Все это, разумеется, очень хорошо и весьма справедливо, но, если рабочие Интернационала остановятся на этих великих истинах, не углубляя их условия, последствия и смысл, и если они будут довольствоваться их постоянным повторением в этой общей форме, они сильно рискуют превратить их скоро в пустые и бесплодные слова, в общие непонятные места.

Но, скажут нам, все рабочие, даже когда они члены Интернационала, не могут стать учеными; и недостаточно ли, чтобы в среде этого общества нашлась группа людей,

1) Этот текст не является точным воспроизведением статутов: это резюме, сделанное по французскому переводу, напечатанному в Париже в 1870 г. Прим. Дж. Г.

обладающих вполне, насколько это возможно в наше время, наукой, философией и политикой социализма, чтобы большинство, чтобы рабочие массы Интернационала, доверчиво подчиняясь их руководству и их братскому командованию (стиль Гамбетты, якобинца—диктатора по преимуществу), могли быть уверены, что они не свернуться с пути, который должен привести их к окончательному освобождению пролетариата?

Вот рассуждение, которое мы довольно часто слышали от авторитарной партии, ныне торжествующей в Женевском Интернационале, не открыто высказываемое,—для этого у нее нет ни достаточно искренности ни достаточно смелости, —а потихоньку, со всякого рода более или менее искусными умалчиваниями и комплиментами по адресу высшей мудрости и всемогущества суверенного народа. Мы всегда горячо выступали против него, потому что мы уверены,— и вы, конечно, вместе с нами, товарищи,—что когда Международное Товарищество Рабочих разделится на две группы: одна, заключающая в себе большинство и состоящая из членов, вся наука которых будет состоять в слепой вере в теоретическую и практическую мудрость ее вождей, и другая, состоящая только из нескольких десятков руководителей, эта организация, которая должна освободить человечество, превратится сама в некоторого рода олигархическое государство, худшее из всех государств; и больше того, это прозорливое меньшинство, ученое и искусное, которое возьмет на себя, вместе со всею ответственностью, все права самодержавного правительства, тем более деспотического, что деспотизм его тщательно скрывается под внешностью услужливого уважения к воле и решениям суверенного народа, решениям, всегда инспирированным самим правительством этой так называемой народной воле: это меньшинство, говорим мы, повинуясь необходимостям и условиям своего привилегированного положения и подвергаясь судьбе всех правительств, будет становиться все более и более деспотичным, зловредным и реакционным. Это именно и случилось в данный момент с Женевским Интернационалом.

Международное Товарищество Рабочих может стать орудием освобождения человечества только в том случае, если оно сначала само освободиться, а оно будет свободно только когда, перестанет делится на две группы, большинство-слепых орудий, и меньшинство-ученых машинистов, и

когда сознание каждого его члена будет проникнуто наукой, философией и политикой социализма.

Социальная наука лишь ветвь единой науки, всей науки, как само человеческое общество есть лишь последняя известная нам степень развития того бесконечного целого реального мира, которое мы называем природой. Социальная наука, предметом которой являются общие законы исторического развития человеческих обществ,- развитие, столь же неизбежное, как развитие всех других явлений в природе,—есть венец естественной науки. Следовательно, она предполагает предварительное знание всех других позитивных наук, что вначале повидимому должно ее сделать совершенно недоступной неразвитому уму пролетариата.

Или надо будет ждать дня, когда правительства, вдруг почувствовав сильную любовь к эксплоатируемым массам, учредят серьезные научные школы для детей народа, школы, в которых, вместо суеверия, столь благоприятного интересам привилегированных классов и господству государства, будет царствовать разум, освободитель народов, и в которых каждодневный катехизис будет заменен естественными науками? Это значило бы осудить себя на очень долгое ожидание. И даже если для народа откроются школы, действительно достойные этого имени, он не в состоянии будет обучать в них своих детей в продолжении всего времени, какое требуется для серьезного научного образования. Где он возьмет достаточно средств для того, чтобы содержать их там в продолжении десяти, восьми или даже только шести лет? В самых демократических странах громадное большинство детей народа посещает школы едва лишь в продолжение двух лет, или самое большое трех лет; после чего они должны зарабатывать себе на жизнь, а известно, что значат эти слова: зарабатывать себе на жизнь, для детей народа! Вступив в условия наемного труда, пролетарий должен неизбежно отказаться от науки.

И, однако, в крупных населенных центрах, в Англии, Франции, Бельгии, Германии, просвещенные и искренние друзья рабочего класса открыли вечерние школы для народа, в которые масса рабочих усердно ходит, забыв свою дневную усталость, чтобы получить в них первые сведения позитивных наук. Эти школы драгоценны не по количеству знаний, какие они могут дать посещающим их, а благодаря настоящему научному методу, в который они вводят мало по малу эти девственные умы, стыдящиеся своего невеже-

ства и жаждущие знаний. Научный или позитивный метод, который не признает никакого синтеза, который бы не был предварительно проверен опытом и тщательным анализом фактов, разумный рабочий усвоив его себе, становится в его руках могучим орудием научного исследования, при помощи которого он живо справляется со всеми религиозными, метафизическими, юридическими и политическими софизмами, которыми заботливо старались отравить его ум, воображение и сердце с его самого раннего детства.

Но эти школы едва достаточны для того, чтобы дать рабочему приблизительное знание некоторых главных фактов очень небольшого числа наук. Столь несовершенное знание естественных наук не может служить основой социальной науке, в которой он, следовательно, принужден попрежнему оставаться невежественным...

(Рукопись осталась неоконченной)

Ответ одного интернационалиста Мадзини.

Ответ одного интернационалиста Мадзини.

Если есть человек, всеми уважаемый в Европе, и который своей сорокалетней деятельностью, исключительно посвященной великому делу, действительно заслужил это уважение, так это Мадзини. Он бесспорно является одною из самых благородных и самых чистых личностей нашего века, я сказал бы даже, самою великою, если бы величие было совместно с упорным культом заблуждения.

К сожалению, в самой основе революционной программы итальянского патриота заложен был с самого начала существенно ложный принцип, который парализовал и сделал бесплодными его самые героические усилия и самые гениальные комбинации, и рано или поздно должен был увлечь его в ряды реакции. Это принцип какого то в одно и тоже время метафизического и мистического идеализма, соединенного с патриотическим честолюбием государственного деятеля. Это культ Бога, культ божеской и человеческой власти, это вера в мессианское предназначение Италии, царицы наций, вместе с Римом, столицей мира это политическая страсть к величию и славе государства, необходимо основанных на нищете народов. Это, наконец, религия всех догматических и абсолютных умов, страсть к единообразию, которое они называют единством и которое является могилой свободы.

Мадзини—последний великий жрец религиозного метафизического и политического идеализма, доживающего свои дни.

Мадзини упрекает нас в том, что мы не веруем в Бога. Мы, наоборот, упрекаем его в том, что он верует в него, или, скорее, мы даже не упрекаем его в этом, мы жалеем только, что он верует в него. Мы бесконечно жалеем, что, благодаря этому вторжению мистических идей и чувств в его сознание.

его деятельность и жизнь, он принужден был выступить против нас со всеми врагами освобождения народных масс.

Ибо невозможно больше ошибаться на этот счет. Кто теперь выступает под знаменем Бога? От Наполеона III до Бисмарка, от императрицы Евгении до королевы Изабеллы и между ними папа с своей мистической розой, которую он галантно преподносит по очереди то той, то другой, все императоры, все короли, весь оффициальный, оффициозный и дворянский мир и все привилегированные Европы, тщательно переименованные в календаре Гота, все пиявки промышленного, торгового и банковского мира, патентованные профессора и все государственные чиновники: высшая и низшая полиция, жандармы, тюремщики, палачи и вместе с ними попы, составляющие ныне черную полицию душ, работающую в пользу государства: все генералы, эти гуманные защитники общественного порядка, и редактора продажной прессы, такие чистые представители всех оффициальных добродетелей. Вот армия Бога.

Вот знамя, под которым становится ныне Мадзини, помимо своей воли, конечно, увлеченный логикой своих убеждений, которые принуждают его, если не благославлять все, что они благославляют, то, по крайней мере, проклинать все, что они проклинают.

А кто находится в противоположном лагере? Революция, смелые отрицатели Бога, божественного порядка и принципа власти и, наоборот, и по этому именно, верующие в человечество, в человеческий порядок и человеческую свободу.

Мадзини, в молодости своей, разделяя оба противоположные течения, был в одно и тоже время жрецом и революционером. Но с течением времени, чувства жреца, как и должно было ожидать, заглушили в нем инстинкты революционера; и теперь все, что он думает, все, что он говорит и делает, дышит самой чистой реакцией. Это вызывает великую радость в лагере наших врагов и печаль в нашем.

Но не будем горевать, у нас есть другое дело: все наше время принадлежит борьбе. Мадзини бросил нам перчатку; наш долг поднять ее, чтобы не могли сказать, что из уважения к прошлым великим заслугам человека мы склонили голову перед ложью.

Не с радостным сердцем можно выступить против такого человека, как Мадзини, которого вынужден глубоко уважать и любить, даже борясь против него, ибо никто не может сомневаться в глубоком бескорыстии, в огромной

искренности и не менее огромной любви к добру этого человека, несравненная чистота которого сияет во всем своем блеске среди развращенности нашего века. Но почтительность, как бы законна она не была, никогда не должна превращаться в обожание; есть вещь более священная, чем величайший человек в мире, это истина, справедливость, обязанность защищать святое дело человечества.

Не в первый раз Мадзини бросает обвинения, чтобы не сказать оскорбления и клеветы, против нас. В прошлом году, в письме, адресованном своему другу, идеалисту и жрецу,*) как и он, знаменитому Кинэ, он едко порицал материалистические и атеистические тенденции современной молодежи. Это было его право, следствие его образа мышления. Он имел несчастье всегда связывать свои самые благородные стремления с вымышленным существованием абсолютного Существа, зловредного и нелепого призрака, созданного детским воображением первобытных народов, и который постепенно видоизмененный творческой фантазией поэтов, ставший более красочным, и позднее получивший строгое определение и послуживший началом системы, созданной абстрактным мышлением теологов и метафизиков, теперь рассеивается, как настоящий призрак, каким он является на самом деле, под могучим напором народного сознания, созревшего под влиянием исторического опыта, и благодаря еще более беспощадному анализу действительной науки. И так как знаменитый итальянский патриот, с самого начала своей долгой карьеры, имел несчастье вверить все свои помыслы и свои самые революционные действия под защиту этого вымышленного Существа и сковать с ним всю свою жизнь, принеся ему в жертву даже действительное освобождение своей дорогой Италии, то можно ли удивляться, что он негодует теперь против нового поколения, которое, воодушевляясь другими принципами, другой моралью и другой любовью, чем его, отворачивается от его Бога?

Горечь и гнев Мадзини естественны. Быть в продолжение больше чем тридцати лет во главе революционного движения Европы и чувствовать теперь, что от него ускользает это руководство; видеть, что это движение начинает итти по пути, по которому его закоснелые убеждения не

*) „Жрец“ во всем *Ответе* фигуральное выражение. Может быть, не бесполезно будет указать на это читателям, которые не знают ни Мадзини ни Эдгара Кинэ.

Прим. Гж. Г.

позволяют ему не только управлять им, но даже следовать за ним; остаться одиноким, покинутым, непонятым и отныне неспособным понять самому ничего из того, что происходит перед его глазами! Для такой великой души, гордого ума, огромного честолюбия, какими обладает Мадзини, и под конец долгой карьеры, это трагическое и тяжелое положение.

Поэтому, когда с высоты своего духовного одиночества, святой старец пустил в нас свои первые стрелы, мы ничего или почти ничего не ответили. Мы уважали этот бессильный, но скорбный гнев. Однако, у нас не было бы недостатка в аргументах не только чтобы отвергнуть его упреки, но и повернуть их против него.

Он говорит, что мы материалисты атеисты. На это мы ничего не можем ответить, ибо мы являемся ими на самом деле, и мы гордимся этим, поскольку позволено иметь чувство гордости жалким личностям, которые, подобно волнам, поднимаются, чтобы потом исчезнуть в огромном океане коллективной жизни человеческого общества; мы гордимся этим, потому что атеизм и материализм, это—истина, или, скорее, действительная основа всякой истины и потому что, не заботясь о практических последствиях, мы хотим истину прежде всего, и только истину. Кроме того, мы верим, что несмотря на все видимости противного, несмотря на все трусливые внушения политики осторожности и скептицизма, одна только истина может создать практическое благо для людей

Таков первый догмат нашей веры; и мы принудим вас признать, что у нас тоже есть вера, славный учитель! Только она никогда не смотрит назад, но всегда вперед.

Вы не довольствуетесь, однако, указанием на наш атеизм и материализм, вы выводите отсюда заключение, что мы не можем иметь ни любви к людям ни уважения к их достоинствам; что все великое, что во все времена заставляло биться наиболее благородные сердца: свобода, справедливость, человечество, красота, истина, должно быть нам совершенно чуждо и, что, влача бесцельно свое жалкое существование, скорее ползая, чем ступая ногами по земле, мы не знаем других забот, кроме удовлетворения своих чувственных и грубых аппетитов.

Если бы это говорил кто нибудь другой, а не вы, мы назвали бы его бесстыдном клеветником. Вам, уважаемый и несправедливый учитель, мы скажем, что это прискорбное заблуждение с вашей стороны. Хотите знать, до какой сте-

пени мы любим все эти великие и прекрасные вещи, в знании которых и любви к которым вы отказываете нам? Знайте же, что мы любим их так сильно, что нам надоело и опротивело видеть их вечно висящими на вашем небе, похитившем их у земли, как символы и никогда неосуществимые обещания! Мы не довольствуемся больше фикцией этих прекрасных вещей, мы хотим их в действительности.

А вот второй догмат нашей веры, славный учитель. Мы верим в возможность, в необходимость этого осуществления на земле; в то же время мы убеждены, что все эти вещи, которые вы обожаете, как небесные надежды, став человеческими и земными реальностями, необходимо потеряют свой мистический и божественный характер.

Назвав нас материалистами, вы думаете, что этим все сказано. Вам кажется, что вы нас окончательно осудили, раздавили. И знаете, откуда у вас эти заблуждения? То, что вы и мы называем материей, две различные вещи, два совершенно различных понятия. Ваша материя вымышленное Существо, как ваш Бог, как ваш Сатана, как ваша бессмертная душа. Ваша материя, это низшая, косная грубость, явление невозможное, как невозможен чистый, бесплотный, абсолютный дух, и которое, как и последний существовало лишь в абстрактной фантазии теологов и метафизиков, этих единственных творцов как того, так и другого. История философии раскрыла нам теперь способ, впрочем весьма простой, бессознательного создания этой фикции, происхождения этого рокового исторического заблуждения, которое впродолжение длинного ряда веков тяготело, как ужасный кошмар, над придавленным умом человеческих поколений.

Первые мыслители, которые неизбежно были теологами и метафизиками, так как ум человеческий устроен так, что он всегда начинает с массы глупостей, со лжи, заблуждения, чтобы придти к частице истины, что не очень то рекомендует *святые традиции прошлого*; первые мыслители, говорю я, взяли у всей суммы известных им реальных существ, включая, разумеется, и себя, все, что, казалось им, составляло силу, движение, жизнь, ум, и назвали это общим именем *дух*; всему остальному, бесформенной, безжизненной массе, которая должна была по их мнению оставаться после этой отвлеченной операции, бессознательно произведенной над действительным миром их собственным умом, они дали название *материи*. После этого они удивились, что эта *материя*, которая, так же как и этот дух, существовала

лишь в их воображении, столь бездейственна, столь глупа по сравнению с их Богом, чистым духом.

Что касается нас, мы откровенно сознаемся, что мы не знаем вашего Бога, но мы не знаем также и вашей материи: или, скорее, мы знаем, что как то, так и другое, одинаково не существуют и созданы a priori витающей в области абстрактного фантазией наивных мыслителей прошлых веков. Под этими словами материя и материальный мы подразумеваем всю сумму, всю лестницу действительных существ, начиная с самых простых органических тел и кончая строением и деятельностью мозга величайшего гения: самые возвышенные чувства, величайшие мысли, героические акты, акты самоотверженія, обязанности, как и права, добровольный отказ от своего блага, как и эгоизм, все включительно до трансцедентальных и мистических заблуждений Мадзини, также как и проявления органической жизни, химические свойства и действия, электричество, свет, теплота, естественное притяжение тел составляют на наш взгляд, отдельные, разумеется различные, но тесно связанные между собою, проявления действительного мира, который мы называем материей.

И заметьте, что мы не считаем этот действительный мир явлений какой то абсолютной и вечно творящей субстанцией, как это делают пантеисты, но вечной, постоянно меняющейся равнодействующей бесконечного ряда всякого рода действий и противодействий или непрерывного ряда трансформаций реальных существ, которые родятся и умирают в его недрах.

Резюмирую сказанное, чтобы не затягивать этих метафизических рассуждений: мы называем материальным все, что есть, все, что происходит в действительном мире, как в человеке, так и вне его, и мы применяем слово идеальный исключительно к продуктам деятельности человеческого мозга; но так как наш мозг есть вполне материальное образование и что, следовательно, вся деятельность его также материальная, как и деятельность всех других материальных сущностей, вместе взятых, то отсюда следует что то, что мы называем материей или материальным миром, нисколько не исключает, а, напротив, обнимает собою неминуемо и мир идеальный.

Есть факт, достойный, чтобы над ним подумали наши платонические противники: каким образом происходит, что обыкновенно теоретики материалисты обнаруживают себя

гораздо большими идеалистами на практике, чем они сами? В сущности, это вполне логично и естественно. Ведь, всякое развитие заключает в себе в некотором роде отрицание отправной точки; теоретики материалисты исходят из концепции материи, чтобы придти к чему? К идее. Тогда как идеалисты, беря за отправную точку чистую, абсолютную идею и постоянно повторяя старую басню о первородном грехе, которая есть лишь символическое выражение их печальной судьбы, вечно попадают в область материи, из которой им никак не удается выкарабкаться, и какой материи? грубой, гнусной, глупой, созданной их собственным воображением, как alter ego, или как отражение их идеального я.

Точно также, материалисты, сообразуя всегда свои социальные теории с действительным ходом истории, рассматривают животную стадию, людоедство, рабство, как первые отправные пункты эволюции общества; но к чему они стремятся, чего хотят? Они хотят освобождения, полного очеловечения общества; тогда как идеалисты, которые берут за основу своих абстрактных теорий бессмертную душу и свободу воли, неизбежно приходят к культу общественного порядка, как Тьер, и к культу власти, как Мадзини, т. е. к освящению и установлению вечного рабства. Отсюда ясно следует, что теоретический материализм имеет необходимым следствием практический идеализм, и, наоборот, идеалистические теории находят свое возможное существование лишь в самом грубом практическом материализме.

Вчера, на наших глазах, где были материалисты и атеисты? В Парижской Коммуне. А где были идеалисты, верующие в Бога? В Версальском Национальном Собрании. Чего хотели парижские революционеры? Они хотели окончательного освобождения человечества, посредством освобождения труда. А чего хочет теперь победоносное Версальское Собрание? Окончательного падения человечества под двойным игом духовной и светской власти. Материалисты, полные веры и презирающие страдания, опасность и смерть, хотят идти вперед, потому что они видят перед собой торжество человечества; а идеалисты, задыхаясь, не видя ничего перед собой, кроме кровавых призраков, хотят во что бы то ни стало опять толкнуть его в тину, откуда ему так трудно выбраться. Пусть сравнивают и судят!

Мадзини утверждает своим доктринерским, не терпящим возражений тоном, свойственным всем основателям новых религий, что материалисты не способны любить и посвятить

свою жизнь служению великим идеалам. Говоря это, он только доказывает, что, как последовательный идеалист и презирающий человечество во имя своего Бога, очень серьезно считая себя его пророком, он не имеет никакого понятия ни о человеческой природе ни об историческом развитии общества, и что, если он не совсем невежда в истории, то он ее понимает странным образом.

Он рассуждает, как все теологи. Если бы не было Бога творца, говорит он, мир со всеми своими удивительными законами не мог бы существовать или представлял бы лишь ужасный хаос, в котором все не управлялось бы божьим промыслом, а было бы предоставлено на волю судьбы и беспорядочному действию слепых сил. Не было бы никакой цели в жизни; все было бы только материальным, грубым и случайным. Ибо без Бога нет гармонии в физическом мире, и нет нравственного закона в человеческом обществе; а без нравственного закона нет долга, нет права, нет добровольной жертвы, нет любви, нет человечества, нет отечества, нет Рима и нет Италии; ибо, если Италия существует, как нация, то только потому, что она должна выполнить мировую миссию; а она могла получить эту миссию только от Бога, отеческая заботливость которого об этой царице наций дошла до того, что он своим собственным божественным перстом начертал ее границы, угаданные и описанные пророческим гением Данте.

В следующих статьях я постараюсь доказать против Мадзини:

1. Что если бы существовал Бог творец, не могло бы существовать мира;

2. Что если бы Бог был законодателем естественного мира,—который по нашему понятию заключает в себе весь мир в собственном смысле этого слова, как физический мир, так и мир человеческий и социальный,—то то, что мы называем естественными законами, как законы физические, так и социальные, тоже не могли бы существовать. Как все политические государства, управляемые сверху вниз самовластными законодателями, мир представлял бы тогда зрелище возмутительного хаоса. Он не мог бы существовать.

3. Что нравственный закон, существование которого мы, материалисты и атеисты, представляем себе более реально, чем это могут сделать идеалисты какой бы то ни было школы, мадзинисты или нео-мадзинисты, является действительно нравственным законом, законом, который дол-

жен восторжествовать над заговорами всех идеалистов мира, только потому что он вытекает из самой природы человеческого общества, действительные основы которой надо искать не в Боге, а в животном мире;

4. Что идея Бога, далеко не необходимая для установления этого закона, внесла в него лишь путаницу и извратила его;

5. Что все Боги, прошлые и настоящие, обязаны своим существованием человеческой фантазии, едва освободившейся от пелены своей первобытной животности; что вера в сверхестественный или божественный мир является лишь исторически неизбежным заблуждением в прошлых стадиях развития нашего ума, и что, употребляя выражение Прудона, люди, обманутые известного рода оптической иллюзией, всегда поклонялись в своих Богах только собственному образу, чудовищным образом преувеличенному;

6. Что божество после того, как оно воссело на свой небесный трон, сделалось бичем человечества, союзником всех тиранов, всех шарлатанов, всех мучителей и эксплоататоров народных масс;

7. Что, наконец, исчезновение божественных призраков, необходимое условие торжества человечества, будет одним из неизбежных последствий освобождения пролетариата.

Пока Мадзини довольствовался оскорблением учащейся молодежи, которая одна только в среде глубоко развращенной и так низко павшей современной буржуазии проявляет еще немного энтузиазма по отношению к великим идеям, истине и справедливости; пока он ограничивался нападками на немецких профессоров, на Молешоттов, Шиффов и других, которые совершают ужасное преступление, преподают истинную науку в итальянских университетах, и пока он забавлялся тем, что доносил на них итальянскому правительству, как на распространителей вредных идей в отечестве Галилея и Джордано Бруно, мы могли хранить молчание, диктуемое нам чувством уважения и жалости к нему. Молодежь достаточно энергична и профессора достаточно учены, чтобы самим защищаться.

Но теперь Мадзини переступил границы. По прежнему оставаясь добросовестным и попрежнему вдохновляемый своим идеализмом, фанатическим и искренним, он совершил два преступления, которые, на наш взгляд, на взгляд всей социалистической демократии Европы, непростительны.

В тот самый момент, когда геройское население Па-

рижа, самоотверженнее, чем когда либо, десятками тысяч, с женщинами и детьми, шло на смерть, защищая самое человеческое, самое справедливое, самое великое дело, когда либо происходившее в истории, дело освобождения трудящихся всего мира; когда ужасная коалиция всех гнусных столпов реакции, которые празднуют теперь свою победную оргию в Версале, не довольствуясь массовыми избиениями и заключением в тюрьмы наших братьев и сестер Парижской Коммуны, выливает на них потоки грязи и клевет, какие могут возникнуть только в мозгу людей, потерявших всякий стыд. Мадзини, великий, чистый демократ Мадзини, отворачиваясь от пролетарского дела и помня только свою миссию пророка и жреца, тоже бросает против них оскорбления! Он осмеливается отрицать не только справедливость их дела, но и их геройское, величайшее самоотвержение, выставляя их, пожертвовавших собой для освобождения всего мира, грубыми существами, не знающими никаких нравственных законов и повинующихся лишь эгоистическим и диким порывам.

Не в первый раз Мадзини оскорбляет и клевещет на парижский народ. В 1848 г., после достопамятных июньских дней, которые открыли в Европе эру пролетарской борьбы и социалистического движения в собственном смысле слова, Мадзини выпустил гневный манифест, предающий проклятию и парижских рабочих и социализм. Против рабочих 1848 г., самоотверженных, геройских, как их сыновья 1871 г., и, как и эти последние, массами избиваемых, сажаемых в тюрьмы, ссылаемых на каторжные работы буржуазной республикой, Мадзини повторял все клеветы, пущенные в ход Ледрю-Ролленом и его друзьями, так называемыми красными республиканцами Франции, чтобы извинить в глазах мира и, может быть, своих собственных свое смешное и постыдное бессилие.

Мадзини проклинает социализм: как жрец или как делегат, посланный всевышним господом, он должен проклинать его, так как социализм, рассматриваемый с нравственной точки зрения, это уважение человека, приходящее на смену божественному культу; и рассматриваемый с научной практической точки зрения, провозглашение великого принципа, который, вошедши отныне в сознание народов, стал единственным отправным пунктом как исследований и развития позитивной науки, так и революционного движения пролетариата.

Этот принцип, во всей своей простоте, следующий:

„Как в мире, называемом материальном, неорганическая материя (механическая, физическая, химическая) есть определяющая основа органической материи (растительной, животной, умственной или мозговой), точно также и в мире социальном, который, впрочем, может рассматриваться лишь как последняя известная нам ступень развития материального мира, развитие экономических вопросов всегда было и продолжает еще быть определяющей основой всякого развития религиозного, философского, политического, и социального“.

Мы видим, что этот принцип приносит с собой ни более ни менее как самое смелое низвержение всех теорий, как научных так и нравственных, всех религиозных, метафизических, политических, и юридических идей, которые все вместе составляют верование всех идеалистов прошлых и настоящих. Это революция, в тысячу раз более грозная, чем революция, которая начиная с эпохи Возрождения и особенно с семнадцатого века, ниспровергла схоластические доктрины, этот оплот церкви, неограниченной монархии и феодального дворянства, чтобы заменить их метафизическим догматизмом так называемого чистого разума, столь благоприятного для господства последнего привиллегированного класса, т. е. буржуазии.

Если низвержение схоластического варварства вызвало такое страшное волнение в свое время, то понятно, какой переполох должно вызвать в наши дни свержение доктринерского идеализма, этого последнего убежища всех привилегированных угнетателей и эксплоататоров человечества.

Эксплоататоры идеалистических верований чувствуют угрозу своим самым дорогим интересам, а бескорыстные, фанатические и искренние сторонники умирающего идеализма, как Мадзини, видят, что одним ударом уничтожается вся религия, вся иллюзия их жизни.

С самого начала своей деятельности Мадзини не переставал повторять пролетариату Италии и всей Европы следующие слова, которые резюмируют его религиозный и политический катехизис: „Будьте нравственными, поклоняйтесь Богу, примите нравственный закон, который я приношу вам его именем, помогите мне воздвигнуть республику, основанную на сочетании (невозможном) разума и веры, божественной власти и человеческой свободы, и вы бу-

дете иметь славу, могущество и, кроме того, благоденствие, свободу и равенство“.

Социализм говорит ему, наоборот, устами Интернационала:

„Что экономическое порабощение рабочего владельцем сырья и орудий производства есть источник рабства во всех его видах: социального, умственного и политического;—и

„Что поэтому экономическое освобождение рабочих классов есть великая цель, которой политическое движение должно быть подчинено, как простое средство“.

Такова в своей простоте основная мысль Международного Товарищества Рабочих.

Понятно, что Мадзини должен был его проклинать; и это второе преступление, в котором мы его упрекаем, признавая, впрочем, что в своем проклятии он повиновался своему внутреннему сознанию пророка и жреца.

Но отдавая справедливость его бесспорной искренности, мы должны отметить, что присовокупляя свои оскорбительные нападки к ругательствам и поношениям всех реакционеров Европы против наших несчастных братьев геройских защитников и мучеников Парижской Коммуны и свои проклятия к проклятиям Национального Собрания и папы против законных требований и международной организации рабочих всего мира, Мадзини окончательно порвал с революцией и занял место в международной реакции.

В следующих статьях, рассматривая одно за другим все его обвинения против нашего великого Товарищества Рабочих, я постараюсь показать всю нищету религиозных и политических доктрин пророка.

Письмо Бакунина Секции Женевского Алльянса.

Письмо Бакунина Секции Женевского Алльянса.

6-го Августа 1871 г. Локарно.

Друзьям Секции Женевского Алльянса.

Друзья и братья!

Наш друг Джемс пишет мне, что он послал вам письмо Робена (письмо, которое я прошу переслать мне как можно скорее, о чем, я полагаю, он писал вам), который извещает его, что ужасная гроза, давно подготовляемая нашими гнусными женевскими врагами, совместно с авторитарными коммунистами Германии, собирается разразиться не только над Алльянсом, но и над всей Юрской Федерацией, и что дело идет ни больше ни меньше, как об исключении этой Федерации, единственной представительницы духа Интернационала, из международного союза рабочих.

Совершенно справедливо встревоженный этим сообщением, друг Джемс, который одновременно с письмом послал вам акт Генерального Совета, признающий законность существования нашей Секции, дал вам совет воспользоваться этим новым заявлением Генерального Совета, чтобы произвести, как он выражается, ловкий маневр, который на мой взгляд был бы бы лишь проявлением слабости. Он советует вам добровольно распустить себя и потребовать за это великодушное самоубийство принятия в центральную секцию.

Он, вероятно, воображает, что весь спор между вами и вашими женевскими врагами идет из за организационного вопроса, тогда как на самом деле все принципы и все организации служат для них лишь предлогом для того чтобы

скрыть свою невероятную ненависть, честолюбие, свои личные интересы и тщеславие. Ваше заявление Федеральному комитету о роспуске вашей секции, разумеется, доставило бы им большое удовольствие и было бы принято ими, как публичное признание с вашей стороны своей мнимой ошибки и как порицание нашему принципу[1], и на ваше заявление о желании войти в центральную Секцию неминуемо последовал бы, клянусь вам своей головой, следующий ответ: „Мы соглашаемся великодушно принять в нашу паству всех наших заблудших и раскаявшихся братьев из Алльянса, за исключением Перрона, Бакунина и Сутерланда, которые были исключены из центральной Секции за различные проступки правильно установленным судом“. В случае нужды, чего я не думаю, они могли бы согласиться даровать нам амнистию,— они не сделают это, я в этом уверен, они слишком нас ненавидят для этого и слишком боятся нас,— но, предположим даже что они даруют нам амнистию, что касается меня, то я заявляю вам, что я не приму ее—их интриги и клеветы, направленные против нас, этот гнусный, смешной суд и вынесенный приговор о нашем исключении, это подлость, и я никогда не соглашусь поставить себя в положение получающего прощение, когда, наоборот, должен прощать я.

Я не согласен, что я должен принести жертву ради мира, ради блага Интернационала. Никогда не может полу-

---

[1]) Я держался, напротив той точки зрения, что Секция Алльянса могла добровольно распустить себя, далеко не выражая этим „признания“ или „порицания“, и что никто не усмотрел бы в этом поражения или отступления, так как Генеральный Совет был принужден публично признать правильность положения этой Секции. Порицание было Марксу, Энгельсу, и их агентам, которые осмелились утверждать в марте 1871 г., что никогда Секция Алльянса не была принята Генеральным Советом; и как скоро это порицание было бы высказано и должным образом отмечено, Секции Алльянса оставалось бы только исчезнуть, ее роль в Женеве была давно уже кончена. Мое мнение о бесполезности существования Секции Алльянса было хорошо известно Бакунину, Перрону и Жуковскому. В письме к этому последнему от 4 июня 1870 г. я писал: „Нас спрашивают со всех сторон: Что же делает Жуковский, Перрон, Бросс?! Они не подают признака жизни; об Алльянсе нет больше ни слуху ни духу (тем лучше!)“. Это вырвавшееся у меня тем лучше, вероятно, повторяли большинство членов Юрской Федерации, когда они узнали в августе 1871 г., что Секция Алльянса, удовлетворившись тем, что Маркс „был уличен во лжи и что его поступок был достоверно установлен“ (Робен), удалилось с поля битвы и что о ней больше ничего не услышат.

Дж. Гилльом.

читься блага из подлости. Мы не имеем права унижаться перед ними, потому что, унижаясь, мы унижаем наш принцип и, спасая внешность, ложь Интернационала, мы пожертвовали бы его истиной, его действительностью.

Я думаю, вообще, что не политикою трусливых уступок и христианского унижения, а только твердо отстаивая свое право, мы можем победить наших врагов для блага Интернационала. Наше право достаточно ясно. Мы терпели больше года всевозможные нападки, клеветы, интриги, не защищаясь и даже не отвечая на них. Наше молчание было большой ошибкой, роспуск нашей Секции был бы постыдным самоубийством.

Вот план, который я предлагаю вам в противовес плану Гильома:

1. Пошлем оправдательную записку в федеральный комитет Сэнт-Имье, единственный, который мы можем признать.[1]—я уже послал первую часть проекта записки Джемсу, на днях я пошлю ему конец; она очень длинная, но содержит в себе все элементы нашей защиты, и кому нибудь, Жуку, Перрону или Джемсу, легко будет сделать из нее очень короткую записку;—и, установив фактами справедливость нашего дела, наше право, заявите, если вы найдете это нужным и решите это единогласно (хотя, право, я не вижу в этом никакой необходимости), заявите, что для блага Интернационала (что было бы всетаки неясно выраженным признанием, что вы были его злом) вы хотите распустить секцию, но не раньше, чем будут признаны, на с'езде ли или на лондонской конференции, ваше право, несправедливость нападок, направленных против вас, и благородное величие вашего решения добровольно распустить себя.

2. Может ли и должна ли Юрская Федерация принести такую же жертву? Должна ли она также распустить себя, чтобы подчиниться деспотизму Женевского Федерального Комитета, склонить свое знамя перед Утиным, Перре, Бекером и компания? Мне кажется, что поставить этот вопрос, значит, решить его. Это все равно, что спросить: Нужно ли, под предлогом создать внешнее единство в Интернационале романской Швейцарии, пожертвовать его духом и убить единственное тело, построенное сообразно его духу?

[1]) Федеральный комитет юрских секций, находившийся в Шо-де-Фоне в первый год, был перенесен в Сэнт-Имье в мае 1871 г.

Я повторю вам то, что я писал Гильому. Подобная жертва была бы лишней, совершенно ненужной подлостью.

Наконец, дорогие друзья, неужели вы действительно думаете, что Интернационал в Европе опустился так низко, что в нем нельзя больше жить, дышать и действовать как только благодаря целому ряду унизительных, но дипломатических поступков, подлости, интриг? Если бы было так, то Интернационал не стоил бы больше ни копейки, нужно было бы его распустить, как учреждение буржуазное или пропитанное буржуазным духом. Но не будем наносить ему такого оскорбления. Не он сделался плохим, а мы стали трусливыми и слабыми. Запершись в сознании своего права, мы молчали, как осторожные мученики, тогда как надо было вывести на свежую воду наших клеветников и ответить им как следует на все их нападки.*) Мы не сделали этого, потому что внутри нас не было единства, и в критический момент каждый как бы хотел выпутаться из неприятного дела и удалиться в свой шатер, как Ахиллес. Я не хочу никого задеть в данном случае, я только описываю, как обстояло дело. И враги прекрасно воспользовались нашими раздорами и нашим молчанием. То же самое было и с Юрской Федерацией, не потому чтобы в ней были раздоры,— к счастью она была и остается дружной и спаянной, как одна семья,—но потому что она имела несчастье избрать политику Господа Нашего Иисуса Христа, политику терпения, добровольного унижения и прощения обид. И что же, тронуло это наших врагов? Нисколько. Они только воспользовались этим, чтобы еще больше оклеветать нас и облить грязью. Это доказывает, что надо покончить с христианской политикой, с политикой кретинов! Что же надо делать? Одно только: возобновить открыто нашу борьбу. Не бойтесь убить этим Интернационал. Если что нибудь может его убить, так это именно дипломатия и интриги, это закулисная борьба, которая составляет теперь всю тактику наших врагов, не только женевских, но и лондонских также. Открытая борьба вернет Интернационалу жизнь и силу, тем более что открытая борьба не может быть борьбой личностей, она необходимо станет великой борьбой двух принципов: принципа

---

*) Бакунин говорит здесь лишь о том, что произошло в Женеве, о странном поведении членов Альянса, Броссэ, Перрона и Жуковского, которые упорно молчали после раскола 1870 г.

Дж. Гильом.

авторитарного коммунизма и принципа революционного социализма.

Я предлагаю, стало быть, чтобы федеральный комитет в Сэнт-Имье, получив вашу Записку, составил в свою очередь тоже записку, в которой он, рассказав все факты, происшедшие на с'езде в Шо-де-Фоне и после него, докажет победоносно право Юрской Федерации.

а) Записку эту нужно адресовать в Лондон и послать копии в Бельгию, Италию, Испанию, Францию,—или, скорее, французской эмиграции,– и также в Германию;

б) Федеральный Комитет в Сэнт-Имье должен обратиться к бельгийскому Интернационалу и просить его взять на себя роль арбитра в этом споре;

в) Наконец, так как в Лондоне исподтишка собирается конференция, нечто в роде анонимного с'езда, и в миниатюре, необходимо чтобы Юрская Федерация непременно послала туда своего делегата, и этим делегатом, по моему, должен быть никто иной, как Джемс Гильом.[1]) Сколько это может стоить? Четыреста франков? Я постараюсь достать, по крайней мере, двести франков. Я уже написал об этом нашим итальянским и русским друзьям. Вы тоже сможете собрать сколько нибудь. Но мне кажется необходимым, чтобы Гильом поехал. Он поедет через Брюссель, где он предварительно повидается с бельгийцами. Я убежден, дорогие друзья, что если Гильом явится в Лондоне, он одержит блестящую победу в пользу нашей Юрской организации, также как и Альянса. Наши враги будут буквально раздавлены, ибо справедливость на нашей стороне, и их интриги зловредны только во тьме, а не при большом свете.

Наконец, еще одно последнее слово: перестанем стыдиться самих себя, своего права, своего принципа; не будем иметь вид, что мы просим извинить нас за то, что мы существуем: не будем больше делать подлости под пред-

---

[1]) Я категорически отказался принять на себя подобную миссию. Я предчувствовал, что в Лондоне я оказался бы перед лицом предубежденного большинства, твердо решившего оставаться глухим ко всякой защите: мое положение, как представителя Секций Юрской Федерации, было бы положением обвиняемого, явившегося перед судьями, которых он считает компетентными и принимает их приговор. Так как мы заранее были осуждены, то не лучше ли было, чтобы не могли воспользоваться тем обстоятельством, что адвокат нашего дела выступил с подобием напрасной защиты, а чтобы, наоборот, было бы хорошо известно, что нас осудили, не выслушав?

Дж. Гильом.

логом спасения единства в Интернационале; не будем убивать душу этого последнего под предлогом поддержать жизнь его тела. Не будем искать своей силы в ловкости и дипломатии, где мы всегда будем наиболее слабыми, потому что мы не мошенники. Будем бороться и победим во имя нашего принципа.

Ваш друг и брат

М. Бакунин.

Доклад об Алльянсе.

Доклад об Алльянсе.

. . . .

Первой была следующая причина:*) наиболее влиятельные члены, вожаки или вожди Секций фабричных рабочих, относились к нашей пропаганде и нашей новой организации, одни равнодушно, другие даже с некоторой благосклонностью, пока они смотрели на Алльянс как на некоторого рода академию, в которой должны были дебатироваться чисто теоретические вопросы. Но когда они увидели, что группа Алльянса, не намереваясь терять попустому время на теоретические разговоры, поставила себе главной целью изучение принципов и организации Интернационала, в котором, по ее мнению, заключалась вся практика социализма; и в особенности, когда они увидели, что Алльянс, оказывая совершенно исключительное влияние на строительных рабочих, старался дать им идею иной организации, чем они имели до сего времени, организации, всецело основанной на принципах Интернационала, проникнутой всецело его духом и неизбежно сделавшей бы их более проницательными и независимыми, во-первых по отношению к своим комитетам, которые все больше и больше начинали проявлять чрезмерную властность, затем по отношению к главарям фабрики, которые, не довольствуясь образованием внутри этой последней некоторого рода правительственной партии, упорно старались распространить свое господство на секции строительных рабочих, посредством комитетов этих секций, тогда они начали подозрительно относиться к столь законной и к тому же совершенно открытой деятельности группы Алльянса.

*) Речь идет как будет видно ниже, о причинах вызвавших враждебность Секций Фабрики и главарей комитетов по отношению к Секции Алльянса.

Вся деятельность Альянса сводилась к следующему: он давал широким массам строительных рабочих способ определить и понять свои инстинкты, оформить их и выразить словами. В клубе* и на общих собраниях Интернационала это стало невозможным, благодаря организованному преобладанию на всех этих собраниях рабочих Фабрики. Клуб мало по малу превратился в исключительно женевское учреждение, управляемое и администрируемое только женевцами, и на строительных рабочих, большей частью иностранцев, смотрели в нем, как на иностранцев, и они сами стали смотреть на себя, как на таковых. Часто, слишком часто, женевские граждане из Фабричной Секции говорили им: „Мы здесь у себя дома, и вы только наши гости". Женевский дух, дух буржуазного радикализма чрезвычайно узкий, как мы знаем, окончательно восторжествовал в нем; не было больше места ни для идеи Интернационала ни для международного братства. Отсюда произошло то, что, мало по малу, строительные рабочие, которым надоело это подчиненное положение, перестали совсем ходить в Клуб, который теперь стал, действительно, исключительно женевским учреждением.

На общих собраниях глубокое и серьезное обсуждение принципов Интернационала было невозможно. Прежде всего, в это время эти собрания были редки и созывались только по поводу специальных вопросов, главным образом когда нужно было обсудить вопрос о стачке. Обе тенденции, которые разделяли тогда на два лагеря Женевский Интернационал, буржуазный социализм и радикализм, представляемые Фабрикой, и революционный социализм, поддерживаемый верным инстинктом строительных рабочих, разумеется, были представлены и боролись между собой на каждом общем собрании, и, нужно сказать, что чаще всего этот последний одерживал верх, благодаря большинству строительных рабочих, которых поддерживало небольшое меньшинство фабричных рабочих. Поэтому главари Фабрики всегда сильно недолюбливали общие собрания, которые иногда в один или два часа расстраивали их замыслы, подготовляемые ими целыми неделями при помощи различных интриг. Они старались, стало быть, всегда заменить общие, народные,

*) Международный Клуб, общий локал для всех Секций Интернационала в Женеве.

открытые собрания тайными собраниями комитетов, которые им удалось совершенно подчинить себе.

На общих собраниях рабочая масса молчала. На трибуне появлялись всегда одни и те же ораторы обеих противоположных партий и повторяли более или менее стереотипные речи. Слегка задевались все вопросы, выдвигалась более или менее удачно их сантиментальная, драматическая сторона, но глубокий действительный смысл их оставался всегда нетронутым. Это был фейерверк, который вспыхивал иногда, но никогда никого не согревал, никому не светил, всегда погружая, наоборот, народ в еще более глубокую тьму.

Оставались заседания Центральной Секции, огромной секции в начале, в которой строительные рабочие, бывшие первыми основателями этой секции, были в одинаковом количестве с другими, если не в большинстве, и которая была чем то вроде народного собрания, организованного в секцию пропаганды. Эта секция в самом деле должна бы была стать тем, чем предполагала сделаться секция Алльянса, и если бы она действительно выполнила свою миссию, секция Алльянса не имела бы, разумеется, никакого права на существование.

Вы знаете, что Центральная Секция была первой и в начале единственной секцией, основоположеницей Интернационала в Женеве. Большую часть ее составляли строительные рабочие, без различия профессий; очень небольшое число фабричных рабочих примкнули к ней индивидуально; так что в продолжение очень долгого времени в ней господствовал инстинктивный социализм строительных рабочих. В ней замечалось большое единение; братство еще не сделалось в ней пустым словом; оно было действительностью. Чуждая политических расчетов и борьбы женевских граждан—радикалов и консерваторов, секция эта была воодушевлена действительно международным духом.

После крупной стачки строительных рабочих весной 1868 г., кончившейся блестящей победой, благодаря великодушной и энергичной поддержке фабричных рабочих, женевских граждан, эти последние массой вошли в Центральную Секцию и внесли туда, разумеется свой женевский буржуазно-радикальный политический дух.

Женевцы были сначала в меньшинстве в Центральной Секции; но они были организованы, тогда как строительные

рабочие были совершенно неорганизованы. Кроме того, женевские рабочие привыкли выступать публично, имели опыт политической борьбы, привычка и опыт, которым строительные рабочие могли противоставить только глубокую истину своих социалистических и революционных инстинктов. Последние, вдобавок, парализованы были в борьбе признательностью, по отношению к рабочим гражданам женевской фабрики за решительную помощь, какую те оказали им во время их стачки.

Словом, на заседаниях Центральной Секции, которые устраивались, впрочем, один только раз в месяц, обе партии, как и на общих собраниях, уравновешивали друг друга в продолжение некоторого времени. Потом, по мере того как образовывались цеховые секции, строительные рабочие, слишком бедные, чтобы платить два взноса, в свою цеховую секцию и в Центральную Секцию, мало по малу вышли из последней, и Центральная Секция стремилась явно стать тем, чем она стала вполне в настоящий момент: Секцией об'единенных цехов фабричных рабочих, секцией, состоящей исключительно из женевских граждан. Это слишком хорошо видно по тому духу, который господствует в ней в настоящий момент.

Для серьезной пропаганды принципов Интернационала и взаимного ознакомления и столь необходимой группировки характеров и серьезных и честных желаний, строительным рабочим оставались только их цеховые секции. Но эти последние тоже собирались только один раз в месяц, и собирались они всегда только для ежемесячных денежных отчетов или для избирания комитетов. На этих собраниях не может быть места для обсуждения принципов: и, что еще хуже, мало по малу цеховые секции привыкли ограничивать свою роль и деятельность простым контролем расходов, оставляя все остальное на попечение комитетов, которые превратились в некоторого рода постоянные и всемогущие учреждения; естественным результатом этого было прекращение всякого значения секций в пользу этих комитетов.

Комитеты, состоящие почти всегда из одних и тех же лиц, стали смотреть на себя, как на коллективные диктатуры Интернационала, решая все вопросы, за исключением денежных, не давая даже себе труда опрашивать свои секции; и так как заседания их происходили при закрытых дверях, то, об'единившись между собою под доминирующим влиянием комитетов Фабрики, они образовали невидимое,

тайное, почти безответственное правительство всего женевского Интернационала.

Деятельность этого правительства, которое руководилось женевскими интересами, могла итти лишь вразрез с самой целью и со всеми принципами Интернационала.

Группа Алльянса намеревалась бороться с этим положением вещей, которое должно было привести к тому,—мы это слишком хорошо видим теперь,—чтобы сделать из Интернационала политическое орудие буржуазного радикализма в Женеве. Для достижения этой цели группа Алльянса никогда не прибегала к интригам, в чем женевские интриганы осмелились ее потом обвинять. Вся ее интрига состояла в самой большой известности и в публичном обсуждении принципов Интернационала. Собираясь раз в неделю, группа приглашала всех на эти дискуссии, стараясь заставить говорить именно тех, которые на общих собраниях и на заседаниях Центральной Секции всегда молчали. Было взято за правило, что на этих собраниях не будут произноситься речи, но будут происходить собеседования.

Все, членны группы и не члены, могли брать слово. Эти уравнительные обычаи не нравились большинству рабочих Фабрики, так что, посещая вначале эти собрания в большом числе, они мало по малу перестали на них ходить; таким образом, фактически, секция Алльянса сделалась секцией строительных рабочих всех цехов. Она дала им средство, разумеется к великому неудовольствию Фабрики, формулировать свою мысль и сказать свое слово. Она сделала больше того, она дала им средство узнать друг друга, так что в короткий промежуток времени секция Алльянса представляла небольшую группу убежденных и действительно об'единенных между собою рабочих.

Вторая причина сначала недовольства, а потом ярко выраженной антипатии главарей Фабрики по отношению к Секции Алльянса была следующая: Алльянс в своей программе, а также и во всех дальнейших дополнениях к этой программе решительно высказывался против неестественного союза революционного социализма пролетариата с буржуазным радикализмом. Основным принципом его было уничтожение государства со всеми его последствиями, политическими и юридическими. Это совершенно не входило в расчеты господ буржуа—радикалов Женевы, которые, потерпевши фиаско на выборах в ноябре 1868 г., сейчас же задумали сделать из Интернационала орудие своей борьбы и

победы; это не входило также в расчеты некоторых главарей женевской Фабрики, которые стремились ни больше ни меньше, как попасть в правительство при помощи Интернационала.

Таковы были две главные причины ненависти главарей женевской Фабрики к Секции Альянса. Но обе эти причины, также как и вызванная ими ненависть, проявились в полной силе только позднее, начиная с июня 1869 г.

Возвращаясь к тому, что было сказано мною выше, я перечислю вкратце те услуги, какие группа Альянса оказала делу социализма в продолжении зимы 1868—1869 г., как в Женеве, так и в других странах.

Начнем с других стран. Это члены Альянса основали первые секции Интернационала в двух больших странах, в которых это Сообщество было совершенно неизвестно до того времени: Гамбуцци—в Неаполе и его окрестностях, Фринна — в Сицилии, Фанелли--в Мадриде и Барцелоне. Программа Альянса была принята в Лионе, Марселе, Париже. И заметьте, все эти товарищи, далеко не желая организовать секции, стоящие обособленно, враждебные или даже только чуждые Интернационалу, строго повиновались статутам Интернационала и, в интересах организации рабочих сил, они всюду наказывали, больше чем это требовали эти статуты, самое строгое подчинение новых секций центральному руководству Генерального Совета, заседающего в Лондоне.

Под прямым влиянием принципов Альянса, в Женеве было сказано первое откровенно социалистическое революционное слово. Я говорю об Адресе Женевского Центрального Комитета рабочим Испании, Адресе, редактированном Перроном и подписанном Броссэ, председателем, и Перрэ, секретарем Центрального Комитета.

Под влиянием тех же принципов и тех же тенденций, несмотря на упорные интриги главарей женевской Фабрики, Броссэ, трибун строительных рабочих и ненавистный человек для Фабрики, был избран председателем Федерального Комитета, учрежденного на романском с‘езде в Женеве в январе 1869 г., и большинство этого комитета состояло из рабочих не женевцев.

Под тем же влиянием было освящено название, установлена и принята программа новой газеты Egalité,*) пер-

---

*) *Равенство. Перев.*

вого органа революционного социализма в романской Швейцарии, и позднее изменилась также программа газеты Progrès, издававшейся в Локле.

Словом, можно сказать без всякого преувеличения, что Алльянс, именно своей непосредственной деятельностью, выставил впервые откровенно революционно-социалистическую программу и вырыл пропасть между пролетариатом и буржуазией в Женеве, пропасть, которую никогда не удастся больше заполнить всем интриганам Интернационала.

Я должен сказать теперь несколько слов об оффициальном существовании Алльянса.

Эта группа, которая уже в ноябре 1868 г. насчитывала в свой среде гораздо больше ста членов, не могла окончательно сконструироваться, до принятия ее, как ветви или как секции Интернационала, Генеральным Советом этого Сообщества. Об этом принятии должно было, разумеется, хлопотать Центральное Бюро Алльянса*). Гражданину Ж. Филипу Беккеру, члену этого Бюро и личному и более или менее влиятельному другу членов Генерального Совета, было поручено единогласно другими членами Бюро (Броссэ, Бакуниным, Перроном, Гета, Дювалем и секретарем Загорским) написать в Лондон. Он принял на себя эту миссию, уверенный, говорил он, в успехе и прибавив, что Генеральный Совет, **который не имел права нам отказать**, несомненно поймет, после раз'яснений, которые он собирался ему дать, огромную пользу Алльянса.

Мы положились, стало быть, все вполне на обещание и уверение Ф. Беккера, доверяя слову человека, которого мы все считали одним из ветеранов социализма. Мы знали его тогда очень мало; я совсем его не знал. Опыт не показал нам еще тогда, что этот человек, прежде всего дипломат, соединял в себе огромную силу слова с не менее большим непостоянством характера: что он всегда остается очень доволен, когда его друзья компрометируют себя, но

---

*) Временное „Центральное Бюро" Алльянса Социальной Демократии должно было служит связью между группами этой международной организации и вести переписку с национальными бюро, которые должны были сконструироваться в различных странах. Члены основатели Алльянса решили, что Центральное Бюро будет находиться в Женеве и состоять из семи членов, назначенных ими,—читатель увидит в тексте их имена. Эти семь членов все были в то же время членами Интернационала и делились по национальностям таким образом: три француза, один женевец, один немец, один поляк и один русский. *Дж. Г.*

очень остерегается компрометировать себя самого и что, толкая других вперед, он всегда оставляет для себя возможность отступления. Факт тот, что вопреки всем своим обещаниям, он ничего не написал в Лондон или написал совсем не то, что говорил нам.*)

В то время как имели место эти переговоры с Лондоном, или, полагалось, что имели место,—так как никто из нас никогда не читал переписки Беккера,**)—другие члены этой группы, а именно Ш. Перрон и наш теперешний большой враг Анри Перре, взялись потребовать от женевского Центрального Комитета принять нас, как секцию, в женевскую федерацию. Не имея сейчас под рукой всех своих бумаг, я не могу сказать в точности, в каком месяце это первое требование было представлено Центральному Комитету, в ноябре или в декабре. Когда оно было представлено, Центральный Комитет не был в достаточном составе, по крайней мере две трети его членов отсутствовали. Не было ничего решено, или, скорее, решено было отложить это решение, подождав с'езда романских секций, который должен был состояться в Женеве в первых числах января для окончательного учреждения Федерации Романских Секций.

*) Бакунин, вероятно, ошибается в своем предположении, что Беккер ничего не написал в Лондон или написал совсем не то, что говорил Центральному Бюро Альянса. Повидимому, Беккер в первое время действительно „увлекся" Альянсом; Маркс, в своем конфиденциальном *Mittheilung*, адресованном им в марте 1870 г. своим немецким друзьям (и которого Бакунин не знал), упрекает его в этом и говорит о нем, что он вначале был одурачен Бакуниным; он пишет говоря о первых шагах Альянса в Женеве: „Был выдвинут Ж.-Ф Беккер, *который, благодаря своему пропагандистскому рвению, иногда теряет голову*". *Дж. Г.*

**) Бакунин сам также вступил в переговоры с Лондоном. Маркс, познакомившись с программой Альянса, написал по этому поводу, во второй половине декабря, молодому русскому социалисту Александру Серно-Соловьевичу, в Женеву, указывая на неправильное выражение *уравнение классов*, которое употреблялось в программе. Серно сообщил письмо Маркса Бакунину, и тот сейчас же написал Марксу следующее письмо (по французски) которое было напечатано в *Neue Zeit* от 6 октября 1900 г.

„Женева, 22 декабря 1868 г.

„Мой старый друг Серно сообщил мне ту часть твоего письма, которая касается меня. Ты спрашиваешь его, продолжаю ли я быть твоим другом. Больше, чем когда либо, дорогой Маркс, потому что лучше, чем когда либо, я понимаю теперь, насколько ты был прав, следуя и приглашая нас всех следовать по великому пути экономической революции и порицая тех из нас, которые уносились в область националь-

И действительно, женевская группа Алльянса возобновила в январе свое требование и ждала решения Центрального комитета, когда Центральное Бюро Алльянса получило, сначала от своих итальянских друзей, а затем непосредственно следующий акт, *)содержащий резолюции Лондонского Генерального Совета, относительно Алльянса (оправдательный Документ № 5):

ных или исключительно политических предприятий. Я делаю теперь то, что ты начал делать больше двадцати лет тому назад. После моего торжественного и публичного прощанья с буржуа Бернского с'езда я не знаю больше другого общества, другой среды, кроме рабочих. Мое общество теперь Интернационал, одним из главных основателей которого являешься ты. Ты видишь, дорогой друг, что я твой ученик, и я горжусь этим. Вот все, что необходимо было сказать, чтобы об'яснить тебе *мои личные отношения и чувства*".

Бакунин об'ясняется затем по поводу выражения *уравнение классов и личностей*: он сообщает, что выслал речи, произнесенные им в Берне, и говорит о своем расхождении с Герценом, которое началось с 1863 г., потом он продолжает:

„Посылаю тебе также программу Алльянса, который мы основали вместе с Беккером и многими итальянскими, польскими и французскими друзьями. На этот счет у нас будет многое, что сказать друг другу. Скоро я вышлю тебе копию большого письма, которое я пишу об этом другу Цезарю Де Папу...

„Кланяйся от меня Энгельсу, если он не умер во второй раз.— ты знаешь, что его уже раз похоронили. Прошу тебя дать ему один экземпляр моих речей, также Эккариусу и Юнгу

„Преданный тебе

„*Бакунин*.

„Прошу тебя передать привет г-же Маркс."

*) Этого акта нет в рукописи Бакунина, вместо него в скобках написано, *оправдательный Документ № 5*. (обозначение „№ 5" показывает нам, что в первых утерянных страницах рукописи были уже ссылки на четыре других оправдательных документа). Документ этот был напечатан в *Мемуаре Юрской Федерации*, а также приведен Марксом в брошюре: *Так называемый раскол в Интернационале, циркуляр Генерального Совета* (5 го марта 1872 г.). Мы приводим его в тексте.—Эти резолюции были „конфиденциально сообщены Центральным Советам (Интернационала) различных стран" (письмо Маркса Герману Юнгу от 28 декабря 1868 г.) Таким образом одна копия этих резолюций была послана в Неаполь Карлу Гамбуцци, 20 января 1869 г., Евгением Дюпоном, членом Лондонского Генерального Совета, который на брюссельском с'езде 1868г. был представителем от рабочих организаций Неаполя. Эта копия и была сообщена из Неаполя Бакунину и была получена им раньше, чем решение Генерального Совета было оффициально об'явлено Центральному Бюро Алльянса; она была найдена Максом Нетлау и напечатана им в Биографии Бакунина *Дж. Г.*

„Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих Международному Алльянсу Социальной Демократии.

„Около месяца тому назад несколько граждан составили в Женеве инициативный Комитет нового Международнаго Общества, называемого Международным Алльянсом Социальной Демократии, избрав себе специальной миссией изучение политических и философских вопросов на основе великого принципа равенства“ и т. д.

„Напечатанные программы и устав этого инициативного Комитета были сообщены Генеральному Совету Международного Товарищества Рабочих только 15 декабря 1868 г. По этим документам названный Алльянс „всецело сливается с Интернационалом“, в то время как он целиком основан вне этого сообщества. Рядом с Генеральным Советом Интернационала, избранным целым рядом следовавших один за другим с'ездами, в Женеве, Лозанне и Брюсселе, будет, по уставу инициативного Комитета, другой Генеральный Совет в Женеве, который сам назначил себя. Рядом с местными группами Интернационала будут местные группы Алльянса, которые, через посредство своих национальных бюро, функционирующих вне национальных бюро Интернационала, „потребуют от Центрального Бюро Алльянса принятия их в Интернационал“. Центральный Комитет Алльянса присваивает, таким образом, себе право принятия в Интернацинал. Наконец, общие с'езды Международнаго Товарищества Рабочих будут сопровождаться общими с'ездами Алльянса, ибо, говорится в уставе инициативного Комитета, на ежегодных с'ездах рабочих делегация Международного Алльянса Социальной Демократии, как ветвь Международного Товарищества Рабочих, „будет иметь свои открытые заседания в отдельном помещении.“

„Принимая во внимание:

„Что присутствие второго Международного органа, функционирующего внутри и вне Международного Товарищества Рабочих, будет самым верным способом дезорганизовать его;

„Что всякая другая группа лиц, пребывающих в какой нибудь местности, будет иметь право подражать женевской инициативной группе и, под более или менее благовидным предлогом, вводить в Международное Товарищество

Рабочих другие Международные Сообщества с другими специальными миссиями;

„Что, таким образом, Международное Товарищество Рабочих сделается скоро игрушкой в руках интриганов всех национальностей и всяких партий;

„Что к тому же статуты Международного Товарищества Рабочих признают только местные отделения и национальные (см. параграфы I-й и VI статутов);

„Что секциям Международного Товарищества Рабочих запрещено вырабатывать себе статуты и административные правила, противные общим статутам и административным правилам Международного Товарищества Рабочих (см. параграф 12-й административных правил);

„Что статуты и административные правила Международного Товарищества Рабочих могут быть пересмотрены только общим с'ездом, на котором две трети присутствующих делегатов будут голосовать за этот пересмотр (см. параграф 13-й административных правил);

„Что вопрос был предрешен резолюциями против Лиги Мира, принятыми единогласно на общем с'езде в Брюсселе*);

„Что в этих резолюциях с'езд заявляет, что Лига Мира не имела никакого права на существование, так как по последним декларациям ее цель и принципы ее были тождественны с целью и принципами Международнаго Товарищества Рабочих;

„Что некоторые члены инициативной группы, в качестве делегатов на брюссельском с'езде, голосовали за эти резолюции**);

---

*) Эти резолюции, впрочем вполне логичные, не были приняты *единогласно*: три делегата, Цезарь Де Пап, Шарль Перрон и Адольф Каталан, голосовали против; и другие делегаты, отсутствовавшие в момент голосования, далеко не думали, в тот момент, что существование Лиги Мира было лишне. Кроме того, члены второй парижской комиссии Интернационала, содержавшиеся в тюрьме, приговоренные на три месяца, сочли нужным протестовать против „предложения распустить себя, с которым обратились к Лиге Мира члены Брюссельского с'езда“, и послали членам Бернского с'езда адрес с протестом. *Дж. Г.*

**) Насколько я знаю, только один из тех, кто фигурирует среди членов „инициативной группы“, голосовал за резолюцию брюссельского с'езда: это был Ж.—Ф. Беккер. Но после того, как меньшинство делегатов бернскаго с'езда выступило из Лиги чтобы основать Альянс, Беккер нашел, что эта новая организация, примыкающая к Интернационалу, имела право на существование. *Дж. Г.*

„Генеральный Совет Международнаго Товарищества Рабочих на своем заседании 22 декабря 1868 г. единогласно решил:

„1. Все статьи устава Международного Алльянса Социальной Демократии, трактующие об его отношениях к Международному Товариществу Рабочих, об'явлены недействительными;

2. Международный Алльянс Социальной Демократии не принят, как ветвь Международного Товарищества Рабочих.

„Генеральный секретарь *В. Шоу*.
Председатель заседания *Г. Оджер*.
„Лондон, 22 декабря 1868 г.“

Познакомившись с этим, актом, мы были, разумеется, вынуждены взять обратно наше требование от Женевского Центрального Комитета. Исключенные Генеральным Советом, мы должны были сначала постараться заставить его принять нас.

Когда был прочтен этот акт в Бюро Алльянса, никто так горячо не протестовал, как пылкий старик Ж.—Филипп Беккер. Он об'явил нам прежде всего, что эти резолюции были совершенно незаконны, противоречили духу и букве статутов Интернационала, прибавив, что мы имели право и обязаны были не обращать внимания на этот акт, и обзывал Генеральный Совет дураками, которые, не умея сами ничего делать, хотели только помешать другим делать что нибудь.

Два члена, которые упорно поддерживали против него необходимость сговориться с Генеральным Советом, были Перрон и Бакунин. Оба они признавали, что протест Генерального Совета против устава Алльянса был совершенно правилен, так как по этому уставу Алльянс должен был образовать внутри Международного Товарищества Рабочих новое международное сообщество, независимое от первого.**) Заметьте, что в этих резолюциях, единственно какие Генеральный Совет до сих пор признал и огласил против Алльянса, он нападает только против устава. В них нет речи о программе, которая, впрочем, была полностью воспроизведена позднее в статутах Секции Алльянса, единогласно одобренными Генеральным Советом.

---

*) Уже в то время, когда члены меньшинства бернского с'езда выступили из Лиги Мира, Бакунин выразил то же самое мнение: „Фран-

После долгих дебатов единогласно было решено, что от имени всех Перрон войдет в сношения с лондонским Генеральным Советом.

После этого решения Ш. Перрон написал, не то гражданину Эккариусу, не то гражданину Юнгу, письмо, в котором, изложив откровенно положение и истинную цель Альянса и рассказав что члены Альянса уже сделали для рабочего дела в Италии, Франции, Испании, также как и в Женеве, он просил сделать, от имени центрального Бюро, лондонскому Генеральному Совету следующее предложение: Альянс распустит себя, как международную организацию, его центральное Бюро, являющееся представителем этой международной, связи прекратит свое существование: захочет ли тогда Генеральный Совет признать секции, основанные членами Альянса в Швейцарии, Испании, Италии, и Франции, с программой Альянса, как регулярные секции Интернационала, сохраняющие отныне только общую программу, но отказывающиеся от всякой другой солидарности и международной организации, кроме тех, какие они найдут в великом Товариществе Рабочих? на этих условиях Бюро обещало употребить все усилия, чтобы убедить секции Альянса, уже учрежденные в различных странах, отказаться от того, что в их конструкции было противно статутам Интернационала.*)

цузы и итальянцы... хотели, чтобы Альянс организовался совершенно независимо от Международного Товарищества Рабочих, довольствуясь тем, чтобы члены его индивидуально были членами этого Сообщества. Бакунин воспротивился этому по той причине, что эта новая международная организация оказалась бы в некотором роде соперницей, ничуть нежелательной, по отношению к организации рабочих. Эти споры кончились тем, что было решено основать сообщество под названием Международного Альянса Социальной Демократии и об'явить его составной частью Интернационала, программа которого была признана обязательной для каждого члена Альянса" (*Историческое развитие Интернационала*, глава „Международный Союз революционных социалистов.") Так как Генеральный Совет Интернационала тем не менее нашел, что в том виде, в каком он сконструировался, с специальным центральным бюро и особой международной организацией, Альянс не мог входить в Международное Товарищество Рабочих, то нет ничего удивительного, что Бакунин, согласно своему желанию избегать всего, что могло бы дать Альянсу видимость „соперницы, ничуть не желательной, организации рабочих", заявил, что нужно было изменить устав Альянса, согласно замечаниям Генерального Совета. *Дж. Г.*

*) Черновик письма Перрона был найден в Женеве Максом Нетлау, который напечатал его в своей биографии Бакунина. Вот текст письма:

И действительно, не теряя времени. Центральное Бюро написало в этом смысле всем секциям Альянса, советуя им признать справедливость резолюции Генерального Совета.

„Женева, 26 февраля 1869 г.

„Центральное Бюро Международного Альянса Социальной Демократии Генеральному Совету Международного Товарищества Рабочих.

„Граждане,

„Мы получили в свое время письмо, которое вы послали нам 25 декабря 1868 г.

„Мы не будем разбирать толкование, какое вы сочли нужными дать статутам, толкование, которое,— полагаем, ненамеренно,— ошибочно во многих пунктах. Приступим прямо к делу.

„Мы не ответили вам раньше, потому что мы должны были прежде узнать мнение наших национальных комитетов. Вот теперь наш ответ

„Мы предложим всем нашим секциям распустить нашу организацию только после того как вы нам ответите:

„1) Противоречат ли, *да* или *нет*, принципы, изложенные в прилагаемой программе, принципам, которые могут быть приняты Международным Товариществом Рабочих?

„2) Могут ли, *да* или *нет*, различные группы, которые распространяют эти принципы, присоединиться к Международному Товариществу Рабочих, если, разумеется, эти группы заявят, каждая в отдельности о принятии ими статутов названного Товарищества?

„3) Будут ли, следовательно, *да* или *нет*, группы, образованные Альянсом, признаны, как секции Международного Товарищества Рабочих, в случае, если, посоветовавшись с нашими национальными комитетами и всеми секциями нашего международного Альянса Социальной Демократии, мы распустим его?

„Если на первый вопрос ваш ответ будет *нет*,

„Если на два другие вопроса ваш ответ будет *да*,

„Мы заявляем вам:

„Что во избежание деления рабочих сил, мы сделаем все усилия, чтобы получить согласие заинтересованных на то, чтобы распустить наш Альянс, который, однако, уже принес великолепные плоды в Швейцарии и Франции, в Испании и Италии, где Международное Товарищество Рабочих не могло еще как следует упрочиться и где радикальная программа, как наша, нам кажется более способной объединить вокруг себя широкие рабочие массы. И мы прибавляем, что мы надеемся, что шаги, какие мы примем в этом направлении, достигнут желаемых результатов.

„Но мы должны заявить вам также, что если, против нашего ожидания, вы ответите нам утвердительно на первый вопрос и отрицательно на два другие, мы снимаем с себя ответственность за раскол, который ваша резолюция 22 декабря неизбежно вызовет, и мы оставим существовать наш Международный Альянс Социальной Демократии. Так как мы не можем пожертвовать своей программой, т. е. своими убеждениями, то у нас будет удовлетворение, что мы исполнили свой долг, предложив пожертвовать нашей организацией, чтобы скрепить снова союз рабочих, какие бы воззрения они ни разделяли.

Замечу мимоходом, что это предложение Центрального Бюро встретило сильную оппозицию со стороны женевской группы и главным образом со стороны тех членов ее, которые борятся против нас и клевещут на нас с таким остервененением в настоящий момент: Беккера, Гета, Дюваля, Перре и многих других, лица которых я прекрасно помню, но забыл их имена. Беккер был наиболее непримиримым. Он заявлял несколько раз, что только группа Альянса была истинной представительницей Интернационала в Женеве и что Генеральный Совет, отказав нам, нарушил все свои обязанности, преступил все свои права и доказал только свою неизлечимую тупость. После Беккера, Гета и Дюваль, у которых всегда имеется в запасе маленькая стеротипная речь о революции, были наиболее яркими противниками. Перре проявил себя более осторожным но он разделял их мнение. Наконец, было решено также женевской группой ждать окончательного ответа Генерального Совета.

Я не могу сказать в точности, сколько времени прошло между отправкой письма Перроном и получением ответа из Лондона. В продолжение этого времени Центральное Бюро, продолжая временно свою роль представителя международной связи Альянса, собиралось регулярно раз в неделю у Бакунина. Так как оно было избрано временно на один год членами основателями международного Альянса, не женевской группой, оно не должно было давать никакого отчета этой последней,—и оно сообщало ей из своей переписки с группой Альянса других стран только то, что могло быть предано гласности, не компрометируя никого. Эта осторожность была необходима особенно по отношению к Италии и Франции, где далеко не пользовались свободой и личной безопасностью, к которым привыкли в Женеве.

„Итак, вам, граждане, мы предоставляем, стало быть, *решить вопрос о нашем существовании*, заявив может ли, по вашему мнению, Международное Товарищество Рабочих принять в свою среду группы, которые исповедуют и распространяют идеи, содержащиеся в нашей программе. Ввиду важности дела, мы надеемся, граждане, что вы не замедлите ответить нам и что ответ этот будет продиктован разумом, как наше настоящее письмо.

„Примите, граждане, наш братский привет.

„От имени Центрального Бюро Альянса Социальной Демократии.

„*Генеральный Секретарь*:

„*Ш. Перрон*.

Вероятно, этот полу-секрет и заставил г. г. Дюваля и Гета вообразить, что они были членами тайного общества*) Они ошиблись. Это были осторожные собрания, но не тайные. Мы обязаны были быть осторожными и сдержанными из внимания к людям, которые, ведя революционную пропаганду, рисковали, как в Италии, так и во Франции, быть посаженными в тюрьму; но не было никакой другой организации, кроме организации, установленной статутами Альянса, статутами настолько мало тайными, что мы сами их опубликовали.

Я позволю себе здесь поставить дилемму: или г. г. Гета и Дюваль, которые так сильно оклеветали нас на с'езде в Шо-де Фоне, действительно имели глупость верить, что они состояли членами тайного общества, или же они утверждали это на с'езде только для для того, чтобы причинить нам вред, не веря этому. В этом последнем случае они были клеветниками; а в первом случее кем? изменниками. Ни в какое тайное общество не вступают, не обещав торжественно хранить тайну. А тот, который выдает тайну, которую клялся или давал честное слово хранить, разве не называется изменником?

Мы настолько мало были тайным обществом, что не требовали ни от кого ни религиозной клятвы ни честного слова. Но между всеми нами подразумевалось, что никто не будет разглашать писем из заграницы, которые могут компрометировать наших друзей, ведущих пропаганду в других странах.

На одном из собраний Центрального Бюро у Бакунина обсуждался раз вопрос о допущении женщин в

*) На романском с'езде в Шо-де-Фове 4 апреля 1870 г. Гета выразился следующим образом: „Гета заявляет, что он вышел из Альянса, потому что внутри его существовали тайные общества, члены которых стремятся ни больше ни меньше, как к диктатуре. Он входил сам в эти тайные комитеты, также как и Анри Перре, Дюваль и другие члены федерального комитета; но потом он вышел оттуда и с ним вместе его колеги... Он говорит, что женщины принятые в Альянс, никогда не входили в тайные комитеты, потому что высший комитет не хотел этого и что когда обсуждался этот вопрос, Бакунин с братией употребляли грубые эпитеты, которые он не хочет повторять. Он берет в свидетели своих слов Дюваля." Анри Перре и Дюваль говорили также о тайном комитете: „Анри Перре рассказывает различные подробности о прежнем тайном комитете Альянса . Дюваль говорит, что он продолжает входить в Альянс, он признает, что женщины не принимались в комитеты; но он оспаривает правильность других утверждений Гета, Перре, и т. д." (*Solidarité*, № 1, 11 апреля 1870 г.) *Дж Г.*

Бюро. Это предложение было сделано несколькими друзьями, членами основателями Альянса, очень преданными, но которые, не подозревая этого, делая предложение, действовали, как бессознательное орудие Утинской интриги. Кто знаком с образом действий этого еврейчика, знает, что одним из главных средств его деятельности являются женщины. При помощи женщин он проникает всюду, даже теперь, говорят, в лондонский Генеральный Совет. Посредством женщин он надеялся водрузить свой флажок, свое маленькое интриганское я внутри Альянса.

Это была одной из причин, по которым я решительно воспротивился допущению женщин в наше Бюро. Но я воспротивился этому также из принципа. Я так же, как и всякий другой, сторонник освобождения женщины и ее социального уравнения с мужчиной; но из этого не следует, что нужно совать этот женский вопрос везде, даже там, где его совсем нет. Смешнее всего то, что когда я сообщил об этом предложении Гета, тот закричал, удивленный и возмущенный, что он сейчас же выйдет из Бюро, в которое войдут женщины; и после этого он рассказывал на съезде в Шо-де Фоне, в присутствии Дюваля, который был при нашем разговоре, что мы с Беккером говорили по поводу допущения женщин в Бюро такие неприличные вещи, что его чувство стыдливости было оскорблено.

Но оставим все эти дрязги и вернемся к нашему повествованию.

Досадно, что я не мог еще найти в своих бумагах ответа из Лондона Перрону, так что я не могу точно установить его дату ни с уверенностью сказать, написан ли он был гражданином Эккариусом или гражданином Юнгом. Вероятно, первым: насколько я помню, Перрон обращался к Эккариусу. Вот в общих словах смысл этого ответа:

„Генеральный Совет, познакомившись с письмом Перрона, адресованным одному из его членов, от имени Центрального Бюро Альянса, заявляет: что он высказался против Альянса из за его устава, который претендовал превратить последний внутри Интернационала в организацию, независимую от Интернационала, но не из за программы, с которой он вполне согласен, за исключением одного пункта, уравнение классов, так как Интернационал стремится к уничтожению классов; прибавляя, впрочем, что этот пункт, судя по духу всей программы

был лишь опечаткой а не искажением принципа; что как только Альянс, как международная организация, и вместе с ней Центральное Международное Бюро будут распущены, Генеральный Совет признает все секции Альянса с программой Альянса, как регулярные секции Интернационала*)“

Как только Центральное Бюро Альянса получило этот ответ, оно об'явило себя распущенным получив, впрочем, полномочия на этот счет от секций других стран, также как и от женевской группы, и сейчас же дало об этом знать всем секциям Альянса, предложив им сделаться регулярными секциями Интернационала, сохраняя свою программу, и добиться признания, как таковых, лондонским Генеральным Советом.

Таким образом, г. г. Гета и Дюваль перестали быть членами этого ужасного тайного общества, которое так пагубно действовало на их бедное воображение. Тайное общество существовало только в их мозгу, но осторожное в своей деятельности Центральное Бюро действительно существовало до настоящего времени и перестало существовать, начиная с этого дня.

Так как Центральное Бюро Альянса перестало существовать, то наши официальные регулярные сношения с секциями, учрежденными Альянсом в различных странах, были прерваны, так что я могу вам сказать лишь в весьма общих чертах, что сталось потом с этими секциями. Неаполитанская секция Альянса, просуществовав не-

---

*) Текст решения, принятого Генеральным Советом на заседании 9 марта 1869 г., в ответ на письмо Перрона, был напечатан в брошюре (произведение Маркса) *Так называемый раскол в Интернационале, тайный циркуляр Генерального Совета* (*5 марта 1872 г.*) Вот этот текст:

„*Генеральный Совет Центральному Бюро Международного Альянса Социальной Демократии.*

„На основании первой статьи наших статутов, Международное Товарищество принимает все рабочие секции, стремящиеся к общей цели, а именно: *взаимной помощи, прогрессу и полному освобождению рабочего класса.*

„Так как секции рабочего класса в разных странах находятся в различных условиях развития, то отсюда необходимо следует, что их теоретические взгляды, которые являются отражением действительного пролетарского движения, также различны.

„Однако, общая линия поведения, установленная Международным Товариществом Рабочих, обмен мыслей, облегчаемый изданием органов различными национальными секциями, наконец, прения на общих с'ездах постепенно создадут общую теоретическую программу.

сколько месяцев, была распущена, и большинство ее членов вступили индивидуально в Интернационал. Мадридская секция превратилась в секцию Интернационала, сохранив программу Альянса. То же самое было с секциями Альянса в Париже и Лионе.

Так умер добровольною смертью Международный Альянс Социальной Демократии. Желая прежде всего торжества великого дела пролетариата и считая Международное Товарищество Рабочих единственным средством достижения этой цели, он пожертвовал собой, не из чувства уступчивости, а из чувства братства и потому что он был убежден в совершенной правильности решений, которые

„Таким образом *критическое обсуждение программы Альянса* не входит в функции Генерального Совета. Мы не будем разбирать, является ли она полным выражением пролетарского движения. Мы должны только знать, не содержит ли она чего нибудь противного *общей тенденции* нашего сообщества, т. е. *полному освобождению рабочего класса*. Есть одна фраза в вашей программе, которая с этой точки зрения ошибочна. Во 2-й статье мы читаем:

„Он (Альянс) стремится прежде всего к *политическому, экономическому и социальному уравнению классов.*"

„*Уравнение классов*, толкуемое буквально, сводится к *гармонии капитала и труда*, назойливо проповедуемой буржуазными социалистами. *Не уравнение классов*, — логическая бессмыслица, которую невозможно осуществить, а, наоборот, уничтожение классов, этот настоящий секрет пролетарского движения, составляет великую цель Международного Товарищества Рабочих. Однако, принимая во внимание текст, в котором находится эта фраза *уравнение классов*, она повидимому, вкралась туда, как простая описка, Генеральный Совет не сомневается, что вы согласитесь вычеркнуть из вашей программы фразу, дающую повод к опасным недоразумениям. За исключением случаев когда высказываются идеи, противные общей тенденции нашего Сообщества, принцип его предоставить каждой секции свободно формулировать свою теоретическую программу.

„Не существует, стало быть, препятствий для *превращения* секций Альянса в секции Международного Товарищества Рабочих.

„Если *распущение Альянса и вступление секции его в Интернационал будет окончательно решено*, необходимо будет, согласно нашим статутам, *уведомить Совет о местонахождении и численном составе каждой новой секции*.

„(Заседание Генерального Совета 9 марта 1869 г.)"

Факсимиле черновика этого решения Генерального Совета, написанного по французски рукой Маркса, было приведено в книжке Густава Иека *Die Internationale* (Лейпциг, 1904 г.) Есть небольшая разница между текстом черновика и окончательным текстом: вероятно, Юнг, секретарь для Швейцарии, старался, впрочем неудачно, придать более французские обороты стилю учителя., *Дж. Г.*

огласил*) против него лондонский Генеральный Совет в декабре 1868 г.

Альянс, о котором я буду говорить теперь, совершенно другой Альянс: это уже не международная организация, это отдельная местная Секция Женевского Альянса Социальной Демократии, признанная в июле 1869 г. Генеральным Советом, как регулярная секция Интернационала.

По внесенному коллективно предложению Перрона, Бакунина, Беккера, поддержанного некоторыми другими членами женевской группы Альянса, последняя тоже подчинилась решению лондонского Генерального Совета. Она единогласно решила превратить себя в регулярную секцию Интернационала. Первое, что она должна была сделать для этого, это выработать статуты, согласные во всех пунктах с статутами Международного Товарищества Рабочих. Составить их было поручено гражданину Бакунину. Было решено, что программа будет сохранена целиком, за исключением этой неудачной фразы во втором пункте: „Он (Альянс) стремится прежде всего к политическому, экономическому и социальному уравнению классов и личностей“, которая должна была быть заменена другой, более ясной: „Он стремится прежде всего к окончательному уничтожению классов и политическому, экономическому и социальному уравнению личностей.“ Но устав нужно было переделать совершено заново.

Секция Альянса, собираясь раз в неделю и всегда в очень большом числе, добросовестно и обстоятельно обсуждала в продолжение почти двух месяцев каждый пункт нового устава, предложенного Бакуниным.**) В обсуждении принимали участие все, а не только несколько человек, привыкших говорить; и те, которые вначале молчали, были попрошены высказать свое мнение. Это обстоятельное и добросовестное обсуждение сильно способствовало прояснению идей и определению стремлений всех

*) Слово *огласил* неправильно, ибо не было дано *оглашения* резолюциям 22 декабря 1868 г. *Дж. Г.*

**) Выдержки из протоколов женевской секции Альянса, приведенные Максом Нетлау в биографии Бакунина, показывают, что не надо понимать в буквальном смысле слова выражения, употребленные здесь Бакуниным. Обсуждение нового устава началось 17 апреля и было закончено 24 апреля. Однако, в мае и июне несколько раз ставился на обсуждение тот или другой пункт программы; и только 26 июня секция была составлена окончательно. *Дж. Г.*

членов секции. Наконец, после этих затянувшихся дебатов, во второй половине июля 1869 г. новые статуты были приняты единогласно.

Я позволю себе привести здесь первые пункты нового устава. Это будет лучшим ответом нашим клеветникам, которые осмелились сказать, что мы хотели распустить Международное Товарищество Рабочих:

„Устав.

Секция Альянса Социальной Демократии в Женеве.

„**Пункт первый**.—Женевская группа Альянса Социальной Демократии, желая принадлежать исключительно великому Международному Товариществу Рабочих, составляет секцию Интернационала под именем Альянса Социальной Демократии, но не имеющую отдельные от Международного Товарищества Рабочих организацию, бюро, комитеты и с‘езды.

„**Пункт 2**—Эта секция имеет своей специальной миссией развитие принципов, содержащихся в ее програме, изучение средств, способных ускорить окончательное освобождение труда и рабочих, и пропаганду.

„**Пункт 3**—Нельзя стать ее членом, не приняв искренно и полностью все ее принципы. Старые члены обязаны, а вновь вступающие должны обещать по мере своих сил вести вокруг себя самую деятельную пропаганду этих принципов, как примером, так и словом.

„**Пункт 4**.—Каждый член обязан знать общие статуты Международного Товарищества Рабочих и решения с‘ездов, которые должны считаться обязательными для всех.

„**Пункт 5**.—Упорное и действительное проведение практической солидарности между рабочими всех ремесл, включая сюда, разумеется, и земледельцев, **является главным залогом их близкого освобождения**. Соблюдение этой солидарности в личных и общественных проявлениях рабочей жизни и в борьбе рабочих против буржуазного капитала должна считаться высшим долгом каждого члена Секции Альянса Социальной Демкратии. Всякий,

кто нарушит этот долг, будет немедленно исключен из секции*.)

„**Пункт 6**.—Кроме великих вопросов окончательного и полного освобождения рабочих путем уничтожения наследственного права, политических государств и путем организации производства и собственности на коллективных началах, также как и другими путями, какие будут в дальнейшем указаны с'ездами, Секция Альянса будет изучать и стараться применять все временные средства или паллиативы, могущие облегчить, хотя бы отчасти, современное положение рабочих.

„**Пункт 7**.—Сильная организация Международного Товарищества Рабочих, единая и нераздельная, переступающая через все государственные границы и без всякого различия национальностей, не считающаяся с патриотизмом, интересами и политикой государств, является самым верным залогом и единственным средством для общего торжества во всех странах дела труда и рабочих. Убежденные в этой истине, все члены Альянса торжественно обязуются способствовать всеми силами усилению мощи и солидарности этой организации. Вследствие чего, они и обязуются поддерживать во всех цехах, в какие они входят или в каких пользуются каким нибудь влиянием, **резолюции с'ездов и власть Генерального Совета**, также как власть Федерального Совета (романской Швейцарии) и женевского Центрального Комитета, **поскольку эта власть установлена, определена и узаконена статутами**". **)

Пусть судят теперь, насколько обвинения наших врагов были смешны и гнусны!

---

*) Пункт 24-й признает три повода для исключения: 1) за подлый и недостойный поступок; 2) за явное нарушение программы и основных пунктов устава; 3) *за измену рабочей солидарности. (Прим. Бакунина.)*

**) Мы видим в этих словах настроение, побудившее Бакунина и часть делегатов „коллективистов" на Базельском с'езде потребовать усиления власти Генерального Совета. *Д. Г.*

На следующий же день после единогласного принятия новых статутов женевской секцией Альянса Перрон, секретарь этой секции, поспешил послать эти новые статуты в Лондонский Генеральный Совет,*) извещая его в то же время о том, что прежняя международная организация и центральное бюро Альянса окончательно распущены **) и прося признать новую женевскую секцию, как регулярную секцию Интернационала. Вот это письмо:

Женева, 22 июня 1869 г.

Секция Женевского Альянса Социальной Демократии Лондонскому Генеральному Совету.

Граждане!

Согласно тому, как было условлено между вашим Советом и Центральным Комитетом Альянса Социальной Демократии, мы представили на рассмотрение различным группам Альянса вопрос о распущении последнего, как организации, отличной от организации Международного Товарищества Рабочих, сообщив им письма, какими обменялись по этому поводу Генеральный Совет и Центральный Комитет Альянса.

Мы с удовольствием извещаем вас, что громадное большинство групп согласно с мнением Центрального Комитета, высказавшегося за распущение Международного Альянса Социальной Демократии.

Альянс ныне распущен.

Извещая об этом решении различные группы Альянса, мы пригласили их, следуя нашему примеру, составить секции Международного Товарищества и добиться признания,

*) Не надо искать в указаниях Бакунина точного хронологического порядка. Он писал через два года после того, как все эти события произошли, и у него не было под рукой протоколов Секции Альянса. Письмо Перрона написано 22 июня; собрание, на котором окончательно образовалась женевская Секция Альянса, происходило 26 июня; и уже на заседании Секции 12 июня Бакунин заявил, что устав будет послан в Лондон к 19 июня, чтобы потребовать принятия Секции в Интернационал (выдержки из протоколов, опубликованные Максом Нетлау).
Дж. Г.

**) Четыре страницы рукописи пропали. Вероятно, они были сданы в оригинале наборщикам *Записок Юрской Федерации*. Но содержание этих четырех страниц напечатано, быть может немного в сжатом виде, в оправдательных документах (№ VIII) *Записок*. Мы приводим его здесь оттуда.
Дж. Г.

как таковых, вами или Федеральным Комитетом этого Товарищества в своих странах.

В подтверждение вашего письма, адресованного центральному экс-Комитету Альянса, мы просили вас, присылая вам статуты нашей секции, признать нас оффициально, как ветвь Международного Товарищества Рабочих.

Надеясь получить от вас скорый ответ, шлем вам свой братский привет.

От имени Секции Альянса
Временный Секретарь
Ш. Перрон.

В конце июля Перрон получил из Лондона следующий ответ:

Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих.

256, High Holborn, London, W. C. 28 июля 1869 г

Секции Альянса Социальной Демократии в Женеве.

Граждане!

Имею честь сообщить вам, что ваши письма или заявления, а также программа*) и устав нами получены и что Генеральный Совет единогласно постановил принять вас, как секцию

От имени Генерального Совета
Генеральный Секретарь
Ж.—Г. Эккариус.

Сейчас же после получения этого письма Секция Альянса окончательно сконструировалась. Она избрала Комитет, который немедленно послал годовой взнос Секции в Лондон. **)

---

*) Заметьте, что за исключением одного изменения, указанного выше (касающегося слов *уравнение классов*), это целиком программа прежнего Альянса и что пункт 1-ый этой программы начинается словами: *Альянс заявляет себя атеистическим.* (*Прим. Бакунина*).

**) Здесь опять несколько хронологических ошибок. Секция Альянса окончательно сконструировалась 28 июня. Она избрала Комитет 1 мая. Комитет решил послать взнос в Лондон (10 фр. 40 сант. за 104 члена) на своем заседании 17 июня. И только на заседании секции 31 июля было прочитано письмо Эккариуса. *Дж. Г.*

Вот другое письмо из Лондона, в котором сообщается о получении последнего:

Гражданину Генг, секретарю Секции Альянса Социальной Демократии, в Женеве.

Гражданин!

Я получил ваше письмо и 10 фр. 40 сант., сумму взносов 104 членов за 68-69 г. Чтобы избежать в дальнейшем запозданий, как это случилось с этим письмом, адресуйте лучше ваши письма на мое имя... В надежде, что вы будете деятельно проводить в жизнь принципы нашего Товарищества, посылаю вам, гражданин Генг, а также всем друзьям свой братский привет.

Г. Юнг.
Секретарь при Генеральном Совете для Швейцарии.

25 августа 1869 г.

Вот, надеюсь, достаточные данные, чтобы доказать нашим наиболее упрямым противникам, если только они добросовестны, что женевская Секция Альянса Социальной Демократии, со своей анти-политической, анти-юридической и атеистической программой, была вполне регулярной секцией Международного Товарищества Рабочих и признана, как таковая, не только Генеральным Советом, но и Базельским с'ездом, на который, пользуясь своим правом, она послала, в качестве делегата гражданина Гаспара Сэнтиньона, врача, делегата женевской Секции Альянса и Федерального Центра рабочих обществ Барцелоны.*)

Нужно было, стало быть, обладать цинической недобросовестностью господ Утина, Перрэ, Беккера, Дюваля, Гета и К-о, чтобы оспаривать за нашей секцией название и пра-

*) По дороге в Базель Сэнтиньон остановился, проездом, в Женеве где был принят членом Женевской Секции Альянса. Протокол заседания Комитета 28 августа 1869 г. гласит: „Гражданин Сэнтиньон представлен Бакуниным и Робеном. Он принят единогласно всеми присутствующими членами. Решено созвать экстренное общее собрание на воскресенье 29 августа в 10 ч. утра для выбора делегата на Базельский с'езд". На следующий день экстренное общее собрание утверждает принятие Сэнтиньона в члены Секции, составляет мандат для делегата на Базельский С'езд, предписывая ему голосовать за „обобществление средств производства, уничтожение наследственного права, создание касс сопротивления по цехам и об'единенных в федерации": затем собрание единогласно избирает Сэнтиньона делегатом на С'езд.

Дж. Г.

ва регулярной секции Интернационала. Оставляя в стороне этого еврейчика, лживого и интригана по природе, прибавлю, что никто из этих господ не может даже притворяться, что он не знает дела, так как можно установить на основании протоколов Альянса и ссылаясь на десятки свидетелей, что Беккер и Дюваль читали письма Эккариуса и Юнга; что письма эти в августе 1869 г. были представлены в женевский кантональный Комитет и в сентябре, после Базельского с'езда, в федеральный Комитет романской Швейцарии, —а Перрэ и Гета состояли членами этого последнего; что эти два почтенных гражданина присутствовали, когда Дюваль и Фриц Генг, два другие члены этого Совета и в тоже время члены Секции Альянса, представили эти письма в Федеральный Комитет.

Что можно после этого сказать о честности этих людей, которые осмелились утверждать на своем предпоследнем федеральном с'езде в Женеве и затем на страницах своей газеты Egalité', „что они никогда не слыхали о том, чтобы Секция Альянса была признана Генеральным Советом, что они не знают этого и до сих пор и что они написали в Генеральный Совет, чтобы удостовериться на этот счет"!

После того как Секция Альянса была принята и признана, Лондонским Генеральным Советом, как регулярная секция Интернационала, она поручила своему Комитету потребовать от центрального (кантонального) женевского Комитета принять ее в женевскую федерацию,*) собираясь сейчас же вслед за этим потребовать от федерального Комитета принять ее в романскую Федерацию.

На этот раз кантональный комитет уже окончательно подпавший под влияние главарей Фабрики, ответил категорическим отказом на одном из заседаний,**) на котором, как это обычно бывало, присутствовало лишь с дюжину членов,

---

*) Это решение было принято до получения письма от Эккариуса. В протоколе комитета секции Альянса, от 17 июля, поставлен вопрос о вступлении секции в кантональную федерацию и об обращении с этой целью в кантональный комитет женевских секций; и 30 июля Бакунин прочел в комитете секции Альянса проэкт письма в кантональный комитет, который был принят.

Дж. Г.

**) 16 августа 1869 г.

тогда как в комитет этот уже тогда входило больше шестидесяти членов. *)

Мы ждали этого отказа и обращались в кантональный комитет только для формы, чтобы не говорили, что мы отказываемся от солидарности с женевскими секциями; мы ждали этого, потому что мы знали об интригах и жалких клеветах, распространяемых уже тогда против нас некоторыми людьми, которые потом совершенно сбросили маску.

. . . .

. . . **) строительные рабочие, что вызвало по отношению к нему зависть и ненависть вождей женевских фабричных секций, которые, исключив его из Кружка, употребили все свои усилия, чтобы исключить его из Интернационала. Серно—Соловьевич, о котором эти господа теперь говорят, проливая крокодиловы слезы, и который вне всякого сомнения был одним из наиболее преданных членов женевского Интернационала, был публично обозван ими русским шпионом. Наконец, Перрон, благодаря горячему, бескорыстному увлечению своими принципами, тогда еще, впрочем, не совсем определившимися, и в особенности благодаря своей глубокой личной привязанности к Серно-Соловьевичу, в защиту которого он всегда благородно выступал, навлек на себя также ненависть своих женевских сограждан.

Но в особенности в конце 1868 г., после Брюссельского с'езда, когда он стал основателем и главным редактором газеты Egalité, он сделался козлом отпущения благонравного женевского общества. Он имел несчастье, разумеется против своей воли, задеть интересы и оскорбить чувство самолюбия свирепого типографа г. Кроссэ и навлечь

---

*) Эта цифра шестьдесят членов, которая должна соответствовать тридцати секциям, преувеличена. Во время общего с'езда в Брюсселе, в сентябре 1868 г., в Женевском кантоне было двадцать четыре секции (из доклада делегата Гральйя); во время основания романской федерации, в январе 1869 г., чисто женевских секций было двадцать три (из доклада романского федерального комитета на с'езде в Шо-де-Фоне, в апреле 1870 г., напечатанного в Egalité' от 30 апреля 1870 г.): это число равнялось двадцати шести в октябре 1869 г. Наконец, в Egalité от 23 апреля 1870 г. упоминается в одном месте, что женевские секции, во время с'езда в Шо-до-Фоне, были в числе двадцати восьми.

Дж. Г.

**) Здесь пропуск,—начало фразы в потерянных листках, о которых говорилось выше. Бакунин возвращается здесь к конфликту на почве принципов и тенденций, возникшему с 1868 г. между строительными рабочими и вожаками секций фабричных рабочих. Лицо, о котором говорится в этой фразе без начала, Броссэ.

на себя его ужасную ненависть. Г. Кроссэ сделался центром группы лиц, частью известных, но большей частью анонимных (г. Анри Перрэ и многие другие вожди Фабрики были в этой группе), которая распространяла всевозможные клеветы против Перрона. Я приобрел себе первых врагов в Интернационале, своей открытой защитой Перрона, с которым я тогда был в дружеских отношениях.

Помимо всех этих личных вопросов, одно название газеты Egalité *) подняло против нас целую бурю. Вспомните, что это было после Брюссельского с'езда, который впервые поставил откровенно вопрос революционного социализма. Провозглашение принципа обобществления собственности, осуждение буржуазного социализма и явный разрыв с буржуазным радикализмом, выразившийся в отказе войти в сношения с Лигой Мира и Свободы, все это сильно встревожило вождей женевской секции фабричных рабочих. Они боялись, что женевский Интернационал примет чересчур социалистическое, чересчур революционное направление, что он пустится в открытое море, где они чувствовали себя неспособными следовать за ним. Буржуазно, патриотически привязанные к цветущим берегам Женевского озера, они хотели не мировой Интернационал, но мнимый женевский Интернационал, невинный и филантропический социализм, ведущий прямо к надувательскому примирению с буржуазным социализмом их города. Они были напуганы этим ужасным словом Равенство, разрушавшим все эти патриотические мечты, все эти честолюбивые надежды, которые держались тем упорнее, что в них не смели сознаться.

Тогда произошло восхитительное об'яснение: все эти великие граждане Женевы понимали, обожали равенство и если бы дело было только в них, они обеими руками голосовали бы за такое название. Но это слово, видите ли, не будет понято толпой, чернью Интернационала; оно может задеть аристократическую щекотливость строительных рабочих! Так, по крайней мере, говорил рупор этой клики, бедный портной Вери, парижанин, бывший икарийский коммунист, человек полный чувства самоотверженности, но также полный желчи и скрытого тщеславия и который всегда имел несчастье, проповедуя теоретически самые крайние принципы, голосовать на практике за самые реакционные резолюции. Поэтому он всю жизнь был любимым детищем и пророком женевской Фабрики.

*) *Равенство.*

Мы отвоевали всетаки название Egalité и позднее нам удалось создать редакционный комитет, громадное большинство которого показало открыто свою преданность принципам, содержащимся в этом слове. Эта борьба и, еще больше, выход один за другим целого ряда номеров газеты Egalité, которая с каждой неделью становилась все более социалистической и революционной, способствовали в огромной степени созданию далеко не дружественных отношений между обеими партиями, которые делили между собой женевский Интернационал.

С одной стороны, сжатая и в совершенстве организованная фаланга секции фабричных рабочих со своим буржуазным радикализмом, со своими платоническими мечтами об узкой и привилегированной кооперации, со своими вождями, в тайне сердца желающими попасть в Государственный Совет,*) с своим узким женевским патриотизмом, тщеславным и шумливым, явно стремящимся превратить Интернационал в женевское сообщество, в орудие для удовлетворения женевского честолюбия. С другой, порядком дезорганизованная масса строительных рабочих, богатых революционными инстинктами, социалистов, как по своему положению, так и по своим естественным стремлениям и всегда или почти всегда поддерживающих своими голосами истинные принципы революционного социализма.

В то время граждане Беккер, Гета, Дюваль голосовали еще вместе с нами: они еще не вкусили сочного плода от реакционной интриги. Но мы имели против себя граждан Гросселена, Вейермана, Верп, Гроссэ и многих других представителей Фабрики или рабочих других ремесл, привлеченных Фабрикой на свою сторону. Г. Анри Перрэ старался держаться всегда середины, голосуя всегда вместе с большинством,—как Господь Бог Фридриха Великого, он всегда на стороне большого войска. Вообще, нужно заметить, что большинство членов как комитетов цеховых секций, даже строительных рабочих, так и центрального или кантонального комитета, голосовали вместе с реакцией, что было естественно, так как они входили в состав той господствующей олигархии и того тайного правительства, которое явно стремилось к обузданию масс, примыкающих к Интернационалу.

---

*) В Женеве члены Государственного Совета, т. е кантонального правительства, непосредственно избираются народом.

Наша тенденция была, впрочем вполне согласуясь с статутами романской федерации, сломить эту власть, этот рождающийся деспотизм комитетов, подчинив их по возможности выраженной на общих собраниях народной воле. Понятно, что наиболее честолюбивые члены этих комитетов не были нам благородны за это. Несколько раз они осмелились даже утверждать, что комитетское собрание должно первенствовать над народным собранием. Нам не трудно было доказать, ссылаясь на статуты романской Федерации, что они ошибались, и массы, примыкающие к Интернационалу, поддержали нас против них.

В продолжение этого времени Секция Альянса, верная своей миссии, горячо занималась пропагандой. Она каждую субботу регулярно устраивала заседания. Разумеется, все сто четыре члена, насчитывавшиеся в ней с момента ее окончательного сконструирования, не присутствовали регулярно на каждом заседании, но всегда приходили регулярно двадцать, тридцать членов, которые составили настоящее ядро Альянса. К сожалению, я должен сказать, что Перрон не был в числе их. Своенравный, неровный, капризный, он почему то не взлюбил Альянс и лишь изредка появлялся в нем. Его более или менее женевские инстинкты влекли его всегда в центральную Секцию, которая из широко международной секции, какой она была раньше, сделалась почти исключительно женевской секцией. Броссэ также редко бывал у нас. Председатель федерального Комитета, он не считал, вероятно, политичным открыто показывать себя сторонником секции, которая стала ненавистна могучей фракции Интернационала, с которой у него, как у политического деятеля, было обоюдное кокетничанье. Наконец, Гета, рекомендованный Перроном, ошибка Перрона, также нас оставил. С тех пор как он стал членом и вице-председателем Федерального Комитета, его почетное положение вскружило ему голову. Напуская на себя глупую важность, он стал совершенно смешным. Он перестал произносить свою обычную стереотипную речь о революции и на общих собраниях, также как и в Федеральном Комитете он голосовал только вместе с реакцией.

Наоборот, моя ошибка, пустомеля Дюваль, и наша общая с Перроном ошибка, непостоянный, неустойчивый патриарх Беккер, были усердными членами Альянса. Дюваль, который был также членом Федерального Комитета, передавал нам все, что говорили о нас братья Перрэ, притво-

ряясь что ненавидел их, и Гета, делая вид, что презирал его. Через него, а также через другого члена Альянса, Фрица Генга, мы узнавали все, что говорилось о нашей секции в Федеральном Комитете. Беккер не признавал больше ничего кроме Алльянса; он многократно повторял, почти на каждом нашем заседании, что настоящий Интернационал больше не в Temple-Unique,*) а в маленькой секции Альянса. Анри Перрэ не показывался больше среди нас, и так как он не присутствовал в день окончательного сконструирования секции**) и не ответил на два или три посланные ему приглашения, то его вычеркнули из списка членов.

Альянс стал настоящей секцией друзей и, чего не существовало в Temple-Unique, все здесь говорили совершенно откровенно и с полным взаимным доверием. Здесь часто говорили, к большому скандалу Броссэ, о настоящем положении женевского Интернационала, о реакционном духе и превосходной организации Секции фабричных рабочих, о превосходном революционном духе и отвратительной организации строительных рабочих. Броссэ, как председатель Федерального Комитета, как дипломат, не хотел, чтобы касались этих жгучих вопросов, этих оффициальных и священных вещей. Самое большее, по его мнению, об этом позволено было говорить с глазу на глаз и шопотом, ибо нельзя не выказывать уважения к декоруму, к величественной фикции Интернационала.

Так рассуждают, и это понятно, все правительства и все правительственные люди. Так рассуждают также все сторонники дряхлых учреждений, которые они провозглашают священными, фикции которым поклоняются, не позволяя, чтобы к ним подступали слишком близко, потому что они боятся, что нескромный взгляд или смелое суждение раскроют и обнаружат их нищету и ненужность.

Таков общий дух, господствующий в женевском Интернационале. Когда говорят о нем, всегда лгут. Все или почти все говорят заведомо неправду. Какая то китайская церемония господствует во всех коллективных и личных отношениях. Считается, что вы существуете, на самом деле вас нет; считается, что вы верите, на самом деле вы не верите; считается, что вы хотите, на самом деле вы не хо-

*) Здание, в котором собирался Интернационал.

**) 26 июня 1869 г.

тите. Фикция, оффициальность, ложь убили дух Интернационала в Женеве. Все это учреждение стало в конце концов ложью. Поэтому все эти господа Перрэ, Дюплекс, Гета, Дювали и Утины могли завладеть им так легко.

Интернационал не буржуазное и дряхлое учреждение, поддерживаемое только искусственными средствами. Он молод и полон будущности, он не должен, стало быть, бояться критики. Только правда, откровенность, смелость в суждениях и поступках и постоянный контроль над самим собой могут способствовать его процветанию. Так как он не является сообществом, которое должно быть организовано сверху вниз авторитарным путем, деспотическими мерами его комитетов, так как он может организоваться только снизу вверх народным путем, стихийным и свободным движением масс, необходимо, чтобы массы знали все, чтобы не было от них правительственных тайн, чтобы они никогда не принимали фикцию или видимость за действительность, чтобы они ясно представляли себе методы и цель своего движения и чтобы, прежде всего, они сознавали свое действительное положение. Поэтому все вопросы, касающиеся Интернационала, должны обсуждаться смело и открыто, и учреждения его, действительное состояние его организаций не должны быть правительственной тайной, а постоянным предметом откровенного и гласного обсуждения.

Не странно ли в самом деле, что наши противники, которые действительно образовали в женевском Интернационале нечто вроде господствующей и тайной олигархии, тайное правительство, столь благоприятствующее всяким честолюбивым замыслам и всяким личным интригам, осмелились обвинять нас в тайных происках, нас, вся политика которых состояла в том, чтобы принудить их ставить все вопросы на общих собраниях, резолюции которых, по нашему мнению и согласно статутам романской Федерации, должны быть обязательны для всех комитетов женевского Интернационала?

Мы всегда призывали их к открытой борьбе, в которой, пренебрегая личными нападками и всякими личными интригами, мы боролись против них и почти всегда одерживали верх исключительно на почве принципов. Напротив, как подобает правительственной партии, они вели против нас закулисную борьбу, полную интриг и клеветы.

Эти дискуссии, происходившие в Секции Альянса, на которых почти всегда присутствовало, в качестве активных

посетителей, много строительных рабочих, не состоявших членами, а приводимых друзьями, членами Секции, оказали большое влияние на направление строительных рабочих к великой досаде вождей реакционной клики женевского Интернационала.

Пропасть, становившаяся с каждым днем все шире между партией Революции и партией Реакции, еще увеличилась с середины июня 1869 г., когда Перрон, вынужденный благодаря своим личным делам, оставить на некоторое время редакцию газеты Egalité, передал ее в руки Бакунина. Последний воспользовался этим, чтобы широко развить во всей их истине и чистоте и со всеми их логическими последствиями и их практическим применением принципы Интернационала. Он начал свое редактирование с открытого выступления против иезутизма Иисуса Христа Шо-де-Фона, Куллери, который, отличаясь в этом отношении от женевских реакционеров Интернационала, хотел превратить Интернационал в орудие аристократической и поповской реакции, тогда как его союзники, друзья и защитники в Женеве, Перрэ, Гросселен и компания, довольствовались лишь тем, что делали из него орудие буржуазного радикализма. Бакунин разоблачил тех и других, боролся против них и старался раскрыть глаза пролетариату на непроходимую пропасть, разделяющую отныне его дело от дела буржуазии всех цветов.

Такая постановка вопроса не входила совершенно в расчеты честолюбивых вождей женевской секции фабричных рабочих. Это было как раз в то время, когда женевская радикальная партия делала невероятные усилия, чтобы сблизиться с Интернационалом и забрать его в свои руки. Многие бывшие члены, признанные агенты радикальной партии, и которые, как таковые, отошли от Интернационала, вновь вступили в него. Это делалось, так сказать, открыто, —до такой степени граждане-радикалы из Интернационала были уверены в успехе. Мы открыто вели борьбу против них в газете, на заседаниях Альянса, а также и на общих собраниях.

Все это неизбежно должно было усилить ненависть главарей Фабрики против нас. С другой стороны, ярко социалистические и революционные принципы, которые газета Egalité проповедывала без всякой церемонии, не могли служить их интересам, были диаметрально противоположны их цели: уничтожение государств, патриотических и поли-

тических границ, уничтожение наследствен[illegible] права. Ор-ганизация коллективной собственности и ко[illegible] тру-да снизу вверх, путем свободы,—все это не могло служить мостом для об'единения в одну партию буржуа-радикалов с буржуа из женевского Интернационала. Вся радикальная партия Женевы, господа Фази, Вотье, Картерэ, Камбесседес были, следовательно, страшно озлоблены против нас, и так как они оказывали в то время прямое влияние на главарей Фабрики в Интернационале, на Гроссэленов, Вейерманов, Перрэ и многих других, то они сильно способствовали возбуждению, усилению, организации их ненависти и их преследований, направленных против нас.

Комитеты секции фабричных рабочих являлись в Федеральный Комитет с протестом против редакции Égalité, от имени своих секций, чаще всего без их ведома. Пока Броссэ оставался председателем Федерального Комитета, эти интриги не удавались. Но систематическими придирками, на которые он, слишком щекотливый, не ответил презрением, как это следовало бы сделать, принудили его оставить председательское место.*) Его место занял Гета, и федеральный комитет окончательно перешел на сторону реакции. К счастью, один из пунктов статутов романской федерации, охраняя редакционный комитет, делал его в некотором роде независимым от произвола Федерального Комитета.**)

Итак, стало быть, в женевском Интернационале происходила война: с одной стороны, были фабричные рабочие, умело дисциплинированные, слепые и идущие за своими вождями; с другой, масса строительных рабочих, просвещаемая газетой *Égalité* и мало по малу организующаяся под влиянием Альянса. Посредине были секции промежуточных цехов: сапожники, портные, типографы и т. д., комитеты которых, правда, в большинстве принадлежали реакции, но симпатии народа, рядовых были больше на стороне революции.

---

*) Броссэ, которому надоели до тошноты все эти интриги, подал заявление о своем отказе от председательского звания в августе 1869 г.

**) Этот пункт (п. 52) гласил: „С'езд (романский) будет устанавливать каждый год программу и цену газеты“. Но в другом пункте (п. [illegible]2), касающемся прав и обязанностей Федерального Комитета, говорилось: „Газета Товарищества будет выходить под его нравственной ответственностью“.

Дж. Г.

Решительный бой стал неизбежен. Он произошел во вторую половину августа месяца при выборах делегатов на Базельский с'езд.*)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ БОРЬБА.

Это был достопримечательный бой, который следовало бы описать более красноречивому историку, чем я. Я расскажу лишь главные его фазисы.

Среди пяти вопросов, поставленных Генеральным Советом в программу с'езда, который должен был состояться в сентябре 1869 г. в Базеле, были главным образом два, которые касались по существу социального вопроса: упразднение наследственного права и организация коллективной собственности, два вопроса, которые всегда приводили в очень дурное настроение корифеев, вожаков женевской Фабрики. Они уже обнаружили чрезвычайное недовольство, что последний из этих вопросов обсуждался на брюссельском с'езде: „это утопия, говорили они, мы должны заниматься практическими вопросами“.

Они решили, следовательно, на этот раз вычеркнуть эти два вопроса из программы Базельского с'езда. Они считали это необходимым не только потому, что таково было их внутреннее желание, но и ввиду своего политического положения. Они окончательно сговорились и заключили союз с женевской радикальной буржуазией. Велась деятельная агитация среди всех чисто женевских секций, т. е. среди рабочих-граждан фабричного труда, чтобы об'единить их вокруг радикального знамени при будущих выборах, которые должны были состояться в ноябре. Но для того, чтобы союз между буржуазией и рабочими-гражданами был возможен, необходимо было, чтобы эти последние вычеркнули из своей программы все, что могло противоречить основным принципам буржуа-радикалов Женевы, все ще-

---

*) Внизу этой странички Бакунин написал следующие строки, адресованные тем, кто должен был читать его рукопись:

„*Конец пришлю немедленно.*—Я не знаю, что вы найдете нужным сделать с этой рукописью. Другого доклада я не буду делать, кроме этого, *который не может быть напечатан в его настоящей форме*, но который содержит в себе достаточные подробности, чтобы раз'яснить все дело и снабдить вас всем необходимым материалом для составления более сжатой и более короткой записки.—Я вас очень прошу, дорогие друзья, не потерять рукопись и вернуть мне ее в целости, сделав с ней то, что вы найдете нужным.

котливые вопросы. Больше всего, разумеется, вызывали ненависть и порицание эти два предложения, гибельные для существующего общественного строя: уничтожение наследственного права и организация коллективной собственности.

Тактика женевской клики, которая руководила всей деятельностью Центрального (кантонального) Комитета, вдохновляла все его поступки и которая при его посредстве определяла программу каждого общего собрания, эта тактика была очень простая. На общих собраниях назначали комиссии, которые должны были приготовить к с'езду доклады по всем другим вопросам, и забыли назначить такие же комиссии для составления докладов по этим двум жгучим вопросам. Если бы это так и осталось, то произошло бы следующее: пришло бы время с'езда, а доклады по этим двум вопросам не были бы приготовлены и, следовательно, они были бы фактически вычеркнуты из программы.

Мы расстроили этот план, напомнив на одном из народных собраний, что было еще два вопроса, о которых Центральный Комитет, повидимому, забыл и что необходимо было немедленно назначить две комиссии для изучения их и для представления во—время докладов по ним. Тогда разразилась буря; все крупные ораторы Секции фабричных рабочих и их союзники реакционеры, во главе с Гросселеном: Вейерман, Кроссэ, Верн, Патрю, типографы из партии Кроссэ, Дюплекс, отец Рэймонд (слепой, сен-симонист, Иисус Христос женевского Интернационала), женевский каменщик Пайяр, умный человек и большой спорщик, личный враг Робена, Гета и многие другие выходили по очереди на трибуну и заявляли, что было скандально, бесполезная трата времени, вредно предлагать подобные вопросы рабочим, что нужно заниматься практическими и существенными вопросами, напр., буржуазной кооперацией и т. д. и т. д. Мы отвечали им. Они были побиты. Общее собрание (Temple - Unique был полон, и строительные рабочие, заботливо созванные нашими „союзниками" накануне, присутствовали в большом количестве) решило громадным большинством голосов назначить сейчас же комиссию для изучения двух неприятных вопросов: Бакунин был избран в комиссию для составления доклада по вопросу о наследственном праве, Робен—в комиссию по вопросу о коллективной собственности.

На следующем общем собрании должны были решить другой вопрос. На основании общих статутов каждая секция имела право посылать одного делегата на с‘езд. Но женевский Интернационал мог послать больше тридцати делегатов.*) Это обошлось бы слишком дорого; ввиду этого, уже в прошлом году все секции женевского Интернационала соединились вместе, чтобы послать в Брюссель сообща, разделив между собой расходы, четырех делегатов. В этот раз, так как число секций значительно увеличилось, хотели послать пять делегатов. Совместная посылка делегатов была, конечно, очен удобна для секций строительных рабочих, так как эти секции были гораздо беднее секций фабричных рабочих. Последние, вдохновляемые и направляемые своими вождями, воспользовались этим обстоятельством и выставили своих ораторов, которые от имени всех своих товарищей, заявили на трибуне, что секции фабричных рабочих согласятся послать коллективно делегатов лишь при условии, чтобы из программы с‘езда были вычеркнуты оба вопроса, о наследстве и собственности. Это было сигналом к второй буре.

Мы потребовали слово, чтобы об‘яснить строительным рабочим, что их оскорбляли, делая им такое предложение, покушались на свободу их совести, на их право; что лучше, если они пошлют только одного делегата, или совсем не посылать делегатов, чем послать пять или больше на условиях, которые им будут навязывать от имени секций фабричных рабочих и которые они не смогут принять. Тогда ораторы реакции опять поднялись на трибуну и запели вечную песню о единении, столь необходимом, чтобы составить силу рабочего класса; они напомнили строительным рабочим о вечной признательнсти, какую они должны были иметь по отношению к женевским гражданам Фабрики за поддержку, оказанную им последними во время их стачки весной. Они предостерегали их в особенности против некоторых „иностранцев“, которые сеяли распри в Интернационале. На это „иностранцы“—Броссэ, Робен, Бакунин и другие—ответили, что в Интернационале не могло быть иностранцев; что благодарность и единение, разумеется, очень хорошие вещи, но что они не должны вести к порабощению и что лучше отделиться, чем стать рабами. В

*) Как уже было сказано выше, Бакунин преувеличивает число секций, существовавших тегда в Женеве. *Дж. Г.*

этот раз победа опять была за нами. Громадное большинство высказалось за оставление в программе обоих вопросов за назначение комиссий для составления по ним докладов.

Два или три дня спустя, было частное собрание всех секций фабричных рабочих в Temple-Unique. Г-н Гросселен превзошел себя в красноречии, не встречая никакой оппозиции. Он произнес трескучую речь против Броссэ, Робена, Бакунина, прозрачно намекая на них, клеймя их, как нарушителей мира, единения, общественного порядка в женевском Интернационале. „Им нечего у нас делать, этим иностранцам!“ говорил он, увлекаясь до такой степени, что забыл, что говорил не на каком нибудь собрании женевских граждан, а среди женевских рабочих, членов Интернационала, который не знает гражданской узости патриотизма и отечества. Кроссэ и Вери прибавили, один ругань, другой свою желчь к красноречию Гросселена, будущего государственного мужа Женевы.

Наконец, собравшиеся секции решили отделиться и назначили одного делегата, Анри Перрэ, секретаря Федерального Комитета, с императивным мандатом воздержаться от голосования по двум вопросам, отвергнутым Фабрикой. Они не назначили в качестве второго делегата Гросселена, во-первых из чувства экономии, во-вторых, они надеялись, что его назначат строительные рабочие. Союзники, друзья Фабрики, Кроссэ, Вери, оба брата Пайяр, Гета, Ротсетти, Патрю долго обрабатывали строительных рабочих с этой целью.

Раскол, следовательно, стал совершившимся фактом. Фабрика посылала только одного делегата. Строительные рабочие, соединившись с портными и сапожниками, решили послать трех делегатов: назначены были Генг, Броссэ и Гросселен.*)

*) Бакунин ошибался, говоря, что Генг, Броссэ и Гросселен были делегатами от строительных рабочих, портных и сапожников: они были делегатами от всей женевской федерации. После того как секции фабричных рабочих решили назначить своим представителем специального делегата, Анри Перрэ, общее собрание 17 августа решило послать коллективную делегацию, состоящую из трех членов, избранную всеми секциями. В *Egalité* от 21 августа имеется следующая статья по этому поводу:

„17 августа было общее собрание всех женевских секций. Было решено послать в Базель трех делегатов от имени всех женевских секций французскаго языка. Каждый член или каждая группа могут пред-

Тем временем, Робен и Бакунин приготовили доклады, один об организации коллективной собственности, другой об упразднении наследственного права, оба доклада, разумеется, в самом утвердительном смысле. Их заключения были приняты почти единогласно.

Комиссия, на которую возложено было представить доклад по вопросу о всестороннем образовании, также сделала свой доклад. Здесь произошла очень странная вещь. Не комиссия делала этот доклад, а г-н Камбеседес, один из корифеев буржуазной радикальной партии, государственный деятель, не член Интернационала, и который в то время исполнял должность высшего инспектора всех женевских школ (если я не ошибаюсь). Разумеется, доклад его был составлен в сильно буржуазном духе. Он сохранял деление школ на две категории, для двух различных классов, под очень трогательным предлогом, что буржуа никогда не согласятся посылать своих детей в школы, посещаемые детьми простонародья. Все остальное было в том же духе, так что наш друг Фриц Генг, член этой комиссии, который взялся прочитать этот доклад, не ознакомившись раньше с ним, остановился посредине чтения и наивно заявил, что доклад никуда не годится и не соответствует духу Интернационала.

Как случилось, что комиссия Интернационала приняла работу женевского буржуа-радикала? Это секрет, который Фабрика и г-н Кроссэ, союзник вожаков фабричных рабочих и член комиссии, одни могли бы об'яснить.

Когда было об'явлено о назначении Гросселена треть-

ставить кандидатов, которые будут внесены в список. Голосование будет тайное, каждый член должен написать на своем бюллетене три имени. Для получения права голоса нужно представить свою членскую карточку, удостоверяющую о соблюдении всех обязательств по отношению к своей секции. Голосование будет производиться:

„В субботу 21 августа, с 8 до 10 ч. вечера;
„В воскресенье 22 августа с 8 ч. утра до 4 ч. вечера;
„В понедельник 23 августт с 8 ч. до 10 ч. вечера.“

На Базельском с'езде Генг, Броссэ и Гросселен были приняты, как „делегаты женевских международных секций,“ Анри Перрэ, как „делегат женевских секций фабричных рабочих, часовщиков, ювелиров, и рабочих по изготовлению музыкальных инструментов“

Дж. Г.

им делегатом от имени строительных рабочих *,) эти последние заявили единогласно, что он может быть их представителем на Базельском с'езде только в том случае, если обещает голосовать на нем за организацию коллективной собственности и за уничтожение наследственного права.

Это поставило его в курьезное положение. Он был главным сторонником предложения вычеркнуть из программы с'езда эти два вопроса, как утопические, несвоевременные и гибельные, предложения, вызвавшего раскол, а теперь он должен был взять на себя обязательство голосовать в утвердительном смысле по обоим этим вопросам на Базельском с'езде!

На последнем общем собрании, имевшем место перед с'ездом, он пытался выйти из этого смешного положения странным образом: он поставил вопрос на личную почву, взывал к личным чувствам: „Я вас люблю и вы меня любите, вы знаете, что я всегда был вашим другом; почему же вы не доверяете мне и принуждаете меня теперь принять условия, которые мое достоинство и совесть не позволяют мне принять?“ нам нетрудно было ответить ему, что речь здесь вовсе не шла о личных симпатиях или недоверии, что его очень любили и уважали, но что не могли ему принести в жертву коллективное право и принципы. Так как общее собрание почти единогласно высказалось за коллективную собственность и уничтожение наследственного права, то он должен был ответить категорически на вопрос: хотел ли он и мог ли голосовать по совести за то и другое

По нашему предложению собрание решило опять, что

---

*) Противоречие, существующее между словами Бакунина, который говорит, что Гросселен и его два коллеги были делегатами от строительных рабочих и фактом, засвидетельствованным *Egalité*, что эти три делегата были избраны „всеми женевскими секциями французского языка“ (в Женеве были также немецкие секции, которые были представлены на Базельском с'езде Беккерем), разрешается следующим образом: общее собрание действительно решило, что *все секции* французского языка приглашаются принять участие в выборах трех коллективных делегатов семь секций фабрики, уже назначившие своего отдельного делегата, воздержались; в голосовании 21-го 22-го и 23 го августа участвовали одни только секции строительных рабочх и несколько промежуточных секций (портные, сапожники, типографы), так что фактически, если это об'яснение верно, как я полагаю,—Гросселен, часовщик, оказался выбранным строительными рабочими.

это голосование было обязательно для всех его делегатов в силу данного им императивного мандата.

Тогда Гросселен был вынужден публично снять с себя делегатские полномочия. Но случилось вот что: накануне или в день от'езда делегатов в Базель Центральный (кантональный) Комитет устроил заседание и. присвоил себе право, которого он не имел, ибо по статутам романской федерации, все его действия были подчинены решениям общего собрания,—и в данном случае он имел тем меньшее право, что речь шла о делегате не всех секций Интернационала, а только о делегатах секций строительных рабочих, которые посылали его на свои средства.— Центральный (кантональный) Комитет, говорю я, состоящий в этот раз почти исключительно из членов секции Фабрики, которые явились все на это заседание, тогда как большинство представителей других секций отсутствовали, решил, что Гросселен не должен обращать внимание на то, что произошло, и должен был отправиться в Базель, в качестве делегата от секций строительных рабочих, освобожденного от императивного мандата, данного ему этими последними.

И он действительно отправился туда и, неразлучный товарищ г-на Перрэ, делегата от Фабрики, он голосовал по всем вопросам вместе с ним.*)

Здесь собственно кончается мой исторический рассказ. Понятно теперь, какую ненависть должны питать против

*) На Базельском с'езде административный доклад женевских секций представил Гросселен. Закончив чтение доклада, он прибавил личное замечание, относительно своего мандата: „Он заканчивает — сказано в *протоколах* с'езда,—говоря, что Центральный Комитет предоставил ему полную свободу в решении вопросов о собственности и наследстве, с коллегами уж его было наоборот". Но Броссэ выступил сейчас же с протестом: он заявил, что Гросселен получил, так же как Генг и как он сам, императивный мандат голосовать за коллективную собственность и упразднение наследственного права, что семнадцать секций дали им такой мандат. Очевидно, те, которые принимали участие в выборах делегатов 21-го, 22-го и 23-го августа. Если к этим семнадцати секциям прибавить семь секций Фабрики, которые делегировали Анри Перрэ, то получится всего двадцать четыре секции. Нужно заметить, однако, что общество рабочих по изготовлению музыкальных инструментов не входило в „группы женевских секций и романской Федерации". (Доклад Анри Перрэ).

Дж. Г.

нас, Перрона,*) Бросеэ, Робена и меня, все главные вожди Фабрики и большинство их рабочих, которых им удалось настроить против нас всякими гнусными клеветами. В то время, когда мы были на Базельском с'езде, они устроили даже против нас ловкую проделку в Женеве. Они созвали чрезвычайное собрание комитетов и на этом собрании всех нас троих, Перрона, Бросеэ и Бакунина, предали суду, потребовав сначала ни больше ни меньше как нашего немедленного исключения, потом, немного смягчившись, помирились на том, чтобы нам было вынесено формальное порицание, заявив, что, если им не будет дано это удовлетворение, то все секции фабрики выйдут из Интернационала. Предложение было отвергнуто, — и секции фабрики не вышли из Интернационала.

С этого времени я совершенно не вмешивался в дела Интернационала. Так как я должен был по своим делам поехать в Локарно, то я даже снял с себя обязанности редактора газеты Egalité. По возвращении из Базеля, я оставался еще три-четыре недели в Женеве,**) но я почти не ходил или очень редко ходил, на заседания Интернационала и выступал только один раз, накануне своего от'езда.***)

Что касается секции Альянса, то по возвращении из Базеля в Женеву, я участвовал только на одном ее совещании, на котором обсуждалось требование Федеральному Комитету о принятии секции в романскую Федерацию.****)

*) Я забыл сказать, что в этот раз Перрон не отсутствовал и энергично поддерживал нас на общих собраниях; он был красноречив, логичен, увлекателен и много способствовал нашему торжеству.

(Примечание Бакунина).

**) Бакунин оставался в Женеве с 13 или 14 сентября по 30 октября.

***) На общем собрании 27 октября.

****) 6 августа (протокол комитета секции Альянса) было решено, „после долгих прений по вопросу о нашем вступлении в кантональную федерацию, что если мы не будем приняты, мы обратимся с требованием в Федеральный (кантональный) Комитет". Так как центральный (или кантональный) Комитет отклонил, 16 августа, наше требование о принятии нас в кантональную федерацию, то нам оставалось только привести в исполнение решение 6 августа, что и было сделано на заседании комитета Альянса 28 августа: „Обсуждается вопрос, говорится в протоколе, о принятии нас в романскую Федерацию; все присутствующие члены согласны, что федеральный Комитет не имеет права отказать нам, так как наши программа и устав вполне соответствовали общим статутам". В федеральный Комитет было послано составленное Бакуниным

Это требование было представлено 22 сентября 1869 г. Фрицем Генг, который был в одно и то же время секретарем секции Альянса и членом федерального Комитета, так же как и Дюваль, который, тогда еще верный Альянсу, поддержал предложение.

в последних числах августа письмо, но только после Базельского съезда; федеральный Комитет должен был высказаться по поводу этого письма на заседании в среду 22 сентября. На заседании комитета Альянса в пятницу 17 сентября, присутствующие спрашивают себя, что то произойдет? Так как поведение Гета стало явно враждебным, то Бакунин говорит, что его надо вычеркнуть из числа членов Альянса; но Дюваль предлагает подождать заседания федерального Комитета в среду 22 числа, чтобы посмотреть, каково будет его поведение. Дюваль спрашивает, кроме того, „что мы должны будем сделать, если федеральный Комитет ответит нам отказом; после прений по этому вопросу, решается, что в этом случае мы обратимся ко всем романским секциям с циркуляром".

Макс Нетлау нашел и напечатал в Биография Бакунина составленный последним проэкт письма Комитета Секции Альянса в романский федеральный Комитет. Нельзя с уверенностью сказать, тождественен ли этот проэкт с письмом, которое было в действительности послано, но мне кажется это вероятным. Вот этот проэкт:

„Международное Товарищество.

„В Федеральный Комитет романской Швейцарии".

„Комитет Секции Альянса Социальной Демократии.

„Граждане!

„Вы знаете все недоразумения, какие вызвало создание Секции Альянса социальной Демократии".

„Мы вступили по этому поводу в переписку с Лондонским Генеральным Советом, который, просмотрев нашу программу и наш устав, об'явил их согласными с общими статутами, вследствие чего он единогласно признал нас, как регулярную секцию Международного Товарищества Рабочих.

„В качестве таковой, мы просили кантональный комитет принять нас в федерацию женевских секций. Решением, принятым 16-го сего месяца, под разными благовидными предлогами, которые все противоречат столь свободолюбивым и широким принципам Международного Товарищества, Кантональный Комитет нам отказал.

„Мы обращаемся к вам с протестом против этого решения и мы убеждены, граждане, что, более проникнутые, чем Кантональный Комитет, этими великими принципами, которые должны освободить весь мир, вы признаете наше неоспоримое право войти в Федерацию секций романской Швейцарии.

„Имеем честь представить вам наши статуты. Мы убеждены, что просмотрев их, вы признаете, что, вполне согласные как с общими статутами, так и с статутами романской Швейцарии, они доказывают серьезное желание нашей секции содействовать всеми силами достижению великой цели Интернационала, окончательному и полному освобождению рабочего класса. От имени Секции Альянса Социальной Демократии.

Председатель, Бакунин.

Секретарь, Генг."

Федеральный Комитет не ответил нам отказом, но он отложил свое решение до более благоприятного момента, т. е. отложил его в дальний ящик.

Это решение было немедленно доложено на пленуме Секции Альянса*) Дювалем и Генгом, которые дали нам довольно интересные подробности относительно того, как было принято это решение. Федеральный Комитет состоял из семи членов, которыми были тогда: Гета, председатель; Анри Перрэ, секретарь-корреспондент; его брат Наполеон Перрэ, секретарь для Швейцарии; Мартен, Шена, Дюваль и Генг. Когда последний пред'явил письмо Секции Альянса с требованием принять ее в романскую Федерацию, на всех лицах появилось выражение большой нерешимости, чтобы не сказать смущения. Все начали говорить, что они сами были членами Альянса, за исключением Мартена. Никто не сомневался в том, что секция Альянса была регулярной секцией Интернационала, что, впрочем, было бы невозможно при наличии двух писем Эккарпуса и Юнга, написанных от имени Генерального Совета, и которые Генг представил им, и после того столь же решающего и всем им известного факта, что Секция Альянса послала своего делегата в Базель, который был принят, как таковой, с'ездом. Обязанность Федерального Комитета принять Секцию Альянса в романскую Федерацию была, стало быть, очевидна, бросалась в глаза, как говорил тогда наш бывший друг Филипп Беккер. Но с другой сторочы, Федеральный Комитет не мог совершить этот акт справедливости, не вызвав большого неудовольствия всех вождей реакционной или женевской клики, которая поняла таки, что эта маленькая секция способствовала, однако, памятному фиаско, какое она потерпела в вопросе программы и посылки делегатов на с'езд. Как выйти из этой дилеммы?

Первым взял слово г-н Анри Перрэ, великий дипломат женевского Интернационала. Он начал с признания, что Альянс был регулярной секцией Интернационала и при-

*) Первое собрание Секции Альянса, которое последовало за собранием федерального Комитета состоялось в понедельник 27 сентября; Бакунин председательствовал; было сообщено о решении федерального Комитета отложить ответ; Секция Альянса, Комитет которой 17 сентября решил, что в случае отказа федерального Комитета, будет разослан циркуляр всем романским секциям, решила пока ничего не предпринимать и подождать романского с'езда, который должен был состояться в апреле 1871 г.

Дж. Г.

знан, в качестве таковой, как Генеральным Советом, так и Базельским с'ездом; что это была, кроме того, секция с очень хорошими задачами, очень полезная, раз он сам входил в нее (он думал это, но в действительности он не был больше членом Секции;*) что требование ее вполне законно, но что Федеральный Комитет, по его мнению, должен был отложить принятие ее до дальнейшего времени, когда улягутся страсти, поднятые только что происходившей борьбой, и т. д., и т. д. Что касается г-на Гета, то он заявил откровенно, что он принял бы Альянс, что касается его, если бы в этой секции не было лиц, которые ему не нравятся. Мартен открыто высказался против. Шена спал. Решено было отложить принятие на неопределенное время.

Секция Альянса, выслушав этот доклад, сделанный Генгом и сопровождавшийся коментариями Дюваля, решила аппелировать против этого решения, или скорее против этой нерешительности федерального Комитета к будущему с'езду секций романской Швейцарии.

В конце октября я оставил Женеву, куда вернулся только в конце марта 1870 г., и я просил, уезжая, своих друзей, Перрона и Робэна, заняться немного Альянсом. Они обещали.

Они не сдержали своего обещания; они не могли его сдержать, и я был неправ, просив их об этом, зная что тот и другой в сущности были против существования этой секции. Поэтому они сильно способствовали оба ее деморализации, дискредитированию ее среди друзей Юрской Федерации и подготовили ее крушение, так как их убеждения и характер брали естественно верх над данным ими мне формальным обещанием.

Их система, (это говорится только для близких друзей) была диаметрально противоположна системе Альянса. Альянс всегда предпочитал многочисленным общим собраниям маленькие собрания в двадцать, тридцать, самое большее в сорок человек, беря себе членов из всех секций и выбирая по возможности наиболее искренно преданных делу и принципам Интернационала. Он не довольствовался только развитием принципов, он старался развивать характеры, вызвать единение, солидарное действие и взаимное доверие людей серьезных, с твердой волей; он хо-

*) Он был вычеркнут из списка членов.

Дж. Г.

тел, одним словом, создать пропагандистов, апостолов и, наконец, организаторов. Интригам женевской реакционной клики он хотел противопоставить революционную солидарность. Он не относился с пренебрежением к общим собраниям; наоборот, он считал их очень полезными, необходимыми в выдающихся случаях, когда нужно принять решительные меры, взять позицию с одного маху. Но даже для достижения этой цели, для того чтобы обеспечить себе эту победу, он полагал, что личная предварительная подготовка на маленьких собраниях абсолютно необходима, чтобы, через посредство этих подготовленных, сознательных личностей, сознание массы могло проникнуться истинным смыслом, значением и целью, скрывающимися в вопросах, предлагаемых на решение общих собраний. Альянс полагал, с большим основанием, что эта личная, столь необходимая, подготовка, что это создание выдержанных, прочных идей и убеждений невозможны на больших народных собраниях, на которых не может быть высказано многое очень важное и решительное и которые дают ораторам едва необходимое время, чтобы слегка коснуться главных вопросов. Наконец, на общих собраниях невозможно узнать лучших людей, личностей с твердым характером и волей, тех, кто в мастерских оказывает законное влияние на своих товарищей. Обыкновенно не эти выступают на собраниях; удерживаемые застенчивостью и каким то суеверным культом к ораторскому искусству, они скромно молчат и предоставляют говорить другим; так что, обыкновенно, с обеих сторон выступают одни и те же ораторы, повторяющие более или менее одни и те же стереотипные речи. Все это прекрасно для словесного фейерверка, но не годится или, по крайней мере, недостаточно для торжества революционных принципов и для серьезной организации Интернационала.

Перрон и Робен, поклонники парламентаризма, несмотря ни на что, платонические поклонники гласности, воображали, наоборот, что нужно делать все открыто и перед огромной публикой: посредством газеты, на собраниях и на общих собраниях. Все, что могло делаться вне этой системы общей и абсолютной гласности, не на виду у всех, казалось им интригой; они не были очень далеки от того, чтобы обвинять Секцию Альянса, если не в интригах, как это делала любезная Фабрика, то, по меньшей мере, в мелочной фракционности и узкой односторонности. Я не знаю'

не обвиняли ли они ее даже более или менее в интриге, что было до последней степени несправедливо и ложно.

Интриговали самым гнусным образом главари женевской клики, в особенности после их громкого поражения в конце августа. Они систематически распространяли, посредством своих агентов, которых они посылали на лесные дворы и в мастерские строительных рабочих, и посредством секционных комитетов, громадное большинство которых было им предано, самые гнусные клеветы против Броссэ, Бакунина, Перрона, Робена. Вся интрига Альянса, напротив, состояла в развитии, все более и более энергичном, принципов и революционной цели Интернационала и в раскрытии реакционных теорий и целей, а также подлых. . . . .*) женевской клики.

Пока велась упорно эта работа, Альянс, несмотря на свою малочисленность, представлял силу; он был силой, в особенности, благодаря действительной искренней дружбе, взаимному доверию, которые господствовали в его среде. Каждый чувствовал себя в своей семье. Перрон и Робен внесли в Альянс совершенно иной дух. Во всей наружности Робена есть что то нервное, задирчивое, что, вопреки его самым лучшим намерениям, действует разлагающим образом в рабочих группах. Перрон с неприветливой наружностью, пренебрежительным и в то же время застенчивым видом, с некоторой женевской сухостью, которая так мало соответствует его скрытой сердечности и теплоте, скорее отталкивает чем привлекает к себе,— он отталкивает в особенности от себя строительных рабочих, невежество и грубость которых, повидимому, вызывают в нем по меньшей мере пренебрежение к ним.**)

---

*) Здесь Бакуниным пропущено одно слово в рукописи, вероятно, „действий" или „клевет", *Дж. Г.*

**) Это главным образом их вина, что Дюваль нас оставил; они находили оба, что Дюваль глуп, пустомеля и обращались с ним соответствующим образом. Они были неправы. Я знал тоже все слабости Дюваля, но пока я оставался там, он нам был вполне предан и часто очень полезен. Если-бы я остался в Женеве, он никогда не оставил бы нас, ибо у меня был обычай никогда не пренебрегать ни одним из наших союзников и всегда поддерживать с ними связь. Я не довольствовался днями наших заседаний; я старался встречаться с ними каждый вечер в Кружке, стараясь всегда поддерживать в них их доброе расположение. Это иногда очень скучная работа, но необходимая; благодаря тому, что они не делали этой работы, Робен и Перрон оказались в день кризиса без поддержки, без друзей; и уход от нас Дюваля, очень влиятельного в секции столяров, причинил нам большой вред. (*Примечание Бакунина*).

Первое, стало быть, что они оба внесли в Альянс, это неуверенность и холод. Они принесли с собой туда, кроме того осуждение, которое они носили уже в глубине своего сердца и мысли, против Альянса; так что под их скептическим и ледяным дыханием все живое пламя, все взаимное доверие и вера Альянса в себя заметно уменьшились, и в конце концов совершенно исчезли. Наконец, они убили секцию, предложив ей, в качестве секретаря, мальчика, едва умевшего мыслить и писать, маленького Сутерланда, после чего они оба перестали присутствовать на ее заседаниях.

Они были неправы, ибо Альянс был единственным местом, где они могли бы назначать свидания и встречаться с самыми влиятельными и наиболее преданными строительными рабочими, беседовать с ними свободно, раз'яснять им смысл и цель вопросов, которые дебатировались в Интернационале, и обеспечить себя этим путем помощь масс строительных рабочих. В Кружке эта открытое раз'яснение было невозможно, ибо Фабрика ввела там систему шпионства, которая парализовала всякую свободную беседу. Вне Альянса оставалось, следовательно, единственное средство видеться с строительными рабочими: это итти к ним в мастерские; но помимо того, что это было слишком трудно и потребовало бы огромной траты времени, это было еще опасно в том отношении, что в мастерских можно было встретить агентов Фабрики и быть, больше чем когда либо, обвиненным в интригах. Робен и Перрон предпочли, стало быть, сложить все, что касалось лично пропаганды среди строительных рабочих, на Броссэ. Но Перрон, по крайней мере, должен был знать Броссэ. Несмотря на свои инстинкты, свой внешний вид и красноречие народного трибуна, это самый себялюбивый и тщеславный человек, самый непостоянный и недоверчивый в мире. Он может стать, временно и при данных обстоятельствах, превосходным орудием, но невозможно на него положиться, когда требуется продолжительная и постоянная работа. Когда еще была жива его жена, дело шло ничего себе. Это была мужественная женщина, верный друг; она была его добрым гением вдохновителем. Но после смерти своей жены Броссэ потерял половину своей общественной ценности. (Все это для близких друзей, и я надеюсь, что те, кто прочтет эти строки — даже если прочтет их Перрон, которого я не имею больше чести считать среди своих друзей,— не будут рассказывать Броссэ).

Наконец, деятельность и личная пропаганда Робена и

Перрона, носящихся исключительно с своей дорогой гласностью и пропагандой с барабанным боем и маленькими медальками,*) были ничтожны и по этому самому их публичная пропаганда как посредством газеты, так и на народных собраниях была осуждена заранее на полное фиаско.**)

Несчастная кампания Перрона и Робена

Осень и зима 1869-1870 г.

(Для очень близких друзей)

Всякий фельдмейстер, пользующийся небольшой известностью, знает секрет какого нибудь смертельного удара, который он никому не откроет и при помощи которого он почти уверен положить на месте своего противника.

Я давно пришел к убеждению, что Перрон думает, что он обладает секретом такого удара, способного сразить реакционную интригу и сделать его хозяином политики в Интернационале. Уже в конце весны 1869 г. он говорил мне: „Предоставь мне исключительное, абсолютное руководство нашей пропагандой и нашей деятельностью в женевском Интернационале и я отвечаю за то, что через короткое время мы одержим победу над нашими противниками, мы будем хозяевами". На это я ответил ему, что я ничего не имею против, того чтобы послушаться его советов и даже последовать его тактике, тотчас же как только я смогу убедиться, что она хороша, но что для этого необходимо, чтобы он изложил мне сначала свой план действия, защиты и нападения, и чтобы он убедил меня, что план этот хорош. „Нет, ответил он, оставь меня одного действовать не вмешивайся ни во что, только при этом условии я беру на себя ответственность за успех." Т. е. он требовал ни больше ни меньше, как абсолютной диктатуры для себя и слепого подчинения с моей стороны; больше чем слепого подчинения, моего полного устранения. Это было слишком, не правда ли? Слишком со стороны Перрона в особенности, который, хотя и одаренный достойными уважения качествами, не доказал еще ни одним актом, что он обладает способностью и волею, силою и ясностью

---

*) См. прим. на стр. 132.

**) В конце этой страницы Бакунин написал „Конец завтра".

ума, необходимыми, для того чтобы диктаторски вести какое бы то ни было серьезное дело; слишком по отношению ко мне, на которого он, однако, не имел право смотреть, как на первого встречного.

Я чувствовал тогда большую — большую дружбу к Перрону, и у меня было большое доверие к нему, доверие, которое в то время начинало уже, однако, пошатываться,—такими странными мне казались его неуверенность, капризы, его каждый день меняющиеся суждения, небрежность, забывчивость, временами экзальтированный под'ем, за которым почти всегда следовали невероятный упадок духа и явное равнодушие ко всему. Очевидно, это не была натура человека постоянного в своих мыслях, твердого и настойчивого в своих действиях, это была скорее натура сентиментального человека, поэта. Он не обладал характером диктатора, и если он считал себя в тот момент способным выполнить эту роль, ясно было, что он ошибался на свой собственны счет.

Не сердясь, я ему мягко напомнил, что между нами не может быть речи о диктатуре, что наш закон, это коллективное действие. (Теперь, когда друзья юрцы меня знают немного, я обращаюсь к их суду. Нашли ли они во мне тень диктаторских стремлений? Горячо и глубоко убежденный, когда я нахожусь среди друзей, я им излагаю, и при случае горячо защищаю перед ними, свои убеждения. Но хотел ли я когда нибудь навязать их, или, когда большинство решало иначе, не подчинялся ли я всегда его голосованию? Мои юрские друзья убедились, надеюсь, что во мне вера, скажу почти исключительная, фанатическая, в коллективные мысль, волю и действие очень серьезна.) На все мои увещания Перрон отвечал: „или ты мне дашь одному действовать, или я ничего не буду делать.“ Конечно, я не мог согласиться на такой договор; и, действительно, с той поры, за исключением нескольких очень редких случаев, в которых он оказал нам очень полезную поддержку, он почти ничего не делал.

Накануне моей поездки в Локарно он был сияющий: он был заметно доволен. Он мог, наконец, без всякой помехи с моей стороны, испробовать свой ловкий и смертельный удар. Он взял себе в товарищи, в советники, в помощники, как *alter ego*, Робена, с которым он, повидимому, был в больших ладах.

Я вышел из редакции газеты *Egalité* за два дня до поездки на Базельский с'езд. Я формально заявил о своем уходе в редакционный комитет, намереваясь поехать сейчас же после с'езда в Тессинский кантон, остановясь лишь на несколько дней в Женеве. Я пробыл в Женеве гораздо больше чем. я думал; но занятый всякими делами, я не вмешивался больше в редакцию газеты и не ходил на заседания женевского Интернационала.

По моем возвращении из Базеля, Перрон спросил меня: „хочешь что нибудь написать еще в газете? Если хочешь, то сделай это, чтобы закончить свой труд.“ Я ответил ему, что мне нечего было больше прибавить к идеям, которые я развивал в газете, и что я больше ничего не буду писать. „Хорошо, ответил он; ты выполнил свою миссию, теперь очередь за нами. Ты развил главные идеи, теперь нужно постараться, чтобы они вошли в сознание всех, заставить всех полюбить их, принять. Чтобы достигнуть этой цели, мы с Робеном решили переменить систему. Нужно теперь успокоить страсти. Для этого нужно понизить тон, говорить более примирительным языком и в газете и на собраниях Интернационала, заключить мир со всеми.“

Я ответил ему, что не очень верю в этот мир, но, что, быть может, они правы и что во всяком случае, не особенно надеясь на это, я желаю им искренно обоим успеха.

Так как они хотели мира, а война была только с Фабрикой, ясно, что Перрон и Робен надеялись помириться с Фабрикой, не делая ей, однако, никаких уступок в области принципов, на что ни Перрон ни Робен не были способны. Знаменитый удар Перрона заключался, стало быть, в следущем: коллективную собственность, уничтожежение государства и юридического права, столь горькие вещи для сознания буржуа, сделать такими милыми, сладкими, такими приятными на вкус, что Фабрика, несмотря на свою буржуазность с головы до ног, могла бы их проглотить и принять их, сама того не замечая.

Перрон и Робен вообразили, стало быть, что между Фабрикой и нами было только теоретическое разногласие, они не замечали, что, практически, нас разделяла пропасть Они не принимали в расчет ни честолюбия, ни интересов главарей женевской клики, ни тесного союза, который уже установился между радикальной буржуазией и рабочими-буржуа Женевы, ни, наконец старой и сильной организа-

ции секций Фабрики, с их узким патриотизмом и женевским тщеславием.

Носящиеся с гласностью, как я уже говорил выше пренебрегая личной пропагандой, которая, быть может, противоречила их доктринерскому, слегка спесивому уму, как единственные средства они употребляли газеты и общие собрания, которые должны были устраиваться раз в неделю в Temple-Unique. Я забыл было медали и летучие листки. [1]

Вооруженные этим оружием, они открыли свою новую кампанию, которая началась при чрезвычайно благоприятных обстоятельствах, обещавших успех. Фабрика, счастливая тем, что избавилась от меня, им мило улыбалась. Обе стороны встретились на одной из братских пирушек. Броссе, Робен и Перрон были приглашены и приняты с почетом. Утин, еще невинный и любезный, не решивший еще какой партии он должен держаться, чтобы сделать благодаря ей свою карьеру, начинал проявлять себя. Гросселен пил за здоровье редакции *Egalité*, заявляя, что эта газета стала теперь достойным органом Интернационала. Произошло об'яснение в любви. Утин, растроганный, произнес какую то речь. Перрон и Робен приняли его в качестве третьего лица, как в некотором роде драгоценного помощника как в газете, и на общих собраниях. Новый Мессия, вскарабкавшись на их плечи, торжественно вступил в новый женевский Иерусалим.

Однако, накануне и в самый день от'езда я умолял Перрона и Робена остерегаться этого интригана еврейчика. Я знал его и знал, чего он хотел. Перрон мне ответил, что я „всегда занимался больше людьми, чем принципами." Я пожал плечами и замолчал. Не один я предупреждал их против Утина. Жук говорил мне, что он также не раз советовал Перрону не доверять этому господину, но Перрон также резко ответил ему, как и мне. Хотел бы я знать, что думает теперь об этом Перрон: кто из нас был прав, он или мы?

Общие собрания, на которые главным образом расчитывали Перрон и Робен, обманули их ожидания. На них

[1] Робен придумал медали для пропаганды, так называемые медали „Интернационала", которые, вычеканенные из аллюминия, могли продаваться по ничтожной цене; он выпустил также маленькие прокламации, левая сторона которых была смазана клеем, так называемые „бабочки", предназначенные для того, чтобы их всюду расклеивать. *Дж. Г.*

редко бывало больше пятидесяти человек, из которых, по крайней мере, половина были случайными посетителями, которые приходили не для собрания, а по привычке, в кружок для того чтобы выпить кружку пива. Что касается человек тридцати внимательных слушателей, то это всегда были одни и те же. На собраниях этих дебатировались всевозможные вопросы, более или менее исторические и отдаленные, за исключением вопросов, которые действительно касались положения и организации женевского Интернационала: это были деликатные вопросы, которые разбирались при закрытых дверях комитетов и женевской олигархии. Другие вопросы мало интересовали аудиторию, так что число слушателей заметно уменьшалось. Впрочем, эти собрания имели свою пользу: Утин, покровительствуемый Перроном и Робеном, научился там ораторскому искусству и готовил себе местечко в Интернационале.

Медали и летучие листки были бы очень полезны рядом с другими более действительными, более серьезными средствами. Но одни они оставались тем, чем были,—невинным занятием.

Оставалась газета. Первые номера были довольно невинны. Этого требовала осторожность. Нужно было переменить фронт так, чтобы это было незаметно. Но газета не могла оставаться долго в этом состоянии невинности. или она должна была изменить своей миссии и превратиться в ничто. И вот, страшные вещи: коллективная собственность, уничтожение государства и юридического права, атеизм, социальная пропасть, разделяющая буржуазию от пролетариата, война, об'явленная всякой буржуазной политике начали опять показываться в ней; и по мере того как они выплывали наружу, поднималась также буря, какую эти вопросы должны неизбежно и всегда вызывать в буржуазном сознании. Вери и Пайяр, два представителя реакции в редакции газеты, поддерживаемые Фабрикой, начали опять все настойчивее и громче свои красноречивые протесты; и так как Робен чрезвычайно нервный человек и мало терпеливый, то война снова началась,—и знаменитый удар оказался бессильным свалить врага.

Перрон во всей этой кампании очень плохо расчитал. Он пренебрег пропагандой и организацией строительных

рабочих и наметил себе главной целью обратить Фабрику,[1]) точно женевскую Фабрику было так легко обратить. Я не говорю, что ее совершенно нельзя обратить. Юрские рабочие также рабочие часовщики. Они зарабатывают столько же, сколько и женевские рабочие, однако, это не помешало им со всей страстностью воспринять духом и сердцем все наши принципы. Правда, юрские рабочие не были организованы с давних пор в духе узкого и тщеславного патриотизма, как женевские рабочие. Всетаки я допускаю, что благодаря настойчивой личной пропаганде, можно было, и теперь можно, правда довольно медленно, переделать дух и чувства женевской Фабрики. Для этого нужно было бы сначала разыскать во всех секциях Фабрики наиболее передовые умы и сердца, и, разыскав их, заняться специально их развитием, в духе наших принципов, связаться с ними, часто встречаться с ними и не оставлять их до тех пор, пока они действительно не стали бы разделять эти принципы. Но это медленная работа, трудная, требующая много настойчивости и терпения, —качества, которых, к сожалению, недостает Перрону, также как и Робену; так что можно сказать, что они ни на один шаг не подвинули социалистические и революционные убеждения Фабрики.

Они пренебрегли строительными рабочими и оставили их, и не завербовали фабричных рабочих, так что в то время как они воображали, что с ними весь женевский Интернационал, строительная Секция и Фабрика, у них в действительности никого не было, даже Утина, их протеже и в некотором роде их приемного сына. Они воображали, что стоят на такой твердой почве, что считали себя достаточно сильными для того чтобы начать войну против Лондона. Помните этот знаменитый протест против линии поведения Генерального Совета, и против того, что он занимался исключительно английскими делами, протест составленный Робеном и Перроном, и посланный ими для подписи Юрской федерации, в Италию и Испанию? Он послан был мне тоже. Прочитав их имена и имя Гильома, я подписал его, чтобы не отделяться от своих друзей и не порывать солидарности, которая связывала меня с ними; но подписав его, я написал Гильому, что я о нем думал. По моему, это был с одной стороны, несправедливый протест и с другой—не-

[1]) Фабрика обнимала собой рабочих, занятых в производстве часов.
Прим. перев.

политичный и нелепый. Очень хорошо для нас, что этот протест, увы! подписанный испанцами и итальянцами, был похоронен. Ибо, если бы он увидел свет, то-то стали бы кричать против нас и обвинять нас в интригах![1])

Другое доказательство ослепления, в каком Перрон и Робен находились по отношению к своему собственному положению, к своей реальной силе, это способ об'явления войны Вери. Небывалая вещь в Интернационале,—они выдвинули личный вопрос:„ Он или мы; или он выйдет из

[1]) Я позволю себе для пояснения этого абзаца, привести здесь одно место из *Интернационала* (том I, стр. 269), где я говорил об инциденте, о котором упоминает здесь Бакунин:

„Когда Генеральный Совет послал различным комитетам, 16 января 1870 г., свое *конфиденциальное Сообщение* от 1-го января, Робен и Перрон, с своей стороны, в своем неуместном рвении предприняли один шаг, еще более неразумный, чем все статьи в *Egalité*, (статьи, в которых Робен нападал на Генеральный Совет). Они составили,- или скорее Робен составил, так как я думаю, что он один владел пером,- нечто в роде петиции Генеральному Совету, которую они дали подписать нескольким членам Интернационала, делегатам Базельского с'езда, чтобы послать потом в Лондон. Не помню, в каких выражениях она была составлена. Все, что я могу сказать, это то, что они передали мне ее прося меня подписать. Я имел слабость дать свою подпись. Затем они послали эту петицию также другим, между прочим, Сентиньону в Барцелоне и Бакунину в Локарно. Бакунин и Сентиньон подписали и последний послал затем этот документ Варлену в Париж. Мы читали по этому поводу следующее в обвинительном акте против тридцати восьми членов Интернационала, обвиняемых в том, что они входили в тайное общество (заседание 22 июня 1870 г. 6-й камеры Исполнительного трибунала в (Париже): „Сентиньон из Барцелоны (Испания), один из делегатов Базельского с'езда, передает Варлену, 1-го февраля, документ, полученный им из Женевы, и который он просит, после того, как он будет подписан членами Интернационала в Париже, переслать Ришару, который доставит его в Женеву. Это петиция Генеральному Совету сделать более тесной связь с Сообществом, путем частых и регулярных сношений." (*Третий процесс Интернационала в Париже, стр. 42*). Посылая Варлену этот документ, Сентиньон писал ему: „следует ли еще заметить вам, следящему, без всякого сомнения за современным движением Франции, что самые серьезные события могут возникнуть со дня на день, и чрезвычайно печально, что Генеральный Совет давно не ведет деятельной переписки с теми, кто окажется во главе революционного движения?" Мне помнится, что Варлен заметил Робену,—как Бакунин заметил мне,—о неуместности предлагаемого шага: после этого замечания авторы петиции отказались послать ее в Лондон.

Из слов Бакунина („Было очень хорошо для нас, что этот протест был похоронен...") видно, что он не знал в тот момент, что „петиция" была послана в Париж Сентиньоном, что письмо Сентиньона Верлену было прочитано во время процесса в июне 1870 г., потом напечатано в томе, изданном Ле-Шевалье и что, следовательно, Маркс мог знать о попытке Робена и Перрона. *Дж. Г.*

редакции, или мы"! [1]) Они ошиблись в двух вещах. Во-первых, они думали, что если они выйдут из редакции, то никого не найдется, чтобы редактировать газету; они не приняли в расчет тщеславия Вери и интриг Утина. Вери, поддерживаемый глупым поведением Фабрики, был счастлив возможностью печатать свои длинные статьи, которые обыкновенно не принимались двумя первыми редакциями. А Утин, змееныш, отогретый на их груди, ждал только момента, когда он, вооруженный своим ужасным хвастовством, своим медным лбом и своей рентой в пятнадцать тысяч франков, может получить их наследство. С другой стороны, они вообразили, что огромное большинство женевского Интернационала было за них,—а не нашлось никого, чтобы их поддержать. Так что когда, осуществив свою угрозу, они удалились, никто не удерживал их, никто не плакал. Наконец, последнее их фиаско был их план, комбинированный вместе с другом Джемсом для перенесения федерального Комитета и в особенности редакции газеты на Юру. Этот проект так хорошо держался в тайне, что на следующий же день он был разглашен в Женеве [2]); и это

---

[1]) Вот, как Робен рассказал сам (в *оправдательной записке*, составленной им в 1872 г.) об этом вмешательстве Вери, результатом которого было то, что *Egalité* попало в руки Утина. „Война началась по поводу замечания, появившегося в газете относительно библиотеки, которая была закрыта три с половиной месяца, под предлогом ремонта, который в действительности не производился. Бедняга (Вери), озлобленный, благодаря ужасной болезни, которой он страдал, одновременно входивший в состав библиотечной комиссии и в совет редакции, явился в этот последний и начал нас оскорблять, так что мы должны были потребовать от него, чтобы он подал в отставку под угрозой, что иначе мы выйдем все. Он отказался, мы вышли". Семь членов редакционного комитета *Egalité* из девяти заявили о своем уходе письмом от 3 января 1870 г. Романский федеральный комитет в восторге принял отставку и известил романские секции (циркуляр от 5 января 1870 г.), что он „принял необходимые меры, чтобы помочь оставшимся членам редакции в их работе так, чтобы газета не переставала выходить до романского съезда, который состоится в апреле месяце". Оставшиеся члены были Вери и Ф. Пайяр; федеральный комитет дал им в товарищи Утина и Ж. Ф. Беккера; последний, накануне еще горячий друг Робена и Перрона, превратился на следующий же день в их отчаянного противника: он получил инструкции из Лондона. Все подробности этой печальной и в то же время смешной истории находятся в *Интернационале*, т. I. *Дж. Г.*

[2]) Читая это место Бакунина можно подумать, что между Робеном, Перроном и мной, и еще другими друзьями был составлен план, который должен был держаться в секрете, но который был неловко разглашен, благодаря чьей то нескромности. В действительтости не было никакой тайны в этом проекте вырвать *Egalité* из рук Утина, который

было главной причиной бури, которая должна была разразиться позднее в Шо-де-Фоне. После чего Робен уехал в Париж[1], а Перрон, знаменитый тактик со своим секретом ловкого удара и неудавшимся диктаторством, удалился, надувшись, в свой шатер.

Утин один наполнил пустоту, образовавшуюся в Женевском Интернационале после их одновременного ухода.

Необходимо теперь чтобы я сказал несколько слов о г-не Утине. Он слишком большая особа, чтобы можно было его обойти молчанием.

Утин, Маккавей и Ротшильд женевского Интернационала.

Сегодня вечером я хочу позабавиться. Я отложу до завтра продолжение моей второй статьи против Мадзини[2] и постараюсь нарисовать портрет г. Николая Утина.

Сын очень богатого откупщика винной торговли, — самая гнусная и самая выгодная в России, — Утин, нужно ли это говорить? еврей по рождению и, что хуже, русский еврей. У него его лицо, темперамент, характер, манеры, вся его нервная натура, одновременно нахальная и трусливая, тщеславная и торгашеская. Кроме двенадцати

забрал редакцию мошенническим способом: мы об'явили публично, что будем требовать от с'езда романских секций решения перенести газету из Женевы. Вот, что мы читаем в *Mémoire de la Fédération jurassienne*, стр. 98: „С этого времени (января 1870 г.) обсуждалась в юрских секциях идея предложить романскому с'езду, который должен был состояться в апреле, перенести газету в другой город, чтобы удалить ее от вредного влияния реакционной среды. С'езд должен был также избрать новый романский федеральный Комитет: никто из нас задолго до этих событий не думал оставлять его два года подряд в Женеве, так как было решено в принципе переводить его каждый год в различные города: весь вопрос был в том, какой город после Женевы окажется в наилучшем положении, чтобы стать в продолжение 1870-1871 г. местопребыванием федерального Комитета: и колебался между Локлем и Шо-де-Фоном. Эти вполне законные переговоры по поводу готовящихся предложений романскому с'езду, из которых никто не думал делать тайну, были представлены позднее женевскими инакомыслящими, как заговор: они упрекали нас, как в преступлении, в том что мы смели думать о том чтобы перенести, как этого требовали статуты, газету и федеральный Комитет в другой город". — Бакунин, который находился в Локарно с ноября 1869 г., был очень неполно осведомлен о том, что происходило в Женеве и на Юре после его от'езда: и не подозревая этого, он повторяет здесь то, что говорили наши противники, клика из Temple Unique. *Дж. Г.*

1) **Вначале февраля 1870 г.**

2) 24 августа Бакунин послал мне 79—98 страницы *Доклада об*

тысяч франков в год, которые ему в настоящее время дает отец, он унаследовал еще от него и его гнусной торговли,—в которой в детстве, до юношеского возраста он принимал деятельное участие,—гений и традицию грязных сплетень, коварства, интриги. У него медный лоб; ему ничего не стоит солгать. Он глубоко лжив и, когда ему нужен кто нибудь, для его тщеславия или алчности, он становится любезным, ласковым, льстивым; люди, не посвященные, сказали бы, что это лучший малый в мире. Нельзя сказать, чтобы он был дураком; напротив, вместе со страстью ко лжи, он обладает хитрым умом, всем плутовством эксплоататоров людских слабостей и глупости. Но он также глупец, влюбленный в себя. Вот его главная слабость, Ахиллесова пята, подводный риф, о который он всегда будет разбиваться. Он подыхает от чрезмерного тщеславия, которое в конце концов всегда выдает всем его истинную натуру. Его умственные способности очень небольшие. Я встречал мало людей, ум которых был бы столь бесплоден, как его. Очень усидчивый, он читает всевозможные книги, но не понял ни одной из них. Он в действительности неспособен понять идею. Благодаря упорной работе, он удержал в памяти массу фактов; но эти факты ему ничего не говорят, они его давят и только еще больше выдвигают наружу его глупость-ибо он приводит их вкривь и вкось и по большей части выводит из них нелепые следствия. Но если он не в состоянии понять истинный смысл идеи, он изощряется в фразелогии. Он живет, дышет фразой, тонет в ней. И главная цель, последнее слово этой фразы, это он. Он находится в вечном самопоклонении. Все его идеи и убеждения, которые он меняет в зависимости от потребности момента, только пьедестал, служащий для того чтобы приподнять его маленькую особу.

Спрашивается, каким образом такой ничтожный человек мог подняться до роли диктатора, какую он играет теперь в женевском Интернационале? Этот вопрос разрешается очень просто. Во-первых и прежде всего, среди общей бедноты он является счастливым владельцем годовой

[illegible] На следующий день 25-го, дневник его показывает, что он начал писать „вторую статью против Мадзини“, потом прервал вечером эту работу, чтобы приняться опять за составление *Доклада*. Мысль начертить портрет Утина приводит его в восторг, поэтому он и начинает этой фразой „Сегодня вечером я хочу позабавиться“. *Дж. Г.*

ренты в двенадцать или пятнадцать тысяч франков; прибавьте к этому страшное тщеславие и честолюбие, медный лоб, отсутствие добросовестности, абсолютное равнодушие ко всем принципам и удивительное интриганство. Это настоящая натура демагога, за вычетом храбрости и ума.

Благодаря могуществу своего отца, он мог обойтись без гимназических экзаменов и в 1860 — 1863 г.г. был студентом петербургского университета. Это была эпоха крупного политического и социалистического брожения в России. В петербургском, московском, казанском университетах происходили сильные беспорядки. Эти волнения молодежи имели серьезную основу, но в них много было также шумного задора. Они были серьезны, поскольку оказывали поддержку народному движению, в особенности движению крестьян, которые были в таком возбуждении на всем протяжении империи, что все в России, даже официальные круги думали, что была близка революция.

Движение молодежи казанского университета имело положительную связь с крестьянским движением. Что касается студентов московского университета и в особенности петербургского, они поднимали шум, как артисты, для забавы и чтобы удовлетворить своему дешевому тщеславию. В то время была мода на заговоры, и заговоры устраивались безопасно. Правительство, ошеломленное, не мешало; и молодежь открыто составляла заговоры, громко крича о своих революционных планах.

Можно себе представить, как прекрасно себя чувствовал г. Утин. Он катался, как сыр в масле. Это было его царство, царство фразы и дешевого героизма. Он называет себя учеником, другом Чернышевского. Я ничего не могу сказать положительного в этом отношении, ибо кроме самого Утина, никто никогда не мог мне ничего сказать о характере могущих существовать между ним и Чернышевским отношений. Но я уверен, что он лжет. Чернышевский был слишком умен, слишком серьезен, слишком искренен для того, чтобы он мог переносить такого деланно экзальтированного, бесстыдного фразера и влюбленного в себя мальчишку, как Утин. Вероятно, с его отношениями с Чернышевским дело обстоит так же, как с его якобы дружескими отношениями с Серно-Соловьевичем. Вы читали или слышали о его речи, произнесенной на открытии памятника

на могиле Серно?*) В этой речи Утин говорил о своей дружбе с последним, о их взаимной симпатии, говорил, что Серно поощрял его русскую пропаганду. На самом деле, Серно относился с глубоким отвращением к Утину; он говорил о нем всегда с презрением. „Если кто нибудь заставил меня относиться с омерзением к слову революция, сказал он мне как то, так это Утин“. По всей вероятности, так же было и с Чернышевским.

Утин эмигрировал в 1863 г., летом. Начались преследования, а Утин не был человеком, который стал бы подвергать себя опасности. Он любил ее только в воображении и издали. Я встретил его в Лондоне в обществе Огарева, по своем возвращении из Стокгольма. Он мне совсем не понравился. Он мне показался, очень тщеславным, большим фразером и все.

С тех пор я его не видал больше в продолжение четырех лет, что я провел в Италии. Я встретил его снова в 1867 г., в Женеве, куда я приехал, чтобы принять участие на с‘езде Мира. Я обратил на него так мало внимания в Лондоне, что когда он представился мне, я его не узнал. Но с тех пор он не отходил от меня. На этом с‘езде я приобрел некоторую популярность: этого было достаточно для Утина, чтобы он захотел во что бы то ни стало сделаться моим другом. Он мне тогда еще больше не понравился, чем в Лондоне. Он ненавидел Герцена, который, вопреки тому, что думал Маркс, никогда не был моим другом,**) и Утин не раз повторял мне; „Я говорю всем, кто спрашивает мое мнение: Я сторонник Бакунина, не Герцена“. И, действительно, многие мои французские друзья, Рэй, Эли Реклю, Наке и другие меня спрашивали: „Кто этот маленький господинчик, который твердит нам постоянно, что он ваш сторонник, а не Герцена?“

После этого я опять потерял его из виду. Но с января до октября 1868 г. я имел счастье видеть его каждый день и мог изучать его. Мы образовали около Веве нечто в роде маленькой русской колонии: были Жуковский с женой, г-жа

*) Открытие памятника имело место 26 декабря 1869 г., на кладбище Plainpalais (в Женеве). В *Egalité* был дан отчет об этом, в номере от 1 января 1870 г.

**) Бакунин хочет сказать, что Герцен никогда не был его „политическим“ другом, участвовавшим вместе с ним в революционной деятельности.

Дж. Г.

Левашова, сестра Жуковской, княжна Оболенская, Мрук*), Загорский. Затем прибавились Утин с женой.

Восемь-девять месяцев, проведенных вместе больше чем достаточно, чтобы изучить досконально этого господина. Результатом этого взаимного знакомства было, с моей стороны, глубокое отвращение, а с его неутолимая ненависть.

Жук в то время предложил мне основать русскую газету. Муж г-жи Левашовой дал для этой цели тысячу рублей Жуку. Но г-жа Левашева, которая возгорела безумной страстью к Утину, хотела непременно, чтобы последний принял участие в редакции газеты. Между нами и Утиным было абсолютное несходство,—не идей, ибо собственно Утин никогда не имел никаких идей и говорил, что мы должны принять принципы, какие русская молодежь найдет нужным в нас влить,—было абсолютное несходство характеров, темпераментов, целей. Мы хотели само дело, Утин заботился только о себе. Я долго противился всякому союзу с Утиным. Наконец, я устал и уступил; и после короткого опыта, так как деньги были собственно г-жи Левашовой, я оставил Утину газету вместе с ее названием**).— Я никогда не кончил бы, если бы принялся рассказывать все жалкие и гнусные интриги Утина.

Прежде чем вступить в Международное Товарищество, я был интернационалистом. Утин, наоборот, выдавал себя за патриота, националиста говоря, что интернационализм—измена по отношению к отечеству. На этом основании он не хотел ехать на Бернский с'езд. Однако, он поехал на этот с'езд и играл там самую смешную роль.

Когда, решив выйти из Лиги Мира и Свободы, мы собрались, мои друзья и я, чтобы держать совет, какую нам вести линию поведения, Утин, не приглашенный, явился к нам. Я попросил его удалиться, сказав, что мы хотели остаться одни. Можете представить его бешенство! В этот вечер мы основали Альянс, и вы понимаете, что Утин должен был сделаться от'явленным врагом Альянса.

После Бернского с'езда я перебрался в Женеву, и с октября 1868 г. до сентября 1869 г. я встретил его случайно раза три или четыре. Летом 1869 г. в двух русских

---

*) Польский майор Валерьян Мрочковский, известный позднее под именем Острога.

**) Газета называлось *Народное Дело* Бакунин сотрудничал только в первом номере, вышедшем 1 сентября 1868 г.

Лег. Г.

воззваниях, одном, подписанным моим именем, переведенным на французский язык и напечатанном в газете *Liberté***), другом без подписи, я нападал на идеи или, скорее, на смешные фразы его русской газеты, что конечно, не увеличило его дружбу ко мне. Я уверен, что он никого и никогда ненавидел больше, чем меня.

Это не помешало ему, когда мы встретились на Базельском с'езде, куда он явился, окруженный своей женской свитой, играть роль публики, назвать себя публично еще раз моим другом. Он видел, что я был довольно влиятельным и это ему, без сомнения, импонировало. Он принял участие в банкете, имевшем место после с'езда, и произнес обычную речь о женщинах, вообще, и о русских женщинах в частности. И нужно сказать, он должен им поставить большую свечу. Этот еврейчик имеет особенную привлекательность для этих дам, они липнут к нему, как мухи к куску сахара, и он вертится среди них, и распевает победоносно как петух в своем курятнике. Они преклоняются перед ним, восторгаются его горячей самоотверженностью, его еврейским героизмом и его фразами. И нужно ему отдать справедливость, он умеет извлекать пользу из этих дам. Он превратил их всех в пропагандисток и интриганток для себя. Они воспевают всюду его добродетели и, бесстыдные как и он, клевещут на всех, кто осмеливается ему не понравиться. Я, разумеется, стал им ненавистен. На Базельском с'езде эти дамы, управляемые великим стратегом, разделили между собою роли. В особенности английские делегаты, которые показались им, вероятно, наиболее глупыми и которые в глазах Утина имели заслугу быть более или менее друзьями Маркса и в то же время членами Генерального Совета, сделались специально предметом предупредительности и кокетства этих дам.

Итак, в этой речи, произнесенной во хвалу „нашим сестрам", Утин, говоря обо мне, употребил следующее выражение: „Г. Бакунин, мой соотечественник и друг"; после чего он подбежал ко мне и сказал: „Вы не сердитесь на меня, не правда ли, что я назвал вас своим другом?" „Нисколько", ответил я. После чего мы разошлись и встретились в Женеве раза два-три. Накануне своего от'езда,

**) *Несколько слов моим молодым братьям в России.* Напечатано во французском переводе в Женеве (в форме брошюрки, в мае 1869 г.) и затем в Брюссельской Газете *Liberté* от 5 сентября 1869 г.

Д-р Г.

прийдя проститься в Интернационал, я имел случай лишь возразить ему на несколько глупостей, высказанных им с трибуны**). С тех пор мы больше никогда не встречались.

Утин приехал в Женеву с двумя определенными целями, одной внушенной ему свирепой ненавистью ко мне, другой—его тщеславным честолюбием: уничтожить меня и сделаться великим мужем женевского Интернационала. Благодаря ловкости, умелой тактики и энергичной деятельности его друзей, он мог осуществить ту и другую.

В то время как наши два друга Перрон и Робен, носившиеся со своими стратегическими планами, считавшимися ими непреложными, духовно уверенные в своем торжестве, которое казалось им неизбежным, как настоящие отвлеченные теоретики, какими они были оба, шли по начертанному ими себе пути, ничего не видя и не стараясь даже наблюдать за тем, что происходило вокруг них, Утин, как практический человек, начал свою двойную интригу.

Первое, что он, разумется, сделал, это распространил против меня в женевском Интернационале самые гнусные клеветы. По моем возвращении в Женеву человек двадцать по крайней мере, среди которых приведу Бросса, Линдеггера, Дегранжа, Дешусса, Пинье, Сутерланда, Жука, самого Перрона, одного сапожника, и многие другие еще, имена которых я забыл, передали мне ужасные вещи, корые он распростанял обо мне: я жулик, интриган, мерзкий человек и нечестный в своих личных отношениях и т. д. Эта ненависть и это упорство в распространении клевет против меня были главным пунктом сближения между ним и главарями Фабрики Их соединенные усилия увенчались полным успехом. Когда я ооставил Женеву в октябре 1869 г., все строительные рабчие, за очень небольшим исключением нескольких человек из комитетов особенно завербованных женевской кликой и голосовавших вместе с ней,— были такими большими друзьями, моими, что пришли ска-

**) На общем собрании 27 октября 1869 г., отчет о котором имеется в Egalité от 30 октября, Утин произнес длинную похвалу трэд-унионам, которые он предлагал, как „модели солидарности и хорошей организации сопротивления“. Бакунин заметил, что „трэд-унионы имели гораздо менее радикальную цель, чем Интернационал, так как они стремились только улучшить положение рабочего в существующей среде, а Интернационал преследовал полное социальное преобразование, уничтожение власти хозяина и наемного труда“.

Дж. Г.

зать мне прощаясь со мной: „эти господа из Фабрики думают оскорбить нас, называя бакунистами; но мы им ответили, что мы предпочитаем, чтобы нас называли бакунистами, чем реакционерами.“ Но когда я возвратился в Женеву в конце марта 1870 г., я нашел их, если не всех враждебными по отношению ко мне, то по крайней мере всех предубежденно настроенными и недоверчивыми; я никоим образом не мог способствовать этой перемене, их по отношению ко мне, потому что в продолжение пяти месяцев своего отсутствия я не вел ни малейшей деятельности и не имел даже никаких сношений, ни прямых ни даже косвенных, с женевским Интернационалом. Эта перемена очевидно, следовательно, была работа моих врагов.

А что сделали мои друзья, чтобы защитить меня? ничего. Они не знали о гнусных клеветах, распространяемых против меня? Они не могли не знать о них, так как их повторяли в их присутствии. Но они боялись себя скомпрометировать, без сомнения, и скомпрометировать свой знаменитый стратегический план, защищая меня против несправедливых, смешных и гнусных нападок. Я не ручаюсь даже за то, что Перрон не испытывал некоторого удовольствия, видя меня опозоренным. Я его раздражал и, не желая сознаться в этом себе самому, он ненавидел уже меня, как упрек, большей частью немой, но тем не менее чувствительный для него, его фантазиям и слабостям. Без сомнения, он не особенно хорошо сам сознавал это,—мы не любили сознаваться себе в подобных чувствмх,—но он извинял свое невмешательство и свой нейтралитет в этом случае принципом, который я часто слышал в его устах и который всегда считал глубоко ложным: „Что не нужно заниматься личностями, а только принципами“. Что касается меня, который никогда не мог понять, чтобы принципы могли действовать без вмешательства людей им преданных и об'единившихся во имя их, я всегда придавал большое значение людям, пока они остаются верными принципам и как по инстинкту так и по сознательному убеждению, я всегда практиковал эту такую естественную и такую простую заповедь, быть другом друзей и врагом врагов моих союзников и друзей, которым я остаюсь верным до смерти или до тех пор, пока оне не изменили сами договору солидарности. Правда, Перрон делает одно исключение своему правилу абсолютного равнодушия к вопросам личностей. Он остается спо-

койным, когда нападают на его друзей, но становится свирепым, когда нападают на него самого. Вот Жук, например, другое дело: он прощает оскорбления даже личные. Он оставался восторженным поклонником г-жи Левашовой, нимфы Эгерии Нумы—Утина.—Однако, она не щадила для него ни оскорблений ни презрения.

Одним словом, ни Робен ни Перрон ничего не сделали для моей защиты против клевет Утина. Больше того: зная, что он клеветал на меня, который еще считался их союзником, их другом, они взяли его третьим в свою газету и в свою пропаганду; Робен, оставляя Женеву, передал ему все бумаги, касающиеся этой последней.

Утин оставался им верным в продолжение некоторого времени. Они оба представляли революцию против реакции, и он, который всегда выдавал себя за крайнего революционера, не мог прилично сразу перейти на сторону реакции. В начале борьбы Перрона и Робена против Бери, он увлекся до такой степени, что назвал публично шпионом этого бедного Бери на собрании Центральной Секции. Но когда наши два друга пустили в ход этот знаменитый удар, который, по их расчетам, должен был быть смертельным для их противников; когда газета, покинутая ими, осталась без редакции; когда благодаря интриге подготовленной задолго Беккером и Утиным, Фабрика сама предложила этому последнему взять на себя редакцию газеты, Утин счел момент благоприятным чтобы открыто заявить себя союзником Фабрики. И бедный Перрон, со всей своей искусной стратегией и со своим знаменитым смертельным ударом, остался с носом.

Таким образом открылось царство Утина.

ТРИУМВИРАТ

Утина, Беккера и Анри Перре.

Мы знаем теперь Утина. Теперь надо выяснить себе характер двух других членов этого триумвирата.

Анри Перре.

Этот портрет нетрудно нарисовать. Это Талейран в миниатюре реакционной партии женевского Интернационала. Очень нечистоплотный в своей личной жизни, презренный и презираемый своими согражданами, он держится в их среде благодаря своей замечательной эластичности и безграничной угодливости. Как и у Утина, у него нет никаких идей, никаких убеждений, которые бы были его и были

бы священны для него; он сообразуется всегда с духом людей, среди которых он находится, голосует всегда вместе с большинством и преследует только одну цель, держать поверх воды свою маленькую барку. С нами он был коллективистом, анархистом и атеистом. Когда Фабрика поднялась против нас, видя, что нельзя быть и здесь и там, он повернул против нас. Его вечное стремление, это оставаться всегда генеральным секретарем с тысячью восьми стами или, по крайней мере, тысячью двумя стами франков жалованья и быть во главе дирекции и финансовой администрации газеты. К несчастью для него, он сумел приобрести и сохранить за собой титулы, но не деньги. По крайней мере до сего времени[1]). Впрочем, тщеславный хвастун и болтливый, как сорока, лживый всем улыбающийся и всем изменяющий, он был естественным союзником Утина, говорливость которого, интриганство, медный лоб, бесстыдной лживости и в особенности и в особенности пятнадцать тысяч ренты должны были производить на него сильное впечатление.

Филипп Беккер.

Этот портрет гораздо труднее нарисовать, ибо рядом с дурными чертами, жалкими, презренными он имеет бесспорно почтенные черты. Начнем с последних.

. . . .

(На этом обрывается рукопись[2])

---

[1]) Эти странички рукописи (99-111) были мне присланы 27 августа; на обратной стороне последней Бакунин написал: *„Прочти конец моего доклада об Альянсе*, стр. 99-111. — Мне очень мало что остается прибавить: портрет Филиппа Беккера, их триумвирагорские подвиги в продолжение зимы 1869—1870 г. до с'езда в Шо-де-Фонде. Все остальное вам также хорошо известно, как и мне самому.“ *Дж. Г.*

[2]) Бакунин оставил у себя эту страницу (112), на которой он закончил портрет Анри Перре и написал первые три строки портрета Беккера. Но он не продолжал дальше.—Макс Нетлау нашел эту страницу в рукописях Бакунина и напечатал ее содержание в Биографии. *Дж. Г.*

Часть II

Послание моим итальянским друзьям.

Послание

моим итальянским друзьям,

по поводу рабочего с‘езда, созванного в Риме на 1 ноября 1871 г. Мадзинистской партией.

Дорогие друзья,

Тот, кто читал поистине вероломное письмо, адресованное Мадзини представителям рабочих на Римском с‘езде*), должен был понять, если он мог еще сомневаться до сих пор, что с‘езд этот был созван по наущению Мадзини, чтобы совершить целый переворот, не революционный, против системы правления, существующей ныне в Италии, но реакционный против новых идей и новых стремлений, которые, со времени славного и богатого опытом восстания Парижской Коммуны, начали вызывать заметное брожение среди пролетариата и молодежи Италии.

Нужно ли вам об‘яснять, как и почему Мадзини ненавидит эти идеи? Он достаточно сам говорил об этом во всех своих статьях, печатанных им в *Roma del Popolo*, в которых он сознательно клеветал на Парижскую Коммуну и на наше прекрасное великое Международное Товарищество Рабочих, принципы и действия которого—выражение стремлений народных масс Европы и Америки,—естественно противоречат установлению в Италии его теократической, авторитарной и централизованной Республики.

Мадзини, очевидно, испугался нового движения, которое происходит в настоящее время в Италии. Напрасно он нападал на него в своих статьях с известной вам неспра-

*) Письмо напечатанное в газете *La Roma del Popolo*, от 12 октября 1871 г. и в *Dovere*, от 15 октября 1871 г.

неслыханной и неистовой страстью, удивившей и опечалившей даже его сторонников и самых близких друзей. Он превзошел в своих оскорблениях и клеветах сами версальские официальные газеты.

Он одно время надеялся, что его крупный авторитет и имя достаточны, чтобы остановить это спасительное и неизбежное движение, которое толкает ныне все живое в Италии, т. е. пролетариат и наиболее умную, наиболее благородную часть молодежи, присоединить свои усилия к усилиям единственной организации, представляющей революционное движение Европы и Америки и не имеющей иной цели, кроме действительного и полного освобождения масс. Я говорю о Международном Товариществе Рабочих, которое объединяет в братский союз революционных социалистов всех стран и которое в настоящий момент насчитывает в своих рядах миллионы членов.

Против него борятся в настоящее время все правительства и все духовные и мирские представители реакционных политических и экономических интересов в Европе. С неменьшим остервенением борется против него и Мадзини, потому что существование и невероятный рост Интернационала разрушают и рассеивают все его мечты; потому что он видит, что в его мессианскую и классическую Италию вторгается чужеземное варварство; потому что он хочет воздвигнуть вокруг нее стену, не китайскую, а теологическую, чтобы изолировать ее от всего мира, дабы иметь возможность дать ей „национальное воспитание“, основанное исключительно на принципах его новой религии, и которое одно может сделать ее способной исполнить в третий раз в течение своей истории религиозную и мировую миссию, какую определил ей Господь Бог.

Но оставим шутки, дело очень серьезное.

Видя, что его статьи недостаточны, чтобы остановить грозный поток, Мадзини придумал другое средство; и по приказу из Рима несколько итальянских областей послали Пророку и Учителю адреса, в которых они соглашались с его выступлением и осуждали, как и Мадзини, Париж и Коммуну.

Это был прискорбный факт, целый скандал: итальянские рабочие, отрекающиеся от международной солидарности с своими товарищами по нищете, рабству и страданиям и клеветавшие на благородных борцов, мучеников Парижской Коммуны, которые совершали свою революцию

ради всеобщего освобождения; и это в тот самый момент, когда версальские палачи сотнями расстреливали их и тысячами сажали в тюрьмы, оскорбляли, мучили, не щадя ни женщин ни детей. Если бы эти адреса были верным выражением чувств итальянского пролетариата, это было бы позором, который итальянский пролетариат никогда не мог бы смыть с себя и который заставил бы отчаяться в будущем этой страны. К счастью, это не так, ибо все знают, каким образом были сфабрикованы эти адреса.

Это было лишь повторением того, что произошло в России в 1863 г. во время последнего польского восстания. Петербургские и московские так называемые патриотические газеты проклинали польское восстание, как мадзинистские газеты проклинали восстание Парижской Коммуны. Они указывали на союз всех революционеров Европы, поддерживавших Польшу, как теперь мадзинистские газеты указывают на Интернационал, который поддерживал Парижскую Коммуну и который даже, когда версальские теологи убили ее, имел величественное мужество громко выразить в наименее свободных странах, как Германия, при военном победоносном правительстве Бисмарка, свои горячие симпатии принципам и героям Коммуны.

Один только итальянский пролетариат молчал; или если и говорил, то против Коммуны и против Интернационала. Но это не он говорил: это оффициальный мадзиниянский мир осмелился оскорблять и клеветать от его имени.

Как в России, в 1863 г., адреса, составленные в высших сферах и полные ругательств, направленных против несчастных, но всегда героических поляков и благословений царю, были отправлены во все города, волости и деревни с наставлениями властям и священникам как нибудь заставить подписать их народ; так и в 1871 г. Рим, ставший центром двойного иезуитизма,—иезуитизма папы и иезуитизма Мадзини,—разослал наставления всему оффициальному мадзинистскому персоналу, рассеянному по всем городам Италии, внушить, продиктовать всем рабочим организациям адреса, наполненные ругательствами против Коммуны и Интернационала и благословениями Мадзини. Несколько организаций подписали эти адреса, не отдавая себе отчета в том, что они делали.

Но эти единичные и в очень небольшом количестве адреса не произвели никакого действия. Они не встретили отклика и остались погребенными в мадзинистских газетах

которые сами сторонники Мадзини читают скорее по обязанности, чем ради удовольствия. Тогда Мадзини задумал великий план, который, если он удастся, обеспечит, конечно, по крайней мере на некоторое время, ему и его реакционным, губительным для свободы идеям нечто в роде диктаторской власти в Италии.

План его таков:

Созвать в Риме,—будущей столице мира, к 1-му ноября с'езд представителей от рабочих всей Италии. Благодаря интригам мадзинистов, рассеянных по всем городам Италии и всюду более или менее влиятельным, интригам, которые бессильны отныне поднять Италию, но еще в состоянии благоприятствовать всюду реакции, будут сделаны и уже делаются неслыханные усилия, чтобы делегаты, посланные в Рим рабочими организациями, согласились признать диктатуру Мадзини. Таким способом надеются составить мадзинистский с'езд, который от имени двенадцати тысяч итальянских рабочих должен будет предать анафеме Парижскую Коммуну и Интернационал, провозгласить „Национальную мысль", программу Мадзини, и назначить „Руководящую Комиссию", нечто вроде правительства итальянского пролетариата, составленную из мадзинистов, наиболее слепо преданных и подчиненных абсолютной диктатуре Мадзини. Тогда пророк и его партия, опираясь на это торжественное народное признание их, предпишут,— не итальянскому правительству, перед которым они будут более безоружными и бессильными, чем когда либо, но итальянской молодежи, мятежникам свободной мысли, настоящим революционерам, атеистам, итальянским социалистам, склонить голову пред этой „национальной мыслью", под страхом быть об'виненными в восстании против воли народа и измены отечеству. Вот опасность, угрожающая вам. Я прекрасно знаю, что она не так велика для вас, как это воображает Мадзини. Я знаю, что он слишком ошибается, как и всегда, относительно последствий этого с'езда, даже если предположить, что результат его будет вполне благоприятным для него.

Действительно, предположим, что все произойдет так, как он этого желает, все, что будет сделано в Риме, будет лишь фикцией, и итальянская действительность, нисколько не изменившись, будет по прежнему совершенно обратной мадзинистским мечтаниям.

Возможно, наоборот, что после этого с'езда, благодаря некоторого рода естественной реакции, революционно-социалистическое движение станет еще сильнее в Италии.

Но отсюда не следует, что мы должны покориться философски торжеству, даже временному, Мадзини. Во-первых, это торжество может длиться слишком долго, а затем, вообще, „никогда не надо позволять своим врагам торжествовать, когда имеешь возможность помешать им это, или, по крайней мере, уменьшить их торжество". Бороться смертным боем со своим противником, не давать ему ни покоя ни отдыха есть доказательство энергии, жизненности и нравственности, какие обязана иметь всякая живая партия, как по отношению к самой себе, так и по отношению ко всем своим друзьям. Партия достойна жить, и способна победить только при этом условии. Наконец, есть другое соображение, гораздо более важное, и которое должно заставить всех наших друзей ехать в Рим, чтобы бороться против Мадзини, против его клевет и его вредного учения: это пагубное действие, какое этот с'езд итальянского пролетариата, если он будет проведен согласно желаниям Мадзини, не преминет произвести за пределами Италии на революционный пролетариат всего мира.

Италия, представленная на этот раз не правительством, не оффициальными и привилегированными классами, а рабочими представителями народа, опозорит себя, публично приняв сторону реакции против революции.

Представте себе, что должны будут почувствовать революционные социалисты всех стран, когда они узнают, что этот народный с'езд оскорбил и проклял Коммуну и Интернационал и что, осудив Италию осуществить идеи Мадзини, он решил сделать из нее новый теологический Китай в Европе!

Вот, чему надо помешать, чему вы должны помешать. Я скажу вам потом, как вы можете и должны будете сделать это; а пока рассмотрим послание Мадзини. Я никогда не читал ничего более вкрадчивого, более иезуитского, чем это послание. Оно начинается с уверения в уважении к воле и самодеятельности мысли народа.

Я не присваиваю себе права—говорит Мадзини—управлять вами и выступать за вас (ложь! все это послание стремится к этой цели); слишком много людей говорят ныне от вашего имени и повторяют высокомерную русскую фразу:

„Нужно научить рабочего, что он должен хотеть“ (клевета! ни один русский социалист никогда не говорил этого, ни один революционный социалист не мог этого говорить. Это Мадзини, а не мы, преподает „обязанности“, т. е. учит, что надо хотеть). Но мне кажется — продолжает он (слушайте!) — что я могу сказать вам, чего хорошая и искренно итальянская часть нации ждет от вас.

Что вы скажете на это? Можно ли быть большим иезуитом, более лукавым? Мадзини не хочет управлять рабочими; но в то же время он об'являет им, чего хорошие и искренние итальянцы ждут от них.

Не правда ли, это значит заранее заявить, что, если резолюции с'езда будут противоположны тому, чего хотят от него эти „хорошие“ или даже только будут отличаться от того, чего они ждут, они будут дурными и анти-итальянскими. Но что же подразумевает он под словом „управлять“?

И какая эта „хорошая и искренняя итальянская“ часть народа, от имени которой он чувствует себя в праве говорить?

Это не может быть, конечно, итальянский пролетариат, так как рабочие делегаты на с'езде должны знать его стремления и желания гораздо лучше, чем Мадзини. Следовательно, это должна быть итальянская буржуазия, если только это не исключительно мадзинистская партия, т. е. сам Мадзини.

Послушаем советы Мадзини:

Вы должны — говорит он — ратифицировать снова ваш договор и учредить, как представительницу его, такую власть, которая обладала бы условием действительной, мощной и длительной жизни. И это самое важное, что вы могли бы сделать. (Еще бы. Власть, уничтожающая всякую свободу! Вот по крайней мере, чистый модзинианизм!) С того дня, как вы сделаете это, начнется коллективная жизнь итальянских рабочих.

Стало быть, коллективная жизнь не в народных массах, эти массы, по мнению Мадзини, лишь механический агрегат личностей, общественность существует только у власти и может быть представлена только ею. Мы постоянно наталкиваемся на эту проклятую фикцию государства, которое поглощает и сосредоточивает в себе естественную коллективную жизнь народа и которое по этому самому, вероятно,

и считается ее представителем, как Сатурн представлял своих сыновей, по мере того как он пожирал их.

Таким образом, продолжает Мадзини, *вы создадите орудие, чтобы при помощи его дружно идти вперед.* (Т. е. вы создадите себе начальство, которому исключительно будет принадлежать всякая инициатива и без позволения которого вы не сможете сделать ни одного шага. Вы превратите всех итальянских рабочих в пассивное и слепое орудие в руках Пророка). *И вы сможете тогда* (но только тогда, и это понятно) *создать связь с своими братьями других стран, которую мы все желаем и хотим* (кто все? мадзинисты) *при помощи смешной, потому что бессильной системы, установленной Республиканским Союзом Мадзини* (Alleanza Republicana), *но связь, признанную национальной концепцией* (т. е. союз, заключенный и признанный исключительно центральной властью против всей рабочей массы), *и не входя в качестве отдельных личностей или небольших групп в огромные иностранные, плохо организованные общества* (тут речь идет об Интернационале), *которые начинают вам говорить о свободе, чтобы неизбежно притти к анархии и деспотизму центра и города, в котором находится этот центр.* (Анархия, это мы, сторонники уничтожения государства в Интернационале; деспотизм—немцы в Интернационале и Лондонский Генеральный Совет, сторонники централизации, народного государства).

Мадзини любит деспотизм, он слишком пророк, слишком жрец, чтобы не обожать его; только, из уступая духу времени он называет его „свободой". Мадзини хочет римский деспотизм, но не лондонский; а мы не жрецы и не пророки и одинаково отвергаем как лондонский, так и римский деспотизм.

Весь этот параграф имеет главной целью сделать невозможным учреждение Интернационала в Италии. Он определенно запрещает как личностям, так и местным рабочим группам примыкать к Интернационалу, и установить прямую братскую связь с ним. Он дает это право только правящей и центральной власти,—благослови ее, Господи, и чорт ее побери!—которая будет установлена в Риме; что неизбежно приводит к уничтожению автономии инициативы, независимой жизни, мысли и действия, словом, свободы всех мест-

ных рабочих организаций и всех итальянских рабочих, взятых в отдельности.

Что касается связи с Интернационалом, то нечего опасаться, чтобы „Центральная Комиссия“, руководимая Мадзини, заключила братский союз с этим „иностранным сообществом“, которое проповедует принципы диаметрально противоположные принципам итальянского Пророка Отсюда неизбежно последует абсолютное одиночество итальянского пролетариата, который будет находиться в стороне от огромного солидарного движения европейского и американского пролетариата.

Этого именно и хочет Мадзини. Это будет смертью Италии, но в то же время торжеством мадзинистского Бога.

Очевидно боясь, чтобы какие нибудь анти-мадзинистские элементы, какая нибудь социалистическая или атеистическая мысль не проникли на с'езд, Мадзини принимает предосторожности. Он советует выработать прогрессистский порядок дня, — это слово „прогрессистский“ в данном случае поистине смешно и употреблено здесь, очевидно, только для того, чтобы пустить пыль в глаза рабочим и повторить лишний раз одно из любимых выражений святейшей мадзинистской теологии,—итак, значит, прогрессистский порядок дня, который должен исключить из обсуждения с'езда все религиозные, политические и социальные вопросы: Мадзини полагает, что он недостаточно еще магнетизировал итальянских рабочих и, следовательно, боится, что они уступят своим естественным инстинктам и примут сторону свободы против лжи мадзинистской теологии.

Пусть несколько человек среди вас, говорит он, составят прогрессистский порядок дня, который исключит из программы с'езда до тех пор, пока не будет достигнута цель (т. е. учреждение мадзинистской диктатуры), всякие дискуссии по религиозным, политическим и социальным вопросам, по поводу которых с'езд может ныне только вынести декларативные резолюции, легкомысленные и смешные по своему бессилию. Когда будет достигнута цель, когда будет закончена внутренняя организация вашего класса (абсолютное подчинение итальянских рабочих диктатуре Мадзини), вы будете обсуждать, если у вас будет время, какие вам угодно вопросы.

Это „если у вас будет время" прямо восхитительно. Еще один поистине изумительный фокус! И вся тактика Мадзини, как я докажу в ряде статей, предпринятых мною против него, есть не что иное, как сплошное мороченье, цель которого доставить торжество, при помощи всеобщего избирательного права и сила народных мускулов, теократической авторитарной системе, противной инстинктам, потребностям, всем стремлениям народа, и создать именем народа и за его счет орудие угнетения против него самого.

Если у вас не будет времени на то, вы предоставите Центральной Власти изучить вопросы, которые вы найдете важными.

Не достаточно ли это ясно? Все принципиальные вопросы будут решаться Центральной Комиссией, первым опытом мадзинистского Государства-Церкви. Народные массы, т. е. местные группы и организации, не должны ни рассуждать ни спорить: они должны повиноваться и верить. Жизнь всех, поглощенная и искаженная в центре, парализованная и бездейственная на всей переферии: так хочет Бог Мадзини, уничтожающий и пожирающий Италию.

Страна (читайте: буржуазия) смотрит на вас с тревогой, внимательно и сурово (я думаю, что у этой буржуазии суровый вид, раз она имеет своими представителями и ангелами-хранителями жандармов): если она встретит на вашем с'езде, как на других с'ездах, имевших место за пределами Италии, бурю разнародных мнений (т. е. жизнь, энергию, страстную и живую мысль и волю, которые имелись у Италии в такой большой степени в эпоху ее наибольшего процветания, в средние века, когда она была жива), необузданно длинные речи (ложь! На с'ездах Интернационала никто не имеет права говорить больше четверти часа и больше двух раз по одному и тому же вопросу), бесполезные и по поводу вопросов, обсуждаемых поверхностно (опять ложь! Обо всех вопросах, обсуждаемых на наших с'ездах, Генеральный Совет извещает за три месяца до с'езда, предварительно сговорившись со всеми нациями; потом местные организации во всех странах изучают и обсуждают эти вопросы в продолжение трех месяцев, так что делегаты их являются на с'езд почти всегда с императивными мандатами. Запретить местным организациям и народным с'ездам обсуждать самые

важные и самые жизненные вопросы, это, значит, об'явить —что, впрочем согласно программы Мадзини, что народ неспособен их понять и что он должен полагаться на решения святейшей власти). страна (т. е. буржуазия, сброд подлых привилегированных, которые обирают и угнетают народ), считая вас за совершенно неопытных и непредусмотрительных, найдет преждевременными (т. е. очень опасными для своих привилегий) выдвигаемые вами пути.

Но то, что следует дальше, поистине великолепно и показывает нам степень иезуитизма Мадзини. Запретив с'езду обсуждать религиозные, политические и социальные вопросы, и все это с явным намерением помешать антимадзинистам выразить свои идеи, он рекомендует делегатам с'езда сделать два „маленьких заявления", которые должны сразу разрешить эти вопросы в исключительно мадзинистском смысле. Это верх политической и теологической ловкости! Слушайте:

Только два заявления, мне кажется, требуется, как введение и общая инструкция власти, которую вы изберете (и которая давно уже готова в голове тайного мадзинистского комитета. Какой иезуитизм! Общая инструкция, которую мадзинистская власть сама составила посредством мадзинистского с'езда! Можно ли смеяться с большим бестыдством над народным простодушием? Политический деспотизм вместе с религиозным лицемерием—настоящая тактика Тартюфа)! необычайными обстоятельствами, в каких находится большая часть Европы. (Речь идет, стало быть, о том, чтобы противопоставить Италию, как реакционную преграду революционному движению Европы. Но тогда все европейские монархи поспешат заказать портрет Мадзини, и после его смерти святая католическая церковь будет поклоняться ему, как святому).

Не надо создавать себе иллюзий! Страна (буржуазия, Consorteria), которая начинала благосклонно относиться к успехам вашего движения (где и когда буржуазия показала эту благосклонность? Может быть, когда Consorteria и правительство ввели своих верных людей или свои креатуры,—префектов, полицейских, титулованную сволочь, оффициальную или оффициозную,—в качестве почетных членов во все рабочие организации Италии? Помимо этого систематического развра-

щения рабочих организаций, какую другую благосклонность оказывали им? Никакой, и Мадзини прекрасно это знает. Почему же он лжет?) и подвергать внимательному анализу все, что писалось нами и другими в пользу справедливого и неизбежного поднятия вашего социального положения (еще бесстыдная, гнусная ложь. Разве не знают все в Италии, что оффициальные лица и итальянская буржуазия, и сам Мадзини вместе с ними, начали заниматься социальным вопросом только со времени восстания Парижской Коммуны и только благодаря спасительному ужасу, какой возрастающее развитие Интернационала внушает всем привилегированным? Если бы весь социализм ограничивался жалкими писаниями Мадзини, в высшей степени анти-социалистическими, полными обманчивых обещаний для народа и действительного утешения для богатых буржуа, никто не обратил бы внимания на движение пролетариата, как никто не обращал на него внимания раньше. И Мадзини осмеливается требовать для себя и для своих честь за то, что, обязано единственно действию Коммуны и Интернационала, против которых он борется! Подлинная натура теолога!), со времени последних французских событий (которые— одни только пробудили, не нравственный интерес, но пораженное ужасом внимание „страны" к пролетарскому вопросу) с ужасом отвачивается от вас и расположена в данный момент поддержать глупую и безнравственную теорию сопротивления, более или менее принятую, в ущерб вам, всеми правительствами.

Теперь ясно видно, что Мадзини называет „страной" привилегированый класс, так как он сознается, что эта „страна" начинает подло склоняться на сторону правительственной реакции. И это об этой то оффициальной „стране" Мадзини осмеливается сказать: „Страна тревожно и внимательно смотрит на вас"? И для того, чтобы отвратить от себя суровый жандармский гнев этой низкой сволочи, которая для Мадзини составляет страну и чьим представителем он сам теперь является, итальянский пролетариат должен отречься от своих братьев Парижской Коммуны и Интернационала, героизм и сила которых вывели, наконец, буржуа из их презрительного равнодушия? И ради чего это? Для того, чтобы, принять модзинистский социализм, вернуть буржуазии, потерянную ею самоуверенность, ко-

торая ей необходима для того, чтобы спокойно пользоваться своими привилегиями. Поистине, не разберешь, где гнусное, где смешное в этих словах Мадзини!

Дикое вторжение, я не скажу учений, а произвольных и нерациональных отрицаний русских, немецких, французских демагогов явилось возвестить миру, что, для того чтобы быть счастливым, Человечество должно жить без Бога, без Отечества, без личной собственности и, для более последовательных и более смелых, без коллективной святости семьи под сенью муниципалитета каждой коммуны; и эти отрицания, благодаря ли безумному желанию новизны или обаянию силы, проявленной парижскими сектантами, встретили отголосок в меньшинстве нашей молодежи.

Вот форменный донос пролетариату на избранную часть итальянской молодежи. Намерение ясно. Раз эта молодежь не хочет больше служить органом для пропаганды мадзинистских идей, Мадзини старается дискредитировать ее, рисуя ее, как атеистов, анти-патриотов, врагов частной собственности, семьи и т. д. не замечая, даже не подозревая, что эти идеи уже назревают с некоторых пор в пролетарских массах а что они будут развиваться все больше и больше. И все это для того, чтобы помешать единственному, что может спасти Италию, союзу этой молодежи с народом.

Человечество смотрит и проходит мимо (какая красивая фраза! Кто же это Человечество, скажите на милость? Мадзини, Петрони, Саффи, Бруско и т. д.; только, они не „проходят мимо", но останавливаются, чтобы оскорбить и оклеветать нас), но нерешительная колеблющаяся, трясущаяся, легковерная буржуазия нашего времени („Страна") страшится малейшего призрака. Владеющая часть (А! А!) Страны, от крупного собственника до бедняка маленькой лавченки, начинают подозревать во всяком рабочем движении угрозу капиталу (и она права подозревать его в этом, потому что освобождение пролетариата невозможно без радикальной перемены в отношениях между капиталом и трудом), являющемуся иногда результатом наследства, чаще всего заработанному своим трудом! если только этот труд не состоял в эксплуатации труда пролетариата; но в таком случае, банкиры, жулики и разбойники также раб-

тают, и работают усердно, и депутаты в парламенте также ревностные работники), и она имеет право быть успокоенной.

Мадзини, очевидно, взял на себя эту задачу, и он выполняет ее очень хорошо! настолько хорошо, что до тех пор, пока рабочие массы будут находиться под его руководительством, буржуазия может спокойно спать. Но за то, и в силу этого именно, рабочий будет оставаться жалким рабом, единственным утешением которого будут векселя на небесное блаженство, которые даст ему Мадзини.

Но я знаю—продолжает он,—что эти безрассудные теории не ваши (он все знает, этот святой!) и поэтому я говорю вам: Важно для успеха вашего восходящего (к мадзинистской нелепости) движения и для Страны (нерешительной, колеблющейся и трясущейся буржуазии!), чтобы вы заявили об этом, важно, чтобы все знали, что вы не идете вместе с людьми, которые проповедуют эти теории (т. е. с Парижской Коммуной, с Интернационалом и с этой сознательной и благородной частью итальянской молодежи, которая одна только, без всякой задней мысли, посвятила себя народному делу; и чтобы народ слепо, глупо, реакционно, как бы решившись на чудовищное самоубийство, бросился в святые реакционные объятия Мадзини, осудив себя и своих сыновей вместе с собой на вечные нищету и рабство), что вы верите в священное слово „Долг" (т. е. во всю мадзинистскую теологию с его лживым социализмом), что вы стремитесь подготовить будущее, а не разрушить путем насилия настоящее (насилие позволяется только для свержения существующего правительства, для того чтобы заменить его мадзинистским правительством).

И во втором заявлении, заключающемся уже в вашем братском договоре, вы должны по моему, еще раз подтвердить что вы не разделяете экономическую проблему от нравственной (Интернационал так мало разделяет обе эти проблемы, что он провозглашает вторую, как нераздельное и непосредственное следствие первой); что вы чувствуете себя прежде всего итальянцами (следовало бы сказать, что будучи итальянцами, чего никто не может отрицать, вы чувствуете себя и хотите быть прежде всего людьми); что, хотя вынужденные обстоятельствами заниматься главным

образом улучшением условий своего класса (вот весь социализм Мадзини) *вы не можете и не хотите оставаться чуждыми и индифферентными всем политическим вопросам, обнимающим всех ваших братьев* (буржуа) *и общий прогресс Италии.*

Поэтому, вероятно, Мадзини запрещает рабочему союзу обсуждать вообще религиозные и политические вопросы. На первый взгляд это второе заявление, предлагаемое Мадзини, не представляет ничего неразумного, но присмотревшись к нему ближе, вы открываете в нем новую западню. Какие это великие вопросы, которые он ставит вне экономического вопроса, как будто бы они были совершенно чужды последнему и как будто бы они должны интересовать другие классы больше, чем рабочие массы?

Это религиозный вопрос и вопрос политический; но, отдельно от экономического вопроса, эти два вопроса могут быть разрешены только против пролетариата, как это всегда бывало в действительности до сих пор.

Интернационал обсуждает эти вопросы, и Мадзини не может простить ему такую дерзость; но Интернационал обсуждает их, как вопросы неразрывные от экономического вопроса, и отсюда происходит то, что он разрешает их в пользу пролетариата.

Интернационал не отвергает вообще политики, он необходимо должен будет вмешиваться в политику, пока он принужден будет бороться против буржуазного класса. Он отвергает только буржуазную политику и буржуазную религию, потому что первая устанавливает грабительное господство буржуазии, а вторая ее санкционирует и освящает. Буржуазия священна. Мадзини хочет запречь пролетариат в колесницу буржуазной политики, а этого-то мы и не хотим совершенно.

Но, продолжает Мадзини, *когда снова будет подтвержден братский договор и сделаны будут эти два заявления, из которых одно вас отгораживает от зла* (от Коммуны, от Интернационала, от мировой революции), *а другое связывает вашу судьбу с судьбами Италии* (с авторитарной, теологической и буржуазной политикой), *вы заботливо займетесь, надеюсь, внутренней организацией.*

Составьте в Риме Центральную Пра-

высшую Комиссию правительство, Государство—Церковь пролетариата из пяти рабочих, взятых среди лучших из вас.

Изберите Совет, составленный из тридцати или больше членов, выбранных среди делегатов различных местностей, представленных на Съезде и присоединившихся к договору, которым будет поручено следить, каждому в том городе, где он живет, за действиями Центральной Комиссии.

Не находите ли вы, что это будет очень серьезный надзор? Центральная Комиссия, снабженная полномочиями для разрешения всех вопросов, даже принципиальных, чуть ли не диктатура, сосредоточенная в Риме, и для наблюдения за ней Совет, состоящий из нескольких десятков рабочих, рассеянных по всем городам Италии, и лишенных, стало быть, всякой возможности сговориться между собою. Правда, для решения наиболее важных вопросов Центральная Комиссия обязана созывать их, но так как созыв будет обходиться дорого и так как рабочие вообще и итальянские рабочие в частности не богаты, то ясно, что Совет никогда не будет созываться. Мадзини предоставляет Совету право смещать своих членов провинившихся, если, однако, инициатива не будет исходить от определенного числа членов Совета, что предполагает постоянную переписку между ними, очень дорогую для рабочих. Ясно, что все, что Мадзини предлагает для того, чтобы ограничить диктаторскую власть Центральной Комиссии и следить за ней, смешно, и диктатура остается во всей ее полноте.

Мадзини предлагает, кроме того, создание еженедельной газеты, руководимой Комиссией, и официального органа, содержащего труды и пожелания рабочего класса (т. е. основание газеты, посредством которой, от имени итальянских рабочих, Мадзини будет навязывать итальянской демократии свою теологическую политику, как национальную мысль).

Такова, по моему мнению, заключает Мадзини, должна быть в настоящий момент ваша задача. Моя задача, если вы изберете комиссию, будет вручить ей отчет (а почему не Съезду?) о подписке, открытой мной в пользу вас,

и представить ей соображения, какие продиктуют мне мое сердце и ум.

Вот последнее слово: Мадзини диктатор, и в его руках весь рабочий класс Италии, скованный, парализованный, уничтоженный в пользу Центральной Комиссии, которая сама будет управляться Мадзини и станет орудием теократической республиканской реакции.

Наконец, идут священные фразы с существительными „Любовь“ и глаголом „Любить“, склоняемых и спрягаемых на различные манеры, и фокус проделан.

Но, не надо забывать, дорогие друзья, что я обвинял и обвиняю еще Мадзини в обмане, но не как личность, а как политика и теолога. Как личность, Мадзини остается по прежнему самым чистым незапятнанным человеком, неспособным сделать малейшую вещь не только несправедливую и низкую, но даже общедозволенную ради удовлетворения своих личных интересов, тщеславия или личного честолюбия. Но как политический деятель, как теолог, это самый отъявленный плут, быть может, потому что политика и теология не могут существовать без плутовства. Он считает, стало быть, нужным принести эту жертву ради торжества своего Бога.

Резюмируем в нескольких словах его предложения рабочим Италии:

1. Он предлагает им опозорить себя и отделиться от всего мира, отмежеваться от революции, предав торжественно анафеме Парижскую Коммуну и Интернационал. В вознаграждение за это он не позволяет им даже, заметьте, высказаться за Республику и навязывает им эту двусмысленную фразу—„они должны держаться в стороне от всех великих политических и нравственных вопросов, волнующих страну“;

2. Он предлагает рабочим Италии самим уничтожить себя, отказавшись от своих мыслей, от своей жизни в пользу Центральной Комиссии, которая будет управляться исключительно Мадзини.

Последствия:

а) Римский съезд опозорит Италию и бросит ее в сторону реакции против революции;

б) Он вырост пропасть между передовой и революционной молодежью и пролетариатом Италии во вред обоим;

в) Он парализует всякое идейное движение и всякую деятельность, всякое проявление самостоятельной жизни

внутри рабочих масс, так как движение и жизнь возможны только там, где существует полная независимость местных рабочих товариществ; а внутренняя организация, предлагаемая Мадзини, не имеет, очевидно, иной цели, как разрушить эту независимость и создать чудовищную диктаторскую власть, сосредоточенную в Риме в его руках. Местная рабочая организация не сможет, стало быть, отныне ни предпринять что либо, ни обсуждать, ни хотеть, ни думать без позволения этой пагубной центральной власти. Она не будет даже иметь право что либо предлагать центру, так как это право принадлежит исключительно тридцати членам Совета Надзора. Еще меньше она будет иметь право, я не говорю войти в прямые и непосредственные сношения с рабочими организациями других стран, но даже выразить им свою симпатию; так как это право принадлежит только Исполнительной Комиссии, и Интернационал будет предан анафеме Римским С'ездом. Что же останется на долю местных рабочих организаций? Ничтожество, извращенность, смерть. Они смогут, конечно, как в прошлом, забавляться небольшой взаимопомощью и попытками производительной и потребительной кооперации, которые в конце концов вызовут в них отвращение ко всяким товариществам;

г) Но, взамен, с'езд этот даст Мадзини большую силу, по крайней мере временную, потому что главная цель его превратить всю рабочую массу Италии в пассивное и слепое орудие в руках мадзинистской партии, чтобы изгнать из итальянской молодежи свободную мысль и революционную деятельность. Это последнее слово этого с'езда.

А теперь я спрашиваю себя: Допустит ли это итальянская молодежь?

Нет, она не может допустить это, не будучи изменницей, глупой и трусливой, не осудив себя на самое постыдное и смешное бессилие, не сделавшись соучастницей, по меньшей мере, преступления в оскорблении отечества и в оскорблении человечества.

До настоящего момента итальянская молодежь давала парализовать себя из уважения, конечно вполне законного, какое ей внушает великая личность Мадзини. Давно уже она отвергла религиозные теории Пророка; но она считала возможным отделить религию Мадзини от его политики. Она сказала себе: „Я отвергну его мистические фантасмагории, но, тем не менее, я буду повиноваться его политическому руководству", не понимая, что вся политика Пат-

риоти всегда была и будет не чем иным, как практическим воплощением религиозной мысли Пророка.

В сущности, нет ничего общего между программой молодежи и пролетариата и мадзиниевской программой. Первая имеет естественно свободу и развитие благосостояния и федерации, вторая ищет величие и могущество Государства и централизации, первая — социалистическая программа, вторая — теологическая и буржуазная. Каким образом при столь различных целях могут быть одинаковыми методы и способы действия?

Мадзини прежде всего человек власти.

Он, конечно, хочет, чтобы „массы были счастливы", и он требует от власти, чтобы она сердечно заботилась не только их воспитанием с точки зрения религиозного идеала, но еще насколько возможно их материальным процветанием; но он хочет также, чтобы это материальное процветание шло сверху вниз, исходило от инициативы власти и распространилось на массы. Он признает за этими последними лишь способность и право выбирать, прямо или косвенно, власть, которая должна управлять ими, право выбирать себе господина потому, что он не понимает и никогда не поймет, чтобы массы могли жить без господина, без начальства.

Это противно всем его религиозным и политическим инстинктам, которые буржуазны. Я прекрасно знаю, что в его системе начальство это не личное, а коллективное, и члены этого правящего коллектива могут быть переменены и замещены другими, новыми членами. Все это может представлять очень большой интерес для лиц и классов, которые могут разумно стремиться рано или поздно быть призванными в ряды правительства; но для народа, для народных масс эти перемены никогда не будут иметь реального значения. Можно прекрасно переменить лиц, которые будут составлять или представлять коллективную власть республики; но власть, начальство, останутся всегда. Народ ненавидит инстинктивно начальство и он имеет право его ненавидеть, потому что „Начальство" означает господство, а господство означает эксплоатацию. Природа человека такова, что если ему дадут возможность делать зло, т. е. вскармливать свое тщеславие, свое честолюбие, свою жадность, насчет другого, он это сделает. Мы, разумеется, искренние социалисты и революционеры; но если нам дадут власть и мы сохраним ее только в продолжении нескольких месяцев, мы не будем тем, чем мы являемся теперь. Как со-

циалисты, мы убеждены, вы и я, что социальная среда, положение, условия существования сильнее ума и воли наиболее сильной и наиболее энергичной личности и поэтому мы требуем равенства, не естественного, а социального, личностей, как условия справедливости и как основы нравственности; и поэтому также мы ненавидим власть, всякую власть, как ее ненавидит народ.

Мадзини преклоняется пред властью, перед идеей власти, потому что он буржуа и теолог. Как теолог, он не понимает порядка, который бы не был установлен свыше; как политик или буржуа, он не допускает, чтобы в обществе мог быть поддержан порядок без активного вмешательства, без управления господствующего класса, буржуазии. Он хочет государство, значит, он хочет буржуазию. Он должен хотеть ее, и если бы современная буржуазия перестала существовать, он должен был бы создать новую. Его непоследовательность состоит в том, что он хочет сохранить буржуазию и в то же время хочет, чтобы эта буржуазия не угнетала и не эксплоатировала народ; и он упорно не хочет понять, что буржуазия является господствующим классом и умственно развитой только потому, что она эксплоатирует и морит голодом народ; и что если народ будет богат и образован, как она, она не сможет больше господствовать, и не будет больше возможности для существования политического правления, потому что это правление превратится тогда в простую хозяйственную администрацию.

Мадзини не понимает ничего этого, потому что он идеалист, а идеализм состоит именно в том, что он никогда не понимает природы и реальных условий классов, а всегда извращает их, внося в них какую нибудь излюбленную идею. Идеализм—деспот мысли, как политика—деспот воли. Одни только социализм и позитивная наука умеют уважать природу и свободу людей и вещей.

Мадзини, стало быть, анти-революционер по своей натуре, по своим стремлениям чувствам и идеям; и он вправе упрекать молодежь в том, что она несправедливо обвиняет его, утверждая, что он изменился, что он противоречит теперь своим революционным доктринам. Нет, он не изменился, ибо он никогда не был революционером. Тем хуже для молодежи, если, ушедшая в мелочи постоянно проваливающегося мадзинистского заговора и довольствуясь словом „Республика“, которая может означать также рабство, как и свободу народа и которая в мадзинистской системе есть

совершенно обратное свободе, она никогда не давала себе труда до настоящего момента изучить более серьезно писания Мадзини. Если бы она это сделала, она убедилась бы, что с самого начала своей пропаганды Мадзини был горячим теологом, т. е. безусловным противником действительного освобождения народных масс безусловным анти-революционером.

Поэтому во всех движениях, которые он, я не скажу вызвал,—так как он в действительности не вызвал ни одного движения, и понятно почему,—но только предпринимал, Мадзини всегда тщательно избегал обращаться непосредственно с призывом к народным массам. Он согласился бы скорее подпасть под иго австрийцев и Бурбонов и даже папы, чем обратиться с призывом против них к пролетариату. И в этом, по моему твердому убеждению, заключается главная причина всех его печальных поражений. Давно пора отметить, что за исключением восстания Италии в 1848 г., столь славное начало которого и столь печальный конец обязаны были гораздо больше во-первых национальному чувству и во-вторых, поражению революции во Франции, чем мадзинистскому заговору, и за исключением еще победоносной войны Гарибальди в Сицилии и в Неаполе в 1860 г.,—войны, успеху которой не был чужд, как вам известно, Кавур,—ни одно из движений, ни один поход и ни одно вооруженное восстание, инициатива которых принадлежала собственно Мадзини, никогда неудавалось.

Его величайшей заслугой является то, что он поддерживал в продолжение сорока лет священный огонь в итальянской молодежи, сформировал ее, не для революции, а для геройской и всегда неравной борьбы против политических угнетателей Италии, местных и чужеземных, против врагов ее единства еще больше, чем ее свободы. В этом отношении, дорогие друзья, вы все его сыновья, или, скорее, его внуки, так как поколение его сыновей почти исчезло,—одни умерли, другие живут, но развратились, и очень небольшое число остались нетронутыми,—и никто лучше меня не понимает глубокого чувства признательности и уважения, которые вы все испытываете по отношению к Мадзини.

Только я прошу вас заметить, что он всех вас воспитал и сформировал по своему образу и подобию: это уже много, в самом деле, что вы начинаете ныне, не без труда, становиться революционерами против него, и большинство

из вас еще колеблется. Он учил вас бороться за Италию и презирать итальянский народ; не теологический и фиктивный народ, о котором он всегда говорит, но живые и реальные массы, нищенские и невежественные, и, „столь умные, однако, в своей нищете и своем невежестве“.

Как вы ни молоды и пылки, политическая и так называемая революционная система, которую он привил вам, еще живет, как наследственная болезнь, в мозгу ваших костей, и чтобы изгнать ее, вам нужно глубоко окунуться в народную жизнь. Эту систему можно резюмировать в двух словах: „Все для народа, ничего посредством народа“. В этой системе восстание против установленного порядка вещей и заговор в виду организации этого восстания должны быть совершены—и так это и делается—буржуазной молодежью при очень слабом участии нескольких сот городских рабочих. Пролетарские массы, и в особенности крестьяне, должны быть исключены; потому что они внесли бы в эту идеальную систему дикие порывы грубых и реальных страстей, которые расстроили бы неглубокие замыслы великодушной, но буржуазной с головы до ног молодежи. Когда строят план невинной революции, имеющей вполне определенную цель заменить существующую власть новой, необходимо сохранить во что бы то ни стало пассивность масс, которые не должны потерять драгоценную привычку повиноваться, и хорошее настроение и спокойствие буржуа, которые не должны переставать командовать и господствовать. Следовательно, нужно избегать во что бы то ни стало экономического и социального вопроса.

И, действительно, что мы видели? Стихийные движения народных масс—и очень серьезные движения, как движение в Палермо в 1866 г., и еще более сильное крестьянское движение во многих провинциях против несправедливого закона о взимании пошлины за помол—не встретили никакого сочувствия, или очень мало, со стороны революционной молодежи Италии. Если бы это последнее движение было хорошо организовано и управлялось умными людьми, оно могло бы вызвать громадную революцию. За отсутствием организации и вождей оно ни к чему не привело.

Но, год спустя, итальянская молодежь, инспирированная Мадзини и руководимая им, вознаградила себя. Это был, быть может, одним из наиболее крупных заговоров, подготовленных Мадзини, по числу принимавших в нем участие людей и по истраченным на него суммам. И что же?

Он провалился самым жалким образом. В различных местах страны поднялись банды в несколько сот смелых молодых людей, и эти банды рассеялись не перед королевскими войсками, а перед глубоким равнодушием крестьянских и рабочих масс. Этот роковой, но естественный исход должен бы был раскрыть глаза, не Мадзини, который никогда не раскроет их, а итальянской молодежи, которая, будучи юная, может еще их раскрыть.

Однако, она начала отделяться от Мадзини не на этой практической почве, а на почве теории, благодаря развитию свободной мысли. Я не буду рассказывать вам то, что вы сами хорошо знаете, а именно, каким образом по всей Италии самостоятельно образовались группы свободомыслящих буржуа. Но странная вещь, хотя они в умственном отношении освободились от их Учителя и Пророка, большинство из них продолжало и продолжает еще находиться под политическим игом Мадзини.

„Пусть он не трогает нашего свободомыслия, говорят они еще и ныне, и мы охотно отдадим себя руководству его патриотического и революционного гения, его опыта в заговорах и в борьбе за республику“.

И они не понимают, что невозможно быть в действительности „свободомыслящим“, не будучи в то же время социалистом в широком смысле слова; что смешно говорить о „свободной мысли“ и желать в то же время единой, авторитарной и буржуазной республики Мадзини.

В этом случае также Мадзини показывает себя логичным, гораздо более логичным, чем молодежь, которая называет себя материалистической и атеистической. Он сразу понял, что эта молодежь не могла и не должна была хотеть его республики. В статье „Терпимость и Индифферентность“, помещенной им в 34 номере La Roma del Popolo, он ясно говорит нам, что он согласен не касаться социального вопроса. Это доказывает, что он достаточно проницателен, чтобы понять, что нельзя быть материалистом и атеистом, не будучи в то же время социалистом в широком смысле слова.

Не логика ее собственного развития начала раскрывать глаза итальянской молодежи, а во-первых восстание и революция Парижской Коммуны и затем проклятие и единодушное и бешеное преследование Интернационала всеми правительствами и всеми реакциями Европы, не исключая Мадзини и мадзинистской партии.

В этом отношении Мадзини оказал нам большую услугу. Он доказал, что как скоро молодежь отошла от него в области мысли, она должна была отойти от него также и в области практической деятельности; он отверг ее и был тысячу раз прав. В этот раз он был гораздо откровеннее и честнее по отношению к ней, чем она смела и смеет еще быть по отношению к себе, и он вызывает ее быть серьезнее и мужественнее.

Да, эта молодежь должна иметь теперь мужество признать и провозгласить свое полное и окончательное расхождение с политикой, заговорщической деятельностью и республиканскими предприятиями Мадзини, под страхом оказаться осужденной на бездействие и постыдное бессилие. Она должна начать свою собственную политику!

Какая может быть эта политика? Помимо мадзинистской системы, которая является системой Республики—Государства, есть только одна, система Республики-Коммуны, Республики—Федерации, социалистической и действительно народной Республики, система *Анархии*. Это политика социальной революции, которая стремится к уничтожению *Государства* и к экономической, вполне свободной организации народа, организации снизу вверх федеративным путем.

Вот цель, единственно возможная для нее, если у нее есть цель, если она хочет иметь цель. Если у нее нет цели, если она не хочет иметь никакой цели, тем хуже для нее, потому что тогда она будет тысячу раз более недеятельной, чем мадзинистская партия: тогда она будет в некотором роде бессильным протестом против неразумия на самой почве неразумия и бессилия. Неразумие мадзинистов имеет, по крайней мере, за себя энергию страсти и безумия, они ведут кампанию, провозглашают свои нелепости с силой убеждения, которая всегда увлекает слабых; тогда как рациональный протест атеистической молодежи, слишком умной, чтобы верить в нелепости, но слишком неэнергичной, слишком мало убежденной и страстной, чтобы иметь мужество суметь покончить с ними совершенно, был бы чем то совершенно отрицательным, т. е. абсолютным бессилием. Но есть ли что нибудь в мире более низкое, более отвратительное и более постыдное, чем бессильная молодежь, молодежь, которая не смеет дерзать, которая не умеет противиться?

Итак, стало быть, ради своей чести, ради своего собственного спасения и ради спасения итальянского народа, который нуждается в ее услугах, материалистическая и атеистическая молодежь, согласуя свою волю и свои действия с своим свободомыслием, „должна хотеть" и начать теперь политику социальной революции.

Я уже сказал, чем является эта политика, рассматриваемая с точки зрения новой организации общества после победы. Но прежде чем создать, или лучше сказать, прежде чем помочь народу создать эту новую организацию, нужно получить победу. Нужно свергнуть то, что есть, чтобы иметь возможность установить то, что должно быть. Чтобы ни говорили, господствующая ныне система сильна не по своей идее и внутренней нравственной силе, которые отсутствуют в ней, но благодаря всей механической, бюрократической, военной и полицейской организации государства, благодаря науке и богатству классов, в интересах которых ее поддерживать. И одной из вечных иллюзий Мадзини, и наиболее смешной, является именно воображение, что можно сокрушить эту силу при помощи нескольких кучек плохо вооруженных молодых людей. Он хранит, однако, эту иллюзию и должен хранить ее, потому что, так как его система запрещает ему прибегать к революции масс, ему остаются, как средство практической деятельности, только эти кучки молодых людей.

Теперь, заметив, наверное, что эта сила слишком недостаточна, он старается создать себе новую силу в рабочих массах. Он решается, наконец, подойти к социальному вопросу и надеется воспользоваться им, как средством для практической деятельности. Впрочем, он решил сделать этот шаг не умышленно, а потому что был вынужден к этому событиями. Революция Парижской Коммуны пробудила не только молодежь, она пробудила также итальянский пролетариат. Затем появилась пропаганда Интернационала: Мадзини почувствовал замешательство, он был опечален и начал тогда свои бешеные нападки против Коммуны и против Интернационала.

Тогда именно у него и зародилась мысль о Римском съезде,—на котором должен будет в ближайшем будущем трактоваться, или скорее „мальтретироваться" социальный

вопрос,—и он обратился к итальянским рабочим с следующими словами*):

„Так как вы заслужили этого своей жертвой (!), так как вы не старались поставить свой класс на место других классов, а старались возвыситься вместе с другими (т. е. подняться до буржуазии), т. к. вы стремитесь к изменению экономических условий не из эгоистического желания материальных благ (возмутительная и клеветническая фраза, брошенная против несчастных мучеников Парижской Коммуны и Интернационала), а для того, чтобы иметь возможность улучшить свое положение в нравственном и умственном отношении (первое требование Интернационала заключается во всестороннем и равном образовании для всех; первая мысль Парижской Коммуны среди ужасной борьбы, о которой вы знаете, была учредить прекрасные школы грамотности для мальчиков и девочек, но рациональные, управляемые, сообразно человеческим принципам и без священников), вы имеете право ныне на Отечество свободных и равных граждан (Мадзини говорит здесь, как говорят детям? „Милые детки, так как вы были умниками, мы, ваши папаши, мы, буржуа, дадим вам конфетку“; и он забывает сказать итальянским рабочим, что в качестве конфект, варенья и засахаренного миндаля, буржуазия всегда давала народу лишь пули и картечь.—и что они всегда будут иметь лишь то, что будут требовать, как право, а не получат, как подарок), в котором вы будете иметь общее со всеми вашими братьями (буржуа) Воспитание. (Мадзини не говорит Образование, которое он отличает от Воспитания,—см. его книгу Doveri dell' Uomo,—и нисколько ненамерен дать пользоваться им всему народу в одинаковой степени. Что касается этого общего воспитания, о котором он столько говорит, это также ложь. Если он подразумевает под этим оффициальное преподавание общественной нравственности, то это делалось давно уже в католической церкви. Общественное воспитание, не фиктивное, а реальное, может существовать только в обществе, построенном на началах истинного равенства. Мадзини, конечно,

*) G. Mazzini. *Agli operai italiani. (Unità Italiana*, от 2[illegible] июля 1871 г.)

не думает уничтожить воспитания в семье; а так как воспитание дается гораздо больше жизнью и влиянием общественной среды, чем преподаванием всеми патентованными профессорами „долга“, жертвы и всех добродетелей, то каким образом воспитание может стать когда нибудь общим в обществе, в котором социальное положение как личностей, так и семей столь разнообразно и столь неравно?; *общее избирательное право, чтобы способствовать прогрессивному развитию страны* (читай: дать себе удобное, *общее оружие для защиты ее владычества и части*, которые давят вас своей тяжестью, для которых вы всегда будете служить молчаливым или пассивным пьедесталом и которые, прибавим, дают предлог для объявления враждебным народам войн, несущих разгром и нищету в их ряды, и для укрепления ига и буржуазного господства над массами); *освобождение от всякого прямого или косвенного налога необходимых жизненных предметов* (Маццини этим обещанием,—вечно повторяемым и никогда не исполняемым всеми людьми, оспаривающими друг у друга власть,—хочет обеспечить себе помощь рабочих. Но он обещает больше, чем может дать, если получит власть, ибо величие и могущество государства стоят дорого), *свободу труда* (она уже существует, и вся буржуазная система основана на этой свободе); *помощь в случае безработицы или если возраст и болезни не позволяют работать* (также невыполнимые желания при существующей экономической системе), *и наконец оказание благосклонности* (ах, вот, в чем дело: благосклонность! милостыня!—сострадание! милосердие! оказанные буржуазией, которая никогда их не окажет, потому что это было бы против нее самой) и *поддержку* оказанные *кредитом, нашим попыткам заменить мало по малу*, (при маццинистской системе, как я докажу это в своих статьях, по крайней мере, через тысячу лет) *современную систему наемного труда системой добровольного товарищества, основанного на соединении труда и капитала в одних и тех же руках.*

Ясно, что не буржуа, конечно, окажут рабочим такую благосклонность, которая еслибы она была действительно оказана, привела бы к полному крушению, к уничтожению буржуазного класса, существование которого основано всецело и исключительно на эксплуатации труда пролетариата

в пользу капитала, сосредоточенного в его руках. Как только кредит предоставит возможность широко пользоваться капиталом всем производительным товариществам, которые потребуют его, у рабочих не будет больше нужды обогащать, в качестве эксплуатируемых наемников, буржуазный капитал. Этот капитал не будет тогда больше приносить ни прибыли ни процентов. Самые богатые буржуа скоро проели бы свои капиталы и быстро спустились бы, в меньший промежуток времени, чем это думают, на уровень пролетариата.

Разве не ясно, что „владеющий класс“, буржуазия, должна всеми силами противиться всякой серьезной уступке, оказанной кредитом производительным товариществам, образованным пролетариатом? Кто же им даст этот кредит? Республиканское государство Мадзини? Тогда одно из двух: или кредит будет настолько смешон и мизерен, что, оставив все по старому, он лишь послужит для того, чтобы обмануть доверчивых рабочих, питать их иллюзиями до того момента, когда им надоест быть обманутыми и они восстанут, и тогда или свергнут это государство или же будут подавлены „патриотической армией“ мадзинистской буржуазии; или, же, наоборот, это будет серьезный кредит, способный действительно освободить рабочую массу, и тогда, угрожаемая неминуемым разорением, буржуазия восстанет и свергнет это искренно народное мадзинистское государство, если только она сама не будет раздавлена и уничтожена им.

Но что получится в последнем случае? Капиталистическое государство, ведающее всем национальным трудом, т. е. как раз коммунистическое, централизованное, всемогущее государство, разрушитель всякой свободы и всякой автономии, как личностей, так и коммун, такие, о каком мечтают ныне немецкие социалисты школы Маркса и против которого мы, анархисты, боремся больше, чем Мадзини, хотя и исходя совершенно из другой точки зрения.

Не отступайте от этой программы, продолжает Мадзини, *не отдаляйтесь от тех из ваших братьев, которые признают эти права* (только эти права? это весьма немного, и все сводится ко лжи. Но кто же эти такие великодушные „братья“? Многих вы знаете в буржуазном классе? Нет. Несколько десятков филантропов, непоследовательных, смешных и бессильных, сентиментальных риторов буржуазных съездов. Мадзинистская церковь, которая, бессильная сама по себе, будет иметь лишь

силу, какую согласится дать ей ослепление пролетариата, что означает, что Мадзини умоляет пролетариат уничтожить себя, чтобы он мог, от имени пролетариата, утешить и успокоить буржуа, и которые будут стараться при помощи всех нас, чью силу они предполагают парализовать, направить в другое русло и поглотить, устранить препятствия с пути к учреждениям, могущим признать их или охранять. Тот, кто звал вас к другому, не хочет вашего блага. Поберегитесь,—вопрос, сведенный к чистой силе, сомнителен."

Но если пролетариат не может добиться справедливости путем силы, кто же даст ему ее? Чудо? Мы не верим в чудеса, и тот, кто говорит о них пролетариату, лжец, отравитель. Нравственная пропаганда? Нравственное превращение буржуазии под влиянием пропаганды Мадзини? Но говорить об этом, успокаивать пролетариат смешной иллюзией, со стороны Мадзини, который должен хорошо знать историю, плохой поступок. Был ли когда нибудь, в какую нибудь эпоху, в какой нибудь стране хоть один пример, когда привилегированный и господствующий класс, сделал бы уступки свободно, добровольно, не будучи вынужден к тому силой или страхом? Сознание справедливости своего собственного дела без сомнения необходимо пролетариату для того, чтобы организоваться в силу, могущую победить. У него есть теперь это сознание; и там, где у него еще нет его, наш долг вызвать его; эта справедливость стала очевидной даже в глазах наших противников. Но одно сознание справедливости недостаточно; необходимо, чтобы пролетариат присовокупил к этому организацию своей силы, ибо,—не во гнев будь сказано Мадзини,—прошли те времена, когда стены иерихонские падали от трубных звуков, ныне силу может победить только сила. Мадзини впрочем, прекрасно это знает, потому что когда дело идет о том, чтобы монархическое государство заменить его государством, он сам взывает к силе.

Вот его собственные слова в Doveri dell Uomo: „Надо свергнуть силою грубую силу (т. е. монархическое государство), которая ныне мешает всякой попытке улучшения".

Стало быть, он тоже призывает силу против того, что он хочет серьезно свергнуть. Но так как он не имеет ни малейшего желания уничтожить господство буржуазии ни ее экономические привилегии, которые являются единствен-

ной основой существования этого класса, он старается убедить рабочих, что нет необходимости и непозволительно употреблять против нее иных средств, кроме иерихонских труб, т. е. моральных, невинных средств мадзинистской пропаганды. Можно ли предположить, что он сам ошибается до такой степени? Уже сорок лет, как он проповедует свой „закон жизни“, новое откровение. Убедил он и научил благонравию итальянскую буржуазию? Наоборот, мы видели и видим, что масса его прежних учеников и апостолов перешли в буржуазную веру. Оффициальная и оффициозная Италия полна ими. Кто среди правительственной сволочи и Consorteria, которые распоряжаются теперь несчастной Италией, не был в молодости более или менее мадзинистом? Сколько осталось теперь чистых мадзинистов, как Соффи, Петрони, Бруско, которые думают, что понимают догматы мадзинистской теологии и следуют ем? Две, три, максимум пять дюжин. Не является ли это доказательством бесплодности и плачевного бессилия учения и пропаганды Мадзини? И имея это доказательство—и, разумеется, горько оплакивая его,—несостоятельности своего учения, Мадзини осмеливается говорить рабочим, миллионам угнетенных рабов: „Не расчитывайте на свое человеческое право ни на свою силу, которая, конечно, велика, но которая мне очень не нравится, потому что она заключает в себе отрицание моего Бога и потому что она слишком пугает моих добрых буржуа, ваших старших братьев, как говорит Гамбетта. Доверяйтесь единственно целительному действию моей пропаганды“. Вот жизненный элексир, верное средство от всех зол, с двусмысленным содержанием!

Мы, наоборот, говорим рабочим: Справедливость вашего дела несомненна; одни только негодяи могут отрицать ее; вам недостает только организации вашей силы: организуйте ее и затем свергните все, что мешает осуществлению вашей справедливости. Сбросьте всех, кто вас угнетает. Потом, обеспечив хорошенько себе победу и разрушив то, что составляло силу ваших врагов, проявите гуманность по отношению к этим несчастным, побежденным и отныне безвредным и безоружным, признайте в них своих братьев и пригласите их жить и работать вместе с вами и как вы на незыблемой почве равенства.

Защитники существующего порядка, говорит дальше Мадзини, имеют освященную веками организацию, могучую, благодаря дисцип-

лине и рессурсам, какими никогда не сможет располагать никакое Международное Товарищество, против которого ведется неустанная борьба и которое вынуждено действовать тайно.

Бедный Интернационал! Мадзини прибегает ко всевозможным хитросплетениям и аргументам, чтобы погубить его в мнении итальянских рабочих.

Не верится прямо. Он, старый заговорщик, который в продолжение сорока лет только и делал, что основывал одно за другим тайные общества, обвиняет теперь Интернационал как раз в том, что он является тайным обществом! Он доносит на него итальянскому правительству и, потирая руки, как человек, сознающий, что он сделал доброе дело и довольный собой, он говорит затем себе и слушающим его итальянским рабочим: „Не будем больше говорить об Интернационале: преследуемый всеми правительствами и мною, он принужден скрываться; он не больше, как тайное общество, следовательно, он больше ни на что неспособен, он погиб“.

Говорите ли вы, господин Мадзини, то же самое вашим заговорщикам? И предположив даже, что вы говорите им тоже самое, было ли бы это истиной? Ведь, вы не можете не знать, что то, что вы говорите, ложь или, вернее, выражение надежды, желания, а не действительности. Был момент, когда правительства думали, как вы, что Интернационал может быть уничтожен; но теперь они не думают больше этого; и если вы один среди ваших новых друзей реакции думаете это, тем хуже для вашей прозорливости.

Не только Интернационал не уничтожен, но со времени поражения Коммуны он развился в Европе и Америке, стал более крепким, более обширным, более могучим, чем когда либо. Он существует, действует и открыто распространяется в Америке, Англии, Бельгии, Швейцарии, Испании, Германии, Австрии, Италии, Дании и Голландии. Только во Франции он вынужден теперь действовать тайно, благодаря республиканцам, вашим друзьям, и врагам Коммуны. Но не воображайте, что из за этого он стал менее могучим. Вспомните что вы сами, когда вы были гонимы и еще не сделались сами гонителем, твердили тысячу раз своим друзьям и ученикам: „Гонения увеличивают в сто крат страсть и, стало быть, силу гонимых“. Будьте уверены, что то же самое произойдет в Италии, когда правительство, уступив

своему страху и вашим внушениям, последует, как оно делает это уже теперь, примеру французского правительства.

Теперь, хотите вы знать, какая главная причина постоянно возрастающей силы Интернационала? Я вам об'ясню этот секрет, так как ваш ум, без сомнения великий, но ослепленный построенной на нелепостях системой, называемой вами, „вашей верой", стал неспособен разгадать его.

Интернационал могуч, потому что он не навязывает народу никакого абсолютного догмата, никакой непреложной доктрины; потому что программа его формулирует лишь собственные инстинкты, реальные стремления народа. Он могуч, потому что не старается, как вы всегда это делали, образовать непреложную силу вне народа, и потому что лишь организует народную силу. И он может это делать, ибо, так как он не претендует навязать народу программу, полученную сверху и тем самым чуждую и противоречащую народным инстинктам, ему нечего бояться организации этого стихийного могущества численной силы масс. По обратной причине, вы не можете и не должны этого делать, так как первое проявление этой силы повлечет за собой разрушение всей вашей системы.

Ныне, продолжает Мадзини, ваше движение свято, потому что оно опирается именно на нравственный закон, который отрицается, на исторический прогресс, открытый традицией человечества, на понятие о воспитании, единении, единстве человеческой семьи, предопределенное Богом на вечные времена.

Читая все это, вынужден спросить себя: Что это, шарлатанство, поэзия или же умопомешательство? О каком движении итальянских рабочих говорит Мадзини, об'являя его святым? Может быть, об обществах взаимопомощи, которые до сего времени ничего не дали? И неужели он, в самом деле, воображает, что хоть один среди итальянских рабочих поймет что нибудь в напыщенных, лжемудрых, двусмысленных фразах и в наборе пустых слов, приведенных сейчас? Для того чтобы понять это, надо обладать глубоким умом г.г. Саффи и Бруско; бедный итальянский рабочий очень удивится, если ему скажут, что в этих громких фразах идет речь о нем. Дело в том, что движение итальянских рабочих, благодаря наркотикам, которыми пичкал их Мадзини, было ничтожно до сего времени. Они спали, и в

продолжение их тяжелого и болезненного сна, один только Мадзини и мадзинисты действовали; и как всегда бывает с лицами, у которых мало критического ума, эти последние приняли свое собственное движение за движение окружающих их. Но вот народ перестал спать, он пробуждается и, повидимому, начинает двигаться: и Мадзини, испугавшись этого пробуждения и этого движения, о котором он не давал распоряжения и которого не предвидел, изыскивает все средства, старается всевозможными способами усыпить опять народ, чтобы снова иметь возможность действовать одному от его имени.

Он кричит итальянским рабочим:

Ваш закон крестовый поход! (Конечно, лучше спать, чем слышать подобные глупости, которые способны заставить потерять голову самых смышленных, самых живых). *Если вы превратите его в восстание* (о! но вы не хотите этого!), *в угрозу интересов против других интересов* (да, справедливых интересов, которые представляют право всех, против интересов несправедливых, представляющих несправедливое отрицание его; угрозу свободы против деспотизма, равенства против привилегии, труда против обворовывающих труд, истины против лжи, Человечества против Бога), *вы не сможете больше расчитывать, кроме как на свои силы.*

А если рабочие послушают Мадзини, принесет он им, в вознаграждение, новые силы? И какие? Не будут ли это, например, силы мадзинистской партии, которая дала о себе такое жалкое представление во всех предприятиях Мадзини? Или же он обещает им серьезно помощь буржуазных сил? Эти силы, которые некогда были действительно огромны, стали зыбки и ничтожны, настолько ничтожны, что угрожаемые ныне пролетариатом, который их страшно пугает, они во всех странах укрываются под покровительством военной диктатуры.

Это сильное прогрессивное умственное и нравственное падение буржуазного класса можно изучать даже в молодежи. На сто молодых людей этого класса много-много вы найдете пять, которые не были бы молодыми „стариками“! Другие, чуждые всему великому, происходящему вокруг них, ушедшие в банальность своих мелких удовольствий, мелких интересов или мелкого тщеславия и мелочного честолюбия, ничего не чувствуют, ничего не понимают и ничего не хотят. Когда молодежь какого нибудь класса дошла

до этого, это очевидное доказательство, что этот класс уже умер, и ничего не остается больше, как похоронить его. Наиболее живые в этом классе чувствуют себя растерянными и погибшими, у них нет почвы под ногами; однако же, они не решаются покинуть то общество, которое рушится со всех сторон, но чувствуют, что оно увлекает их вместе с собой в пропасть. Теперь, друзья мои, для вашего ума, вашей совести, вашего достоинства, вашего зрелого возраста и пользы вашего существования, нет другого спасения, как решительно отвернуться от этого буржуазного класса, к которому вы принадлежите по рождению, но который ваш ум и совесть ваша осуждают на смерть, и броситься с головой в народ, в народную и социальную революцию, в которой вы найдете жизнь, силу, почву и цель, которых вам ныне недостает. Тогда вы будете людьми; иначе, с вашими буржуазными радикалами, с Мадзини и мадзинистами, вы очень скоро превратитесь в мумии, как и они. Отныне, сила, жизнь, ум, человечество, все будущее в пролетариате. Отдайте ему всю свою мысль и он отдаст вам свою жизнь и силу, и, соединившись вместе, вы совершите революцию, которая спасет Италию и весь мир.

Но вот, опираясь на свои теологические костыли и в сопровождении бедных больных духом и сердцем,—разных Саффи, Петрони, Бруско, Кампанелла, Мосто и т. д.—старик Мадзини подходит к этому молодому великану, единственно сильному и живому в нашем веке, пролетариату, и говорит ему: „Я несу тебе силу и жизнь. Жизнь я имею от Бога, силу? Буржуазия согласится одолжить мне ее. Я несу тебе ее помощь с условием, что ты будешь благоразумен и, довольствуясь моими маленькими паллиативами, чтобы смягчить твои страдания, ты согласишься, как в прошлом, служить этой бедной, дряхлой буржуазии, которая только и желает любить тебя, охранять и—в то же время —немножко обирать тебя“.

Смешное не уступает здесь гнусному.

Итак, „если вы обратите нравственный закон в бунт, в угрозу интересов против интересов, вы должны будете расчитывать только на одни свои силы!“

Это неправда. Мадзини забывает Интернационал. Он думает, что похоронил его, но последний совсем не умер. Интернационал, т. е. организованная сила пролетариата Европы и Америки, нечто более утешительное и более успокоительное и, разумеется, более нравственное также, чем

союз итальянского пролетариата с итальянской буржуазией и, через посредство этой последней, с буржуазией Европы и Америки, с реакцией против революции и против пролетариата всего мира.

„Уверены ли вы, что ваши силы достаточны?“ спрашивает Мадзини. Разумеется, достаточны! У пролетариата больше силы, чем надо, чтобы разрушить буржуазный мир со всеми его Церквами и Государствами. Но пророк восклицает: „И если бы даже ваши силы были достаточны, вы запятнаете свою победу кровью ваших братьев, пролитой в долгой и ужасной гражданской войне.“ Вот, значит, в чем дело! Мадзини, забывая, что все великие победы человечества,—все абсолютно все,—добыты крупными битвами, предлагает рабочим попробовать еще раз действие своей волшебной флейты или своей иерихонской трубы. Но он по меньшей мере смешон, а если не смешон, то я докажу, что он гнусен: ибо столько кажущейся человечности скрывает в себе подоплеку реакции и измены по отношению к пролетариату. Государственный муж становится сиреной, чтобы усыпить бдительность народа и восторжествовать над его законной недоверчивостью.

Действительно ли Мадзини такой большой враг борьбы? В своем обращении к молодежи он называет—очень смешно, правда,—Спартака, взбунтовавшегося раба, „первым святым республиканской религии“. А что сделал Спартак? Он поднял своих братьев по рабству и без церемонии истребил сколько мог римских патрициев. Он вынуждал их драться между собою, как гладиаторов. Таковы были дела и жесты одного из святых Мадзини.

Мадзини, как Данте, преклоняется перед древним величием республиканского Рима. Но если было величие, основанное на кровавых и беспрерывных боях, так это конечно величие древней римской республики.

Посмотрим теперь, какому второму величию он требует от нас поклонения, не в настоящем, разумеется,—ибо у него есть другое, чтобы предложить нам для данного момента,—но в прошлом: величию папского Рима! Не залит ли и он был также кровью, не в крови ли, как и римская республика, он основал свое могущество?

Я не буду говорить вам о битвах Реформации ни о битвах Революции, потому что Мадзини одинаково ненавидит ту и другую. Но трех вышеприведенных примеров достаточно, я полагаю, чтобы показать вам, что он не нена-

видит битвы, но преклоняется пред ними, когда они имеют целью образование могущественного государства. Он ненавидит бунт, и, конечно, по недоразумению Спартак занял место среди святых в его раю.

Мадзини боится гражданской войны, которая разрушит национальное единство:

Отрицание Отечества, нации! восклицает он с отчаянием. Отечество вам было дано Богом для того, чтобы в группе двадцати пяти миллионов братьев, более тесно связанных с вами именем, языком, верою (?), общими стремлениями (ложь за ложью!) и длинным и славным рядом традиций, культом могил дорогих мертвецов (отзвук классического языческого мистицизма), торжественными воспоминаниями о мучениках, павших за Нацию, вы нашли могучую поддержку для более легкого выполнения *миссии*, в доле работы, которую определяют вам ваше географическое положение и ваши специальные способности Кто уничтожит его, уничтожит все огромное количество сил, созданных общностью средств и деятельностью этих миллионов, и закроет вам путь к росту и прогрессу. Интернационал Нацию заменяет Коммуной, независимой коммуной, призванной управляться сама собой.

В этой длинной тираде что ни слово, то ложь. Необходимо, следовательно, чтобы я подверг ее критике.

Так, Мадзини говорит: „Отрицание Отечества, Нации.“ Нет, но отрицание национального и патриотического государства, и это потому, что патриотическое государство означает эксплоатацию народа какой нибудь страны в исключительную пользу привилгированного класса этой страны; богатство, свободу, культуру этого класса, основанные на вынужденных нищете, рабстве и варварстве этого народа.

Мадзини утверждает, что двадцать пять миллионов, образующих итальянскую нацию, „братья“, имеющие одинаковую веру и общие стремления.

Является ли необходимым доказывать, что это наглая или глупая ложь? В Италии имеется, по крайней мере, пять наций:

1. Все духовенство, от папы до последней монахини;

2. Consorteria, или крупная буржуазия, включая сюда дворянство;

3. Средняя и мелкая буржуазия;

4. Фабричные и городские рабочие;

5. Крестьяне.

Как же, спрошу вас, можно утверждать, что эти пять наций — и, если нужно, я перечислю еще больше, напр.: *а)* двор; *б)* военная каста; *в)* бюрократия — имеют одну и ту же веру и общие стремления?

Рассмотрим их одну за другой.

1 Духовенство не составляет, собственно говоря, наследственного класса, но, тем не менее, оно является постоянным классом. Состоящее наверху из кардиналов архиепископов и епископов, набираемых большей частью среди высшей аристократии, внизу из массы низшего духовенства которое поставляет деревня, искусственно обновленное семинариями и повинующееся ныне, как хорошо дисциплинированная армия, Иезуитскому Ордену, это каста, имеющая свои чисто итальянские историю и традиции, а также некоторого рода итальянский патриотизм. И это одна из причин почему Мадзини, несмотря на все свое теоретическое и политическое расхождение, с ней питает тайную и как бы невольную нежность к этой касте. Другая причина та, что это каста священников; и хотя Пророк весьма расположен заменить священников старой католической Церкви священниками новой мадзинисткой Церкви, тем не менее он инстинктом, а также и сознательно, уважает их священнический сан и он гремит против тех, кто на них нападает: против Парижской Коммуны, против Интернационала, против свободомыслящих и Гарибальди. Особый патриотизм итальянского духовенства заключается в стремлении подчинить духовенство других стран духовенству Италии и сделать господствующей итальянскую религиозную мысль, ультрамонтанизм, на вселенских соборах, начиная с собора в Триенте и до более недавнего собора в Ватикане.

Нужно ли вам доказывать, вам итальянцам, что эта каста, хотя вполне итальянская по своим обычаям, языку, по самой культуре своего ума, всегда была и остается теперь совершенно чуждой всем свремлениям великой итальянской нации.? Впрочем, несмотря на свой специальный патриотизм, по своему положению и своим догматам эта каста международна.

2. Посмотрим, что представляет из себя Consorteria. Это новый класс, созданный об'единением Италии: он содержит в себе всю богатую буржуазию и всю часть более или менее богатого дворянства, которая не входит в клерикальную касту. Сила этого класса заключается в крупной собственности и в крупных промышленных, торговых, финансовых делах и в особенности в Банке. Его сыновьям принадлежат все высшие и наиболее прибыльные государственные должности. Это по преимуществу государственная каста; стоит открыть ваши газеты, чтобы увидеть, что она представляет из себя и что делает. Это, стало быть, не что иное, как огромное товарищество „честных людей,“ чтобы систематически грабить бедную Италию. Это она представляет главным образом единство и могучую централизацию государства, потому что централизация означает крупные дела, крупные спекуляции, колоссальные хищения. Это класс, у которого нет никакой веры, но который готов примириться и войти в союз с клерикальной кастой, потому что он все больше и больше убеждается, что народ не может обойтись без религии.

Вспомните хорошенько дело Рикасоли, в 1866 или 1867 г., и знаменитый финансово-клерикальный проект Камбре-Диньи для выкупа церковного имущества. Это был союз Банка с Ризницей.

Consorteria, впрочем, не горделива и не стоит на исключительной точке зрения; подобно английской аристократии и гораздо легче еще, чем эта последняя, она охотно принимает в свою среду все умы, которые, если бы они остались вне ее, могли бы стать для нее опасными, тогда как принятые в ее среду, приносят ей новые силы против страны, которую надо эксплоатировать, так как она достаточно богата, чтобы прокормить несколько сотен лишних привилегированных мошенников.

Мне нет надобности говорить вам, что у этого класса нет никакого патриотизма; он менее патриотичен, чем клерикальная каста и более космополитичен, чем эта последняя. Созданный новейшей цивилизацией, он не признает другого отечества, кроме мировой спекуляции, и каждый из его членов также охотно будет эксплоатировать и грабить всякую другую страну, как и свою дорогую Италию. У этого класса нет другого стремления, как набивать себе карманы в ущерб национальному благоденствию.

3. Перейдем к третьей касте, к касте средней и мелкой буржуазии. Это она посредством культуры, свободы и прогресса создала всю прошлую историю Италии: искусства, науку, литературу, языки, промышленность, торговлю, муниципальные учреждения, все она создала. Это она, наконец, последним усилием завоевала политическое единство Италии. Она была, стало быть, патриотическим классом по преимуществу, и в ее среде Мадзини и Гарибальди и задолго до них Пепе, Бальбо, Санта Роза набирали солдат, мучеников, героев итальянской революции. Вы видите, стало быть, дорогие друзья, что я отдаю полную справедливость этому классу и с уважением и искренно преклоняюсь перед его прошлым. Но тот же самый дух справедливости заставляет меня признать, что ныне он совершенно выдохся стал бесплодным и высохшим, как лимон, из которого столь долгая и достопамятная история выжала весь сок; что ныне он мертв и что никакое чудо, даже диктаторский героизм генерала Гарибальди, ни теологические фокусы Мадзини не смогут его воскресить. Он умер и становится с каждым днем все более бессильным, более низким, более безнравственным, более грубо животным. Это громадное тело, разлагающееся путем гниения. Вы можете судить об этом по громадному большинству его молодежи и по итальянскому Парламенту, который состоит почти исключительно из членов, вышедших из его среды.

Средняя буржуазия,—к которой я причисляю также класс сельских собственников, дворян и не дворян, которые не будучи богатыми, живут в довольстве,—находится ныне под экономическим и, следовательно, политическим игом Consorteria, которая господствует над ней также, из тщеславия, быть может, наиболее сильной из всех страстей в этой части буржуазии, во всяком случае, такой же сильной, как жажда наживы. Этот класс находится вдвойне в зависимости от существующего порядка вещей, который, держа его скованным, в то же время незаметно разоряет его. Для всех своих промышленных и торговых предприятий, он нуждается в кредите, а кредит в руках Банка, т. е. наиболее богатой части Consorteria. Ни одно дело, как бы незначительно оно ни было, не может быть заключено ныне без согласия Consorteria,—пример, недавнее дело неаполитанских вод,—а Consorteria оказывает кредит и покровительствует только тем, кто голосует за нее. Другая связь, тесно сковывающая ее с государством, следующая: сыновья

этого класса занимают все бюрократические, юридические, полицейские, военные должности в государстве; их повышение по должности зависит от хорошего поведения их родителей, т. е. от их политического подчинения. А какой отец будет настолько извращен, чтобы голосовать против „карьеры“ своего собственного сына?

Итальянское государство разорительно и разоренное. Оно с большим трудом поддерживает себя, только облагая тяжелыми налогами страну, и все, что остается еще от ее богатства, идет на прокормление Consorteria, так что для средней буржуазии остаются только крошки: а жизнь с каждым днем все дорожает, роскошь становится утонченнее, и вместе с роскошью становится утонченнее и тщеславие буржуазии. Это тщеславие вместе с ограниченностью ее рессурсов заставляет ее жить постоянно в стесненном положении, которое удручает ее, деморализует, волнует ее сердце и отнимает у нее то небольшое количество достоинства и ума, которые остаются у нее.

И повторяю: этот класс, который был некогда столь могучим, умным и благоденствующим и который теперь медленно, но роковым образом идет к своей гибели, уже умственно и нравственно умер. У него нет больше ни веры, ни мысли, ни каких бы то ни было стремлений. Он не хочет и не может вернуться назад, но он не решается также смотреть вперед; так что он живет изо дня в день в тревоге, причиняемой ему финансовыми затруднениями и социальным тщеславием, которые отныне постоянно волнуют его сердце.

Из этого класса выходят еще, но все в более и более ограниченном числе, последние партизаны Мадзини и Гарибальди, бедные юноши, полные благородных и идеальных стремлений, но чрезвычайно невежественные, не находящие себе верного пути, затерянные среди черствой, рабской и развращенной действительности, которая составляет ныне жизнь буржуазного общества Италии.

Отдадим им справедливость. Из всей молодежи западной Европы итальянская молодежь, быть может, дает наибольшее число героев. Ее последний поход во Францию, под предводительством великодушного, благородного Гарибальди еще раз доказал это и наиболее ярким образом. Но отдавая ей должное, мы должны признать в то же время, что большая часть этой геройской молодежи страдает опасной болезнью, которая, если она не вылечится от нее, убьет

ее и сделает весь ее героизм смешным и бесплодным. Эта болезнь может быть определена следующим образом: отсутствие всякой живой и серьезной мысли; абсолютное отсутствие всякого чувства действительности, среди которой она хочет действовать, и живет.

Я сказал, что она чрезвычайно невежественна; но это не ее вина. Университеты и школы Италии, когда то бывшие первыми в Европе, отстали на целое столетие, даже, если сравнивать их со школами Франции. Лет десять лишь тому назад и благодаря некоторым профессорам, прибывшим из Швейцарии и Германии, как Малешотт, Шифф и другие, которых так ругал Мадзини, некоторый свет современной позитивной науки осветил немного аудитории, до того времени погруженные в почетную полутень ретроспективных, мистических, классических, метафизических, юридических, дантовских и римских наук, и принесли с собой дыхание свежего воздуха этим юношам, которые задыхались в узко и глупо исторической атмосфере. Другой причиной невежества были постоянные заговоры и беспрерывные восстания этой молодежи, еще больше за политическое единство, чем за свободу отечества, всегда за государство и никогда за народ.

Привыкши не отделять своих мыслей от мыслей Мадзини и своей воли от геройской инициативы Гарибальди, она стала молодежью, полной отваги и героизма, но совершенно лишенной своей собственной воли и почти безмозглой.

Хуже всего то, что она привыкла смотреть на народные массы с презрением и совершенно не заниматься ими. Абстрактный патриотизм, которым она питалась в продолжение стольких лет в школе своих двух великих вождей, Мадзини и Гарибальди, и который стремится единственно и почти исключительно к установлению независимости, величия, могущества, славы, чести и, если хотите, политической свободы единого государства, побуждая ее к самому благородному, самому геройскому жертвованию собой и своими собственными интересами, в то же время заставлял ее смотреть на народ, как на некоторого рода материал для лепки в распоряжении государства, как на пассивную массу, более или менее неразумную и грубую, которая должна считать себя весьма польщенной и очень счастливой тем, что она служит более или менее слепым орудием и жертвует собою — чему? величию и тому, что на гарибаль-

лийски-мадзинистском жаргоне называется „свободой“, Италии.

Молодежь, идущая за Мадзини и Гарибальди, никогда не задавала себе следующего вопроса: что представляет в действительности это итальянское государство для народа? Почему он должен его любить и жертвовать для него всем? Когда задавали этот вопрос Мадзини,—и задавали ему его лишь очень редко, таким казался он простым и легким,—он отвечал громкими фразами: „Отечество, данное Богом! Святая историческая миссия! Культ гробниц! Память о мучениках! Давние и славные традиции! Древний Рим! Папский Рим! Григорий VII! Данте! Савонарола! Народный Рим!“. И это было столь туманно, столь прекрасно и в то же время так нелепо, что этого достаточно было, чтобы ослепить и оглушить юные умы, более способные на энтузиазм и веру, чем на разумение и критику. И итальянская молодежь, отдавая свою жизнь за это нелепое отечество, проклинала грубость и материализм масс, в особенности крестьян, которые никогда не обнаруживали склонности жертвовать собою за величие, а также и за независимость этого политического отечества, государства.

Если бы молодежь взяла на себя труд подумать хорошенько, она, быть может, давно уже поняла бы, что это решительное равнодушие народных масс к судьбам итальянского государства, не только не является позором для них, но, наоборот, доказывает их инстинктивную разумность, заставляющую их угадывать, что это единое и централизованное государство, по самой своей природе, не только чуждо им, но и враждебно и что оно выгодно только для привилегированных классов, которым оно гарантирует, в ущерб им, господство и богатство. Процветание государства, это нищета действительной нации, народа; величие и могущество государства являются рабством народа. Народ естественный и законный враг государства; и хотя он подчиняется власти,—увы, слишком часто!—всякая власть ему ненавистна. Государство не отечество; это абстракция, метафизическая, мистическая, политическая, юридическая фикция отечества. Народные массы всех стран любят глубоко свою родину; но это естественная, реальная любовь; народный патриотизм не идея, а факт; а политический патриотизм, любовь к государству не является верным выражением этого факта, а выражением извращенным, посредством лживой абстракции и всегда в пользу эксплоатирую-

щего меньшинства. Отечество, национальность, также как и индивидуальность, естественный и социальный и в тоже время физиологический и исторический факт; это не принцип. Человеческим принципом можно называть лишь то, что универсально, обще всем людям; но национальность их разделяет; она, стало быть, не принцип. Но принципом является уважение, какое каждый должен иметь к естественным, реальным или социальным фактам. Национальность же, как и индивидуальность, один из этих фактов. Мы должны, стало быть, ее уважать. Нарушать ее, это совершить проступок, и, говоря языком Мадзини, она является священным принципом всякий раз, когда ей угрожают и когда она насилуется. И поэтому я чувствую себя искренно и всегда патриотом всех угнетенных отечеств.

Отечество представляет бесспорное и священное право всякого человека, всякой группы людей, товариществ, коммун, областей, наций жить, чувствовать, думать, хотеть и действовать по своему, и эта манера жить и чувствовать является всегда неоспоримым результатом долгого исторического развития.

Мы преклоняемся, следовательно, перед традицией, перед историей; или, вернее, мы признаем их, не потому, что они представляются нам абстрактным барьером, метафизически, юридически и политически построенным учеными толкователями и профессорами прошлого, но только потому, что они действительно вошли в кровь и плоть, в реальную мысль и волю существующих народов. Нам говорят: такая то страна—Тессинский кантон, например,—явно принадлежит итальянской семье: язык, нравы, все у него общее с ломбардским населением, следовательно, он должен войти в состав великого об'единенного итальянского государства. Мы ответим, что это совершенно ложное заключение. Если действительно существует серьезное сходство между Тессином и Ломбардией, то нет никакого сомнения, что Тессин самостоятельно присоединится к Ломбардии. Если он этого не делает, если он не испытывает ни малейшего желания это сделать, то это доказывает только, что действительная история, которая создавалась из поколения в поколение в действительной жизни тессинского народа и которая сделала его тем, чем он есть, отлична от истории, написанной в книгах.

С другой стороны, нужно заметить, что действительная история, как личностей, так и народов, не создается

только путем положительного развития, но очень часто посредством отрицания прошлого и бунта против него; и это есть право жизни, неот'емлемое право существующих поколений, гарантия их свободы. Провинции, которые долгое время были об'единены между собою, всегда имеют право отделиться одна от другой, их могут побуждать к этому различные религиозные, политические, экономические причины. Государство, наоборот, претендует держать их силою об'единенными, и в этом оно глубоко неправо. Государство, это брак по принуждению, и мы выставляем против него знамя свободного союза. Точно также, как мы убеждены, что, уничтожая религиозный, гражданский и юридический брак, мы возвращаем жизнь, реальность и нравственность естественному браку, основанному единственно на взаимном человеческом уважении и свободе двух человек, мужчины и женщины, которые любят друг друга; что признавая за каждым из них свободу расстаться с другим, когда он этого захочет, не прося для этого чьего бы то ни было позволения; что отрицая также необходимость позволения для того, чтобы соединиться, и отвергая, вообще, всякое вмешательство какой бы то ни было власти в их союз, мы сделаем более тесным их союз, более верными и честными их в отношениях друг к другу; мы также убеждены, что когда не будет больше проклятой государственной силы, чтобы принуждать личностей, сообщества, коммуны, провинции, области жить вместе, они будут более тесно связаны между собою, и будут составлять гораздо более живое, более действительное, более могучее единство, чем то, которое они образуют вынужденно теперь, под для всех одинаково тягостным давлением государства.

Мадзини и все сторонники единства становятся в противоречие с самими собою, когда они, с одной стороны, говорят вам о глубоком, близком братстве, существующем в этой группе двадцати пяти миллионов итальянцев, об'единенных языком, традициями, нравами, верою и общностью стремлений, а, с другой стороны, хотят сохранить, что я говорю? усилить могущество государства, необходимого, говорят они, для поддержания единства. Но если они действительно так неразрывно связаны между собою, принуждать их к об'единению излишняя роскошь, бессмыслица; если, наоборот, вы считаете необходимым их принуждать, это доказывает, что вы убеждены, что они не очень то связаны между собою, и что вы лжете, что вы хотите ввести

их в заблуждение на их собственный счет, когда вы говорите им об их единстве. Социальное единство, реальный результат совокупности традиций, привычек, обычаев, идей, существующих интересов и общих стремлений, есть живое, плодотворное, действительное единство. Политическое единство, государство, есть фикция, абстракция единства; и оно не только скрывает в себе раздор, оно еще его искусственно производит там, где без этого вмешательства государства живое единство непременно существовало бы.

Вот почему социализм федералистичен и почему весь Интернационал приветствовал с энтузиазмом программу Парижской Коммуны. С другой стороны, Коммуна ясно провозгласила в своих воззваниях, что она хотела вовсе не уничтожения национального единства Франции, но его воскрешения, укрепления, оживления, и полную и действительную народную свободу. Она хотела единства нации, народа, французского общества, а не государства.

Маццини дошел в своей ненависти к Коммуне до глупости. Он утверждает, что система, провозглашенная последней парижской революцией, возвратит нас к средневековью, т. е. к разделению всего цивилизованного мира на массу мелких центров, чуждых друг другу и не признающих друг друга. Он не понимает, бедняга, что между средневековой коммуной и современной коммуной существует громадная разница. За пять веков изменилась не только книжная история, изменились нравы, стремления, идеи, интересы и потребности народов. Итальянские коммуны вначале были действительно обособлены, являлись совершенно независимыми политическими и социальными центрами, между ними отсутствовала солидарность и они поневоле должны были довольствоваться сами собой.

Какая разница с тем, что существует теперь! Материальные, умственные и нравственные интересы создали между всеми членами одной и той же нации, что я говорю? между самыми различными нациями социальное единство, настолько могучее и действительное, что все, что делают ныне государства, чтобы парализовать его и уничтожить, остается бессильным. Единство ничто не может побороть, и оно переживет государства.

Когда исчезнут государства, живое, плодотворное и благодетельное единство областей и наций, международное единение сначала всего цивилизованного мира, потом всех народов земли, путем свободной федерации и органи-

зации снизу вверх, будет развиваться во всем своем величии, не божественном, а человеческом.

Патриотическое движение итальянской молодежи под руководством Гарибальди и Мадзини было законно, полезно и славно; не потому, что оно создало политическое единство, единое итальянское государство,—наоборот, это было его ошибкой, потому что оно не могло создать это единство, не принеся ему в жертву свободу и благосостояние народа,—но потому, что оно разрушило различные политические господства, различные государства, которые искусственно и насильственно мешали народному социальному об'единению Италии.

Совершив это славное дело, итальянская молодежь должна теперь совершить другое дело, еще более славное. Она должна помочь итальянскому народу разрушить единое итальянское государство, которое она основала своими собственными руками. Она должна противопоставить знамени политического единства Мадзини федеральное знамя итальянской нации, итальянского народа.

Но нужно различать федерализм и федерализм.

В Италии существует традиция областного федерализма, который ныне стал политической и исторической ложью. Скажем раз навсегда: прошлое никогда не возвращается, и было бы большим несчастьем, если бы оно могло возвращаться. Областной федерализм мог бы быть лишь аристократически-консортерийским учреждением, ибо по отношению к коммунам и промышленным и земледельческим рабочим товариществам это было бы опять политической организацией сверху вниз. Истинно народная организация, наоборот, начинается снизу, с товариществ и коммун. Организуя, таким образом, снизу вверх, федерализм становится политическим институтом социализма, свободной и самопроизвольной организацией народной жизни.

Выше я сказал, что наиболее сознательная часть республиканской молодежи начала сначала отходить от Мадзини на почве свободной мысли. Но свободная мысль, вырвав ее из власти прежних предрассудков и предубеждений, пробудила в ней два новых инстинкта: инстинкт действительной, практической свободы и инстинкт живой действительности. Эти два инстинкта заставили ее уже сделать шаг вперед: задолго до 1870 и 1871 г.г., с 1866 и 1867 г.г. она начала чувствовать склонность к федерализму, не высказывая, однако, этого громко, из боязни не

понравиться Гарибальди и, в особенности, Мадзини. С другой стороны, ее федерализм еще не нашел своей основы, социализма, а без этой основы его нельзя было ясно формулировать, не впав в неразрешимые противоречия.

Восстание Парижской Коммуны, ее программа одновременно, социалистическая и федералистическая, ее борьба и геройский конец произвели спасительную революцию в сознании и чувствах этой избранной части итальянской молодежи. Ставши социалистической, она нашла основу, которой не доставало ее федерализму.

Да, она стала социалистической и становится ею с каждым днем все больше и больше, и воздадим ей за это благодарность. Она стала социалистической, что означает, что она открыла свое благородное сердце,—до того времени сбитое с пути теологическими, метафизическими и политическими заблуждениями Мадзини и очерствелое чудовищно честолюбивым культом Государства,—жизни, страданиям и действительным стремлениям народа. Теперь она больше не презирает его: она любит его и стала способна служить его великому и святому делу. И теперь, когда она перестала висеть головой вниз между небом и землей, как еще висят верные мадзинисты, теперь, когда она нашла и чувствует под своими ногами твердую почву,—умная, горячая, геройская и преданная до самопожертвования — можно быть уверенным, что она совершит великие дела. Что же касается молодежи, которая остается мадзинистской, после тщетных усилий и бесплодных восстаний, она погибнет вместе с буржуазией, которой Мадзини принуждает ее ныне оказывать жандармские услуги.

Возвращаюсь к разбору классов и различных наций, составляющих современную Италию. О мелкой буржуазии мне нечего много говорить. Она мало отличается от пролетариата, будучи почти такой же несчастной, как и он. Она не начнет социальной революции, но она бросится в нее с головой.

Городской пролетариат и крестьяне составляют настоящий народ. Первый, разумеется, более передовой, чем крестьяне.

4. Городской пролетариат имеет патриотическое прошлое, которое в некоторых городах Италии восходит до средних веков. Таково прошлое Флоренции, например, которая отличается ныне среди всех городов некоторой апатией и очень заметным отсутствием энергичных и сильных стре-

млений. Ее великая историческая задача как бы истощила ее, по крайней мере частично, как она истощила совершенно флорентийскую буржуазию, скептическое равнодушие которой так живописно выражается в ее Che! Che! Пролетариат итальянских городов, существенным образом, исключительно городской, глубоко обособленный, на всем протяжении истории Италии, от крестьянских масс, образует, конечно, весьма несчастный класс, очень угнетенный, но, тем не менее, наследственный класс и очень характерный. Как класс, он подчиняется историческому и неизбежному закону, который определяет карьеру и продолжительность каждого класса по тому, что он сделал и как жил в прошлом. Коллективные индивидуальности, все классы в конце концов истощаются, как и личности. То же самое можно сказать о народах, взятых в целом, с тою разницей, что каждый народ, обнимающий все классы и самые массы, которые еще не составляют класс, бесконечно более обширный, обладает значительно большим материалом и, следовательно, кончает свое поприще гораздо позднее, чем все классы, образовавшиеся в его среде. Это наиболее сильная и наиболее богатая коллективная индивидуальность; но и она также в конце концов истощается, изживает.

И именно это физиологическое, историческое и неизбежное истощение об'ясняет историческую необходимость двоякого движения, которое в настоящий момент, с одной стороны, толкает классы слиться с широкими народными массами, а с другой, ведет народы и нации к созданию новой жизни, более плодотворной и широкой в Интернационале. Будущее, долгое будущее принадлежит на первом месте созданию международного европейско-американского об'единения. Позже, но гораздо позже, эта европейско-американская Нация органически сольется с азиатским и африканским агломератом народов *). Но это будет в слишком отдаленном будущем, чтобы мы могли говорить теперь об этом с некоторой положительностью и точностью. Возвращаюсь, стало быть, к итальянскому пролетариату.

Чем больше ваш пролетариат принимал политическое участие в вашем историческом прошлом, тем меньше он имеет будущее, как класс обособленный от ваших крестьян-

*) В 1871 г. австралийские государства не занимали еще, как мы видим, европейских социалистов.

Дж. I.

ских масс. Я показал, что участие флорентинского пролетариата в развитии и муниципальной борьбе средних веков надолго усыпило его. С начала девятнадцатого века, после вынужденной спячки, длившейся по меньшей мере три столетия, ломбардский, венецианский, генуезский пролетариат и в особенности пролетариат всей средней Италии принимал более или менее активное участие в восстаниях, в заговорах и патриотических походах которыми полны анналы буржуазной молодежи последних семидесяти лет; и в результате в его среде образовалась партия, очень значительное мадзинистско-гарибальдийское меньшинство, которое окончательно присоединилось к политике единой буржуазной Республики. Если бы весь итальянский пролетариат последовал этому примеру, с ним было бы покончено, и надо было бы не в нем искать будущее Италии, а в одной только крестьянской массе, бесформенной и некультурной, но нетронутой и богатой элементами, которые не эксплоатировались историей.

К счастью городской пролетариат, не исключая рабочих, которые клянутся именами Мадзини и Гарибальди, никогда не мог мадзинироваться и гарибальдизироваться вполне и серьезным образом; и он не мог этого по той простой причине, что он пролетариат, т. е. угнетенная, обобранная, нищая, голодная масса, которая, вынужденная голодом трудиться, необходимо обладает логикой труда.

Рабочие мадзинисты и гарибальдийцы могут принять программы Мадзини и Гарибальди; но в них, в их исхудалых и бескровных детях и женах, спутницах их в нищете и страданиях, в их повседневном действительном рабстве всегда будет что то, что призывает социальную революцию! Они все социалисты вопреки себе, за исключением только некоторых,—быть может одного на тысячу,—которые благодаря личной ловкости, удаче и мошенничеству, вступили или надеются вступить в ряды буржуазии. Все другие, я говорю о рабочих мадзинистах и гарибальдийцах, являются ими только в воображении, или еще по привычке, но в действительности они могут быть только революционными социалистами.

И ваш долг ныне, дорогие друзья, организовать умную, честную, и в особенности упорную пропаганду, чтобы дать им понять это. Для этого вам нужно будет только об'яснить им программу Интернационала, растолковав им то, что в ней говорится. И если вы организуетесь для

этого во всей Италии организуетесь стройно, братски, не признавая других вождей, кроме самого вашего юного коллектива, клянусь вам, что через год не будет больше рабочих мадзинистов ни гарибальдийцев, что все станут революционными социалистами, разумеется, патриотами, но в самом человеческом смысле этого слова, т. е. патриотами и интернационалистами в одно и то же время. Вы создадите таким образом незыблемую основу будущей социальной революции, которая спасет Италию и вернет ей жизнь, ум и всю инициативу, принадлежащую ей среди наиболее прогрессистских наций Европы.

И когда вы совершите этот великий акт, рабочие, которые раньше были мадзинистами и гарибальдийцами, станут сами весьма драгоценными апостолами „нашей религии“ без Бога, так как и по своей природе, и по своему уму, ныне сбитого с правильного пути, и по опыту, приобретенному ими в прошлой борьбе под знаменами Мадзини и Гарибальди, они, конечно, самые энергичные, самые преданные и самые способные из всего пролетариата Италии. Они привыкли к заговорам и организации, и эта привычка окажет вам драгоценные услуги.

Организованные, не индивидуально, а коллективно, в тесные группы, они станут тогда вождями широких масс пролетариата, как городского, так и сельского. Эти широкие массы, в которых политические программы Мадзини и Гарибальди никогда не могли вызвать энтузиазма, не смогут устоять против пропаганды нашей программы, которая является наиболее простым выражением их самых глубоких внутренних инстинктов и которую можно резюмировать в нескольких словах:

Мир, освобождение и счастье всем угнетенным!

Война всем угнетателям и грабителям!

Полное возвращение рабочим: капиталы, фабрики, все орудия труда и сырье товариществам; земля тем, кто ее обрабатывает своими руками.

Свобода, справедливость, братство всем человеческим существам, которые родятся на земле.

Равенство для всех.

Для всех безразлично все средства развития, воспитания и образования и одинаковая возможность жить, работая.

Организация общества путем свободной федерации снизу вверх рабочих союзов как индустриальных, так

и земледельческих, как научных, так и союзов работников искусства и литературы, сначала в коммуну, потом федерация коммун в области, областей в нации и нации в международный братский союз.

Что касается способа организации общественной жизни, труда и общественной собственности, программа Интернационала не навязывает ничего абсолютного. Интернационал не имеет ни догматов ни единообразных теорий. В этом отношении, как во всяком живом и свободном обществе, много различных теорий дебатируются в его среде. Но он принимает за основу своей организации вполне независимое развитие и самопроизвольную организацию всех союзов и всех коммун, при условии, однако, чтобы эти союзы и коммуны в основу своей организации клали вышеизложенные общие начала, обязательные для всех, желающих войти в Интернационал. В остальном Интернационал полагается на спасительное действие свободной пропаганды идей и на тождественность и естественное равновесие интересов.

5. Крестьяне, это огромное большинство итальянского населения, почти совершенно не тронутое культурой, потому что у него не было еще никакой истории, так как вся история вашей страны, как я уже заметил и как вы сами знаете это лучше меня, до настоящего момента сосредоточивалась гораздо в большей степени еще, чем во всякой другой европейской стране, единственно и исключительно в городах. Ваши крестьяне не принимали участия в истории и знают ее только по тем ударам, которые она наносила им в каждом новом фазисе своего развития, по нищете, рабству и бесчисленным страданиям, каким она их подвергала. Так как все эти несчастья всегда приходили к ним из городов, то естественно, что крестьяне не любят города ни их обитателей, включая сюда и самих рабочих, относившихся к ним с некоторым пренебрежением, за что они, в свою очередь, платили им недоверием и подозрительностью. Это-то исторически отрицательное отношение к политике городов, а не религия итальянских крестьян, и составляет силу священников в деревнях. Ваши крестьяне суеверны, но они совсем не религиозны; они любят церковь, потому что она чрезвычайно сценична и своим театральными и музыкальными церемониями скрашивает монотонность их деревенской жизни. Церковь для них, как солнечный луч

в их жизни, полной убийственного труда, страданий и нищеты.

Крестьяне не питают ненависти к священникам, большинство которых, впрочем,—и именно те, которые живут в деревнях,—вышли из их среды. Почти нет ни одного крестьянина, у которого не было бы среди служителей Церкви какого нибудь более или менее близкого или, по крайней мере, дальнего родственника. Священники, по немножку эксплуатируя их и награждая потомством их жен и дочерей, делят с ними их жизнь и отчасти также их бедность. У них нет этого пренебрежения к крестьянам, какое оказывают им буржуа, они живут за панибрата с ними, как добрые малые, и часто играя роль забавников. Крестьянин часто смеется над ними, но не ненавидит их, ибо он свыкся с ними, как с насекомыми, которые копошатся в бесчисленном количестве у него в голове.

С другой стороны, нет сомнения, что как только вспыхнет социальная революция, многие из этих священников бросятся в нее с головой. Они уже сделали это в Сицилии и Неаполитании во время политической революции. А что произойдет во время социальной революции? Политическая революция, абстрактна, метафизична, призрачна и обманчива для народных масс, и так как деревенский священник стоит близко к народу по своей природе, по большинству условий своего существования, она не может иметь для него притягательной силы и удовлетворять его надлежащим образом. Но социальная революция, являющаяся революцией жизни, бесспорно увлечет его, как она увлечет весь деревенский люд.

Не пропаганда свободной мысли, а одна только социальная революция может убить религию в народе. Пропаганда свободной мысли, конечно, очень полезна; она необходима, как прекрасное средство, чтобы обратить лиц, уже передовых по своим воззрениям; но она не пробьет брешь в народе, потому что религия не только заблуждение, извращение мысли, но еще, и в особенности, протест живой могучей природы масс против узости и мизерности действительной жизни. Народ ходит в церковь, как он ходит в кабак, для того чтобы одурманить себя, забыть свою нищету, чтобы увидеть себя в воображении, на несколько мгновений по крайней мере, свободным и счастливым наравне со всеми другими. Дайте ему человеческое существование и он не будет больше ходить ни в кабак ни в

церковь. Это человеческое существование одна только социальная революция должна и может ему дать.

Крестьянин в большей части Италии беден, еще беднее, чем городской рабочий. Он не является собственником, как во Франции, и это большое счастье, конечно, с точки зрения революции; и он имеет сносное существование, как арендатор, только в небольшом числе областей. Следовательно, итальянская крестьянская масса составляет уже огромную и всемогущую армию для вашей социальной революции. Руководимая городским пролетариатом и организованная революционной социалистической молодежью, эта армия будет непобедима.

Следовательно, дорогие друзья, одновременно с организацие городских рабочих вы должны употребить все средства, чтобы уничтожить барьер, разделяющий городской пролетариат от деревенского люда, об'единить и организовать эти два класса общества в один. От этого зависит спасение Италии. Все другие классы должны исчезнуть с поверхности ее земли, не как личности, но как классы. Социализм не жесток, он в тысячу раз человечнее якобинства, я хочу сказать политической революции. Он нисколько не помышляет против личностей, даже самых зверских, прекрасно зная, что все люди, дурные или хорошие, лишь неизбежный продукт того социального положения, какое создали им общество и история. Социалисты, правда, не могут, конечно, помешать, чтобы в первые дни революции, в порыве гнева, народ не истребил несколько сотен лиц среди наиболее гнусных, наиболее яростных и наиболее опасных; но когда этот ураган пройдет, они со всей своей энергией будут противиться хладнокровно организованной политической и юридической лицемерной резне.

Социализм будет вести беспощадную войну против „социальных положений", не против людей; и когда эти положения будут уничтожены, люди, занимавшие их, обезоруженные и лишенные всех средств практически действовать, станут безвредными и гораздо менее сильными, уверяю вас, чем самый невежественный рабочий; ибо их теперешняя сила заключается не в них самих, не в их внутренних присущих им качествах, а в их богатстве и поддержке государства.

Социальная революция, стало быть, не только пощадит их, но, поборов их и лишив оружия, поднимет их и скажет им: „Теперь, дорогие товарищи, когда вы стали

нашими равными, принимайтесь за работу вместе с нами. В труде, как и во всем другом, первый шаг труден, и мы по братски поможем вам переступить его". Тогда те, кто, будучи крепок и здоров, не захочет заработывать себе жизнь трудом, будут иметь право умереть с голоду, если только они не захотят вести скромное и жалкое существование насчет общественной благотворительности, которая, конечно, не откажет им в строго необходимом.

Что касается их детей, то без всякого сомнения они сделаются мужественными работниками и людьми равными и свободными. В обществе будет, конечно, меньше роскоши, но бесспорно гораздо больше богатства, и, кроме того, будет одна роскошь, которая в настоящий момент никому не знакома, роскошь человечности, счастье полного развития и полной свободы каждого в равенстве всех.

Таков наш идеал.

Таким образом, все классы, перечисленные мною, должны исчезнуть в социальной революции, за исключением двух масс, городского и сельского пролетариата, которые станут собственниками, вероятно коллективными,—в разных формах и в разных условиях, определенных каждой местности, в каждой области и каждой коммунестепенью цивилизации и волею населения,—один собственником капиталов и орудий производства, другой земли, которую он обрабатывает своими руками; оба организуются, побуждаемые своими потребностями и взаимными интересами, одинаковым способом и в то же время совершенно свободно, необходимо и естественным образом взаимно уравновешивая друг друга.

Наука, у которой не будет другого авторитета, кроме авторитета разума и рационального доказательства, ни другого способа воздействия кроме свободной пропаганды, наука, которая в настоящий момент создает педантов, станет свободной и поможет им в этой работе.

Вот, стало быть, что представляет, как в Италии, так и везде, живая нация, народ будущего, городской и сельский пролетариат. Все остальное умирает или умерло, иссякло или развращено.

Хотите вы быть живыми? Надоело вам бесполезно вертеться в заколдованном кругу? Думать, ничего не изобретая? Кричать на все четыре стороны, постоянно повторяя одно и то же публике, которая вас больше не слушает? Постоянно суетиться, ничего не деля? Хотите вы избегнуть приговора, который висит над миром, в котором вы родились?

Хотите вы, наконец, жить, думать, изобретать, действовать, создавать, быть людьми? Откажитесь окончательно от буржуазного мира, от его предрассудков, его чувствований, его тщеславия, и становитесь во главе пролетариата. Защищайте его дело посвятите себя этому делу, отдайте ему свою мысль, и он даст вам силу и жизнь.

Организуйте городской пролетариат во имя революционного социализма и, делая это, об'едините его в одной общей подготовительной организации с крестьянами. Восстание городского пролетариата недостаточно; с ним у вас будет только политическая революция, которая неизбежно вызовет против себя естественную, законную реакцию деревенского люда, и эта реакция или только равнодушие крестьян задушит городскую революцию, как это недавно произошло во Франции. Одна только всеоб'емлющая революция достаточно сильна, чтобы ниспровергнуть организованную силу государства, поддерживаемую всеми ресурсами богатых классов. Но всеоб'емлющая революция, это социальная революция, т. е. революция одновременно в городах и деревнях. Это-то и нужно организовать,—потому что без подготовительной организации наиболее мощные элементы бессильны и ничтожны.

Мы поговорим в другой раз об этой организации.

Интернационал дает вам ее основы, распространите его на всю Италию, и остальное придет само собою.

Интернационал не уничтожает национальности, нации, он обнимает их все, не выкидывая ни одной. Он не может поступать иначе, потому что его основной принцип это самая широкая свобода, Интернационал не ведет войны против естественных отечеств; он воюет только против политических отечеств, против государств, и он должен вести эту войну; потому что, желая серьезно полного и окончательного освобождения пролетариата, он необходимо должен стремиться к уничтожению всех классов, т. е. всех экономических привилегий, государства же являются лишь организацией и гарантией экономических привилегий и политического господства классов. Об'являя войну классам, он должен вести войну против государств. Мадзини хочет не только сохранения, но еще и усиления итальянского государства; следовательно, он должен хотеть и хочет сохранения буржуазного класса; следовательно, он должен боятся Интернационала и ненавидеть его, и он боится его и ненавидит. Он клевещет на него и старается погубить его; он хотел бы

утопить его в мнении итальянского пролетариата. Его проклятия, его плачь напуганного и возмущенного Иеремии достаточно доказывают это. В конце концов, он показывает себя тем, чем он есть, буржуазным, религиозно экзальтированным республиканцем, политическим фанатиком.

Вот, как он кончает свое воссвание к рабочим против Интернационала:

Воспитывайтесь и учитесь как только можете (но черпайте свои знания, главным образом из хороших источников и остерегайтесь прислушиваться к голосу иностранных сирен); не отделяйте никогда свою судьбу от судеб отечества (на это рабочие должны ответить: „Мы не можем отделять себя от своего отечества, потому что отныне отечество, это мы, итальянские рабочие, вне которых в нашей стране мы видим только врагов отечества. Мы итальянцы, это факт, но это обстоятельство нисколько не отделяет нас от рабочих других стран: они наши братья, тогда как буржуа нашей страны наши враги. Вот, в каком смысле мы хотим входить в Интернационал, который составляет мировое отечество работников против мирового отечества хищников и угнетателей труда"), но оказывайте братскую поддержку всякому предприятию, стремящемуся сделать его свободным и великим. (Есть свобода и свобода. Есть свобода народная, которая может быть завоевана только путем социальной революцией и уничтожением государства; но есть также буржуазная свобода, основанная на рабстве пролетариата и которая неизбежно стремится к тому величию государства, о котором говорит Мадзини. Он приглашает, стало быть, пролетариат принять, как свою, буржуазную политику, главная и постоянная цель которой обратить его в рабство.) Умножьте свои союзы и об'едините в них, там, где это возможно, промышленного рабочего с земледельческим, город и деревню. (В первый раз Мадзини дает подобные советы городским рабочим и, вообще, удостаивает заняться крестьянами. По крайней мере, я помню, что в Лондоне каждый раз, когда я замечал ему, что я считал необходимым революционизировать итальянских крестьян, он мне всегда отвечал: „Пока нечего делать в деревнях, революция должна сначала совершиться исключительно в городах; потом, когда мы совершим революцию в городах, мы займемся деревней". Тогда я не понимал то, что я называл ослеплением Мад-

зини: но теперь я прекрасно понимаю его мысль. Он вовсе не был слеп, наоборот, он превосходно видел все. Желая только политическую революцию, не разрушения государства, а замену его другим каким нибудь господством или другим государством, он тысячу раз прав не хотеть крестьянской революции, потому что эта революция может быть только социальной,—как это доказали недавние восстания против закона *macinato**). Мадзини это знает, и поэтому он обращался исключительно к городскому пролетариату, который он надеется „обуржуазить“, тогда как „обуржуазить“ крестьян ему казалось невозможным. Теперь он надеется, повидимому, воздействовать также и на крестьян, не прямо, а посредством городских союзов, которые будут преданны ему. (Странная иллюзия!) Старайтесь создавать в большом количество кооперативные общества и потребительские общества. (Было доказано экономической наукой и многочисленными опытами, произведенными с 1848 г. во Франции, Англии, Бельгии, Германии, Швейцарии, и в последнее время в Италии и Испании, что потребительские общества, организованные в небольших размерах, могут внести небольшое улучшение в тяжелое положение рабочих, но как только они начинают развиваться и им удается чувствительным образом и устойчиво понизить цены па предметы первой необходимости, это влечет неизбежно понижение заработной платы. Впрочем, этот отмеченный факт об'ясняется легко. Рабочая масса, вынужденная продавать свой труд, чтобы опеспечить себе пропитание, возрастает всегда в большей пропорции, чем капиталы, служащие на оплату их труда. Рабочие, стало быть, составляют конкуренцию друг другу в предложении труда, которое почти всегда превышает требование на труд, что вынуждает их продавать свой труд по наивозможно низкой цене. Но они не могут требовать меньше того, что им абсолютно необходимо для существования. Отсюда происходит, что когда цены на продукты растут, они должны требовать большую заработную плату; и, наоборот, когда цены на продукты падают, они могут согласиться на меньшую заработную плату, и они всегда вынуждены согласиться на это, благодаря конкуренции их между собою. Понятно, следовательно, что когда потребительские общества достаточно развиваются, чтобы вызвать

*) Налог на помол.

устойчивое, общее и чувствительное понижение цен на предметы первой необходимости, заработная плата должна понизиться. Этот факт установлен опытом и доказан теоретически наиболее известными экономистами Англии, Германии, Бельгии и Франции. Лассаль, знаменитый немецкий социалист-революционер, основатель Allgemeiner deutscher Arbeiterverein, коммунистического союза, на этом факте главным образом базировал свою блестящую, кончившуюся победой полемику против Шульце-Делича, буржуазного социалиста, первого и главного основателя кооперативных обществ в Германии. Вот, стало быть, к чему сводится весь социализм Мадзини: к великой иллюзии для рабочих и к великому спокойствию для буржуа. После чего он говорит итальянскому пролетариату: Положитесь на будущее (т. е. на меня, который будет генералом, а вы моими солдатами); об'единитесь и составьте тесную, сплоченную массу на подобие армии.

Ныне вы не существуете. (Браво! Тем, которые одни только существуют, он заявляет, что они не существуют! Призрак говорит действительности: „Ты ничто!" Нужно быть неисправимым буржуа, чтобы решиться сказать подобную вещь пролетариату и сказать это с убеждением, как это, конечно, делает Мадзини.) Ваши общества морально связаны между собою общими стремлениями (и эти действительные, инстинктивные стремления, имеющие в основе не теорию Мадзини, а социальное положение итальянских рабочих, обратны тому, чего желает и на что надеется Мадзини), но никто не имеет права говорить кроме, как от своего личного имени, никто не в состоянии дать услышать стране голос всего класса ремесленников для из'явления его нужд и желаний, никто не может сказать с должным авторитетом: Вот, чего хотят, вот, что отвергают рабочие Италии. (Это право Мадзини и надеется завоевать на с'езде в Риме. И когда оно ему будет дано, горе невтрующей, социалистической и революционной молодежи Италии! Вооруженный этим фиктивным правом, которое не преминет оказать сильное влияние на суеверное воображение самих рабочих, он раздавит ее, именем фикции пролетариата. Он скажет ей: „Сыны буржуазии, подчинитесь итальянскому народу!") Без братского (рабского) договора, без руко-

водящего центра вы не можете приобрести, ни дать другим приобрести сознание силы, имеющейся в вас (Это все то же отрицание действительной коллективной силы в пользу власти. Мадзини говорит этим рабочим: „Прошу вас, дети мои, дайте мне вашу силу. Мне нужна она, чтобы надеть на вас цепи, иначе вы можете стать опасными для существования моих добрых буржуа". Это и называется: Национальный Договор.)

Рим, колыбель цивилизации, теперь наш; но он наш только наполовину, он наш только материально, и нам всем выпало на долю влить в него душу Отечества (буржуазного) и получить от него (через посредство Пророка и Папы новой религии) освящение пути, по которому мы должны следовать (все по новой мадзинистской религии), чтобы исполнились наши судьбы и чтобы могучее проявление итальянской жизни сделало святым и плодотворным Союз (Аллилуия!) Почему не поспешить вам в Рим на съезд, чтобы получить там новое крещение вашего Братства? Может быть, кроме огромной выгоды, которая отсюда последует для вас, вы напомните Италии своим примером и в некотором роде, как инициаторы (вот как!), что из Рима должен выйти другой, более широкий Договор, Национальный Договор, определение вашей будущей жизни (Прокустово ложе, приготовленное догматизмом Мадзини, чтобы упрятать в него все будущее несчастной Италии), без которого Рим и Италия только пустые названия.

Вот, что ясно: если не примут мадзинистскую программу, Рим и Италия не достойны больше жить, они ничто.

Я покончил с цитатами из Мадзини. Цитированное мною достаточно, чтобы раскрыть вам его цель. Он хочет стать действительно новым Папой и созывает в Риме итальянских рабочих, чтобы воздвигнуть папский престол, с высоты которого, дабы проявить свою силу, он будет провозглашать ex cathedra, от имени итальянского пролетариата, громовые проклятия против Парижской Коммуны, Интернационала, атеистической молодежи и против меня „бедного варвара", который осмелился выступить с защитой Человечества, истины и справедливости против него, представителя Бога на земле.

Ваша задача, ваш долг, дорогие друзья, мне кажутся очень ясными. Мадзини сам постарался указать их вам и принудил вас, так сказать, открыто высказаться за Интернационал. Обратите внимание с другой стороны на странное согласие, какое замечается ныне между иезуитами, Consorteria и Мадзини. Иезуиты говорят и пишут во всех своих сочинениях: „Или иезуитизм или Интернационал, середины нет.“ Consorteria повторяет иначе ту же фразу, тот же аргумент: „Если вы не будете поддерживать и не усилите правительство в наших руках, вы погибли. Между властью и торжеством Интернационала нет середины“. Наконец, Мадзини говорит итальянским рабочим: „Интернационал есть Зло; я—Добро; выбирайте“.

Все, стало быть, иезуиты, Consorteria и Мадзини, каждый с своей стороны, говорят, что Интернационал им абсолютно противоположен. А так как вы не хотите быть ни иезуитами, ни членами Consorteria и так как ваши противорелигиозные верования не позволяют вам больше быть апостолами политической теологии Мадзини, то вы должны, если хотите быть чем нибудь, стать работниками Интернационала.

Мадзини толкает вас туда всеми силами, со всем жаром своего красноречия. Многие из вас, из любви к спокойствию и из боязни скандала, а, главным образом, благодаря законной и вполне заслуженной привязанности к Мадзини, предпочли бы оставаться по отношению к нему в двусмысленном положении, в каком вы находились эти последние годы, т. е. быть мадзинистами не в теории, а на практике. Но логичнее и энергичнее вас, он с очевидностью доказал вам теперь, что отныне это стало невозможным, и он вынуждает вас сделать выбор между полным самоубийством, умственным, нравственным, политическим и социальным уничтожением и открытым восстанием против него.

Если вы изберете первое, вы станете ответственными сотрудниками гибели, унижения, позора и рабства своего отечества; если вы изберете второе, вы сделаетесь правозвестниками и главными деятелями его освобождения.

Можете ли вы колебаться?

Одна из причин, и я полагаю главная, вашего колебания, это боязнь огромной ответственности, какую вы, конечно, возьмете на себя, открыто и окончательно порвав, не только с теориями, но и с политической деятельностью Мадзини, встав таким образом в оппозицию ко всей демок-

ратии или, скорее, ко всей республиканской партии вашей страны, привыкшей больше не думать, не чувствовать, не хотеть самостоятельно, а слепо следовать за своими двумя великими вождями Мадзини и Гарибальди. Эта партия, взятая в целом, будет, разумеется, поражена и испытает суеверный ужас при виде „неизвестных" молодых людей,—это крупный аргумент всех глупцов, вы это знаете,—осмелившихся открыто восстать против своих уважаемых вождей и взять на себя смелый почин новой политики, независимой от того и другого. В первый момент они будут, может быть, сторониться от вас, как от кучки злодеев, изменников, зачумленных. С вами будут бороться со всем вероломным и глупым остервенением, на какое способны мадзинисты, как они не раз доказали в течение своей борьбы, и которое обнаруживает в них натуру теологов и жрецов. Будут стараться образовать пустоту вокруг вас и, конечно, сделают все возможное, чтобы отдалить от вас рабочие массы. Словом, вам придется пережить тяжелые минуты, и чтобы выйти с честью из трудного положения, вы должны будете пустить в ход весь свой ум, сердце, веру взяться за дело самым настойчивым, самым решительным и энергичным образом.

Это—предприятие и опыт, которые требуют героизма совершенно другого закала, чем тот, который необходим для того, чтобы бороться под знаменем Гарибальди. Там достаточно немного темперамента, немного физической храбрости и способность переносить лишения и усталость в продолжение нескольких недель или самое большее нескольких месяцев; здесь, наоборот, берут на себя обязательство работать всю жизнь, и, как только что сделал наш друг Фортунио в своей газете Gazzettino Rosa, клянутся посвятить ее всецело великой борьбе за освобождение пролетариата. Подобное обязательство самое серьезное, ибо оно влечет за собой, как неизбежное следствие, окончательный и полный разрыв с прошлым, со всем буржуазным миром, со всеми друзьями прошлого и союз на жизнь и на смерть с пролетариатом.

Будете вы иметь мужество совершить, со всей логикой, какой требует такая великая работа, и со всей энергией, необходимой, чтобы довести ее до конца, этот разрыв и этот союз?

Принимая во внимание положение, в какое вы сами поставили себя, заявив себя материалистами, атеистами, сторонниками Коммуны и Интернационала, социалистами и

революционерами, одним словом, мне кажется вы не можете больше колебаться, под страхом самоунижения: вы должны итти вперед и, приняв не только в теории, но и на практике все последствия этого нового символа веры, соединиться с нами против Мадзини.

Когда я думаю о глубокой искренности ваших убеждений, вашей мысли и ваших чувств, тогда мне кажется еще более очевидным, что вы должны принять это решение, которое одно только и остается вам, под страхом осудить самих себя на презрение.

Что может вас еще заставлять колебаться? Скромность? Но скромность становится большой глупостью, безумием, преступлением, когда дело идет об исполнении великого долга. Только одна вещь могла бы еще вас остановить: это недоверие к самим себе.

Вот, в самом деле, как вы попытаетесь, быть может, рассуждать:

„Порвать разом с прошлым и со всеми прежними друзьями вещь легкая, и не менее легко об'явить, что мы хотим начать новую политику. Но где мы возьмем средства и силы, чтобы исполнить подобное обещание? Мы бедны, малочисленны и почти неизвестны. Публика, наши прежние друзья, сами рабочие, ради которых мы принесем эту жертву, переступим этот трудный шаг, попробуем совершить этот опасный скачек, будут высмеивать нас. Мы, одни, бессильны и неспособны исполнить свои обещания; мы смешны, и смешное убьет нас.“

Так вы будете рассуждать, если ваша любовь к справедливости и человечеству недостаточно сильна, если это только воображаемая платоническая любовь, а не одна из тех великих страстей, которые об'емлют всю жизнь. Действительная и серьезная страсть никогда не рассуждает таким образом: она идет всегда вперед, она действует, всегда, не высчитывая своих средств, не считая препятствий, создавая одни и разрушая другие, толкаемая непобедимой силой, которая справедливо делает из нее страсть.

Я нахожу, что рассуждения этих двух различных страстей верны каждое в своем роде. Первая права не доверять себе, потому прежде всего что она никогда не бывает постоянной, ни длительной: она бесплодна и не может ничего создать, ни средств ни друзей, и чаще всего опускает крылья при первом же препятствии: она бессильна и не может разумно иметь веру в себя. Но вторая, наоборот, очень

часть права верить в свою собственную силу, так как она создает все средства, нужные ей для достижения своей цели, и увлекает и неуклонно создает себе друзей, при условии, чтобы она была социальной, а не эгоистической страстью.

Я предполагаю, я должен думать, что такова ваша страсть, и, исходя из этого предположения, я буду рассуждать вместе с вами. Вы говорите, что вы бедны, неизвестны, малочисленны и спрашиваете, какими средствами вы можете располагать, чтобы направить общественное мнение вашей страны по одному руслу, какое вам кажется хорошим и справедливым? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего определить, о каком общественном мнении идет речь. Если вы говорите о буржуазном общественном мнении, тогда я первый скажу вам: „Откажитесь от такой смешной иллюзии; оставьте ее Мадзини, и пусть он забавляется обращением буржуазии." Ибо то, что вы говорите, верно; ее можно постепенно обращать только путем прогрессивной и все более и более угрожающей организации мощи пролетариата и окончательно обратить только путем социальной революции, которая, чтобы ее совершенно вылечить, погрузит ее в экономическое и социальное равенство.

Но у вас есть другая публика, публика огромная, это пролетариат,—ваш народ. Этот последний инстинктом на стороне ваших идей и, следовательно, поймет вас и необходимо последует за вами. Но народ, скажете вы, не читает: для кого же мы будем писать? Я вам скажу в другой раз для кого; теперь же я вам скажу только, что если народ не читает, нужно ходить к нему, чтобы читать ему свои статьи. И потом, во всех городах в народе имеются люди, умеющие читать, которые поймут ваши статьи и сумеют об'яснить их своим неграмотным товарищам. Но вы не будете писать свои статьи только для народа.

В среде самой буржуазии вы найдете симпатичных читателей, мужчин и женщин; ибо не все одинаково испорчены и обессилены, но все стеснены и парализованы условиями общества, в котором они живут. Посредством своих газет вы привлечете, стало быть, к себе все, что есть живого в этом классе, и вы сможете организовать эти элементы, параллельно организации народных масс, как полезных союзников в денежном отношении или в отношении пропаганды. Разумеется, вы не найдете тысячи таких; их

недостаточно, чтобы можно было составить из них организованную силу; но число их достаточно, чтобы оказать вам ценную помощь в великом деле организации народной силы.

Ваша единственная армия, это народ, весь народ, как городской так и деревенский. Но как подойти к этому народу? В городе вам будут мешать правительство, Consorteria, мадзинисты. В деревне вы встретите на своем пути попов. Однако, дорогие друзья, существует сила, способная победить все это. Это коллектив. Если бы вы были обособлены, если бы каждый из вас хотел действовать только по своему, вы были бы, конечно, бессильны; но, об'единившись и организуя свои силы,—как бы незначительны они ни были вначале,—для единого совместного действия, руководимые общей мыслью, общим положением, стремящимся к общей цели, вы будете непобедимы.

Даже три человека, об'единенных таким образом, образуют уже по моему, серьезное начало силы. Что будет, когда вам удастся организоваться в вашей стране в числе нескольких сотен? А, конечно, в Италии найдется несколько сот умных, энергичных, преданных юношей, способных воспринять ваши идеи и полюбить и хотеть страстно то, что вы любите и хотите. И разве вы не видите, что они начинают уже показываться почти всюду в вашей стране? И, не правда ли, для того, чтобы разбудить их в большем числе, чтобы создать их в некотором роде, просвещая их мозг, чтобы искать и находить их, вы пишете свои газеты? Так я клянусь вам, и вы сами это прекрасно знаете, что вы найдете их сотни в Италии, разумеется, с различной степенью умственных способностей, преданности, убеждения, энергии и активности. Несколько сот благорасположенных молодых людей не достаточны, конечно, чтобы составить революционную силу вне народа: это тоже иллюзия, которую надо оставить Мадзини; и Мадзини, повидимому, сам замечает это ныне, раз он обращается непосредственно к рабочим массам. Но эти несколько сотен достаточны, чтобы организовать революционную силу народа.

Время великих политических личностей прошло. Когда дело шло о совершении политических революций, они были на своем месте. Политика имеет целью образование и сохранение государств; но „государство“ означает господство с одной стороны и подчинение с другой. Крупные господствующие личности, стало быть, абсолютно необходимы в

политических революциях; в социальной революции они не только бесполезны, они положительно вредны и несовместимы с самой целью, какую преследует эта революция, т. е. с освобождением масс.

Теперь в революционной деятельности, как и в труде, коллектив должен заменить личность. Знайте, что организуясь, вы будете сильнее, чем все Мадзини и все Гарибальди в мире; и что взаимно вдохновляя друг друга и основывая все свои мысли, с одной стороны, на позитивной науке, на действительном наблюдении и без Бога, а с другой—на народной жизни во всей ее глубине, формулируя только ее инстинкты, вы будете обладать большим умом и большим гением, чем эти два великих человека прошлого. Вы будете думать, жить, действовать коллективно, что, впрочем, нисколько не помешает полному развитию умственных и нравственных способностей каждого. Каждый из ваших будет приносить вам свое сокровище и, об'единившись, вы увеличите в сто крат вашу стоимость. Таков закон коллективного действия. Только две вещи будут решительно запрещены среди вас: развитие тщеславия и развитие личного честолюбия, а, следовательно и интриги, являющейся всегда неизбежным результатом того и другого. Во первых, подавая друг другу руку для общего действия, вы обещаете друг другу взаимную братскую поддержку, что будет для начала обязательством, некоторого рода свободным договором между серьезными, одинаково преданными, одинаково убежденными людьми. Приступая затем коллективно к деятельности, вы необходимо начнете практиковать это братство среди вас, и после нескольких месяцев беспрерывной практики, это братство, которое вначале было только обещанием, договором, станет действительностью, вашей коллективной природой: и тогда ваш союз будет действительно неразрывен.

Разделившись на областные группы, вы начнете, посредством областных и местных организаций, проникать все шире и шире в народ. Вы будете сталкиваться с врагами, агентами префектов, священниками, мадзинистами; но зная, что вы об'единены, зная, что ваши товарищи, рассеяные не только в Италии, но во всей Европе, делают то же, что и вы, что они смотрят на вас, приветствуют вас, поддерживают вас, любят, вы найдете в себе силы, о каких вы никогда бы и не воображали, если бы каждый из вас действовал индивидуально, как ему вздумается, а не после

единогласного предварительно обсужденного и принятого решения. И, поверьте мне, вы тем легче одержите победу над всеми вашими противниками, что вы понесете в народ не слова, упавшие сверху именем божественного откровения или доктринерской политики, идеи, которые будут выражать не что иное, как его собственные инстинкты, его собственные стремления, собственные нужды.

И теперь же, на Римском с'езде, если возможно и если есть еще время, вы должны устроить первое сражение. В ответ на предложения Мадзини вы должны смело выставить свои контр-предложения. Вы будете, вероятно, в меньшинстве; но пусть это не пугает вас, лишь бы это меньшинство было убежденно, сплочено и тем самым почтенно. Вы не найдете, конечно, лучшего случая, чтобы об'явить свою программу Италии и Европе.

Ну, теперь, дорогие друзья, я кончил. Извините меня, если я наскучил вам: я хотел быть краток, но не сумел это сделать. Сюжет меня увлек. Но за то, вы имеете всю мою мысль целиком. Разберите ее, возьмите из нее то, что найдете подходящим, оставьте то, что вам неподойдет, и вы скажите мне, с такой же откровенностью, с какой я говорил вам, что вы думаете о ней, свое одобрение или свои возражения.

Только таким образом мы можем сговориться и образовать между собою свободный Союз.

Михаил Бакунин.

Содержание.

Часть II.

[illegible] Бога, с предисловием автора к новому изданию.

Его-же. Современная Наука и Анархия (Перевод под редакцией автора).

Его-же.—Поля, Фабрики и Мастерские.

Его-же.—К чему и как прилагать труд рудников и умственных (сокращенное изложение книги „Поля фабрики и мастерские").

Его-же.—Справедливость и Нравственность.

Его-же.—Анархия.

Его-же.—Анархическая работа во время Революции.

Его-же.—Коммунизм и Анархия.

Его-же.—К молодому поколению (разошлось).

Его-же.—Политические права.

Его-же—Новый Интернационал.

Н. К Лебедев.—Элизе Реклю, как человек, ученый и мыслитель.

Его-же. К истории Интернационала. Этапы международного объединения трудящихся.

Э. Малатеста.—Избранные сочинения.

Его-же.—Анархизм.

Его-же.—Краткая Система Анархизма.

Его-же.—Крестьянские речи.

М Неттлау.—Жизнь и деятельность Михаила Бакунина.

Его-же.—Взаимная ответственность и солидарность в борьбе рабочего класса.

Э. Пато и Э. Пуже.—Как мы совершим революцию с предисловием П. А. Кропоткина.

Ф. Пеллутье.—История Бирж Труда.

М. Р[illegible]ский.—Франциско Феррер и его Новая Школа.

Элизе Реклю—Избранные сочинения (с предисловием П. А. Кропоткина).

Свободное Трудовое Воспитание. Сборник статей под редакцией Н. К. Лебедева.

В. Траутман, Дж. Эттор и В. Сент Джон.—Производственный Синдикализм (Сборник статей об индустриализме, с предисловием А. Шапиро).

С. Фор.—Преступления Бога (второе изд).

В Черкезов.—Предтечи Интернационала. Доктрины Марксизма. Раскол среди социалистов государственников. Наконец-то сознались (ответ Каутскому).

Печатаются и в скором будущем выйдут в свет:

Дж. Гильом.—Интернационал (Воспоминания и Материалы) в четырех томах.

П. Кропоткин.—Взаимная Помощь.

Э. Пуже.—Избранные сочинения по вопросам Синдикализма.